DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Н. Н. КАРАЗИНА.

НАЛЬ.

Романъ въ 3-хъ частяхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе П. П. Сойкина.
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Стремянная, 12, соб. домъ.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Невскій, 96, уг. Надежд.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 8 ЯНВАРЯ 1905 Г.

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СТРЕМЯННАЯ, 12.

891.733
K18P
t. 8-10

ПРОЛОГЪ.

Лѣтъ тридцать съ небольшимъ тому назадъ въ Петербургѣ появилась удивительная красавица, заставившая говорить о себѣ чуть не весь городъ.

Появилась она въ первый разъ въ итальянской оперѣ, въ ложѣ извѣстнаго въ то время банкира.

Ложа эта была абонирована, и всѣ привыкли видѣть въ ней только трехъ лицъ: на первомъ планѣ — толстую, расплывшуюся физіономію жены банкира, полузаслоненную громаднымъ вѣеромъ, съ прическою, буквально осыпанною сверкающими брилліантами; рядомъ съ нею тщедушную, лимфатическую дѣвицу лѣтъ семнадцати—ея дочь, одѣтую, въ противуположность маменькѣ, особенно просто, даже бѣдновато, — и сзади, въ глубинѣ ложи, фигуру отца семейства, напоминающую туповатаго, откормленнаго оберъ-кельнера въ гостиницѣ не перваго разбора... И вотъ, въ этой-то ложѣ, куда уже давно не направлялся ни одинъ бинокль, появилось четвертое лицо, сразу замѣченное и сразу же оцѣненное по достоинству.

Это была женщина высокая, стройная, съ тонкою таліей и прекраснымъ бюстомъ. Какъ овальное лицо ея, такъ и умѣренно открытыя шея и плечи поражали наблюдателя своею необыкновенною бѣлизною. Знатоки ни на минуту не сомнѣвались, что эта бѣлизна не происходила отъ косметиковъ, но она также не была и слѣдствіемъ какого-нибудь болѣзненнаго состоянія; выраженіе лица, грація и сила въ движеніяхъ красавицы, а впослѣдствіи, когда услыхали ея и полный силы звучно-гармоническій голосъ,—все это говорило въ пользу ея здоровья, далеко недюжиннаго.

Первое, что обращало на себя вниманіе — это высокій, умный лобъ, не закрытый, какъ у другихъ, прическою, а прелестно, словно у головы Юноны, обрамленный двумя роскошными волнами золотистыхъ волосъ; затѣмъ—глаза красавицы, то полузакрытые темными, длинными рѣсницами, словно дремлющіе, то вдругъ загорающіеся особеннымъ, глубокимъ блескомъ. Выраженіе этого прекраснаго лица было задумчиво-безстрастно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, необыкновенно женственно; по чуткій къ неземной красотѣ художникъ не рѣшился бы писать съ нея Мадонну: иныя мысли тревожили бы его творческій духъ, и сильнѣе, чѣмъ нужно, билось бы сердце при созерцаніи этой модели.

Да, незнакомка была такъ хороша собою, что не прошло и недѣли съ перваго ея появленія въ ложѣ банкира, какъ уже весь Петербургъ заговорилъ о новой красавицѣ, встревожившей у всѣхъ самое жгучее любопытство.

Кто и что она?

Вопросъ этотъ разрѣшенъ былъ, впрочемъ, скоро и просто. Знакомые банкира, бывавшіе у него въ домѣ, не могли не знать, что почтенный биржевой тузъ очень недавно возвратился изъ Лондона, гдѣ былъ со всею своею семьею, — что именно оттуда привезъ онъ эту дѣвицу, Агнесу Блэквудъ, круглую сироту, особу превосходно образованную, знающую языки весьма основательно, воспитанную, какъ только могутъ воспитывать въ хорошихъ англійскихъ семьяхъ, а посему вполнѣ надежную компаньонку своей дочери — Эллисъ. Вотъ и все, что могли узнать любопытствующіе непосредственно отъ банкира и членовъ его семьи. Но этого имъ казалось мало. Всѣ эти данныя были слишкомъ просты и обыкновенны для такой необыкновенной особы, какова была Агнеса Блэквудъ.

Дѣвица Эллисъ выѣзжала на балы и вечера къ знакомымъ всегда въ сопровожденіи своей мамаши, но не новой компаньонки; исключеніе въ этомъ случаѣ составляла только опера, но заходившихъ въ ложу банкира не знакомили съ Агнесой Блэквудъ. На вечерахъ и даже большихъ балахъ въ домѣ банкира красавица-англичанка появилась только разъ, но исключительное вниманіе, оказанное чужестранкѣ посѣтителями, кажется, не понравилось хозяйкѣ — и съ этого дня Агнеса Блэквудъ при гостяхъ въ залахъ не показывалась болѣе.

Все это казалось страннымъ, невольно вызывающимъ всевозможные толки... Злые языки говорили, что между самимъ банкиромъ и его супругою отношенія измѣнились къ худшему.

Но вѣдь отъ злыхъ языковъ уберечься невозможно.

Въ Петербургѣ въ то время жилъ очень богатый баринъ, отставной генералъ, Николай Сергѣевичъ Рубанъ-Опальный. Получивъ блестящее свѣтское образованіе, обладая сильными связями, Николай Сергѣевичъ скоро выдвинулся впередъ и генеральскіе эполеты надѣлъ очень рано.

Крайне самолюбивый, нетерпящій подчиненія, служившій, что называется, только изъ чести,—онъ въ одно прекрасное утро кѣмъ-то или чѣмъ то обиженный, подалъ въ отставку и облекся въ черный сюртукъ штатскаго покроя.

Онъ былъ молодцовато-красивъ, веселъ, остроуменъ, богатъ... Что-же нужно болѣе, чтобы быть баловнемъ судьбы и общимъ любимцемъ? Маменьки и папеньки, имѣющіе дочерей-невѣстъ, не спускались него глазъ; холостяки, старые и молодые, относились къ нему съ подобострастнымъ уваженіемъ; сановники баловали и упрекали, но очень ласково, за то, что бросилъ службу и лишилъ ихъ возможности тянуть его на высшія іерархическія ступени, сами, впрочемъ, втайнѣ завидуя его положенію,—спокойному, обезпеченному и свободному, какъ воздухъ.

А жилось Николаю Сергѣевичу не дурно.

Самъ онъ, не замѣчая, какъ это случилось, протянулъ до сорока лѣтъ холостякомъ, спасшись отъ соблазнительныхъ узъ Гименея... Самъ онъ не помнилъ, былъ-ли онъ хоть разъ влюбленъ, — кажется, былъ, — но это случилось такъ давно, еще до офицерскихъ эполетъ—и давно уже кануло въ вѣчность... Теперь уже какъ-будто и поздновато было думать о бракѣ: Николай Сергѣевичъ и не думалъ... Хотя за него, несмотря на довольно зрѣлый возрастъ, думали еще многіе. Въ числѣ этихъ думающихъ были и банкиръ со своею супругою.

Интересный холостякъ, впрочемъ, не очень тяготился своимъ одиночествомъ. У него былъ роскошный домъ-музей въ одной изъ лучшихъ улицъ Литейной части, превосходный поваръ-французъ, старшій конюхъ-англичанинъ, титулуемый даже шталмейстеромъ,—и жилъ Николай Сергѣевичъ довольно откры-

то. По четвергамъ обѣды на сорокъ приборовъ; ежедневно— не болѣе девяти: это почему-то считается поварами максимальнымъ числомъ для тонкаго обѣда высшей кулинарной школы. Въ карты генералъ не игралъ вовсе, терпѣть даже не могъ ихъ и потому не посѣщалъ клубовъ. Единственною страстью его была охота, и въ его кабинетѣ, въ роскошныхъ шкапахъ, хранился цѣлый арсеналъ дорогаго оружія. Кромѣ того, онъ поощрялъ балетъ, но умѣренно, не дѣлая, впрочемъ, особенныхъ различій между его звѣздами.

И вотъ, этотъ-то баловень судьбы, страстно относящійся только къ лошадямъ, собакамъ и оружію, заинтересовался, и очень серьезно, таинственною англичанкой.

Сначала онъ началъ, нѣсколько чаще, чѣмъ слѣдуетъ, посѣщать домъ банкира; тамъ, конечно, были этому очень рады, перетолковавъ эти посѣщенія по-своему. Но вышло такъ, что интересная миссъ Блэквудъ не показывалась, а менѣе интересная дѣвица Эллисъ показывалась слишкомъ уже назойливо.

Наконецъ, эта назойливость приняла такой оборотъ, что Николаю Сергѣевичу пришлось отказаться отъ такого пути сближенія съ Агнесою Блэквудъ.

Это его стало замѣтно раздражать и подстрекать на большую настойчивость. Нашлись близкіе пріятели, замѣтившіе это увлеченіе Николая Сергѣевича,—и до его ушей стали долетать иногда весьма остроумныя, чаще же довольно пошловатыя шутки.

Въ числѣ знакомыхъ Рубанъ-Опальнаго были кое-кто изъ членовъ англійскаго посольства; тамъ онъ узналъ, что отцомъ красавицы былъ маіоръ Блэквудъ, убитый въ Индіи во время послѣдняго возстанія, то-есть, очень недавно; болѣе же—ровно ничего. А когда Николай Сергѣевичъ, рискуя сдѣлать крупную безтактность, обратился съ разспросами къ хозяевамъ дома, то получилъ отвѣтъ сухой и крайне уклончивый.

— Вы знаете, что мой мужъ очень добръ, — сообщила банкирша, — онъ, несмотря на свои занятія исключительно только съ сухими цифрами, сохранилъ нѣжное, истинно-христіанское сердце. Это была случайная встрѣча... бѣдная сирота... Вы понимаете?..

— Несчастная дѣвушка!—поддержалъ банкиръ, но былъ остановленъ выразительнымъ взглядомъ своей супруги.

И вотъ однажды Николай Сергѣевичъ рѣшился на безтактность еще болѣе крупную. Владѣя англійскимъ языкомъ, онъ написалъ самой Агнесѣ Блэквудъ. Содержаніе письма было слѣдующее.

Прежде всего онъ отрекомендовался обстоятельно и подробно, затѣмъ просилъ прощенія за свою дерзость, далѣе объяснилъ причины, вызвавшія его на такую безтактность,—и тутъ же выразилъ свое пламенное желаніе быть ей полезнымъ. Подъ конецъ онъ просилъ миссъ Блэквудъ указать ему способъ, если не сближенія, то, по крайней мѣрѣ, знакомства и возможности лично высказаться.

Какъ ни скрывалъ при этомъ свои чувства авторъ письма, какъ ни занятъ былъ мыслью не допустить ничего могущаго оскорбить строгую пуританку,—онъ предполагалъ ее именно такою,—но тѣмъ не менѣе, истинное чувство сквозило сквозь строки, змѣилось между словъ и придавало письму теплый колоритъ, дышащій хотя, можетъ быть, и братскою, но все-таки—любовью.

«Она, очевидно, несчастна въ этой несимпатичной семьѣ и, конечно, изъ-за куска хлѣба»,—рѣшилъ про себя Николай Сергѣевичъ и остановился на этомъ рѣшеніи.

Отправивъ письмо, съ особыми предосторожностями, дабы оно не миновало должныхъ рукъ, Рубанъ-Опальный испытывалъ необыкновенное волненіе и даже сожалѣлъ, что сдѣлалъ такую глупость, достойную развѣ неопытнаго, влюбленнаго юнкера... и вдругъ почему-то убѣдился, что письмо останется безо всякаго отвѣта.

Но отвѣтъ былъ полученъ и даже сравнительно скоро.

«Глубоко тронута вашимъ вниманіемъ ко мнѣ, писала Агнеса Блэквудъ.—Письмо ваше проникнуто чувствомъ искренняго и вполнѣ чистаго участія. Благодаря добротѣ мистера Зильбервельтъ (имя банкира) и его уважаемой супруги, я ни въ чемъ не нуждаюсь. Что же касается болѣе близкаго знакомства съ вами, то боюсь, что оно не доставитъ особаго интереса такому блестящему представителю высшаго русскаго общества, а потому предоставляю это знакомство возможной случайности, но не берусь его сама устраивать».

Подписано просто: «Агнеса Блэквудъ».

Николай Сергѣевичъ былъ очень не въ духѣ, получивъ и

прочитавъ это письмо. Въ тотъ же день онъ уѣхалъ на охоту, предполагая пробыть въ Новгородской губерніи всю недѣлю.

«Нѣтъ, надо провѣтриться, — рѣшилъ онъ, — чтобы не надѣлать еще большихъ глупостей».

Но рѣшеніе свое онъ не привелъ въ исполненіе: охота заняла его менѣе, чѣмъ всегда. Поваливъ на берлогѣ перваго медвѣдя, онъ неожиданно вернулся въ Петербургъ, вспомнивъ, что это день его абонемента въ оперу.

Увы! Въ ложѣ банкира на этотъ разъ были только три лица — именно, желаннаго, четвертаго не оказалось.

Едва досидѣвъ первый актъ, Николай Сергѣевичъ вышелъ изъ театра, отыскалъ Кузьму и своего вороного рысака и покатилъ домой. Вдругъ, не доѣзжая до поворота въ Мѣщанскую, онъ крикнулъ кучеру: «стой!» — и стремительно выскочилъ изъ саней.

По тротуару шла женщина высокая, стройная, съ опущенною на лицо вуалью. Николаю Сергѣевичу показалось, что это *она*.

«Фу, какъ глупо! Подойти на улицѣ, на тротуарѣ... Ни за что!» — мелькнуло было у него въ головѣ. Но онъ все-таки подошелъ. Краска невольнаго стыда бросилась ему въ лицо, но онъ подошелъ и заговорилъ:

— Миссъ Блэквудъ... Простите... Бога ради простите... Я...

Рубанъ-Опальный назвалъ свою фамилію.

Англичанка вздрогнула, остановилась и смѣрила его взглядомъ.

— Не вѣрю! — произнесла она спокойно. — Тотъ почтенный джентльмэнъ, чье имя вы сейчасъ назвали, не остановилъ бы на улицѣ даму, которой не былъ представленъ!

«Подѣломъ!» — опустилъ голову Николай Сергѣевичъ, пробормоталъ:

— Простите... я жестоко наказанъ! — и, снявъ шляпу, отвѣсилъ самый почтительный поклонъ.

«Выслѣдить! — подумалъ онъ, садясь въ сани. — Ни за что!.. Гадко»!..

А стройная красавица шла все впередъ и впередъ, даже не ускоряя шага, не обернувшись ни разу — даже не взглянувъ на него, когда тотъ пронесся мимо, все еще съ приподнятою надъ головою шляпой.

Впервые провелъ Николай Сергѣевичъ ночь безпокойную, полную самыхъ неукротимыхъ волненій; онъ, кажется, писалъ, даже много писалъ, не помнилъ, какъ заснулъ, полуодѣтый, но утромъ дѣйствительно нашелъ на своемъ письменномъ столѣ письмо, писанное его рукою, и прочиталъ его со вниманіемъ, какъ нѣчто даже новое.

Въ этомъ письмѣ было формальное предложеніе руки и сердца, только оно было написано крайне пылко, отрывисто и уже черезчуръ страстно.

— Такъ значитъ и быть! Сама судьба писала моею рукою!— рѣшилъ онъ и сѣлъ приводить письмо въ порядокъ, придать ему видъ и слогъ, вполнѣ приличный такому важному рѣшенію и его солидному положенію.

«Вотъ поднимутся въ городѣ толки... Вотъ пойдетъ переполохъ!»—подумалъ влюбленный генералъ, вдругъ расхохотался и велѣлъ подавать одѣваться.

Письмо было отправлено, и весь день Николай Сергѣевичъ былъ въ прекрасномъ, даже праздничномъ настроеніи духа.

Отвѣтъ послѣдовалъ такъ же своевременно. Его благодарили за честь, оказанную простой дѣвушкѣ, сиротѣ, безъ средствъ и положенія въ обществѣ, и желали поговорить лично. Адресъ былъ указанъ такъ: «Мѣщанская, № дома и № квартиры. Среда, ровно въ девять вечера».

Такая простота отвѣта, даже нѣкоторая вульгарность, очень озадачила Николая Сергѣевича.

«Позвольте—что-же это?»—подумалъ онъ и тотчасъ-же догадался; «О, это интрига—это шутка!.. Очевидно, его письмо не попало въ должныя руки, прочтено, и его самого хотятъ поставить въ смѣшное положеніе»...

Но все-таки, въ назначенный день и часъ, Рубанъ-Опальный явился на мѣсто. Спросилъ дворника, куда пройти, и сталъ подниматься по несовсѣмъ опрятной, полутемной лѣстницѣ, добрался до четвертаго этажа и позвонилъ.

Дверь ему отворила скромно одѣтая и очень почтенная на видъ старушка и, ничего не спрашивая, произнесла:

— Пожалуйте прямо, вотъ въ эту дверь,—не заперто!

Николай Сергѣевичъ вошелъ, сбросивъ шубу на руки старушки.

Первая комната, освѣщенная лампой подъ голубымъ аба-

журомъ, стоявшею на овальномъ предливанномъ столикѣ, была въ два окна и меблирована крайне просто. Здѣсь никого не было, но изъ сосѣдней комнаты, надъ дверью которой была спущена тяжелая занавѣсь, послышался слабый плачъ ребенка.. Чуть донесся этотъ звукъ, но холодный потъ выступилъ на лбу Николая Сергѣевича, и онъ почувствовалъ, будто полъ уходитъ куда-то изъ подъ его ногъ.

Не успѣлъ онъ оправиться, какъ передъ нимъ стояла она, сама Агнеса Блэквудъ, смотрѣла прямо въ упоръ въ его глаза, и такъ грустенъ, такъ полонъ глубокой печали былъ этотъ взоръ, что гость поспѣшилъ произнести:

— Что съ вами?

Она улыбнулась, и, ему показалось, что по ея щекѣ скатилась бриллiантовая капля.

— Садитесь!—указала она на стулъ и сама сѣла,—заботливо поглядывая на занавѣшенную дверь.

Николай Сергѣевичъ повиновался.

— Конечно, васъ озадачило мое письмо... Мое предложенiе, болѣе чѣмъ поспѣшное...—началъ было онъ.

— Да, озадачило,—отвѣчала она просто.—Я много получала здѣсь писемъ отъ разныхъ лицъ вашего круга, но эти письма были слишкомъ оскорбительны. Ваше—меня тронуло. Я вижу, что вы человѣкъ честный, сильно увлекшiйся мною, то-есть, скорѣе—моею внѣшностью (она снова улыбнулась) —можетъ быть, даже любящiй, или, вѣрнѣе, влюбленный... И я рѣшилась открыть вамъ глаза. На комъ вы хотите жениться?

— Миссъ Блэквудъ!..—началъ было Николай Сергѣевичъ.

— Это все, что вы знаете... О, какъ это мало!.. Я видѣла ваше лицо, какъ оно измѣнилось только отъ того, что вы слышали голосъ ребенка, отъ одного подозрѣнiя... Это мой...

Когда женщина даже не обладаетъ красотою, у ней бываютъ минуты, въ которыя она становится красивою. Но эти минуты бываютъ только у матерей... Высшее чувство женщины — материнская любовь—въ такiя минуты кладетъ особую, святую печать на лицо.

Агнеса Блэквудъ такая именно стояла передъ Николаемъ Сергѣевичемъ. Онъ тихо наклонился къ ея опущенной рукѣ и поднесъ эту руку къ своимъ губамъ.

— Это мой отвѣтъ!—произнесла она.

И слышалось въ этомъ звукѣ и рѣшеніе, и вмѣстѣ вопросъ.

— Кто отецъ его?—заговорилъ Николай Сергѣевичъ.

— Вы...

Онъ взглянулъ на нее и даже отшатнулся.

— Вы, — повторила она, — если вы способны воспитать въ себѣ это чувство: только тогда онъ никогда не узнаетъ, что у него есть другой отецъ, кромѣ васъ, и вы должны глубоко повѣрить этому... потому что въ этомъ, только въ этомъ и мое счастье, и его... моего...

Агнеса не договорила. Послышался снова чуть слышный дѣтскій плачъ. Красавица взяла за руку Николая Сергѣевича, и тяжелая драпировка колыхнулась, скрывъ ихъ обоихъ.

Черезъ часъ они вышли.

Растроганнымъ голосомъ, въ которомъ чувствовались непритворныя слезы, Николай Сергѣевичъ говорилъ:

— Дорогая моя, клянусь вамъ Богомъ и своею честью, что счастье ваше и нашего сына будетъ и моимъ единственнымъ счастіемъ!

— Нашего?.. Вы сказали *нашего*?.. О, повторите еще разъ... ради всего святаго!

— Нашего!—твердо и ясно повторилъ Николай Сергѣевичъ.

Агнеса Блэквудъ вдругъ упала передъ нимъ на колѣни, цѣлуя ему руки.

Онъ силою поднялъ ее, посадилъ рядомъ и не спускалъ глазъ съ этого дивнаго лица, обрамленнаго ореоломъ живаго, распадающагося по плечамъ золота.

Дѣйствительно, Петербургъ заговорилъ...

Но, тѣмъ не менѣе, свадьба была отпразднована шумно и гласно; только на другой день послѣ свадьбы, молодые уѣхали за границу, да такъ неожиданно и тайно, что даже въ домѣ Николая Сергѣевича никто не зналъ объ этомъ, и распоряженія по дому старшій дворецкій Григорій Ивановичъ получилъ съ почтою изъ Луги.

Лѣтъ восемь продолжалось это отсутствіе. Наконецъ, Рубанъ-Опальные вернулись, но уже не вдвоемъ, а въ сопровожденіи прелестнаго мальчика, смуглаго, быстроглазаго, необыкновенно, по мнѣнію окружающихъ, похожаго и на мать нѣсколько, и, главное на отца, на глубокоуважаемаго Николая Сергѣевича.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I. На пути къ Ишанъ-Дауду.

Все это случилось тогда, когда наши передовые отряды впервые проникли въ глубину Центральной Азіи, въ этотъ совершенно невѣдомый, полный заманчивой таинственности міръ, въ которомъ остатки когда-то высокой и богатой культуры, сохранивъ еще во многомъ свои типичныя черты, смѣшались со слѣдами послѣдовавшихъ за тѣмъ долгихъ періодовъ варварства.

Почти ощупью подвигались впередъ наши немногочисленные, разрозненные въ своихъ дѣйствіяхъ, батальоны, безъ опредѣленнаго плана, безъ общей, ясно очерченной, правильно намѣченной цѣли.

Это было чисто инстинктивное стремленіе наше на югъ,— стремленіе, хотя и объясняемое оффиціально обезпеченіемъ нашихъ восточныхъ окраинъ отъ грабежей и набѣговъ полудикихъ племенъ, исканіемъ такъ называемыхъ естественныхъ рубежей, но, по всѣмъ своимъ признакамъ, роковое, неизбѣжное, предъ силою котораго безсильна самая хитроумная дипломатія, могущая только на время тормозить, задерживать ходъ, но не парализовать окончательно, ни даже измѣнить его направленіе.

Конечно, главная цѣль чувствовалась невольно, но эта цѣль вырастала въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ, что только безшабашно смѣлые политики высказывали ее вслухъ, прямо-таки указывали рукою, куда слѣдуетъ... Большинство же словно отвертывались отъ того, что само лѣзло въ глаза, и хотя съ натяжками, объясняли всякій нашъ шагъ впередъ чѣмъ-нибудь очень ужъ близкимъ, будничнымъ, а такъ какъ эти шаги,

большею частью, для насъ самихъ были полною неожиданностью, то дальновидные, предусмотрительные дипломаты частенько попадали въ крайне комичное положеніе.

Тогда обыкновенно тѣ, которымъ надлежало давать отвѣтъ, слегка конфузились, чуть не извинялись даже и спѣшили объяснить случившееся якобы неловкостью, недальновидною запальчивостью какого-нибудь генерала, а то и капитана, которые и получали иногда должное внушеніе, но все то, что ими было сдѣлано, оставалось безповоротно и, звено къ звену, ковало роковую цѣпь на югъ, къ берегамъ Индійскаго океана.

Трудная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, завлекающая своею загадочностью задача лежала передъ горстью піонеровъ Но за то и піонеры эти были особенные.

Это были борцы, закаленные въ боевыхъ трудахъ и лишеніяхъ, наученные долгимъ и суровымъ боевымъ опытомъ, отважные въ своемъ стремленіи впередъ, непоколебимо стойкіе, когда приходилось удерживать занятое.

Это были солдаты, которые за долгую службу давно уже забыли свои деревни и все, что у нихъ ома; сжились, сроднились съ нумерами своихъ частей; въ нихъ видѣли все свое, внѣ ихъ—чужое. Это были люди, которые не то чтобы не дорожили своими головами, но умѣли смотрѣть смерти прямо въ глаза, считая ее только «простою случайностью». Въ боевомъ отношеніи каждый солдатъ былъ мастеръ своего дѣла охотникъ, не массовый пуль строя, а вполнѣ сознательная единица.

Однимъ словомъ, это были кадры нынѣшнихъ «старотуркестанскихъ» батальоновъ.

Превосходство нашего вооруженія передъ непріятельскимъ было не особенно велико. Правда, наши ружья посылали пулю на версту, когда вражескія едва-ли пролетали треть этого разстоянія, но за то, навѣрное, населеніе одного какого-нибудь небольшого азіатскаго городка чуть не втрое же превышало численность всѣхъ нашихъ силъ, а передъ нами была вся Азія, со своими, еще гордыми, не терпѣвшими пораженій, могучими ханствами.

Азія насъ не знала. Она считала Россію страною бѣдною, лежащею гдѣ-то очень далеко на сѣверѣ, страною вѣчнаго холода и голода. На наши отряды Азія смотрѣла не иначе,

какъ на кучки искателей приключеній, рыскающихъ по свѣту ради хлѣба и добычи. Ее озадачивала смѣлость этихъ авантюристовъ, ихъ боевое искусство, наносящее пораженіе за пораженіемъ грознымъ полчищамъ эмировъ; она объясняла этотъ нашъ успѣхъ то гнѣвомъ Аллаха, то знакомствомъ нашимъ и дружбою съ чортомъ «шайтаномъ», но нисколько не сомнѣвалась въ окончательномъ, вѣнчающемъ дѣло успѣхѣ правовѣрныхъ надъ несносными гяурами.

Мѣстности, уже занятыя нами, сохраняя полную жизненную связь съ независимыми ханствами, смотрѣли на это занятіе какъ на временное плѣненіе, не переставали относиться къ намъ, какъ къ непримиримымъ врагамъ, и постоянно готовы были къ предательскому возстанію въ тылу.

Относительный успѣхъ нашего наступленія вызывалъ уже повсемѣстно грозный признакъ «хазавата» (священной войны), и фанатическое населеніе, наэлектризованное пылкими рѣчами муллъ, а главное странствующихъ уличныхъ проповѣдниковъ, юродствующихъ «*дивона*», готово было ежеминутно, какъ одинъ, возстать и ринуться на дерзкаго осквернителя ихъ священной почвы.

Да, это было время трудное, опасное, но увлекательно интересное; время, о которомъ до сихъ поръ еще добромъ поминается въ боевыхъ туркестанскихъ кружкахъ, и многое, случившееся въ это время, давно уже пріобрѣло себѣ ореолъ легендарности, много лицъ осѣнилось славою былинныхъ героевъ... Все мелкое, заурядное сгладилось въ памяти живущихъ, сохранились только общія, крупныя черты, и эти черты невольно казались особенно размашистыми, не вмѣщающимися въ скромныя рамки современнаго.

Городъ былъ взятъ.

Кровавый штурмъ, уложившій подъ стѣнами массы защитниковъ, и суточный, карательный за упорство грабежъ— сдѣлали свое дѣло.

Стиснувъ зубы, затаивъ непримиримую злобу въ душѣ, жители сдались на волю побѣдителя и выслали депутатовъ съ покорностью, хлѣбомъ и солью (дастарханомъ).

— Аллахъ прогнѣвался на насъ за грѣхи наши,—говорили депутаты. — Онъ вамъ даровалъ побѣду, намъ же—пораженіе.

Покоряемся его святой волѣ и молимъ усердно, чтобы гнѣвъ его не былъ вѣченъ!

Этими словами они весьма недвумысленно очерчивали характеръ и значеніе своей временной, вынужденной покорности.

«И такая пока хороша!» думали мы.—«Остальное сдѣлаютъ примѣръ и время»!

Наступилъ якобы мирный періодъ.

Но это былъ именно тотъ «худой миръ», о которомъ почему-то изстари сложилось странное мнѣніе, будто бы онъ «лучше доброй ссоры».

Депутаты получили почетныя медали на красныхъ лентахъ, жители открыли базары; «бѣлыя рубахи», вчера еще дравшіяся львами съ халатниками, мирно и весело толкались по грязнымъ, вонючимъ закоулкамъ и попивали чаекъ въ тѣнистыхъ чай-хане, съ тѣми же халатниками. Офицеры ѣздили по окрестностямъ ради изученія новаго края, а то чаще просто изъ любопытства, безъ страха подвернуться на каждомъ шагу подъ предательскій выстрѣлъ или ударъ ножа... Казалось, суровый призракъ войны исчезъ безслѣдно,—но это только казалось.

Зорко слѣдила за всѣмъ занятая нами цитадель, и ночи проводились въ сборѣ, со всѣми боевыми предосторожностями.

Былъ полдень. Солнце палило во всю, отбрасывая на изжелта-сѣрую, раскаленную почву глубокія, черныя тѣни.

Изъ темной арки городскихъ воротъ, стиснутыхъ между двумя тяжелыми, глинобитными башнями, выѣхала кавалькада, состоявшая изъ трехъ офицеровъ, двухъ казаковъ и нѣсколькихъ туземныхъ джигитовъ узбекскаго типа.

На халатахъ этихъ джигитовъ блестѣли бѣлые Георгіевскіе крестики, на ихъ головахъ красовались уже не чалмы, а высокія, черныя бараньи шапки, какими обыкновенно эти молодцы запасаются тотчасъ же, едва только поступаютъ на службу къ русскимъ.

Джигиты—это очень характерное явленіе въ Средней Азіи. Это, на первый взглядъ, просто «продажныя шпаги», которымъ положительно нечѣмъ заниматься въ мирное время, какъ только воровствомъ и разбоемъ.

Въ военное время начинается ихъ бенефисъ. Съ перваго боевого выстрѣла все то, что уцѣлѣло на свободѣ и не сдѣ-

лалось добычею тюрьмы и палача, пристраивается около стороны, имѣющей большіе шансы на успѣхъ. Они служатъ побѣждающимъ въ высшей степени усердно и преданно, но эти два качества мгновенно испаряются, едва только побѣдитель дѣлается побѣжденнымъ. Во всякомъ случаѣ, джигиты—народъ весьма полезный, подчасъ даже необходимый. Никто, какъ они, не съумѣетъ сдѣлать нужную, опасную развѣдку; никто, какъ они, не проникнутъ въ самый станъ враговъ ради сбора свѣдѣній, рискуя головою, не только ради одной корысти, но и изъ молодечества, ради почетной выслуги. Они превосходные проводники, ибо до тонкости знаютъ страну, всѣ ходы и выходы; когда понадобится—переводчики; при томъ прекрасные лагерные слуги. Джигитъ—и конюхъ, и оруженосецъ, и поваръ, и маркитантъ... Онъ носитель комфорта.

Джигитъ умѣетъ, очень даже быстро, стать необходимостью; но его надо держать въ рукахъ—и на рыцарскую преданность его, какъ бы она ярко ни высказывалась, полагаться не особенно.

Кучка такихъ именно джигитовъ сопровождала въ данную минуту нашихъ офицеровъ, выѣхавшихъ на загородную прогулку.

Впереди, рядомъ, полнымъ шагомъ, какимъ только умѣютъ ходить кровныя азіатскія лошади, ѣхали два офицера: одинъ—строевой, капитанъ Шолобовъ, плотный, широкоплечій атлетъ, съ добродушными, сѣрыми глазами и окладистою, свѣтлорусою бородою; другой—маленькій толстякъ, съ физіономіей расплывшеюся, лукаво-веселою, съ докторскими сильно заношенными погонами на парусиновомъ кителѣ.

За офицерами, не отставая, какъ говорится: «мордою въ хвостъ», трусили рысцою казаки-оренбуржцы на своихъ горбоносыхъ, толстоногихъ моштакахъ; поодаль, нѣсколько отставъ, ѣхалъ третій офицеръ, окруженный джигитами.

Вся группа, выбравшись за городъ, втянулась въ узкую дорогу, съ обѣихъ сторонъ которой тѣснились глиняныя стѣны садовъ и сакель, скучныя стѣны, не глядящія на улицу ни однимъ окошечкомъ. Дорога эта то пряталась въ густой тѣни тутовыхъ деревьевъ, то выбѣгала, извиваясь, на открытыя, ярко освѣщенныя солнцемъ, пространства, и была буквально запружена идущимъ и ѣдущимъ пестрымъ азіатскимъ людомъ

Очевидно было, что это усиленное движеніе не было повседневнымъ, а носило на себѣ всѣ признаки событія чрезвычайнаго.

Верстахъ въ двадцати отъ городскихъ воротъ находилось священное урочище «Ишанъ-Даудъ» съ мечетью и могилою святого того же имени.

Въ этотъ день былъ годовой базаръ и праздникъ святаго, весьма чтимаго обывателями. Десятки тысячъ народа со всѣхъ окрестностей и даже за нѣсколько дней пути собираются подъ тѣнью священной тутовой рощи, близъ полуразвалившейся древней мечети, и предаются здѣсь, въ теченіе цѣлыхъ сутокъ, всевозможнымъ забавамъ, доходящимъ до оргій.

Здѣсь и труппы батчей-плясуновъ, и «машкара-базовъ» (актеровъ), дающихъ подъ открытомъ небомъ свои циничныя представленія, здѣсь и чайхане, и походныя кухни со всякими сластями, и укромныя лавочки продавцовъ «бузы», которою можно упиться до полнаго опьяненія, и тайные притоны съ неизбѣжными опіумомъ, ганашею и кукнаромъ, съ доведенными до полнаго истощенія, тѣнеподобными посѣтителями-курильщиками. Здѣсь и пріюты для игры въ кости и эрлянку, гдѣ расчетъ частенько доходитъ до ножей и крови, и удалыя скачки, и другія конныя ристалища... Въ священной рощѣ Ишанъ-Дауда въ этотъ день можно вволю наслушаться сказокъ и пѣсенъ бродячихъ поэтовъ сказочниковъ и священныхъ проповѣдей фанатиковъ-дервиша, однимъ словомъ, здѣсь собирается все, что только можетъ соблазнить азіата; и не попасть въ этотъ день сюда было бы громаднымъ лишеніемъ для каждаго правовѣрнаго.

Цѣлью поѣздки нашихъ офицеровъ также было желаніе посмотрѣть и послушать все, что творится въ этомъ интересномъ пунктѣ.

Азіаты не любятъ торопиться, ѣдутъ обыкновенно самымъ тихимъ шагомъ, а потому наша кавалькада быстро обгоняла все, что попадалось ей на пути.

Много народу шло пѣшкомъ, неуклюже и тяжело шагая по мягкой дорогѣ, въ своихъ массивныхъ ичигахъ съ калошами; большинство же ѣхало верхомъ, по одному и по-двое, на лошадяхъ, ишакахъ *) и даже на быкахъ. Скрипя высокими,

*) Оселъ.

немазанными колесами, колыхаясь коврами и циновками, въ облакахъ густой пыли, катились крытыя арбы, наполненныя народомъ; попадались арбы, закрытыя совсѣмъ уже на-глухо,— это везли женщинъ... Глухой гулъ человѣческихъ голосовъ, разнообразные крики животныхъ, звонъ бубенчиковъ, лязганье желѣзныхъ стремянъ одно о другое... Весь этотъ гамъ стоялъ надо всею полосою извилистой, запруженной дороги, постепенно замирая вдали, въ этомъ жаркомъ, удушливомъ, переполненномъ пылью іюньскомъ воздухѣ.

— Эко, однако, сила ихъ прѣтъ! — озлился, наконецъ, веселый докторъ, круто осаживая свою лошадь, чуть не наскочившую на упавшаго подъ непосильною ношею, растерявшагося, запутавшагося въ своемъ собственномъ вьюкѣ, ослика.—Еще подъ ноги всякая дррянь суется! Кшшш! Анаѳема! А скоро? Не опоздать бы...

— Поспѣемъ!—успокоительно замѣтилъ капитанъ Шолобовъ.—У нихъ вѣдь самая томаша начинается передъ вечеромъ, по прохладкѣ. А солнце то еще высоко... Поспѣемъ!

— А все-таки лучше бы поскорѣе! Ей Богу, дышать нечѣмъ! Тамъ насъ Ибрагимка ждетъ... ковры разостлалъ, чаю, айрану холоднаго приготовилъ. Господи, какъ пить хочется!.. Дай-ка коньячку глоточекъ!

Капитанъ молча полѣзъ въ объемистый, сѣдельный кобуръ, впытащилъ оттуда фляжку и передалъ доктору.

— А самъ что же?

— Не хочу!

— Хорошо! Этакъ, знаешь, уравновѣшиваетъ температуру... Послушай, Шолобовъ, какъ ты думаешь?.. Безъ большой вѣроятности впасть въ ошибку, не лучше-ли намъ... то-есть, я хочу сказать: не дѣлаемъ-ли мы маленькую глупость—съ этою поѣздкою?

— А что?

Капитанъ удивленно вскинулъ глаза на своего спутника.

— Да вотъ... Какъ бы намъ не влетѣть! До лагеря двадцать верстъ, да какихъ верстъ — тутошнихъ, клюкою, чай, мѣреныхъ... народъ дикій. Ишь, какими волками глядятъ на насъ!.. А тамъ, при усиленномъ возбужденіи парами ароматовъ Востока и прочаго... чикъ—и готово!

Шолобовъ улыбнулся уже во весь ротъ.

*

— Что мы съ ними впятеромъ подѣлаемъ? —продолжалъ докторъ, сильно понижая голосъ, чтобы, молъ, казаки, нижніе чины, не слыхали.—Я, вѣдь, тѣхъ, нашихъ барантачей не считаю... Народъ не надежный!

Докторъ показалъ нагайкою на джигитовъ.

— Ничего... не въ такихъ бывали!

— Я, вѣдь, не къ тому... Ахъ, бестія! Ну, посмотри ты, Иванъ Алексѣевичъ, на эту образину... Вотъ субъектецъ!

Прижавшись вплотную, словно вдавившись спиною въ стѣну, вытянувъ впередъ сухія жилистыя руки, стоялъ старый, оборванный нищій, съ лицомъ, до ужаса испорченнымъ проказою. Его воспаленные глаза, затянутые слѣпымъ, бѣловатымъ налетомъ, смотрѣли впередъ, взоромъ мертвенно-неподвижнымъ; беззубый, изъѣденный болѣзнью ротъ судорожно шевелился, испуская какіе-то странные, гортанные звуки. Лохмотья едва-едва прикрывали худое, какъ скелетъ, исполосованное рубцами—тѣло несчастнаго.

Шолобовъ задержалъ коня и бросилъ нищему серебряную монету. Тотъ не замѣтилъ подаянія. Какой-то мальчишка, нырнувъ, какъ ящерица, между ногами лошадей, поднялъ деньги и сунулъ монету въ руку старика, сказавъ что-то по-своему... Тотъ ощупалъ поданное, на его лицѣ появилось выраженіе какого-то озлобленнаго ужаса. Онъ вскрикнулъ, швырнулъ монету далеко отъ себя, съ такимъ движеніемъ, какимъ стряхиваютъ ядовитое насѣкомое, и торопливо началъ вытирать эту руку о землю.

— Видѣлъ?—шепотомъ произнесъ докторъ.

— Видѣлъ!—покойно отвѣтилъ Шолобовъ.

— Фа-а-анатикъ!—протянулъ толстякъ, перегибаясь съ сѣдла назадъ, чтобъ еще разъ взглянуть на скрывающуюся въ пыли фигуру нищаго.

— Сумасшедшій! — пожалъ плечами капитанъ.—Этихъ намъ не переучить, не передѣлать... Такіе доживутъ свое и вымрутъ, мало-по-малу, нашими врагами. А вонъ тѣ... что камнемъ въ насъ сейчасъ швырнули...

Иванъ Алексѣевичъ показалъ въ сторону, гдѣ изъза гребня плоской крыши выглядывало нѣсколько миловидныхъ, дѣтскихъ головокъ.

— Тѣ, —продолжалъ онъ, — уже будутъ совсѣмъ иного

взгляда: поприпвыкнутъ къ намъ, обрусѣютъ,—увидишь. То-есть, мы-то съ тобою, можетъ быть, и не дождемся!

— Развѣ такъ долго?

Добрались до перекрестка.

Это было уже почти на половинѣ дороги. Здѣсь. на всѣхъ четырехъ углахъ, были устроены навѣсы чайхане, и на глинобитныхъ приступкахъ, на войлокахъ и камышевыхъ циновкахъ лежали груды маленькихъ дынь и оранжеваго переспѣлаго урюка (абрикосовъ), въ глубинѣ виднѣлись колоссальные самовары, испускающіе цѣлыя облака чернаго дыма. Острый запахъ горѣлаго, кунжутнаго масла обличалъ по близости присутствіе харчевни.

Не только мѣста подъ навѣсами, но даже вся площадка перекрестка была загромождена сплошь отдыхающими пилигримами. Ни пройти, ни проѣхать, положительно не было никакой возможности.

— Хошь (раздайся, посторонись)!—поднялъ нагайку Шолобовъ.

— Хошь! Хошь!—надрывался докторъ, приподнимаясь на стременахъ.

— Хошь!—повторяли казаки, протискиваясь впередъ офицеровъ.

Народъ стоялъ сплошною стѣною, угрюмо смотрѣлъ на русскихъ и не двигался съ мѣста.

— Джигиты сюда!—произнесъ Шолобовъ.

— Постой, голубчикъ, Иванъ Алексѣевичъ, повремени!—заволновался докторъ.—Зачѣмъ крутыя мѣры? Вонъ тамъ, кажется, объѣхать можно... вонъ переулочкомъ, по стѣночкѣ!

— Баловать ихъ не слѣдуетъ! — замѣтилъ Шолобовъ. — расчистить дорогу!—обратился онъ къ подоспѣвшимъ джигитамъ.

Тѣ переглянулись, подняли нагайки высоко надъ своими шапками, поправились въ сѣдлахъ и ринулись въ толпу.

Послышались крики, брань, звонкое щелканіе ремней по твердому и глухое—по мягкому. Скоро, но все-таки съ большимъ трудомъ, удалось освободить небольшое пространство пути, по которому всадники наши могли, вытянувшись гуськомъ, выбраться на болѣе просторное мѣсто.

Въ эту минуту, откуда-то сверху, послышался отчаянный старческій крикъ.

Всѣ невольно обернулись.

На плоской крышѣ, свѣсивъ босыя ноги, сидѣлъ сѣдой, какъ лунь, старикъ, въ громадной свѣтлозеленой чалмѣ. Онъ неистово размахивалъ руками и охрипшимъ отъ напряженія, разбитымъ голосомъ кричалъ что-то, обращаясь къ нашимъ.

— Наль, что ему надо?—спросилъ Шолобовъ.

Третій офицеръ, котораго назвали Налемъ, пріостановилъ своего красиваго, золотисто-бураго жеребца съ бѣлыми—хвостомъ и гривою, прислушался, пристально вглядываясь въ черты старика, и отвѣчалъ:

— Онъ говоритъ... Онъ просто ругается... называетъ насъ, конечно, проклятыми и грозитъ, что святой Ишанъ, навѣрное, разобьетъ насъ параличемъ, за то, что мы ѣдемъ въ его владѣнія!

— Гм! А я думалъ что-нибудь серьезное!—махнулъ рукою капитанъ.

— Самъ сдохни! Самому сто типуновъ на языкъ, подагру къ обѣ лапы и тифусъ-морбусъ въ рожу!—закричалъ уже по-русски докторъ.—Что, не любишь! А не повернуть-ли намъ назадъ, братцы?

— Что, параличъ напугалъ?

Шолобовъ засмѣялся,

— Какъ назадъ?!. Боже сохрани!—тревожно произнесъ Наль.

— Впередъ!—скомандовалъ капитанъ.

И вся кавалькада ускорила шагъ, пробираясь вдоль стѣнки, обгоняя шарахнувшуюся въ сторону вереницу вьючныхъ верблюдовъ.

Одинъ изъ джигитовъ незамѣтно отсталъ отъ кавалькады, постоялъ минуту на мѣстѣ и затѣмъ повернулъ назадъ, безпрестанно оглядываясь—не замѣтили-ли молъ его отсутствія.

А уже издали доносился глухой, словно отдаленные раскаты горнаго грома, гулъ многотысячной толпы, собравшейся на святомъ мѣстѣ, и въ этомъ гулѣ отчетливо слышались удары большаго барабана, громыханье бубновъ и дробное рокотаніе литавръ.

II. „Наль“.

Года три тому назадъ къ намъ въ батальонъ прибылъ изъ Петербурга новый товарищъ.

Явился онъ къ командиру батальона—такой щеголеватый, чистенькій, въ мундирѣ съ иголочки и чуть что не въ лаковыхъ сапожкахъ. Отъ его носовыхъ платковъ, изъ тонкаго батиста, и даже отъ безукоризненной бѣлизны перчатокъ—пахло духами; а самъ онъ былъ такой хорошенькій, словно дѣвушка переодѣтая; да и движенія его всѣ были ловкія, грандіозныя, а голосъ—симпатичный контральто, словно у ребенка, который пытается басить, чтобы показать, что онъ уже совсѣмъ взрослый.

Подумали мы сначала, увидавъ такую куколку-цацку, что это изнѣженный баричъ, богатый маменькинъ сынокъ, бѣлоручка, которому у насъ скоро все надоѣсть и опротивѣетъ, да и не подъ силу ему будетъ наша суровая, полная тяготъ и лишеній боевая жизнь,—но скоро убѣдились въ совершенно противномъ. Пріѣзжій оказался такимъ молодцомъ, такимъ славнымъ, лихимъ товарищемъ, что, менѣе чѣмъ въ мѣсяцъ, завоевалъ и общую любовь, и даже общее уваженіе, ибо къ нему нельзя было отнестись какъ къ неопытному новичку, а безъ риска можно было дать, какое угодно, назначеніе.

Новый товарищъ нашъ, словно на лету, легко схватывалъ и усваивалъ себѣ боевой опытъ, отлично владѣлъ оружіемъ, а конемъ—такъ даже на удивленіе туземцевъ.

Воспитывался онъ, не помню въ какомъ, только въ одномъ изъ привилегированныхъ заведеній, чуть-ли не въ пажескомъ. Папаша его, какъ говорилъ онъ, былъ очень богатъ, конюшня ихъ въ Петербургѣ была полна хорошими лошадьми. Свой манежъ, свои берейторы; чуть не каждое утро ходили учителя фехтованья, и вообще воспитаніе давалось ему какое-то средневѣковое, рыцарское, только съ тою разницею, что и науками занимались усиленно. Говорилъ онъ на иностранныхъ языкахъ, даже на англійскомъ, увѣрялъ, будто знаетъ и по-индійски. Вообще у него, въ этомъ отношеніи, были замѣчательныя способности: менѣе чѣмъ въ годъ, онъ совершенно свободно овладѣлъ татарскимъ языкомъ и даже нѣсколькими мѣстными нарѣчіями, объясняя намъ, что будто бы ему въ этомъ

много помогали нѣкоторыя теоретическія занятія еще въ Петербургѣ.

Привезъ онъ съ собою много книгъ, все больше объ Индіи и древней Азіи. Иногда, по вечерамъ, онъ читалъ и намъ кое-что, разъ какъ-то даже цѣлый рядъ отрывковъ изъ «Рамаяны и Магабарату». Офицеры, не выпивши ни рюмки, цѣлую ночь просидѣли, слушая эту чудную сказку, даже маіоръ Крыса одобрилъ, сказавъ, что «составлено удивительно, и все какъ слѣдуетъ, даже и насчетъ прочаго... гм!..» При этомъ маіоръ толкнулъ подъ бокъ сосѣда-доктора, и такъ энергично, что тотъ даже немного обидѣлся.

Съ этого раза назвали мы чтеца Налемъ. Такъ онъ и пошелъ съ тѣхъ поръ: «Наль, да Наль». Скоро, пожалуй, только въ спискахъ останется: «Подпоручикъ Рубанъ-Опальный, Сергѣй Николаевичъ, сынъ отставнаго гвардіи генерала, изъ дворянъ Тамбовской губерніи, родился 18... и пр., и пр., и пр.», какъ оно полагается по закону, во всякомъ правильномъ и по формѣ составленномъ послужномъ спискѣ.

Сергѣй Николаевичъ обладалъ очень хорошими матеріальными средствами, но его богатство, особенно по сравненію съ состояніемъ офицерскихъ кошельковъ, періодически только наполняющихся остатками отъ вычетовъ изъ третнаго жалованья, нисколько не тяготило товарищей, не кололо бѣднякамъ, такъ сказать, глаза. У него было удивительно много такта въ этомъ отношеніи и способности примѣняться къ обстановкѣ.

Натура «Наля» была увлекающаяся—порохъ да и только! Онъ былъ нервно-вспыльчивъ, но за-то и добръ безпредѣльно, а главное, послѣ вспышки, обнаруживалъ такую полную и скорую готовность къ примиренію, такъ искренно извинялся передъ тѣмъ, на кого обрушилась его вспышка, что подъ конецъ никто даже и не обижался, а такъ, просто скажутъ ему, бывало: «Ну, остынь, кипятокъ!» тѣмъ дѣло и кончается.

Въ свою же очередь, новый товарищъ нашего немногочисленнаго боевого кружка обладалъ удивительною способностью привязывать къ себѣ, подчинять другихъ своему миротворному вліянію. Поссорится-ли кто иной разъ, бывало, на смерть, Сергѣй Николаевичъ такъ просто и естественно находилъ точку примиренія, такъ умѣлъ поставить дѣло, что, смотришь, враги

уже чокаются стаканами и цѣлуются, да еще говорятъ при этомъ: «Вотъ, было, мы съ тобой глупостей надѣлали-бы!»

Храбростью у насъ удивить было нельзя. Храбрость или, называйте, какъ хотите, смѣлость, отвага, нервная дрессировка,—все это были качества отрицательныя. Такъ должно было быть. Но у Рубана это качество проявлялось въ такой красивой формѣ, что имъ нельзя было не любоваться.

Когда, подъ усиленнымъ непріятельскимъ огнемъ, онъ, не прячась въ закрытіе, спокойно наблюдалъ за происходящимъ,—въ этомъ спокойствіи не чувствовалось ни малѣйшей рисовки, ни признака желанія бравировать; а когда ему кричали: «Спрячься! Чего торчишь на убой!» — онъ такъ же спокойно слѣдовалъ совѣту, не спѣша направляясь къ приглашавшему.

Ловко и лихо владѣя конемъ и оружіемъ, онъ поражалъ своими энергичными и смѣлыми вылетами изъ рядовъ, и всегда это выходило кстати, какъ будто и нужно было такъ, а не ради джигитства и удали. Но не подумайте, что нашъ любимецъ былъ кровожаденъ. Нисколько! Частенько дуло его оружія осталось незакопченнымъ послѣ боя, какъ и до него.

Но при всѣхъ добрыхъ и пріятныхъ качествахъ Наля, въ немъ было и что-то странное, заставлявшее не разъ задумываться нашего доктора, очень ученаго человѣка и при этомъ одареннаго большою проницательностью въ постановкѣ діагноза.

Разъ съ Налемъ былъ случай, который положительно привелъ насъ всѣхъ въ восторгъ, а вслѣдъ за симъ въ крайне безпокойное недоумѣніе.

Дѣло происходило такъ:

Рота, въ которой находился Рубанъ, попалась въ западню. Она была атакована совершенно неожиданно съ трехъ сторонъ. Массы конныхъ вынеслись изъ балки, отхвативъ горсть нашихъ солдатъ могучимъ, энергично надвигавшимся кольцомъ. Рота быстро свернулась въ каре и встрѣтила врага залпомъ. Но вѣдь тогда у насъ не было скорострѣлокъ,ружья заряжались съ дула, шомполами, бумажными патронами, и повторять этотъ залпъ не было уже времени. Когда разсѣялся дымъ, конскія морды, съ раздувающимися ноздрями, съ глазами, вытаращенными отъ ужаса, а за ними ряды загорѣлыхъ, азіатскихъ лицъ и сверкающаго на солнцѣ желѣза кривыхъ шашекъ показались передъ самою щетиною нашихъ штыковъ.

Нѣсколько всадниковъ прорвали ряды и уже рубились внутри, падая одинъ за другимъ подъ ударами штыковъ и прикладовъ. Завязалась отчаянная, жаркая рукопашь,—но не на долго. Наши удержались, однако, подвинулись назадъ, шаговъ на сто.

Снова развернулось пустое пространство, отдѣляющее насъ отъ враговъ, а тѣ строились, правильно сжимаясь въ массы, готовясь повторить нападеніе.

Опытный офицеръ, командиръ роты, замѣтилъ недалеко неглубокій суходолъ, усѣянный крупными валунами; тамъ, за ихъ прикрытіемъ, конечно, легче было отстаивать ся. И вотъ, по его командѣ, рота начала медленно отступать по указанному направленію, производя, на ходу, пальбу рядами.

Суходолъ-то мы заняли, но тѣмъ временемъ подошла непріятельская пѣхота; кромѣ того, за спинами многихъ всадниковъ оказались тоже пѣшіе вооруженные люди, сидѣвшіе цѣпко на крупахъ лошадей. Изъ-за кургана влѣво—появились пестрые значки на длинныхъ древкахъ, и между ними громадный, клинообразный значекъ зеленаго цвѣта, съ чернымъ конскимъ хвостомъ подъ копьемъ и мѣднымъ шаромъ наконечника... Хорошо намъ знакомый значекъ самого муллы Алемъ-Кула.

Дѣло, значитъ, предстояло не шуточное. Мы имѣли передъ собою опытнаго полководца и знали, что съ нимъ не менѣе шести тысячъ, а противъ него только одна рота, да и то далеко не полнаго состава.

Замѣтивъ и оцѣнивъ по достоинству нашу позицію, мулла Алемъ-Кулъ рѣшилъ не рисковать болѣе своими людьми, а взять насъ, что называется, изморомъ; а такъ какъ подкрѣпленіе къ намъ могло придти не скоро, да надо было ухитриться прежде увѣдомить о нашемъ положеніи, что признавалось невозможнымъ, то положеніе это было незавидное. Это, конечно, сознавали ясно не только офицеры, но и каждый солдатъ, и на всѣхъ лицахъ можно было ясно прочитать одно рѣшеніе:

«Попались—такъ надо помирать!»

И вотъ началась, извѣстная въ военныхъ лѣтописяхъ, а у солдатъ перешедшая въ «былину» четырехдневная осада скопищами Алемъ-Кула горсти бѣлыхъ рубахъ, на балкѣ Аккъ-булакъ.

«Акбулакское отсиживаніе».

Во время этой осады и совершился тотъ загадочный случай съ нашимъ товарищемъ.

Засѣли мы за валунами, подработавъ себѣ немного и искусственное закрытіе; враги заняли тоже хорошія позиціи, облегавшія насъ теперь уже со всѣхъ сторонъ, а раздѣляла насъ, накаленная солнцемъ, сѣрая, каменистая полоса, и на этой полосѣ, между пестрыми трупами узбековъ, ярко выдѣлялось нѣсколько бѣлыхъ рубахъ, невольно оставленныхъ на мѣстѣ во время отступленія къ суходолу.

Судя по недвижности, это были трупы. Ихъ изуродовать еще не успѣли; головы были на своихъ мѣстахъ, а теперь врагамъ уже трудно было выполнить надъ павшими этотъ варварскій обычай. Тѣла убитыхъ оказались подъ защитою нашихъ же ружей, и пытавшіеся подобраться къ тѣламъ варвары немедленно платились за подобныя попытки жизнью. Въ свою очередь и намъ нельзя было добраться до тѣлъ, такъ какъ разстояніе между тѣлами и вражескою линіею было вдвое меньше нашего.

Затихло что-то. Не стрѣляютъ наши, не дымятъ и гребешки вражьихъ балокъ. Бываетъ иногда такъ, минутами... Солнце палитъ во всю, заливая жгучими лучами борцевъ, и эти трупы между ними, и золото цвѣтныхъ, шитыхъ халатовъ, и бѣлыя рубахи, ничкомъ лежащія, загорѣлымъ затылкомъ кверху. И вотъ одна между ними начала шевелиться, приподнялась на локоть, и блѣдное лицо, съ кровавою полосою на лбу, обернулось въ нашу сторону.

Глухой ропотъ пронесся по рядамъ... тихо, чуть слышно, но въ этомъ ропотѣ послышалось ясно слово: «вылазка».

— Смирно! — раздалась команда капитана Бирбаума.— Не смѣть!

Ропотъ стихъ, закончившись чьимъ-то безнадежнымъ «э-эхъ!» А одинъ солдатикъ, сложивъ руки около рта рупоромъ, какимъ-то пронзительнымъ голосомъ закричалъ:

— Найденовъ!.. Ползи—коли сможешь!..

Крикъ этотъ, очевидно, долетѣлъ до слуха несчастнаго. Тотъ сдѣлалъ страшное усиліе, встрепенулся всѣмъ тѣломъ, словно рыба, выброшенная на берегъ, проползъ шага два и снова упалъ лицомъ въ землю.

Крикъ досады и злости вырвался изъ-за гребней, занятыхъ врагами. Нѣсколько джигитовъ выскочили, махая шашками У насъ загремѣли выстрѣлы.

Опять стихло. Медленно, томительно медленно разсѣивался пороховой дымъ.

— Не тронули!.. Эвося, двое попались!.. Лежатъ!.. Нашъ цѣлъ!.. Слава Тѣ, Господи!..—успокоительно загудѣло по нашимъ рядамъ.

И странно! Общее положеніе словно было забыто; главная цѣль отошла на второй планъ, все стушевалось передъ этимъ раненымъ Найденовымъ. Роковымъ вопросомъ дня была судьба оставленнаго солдата.

А солнце близилось къ западу, и синеватыя тѣни камней удлинялись и удлинялись, рѣзко очерчиваясь на покраснѣвшемъ фонѣ накаленныхъ песковъ.

Наступитъ ночь. Подъ ея покровомъ защита этого раненаго, защита отъ поруганія тѣлъ павшихъ товарищей будетъ немыслима.

И это всѣ мы понимали, всѣ—какъ одинъ.

— Эхъ, Найденовъ Найденовъ!.. Пропадетъ твоя голова!—послышался знакомый голосъ того-же солдатика. — Землякъ вѣдь,—какъ бы объяснилъ онъ свое исключительное участіе—изъ одной волости!

Тоскливое волненіе овладѣло всѣми.

Медленно, страшно медленно спускалось солнце, обливая все кроваво-краснымъ, пожарнымъ свѣтомъ, и бѣлыя рубахи, неподвижно лежащія на пескѣ, особенно рубаха Найденова, все ярче и ярче обрисовывались на своихъ мѣстахъ, или, вѣрнѣе, глаза наши особенно остро различали ихъ, между грудами цвѣтныхъ одеждъ и красныхъ бешметовъ регулярныхъ пѣхотинцевъ муллы Алемъ-Кула.

И какъ нарочно, сно повсюду надолго стихла пальба, кругомъ воцарилась какая-то непонятная тишина, словно здѣсь не было ни одной живой души, или оба стана подчинились волшебному оцѣпенѣнію.

Паль разстегнулъ поясъ съ револьверомъ и осторожно положилъ его на камень; затѣмъ онъ отцѣпилъ шашку,—и не успѣли спросить его даже, что онъ собирается дѣлать, какъ уже разстояніе шаговъ около десяти отдѣляло его отъ нашей линіи

Онъ шелъ, не торопясь, твердо, какъ всегда, граціозною походкою, и шелъ прямо по направленію къ раненому.

И ни одного выстрѣла ему навстрѣчу... Только по всему гребню вражеской засады—появились изумленныя головы, въ чалмахъ и косматыхъ шапкахъ.

А Наль все шелъ.

Вотъ онъ уже у тѣла... Вотъ наклоняется,—сильнымъ движеніемъ поднимаетъ его подъ мышки, видимо хочетъ вскинуть на плечи,—трудно, невозможно. Онъ идетъ назадъ; ноги несчастнаго волочатся по землѣ, поднимая густую, красноватую пыль, голова безпомощно свѣсилась. Изъ груди тяжело раненаго—слышенъ стонъ.

Наль идетъ очень медленно, очень! Невыносимо медленно!.. Онъ словно вовсе не подвигается впередъ.

— Скорѣе же!—крикнулъ кто-то межъ нами.

— Скорѣе! Скорѣе!..—послышались задыхающіеся голоса.

И эти звуки разомъ нарушили общее оцѣпенѣніе. Въ рядахъ враговъ раздались пронзительные дикіе вопли, подхваченные тысячами голосовъ. Треснулъ выстрѣлъ... другой... третій. По всѣмъ линіямъ загремѣла безпорядочная, торопливая пальба. Узбеки группами повыскакали изъ засады, пытаясь остановить смѣльчака, отнять вырванную изъ ихъ рукъ добычу. Но уже было поздно! И спасеннаго, и спасителя подхватили десятки рукъ и буквально внесли въ окопы.

Капитанъ оставался все время на своемъ посту, внимательно слѣдя за клубами дыма и вспышками вражескихъ огней. Онъ словно не замѣчалъ даже подвига своего товарища. Только, когда стемнѣло уже окончательно, и, теперь уже, по азіатскому обычаю, на всю ночь стихъ боевой огонь, онъ отыскалъ Наля и наклонился къ нему:

— Какъ же это ты такъ... голубчикъ...

Только и сказалъ старый капитанъ и, замѣтивъ утомленную, болѣзненную позу Сергѣя Николаевича, заботливо добавилъ:

— Да ты не раненъ-ли?

— Нѣтъ... только усталъ... очень, очень усталъ... Со мною что-то странное творится... Со мною...

Но Сергѣй Николаевичъ не договорилъ, что такое съ нимъ. Онъ прикрылся съ головою шинелью и заснулъ, а, можетъ быть, и нѣтъ, такъ только прикинулся спящимъ.

Постоялъ надъ нимъ минутку капитанъ.

«Что такое съ нимъ?» думаетъ.—Сережа, а Сережа!

Онъ нащупалъ его руку подъ складками шинели... нашелъ. Рука Наля отвѣтила ему покойнымъ, дружескимъ пожатіемъ.

«Странно!» подумалъ капитанъ, и неслышно шагая въ своихъ мягкихъ, татарскихъ сапогахъ, пошелъ по линіи, пристально всматриваясь въ непроницаемую темноту южной, удушливой ночи.

Послѣ уже, спустя мѣсяца два, а, можетъ, больше, докторъ намъ очень обстоятельно и толково объяснилъ все происшедшее. Онъ говорилъ, что часто рѣшительность и нервная отвага,—онъ это называлъ особеннымъ развитіемъ и чувствительностью нервной системы—очень понятно выходило,—такъ вотъ, эта рѣшительность такъ, молъ, дѣйствуетъ на другихъ, что совсѣмъ подчиняетъ. Примѣры приводилъ: напримѣръ, встрѣчу съ львомъ—араба, когда оба долго и спокойно смотрѣли другъ другу въ глаза, и, наконецъ, левъ не выдержалъ, повернулся и ушелъ. Наль тоже тутъ былъ и со многимъ соглашался, но тутъ вышелъ странный казусъ:

Попался въ плѣнъ Касимъ-Берды-Ханъ, одинъ изъ свиты Алемъ Кула. Онъ именно командовалъ пѣхотою подъ Акъ-Булакомъ, такъ вотъ онъ узналъ Сергѣя Николаевича и спрашивалъ его: кто это другой съ нимъ былъ, когда за тѣломъ они ходили? Такой высокій старикъ, въ длинной бѣлой одеждѣ и въ темной чалмѣ? Онъ все руку поднималъ и грозилъ имъ, а самъ смотрѣлъ такъ на нихъ, что они словно замерли. И свѣтъ шелъ отъ старика длиннымъ лучомъ, прямо къ нимъ въ завалы, а кругомъ вдругъ такъ все потемнѣло, что кромѣ этого луча и чуднаго старика они больше ничего не видѣли. Потомъ старикъ пропалъ. У гяуровъ закричали, и мы, молъ, тоже очнулись, да уже поздно было.

Вотъ о чемъ спрашивалъ плѣнный Касимъ-Берды-Ханъ. Но уже тутъ и докторъ ничего не могъ ему отвѣтить.

— Галлюцинаціи...—началъ было онъ.

— Такъ и ты его видѣлъ?—спросилъ Берды-Хана Наль, положа ему руку на плечо.

— Видѣлъ, и другіе наши видѣли... Вотъ такъ, какъ тебя

теперь вижу...—тихо, замѣтно оробѣвъ, съ дрожью въ голосѣ произнесъ плѣнникъ.

Онъ отошелъ подальше отъ Наля, забился въ самый уголъ шатра и не выходилъ оттуда до вечера,—до вечернаго намаза, во время котораго молился особенно усердно, бормоча исключительно изреченія, охраняющія отъ злыхъ чаръ и всякихъ заклятій.

Сергѣй Николаевичъ тоже разстроился немного. Онъ разсказывалъ, что помнитъ только минуту, когда шагнулъ за гребень, а больше ничего. Смутное что-то, словно во снѣ, давно забытомъ. И помнится—и ничего возстановить нельзя. Вопросъ Берды-Хана какъ будто согласовался немного съ этимъ сномъ, и это его смутило.

Но дѣло-то въ томъ, что послѣ Акъ-Булацкаго сидѣнья у нашего любимца была жестокая горячка и длилась эта проклятая болѣзнь больше мѣсяца; а въ его головѣ, какъ объяснилъ докторъ, конечно, все перепуталось: и явленія горячечнаго бреда, и кое-что, можетъ быть, изъ дѣйствительности, и разобраться во всемъ этомъ невозможно, да и нѣтъ никакой надобности. Съ этимъ мы всѣ охотно согласились, а все-таки вокругъ Наля съ этихъ поръ образовалась какая-то дымка таинственности. Намъ казалось, что если и бываютъ на землѣ чародѣи, или что-нибудь въ этомъ родѣ, ну, вотъ, какъ въ сказкахъ, такъ это, именно такъ начинается.

Солдаты же прямо называли поручика Рубанъ-Опальнаго «заговореннымъ»—слово такое знающимъ, что помогаетъ только до тѣхъ поръ, пока не открылъ это слово другому, а открылъ—готово! Отъ первой пули самому валиться надо.

Солдаты, конечно, народъ темный, они все объясняютъ по своему. Суевѣріе имъ вполнѣ извинительно.

Возвращаемся же къ разсказу.

III. Улькунъ-Томаша *).

На невысокомъ, съ одной стороны обрывисто-крутомъ, съ другой—пологомъ холмѣ, стояла старая полуразвалившаяся мечеть «Пшанъ-Даудъ», окруженная, словно гнѣздами ласточекъ, безчисленными глинобитными пристройками, служащими въ ба-

*) Большое народное празднество (томаша—зрѣлище).

зарные дни лавками для товаровъ и пріютами богомольцевъ. Подъ обрывомъ холма протекалъ глубокій арыкъ, развѣтвлявшійся ниже на множество отдѣльныхъ, оросительныхъ канавокъ. Священная роща начиналась отъ подножья холма и тянулась до самой дороги, покрывая сплошною сѣнью своихъ вѣковыхъ вѣтвей—значительное пространство. Столѣтніе тутъ и карагачи раскинули зонтомъ свои роскошныя кроны, нижнія вѣтви которыхъ пестрѣли подвѣшенными приношеніями богомольцевъ: цвѣтными тряпками и лентами, платками и разными кустарными бездѣлушками, въ видѣ амулетовъ и прочаго. Сама мечеть, по народнымъ преданіямъ, построенная еще задолго до Тимуридовъ, обращена была своимъ высокимъ фронтономъ на дорогу. На фронтонѣ остались еще слѣды когда-то роскошной поливенной работы, древней маіолики. Можно было даже разобрать кое-какія изображенія священныхъ изреченій и воззваній. Колоссальная рѣзная по дереву дверь, цѣлые ворота, вела внутрь мечети. Дверь эта, окованная грубо желѣзомъ, была растворена настежъ, и въ глубинѣ мечети,—подъ темнымъ, закоптѣлымъ сводомъ, виднѣлся подвѣшенный на цѣпяхъ громадный мѣдный котелъ, покрытый тонкою гравировальною работою. Надъ дверью, на длинномъ древкѣ, неподвижно висѣла въ воздухѣ тяжелая, истрепанная временемъ, темная ткань, а надъ нею длинный конскій хвостъ и нѣсколько мѣдныхъ, пустыхъ шаровъ, производящихъ при всякомъ движеніи воздуха странные, унылые звуки — это было, когда-то грозное, знамя самого Дауда, обошедшее, по народнымъ преданіямъ, полміра.

Ниже, по эту сторону арыка, разстилалась большая открытая площадь для конскихъ ристалищъ и другихъ требующихъ простора забавъ, кругомъ этой площади примыкали частные сады и сакли сосѣднихъ обывателей, обнесенныя глинобитными стѣнками. У самой дороги расположились нѣсколько просторныхъ караванъ-сараевъ, съ жилыми помѣщеніями и навѣсами для лошадей и арбъ.

Едва только наши офицеры подъѣхали къ мѣсту празднества, какъ на встрѣчу имъ изъ толпы вышли двое пѣшихъ джигитовъ-слугъ Аксакала-Ибрагимъ-бая.

— Таксыръ проситъ пожаловать сюда, за нами!—сказалъ одинъ изъ нихъ, кланяясь Шолобову

— Таксыръ Ибрагимъ-бай благодаритъ Аллаха за то, что онъ не изгналъ изъ сердца вашего благого желанія почтить его коверъ своимъ посѣщеніемъ! — выкрикивая нараспѣвъ, произнесъ другой.

— А гдѣ же этотъ самый коверъ? — полюбопытствовалъ докторъ, котораго продолжительная верховая ѣзда порастрясла изрядно.

— За нами, просимъ пожаловать!

Джигиты побѣжали впередъ, расталкивая народъ довольно безцеремонно. Всадники тронулись за ними.

По мѣрѣ проѣзда русскихъ, народныя массы стихали, прерывая свой разговоръ, съ любопытствомъ провожали кавалькаду глазами; нѣкоторые, видимо, боролись между робкимъ желаніемъ приподняться для почтительнаго кулдаха и сохраненіемъ презрительной важности, но такъ какъ джигиты не особенно энергично приглашали къ почтенію, то послѣднее осилило.

Сотни мальчишекъ, юрко шныряя въ толпѣ, проскакивая подъ брюхами лошадей, точно собаченки, сопровождали русскихъ всю дорогу. Эти, не стѣсняясь, дѣлали вслухъ рѣзкія замѣчанія по поводу иностранцевъ и ругались, также нисколько не стѣсняясь. Въ одномъ мѣстѣ, чтобы пробраться къ узенькому мостику черезъ арыкъ, надо было потревожить цѣлую компанію, расположившуюся вокругъ бродячаго старика-сказочника. Офицеры было остановились, чтобы послушать тоже, но разсказчикъ замолчалъ и прикрылъ свое лицо полою рваного халата.

Потихоньку добрались и до «ковра».

Коверъ этотъ или, правильнѣе, много ковровъ и стеганныхъ ватныхъ одѣялъ были разложены подъ густою тѣнью дерева и высокаго намета, натянутаго на двухъ расписанныхъ красками и золотомъ кольяхъ. На коврахъ лежали грудами шелковыя цилиндрическія подушки; посрединѣ — стояло десятка два мѣдныхъ и глиняныхъ блюдъ съ урюкомъ, фисташками, сушеными фруктами и разнымъ азіатскимъ лакомствомъ; въ сторонѣ, неподалеку, поднимался густой столбъ смраднаго дыма: тамъ, на угольяхъ догорающаго костра, чернѣлъ громадный котелъ съ пловомъ, прикрытый деревянною доскою, а поверхъ еще конскою попоною, дабы рисъ упрѣлъ хорошенько.

Не смотря на солидные размѣры котла, полнаго до краевъ, тутъ же на привязи стоялъ еще живой баранъ, тупо глядя на огонь и моргая бѣлыми рѣсницами при каждомъ рѣзкомъ звукѣ о камень ножа, подвергнутаго дюжимъ, полуголымъ сартомъ.

Салъ хозяинъ, красивый, не старый еще брюнетъ, въ ярко-желтомъ шелковомъ халатѣ и шалевомъ тюрбанѣ, двинулся къ прибывшимъ, сложилъ руки на животѣ, согнулся и, сладко улыбаясь, сталъ поочередно пожимать между двумя ладонями протянутыя ему руки гостей.

— Вотъ мы къ тебѣ, Ибрагимъ, и пріѣхали!—началъ докторъ, расправляя затекшія отъ верховой ѣзды ноги.

— Очень радъ, очень радъ!.. Я даже заболѣлъ, думая, что васъ что-либо удержитъ отъ вашего благого намѣренія, но узнавъ, что вы благополучны въ пути ко мнѣ, вновь выздоровѣлъ, и душа моя просіяла неземнымъ счастьемъ! Очень радъ, очень радъ!

— Эко поетъ цвѣтисто!—замѣтилъ Шолобовъ.—А у васъ тутъ, бай, хорошо!.. Чаю и кальянъ!

Одинъ изъ прислужниковъ, красивый мальчикъ въ долгополой красной рубашкѣ и съ мелкими косичками, выбивающимися изъ-подъ вышитой золотомъ тюбетейки, стремительно кинулся исполнять приказаніе.

Паль подошелъ къ стволу дерева, оперся о него спиною и задумчиво всматривался въ толпу, машинально скручивая себѣ папироску.

Онъ замѣтилъ, что въ этой пестрой, многотысячной толпѣ, живымъ муравейникомъ кишѣвшей вокругъ, насколько могъ видѣть глазъ, происходило что-то странное. Вопреки острому любопытству азіатовъ при видѣ чего-нибудь новаго, толпа не только не сгущалась вокругъ праздничной ставки Ибрагимъ-бая, но напротивъ того: кольцо, охватывающее эту ставку, становилось все жиже и жиже, и скоро образовалась совсѣмъ пустая полоса, расширявшаяся съ каждою минутой. Народныя массы отодвигались отъ нихъ, сгущаясь, въ свою очередь, вокругъ мечети.

Д же тѣ, что расположились по близости, комфортабельными бивуаками, и тѣ стали собирать свои ковры и войлоки и искали себѣ другого, болѣе отдаленнаго отъ русскихъ пункта.

Физіономія Ибрагимъ-бая тоже нѣсколько измѣнилась: въ

его острыхъ, подвижныхъ чертахъ лица появилось безпокойное выраженіе; раза два онъ, будто нечаянно, пытался глубже запрятать за пазуху халата свою серебряную медаль на Станиславской лентѣ, жалованную недавно русскимъ генераломъ, а та, какъ на зло, такъ и вынячивалась впередъ, усиленно сверкая на солнцѣ своимъ свѣтлымъ дискомъ.

«Какъ отъ зачумленныхъ!» — промелькнуло въ головѣ Паля.

— Чего это они?—замѣтилъ и капитанъ странное поведеніе толпы.

Только сибаритъ-докторъ не замѣчалъ ничего, кейфуя на мягкихъ коврахъ и усиленно налегая на угощеніе.

Прошло такимъ образомъ минутъ двадцать.

За это время свободное пространство, отдѣлявшее нашу группу отъ толпы, хотя уже болѣе не расширялось, но и не заполнилось. Общее празднество, казалось, опять вступило въ свое живое теченіе... Кое-гдѣ снова послышалось рокотаніе литавръ, дробь тамбуриновъ, завываніе трубъ и рѣзкіе выкрики машкарабазовъ... У мечети группа странствующихъ нищихъ-проповѣдниковъ затянула въ носъ безконечно длинную, унылую мелодію... За стѣнами высокой сакли незримо захлопали, въ тактъ плясунамъ, должно быть, нѣсколько десятковъ мозолистыхъ рукъ... но все это было теперь далеко не то, что до пріѣзда русскихъ, и когда люди Ибрагимъ-бая, разметая метлами значительное пространство передъ ставкою, стали разстилать особенные ковры для пляски батчей и другихъ представленій въ честь «дорогихъ гостей», и очень немногіе въ толпѣ, побуждаемые страстнымъ желаніемъ посмотрѣть тоже на даровое зрѣлище, тронулись нерѣшительно впередъ, подвигались шаговъ на десять и тотчасъ же опустились на землю.

За то почти на всѣхъ деревьяхъ, на плоскихъ сакельныхъ крышахъ и требняхъ стѣнокъ появились безчисленныя головы любопытныхъ, и послышался подозрительный трескъ сучьевъ, не выдерживающихъ болѣе непосильной тяжести.

А между тѣмъ солнце склонялось къ западу.

Здѣсь сумерки бываютъ коротки; густой мракъ ночи почти разомъ смѣняетъ собою яркій свѣтъ дня... Слуги Ибрагимъ-бая начали заботиться о ночномъ освѣщеніи.

Соорудили невдалекѣ двѣ колоссальныя треноги изъ су-

хихъ жердей, на нихъ укрѣпили котлы съ кунжутнымъ масломъ и напитанными въ немъ ватными оческами; кромѣ того, притащили нѣсколько десятковъ бумажныхъ фонарей и разставили ихъ рамкою вокругъ ковра-арены, на которую уже выступили четыре музыканта въ бѣлыхъ рубахахъ и усѣлись въ рядъ, поджавъ ноги, положивъ передъ собою свои незатѣйливые инструменты.

Ближайшими зрителями готовящейся томаши были, кромѣ нашихъ офицеровъ и ихъ эскорта, слуги и туземные гости Ибрагимъ-бая. Вокругъ ковра набралось все-таки человѣкъ пятьдесятъ, изъ которыхъ половина была вооруженныхъ. Встревоженный чѣмъ-то хозяинъ сталъ понемногу успокаиваться, но не надолго. Вернулся отставшій на перекресткѣ джигитъ, шепнулъ что-то своимъ, тѣ—дальше... Отъ слугъ дошло и до хозяина; тотъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, и прошепталъ:

— Эхъ! Въ недобрый часъ!.. Аллахъ, смилуйся надъ нами... Пронеси бѣду!

Затѣмъ онъ внезапно оживился, хлопнулъ себя по бедрамъ и закричалъ:

— Ну, что же тамъ копаются? Пускай начинаютъ скорѣе!

Около ставки, между двухъ распряженныхъ арбъ, на поднятыхъ кверху оглобляхъ былъ натянутъ большой коверъ въ видѣ шатра, полы котораго достаточно прикрывали все то, что въ немъ происходило. Тамъ мигали огоньки фонарей, и копошилось нѣсколько фигуръ, шелестя шелковыми тканями своихъ костюмовъ; оттуда сильно пахло мускусомъ и другими пряными ароматами Востока. Это была устроена уборная для батчей и труппы актеровъ.

По вызову Ибрагимъ-бая, полы шатра распахнулись. Показалась высокая фигура съ вымазаннымъ сажею лицомъ; эта фигура держала на рукахъ, словно куклу, мальчика лѣтъ двѣнадцати, одѣтаго по-дамски, съ массою мелкихъ косичекъ, украшенныхъ бусами и побрякушками, выбивающимися пестрою бахромою изъ-подъ ярко вышитой золотомъ, островерхой шапочки.

При появленіи батчи, музыканты грянули оглушительную дробь... Машкарабазъ три раза поднялъ мальчика высоко надъ головою и торжественно опустилъ его какъ разъ на средину ковра... Батча, лѣнивымъ движеніемъ рукъ, оправилъ складки

своей одежды, перегнулся тонкимъ, худымъ корпусомъ назадъ, выпрямился снова и медленно, едва передвигая босыя ноги, сталъ описывать по ковру первый кругъ своей пляски.

Слуги и гости Ибрагимъ-бая одобрительно захлопали въ ладоши и прокричали свое привѣтствіе плясуну. Тотъ оживился немного и сталъ съуживать мало-по-малу свой кругъ, спиралью подвигаясь къ центру арены.

— Зажигай!—крикнулъ распорядитель труппы.

Обѣ треноги затрещали и вспыхнули разомъ. Яркое масляистое пламя, поднявшись двумя высокими столбами, далеко освѣтило кругомъ, словно споря своимъ заревомъ съ багровымъ дискомъ заходящаго солнца. Но скоро этотъ дискъ погасъ, и огонь, разложенный руками человѣческими, восторжествовалъ надъ вѣчнымъ свѣтомъ природы.

Повсемѣстно поднялись такіе же столбы пламени. Всюду, въ глубинѣ священной рощи, подъ сводами мечети, подъ навѣсами караванъ-сарая, — вездѣ, гдѣ только копошились люди, загорѣлись миріады огоньковъ: красныхъ, зеленыхъ, бѣлыхъ... Всѣ эти огоньки то группировались по нѣскольку, то разбѣгались врозь, сновали по всѣмъ направленіямъ, придавая общей картинѣ что-то дикое, волшебное, полное чарующей силы и таинственности.

Мѣстами изъ густоты мрака, словно на бѣгу задѣтые фонарнымъ лучемъ, выдвигались дорогія, расшитыя золотомъ одежды, смѣняясь то живописнымъ пестрымъ тряпьемъ нищаго, то металлическимъ блескомъ голаго, словно бронзоваго тѣла... Густые столбы дыма костровъ, багрово освѣщенные снизу, причудливо клубясь, уходили во мракъ ночи, снова появляясь, но уже выше, надъ кронами деревьевъ, тучами стелясь и нависая надъ гульбищемъ, а сквозь прорѣзи этого пожарнаго, дымнаго навѣса тамъ и сямъ сверкали звѣзды Юга, да какія звѣзды!.. Словно брилліанты, нашитые на черное сукно, сверкающіе всѣми переливами радуги... Гдѣ-то кони взбѣсились... Сорвались съ привязей и носятся между кострами, увеличивая общую суматоху. Ихъ ловятъ... Кричатъ... Слышно дикое гиканье и щелканье плетей... Встревоженные мишаки подняли свой возмущающій душу ревъ... И все это: и звуки, и линіи, и краски, свѣтъ и мракъ,—все перепуталось движется и мѣняется, какъ въ гигантскомъ калейдоскопѣ, мель-

кая въ бассейнахъ и прудахъ, въ проточныхъ арыкахъ своими опрокинутыми отраженіями...

— Это тоже музыка?!—не то насмѣшливо, не то и въ серьезъ обратился Шолобовъ къ своему молодому товарищу.

— Да!—не сразу отвѣтилъ тотъ.—Музыка дикая, первобытная, но, безспорно, музыка... Ужъ во всякомъ случаѣ болѣе, чѣмъ наши ротные пѣсенники, которыхъ ты такъ любишь!

— То свое...

— Это тоже свое—для нихъ... Да и для насъ тоже съ тобою, повѣрь, не совсѣмъ чужое!

— Да у тебя, вишь, всѣ азіаты!—вмѣшался докторъ.—По твоему, и Россини, и Шекспиръ... И тамъ чортъ лысый—всѣ одного рода...

Наль улыбнулся и спокойно отвѣчалъ:

— Все человѣчество отсюда...

— Это съ Ишанъ-Дауда, что-ли?

— Нѣтъ, вообще... Тамъ, подальше... Южнѣе... Знаешь, за тѣми горами, до которыхъ мы скоро-скоро доберемся... и которыя насъ, конечно, не удержатъ... отъ...

— Какой ты всегда къ ночи восторженный дѣлаешься!—прервалъ Шолобовъ.

— Компрессъ-бы! — бормоталъ докторъ, шаря рукою по бодносу съ фисташками и выбирая, которыя больше растрескались.

Наль провелъ рукою по своему лицу, снимая этимъ движеніемъ и фуражку, спустился ступенькою ниже и сѣлъ вплотную рядомъ съ Шолобовымъ.

— Со мною что-то опять не ладно!—шепнулъ онъ ему.

— Опять?.. Ну, полно, право! Ты нервничаешь, какъ баба...

— Нѣтъ, я говорю серьезно... Ты вѣдь меня знаешь. Я увѣренъ, что съ нами, нѣтъ, со мною, собственно, сегодня должно случиться что-нибудь особенное... Сегодня начало этого, мною чувствуемаго, но еще неяснаго, далекаго...

— Что-же именно?

— Не знаю... Я буду далеко-далеко отъ васъ всѣхъ!

— Въ плѣнъ что-ли попадешься?

— Нѣтъ, я буду свободенъ, какъ птица, какъ воздухъ...

— Убьютъ, что-ли?

— Нѣтъ, не то...

— Хочешь?!

Шолобовъ отстегнулъ фляжку и протянулъ Палю.

— Смотри! — Рубанъ оттолкнулъ руку капитана, отшатнулся назадъ, словно увидалъ нѣчто, его сильно поразившее, и сталъ пристально всматриваться въ темный промежутокъ между исковерканными временемъ, изрытыми, прогнившими дуплами, вѣковыми стволами ближайшихъ карагачей.

Тамъ, на одно мгновеніе, показалась высокая, бѣлая фигура старика, только мелькнула въ лучѣ краснаго свѣта костра—и скрылась.

— Это уже второй разъ я его вижу!—прошепталъ Паль.

— Здѣсь?

— Нѣтъ, первый разъ тогда, помнишь? Сегодня—второй!

— Я тебя больше брать съ собою никуда не буду,—полусерьезно произнесъ капитанъ.—Ты какъ увидишь эту суть-то азіатскую,—сейчасъ бредить начинаешь. Брось, право!..

— А на Акъ-Булатѣ тоже я бредилъ. Помнишь?

— Ну, что-же?—капитанъ пожалъ плечами.—Это просто случайность и ничего больше. Всѣ старики здѣсь такъ одинъ на другаго похожи. Пустяки!

Отплясавшаго тѣмъ временемъ батчу смѣнилъ фокусникъ—огнеглотатель. Этотъ дѣлалъ видъ, что съ наслажденіемъ глотаетъ маленькіе горячіе угольки и потомъ, кривляясь и прыгая, изрыгалъ изъ своего старческаго, беззубаго рта цѣлые фейерверки. Зрители хлопали въ ладоши и ревѣли отъ восторга.

— Загуляла Азія!—толкнулъ въ бокъ казакъ-оренбурецъ своего товарища.

Они стояли почтительно поодаль, вытирая сальные отъ плова пальцы о кожаные шаровары.

— Расходились, лѣшіе!—отозвался тотъ.—А Нурмедка-то неладное привезъ съ дороги!

— Что такое?

— Слышь, онъ отсталъ давеча на майданѣ, такъ тамъ слыхали, будто Муллы-Алемкулова людишки появились, и тутъ, значитъ, ихъ, на этомъ гуляньѣ, видимо-невидимо кишитъ... А, можетъ, и вретъ, кто его знаетъ!

— Ибрагимка нашъ что-то пріунылъ: капитану-бы доложить нужно!

— Самъ уже смекаетъ. Я его знаю: онъ вѣдь по-вѣтру все чуетъ, зоркій. Шепнулъ мнѣ давеча: «Дементьевъ, гляди въ оба; держись къ конямъ ближе; волкъ подъ горою».

— Эвона! Гляди, какой сычъ на мечеть полѣзъ!

— Сшибить бы его оттедова!

На фронтонѣ мечети, ярко освѣщенная заревомъ огней, появилась странная человѣческая фигура. Это былъ дивона, въ яркихъ лохмотьяхъ, весь обвѣшанный предметами своей профессіи: выдолбленными тыквянками, связками амулетовъ и металлическихъ побрякушекъ, ножами всѣхъ видовъ и размѣровъ, — все это колыхалось, шелестѣло и дребезжало при каждомъ малѣйшемъ движеніи юродствующаго фанатика. На его головѣ, поросшей густыми, черными, сбитыми колтуномъ волосами, торчала высокая коническая шапка, опушенная внизу бараньимъ мѣхомъ. Обнаженная, сухая, какъ у муміи, грудь носила слѣды глубокихъ порѣзовъ и увѣчій, наносимыхъ въ минуты религіознаго вдохновенія. Его лицо также было до ужаса изборождено шрамами. Глаза горѣли сумасшедшимъ, изступленнымъ блескомъ. Лѣвою рукою онъ держалъ посохъ, снабженный длиннымъ, трехграннымъ остріемъ; правая, вооруженная громаднымъ бубномъ, потрясала его надъ головою фанатика

Показавшись на фронтонѣ, дивона неистово завопилъ, покрывъ этимъ дикимъ звукомъ все, что слышно было кругомъ, подпрыгнулъ кверху, завертѣлся, изобразивъ изъ себя нѣчто, вродѣ громаднаго, пестраго волчка, и вдругъ ринулся съ высоты внизъ, глухо хлопнувшись о сухую, утрамбованную тысячами ногъ, глинистую почву.

Въ толпѣ пронесся словно рокотъ далекой грозы. Большинство кинулось къ разбившемуся и благоговѣйно окружили его еще содрагавшееся тѣло.

— Очистительную жертву принесъ! — прошепталъ Ибрагимъ-бай.

— Святой! Святой! — послышались голоса въ толпѣ.

— Осмотри сѣдловку и готовь коней! — вполгогоса распорядился капитанъ. — Да не кидайся: дѣлай покойно, вида не подавай! — подбодрилъ онъ метнувшагося было казака.

Всадникъ, въ черной бараньей шапкѣ, появился передъ ставкою, соскочилъ со взмыленнаго коня и почтительно приложилъ руку ко лбу.

Это былъ любимый капитанскій джигитъ, Юнусъ, на его груди блестѣли два георгіевскихъ крестика и медаль.

— Тюра *),—доложилъ онъ.—Я сейчасъ съ Алты-арыка—чуть не попался... Тамъ стоятъ люди Муллы-Алемкула. Самъ Мулла съ войскомъ въ двухъ переходахъ отсюда. Что прикажешь дѣлать?

— Ступай, ѣшь пловъ и пей чай! — хладнокровно отвѣтилъ капитанъ.—Коня вели выводить хорошенько!

— Одна-ако! — протянулъ докторъ. — Вѣдь это мы, что называется, влетѣли!

— Пока еще не совсѣмъ!

Наль пододвинулся къ Ибрагимъ-баю, который сидѣлъ, видимо, подъ гнетомъ всего происходящаго. Аксакалъ былъ блѣденъ и шепталъ молитвы.

Батчи на коврѣ, смѣнившіе огнеглотателя, теперь уже трое разомъ, бойко кружились, подъ аккомпаниментъ дикой музыки.

— Ибрагимъ,—началъ Наль,—мы твои гости!

— Милостью и благодатью ко мнѣ Бога!—отвѣчалъ тотъ, словно избѣгая упорно направленнаго на него взгляда.

— Мы твои гости! — повторилъ молодой офицеръ, выразительно подчеркивая каждое слово.

— Моя голова прежде свалится къ ногамъ вашимъ, чѣмъ оружіе враговъ коснется кого-либо изъ васъ!

— Утѣшенія мало,—философски замѣтилъ докторъ.—Что же мы, однако, медлимъ? Къ чорту эту томашу! На коней, да удирать поскорѣе!

Шолобовъ улыбнулся.

— Удирать уже прошло время,—произнесъ онъ,—теперь надо выкручиваться иначе. Если мы сейчасъ тронемся въ путь, мы и двухъ верстъ не сдѣлаемъ!

Онъ всталъ и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ сторону. Онъ сдѣлалъ это подъ предлогомъ посмотрѣть на музыкантовъ поближе, а главная, настоящая цѣль капитана было объяснить чѣмъ-нибудь болѣе возвышенный голосъ.

— Ибрагимъ-бай!—крикнулъ онъ громко и весело, да такъ крикнулъ, что не одинъ Ибрагимъ-бай могъ его слышать.—У

---

*) Начальникъ.

тебя здѣсь очень хорошо мы почуемъ! Вели, вонъ тамъ, поставить палатку и приготовить постели!

— Что это онъ. Съума сошелъ? — встревожился докторъ

— Онъ знаетъ, что дѣлаетъ!—успокоилъ его Наль:

— Юнусъ, поправь шпору!

Капитанъ поставилъ ногу на ступеньку террасы.

Старшій джигитъ кинулся исполнять приказаніе.

Докторъ не слыхалъ, что говорилъ Шолобовъ джигиту, воспользовавшись этою минутою; до его встревоженнаго слуха долетѣло только, и то вскользь, окончаніе: «понялъ»? И онъ видѣлъ, вмѣсто отвѣта, молчаливый кивокъ юнусовой шапки

Между тѣмъ, вниманіе Наля было привлечено слѣдующимъ обстоятельствомъ. Въ числѣ трехъ пляшущихъ батчей, одинъ особенно выдѣлялся своимъ ростомъ и стройностью формъ. Каждое движеніе его отличалось граціею совсѣмъ не мужскою. Батча все время скрывалъ свое лицо за широкимъ рукавомъ рубахи, и только одни глаза, красивые, черные, какъ угольки, виднѣлись между рукавомъ и металлическими подвѣсками шапочки, закрывавшими даже самыя брови. Двое изъ его товарищей, утомленные продолжительною пляскою, отошли и сѣли рядомъ съ музыкантами; этотъ еще продолжалъ, медленно кружась, легко переступая по ковру босыми ногами, съ подвязанными у щиколотокъ лентами съ бубенчиками.

Что-то знакомое, близкое почувствовалъ Наль въ этихъ глазахъ, устремленныхъ прямо на него.

Батча, описывая кругъ, подошелъ къ самому офицеру и быстро сѣлъ къ нему на колѣни, обнявъ рукою его шею.

Наль вздрогнулъ,—это была женщина.

— Гуль-гуль!—шепнулъ онъ ей на ухо.—Какимъ образомъ?

— Спасайтесь!—также шепнулъ мнимый батча, сорвался со своего мѣста, оживленно закружился, описавъ полкруга по ковру, и незамѣтно юркнулъ въ шатеръ межъ арбами.

Сильно забилось молодое сердце Наля; онъ еще чувствовалъ грубый ароматъ розоваго масла, ощущалъ теплоту стройнаго, худощаваго, юркаго, какъ змѣйка, тѣла своей любимицы. Голосъ Шолобова вывелъ его изъ этого состоянія.

— А! Вотъ и палатка готова! Прекрасно. Лошадей разсѣдлать. Ибрагимъ-бай, спасибо за угощеніе и забаву. Отпусти этихъ. Завтра, съ солнечнымъ восходомъ, мы тронемся въ путь

IV. Совѣщаніе.

Въ то же время, на противуположномъ концѣ на роднаго гульбища, въ дальнемъ караванъ-сараѣ, происходило слѣдующее:

Туда, еще съ разсвѣта, прибыли чужіе люди, человѣкъ восемь, и расположились на отдыхъ. Люди эти были вооружены и сидѣли на добрыхъ, рослыхъ аргамакахъ, крытыхъ, поверхъ сѣдловки, ковровыми попонами. Прибыли они не сразу всѣ, а по одиночкѣ, да еще съ разныхъ сторонъ, а всѣ оказались знакомыми другъ съ другомъ. Старшій мулла Ишакъ-Дауда, столѣтній Годдай-ходжа, какъ узналъ о прибывшихъ, сейчасъ-же самъ пришелъ, съ однимъ изъ нихъ поздоровался, поговорили тихонько, не долго, и велѣли хозяину караванъ-сарая очистить задній большой дворъ отъ чужихъ арбъ, да коней и поглядывать у воротъ, чтобъ посторонніе зря не совались. Полчаса не прошло, какъ со всѣхъ сторонъ стали сходиться разные люди, а мулла у воротъ сидѣлъ. Два слова скажетъ пришедшему, тотъ въ отвѣтъ что-то пробормочетъ и проходитъ во внутрь, сопровождаемый духовнымъ благословеніемъ.

Еще русскіе не пріѣзжали на гульбище; Ибрагимъ-бай только распоряжался объ устройствѣ томаши и угощеніи, а уже въ караванъ-сараѣ набралась такая томаша, что мулла приказалъ не впускать больше. Исключеніе только сдѣлано было для прискакавшаго изъ города—Арыкъ-Аскакала Девлета. Еще вчера, хитрый Девлетъ-бай, первый явившійся къ русскимъ съ изъявленіемъ покорности, важно разъѣзжалъ по базару, въ новопожалованномъ отъ генерала карчевомъ халатѣ и красной лентѣ, а сегодня прискакалъ совсѣмъ какъ простой джигитъ, скромно слѣзъ у входа съ рыжаго, поджараго коня и, низко согнувшись передъ Годдай-ходжа, смиренно подошелъ подъ его благословеніе.

Строго посмотрѣлъ мулла на новоприбывшаго.

— Какія вѣсти?—спросилъ онъ.

— Какія отъ васъ будутъ: по вашимъ и наши! Мы подневольные! — отвѣтилъ Девлетъ, съ глубокимъ вздохомъ.

— Генералъ гдѣ?

— Въ Урдѣ лежитъ: боленъ, сказывали!

Подошелъ тутъ еще одинъ курчавый, черный, какъ сажа, негръ. Служилъ онъ прежде палачомъ у бека. Мужчина лѣтъ

сорока, неуклюже тяжелаго сложенія, видимо, необычайной физической силы.

— Чурекъ тоже прибѣжалъ? — спросилъ онъ у муллы хриплымъ голосомъ.

— Прибѣжалъ?—насмѣшливо передразнилъ его мулла.— Поклониться надо муллѣ, прежде чѣмъ въ разговоръ пускаться!—замѣтилъ онъ, уже болѣе строгимъ тономъ.

— И такъ хорошо! — отмахнулся рукою палачъ и сталъ протискиваться во внутрь караванъ-сарая.

Послѣ полуденнаго намаза, мулла оставилъ свой наблюдательный постъ и самъ отправился во дворъ. Тамъ уже, подъ тѣнью группы карагачей, около прудика, расположился совѣтъ, которому предназначено было, въ этотъ именно день, подъ покровительствомъ святого Ишана-Дауда, рѣшать дальнѣйшія судьбы народныя.

Около двухсотъ человѣкъ собралось сюда со всѣхъ сторонъ, какъ представители родовъ и кишлаковъ. Главное мѣсто занялъ мулла-Годжай, и рядомъ съ нимъ помѣстился одинъ изъ приѣзжихъ всадниковъ, красивый, еще не старый человѣкъ, въ ярко-красномъ, военномъ халатѣ и круто свернутомъ шалевомъ тюрбанѣ. Прочіе сидѣли вокругъ, въ два ряда, плотно одинъ къ другому, безпрестанно передавая изъ рукъ въ руки дымящіеся кальяны. Нѣсколько мальчиковъ, прислужники караванъ-сарая, приносили гостямъ маленькія чашечки зеленаго чая, побрякивая мѣдными узорчато-гравированными кунганчиками.

Мулла-Годжай откашлялся въ руку и началъ:

— Правовѣрные! — произнесъ онъ своимъ слабымъ, уже старческимъ голосомъ.

— Тише, тише!—раздалось кругомъ.—Эй, не греми тамъ! Да тише же, вамъ говорятъ!

— Правовѣрные,—повторилъ мулла,—великій защитникъ страны нашей, мулла-Алемкулъ, — да пошлетъ Аллахъ безмѣрную благодать на его священную голову! — прислалъ намъ добрыя вѣсти. Онъ прислалъ вотъ этого человѣка... — тутъ мулла указалъ на рядомъ съ нимъ сидящаго, — также достопочтеннаго таксыра Минъ-башу, Нурмеда, сказать, что часъ вашего освобожденія уже насталъ. Денно и нощно молимъ мы, служители истиннаго Бога, дабы онъ даровалъ намъ побѣду

надъ коварными пришельцами, но Аллахъ, въ своемъ безконечно-справедливомъ гнѣвѣ на насъ, покрываетъ наши грѣшныя головы позоромъ пораженія. Нынѣ же молитвы наши услышаны Аллахомъ и его святымъ Пророкомъ. Возстанемъ всѣ, какъ одинъ. Пусть всякій изъ васъ, у кого только есть силы поднять хоть простую палку, идетъ на битву съ проклятыми невѣрными. Мы разобьемъ ихъ, мы поснимаемъ ихъ нечистыя головы и усѣемъ дорогу тѣлами русскими. Мѣра долготерпѣнія истощилась! Оскверненная земля мусульманская вопіетъ. Каменныя стѣны мечетей нашихъ, и тѣ плачутъ, слезами невидимыми, отъ позора неслыханнаго. Обутая нога невѣрнаго попираетъ плиты священныхъ половъ и пороги входовъ. Только кровью проклятыхъ пришельцевъ смоемъ мы съ нихъ вѣчный позоръ и безчестіе!

Заплакалъ даже мулла и закрылъ лицо руками. Народъ заговорилъ:

— Чего не возстать! Возстанемъ! Ежели мы всѣ, да разомъ—только пыль полетитъ!..

— Полетитъ-то полетитъ!.. Только изъ-подъ чьихъ пятокъ!..

— А чего бояться русскихъ... Много-ли ихъ тутъ!

— Тотъ разъ тоже поднимались... Мы-то всѣ вышли въ сады, да на дорогу, а сарбазы, какъ только русскія пушки начали, первые побѣжали... Такъ вѣдь нельзя...

— На русскихъ какъ пойдешь!.. Они, вонъ, за сто верстъ стоятъ, и не видно ихъ совсѣмъ, а сюда стрѣляютъ... Какъ къ нимъ подступишься!..

— Били-же и ихъ тоже...

— А какъ били? Ну, что ты говоришь! Тридцать двѣ головы привезли, а своихъ, и счету нѣту сколько по балкѣ раскидали. Этакъ-то бить, такъ скоро и народу мусульманскаго не останется...

— Русскимъ шайтанъ помогаетъ... а отъ насъ и Аллахъ отвернулся, муллы говорятъ: все за грѣхи наши!.. А какіе такіе грѣхи?!

— Постой!.. Надо толкомъ все... Ты, вотъ, мулла Годдай, сказалъ, что молитвы наши услышаны Аллахомъ и его святымъ Пророкомъ. Почему же ты знаешь это? Разъ, вотъ, тоже такъ говорили, а вышло совсѣмъ напротивъ... Помнишь?..Много-ли

къ намъ домой съ поля вернулось... Какъ-бы опять того-же не вышло!

— Маловѣрный!—покачалъ головой мулла Годдай.—Стихните вы всѣ и послушайте слова человѣка вдохновленнаго, особою милостью Божьею взысканнаго... Кушкъ-Аулъ, разскажи имъ свое видѣніе!

Какая-то безобразная масса разноцвѣтныхъ отрепьевъ, прижавшаяся къ самому стволу дерева, поднялась и медленно выдвинулась на самую средину круга.

— Потомъ велѣлъ мнѣ Пророкъ сѣсть на крупъ своего коня, и понеслись мы, высоко-высоко, надъ всею землею, съ востока на западъ и съ сѣвера на югъ. Мы неслись, а Пророкъ приказалъ мнѣ смотрѣть. И видѣлъ я, что несемся мы надъ пустынею. Мертвые пески кругомъ, и нѣтъ ни одной зеленой былинки, лишь на желтомъ пескѣ всюду, куда только не достигаетъ глазъ, бѣлѣютъ сухія человѣческія кости. Говорю я: «О, Пророкъ! Что это за земля, постигнутая такимъ страшнымъ бѣдствіемъ?» и отвѣчаетъ мнѣ Пророкъ: «это страна ваша!» Залился я слезами и говорю: «Великій! Чѣмъ отвратить это, чѣмъ умилостивить гнѣвъ Аллаха?!.» Вынулъ тутъ Пророкъ изъ своихъ золотыхъ ноженъ свою саблю, и заблисталъ клинокъ алмазами и изумрудами, тронулъ меня онъ концомъ этого клинка сюда, подъ сердце, брызнула кровь и полилась на землю... и великое чудо увидали глаза мои, недостойные. Едва только капля крови моей достигала земли, тамъ свершалось дивное превращеніе: падала кровь на песокъ, и покрывался этотъ песокъ зеленою травою и ароматными розами, падала капля на высохшее ложе ручья, и по немъ полились свѣтлыя струи, падала на кости мертвыя, и вставали эти кости цвѣтущими юношами... «Боже»! Воскликнулъ я. «Пролей скорѣе всю мою кровь до послѣдней капли и ороси ею несчастную землю, правовѣрную!» И чувствовалъ я, какъ уменьшалась во мнѣ благодатная кровь, какъ слабѣли силы мои, гасъ взоръ, замиралъ слухъ... И чувствовалъ я, какъ уже, безплотный, легкій, какъ птица, несся я самъ надъ землею—и слышу я пѣніе гурій, сладкіе звуки рая, слышу близость самого Аллаха. Да пройдетъ изъ конца въ конецъ, по всему міру, правая вѣра его!

Замолкъ дивона, грянулся ничкомъ на землю и забился въ нервной судорогѣ...

Мулла Годдай всталъ, зачерпнулъ рукою воды изъ чашки и, набожно склонясь надъ юродивымъ, омочилъ его голову...

Очарованный разсказомъ, народъ безмолствовалъ.

Минуты черезъ двѣ дервиша очнулся и сѣлъ, долго озираясь по сторонамъ и безпрестанно проводя руками по лицу, словно снимая съ него невидимую паутину.

Толпа слушателей тоже понемногу освободилась отъ чарующаго вліянія разсказа. Сотни голосовъ загудѣли одобрительно, сотни рукъ потянулись за пазухи къ кошелькамъ... Со всѣхъ концовъ полетѣли къ ногамъ Кушкъ-Аула серебряныя и мѣдныя монеты. Нурмедъ бросилъ ему золотую.

Когда собраніе нѣсколько успокоилось, мулла Годдай-Ходжа снова возвысилъ свой голосъ.

— Поговоримъ теперь, правовѣрные, какъ намъ начать наше святое дѣло. Здѣсь посланецъ самого муллы Алемкула,— этотъ человѣкъ ждетъ отъ васъ рѣшенія, чтобы передать его вождю войскъ мусульманскихъ. Надо, порѣшивъ все окончательно, съ нимъ условиться!

— Надо-то, надо!—замѣтилъ въ первомъ ряду круга сидящій узбекъ, въ войлочномъ бѣломъ колпакѣ.—Только мы-то безъ войска что подѣлаемъ; пусть мулла Алемкулъ подходитъ, мы, какъ одинъ, всѣ къ нему пристроимся, а гдѣ теперь мулла?

— Сказали тебѣ—не далеко стоитъ!—толкнулъ узбека въ бокъ сосѣдъ, торговецъ съ городскаго базара.

— Станъ нашъ на Акъ-су стоитъ, два перегона отсюда. Намъ прійти не долго... Я вотъ со своими вчера засвѣтло выѣхалъ, а сегодня съ вами сижу!—пояснилъ Нурмедъ.

— Полагаю я: не прочесть-ли теперь бумагу Алемкулову?— шепнулъ Нурмеду мулла Годдай.

— Читай!

Вытащилъ мулла изъ-за пазухи маленькій свертокъ, завернутый въ шелковомъ платкѣ, тщательно развернулъ его, перекусилъ нитку, связывающую бумагу, и сталъ медленно, осторожно разворачивать.

Видъ бумаги внушительно подѣйствовалъ на народъ. Поднявшійся было говоръ стихъ... Всѣ снова насторожили вниманіе.

— Да благословитъ Аллахъ святое начинаніе!—читалъ мулла.—Насталъ часъ...

— Да это мы слышали уже... А въ чемъ дѣло—говори...— послышалось въ толпѣ.

— Погоди читать!—перебилъ Нурмедъ.—У насъ тамъ мулла, что писалъ, такъ мудренно говоритъ, что и пойметъ-то его не всякій... Передай бумагу въ народъ, пусть всѣ печать увидятъ,—тамгу самую,—а дѣло я разскажу. Такъ-то лучше будетъ!..

Согласился Годдай. Пошла бумага по рукамъ.

— Слушайте!—началъ Нурмедъ Минбаша.—Русскихъ теперь немного, а все-таки, если ихъ еще будетъ меньше,—то лучше. На прошлой недѣлѣ мы въ горахъ смуту подняли,—туда долженъ пойти одинъ отрядъ русскихъ. Пусть гуляютъ!.. Сегодня на Минъ-арыкѣ поднялись тоже; туда тоже пойдутъ гяуры. Есть извѣстіе такое, что собираются. Тогда тутъ ихъ уже не много останется. Вы всѣ поднимайтесь и окружайте городъ. Да не лѣзьте зря, а если русскіе къ вамъ биться выйдутъ, отходи къ Шайтанъ-Кале... Тутъ-то мы на нихъ и навалимся. Врозь всѣхъ перебьемъ, а пока они всѣ въ кучѣ—лучше не соваться. Какъ слыхать, въ городѣ?

Послѣднія слова обращены были къ аксакалу Девлету.

Тотъ робко осмотрѣлся по сторонамъ и нерѣшительно отвѣчалъ:

— Въ городѣ всѣ готовы,—одна бѣда: есть между нашими такія собаки, что народъ мутятъ... Говорятъ, будто за бѣлымъ царемъ жить лучше. Говорятъ, что и вѣру не трогаютъ, и отъ солдатчины на вѣкъ избавленіе, и податей меньше... Вотъ тамъ есть одинъ,—Ибрагимъ-бай называется,—тотъ съ генераломъ даже аракъ пилъ... Многіе видѣли, онъ и здѣсь вотъ поджидаетъ гостей... Встрѣчу имъ готовитъ, будто эмиру самому... Предатель—одно слово!

— Ибрагимъ-бай хорошій человѣкъ, онъ вѣдь про русскихъ правду говоритъ... это точно...

— Ибрагимъ-бая трогать не надо!.. Онъ никому не обидчикъ...—послышались голоса сзади.

— Узнай, кто это тамъ?—обратился мулла Годдай къ палачу.

И защитники Ибрагимъ-бая смолкли.

— Говорили мои люди,—замѣтилъ Нурмедъ,—видѣли тѣхъ гостей... Недалеко они—скоро прибудутъ... Вотъ-бы съ нихъ начать... Пятеро всего?

— Русскихъ пятеро, да собакъ-джигитни съ десятокъ, больше не будетъ... Вотъ-бы ты таксыръ, захватилъ-бы ихъ! Съ тобою народу довольно!..

— Захватить!.. Нѣтъ, съ русскими такъ запросто нельзя, у нихъ у каждаго по пистолету, что сто разъ стрѣляютъ— поди-ка, сунься! Захватить—захватимъ, да что своихъ потеряемъ... Не расчетъ... А раскинуть умомъ-разумомъ прежде— такъ лучше будетъ... Приказалъ я стеречь ихъ и наблюдать, что дѣлать будутъ. Можетъ быть, въ гостяхъ разумъ пропьютъ, да заснутъ, тогда и перевяжемъ!

Прибѣжалъ мальчишка въ цвѣтной рубашкѣ, за нимъ слѣдомъ другой.

— Ѣдутъ! Ѣдутъ!—закричали.

— Собаки!—выругался мулла Годдай.

Юродивый застонадъ и заметался. Лежа на землѣ, онъ поднималъ кулаки и грозилъ кому-то невидимому.

— Праведная душа близость нечистыхъ чуетъ!—объяснилъ мулла.

— Пойду, погляжу на нихъ, хоть издали!—поднялся Нурмедъ и загремѣлъ своимъ оружіемъ.

— И глаза свои поганить не хочу! — проворчалъ мулла.

Много народу поднялось глядѣть на русскихъ, много и въ караванъ-сараѣ осталось. За Нурмедомъ вышли еще двое изъ его людей. Стали межъ собою разговаривать.

— Чудакъ этотъ Годдай!—замѣтилъ таксыръ, посланецъ Алемкула.—Набралъ народу всякаго, еще бумагу при всѣхъ читать вздумалъ. Можно-ли поручиться за всѣхъ! Опять насчетъ этихъ свиней. Все-ли у нихъ готово?

— Все!.. Тридцать человѣкъ тамъ у майдана засядутъ и мостокъ сломаютъ. Весь народъ на эту дорогу сгонятъ, чтобы проѣзда не было, а мы вмѣстѣ съ русскими, словно по своему дѣлу пойдемъ, только красные халаты поснимаемъ. На майданѣ саклю подожгутъ; какъ задымитъ, тогда и дѣлу начало...

— Это хорошо! Алемкулъ приказалъ: и не возвращаться безъ русскихъ головъ. Особенно одинъ тамъ есть, погоны съ одною дорожкою, усы съ просѣдью. Вонъ этотъ!.. Видишь, первый съ лошади слѣзаетъ!

— Вижу... Эко Ибрагимъ засуетился!.. А чуетъ, собака, не ладное. Ишь, какимъ волкомъ озирается!

— Хорошо-бы живьемъ захватить... Да, жаль, не дадутся... А уже джигитовъ ихнихъ всѣхъ перерѣзать надо будетъ и головы выставить, чтобы другимъ не повадно было...

— Свою береги!—послышалось около.

— Кто сказалъ? А?

Вздрогнулъ Нурмедъ. Ясно слышалъ: «свою береги», а кто сказалъ это, не успѣлъ замѣтить... Много и роду въ толпѣ, кишмя кишатъ...

— Слышалъ?

— Слышалъ. Что между нашими передатчиковъ да измѣнниковъ развелось!.. Много!..

— Вотъ тамъ, на совѣтѣ, думаешь, мало было такихъ, у кого языкъ и уши на двѣ стороны работаютъ! Не ходи близко!

— Ну, ихъ!

Прошелся Нурмедъ съ товарищами по базару, поразсмотрѣли, что надобно, вернулись въ караванъ-сарай, а тамъ уже снова народъ собрался. Много такихъ было, что побывали прежде у «кукнарчи» *), духу набрались,—словно очумѣлые готовы лѣзть на русскихъ. Насилу мулла Годдай сдерживаетъ!

— Погодите хоть до ночи!

А тутъ и темнѣть стало... Запылали огни, разгорячились воспаленныя бузою и опіумомъ фанатическія головы...

Дивона Кушкъ-Аулъ очнулся съ вечернею прохладою; его окружила цѣлая толпа такихъ же юродивыхъ. Ходятъ кучею по народу и хоромъ, вытянувшись въ рядъ, воютъ строфы корана, да такія все выбираютъ, что народъ хоть на ножи лѣзть готовъ.

— Крови моей надо?!—вопитъ Кушкъ-Аулъ. - Берите мою кровь, берите!

Сталъ онъ передъ входомъ въ мечеть, ухватился руками за полотно знамени святаго Дауда, къ лицу своему прижимаетъ.

Мулла Годдай со своими, а Нурмедъ со своими едва сдерживаютъ порывы расходившейся народной страсти.

Кинуться зря на русскихъ—толку мало будетъ, а потери громадныя. Знаетъ Нурмедъ хорошо, что нахрапомъ не возьмешь, и все у него такъ отлично подстроено, а эти помѣшать

---

*) Торговца опіумомъ.

хотятъ. Хоть бы Кушкъ-Аула убрать куда подальше—онъ вѣдь, полоумный, всему причиною!

— Душа благодатная!—смиренно подошелъ къ юродивому мулла. — Душа благодатная, послушай словъ моихъ...

— Крови моей надо, крови... Берите! — бормочетъ тотъ, не отрываясь отъ священнаго знамени.

Подошли еще нѣсколько муллъ, взяли подъ руки Кушкъ-Аула и медленно повели въ мечеть. Тотъ упирался было сначала, но все-таки уступилъ силѣ.

— Намазъ творить идемъ! — объяснилъ одинъ изъ учениковъ Годдая ближайшимъ изъ народа.

— А двери зачѣмъ запираютъ?—усумнился кто-то.

Тяжелая, рѣзная дверь мечети медленно закрылась, и внутри завизжалъ въ ржавыхъ скобахъ массивный засовъ.

— Мулла знаетъ, что дѣлаетъ... не мѣшайте муллѣ!— раздались тамъ и сямъ успокаивающіе голоса.

Толпа начала было стихать, но вдругъ вверху, словно съ неба, раздался нечеловѣческій крикъ... Кушкъ-Аулъ, введенный въ мечеть, вырвался изъ рукъ учениковъ Годдая и, замѣтивъ ходъ наверхъ, какъ кошка, взобрался по лѣстницѣ. Вся его безобразно-дикая фигура появилась на высокомъ гребнѣ фронтона.

— Крови моей надо... Берите! — закричалъ юродивый и бросился внизъ головою...

Эту сцену и видѣли наши офицеры и, конечно, поняли ея роковое значеніе.

Нѣсколько времени прошло въ относительномъ покоѣ. Пораженный мученическимъ подвигомъ юродиваго, народъ остолбенѣлъ. Этими немногими минутами агенты Годдая и Нурмеда воспользовались довольно удачно. А тутъ ясно донеслось отчетливо произнесенное во всеуслышаніе приказаніе Шолобова.

«Перебить сонныхъ—чего же проще!»—мелькнуло почти во всѣхъ головахъ. Даже Нурмедъ озадаченъ былъ простотою этой идеи—и, отозвавъ кое-кого изъ своихъ, началъ мѣнять свои первоначальныя распоряженія.

— Однако же и просты они!—добавилъ онъ.—Или, дѣйствительно, они ничего не подозрѣваютъ!

V. „Послѣднюю береги для себя“.

Мало-по-малу, гасли огни костровъ, замирало утомленное народное гульбище. Густой мракъ южной ночи завоевывалъ все большее и большее пространство, только надъ караванъ-сараемъ, гдѣ сгруппировались враги, стояло еще красное зарево; тамъ еще гудѣли многочисленныя толпы, и слышалось грохотаніе литавръ. Но въ этихъ звукахъ чувствовался уже не разгулъ веселья,—что-то грозное, безусловно враждебное скоплялось тамъ, какъ электричество въ грозовыхъ тучахъ, готовое, вотъ-вотъ, разразиться страшнымъ, роковымъ ударомъ. Опытное ухо Шолобова давно уже чувствовало опасность, и голова его энергично и отчетливо работала надъ планомъ спасенія.

Розыскъ Юнуса далъ понять нашимъ, что дѣло придется имѣть не съ одною полувооруженною толпою народа, а со врагомъ, болѣе опаснымъ,—съ отборными разъѣздами муллы Алемкула. Еще днемъ капитанъ замѣтилъ кое-гдѣ въ толпѣ красные халаты военныхъ, даже физіономія одного изъ нихъ показалась ему какъ будто знакомою... и припоминалъ онъ, гдѣ бы это было? Какъ будто недѣлю или двѣ тому назадъ... нѣтъ, больше... та же самая физіономія, красивая, со сверкающими, ярко-бѣлыми зубами, словно улыбающаяся, промелькнула передъ нимъ въ дыму ружейнаго залпа... Всадникъ не свалился съ коня, онъ только ловко подвернулся, укрываясь отъ смерти за тѣломъ своей лошади, и вынырнулъ снова изъ облака дыма, отскакалъ, сдержалъ вороного аргамака, махнулъ въ воздухѣ, грозя клинкомъ,—и скрылся за пригоркомъ... «Хорошій наѣздникъ! — подумалъ Шолобовъ. — Вотъ бы такого къ намъ, въ джигиты... Кажется, это тотъ самый!..»

Немудрено, что и Нурмедъ припомнилъ капитана, когда указывалъ на него своему товарищу.

— Юнусъ!- окликнулъ Иванъ Алексѣевичъ своего десятника.

Голова въ черной шапкѣ появилась въ палаточномъ створѣ.

Капитанъ быстро написалъ карандашемъ на вырванномъ изъ карманной книжки листкѣ нѣсколько словъ. Онъ еще оторвалъ два такихъ листка и на нихъ повторилъ написанное.

— Вотъ это ты раздай джигитамъ; отбери трехъ: Юлу,

Барантача и Максимку, у нихъ кони подобрѣе, и чтобы, немедля, врозь скакали въ крѣпость — не всѣ же влопаются! — Теперь темно, авось, проберутся! По тилля въ награду каждому, а кто первый—два получитъ...

— О, таксыръ!

— Чуть станетъ свѣтать — сбатовать коней... при нихъ двое останутся. Ты и остальные со мною будутъ... Понялъ?..

— Понялъ, таксыръ!..

— Что же ты это... бой затѣваешь?—вмѣшался докторъ.

— Очень можетъ быть!

— Однако, это глупо... Ты меня прости, пожалуйста... но, ей-Богу, глупо. Я бы совѣтовалъ иначе...

— Что?

Капитанъ улыбнулся.

— Просто драла задать... «Ночь темна, на небѣ тучи...» Мы и того...

— И переловятъ насъ, а то просто перебьютъ изъ-за стѣнъ, по дорогѣ... Тутъ оставаться вѣрнѣе!

— А здѣсь не перебьютъ? Вотъ съ этой мечети... Мы какъ на ладонкѣ—укрыться негдѣ...

— На разсвѣтѣ мы сами займемъ эту мечеть... Это наша цитадель...

Докторъ даже присвистнулъ.

— О, Господи, ей-Богу же я предчувствовалъ... И охота была ѣхать!.. Ходятъ уже недѣлю слухи недобрые, а мы, словно мальчишки... Вотъ тоже нижніе чины съ нами... отвѣтственность...

— Да ну, не ной!

Капитанъ отвернулся отъ своего собесѣдника и пристально всматривался въ силуэтъ купола Ишанъ-Дауда, отчетливо рисующійся на красномъ заревѣ костровъ.

— Ну, вы, головорѣзы, строевой народъ... А я-то, дуракъ, чего увязался съ вами!.. У меня, вонъ, больные, раненые... Моя обязанность совсѣмъ другая... Мнѣ бы... Послушай... посуди самъ: развѣ не глупо?

— Глупо!

— Вотъ видишь-ли. Опять: вы офицеры, васъ много—ну, двумя меньше будетъ,—это еще не особенно важно... Но насъ, врачей, всего два — это ужасно!.. Это пятьдесятъ процентовъ убыли... Понимаешь ты это?

— Что дѣлать! Государство въ минуты великихъ событій и не такія жертвы несетъ... что дѣлать!..

— Тебѣ смѣшно! Тебѣ все шутки... головорѣзъ!.. Пушечное мясо! Вотъ этотъ сумасшедшій Наль тоже! Все предчувствуетъ, ясновидящаго разыгрываетъ, а этого не могъ, небось, предвидѣть...

— А гдѣ Наль?

— Да чортъ его знаетъ гдѣ. Я его уже давно не вижу!

— Наль!—окликнулъ капитанъ.—Эй, Рубанъ, иди сюда!

Отвѣта не послѣдовало.

Шолобовъ быстро вышелъ изъ палатки.

— Сережа!—послышался его голосъ.—Юнусъ! Ибрагимъ-бай! Гдѣ поручикъ?

Блѣдная, взволнованная физіономія Аксакала появилась тотчасъ-же передъ Иваномъ Алексѣевичемъ. Десятникъ-джигитъ отозвался оттуда, гдѣ темною группою виднѣлись офицерскія лошади. Казаки, присѣвшіе около самой палатки, вытянулись въ струнку.

— Однако!..

Капитанъ снялъ фуражку и приложилъ руку ко лбу...

— Однако!—повторилъ онъ.—Рубанъ!

На этотъ разъ Шолобовъ крикнулъ уже, нисколько не стѣсняясь, во все горло.

Отвѣта также никакого.

— Пропалъ!—выскочилъ изъ палатки совершенно встревоженный и растерявшійся окончательно докторъ.

— Не можетъ быть!.. Какъ пропалъ!.. Наль! Серёжа!

— Да не ори же такъ, голубчикъ! Не ори, сдѣлай милость... Онъ, можетъ-быть, такъ... Можетъ, тутъ гдѣ, недалеко... Ну, тамъ, зачѣмъ-нибудь. Сейчасъ пріидетъ... Сергѣй Николаевичъ, да гдѣ же ты, голубчикъ, въ самомъ дѣлѣ?

— Пхъ благородіе, полчаса, какъ туда вонъ, къ машкарабазамъ въ шатеръ пошли!—доложилъ одинъ изъ казаковъ.

Казакъ не кончилъ фразы, какъ уже Шолобовъ былъ въ шатрѣ между арбъ.

— Огня сюда!—послышался его голосъ.

Юнусъ съ фонаремъ и Ибрагимъ-бай съ горящею головешкою изъ костра подбѣжали къ шатру.

Тамъ было пусто. Машкарабазы, музыканты и батчи давно

уже исчезли. Только одинъ, тотъ, что глоталъ горячія уголья, еще копошился въ темнотѣ, набивая мѣшокъ какими-то цвѣтными лохмотьями.

Захваченный врасплохъ, онъ выронилъ мѣшокъ, присѣлъ и съ ужасомъ смотрѣлъ на вошедшихъ.

— Здѣсь былъ сейчасъ русскій офицеръ? — спросилъ его Юнусъ.

Угле-глотатель заморгалъ глазами, прижалъ руки къ животу, скорчился въ три погибели и молчалъ, словно у него отнялся языкъ.

— Офицеръ гдѣ?—толкнулъ его ногою Шолобовъ.

— Китты, китты... Урусъ тюра китты...*) — бормоталъ перепуганный машкарабазъ.

— Куда?

Актеръ показалъ головою на противоположный выходъ изъ шатра.

— Гуль-гуль была. Гуль-гуль пошла. Тюра пошелъ... китты...

— Куда же ты?—остановилъ метнувшагося было капитана докторъ.

— Не ходи, таксыръ, — проговорилъ Ибрагимъ-бай.—Не ходи. Ты погибнешь даромъ... Мои люди лучше разыщутъ; они узнаютъ. Я пошлю сейчасъ... эй!

— Это вѣрно!—остановился Шолобовъ.

Первая минута волненія, вызванная таинственнымъ исчезновеніемъ Наля, прошла. Опытный солдатъ овладѣлъ собою.

— Посылай скорѣе... Слышишь?.. Осторожно, безъ шума, во всѣ стороны. Пока темно... Кто найдетъ, кто дастъ знать — вотъ это отдай!

Капитанъ быстро сорвалъ съ себя золотыя часы съ золотою цѣпью и вынулъ изъ кармана кошелекъ.

— Бери!

Ибрагимъ-бай вѣжливо и почтительно отстранилъ его руку.

— Тюра, — началъ онъ, — прими мой совѣтъ. Я старъ уже—и не обижайся, если простой человѣкъ осмѣливается совѣтовать военному начальнику!

— Говори!

Ибрагимъ-бай заговорилъ вполголоса и скороговоркою:

---

*) Ушелъ, ушелъ. Русскій начальникъ ушелъ.

— Вашего товарища—если онъ пошелъ туда и и не погибъ еще — спасетъ только Богъ; вы же, пока темно, переодѣвайтесь въ наше платье... Поодиночкѣ, потихоньку вы скроетесь отсюда... Васъ проведутъ. Въ палаткѣ вашей свѣтъ — лошадей подведемъ поближе — пусть ихъ видятъ... онѣ останутся... До разсвѣта далеко, и вы будете далеко также... Люди мои надежные и не выдадутъ!

— Превосходная мысль! — воскликнулъ докторъ.—О, Господи, спаси и помилуй!

— Безъ Наля—я ни шагу!—проговорилъ капитанъ, входя въ палатку.

Это было сказано такимъ тономъ, что докторъ, хорошо знавшій натуру Шолобова, понурилъ только голову и молча послѣдовалъ за Иваномъ Алексѣевичемъ.

— О, Господи!

— Не вздыхай! Право, и безъ того тоска... Знаешь, что я тебѣ посовѣтую,— это тебя развлечетъ немного!

— Что?

— Когда будешь разстрѣливать свой револьверъ, но не торопись: чтобы всѣ четыре пули не пропали даромъ. Пятую же, послѣднюю—сохрани для себя... Понялъ?

Докторъ отвернулся и заплакалъ.

Прошло нѣсколько томительныхъ минутъ. Ибрагимъ-бай, тоже вошедшій въ палатку къ русскимъ, заговорилъ снова:

— Таксыръ, моя голова ляжетъ прежде вашихъ... Подумай только, что пользы въ твоей смерти, а спастись можно... Если тюра Наль пошелъ къ нимъ, если они взяли его,—они не казнятъ, не зарѣжутъ его тотчасъ-же... Они увезутъ его и будутъ держать плѣнникомъ... Имъ не разсчетъ убивать офицера. Ты живъ будешь межъ своими... Можно будетъ узнать, выкупить. Ты умрешь, твои лягутъ съ тобою тоже—и никто никогда не узнаетъ объ участи пропавшаго... Спасайся!

— Послушай!

Докторъ схватилъ руку капитана и крѣпко сжалъ ее.

— Да спасайся, коли хочешь! Бери казаковъ съ собою, бери джигитовъ и удирайте... Костюмируйтесь чучелами, бѣгите, какъ воры... Я останусь!

Въ голосѣ Шолобова слышалось раздраженіе, но раздраженіе тоскливое, безнадежное.

— Никогда еще туркестанецъ-солдатъ не бросалъ своего товарища въ неизвѣстной опасности!—добавилъ онъ.—Ибрагимъ, распоряжайся съ ними, какъ ты хотѣлъ! Я одинъ останусь!

— Я съ тобою, таксыръ!—выдвинулся Юнусъ.

— Ваше благородіе,—приложилъ руку къ козырьку одинъ изъ казаковъ,—никакъ невозможно!

— Что?

— Бѣжать отседова безъ вашего благородія!

— Да рѣшайся же, рѣшайся!—приставалъ докторъ, замѣтивъ будто въ Шолобовѣ что-то въ родѣ колебанія.

— Чуть разсвѣтетъ,—началъ капитанъ спокойнымъ и ровнымъ голосомъ,—всѣ около меня! Первымъ дѣломъ—безъ выстрѣла перебѣжать вотъ это поле и ворваться въ мечеть.. дверь не заперта, а если заперта — захватить топоръ съ собою... Анисимовъ, понимаешь?

— Понимаю, ваше благородіе!

— Тамъ ходъ наверхъ, откуда эта скотина сверзилась; это самая высокая точка надъ всею мѣстностью. Тамъ мы долго продержимся! Ну, что, какія вѣсти обо Налѣ? Есть кальянъ готовый—подай!

Услышавъ слово «кальянъ», Ибрагимъ-бай словно встрепенулся и самъ лично бросился исполнять требованіе Шолобова.

— Какъ долго ночь тянется!

. . . . . .

А въ караванъ-сараѣ тоже начало стихать. Зарево огней погасло. Наступилъ такой мракъ, что не только въ двухъ шагахъ, а даже свою собственную протянутую руку нельзя было разсмотрѣть. Только одна офицерская палатка мутновато-розовымъ фонаремъ выдѣляясь изъ темноты, слабо освѣщая на нѣсколько шаговъ около себя, и въ область этого свѣта чуть-чуть входили группы коней, красные халаты джигитовъ, тюрбанъ и блестки шитаго халата Ибрагимъ-бая, склонившагося надъ приготовленіемъ кальяна, блики на казачьихъ винтовкахъ, да изрѣдка испуганная тревожная фигура кого-нибудь изъ Аксакальскихъ слугъ, сбившихся въ кучу около своего обоза.

— Послѣднюю пулю для себя...—шепталъ докторъ, уныло повѣсивъ голову.

— Что же, пропадать—такъ пропадать!—вздохнулъ одинъ изъ казаковъ.

Подошелъ Юнусъ къ Ибрагимъ-баю помогать, должно-

— Они хотятъ мечеть занять:—почти на-ухо проговорилъ Аксакалъ десятнику.

— Да!

— Они хотятъ святыню осквернить кровью?

— Хотятъ!

— И ты, правовѣрный, пойдешь съ ними?

— Пойду... а ты?

— И я пойду... И голову, и душу губить приходится разомъ... А если...

Аксакалъ заговорилъ еще тише. Десятникъ джигитовъ слушалъ внимательно, кивая утвердительно папахою.

— Аллахъ да поможетъ намъ!—кончилъ Ибрагимъ-бай.—Онъ осѣнилъ меня этою мыслью!

— Да поможетъ! — согласился джигитъ и отошелъ къ своимъ.

Ароматъ кальяннаго дыма вывелъ капитана изъ задумчивости. Докторъ первый протянулъ руку къ куреву, но Ибрагимъ-бай словно не замѣтилъ этого движенія и почтительно подалъ кальянъ капитану.

Съ наслажденіемъ, тремя большими затяжками, приложился Шолобовъ къ узорчатому камышевому мундштуку и сказалъ:

— Спасибо!

атянулся и докторъ, да сразу закашлялся...

«Что за гадость!—подумалъ онъ.—Наши папиросы куда лучше... «Послѣднюю береги для себя...» Чортъ знаетъ, какъ мы этотъ день скверно кончаемъ!»

И докторъ, вынувъ револьверъ, сталъ медленно поворачивать пальцемъ барабанъ, отсчитывая съ каждымъ поворотомъ черныя дырки, откуда выглядывали коническія свинцовыя головки.

— Первая, — считалъ онъ, — вторая, третья, четвертая... пятая—вотъ эта... эта...

Онъ даже пальцемъ потрогалъ холодную поверхность пули, и вздрогнулъ.

VI. Корень и стебель.

Порывисто распахнувъ пологъ шатра машкарабазовъ, Наль увидалъ тамъ страшную суматоху. Актеры и батчи торопливо укладывались, видимо, собираясь въ путь: но эти сборы были безшумны, только тихій шепотъ слышался во всѣхъ углахъ, на всѣхъ лицахъ выражалось сильнѣйшее безпокойство, вотъ-вотъ готовое перейти въ панику. Появленіе русскаго, такое неожиданное, такое стремительное, чуть-чуть не произвело катастрофу. Нѣсколько человѣкъ, побросавъ имущество, не успѣвъ смыть грубые слѣды гримировки, бросались вонъ, нырнувъ подъ полы шатра. На мгновеніе передъ глазами Наля мелькнула красная рубаха Гуль-гуль. Едва коснулось его уха серебристое дребезжаніе ея украшеній, но она тотчасъ же скрылась, и тяжелая пола ковра чуть не пахнула прямо ему въ лицо, обдавъ съ ногъ до головы пылью.

Наль выскочилъ вслѣдъ за нею.

— Гуль-гуль!—повторялъ онъ призывъ.

Но дѣвушка словно его не слышала, скрылась въ темнотѣ, мелькнула на мгновеніе въ какомъ-то свѣтовомъ пятнѣ и снова исчезла.

«Странно!» — подумалъ Наль, остановился и хотѣлъ было вернуться къ общей ставкѣ.

Вдругъ что-то мягкое, тяжелое кинулось ему въ ноги, охватило колѣни, и онъ упалъ... Онъ не успѣлъ вскрикнуть, не успѣлъ схватиться за револьверъ, какъ почувствовалъ на себѣ силу не одной пары рукъ... На него навалились... на голову накинули халатъ... Его несутъ, тяжело дыша, словно послѣ утомительной борьбы, а онъ, безсильный, безпомощный, задыхаясь, чуть не теряетъ сознанія.

— Вотъ не ожидали!.. Легко съ этимъ справились!.. Самъ въ руки полѣзъ!—услышалъ наконецъ, плѣнникъ нѣчто опредѣленное.

«Что-то они со мною дѣлать будутъ?..—подумалъ несчастный. — Убьютъ?.. Нѣтъ, не то... я бы это зналъ, я бы это чувствовалъ».

И странно. Послѣ перваго тревожнаго ощущенія печальной неожиданности, на душѣ Наля стало какъ-то особенно спокойно. Стѣсняла его только грубая, вонючая ткань верблюжьяго ха-

лата, плотно прижатая къ его лицу... Но кто-то изъ несшихъ споткнулся, и это движеніе измѣнило складки, свѣжій воздухъ пахнулъ, образовалась даже щель у глаза, и въ эту щель Наль видѣлъ часть блестящей кольчуги, да по временамъ мелькало красивое, смуглое лицо съ черною, курчавою бородою и бѣлыми, сверкающими даже во мракѣ, зубами.

Не долго несли Наля. Когда его опустили на землю и сдернули халатъ, онъ увидалъ, что лежитъ за угломъ мечети, у самой стѣнки; кругомъ густая толпа народа, а ближе къ нему—чужіе, вооруженные люди. Одинъ изъ нихъ осматриваетъ, крѣпко-ли связаны руки и ноги плѣнника, пробуетъ узлы кушаковъ, другой отстраняетъ кого-то, а этотъ кто-то, не разберешь въ темнотѣ, лѣзетъ къ нему, шипитъ отъ злости, и въ его судорожно сжатомъ кулакѣ искрится зловѣщее лезвіе ножа.

— Пальцемъ чтобы не тронули!—приказываетъ красавецъ въ кольчугѣ.—Мой, не вашъ плѣнникъ!.. Рубить прикажу, если не отстанутъ... Ханъ-берды, головою за него отвѣчаешь!

— Слушаю, таксыръ!—отвѣчаетъ, должно-быть, Ханъ-берды.—Слушаю... Пришли только еще людей на подмогу!

Не слышно ни криковъ, ни даже громкаго говора; но сколько бѣшеной злобы чувствуется въ этой темной толпѣ, живою стѣной окружившей его, — безсильнаго, безоружнаго, связаннаго по рукамъ и по ногамъ... И вспомнился Налю запасный баранъ на привязи у котла; того тоже обрекли въ жертву ножу, но положеніе того лучше: его не обдавали ядомъ ненависти и злобы,—его даже ласкали. Самъ Наль кусочекъ сахару далъ... «Фу, какія глупости лѣзутъ въ голову!.. А что наши?.. Шолобовъ, докторъ?.. Что съ тѣми?.. Тамъ тихо... ни выстрѣловъ, ни шума борьбы... Да... пока... но имъ готовится тоже... О, Господи! Какъ глупо попался... и помочь не въ силахъ, предупредить... Безъ боя, безславно! И впрямь точно барана на пловъ... О, какая тоска, какое невыносимое мученье!»

— Чего стонешь? Развѣ связалъ больно?—нагнулся Ханъ-берды.—Погоди, послѣ больнѣе будетъ... Не рвись, не рвись! Полегче!.. Молись своему Богу лучше... Вѣрнѣе будетъ!

И хочетъ Наль молиться, да не можетъ... Все въ головѣ перепуталось — и чудный, полный любви, величавый образъ

матери, а съ нимъ и картины дѣтства, блескъ обстановки — и, какъ въ туманѣ, чуть обрисовывающійся обликъ покойнаго отца и суровые, но добрые лица товарищей, и этотъ красивый змѣенышъ Гуль-гуль, и какія-то чудныя невѣдомыя грезы, высокія горы, покрытыя вѣчными льдами, таинственная сѣнь полуденныхъ лѣсовъ, просторъ безконечнаго синяго моря, а за нимъ — туманъ; и вотъ что-то величавое проступаетъ въ этомъ туманѣ, къ нему близится, склонилось надъ нимъ и шепчетъ:

— Сынъ мой, это я... Иди за мною... иди, не спрашивая! Иди туда, гдѣ нѣтъ ни [illegible] тьмы, ни вѣчнаго свѣта, — гдѣ царитъ только безконе[illegible]отрадный покой... Иди безъ раздумья, только съ одною слѣпою вѣрою... Иди, иди за мною!

— Иду... — чуть слышно прошептали губы Наля, и онъ забылся... Сознаніе отлетѣло, а съ нимъ и мучительная боль въ кистяхъ рукъ, въ затекшихъ отъ неестественнаго положенія ногахъ... И какой миръ, какой полный покой насталъ въ его душѣ!..

«Это смерть?» — промелькнулъ невольный вопросъ.

— Нѣтъ, это преддверіе вѣчнаго божественнаго небытія...— ясно отвѣтилъ все тотъ же призывающій голосъ.

Сергѣй Николаевилъ заснулъ и, должно-быть, очень крѣпко.

Во снѣ видѣлось ему, будто онъ уже не плѣнникъ, не безпомощный мѣшокъ, крѣпко опутанный веревками, — напротивъ, онъ движется совершенно свободно... идетъ... даже очень скоро, торопясь поспѣвать за тѣмъ, кто ведетъ его за руку. А этотъ, ведущій,—все тотъ же невѣдомый старикъ, величавый и кроткій и вмѣстѣ страшный, нежеланный, какъ что-то насильственное, роковое, отнимающее собственную волю, лишающее яснаго сознанія.

Чуть касается руки, ведущей Наля, то кажется ему, что легче бы бороться съ десятками прежникъ грубыхъ рукъ, съ этими тугими узлами кушаковъ, чѣмъ теперь. И боится Наль оскорбить эту руку даже намекомъ на сопротивленіе.

А идутъ они оба уже давно... Давно уже не слышно кругомъ никакихъ голосовъ, давно уже не видно никакихъ огней, и въ воздухѣ не пахнетъ кострами да людскимъ становищемъ. Свѣжо вѣетъ съ горныхъ высотъ, дышется легко и привольно. Миріады звѣздъ усѣяли ночное небо — и на востокѣ

первое преддверіе утренней зари серебристою полосою занимается...

— Здѣсь отдохнемъ:—говоритъ ведущій.

Они остановились.

Старикъ разостлалъ на каменистую почву верхнюю одежду, и Наль покорно опустился на землю.

— Засни!—прогозорилъ старикъ.

И Наль заснулъ.

Да, теперь это дѣйствительно сонъ, а то, что было, то наяву. Они шли въ дѣйствительности и шли долго. Далеко ушли они отъ мѣста народнаго гульбища, отъ мѣста ненависти и крови...

Когда, освѣженный здоровымъ продолжительнымъ сномъ, Сергѣй Николаевичъ проснулся и открылъ глаза, солнце уже довольно высоко поднялось надъ горизонтомъ. Сбросивъ движеніемъ руки какую-то ткань со своего лица, онъ увидѣлъ сидящую около, будто дремлющую, фигуру; это,—теперь уже наяву, совершенно ясно,—былъ все тотъ же старикъ съ темно-бронзовымъ худощавымъ лицомъ, съ бѣлою, серебристою бородою, въ темно-красной чалмѣ и длинной бѣлой рубахѣ, подпоясанной тесьмою... Онъ сидѣлъ, словно не замѣчая порывистаго движенія проснувшагося и пристально всматриваясь въ даль,—въ ея туманную синеву, откуда, чуть только выясняясь, виднѣлись очертанія купола и волнистыя группы деревьевъ.

Наль вскочилъ на ноги, только сейчасъ замѣтивъ, что поверхъ его форменной одежды былъ накинутъ грубый халатъ, и на головѣ, вмѣсто фуражки, торопливо, небрежно наверченная чалма — и то, и другое свалилось на землю при этомъ движеніи.

— Кто ты?—дрогнувшимъ голосомъ почти крикнулъ Сергѣй Николаевичъ.

— Кто ты?.. Кто ты?.. Кто ты?..—повторило горное эхо, сначала отчетливо ясно, потомъ все слабѣе и слабѣе.

Старикъ не отвѣчалъ и даже не обернулся. Словно не живой человѣкъ, а какое-то изваяніе, сидѣлъ онъ, не мѣняя позы, не сводя глазъ съ намѣченной точки.

Сергѣй Николаевичъ повторилъ вопросъ и прикоснулся къ его плечу. Тотъ вздрогнулъ и медленно повернулъ голову...

Наль отшатнулся... Онъ не выдержалъ этого спокойнаго, безстрастнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко проникающаго въ душу взгляда.

Такъ смертные не смотрятъ.

— Прости меня,—началъ Наль, помолчавъ и справившись съ первою минутою смущенія.—Прости меня, благодатный; кто же ты, второй разъ меня спасающій?

Губы старика незамѣтно улыбнулись.

— Я тебѣ вернулъ жизнь,—произнесъ онъ наконецъ. — Это ты называешь спасеніемъ?.. Темный, непросвѣтленный ребенокъ!

— Два раза ты охранилъ меня отъ опасности, спасъ отъ смерти или плѣна, что еще хуже. Назови мнѣ имя свое!

— Имя—звукъ...

— Звукъ; да! Но звукъ мнѣ этотъ нуженъ, я хочу его слышать, я хочу знать, кто мой покровитель... почему? По какому праву? Я тебя не знаю, не зналъ. Я не призывалъ тебя, ты самъ являешься; не тяготи же мою душу, мнѣ тяжела эта таинственность! Кто ты?

Наль чувствовалъ свое безсиліе передъ этимъ молчаливымъ старикомъ, и это безсиліе его начинало раздражать. Онъ ясно ощущалъ даже, что въ эту минуту, если бы онъ захотѣлъ уйти, бѣжать отъ своего спутника,—то не могъ бы безъ его на то воли.

— Кто же ты, непрошенный покровитель? — сорвалось у него съ языка, и вмѣстѣ, съ тѣмъ, рѣзкое слово «непрошенный» вызвало въ его лицѣ краску стыда и раскаянія.

— Прости меня, благодатный, прости!—почти простонаръ Наль и крѣпко сжалъ сухую старческую руку.

Старикъ обнялъ его и прикоснулся ко лбу Наля своими губами.

— Ты спрашиваешь меня, кто я,—началъ онъ ровнымъ и спокойнымъ голосомъ,—и не кончаешь вопроса: кто я тебѣ?

«Благодатный» протянулъ руку, нагнулся и сталъ медленно отканывать пальцами молодой ростокъ, пробившійся межъ камнями. Онъ дѣлалъ это осторожно, боясь повредить молодое растеніе. Послѣ минутной работы на свѣтъ выглянулъ тоненькій, бѣлый корешокъ, покрытый нѣжными, влажными волосками.

— Вотъ это—я! —указалъ онъ на корень.—Это—ты!—указалъ онъ на стебелекъ съ первыми изачатками листьевъ.—Разрѣжь здѣсь—оба погибнутъ, вмѣстѣ—они цѣлы и живы...

Сергѣй Николаевичъ глубоко задумался. Все, что произошло съ нимъ въ эту ночь, было такъ загадочно, такъ странно. Слова старика проникнуты были тою же загадочностью, а между тѣмъ все это какъ будто не новое, что-то давно живущее въ его душѣ—не ясное, но существующее; и образъ величаваго старца—не чуждый образъ: и близкій и вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣримо далекій—и льнетъ къ нему сердце, и отталкиваетъ тяжелое предчувствіе гибели безвозвратной. Такое ощущеніе, помнитъ онъ, было на страшной высотѣ, на перевалѣ Саурь-били. Онъ подошелъ къ самому краю карниза и смѣло взглянулъ внизъ, въ самую глубину пропасти. Тамъ клубились бѣлыя облака, то застилая сплошь, то открывая мѣстами долину внизу. Чуть замѣтною ниткою серебрилась рѣка, а рѣка эта была широка и бурна. Чуть замѣтными точками носились орлы, тамъ, внизу, далеко подъ ногами, а орлы эти высоко надъ долиною рѣяли. Непреодолимая сила тянула Наля броситься въ эту бездну, и едва удерживалъ его на ногахъ инстинктъ самосохраненія. Богъ вѣсть, чѣмъ бы кончилась эта борьба, если бы дружеская рука не коснулась его плеча и не произнесла бы:

— А ты не дури! Этакъ и сверзиться не долго!

Наль отошелъ, всего шагъ отступилъ отъ гибельнаго края карниза, и разомъ исчезло очарованіе. Теперь же и отступить некуда. Нѣтъ, не слышно отрезвляющаго, дружескаго голоса...

Чуть донесся изъ долины неясный звукъ... еще и еще...

— Выстрѣлы!—вздрогнулъ Сергѣй Николаевичъ и опомнился.

Да, это стрѣляютъ... Вотъ опять... Вотъ стихло...

— Тамъ, у мечети... Тамъ товарищи, друзья.. Боже, они погибнутъ!

— Они спасены уже! — спокойно отвѣтилъ старикъ.

А Наль не говорилъ, онъ только подумалъ: слова съ языка не успѣли сорваться.

— Что же онъ—на мысли мои отвѣчаетъ?! «Они спасены!»

Чувство живой радости охватило Наля. Онъ вдругъ разрыдался, но красивое лицо его улыбалось. Напряженные нервы не выдержали, колѣни подогнулись сами собою, самая рука совершила крестное знаменіе.

Когда Наль взглянулъ снова на своего собесѣдника, онъ не сразу узналъ его. Исчезъ таинственный, величавый образъ: передъ нимъ сидѣлъ самый обыкновенный старецъ—слабосильный, даже жалкій на видъ. Много такихъ видѣлъ онъ часто на перекресткахъ проѣзжихъ дорогъ, на людныхъ мѣстахъ базаровъ—и ничего близкаго, ничего призывающаго не чувствовалъ онъ къ нему больше. Исчезло безъ слѣда непонятное очарованіе.

— Послушай,—обратился къ нему Сергѣй Николаевичъ,—кто бы ты ни былъ... спасибо! Ты не хочешь сказать своего имени—не надо. Но помни, что всегда, во всякую минуту, для тебя открыты и мой кошелекъ, и мое сердце!

— Кошелька мнѣ не надо, а сердце твое въ моей груди бьется!—тихо проговорилъ старикъ.

Но эта новая загадка не произвела прежняго дѣйствія. Она только снова раздражила Наля.

— Я иду!—сказалъ онъ отрывисто.

— Куда?

— Къ своимъ, туда!

— Ты погибнешь на пути, и я уже сегодня спасти тебя вновь не въ силахъ, —грустно проговорилъ старикъ. — Дождись ночи... Когда станетъ совершенно темно, ты увидишь вонъ тамъ, по этому направленію, замѣть теперь хорошенько: вонъ между тѣмъ сѣрымъ острымъ камнемъ и этимъ, что меньше, круглымъ, — огонь ты увидишь; иди на этотъ огонь смѣло!

Старикъ тяжело приподнялся, отвязалъ отъ пояса маленькій мѣшечекъ и тыквянку и положилъ ихъ на землю.

— День цѣлый пройдетъ — ты голоденъ. Здѣсь ты найдешь немного хлѣба и нѣсколько глотковъ воды, а мнѣ это не нужно. Пока прощай. Помни: жди до темноты, до ночи!

Старикъ пошелъ. Долго слѣдилъ глазами Наль за его удаляющеюся фигурою. Онъ спускался въ долину: то на минуту скрываясь за камнями, усѣявшими горный скатъ, то появляясь снова въ виду, становясь все меньше и меньше, наконецъ, скрылся окончательно. А Сергѣй Николаевичъ все смотрѣлъ и смотрѣлъ, и ему стало невыразимо грустно здѣсь одному, на этомъ дикомъ, раскаленномъ солнечными лучами, предгорномъ скатѣ.

«И такъ цѣлый день, — проговорилъ онъ. — А старикъ правъ — дождаться ночи необходимо; рискнуть идти одному, безоружному, было-бы болѣе чѣмъ неблагоразумно».

Онъ машинально поднялъ оставленный ему мѣшокъ и тыквянку, выбралъ мѣстечко въ тѣни громаднаго камня, швыркомъ ноги отбросилъ большую ящерицу, попавшуюся ему на глаза, и вынулъ изъ мѣшка надвое сложенную, сухую, какъ камень, лепешку, апетитно закусилъ ее своими молодыми зубами Вдругъ онъ что-то увидѣлъ и вздрогнулъ... Ему показалось, что таинственный старикъ не ушелъ, а лежитъ тутъже, по близости. Присмотрѣвшись, онъ невольно расхохотался. Это виднѣлась на землѣ оставшаяся одежда, — какой-то старый, рваный халатъ и размотанная, съ отрепанными концами чалма.

Нѣмые свидѣтели истекшей таинственной ночи.

VII. Тревога.

Между тѣмъ въ становищѣ Ибрагимъ-бая у Ишанъ-Дауда происходило слѣдующее.

Огонь въ палаткѣ былъ потушенъ, господа, значитъ, заснули. Докторъ съ начинающейся сильною головною болью, но еще въ полномъ сознаніи, торопливо одѣвался въ широкій халатъ; казаки уже переодѣлись и, снявъ оружіе, оборачивали его коврами, но такъ, чтобы при случаѣ и достать легко было.

Окончательно безсознательнаго Шолобова джигиты вынесли на рукахъ и уложили на арбу, тщательно занавѣсивъ ее войлоками; докторъ полѣзъ туда-же. Казаки помѣстились на другой, слѣдовавшей сейчасъ-же сзади. Всѣ эти приготовленія къ бѣгству дѣлались ловко и быстро, безъ всякаго подозрительнаго шума. Лошадей оставили на мѣстѣ; ихъ отсутствіе моглобы быть замѣчено раньше, чѣмъ слѣдуетъ. Люди Ибрагимъбая вывели арбу на дорогу и помѣстили между прочими, чужими. Все это такъ казалось естественнымъ, столько народу сбиралось передъ разсвѣтомъ тронуться въ обратный путь, что у проснувшихся не вызывало ни малѣйшаго подозрѣнія.

Наконецъ, все было готово.

Докторъ, посвященный въ тайну обморока Шолобова, дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и жалѣлъ, что онъ самъ не накурился, какъ слѣдуетъ.

«Теперь-бы лежалъ подъ халатами, какъ бревно, и не чувствовалъ-бы этого отвратительнаго состоянія», думалъ онъ, тщательно затягивая крохотное, клинообразное отверстіе, назойливо открывавшееся сбоку, при каждомъ толчкѣ арбяныхъ колесъ.

Казаки набожно крестились, бормоча слова молитвъ, путая ихъ между собою.

— Ну, и машкарадъ же, прости, Господи! — сплюнулъ одинъ изъ нихъ.—Разсказать, такъ засмѣютъ товарищи!

И когда появились первые признаки разсвѣта, и обрисовались силуэты на побѣлѣвшей сторонѣ горизонта, арба Ибрагимъ-бая была уже верстахъ въ пяти отъ мѣста готовящейся рѣзни, взявъ окольную дорогу, чтобы далеко обойти майданъ, опасное мѣсто—возможной засады.

И была пора.

Тихо, ползкомъ, со всѣхъ сторонъ, подвигались враги, окружая злополучную палатку. Видъ привязанныхъ на своихъ мѣстахъ лошадей, не оставлялъ ни малѣйшаго сомнѣнія.

— Пора!—скомандовалъ Нурмедъ-таксыръ.

И дикій вой сотенъ озлобленныхъ голосовъ пронесся по всему урочищу.

Вдругъ разомъ все стихло... на мгновеніе стихло, чтобы разразиться снова самыми отборными проклятіями.

— Китты! *)—крикнулъ кто-то первый.

— Врете!—взбѣленился Нурмедъ и съ пѣною у рта рванулъ полотно шатра, дрогнувшаго и разомъ покосившагося набокъ.

Въ нѣсколько секундъ отъ новенькой, красивой палатки остались одни только клочья. Какой-то взбѣшенный фанатикъ кинулся къ лошадямъ и всадилъ шолобовскому коню ножъ въ животъ. Раненое животное рванулось и, обрызгивая всѣхъ кровью, металось въ толпѣ, давя людей, усиливая безпорядокъ.

Нѣсколько выстрѣловъ въ остальныхъ лошадей раздались тамъ и сямъ. Кто-то застоналъ.

— Да тише вы... смирно!—кричалъ первый, опомнившись отъ неожиданности, таксыръ-Нурмедъ.—Своихъ перебьете!

Выстрѣлы и шумъ борьбы произвели панику въ группахъ бивакирующихъ мирныхъ поклонниковъ Ишанъ-Дауда; въ обо-

---

*) Ушли.

захъ произошла невозможная путаница. А время уходило, и со временемъ, все впередъ да впередъ, дальше катились арбы Ибрагимъ-бая, давно уже выбравшіяся на просторъ и свободно перешедшія изъ осторожнаго шага въ самую необузданную скачку.

Съ вымазаннымъ до неузнаваемости лицомъ, въ старомъ простомъ халатѣ, Ибрагимъ-бай скакалъ позади всѣхъ; Юнусъ, тоже измѣнившій свой костюмъ, самъ правилъ арбою Шолобова, сидя верхомъ на запряженной лошади.

Когда разсвѣло окончательно, бѣглецы были въ относительной безопасности. Разстояніе до городскихъ стѣнъ было уже не велико: еще полчаса ходу, и изъ-за зелени садовъ должны показаться высокіе зубчатые гребни. А на встрѣчу быстро подвигалось облаки пыли. Въ этомъ облакѣ мелькали бѣлыя шапки казаковъ, и усиленно кивали косматыя конскія морды. Ибрагимъ-бай вынесся впередъ имъ навстрѣчу — и черезъ минуту полусотня оренбургцевъ окружила арбы.

Докторъ высунулся изъ арбы, махалъ руками, истерически плакалъ и разсказывалъ торопливо невозможную чепуху. Костюмированные казаки повылѣзли тоже и, стыдливо сбрасывая съ себя халаты, принимая снова свой обычный видъ. Сотникъ Буреломъ, командиръ отряда, скребъ затылокъ, пытаясь понять что-нибудь изъ докторскаго разсказа.

— Слѣзай!—скомандовалъ онъ, наконецъ.—Поводи коней. А Иванъ Алексѣевичъ-то гдѣ же? А Сережа?

— Тутъ-тутъ, живъ и здоровъ!—поторопился докторъ.— А Наль-то нашъ—тю-тю!

Докторъ попытался выразительно свистнуть, но это у него не вышло.

Шолобовъ, отъ тряски и шума, сталъ приходить, наконецъ, въ сознаніе. Докторъ догадался намочить ему голову и обмыть съ лица дорожную пыль. Ибрагимъ-бай зачерпнулъ изъ арыка воды и поднесъ чашку къ губамъ больного. Тотъ пилъ машинально, большими глотками, быстро овладѣвая собою. Голова его трещала отъ боли, въ глазахъ ходили круги, но онъ уже многое сообразилъ, соскочилъ съ арбы и тотчасъ же упалъ бы, если бы казаки его не поддержали.

— Буреломъ, сколько съ тобою?—спросилъ онъ заплетающимся языкомъ.

— Полусотня; да по большой дорогѣ полусотня побѣжала; рота стрѣлковая для поддержки должна выступить. Вотъ такъ штука!

— Давай лошадь, живо!

— Да ты не сможешь, голубчикъ, Иванъ Алексѣевичъ,— ты бы домой ѣхалъ; генералъ безпокоится. Максимка, молодчина, прибѣжалъ, еще темно было, прямо къ генералу. Конь у него у самыхъ воротъ сдохъ. Сичасъ тревогу, тихую, безъ шуму, и гайда!

— Лошадь давай!—повторилъ Шолобовъ.

И не дожидаясь исполненія приказанія, вырвалъ поводъ у ближайшаго казака, хотѣлъ сѣсть, да самъ не могъ,—казаки подсадили.

Почувствовавъ себя въ сѣдлѣ, старый капитанъ преобразился.

— Садись!—скомандовалъ онъ.

— Безъ шашки что ли пойдешь? — замѣтилъ сотникъ Буреломъ.—Эй, Косыхъ, взяли у тебя коня—давай и шашку. Съ арбами въ городъ возвращайся!

— Ну, нѣтъ, я уже съ вами не пойду, шалишь! — проговорилъ докторъ и быстро полѣзъ обратно въ арбу. — Конвойчикъ бы намъ оставили маленькій!—обратился онъ къ Шолобову.

Но тотъ уже не могъ ему отвѣтить. По два въ рядъ, прижимаясь къ стѣнкамъ, огибали арбы казаки и вытягивались на дорогу. Должно быть, передніе, а съ ними два офицера, погнали шибкою рысью, потому что оставшимся въ хвостѣ пришлось съ мѣста въ карьеръ догонять товарищей.

Арбы Ибрагимъ-бая поѣхали домой уже шагомъ.

Минъ-баши Нурмедъ, кое-какъ собравъ своихъ, вспомнилъ, наконецъ, о плѣнникѣ.

— Хоть одного да приведу Алемъ-кулу, да еще живого. А ну, приведите ко мнѣ того!

Побѣжали исполнять его приказаніе.

Связанный Наль долженъ былъ находиться въ маленькомъ дворикѣ за мечетью, подъ строгою охраною — хана-Берды и другого джигита. За посланными двинулась толпа. Скоро и

тамъ поднялся неистовый крикъ, заставившій Нурмеда поблѣднѣть и бѣгомъ броситься на мѣсто происшествія.

— Ушелъ и этотъ!—послышалось ясно въ переднихъ рядахъ толпы.

— Ушелъ!.. Не можетъ быть!—схватился за голову красавецъ минъ-баша.—Ушелъ! Берды-ханъ, собака! Петлю ему на шею!

Берды-ханъ стоялъ, прижавшись, какъ волкъ, у стана, даже не отмахиваясь отъ наступавшихъ на него съ кулаками буяновъ.

— Упустилъ?—проговорилъ Нурмедъ, подойдя ближе съ поднятою плетью.—Не устерегъ? Да отвѣчай же, проклятый! Что языкъ у тебя что ли отнялся? Вдвоемъ съ однимъ связаннымъ не справились... Подлые трусы!

Берды-ханъ поднялъ голову и злобно сверкнулъ глазами. Старый джигитъ рванулся впередъ такъ, что толпа отхлынула. Его, изборожденное боевыми шрамами, лицо было по-истинѣ ужасно. Даже самъ Нурмедъ попятился, невольно потянувшись за рукоятью сабли.

— Ты мнѣ человѣка давай стеречь, а не дьявола,—хрипло заговорилъ онъ.—Не справился—какъ же!.. Ты знаешь, что я съ пятью разомъ легко управлялся, а то шайтанъ былъ — и на выручку ему приходилъ шайтанъ.

— Ты, таксыръ,—выдвинулся тутъ товарищъ Берды-хана,— не сердись на него, нельзя сердиться. Ночью приходилъ самъ сатана, глаза у него горятъ, какъ уголья; и навелъ онъ на насъ такую силу, что ни рукою, ни ногою, не могли двинуть и слова сказать не могли. Видѣли, все видѣли, а ничего сдѣлать не могли. Видали, —какъ онъ его поднялъ, какъ кушаки развязалъ, какъ халатъ накинулъ на плечи—и повелъ. А мы сидимъ и двинуться не можемъ. Долго такъ сидѣли; а пришли въ себя, ханъ-Берды говоритъ: «теперь мнѣ не жить!» вынулъ ножикъ, да къ горлу... насилу я отнялъ.

— Вѣрно!—подтвердилъ и тотъ.

На взмыленномъ хрипло-дышащемъ конѣ прискакалъ всадникъ и сказалъ что-то Нурмеду; тотъ встрепенулся и крикнулъ:

— Коней давайте!

Въ толпѣ послышались слова: «Урусъ-кемде!» *), и вслѣдъ

---

*) Русскіе идутъ.

за этимъ сотни голосовъ закричали: «Спасайтесь, правовѣрные!»

Нурмедъ, окруженный своими кавалеристами, поскакалъ къ воротамъ.

Общая паника распространилась съ заразительною быстротою. Мулла-Годдай заперъ двери мечети и мрачно сѣлъ на порогѣ, снаружи.

— Бѣгите-бѣгите, трусы! Не хотите вы смерти праведной, недостойны вы — рая пророка. О, Аллахъ, за что такъ караешь гнѣвомъ своимъ народъ—тебя чтущій!—бормотали его желтыя, старческія губы, и глаза сверкали изъ-подъ сѣдыхъ бровей безсильною, но непримиримою злобою. — Пошли мнѣ смерть! Пошли, о милосердный!—шепталъ старый фанатикъ.— Закрой скорѣе эти глаза, дабы они сраму знамени твоему святому не видѣли...

VIII. Раздумье и грезы.

Мѣсто, гдѣ находился Сергѣй Николаевичъ—было пустынное предгорье... Поднимаясь надъ долиною, тянулись ряды холмовъ, прикрытые тонкимъ слоемъ тука. Мѣстами виднѣлись каменистыя обнаженія, мѣстами, словно скалы, высились громадные камни; растительность была жалкая — тощая... Да и что могло расти на этихъ раскаленныхъ возвышенностяхъ!.. Далѣе поднимался второй рядъ высотъ, уже совершенно оголенныхъ, а за ними, стѣною уходя въ облака, стояли горы съ вѣчно сверкающими льдомъ и снѣгомъ вершинами. Это были первые отроги Алая. Долина внизу, окутанная утреннею дымкою, разстилалась, какъ въ планѣ, расплываясь въ даль, пока не замыкала ее едва замѣтная синѣющая полоса другихъ горъ... Кое-гдѣ серебрилась вода, то занимая большія правильныя пространства,—это затопленныя рисовыя поля, то узенькими черточками—это арыки... Городскія стѣны виднѣлись ясно, а надъ ними холмъ цитадели съ башнями. Но до нихъ было далеко... Вонъ и мечеть Ишанъ-Даудъ, крохотная, едва бѣлѣющая въ темной группѣ ея вѣковыхъ карагачей... Вонъ цѣлыя тучи пыли обозначаютъ проѣзжіе пути. Неясный гулъ движенія чуть доносится, а больше ничего—и что дѣлается *тамъ*, надо догадываться... Выстрѣлы были, но болѣе этотъ звукъ не повторялся ни разу.

«Развѣ пойти?!.. Хоть бы ножикъ перочинный оставили»!..

Наль глубоко вздохнулъ, осмотрѣвшись и тщательно ощупавъ свои карманы.

«Такъ первый попавшійся навстрѣчу халатникъ—пристукнетъ .. Глупо. Надо ждать!.. Какъ бишь онъ говорилъ?.. Да!.. Стать вотъ здѣсь, смотрѣть туда, между этимъ круглышемъ и тѣмъ острымъ выступомъ. Тамъ будетъ виденъ огонь... и на этотъ огонь ты иди смѣло!» Странный старикъ! Странныя вещи случаются со мною!...

«Бѣдная мама моя!.. Почему такъ ей было тяжело, такъ больно отпускать меня?.. Вѣдь не могу же я оставаться всю жизнь съ нею?.. Надо служить, надо идти впередъ... Надо... И какъ меня тянуло сюда!... Именно сюда—и это особенно смущало мою дорогую, мою нѣжно-любимую... Она рвалась за мною, ее удержали «это было бы неудобно, тяжело для нея, ну,—наконецъ, странно...» Тамъ всѣ такъ умно говорили—и она имъ повѣрила... Нѣтъ, она дѣлала видъ, что вѣритъ, и осталась...— «Пиши каждый день... пиши все... все... мелочей нѣтъ. Все для меня одинаково важно и дорого. «Пиши!» Я писалъ не каждый день... нѣтъ... это вовсе не нужно, но писалъ часто... Письма безконечно идутъ долго. Чуть не полгода»...

Сергѣй Николаевичъ вдругъ вспомнилъ одинъ эпизодъ, и почему это именно этотъ незначущій эпизодъ пришелъ въ голову!

Разъ онъ засталъ въ маленькой гостиной своей матери красиваго полковника генеральнаго штаба, хорошаго знакомаго, даже товарища по школѣ его покойнаго папа. Оба они, и хозяйка, и гость, тщательно разсматривали карту, мать слушала сквозь слезы, а полковникъ говорилъ ей: «Видите, моя дорогая, это очень еще далеко... Громадныя, еще мало изслѣдованныя пространства отдѣляютъ насъ отъ ея сѣверныхъ границъ».

Оба замолчали, когда вошелъ Сережа. Мама поспѣшила утереть слезы, а полковникъ весело обратился къ вошедшему.

— А мы тутъ вашъ маршрутъ соображали!—заговорилъ онъ.—Ну, молодой человѣкъ, вамъ предстоитъ дорога трудная и не короткая... Въ добрый часъ, въ добрый часъ!.. Я всегда былъ такого мнѣнія, что молодымъ офицерамъ лучше начинать свою службу на окраинахъ, въ истинно боевомъ кругу... чѣмъ коптѣть здѣсь въ Петербургѣ и только размѣниваться на мелочи, да губить здоровье... Отъ души желаю успѣха!..

Посидѣлъ полковникъ, ушелъ. Вышла мама, а карта осталась на столѣ. И Сережа смотрѣлъ на эту знакомую карту. Только теперь замѣтилъ онъ рѣзкую черту краснымъ карандашомъ по Гималаю, и другую, ломанную черту, отмѣченную сѣвернѣе...

«Почему мама боялась такъ близости къ Индіи?» сообразилъ Сергѣй Николаевичъ въ эту минуту, припомнивъ такъ ясно давнишній эпизодъ.

«Она боится... а меня именно тянетъ туда всею душою... Такъ вотъ и подгонялъ бы событія все впередъ и впередъ... А этотъ старикъ... у него нѣтъ на лбу священнаго изображенія пламени, но черты его не здѣшнія... Нѣтъ... Онъ вѣрно оттуда...»

При этомъ воспоминаніи Наль снова почувствовалъ себя скверно... Снова какой-то страхъ запалъ въ его душу, снова имъ овладѣло томительное безпокойство... Далеко ушелъ *тотъ*, а какъ будто вотъ тутъ, гдѣ-то по близости, и смотритъ на него пристально. Подъ вліяніемъ этого взгляда Наль славно засыпаетъ, и съ трудомъ, съ большимъ усиліемъ гонитъ отъ себя неотвязную, невольную, томительную дремоту...

Легкій шелестъ по близости заставилъ Наля оглянуться... Изъ расщелины, чуть пыля, ползла сѣрая змѣя съ ярко-бронзовымъ низомъ. Маленькая головка приподнялась отъ земли и пристально смотрѣла на пришельца... Наль встрѣтилъ ея взглядъ своимъ. Нѣсколько мгновеній и человѣкъ, и змѣя словно боролись лучами зрѣнія... Наконецъ, гадина метнулась въ сторону и поползла прочь, торопливо извиваясь межъ камней своими кольцами.

«Укусила бы — и смерть... Эта страшная мѣдянка, да какая большая!» — подумалъ Наль и тотчасъ же удивился.

Чѣмъ бы вскочить сейчасъ, вооружиться камнемъ что ли, отбѣжать подальше, а онъ сидитъ и смотритъ, и какъ близко... вотъ!.. Сергѣй Николаевичъ протянулъ руку и досталъ до камня, того самаго, около котораго только что виднѣлась маленькая смертоносная головка змѣи со своими холодными, но выразительно напряженными глазами, а страшный врагъ ушелъ, и не видно его, не слышно болѣе даже ея вызывающаго невольную дрожь шелеста.

«Куда онъ звалъ меня?!..» Иди туда, гдѣ нѣтъ «ни вѣч-

ной тьмы, ни вѣчнаго свѣта... Гдѣ царитъ только безконечно отрадный покой... Иди безъ раздумья, только съ одною слѣпою вѣрою... Иди... Иди!..»

«Идти за нимъ и оставить здѣсь все, что такъ радостно дорого и мило! Все, что такъ полно жизни, полно очарованія— и зачѣмъ?.. Для вѣчнаго небытія, «слиться съ нирваной». Странное ученіе... Таинственное, непонятное, но влекущее, какъ та пропасть... И кто-же ты, призывающій?.. Почему ты меня зовешь, а не кого другого? Что отъ меня именно тебѣ нужно, за что меня ты избралъ своею жертвою? Непрошенный, незваный покровитель!.. Ты старъ и дряхлъ, для тебя и здѣсь жизнь уже почти небытіе, для тебя остыли всѣ радости жизни. Ты и ступай одинъ... Меня же оставь въ покоѣ. Ты говорилъ, что тебѣ ѣсть не надо,—послѣдній кусокъ хлѣба, послѣднюю каплю воды мнѣ оставилъ, а я голоденъ и поѣлъ-бы теперь съ большимъ удовольствіемъ... у доктора деньщикъ удивительно барашка готовитъ... Я помню, у отца Никанора, пироги всегда по воскресеніямъ... Сегодня, кажется, воскресеніе и есть... Такъ-бы съѣлъ большущій кусокъ... Буреломъ поетъ, какъ соловей... Стройный хоръ подхватываетъ... Чудно, весело! Старики наши начнутъ припоминать былое, заспорятъ... Гуль-гуль... чудная, милая дѣвочка!.. Странная какая-то, но такъ-бы и ласкалъ ее, такъ-бы и смотрѣлъ ей въ ея веселые глазки... И русскихъ любитъ... Такъ намъ предана. «Вы, говоритъ, женщинъ своихъ не бьете, не запираете, позволяете лицо свое всѣмъ показывать, вы добрые»... На прошлой недѣлѣ мы ѣздили къ ней. Я, Шолобовъ, Буреломъ, Красоткинъ и докторъ, этотъ забавный толстякъ... О Господи!.. Да живы-ли они?.. *Спасены—онъ* ясно сказалъ «*спасены*», а *онъ* лгать не станетъ... *Онъ* долженъ знать это и можетъ... *онъ* все знаетъ... *онъ* даже все, что на душѣ моей, знаетъ... о, это ужасно!.. Куда отъ него спрятаться, куда скрыть свои мысли... Оставь-же ты меня, оставь!.. Заклинаю тебя твоей же нирваной!.. Ты вонъ тамъ, за камнемъ стоишь и смѣешься... Дьяволъ!.. Я это чувствую, я»...

Наль быстро вскочилъ и обошелъ камень вокругъ; никого не было... Тишина мертвая окружала его, одинокаго среди пустыни, и солнце, давно уже перейдя зенитъ, багровѣло, спускаясь къ западу.

«Кротко съ любовью смотрѣлъ ты на меня, старичекъ непонятный. Ты корень... я стебель твой... Не зла желаешь ты мнѣ... Благостью, любовью дышутъ слова твои... Не мучь же меня невѣдѣніемъ!.. Объясни, разскажи!.. Дай мнѣ жить, пока жизнь для меня свѣтла и радостна... Послѣ, послѣ, быть можетъ... я самъ»...

Словно тѣнь промелькнула передъ нимъ... одно мгновеніе только, дрожа и колеблясь въ остывающемъ вечернемъ воздухѣ, держалось видѣніе передъ его изумленными глазами и скрылось.

Чудная женщина, вся въ черномъ, съ золотистыми волосами, стройная, величественно красивая... Нѣтъ, это странная, случайная игра свѣта, это послѣдній лучъ заходящаго солнца залилъ золотомъ тотъ камень, фосфорическимъ свѣтомъ пронизалъ сгущенную тѣнь... Но звуки, звуки откуда же?.. Ясно, отчетливо слышалъ Наль.

— Я надъ тобою—не бойся... Я спасу тебя и охраню... Такъ повелѣно свыше...

— Матушка!.. — рванулся Сергѣй Николаевичъ, и слезы снова градомъ брызнули изъ его глазъ.

Забыто все... Всѣ воспоминанія, всѣ мысли слились въ одномъ дорогомъ, безконечно любящемъ и любимомъ образѣ...

Какъ быстро темнѣетъ!.. Въ долинѣ давно уже загораются огни. Красноватое зарево поднимается далеко надъ городомъ.

— Сюда! — произнесъ Наль и отошелъ къ назначенному мѣсту. Между острымъ выступомъ и круглымъ камнемъ разгоралось высокое костровое пламя.

Сергѣй Николаевичъ вздохнулъ съ чувствомъ радости и душевнаго облегченія и скорою молодою походкою пошелъ по указанному направленію.

IX. Развѣдка.

Казачья полусотня, съ Шолобовымъ и Буреломомъ во главѣ, скоро *добѣжала* до мѣста ночныхъ событій. Вся площадь была засорена остатками бивуака и ломанными въ суматохѣ арбами; тамъ и сямъ чернѣли забытые котлы; на видномъ мѣстѣ, почти у самаго въѣзда, лежалъ уже сдохшій капитанскій Гнѣдко... Небольшая толпа собралась у мечети... Но эти люди, большею

частью дряхлые старики, сидѣли молча, угрюмо глядя на казаковъ. Мулла Годдай, казалось, дремалъ, опустивъ голову на высоко согнутыя колѣни. Трупъ юродиваго фанатика, прикрытый ковромъ, лежалъ все еще на мѣстѣ своего паденія, у подножья знамени чтимаго святаго.

Еще раньше нѣсколько казаковъ, отдѣлившись отъ огряда, заскакали впередъ и теперь, обогнувъ становище, одинъ за другимъ выскакивали изъ-за стѣнокъ, сдерживая взмыленныхъ коней.

— Скоро же удрали! — произнесъ Шолобовъ. — А ну-ка этихъ къ допросу... Переводчикъ!..

Казакъ-татаринъ протискался изъ заднихъ рядовъ и сталъ слѣзать съ лошади...

— По какой дорогѣ ушли Алемкуловы люди?. Спроси-ка ты у него...

Капитанъ указалъ нагайкою на муллу.

Казакъ-переводчикъ, потянувъ за поводъ упирающагося моштака, тронулъ старика за плечо и перевелъ вопросъ по-татарски.

Медленно вскинулъ потухшія очи мулла Годдай и снова молча опустилъ ихъ.

Буреломъ въ это время допрашивалъ кое-кого изъ другихъ, но толку добиться было невозможно. На всѣ вопросы слѣдовало упорное молчаніе.

— Въ нагайки-бы ихъ, живо залопотали-бы! — предложилъ озлившійся сотникъ.

— Брось! — остановилъ Шолобовъ. — Ты говорилъ, вторая полусотня на майданъ идетъ... Есть бумага?.

Буреломъ полѣзъ въ карманъ и вытащилъ вмѣстѣ съ кисетомъ записную, замасленную книжку.

— Давай толковаго урядника, я напишу стрѣлкамъ, чтобы шли сюда и заняли здѣсь позицію, а вторая полусотня, чтобы съ майдана свернула влѣво, на Шихманъ, прошла до черной балки и вытянулась-бы до самыхъ колодцевъ, да чтобы шарили дорогою хорошенько, а мы съ тобою гайда, прямо на караванный путь.. Если и не догонимъ, то все-таки развѣдку настоящую сдѣлаемъ... Къ ночи обѣ полусотни сойдутся на колодцахъ!

Капитанъ и говорилъ, и писалъ одновременно, одновре-

менно почти и кончилъ... Казаки пока торопливо оправляли сѣдловку и протирали конямъ воспаленныя отъ бѣга ноздри... Косматые степняки шумно встряхивались, нѣкоторые обнаруживали непреодолимое желаніе поваляться.

— Ничего, не замай!.. Оно хорошо, кровь разбиваетъ...

— Луку-бы не сломали... тпру!.. Чтобъ-тѣ язвило!..

— Робя... зачерпни воды во фляги... Тутъ чудесная!.. Гляди, Митька коверъ какой сперъ... Торочь живѣе...

— Сперъ!.. Прямо на дорогѣ валялся... Поднялъ... А ты, сперъ!..

— Садись!—все покрылъ густой басъ сотника Бурелома.

Пошли...

— Я такъ полагаю, — поровнялся сотникъ съ Иваномъ Алексѣевичемъ.—Я полагаю, что живьемъ увезли...

Шолобовъ молчалъ и, привставъ на стременахъ, чтобы облегчить тряску коня, хватался рукою за голову. Боль тупая, боль, похожая на угарную—упорно держалась, казалось, даже усиливалась.

— Я по такимъ примѣтамъ полагаю, что живьемъ,—продолжатъ Буреломъ:—какъ ежели предали-бы они его смерти, надругательство сдѣлалибы: голову съ собою-бы уволокли, напоказъ высшему начальству, а тѣло-бы съ надругательствомъ, тутъ-бы, на виду оставили... Надо-быть, значитъ, живьемъ!

— А ты думаешь, что я самъ того не полагаю; думаешь отъ этого муллы остался бы хоть клокъ бороды, если бы нашли Сережино тѣло! — проворчалъ Шолобовъ и ударомъ шпоръ послалъ впередъ туповатую лошадь.

— Полагаю, — продолжалъ словоохотливый сотникъ, — чтобы какъ бы намъ ежели самимъ не нарваться... Полусотня всего, да сзади теперь полусотня,—а мулла Алемъ-Кулъ тоже не шутитъ!

— Далеко до Алемъ-Кула,—проворчалъ Шолобовъ.—Эхъ, намъ бы хоть одного изъ этихъ красныхъ захватить: все бы узнали хоть что-нибудь!

Но захватить на этотъ разъ никого не довелось... День жаркій, лошади сдѣлали уже большой переходъ усиленною рысью и притомились, изрѣдка тяжело дыша, онѣ значительно сбавили рысь... Полусотня растянулась сильно... есть, значитъ, присталые.

— Шагомъ! —скомандовалъ Буреломъ.—Ну, и пекло же, прости Господи!..

Остановились передохнуть у опустѣлаго караванъ-сарая, тоже торопливо покинутаго обитателями.

— И чего бѣгутъ, чего прячутся!—досадливо проговорилъ капитанъ.—Вонъ, даже чайникъ съ чаемъ у огня бросили... Не броди по сторонамъ!.. Чего шарите!..

Казаки не безъ удовольствія, послѣзая съ коней, принялись угощаться. Отыскали мѣшокъ съ лепешками, двое уже тащили большой котелокъ съ недоѣденнымъ пловомъ. Урядникъ, отстегнувъ отъ сѣдла мѣдный чайникъ, сталъ заваривать для господъ—*своего*.

— Води, води, качай!.. Не давай устаиваться... Води, не зѣвай!—покрикивалъ онъ, бренча посудою.

Шолобовъ слѣзъ съ лошади, велѣлъ намочить себѣ голову и легъ подъ навѣсомъ, а Буреломъ распорядился выслать впередъ и въ стороны «бекеты», какъ говорилъ онъ, «на всякій, значитъ, неожиданный случай!»

— И какъ это, удивительное дѣло! Вдругъ это онъ былъ и пропалъ... Отлучился, должно полагать, зачѣмъ, на минуту— и сичасъ его... Темно было?

— Да, уже около полуночи... этакая безшабашная голова!.. Вотъ и влопался бѣдняга!

— Долго-ли!

— Узнаемъ что-нибудь... отпрошусь я самъ у генерала къ Алемъ-Кулу парламентеромъ. Выкупъ соберемъ... надо хлопотать...

— А я такъ думаю, что нашему брату-офицеру и пускаться не слѣдуетъ. Азія, вѣдь: вмѣсто одного, двухъ вызволять придется!

— Бываетъ... Девлетку послать надо. Онъ шустрый, онъ и нашимъ угодить стараться будетъ, и тѣмъ—тоже разстарается. Эхъ, горе-горе! Бѣдный Сережка! Меня что огорчаетъ... (Шолобовъ приподнялся на локоть и провелъ рукою по лицу). Что меня тревожитъ болѣе всего—это его мать. Онъ мнѣ читалъ письма ея иногда, сколько любви, да какой!.. Узнаетъ, бѣдная, не выдержитъ... А вѣдь, въ случаѣ чего, не скроешь, увѣдомить придется!

— Гуль-Гулька тоже наплачется!—усмѣхнулся казакъ.

— А ну ее!.. Изъ-за этой егозы все и вышло... Мнѣ гово-

рили, онъ за нею пошелъ, померещилась она ему, должно быть... Я ея не видалъ!

— Нѣтъ, эскулапъ-то нашъ, какого страха натерпѣлся!.. Вылѣзаетъ изъ арбы... Боже, ты мой!.. Обликъ даже совсѣмъ неестественный сдѣлался. То-то теперь въ крѣпости разсказы плететъ. А какъ, надо полагать, должна теперь Ибрагимъ-баю награда выйти за усердіе?

— Полагаю!.. Что же отдохнули немного, можно и трогаться!

— Маленько бы еще, попоить малость, да торбишки навѣсить. Запалились, гнамши...

Покончивъ привалъ, давъ вволю передохнуть конямъ, освѣжившись и сами, тронулись дальше. Выйдя на караванный путь и не встрѣтивъ нигдѣ разъѣздовъ Муллы-Алемъ-Кула, отрядъ свернулъ къ горамъ и къ закату солнца подошелъ къ черной балкѣ, на колодцѣ, гдѣ долженъ былъ соединиться со второю полусотнею.

Оба отряда сошлись почти одновременно.

Эсаулъ Ползуновъ, командиръ сотни, доложилъ, что молъ съ десятокъ человѣкъ разнаго званія позахватили, а толку не добились никакого.

— Одначе свѣдѣніе есть, что стоятъ верстахъ въ тридцати не больше, «сила великая—видимо невидимо», и что онъ уже послалъ генералу обстоятельное сообщеніе.

— Пропалъ нашъ Налекъ!—покачалъ онъ головою.—Допрыгался!

— Э...эхъ!—только крякнулъ Шолобовъ.

Стали на колодцахъ бивакомъ, развели костры.

— Ночью идти назадъ—не резонъ,—рѣшили командиры,—поспимъ здѣсь съ оглядочкою!

Не веселый ночлегъ. Какъ ни утомились офицеры за день усиленной гоньбы, а не спалось. Участь бѣднаго товарища не давала имъ покоя. Надежда на выкупъ была, но слабая. Всѣ хорошо знали Алемъ-Кула. А ну какъ онъ не денегъ запроситъ, а потребуетъ иныхъ условій? Ну, какъ скажетъ въ отвѣтъ: «согласенъ, но только послѣ очистки вашими войсками города и обязательства отступить за предѣлы и проч.». Какъ послѣдній лучъ надежды, блеснула одна только идея. Это, что шайка, захватившая Наля, пожелаетъ сама воспользоваться выгодами выкупа, и плѣнника скроютъ отъ своего вождя.

— Ну, этого я не особенно полагаю!—грустно покачалъ головою Иванъ Алексѣевичъ.

Офицеры сидѣли у огня, прихлебывая горячій чай, большинство казаковъ спало на землѣ, подостлавъ котомки, лошади на приколахъ фыркали и отмахивались хвостомъ отъ докучливыхъ ночныхъ мошекъ. Вдругъ, въ цѣпи послышался окликъ: «кто идетъ?» и щелкнулъ курокъ.

— Легче, свой!—послышался веселый, знакомый голосъ, заставившій всѣхъ трехъ офицеровъ вскочить на ноги, словно ихъ страшный каракуртъ укусилъ.

— Сережа!.. Наль!.. Сумасшедшій!.. — послышались привѣтствія.

— Господи! Вотъ не ожидалъ! Живъ, цѣлъ! Голубчикъ...

И Шолобовъ, едва сдерживая слезы радости, кинулся на встрѣчу подходившему.

А подходившій былъ дѣйствительно Сергѣй Николаевичъ, усталый, нѣсколько блѣдный, но съ лицомъ веселымъ и радостнымъ. Онъ появился въ освѣщенномъ отъ костра пространствѣ, и конфузливо принимая объятія Шолобова, жалъ протянутыя ему руки казачьихъ фицеровъ.

— Не томи же... разсказывай, что съ тобою случилось?..

Недоумѣвающія, даже нѣсколько испуганныя лица большинства проснувшихся казаковъ, тоже появились въ освѣщенномъ кругѣ.

— А, чай готовъ? Это прекрасно! Давай скорѣе, просто до смерти хочется!—весело заговорилъ вновь прибывшій.—Ну, и намучился же я: цѣлый день, на солнопекѣ, одинъ-одинешенекъ. Со мною просто чудеса... Это непостижимо, вы, право, господа, не повѣрите!.. Видите-ли...

— Садись вотъ сюда, на бурку,—указалъ Шолобовъ. — Да брось ты его, Буреломъ, чего за полу держишь, не уйдетъ. Садись, милый!

— Сѣсть, отчего не сѣсть. Сядемъ, уфъ, хорошо! Горячую пищу варить будутъ, Артемъ Петровичъ?

— Не... не изъ чего,—отвѣчалъ есаулъ,—да ты ѣсть хочешь? Накормимъ. Бердяга! Давай коржумы съ подзакускою!

Иванъ Алексѣевичъ тѣмъ временемъ зорко и внимательно осматривалъ съ ногъ до головы своего друга.

— Ни револьвера, ни шашки, безъ шапки... китель ра-

зорванъ у ворота, подъ мышками тоже, нѣсколько пуговицъ отлетѣло, съ мясомъ, что называется. Борьба была, значитъ, какъ слѣдуетъ... Вырвался... диво, не раненъ... непостижимо!.. Господи! Да начнешь ты, наконецъ, говорить дѣло?!

Такъ капитанъ закончилъ вслухъ свои наблюденія.

Еще съ минутку повозились, усѣлись. Изъ ковровыхъ коржумовъ появились—холодная баранья ляжка съ прилипшими къ мясу газетными клочками, двѣ дыни, деревянные складни съ пирожками и битками и тщательно обернутая полотенцемъ бутылка. Командирскій драбантъ, казакъ татаринъ-Бердяга, чистилъ ножъ, втыкая его въ песокъ и обтирая о голенище сапога.

Сергѣй Николаевичъ принялся, наконецъ, за повѣствованіе событій загадочной ночи. Онъ говорилъ какъ-то странно. То торопливо, то путаясь, словно припоминая что-то забытое. Слушателямъ казалось даже минуту, что разсказчикъ просто сочиняетъ и не совсѣмъ складно выдумываетъ разные выходы изъ своего неловкаго положенія. Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, что съ нимъ было. Грезы мѣшались съ дѣйствительностью, а то, что была дѣйствительность—тоже похоже скорѣе на грезы, на бредъ горячечнаго,—и краска смущенія невольно не разъ кидалась въ лицо разсказчика, и хотѣлось бы ему замолчать, хотѣлось бы самому заплакать и спросить у этихъ жадно слушающихъ друзей: да что же, наконецъ, съ нимъ въ эту ночь случилось, и какъ это случилось, и почему! А тутъ къ нему пристаютъ съ разспросами и какъ будто не вѣрятъ, смотрятъ на него даже подозрительно. Вонъ Наль видѣлъ, отчетливо видѣлъ, какъ Буреломъ толкнулъ локтемъ Шолобова, а тотъ пожалъ плечомъ, и кончикъ уса у него нервно дрогнулъ.

— Ну, право же, я не лгу... Право, это все правда!—сорвалось невольно у Наля.

— Да мы вѣримъ, Богъ съ тобою!—тихо проговорилъ капитанъ.

— Чудны дѣла твои, Господи!—вздохнулъ и потянулся эсаулъ Ползуновъ.—У насъ вотъ, въ Красногорской станицѣ, тоже былъ одинъ — туманъ этакъ въ глаза наводилъ. Тоже это ежели у него лошадь сведутъ—сейчасъ къ нему. На конецъ сапога посмотритъ и говоритъ: «Ищите, молъ, тамъ-то»—и вѣрно!

— Да, Гуль-Гулька-то была дѣйствительно, или такъ только, тоже въ родѣ видѣнія обозначилась?—поинтересовался Буреломъ.

— Гуль-Гуль, да была, она сѣла ко мнѣ на колѣни, это я совершенно ясно помню. Тогда еще со мною ничего не начиналось, или нѣтъ, постойте, за деревомъ, близко вотъ такъ, не дальше этого,—(Наль указалъ на крупъ сѣрой лошади, выдѣляющійся во мракѣ)—*онъ* стоялъ тамъ и пристально смотрѣлъ на меня. Я обернулся, онъ исчезъ, а потомъ уже тогда... это непостижимо!..

Странное впечатлѣніе произвелъ разсказъ Наля на слушателей. Они какъ-будто совсѣмъ не того ожидали. Разскажи имъ, что, молъ, меня связали, приторочили къ сѣдлу, какъ тюкъ, или просто пѣшкомъ гнали межъ лошадей, привязавъ руки къ стременамъ, били, мучили дорогою. Потомъ на привалѣ соснули, а я тихонько развязался,—случайность помогла, что-ли... вотъ, бываетъ, искра стреканетъ изъ костра, да, какъ разъ угодитъ на узелъ, веревка, молъ, и перетлѣетъ въ одномъ мѣстѣ... развязался, поползъ... подальше отползъ, всталъ да ходу... А то еще коня отвязалъ отъ прикола лучшаго, да на немъ, словно вѣтеръ. Всполошились недруги, тревогу подняли, лови, держи! Да, лови вѣтеръ въ полѣ!.. Разскажи имъ что-нибудь Наль въ этомъ родѣ, конца бы не было восторгамъ и радостямъ. А то, что же это такое? Вѣдь, эти слушатели такъ любятъ милаго юношу. Они къ нему всѣмъ сердцемъ, какъ къ своему доброму, хорошему товарищу, а онъ—вовсе не ихъ. Будто бы между нимъ и ими—глубокая пропасть разстилается: или онъ смѣется надъ ними, или вправду чужой, не такой, какъ они, не простой крещеный. А если все это онъ вретъ, морочитъ только? Если что-нибудь такъ просто объяснимое, но ужасное, невѣроятное? Отъ одной мысли кровь стынетъ, сердце тоскливо сжимается. Это вздоръ! Не можетъ быть! *Этого-то* уже никакимъ образомъ не можетъ случиться!

— Усталъ, такъ спи!—прервалъ Шолобовъ тяжелое недоумѣніе.—Не здѣсь,—добавилъ онъ, замѣтивъ движеніе Наля.—Пойдемъ туда, тамъ я велѣлъ кошму разостлать, вонъ подъ кустомъ. Пойдемъ, Сережа!

— Покойной ночи, господа! — поднялся Сергѣй Нико-

лаевичъ и пожалъ руки казакамъ; тѣ оба отвѣтили на пожатіе, но не такъ, какъ всегда, особенно старый есаулъ Ползуновъ. Тотъ жать-то жалъ, даже довольно сильно, но поспѣшилъ отдернуть очень уже будто брезгливо, или, можетъ-быть, это только такъ показалось Налю.

Нервы его были вѣдь разстроены, и ни вѣсть что покажется.

Отвелъ Шолобовъ Сергѣя Николаевича въ сторону, присѣлъ на кошму и его посадилъ съ собою. Помолчали оба—долгонько-таки помолчали, а потомъ капитанъ проговорилъ словно про себя, не громко.

— Эхъ, жаль, что не мнѣ одному разсказалъ ты *все это*—первому!

— Это почему?

— Да потому, что разсказалъ-бы мнѣ разъ и не повторялъ бы больше. Мало ли что имъ соврать можно, и конечно болѣе правдоподобнаго!

— Зачѣмъ же врать, я говорилъ правду... я самъ не понимаю, что это такое. Самъ это чувствую, мнѣ даже казалось, что я лгу, говоря дѣйствительно то, что со мною случилось. Ахъ, если бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело, какъ мнѣ скверно!

— А они этого не понимаютъ, и никто изъ нашихъ не пойметъ, и я самъ не понимаю,—раздражительно проговорилъ Иванъ Алексѣевичъ,—но я тебѣ вѣрю, я люблю тебя, какъ брата, я чувствую, что ты честный, хорошій малый... сердце золотое... А они... ну, какъ думаешь, что если они, да и не всѣ они, а кто-нибудь... одинъ, мало-ли всякихъ, ну... если этотъ одинъ не повѣритъ... Будетъ ли онъ допытываться дѣйствительности, будетъ ли онъ искать болѣе вѣроятнаго объясненія? О, Боже мой! До чего доискаться тогда можно будетъ... мерзость!..

И Шолобовъ такъ стиснулъ свою трубочку, что она у него въ пальцахъ треснула и сломалась.

— Ну,—кончилъ онъ,—говорятъ, будто утро вечера мудренѣе—ложись и спи, если можешь... Ложись рядомъ, однимъ пальто покроемся... Ночи, не гляди, что теплыя, лихорадку схватишь!

И капитанъ вытянулся во всю длину, закрылъ глаза и

сталъ про себя читать «Вѣрую». Онъ всегда дѣлалъ такъ, когда спать было надо, а сонъ не идетъ. Отчетливо отдѣляя слова, онъ читалъ до конца всю молитву, начиналъ сначала и такъ до тѣхъ поръ, пока терялось сознаніе, слова молитвы начинали путаться, обрываться машинально, силою только механической памяти цѣпляясь одно за другое, и сонъ, незамѣтно подкравшись, овладѣвалъ имъ окончательно.

Легъ и Наль, по ему не могли помочь уже никакія молитвы.

«До чего же могутъ додуматься?—проносилось у него въ мозгу.—До какой мерзости?

Онъ хотѣлъ вскочить на ноги, рука Шолобова удержала его силою.

— Успокойся... постарайся заснуть... сказано—утро вечера мудренѣе...—проговорилъ Иванъ Алексѣевичъ, не открывая глаза и уже въ десятый разъ начиная «Вѣрую»...

Онъ уже было начиналъ путаться. Сонъ вотъ-вотъ подходилъ, да движеніе Наля отогнало его, и пришлось начинать сначала

А звѣзды такъ густо усѣяли темный сводъ ночнаго неба, такъ ярко свѣтили, особеннымъ мерцающимъ, золотистымъ блескомъ, что, казалось, будто ихъ свѣтъ во льдахъ, на вершинахъ Алая отражается. Но это былъ свѣтъ не звѣздный: тамъ, на страшной, недосягаемой высотѣ, уже начиналось утро. Внизу, въ долинахъ, лежала глубокая ночь; зубчатые, скатные гребни вѣковыхъ гигантовъ чуть румянились первыми лучами восхода.

Утромъ, когда кони были посѣдланы, сторожевые посты вернулись, и сотня собралась въ обратный путь, пришлось послать на розыски за арбою. Сергѣй Николаевичъ не могъ уже подняться на ноги. Онъ былъ въ жару и бредилъ несвязными рѣчами. То звалъ свою маму, то гналъ кого-то, то въ чемъ то каялся и не узнавалъ никого, даже своего лучшаго, вѣрнаго друга Ивана Алексѣевича.

Долго рыскали разосланные казаки, отыскивая арбу въ покинутыхъ населеніемъ кишлакахъ, наконецъ, нашли, впрягли казачью лошадь и тронулись медленно въ путь, уложивъ больного офицера.

Шолобовъ помѣстился на арбѣ же, у изголовья Наля, непрерывно мѣняя компрессы на воспаленной головѣ.

На полдорогѣ встрѣтились джигиты шолобовскіе—Юнусъ и Максимка. Они разыскивали сотню чуть не всю ночь, только удивительно, какъ не догадались справиться у ротнаго командира стрѣлковой роты, бивакировавшей на стоянкѣ у Ишанъ-Дауда. Тамъ знали, гдѣ должна находиться сотня.

— Ми туда бѣгалъ,—говорилъ Максимка,—по си кишлакъ бѣгалъ—никого нѣтъ, всѣ дома такъ кидалъ. Ми смотрѣлъ, вездѣ смотрѣлъ...

Юнусъ молчалъ и былъ, видимо, доволенъ, что опять увидѣлъ своего начальника, а заглянувъ въ арбу, невольно вытаращилъ глаза и вопросительно взглянулъ на капитана.

— Нашелся!—кивнулъ тотъ головою.

— То-то вы усердствовали, подлецы,—подъѣхалъ эсаулъ.— Экъ, набили коржумы! Много набарантовали?

— Ничего не барантовалъ... зачимъ барантовать?... Ми у всякій кишлакъ ходили, виздѣ спрашивали...—залопоталъ Максимка.

А Юнусъ угрюмо смотрѣлъ внизъ и загорѣлою пятерною скребъ затылокъ, такъ что баранья шапка съѣхала у него почти на носъ.

Издали доносилась веселая, залихватская пѣсня. До слуха долетали только барабанный подбой, гулкій рокотъ бубна, да рѣзкіе визгливые выклики подголоска. Густое облако пыли, извиваясь межъ садовъ и стѣнокъ, тянулось вслѣдъ за звуками. Тамъ шла стрѣлковая рота, возвращаясь съ ночлега у Ишанъ-Дауда.

Казаки, больше изъ подражанія, затянули тоже, но что-то ужасно унылое и нескладное.

X. Возвращеніе.

Въ городѣ и около его стѣнъ въ данную минуту замѣтно было особенное движеніе.

Окрестные жители поставлены были въ положеніе довольно критическое. Слухъ о приближеніи полчищъ муллы Алемкула давно уже облетѣлъ повсюду—ждали столкновенія. Куда дѣваться? Чью принять сторону?

Все, склонное къ намъ, сгрупировалось поближе къ городу,—не помѣщаясь въ его стѣнахъ, стало бивуакомъ въ

окрестныхъ садахъ; все противное ни вѣсть куда попряталось, или ушло, или заперлось у себя въ сакляхъ, притаившись, въ ожиданіи результатовъ катастрофы... Базары запирали лавки. Нурбаши-Давлетъ-ша, тотъ самый, что съ такою покорностью недавно являлся на сходку у Ишанъ-Дауда,—теперь, не слѣзая со своего рыжаго скакуна, особенно замѣтно вывѣсивъ медаль на красной лентѣ, ѣздилъ по улицамъ, приглашая къ спокойствію и довѣрію.

У Ибрагимъ-бая собрались представители безусловно сознательно преданной, русской партіи.

У генерала въ цитадели собранъ былъ военный совѣтъ, на который приглашены были, по обыкновенію, всѣ командиры. Приготовленія къ боевому походу велись оживленно, торопливо, но толково, какъ всякое хорошо изученное, вполнѣ знакомое дѣло. На лицахъ всѣхъ солдатъ отражалось веселое довольство. Стоянка безъ боя затянулась порядочно таки и стала надоѣдать.

У палатокъ маркитанта Касима-Намазова, раскинутыхъ у самаго подножія цитадели, группировалось офицерство, свободное отъ службы, ожидая совѣщанія въ генеральской квартирѣ.

Посланныя на развѣдку и поиски по запискѣ Шолобова рота и казачья сотня уже входили въ городскіе ворота.

Все кинулось имъ навстрѣчу.

Вѣсть о гибели Наля давно уже дошла сюда, и въ его спасеніе никому не вѣрилось, а тутъ его привезли живого,—нашли, значитъ. Всѣ были очень рады, но толку не добились никакого.

Шолобовъ на вопросы, посыпавшіеся со всѣхъ сторонъ, отвѣчалъ коротко:

— Ушелъ...

— Ну, и перетрусилъ онъ, бѣдняга, натерпѣлся тоже,—говорили и эсаулъ Ползуновъ, и сотникъ Буреломъ.—Мы думали, что и вправду онъ несъ намъ невозможную ахинею, а это у него горячка отъ волненія начиналась... Дастъ Богъ поправится, можетъ, добьемся толку!

Шолобовъ даже радъ былъ, что горячка выручила. Въ выздоровленіи Наля онъ былъ почему-то увѣренъ. Подъ вліяніемъ выгоднаго для Наля оборота дѣла Иванъ Алексѣевичъ даже не особенно огорчился выговоромъ генерала, якобы за легко-

мысліе съ печальными послѣдствіями. Понятіе о легкомысліи такъ не вязалось съ репутаціей боевого капитана, что всѣми, не исключая и самаго начальства, принято было скорѣе за шутку.

Но между казаками, свидѣтелями разсказа Наля, пошли различные толки. Весь разсказъ переиначивался, получилъ самую непредвидѣнную окраску, достигъ до невозможныхъ нелѣпостей—и въ такомъ видѣ разошелся быстро по всему отряду.

— Онъ, братцы мои, слово такое знаетъ—говорили солдаты.—У его, вишь, ты, и лицо, обликъ самый, совсѣмъ какъ не нашъ, крещенный!

И, мало-по-малу, между солдатами и молодымъ офицеромъ стало развиваться какое-то неясное отчужденіе. А такъ какъ уровень развитія и многихъ офицеровъ того времени не далеко уходилъ отъ солдатскаго, то и между послѣдними замѣчалось то же, къ великому огорченію Шолобова, капитана Бирбома и еще нѣсколькихъ, болѣе близкихъ друзей Сергѣя Николаевича.

На военномъ совѣтѣ рѣшено было немедленно сформировать сильный отрядъ, въ составъ котораго вошла вся кавалерія и чуть не двѣ трети пѣхоты. Отрядъ этотъ долженъ былъ выступить на встрѣчу Алемкула,. постараться заставить его принять бой «*раскатать на голову разъ навсегда*», какъ было выражено въ приказѣ. Самъ генералъ долженъ былъ, несмотря на свою лихорадку, вести войска въ дѣло. Походные госпитали и обозы сгруппировать въ цитадели, гдѣ оставлено было четыре роты, находя эти силы совершенно достаточными на случай обороны. Отряду, выступившему въ горы нѣсколько дней тому назадъ, согласно вѣстей, добытыхъ отъ лазутчиковъ, послано было приказаніе измѣнить программу дѣйствій и идти по предгоріямъ, стараясь обогнуть съ западной стороны непріятельскую армію. Все было расписано въ приказѣ толково и ясно и какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало общему желанію.

— Нашъ шутить не любитъ!—говорили командиры, весело потирая руки.

— Орелъ! Что и говорить!—толковали солдаты.

А на базарѣ и на перекресткахъ улицъ бродили юродивые-дивоны въ пестромъ тряпьѣ и высокихъ коническихъ шап-

кахъ, заунывнымъ голосомъ вопили строфы Корана, призывая правовѣрныхъ къ возстанію. Муллы въ мечетяхъ говорили то же, не такъ открыто, впрочемъ, какъ тѣ, блаженные; но народъ, наученный горькимъ опытомъ, слушалъ, не возражая, и угрюмо молчалъ, выжидая хода событій, болѣе выясняющихъ волю премудраго Аллаха

Ходъ въ цитадель поднимался по довольно крутому скату, обработанному въ грубыя ступени. Между тяжелыхъ глинобитныхъ башенъ чернѣлъ длинный туннель воротъ, по сторонамъ котораго тянулись углубленныя помѣщенія, прежнія тюрьмы—нынѣ провіантскіе склады и помѣщенія для караула. Выйдя изъ-подъ воротъ внутрь цитадели, дорога расходилась вправо и влѣво, огибая стѣны бековскаго дворца съ карнизами, красиво украшенными цвѣтными изразцами—увы!—сильно уже попорченными частію временемъ, частію нашими снарядами: годъ тому назадъ городъ и крѣпость подвергались дважды усиленной бомбардировкѣ. Во дворцѣ были просторныя сакли, помѣщенія самого бека и его гарема, и кромѣ того дворы, полуоткрытые, обрамленные навѣсами на колонкахъ, связанные одинъ съ другими узенькими переходами. Въ первомъ дворѣ помѣщался генералъ со своимъ штабомъ, во второмъ—офицерскій лазаретъ и походная церковь. Эти сакли были великолѣпно украшены рѣзьбою по алебастру и пестрою живописью, узорные потолки старой персидской работы блестѣли позолотою, плитные полы покрыты тяжелыми, мягкими коврами.

Въ одной изъ такихъ сакель помѣстили, все еще безпамятнаго, ни на минуту не приходившаго въ сознаніе, Сергѣя Николаевича. Были тутъ еще двое больныхъ офицеровъ, но одинъ изъ нихъ внезапно выздоровѣлъ, какъ только узналъ о походѣ (спасительное дѣйствіе возбужденной энергіи—явленіе весьма частое въ такихъ случаяхъ), и выписался, несмотря на усиленный протестъ доктора. Другой—совсѣмъ умирающій, кончины котораго ждали съ часу-на-часъ.

Наля положили особенно.

Вмѣстѣ съ Сергѣемъ Николаевичемъ пріѣхалъ изъ Петербурга и старикъ-слуга, скорѣе дядька: почтенная личность, внѣшностью напоминающая типы старыхъ дипломатовъ; дворецкіе тоже такіе бываютъ въ старинныхъ богатыхъ домахъ.

Григорій Ивановичъ—какъ звали дядьку,—даже и здѣсь тщательно брился и носилъ, завязанный пышнымъ бантомъ, бѣлый галстухъ. Преданный своему молодому господину старикъ былъ убитъ горемъ. Съ нимъ чуть не сдѣлался ударъ, когда онъ узналъ о исчезновеніи Наля, и теперь живая радость видѣть его снова на своихъ рукахъ глубоко омрачалась настоящимъ положеніемъ.

— Боже мой, Боже мой, Создатель Праведный!—говорилъ онъ, поминутно вздыхая.—Не за себя молю—за ихъ превосходительство Агнесу Яковлевну!

Такъ звали маменьку Сергѣя Николаевича.

— Вѣрите-ли-съ, Иванъ Алексѣевичъ,—говорилъ онъ Шолобову,—ихъ превосходительство при прощаньи сказали мнѣ: «Григорій, на тебя, другъ мой, больше всего надѣюсь... Смотри, береги Сережу, тебѣ Богъ за это заплатитъ»... Обняли меня собственноручно, поцѣловать изволили, благословили-съ и перстень драгоцѣнный подарили—вотъ-съ...

И Григорій Ивановичъ съ гордостью протягивалъ свою, всегда опрятную, даже выхоленную руку.

— Мнѣ-ли наказывать беречь! Мнѣ-ли?!—говорилъ онъ, слезливо моргая глазами.—Съ дѣтства, малюткою, на моемъ попеченіи всегда. Сына родного такъ любить невозможно!

Вотъ съ этимъ-то Григоріемъ Ивановичемъ Шолобовъ устроилъ больного въ новомъ помѣщеніи. Имущество Наля было перенесено все сюда же, и въ нѣсколько часовъ сакля приняла видъ комфортабельной и уютной спальни. Свѣтъ въ саклю шелъ изъ окна надъ входною дверью въ мавританскомъ стилѣ, стрѣльчатою аркою съ красивыми выгибами; у двери, подъ навѣсомъ, снаружи, помѣстилъ свою постель Григорій Ивановичъ, скромно загородивъ ее импровизированною изъ ковра ширмою.

Докторъ, занятый больными, находилъ все-таки время разъ десять въ день навѣщать Наля, комично сердясь на старика-дядьку, во-первыхъ, надоѣдавшаго ему съ вѣчными разспросами о ходѣ болѣзни, а главное—чрезмѣрною заботливостью о больномъ, доходящею до разлада съ докторскими предписаніями.

Шолобовъ оставленъ былъ комендантомъ цитадели и даже радъ былъ этому назначенію. Кажется, даже будто онъ самъ

намекнулъ генералу объ этомъ; да кому же и было поручить такой важный постъ, охраняющій весь тылъ выступившихъ отрядовъ?

Изъ двухъ докторовъ остался тотъ, что участвовалъ въ поѣздкѣ къ Ишанъ-Дуаду, и батальонный батюшка, отецъ Никаноръ, вдовецъ, недавно праздновавшій пятидесятилѣтіе во священническомъ санѣ и, кстати, тридцатилѣтіе вдовства,—всю службу свою несшій въ степи,—старикъ бодрый и сильный, порою любившій и поострить, и въ мѣру выпить, и даже поиграть въ картишки по маленькой; но что касается до службы—строгій неумолимо и неукоснительно исполняющій всѣ требы, при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ.

Отецъ Никаноръ былъ особенно друженъ съ Григоріемъ Ивановичемъ, поразившимъ его большею даже начитанностью по богословію, чѣмъ самъ батюшка.

— Рѣдки нынѣ такіе люди, весьма рѣдки!—говорилъ отецъ Никаноръ.—Не слуги это, а пѣстуны и вѣрные руководители въ жизни. Да-съ! Не вамъ, господамъ, образованнымъ офицерамъ, чета!.. Ну-ко-сь, скажите кто, что означаетъ: «Того даде главу выше всѣхъ Церкве, яже есть тѣло Его»? А Григорій Иванычъ это знаетъ и объяснить можетъ!

— Я вотъ и самъ, служитель церкви, по слабой памяти много упустившій, и охотно, со смиреніемъ, преклоняюсь и заимствую!

Таковъ былъ ближайшій кружокъ, сгруппировавшійся у постели больного, безсознательнаго Наля.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Амбредъ-Соръ *).

Угрюмыя, оголенныя скалы поднимались по сторонамъ узкой горной тропинки, Богъ вѣсть, кѣмъ протоптанной — людьми или животными. То нависая надъ головою, словно готовыя рухнуть и раздавить своимъ паденіемъ дерзкаго путника, то острыми зубцами тянущіяся къ небу, растрескавшія отъ солнечнаго зноя, изрытыя ливнями, каменныя громады представляли видъ унылый и мрачный...

По этой тропинкѣ, тяжело ступая босыми, усталыми ногами, медленно поднимался «Благодатный», устремивъ впередъ недвижные глаза, не замѣчая ничего вокругъ...

Вотъ тѣнь орла скользнула по стѣнѣ, вонъ, словно изваяніе, торчитъ на гребнѣ скалы красавецъ-аркаръ со своими колоссальными рогами, вонъ громадныя ящерицы выглядываютъ изъ расщелинъ, вдыхая широко раскрытою пастью раскаленный воздухъ... Съ глухимъ, роковымъ шорохомъ гдѣ-то катится обвалъ... Чей-то хриплый крикъ подхватываетъ и далеко несетъ горное эхо... Словно играетъ со звукомъ, разстаться не хочетъ... А старикъ все идетъ и идетъ, будто не отъ міра сего, всему чуждый, не знающій ни страха, ни усталости.

Тамъ, высоко подъ облаками, въ глубинѣ боковаго ущелья, чернѣетъ отверстіе пещеры... Надъ входомъ торчитъ короткій шестъ съ полинялою тряпкою, остаткомъ знамени; около чуть журчитъ ключъ, и вода, медленно сочась, наполняетъ искусственную чашеобразную впадину. Наполнивъ ее до краевъ,

---

*) Источникъ нектара.

вода снова течетъ, едва змѣясь, безполезно исчезая въ каменистыхъ осыпяхъ. На днѣ этой чаши виднѣются позеленѣлыя отъ времени, обросшія словно мохомъ старыя монеты, и мѣдный ковшъ лежитъ у края, прикованный цѣпью.

Легенда—давно забытая—говорила, что пещера эта служила жилищемъ святому отшельнику, пришедшему съ далекаго Юга, что отшельникъ этотъ великія чудеса творилъ, воскрешалъ мертвыхъ, и самъ Тимуръ однажды велѣлъ зарыть его въ землю, распахать мѣсто погребенія, посѣять пшеницу, дождаться зерна, убрать, смолоть и спечь хлѣбъ, и тогда только разрыть могилу, такъ какъ *тотъ* обѣщалъ *самъ* вкусить хлѣба, на его могилѣ взрощеннаго.

Такъ и произошло.

Много народу ходило слушать и поклониться тому человѣку, но много и гибло ихъ въ пыткахъ и казняхъ, такъ какъ люди эти не хотѣли послѣ признать Магомета изъ пророковъ пророкомъ.

Завидѣвъ издали черное отверстіе пещеры и клочекъ знамени, путникъ протянулъ впередъ руки, радостно вскрикнулъ и ускорилъ шаги.

Придя, онъ зачерпнулъ ковшомъ воды, напился и сѣлъ подлѣ, поджавъ подъ себя ноги, сѣлъ у самаго края водоема, пристально глядя на его покойную поверхность.

Онъ отдыхалъ теперь послѣ своего долгаго и труднаго пути. Тощая грудь дышала покойно, равномѣрно поднимаясь подъ грубымъ полотномъ рубахи.

Долго сидѣлъ онъ такимъ образомъ, не спуская глазъ съ чаши. Лицо его стало мало-по-малу проясняться... Вновь появилось прежнее чарующее, таинственно-величавое выраженіе... и губы зашевелились, словно въ молитвѣ.

И видѣлъ старикъ:

Вокругъ, закрывая небо, высоко поднимаются роскошныя пальмовыя кроны, вѣковые чинары и дубы окружаютъ великолѣпный храмъ, хитрымъ узоромъ обвилъ плющъ хитрые узоры карнизовъ и арокъ, то причудливою бахромою вися по краямъ, то ползя наверхъ, безъ конца, словно пытаясь добраться на самую вершину купола. Густая, непроницаемая завѣса ползучихъ растеній затянула красивыя арки...

Передъ храмомъ сидятъ полукругомъ великіе старцы въ

бѣлыхъ одеждахъ, сидятъ неподвижно, погруженные въ созерцаніе, сидятъ, какъ тѣ изваянія, что украшаютъ храмъ, бѣлѣя сквозь зелень полуденнаго, таинственнаго лѣса.

Подходитъ онъ къ нимъ, смущенный и робкій, и гнѣвомъ сверкнули очи сидящихъ.

Но онъ не такой, какъ теперь... Это у края водоема сидитъ дряхлый старикъ, а вода ему отражаетъ лицо молодое, красивое, тѣло, какъ у полубога, стройное... Вотъ какъ у того, что шелъ за нимъ, освобожденный изъ вражескихъ рукъ, шелъ подневольно, ради друзей земныхъ, сердцемъ и крестомъ отъ него, спасшаго, отрекшійся.

— Зачѣмъ вернулся ты сюда?—спрашиваетъ первый изъ старцевъ.

И каждый повторяетъ все тотъ-же вопросъ, каждый сопровождаетъ вопросъ этотъ взглядомъ, полнымъ укоризны и презрѣнія.

— За прощеніемъ!—смиренно склонясь, отвѣчаетъ пришедшій.

— Сиди и жди, велѣнія свыше!

— Сиди и жди!—по-очередно повторяютъ старцы.

Какъ долго, мучительно долго ждалъ онъ рѣшенія!.. Какъ горячо молился, и какъ все то, что прежде для него было ясно и близко, теперь далеко уходило, затягиваясь туманомъ забвенія и невѣдѣнія!

Густою сѣтью затянули плющи и ліаны входъ во внутрь святилища, и силится осужденный проникнуть туда своимъ грѣховнымъ взоромъ, хочетъ прочесть свой приговоръ, найти надежду на смягченіе и помилованіе... А живая зелень все гуще и гуще заплетаетъ входъ, на глазахъ множатся безчисленные листья, на глазахъ бѣгутъ, развиваясь и путаясь между собою, безчисленные побѣги...

Борятся очи жаждущаго съ живою силою природы. Борется духъ съ грубою матеріей, но матерія полна жизни и силы, духъ—угнетенъ, униженъ.

— О, Нирвана! И въ тебѣ, вѣдь, безличной, безстрастной, необъятной, есть милосердіе!.. Гнѣвомъ-ли своимъ караешь меня?! Вѣдь гнѣвъ рожденъ оскорбленіемъ, родитъ месть, месть оскорбляетъ, вызываетъ гнѣвъ—и такъ куется непрерывная цѣпь зла и мрака, и нѣтъ имъ, звеньямъ той цѣпи, мѣста

на небѣ, они достояніе земли, земныхъ сердецъ. О, Нирвана! Разсѣй эту бездушную, злую завѣсу!..

И завѣса раздвинулась... Словно сильное дуновеніе вѣтра всколыхнуло ползучую зелень, и дивный образъ предсталъ передъ глазами молящаго...

Чудная женщина, съ голубыми глазами, съ кроткой, печальной улыбкой на устахъ, съ тѣломъ бѣлымъ, какъ мраморъ, вся окутанная свѣтлымъ золотомъ волнистыхъ кудрей, легкимъ облакомъ появилась въ темной аркѣ входа въ святилищѣ.

Крикъ ужаса, крикъ отчаянія и невыносимой нравственной боли огласилъ лѣсъ на далекое пространство, встревоживъ дремавшее населеніе... Шумно хлопая крыльями, замелькали въ высокихъ кронахъ яркоцвѣтныя птицы... Шарахнулись въ кустахъ и понизяхъ четвероногія, злобно зашипѣли змѣи, развивая свои кольца, и глухо зарычалъ полосатый тигръ, встряхнувшись со сна, глазами пронизывая чащу, отыскивая нарушителя покоя...

Не шелохнулись только старцы-изваянія, не дрогнулъ ни одинъ мускулъ въ ихъ высохшихъ, темнобронзовыхъ лицахъ, не колыхнулась ни одна складка ихъ бѣлыхъ одеждъ.

Исчезло видѣніе—укоръ и напоминаніе! Подновило только отпечатокъ въ сердцѣ грѣшника, словно огнемъ прожгло по готовому, старому слѣду...

— Жестокая, безпощадная пытка!

Долго тянулось испытаніе, долго, безконечно долго молчали суровые судьи...

Наконецъ, заговорилъ одинъ, и рѣчь его текла равномѣрно, безстрастно, слова лились одно за другимъ, какъ всплески ручья, какъ шелестъ высокихъ тростниковъ, какъ гулъ морского прибоя...

— Ты, просвѣтленный, познавшій величіе духа, но падшій сынъ плоти, ты, отрекшійся отъ всего земнаго, отъ всѣхъ земныхъ страстей, ты, уже стоящій на пути къ Нирванѣ и посвященный въ великую тайну небытія,—ты палъ, побѣжденный плотью, побѣжденный тѣмъ, надъ чѣмъ давно уже торжествовалъ побѣду... Душу свою, изъ временной тюрьмы освобожденную, вновь ввергъ въ эту темницу сомнѣнія, плача и страданій, а душа эта не твоя, временно ввѣрена она тебѣ, какъ частица великаго духа, ввѣрена твоей, охранѣ отъ козней

зла, вложена въ тѣло твое, отъ зла происшедшее, зломъ живущее, какъ все имущее плоть, царство властителя тьмы, ради твоего испытанія, твоего же спасенія и торжества побѣды свѣта надъ тьмою... Что же сдѣлалъ ты съ этою частицею божества?

— Я виновенъ... Я жестоко страдаю! — простоналъ въ отвѣтъ кающійся.

— Не ты страдаешь—страдаетъ душа твоя, тобою униженная и оскорбленная!.. Духъ тьмы и злобы, по твоей винѣ, вновь похитилъ часть божественнаго духа и заперъ ее въ новую темницу земныхъ ощущеній. Вдвойнѣ тяжела вина твоя—двойное тебѣ предстоитъ испытаніе!

— Готовъ на все, клянусь моимъ раскаяніемъ!

— Иди и ищи!.. Найдешь *его* въ полной красотѣ силъ и молодости, во всеоружіи дьявола... Просвѣти—не путемъ насилія, а вольною волею — и приведи сюда, отрекшагося отъ земли и всего земнаго, искренно, всѣмъ сердцемъ преданнаго Нирванѣ... Иди и ищи!

— Иди и ищи!—хоромъ повторили остальные старцы.

— Иду, покорный высшей волѣ великаго духа!—отвѣтилъ испытуемый, всталъ и пошелъ.

А кругомъ уже стояла глухая, темная ночь, плотною стѣною окружали его непролазныя дебри, кишащія зломъ и ненавистью... Но, казалось, что дебри эти разступались передъ нимъ, смертоносныя змѣи ползли прочь отъ его босыхъ ногъ, кровожадные тигры, угрюмо глядя исподлобья, словно нехотя, уступали дорогу...

Шелъ онъ, испытуемый, не своею волею, и-ничто не могло мѣшать ему, загораживать путь, свыше ему указанный.

Онъ шелъ на сѣверъ и вышелъ, наконецъ, за предѣлы священнаго лѣса.

И вотъ онъ внѣ этихъ предѣловъ. Тутъ покинула его святая, охраняющая сила, и страхъ охватилъ безпомощнаго путника.

Голодъ мучилъ его и вызывалъ тяжелыя заботы о пропитаніи, холодъ и жаръ жгли его слабѣющее тѣло, и искалъ онъ крова, убѣжища... Враги грозили со всѣхъ сторонъ, и рука тянулась за оружіемъ... Унылая душа, больное сердце жаждали покоя и міра—и далеко передъ нимъ бѣжалъ этотъ

покой, маня, но не даваясь въ его съ мольбою протянутыя руки... И эти руки, не касавшіяся металла, съ жадностью сжимали вложенныя въ нихъ монеты подаянія.

И такъ много лѣтъ бродилъ онъ, словно во тьмѣ, пока незримая рука не привела его на это священное мѣсто — наслѣдіе уже отошедшаго въ вѣчность, прощеннаго, быть можетъ, такого же, какъ и онъ, грѣшника.

Такъ же, какъ и теперь, утоливъ жгучую жажду, взглянулъ онъ въ глубину чаши и не узналъ себя въ этомъ ясномъ отраженіи изможденнаго старца.

Но глаза его сверкали живою радостью, сердце билось покойно и ровно, дышалось легко, возвращеніе духовныхъ силъ ощущалось все полнѣе и полнѣе.

— О, Нирвана, — вскричалъ онъ, — близокъ часъ моего спасенія!

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза и увидѣлъ на камнѣ глубоко вырѣзанную надпись:

«Амбредъ-Соръ».

Скоро послѣ этого онъ нашелъ *его*. Съ перваго взгляда, — сомнѣнія не было... Но высшая воля требовала дальнѣйшихъ испытаній. Сила духа, власть надъ волею и духомъ другихъ ему возвратилась, но къ нему, именно къ этому близкому, дорогому юношѣ, онъ не смѣлъ примѣнить эту силу...

Просвѣти не путемъ насилія, а вольною волею отрекшагося отъ земли, искренно, всѣмъ сердцемъ Нирванѣ преданнаго.

Такъ повелѣно свыше.

II. У маркитанта.

Медленно тянулось выздоровленіе Наля. Шолобовъ, вмѣстѣ съ Григоріемъ Ивановичемъ, по цѣлымъ ночамъ не отходили отъ его постели. Скептикъ-докторъ не скрывалъ своихъ опасеній.

— Мозгъ воспаленъ — это штука плохая! — говорилъ онъ. — Если и выживетъ, какъ бы того не было...

И докторъ выразительно тыкалъ себѣ пальцемъ въ лобъ и отрицательно качалъ головою.

Шолобовъ и старый дядька, напротивъ того, въ выздоровленіи, и самомъ благополучномъ, не сомнѣвались нисколько.

Отецъ Никаноръ посѣщалъ больного тоже частенько и каждое воскресенье, аккуратно, приносилъ просвирку, съ вынутою частицею о здравіи раба Божія, болярина Сергія.

А время стояло смутное и тяжелое.

Изъ отряда слухи доходили рѣдко, а тамъ и совсѣмъ перестали доходить. Нельзя было думать, чтобы генералъ оставилъ гарнизонъ цитадели безъ вѣстей и сообщеній,—значитъ, пути были не свободны: джигиты попадались и гибли; а это признаки скверные... Приходилось довольствоваться базарными слухами и донесеніями наемныхъ развѣдчиковъ; и въ томъ, и въ другомъ надо было разбираться осторожно, далеко не все брать прямо на вѣру.

Девлетъ-Курбаши являлся по нѣскольку разъ въ день къ Шолобову съ увѣреніями, что въ городѣ все покойно и преданность жителей внѣ всякаго сомнѣнія. Ибрагимъ-бай, напротивъ, сомнѣвался очень и не скрывалъ отъ коменданта истиннаго положенія вещей.

Юнусъ, этотъ преданнѣйшій изъ джигитовъ, вызвался самъ пробраться въ отрядъ и вернуться съ достовѣрными вѣстями. Вотъ уже скоро недѣля, какъ уѣхалъ, а назадъ еще не возвращался.

Базары почти пріостановили торговлю, половина лавокъ оставалась запертыми. Народъ сидѣлъ по домамъ, выходя на улицу рѣдко. Часто наши обходы не встрѣчали ни живой души въ этихъ узкихъ, слѣпыхъ улицахъ, безъ одного окошечка. Ночью, къ внѣшнимъ стѣнамъ, окружавшимъ городъ, высылались усиленные караулы.

Скучая бездѣйствіемъ, завидуя тѣмъ, кто выступилъ въ поле, офицеры гарнизона проводили большею частью время въ палаткахъ маркитанта Касима-Намазова; тамъ образовалось нѣчто въ родѣ клуба, и по вечерамъ, за часъ до вечерней зари, здѣсь же собирались ротные залихватскіе пѣсенники, ради поддержки хорошаго настроенія духа.

Всегда въ боевыхъ офицерскихъ кружкахъ найдется одинъ, относящійся критически къ распоряженіямъ начальства, ожидающій всегда чего-нибудь худшаго, даже какъ будто радующійся этому худшему, какъ доказательству его проницатель-

ности. Такими бываютъ, большею частью, обойденные почему нибудь довѣріемъ начальства, почти всегда плохіе служаки, словно подневольные, тяготящіеся своимъ положеніемъ и не скрывающіе этого.

И въ нашемъ кружкѣ былъ одинъ такой—штабсъ-капитанъ Казиміръ Костецкій, человѣкъ уже довольно пожилой, разъ за что-то разжалованный, служившій прежде на виду, но теперь упрятанный въ это «треклятое болото» какъ онъ выражался, не стѣсняясь.

Онъ, сидя за столикомъ въ маркитантской палаткѣ, предлагалъ переметнуться, безконечно тасуя грязную до невозможности, чуть не единственную въ отрядѣ, колоду картъ, но охотниковъ попытать счастіе не находилось. Не игралось какъ-то, да и вообще было не весело.

— Что, жалѣете денегъ?—подсмѣивался онъ.—Все равно, скоро всѣхъ перерѣжутъ! Глухаревъ, ну-ко понтируйте хоть вы... Скука смертная!

— Экъ у васъ языкъ недобрый!—отозвался Глухаревъ, командиръ третьей роты.

— Весьма можетъ случиться. Зачѣмъ закрывать глаза на дѣйствительность... Забрались мы, чортъ знаетъ, зачѣмъ сюда, зря и безтолково... Послали, такъ сказать, какъ на убой, да и забыли про насъ!

— Ну, и неправда,—вмѣшался молодой прапорщикъ Столбушинъ.—У генерала говорили, что къ осени еще два батальона прибудутъ изъ Оренбурга, и изъ Сибири два; батарею еще присылаютъ... Вовсе не забыт...

— Вѣрьте, если хотите!

— Генералу-то не вѣрить?!

— Гм!

Костецкій пожалъ плечами и улыбнулся.

— Я знаю, вы его не любите... Все за то, что онъ вамъ роты не даетъ!—буркнулъ, не подумавши, юноша.

— Глупо!—снова пожалъ плечами Костецкій.

— То-есть, позвольте... Вы сказали: глупо! Это что-же такое?!

— Ну, да пустяки!—перебилъ Глухаревъ.—Тутъ и безъ того насъ одинъ-два да и обчелся,—а ссориться станемъ, такъ съ тоски помремъ!

— Не велика тоже честь командовать этимъ сбродомъ мужичья!—словно про себя проговорилъ штабсъ-капитанъ.— Такъ что-же, никто не понтируетъ? Ну, и не надо!

Костецкій спряталъ колоду въ карманъ своихъ шароваръ.

— Касимка, сколько за мною?

— Миного, очинъ миного!—отозвался маркитантъ.

— Ну, прибавь къ этому «миного» еще «неминого» и дай, что тамъ у тебя осталось, какая мерзость?

Вошелъ докторъ.

— Ну, что? Ну, какъ?—посыпались ему навстрѣчу вопросы.

— Какъ бы вамъ сказать... Надежда есть, но не большая... Температуру все понизить не можемъ: бредъ по ночамъ безсвязный!

— Этотъ-бы бредъ не мѣшало хорошенько изслѣдовать!— опять словно не обращаясь къ кому-нибудь, а про себя произнесъ Казиміръ Костецкій.

Докторъ взглянулъ на него вопросительно.

Одинъ изъ офицеровъ, тоже изъ молодыхъ, по типу киргизъ, чертилъ что-то по столу кускомъ мѣла, и мѣлъ этотъ неожиданно у него хрустнулъ.

Глухаревъ тихонько наложилъ ему на плечо свою тяжеловѣсную руку.

— Я ему морду побью когда-нибудь!—шепотомъ проговорилъ киргизъ своему старщему товарищу.

— Охота тебѣ, Бабаджанка, связываться... Ужъ его не передѣлаешь!

— Его нада слѣдовать... зачѣмъ съ собакою Девлеткою дружитъ?.. Девлетъ и нашимъ, и вашимъ. Я все понимаю. Вонъ смотри! Ишь, манитъ его: сейчасъ вмѣстѣ пловъ пойдутъ жрать, я знаю...

Дѣйствительно, у входа въ палатку показалась хитрая голова Аксакала-Курбаши, дѣлавшаго знаки Костецкому.

— Взойди! Взойди! Что новаго?—послышались голоса.

— Онъ долженъ знать! Въ нѣкоторомъ родѣ полиціймейстеръ города! Курбаши—это такъ и значитъ по ихнему!— весело заговорилъ докторъ.

Девлетъ подобострастно раскланялся, прижимая руки къ желудку, и, согнувшись, вошелъ въ палатку. Впрочемъ, сѣлъ онъ

довольно фамильярно и не по мѣстному обычаю на землю, а на табуретъ.

— Ну, что, есть что-ли у тебя какія вѣсти? Какой же ты Курбаши, если ничего не знаешь? — повторилъ вопросъ Глухаревъ.

— У меня все покойно, у меня все хорошо... Говорятъ на базарѣ, будто большая побѣда: Алемкулъ уходитъ, далеко уходитъ, а генералъ за нимъ идетъ! Большая побѣда. Въ горахъ, говорятъ, нѣтъ большой побѣды: полковникъ отходитъ, за нимъ Атта-бекъ идетъ. Все слава Богу! Все слава Богу!.. Максимку джигита знаешь?—Зарѣзали его... нашли на дорогѣ, а бумагу отъ генерала украли...

— Что?! Максимку?!—вскочилъ докторъ.

— Да, Максимку... Хочу доложить коменданту. Голову тутъ, у самыхъ воротъ подбросили... Много есть дурныхъ людей! Мулла вонъ говорилъ вчера имъ въ мечети: «Слушайтесь русскихъ,—служите хорошо Акъ-Падишаху!.. Глупый народъ. не понимаетъ хорошенько!

— Я-бы этихъ муллъ перевѣшалъ, лучше-бы было! — проворчалъ Глухаревъ.

Незамѣтно, но злобно сверкнули глаза Девлета по его направленію. Быстро овладѣлъ собою хитрый Курбаши.

— Можетъ быть, и надо такъ, — проговорилъ онъ. — Вамъ виднѣе!

Костецкій поднялся съ мѣста.

— Пойдемъ, — обратился онъ къ *полиціймейстеру*. — Я проведу тебя въ цитадель къ коменданту. Такъ вѣдь, пожалуй, не пустятъ: нынче у насъ насчетъ довѣрія строго!

Курбаши снова раскланялся и вышелъ за офицеромъ.

— Эка язва! — проворчалъ ему вслѣдъ Столбушинъ.

— Ей Богу, побью когда-нибудь морду!—сплюнулъ на сторону Бабаджановъ.

— Да нѣтъ, господа, вы его не понимаете; это такой типъ!—вмѣшался словоохотливый докторъ. — Пессимистъ съ головы до пятокъ. Онъ человѣкъ, право, въ душѣ не дурной,—жизнь ему не улыбалась: какая-то исторія была, пострадалъ—ну, и того... теперь здѣсь отдувается, озлобленъ, конечно... ну, и все прочее...

— А можно навѣстить Сережу?—перебилъ его Глухаревъ.

— Почему нѣтъ... Только онъ еще не узнаетъ никого. Спокойнѣе сталъ какъ будто, а не въ сознаніи еще!

— Странное дѣло! Вотъ бы не подумалъ, чтобы у него отъ страха!

— Вовсе не отъ страха. Человѣкъ нервный, впечатлительный, очевидно, что-нибудь необыкновенное случилось. Вонъ Костецкій вчера говорилъ, что непонятное собственно то, что ни раны, ни царапины. Былъ въ плѣну — ушелъ... невѣроятно... въ плѣну-ли былъ еще?! Вообще онъ какъ-то странно выражался... Все увѣряетъ, что гласъ народа—гласъ Божій, ссылаясь, что молъ между солдатъ идутъ какіе-то несуразные толки!

— Ну, и языкъ же!—вздохнулъ Глухаревъ.

— Ядовитый!—протянулъ докторъ.—А впрочемъ малый весьма начитанный и преинтересный собесѣдникъ... Ну, до свиданья... Вечеркомъ, кто свободенъ, ко мнѣ въ хату, — жженочку соорудимъ, какую ни на есть, прошлогодніе журналы перечитывать будемъ. Эка, тощища!

— А я въ ночной караулъ, пойду людей разсчитывать,— поднялся прапорщикъ Бабаджановъ. — Столбушка, пойдемъ вмѣстѣ!

— Пойдемъ!

И оба офицера, подстегнувъ шашки и оправивъ у пояса револьверы, вышли изъ палатки.

Глухаревъ, оставшись одинъ, сталъ набивать свою трубочку, мурлыча подъ носъ какую-то пѣсенку.

III. У постели больного.

Шолобовъ, только-что вернувшійся съ объѣзда, отпустивъ дожидавшагося его съ обычнымъ докладомъ Девлета-Курбаши, зашелъ къ Палю. Тамъ уже сидѣлъ отецъ Никаноръ и вполголоса разговаривалъ съ Григоріемъ Ивановичемъ. Несмотря на отворенныя настежь двери, въ саклѣ было душно, какъ всегда къ ночи, пока не остынутъ накалившіяся за день стѣны.

— Хоть бы на часокъ сюда на террасу вынести!—замѣтилъ капитанъ.

— Докторъ-съ запретили строго,—почтительно отвѣтилъ дядька. — Я самъ бы такъ полагалъ, да господинъ докторъ

какъ бы не были недовольны. Потомъ что случится, все на насъ свалятъ. Господи, Господи, пошли ты намъ милость свою!

— Вотъ, отецъ, очень радъ тебя видѣть, хочу посовѣтоваться!—началъ Шолобовъ.

— Съ готовностью!—кивнулъ отецъ Никаноръ.

— Видѣлъ я сегодня Ибрагимъ-бая, къ нему заѣзжалъ. Говорилъ онъ мнѣ, что знаетъ такого старика, что можетъ помочь больному—безъ лѣкарствъ всякихъ, а такъ просто, наговоромъ что-ли. Не знаю, право; я, конечно, всему этому не вѣрю. Но вѣдь кто знаетъ, вѣдь вреда собственно не можетъ быть никакого. Какъ ты, батько, думаешь?

— Полагаю, что возможно: въ старину бывали такіе примѣры неоднократно, были святые цѣлители!

— У насъ, у ихъ бабушки, у матушки покойнаго папеньки ихняго, — Григорій Ивановичъ кивнулъ въ сторону постели,—былъ тоже старецъ одинъ, изъ монастыря Саввы-преподобнаго, іеромонахъ,—весьма помогалъ словомъ единымъ въ болѣзни,—я помню!

— Оно такъ,—замѣтилъ отецъ Никаноръ, — но то были старцы христіанскаго исповѣданія, а тутъ знахарь—мусульманской вѣры, а, можетъ, и того хуже. Конечно, отчего не попробовать. Я, впрочемъ, ничего не имѣю противъ. Благость Господня, съ вѣрою ежели, изо всякаго источника пріемлема быть можетъ. Кто же такой? Изъ какихъ?

— Да Ибрагимъ самъ его не знаетъ. Говорилъ мнѣ, что приходилъ къ нему старикъ, говорилъ о больномъ офицерѣ, обѣщалъ помочь. Просился, даже очень... Да, кстати, я хотѣлъ съ тобою обстоятельно поговорить объ одномъ дѣлѣ. Выйдемъ на минутку!

— Пройдемся!— поднялся отецъ Никаноръ.

Они вышли на дворъ, поднялись по лѣстницѣ на плоскія крыши связанныхъ между собою сакель и стали тамъ разговаривать, медленно прогуливаясь взадъ и впередъ.

— Видишь-ли, отецъ, тамъ, что ни говори.. Вѣдь ты знаешь, я, какъ брата, полюбилъ Сережу.. Я человѣкъ мало ученый, но наблюдать умѣю. Буду говорить безъ обиняковъ. Онъ боленъ душою, безусловно, — я не понимаю этой болѣзни, но чувствую, что какой-то таинственный старикъ, чортъ его принесъ откуда-то, играетъ здѣсь не маловажную роль Я

иногда вдумываюсь, до головной боли и все-таки понять ничего не могу. Онъ не былъ еще въ бреду, когда разсказывалъ мнѣ.. А знаешь-ли, что онъ разсказывалъ? Только молчи, чтобы это осталось между нами!

И Шолобовъ сталъ повторять разсказъ самого Наля о своемъ чудесномъ спасеніи.

Общее въ этомъ разсказѣ, перепутанное, съ добавленіями и комментаріями, отецъ Никаноръ зналъ уже изъ слуховъ въ отрядѣ, но вѣдь это все приписывалось горячечному бреду.

— Было-ли такъ? — переспросилъ отецъ Никаноръ.

— Было такъ. Я чувствую, я глубоко увѣренъ, что это правда... Горячка началась послѣ—это я отчасти виноватъ... это отъ другаго... Я понимаю, что отъ такой, другой, то-есть, мысли, можно съ ума сойти, это я понимаю. Скажи, пожалуйста, бываютъ чудеса въ наше время?

— Отчего же! — изумленно посмотрѣлъ на собеседника отецъ Никаноръ.—Благость Господня и Его Святая воля проявляется незримо, и умъ человѣческій, не постигая сути, относитъ сіе въ область чудеснаго... Возможно...

— Да вѣдь то отъ Бога, а это вѣдь...

Шолобовъ замолчалъ и заскребъ всею пятернею свой загорѣлый затылокъ.

— Знаешь что... Если-бъ я зналъ, если-бъ самъ увидѣлъ этого старика, я-бы его охотно повѣсилъ!.. Боюсь я только, что если и этотъ Ибрагимкинъ знахарь изъ такихъ же... Какъ ты думаешь?

Но батюшка не отвѣчалъ. Онъ ходилъ молча, заложивъ руки подъ рясою сзади, вздыхалъ и возводилъ очи къ вечернему, багровому небу. Затѣмъ онъ неожиданно остановился и измѣнившимся голосомъ проговорилъ:

— Не допускай!

Шолобовъ посмотрѣлъ на него, недоумѣвая. Онъ голоса даже не узналъ знакомаго, даже лицо отца Никанора какъ будто измѣнилось, а можетъ быть, отблескъ вечерняго небо такъ странно освѣтилъ это всегда добродушное, даже простоватое лицо.

— Не допускай!—повторилъ отецъ Никаноръ.—Гдѣ вѣра въ силу молитвы—тамъ нѣтъ мѣста волхвованіямъ. Завтра я принесу Святые Дары, приму глухую исповѣдь и причащу...

И какъ это я, погрязшій въ суетѣ, малодушный попъ, раньше не догадался... Боже Милосердный, отпусти мнѣ, грѣшному!..

— Нельзя-ли сегодня... сейчасъ бы?—схватилъ его за руку Шолобовъ.

— Не достоинъ я самъ... Всю ночь проведу въ молитвѣ... до завтра!.. Господи! Буди милостивъ ко мнѣ, грѣшному... До завтра!

Отецъ Никаноръ степенно сошелъ внизъ и направился въ свое помѣщеніе.

Капитанъ, увидя выстроившихся въ рядъ фельдфебелей, ожидавшихъ приказаній, подошелъ къ нимъ.

Въ цитадели, на восточномъ фасѣ, обвалилась часть стѣны, и въ эту брешь со стороны, особенно съ мечети и Медрессе, что за базаромъ, видна была часть внутренняго пространства. Это неудобно, надо исправить. Шолобовъ отдалъ приказаніе дежурному на ночь фельдфебелю съ разсвѣтомъ пропустить партію рабочихъ-туземцевъ. Рабочихъ этихъ приведетъ Девлетъ-Курбаши, это его обязанность,—такъ, чтобы осмотрѣть всѣхъ и пропустить счетомъ, провести прямо на мѣсто работы.

Пробили зарю, замолкъ стройный хоръ солдатъ, пѣвшихъ вечернія молитвы, и сама цитадель и ея окрестности успокоились.

А Палю въ эту ночь было особенно худо.

Иванъ Алексѣевичъ съ дядькою съ трудомъ справлялись съ больнымъ, безсознательно метавшимся въ постели; онъ даже вскакивалъ на ноги, стоналъ словно отъ невыносимой боли и бредилъ громко, иногда даже совершенно отчетливо.

— Помилуй Богъ! — крестился Григорій Ивановичъ, прислушиваясь къ этому бреду.

Шолобовъ съ нетерпѣніемъ ждалъ утра и появленія отца Никанора съ обѣщанными Дарами. Докторъ навѣдывался раза два, требуя, чтобы не снимали ни на одну минуту съ головы холодныхъ компрессовъ.

Тяжелая ночь тянулась мучительно долго.

Нервы старика-дядьки не выдержали, наконецъ. Онъ съ трудомъ сдерживалъ рыданія.

— Батюшка мой, — говорилъ Григорій Ивановичъ,—жить ты хочешь, голубчикъ мой!.. Тебѣ-ли не жизнь: живи-знай всѣмъ намъ на радость. Любить хочешь, радоваться? Да люби,

Господь съ тобою,—выздоравливай только... Маменьку зовешь... спасти просишь... Да отъ кого спасать тебя? Гдѣ недругъ твой?.. Кто тебя, роднаго, отъ насъ отнять хочетъ?.. Кто идетъ сюда, кто близко?.. Никого нѣту—все свои, любящіе тебя, ребеночекъ родненькій... Да опомнись!.. Помилуй Богъ, помилуй!.. Что же это она, Иванъ Алексѣевичъ?.. Что за Нирвана такая, прости, Господи!..

А Шолобовъ, стиснувъ зубы, ворчалъ:

— Ну, и доктора наши! Что они знаютъ, что понимаютъ?.. Вѣстовой, поди, разбуди опять доктора... пускай тутъ сидитъ, будетъ ему дрыхать!

Поднимали доктора; приходилъ онъ заспанный.

— Компрессы и ничего больше. Къ разсвѣту будетъ спокойнѣй...

Это, молъ, кризисъ.

Наконецъ, стало разсвѣтать.

По плитамъ двора затопотали нѣсколько десятковъ босыхъ ногъ. Это провели приведенныхъ Девлетомъ рабочихъ. Группа полуголыхъ сартовъ съ китменями въ рукахъ прошла мимо самыхъ дверей комнаты Сергѣя Николаевича.

Сзади всѣхъ, немного отставъ, брелъ, прихрамывая, старикъ, не глядя, какъ другіе, по сторонамъ, и только вздрогнулъ противъ самой двери. Да и не мудрено было вздрогнуть.

Наль какъ разъ въ это мгновеніе дико вскрикнулъ:

— Онъ... опять онъ!—и разомъ смолкъ,—да такъ страшно смолкъ, что Григорій Ивановичъ, произнеся: «умеръ... кончился!..»—повалился къ нему на кровать и обнялъ его похолодѣвшія ноги.

— Не можетъ быть!—проговорилъ глухо Шолобовъ.—Нѣтъ, это сонъ. Пульсъ бьется... Григорій Ивановичъ, успокойтесь, сходите лучше за отцемъ Никаноромъ!

А рабочіе прошли на свое мѣсто, и скоро послышалось шлепанье сырой глины и глухіе удары китменей. Кто-то требовалъ фашиннику.

Отецъ Никаноръ появился изъ походной церкви, въ камилавкѣ, въ эпитрахили, надѣтой поверхъ новенькой бѣлой, какъ снѣгъ, рясы. Онъ шелъ съ запасными Дарами и движеніемъ руки благословилъ ставшій, при его появленіи, въ ружье вну-

тренній караулъ. Видно было по лицу священника, что онъ провелъ ночь безъ сна; выраженіе этого лица, несмотря на признаки сильнаго утомленія, было величаво-торжественное. Онъ прошелъ прямо въ саклю больного и попросилъ всѣхъ оставить его одного.

— Даже и вы уйдите! — мягко обратился онъ къ Григорію Ивановичу.

Долго, очень долго оставался съ Налемъ глазъ-на-глазъ отецъ Никаноръ. Во все это время старый дядька молился, стоя на колѣняхъ, не спуская просящаго взора съ потемнѣлаго отъ времени и походовъ ротнаго образа, выставленнаго у входа въ церковь. Шолобовъ пристально смотрѣлъ на городъ въ амбразуру стѣны, а можетъ, дѣлалъ только видъ, что смотритъ. Глухаревъ, придя на площадку, сразу замѣтилъ, что совершается что-то особенное, и остановился въ вопросительной позѣ, но, должно-быть, сообразилъ, снялъ фуражку и началъ креститься тоже, за нимъ виднѣлась скуластая, косоглазая голова прапорщика Бабаджанова.

— Иванъ Алексѣевичъ, Григорій Ивановичъ, прошу пожаловать! — послышался радостный голосъ священника.

Старикъ-дядька рванулся къ двери. Шолобовъ оставилъ свой наблюдательный постъ.

— Съ радостью, съ великою радостью, съ принятіемъ Святыхъ Тайнъ душевно поздравляю!

— Какъ мнѣ хорошо! — ясно послышался другой голосъ, слабый, чуть коснувшійся уха Шолобова.

Съ этого дня въ полномъ выздоровленіи Сергѣя Николаевича не было ни у кого ни малѣйшаго сомнѣнія.

Наль поправлялся быстро, даже настолько быстро, что это возмущало доктора.

— Нельзя такъ, помилуйте, — говорилъ онъ, — это ни на что не похоже! На все есть свои сроки и порядокъ... Ахъ, да: вчера вотъ Гуль-Гуль ко мнѣ приходила... все про тебя, Сережа, разспрашиваетъ. Я ея не пустилъ... Славная дѣвушка, красива, какъ чертенокъ, и, кажется, по-уши въ тебя влюблена. Но какая дикая!

Шолобовъ слегка толкнулъ его локтемъ.

— Нѣтъ, это я такъ, впрочемъ...—замялся было докторъ.— Какую лошадку подыскалъ тебѣ Ибрагимъбай, прелесть: вороная, какъ смоль, гладкая, какъ атласъ, глазища—вотъ, ножки—вотъ какія, тоненькія, какъ у козы, и не дорого... Иванъ Алексѣевичъ, ты видѣлъ?

— Приведите сюда!—обрадовался Наль, и глаза у него стали разгораться.

— Рано, рано. Терпѣніе, мой другъ, терпѣніе!

— Экій ты болтунъ! Чистое рѣшето!—проворчалъ Шолобовъ.

— Развѣ это секретъ?

— Взойти позволите? — послышался съ площади голосъ Костецкаго.

— Пожалуйста!—обрадовался Сережа.

Его теперь радовало каждое посѣщеніе товарищей. Все, что было прежде непріятнаго,—все сгладилось. Всѣ казались такими добрыми, ласковыми, искренними.

— Душевно поздравляю съ выздоровленіемъ... очень радъ!— протянулъ руку вошедшій. — Признаться сказать, мы не вѣрили въ хорошій исходъ. Докторъ вотъ говорилъ, что если и поправится, то того... Что, господинъ эскулапъ, надули вашу медицину?!. Ха-ха-ха!

— Все вы глупости говорите!—вспыхнулъ докторъ.—Это, наконецъ, безтактно...

— Ну, полно!—тронулъ его Наль. —Садитесь, Казиміръ... Григорій Ивановичъ, дайте чаю... Можетъ-быть, вина хотите? Мнѣ нельзя самому, вотъ онъ запрещаетъ!

— Слушайтесь больше!.. Здравствуйте, капитанъ! Извините, я васъ со свѣта не сразу замѣтилъ... такъ темно!

— Не безпокойтесь!—проворчалъ Шолобовъ.

— Какъ у васъ тутъ хорошо! Словно въ будуарѣ... Никакъ духами пахнетъ?.. Ходятъ тутъ за вами, какъ за барышнею какою-нибудь... Что же, говорятъ, на безрыбьи...

— Послушайте, Костецкій, — рѣзко перебилъ его Иванъ Алексѣевичъ.—Вы, если не ошибаюсь, сегодня дежурный?

Онъ вынулъ часы и про себя добавилъ:

— Ровно два!

— Я понимаю вашъ намекъ, господинъ комендантъ. Положимъ, долгъ христіанина повелѣваетъ посѣщать больныхъ и заключенныхъ, но безъ ущерба для службы... Понимаю... зло-

употреблять этимъ долгомъ не слѣдуетъ, даже и на такомъ ничтожномъ посту, который занимаю я, субалтернъ... Вотъ допью стаканъ вина и пойду!

— Я ни на что не намекаю!—отвѣтилъ Шолобовъ.

Глаза Паля взглянули по его направленію просительно.

— Не люблю такихъ, — замѣтилъ докторъ по уходѣ Костецкаго. — У него, какъ у гремучника, есть подъ зубомъ мѣшечекъ съ ядомъ, и вотъ онъ все его капъ да капъ съ кончика языка; а, впрочемъ, малый съ головою и даже весьма содержательный!

— Ему здѣсь тяжело!—заступился Паль.

— А тяжело, такъ убирайся!—отрѣзалъ Шолобовъ.

— И радъ бы въ рай, да грѣхи, говорятъ, не пускаютъ... Григорій Ивановичъ, соблаговолите и мнѣ стаканчикъ... Мерси-съ!

— Кушайте на здоровье!.. А скоро позволите намъ мясную питательность...

— «Мясную питательность...» гм!.. подумаемъ... подумаемъ... Ну, до свиданья. Пойду по больнымъ. Опять двое дынь пажрались, — «товарыщы», говорятъ, принесли!..

— Во имя Отца и Сына!..

— Ахъ, отецъ Никаноръ!.. Какъ я радъ!..

Паль рванулся съ постели и протянулъ свои исхудалыя руки на встрѣчу входящему священнику.

А ночью случилось такое мало понятное обстоятельство.

Разсказывалъ объ этомъ Григорій Ивановичъ и разсказывалъ такимъ образомъ:

— Въ самую ночь, часу этакъ во второмъ, меня это словно подъ сердце кольнуло. Вскочилъ я — и къ нимъ. А они лежатъ съ открытыми глазами и шепчутъ что-то-съ... И другой кто-то тихонько говоритъ, а сидитъ этотъ другой на постели: старый престарый, не въ нашей одежѣ, — на меня взглянулъ, я и остолбенѣлъ: ни съ мѣста сойти не могу, ни слова промолвить... Вертится это въ головѣ: «сгинь, сатана!» а голосу нѣтъ. Назадъ хочу, людей разбудить, тревогу поднять—ну, не могу, да и только. Такъ и простоялъ все время... Сгинулъ старикъ, словно сквозь землю провалился. Бросился я къ Сергѣю Николаевичу—молчитъ, не отвѣчаетъ. Махнули мнѣ рукою и снова заснули... Господи Милостивый, что же это такое?

— Былъ?—пытливо поглядѣлъ Шолобовъ на своего друга.

— Былъ!—тихо отвѣтилъ тотъ.

— Поймаю—безъ зазрѣнія совѣсти повѣшу!—проговорилъ капитанъ сквозь зубы и порывисто вышелъ изъ сакли.

IV. Покровитель Гуль-Гуль

Смѣнившись съ дежурства, Казиміръ Костецкій велѣлъ осѣдлать своего иноходца и выѣхалъ на обычную прогулку.

Сначала онъ заѣхалъ къ своему пріятелю Девлетъ-Шиху, долго пробылъ у него на дому,—выѣхали оба вмѣстѣ.

Подъ городскими воротами нашъ караулъ отдалъ честь офицеру.

— Ты говоришь, Девлетъ, теперь безопасно?—громко сказалъ штабсъ-капитанъ. — Хочу промять немного Омара, — застоялся конь... Можно будетъ до Майдана доѣхать?

— Теперь тихо... куда хошь, иди, вездѣ спокойно! — отвѣтилъ курбаши.

— А все-таки поглядывай! — обратился Казиміръ къ караулу.

— Слушаемъ, ваше олагородіе!.. — отвѣтило разомъ нѣсколько голосовъ.

— Гайда! Рысью!

Оба всадника скрылись къ густомъ облакѣ дорожной пыли.

— Такъ что-же, таксыръ? — сказалъ, первый сдерживая коня, Девлетъ, когда они отъѣхали съ версту отъ городскихъ воротъ.

— Подумаю еще!

— А я написать уже хотѣлъ муллѣ Алемъ-Кулу. Думать-то долго нечего... написать?

— Пиши, если хочешь... Только, Боже тебя сохрани называть мое имя. Пиши просто: одинъ русскій офицеръ, великій мастеръ военнаго дѣла. Но помни условіе... Ни къ какому вашему халатнику, будь онъ самъ Тамерланъ, я въ подчиненіе не пойду... понимаешь?

— Понимаю... Только и мулла Алемъ-Кулъ изъ такихъ тоже, что не пойдетъ въ подчиненіе!

— Увидимъ!

— Опять насчетъ мусульманства... Необходимо будетъ...

— Да хоть въ язычество, хоть въ буддизмъ!.. Не все-ли равно?

Костецкій захохоталъ, но смѣхъ этотъ не былъ искренній Онъ осадилъ своего Омара и круто свернулъ въ боковую дорожку, тѣсно зажатую межъ стѣпокъ, огораживающихъ джугарныя плантаціи.

— Куда же ты?—повернулъ коня и Девлетъ.

— Къ Гуль-Гулькѣ заѣдемъ... Давно не былъ въ гостяхъ у этого змієныша!

— Не любитъ она тебя,—усмѣхнулся Девлетъ.—Она теперь словно заколдованная... Только и знаетъ одно: «Джанымъ Наль», да «Наль джанымъ» *)!

— Ладно!

Костецкій выместилъ свою досаду на иноходцѣ и прибавилъ шагу.

— Хорошая баба...—говорилъ Девлетъ, едва поспѣвая за своимъ спутникомъ.

Черезъ четверть часа бѣга, всадники свернули снова въ такой узенькій проходъ, что рядомъ ѣхать было уже невозможно, и остановились передъ наглухо запертыми воротами; здѣсь стѣны поднимались значительно выше, и за ними виднѣлась темная крона роскошнаго, вѣкового карагача.

— Ну-ко, постучи!

Девлетъ, не слѣзая съ лошади, нагнулся къ желѣзному кольцу, и сухой, металлическій звукъ непріятно прозвенѣлъ въ воздухѣ.

— Да что они, спятъ всѣ, что-ли?—проворчалъ курбаши, выждавъ съ минуту.

— Валяй крѣпче!

Слѣзъ Девлетъ съ коня, принялся барабанить во всю. Пѣшему удобнѣе. Нервные кони поводили ушами и вздрагивали при каждомъ ударѣ.

— Кто тамъ? — послышался, наконецъ, робкій голосъ.

— Отворяй!.. Гости пріѣхали!

— Нѣту дома Гуль-Гуль... Въ городъ ушла... давно ушла. нѣту!

---

*) Джанымъ—душа.

— Вретъ все! — тихонько проговорилъ Девлетъ, кивнувъ головою Костецкому.

— А вотъ увидимъ... Требуй, чтобы отворили!

— Отворяй, все равно!.. Гость важный... офицеръ русскій... Сердиться будетъ!

— Кто такой?

— Назови себя—все равно!

— Не узналъ, что-ли?.. Самъ курбаши пріѣхалъ... Видишь вѣдь въ дырку, кто... Захочу, все равно, двери сломаю!

— Зачѣмъ ломать,—говорилъ голосъ изнутри.—Не вѣришь, что нѣту Гуль-Гуль—самъ увидишь!

Послышался визгъ засова, дверь, скрипя, отворилась.

— Коней вводить что-ли?—спросилъ курбаши

— А то какъ же...

Отворилъ дверь во дворъ сакли Гуль-Гуль хромоногій работникъ сартъ и лукаво посматривалъ на гостей.

А тѣ довольно безцеремонно, привязавъ лошадей къ столбамъ навѣса, направились во внутрь дворика, къ саклѣ, на крышѣ которой была разставлена небольшая зеленая палатка, вся скрытая въ развѣсистыхъ вѣтвяхъ дерева.

Рѣзная дверь въ саклю была не заперта, и гости вошли безпрепятственно.

— А гдѣ Мантыкъ? Гдѣ старая Ханымъ? — полюбопытствовалъ Девлетъ.

— Мантыкъ съ Гуль-Гуль пошелъ, а Ханымъ спитъ!

— Разбуди и скажи, чтобы чаю несла... Ну, что-жъ, отдохнемъ, поваляемся. Садись, таксыръ...

И Девлетъ фамильярно толкнулъ Костецкаго, приглашая послѣдовать его примѣру.

Красиво и уютно было обставлено жилище Гуль-Гуль. Плитной полъ устланъ коврами, у стѣнъ лежали свертками стеганыя, пестрыя одѣяла и цѣлыя горы цилиндрическихъ подушекъ. Изящная мѣдная посуда сверкала въ нишахъ. По стѣнамъ развѣшаны были, живописными арматурами, музыкальные инструменты и оружіе; въ углу стояли кованые сундуки съ одеждою и ларцы съ украшеніями: браслетами, ожерельями и головными уборами; тутъ же виднѣлось небольшое зеркало, въ украшенной цвѣтною фольгою рамкѣ; посрединѣ сакли, на широкомъ, но низенькомъ табуретѣ, помѣщались горшки съ сильно паху-

чими растеніями и большой, роскошный кунганъ-умывальникъ. Въ воздухѣ пахло мускусомъ и розовымъ масломъ и было душно. Здѣсь и утварь, и самыя стѣны были пропитаны этими пряными ароматами Востока, сильно дѣйствующими на нервы непривычныхъ посѣтителей.

Костецкій сталъ скручивать папиросу, Девлетъ потребовалъ кальянъ.

Пришла Ханымъ, старуха лѣтъ шестидесяти, но все-таки съ закрытымъ лицомъ, и принесла чай.

— Гостямъ рада,— прошамкала она,— но Гуль-Гуль дѣйствительно уѣхала въ городъ. Часа два какъ... велѣла Мантыку осѣдлать лошадь и уѣхала... Да благословитъ пророкъ ваше прибытіе!

— Спасибо!.. Жаль!.. А когда вернется?

— Скоро заря... барабаны русскіе пробьютъ, пушка выстрѣлитъ, никого не пустятъ до утра ни въ городъ, ни изъ города. Должно быть, тамъ започуетъ!

— Ну, такъ чего же сидѣть, поѣдемъ и мы!

Костецкій едва проглотилъ маленькую чашечку чая и поднялся на ноги.

— Который разъ — и все не застану дома! — досадливо проворчалъ офицеръ. — Скажи, что послѣ-завтра пріѣду съ Налемъ... чтобы ждала!

— Наль вѣдь не выѣзжаетъ еще! — замѣтилъ шепотомъ Девлетъ.

— Все равно! Скажи, чтобы ждала... непремѣнно!

— Скажу, таксыръ, скажу...

Старуха поклонилась почтительно и проводила гостей до воротъ. Она долго слѣдила за ними глазами, пока тѣ не скрылись за поворотомъ.

А Девлетъ, словно поддразнивая своего спутника, разводилъ руками и говорилъ:

— Удивительное дѣло! Наль пріѣдетъ—дома есть, Казиміръ пріѣдетъ — дома нѣтъ... и всегда такъ... И всегда правда бываетъ... удивительное дѣло!

— Мнѣ удивительно, не то что тебѣ,—задержалъ коня Казиміръ. — Меня удивляетъ, какъ она цѣла до сихъ поръ. Отъ города далеко, и никто ея не трогаетъ... Вотъ хоть бы за то, что съ русскими знается!

— А мнѣ это совсѣмъ не удивительно. Я и знаю, да не скажу, — произнесъ Девлетъ. — Вотъ я курбаши, власть большую имѣю, а что могу ей сдѣлать?.. Ничего!.. А потому что не смѣю. Тронь ее пальцемъ—головы не уберечь... Покровитель у ней силенъ очень—вотъ отчего!..

— Кто, Наль что-ли?

Костецкій презрительно пожалъ плечами.

— Нѣтъ, не Наль, а другой... Да и не изъ вашихъ совсѣмъ... Ваши что! Будь хоть самъ генералъ, какъ онъ убережетъ?.. Развѣ въ цитадель запретъ дѣвку... И всѣ будутъ знать — гдѣ она. А я бы ее увезъ и спряталъ, изъ вашихъ никто бы и не догадался. Я вотъ, захотѣлъ бы, просто голову отрѣзалъ бы и на базаръ подбросилъ бы, а то къ самымъ воротамъ цитадели. Что-бы вы сдѣлали?.. Ничего! И не узнали бы—кто и за что... Виноватаго бы не нашли. Послали бы за мной, стали бы спрашивать, приказали бы разыскать виноватаго и передъ судъ доставить... А Девлетъ-курбаши отвѣчалъ бы: «Ваше превосходительство! Я служу Акъ-Падишаху вѣрою-правдою, за порядкомъ смотрю, а своей военной силы не имѣю... Гуль-Гуль, молъ, живетъ далеко, за городомъ... Теперь война... Люди Алемъ-Куловы вездѣ бродятъ, разбойничаютъ... Если ваши казаки не доглядѣли—гдѣ же мнѣ, простому курбаши...» Ну, и ничего бы не вышло. А вотъ не смѣю я, не могу ничего ей сдѣлать—потому есть такой покровитель, что отъ него не отвертишься. Подъ землею меня сыскалъ бы, хоть бы у васъ подъ карауломъ сидѣлъ, и оттуда вытащилъ бы, да подъ свой ножикъ приволокъ. Вотъ и ты ничего сдѣлать не можешь, злись-не-злись, а не можешь, потому что Гуль-Гуль не въ городѣ живетъ, подъ вашею охраною, а здѣсь, на волѣ... Наль вотъ можетъ... Онъ однимъ словомъ, взглядомъ только, куда хочетъ, поведетъ ее за собою... Только и тотъ силенъ надъ нею. Не знаю, что-то будетъ, если, сохрани Богъ, они оба здѣсь, у Гуль-Гуль, встрѣтятся!

Девлетъ, разговаривая такимъ образомъ, ѣхалъ теперь впереди Костецкаго. Не доѣзжая немного до поворота на большую дорогу, онъ такъ осадилъ свою лошадь, что Костецкій наткнулся на ея крупъ.

Не успѣлъ выругаться офицеръ, какъ замѣтилъ блѣдное лицо курбаши и его выразительный жестъ, приглашающій къ

молчанію и полной тишинѣ. Изъ-за стѣнокъ большой дороги поднималась пыль, и слышался мягкій топотъ некованныхъ конскихъ ногъ. Всадниковъ было нѣсколько. Топотъ усиливался.

— Сюда сворачиваютъ,—прошепталъ курбаши,—бѣды не было бы... не трогай!..—пугливо произнесъ онъ, замѣтя, что Казиміръ Костецкій сталъ торопливо разстегивать пуговку револьвернаго кобура. — Ни-ни... Оборони тебя Богъ!.. Стой тутъ—я продвинусь на встрѣчу!

Узкая дорожка извивалась змѣею, довольно крутыми поворотами. Топотъ близился, но еще никого не было видно. Девлетъ тоже исчезъ за первымъ поворотомъ. Костецкій остался одинъ.

Разомъ, словно неожиданно, изъ-за этого поворота показался всадникъ на крупной вороной лошади. По одеждѣ врагъ.

Костецкій поблѣднѣлъ, какъ полотно.

Рядомъ съ всадникомъ, плотно, ѣхалъ курбаши и встревоженно, торопливо говорилъ ему что-то. Долетѣло до слуха довольно ясно:

— Это тотъ самый таксыръ, о которомъ я писалъ тебѣ!

— Этотъ?—произнесъ всадникъ и безцеремонно ткнулъ въ сторону русскаго офицера рукою, вооруженною нагайкою.

Краска стыда бросилась было въ лицо Казиміру и снова отхлынула.

А всадникъ былъ силенъ, статенъ и красивъ. За нимъ виднѣлись еще вооруженные люди, въ воздухѣ запахло горящими фитилями мултуковъ.

Пристально посмотрѣлъ красавецъ въ лицо Костецкому, придержалъ даже немного лошадь для этого, отвернулся и скоро тронулся впередъ. Не удостоивъ больше взглядомъ офицера, онъ проѣхалъ мимо, заставивъ этимъ движеніемъ Костецкаго прижаться къ самой стѣнѣ. Даже стремена ихъ встрѣтились и звякнули. Вороной конь зажалъ уши и злобно попытался укусить иноходца. Щелкнула нагайка, и всадники разъѣхались. За первымъ и остальные тою же дорогою, — только эти разсматривали русскаго съ большимъ любопытствомъ, и одинъ изъ нихъ, ухмыльнувшись, фамильярно хлопнулъ Казиміра по плечу и проговорилъ:

— Якши, тамыръ-якши *)!

---

*) Тамыръ—пріятель.

— Не будетъ никакихъ твоихъ повелѣній, таксывъ? — почтительно спросилъ Девлетъ.

— Я ночую здѣсь... знаешь?—распорядился красавецъ. — Мои люди притомились—поставь своихъ, чтобы во время дали знать, если что. За русскими казачьими разъѣздами слѣдили бы. А завтра, къ полудню, постарайся понавѣдаться...

— Хопъ, таксывъ, хопъ!.. Будетъ исполнено!

— Прощай!

Скрылись враги. Девлетъ подъѣхалъ къ Костецкому.

— Кто это?—процѣдилъ тотъ сквозь зубы.

— А вотъ тотъ самый, что говорилъ я тебѣ, Гуль-Гулькинъ покровитель. Ой-ой былъ богатый!.. Русскіе разорили его кишлакъ, — теперь у Алемъ Кула минбашею служитъ. Ухъ, какой воитель!.. Первый налетъ у эмира... Ему въ бою просто нѣтъ равнаго. Скажи спасибо Девлеткѣ!

— За что?

— А за то, что я раньше уже писалъ о тебѣ. Иначе не уцѣлѣть бы твоей головѣ, если-бы ты былъ не *изъ нашихъ*!

У Костецкаго мелькнула мысль: выхватить револьверъ и на мѣстѣ положить двуличнаго курбаши, затѣмъ вернуться, кинуться въ неравную свалку и погибнуть.

Но, увы! Эта честная мысль мелькнула только на мгновеніе и тотчасъ же уступила мѣсто другой, навѣянной злобой и отчужденностью... Онъ потупилъ голову и молча поѣхалъ за Девлетомъ.

Протяжные звуки казачьей трубы послышались въ сторонѣ города... Пыльный воздухъ замѣтно холодѣлъ...

Повѣстка къ зарѣ... Черезъ четверть часа запрутъ ворота... Всадники прибавили ходу...

V. Гуль-Гуль влюблена.

Ибрагимъ-бай былъ очень огорченъ. Онъ посылалъ просить тюра-коменданта къ себѣ на томашу, устраиваемую по случаю рожденія внука, и самъ лично ѣздилъ приглашать, а Иванъ Алексѣевичъ говоритъ, что не можетъ, будто бы ему, какъ коменданту, нельзя отлучаться изъ крѣпости, да еще въ гости... Вѣдь вотъ ѣздитъ же по всѣмъ улицамъ города, ѣздитъ и за ворота заглядываетъ, а къ нему, преданнѣйшему акса-

калу, нельзя... Отчего это комендантъ сталъ къ нему немилостивъ?.. Прежде можно было, а теперь нельзя.

Никакъ ему не могъ вразумить Шолобовъ, что служба не позволяетъ, время не такое, отвѣтственность велика... Сдѣлалъ видъ Ибрагимъ-бай, что понялъ, наконецъ.

— А ужъ ты, Сергѣй Николаевичъ, непремѣнно!—обратился онъ къ Налю.—Ты теперь, слава Аллаху, встаешь съ постели; слабъ еще, да ничего... Я тебѣ такого коня пришлю, что не тряхнетъ, не шелохнетъ... Да ко мнѣ и недалеко!

— Я пріѣду... съ докторомъ... я съ удовольствіемъ, — согласился Наль.—Видишь, это мой первый выѣздъ будетъ... Въ добрый часъ... Первый выѣздъ, и къ хорошему, вѣрному другу... Такъ, Ибрагимъ?

— О, таксыръ!

Ибрагимъ-бай прижалъ руку Наля къ своему сердцу.

— И ты, бабай, приходи... Ты человѣкъ хорошій, ой-ой, хорошій! — обратился аксакалъ къ Григорію Ивановичу.

— А то безъ себя отпущу, что-ли?—засмѣялся дядька.— Всѣмъ, значитъ, комплектомъ!

— Пилавъ съ куриными печенками!.. Непремѣнно!.. — заказалъ докторъ

— Все будетъ!—улыбнулся Ибрагимъ-бай.—Эхъ, жаль, жаль... Ну, что дѣлать... Я тебѣ, Иванъ Алексѣевичъ, всего пришлю въ цитадель... И халатъ пришлю парчевый на память о новорожденномъ...

— Присылай!.. Приму... Ну, до свиданья!

— Такъ пріѣзжайте же! — крикнулъ аксакалъ, спустился внизъ, сѣлъ на коня и поѣхалъ черезъ базаръ къ своему дому.

А домъ Ибрагимъ-бая, теперь старшаго аксакала, находился въ центрѣ города. Его обширные караванъ-сараи примыкали къ самому базару и тянулись до главнаго медрессе, отсюда узкій переулокъ велъ къ воротамъ жилого дома. Первый дворъ, обнесенный навѣсомъ, служилъ для лошадей; второй занятъ былъ саклями, пріемными для гостей, а дальше расположены были сакли гарема, съ прудомъ и садомъ. Изъ купацкихъ тоже можно было пройти въ этотъ садъ, только въ особо отгороженную стѣною его первую половину... Здѣсь были виноградники, и тянулась живая тоннель изъ переплетшихся между

собою старинныхъ лозъ, въ руку толщиною... Ибрагимъ-бай былъ очень богатъ, только прежде, подъ властью эмировъ, нужно было тщательно скрывать это богатство, а то излишекъ отбирался въ казну подъ разными предлогами... Теперь же положеніе аксакала-купца было совершенно обезпечено, и онъ велъ свои торговыя дѣла открыто и безъ боязни.

Его младшій сынъ, всего годъ женившійся на *первой*, порадовалъ старика прибылью семейства... По этому случаю готовился праздникъ, на который приглашены были всѣ главнѣйшіе жители города и представители новой власти—русскіе офицеры. Жаль вотъ только, что время такое неудобное: генералъ въ отсутствіи, а то праздникъ аксакала былъ бы на славу и на зависть кое-кому изъ постороннихъ...

Сарты вообще очень тщеславны—это ихъ характерный признакъ—и любятъ гордиться высокими связями и знакомствами.

Сергѣй Николаевичъ въ первые же дни настолько поправился, что могъ выходить... Ненадолго, впрочемъ, и подъ надзоромъ дядьки... По верхомъ еще не садился — это предполагался его первый выѣздъ. Взгрустнулъ молодой офицеръ, вспомнивъ о своемъ пропавшемъ безъ вѣсти темно-буромъ аргамакѣ, но утѣшился, увидѣвъ такого вороного красавца, что у наѣздника даже глаза заблистали... Это былъ подарокъ Ибрагимъ-бая.

Сергѣй Николаевичъ все придумывалъ, чѣмъ бы ему отплатить за коня: денегъ Ибрагимъ не возьметъ, хоть предложи тройную цѣну; вещей, особенныхъ такихъ, приличныхъ для данной цѣли, не было и купить негдѣ, заказать — времени нѣтъ... Ужасно обидно!

Эти соображенія нѣсколько разстраивали веселое, игривое даже, расположеніе духа выздоравливающаго.

— Ничего, послѣ сочтешься!—успокаивалъ его Шолобовъ.

— Подстаканникъ серебряный можно съ эмалью, есть такой, — предлагалъ дядька Григорій Ивановичъ. — Чего ему, право, еще... Что они, азіаты, понимаютъ! Охъ, ужъ эти намъ подарки! Продай—бери денегъ, сколько хочешь, жалко, что-ли!— И чудесное дѣло!

Собрались, наконецъ, въ гости.

Близко было—минутъ десять ходу всего... Офицеры, приглашенные тоже, собрались запросто пѣшкомъ.

— А вы, Казиміръ?—удивился Сергѣй Николаевичъ, заглянувъ въ маркитантскую палатку, прежде чѣмъ сѣсть на лошадь.

Костецкій сидѣлъ въ грязномъ, разстегнутомъ кителѣ, безъ погонъ, и читалъ что-то.

— Не приглашенъ,—произнесъ онъ, непріятно улыбаясь,— не удостоенъ...

— Ну, не можетъ быть!

— Да я и говорю: пустяки! Ибрагимъ бай просто просилъ всѣхъ,—вмѣшался въ разговоръ Глухаревъ, оправляя револьверный кобуръ.—Что же ему лично каждаго...

— Да вы и идите... я не *вспъ*! — Костецкій подчеркнулъ послѣднее слово.—Я вотъ съ нимъ вчера глазъ-на-глазъ встрѣтился на базарѣ, могъ бы сказать, еслибъ захотѣлъ...

— Какой вы, ей Богу, придирчивый!..

— Да чортъ съ нимъ! — произнесъ тихонько Бабаджановъ, дернувъ за рукавъ Глухарева.

— Иммеръ-форвертсъ, гайда! — торопилъ докторъ.—Что, голубчикъ, самъ влѣзешь или подсадить надо?

— Попробую!—улыбнулся Наль, любовно погладивъ кровнаго жеребца, любуясь нервностью и красотою выжидательной позы. Аргамакъ косилъ огневымъ глазомъ на новаго сѣдока и слегка прижималъ ухо.

— О, ля-ля! О, милый... Ахъ ты, душка!—восхищался Сергѣй Николаевичъ, взявшись опытною рукою за гриву.

Ибрагимовскіе конюха ловко помогли ему сѣсть.

— Что за прелесть!—невольно вскрикнулъ молодой офицеръ, почувствовавъ подъ собою эластичныя движенія коня.

— Да онъ, кажется, со шпатомъ!—послышалось изъ палатки замѣчаніе Костецкаго.

Тронулись въ путь.

Девлетъ-Курбаши выѣхалъ изъ боковой базарной улицы съ нѣсколькими полицейскими. Представитель порядка былъ въ праздничномъ нарядѣ, даже конь осѣдланъ парадно, покрытъ парчевымъ чепракомъ. Замѣтивъ, что большинство офицеровъ идутъ пѣшкомъ, онъ почтительно соскочилъ съ лошади и распорядился послать полицейскихъ съ длинными палками расчищать дорогу, что было болѣе ради этикета, нежели для дѣла: улицы были почти пусты, а кто сидѣлъ въ лавкахъ и въ чай-хане, тѣ приглашались вставать и кланяться.

— А что же таксыръ Казиміръ не съ вами?—спросилъ курбаши.

— Нездоровъ, должно-быть!—уклончиво отозвался прапорщикъ Столбушинъ.

— Депутацію пригласительную забылъ послать Ибрагимъ-бай!—разсмѣялся докторъ.

Хозяинъ встрѣтилъ гостей у воротъ и съ каждымъ обнялся по этикету.

— Доволенъ?

Ибрагимъ-бай мигнулъ Сергѣю Николаевичу на коня.

— Спасибо... прелесть! И гдѣ ты только достаешь такихъ?.. Спасибо!.. О, какой у тебя парадъ!

Начиная изъ-подъ воротъ, весь дворъ былъ устланъ коврами, и по нимъ протянуты были дорожки изъ узорнаго канауса. Вся нишь вторыхъ воротъ, ведущихъ въ пріемныя, также была обвѣшана коврами и шалями. Самый разнообразный и обильный дастарханъ *) покрывалъ собою всѣ окраины, возвышенія подъ навѣсами.

Любитель покушать, докторъ оцѣнилъ все выставленное по достоинству и произнесъ:

— Важно! Ай-да хозяинъ!

Молодой отецъ новорожденнаго, совсѣмъ почти мальчикъ, скромно потупивъ глаза, кланялся гостямъ молча. Ибрагимъ-бай суетился, но степенно, усаживая гостей на мягкіе свертки одѣялъ и подкладывая подушки... А тутъ уже сидѣли всѣ важныя лица города, молчаливо покачивая громадными чалмами, равнодушно, даже апатично глядя и на русскихъ гостей, и на угощеніе.

Еще было достаточно дневного свѣта, и фонари не зажигались. Музыканты налаживали свои инструменты.

— А вѣдь покойнѣе здѣсь,—обратился докторъ къ Сергѣю Николаевичу,—чѣмъ тамъ, помнишь?.. Тутъ, братъ, шалишь... Вотъ она, цитадель, подъ бокомъ... Вонъ они, солдатики, отсюда слышно... Тутъ не то... Ну, и натерпѣлись же мы тогда страху...

Напоминаніе это было, кажется, не особенно пріятно Налю. Замѣтилъ докторъ самъ свою безтактность и постарался замять.

---

*) Дастарханъ—угощеніе.

— Да чортъ съ нимъ... А хорошо: знаешь, мнѣ тоже начинаетъ нравиться этотъ Востокъ... ковры... виноградъ... тепло... нѣга...

— Ѣшь, чего смотришь!—толкнулъ Бабаджановъ сосѣда, прапорщика Столбушина.

— Да ложки нѣтъ!—отозвался тотъ.

— А ты вотъ какъ!

И киргизъ безцеремонно запустилъ пять пальцевъ въ дымящееся блюдо съ пловомъ.

Григорій Ивановичъ, замѣтивъ это движеніе, хихикнулъ.

Молодой сынъ хозяйскій выходилъ зачѣмъ то изъ сакли, вернулся и кивнулъ отцу. Онъ шепталъ что-то, видимо, озабоченный.

— Пустяки... уговори! Я хорошо заплачу! — произнесъ Ибрагимъ-бай.—Она всегда съ капризами... Избалована очень!

— Послушай, Ибрагимъ,—началъ болтливый эскулапъ,—безъ дамъ скучно!.. Отчего вы женъ своихъ прячете? Какъ не стыдно!

Пожалъ плечами хозяинъ.

— Обычай старины и законъ такой... Да и лучше... Онѣ у насъ простыя, не разговорчивыя съ гостями, необразованныя... Не то что ваши!

— Ревнивы вы очень, азіаты... Боитесь!—засмѣялся докторъ.

— Кирепче будытъ!—нарушилъ, наконецъ, молчаніе одинъ изъ туземныхъ гостей, Шарофей-бай, купецъ, бывавшій въ Оренбургѣ и даже въ Нижнемъ и понимавшій немного по-русски.

— Теперь ежели въ Петербургѣ у насъ всю эту исторію показать,—замѣтилъ Григорій Ивановичъ,—истинно за театръ сочли бы, большое было бы рвеніе къ посѣщенію, и антрепренеру доходъ. Вы, ваше благородіе, изволили бывать въ Петербургѣ?

Послѣдній вопросъ относился къ капитану Глухареву.

— Не привелось, старина. Въ Казани былъ. Въ Москву даже не попалъ ни разу...

— Весьма сожалительно... Столица первая и жизнь деликатная, особенно въ нашемъ кругу... въ большомъ свѣтѣ!

— Не идетъ!—громко заявилъ о комъ-то хозяйскій сынъ, снова появившійся изъ боковаго дворика.

Ибрагимъ-бай поднялся и пошелъ самъ на выручку, извинившись передъ гостями.

Стало темнѣть, позажигали фонари, картина измѣнилась. Прислуга суетливо убирала разстроенныя блюда и замѣняла новыми.

Ибрагимъ-бай вернулся и сѣлъ рядомъ съ Налемъ.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ тотъ, замѣтивъ раньше переговоры отца съ сыномъ.

— Да вотъ...—Ибрагимъ-бай улыбнулся и заговорилъ шепотомъ:—пригласилъ я Гуль-Гуль... Помнишь?

Наль вспыхнулъ до ушей.

— Видишь, и ты, кажется...—продолжалъ хозяинъ, толкнувъ слегка его подъ локоть.—Такъ вотъ, увидѣла тебя Гуль-Гуль и заупрямилась. «Не хочу, говоритъ, передъ всѣми выходить,—ни пѣть не буду, ни танцовать не могу. Пускай самъ ко мнѣ сюда придетъ и попроситъ, тогда, можетъ быть»... Пойди ужь, уломай эту упрямицу!

— Гуль-Гуль здѣсь!—чуть не крикнулъ Сергѣй Николаевичъ.

— Погоди, не время, да и не ловко. Ты посиди, а потомъ встань и пройдись въ первый дворъ, гдѣ лошади. Тамъ тебѣ къ ней проводятъ... Хорошо?

— Приду!

— Скажи, чтобъ музыканты начинали! — распорядился Ибрагимъ-бай и отошелъ въ сторону.

Вышла первая пара, загудѣли дикіе инструменты. Всталъ Наль, чтобы промяться немного, и отошелъ къ дверямъ.

— Не пора-ли, Сергѣй Николаевичъ, утомились, чай, съ отвычки?—поднялся было и Григорій Ивановичъ.—Теперь бы въ постельку...

— Ну, нѣтъ, рано... Я хорошо себя чувствую,—такъ хорошо, будто и боленъ не былъ!

— То-то глазки у васъ стали веселые... давно уже такихъ не видалъ!—радостно заговорилъ дядька.—Ну, что-жь, посидимъ. Докторъ не запрещаетъ—значитъ, можно!

А докторъ внимательно разсматривалъ плясуновъ и выбивалъ тактъ по мѣдному блюду.

Вниманіе офицеровъ тоже было занято батчами. Глухаревъ набилъ трубочку и пускалъ кольца дыма въ воздухъ, отказавшись отъ предложеннаго ему кальяна.

— Сюда иди, таксыръ,—незамѣтно подошелъ къ Налю одинъ изъ слугъ,—за мною иди. Тутъ только темно немного, а тамъ свѣтло будетъ. Иди, таксыръ, не бойся!

Пошелъ Наль за своимъ проводникомъ, повернули за уголъ влѣво и очутились въ небольшомъ дворикѣ, выходъ изъ котораго къ гостямъ былъ занавѣшенъ ковромъ. Здѣсь сидѣли батчи, доканчивая свой туалетъ, готовясь къ выходу.

— Тамъ она сидитъ!—указывалъ слуга въ темный уголъ подъ навѣсомъ и скрылся.

Не успѣлъ сдѣлать Наль нѣсколькихъ шаговъ по указанному направленію, какъ навстрѣчу къ нему стремительно бросилась закутанная фигура. Это была Гуль-Гуль.

Она тяжело дышала, крѣпко стиснула руку офицера, приложила эту руку къ своему лицу и проговорили:

— Какой ты злой, какой недобрый!.. Какъ я, бѣдная, измучилась!

— Что съ тобою, моя козочка?—ласково отнесся къ ней Сергѣй Николаевичъ.—Что съ тобою?

— Козочка твоя, еще немного бы, чуть-чуть, самую малость—и сдохла бы, а ты и не зналъ бы ничего, и не догадался бы... У, нехорошій!

Оба они очутились наединѣ, въ крохотной боковой саклѣ, гдѣ горѣла сальная свѣча въ подсвѣчникѣ-гвоздѣ, воткнутомъ между плитъ пола.

— Мнѣ никто не говорилъ ничего... Ты больна была?

— Ты былъ боленъ, не я... Я мучилась, я сильно мучилась: и спать не могла, и кушать не хотѣла... Я спрашивала всѣхъ о тебѣ, рвалась къ тебѣ... Всѣ вы злые—не пускали... тюра докторъ не пускалъ, комендантъ не пускалъ, сарбазы смѣялись и дорогу ружьями загораживали. Казиміръ приставалъ—я его ударила; онъ меня ударить хотѣлъ—я ножъ показала. Сарбазъ меня связать хотѣлъ,—старый капитанъ, что тамъ сидитъ, трубку свою куритъ, заступился, не велѣлъ обижать бѣдную Гуль-Гуль... а ты и не зналъ ничего!

«Да вѣдь это любовь,—пылкая любовь Востока, дикая необузданная любовь!» пробѣжало въ головѣ Наля.

И, самъ не замѣчая того, крѣпко обнялъ Гуль-Гуль и поцѣловалъ ее въ глаза, влажные отъ слезъ...

— Люблю я тебя такъ, какъ и не умѣла любить прежде...

Только о тебѣ и думаю, хорошій мой, ненаглядный,—продолжала безъ умолка лепетать дѣвушка. — Помнишь тогда, я узнала, что тебя схватили... О, какъ я боялась! Я съ ножемъ кинулась тебя отнимать, я вѣдь видѣла, что ты за мною пошелъ, я близко была... А тотъ смѣется и говоритъ: «не бойся»...

— Кто—тотъ?

— А... это ничего, это я такъ сказала... Меня тогда увели и заперли, а я ушла. Они, глупые, думаютъ, что Гуль-Гуль можно силою заставить... Ахъ, какъ я рада, какъ рада была, что ты вернулся!.. Потомъ, говорятъ, боленъ, умираетъ... Не пускали, не пускали, подлые!.. Что же ты плачешь? Соколъ мой, царь мой, что же ты плачешь? Тебѣ жалко бѣдную Гуль-Гуль... жалко?

И Наль дѣйствительно заплакалъ. Его тронулъ этотъ искренній, порывистый лепетъ: нервы были еще слабы.

— Вѣдь и я тебя люблю, давно люблю!—проговорилъ онъ, и самъ не зналъ, какъ эти слова вырвались изъ его сердца на волю.

— Какая я теперь счастливая!

Гуль-Гуль отшатнулась, не выпуская рукъ Наля, и въ этомъ полумракѣ всматривалась въ его черты.

— Красавецъ мой!—чуть не вскрикнула она и ринулась къ его ногамъ.

Она опустила свою головку на плиты пола, силою взяла ногу Наля и поставила себѣ на шею.

— Раздави!.. Вся въ твоей власти!

— Дитя мое дорогое, радость моя, голубушка!

— Какъ, какъ ты сказалъ?.. А скажи, какъ порусски будетъ это, скажи... Ибрагимъ-бай говоритъ: «Иди, пой, пляши»... Не хочу плясать имъ, не хочу пѣть. Только для тебя одного: велишь—и буду... Царь мой, знаешь, скажи: «Гуль-Гуль, перерѣжь себѣ горло»... Видишь?

Она схватила ножъ съ подноса, наполненнаго до краевъ дынными ломтями, и съ выразительнымъ жестомъ поднесла его къ горлу. Наль стремительно схватилъ ее за руку.

Лицо Гуль-Гуль было блѣдно. На немъ теперь было выраженіе какого-то изступленія.

— Вели!—проговорила она глухо и хрипло.—И какъ я буду счастлива!

— Да успокойся, жизнь моя, успокойся!

— Какъ ты сказалъ? Жизнь? Да, жизнь... и ты моя жизнь теперь...

— Ибрагимъ-бай просилъ меня...—началъ Сергѣй Николаевичъ, вспомнивъ цѣль своей миссіи.

— Только для тебя буду... Велишь?

Она хлопнула въ ладоши и потребовала огня, зеркало и ящикъ съ нарядами.

— Сейчасъ одѣваться буду, сейчасъ выйду къ нимъ. Только это все для тебя, для одного тебя... Каждое слово пѣсни моей — тебѣ, никому другому. А ты смотри на меня, жги глазами, и я на тебя буду смотрѣть и пѣть... О, Аллахъ, Аллахъ!.. Тебѣ не хорошо?.. Что съ тобою?.. Погоди, сейчасъ!

Она помочила конецъ кушака въ водѣ и стала вытирать имъ виски Сергѣя Николаевича, а тотъ, дѣйствительно, почувствовалъ себя дурно, голова закружилась, въ глазахъ позеленѣло, и онъ безпомощно опустилъ голову на колѣна танцовщицы.

— Такъ бы и замерла на всю жизнь,—прошептала она,— такъ бы и не выпустила!

Легкій припадокъ прошелъ быстро. Наль, однако, съ трудомъ всталъ на ноги и сдѣлалъ шагъ къ двери.

— Еще разъ поцѣлуй... Я сейчасъ, я сейчасъ выйду... Скажи Ибрагимъ-баю, чтобы не безпокоился, — не пропадутъ его деньги... Вотъ онѣ, вотъ! Не надо мнѣ, берите вы... Гуль-Гуль теперь не для васъ танцовать будетъ!

Она кинулась къ шкатулкѣ съ уборами, выхватила оттуда нѣсколько золотыхъ монетъ и швырнула ихъ во дворъ батчамъ и машкарабазамъ. Тѣ рванулись со своихъ мѣстъ подбирать брошенное.

— О-о-о! Якши, Гуль-Гуль, якши!.. Ханъ якши, Гуль-Гуль!—послышались радостные голоса.

Двое мальчишекъ успѣли разодраться изъ-за находки.

— Ну, теперь иди!—сказала рѣшительно Гуль-Гуль.—Иди!

— Батюшки, Сергѣй Николаевичъ, да гдѣ же вы? — послышался голосъ Григорія Ивановича.

— Здѣсь, иду!—отозвался Наль.—А ты думалъ, что я опять въ плѣнъ попался? Да, въ плѣнъ, только въ иной...

— Господа безпокоятся, пожалуйте-съ!

Когда они вошли въ общую саклю, томаша уже была въ полномъ разгарѣ, музыканты надрывались просто, колотя въ бубны и литавры, батчи вертѣлись, какъ дьяволята... Бабаджановъ смотрѣлъ, вытаращивъ глаза, Столбушинъ зѣвалъ и потягивался, Глухаревъ набивалъ уже шестую трубочку, а докторъ, обратясь къ Налю и глядя насмѣшливо, проговорилъ:

— Исчезновеніе подозрительное. Всякія волненія еще весьма опасны... Нажалуюсь Ивану Алексѣевичу, а главное, отцу Никанору!

— Да жалуйтесь! — засмѣялся Наль, присоединяясь къ обществу.

Онъ почувствовалъ приливъ необыкновенной веселости и счастливымъ голосомъ крикнулъ хозяину:

— Ибрагимъ-бай! Сейчасъ она войдетъ!

Но въ эту минуту произошло что-то крайне тревожное. Музыканты стихли, батчи куда-то юркнули. Ибрагимъ-бай поднялся съ мѣста и замѣтно поблѣднѣлъ. Гости закопошились, вставая на ноги.

Въ воротахъ показался казакъ-урядникъ.

— Ваше высокоблагородіе, тревога! Комендантъ приказалъ... за городомъ пальба слышна...

— Что, что такое?

— Въ цитадель, въ цитадель!—первый вскочилъ докторъ и бросился къ воротамъ.

— Да не порите горячку,—спокойно произнесъ Глухаревъ, аккуратно упрятывая трубочку въ карманъ шароваръ. — Тревогу не ударили еще—значитъ, время есть. Пошлютъ разузнать, что за пальба, гдѣ, почему. Можетъ, такъ только. Тебѣ что приказалъ комендантъ?—обратился онъ къ казаку.

— Приказали только доложить, что сейчасъ развѣдку пошлютъ, а чтобы господа-офицера, на всякій случай, къ частямъ пожаловали!

— Ну, вотъ видите. Что пороть горячку?

— Конечно, нечего. Мы бы могли отлично продолжать... Сейчасъ должна...—началъ было Наль.—Къ частямъ, такъ къ частямъ!—рѣзко оборвалъ онъ начатое—боевой офицеръ проснулся... — Ну, право, докторъ, точно и боленъ я не былъ... Спасибо, Ибрагимъ-бай. Что дѣлать, служба! Спасибо за угощеніе и ласку... Коня!

Но тутъ онъ покачнулся, его поддержали.

— Не гожусь пока...—пробормоталъ Сергѣй Николаевичъ, безпомощно опершись на плечо Григорія Ивановича.

Его вывели и посадили на лошадь. Не успѣлъ Наль разобрать поводья, какъ почувствовалъ, что кто-то схватилъ его за стремя и поцѣловалъ сапогъ.

Это была Гуль-Гуль.

— Смотри, не забывай!—прошептала она. — Скажи тамъ, вели, чтобы меня пускали!

Когда выбрались на базарную улицу, то дѣйствительно гдѣ-то далеко, очень далеко, снова послышались выстрѣлы.

— Пушки?—обратился докторъ къ капитану Глухареву.

— Какія тамъ пушки... Такъ, мултучки попаливаютъ, пустяки! Гоняются, можетъ, за кѣмъ-нибудь. Не нашего ли Юнуса травятъ?

У воротъ цитадели тихо, безшумно строилась рота. Шолобовъ спокойно отдавалъ приказанія.

— А, вернулись? — обратился онъ къ прибывшимъ.— Жаль, разстроили вашу компанію... Странно, братяги, что вонъ тамъ палили,—теперь не слыхать,—по Чемкентской дорогѣ... Что бы это значило?

— Оттуда бы некому,—пожалъ плечами Глухаревъ.—А впрочемъ, знаешь ли что? Не на почту ли нашу наткнулись? Думаю, что такъ

— И самъ такъ думаю... Эко, темень! Тутъ и десятка шаговъ не сдѣлаешь, все равно, придется ждать до свѣта... Ступай, Сережа, спать, на тебѣ лица нѣту... Что, готово?

— Готово, ваше благородіе!—раздался изъ темноты, гдѣ строилась рота, молодцоватый отвѣтъ фельдфебеля.

— Веди-ка самъ... Усилить караулъ у городскихъ воротъ и почаще обходи по стѣнамъ...

— Самому-то лучше!—встряхнулся Глухаревъ и подошелъ къ фронту.

Тотчасъ же послышалась его хриповатая команда:

— Рота—на-пра-во! Ряды—вздвой!

А Наль, поласкавъ воронаго и сдавъ его пока на руки конюхамъ Ибрагимъ-бая, сталъ подниматься по ступенькамъ къ цитадельнымъ воротамъ.

Григорій Ивановичъ уже забѣжалъ впередъ, зажегъ огонь и приготовилъ постель.

Шолобовъ заглянулъ къ своему другу на минуту, пожелать покойной ночи; но Сергѣю Николаевичу не спалось. Сначала образъ Гуль-Гуль какъ живой стоялъ передъ его глазами. Слѣды поцѣлуевъ словно горѣли, и въ ушахъ беззвучно раздавались слова: милый... соколъ мой, царь мой, моя жизнь, моя радость..

— Радость и ты моя...—прошепталъ Наль.

Старикъ благословилъ своего питомца дрожащею рукою и почтительно поцѣловалъ его въ лобъ.

— Какъ мнѣ хорошо!.. Какъ меня всѣ любятъ!.. Вѣдь это на землѣ все, не на небѣ... значитъ, земное. И въ этомъ земномъ Богъ... Вѣдь все это Его великія творенія... И духъ имъ созданъ, и тѣло... Кого же проклинать — отъ чего отречься?..

Тревожно прислушивался старый пѣстунъ сначала къ нѣжному шепоту засыпающаго, потомъ вглядывался въ чуть замѣтное шевеленіе губъ, силясь понять значеніе и смыслъ этого движенія. Наконецъ, ровное, спокойное дыханіе убѣдило его, что спитъ уже его дорогой, любимый питомецъ. А дядька все еще стоялъ и смотрѣлъ, и слушалъ.

«Слава Господу Богу, слава Тебѣ»!—мысленно произнесъ онъ, наконецъ, — поправилъ зеленый абажуръ на ночникѣ и сталъ самъ укладываться

VI. Почта изъ Россіи.

Еще не разсвѣло, какъ слѣдуетъ, къ воротамъ города подошла давно жданная, желанная почта изъ Россіи. На маленькій казачій конвой, сопровождавшій повозки и вьючныхъ верблюдовъ, дѣйствительно, было сдѣлано нападеніе, но неудачно для нападавшихъ: конвоиры отбились, хотя принуждены были остановиться на пути и состроить вагенбургъ. Глухаревъ выручилъ во время.

Прибытіе почты составляло событіе и положительный праздникъ.

Григорій Иванычъ уже получилъ пакеты на имя своего барина, но не рѣшился будить его

«Пускай, молъ, выспится, послѣ начитается вволю».

Старика озадачивалъ немного одинъ изъ конвертовъ, особенно увѣсистый, съ протертыми отъ дальней дороги углами, со слѣдами сквозной промочки и помѣченный его собственнымъ именемъ.

— Отъ кого бы это?.. Рука словно будто незнакомая, не барынина. Вишь ты, какъ выведено... Широко да твердо! Что жъ, прочтемъ, узнаемъ...

Но старикъ, будто предчувствуя что-то недоброе, нерѣшительно вертѣлъ конвертъ въ рукахъ и сунулъ его въ карманъ, отложивъ чтеніе.

— Эко вы прыткій... Вѣдь вотъ проснулся-таки!—замѣтилъ онъ Сергѣя Николаевича, быстро сходящаго къ повозкамъ, окруженнымъ толпою любопытныхъ.

Наль зябко запахивалъ полы шинели и, прижавшись къ барьеру, пропускалъ казаковъ, тащившихъ къ воротамъ тяжелые чемоданы. Въ палаткѣ маркитанта образовалось нѣчто въ видѣ импровизированной пріемной конторы. Тамъ шла уже сортировка и выдача писемъ и посылокъ. Нетерпѣніе было общее и слишкомъ понятное, чтобы не задерживать дѣла излишними формальностями.

Все населеніе цитадели, проснувшись ранѣе обыкновеннаго, было на ногахъ.

— Знаешь, — говорилъ вполголоса Шолобовъ Глухареву, не спавшему всю ночь, запыленному съ ногъ до головы,—это чудо, что почта проскочила. Это *они* проворонили. Я имѣю скверныя свѣдѣнія... Отдохни, да потолкуемъ!

— Чую и я неладное!—пыхнулъ изъ своей трубочки цѣлымъ облакомъ дыма командиръ третьей роты.—Давно чую, да пока помалкиваю. И что такое въ отрядѣ дѣлается?.. Провалились они, что ли, сквозь землю?.. Сообщенія прерваны, это очевидно... Джигитовъ ловятъ, а вотъ почта прошла... Удивительная случайность!

— Ужъ если мой Юнусъ плошаетъ... — пожалъ плечами Шолобовъ. — Живъ ли онъ еще, бѣдняга?.. Можетъ, какъ и Максимку...

И капитанъ не договорилъ, махнулъ рукою и сталъ подниматься къ воротамъ.

— Поспи, да приходи на верхъ! — крикнулъ онъ своему пріятелю.

— Приду...— снова ушелъ въ облака дыма Глухаревъ.

А Наль уже давно былъ у себя и торопливо рвалъ конверты. Лицо его горѣло отъ волненія и радости, руки дрожали. Онъ опустилъ тяжелый коверъ, закрывавшій входъ, и принялся за чтеніе...

Григорій Ивановичъ вышелъ, чтобы не мѣшать барину, а кстати распорядиться съ утреннимъ чаемъ.

Очевидно, что письма задерживались въ фортѣ, на предпослѣдней, опредѣленной границѣ,—далѣе они не шли, въ ожиданіи «оказіи». Время было очень уже смутное, и затянулось это время на долго. Полгода почти покоились пакеты, и набралось ихъ не мало. И прежде случались эти задержки, но чтобы такія продолжительныя,—это въ первый разъ. При такомъ положеніи вещей, конечно, легко было не понять многаго изъ содержанія писемъ, не расположивъ ихъ предварительно въ хронологическомъ порядкѣ. Сергѣй Николаевичъ поступилъ сначала такимъ именно образомъ,—нетерпѣливо заглядывая то въ одно, то въ другое, невольно пробѣгая глазами отрывочныя фразы. Волненіе овладѣвало имъ все сильнѣе и сильнѣе. Выраженіе радости смѣнялось другимъ, тревожнымъ, недоумѣвающимъ. Онъ даже особенно внимательно сталъ читать одно изъ писемъ, потомъ бросилъ и провелъ рукою по лицу, словно снимая съ него невидимую паутину.

— Никакъ плачутъ! — послышалось было Григорію Ивановичу.

И старикъ рванулся въ двери.

Наль однако не плакалъ. Это просто легкій стонъ словно невольно вырвался изъ его груди. Онъ справился съ собою и читалъ теперь внимательно, сосредоточенно и не обратилъ вниманія на стараго дядьку.

— Маменька... Агнеса Яковлевна... ихъ превосходительство... живы ли, здоровы ли?— заговорилъ пѣстунъ, замѣтивъ недоброе выраженіе читавшаго.

— Здорова! — сухо проговорилъ Сергѣй Николаевичъ и сдѣлалъ нетерпѣливый жестъ.

. . . . . .

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Петербургъ, ноября 17, 18...

«О, если бы ты зналъ, дорогой мой, горячо любимый Сережа, съ какимъ тяжелымъ чувствомъ я берусь за перо! Мысли путаются, слова не вяжутся. Мнѣ кажется, что легче бы все это сказать тебѣ лично, мой ангелъ... Но ты такъ далеко, такъ далеко... Господи!.. За что ты посылаешь мнѣ это испытаніе!

«Съ нами случилось большое несчастье... то-есть, нѣтъ, это ничего... Это я могла бы легко перенести... «Но...»

Сергѣй Николаевичъ силился разобрать, что такое было зачеркнуто послѣ этого «но», а зачеркнута была почти цѣлая строка.

«Мы разорены... мы потеряли почти все. Судъ былъ безпощаденъ... и мы съ тобою почти нищіе. Прости меня, прости, мой кроткій, мой горячо любимый мальчикъ. Я не знаю, кто виноватъ: я ли, нераспорядительность ли твоего отца, Николая Сергѣевича?.. О, нѣтъ! Я никого не хочу винить, но поправить дѣло уже невозможно. Все, что мнѣ осталось по приговору суда, такъ немного — все это, конечно, принадлежитъ только тебѣ одному. Я пріучила тебя къ роскоши, къ полному довольству. Перенесешь ли ты эту перемѣну, такую рѣзкую и несправедливую?

«Ты знаешь, что завѣщаніе моего покойнаго мужа было составлено все въ твою пользу; но потомъ случилось что-то странное. Нашлись другіе наслѣдники... дѣти брата твоего папа — помнишь дядю Петра, о которомъ говорили, что онъ промоталъ все свое состояніе въ Парижѣ и умеръ въ нищетѣ. Вотъ его дѣтямъ, какъ племянникамъ Николая Сергѣевича, и перешло все состояніе наше. Они — законные наслѣдники оказались, а ты нѣтъ...

«Мнѣ говорило сердце, всегда говорило, что между матерью и сыномъ не должно быть никакихъ тайнъ... О, какъ было бы хорошо, если бы я послушалась во время голоса сердца! Мнѣ не пришлось бы теперь, когда уже настали печальныя, роковыя послѣдствія,—словно по необходимости начать свое покаяніе. Тѣмъ болѣе, что это покаяніе не разъяснитъ тебѣ ничего, то-есть, не разъяснитъ самаго главнаго.

«Ты словно стоишь передо мною въ эти минуту, и я смотрю

тебѣ прямо въ глаза и говорю. Слушай... ради Бога только не смотри такъ холодно, такъ строго! Вѣдь мама твоя страдаетъ, жестоко страдаетъ... А ты всегда былъ такой добрый, ласковый, кроткій. Ты уже существовалъ на свѣтѣ, когда Николай Сергѣевичъ на мнѣ женился. Маленькій крошка-ребенокъ, но ты уже *былъ*... Не вырывай же у меня этого послѣдняго слова. Ты понялъ, ты догадался?.. И вотъ тѣ племянники, — тѣ законные наслѣдники, а ты—нѣтъ. Ты только по имени Сергѣй Николаевичъ Рубанъ-Опальный — и больше ничего, больше у тебя никакихъ правъ нѣтъ. Такъ рѣшилъ судъ, и рѣшилъ безповоротно.

«О, какъ бы я хотѣла видѣть тебя въ эту минуту и слышать, что ты меня прощаешь! Помни, что въ этомъ прощеніи моя жизнь.

«Я кончила... Я больше не могу писать. О, зачѣмъ ты такъ далеко, зачѣмъ не со мною!

«Люблю тебя какъ... да развѣ мыслимо какое-нибудь сравненіе съ этой любовью. Твоя мама».

«Пиши скорѣе... Пытки на колесѣ—легче ожиданія твоего отвѣта».

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Петербургъ, декабря 20.

«Не знаю, откуда у меня берутся силы, чтобы выносить всю эту пытку. Я, кажется, создана изъ желѣза. Сколько униженій и незаслуженныхъ оскорбленій вынесла я отъ этихъ низкихъ людей! Впрочемъ, они не виноваты... Ради Бога, не подумай, что я на нихъ тебѣ жалуюсь. Я даже рада, что тебя не было въ это время. Ты, по крайней мѣрѣ, не испыталъ того, чего не перенесъ бы, особенно съ твоимъ пылкимъ характеромъ. Какъ я благодарна Алексѣю Васильевичу за его заботы обо мнѣ и хлопоты! Ты помнишь его?.. Вѣдь онъ тебя всегда такъ любилъ и баловалъ. Это очень, очень хорошій, честный и добрый человѣкъ. Онъ даже во многомъ напоминаетъ твоего покойнаго папа. Если бы не онъ, я бы, право, не знала, что дѣлать. Напиши ему и поблагодари — это его очень тронетъ... Непремѣнно напиши.

«Слава Богу, все почти кончилось. Какъ тяжело было мнѣ оставлять нашъ милый домъ на Сергіевской... Я плакала, какъ

*

ребенокъ, прощаясь со всѣмъ его уголками. Вездѣ я видѣла твой образъ—то милымъ крошкою, бѣгающимъ по голубой залѣ, то уже въ красивомъ мундирѣ пажа... Какой ты былъ стройный, граціозный!.. Со мною сдѣлалась однако истерика въ спальнѣ, помнишь, гдѣ стояла твоя кроватка. Я взяла всю твою мебель къ себѣ, и письменный столъ папа, и его большое кресло. Мнѣ больше ничего не нужно. Алексѣй Васильевичъ высчитываетъ все мою седьмую часть. Богъ съ нею, съ этой подачкой!

Я все распродаю лишнее и переѣхала на маленькую квартирку. Очень уютно: двѣ комнаты, довольно порядочныя, моя спальня, и совсѣмъ особо,—даже ходъ отдѣльный,—красивая комната съ двумя свѣтлыми окнами, для тебя, если ты пріѣдешь. Создатель Мой, Милосердный Боже, пошли Ты мнѣ это счастье!

«Я просила Алексѣя Васильевича устроить такъ, чтобъ изъ моихъ денегъ выслать тебѣ тысячу рублей. Онъ обѣщалъ... Какой онъ внимательный и преданный. Меня эта преданность очень утѣшаетъ. Если бы ты зналъ, какъ люди мерзки! Всѣ прежніе друзья отъ насъ отвернулись. Даже княжна Зина съ своею маменькою перестали у меня бывать. Положимъ, это болѣе смѣшно, чѣмъ грустно,—но это гадко, ужасно гадко!.. Онѣ посѣщали меня чуть не каждый день. Зина даже ошибалась какъ-то странно, — все увѣряла меня, что любитъ, какъ свою мать, даже будто больше, и потому привыкла называть меня «maman». Скажу тебѣ откровенно, что это мнѣ даже нравилось. Дѣвушка казалась такою доброю, воспитанною, съ чуднымъ сердцемъ. Мало-ли что могло случиться... А мнѣ она была по душѣ. Да и ты, кажется, былъ къ ней не особенно равнодушенъ. Послѣ того, какъ *это* случилось, онѣ обѣ будто ножомъ отрѣзали, — да безтактно такъ, — разомъ. Вчера я получила отъ княгини письмо, гдѣ она увѣдомляетъ, что ея дочь помолвлена, и проситъ написать тебѣ, чтобы ты возвратилъ ей медальонъ съ портретомъ Зины, который она подарила тебѣ передъ отъѣздомъ. Что еще глупѣе и оскорбительнѣе — это предложеніе заплатить его стоимость. Фи, какая мерзость!.. Если онъ у тебя сохранился,—пришли. Я уже буду знать, какъ поступить. Алексѣй Васильевичъ обѣщаетъ, что недѣли черезъ двѣ всѣ дѣла мои устроятся и опредѣлятся точною цифрою,—небольшою, но онъ увѣряетъ, что прожить будетъ можно. Онъ просилъ крѣпко поцѣловать тебя, что я мысленно болѣе чѣмъ

охотно исполняю. Горячо обнимаю тебя, моя радость, мое счастье!.. Ради Неба, сжалься надъ своею бѣдною мамою—отпросись и пріѣзжай. Алексѣй Васильевичъ говоритъ, что тебѣ нельзя совсѣмъ бросать службу, особенно при настоящихъ, измѣнившихся обстоятельствахъ. Но вѣдь можно взять отпускъ. Наконецъ, если и служить, то хотя бы поближе. Радость моя, до свиданья!..

«О, увижу ли я тебя, моего свѣтлаго ангела?!

Твоя бѣдная страдалица, мама».

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

С.-Петербургъ, 10 января.

«Съ Новымъ Годомъ, мой нѣжный другъ, мое сокровище, мой ангелъ!.. Съ началомъ этого новаго года совпадаетъ и наше *новое* положеніе. Дай Богъ, чтобы оно было счастливо для тебя — для меня... мнѣ все равно. Я могу быть счастлива только твоимъ счастьемъ.

«Какъ грустно встрѣтила я канунъ Новаго Года!.. Одна—только съ мыслью о тебѣ. Часамъ къ двѣнадцати заѣхалъ Алексѣй Васильевичъ и просидѣлъ до часу. Это меня очень тронуло.

«Я изложила ему свой планъ на весну, когда установятся дороги. Мнѣ хочется предпринять путешествіе—и знаешь куда?.. Къ тебѣ... Да, къ тебѣ. Эта мысль занимаетъ меня непрерывно. Алексѣй Васильевичъ ничего не возражалъ, но кажется, что онъ считаетъ это положительно неосуществимымъ. Онъ мнѣ говорилъ такіе ужасы, такъ мрачно описывалъ весь безконечно-длинный, по его мнѣнію, путь, что у меня сердце болѣло за тебя. «Во всякомъ случаѣ, безъ себя я васъ не отпущу», заключилъ свое описаніе Алексѣй Васильевичъ. Какой онъ добрый и заботливый, и какъ горячо любилъ онъ моего покойнаго Nicolas! Я ему подарила нашу группу, помнишь: я съ папою въ шарабанѣ и ты рядомъ, на попи. Алексѣй Васильевичъ горячо поцѣловалъ мою руку, и я замѣтила, какъ въ его глазахъ заблестѣли слезы.

«Опять маленькая непріятность: оказалось, что я не имѣла права распорядиться даже тѣми десятью тысячами, которыя я тебѣ выслала полгода тому назадъ. Тогда, я помню, упра-

вляющій тамбовскими имѣніями опоздалъ высылкою денегъ, и я запродала здѣсь часть лѣса, получила задатокъ и послала тебѣ. Теперь говорятъ, что я не имѣла права распоряжаться продажею; сдѣлка эта не состоялась, и я должна возвратить задатокъ и еще уплатить неустойку, что то очень много.

«Алексѣя Васильевича это очень сильно озабочиваетъ. Меня, конечно, тоже... Ахъ, какъ мнѣ трудно справляться съ дѣлами!

«Зина, представь себѣ, оказалась вовсе не помолвлена: это все вздоръ, это просто былъ приличный предлогъ порвать съ нами всѣ сношенія... О, какъ это низко! Будто мы съ тобою ее ловили... фи!.. Сохранился-ли у тебя ея гадкій медальонъ? Пришли непремѣнно.

«Вчера я ѣздила къ М. попросить, нельзя-ли тебя перевести въ Петербургъ, въ одинъ изъ гвардейскихъ полковъ... Ну, не сердись, ради Бога, что я сама вздумала распоряжаться за тебя твоею судьбою. Вѣдь тутъ ничего не было рѣшительнаго, просто попытка. Я хотѣла заручиться возможностью и потомъ уже предложить тебѣ этотъ переводъ. Вѣдь ты понимаешь мои чувства, это вѣдь такъ естественно.

«Увы, меня приняли очень, даже очень холодно и отвѣтили полнымъ отказомъ. Это тотъ самый М., который былъ на ты съ Nicolas и вѣчно пачкалъ мои перчатки своими накрашенными усами.

«Сегодня я ѣду съ Алексѣемъ Васильевичемъ въ оперу. Я не хотѣла нигдѣ показаться, но онъ уговорилъ меня, увѣряя, что мнѣ надо хотя немного развлечься. Мы будемъ въ закрытомъ бенуарѣ. Мнѣ, право, теперь не до оперы—такъ не хочется. Просто не хочу огорчить отказомъ добраго Алексѣя Васильевича.

«Крѣпко цѣлую тебя, моего неоцѣненнаго, горячо любимаго.

Твоя мама».

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Петербургъ, января 11.

«Едва только успѣла отправить на почту вчерашнее письмо къ тебѣ, какъ, наконецъ-то, получила отъ тебя. О, какая это радость, какое невыразимое счастье! Мнѣ сдѣлалось дурно, письмо выпало изъ рукъ, я не скоро оправилась... Благодарю тебя, благодарю, мой милый, дорогой мальчикъ!

«Я читала, какъ въ лихорадкѣ, и плакала, не могла удержать слезъ. Ты пишешь, что здоровъ, доволенъ, счастливъ, всѣ тебя любятъ, и ты любишь всѣхъ, — а я плачу!.. Вотъ уже который разъ я прочитываю твое, увы! не длинное, письмо, и каждый разъ нахожу что-то новое и новое. Я читаю его по строкамъ, и между ними, вдумываюсь въ каждое слово, въ каждую букву. Божество ты мое, единственное мое счастье!..

«Ради Бога, береги себя. Ты описываешь свою боевую жизнь, ты пишешь такъ легко обо всемъ, такимъ спокойнымъ, даже радостнымъ тономъ. Ты хорошо маскируешь обратную сторону боевыхъ лишеній и опасностей, но мое воображеніе пополняетъ твой разсказъ и живыми красками рисуетъ именно эту обратную сторону... О, какъ наполняется сердце мое страхомъ за тебя, какая глубокая тоска закрадывается въ мою душу! Ты пишешь о своихъ друзьяхъ, и какъ пишешь! Знаешь, если бы я встрѣтила твоего Шолобова, я бы... я бы просто упала передъ нимъ на колѣни и расцѣловала бы его руки... И опять, и опять это гадкое чувство ненависти и недовѣрія къ людямъ... Вѣдь и эти всѣ, что здѣсь насъ окружали, тоже казались такими хорошими, пока... А что, если?.. Нѣтъ, у меня на лбу холодный потъ выступаетъ при одной только мысли, что тебѣ придется *тамъ* пережить всѣ разочарованія, испытанныя *здѣсь* мною... Кланяйся Григорію Ивановичу и скажи, что я горячо, сердцемъ цѣню его преданность, что я давно уже не считаю его наемнымъ слугою, а другомъ, привязаннымъ къ тебѣ искренно и безкорыстно... Увы, кажется, что именно этому безкорыстью грозитъ небольшое испытаніе!.. Скажи ему все откровенно... Вѣдь теперь платить ему такое большое жалованье будетъ болѣе, чѣмъ трудно. Я получила и его письмо; не знаю, извѣстно ли тебѣ содержаніе этого посланія. Онъ, кстати, посылаетъ мнѣ полный, даже черезчуръ подробный отчетъ въ израсходованіи денегъ. У него вѣдь все твое на рукахъ. Между нами будь сказано, отчетъ слишкомъ уже точенъ, до дробей копѣекъ. Это не особенно утѣшительный признакъ. Я помню, покойный Nicolas смѣялся всегда надъ такими отчетами и говорилъ по поводу особенной аккуратности: «Кажется, пора будетъ смѣнить»...

«Онъ добрый и честный человѣкъ, къ тому же старикъ,

къ тебѣ привязанъ съ дѣтства, и за него я все-таки вполнѣ увѣрена. Скажи ему отъ меня большое спасибо.

«Звонятъ... Это вѣрно Алексѣй Васильевичъ!

«Прости, я немного прервала свое письмо. Дѣйствительно, приходилъ мой добрый другъ и покровитель. Твое письмо мы снова перечитывали вмѣстѣ. Онъ мнѣ многое разъяснялъ и пополнялъ. Онъ только-что изъ штаба и пріѣхалъ ко мнѣ именно по поводу тебя... Ахъ, ты мой скромникъ и потому, поневолѣ, лгунишка! Что же ты мнѣ ничего не пишешь о своихъ собственныхъ подвигахъ? Алексѣй Васильевичъ говоритъ про тебя чудеса. Тамъ, въ штабѣ, уже получены донесенія, очень подробныя даже, и о тебѣ есть. Ты вынесъ раненаго изъ боя, изъ рукъ враговъ его вырвалъ просто... Ты герой... О, Господи, зачѣмъ Ты въ боевой славѣ сыновей столько страха и горя посылаешь ихъ матерямъ!

«Тебѣ даютъ Георгіевскій крестъ. Эту радость сообщилъ мнѣ все тотъ же Алексѣй Васильевичъ.

«Знаешь, я замѣтила, какъ мѣняется выраженіе его умнаго лица, когда ему приходится сообщать мнѣ что-нибудь горькое или радостное. Послѣднюю новость онъ мнѣ сообщилъ, просто сіяя. Кажется, о сынѣ родномъ нельзя было бы говорить съ большею гордостью, съ большимъ счастьемъ. Онъ со мною опять разсматривалъ карту Азіи. На картѣ все это такъ близко, даже болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, но онъ называлъ мнѣ эти разстоянія въ миляхъ. И зачѣмъ это вы такъ далеко забираетесь къ югу?

«Послушай, дорогой мой, добрый не сердись... Вотъ ты уже отличился—и какъ! Ты—признанный герой... не довольно ли? Я не принуждаю тебя, я ничего не говорю, я, право, такъ только. О, какое бы это было для меня счастье!..

«Сегодня мы съ Алексѣемъ Васильевичемъ ѣдемъ черезъ Неву. Пойдемъ прогуляться пѣшкомъ по набережной, — мнѣ докторъ велѣлъ ежедневно гулять, несмотря ни на какую погоду,— а тамъ, по мостамъ, черезъ Неву, къ часовнѣ. Алексѣй Васильевичъ, съ тѣхъ поръ какъ овдовѣлъ... Ахъ, да, я тебѣ еще не сообщала объ этомъ... Впрочемъ, *тогда* это тебя не могло особенно интересовать... Помнишь, онъ былъ женатъ на мильонершѣ Тряпушиной... такая полная была дама. Она скончалась годъ тому назадъ, завѣщавъ мужу все свое громадное

состояніе. У него тоже былъ процессъ по поводу этого завѣщанія, но Алексѣй Васильевичъ выигралъ дѣло. Все это тоже не могло не повліять на его здоровье, и вотъ ему, какъ и мнѣ, доктора посовѣтовали ежедневныя прогулки. Онъ получилъ очень важное повышеніе по службѣ,—времени свободнаго, значитъ, стало гораздо больше,—и онъ гуляетъ со мною.

«Дописываю это письмо... Меня ждутъ... Сами и и отнесемъ его въ почтовый ящикъ.

«До свиданья, мой герой, моя гордость, моя жизнь! Крѣпко-крѣпко — не цѣлуетъ, нѣтъ, — душитъ тебя въ своихъ объятіяхъ твоя

Мама».

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Петербургъ, апрѣля 5.

«Какой громадный промежутокъ! Я такъ хотѣла писать къ тебѣ, сколько разъ бралась за перо и все откладывала. Я это сдѣлала, не посовѣтовавшись съ тобою... Я, право, не знаю, какъ это случилось .. Я была будто въ чаду, да и теперь еще не могу вполнѣ опомниться и овладѣть собою.

«Алексѣй Васильевичъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе, и я была не въ силахъ ему отказать.

«Прости меня и постарайся полюбить его... я не говорю, какъ своего покойнаго папу, моего незабвеннаго Nicolas, но какъ нашего единственнаго и безусловно вѣрнаго друга.

«Какъ-нибудь послѣ я тебѣ подробно и обстоятельно опишу, какъ все это случилось. Пока я и сама еще не могу отдать себѣ полнаго отчета.

«Уже недѣля, какъ помолвка наша оглашена. Это вышло случайно. Мы не хотѣли гласности. Меня, наконецъ, вспомнили и многіе изъ нашихъ прежнихъ знакомыхъ... Боже, какъ они лгали, разыгрывая гнусную комедію своей радости! Я сначала не хотѣла никого принимать, но Алексѣй Васильевичъ убѣдилъ меня, что это необходимо для поддержанія связей.

«М., представь себѣ, заѣзжалъ сегодня самъ и объяснялъ свой, болѣе чѣмъ холодный, пріемъ и отказъ твоимъ тогдашнимъ положеніемъ. Онъ говорилъ, что молодому человѣку безъ средствъ не слѣдовало служить въ гвардіи, что бѣдность поставила бы тебя въ неудобное положеніе относительно товари-

щей, что гораздо лучше было бы тебѣ упрочить свою военную карьеру тамъ, на окраинахъ, что это тебя бы выдвинуло скорѣе впередъ. И вотъ, видишь-ли, онъ и не ошибся въ этомъ. Но что теперь, если я настаиваю на переводѣ въ Петербургъ, такъ онъ готовъ оказать всякое содѣйствіе и охотно обѣщаетъ все устроить.

«Я съ часу-на-часъ жду чего-нибудь подобнаго отъ княгини. Это было бы верхъ всякой наглости! Алексѣй отнимаетъ у меня перо и хочетъ писать къ тебѣ самъ. Охотно и съ удовольствіемъ передаю ему это право мой...»

«Мой дорогой другъ, Сережа.

«Ты меня простишь, что я прямо начинаю со слова *ты*... Я глубоко убѣжденъ, что ты не станешь оспаривать мое право на эту фамильярность.

«Я тебя зналъ еще ребенкомъ и былъ самымъ близкимъ, искренно преданнымъ другомъ твоего отца. Теперь я женюсь на твоей матери, на этой святой женщинѣ, которую люблю всею силою моей души. Она мнѣ даетъ полное и свѣтлое счастье, и повѣрь, что ты найдешь во мнѣ истинно любящаго тебя отца и *друга*. Я особенно подчеркиваю слово *другъ*, ибо прошу тебя относиться ко мнѣ именно въ этомъ духѣ. Не люблю много говорить, да, признаться, и не умѣю, но зато, если что скажу, такъ это уже вѣрно, какъ топоромъ вырублено, и ничто въ свѣтѣ не изгладитъ, не измѣнитъ разъ сказаннаго.

Крѣпко тебя обнимаю и цѣлую

Твой другъ Алексѣй Казарскій».

Это было послѣднее письмо.

Во время чтенія Григорій Ивановичъ раза два заглядывалъ въ комнату, приподнимая полу ковра, но видя Наля, погруженнаго въ чтеніе, не рѣшался его прерывать.

Онъ уже успѣлъ прочесть свое и былъ въ особенно мрачномъ настроеніи.

«Такъ... такъ я предполагалъ...» думалъ старикъ, сидя за своею ширмою.—«Вотъ оно какъ бываетъ въ свѣтѣ! Сегодня ты наверху, но не гордись, ибо — кто знаетъ? — Завтра, быть-можетъ, предназначено тебѣ отъ Господа быть внизу... Такъ-съ... Оно, конечно, если разсудить обстоятельно, Агнеса

Яковлевна женщина достойная, хотя бы и не нашего вѣроисповѣданія, однако все-таки и законныхъ племянниковъ обижать не слѣдуетъ—не порядокъ! Пожили, попользовались, ну, и будетъ... Господь тоже знаетъ, что кому послать надо, что у кого отнять, и противъ сего Великаго Предопредѣленія—кому какой положенъ предѣлъ — идти не возможно да и не подобаетъ по христіанству. Болитъ душа по Сергѣю Николаевичу, шибко болитъ, а ничего не подѣлаешь! Теперь вотъ Игнатій Викулычъ пишетъ: «Принимай, молъ, Григорій мѣры, побереги свою старость; накопилъ достаточно — укрѣпи и не растрать». Оно точно, что сберечь надо, потому больше здѣсь разсчитывать нечего. Такъ оно съ одной стороны вѣрно выходитъ, съ другой только... Что-жь съ другой? Служилъ я долго, служилъ вѣрою и правдою, до глубокой старости прослужилъ,—ну, и довольно. На государственной службѣ и то почетная отставка выходитъ, да еще съ пенсіономъ, съ полнымъ подъ старость обезпеченіемъ. А ужъ тутъ что! Тутъ теперь, истинно, только свое сберечь, накопленное, а уже пенсіонъ и все прочее—тю-тю!

«Жаль, истинно жаль Сергѣя Николаевича, а ничего не подѣлаешь! Только сказать-то какъ? — Языкъ вѣдь не повернется.. Можетъ, сами начнутъ. Сами понимаютъ дѣло... Эхъ, кабы сами первые заговорили бы!

«Скажутъ: «Ну, другъ, Григорій Ивановичъ, какъ теперь? Положеніе мое финансовое измѣнилось, держать больше, извините, не могу...» А я бы: — «Помилуйте, баринъ, развѣ мы изъ корысти. Всею душою, молъ, проживемъ какъ-нибудь и на черствомъ хлѣбѣ!» А они: — «Нѣтъ, Григорій Ивановичъ, вы стары, вамъ уже трудно будетъ въ нуждѣ, да впроголодь». А я: «Да помилуйте же...» А онъ... Такъ бы и сговорились, поплакали бы на разставанье — ну, и того... Эхъ, хорошо бы, если бы сами начали!..

«Крѣпись, Григорій Ивановичъ, крѣпись!.. Чукось!.. Никакъ зовутъ... Нѣтъ, это только такъ, послышалось... Охъ, Господи, Господи! Теперь отсюда скоро и не выберешься! Хорошо еще, что не попусту: есть съ чѣмъ.

Спасибо, Игнатій Викулычъ, за увѣдомленіе. Что-жь, поразмыслимъ, подумаемъ... Да и то правда: что здѣсь за жизнь? Сказано: Азія — дичь! Придетъ смерть, въ некрещеной землѣ сгніютъ твои кости, и никому изъ сродственниковъ не дове-

дется не только придти помолиться на твоей могилѣ, даже обрѣсти оную будетъ невозможно... А уже съ Сергѣемъ Николаевичемъ назадъ въ Петербургъ не попадешь... Имъ теперь, вотъ хоть бы какъ и этимъ его товарищамъ, только тутъ въ Азіатской сторонѣ и служить... Нѣтъ, надо самому убираться, пока ноги носятъ... Во-время, значитъ... Что-жъ, и уйдемъ... Вѣдь, собственно говоря, и самимъ имъ легче будетъ... Даровой службы они отъ меня не примутъ, платить соотвѣтственно моему положенію не могутъ, а обыкновенное денщичье положеніе — мнѣ не по плечу... Тяжело подъ старость шубу на курточку мѣнять—не приходится... Зубы притупились, на мягкое просятся...

«Вѣроятно, сами начнутъ разговоръ. Письма тоже получены, принимаютъ все къ свѣдѣнію... Сидятъ туча-тучею и глазъ съ листовъ не сводятъ...»

— Эхъ, дѣла-дѣла!..

— Григорій Ивановичъ!—раздался голосъ Наля.

Старикъ встрепенулся и, спрятавъ письмо въ боковой карманъ сюртука, поспѣшилъ на зовъ.

— Гдѣ Шолобовъ?

— Не могу этого знать... Заходили было, спрашивали, да узнали, что вы письма получили, читаете, «ну—говорятъ— пускай читаетъ, теперь ему не до насъ», улыбнулись и ушли... Чаю бы выпили... перестоялся. Сейчасъ подамъ!

— Ничего не надо!

Сильное раздраженіе чувствовалось въ голосѣ Сергѣя Николаевича. Старый дядька смотрѣлъ на него пристально, пыталъ его просто своимъ взоромъ. Наль замѣтилъ это.

«Развѣ онъ уже знаетъ?..» мелькнуло у него въ головѣ.— «Онъ, кажется, тоже получилъ письмо... Все-ли только онъ знаетъ?»

— Я очень усталъ, я нездоровъ и дурно спалъ ночь, — проговорилъ онъ.—Я лягу, и позаботьтесь, чтобы меня никто не безпокоилъ!

— Слушаю-съ!

Наль снова скрылся за ковромъ, а Григорій Ивановичъ погрузился снова въ размышленія о суетѣ мірской и, отчаянно махнувъ рукой, проговорилъ:

— Э-эхъ! И посовѣтоваться-то по душѣ не съ кѣмъ, ну, и сторона же!..

VII. Тяжелое раздумье.

Но Сергѣй Николаевичъ не ради сна захотѣлъ остаться въ полномъ уединеніи. Тяжелымъ, давящимъ кошмаромъ легло ему на душу это раздумье. Въ эту минуту для него невыносимо было чье-либо присутствіе.

Будь Шолобовъ тутъ, на лицо,—откровенная натура Наля, пожалуй, не выдержала бы... Слова искреннія, живыя полились бы рѣкою, но испытаннаго друга не было. А въ голосѣ и взглядѣ своего дядьки онъ уже успѣлъ уловить недобрый признакъ, чуткое сердце Наля словно угадало что-то другое, новое, чего никогда не замѣчалось прежде въ этомъ хорошо знакомомъ, изученномъ до мелочей, старческомъ лицѣ Григорія Ивановича.

Да, совершилось нѣчто неожиданное и роковое.

Какъ мать читала между строкъ письма сына, такъ и въ этихъ ея письмахъ между строкъ развертывалось передъ глазами Наля все недосказанное... А это-то недосказанное и было для него роковое и неожиданное.

Онъ не сынъ своего отца... Онъ незаконнорожденный... Онъ уже существовалъ на свѣтѣ, когда его мать выходила замужъ... О, если бы это было увлеченіе, не совсѣмъ во-время исправленное отцомъ!.. А если нѣтъ?.. Но кто же, кто же?!. Увлеченіе!.. Какой же сынъ не обязанъ простить матери подобнаго увлеченія, хотя бы это и имѣло такія тяжелыя послѣдствія, какъ и въ данномъ случаѣ?.. И онъ охотно бы простилъ, охотно, съ любовью и ласкою, поцѣлуями стеръ бы слезы стыда и раскаянія, если бы... если бы такъ часто въ ея письмахъ не появлялось имя Казарскаго, имя, почему-то вдругъ ставшее ему ненавистнымъ.

Съ мельчайшими, безпощадными подробностями возстановлялись передъ нимъ теперь всѣ отношенія Казарскаго къ его матери... Даже при жизни отца... Всякій шагъ, всякое слово, взглядъ, пожатіе руки,—все казалось ему теперь глубоко оскорбительнымъ... Почему?—Наль не могъ себѣ дать никакого отчета.

Даже смерть отца, странная, неожиданная, теперь какъ будто объяснялась—и какъ!.. Господи!.. Да откуда же берутся мысли, эти ужасныя, безчеловѣчныя мысли... Какой дьяволъ навѣваетъ ихъ, нашептываетъ въ уши?!

А дьяволъ этотъ передъ нимъ стоитъ, какъ живой... Наль узнаетъ эту желтоватую отъ дряхлости бороду, эти впалыя щеки, эти нависшія сѣдыя брови и сверкающіе изъ-подъ нихъ проницающіе въ душу глаза-уголья...

— Ты?..

Нѣтъ, это призракъ, бредъ... случайная галлюцинація... Нѣтъ никого... Тишина кругомъ, только неясный гулъ жизни несется изъ-за стѣнъ молчаливой цитадели...

Они разорены... Они потеряли все... Вѣдь это вздоръ! Развѣ такіе пустяки могутъ быть роковыми?

О, съ какимъ счастьемъ, съ какою радостью онъ перенесъ бы всѣ лишенія, какъ бы горячо любилъ свою маму, если бы не эти мысли, не этотъ проклятый, чужой Алексѣй Васильевичъ...

«Любитъ меня, страдаетъ, трауръ не снимаетъ по покойномъ мужѣ — и на каждой строкѣ другое, ненавистное имя!.. И это имя освѣщаетъ, врачуетъ ея *безвыходное* горе... Нѣтъ, горе не искреннее, дѣланное, притворное!

«Любитъ меня?.. Но какая же мать не любитъ своего сына, и въ то же время дрожитъ и млѣетъ отъ ласкъ другого, ничего общаго съ этимъ сыномъ не имѣющаго?.. А можетъ-быть, и есть это общее?..

«Не бѣдность же ее испугала!.. Ну, что же, теперь богатство вернулось снова, удвоенное, утроенное, быть-можетъ... Не думаетъ-ли она, что я приму эту милостыню судьбы... Да скорѣе отсохнутъ у меня руки... И отъ кого же»?..

Сергѣй Николаевичъ сильно сжалъ руками свою голову и застоналъ.

— А вы бы не убивались такъ, не хорошо!—послышался вкрадчивый какъ будто ласковый голосъ Григорія Ивановича.

Наль опомнился.

— Подите сюда... скорѣе!.. Ну, входи же... Садись, слушай и отвѣчай! Да садись же, старикъ!

Старый дядька тревожно окинулъ взоромъ своего питомца, торопливо поставилъ стаканъ съ чаемъ на столъ и присѣлъ на кончикъ стула.

— Не годится такъ убиваться... Ну, что же—воля Божья... что подѣлаешь. Вы бы лучше...

— Ты скажешь правду?.. Вѣдь ты знаешь?.. Ты не со-

лжешь мнѣ?.. Ты добрый, ты меня искренно любишь, не правда-ли?.. Говори же всю правду. Отвѣчай!..

— Да что вы, родной мой... да извольте... развѣ я...

На глазахъ старика заискрились слезинки, онъ потянулся было къ рукѣ Сергѣя Николаевича, но тотъ брезгливо уклонился отъ такого выраженія преданности.

— Ты былъ въ день свадьбы моего отца?.. Ты знаешь все... Долженъ знать по крайней мѣрѣ!

— И до свадьбы служилъ при нихъ, какъ же-съ... У дѣдушки вашего еще въ казачкахъ состоялъ .. Вѣрою и правдою пятидесятилѣтіе прослужилъ—и болѣе того-съ... По нынѣшнимъ временамъ такихъ слугъ не много найдется... Не только что...

— Чей я сынъ?

Наль поставилъ этотъ вопросъ такъ коротко и ясно, лицо его выражало такую потребность въ неотложномъ и прямомъ отвѣтѣ, что Григорій Ивановичъ потупился и тихо проговорилъ:

— Госпожи Агнесы Яковлевны Блэквудъ... Это точно-съ!

— Отецъ мой кто?

— Доподлинно неизвѣстно... Только не Николай Сергѣевичъ... Это вѣрно-съ... Послѣ свадьбы сейчасъ же папенька, то бишь, баринъ, съ вашею маменькою за-границу изволили выѣхать, а мнѣ было приказано сопровождать вслѣдъ за ними госпожу Флюгель съ ребеночкомъ... Это вы и были ребеночекъ тотъ... Догнали мы господъ въ городѣ Берлинѣ... Меня назадъ отправили и наказали молчать... Клятву даже взяли, и молчалъ я, сами знаете... Теперь ужъ, конечно, все едино, потому что какъ изъ письма извѣстно...

— Николай Сергѣевичъ давно былъ знакомъ съ мамою... то-есть, много раньше свадьбы?.. Давно?.. Ну, годъ, два?..

— Никакъ нѣтъ... И о существованіи Агнесы Яковлевны не знали... Госпожа Флюгель говорила это дорогою, будто въ первый день знакомства узнали они о васъ, то-есть, что ребеночекъ есть уже у невѣсты ихней, ранѣе прижитый... Конечно, по своей любви и добротѣ они приняли васъ, все равно, что за сына. . Такъ и всѣ прочіе полагали, даже было полное въ томъ убѣжденіе... А тутъ... Маменька ваша жила въ гувернанткахъ, въ компаньонкахъ, что-ли, у еврея-банкира, фамилію запамятовалъ... Дѣвушка въ бѣдности... Ну, съ кѣмъ грѣха не случается!.. Злые языки говорили, будто папенька вашъ большія

деньги взялъ съ этого еврея за покрытіе... Только это невѣрно... Николай Сергѣевичъ самъ былъ человѣкъ съ большимъ состояніемъ и съ амбиціею. Это не вѣрно-съ... Да что вы, Сергѣй Николаевичъ!.. Да помилуйте!..

— Вонъ!—хрипло прошепталъ Наль, рванулся, будто бы хотѣлъ задушить своего дядьку, покачнулся и, блѣдный, какъ полотно, тяжело опустился въ кресло.

— Такъ-съ! Дождался за свою болѣе чѣмъ пятидесятилѣтнюю службу... дослужился... такъ-съ... Опомнитесь, баринъ, на кого замахнулись, на кого закричать рѣшились...

— Прости, старикъ... и уходи скорѣе... скорѣе... дальше...

— Уйду-съ... И далеко уйду-съ... Навсегда, можетъ-быть, простимся... Что же-съ... Въ жизни все такъ-съ... Нѣтъ памяти на добро, нѣтъ заслугъ... Сегодня ты отецъ родной, завтра— «вонъ!» Покорнѣйше благодаримъ за ласку...

Старикъ поднялся и, ворча что-то подъ носъ, направился въ свое помѣщеніе.

Въ дверяхъ онъ столкнулся съ Шолобовымъ.

Широко шагая, капитанъ размашисто вошелъ въ комнату, готовый сообщить что то, вѣроятно, интересное и важное, и остолбенѣлъ, увидя выраженіе лица Сергѣя Николаевича.

— Сережа, что съ тобою?

Капитанъ подозрительно посмотрѣлъ на лежащія на столѣ письма и повторилъ вопросъ.

— Несчастіе?.. Бѣда?.. Мать больна?.. Умерла?..

— Хуже, — прохрипѣлъ Наль. — Читай... читай все — узнаешь... Какое мученіе!

Съ трудомъ поднялся Сергѣй Николаевичъ съ кресла, перешелъ на кровать и легъ лицомъ къ стѣнѣ.

Этимъ онъ какъ бы хотѣлъ предоставить большую свободу чтенію.

— Посмотримъ! — пробормоталъ Иванъ Алексѣевичъ, но все-таки, прежде чѣмъ приступить къ чтенію, заботливо положилъ руку на голову друга, покачалъ головою, на цыпочкахъ, поддерживая саблю, подошелъ къ столу и взялъ первое, ближайшее письмо.

Настала мертвая тишина, нарушаемая только тяжелымъ усталымъ дыханіемъ чтеца и легкимъ шелестомъ почтовой бумаги.

Прошло около часу... Глаза Шолобова перебѣгали съ писемъ на Сергѣя Николаевича, на его спину, вздрагивающую словно отъ неслышныхъ, внутреннихъ рыданій, и снова жадно впивались въ строки.

— Знаешь-ли, кто я? — послышался совершенно чужой голосъ.

Капитанъ вздрогнулъ и взглянулъ вопросительно.

— Я сынъ жида-банкира и авантюристки англо-саксонскаго происхожденія... Довольно чистокровная помѣсь... Ха-ха!.. Не правда-ли?..

— Опомнись! — въ свою очередь строго и внушительно остановилъ его Иванъ Алексѣевичъ. — О комъ ты говоришь?! Вѣдь потомъ самъ себѣ языкъ готовъ будешь вырвать за это слово... Полоумный!..

Шолобовъ въ эту минуту какъ разъ остановился на томъ мѣстѣ письма, гдѣ говорилось о немъ... Слезы градомъ полились изъ его суровыхъ солдатскихъ глазъ.

— Святая женщина... А ты такія слова!.. Именно полоумный!.. Молчи!

И капитанъ снова принялся за чтеніе.

Но дочитать до конца ему не пришлось. На площадкѣ послышались шаги и голоса. Это докторъ съ Глухаревымъ и прапорщикомъ Столбушинымъ шли сюда, очевидно, въ гости къ Сергѣю Николаевичу. Посѣщеніе это совсѣмъ было не кстати, и Шолобовъ сообразилъ это быстро.

Торопливо сунувъ письма подъ бюваръ, онъ проговорилъ только:

— Погоди, скоро приду... Одумайся пока и успокойся!—и вышелъ навстрѣчу приближавшимся.

— Не ходите... Былъ припадокъ маленькій, какія-то непріятности пишутъ изъ Петербурга... Ничего, прошло теперь, успокоился и заснулъ. Не надо тревожить. Пойдемте-ка на барбетъ посидѣть, кстати посмотримъ, какъ они его исправили!

И вся компанія свернула съ площадки въ узкій проходъ между саклями и стала подниматься по полуразрушенной каменной лѣстницѣ.

Наль остался одинъ, но въ странномъ забытьѣ не замѣтилъ ухода Шолобова: ему казалось, что Шолобовъ все еще сидитъ за письменнымъ столомъ и говоритъ съ нимъ, только

не своимъ голосомъ, а другимъ,—голосомъ того, *Благодатнаго*, голосомъ ровнымъ, увѣреннымъ, приковывающимъ къ себѣ неотразимое вниманіе...

— Жизнь зло, — говорилъ этотъ голосъ, — въ жизни земной нѣтъ утѣшенія, нѣтъ радостей, нѣтъ спокойствія... Земная жизнь—непрерывное терзаніе души, частицы свѣтлаго духа, заключенной въ темницу плоти — достоянія и царства дьявола... Иди за мною, оставь безъ сожалѣнія эту проклятую жизнь, подчини тюрьму ея временному узнику, и тогда узнаешь истинный покой, прозрѣешь, слѣпецъ, и откроются тебѣ величайшія міровыя тайны... Иди за мною... Нѣтъ любви на землѣ, нѣтъ ея между живыми, ее населяющими... Вѣчная злоба, вѣчныя страданія, и сама смерть не освободитъ души, если при жизни ты не побѣдишь плоть во славу великаго духа.

— Нѣтъ любви!—машинально повторилъ Наль и повернулся на голосъ.

Пусто было въ комнатѣ. Онъ одинъ... Гдѣ же тотъ, только что сейчасъ говорившій и смолкнувшій?

— Опять *онъ* .. опять... Что же ты прячешься? Говори, продолжай! Видишь, я слушаю тебя... слушаю... говори же!

Но отвѣта на его призывъ не послѣдовало.

VIII. Дружба, преданность и любовь.

Съ высоты барбета, сквозь тяжелые зубцы стѣнъ, видна была живописная панорама города—съ плоскими крышами, съ цѣлымъ лабиринтомъ узенькихъ улицъ и переулковъ, съ куполами мечетей и бань, съ запыленными группами садовъ. Солнце палило своими почти отвѣсными лучами, и знойная мгла словно пеленою застилала окрестности. Въ городѣ было тихо и безжизненно, только подъ тѣнистыми сводами базаровъ гудѣли голоса, и то какъ-то глухо, дремотно.

— А мы было шли, — началъ Глухаревъ, — дѣло-то того...

— Знаю! — нетерпѣливо перебилъ Шолобовъ. — Придется, пожалуй, отсиживаться. Я имѣю свѣдѣніе отвратительное, изъ рукъ вонъ мерзкое: «тамъ» знаютъ все, что у насъ дѣлается... да какъ знаютъ! Мнѣ Ибрагимъ-бай говорилъ, что будто у насъ зарядовъ и полукомплекта нѣтъ, — это правда, къ несчастію

совершенная правда; а откуда онъ знать можетъ? Онъ другъ вѣрный... Я обѣщалъ всю его семью и скарбъ взять въ цитадель, въ случаѣ чего... но онъ мнѣ говорилъ, что *тамъ* знаютъ это, и что его люди отъ *тѣхъ* узнали... скверно!

— Да что!.. Алемкулка надулъ генерала: онъ тутъ близко стоитъ теперь!—вмѣшался прапорщикъ.

— Перетаскали сухарный запасъ?—обратился комендатъ къ Глухареву.

Тотъ кивнулъ головою.

— Бабаджанъ хорошо понимаетъ по ихнему, — произнесъ онъ вслухъ.—Былъ онъ въ обходѣ, поймали они подозрительнаго человѣка изъ этихъ юродивыхъ. Попытали, говоритъ, немного...

— Ну!

— Да что ну... лапошитъ: «Солнце разъ поднимется, солнце разъ сядетъ, солнце два поднимется, солнце два сядетъ, солнце три... русскіе глаза его поганить не будутъ... закроются».

— Куда его дѣли?

— Бабаджанъ говоритъ: перепытали малость—казаки поусердствовали!

— На базарѣ смутно... Въ домахъ позаперлись... У Ибрагимъ-бая добро на арбы сложено!—заговорилъ Столбушинъ.

— Въ цитадели тѣсно!—словно про себя промолвилъ Шолобовъ.

— Героическія событія, чортъ ихъ побери, въ воздухѣ чуются!— угрюмо пробормоталъ докторъ и безнадежно махнулъ рукою.

— Наль опять задурилъ... Ну, да у него горе не малое!

— Что такое?

— Долго разсказывать... Вотъ порохомъ запахнетъ—очнется, какъ рукою сниметъ... Вы уже его не безпокойте. Сегодня попозднѣе, послѣ зари, соберемся ко мнѣ—совѣтъ устроимъ военный, поголовный; оповѣсти офицеровъ, а къ Сережѣ я самъ зайду. Не въ такихъ передрягахъ бывали... не бѣда!

Сказавъ это, Иванъ Алексѣевичъ оставилъ общество и спустился съ лѣстницы.

Шолобовъ вернулся къ квартирѣ Сергѣя Николаевича. Онъ не дочиталъ письма до конца, но то, что уже зналъ, казалось ему достаточнымъ, чтобъ легко понимать печаль своего друга.

*

Не справляясь — можно-ли, онъ прямо вошелъ въ комнату и засталъ Наля, повидимому, спящимъ; однако, тотъ вздрогнулъ, поднялся и спустилъ на полъ ноги.

— Ну, прямо безъ обиняковъ, безъ возраженій!—началъ Шолобовъ, стараясь придать своему голосу даже нѣсколько веселый характеръ. — Поговоримъ на чистоту! Будешь слушать?

Наль печально улыбнулся и кивнулъ головою.

— Я вѣдь простой человѣкъ и буду говорить просто, за то отъ сердца. Съ кѣмъ грѣха не бываетъ — и это вздоръ. Графъ ты тамъ, князь, маркизъ что-ли, солдатъ простой,— это, братецъ, все равно; главное, быть честнымъ малымъ, вѣрнымъ царю слугой и хорошимъ сыномъ,—это главное. Ты вотъ тамъ сболтнулъ глупость, это не бѣда! Это вѣдь не твое, не отъ души, а такъ, чортъ за языкъ дернулъ—пустое. Былъ богатъ, теперь бѣднякъ, какъ и мы грѣшные... Не унывай... Ты хорошій офицеръ, на виду у всѣхъ, твое все впереди. Молодъ ты еще, ребенокъ почти.—самъ себѣ и дорогу пробьешь, и имя сдѣлаешь... и какое еще имя! Это не то, что родовое, а свое собственное, благопріобрѣтенное... это поважнѣе! По наслѣдству получить всякій дуракъ съумѣетъ, такъ-то. Пройдетъ годикъ-другой, мы устроимся: все это, что мы теперь занимаемъ, съ оружіемъ, да оглядкою, все это будетъ наше, навѣки закрѣпленное, и настанетъ миръ и тишина. Вотъ какъ тамъ, что сзади осталась... Сторона здѣсь богатая, привольная; перетащимъ сюда твою маму, и она будетъ счастлива, и ты съ нею. А ты думаешь однимъ жалованьемъ не проживешь? Тьфу! Да у насъ всѣ тутъ однимъ жалованьемъ живутъ... развѣ худо? Роту получишь, столовыя прибавятъ. Я вотъ однимъ жалованьемъ всю службу прожилъ и даже скопилъ на черный день, ей-Богу, у меня вотъ уже около тысячи рублей есть... Не вѣришь — покажу! Шутка-ли, въ какія-нибудь двадцать лѣтъ службы скопить этакую сумму! Да гдѣ двадцать, я вѣдь прежде все прокучивалъ,—это за послѣднее время. Видишь что, эти деньги мы пошлемъ твоей матушкѣ на дорогу, чтобы сюда съ чѣмъ ѣхать было, понимаешь?.. Ай-ай-ай! Какой же ты еще мальчишка неразумный, да избалованный. Я думалъ, право, что какое ни на есть дѣйствительное горе, а то... Вотъ чудакъ-то, что только значатъ человѣческіе предразсудки!..

Шолобовъ проговорилъ все это торопливо, будто спѣша вы-

сказаться, чтобъ его не успѣли перебить и сбить съ толку, и кончивъ рѣчь, началъ неистово обнимать своего друга.

— Что это—ты плачешь? Ну, хорошо, вотъ хорошо! Валяй! Реви бѣлугой, это значительно облегчаетъ!

Сергѣй Николаевичъ едва освободился отъ дружескихъ объятій; онъ крѣпко сжалъ обѣими руками руки Шолобова и сказалъ твердымъ и спокойнымъ голосомъ:

— Да, я останусь съ вами... Я вовсе не баричъ, какъ вы думали, и не избалованъ, меня бѣдность не пугаетъ нисколько. Я останусь съ вами, но она останется тамъ, ей теперь ѣхать незачѣмъ. Ты вѣдь не дочиталъ конца? Знаешь, я былъ бы безмѣрно счастливъ, если-бъ случилось только первое, то-есть... нѣтъ—только раззореніе. Ты не дочиталъ и не надо... не надо дочитывать. Тамъ есть другое, худшее и непоправимое... Я останусь съ вами...

Иванъ Алексѣевичъ хотѣлъ было спросить: «Да что же это другое»? Но не рѣшился.

— «Не деликатно,—подумалъ онъ,—такъ уже назойливо допытываться тайны, хотя бы и близкаго друга».

— Ахъ, да,—встряхнулся онъ,—сегодня, послѣ зари, военный совѣтъ у меня, приходи!

— Приду!—казалось, совершенно покойно произнесъ Наль и первый протянулъ Шолобову руку на прощаніе.

Тотъ неторопливо вышелъ, крикнувъ еще разъ за ковромъ:

— Такъ приходи же, наши всѣ соберутся! Я и за отцомъ Никаноромъ пошлю!

Наль не отвѣчалъ.

Не успѣли затихнуть шаги капитана, какъ появился Григорій Ивановичъ. Старый дядька вошелъ безъ обычной величавой увѣренности и солидности. Онъ остановился у дверей и проговорилъ:

— Смѣю обезпокоить разговоромъ?

Наль взглянулъ на него изумленный и непривычнымъ для его слуха голосомъ стараго пѣстуна, и этимъ приниженнымъ, робкимъ выраженіемъ лица.

— Что такое?.. Въ чемъ дѣло?

— Пути Господни неисповѣдимы! — началъ было Григорій Ивановичъ,—старательно обдумавшій заранѣ и якобы все предусмотрѣвшій въ своемъ объясненіи.

— Говори прямо!

Старикъ сбился и потерялъ связь рѣчи; отборные, очень умные и неотразимые доводы какъ-то испарились изъ его головы разомъ. Онъ замялся и пробормоталъ только:

— Старъ сталъ... слабъ .. не подъ силу больше!

— Что не подъ силу?.. Служить больше не хотите?

Наль перешелъ на «вы». Имъ вдругъ овладѣло чуство гадливости къ своему, когда-то до гроба преданному слугѣ и другу. Онъ понялъ все, что происходило на душѣ Григорія Ивановича, и коротко отрѣзалъ:

— Я васъ не держу!

— Понимаю-съ,—смиренно наклонилъ голову старикъ, и слезы появились на его рѣсницахъ.—Понимаю-съ... Конечно, можно предположить, что чувство корыстолюбія такъ-сказать, заставляло меня служить и дѣдушкѣ, и папенькѣ вашему, и вамъ — преданно и вѣрно... Напрасно-съ! Но старость, преклонность такъ-сказать, лѣтъ и желаніе быть погребеннымъ на христіанской землѣ — руководитъ мною... Это истинно-съ. Казенная прислуга вамъ по положенію теперь слѣдуетъ, а я уже не гожусь. Дождался на старости отъ васъ окрика грознаго. Можетъ, еще и удара собственноручнаго дождусь, всяко бываетъ... Увольте меня, Сергѣй Николаевичъ. Наконецъ, и средства ваши теперь не позволяютъ!

— Это не ваше дѣло, господинъ Григорій Ивановичъ,— остановилъ его, невольно, словно передразнивая, подлаживаясь къ его тону, Наль.—Но только вы уже болѣе ко мнѣ на глаза не показывайтесь. Слышите?.. Иначе...

И лицо Сергѣя Николаевича вдругъ приняло такое страшное выраженіе, что старикъ отшатнулся, попятился къ дверямъ и разомъ исчезъ за складками тяжелаго ковра.

«Этотъ тоже, должно-быть, конца не знаетъ, свѣдѣнія не полны, значитъ», подумалъ Наль, нѣсколько успокоившись. «Что же, почему же ему лучше быть и этого вліятельнаго М., и княжны Зины съ ея маменькою, и прочихъ?»

И вдругъ ему пришла фантазія вернуть Григорія Ивановича, прочесть ему именно этотъ конецъ, объяснить, что его маменька, а значитъ, и онъ самъ еще богаче, чѣмъ были, и посмотрѣть, какъ перемѣнится выраженіе лица старика, какъ онъ будетъ вывертываться и стараться завладѣть прежнимъ поло-

женіемъ. Но Сергѣй Николаевичъ только подумалъ объ этомъ, и не привелъ своей мысли въ исполненіе.

Разочарованіе въ преданности и любви дядьки было слишкомъ уже полное, новая чаша огорченія выпита до дна.

Этотъ когда-то близкій человѣкъ былъ для него теперь совершенно чужой, безконечно далекій, и даже чувства злобы не осталось въ душѣ Наля,—наступило полное равнодушіе, будто бы обидчика и не существовало вовсе.

Но оборони Богъ человѣка отъ состоянія, подобнаго равнодушія! Оно ужасно своею пустотою и холодомъ. За туманомъ такого состоянія исчезаютъ и другіе, неповинные, когда-то милые образы; исчезаетъ постепенно все свѣтлое и радостное въ жизни, и теперь Налю казался дорогой образъ матери отлетающимъ въ даль, едва замѣтными очертанія уходящимъ въ эту далекую область проклятаго тумана.

— Какъ и все на землѣ, какъ и все носящее плотскую печать злаго духа, все тлѣнное и преходящее! гремѣлъ въ эту минуту, словно надъ самымъ ухомъ знакомый голосъ.

— Дашь-ли ты мнѣ покой? Пощадишь-ли ты меня, Благодатный!—простоналъ Сергѣй Николаевичъ.

И вдругъ имъ овладѣло страстное желаніе видѣть *того*, таинственнаго покровителя въ минуты смертельной опасности, такъ упорно его преслѣдующаго, овладѣвающаго имъ, словно змѣя, неслышно заползающаго къ нему въ глубину сердца.

— Ты здѣсь?

Но какъ ни всматривался Наль, въ комнатѣ никого не было. Ахъ, нѣтъ,—вотъ у постели, плотно прижавшись къ ковру, стоитъ кто-то, съ головою, окутанной тканью; вотъ слегка колыхнугись складки одежды. Въ нагрѣтомъ воздухѣ пахлуло мускусомъ и розою; легкій, серебристый шепестъ, знакомый звукъ женскихъ украшеній, ясно лоснулся его слуха... мгновеніе—и двѣ нѣжныя, гибкія руки охватили его шею.

— Это я, Гуль-Гуль! — страстно прошептали губы танцовщицы.

— Ты?!. Какъ ты попала сюда? Какъ вошла?—почему-то также шепотомъ спросилъ озадаченный Сергѣй Николаевичъ.

— *Онъ* меня привелъ... *онъ* сказалъ мнѣ: иди за мною! И я пошла... *онъ* велѣлъ мнѣ войти—и я здѣсь... *Онъ* сказалъ мнѣ, что придетъ за мною. О, если бы *онъ* не приходилъ

дольше! Если-бъ никогда не приходилъ и оставилъ меня здѣсь вѣчно! Если-бъ и никто не входилъ сюда, какъ въ могилу никто не входитъ... и такъ безъ конца!

— Дитя мое... что же ты плачешь?

— Нѣтъ, я не плачу... Я смѣюсь, я радуюсь... смотри!

И лицо Гуль-Гуль оживилось веселымъ, но беззвучнымъ смѣхомъ, хотя изъ ея глазъ лились неудержимыя слезы.

Обнялъ Наль гибкую, тонкую талію Гуль-Гуль, заглянулъ въ ея глаза—и живая радость любви проникла ему въ душу, смѣнивъ всѣ муки и сомнѣнія недавняго прошлаго. Забылось все, поглощенное минутою счастья и мира.

— Ты моя новая жизнь!—проговорилъ онъ.

— Ты мой Аллахъ! — шептали сквозь поцѣлуи жгучія губы танцовщицы.

. . . . . .

Гуль-Гуль вдругъ похолодѣла, глаза выразили ужасъ, она откинулась назадъ и не проговорила, а скорѣе простонала:

— Пора! За мною пришли... *онъ* пришелъ, пора!. Завтра, когда солнце сядетъ, приходи ко мнѣ,—знаешь? Приходи, или я умру отъ ожиданія... приходи... приходи! А теперь пора,—иду!

Она будто отозвалась на чей-то призывъ, крикнувъ это послѣднее «иду»—и рванулась къ двери.

Странно, — Наль даже не замѣтилъ, колыхнулись-ли полы ковра, или все время висѣли такими же неподвижными, тяжелыми складками, но красавицы Гуль-Гуль уже не было въ его комнатѣ. Какъ очарованный, стоялъ онъ, и въ ушахъ его звенѣло: «приходи-приходи, или я умру отъ ожиданія».

«Приду, моя радость, моя красавица!—мысленно посылалъ онъ отвѣтъ. — Завтра, когда солнце сядетъ... Зачѣмъ не сегодня?»

Но сегодня солнце уже сѣло, и когда Наль опомнился и окончательно пришелъ въ себя, то услышалъ послѣднюю дробь зареваго барабана. Гдѣ-то подальше, чуть слышно, вторилъ замирающій звукъ казачьей трубы—и вслѣдъ за этими звуками, раздались аккорды стройнаго солдатскаго пѣнія.

Выстроенныя по стѣнамъ роты совершали вечернюю молитву.

«Да, сегодня послѣ зари совѣтъ у Шолобова,—надо идти... пора, кажется».

Онъ чуть было не позвалъ Григорія Ивановича помочь одѣться, но вспомнилъ послѣднее съ нимъ объясненіе; горько усмѣхнулся, самъ отыскалъ свою саблю и револьверъ — и вышелъ. Хотя и тепла была южная ночь, но послѣ духоты сакли, его обдало пріятною свѣжестью. Сергѣй Николаевичъ вздохнулъ полною грудью и спустился къ воротамъ цитадели. У него проявился вдругъ аппетитъ; онъ вспомнилъ, что не ѣлъ ничего съ самаго утра, и здоровая, молодая натура предъявила свои требованія.

«Зайду на минуту къ маркитанту», рѣшилъ онъ и бодро зашагалъ по каменнымъ плитамъ.

IX. Военный совѣтъ.

Въ просторной саклѣ коменданта собрались уже всѣ офицеры маленькаго гарнизона.

Всѣ были теперь не запросто, по-товарищески, а проникнуты сознаніемъ важности предстоящаго совѣщанія, съ лицами серьезными, и въ кителяхъ, застегнутыхъ на всѣ пуговицы. Даже Столбушинъ съ Бабаджанкою, сидя рядомъ, не щипались и не толкали другъ друга подъ бока по обыкновенію, а глубокомысленно крутили кисточки своихъ темляковъ, косясь на листки сѣрой бумаги, положенные передъ ними на покрытомъ сукномъ канцелярскомъ столѣ.

Глухаревъ началъ было набивать трубочку, даже кисетъ раздернулъ, но почему-то снова спряталъ въ карманъ принадлежности куренія и сплюнулъ. Комендантъ поглядывалъ на входную дверь: онъ уже послалъ за опоздавшимъ Налемъ и теперь поджидалъ, казалось, совершенно равнодушно. Казиміръ Костецкій чертилъ карандашемъ на своемъ листкѣ подробный планъ цитадели, а черезъ его плечо заглядывалъ докторъ и дѣлалъ кое-какія поправки и указанія. Отецъ Никаноръ сидѣлъ поодаль отъ стола, молча, съ полуоткрытыми глазами, медленно перебирая пальцами янтарныя четки. Два деньщика и казакъ-вѣстовой втроемъ возились у самовара, приготовляя господамъ чай.

Вошелъ, наконецъ, Наль, что-то прожевывая, и общество разомъ оживилось. Первымъ докторъ произнесъ:—«А!..» Шолобовъ добавилъ: — «Пора!» и улыбнулся, чтобъ нѣсколько

смягчить невольно выразившееся замѣчаніе по службѣ. Столбушинъ и Бабаджанъ повскакивали со своихъ мѣстъ. Глухаревъ, словно вдругъ получившій разрѣшеніе курить, вытащилъ кисетъ и теперь уже сталъ энергично набивать трубочку. Отецъ Никаноръ молча благословилъ издали вошедшаго, а Казиміръ Костецкій, пристально вглядываясь въ блѣдное лицо Сергѣя Николаевича, процѣдилъ сквозь зубы:

— Ну, кажется, теперь всѣ въ сборѣ!

— Гм! гм!— началъ Иванъ Алексѣевичъ.— Садись сюда, Сережа... Такъ вотъ, въ чемъ дѣло: Послѣднія извѣстія изъ отряда, да и то сомнительныя, — что генералъ находится по ту сторону «Джаманъ-тау», пройдя ущелье,—это дней десять усиленнаго марша, а то и болѣе. Между тѣмъ скопища не самого Алемъ-кула, а, можетъ, и самъ онъ тутъ, заняли оба пути, изъ Хаазлы и Каракента—и подходятъ къ городу... Передовые посты непріятеля уже дня два какъ бродятъ, чуть не у самыхъ стѣнъ!

— Сегодня въ полдень—чего тутъ— въ верстѣ всего за воротами видѣли! — вставилъ прапорщикъ Столбушинъ.

— А ты не лѣзь и не перебивай!—дернулъ его за локоть Бабаджанъ.

— Да, близко, черезчуръ уже близко... Смѣлы стали подлецы, а это признакъ недобрый! — продолжалъ Иванъ Алексѣевичъ.—Такъ я васъ, господа, собралъ, чтобы по-товарищески, сообща потолковать о защитѣ цитадели, ввѣренной охранѣ нашей, отстаивать которую, во всякомъ случаѣ, мы обязаны до послѣдней капли крови!

— Пускай сунутся!—замѣтилъ Столбушинъ.

— Зубы повышибемъ! — поддержалъ его Бабаджанка.

— При энергичномъ и многочисленномъ непріятелѣ, шансовъ на успѣхъ не много!—раздался рѣзкій голосъ Казиміра.

Шолобовъ сердито сдвинулъ брови, Глухаревъ сплюнулъ и покосился на говорившаго однимъ глазомъ, а отецъ Никаноръ величаво произнесъ:

— Съ помощью Господа Бога...

— И почти безъ патроновъ...

— Костецкій, когда я буду спрашивать мнѣнія, до васъ также дойдетъ очередь!—сухо и даже строго замѣтилъ комендантъ.—Я, господа, продолжаю: Прежде всего я сообщу вамъ

проектъ обороны, и вы, господа, потомъ мнѣ выскажетесь искренно,—что надо будетъ добавить, что измѣнить. Надо, чтобы каждый въ горячее время отлично зналъ и общее, и свое частное дѣло, не бродить чтобы въ потемкахъ и не ждать особыхъ приказаній. Зарядовъ къ орудіямъ и ружейнымъ патронамъ у насъ достаточно, сухарей тоже. Стѣны и барбеты приведены въ полный порядокъ... Собственно, оборонѣ подлежатъ два пункта: сама цитадель и большой прудъ внизу, защиту котораго приметъ на себя Глухаревъ, съ двумя ротами... Тамъ надо немедленно окопаться и устроить баррикады, завалы что-ли!

— Дѣлаютъ!—пыхнулъ густымъ клубомъ дыма командиръ третьей роты.

— Вся позиція этого отряда отлично обстрѣливается, кромѣ того, со стѣнъ и западнаго барбета, а позиція эта важная: защита воды, вы это хорошо сами понимаете. Тамъ же внизу заготовлены запасы соломы и камыша, чтобы выжечь до-чиста все, что окружаетъ цитадель, расчистить, такъ сказать, эспланаду. Вотъ и все... Остальное видно будетъ въ свое время. Ты, Сергѣй Николаевичъ, со своею ротою, охраняешь главныя ворота, резервъ — на площадкѣ у церкви... Сергѣй Николаевичъ!

Наль, услыхавъ свое имя, какъ бы очнулся. Онъ все время сидѣлъ, погруженный въ глубокое раздумье; его занимали теперь совсѣмъ иныя мысли, и онъ ровно ничего не слышалъ изъ сообщеній своего друга. Казиміръ Костецкій давно уже внимательно наблюдалъ за его состояніемъ и даже обратилъ на это вниманіе сосѣда доктора.

— Да, да!— кивнулъ головою Наль и улыбнулся.—Тамъ виднѣе будетъ!

Онъ потеръ рукою свой лобъ, разсѣянно окинулъ взоромъ всѣхъ сидящихъ за столомъ. Докторъ пересѣлъ къ нему поближе и осторожно тронулъ его пульсъ. Наль вздрогнулъ и отдернулъ руку.

Шолобовъ поспѣшилъ замять всю эту неловкость.

— Такъ вотъ, господа, — началъ онъ, усиливъ голосъ,— вы и выскажетесь теперь откровенно... Младшіе начинаютъ: Столбушинъ!

— Чудесно!

— А вылазки будемъ дѣлать? Чуръ, меня послать поджигать!—подхватилъ Бабаджанка.

— Хорошо, такъ и будетъ! — не въ очередь, утвердительно кивнувъ головою, рѣшилъ Глухаревъ.

— Вполнѣ согласенъ также, — заявилъ Казиміръ Костецкій. — Если бы у насъ было много пороху, то я бы предложилъ въ крайности взорваться на воздухъ, но увы! Этотъ эффектный подвигъ для насъ невозможенъ. Что дѣлать!

— Иванъ Алексѣевичъ, вели старыя рубахи отобрать изъ ротъ, да перемыть хорошенько на бинты и тряпки, а то не соломою же затыкать придется!— обратился къ коменданту докторъ.

— Хорошо!—вполголоса проговорилъ Шолобовъ и нахмурился.—А теперь, господа, чайку... Эй! Подавайте! Милости просимъ!

Очевидно, что оффиціальность засѣданія окончилась. Всѣ почему-то встали и стали разстегивать пряжки портупей. Наль вышелъ на площадку. Столбушинъ юркнулъ за нимъ.

— Сергѣй Николаевичъ... Сережа, послушай! — догналъ онъ своего товарища.

— Что тебѣ?

— Ты... не подумай.—Прапорщикъ понизилъ голосъ, чтобъ другіе не слышали, и взялъ Наля подъ руку.—Ты не подумай, помнишь, я у тебя бралъ деньги, разъ десять рублей взялъ, а другой разъ, матери посылалъ въ Оренбургъ, цѣлыхъ сорокъ пять... Я отдамъ, ты не думай... только не разомъ: сначала двадцать, а потомъ съ слѣдующимъ жалованьемъ уже все остальное. Вотъ Костецкій свинья... тотъ не отдастъ... тотъ вѣдь тебѣ много долженъ, пиши за нимъ: «пропало!»

— Да что ты это вздумалъ?

— Какъ что?! Ты теперь не богатъ, тоже какъ и мы... откуда тебѣ взять...

Наль остановился и смотрѣлъ на юнаго офицера вопросительно.

— Григорій Ивановичъ говорилъ, что тамъ что-то случилось. Онъ разсказывалъ разныя глупости, ну, это все равно. Онъ ѣхать въ Россію собирается, съ Касимкою все дѣло ведутъ,—Касимка ему двѣ тысячи долженъ; вотъ какъ отдастъ, и поѣдетъ съ первою оказіею. Ахъ, какъ мы всѣ рады!

— Чему?—изумился Сергѣй Николаевичъ.

— Какъ чему?!. Впрочемъ, кажется, я глупость сказалъ... А все-таки рады. Видишь: мы все думали, что ты получишь награду, отличишься... Вонъ уже Георгія получилъ... Золотую саблю пожалуй—плюнешь на насъ и уѣдешь въ Петербургъ, въ адъютанты, что-ли, или въ гвардію... Такъ бываетъ часто. А теперь, какъ случилось *все это*,—конечно, у насъ съ нами служить останешься. Что тебѣ въ Петербургѣ дѣлать безъ денегъ? Такъ вѣдь?.. Вотъ мы и обрадовались... Сначала огорчились немного, а потомъ подумали и обрадовались... Такъ помни, я тебѣ деньги отдамъ, а теперь побѣгу, Бабаджанка ждетъ. Мы съ нимъ условились, знаешь?.. Не пойдешь ли и ты съ нами? Ну, не хочешь—не надо! Прощай!

И Столбушинъ, крѣпко пожавъ руку своему товарищу, пересѣкъ свѣтлую полосу, тянущуюся изъ окна комендантской сакли, и исчезъ въ темнотѣ.

Бѣлый китель Столбушина, мелькнувшій въ полосѣ свѣта, смѣнился яркимъ пятномъ халата Ибрагимъ-бая. Старый аксакалъ, глава преданной Россіи партіи, пришелъ сообщить коменданту нѣчто важное. Онъ пожелалъ говорить одинъ-на-одинъ, и Шолобовъ исполнилъ его желаніе. Глухаревъ пошелъ внизъ слѣдить за работами по укрѣпленію позиціи у пруда, продолжавшимися даже ночью, при свѣтѣ фонарей. Костецкій спустился въ маркитанскую ставку, гдѣ его дожидался Курбаши-Девлетъ, а Сергѣй Николаевичъ остался на открытой площадкѣ. Къ нему скоро подошелъ докторъ съ отцомъ Никаноромъ.

Всѣ трое расположились около орудія: докторъ присѣлъ на его станины, а батюшка сталъ прохаживаться съ Палемъ по площадкѣ. Темное небо со сверкающими звѣздами разстилалось надъ ихъ головами, млечный путь обозначился особенно ярко. Теплый, ночной воздухъ вѣялъ покоемъ и миромъ.

— А тутъ вражда и злоба!—вздохнулъ отецъ Никаноръ.

— Какъ и все на землѣ! — подтвердилъ Сергѣй Николаевичъ.

— Зачѣмъ такъ? Земля также предназначена для мира и покоя,—продолжалъ батюшка,—только злоба духа тьмы смущаетъ этотъ покой и родитъ скорбь и смятеніе. А мы, вѣрующіе, должны кротостью смирять скорбь, а силою водворять покой и тѣмъ неустанно бороться съ козиями дьявола!

— А вотъ порѣжемъ враговъ, или насъ порѣжутъ, вотъи опять на время поспокойнѣе будетъ!—замѣтилъ скептикъ-докторъ.

— Экій вы, право, сейчасъ и перетолкуете вкось! Дѣло войны, а съ нею и смерти, не есть дѣло рукъ человѣческихъ; это тайна великая Божьяго гнѣва и воли. И свои свѣтлыя силы—воинство небесное—Господь мечемъ опоясалъ и щиты вложилъ въ длани. Оружіе это аллегорія. Несовершенство человѣческое, управляя волею свободною, создаетъ ошибки, а за ними зло. Совершенствованіе духовное смягчаетъ сіе зло и, мало-по-малу, устраняетъ необходимость въ оружіи. Вы уже хотите, чтобъ разомъ, безъ труда и жертвъ, безъ вѣры миръ вѣчный и любовь на землѣ воцарилась, безъ борьбы насталъ бы покой и равновѣсіе... Нѣтъ, батюшка! Господь Великъ и Всемогущъ, въ Его власти побѣда надъ дьяволомъ,—да что тогда въ людяхъ проку будетъ?.. Дороги Его великому сердцу только вѣрные, прошедшіе пламя испытанія и въ немъ очистившіеся... А то, просто говоря, свяжите человѣку руки, прикуйте къ столбу, положите около сокровище златное, да и радуйтесь: вотъ, молъ, безъ надзора оставилъ сего человѣка, а злато не расхищено. Не назовете того добрымъ, кто, до-сыта наѣвшись, остатками накормитъ голоднаго... Нѣтъ, самъ алкай и жаждай, а оторви отъ себя, побори звѣря—и отдай другому алчущему. Не лѣнивцу безпечному, хотя бы и искренно въ милость Господню вѣрующему—Богъпомогаетъ, а изнемогшему въ борьбѣ, но не отчаявшемуся, простираетъ Свою спасительную десницу. Стойте же на стѣнахъ, разите враговъ и свято вѣруйте, что когда изсякнутъ силы ваши земныя, тлѣнныя, не оставитъ васъ Господь Своею вѣчною помощью, ради торжества Креста и дѣла праваго. Погибнете всѣ безъ остатка, надругается врагъ надъ Святынею Алтаря... и на то воля Божья Изъ праха и тлѣна возстанетъ новая жизнь и сіяніе правды... Вѣчная смерть только отчаявшимся, утратившимъ вѣру и упованіе... А бороться надо...

Отецъ Никаноръ остановился, снялъ шляпу и отеръ лобъ фуляровымъ платкомъ.

— Что за благодать... небо-то, небо какое!.. Чаша алмазная опрокинутая... Красота!

— Да, пока изъ этой чаши ливнями не хватитъ да снѣгомъ!—замѣтилъ докторъ.

— Такожде и въ сердцѣ человѣческомъ: ощущеніе скорби смѣняется радостью, тьма—свѣтомъ, злоба—любовью!

— Злоба—любовью!—машинально повторилъ Сергѣй Николаевичъ послѣднее слово.

— Любовью и радостью,—подтвердилъ отецъ Никаноръ.—Вотъ вы, Сергѣй Николаевичъ, какъ скорбѣли духомъ, какое испытаніе выдержали. Я вѣдь все знаю и по лицу вижу, и по сему же лицу теперь замѣчаю спасительную перемѣну. Глаза ваши сіяютъ покоемъ и кротостью, а сердце любви преисполнено. Дайте-ко я благословлю васъ.. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. . аминь!.. Только это уже не годится. Впрочемъ, что же... ничего!

Наль вдругъ истерично разрыдался и припалъ лицомъ на грудь отца Никанора. Докторъ лѣниво поднялся съ лафета и поддержалъ его за талію.

— Эко нервы у васъ разстроены! Вотъ, а еще тоже офицеръ, мужчина въ нѣкоторомъ родѣ. Да будетъ! Вотъ и Ибрагимъ окончилъ свою аудіенцію, съ Шолобовымъ вмѣстѣ вышли. Что еще новаго?

Докторъ пошелъ къ мѣсту, гдѣ размѣнивались рукопожатіями комендантъ съ аксакаломъ. Наль оправился и шепталъ что-то отцу Никанору.

— Что-жъ, пойдемъ ко мнѣ? Проведи ночь у меня. Можетъ, покойнѣй будетъ, помолимся вмѣстѣ, да и отойдемъ ко сну!—ласково говорилъ отецъ Никаноръ, перейдя съ оффиціальнаго *вы* на отечески покровительственное *ты*.—Пойдемъ, сынъ мой, пора и на боковую!

X. Тигрица.

День прошелъ довольно покойно, вопреки общаго ожиданія.

Разъѣзды не замѣтили ничего особенно подозрительнаго. Въ городѣ только было особенно тихо, и на базарѣ торговали, у отпертыхъ лавочекъ, исключительно евреи и индійцы. Торговли, впрочемъ, никакой не было,— просто сидѣли купцы на порогахъ своихъ лавочекъ, покуривая кальянъ и попивая зеленый чай изъ мѣдныхъ кунганчиковъ. Даже въ поляхъ, за городскими стѣнами, не было видно работающаго люда; все населеніе куда-то запряталось. Осѣдланныя лошади виднѣлись

только у воротъ дома Ибрагимъ-бая. И этотъ домъ, единственный оживленный, поддерживалъ постоянное сношеніе съ отпертыми настежь, тяжелыми воротами цитадели.

Въ ротныхъ расположеніяхъ тоже было тихо, не слышно ни шутокъ, ни смѣха, ни пѣсенъ. Полсотни полуголыхъ рабочихъ лѣниво шлепали китменями у прудъ, подъ надзоромъ унтеръ-офицеровъ. Тамъ оканчивали оборонительныя работы. Маркитантъ погоронился убрать свою палатку и переселился въ цитадель, и площадь передъ воротами опустѣла, засоренная укупорочною соломою, пробками, окурками папиросъ и какими-то цвѣтными бумажками... Два-три чумазыхъ сартенка копошились въ томъ мусорѣ, выбирая стеклышки разбитыхъ бутылокъ, съ радостнымъ крикомъ накидываясь всѣ разомъ, если попадалась цѣлая. Въ опустѣлыхъ кварталахъ уныло завывали собаки, словно передъ пожаромъ. Жара стояла невыносимая.

Такъ прошелъ день.

Передъ вечеромъ Наль пришелъ къ Ибрагимъ-баю и велѣлъ осѣдлать воронаго.

— Куда это ты собираешься, таксыръ? — спросилъ его хозяинъ дома.

— Въ разъѣздъ, ночью, — отвѣтилъ офицеръ. — Объѣду аванпосты, навѣщу Бурелома кстати. Онъ тамъ въ садахъ бивакируетъ съ полусотнею!

— Скажи ты коменданту, чтобы убралъ онъ эту полусотню до грѣха!

Наль улыбнулся.

— Самъ успѣетъ убраться, когда время будетъ. Наши казаки чуткіе... Что ихъ учить!

Вернулся Наль. Отбили зарю. Стемнѣло. Лихорадочное нетерпѣніе овладѣло Сергѣемъ Николаевичемъ. Желанный, радостный часъ наступалъ. Мысль о свиданіи съ Гуль-Гуль овладѣла теперь всѣмъ его пылкимъ молодымъ существомъ, все остальное отошло далеко на второй планъ. Онъ все разсказалъ за ночь отцу Никанору. И тотъ сердечно вошелъ въ его интересы.

— Окрестимъ и повѣнчаемъ. Крѣпче будетъ... И душу ея спасемъ, и душу твою успокоимъ... Въ этой любви, можетъ быть, тебѣ Господь посылаетъ спасеніе отъ козней и навожденій діавольскихъ!

Такъ сказалъ отецъ Никаноръ, намекая Налю на то, что высказано было имъ самимъ во время недавней исповѣди.

Сейчасъ же послѣ зари, Сергѣй Николаевичъ, незамѣтно уйдя изъ цитадели, пробрался къ конюшнѣ, гдѣ его дожидался вороной, бодро вскочилъ въ сѣдло и ходкимъ шагомъ направился къ городскимъ воротамъ. Послѣ зари ворота эти оказались запертыми. Не отдавая себѣ отчета, Наль повернулъ вправо узенькимъ проходомъ вдоль стѣны, вспомнивъ, что въ полуверстѣ есть проломъ удобный, если не проѣхать верхомъ, то, по крайней мѣрѣ, провести коня въ поводу. Такъ онъ и сдѣлалъ. Тихо и дробно застучали по мягкой дорогѣ кованыя копыта; свѣжій воздухъ, не зараженный человѣческими жилищами, не стѣсненный высокими стѣнами, пахнулъ въ пылающее лицо всадника. И радостныя, свѣтлыя грезы овладѣли его душою. Въ этихъ грезахъ было забыто все.

Какъ ни темна ночь, но привычные глаза начинаютъ уже отличать болѣе свѣтлую полосу дороги, клубы пыли, темныя кроны деревьевъ и изрѣдка тяжелые силуэты сакель. Зеркалами, въ неясныхъ, расплывчатыхъ рамахъ, виднѣлись затопленныя рисовыя поля. Чуть слышно журчала вода, пробираясь по дну арыковъ.

— Милая моя, желанная!—шептали губы Наля.

Чу!.. Кто-то пѣшій пересѣкъ дорогу и скрылся за стѣнкою. Конь гдѣ-то фыркнулъ по близости. Вороной насторожилъ уши и отозвался легкимъ ржаніемъ. Стая розовыхъ скворцовъ съ шумомъ поднялась невдалекѣ. Что это ихъ встревожило середь ночи?.. Сергѣй Николаевичъ, казалось, ничего не замѣчалъ подозрительнаго, занятый одною жгучей мечтою свиданія.

Вотъ и поворотъ.

Вороной шелъ уже ускореннымъ галопомъ и черезъ полчаса остановился, какъ вкопаный, передъ знакомою дверью. Не слѣзая съ сѣдла, Наль нагнулся и щелкнулъ висячею желѣзною скобкою. Его ждали, потому что дверь оказалась незапертою. Выбѣжалъ горбунъ и принялъ коня. Подобравъ саблю, чтобы не звенѣла, Сергѣй Николаевичъ прошелъ черезъ дворикъ, и на порогѣ сакли охваченъ былъ знакомыми объятіями.

— Пришелъ!..

— Да, моя жизнь!.. Да, мое счастье!..

— Сюда, сюда!.. Иди за мною!

Минуты не прошло—они уже сидѣли вдвоемъ, глазъ-на-глазъ, на коврѣ. Сакля была освѣщена двумя бумажными фонарями. Сдернута пелена отъ мухъ съ заранѣе приготовленнаго дастархана, и Гуль-Гуль, въ праздничномъ нарядѣ, сверкающая ожерельемъ и нагрудными украшеніями, какъ змѣйка, свернулась у его ногъ, положивъ хорошенькую головку къ нему на колѣни.

— Какъ хорошо!—шептала она.—Такъ ты меня очень-очень любишь?

— Люблю-ли я, моя крошка!.. Ты для меня теперь одна на свѣтѣ, ты для меня теперь все!

— Какъ и ты для меня... Правда?..

Она приподняла голову и, улыбаясь, пристально смотрѣла ему въ глаза.

— Правда!

Онъ крѣпко обнялъ Гуль-Гуль. Та ловко освободилась, отскочила въ сторону и схватила саазъ.

— Сиди и слушай, я тебѣ пѣть буду. Помнишь, я хотѣла пѣть только для тебя?.. Помнишь тогда?.. Намъ помѣшали. А теперь никто и ничто не помѣшаетъ. Хочешь?.. Слушай!

Раздался звукъ струнъ. Какой-то едва слышный аккордъ, и съ этимъ аккордомъ слились такіе же тихіе звуки голоса.

— Я буду пѣть тебѣ одному... одному. . одному...

Холодная, озябшая снѣжинка носится въ воздухѣ *),
Злой вѣтеръ гоняетъ ее во всѣ стороны.
Коснулась она вѣтки дерева, хотѣла задержаться:
Вѣтру завидно,—онъ дунулъ, и снова полетѣла
безпріютная снѣжинка.
Бѣдная, холодная, озябшая снѣжинка!
Упала она на камень, а вѣтеръ за нею;
Упала на дорогу—раздавило ее бездушнымъ копытомъ
Снова вспрянула, снова по вѣтру несется
Въ хорѣ сестеръ и подругъ, такихъ же бродягъ
безпріютныхъ.
Бѣдная, холодная, озябшая снѣжинка!
Прилипла къ гривѣ коня—
Стряхнулъ ее конь безпощадно:
Коснулась одежды путника—
Сбросила ее злая рука человѣка.
Бѣдная, холодная, озябшая снѣжинка!
Вотъ дымная сакля чернѣетъ,
Красный свѣтъ горитъ сквозь отверстіе крыши;

*) Буквальный подстрочный переводъ.

Туда, туда полетѣла гонимая вѣтромъ снѣжинка,
И въ саклю, крутясь, запорхнула.
Бѣдная, холодная, озябшая снѣжинка!
Тамъ яркой звѣздою горитъ уголекъ.
Куда ты, бѣдняжка?.. Растаешь!..
А, можетъ, я этотъ огонь затушу
Своимъ ледянымъ поцѣлуемъ!
Бѣдная, холодная, озябшая снѣжинка!
И смѣло слетѣла снѣжинка,
Впилась въ уголекъ и погибла...
Сладокъ былъ ея смертный поцѣлуй.
А *злой* зашипѣлъ, окутался паромъ на мигъ
И снова пылаетъ и манитъ
Другую бѣдную, холодную, озябшую снѣжинку!..

Гуль-Гуль кончила и, лукаво улыбаясь, смотрѣла на своего гостя.

— Ты понялъ?.. Понялъ? Ну, и сожги же меня, какъ тотъ уголь!

Она снова кинулась въ объятія Наля, далеко откинувъ саазъ.

. . . . . .

— Радость моя, счастье!. Я всю жизнь свою соединю съ твоею. Хочешь быть моею женою?

Гуль-Гуль испуганно вскрикнула и вырвалась изъ объятій.

— Что ты сказалъ?.. Что сказалъ?.. У! Злой «уголекъ»!..

Выраженіе страсти и нѣги мигомъ сбѣжало съ ея лица, смѣнившись выраженіемъ непритворнаго страха, какого-то животнаго испуга. Такъ смотритъ загнанная въ уголъ собака на поднятую надъ нею палку.

Наль повторилъ предложеніе.

— Не надо! — взвизгнула Гуль-Гуль, прижалась къ противоположной стѣнѣ, закрыла лицо руками и заплакала.

Наль приподнялся и потянулся за нею.

— Да Богъ съ тобою, голубка моя!.. Что испугало тебя?.. Поняла-ли ты, что сказалъ я?

— Поняла! — сквозь всхлипыванія говорила Гуль-Гуль, — Женою быть... Запрутъ меня, стеречь будутъ, кормить изъ рукъ, какъ звѣря, потомъ бить и ругать, и при мнѣ же другую жену цѣловать, такую же забитую узницу!

— У насъ не такъ... У насъ нельзя на двухъ жениться... Одна на всю жизнь! И не запираютъ, не бьютъ, — полная свобода и воля!

*

— И другихъ любить позволяютъ?

Вопросъ этотъ Гуль-Гуль задала, чуть-чуть приподнявъ головку и снова лукаво улыбаясь сквозь слезы.

Наль не нашелся, что отвѣтить.

— А видишь... Нѣтъ!.. Какая же это воля и свобода?

— Да зачѣмъ же тебѣ любить теперь другого? — спросилъ Сергѣй Николаевичъ и нахмурился.

Больно, очень больно кольнулъ его въ сердце этотъ наивный вопросъ.

— Я одинъ для тебя все, вѣдь я твой Аллахъ!. Сама ты это сказала. И ты для меня одна! Мы будемъ всю жизнь счастливы. И какъ день, какъ мигъ пролетитъ эта жизнь, дорогая моя!..

— Дорогая твоя теперь молода и красива,—перебила Гуль-Гуль,—голосокъ у ней, какъ у птички, глазки горятъ, какъ звѣздочки на небѣ, и станъ гибокъ, какъ змѣйка. Пройдетъ время, глазки потухнутъ, щеки завянутъ, сѣдина пробьется въ этихъ душистыхъ косахъ, сгорбится станъ, и захрипитъ голосъ соловьиный, и скажешь ты, посмотрѣвъ на меня: «у! вѣдьма»!

Наль улыбнулся, притянулъ красавицу ближе къ себѣ.

— А я развѣ вѣчно буду красивъ и молодъ?.. Не скажешь ты мнѣ также подъ старость: «у! колдунъ»!.. Нѣтъ, не правда!.. Состарится тѣло, а сердце будетъ полно воспоминаній о прежнемъ, о чудной, радостной молодости, прожитой вмѣстѣ въ любви и согласіи. Что намъ думать о томъ, что будетъ—когда... Сегодня нашъ жизненный праздникъ!

— Сегодня!.. И будемъ жить этимъ «сегодня»! — весело сказала Гуль-Гуль, вскочила на ноги, и быстрымъ движеніемъ сбросивъ съ плечъ бешметъ, осталась въ одной тонкой, прозрачной, кисейной рубахѣ.

Она взяла со стѣны тамбуринъ и стала въ позу посрединѣ сакли.

— Смотри, я сейчасъ танцовать буду — опять для тебя, опять для тебя одного...

Задрожалъ тамбуринъ, дробно зазвенѣли его колокольчики. Гуль-Гуль на цыпочкахъ, не слышно ступая по ковру, описала кругъ. Ея стройное, бронзовое тѣло при свѣтѣ фонарей сверкало сквозь тонкіе покровы рубахи. Глаза полузакрылись и,

какъ сомнамбула, шепча неясныя рѣчи, она начала второй кругъ, тѣснѣе перваго. Тамбуринъ, высоко поднятый надъ головою танцовщицы, дрожалъ и колебался теперь съ быстротою крыльевъ мухи. исчезли его контуры, слились въ сплошное жужжаніе серебристые звуки. На третьемъ кругѣ душистая ткань задѣла по лицу очарованнаго Наля... Онъ слышалъ дыханье Гуль-Гуль, онъ чувствовалъ жаръ этого чуднаго тѣла — и разомъ смолкъ тамбуринъ...

. . . . . .

Красный свѣтъ словно пожара вспыхнулъ надъ саклею, озарилъ ея верхнія окна, громкіе голоса неслись отъ воротъ, забряцало оружіе, заржали кони...

— Таксыръ! — вскрикнулъ горбунъ, вбѣгая въ саклю.

Наль схватился за оружіе... Поздно!

Широко распахнулись полы ковра, и на порогѣ сакли, ярко освѣщенный двумя факелами, показался высокій красавецъ, въ кольчугѣ поверхъ краснаго халата. За нимъ виднѣлись вооруженные люди.

— Ну, здравствуй, Гуль-Гуль! Вотъ я опять къ тебѣ въ гости наѣхалъ. Не ждала? Здравствуй, моя красотка! У тебя гости... Ну, ничего. Я съ этимъ гостемъ—посвѣти поближе!— о, да, мы уже немного знакомы!

— Ты этого гостя не тронешь!—спокойнымъ голосомъ, но сверкая глазами, произнесла Гуль-Гуль и стала между Нурмедомъ и Налемъ.—Звала я тебя сегодня?

— Нѣтъ!

Нурмедъ-минбаши будто немного смутился.

— А если нѣтъ, такъ зачѣмъ же ты не стучалъ у воротъ, зачѣмъ не спросилъ, впущу-ли? Къ кому ты, какъ врагъ, ворвался?.. Опомнись!

— Я стучался, да у тебя, знать, не слыхали. Прости!

— То-то. Садись теперь!.. А вы—прочь!

И Гуль Гуль повелительно указала рукою на дверь другимъ, уже успѣвшимъ войти въ ея саклю.

— Сними оружіе. Ты видишь-ли, онъ безоружный... Положи и свое туда въ уголъ, чтобы сабли вмѣстѣ лежали. Садись. Не во-время ты наѣхалъ правда, да прогнать тебя нѣтъ у меня силы. Ахъ, ты, мой тигръ кровожадный, а смирный. Гуль-Гуль тебя усмирила... Садись...

Голова закружилась у Наля... Съ трудомъ поднялся онъ на ноги. Онъ видѣлъ выраженіе глазъ Гуль-Гуль и видѣлъ въ нихъ то же чувство любви, какъ и за минуту передъ этимъ.

«Что же это?» — мелькнуло у него въ головѣ.

— Куда?—зазвенѣлъ голосъ танцовщицы.

— Мнѣ здѣсь болѣе нечего дѣлать!—глухо произнесъ Сергѣй Николаевичъ и, шатаясь, направился къ двери.

— Вернись, полоумный!

Онъ быстро повернулся, подошелъ къ Нурмеду и тронулъ его за плечо.

— Послушай, таксыръ, въ нашей странѣ ведется издавна обычай: такой споръ кончаютъ оружіемъ, поединкомъ. Здѣсь я одинъ, съ тобою же—твои воины: я тебя вызываю!

— Ты одинъ и я одинъ,—поднялся также на ноги Нурмедъ, и лицо его озарилось веселою улыбкою.—Обычай у васъ хорошъ, мы его тоже знаемъ. И безъ злобы въ сердцѣ готовъ я помѣряться съ тобою. И ты не сердись на меня. Только звѣри въ такихъ случаяхъ дерутся со злобою, а мы — люди, съ сердцемъ спокойнымъ, извѣдаемъ мечами волю Аллаха. Пойдемъ! На коняхъ или пѣшимъ?

— Какъ хочешь!

— Не привыченъ я пѣшимъ. Садись на своего воронаго... А хорошъ у тебя жеребецъ — моего не хуже! Я видѣлъ...

А Гуль-Гуль оживилась. Лицо ея горѣло, глаза искрились лихорадочнымъ весельемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тревогою ожиданія.

— Оба мнѣ любы... оба мнѣ дороги... Извѣдаемъ волю Аллаха! — бормотала она и торопила людей приготовленіями къ бою.

«Тигрица!» — промелькнуло у Наля невольное сравненіе.

И у него неожиданно сложилось такое рѣшеніе: побѣдить и, не взглянувъ на неё, уѣхать.

Первый дворъ былъ довольно просторенъ, чтобъ разъѣхаться всадникамъ шаговъ на пятьдесятъ. На крышѣ передней сакли стали люди съ смоляными факелами, и свѣтъ ихъ озарялъ все пространство арены. Притащили котелъ съ кунжутнымъ масломъ и наклею, поставили на треногу — и запылало еще болѣе яркое пламя. Джигиты Нурмеда искоса поглядывали на русскаго офицера и перешептывались. А съ минбашою былъ отрядъ человѣкъ двадцать, не менѣе. Два джигита въ шелко-

выхъ халатахъ, любимцы Нурмеда, держали подъ-уздцы хозяйскаго коня. Тотъ храпѣлъ отъ непривычнаго свѣта, поводилъ ушами и нетерпѣливо билъ копытомъ землю.

— Подайте коня таксыру!—обратился къ своимъ минбаши, указывая на Наля.

Привели воронаго.

— Ну, здравствуй предъ боемъ—обнимемся и поцѣлуемся!

Наль былъ тронутъ. Онъ не заставилъ себя ждать, и искренно, братски обнялъ противника.

Сѣли на коней.

Гуль-Гуль полулежа расположилась на порогѣ сакли.

Она была въ тѣни навѣса; только чуть искрились камни ея ожерелья, а надъ ними двѣ другія, еще болѣе яркія, живыя точки.

«Теперь только-бы ей хвостомъ заиграть!» мелькнуло у Наля.

Онъ уже болѣе не смотрѣлъ въ ту сторону и все вниманіе сосредоточилъ на своемъ противникѣ.

Шагомъ, съ опущенными саблями, съѣхались борцы, приподняли оружіе, чуть коснулись клинками и разошлись. Какъ бы обмѣнявшись мѣстами, оба стояли теперь другъ противъ друга, какъ вкопаные, измѣряя другъ друга глазами. Конь Нурмеда злобно зажалъ уши и тянулся впередъ, сдерживаемый сильною рукою. Вороной Наля храпѣлъ, нетерпѣливо махая головою. Двѣ-три секунды, не болѣе, тянулось ожиданія схватки, а казалось, проходили томительные часы. Рванулись, наконецъ, сшиблись. Оба коня высоко взвились на дыбы, завизжало желѣзо о желѣзо, но не разомкнулись сцѣпившіеся клинки. Пыль поднялась столбомъ, и въ этой пыли бѣлый китель Наля и красный халатъ Нурмеда казались такъ близки, будто бойцы сцѣпились въ рукопашную. Смолкъ звукъ желѣза, образовалось снова разстояніе между врагами.

— Нашъ одолѣетъ... смотри!..—шепталъ кто-то, задыхаясь, въ кучкѣ джигитовъ.

— Гдѣ урусу противъ нашего!

— Не говори... Хорошъ и этотъ рубака! Берегись!

Опять повторилась сшибка, но короткая. Борцы, словно не тронувъ, миновали другъ друга. Что-то блестящее, кривое, звеня описало въ пыльномъ воздухѣ кругъ и ударилось о крышу, какъ разъ надъ входомъ, гдѣ лежала Гуль-Гуль. Это была

сабля Нурмеда; она съ крыши, отскочивъ, свалилась на землю и воткнулась кривымъ клинкомъ у самыхъ ногъ красавицы.

Джигиты бросились толпою къ своему начальнику. Одинъ схватилъ за поводъ лошадь Наля.

Нурмедъ-минбаши качался въ сѣдлѣ, схватившись за голову обѣими руками. Сквозь пальцы его струилась кровь. Произошло нѣчто дикое, тяжелое. Сначала Сергѣю Николаевичу показалось, что только одинъ кто-то держитъ за поводъ воронаго, но у этого одного будто бы разомъ выросли десятки рукъ, и эти руки стащили его съ сѣдла.

— Рѣжь горло!—говорилъ кто-то. — Чего смотрѣть?

Но горла ему никто не рѣзалъ. Его освободили, его повели въ саклю. Шагнулъ Наль — и споткнулся на конвульсивно бьющееся по землѣ тѣло. «Кто же это убитый? Вѣдь не Нурмедъ!»

— А ты не очень торопись добираться до чужаго горла. Вотъ и поплатился!.. Ай, да дѣвка! Какъ она его ловко! Божій судъ — вольный, а вы—какъ разбойники накинулись... Такъ нельзя... Мало-ли, что свой господинъ... По доброй волѣ дрались—мѣшать не надо!

Такой шелъ говоръ въ толпѣ, почтительно разступающейся передъ побѣдителемъ, входившимъ снова въ знакомую саклю Гуль-Гуль.

Минбаши-Нурмедъ, полураздѣтый, сидѣлъ на коврѣ и обмывалъ въ тазу окровавленныя руки. Старуха опытными руками кончила перевязку его головы. Гуль-Гуль, прижавшись въ уголъ, въ полумракѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, настраивала саазъ.

— Ну, сядь здѣсь, мой братъ!—произнесъ Нурмедъ нѣсколько ослабѣвшимъ голосомъ.—Хорошій ты воинъ, богатырь настоящій—твоя побѣда! Уѣхалъ бы я отсюда, да самъ ты виноватъ... Слава Аллаху, не на смерть, а такъ хватилъ, что, вотъ старуха говоритъ, дня два лежать надо. Куда же мнѣ дѣться?... Только все-таки уходи отсюда къ своимъ поскорѣе, пока еще не разсвѣло... Поздно будетъ, когда замѣшкаешься. Да и теперь уже поздновато. Я велѣлъ моимъ людямъ беречь тебя, какъ свое око, и проводить до вашихъ аванпостовъ. Наши кругомъ уже васъ обложили — уѣзжай! Эй, приготовьте коня таксыру-Налю... Такъ твое имя, кажется?

— Не очень тяжело?—наклонился къ раненому Сергѣй Николаевичъ.

— Пустяки... Да посмотри на меня поближе... Эй, посвѣтите сюда!.. Слушай, исполни мою просьбу: помѣняемся саблями! Моя хорошая, изъ Хоросана клинокъ и на ручкѣ четыре алмаза—дай мнѣ свою на память!

Наль порывисто обнялъ его и поцѣловалъ.

— Тише... больно... экій горячій—и въ дружбѣ, и въ бою одинаково!

— Вотъ говорили, что у русскихъ нѣтъ настоящихъ батырей: огнемъ верхъ берутъ надъ нами! — замѣтилъ старый джигитъ со шрамомъ поперекъ носа и выдающейся скулы.

— Это не русскій, нѣтъ... Ты откуда?

Вопросъ этотъ вызвалъ цѣлый рой воспоминаній и незабытыхъ сомнѣній у Наля.

— Не знаю теперь!—отвѣтилъ онъ.

— Ты нашъ: и глаза эти наши, и голосъ не съ Сѣвера, и лобъ не такой, и руки... Ты нашъ!.. Ты родомъ, какъ и я, изъ Лагора... Ты сынъ Юга... Однако, спѣши, будетъ поздно... Смотри ты у меня, Даудъ-бай, провести съ почетомъ! За каплю крови головою отвѣчаешь!

Нурмедъ ослабѣлъ и припалъ на локоть. Кровь снова засочилась сквозь головныя повязки. Засуетилась старуха.

— Поѣдемъ, поѣдемъ, таксыръ! — торопилъ старый Даудъ-бай, чуть не силою выводя Наля изъ сакли.

— Постой!—снова послышался голосъ Нурмеда.— Вернись на минуту... Мы помѣнялись оружіемъ... Пошли намъ Богъ никогда его больше не скрещивать! Я тебя полюбилъ...

Наль зарыдалъ, проговорилъ только: «увидимся»—и уступилъ силѣ. Его вывели, посадили на лошадь и окружили. Кавалькада тронулась въ путь. Снова, какъ недавно, Сергѣй Николаевичъ почувствовалъ, что кто-то ухватился за его стремя и цѣлуетъ ногу. Онъ брезгливо отдернулъ.

— Не забывай! — торопливо заговорила Гуль-Гуль. — Слышишь?

— Уйди ты, тигрица!..

— Тс... Молчи... Помни: за тобою пойду!.. Вездѣ разыщу... Убьешь меня, какъ собаку,—все равно!

Но Сергѣй Николаевичъ уже не слышалъ, что говорила и даже кричала красавица Кавалькада шла полною рысью и впереди—Даудъ-бай, говорившій что-то встрѣчнымъ всадни-

камъ, а таковыхъ было не мало. Вся окрестность кишѣла врагами. Съ недоумѣніемъ смотрѣли тѣ на русскаго офицера, ѣдущаго подъ охраною Нурмедовой команды, и долго слѣдили глазами за удаляющимся облакомъ пыли.

Чуть разсвѣло—кавалькада остановилась.

— Тс!..—приподнялъ руку Даудъ-бай.—Смотри, таксыръ—вонъ стоятъ ваши. Поѣзжай теперь свободно и, когда увидишься съ моимъ начальникомъ, скажи, что Даудъ-бай доставилъ тебя исправно!

Старый джигитъ указалъ рукою вдаль, гдѣ на горизонтѣ ясно виднѣлись два верховыхъ силуэта. Это былъ казачій пикетъ изъ полусотни сотника Бурелома.

Наль быстро снялъ цѣпочку съ часами и протянулъ ихъ Дауду.

— О, таксыръ! — воскликнулъ тотъ, почтительно, двумя руками принимая этотъ подарокъ.

Съ такимъ же нескрываемымъ недоумѣніемъ, какъ *тѣ* смотрѣли на находящагося между ними врага, и казаки пикета смотрѣли на подъѣзжающаго къ нимъ *своего* офицера. Они видѣли группу верховыхъ, приготовились уже стрѣлять, а тутъ, вишь, ты, какая оказія: свой ѣдетъ. Что за диво? Молча пропустили они Сергѣя Николаевича, не спрашивая обычнаго *отзыва*, и переглянулись между собою.

За версту, не доѣзжая воротъ, встрѣтилъ Наль и самого сотника.

— Ты это откуда-же? Къ Гуль-Гулькѣ, что-ли, ѣздилъ? Эхъ, ты, безшабашная голова!

Наль молча кивнулъ головою.

— Берегись!—крикнулъ онъ, нѣсколько отъѣхавъ.—Я чуть не попался. Тамъ *ихъ* видимо невидимо шляется!

— То-то я и говорю. Есть вѣсти. Мои готовы отойти. Нельзя же, чтобы безъ одного выстрѣла... Вотъ оно!

Далеко позади стукнуло... сейчасъ же еще... Затѣмъ послышались выстрѣлы значительно дальше и смолкли. По дорогѣ приближался дробный топотъ казачьей рыси. Это отходили ведеты.

Сергѣй Николаевичъ далъ поводъ вороному и поскакалъ къ городскимъ воротамъ.

«И солгалъ я, подумалъ онъ, внутренно покраснѣвъ.—

Чуть не попался... зачѣмъ? — Да какъ же иначе? Какъ объяснить имъ все — подумаютъ ..»

И то же тяжелое, невыносимое чувство, испытанное уже разъ въ ставкѣ казаковъ—давно, до болѣзни,—вновь овладѣло душою Наля.

— Надо мною положительно тяготѣетъ чье-то проклятіе. Не твое-ли, странный, непонятный старикъ?

А старикъ—вотъ онъ: сидитъ у воротъ полуголый, тощій, точно скелетъ, обтянутый бронзовой кожею; рваная чалма закрываетъ половину лица.. За подаяніемъ протянута сухая костлявая рука...

— На погибель идешь... вернись!.. Останься со мною — спасешься!..— говоритъ старикъ..

Шарахнулся вороной въ сторону... Не хочетъ всадникъ взглянуть на жалкаго нищаго, а часовые, словно нарочно, мѣшкаютъ, лѣниво двигаютъ тяжелые запоры, медленно раскрывается зіяющая пасть подворотнаго тунеля.

Въ цитадели рокочетъ барабанъ, это утренняя заря... нѣтъ, не тѣ звуки... иные...

Звуки тревоги.

XI. Штурмъ.

Въ домѣ Ибрагимъ-бая было пусто. Сергѣй Николаевичъ догналъ его обозъ съ женами, дѣтьми и болѣе цѣннымъ скарбомъ уже на базарѣ, у самыхъ цитадельныхъ воротъ .. Солдаты роты Глухарева — тащили куда-то охапки соломы; ими распоряжался Столбушинъ, и выраженіе лица юнаго прапорщика вовсе не соотвѣтствовало трагизму предстоящаго боя...

— Приказано, какъ что — сейчасъ иллюминацію... Тамъ тебя ищутъ!—крикнулъ онъ Налю.—Шолобовъ сердится!

Въ воротахъ встрѣтился онъ съ комендантомъ.

— А!..

Озабоченное, нѣсколько даже озлобленное лицо бывалаго вояки освѣтилось было на мгновеніе радостной улыбкою, но тотчасъ-же приняло выраженіе серьезности.

— На мѣсто, поручикъ!.. Я тебя уже давно ищу... Измучилъ—ты меня!— добавилъ Иванъ Алексѣевичъ тихо, сквозь зубы и отвернулся, сдѣлавъ видъ, будто не замѣтилъ движенія Наля, явно обнаружившаго желаніе протянуть ему руку.

Казиміръ Костецкій, накинувшій почему-то теплое пальто поверхъ кителя, стоялъ въ небрежной позѣ, прислонившись къ косяку еще отпертыхъ воротъ и пристально наблюдалъ эту короткую сцену. Онъ перевелъ свой взглядъ на группу закутанныхъ женщинъ съ закрытыми черными сѣтками лицами, проходившими торопливо въ цитадель. Съ ними были и дѣти... Ибрагимъ-бай, вооруженный съ ногъ до головы, говорилъ въ эту минуту съ комендантомъ.

Подъѣхалъ Бабаджанъ, соскочилъ съ своей рыженькой, степной лошади и, подобравъ саблю, побѣжалъ на верхъ.

— А вѣдь Девлетка-то удралъ!..—крикнулъ онъ, ни кому особенно не обращаясь, а такъ во всеобщее свѣдѣніе.—Нигдѣ не могъ разыскать... говорили на дому: еще съ вечера ушелъ; сказывалъ сюда, въ цитадель... я предупреждалъ...—говорилъ.. Собака-предатель!..

— Ну, чортъ возьми, послѣ, все равно, попадется!—проворчалъ сквозь зубы Шолобовъ.

— А, Наляша, здорово!—обратился киргизъ къ Сергѣю Николаевичу.—Ого, какой у тебя клычъ *) важный! Откуда добылъ?..Самому эмиру такъ въ пору...

Наль вздрогнулъ и почему-то вспыхнулъ до ушей... Роскошная сабля Нурмеда, въ ножнахъ, осыпанныхъ золотыми украшеніями по ярко-зеленому бархату, съ драгоцѣннымъ эфесомъ, невольно бросилось теперь въ глаза всѣмъ.

— Да, хороша!..—проговорилъ онъ дрогнувшимъ голосомъ и тотчасъ присѣлъ на выступъ стѣны. Кровь отхлынула, и голова закружилась...

Въ эту минуту, молча, но тяжело дыша отъ напряженія, солдаты притащили орудіе, предназначенное для защиты воротъ, и всѣ занялись его установкою.

Сергѣй Николаевичъ поднялся и, шатаясь, пошелъ къ себѣ... Тамъ его Григорій Ивановичъ, блѣдный съ отвисшею трясущеюся губою, увязывалъ зачѣмъ-то чемоданъ, молясь, всхлипывая и бормоча:

— Дождались бѣды! О, Господи, Владыко Милосердный, принеси грозу!.. Помилуй насъ, помилуй!.. О, Господи!..

*) Клычъ—сабля.

—Вина скорѣе!..—задыхаясь, крикнулъ Наль и оперся о столъ.

. . . . . .

А за стѣнами города слышенъ былъ глухой гулъ подступавшихъ вражескихъ массъ. До самой цитадели доносился этотъ звукъ, словно завываніе вѣтра. У городскихъ воротъ загремѣли выстрѣлы—послѣдній салютъ врагу на этой передовой позиціи—отступающихъ карауловъ... Подошелъ Буреломъ съ полусотнею...

— Ну, и лавина-же валитъ!—крикнулъ онъ.—Алемъ-Кулъ съ ними... Самъ я видѣлъ значки!..

Послышался сухой костровый трескъ огня... За позиціею Глухарева взвились тяжелые желтовато бѣлые клубы дыма, и по крайнимъ саклямъ побѣжали красные языки!..

Вѣтеръ былъ отъ насъ и на встрѣчу врагу... Огненнымъ ураганомъ разгорался пожаръ—расчистка эспланады... Скоро огонь добрался до базарныхъ навѣсовъ... все, сухое до нельзя, горѣло съ неудержимою силою, и въ ревѣ колоссальнаго пожара затерялся ударъ, первый пушечный выстрѣлъ съ западнаго барбета...

Только теперь ясно обозначалась важная позиція Глухарева, защищавшая воду, а съ нею и жизнь оборонявшихся. Высокій валъ угломъ выходилъ далеко впередъ, фланги этого укрѣпленія—одинъ упирался въ глубокій ровъ цитадели, другой — въ каменную мечеть, приведенную въ оборонительное положеніе. Изъ горжи передовой позиціи тянулся ровъ, выводившій къ воротамъ цитадели, оканчивавшейся маленькою пробоиной въ ея стѣнѣ. Это путь сообщенія обѣихъ позицій. Рота Глухарева могла дѣйствовать такимъ образомъ и противъ врага, атакующаго ее съ фронта, и противъ тѣхъ, ктобы пошелъ на приступъ главныхъ воротъ. Съ западнаго барбета и съ большаго протяженія стѣнъ можно было превосходно обстрѣливать все опасное пространство. Слабѣйшимъ пунктомъ обороны была южная сторона, но за то тамъ разстилалась совершенно открытая мѣстность конной площади, и непріятель не отважился-бы сосредоточивать тамъ большія силы, безотвѣтно терпя жестокій уронъ отъ огня осажденныхъ.

Уже три квартала, до самыхъ городскихъ стѣнъ, пылали въ огнѣ. Жители были предупреждены заранѣе, но не всѣ,

должно быть, покинули во время свои дома. Стоны, вопли, плачъ и проклятія—прорывались въ хаосы звуковъ гибели и разрушенія.

Не отрывая бинокля отъ глазъ, Шолобовъ покойно стоялъ на гребнѣ барбета, но въ этомъ спокойствіи было много кажущагося... Его мучило какое-то тяжелое предчувствіе, и увѣренность въ успѣхѣ была поколеблена...

По случаю непонятной, несвоевременной болѣзни Наля, защиту воротъ принялъ Костецкій...

А съ Налемъ случилось вотъ что.

Онъ, едва только начался пожаръ, собравъ всю силу воли, возбужденный стаканомъ краснаго вина, бросился на свой постъ и на половинѣ дороги, у самой церкви, остановился, какъ вкопанный. Ему показалось, что кто-то дохнулъ ему прямо въ лицо и повелительно произнесъ: «спи!»

Сергѣй Николаевичъ отшатнулся и упалъ навзничь.

Отецъ Никаноръ, выходя изъ церкви, видѣлъ паденіе Наля и поспѣшилъ къ нему на помощь. Съ Григоріемъ Ивановичемъ вдвоемъ они внесли больного въ саклю, уложили на постель и попытались было подать помощь, но безполезно. Наль оставался въ глубокомъ обморокѣ.

— Позови доктора! А мнѣ надо идти туда!—грустно произнесъ священникъ и поспѣшно вышелъ...

— Господи Силъ!—молился онъ, направляясь къ площадкѣ, передъ воротами. — Ты, благословившій и укрѣпившій руку отрока Давида... Укрѣпи и насъ слабыхъ, малочисленныхъ рабовъ Твоихъ, горячія моленія Тебѣ возносящихъ... Спаси Господи люди Твоя... Спаси достояніе Твое!..

Мѣстами, гдѣ пожаръ затихалъ, истребивъ все, что ему подъ силу, и, дымясь, тлѣли безобразныя развалины сакель, стали сгущаться враги. Тамъ и сямъ ихъ ярко-цвѣтныя массы уже ранѣе виднѣлись сквозь дымъ, очевидно, скопляясь противъ позиціи Глухарева. Надъ куполомъ дальней мечети колыхалось большое зеленое знамя... Тамъ вспыхивали большіе дымные клубы, а за ними глухіе пушечные удары... Не было сомнѣнія, что у враговъ была артиллерія и у мечети главная ея позиція. Характерный вой ядернаго полета слышался уже не разъ, но снаряды, не долетая до цитадели, тяжело падали на землю, нѣкоторые рикошетировали...

Когда Шолобову донесли о странной болѣзни Наля, онъ проговорилъ, словно про себя:

— Лучше-бы онъ умеръ!

Капитанъ самъ не давалъ себѣ отчета, почему это слово сорвалось у него съ языка, и ему стало досадно. Онъ все ждалъ, что его другъ оправится, явится посреди ихъ... отважный и свѣтлый духомъ... Вернется ихъ прежній, лихой любимецъ, и сами собою разсѣятся тяжелыя подозрѣнія!.. Въ чемъ подозрѣнія? Почему?.. Гдѣ поводъ къ такой гнусности?.. А между тѣмъ эти проклятыя подозрѣнія сами собою лѣзутъ въ голову, змѣею забираются въ сердце... Странно, что даже люди его роты, когда услышали, что нелюбимый Казиміръ Костецкій принимаетъ надъ ними начальство, какъ будто повеселѣли...

Глухаревъ не зналъ еще ничего о Налѣ. Онъ теперь былъ отдѣленъ отъ своихъ и сосредоточилъ все вниманіе на защитѣ своей позиціи... Столбушинъ безпечно бѣгалъ по брустверу редута, исполняя приказанія старшаго офицера, и чисто по-дѣтски перекликался со своимъ другомъ Бабаджаномъ, сидѣвшимъ на западномъ барбетѣ...

— Столбушка...—кричалъ киргизъ.—Смотри, смотри!.. Вонъ они слѣва къ тебѣ подбираются... берегись!..

— Вижу!.. Къ намъ сюда ихъ ядро долетѣло... А къ вамъ нѣтъ!

И въ тонѣ голоса слышалась даже нѣкоторая хвастливость: вотъ-молъ мы какіе!.. Къ намъ попадаетъ, а вы съ носомъ!..

Ибрагимъ-бай вышелъ на барбетъ къ Шолобову, и его яркій халатъ красивымъ пятномъ вырѣзался между скромными костюмами русскихъ.

На южномъ фасѣ послышалась учащенная пальба... Тамъ на площади показались въ разбродъ группы конныхъ, открывшихъ огонь изъ ручныхъ мултуковъ, имъ отвѣчали наши стрѣлки...

Шолобовъ не обратилъ на это никакого вниманія... Онъ пристально вглядывался въ куполъ дальней мечети.

— Они тамъ собираются!—шепнулъ ему Ибрагимъ-бай.

— Да!—кивнулъ головою комендантъ.

Онъ на маленькомъ листочкѣ записной книжки черкнулъ карандашемъ нѣсколько словъ и подозвалъ ближайшаго унтеръ-офицера.

— Отнеси въ третью роту... въ руки Глухареву... Проходъ знаешь?

— Такъ точно, ваше благородіе!..—гораздо громче, чѣмъ слѣдуетъ, отвѣтилъ солдатъ, особенно тщательно сдѣлалъ поворотъ налѣво кругомъ и побѣжалъ исполнять приказаніе...

— Идутъ!—произнесъ капитанъ, махнулъ рукою, снялъ шапку и перекрестился.

Дѣйствительно, густыя массы непріятельской пѣхоты, широко охвативъ нашу главную позицію,—двигались по обгорѣлымъ кварталамъ; наиболѣе сгущались эти массы противъ редута, защищавшаго воду...

— Картечью?—подбѣжалъ къ Ивану Алексѣевичу Бабаджановъ.

— Погоди... я скажу... надо беречь заряды!

Далеко сзади, гдѣ-то по сторонамъ, съ южнаго фаса, крики и пальба усилились. Молчаливо только подвигались, все впередъ и впередъ штурмовыя колонны. Шли, какъ *пѣшая* саранча, съ какимъ то зловѣщимъ шорохомъ, огибая массивныя части развалинъ, процѣживаясь въ ихъ проходахъ и скважинахъ, то перебѣгая, то припадая—ползкомъ.

— Словно черви копошатся!..— послышалось въ группѣ артиллеристовъ крайне удачное сравненіе.

— Катай!—махнулъ рукой Шолобовъ.

Гулко хватило орудіе съ барбета. Картечная жестянка провизжала точно надъ самымъ ухомъ.

Весь валъ, защищающій воду, окутался дымомъ. Словно удары бича по жестокой почвѣ, щелкали одинъ за другимъ правильные залпы. Люди третьей роты, готовые къ отпору въ рукопашь, выстроились на гребнѣ бруствера и отчетливыми силуэтами рисовались на бѣлой стѣнѣ ружейнаго дыма. Высокая сгорбленная фигура Глухарева и съ нимъ махающая саблей маленькая фигура Столбушина...

— Бабаджанка, жарь шибче!.. Совсѣмъ близко подходятъ!..—донесся на западный барбетъ его голосъ.

Дисциплинированные залпы уже слились въ сплошную, безкомандную пальбу. Видно было, какъ солдаты торопливо заряжали ружья. Штурмующія массы застонали. Но уже близко, совсѣмъ у вала... Этотъ стонъ былъ призывное «Ал-л-л-ла!»

Вдругъ Шолобовъ крикнулъ:

— Кто велѣлъ... убью! . Что они дѣлаютъ!.. О, Господи!..— и стремительно побѣжалъ къ караулу у главныхъ воротъ.

Костецкій приказалъ отпереть ворота и бросился съ ротою Наля на помощь Глухареву. Это была роковая, почти непоправимая ошибка, чтобы не сказать болѣе.

— Резервъ! — донесся оборвавшійся отъ натуги голосъ коменданта.

Минуту энергичная вылазка какъ бы казалась удачною... Но вотъ выбѣжавшая горсть бѣлыхъ рубахъ смѣшалась съ цвѣтными халатами враговъ—и попятилась. Вотъ они уже въ воротахъ, вотъ за ними, опрокинувъ ничтожную кучку, валятъ толпою враги... Заняли ворота, разливаются ихъ волны вправо и влѣво.

Съ крестомъ, высоко поднятымъ надъ головою, величавою поступью шелъ, отважно глядя впередъ, отецъ Никаноръ, а за нимъ, нога въ ногу, мѣрно отбивая тактъ по каменнымъ плитамъ, наклонивъ штыки, шли резервные полувзводы.

Шолобовъ ихъ потребовалъ во время.

Молча, безъ обычнаго крика «ура!» ударила стройная сила на охмелѣвшую успѣхомъ массу и буквально смела ихъ обратно за ворота.

— Спасибо, ребята!..—овладѣвъ собой, громко и покойно обратился къ нимъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Рады стараться, ваше б—діе!.. — весело загудѣло въ рядахъ, и солдаты резерва торопливо принялись запирать и заваливать ворота.

Шолобовъ перекрестился и подошелъ приложиться къ кресту.

— Костецкаго ко мнѣ!

Наступило общее молчаніе. Кто-то крикнулъ:

— Убитъ, должно быть!..

— Костецкій въ плѣну!..—кричалъ съ барбета Бабаджановъ.—Вонъ его повели!.. Нашихъ тамъ добиваютъ... головы рѣжутъ!

Орудіе западнаго барбета накалилось, не смотря на то, что его усердно поливали водою.

— Редутъ взяли!.. Глухаревъ убитъ! — послышался снова уже отчаянный крикъ Бабаджанова.

Шолобовъ бросился на голосъ.

Дѣйствительно, все внутреннее пространство редута наполнено было дымомъ, чрезъ его валы перебѣгали новыя толпы.

У входа въ соединительный ровъ дрались остатки третьей роты, и дрались отчаянно за тѣло своего стараго командира. Нѣсколько поодаль видна была кучка казаковъ Бурелома, неистово прорубающая себѣ шашками дорогу. Огонь резерва, выведеннаго Шолобовымъ на барбетъ, помогъ только защитникамъ редута отступить въ цитадель. Тѣло Глухарева, изуродованное въ схваткѣ, внесли даже съ признаками нѣкотораго торжества: «все-таки, молъ, отбили!» Столбушинъ, съ смущеннымъ видомъ, со слезами на глазахъ, приложивъ руку къ козырьку шапки, началъ что-то рапортовать коменданту.

— Божья воля!—произнесъ Иванъ Алексѣевичъ. — Ишь, подлецы!—указалъ онъ рукою на отбитую у насъ позицію.

Тамъ торопливо заваливали прудикъ трупами. Очевидно враги догадывались, что нельзя имъ будетъ удержаться здѣсь, подъ самыми смертоносными стѣнами цитадели, такъ они спѣшили лишить защитниковъ воды и тѣмъ парализовать продолжительную оборону.

— Картечь!.. Жарь, жарь!.. обдавалъ ихъ сверху Бабаджановъ. — А... подались. дьяволы!.. А ну —вдогонку!..

— Отходятъ, отходятъ!..—Бѣгутъ... Отбили!..—послышались тамъ и сямъ по стѣнамъ повеселѣвшіе голоса.

Штурмующія массы отступали и въ самомъ дѣлѣ. Они отступали, бѣжали даже гораздо быстрѣе, чѣмъ казалось отсюда, сверху. А массы труповъ, цѣлыя горы мѣстами, лежали неподвижно, гдѣ кого застала смерть, и между мертвыми ползли и копошились еще живые, но тяжко раненые.

Уронъ, понесенный непріятелемъ былъ громаденъ. Уронъ нашъ, благодаря выходкѣ Костецкаго, былъ относительно серьезный. Изъ роты Наля, такъ преступно, легкомысленно брошенной въ многотысячную вражескую массу, осталась едва-ли четвертая доля.

Рота Глухарева тоже уменьшилась на половину.

Слишкомъ тридцать процентовъ убыли. Слишкомъ много для перваго штурма, для перваго дня осады.

XII. Переговоры.

Наступило время относительнаго затишья. Непріятель повсюду отступилъ за городскія стѣны, оставивъ по ихъ гребнямъ наблюдательные посты. Только за бывшею Глухаревскою по-

зиціею виднѣлись въ развалинахъ притаившіяся толпы—предусмотрительная мѣра со стороны муллы Алемъ-Кула, иначе русскіе могли бы во время очистить отъ труповъ прудъ, пока еще не началось разложеніе. Излишняя, впрочемъ, предусмотрительность. Печальнымъ кровавымъ пятномъ виднѣлась, утромъ еще блестящая, поверхность воднаго резервуара. А солнце жгло, безпощадно усиливая разложеніе.

Раненые и умирающіе были снесены къ церковнымъ дверямъ. За пороховымъ погребомъ стучали китмени и лопаты,— тамъ хоронили убитыхъ. Тѣло Глухарева, покрытое старымъ, а все - таки парчевымъ покровомъ, лежало отдѣльно подъ почетною охраною двухъ унтеръ-офицеровъ. Отецъ Никаноръ едва поспѣвалъ исповѣдывать и причащать раненныхъ. Докторъ съ двумя фельдшерами не даромъ просилъ отобрать изъ ротъ старыя рубахи, — ему работы было достаточно.

Шолобовъ только на минуту заглянулъ въ комнату своего друга; нахмурился, глядя на блѣдное лицо спящаго таинственнымъ сномъ Сергѣя Николаевича, и тотчасъ же вышелъ, не слыхавъ даже, какъ его попытался остановить старый дядька вопросомъ:

— Ну, что?.. Отбились? Есть надежда на враговъ пораженіе?

Иная мысль занимала теперь коменданта. Только три офицера осталось теперь въ его распоряженіи: Столбушинъ и Бабаджанка — оба молодые, смѣлые, готовые на все, но юнцы неопытные, да сотникъ Буреломъ, офицеръ старый, замѣнившій ему теперь убитаго помощника.

Слезы брызнули изъ глазъ Ивана Алексѣевича, когда онъ проходилъ мимо тѣла Глухарева и, перекрестясь, отвернулся, чтобы не замѣтили этихъ слезъ часовые.

Выйдя на барбетъ, куда деньщикъ принесъ ему стаканъ чаю, комендантъ долго всматривался въ окрестность и даже немного подремалъ, присѣвъ на лафетъ.

Солдаты расположились по стѣнамъ, на боевыхъ мѣстахъ, тоже дремали, утомленные безсонною ночью и событіями дня. Такъ тянулось до вечера.

Стало прохладнѣе. Нависалъ роковой вопросъ: дерзнетъ-ли врагъ повторить свой адскій штурмъ ночью? Не любятъ мрака мусульмане. Не охотники, суевѣрные, до боя въ потемкахъ. Это свойство врага было всѣмъ хорошо извѣстно, и

ночной штурмъ имѣлъ вѣроятность весьма слабую. А все-таки!

И къ этому осторожному «все-таки» готовились внимательно.

На барбетѣ теперь собрались всѣ наличные офицеры, разбирая подробности утренняго боя.

— А все испакостилъ этотъ подлецъ Костецкій! — горячился Столбушинъ. — Не сдѣлай онъ этой безсмысленной вылазки, вторая рота была бы цѣла, резервы были-бы во время направлены по ровику къ Глухареву и не отвлечены на другое дѣло... Мы бы на чистоту отбились и воды бы не потеряли!

— Вѣрно! — согласился Буреломъ.

— Вотъ теперь самъ цѣлъ... въ плѣнъ попался. Потомъ, все равно, генералъ вытребуетъ... вернется!.. Дунина вернули же въ третьемъ году. Въ герои еще попадетъ, чего добраго!..

— А я говорю, что не вернется! — рѣшительно заявилъ Бабаджановъ.

— Это почему?

— А потому, что онъ съ Девлеткою заодно. Тотъ бѣжалъ, и этотъ бѣжалъ... только...

— Ну, это не хорошо... Это ты напрасно!.. — и сотникъ Буреломъ укоризненно покачалъ головою. — Можно-ли подумать даже такое дѣло... и на офицера... Это напрасно!..

— А вотъ увидишь!.. Я киргизъ... киргизъ глупый, думаешь такъ?.. А киргизъ глупый лучше васъ вдали видитъ!

— Ну, уже лучше!..

— Лучше!.. Вонъ то что?

И Бабаджановъ указалъ рукою вдаль, гдѣ отъ мечети отдѣлилась какая-то бѣлая тряпка на палкѣ.

— А чортъ его знаетъ что!

— То-то!.. Это они парламентеровъ посылаютъ. Сейчасъ изъ-за той стѣнки покажутся. Вонъ, вонъ... вонъ выѣзжаютъ!..

Шолобовъ, сидѣвшій поодаль, всталъ и началъ подвинчивать бинокль.

Дѣйствительно, отъ стана отдѣлились три всадника и осторожно, шагомъ, выбирались на базарную улицу. Передній махалъ бѣлымъ платкомъ на пикѣ; за нимъ, на пѣгой лошади, другой налаживалъ мѣдную, длинную трубу. Сзади ѣхалъ золотисто-парчевой халатъ на сѣромъ конѣ, въ богато убранной сбруѣ.

— Парламентеры и есть... послушаемъ!—кивнулъ головою Буреломъ.

— Да все-то, какъ и прежде! — махнулъ Столбушинъ и посторонился, чтобы пропустить коменданта.

Раздался рѣзкій звукъ трубы. Шолобовъ велѣлъ ближайшему горнисту отвѣтить. Парламентеры, значитъ, приняты. Послали за Ибрагимъ-баемъ. Хотя всѣ офицеры понимали по-татарски, а все лучше, если съ оффиціальнымъ переводчикомъ.

Опять завыла труба, — опять отвѣтилъ нашъ горнистъ. Всадники приблизились шаговъ на полтораста.

— Тюра-русскій комендантъ желаетъ-ли говорить съ посланцемъ самаго достоуважаемаго, великаго инака *) муллы Алемъ-Кула, да продлитъ Аллахъ на многія лѣта его жизнь и славу!

Шолобовъ утвердительно кивнулъ головою.

— Русскій комендантъ разговаривать съ вами согласенъ!—крикнулъ Бабаджановъ во все горло.—Подходите ближе!..

— У насъ законъ такой, что честныхъ посланцевъ не бьютъ!—кричалъ голосъ снизу.

— А у насъ развѣ нѣтъ такого закона?.. Что надо?..—отвѣчалъ Бабаджановъ.

— Ну, такъ мы еще поближе подъѣдемъ, а то кричать зря не приходится!

— Подъѣзжайте, послушаемъ!

Прошло нѣсколько секундъ ожиданія. Солдаты, заинтересованные сценою, выглядывали изъ-за зубцовъ, нѣкоторые даже взобрались на ихъ гребни.

— Великій Алемкулъ, въ награду за вашу храбрую оборону, шлетъ вамъ свой поклонъ, привѣтъ и милость!

— За поклонъ и привѣтъ спасибо, а милости не надо... Передай имъ это!—улыбнулся Шолобовъ.

Бабаджановъ передалъ.

— Напрасно,—говорилъ голосъ внизу.—Милость властителя, что милость Аллаха—отъ нея не отказываются!

— Что надо? Говори прямо!

— А то, что вамъ надѣяться не-на-что... Войско генерала разбито и частью въ плѣну,—самъ генералъ убитъ. Сдавайтесь и вы. Что помирать напрасно?.. Алемъ-Кулъ встрѣтитъ васъ

*) Полководца.

съ почетомъ и ласкою, какъ слѣдуетъ храбрыхъ воиновъ. Жалко ему васъ стало... сдавайтесь!

— Вретъ, вретъ, собака!..—загудѣло въ солдатскихъ рядахъ. — Вретъ!.. Что его слушать!.. Пальнуть бы вотъ за такія слова: «Генералъ убитъ, войско наше въ полонъ забрали». Вотъ погоди, скоро вернется генералъ—отъ тѣ накладетъ по загривку!..

— Сдаетесь, что-ли?!.. Мулла Алемъ-Кулъ до завтрашняго восхода солнца даетъ вамъ сроку... подумайте. Да вотъ это письмо возьмите. Это отъ вашего же офицера!

— Онъ письмомъ машетъ... Какъ же взять-то его?.. — обратился Бабаджановъ къ Ивану Алексѣевичу.

— А ты скажи, чтобы положилъ письмо у воротъ, на край рва... Получимъ—небось!

— Положи письмо, да и уходи. Скажи Алемъ-Кулу, что придумаемъ до завтра!.. Такъ что-ли?

— Такъ!—кивнулъ головою утвердительно Шолобовъ.

— Ну, отъѣзжай теперь, а то стрѣлять будемъ... Ходу, ходу!.. Ухъ, какъ понеслись!.. Страшно тоже подъ самыми стѣнами!.. Они все по-своему думаютъ... какъ у нихъ...

Вызвался солдатикъ-стрѣлокъ; его спустили со стѣны по веревкѣ, за письмомъ, и снова втащили.

Шолобовъ распечаталъ и разорвалъ бумагу-обертку.

— Отъ Костецкаго!—произнесъ онъ и вопросительно взглянулъ на товарищей.

— Интересно!—пробурчалъ Буреломъ.

Въ это время къ офицерамъ подошли докторъ, окончившій первыя перевязки, и отецъ Никаноръ.

— Костецкій пишетъ? Бѣдняга!—полюбопытствовалъ докторъ.

— Изъ вражескаго стана извѣстіе!.. Такъ!—вздохнулъ отецъ Никаноръ.—Изъ лагеря агарянъ нечестивыхъ... Послушаемъ!

Въ это время Шолобовъ пробѣгалъ глазами письмо. Лицо его выразило тревогу, но ненадолго... Онъ дочиталъ до конца и передалъ бумагу Бурелому; тотъ, читая, скребъ всею пятернею затылокъ и, кончивъ, вопросительно взглянулъ на Ивана Алексѣевича, кивнувъ въ сторону Столбушина.

— Всѣ офицеры должны прочесть!—наклонилъ голову комендантъ.

«Пишу къ вамъ, какъ попавшійся въ плѣнъ вашъ несчастный товарищъ,—значилось въ письмѣ Костецкаго,—чтобы убѣдить васъ въ необходимости сдачи немедленной. Здѣсь, въ лагерѣ муллы Алемъ-Кула, со мною, какъ и съ нижними чинами, подвергшимися моей участи, обошлись по человѣчески... Мнѣ представлены явныя и неопровержимыя доказательства полнаго разгрома нашихъ главныхъ силъ на урочищѣ Джяуръ-курганъ. Генералъ убитъ... Большинство офицеровъ въ плѣну, отправлены въ глубь страны. Гарнизонъ цитадели предоставленъ собственнымъ силамъ, и на помощь ему ни откуда разсчитывать нечего... Вы знаете, господинъ комендантъ, всю ничтожность средствъ обороны и предстоящій недостатокъ въ снарядахъ, не говоря про потерю воды въ сегодняшнемъ печальномъ дѣлѣ. Благоразуміе ваше подскажетъ вамъ вашу прямую обязанность — не губить напрасно столько ввѣренныхъ вамъ жизней и принять хорошія и вполнѣ почетныя условія сдачи.

Подписано: «Костецкій».

Прочли это письмо и отецъ Никаноръ, и докторъ. По прочтеніи, комендантъ тщательно сложилъ бумагу и спряталъ ее въ грудной карманъ кителя.

— Ну-съ, мы всѣ на-лицо... Что скажешь, Пашутка?

Вопросъ обращенъ былъ къ Столбушину, какъ младшему.

— По-моему, повѣсить мало за такое письмо, а не слушать этого подлеца!

— Вѣрно!.. Что, не моя правда?—оживленно подтвердилъ Бабаджановъ.

— Не вѣрится мнѣ... А впрочемъ, все равно, драться надо...

— Могу я сказать слово, свое, такъ сказать, высказать мнѣніе? — подошелъ докторъ. — Я вѣдь тутъ тоже лицо, въ нѣкоторомъ родѣ званія офицерскаго и къ дѣлу причастное... Не бойся, я буду говорить тихо, солдаты не услышатъ... Пройдемся немного...

— Видишь, я буду думать и говорить, не по военному, можетъ быть, но вообще по человѣческому разуму... Ты не волнуйся и не геройствуй... Плѣнъ, при подобныхъ условіяхъ полной невозможности сопротивленія, вовсе не позорное дѣло. Но послѣ плѣна, какъ бы онъ ни былъ тяжелъ, еще есть и буду-

щее... Положимъ, наши силы истреблены... Вы этому, кажется, не вѣрите — напрасно. Костецкій, прежде всего, русскій офицеръ и опрометчиво писать не будетъ. А онъ пишетъ ясно: «предоставлены неопровержимыя доказательства». Пройдетъ годъ — наше дѣло все-таки будетъ сдѣлано, новыя войска придутъ изъ Россіи, и побѣда будетъ наша... Насъ возвратятъ, принудятъ возвратить — и двѣсти пятьдесятъ человѣческихъ жизней будетъ сохранено для отечества, а это заслуга немалая... Погибать же зря, за понюшку табаку, ради назиданія потомству, чтобы потомъ поставили здѣсь какой-нибудь столбъ съ величественной надписью: «Здѣсь легли костьми»... и пр. и пр. — красиво, но глупо... Извини меня, — глупо!.. Вотъ мой совѣтъ, человѣка не военнаго, не героя, нѣтъ, но человѣка не глупаго и немножко дальше видящаго, чѣмъ вы, ослѣпленные предразсудкомъ, называемымъ военною честью...

— Гм!.. — улыбнулся Иванъ Алексѣевичъ. — А ты что скажешь, отецъ Никаноръ?

— Это до меня не касается, — смиренно наклонилъ сѣдую голову священникъ. — Мое дѣло утѣшить страдальца, напутствовать умирающаго въ страны горнія и ободрить падшихъ духомъ и вѣрою. Претерпѣвшій до конца спасется... А конецъ сей не въ нашихъ рукахъ, а въ великой руцѣ Господней...

— Ибрагимъ-бай, напиши отвѣтъ Алемъ-Кулу. Есть бумага?

— Есть!

Аксакалъ досталъ изъ-за пазухи свертокъ восковой бумаги и футляръ съ камышинками и чернилами.

— Присядь вотъ тутъ и пиши! Слушай внимательно!

«Нашъ генералъ приказалъ намъ защищать эту цитадель. Сдадимъ только по его приказанію. Если онъ вправду убитъ — будемъ ждать отъ него приказанія съ того свѣта... А пока болѣе никакихъ переговоровъ вести не станемъ».

Шолобовъ продиктовалъ это такъ громко и отчетливо, что его не могли не слышать не только ближайшіе, но и болѣе отдаленные защитники стѣнъ, тѣмъ болѣе, что солдаты чутко и внимательно слѣдили за всею предыдущею сценою, инстинктивно понимая ея значеніе.

Громкое «ура!» прокатилось по гребнямъ и, подхваченное далѣе, кольцомъ охватило цитадель...

«Невмѣняемые!» — подумалъ про себя докторъ и, понуривъ голову, пошелъ на перевязочный пунктъ.

Отецъ Никаноръ пошелъ по стѣнамъ, благословляя солдатъ, набожно крестившихся при его приближеніи.

Солнце садилось багровое, утопая въ сизый туманъ. Казалось, что пыль и дымъ утренняго боя не улеглись, не разсѣялись и сплошною пеленою окутали горизонтъ, скрывая стѣны, а за ними широко раскинутый станъ полчищъ муллы Алемъ-Кула.

XIII. Видѣнія и грёзы.

А Сергѣй Николаевичъ лежалъ въ своемъ очарованномъ снѣ и ничего не видѣлъ и не слышалъ, что наяву происходило вокругъ. За то его больное воображеніе, будто по чьей-то чужой волѣ, какъ подъ диктовку, рисовало иныя картины, иные образы...

Какъ едва замѣтный ростокъ, пробивъ земную кору, выглянувъ на свѣтъ, начинаетъ развиваться, постепенно выбрасываетъ первые листки, удлиняетъ свой стержень, гонитъ вѣтви и мало-по-малу превращается въ тѣнистое дерево,—такъ и мысль, ухватившись часто за одно мимолетное слово, развивается въ картины широкія, цѣлый міръ охватывающія своимъ неудержимымъ полетомъ... Такъ и въ головѣ Наля слова Нурмеда: «ты не русскій, ты сынъ Юга, ты братъ мой, ты нашъ» — слова эти послужили росткомъ, готовымъ и рвущимся къ развитію.

«Ты сынъ Юга» — и Югъ раскрылся передъ нимъ тѣнистымъ, тропическимъ лѣсомъ... Гроза утихаетъ, тяжелый, пропитанный запахомъ сѣры, удушливый воздухъ тѣснитъ грудь... Удаляясь, грохочутъ раскаты грома, бурный потокъ бушуетъ, подмывая столѣтнія пальмы, и съ тяжелымъ, болѣзненнымъ трескомъ рушатся гордые лѣсные великаны... Хищный звѣрь притаился и не рѣшается выглянуть изъ своихъ убѣжищъ, птицы молчатъ... Страшенъ еще финалъ стихійной злобы, и люди подчиняются этому страху... Вонъ видѣется группа робкихъ, измокшихъ путниковъ... Словно гора, виденъ слонъ, прижавшій къ опутанному плющемъ стволу дуба, а около люди, и между ними не здѣшніе, бѣлые: красивая пожилая женщина сидитъ у дупла, а съ нею, обнявъ за талію, положивъ чудную головку на плечо, молодая красавица-дѣвушка... Сѣдой старикъ стоитъ подлѣ, вооруженный, и будто чутко прислушивается къ чему-то...

Огрокъ-сынъ, и тоже съ ружьемъ, усталый, измученный, дремлетъ и вздрагиваетъ во снѣ, бредитъ громко, грозитъ кому-то... Вонъ и слуги-индусы сидятъ молчаливою группою,—не много ихъ... Не много осталось вѣрныхъ своимъ господамъ въ эту тяжелую, смутную пору.

. . . . . .

Встала дѣвушка на ноги, подошла къ брату—и озарилось особеннымъ свѣтомъ лицо ея чудное, лицо слишкомъ близкое Налю, слишкомъ знакомое...

— Мама!—вырвалось у него изъ груди.

Но никто не слышалъ этого призыва.

Да, это она!.. Молодая, блѣдная, въ вѣнкѣ золотистыхъ косъ, обвитыхъ вокругъ головы діадемою.

И ясно стало такъ Налю, словно кто разсказалъ ему все, назвавъ по именамъ всѣхъ членовъ семейства.

Горе написано на лицахъ путниковъ... Это несчастные бѣглецы. Дрожатъ они, тревожно прислушиваются къ каждому звуку. Но не злоба стихій ихъ пугаетъ...

Какъ темно стало, какъ все погрузилось, потонуло и сгибло въ этомъ таинственномъ мракѣ!..

Григорій Ивановичъ заглянулъ въ комнату Наля и отшатнулся, пробормотавъ коснѣющимъ языкомъ:

— Съ нами крестная сила!

Кто-то съ сѣдою бородою, въ длинной бѣлой одеждѣ, сидѣлъ у изголовья постели... Но въ эту минуту отчаянные крики: «Ворвались... взяли... рѣжутъ!.. Спасайтесь!..»—заставили дядьку броситься къ церкви... Старикъ упалъ ницъ передъ иконостасомъ и потерялъ сознаніе...

Это былъ моментъ, послѣдовавшій за неудачною вылазкой Костецкаго.

. . . . . .

Разсвѣтаетъ... Мѣрно качаясь, движется слонъ. Въ тяжелой бесѣдкѣ на его спинѣ сидитъ семья бѣглецовъ. Только старикъ-отецъ, понуривъ голову, идетъ пѣшкомъ между вѣрными слугами... Узка тропинка, застилаетъ даль туманъ испареній, и слабо борется съ этимъ туманомъ свѣтъ зари, бѣлою полосою просвѣчивающій между стволами... Видитъ Наль это печальное шествіе и вмѣстѣ съ тѣмъ видитъ другое, значительно дальше, видитъ то, чего бѣглецы еще видѣть не мо-

гутъ... И страшною, невыносимою тоскою сжимается его сердце... Хочетъ онъ крикнуть имъ: «Стойте!.. Назадъ!»—не повинуется голосъ; хочетъ Наль броситься самъ на помощь—не повинуются окаменѣвшіе, безсильные члены.

. . . . . .

Толпа людей, полуголыхъ, съ лицами, искаженными злобой, засѣла, притаившись по бокамъ дороги, желѣзо сверкаетъ въ кустахъ... Все ближе и ближе подходятъ къ этому мѣсту бѣглецы... Вонъ уже ясно въ туманѣ видна тяжелая масса слона и мѣрно колыхающаяся на его спинѣ бесѣдка.

. . . . . .

Затихло въ цитадели, очнулся Григорій Ивановичъ, боится заглянуть вновь въ саклю и стоитъ у двери, прислушиваясь.

— Что ты, старина?—подошелъ тутъ маркитантъ Касимка.

— Ради Бога!.. Постой... Тамъ...

И дядька осторожно пріотворилъ дверь.

Никого. Только смертельно блѣдный, съ широко открытыми, безсмысленными глазами, лежалъ Наль, и на его лицѣ застыло выраженіе страха...

— Никакъ скончались! — прошепталъ маркитантъ. — Всѣ скоро тамъ будемъ!..

Григорій Ивановичъ присѣлъ на порогѣ и закрылъ лицо руками.

Какой-то раненый солдатъ вбѣжалъ, хватаясь за бокъ руками. Бѣдняга мотнулся было, по ошибкѣ, къ дверямъ комнаты Сергѣя Николаевича, споткнулся на дядьку и, захрипѣвъ, упалъ, разомкнувъ руки, сжимавшія рану... Потокомъ полилась кровь... Маркитантъ Касимка бросился въ сторону...

«Всѣ скоро тамъ будемъ... всѣ...»—шепталъ старикъ,—съ ужасомъ косясь на умирающаго въ конвульсіяхъ солдата.

И здѣсь кровь, и тамъ льется безъ мѣры... Крики злобы и мольбы о пощадѣ, отчаянный женскій вопль, рыданія и хохотъ... Лежитъ сѣдой отецъ съ раздробленною головой, лежитъ и отрокъ-сынъ, а все не выпускаетъ рученка согрѣтаго выстрѣломъ ствола ружейнаго... Молодая златокудрая красавица сплелась объятіями со своей матерью... Нѣсколько мускулистыхъ рукъ вырываютъ ее изъ этихъ объятій... Разметались дивныя косы, кто-то накрутилъ ихъ на руку и сильно тянетъ; блѣдное лицо запрокинулось, ножъ высоко занесенъ...

— Мать моя... иду!.. Я спасу тебя...

Что это?! Онъ,—онъ самъ стоитъ между тѣми... Онъ самъ уже заслонилъ отъ враговъ припавшую къ ногамъ его красавицу... Онъ повелительнымъ жестомъ остановилъ смертоубійство, и, понуривъ голову, отходятъ молча убійцы... Только зачѣмъ на немъ эта длинная бѣлая одежда, зачѣмъ этотъ знакъ священнаго пламени на лбу?.. Зачѣмъ въ его сердцѣ нѣтъ болѣе образа матери, и бьется оно совсѣмъ инымъ, жгучимъ, Богъ вѣсть, откуда явившимся чувствомъ.

Нѣтъ, это другой, не онъ—Наль, а другой, но какъ много сходства между ними!.. Куда же ты, чудный двойникъ? Зачѣмъ исчезаешь?.. Зачѣмъ уносишь ее?.. Останься!.. Скажи мнѣ...

Куда же все скрылось: и лѣсъ, и туманъ, и сама смерть, и палачи, и жертвы?

— Смотри и вникай! — говоритъ надъ самымъ ухомъ больного таинственный голосъ.—Не сонъ ты видишь, не бредъ это больного, тревожнаго воображенія... Картины прошедшаго проходятъ передъ твоими духовными очами... Смотри!

Какая тишина, какой миръ! На чудной полянѣ, подъ тѣнью громаднаго дуба, пріютилась скромная хижина. Ручей журчитъ неподалеку, скрытый зеленью, громадные скалистые утесы поднимаются за лѣсомъ, а за ними, высоко-высоко на темной лазури, сверкаютъ вѣчные льды...

На порогѣ жилища сидитъ она, златокудрая, его мама, и держитъ на колѣняхъ ребенка... Тянется къ груди крошечная ручка, и кроткая улыбка играетъ на устахъ красавицы...

— Этотъ малютка ты!—поясняетъ таинственный голосъ... А Наль и самъ это чувствуетъ, его сердце словно слилось съ сердцемъ ребенка, и такъ ему хорошо, такъ уютно и сладко...

А счастливый отецъ выходитъ на поляну изъ лѣса. Но зачѣмъ онъ печаленъ и блѣденъ? Зачѣмъ исчезло съ его лба это свѣтлое пламя?..

— Ради тебя я забылъ священный обѣтъ свой,—говоритъ пришелецъ. — И страшная кара ждетъ отступника... Идутъ за тобою... Въ странѣ рабовъ нѣтъ героевъ, а много предателей... Есть животная жажда свободы, а не духовной воли... Предали меня и ведутъ сюда иноземцевъ. Окруженъ уже лѣсъ—нѣтъ спасенія!..

Опустилъ голову падшій сынъ великаго духа и, покорный судьбѣ, отошелъ въ сторону.

А люди пришли.

Со всѣхъ сторонъ входили индусы, вооруженные и безоружные, махали руками, показывали сюда и низко кланялись побѣдителямъ...

Почтительно подошелъ къ красавицѣ человѣкъ въ бѣломъ мундирѣ, въ тяжелой каскѣ, волоча за собою желѣзную саблю.

— Часъ избавленія насталъ!—произнесъ онъ.

И ее повели съ торжествомъ.

. . . . . .

Вотъ людная пристань большого приморскаго города, за лѣсомъ мачтъ разстилается необозримая синева океана... Стоитъ «Благодатный» на выступѣ дамбы и смотритъ во слѣдъ отходящему кораблю... Блѣднѣютъ удаляющіеся паруса, словно уходятъ въ эту синюю бездну, скрылись давно, а все стоитъ и смотритъ во слѣдъ «Благодатный».

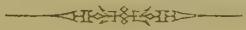
Исполнено невыносимыхъ страданій его сердце, и эти страданія больной, безпамятный Наль, капля за каплею, вмѣстѣ съ нимъ переживаетъ—и разомъ все порвалось и стихло.

. . . . . .

Очнулся Сергѣй Николаевичъ, быстро вскочилъ съ кровати и покачнулся. Онъ схватился рукою за лобъ, что-то силился вспомнить... долго, мучительно; наконецъ, вспомнилъ, метнулся за оружіемъ — не нашелъ ни сабли, ни револьверовъ... Онъ бросился къ двери, отдернулъ коверъ, распахнулъ обѣ половинки, оказавшія однако сильное сопротивленіе, зазвенѣла лопнувшая цѣпь, и брякнулъ упавшій замокъ... Два ружья скрестились передъ самою его грудью.

— Назадъ! — произнесъ грубый, повелительный голосъ.

У дверей Наля стояли часовые.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I. Выручка.

Вопреки ожиданіями Шолобова, ночь прошла благополучно. Къ разсвѣту непріятель тоже не обнаруживалъ намѣренія повторить штурмъ.

Наступилъ второй день осады,—день, полный невыносимыхъ мученій. Какъ тщательно ни сберегали воду, накопленную въ кувшинахъ и баклагахъ, но эта вода была выпита вся безъ остатка. Оставалось только два ведра, сданныя въ распоряженіе доктора. Отъ неубранныхъ труповъ поднималось зловоніе, а эти трупы горами лежали у самыхъ воротъ, особенно на позиціи покойнаго Глухарева.

Солдаты, съ запекшимися отъ жажды устами, глядѣли мрачно и молчали. Но никому не приходила въ голову мысль о сдачѣ. Всѣ готовились къ смерти, желая нетерпѣливо штурма и боя, чтобы уже, если погибать, то какъ слѣдуетъ.

Мелькнула-было мысль о вылазкѣ, но эта мысль оставлена скоро, какъ безцѣльная и невозможная.

И какая странная, томительная тишина наступила кругомъ и тянулась весь этотъ мучительный день до самаго солнечнаго заката. Первые звуки, нарушившіе эту тишину, были: у насъ—рокотъ барабана, бьющаго вечернюю зарю, и тихое пѣніе молитвы хоромъ; у нихъ—унылые, протяжные, призывающіе къ молитвѣ голоса муэдзиновъ.

Ночная прохлада оживила немного осажденныхъ, но не на долго. Къ разсвѣту у многихъ начался бредъ. Раненые умирали отъ ранъ, сравнительно ничтожныхъ. Ослабѣлыя руки живыхъ съ трудомъ едва поспѣвали хоронить умершихъ.

Число защитниковъ рѣдѣло съ каждымъ часомъ.

Утромъ, на третьи сутки, снова явились парламентеры, но ихъ встрѣтили выстрѣлами.

Враги не отвѣчали на эти выстрѣлы... Жаль!.. Эта мертвая тишина становилась уже невыносимою.

— Изморомъ хотятъ взять! — рѣшилъ комендантъ. — Что-жь, долгъ свой выполнимъ честно!

Отецъ Никаноръ служилъ обѣдню по случаю праздника, а къ молебну вышелъ на западный барбетъ. Вынесли крестъ и обѣ хоругви. Солдаты не окружали палой, оставались на своихъ мѣстахъ колѣнопреклоненные и набожно крестились.

Съ кропиломъ и крестомъ священникъ обошелъ всю позицію. Столбушинъ несъ за нимъ чашу, и глаза молодого прапорщика лихорадочно горѣли, глядя на воду. А воды этой было всего нѣсколько капель.

Подошелъ докторъ къ коменданту и проговорилъ тихо:

— Фельдшеръ Айзикъ зарѣзался ланцетомъ!

— Что поторопился? — печально усмѣхнулся Иванъ Алексѣевичъ.

А солнце какъ стало на зенитѣ, такъ и не движется болѣе. Конца нѣтъ этому дню, и часовыя стрѣлки будто замерли на своихъ мѣстахъ.

— А что если, вотъ какъ стемнѣетъ, выйти, кто въ силахъ, и ударить?—предложилъ Буреломъ.

— Мы погибнемъ тамъ, внѣ цитадели, а *должны* погибнуть *здѣсь*!

Шолобовъ такъ подчеркнулъ слова «должны» и «погибнуть», что Буреломъ только взглянулъ ему въ глаза и молча пожалъ руку.

Но, вопреки общаго ожиданія, на разсвѣтѣ четвертаго дня, въ непріятельскомъ лагерѣ стали рѣшительно готовиться къ штурму, готовиться энергично, чрезмѣрно торопливо даже.

Бабаджанъ прибѣжалъ съ западнаго барбета.

— Знаешь, что это значитъ?—указалъ онъ на дальнюю мечеть Ивану Алексѣевичу.

— Знаю!—радостнымъ тономъ отвѣтилъ тотъ.—Наши возвращаются, и близко. Послѣдняя попытка Алемкула завладѣть нашей позиціей и дать отпоръ. А то ему бѣда! Между двухъ огней попадется!

— Ей-Богу же такъ! Чего бы ему, въ самомъ дѣлѣ горячиться, когда черезъ день, много два, могъ бы забрать насъ руками!

Немногіе, сохранившіе силы, защитники стѣнъ повеселѣли.

Часовъ около семи утра все обгорѣлое пространство начало заполняться вражескими массами. Передніе шли бѣгомъ съ неистовыми воплями «Алла!» производя на бѣгу безпорядочную, безвредную пальбу изъ ружей. Этимъ маскировали идущія позади нихъ густыя массы со штурмовыми лѣстницами и вязками хвороста для закидыванія рва.

Дымъ и огонь окутали гребни стѣнъ цитадели. Грянули орудія, завыла картечь, и начался, до сихъ поръ еще не забытый, отчаянный, адскій штурмъ.

Крѣпостныя ворота, заваленныя снаружи сухимъ хворостомъ и соломою, пылали. Пламя поднималось куда выше боковыхъ башенъ, а тушить было нечѣмъ. Страшный жаръ стоялъ въ крытомъ туннелѣ и заставилъ отступить защитниковъ въ глубину площадки.

Здѣсь стоялъ Столбушинъ у орудія, заряженнаго предпослѣднею жестянкою картечи, и ждалъ момента, когда падетъ стѣна пожара, и хлынутъ враги.

На крутизны западнаго барбета лѣзли съ остервенѣніемъ неслыханнымъ. Зеленое знамя муллы Алемкула развѣвалось неподалеку. Сквозь дымъ боя виденъ былъ и онъ самъ, окруженный муллами и ближайшими сподвижниками. Мулла Годдай, на старой бѣлой лошади, держалъ высоко надъ головою раскрытый Коранъ.

Ровъ перешли у самаго подножія стѣнъ, прижались враги въ сравнительно безопасномъ пространствѣ. Послышались глухіе удары китменей и зловѣщій шорохъ осыпающейся глины. Тамъ пробивали брешь.

Вдругъ въ адскомъ шумѣ боя наступилъ короткій мигъ затишья. Простая случайность, но въ этотъ мигъ издалека, словно неясное эхо того, что происходило здѣсь, послышались пушечные выстрѣлы. Одинъ... другой... третій.. залпъ!.. И хриплое, словно полузадушенное, слабое, но радостное «урра!» отвѣтило имъ со стѣнъ цитадели.

— Выручаютъ!.. Генералъ идетъ!..—пронеслось по рядамъ.

И все лихо, все горе было забыто мгновенно.

— Спасибо, ребята! Спасибо, братцы! Ну, вотъ и дождались Божьей помощи!—говорилъ Шолобовъ.

Но, увы! Комендантъ не шелъ уже по рядамъ защитниковъ своею обычною твердою поступью,—его несли на ружьяхъ, съ безпомощно отвисшею книзу рукою, блѣднаго, въ залитомъ кровью, разстегнутомъ кителѣ.

— Иванъ, плохо? — нагнулся къ нему отецъ Никаноръ.

— Нѣтъ, слава Богу!—Кажется, пустяки... А, впрочемъ, кто его знаетъ!

Передніе, не зная, что происходитъ сзади, еще продолжали пробивать брешь и лѣзть на барбетъ—и гибли подъ обрушенными на ихъ головы зубцами стѣнъ; но главныя массы штурмовыхъ колоннъ отступали поспѣшно. Нестройными толпами стала овладѣвать паника. Мулла Алемкулъ со своими сподвижниками тщетно пытались привести войска въ порядокъ... Поздно!..

Изъ-за городскихъ стѣнъ, гдѣ еще такъ недавно кишѣли цвѣтные халаты, показались бѣлыя рубахи. Изъ-за дальней мечети въ карьеръ выскочили два казачьихъ орудія и снялись съ передковъ какъ разъ на перекресткѣ базарной улицы. Зазвенѣла картечь. Гдѣ-то далеко слышалось перекатами «урррра!..»

Началось сплошное, безсмысленное, стадное бѣгство. Бѣлая лошадь муллы Годдая неслась прямо на орудія. Но уже на ея спинѣ не было вдохновеннаго всадника; въ пыли и грязи волочилась сцѣпившаяся со сбитымъ на бокъ исковеркашнымъ сѣдломъ безобразная масса.

Показался голубой значекъ, за нимъ ярко-красный, за нимъ желтый съ чернымъ, за нимъ еще и еще—цѣлый букетъ знаменъ, и въ густой пыли, поднятой сотнями конскихъ ногъ, замелькали бѣлые офицерскіе кителя.

Это былъ генералъ со своею свитою.

Столбушинъ вдругъ чего-то струсилъ. Онъ безпокойно искалъ глазами кого-нибудь старшаго... у кого спросить, чью команду слушать. Но генералъ уже былъ близко, уже у воротъ.

Молодой прапорщикъ подтянулся и торжественно крикнулъ:

— Смирно! Глаза на-пра-во!..

Осада была снята, дни мученій прошли.

II. День торжества и скорби.

Встрѣтивъ главнокомандующаго, съ крестомъ въ рукахъ, какъ разъ на порогѣ обгорѣлыхъ воротъ, отецъ Никаноръ занялся приготовленіями къ благодарственному молебну; къ нему присоединился другой священникъ, вернувшійся съ отрядомъ, совсѣмъ молодой и еще очень суетливый, любопытный до невозможности, болѣе мѣшавшій нашему старику своими непрерывными разспросами.

Мѣстомъ для молебна назначенъ былъ тотъ же покрывшій себя славою, окровавленный западный барбетъ.

Генералъ былъ мраченъ и угрюмъ. Настроеніе его духа замѣтно отражалось на лицахъ окружавшей его свиты.

Навѣстивъ раненаго Шолобова, генералъ оставался съ нимъ наединѣ довольно долго. Онъ справился о состояніи поручика Рубана-Опальнаго. Ему доложили, что лежитъ еще безъ сознанія.

Странно какъ-то усмѣхнулся старикъ при этомъ. Скорѣе эта, скривившая его сѣдоусое, изрытое морщинами лицо, улыбка напоминала гримасу, вызываемую мучительною болью.

Генералъ потребовалъ старшаго адъютанта и отдалъ приказаніе сдѣлать обыскъ въ квартирѣ Наля, отобрать всѣ бумаги, письма и оружіе и приставить къ дверямъ строгій караулъ.

Разрѣшено было навѣщать страннаго больного только одному доктору, да и то не нашему, а другому, преземистому нѣмцу, изъ стрѣлковаго батальона.

И странно, этотъ совершенно неожиданный арестъ общаго любимца какъ будто никого не удивилъ нисколько. Будто бы это такъ и слѣдовало, такъ и ожидали всѣ, да откладывалось только пока, за недосугомъ.

Узналъ скоро и тяжело раненый Шолобовъ объ этомъ арестѣ и промолчалъ, только ему стало значительно хуже.

Столбушинъ, разговаривая по сему поводу со своимъ скуластымъ другомъ, рѣшилъ, что генералъ разсердился на Сережу за его болѣзнь не во-время

— Ей-Богу, онъ думаетъ, что Наль струсилъ и притворился больнымъ, а это неправда! — наивно, истолковывалъ происшедшее юный защитникъ цитадели.

— А я думаю — хуже, — таинственно подмигнулъ киргизъ. — Много хуже. Только то также совсѣмъ не правда!

Отслужили молебенъ, съ хоромъ пѣвчихъ, съ вѣнкомъ знаменъ и значковъ вокругъ налоя.

Генералъ все время стоялъ на колѣняхъ и плакалъ. То-есть, онъ не плакалъ, а сами собою слезы сбѣгали по морщинамъ щекъ и капали на ордена съ кончиковъ сѣдыхъ усовъ. И не онъ одинъ—многіе плакали тоже.

Съ отцомъ Никаноромъ сдѣлался даже маленькій обморокъ во время службы... Еще бы! Истомился старикъ за осаду. Отецъ Василій хотѣлъ-было замѣнить его, да оправился первослужащій, помочилъ голову водою изъ чаши и продолжалъ.

Подошли два офицера и все время службы поддерживали его подъ руки.

Крестный ходъ начался вокругъ стѣнъ, по наружной сторонѣ. Не могъ идти отецъ Никаноръ—его понесли на рукахъ. И генералъ тоже несъ. Сдѣлали изъ ружей носилки, покрыли ихъ офицерскими пальто, посадили старика въ полномъ облаченіи и понесли. Улыбается отецъ Никаноръ. И, дремлется ему, ослабѣлая рука чуть помахиваетъ въ воздухѣ кропиломъ, и шепчутъ уста неясныя моленія.

Четыре казачьихъ сотни разсыпались по окрестностямъ разыскивать и силою сгонять жителей для уборки тѣлъ. Ибрагимъ-бай взялся за это неотложное дѣло, и на его халатѣ сверкалъ теперь солдатскій Георгіевскій крестъ, лично надѣтый самимъ главнокомандующимъ.

Работа по очисткѣ кипѣла.

А мулла Алемкулъ поспѣшно отступалъ со своими главными, регулярными силами, преслѣдуемый по пятамъ нашими. Народная милиція оставила его и бѣжала.

За городскими стѣнами вырыты были громадныя глубокія ямы, куда сваливались тѣла. Слава Богу, вѣтеръ тянулъ отъ цитадели, а то бы дышать было невозможно.

Маркитантъ Касимка уже разбилъ на старомъ мѣстѣ свою гостепріимную палатку, и подъ ея сводами собирались офицеры, толкуя о минувшихъ событіяхъ.

Столбушинъ, Бабаджанъ и сотникъ Буреломъ были героями дня и центромъ горячо толковавшихъ кружковъ.

Докторъ сдалъ свою обязанность, жалуясь на сильную головную боль и тошноту. У него, видимо, начинался тифъ, разгораясь съ неудержимою силою.

*

Панихиду по убіеннымъ воинамъ служилъ уже отецъ Василій, ибо отецъ Никаноръ спалъ теперь крѣпчайшимъ сномъ, отдыхая отъ четырехсуточнаго безпрерывнаго бдѣнія и нравственнаго гнета. Когда его проводили мимо квартиры Наля, онъ съ глубокимъ вздохомъ взглянулъ на угрюмыя фигуры часовыхъ и слабою рукою благословилъ запертую дверь.

— Претерпѣвшій до конца—спасется! —проговорилъ отецъ Никаноръ, отыскивая глазами своего обычнаго собесѣдника, Григорія Ивановича.

Но старый дядька, увы! тоже лежалъ въ госпиталѣ съ признаками начинающагося тифа.

Страшный бичъ, сотрудникъ меча, косилъ безпощадно, набросившись преимущественно на уцѣлѣвшіе остатки геройскаго гарнизона.

Въ это-то время очнулся Сергѣй Николаевичъ отъ своего непонятнаго сна.

III. Улики.

Между тѣмъ надъ головою Наля скопились грозныя тучи, уже не подозрѣній только, а тяжелыхъ, казалось, неопровержимыхъ уликъ.

Наступая на мнимаго муллу Алемкула, видя передъ собою только разъѣздъ его арьергарда, главныя наши силы все удалялись и удалялись отъ города. Два три незначительныхъ, но побѣдоносныхъ дѣла еще болѣе подтвердили убѣжденіе генерала. Плѣнные въ одинъ голосъ показывали, что принадлежатъ къ войскамъ отважнаго полководца мусульманъ, обѣщая роковую встрѣчу по ту сторону горъ. Въ ущельѣ Шайтанъ - дервазъ войска наши встрѣтили врага на сильно укрѣпленной позиціи. Недѣля понадобилась на ея обходъ, на перетаскиваніе обозовъ и артиллеріи по невозможнымъ, такъ называемымъ, козьимъ горнымъ тропинкамъ.

Ущелье было обойдено, покинуто защитниками почти безъ боя, а тѣнь муллы Алемкула отходила все дальше и дальше, изнуряя наши войска, удаляя ихъ отъ главной базы.

А отъ Шолобова приходили извѣстія самыя утѣшительныя. Это были записки на французскомъ языкѣ и содержаніе этихъ записокъ было самое пріятное.

«Все покойно. Населеніе укрѣпляется въ вѣрноподданни-

чествѣ и извѣрилось въ обѣщанія Алемкула. На базарѣ говорятъ, что храбрый батырь бѣжитъ передъ русскими. Гарнизонъ ни въ въ чемъ не нуждается, даже почта приходитъ своевременно».

Въ отрядѣ были кое-кто знающіе по-французски, и самъ генералъ, конечно, тоже, но все-таки не настолько, чтобы разбирать стиль записокъ—благо поняли. Шолобовъ не зналъ иностранныхъ языковъ вовсе, а понятно, не желая, чтобы читались его извѣстія, попавъ въ руки врага, хотя бы случайно, обратился къ помощи своего друга, Наля; тотъ и писалъ. Кто же могъ еще?.. И вдругъ.. о, ужасъ! Всѣ эти донесенія оказались ложными.

На одной изъ стоянокъ, въ передовой цѣпи задержали оборваннаго, измученнаго, почти умирающаго пѣшехода. Несчастный требовалъ, чтобы его немедленно провели къ генералу.

Никто бы не могъ узнать въ этомъ жалкомъ созданіи когда-то молодцоватаго, лихого джигита Юнуса. А это былъ онъ... Разсказъ его поразилъ всѣхъ, какъ громомъ.

Юнусъ говорилъ о безпокойствѣ въ окрестностяхъ города, о приготовленіяхъ къ осадѣ; онъ увѣрялъ, что уже четверо джигитовъ были раньше посланы съ такими же вѣстями, но пропали, что капитанъ Шолобовъ послалъ его, какъ послѣднюю надежду, взявъ клятву въ вѣрности. Джигитъ разсказывалъ, какъ его схватили на второмъ переѣздѣ и отобрали бумаги,— самаго же обѣщали зарѣзать. Ночью онъ бѣжалъ, рѣшивъ все-таки нагнать и отыскать генерала. Что онъ и на словахъ можетъ передать все, такъ какъ ему извѣстно положеніе, и о чемъ писалъ тюра-комендантъ, да потомъ раздумалъ, и рѣшилъ вернуться, предупредить Шолобова, такъ какъ онъ лично видѣлъ ставку Алемкула.

Когда Юнусъ былъ уже въ нѣсколькихъ верстахъ отъ городскихъ воротъ, а шелъ онъ ночью, пользуясь темнотою, его остановили два человѣка. Одного онъ узналъ по голосу. Это былъ Девлетъ-шахъ-курбаши, другого не могъ распознать. Вотъ этотъ то другой и выстрѣлилъ въ него изъ пистолета. Юнусъ бросился было бѣжать — тѣ за нимъ. Онъ бѣжалъ долго и, наконецъ, упалъ въ безпамятствѣ. Очнувшись, онъ понялъ, что тяжело раненъ, напился воды изъ арыка, долго отлеживался въ пустой, брошенной саклѣ... и попытался было идти. Кто-то лѣчилъ его, кормилъ, кто именно — не помнилъ тогда и не

понималъ, а пришелъ въ себя только черезъ двѣ недѣли, и поблагодаривъ пріютившихъ его бѣдняковъ, семью мусорщиковъ-байгушей, рѣшилъ, во что-бы то ни стало, исполнить данное коменданту слово. Дальнѣйшій разсказъ джигита былъ цѣлая эпопея страданій, лишеній и страха. Но Аллахъ помогъ—и вотъ онъ разыскалъ-таки генерала.

Очевидно, что всѣ получаемыя до сихъ поръ донесенія были ложь.

Въ разсказѣ Юнуса особенно поразило одно обстоятельство, а именно: тотъ второй, кто стрѣлялъ въ него,—тотъ, кого онъ не узналъ въ темнотѣ, былъ въ бѣломъ, русскомъ кителѣ.

Немедленное возвращеніе форсированнымъ маршемъ рѣшено было въ ту-же ночь.

Накапунѣ послѣдняго перехода казаки авангарда встрѣтили конную партію вооруженныхъ всадниковъ. Всадники везли съ собою тѣло своего начальника—упорно дрались за эту святыню, а всетаки были опрокинуты и бѣжали, — и завернутый въ дорогіе ковры трупъ вождя, и вьючные кони съ его добромъ все досталось въ руки казакамъ. Въ числѣ отбитаго имущества обратила на себя вниманіе русская форменная сабля съ дорогимъ шифрованнымъ толедскимъ клинкомъ. Сабля—хорошо знакомая всѣмъ офицерамъ отряда, сабля Сергѣя Николаевича.

Единственный плѣнный изъ конвоя Нурмеда,—а это было его тѣло, — объяснилъ, что это сабля большого друга покойнаго, съ которымъ ихъ вождь побратался на вѣкъ. Плѣнный этотъ больше ничего не добавилъ, такъ какъ съ наконечникомъ пики, глубоко забравшимся подъ ребра, много не разболтаешься. Но и этого было довольно.

А тутъ еще явилось одно, прямо уже подтверждающее обвиненіе обстоятельство: возвратился отрядъ, преслѣдовавшій отбитаго отъ стѣнъ муллу Алемкула. Отрядъ этотъ нагналъ обозъ вождя и съ обозомъ отбита была личная его ставка со всѣми бумагами и документами.

Пересмотръ этихъ бумагъ обнаружилъ переписку Девлетъ-шаха, и въ ней ясно было видно, что рѣчь идетъ о русскомъ офицерѣ, предлагавшемъ врагу подлыя, но честолюбивыя требованія. Имени офицера не было въ перепискѣ, но имя это у каждаго вертѣлось на языкѣ.

Когда Богъ попуститъ затемненіе разума у человѣка, то

обыкновенно тогда только становится все необыкновенно яснымъ.

Такъ и теперь. Всѣ странности Наля, всѣ его чудесныя приключенія, необыкновенное избавленіе отъ опасности послѣ Улькунъ-Томаши, удивительная неуязвимость—все стало яснымъ и понятнымъ, а тутъ еще и семейная переписка, разобранная и внимательно прочтенная двумя штабъ-офицерами слѣдователями—раскрыла глаза.

— Да въ немъ и русской крови нѣтъ ни капельки! — рѣшили прозорливые слѣдователи.—Что-же тутъ необычайнаго!

Казаки изъ полусотни Бурелома,—словно общее подозрѣніе, быстро охватившее всѣхъ, развязало имъ языки, — докладывали, что видѣли поручика, какъ онъ передъ самымъ этимъ разомъ былъ у непріятеля, говорилъ съ нимъ и прямо, значитъ, на нашъ ведетъ выкатилъ,—съ этого часу и началось.

Буреломъ подтвердилъ это показаніе.

Высказанное было Столбушинымъ и Бабаджаномъ подозрѣніе на Костецкаго, на его подозрительную, чуть было разомъ все не погубившую вылазку, пропущено мимо ушей.

Къ подозрѣнію этому отнеслись съ крайне легкомысленной небрежностью, такъ слабо казалось оно, сравнительно съ ясною логичностью и послѣдовательностью уликъ противъ Наля.

Летаргическій, совсѣмъ уже не кстати, сонъ поручика Рубана-Опальнаго тоже объяснился естественно... Иначе предателю пришлось бы драться и рисковать. Смысла бы не было. Хотѣли было накинуться на доктора—какъ это онъ не могъ освидѣтельствовать мнимо - больного, какъ слѣдуетъ. И это «какъ слѣдуетъ» рисовалось теперь у всѣхъ въ самыхъ разнообразныхъ и энергическихъ предположеніяхъ. Но докторъ былъ теперь самъ въ бреду и безпамятствѣ, и подвергать его допросу не приходилось.

Надъ больнымъ Григоріемъ Ивановичемъ тоже учредили негласный надзоръ, и тоже имущество дядьки подверглось строгому обыску, а такъ какъ въ этомъ имуществѣ оказалась весьма изрядная денежная сумма, то все переписали и сдали подъ караулъ на храненіе.

Только отецъ Никаноръ сохранилъ глубокую увѣренность въ полной невинности Наля. Лично говорилъ объ этомъ съ генераломъ, чуть было не поколебалъ стараго рубаку, но слѣдствіе

шло энергично и било неопровержимою логикою полнаго обвиненія.

Отецъ Никаноръ просилъ свиданья съ заключеннымъ и получилъ отказъ. Ему сказали очень многозначительно:

— Въ свое время это будетъ, *даже по закону*, необходимо!

— Увидите, если Святой Промыселъ не откроетъ вамъ глазъ и не обѣлитъ неповиннаго!—пророчески произнесъ старый священникъ.

А генералъ, наклонивъ благоговѣйно голову, самъ того не замѣчая, проговорилъ:

— Аминь!

IV. Судъ и приговоръ.

Сергѣй Николаевичъ, убѣдившись, что онъ арестованъ и находится подъ строгимъ карауломъ, отнесся удивительно спокойно къ своему положенію.

Онъ даже не сразу понялъ, въ чемъ дѣло, и не особенно пытался разъяснить себѣ данное обстоятельство.

Въ душѣ Наля было такъ мирно и тихо, какъ въ душѣ человѣка, очнувшагося послѣ продолжительной, тяжелой болѣзни, забывшаго обо всемъ, что было прежде, не ощущающаго ничего, кромѣ наслажденія данною минутою покоя и отрады.

Стѣною поднимался передъ его духовными очами туманъ забвенія, и въ этомъ туманѣ, мало-по-малу, исчезало все пережитое, прошлое. Словно на порогѣ новой жизни стоялъ онъ, силясь проникнуть мыслью впередъ, не оглядываясь на то, что осталось сзади.

Низкій, тяжелый, украшенный рѣзьбою и позолотою потолокъ, со своимъ массивнымъ ковромъ, расписанными балками, былъ почти надъ самою его головою, а ему казалось, что надъ нимъ, въ недосягаемой вышинѣ, на фонѣ темно-синяго южнаго неба, колышатся роскошныя пальмовыя кроны... И тянетъ его въ эту лучезарную высь... безплотнаго, окрыленнаго духомъ.

Караульный унтеръ-офицеръ внесъ къ нему въ саклю чай и хлѣбъ. Косясь на заключеннаго, солдатъ осторожно поставилъ принесенное на столъ, смахнувъ предварительно рукавомъ пыль и, пятясь задомъ, вышелъ, сильно захлопнувъ за собою дверь. Захлопнулъ и перекрестился.

Сергѣй Николаевичъ не обратилъ на него никакого вниманія. Ему блеснулъ только въ глаза яркій просвѣтъ отворенной двери, и въ этомъ просвѣтѣ, въ этомъ золотистомъ, ослѣпительномъ солнечномъ лучѣ, мелькнулъ величественный образъ.

— Ко мнѣ, о, Благодатный!.. Ко мнѣ, отецъ мой! — радостно вскрикнулъ Наль и протянулъ руки.

И ему показалось, что *тотъ*, никому кромѣ него незримый, вошелъ въ саклю, растаявъ въ ея полумракѣ.

. . . . . .

Наступилъ часъ суда и, вмѣстѣ съ тѣмъ, перваго личнаго допроса.

Въ то смутное время, за страшною отдаленностью отъ главныхъ правящихъ силъ, права главнокомандующаго были необыкновенныя. Подписанный имъ смертный приговоръ, даже офицеру, приводился въ исполненіе немедленно. Слова закона «въ двадцать четыре часа», не были только эффектною фразою. Дѣйствительность даже предупреждала этотъ короткій срокъ. И вечеромъ того же дня былъ назначенъ судъ.

Старшіе офицеры отряда собрались въ пріемной саклѣ главнокомандующаго и молча засѣли за столъ, покрытый сукномъ. Посреди предсѣдатель,—старый штабъ-офицеръ,—и около него, больше для формы, томъ военныхъ законовъ. Генералъ приказалъ допустить всѣхъ офицеровъ отряда, да помѣститься всѣ не могли за столомъ, и молчаливою толпою стояли на площадкѣ у входа. Свидѣтели казаки были допрошены подъ присягою. Показаніе Бурелома тоже скрѣплено присяжною клятвою.

Ровный, нѣсколько дрожащій голосъ докладчика,—офицера генеральнаго штаба, съ некрасивымъ остзейскимъ акцентомъ,—монотонно дочитывалъ подробности дѣла, перебирая одинъ за другимъ всѣ факты уликъ и обвиненія.

Вздрогнули всѣ и потупились, когда показался Наль между четырехъ солдатъ, въ сопровожденіи дежурнаго по карауламъ офицера.

Сергѣй Николаевичъ, блѣдный, какъ полотно, прошелъ черезъ площадку, не взглянувъ ни на кого и, наклонившись, переступилъ черезъ порогъ.

Наступило мертвое, невыносимое молчаніе. Даже сѣдоголовый предсѣдатель словно боялся взглянуть въ лицо обвинен-

ному и, теребя жестоко кисть сабельнаго темляка, произнесъ наконецъ:

— Прочтите обвиненіе!

Опять началось монотонное чтеніе; опять гробовое, унылое молчаніе.

А на столѣ лежали подъ прессомъ-камнемъ: измятыя записки, якобы донесенія Шолохова, и двѣ сабли: одна въ роскошныхъ свѣтло-зеленыхъ ножнахъ и съ алмазами на бѣлой, костяной ручкѣ, другая форменная, русская.

Глаза Наля вдругъ заискрились и ожили, встрѣтившись съ этимъ оружіемъ.

— Гдѣ онъ? — спросилъ онъ неожиданно, прервавъ чтеніе секретаря.

Всѣ вздрогнули отъ этого звука, такъ онъ былъ неожиданъ и простъ.

— Кто?—поднялъ голову предсѣдатель.

— Нурмедъ!.. Я объ немъ спрашиваю!—повторилъ Наль.

— Онъ умеръ!

— Бѣдный другъ!.. Бѣдный братъ мой!—прошептали губы Наля, но въ этомъ напряженномъ вниманіи даже шопотъ былъ слышенъ ясно, отчетливо.

Всѣ переглянулись. Предсѣдатель тяжело вздохнулъ.

— Неужели правда?—телкнулъ тихонько Столбушинъ подъ локоть Бабаджанова и утеръ кулакомъ набѣжавшую слезу.

— Это вы писали?

Предсѣдатель протянулъ Сергѣю Николаевичу одну изъ записокъ. Тотъ не обратилъ вниманія на вопросъ и не двигался, пристально глядя на свою саблю.

Одинъ изъ офицеровъ передалъ ему бумажку, тщательно ее разгладивъ при этомъ, и повторилъ вопросъ.

Наль взглянулъ и отрицательно, улыбаясь, покачалъ головою.

— Ну, ей-Богу же, онъ лгать не станетъ! —позабывъ дисциплину, на всю саклю закричалъ Столбушинъ. — Налюша!.. Да что же ты молчишь!.. Да говори же, ради Бога!.. Объясни имъ...

Улыбка Наля стала еще выразительнѣе. Взглядъ, брошенный на молодого, увлекшагося офицера, былъ полонъ такой любви, такой глубокой благодарности, что всѣ присутствующіе почувствовали себя неловко.

— Прапорщикъ Столбушинъ! Вы не умѣете себя вести, какъ слѣдуетъ, и потому — оставьте залъ!—произнесъ строго предсѣдатель...

Прерванный этимъ маленькимъ эпизодомъ судный процессъ продолжился.

Обвиненіе, очень подробное и обстоятельное, было прочтено, дали обвиненному въ руки перо и предложили подписать роковой документъ.

Нѣсколько секундъ Наль держалъ перо въ рукахъ съ такимъ видомъ, будто употребленіе этого предмета для него совершенно незнакомо...

Рядомъ сидящій офицеръ, указалъ ему на мѣсто внизу бумаги и повторилъ настойчиво:

— Подпишите-же, если поняли!..

— Что?—словно машинально спросилъ Наль.

— Ваше имя и чинъ!

— Мое имя... имя... Ахъ, да!.. Я подпишу... Сейчасъ!

Сергѣй Николаевичъ нагнулся надъ листомъ и подписалъ.

Офицеръ рядомъ слѣдилъ за его рукою и пожалъ плечами, другой заглянулъ и вытаращилъ глаза.

Въ концѣ листа ясно и четко стояло:

«Наль—сынъ Благодатнаго».

Этого уже никто не ожидалъ, и всѣ растерялись окончательно.

Предсѣдатель долго и внимательно разсматривалъ подпись и вдругъ произнесъ:

— Уведите подсудимаго!

Караульный офицеръ вступилъ въ свои права, о плитный полъ застучали приклады ружей, и Наля повели обратно.

Всѣ вздохнули свободнѣй и стали, мало-по-малу, овладѣвать собою.

— Это издѣвательство! — разразился вдругъ сухощавый офицеръ, артиллеристъ съ длинными рыжими бакенбардами и желчнымъ лихорадочнымъ лицомъ.—Это притворство и слишкомъ грубое, даже циничное. Рехнулся, видите!.. Съ ума сошелъ!.. Это обыкновенная уловка—такихъ господъ, когда нѣтъ выхода... послѣдняя соломенка...

Его раздраженіе передалось невольно большинству...

Предсѣдатель вынужденъ былъ призвать къ порядку, и когда тишина возобновилась, раздалась его покойная рѣчь:

— Господа! Мы здѣсь присутствуемъ при исполненіи печальной, крайне тяжелой, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и крайне важной обязанности. Въ нашихъ рукахъ теперь жизнь и честь когда-то нашего товарища, нашего, до сихъ поръ, то есть, до постановленія приговора — офицера. Обвиненіе, тяготѣющее надъ его головой, тяжко и превышаетъ предѣлы милосердія, а потому, собравъ все хладнокровіе, покойно выслушаемъ это обвиненіе, выслушаемъ все, что только можетъ хотя сколько-нибудь поколебать его,—и со спокойною совѣстью и твердымъ духомъ, постановимъ приговоръ. Говорите!

Онъ обратился къ желчному офицеру, назначенному обвинителю.

Рыжебородый артиллеристъ откашлялся и подвинулъ къ себѣ документы дѣла.

— Господа штабъ- и оберъ-офицеры,—началъ онъ, вставъ и обведя глазами собраніе, — мы имѣемъ дѣло съ преступленіемъ, величайшимъ изъ предусмотрѣнныхъ законодательствомъ вообще и военнымъ въ особенности. Мы имѣемъ дѣло съ измѣною, задуманною заблаговременно, тщательно подготовлявшеюся и ведшею не только къ гибели нашей, то есть, нашихъ, здѣсь находящихся войскъ, но и къ гибели всего нашего русскаго дѣла въ этомъ краѣ...

Обвинитель остановился на секунду, далъ вдуматься въ сказанное и продолжалъ:

— Въ нашей средѣ явился офицеръ, молодой и очень симпатичный, но этотъ офицеръ сильно выдѣлялся изъ нашей скромной среды своими особенностями, скорѣе странностями. И вотъ эти-то странности оставлены были нами безъ вниманія. Онѣ болѣе развлекали насъ, но оставались необъясненными. Онъ, какъ будто, не нашъ, какъ будто чуждый намъ человѣкъ. Онъ любитъ Азію, мечтаетъ объ Индіи... Онъ говоритъ на всѣхъ туземныхъ нарѣчіяхъ и безпрепятственно, замѣтьте также *безконтрольно*, сносится съ туземцами. Вездѣ у него друзья, вездѣ связи... Вездѣ тамъ, гдѣ, собственно говоря, не слѣдовало-бы офицеру, особенно въ военное время... Съ этимъ человѣкомъ случаются все необъяснимыя приключенія, точно онъ окруженъ волшебнымъ ореоломъ, одаренъ какою-то сверхъ-

естественною силою... Я прошу припомнить факты, а таковыхъ не мало, и они у всѣхъ хорошо сохранились въ памяти... Въ то время, когда наши офицеры, благодаря преданности Ибрагимъ-бая и его находчивости, почти чудомъ спасаются отъ вѣрнаго плѣна,—этотъ спасается уже положительно непонятнымъ чудомъ, то-есть, непонятнымъ, если смотрѣть на дѣло глазами, ослѣпленными любовью и довѣріемъ, какими мы тогда всѣ смотрѣли!

— Нелѣпыя сказки мы принимали за необъяснимыя, но истинныя явленія. Находились люди науки, пытавшіеся намъ объяснить эти чудеса, а мы, развѣся уши, вѣрили... Припомните эти объясненія самого Наля... поручика Рубана-Опальнаго, я хотѣлъ сказать,—какъ все это было туманно и странно, и мы этимъ туманомъ ограничивались, удовлетворялись и вѣрили... Эти нервничанья, эти странныя болѣзни и обмороки... Этотъ, наконецъ, продолжительный, летаргическій сонъ, тянувшійся какъ разъ столько, сколько нужно было по расчету... Я, впрочемъ, уклоняюсь немного отъ предмета...

— Между тѣмъ, мало-по-малу, дѣйствительность начинаетъ проясняться... Все необыкновенное оказывается такимъ простымъ и вполнѣ объяснимымъ... Представьте себѣ только то, что никому не приходило въ голову. Между нами, въ числѣ офицеровъ, находится опытный и ловкій шпіонъ и предатель!

— О!—послышались недовольные возгласы.

— Я прошу васъ это только представить. Я еще не привожу эти эпитеты по адресу обвиняемаго... Я только прошу васъ предположить. Хорошо-съ! Какъ этотъ шпіонъ и предатель будетъ поступать? Приходило-ли это кому-нибудь въ голову?.. Нѣтъ?.. Хорошо-съ! Я постараюсь обрисовать такое положеніе... Во-первыхъ, таковой постарается снискать себѣ, чѣмъ-бы то ни было, любовь, уваженіе и довѣріе, это первое. Снабженный широко матеріальными средствами, онъ, конечно, скоро установитъ себѣ репутацію добраго, щедраго и безкорыстнаго малаго, такъ-съ!.. Поддерживая сношенія съ врагами, онъ для вида будетъ, пожалуй, и бить ихъ, бить эти ничтожныя единицы, жертвы искупленія, и завладѣетъ репутаціей храбреца... Далѣе: храбрецу этому враги охотно простятъ нѣсколько хотя-бы десятковъ своихъ-же головъ-демонстрацій, но тщательно

будутъ оберегать голову своего ловкаго сподручника, и вотъ вамъ причина его неуязвимости...

— Положеніе подобнаго субъекта, рискованное, требующее постоянно напряженія всѣхъ умственныхъ способностей, неизбѣжно подѣйствуетъ на его нервную систему—и тогда вамъ ясны будутъ многіе,—дѣйствительно нервныя странности... и такъ далѣе... Вернемся теперь отъ общей картины предположеній къ фактамъ. Что говорятъ эти факты? Извольте-съ:

— Первое,—это записки. Изо всѣхъ офицеровъ гарнизона только онъ одинъ знаетъ французскій языкъ. Подсудимый отрицаетъ этотъ фактъ. Рука, положимъ, не его, мы сличали съ другими его письмами, но вѣдь почеркъ записокъ, очевидно, дѣланный, и не настолько-же глупъ былъ писавшій, чтобы сохранить въ этихъ строкахъ типичныя черты своего почерка. Далѣе: показаніе несчастнаго Юнуса-джигита, этого героя преданности и усердія: «стрѣлявшій былъ въ бѣломъ кителѣ»; этого мало—пуля, вынутая изъ раны Юнуса и имъ сохраненная... Вотъ она! Это пуля револьвера системы Кольта, то есть, нашихъ офицерскихъ револьверовъ... Значитъ, безспорно, стрѣлявшій былъ нашъ офицеръ... Посмотрите, какъ адски ловко было устроено дѣло! Предатель Курбаши со своимъ сподвижникомъ, этимъ неизвѣстнымъ пока офицеромъ, держитъ положительные разъѣзды вокругъ городскихъ стѣнъ, разъѣзды въ которыхъ они, конечно, ничѣмъ не рискуютъ. Наши вѣрные джигиты ловятся и убиваются, истинные документы уничтожаются и посылаются съ другими джигитами—ложные. Странно, что всѣ тѣ джигиты, привозившіе французскія письма, куда-то безслѣдно исчезали, непростительная небрежность нашего штаба...

— Позвольте!—перебилъ кто-то.

Предсѣдатель призвалъ перебившаго къ порядку.

— Да, я повторяю: непростительная небрежность,—продолжалъ ораторъ.—Кто чаще всего изъ офицеровъ гарнизона позволялъ себѣ опасныя загородныя прогулки?. Свидѣтели показываютъ, будто Костецкій и Рубанъ-Опальный; значитъ, кто-нибудь изъ этихъ двухъ... Кто-же именно?.. Костецкаго разъ видѣли, два, но никто его не видалъ, окруженнаго эскортомъ изъ непріятельскихъ кавалеристовъ, да еще за часъ до начала осады и вслѣдъ затѣмъ штурма. Съ Костецкимъ не случалось никакихъ чудесъ, и никакія незримыя силы не являлись охра-

нять его отъ вражескихъ пуль и сабель... Костецкій храбро защищаетъ ворота... правда, онъ дѣлаетъ непростительную тактическую ошибку, вылазку, при подобныхъ обстоятельствахъ; но эта ошибка, удайся-ка она, спасла-бы осажденнымъ важную передовую позицію, и тотъ-же Костецкій былъ-бы прославленъ, какъ герой. Бѣдняга теперь— горькимъ, безотраднымъ плѣномъ искупаетъ свою ошибку... Не будемъ-же позорить его ничѣмъ не оправдаемымъ подозрѣніемъ, подсказаннымъ только тою антипатіею, которую, обыкновенно, вселяютъ къ себѣ, въ товарищескихъ кружкахъ, подобныя Костецкому натуры.

— Далѣе, у Костецкаго нѣтъ друзей и братьевъ въ непріятельскомъ лагерѣ, съ которыми онъ братался-бы мѣняясь оружіемъ. А это что?

И ораторъ указалъ на лежащія на столѣ сабли.

— А это что вы сейчасъ слышали сами, когда обвиняемый стоялъ между вами, въ маскѣ притворной невмѣняемости?..

— Письма, найденныя въ ставкѣ муллы Алемкула, окончательно открываютъ глаза и разсѣиваютъ послѣднія сомнѣнія. Имени нѣтъ... Да развѣ теперь это имя нужно?!.. Честолюбивый и пылкій характеромъ, онъ мечтаетъ о широкой власти... Требованія его не малыя... Какъ ясно выражается сангвиническая натура Рубана въ этихъ письмахъ! Я понимаю его мечты... Я понимаю его соблазны... Стать во главѣ несмѣтныхъ войскъ нафанатизированныхъ успѣхомъ, развернуть надъ своею головою свѣтлое побѣдное знамя, смять, зная военное искусство, горсть бѣлыхъ рубахъ, и быть признаннымъ милліонами освободителемъ... О, эта карьера пошире карьеры скромнаго командира роты!..

— Вѣдь если-бы не Юнусъ и его безсмертный подвигъ, если-бы удался задуманный умно и ловко планъ, цитадель-бы пала. Ободренный успѣхомъ, народъ—поголовно сгрупировался-бы подъ знаменами муллы Алемкула, и тогда-бы обвиняемый, не въ видѣ простоватаго блаженнаго, а нѣсколько-бы иначе, очнулся отъ своего сна и скоро, очень скоро мы бы видѣли его въ новомъ положеніи, окруженнаго многочисленнымъ штабомъ роскошныхъ халатовъ, опытною рукою на насъ-же направляющаго вдохновенныя массы... Но великъ Богъ земли Русской, и во время слетѣла предательская маска!.. Да не обманетъ-же

насъ вновь новая маска кроткой, ангельской простоты, любви и невмѣняемости.

— Правда восторжествуетъ, законъ найдетъ свою жертву!

— Я кончилъ!

Наступило кратковременное молчаніе, убѣдительная рѣчь обвинителя произвела впечатлѣніе сильное, почти подавляющее, и общая увѣренность въ виновности подсудимаго росла съ непреодолимою силою.

— Теперь ваша очередь!—обратился предсѣдатель къ другому офицеру, съ академическимъ значкомъ на кителѣ.

Тотъ поднялся, откашлялся и, кивнувъ головою, улыбнулся своему противнику, какъ будто извиняясь въ томъ, что ему приходится оспаривать и даже опровергать такіе неопровержимые доводы.

— Господа штабъ и оберъ-офицеры,—началъ онъ,—вещественныя улики въ тяжеломъ преступленіи нашего бывшаго товарища и нѣкоторыя противъ него личныя показанія (все это вамъ уже хорошо извѣстно), конечно, очень сильны и почти достаточны для единогласнаго обвиненія... Но я говорю *почти*, и это *почти* тоже имѣетъ нѣкоторое основаніе... Уважаемый всѣми, предсѣдатель суда, одинъ изъ старѣйшихъ нашихъ и любимѣйшихъ товарищей, сказалъ, что не слѣдуетъ упускать ничего, что-бы могло повести если не къ полному оправданію, то, по крайней мѣрѣ, къ смягченію участи подсудимаго. Съ этого малаго я и начну... Еще великій Шекспиръ, устами одного изъ своихъ героевъ Гамлета, сказалъ: «На свѣтѣ, другъ мой, Гораціо, есть еще многое, что не снилось нашимъ мудрецамъ», а это вѣрно! Состояніе духа поручика Рубана-Опальнаго, его нѣкоторыя странности, даже вполнѣ невѣроятныя событія, съ нимъ случавшіяся — нельзя уже такъ, навѣрняка, объяснять невыгодно для подсудимаго, какъ объяснялъ сейчасъ мой уважаемый предшественникъ. Въ самыхъ этихъ явленіяхъ мы видимъ уже нѣчто, далеко не такъ легко объяснимое, какъ кажется капитану... Напримѣръ: вспомнимъ суевѣрный ужасъ одного изъ плѣнныхъ послѣ Акбулакскаго дѣла при видѣ Сергѣя Николаевича и разсказъ этого плѣннаго про какого-то старика. Вы это всѣ помните?.. Далѣе: я допускаю возможность, что въ бою можно щадить или не подвергать опасности своего шпіона,

хотя-бы находящагося въ рядахъ противника, но трудно объяснить удивительную дисциплину тѣхъ, кого этотъ, яко-бы шпіонъ, убиваетъ самъ,—трудно допустить, чтобы такая дисциплина обезоруживала-бы сопротивленіе, а разъ сопротивленіе есть, то съ нею неразлучна и опасность жизни для нападающаго. Вы объясняете поѣздки подсудимаго за городъ наблюденіемъ за возвращающимися джигитами, интригою адскою, безчестною... Между тѣмъ мы знаемъ, есть даже показанія—и не одно въ дѣлѣ, что поручикъ Рубанъ-Опальный былъ заинтересованъ одною туземкой, что молодая кипучая кровь, сила, наконецъ, взаимной любви, заставляла его рисковать своею головою... это легкомысленно въ военное время со стороны офицера, но не безчестно... Подсудимый, рискуя головою, можетъ, и не думалъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ рискуетъ и честью. Къ величайшему сожалѣнію, всѣ розыски этой туземки оказались безуспѣшны. А очень можетъ быть, что ея показанія пролили-бы на дѣло совсѣмъ иной свѣтъ, чѣмъ тотъ, который въ настоящее время насъ ослѣпляетъ...

«Затѣмъ обвинитель намекалъ ясно на притворный характеръ продолжительнаго сна или обморока, во все время осады. Весьма жаль, что нашъ докторъ, ближайшій наблюдатель даннаго явленія, самъ, пораженный тифомъ, находится въ полномъ безпамятствѣ; но у насъ есть показаніе нашего храбраго и честнаго коменданта цитадели. Въ этомъ показаніи есть много въ пользу несчастнаго Рубана, и показаніе это, проникнутое духомъ увѣренности въ правотѣ Наля, приглашаетъ насъ, умоляетъ скорѣе, не торопиться роковымъ приговоромъ. Таковое же показаніе отца Никанора, раздѣляющаго вполнѣ увѣренность Шолобова, тоже нельзя не принять болѣе, чѣмъ къ свѣдѣнію. Положимъ, что въ обоихъ этихъ показаніяхъ нѣтъ фактовъ, нѣтъ, такъ сказать, матеріала, нѣтъ реальныхъ мотивовъ, но инстинктъ, предчувствіе въ подобныхъ натурахъ, каковы оба давшіе показанія, тоже чего-нибудь да стоитъ!.. Ближайшіе къ подсудимому люди: одинъ испытанный другъ, другой духовникъ,—и ни у того, ни у другаго—не зародилось никакого подозрѣнія... Почему же это? Или они въ силу дружбы и христіанскаго милосердія—не искренни въ своихъ показаніяхъ; или же—что же, наконецъ,—или они сами участники въ преступленіи и покрыватели?

— Ну-ну, эко хватилъ!.. Какъ можно!.. Это чортъ знаетъ, что такое!—послышался ропотъ въ рядахъ присутствующихъ.

— Что, видите!.. Уже возгласы показываютъ ясно, насколько нелѣпо, насколько неправдоподобно было бы подобное предположеніе... Я продолжаю:

«Выбирая изъ двухъ, я не имѣю ни желанія, ни права не только обвинять Костецкаго, но даже способствовать къ усиленію относительно него подозрѣнія. Но только одно могу замѣтить моему предшественнику, а именно: не всегда плѣнъ бываетъ тяжелъ и безотраденъ, и не для всякаго... Больше я ничего не скажу по этому поводу!

— Вотъ это вѣрно!—подхватилъ громко Бабаджановъ.

— Я, кажется, васъ тоже попрошу удалиться!—строго замѣтилъ предсѣдатель.

И киргизъ присмирѣлъ.

— Я убѣжденъ, наконецъ, что и среди васъ самихъ, среди многихъ офицеровъ и даже нижнихъ чиновъ, найдется много убѣжденныхъ въ полной невинности подсудимаго... зацѣпиться не за что... улики громадны и адски ясны, а убѣжденіе въ невинности все таки не поколеблено,—что же это значитъ?

«Это значитъ то, что свершается какой-то невѣдомый намъ, непонятный процессъ воли Божьей, что-то роковое нависло надъ нашими головами,—и не торопитесь своимъ поспѣшнымъ приговоромъ предупреждать эту Святую Волю!

Защитникъ кончилъ, поклонился и сѣлъ на свое мѣсто. Впечатлѣніе его рѣчи вышло слабое.

— Я могу говорить? — поднялся неожиданно обвинявшій.

Предсѣдатель посмотрѣлъ на всѣхъ съ недоумѣніемъ. Его взглядъ будто спрашивалъ: «Я, право, не знаю... можно или нѣтъ, какъ это тамъ полагается?»

— Что же, господа, какъ вы думаете? — спросилъ онъ, наконецъ, громко.

— Да пущай говоритъ!—пожалъ плечами старый казачій офицеръ.

А Бабаджановъ написалъ нѣсколько словъ, на оторванномъ клочкѣ бумаги и передалъ обвинителю. Въ запискѣ его значилось слѣдующее:

«Ну, что тебѣ такъ хочется, чтобы Сережу разстрѣляли... Какой ты, право!»

Тотъ прочелъ и передалъ эту наивную записку предсѣдателю. Тотъ, въ свою очередь, прочелъ, грустно улыбнулся и строго посмотрѣлъ въ сторону автора.

Обвинитель между тѣмъ уже началъ:

— Если уже въ такомъ дѣлѣ, требующемъ точности, говорить о какомъ-то внутреннемъ, ни на чемъ не основанномъ убѣжденіи, о голосѣ сердца, такъ сказать, и христіанскаго братолюбія, то нельзя оставить безъ вниманія и голосъ народа, а этотъ народъ теперь наши солдаты. Въ глазахъ этихъ солдатъ заподозрѣнъ офицеръ. Въ глазахъ этихъ солдатъ — улики, такія очевидныя, такія положительныя—имѣютъ значеніе громадное. Помните вы, какъ всего годъ тому назадъ, двое рядовыхъ изъ казанскихъ татаръ, смущенные муллою, бѣжали и передались непріятелю. Они попались въ плѣнъ къ намъ, невольно вернулись въ ряды, ранеными подняты были на мѣстѣ боя—и оба судимы были за измѣну присягѣ и знамени, оба разстрѣляны. Что же теперь скажутъ солдаты, если офицеръ, уличенный въ преступленіи, несравненно тягчайшемъ, избѣжитъ такой участи? Какъ отзовется это на дисциплинѣ, на вѣрѣ въ непреложность и силу закона?.. Подумали вы объ этомъ?.. Да если бы приговоръ впослѣдствіи оказался роковою ошибкою, это сравнительно не бѣда. Погибла бы невинно одна голова... честь памяти погибшаго была бы возстановлена. Но не погибла бы дисциплина — это уже не честь одного человѣка: это честь войска, слава его знаменъ, честь которую мы призваны оберегать всѣми силами души и тѣла, ради которой мы не можемъ останавливаться ни передъ какими жертвами. Къ охранѣ этой чести я и призываю васъ, въ эту страшную минуту!

Кончилъ обвинитель и сѣлъ.

— Доканалъ!—проговорилъ кто-то вполголоса.

Предсѣдатель подозвалъ кивкомъ головы отряднаго адъютанта.

— Какъ же, право, теперь... голосовать что-ли?

— Я думаю, а впрочемъ...

И адъютантъ торопливо началъ перелистовать сводикъ военныхъ законовъ.

— Конечно, оно покойнѣе, да и вѣрнѣй, если голосовать,— бормоталъ онъ, перебирая страницы.—Тутъ не ясно сказано... вотъ, вотъ... нѣтъ, это не то...

*

Послышался мѣрный звукъ шпоръ. Часовые стукнули прикладами ружей. Появился самъ генералъ. Всѣ встали.

Сѣдой воинъ, съ осунувшимся отъ безсонницы и тяжелыхъ заботъ лицомъ, вошелъ въ комнату и обвелъ глазами присутствующихъ.

— Измучили вы меня совѣтомъ—глухо проговорилъ генералъ и тяжело опустился на скамью.—Уже скоро разсвѣтъ... А кажется, мнѣ здѣсь быть не слѣдуетъ? Я, пожалуй, уйду... Только, какъ вы все это длинно, какъ длинно...

Но генералъ не ушелъ и озабоченно смотрѣлъ на предсѣдателя.

— Допрашивали. . прочли?—произнесъ онъ вполголоса.

Ему подали обвиненіе подписанное Палемъ, сыномъ Благодатнаго.

Изумленно посмотрѣлъ генералъ на подпись и вдругъ, совершенно неожиданно для всѣхъ, произнесъ, перекрестясь:

— Слава Богу!

И словно поясняя это восклицаніе добавилъ:

— Такъ *ему* легче будетъ... Я такъ и думалъ... такъ и думалъ... О, Господи!..

Между тѣмъ, началось голосованіе. Листъ, содержащій обвиненіе — медленно пошелъ по рукамъ. Каждый писалъ свое роковое *да* или *нѣтъ*, стараясь не глядѣть, что писали другіе.

Если, рѣшившись на самоубійство, человѣкъ ляжетъ на рельсы и будетъ смотрѣть, какъ движется къ нему тяжелая масса локомотива, что́ онъ будетъ чувствовать?

Легче, мнѣ кажется, было бы тому, чѣмъ всѣмъ здѣсь присутствующимъ, когда медленно, словно не легкій листъ бумаги, а какая-то страшная тяжесть ползъ вокругъ стола этотъ сѣрый бумажный четыреугольникъ, цѣпляясь за дрожащія руки, задерживаясь на секунду и снова продолжающій свое роковое движеніе.

Началось это движеніе отъ предсѣдателя влѣво, кончилось съ правой стороны.

Всѣ затаили дыханіе.

Въ двадцати семи *да*, было одно только *нѣтъ*, написанное крупнымъ почеркомъ, да еще черезъ *э* оборотное.

Одинъ только Бабаджановъ остался вѣренъ своему внутреннему убѣжденію.

— Приведите осужденнаго! — послышался совсѣмъ незнакомый голосъ.

Всѣ невольно вздрогнули.

А все-таки этотъ показавшійся всѣмъ незнакомымъ голосъ былъ голосъ предсѣдателя.

— Воды... дайте воды!.. Что такое? — засуетились въ глубинѣ.

Это сдѣлалось дурно обвинителю.

Прошло минутъ пять, но какихъ минутъ!

Привели Сергѣя Николаевича.

Тотъ, съ прежнею улыбкою полнаго душевнаго спокойствія, выслушалъ приговоръ.

— Такъ повелѣно свыше! — проговорилъ онъ своимъ гармоничнымъ голосомъ.

— Вамъ пришлютъ духовника! — заявилъ ему предсѣдатель.

Наль, казалось, не разслышалъ, что ему говорятъ, и продолжалъ стоять у стола, медленно обводя взоромъ всѣхъ присутствующихъ.

Эти лица, когда-то дружескія, близкія казались ему теперь совсѣмъ чужими. Если въ его взглядѣ и было что-нибудь, кромѣ величаваго спокойствія, такъ развѣ только — легкое удивленіе.

— Уведите же его! — крикнулъ кто-то.

И это было исполнено немедленно.

Когда осужденнаго подвели къ дверямъ его сакли, онъ вдругъ словно опомнился, даже вскрикнулъ, рванулся и опрокинулъ ближайшаго часоваго. Завязалась безобразная, вовсе никѣмъ не ожиданная, борьба.

— Неправда, ложь .. это подло!.. — стоналъ и хрипѣлъ Сергѣй Николаевичъ, изнемогая въ непосильной борьбѣ съ караульными.

Его не слушали, втолкнули и захлопнули дверь.

Это была реакція, но реакція минутная: что-то вспомнилось, что-то созналось въ эту минуту и забилось разомъ.

— Затихъ! — приложилъ караульный офицеръ ухо къ дверямъ.

— Какъ бы не убилъ себя чѣмъ, ваше благородіе! — осторожно замѣтилъ одинъ изъ солдатъ.

— Хорошо бы сдѣлалъ!

А до разсвѣта оставалось не болѣе часу. Надо было еще

сдѣлать должныя распоряженія. Адъютантъ торопливо дописывалъ приказъ и нарядъ.

Жребій — кому командовать разстрѣливающимъ взводомъ выпалъ на долю Бабаджанова.

V. Казнь.

Въ полуверстѣ за городомъ, за южными воротами разстилалась ровная площадь, служившая еще истари прежними ханами назначеннымъ, мѣстомъ публичныхъ казней.

Ни одно дерево, ни одинъ кустъ не отѣняли это проклятое мѣсто, только остатки старой висѣлицы угрюмо чернѣли посрединѣ, да множество бугорковъ указывали мѣста погребенія жертвъ человѣческаго правосудія.

Здѣсь еще до разсвѣта собрались нѣсколько туземцевъ-рабочихъ съ китменями, подъ конвоемъ казачьяго взвода.

Около уцѣлѣвшаго столба висѣлицы была вырыта яма, и около ямы поставленъ неуклюжій деревянный ящикъ — гробъ, прикрытый пока, до времени, циновками.

Въ цитадели никто не сомкнулъ глазъ во весь остатокъ ночи. Шолобовъ, которому стало значительно хуже, потребовалъ къ себѣ Столбушина, и взявъ со столика снятый съ своей шеи старинный образокъ-складень, сказалъ:

— Передай ему... Не въ руки, а потомъ... Понимаешь, послѣ... Положи ему на грудь... Тогда... Смотри же...

Сопутствовать приговореннаго на мѣсто казни назначенъ отецъ Василій. Старику Никанору это было бы не по силамъ.

— А заупокойную обѣдню я отслужу здѣсь, во храмѣ! — заявилъ онъ.

— Не полагается по уставу въ такихъ случаяхъ! — замѣтилъ было отецъ Василій.

— А это не твоего разума дѣла! — внушительно проговорилъ отецъ Никаноръ. — Грѣхъ за сіе на себя принимаю охотно!

Большинство офицеровъ велѣли осѣдлать лошадей, чтобы слѣдовать на мѣсто казни, но это не было простое любопытство.

Въ приказѣ, прочитанномъ по войскамъ, сейчасъ же послѣ утренней зари, назначено было въ половинѣ восьмаго, а теперь только шесть. Эти полтора часа показались вѣчностью.

Солнце взошло. Всѣ на ногахъ, бродятъ, собираются, рас-

ходятся, какъ будто и дѣло дѣлаютъ. Вонъ, лошадей повели къ водопою. Вонъ орудія моютъ. Вонъ кашевары окружили вола, понурившаго рогатую голову, уставившаго на палачей свои мутные, круглые глаза. Вонъ и у маркитанта въ шатрѣ народъ виденъ, а тихо какъ-то вокругъ, не слышно голосовъ, словно нѣмые всѣ стали, знаками изъясняются.

Тяжелое, невыносимо-унылое утро!

Ровно въ семь въ обгорѣлой рамѣ крѣпостныхъ воротъ показались всадники, — это былъ казачій передовой конвой, шагомъ спускавшійся къ базарной улицѣ. Дробный стукъ копытъ по каменнымъ плитамъ, гулко отдавался подъ сводами, замирая за первымъ поворотомъ; за казаками заблестѣли штыки пѣхотинцевъ. Это былъ взводъ Бабаджанова, раздѣленный на двѣ половины. Между этими половинами, окруженный четырьмя часовыми, шелъ Наль.

Приговоренный не обнаруживалъ никакого волненія. Онъ шелъ покойно, глядя впередъ, словно разсматривая эти холщевыя бѣлыя спины, съ перекинутыми черезъ плечи скрученными шинелями.

За взводомъ шла крытая арба, вся занавѣшенная циновками — эта была приготовлена для Сергѣя Николаевича, если бы тотъ не могъ идти.

Но ему сказали: «идите!» — и онъ пошелъ безпрекословно.

Бабаджановъ шелъ на флангѣ взвода, особенно почему-то наблюдая за равненіемъ. Онъ даже концемъ сабли осаживалъ выдвигающихся слишкомъ впередъ и вполголоса подговаривалъ съ каждымъ шагомъ:

— Ногу... Ногу!..

Члены суда, всѣ верхомъ, рысью обогнали печальный кортежъ и, не здороваясь съ людьми, въѣхали въ четыреугольникъ войскъ, вышедшихъ заранѣе и построившихъ каре вокругъ мѣста казни. Только одинъ фасъ этого каре былъ разомкнутъ, какъ разъ за позорнымъ столбомъ. Тамъ, далѣе, уходя въ утренній туманъ, чуть маячила казачья цѣпь, наблюдавшая за тѣмъ, чтобы кто-нибудь изъ любопытныхъ не попалъ случайно въ обстрѣливаемую полосу.

Отецъ Василій съ крестомъ шелъ рядомъ съ осужденнымъ, но если бы кто-нибудь наблюдалъ за выраженіемъ только его лица, то навѣрное принялъ бы его самого за этого осужденнаго.

Пришли.

— Не надо! — сказалъ Бабаджанъ, когда два унтеръ-офицера, поставивъ Наля у столба, стали разматывать веревки.

— Не надо привязывать! — повторилъ онъ громко, замѣтивъ недоумѣніе на лицахъ унтеръ-офицеровъ.

Тѣ отошли и вытянулись въ струнку.

Вдругъ кто-то крикнулъ:

— Доктора! А гдѣ докторъ?

Рыжій остзеецъ забился глубоко въ группу офицеровъ и, блѣдный, смотрѣлъ черезъ ихъ плечи.

Его попросили сойти съ лошади и стать рядомъ со священникомъ.

— Готово!..

— Прочтите приговоръ!..

— Ахъ, зачѣмъ? — послышалось въ толпѣ.

Началось чтеніе...

Кто-то махнулъ платкомъ...

— Командуйте же! — обратился къ Бабаджану старый казачій штабъ-офицеръ.

— Взводъ, кладсь!..

Штыки опустились, и тридцать ружейныхъ стволовъ стали медленно подниматься кверху.

— Пли!

. . . . . .

Но прежде, чѣмъ блеснулъ огонь, и взвилась бѣлая дымная лента, прежде, чѣмъ сухой трескъ залпа коснулся слуха присутствующихъ, Наль упалъ.

Первымъ, забывъ дисциплину, задыхаясь отъ слезъ, съ какимъ-то волчьимъ воемъ вмѣсто рыданія, подбѣжалъ къ упавшему Бабаджанъ, за нимъ еще нѣсколько офицеровъ, затѣмъ уже докторъ.

Никто не отдавалъ себѣ отчета въ этомъ движеніи.

— Ни одной пули! — крикнулъ одинъ изъ подбѣжавшихъ.

— Но онъ умеръ! — заявилъ другой. — Докторъ, что вы скажете?

— Онъ умеръ, безспорно!

Докторъ вынулъ ланцетъ и сильно кольнулъ у кисти лежащаго... Бурая капля съ трудомъ показалась и тотчасъ же запеклась.

— Нервный ударъ. Это бываетъ!—кивнулъ головою докторъ.—Я не вижу надобности повторять залпъ... Можно хоронить!

И вотъ, всѣмъ страстно захотѣлось скорѣе хоронить, скорѣе уходить отсюда. Скорѣе, скорѣе! А никто не трогался съ мѣста... Унтеръ-офицеры подняли безжизненное тѣло и опустили въ ящикъ. Столбушинъ, сдерживая слезы, наклонился надъ трупомъ и, тщательно надѣвъ на шею мертвеца цѣпочку образа-складня, засунулъ самый складень за воротъ рубахи.

Отецъ Василій, благословивъ гробъ, положилъ туда свой крестъ.

Ему замѣтили это.

— Ничего, заколачивайте! Такъ отецъ Никаноръ приказалъ мнѣ, чтобы положить, значитъ, съ тѣломъ!

Опустили гробъ въ яму... Стали засыпать...

Правосудіе было удовлетворено.

VI. Къ новой жизни.

Въ небольшомъ разстояніи отъ мѣста казни, тамъ, гдѣ дорога раздваивается вилкою, стояла полуразрушенная, старая могила какого-то, давно забытаго, праведника. Эта могила сохранила до сихъ поръ обаяніе нѣкоторой святости у туземцевъ, и на ея шестѣ болтались по вѣтру цвѣтныя тряпочки—приношенія поклонниковъ. Съ десятокъ полуистлѣвшихъ турьихъ роговъ лежали на карнизѣ подъ куполомъ, густой бурьянъ и высохшіе стебли какого-то ползучаго растенія закрыли заложенный снизу до половины стрѣльчатый сводъ входа, изъ котораго вечерними сумерками вылетали десятки летучихъ мышей.

Вотъ у этой-то могилы, во все время казни, стоялъ высокій человѣкъ съ сѣдою бородой, съ закрытымъ развившеюся чалмою лицомъ, одѣтый въ длинную бѣлую рубаху, подпоясанную темно-краснымъ шарфомъ... Когда раздался ружейный залпъ, человѣкъ этотъ взглянулъ на солнце, перевелъ глаза на край тѣни отъ могилы, рѣзко обозначавшійся на пыльной дорогѣ и, наклонившись, отмѣтилъ перстомъ ея положеніе.

Затѣмъ онъ скрылся самъ за угломъ могилы и опустился на землю.

Никто не видалъ его, а если кто случайно и замѣтилъ

эту высокую, молчаливую фигуру, то не обратилъ на нее ни малѣйшаго вниманія.

Весь день сидѣлъ старикъ на своемъ мѣстѣ, не мѣняя позы, не поднимая даже головы, и когда наступили короткія сумерки, быстро смѣнившіяся непроглядною ночною темнотою, онъ всталъ и направился къ свѣженасыпанному бугру.

На полдорогѣ къ нему присоединился другой, несшій на плечѣ тяжелый китмень.

— Ты, Сауръ?

— Я... Видишь — пришелъ во время... Заперли русскіе городскія ворота, уныніе у нихъ и тоска... Безлюдны пути, никто насъ не видитъ и не слышитъ!

— Приступимъ!—сказалъ старикъ.

Новоприбывшій сталъ опытными руками работать китменемъ, разрывая свѣжую могилу.

Работа шла споро и быстро. Могучія, мускулистыя руки Саура знали хорошо свое дѣло.

А старикъ глядѣлъ на небо, наблюдая звѣзды, по нимъ отмѣчая время, и произнесъ:

— Торопись, мой «Темный», торопись... Срокъ близокъ... Торопись!..

И самъ наклонился, самъ началъ помогать своими голыми руками, до пояса уже спустившись въ разрываемую могилу.

Стукнулъ о дерево китмень... Близко!.. Затрещали доски крыши; подсунутое между ними и стѣнкою желѣзо китменя легко отрывало гвозди.

Рука «Благодатнаго» коснулась уже похолодѣвшаго лба Наля.

— Смотри, что это?.. Крестъ! — поднялъ Сауръ что-то блеснувшее металломъ.

— Брось тамъ!

Скользя по груди умершаго, руки старика нащупали цѣпочку и складень: и то, и другое было снято и оставлено въ могилѣ.

Вдвоемъ они вытащили тѣло наверхъ и бережно положили на разостланный халатъ Саура.

Изъ складокъ своего пояса старикъ досталъ маленькій сосудъ, круглый, съ тонкимъ горлышкомъ, выдолбленный изъ цѣльнаго куска нефрита.

Наля раздѣли до-нага и бросили одежду въ могилу, которую Сауръ сталъ приводить въ первоначальное положеніе. Снова были опущены на свое мѣсто доски крыши, снова ее покрылъ слой сухой земли, все увеличивающійся съ каждымъ взмахомъ китменя.

А старикъ уже облачилъ тѣло, еще безжизненное, неподвижное, въ такую же длинную бѣлую рубаху, какая была у него самого.

Онъ осторожно, концомъ ножа, раздвинулъ крѣпко стиснутые зубы покойника и влилъ туда нѣсколько капель изъ флакона.

— Оставь то дѣло и иди мнѣ помочь! — обратился онъ къ подручному.

Тотъ немедля исполнилъ приказаніе.

Тѣло Наля было положено на-бокъ. Съ этимъ тѣломъ продѣлывалось то, что обыкновенно продѣлываютъ съ утопленниками, возбуждая у нихъ искусственно дыханіе.

И работа эта, усиленная, энергичная, но осторожная, умѣлая, скоро стала увѣнчиваться успѣхомъ.

Старикъ наклонился ухомъ къ самому сердцу пробуждаемаго и радостно произнесъ:

— Слава тебѣ, духу величайшему, слава!

Окончивъ быстро работу у могилы, Сауръ сталъ помогать «Благодатному», покорно слушая и безпрекословно исполняя всѣ его приказанія.

Изъ небольшого узла достали еще нѣсколько сосудовъ, кусокъ грубой шерстяной ткани, пропитанной чѣмъ-то обладающимъ острымъ, прянымъ запахомъ. Этою тканью помощникъ сталъ сильно и быстро растирать еще холодныя конечности. Начата была эта работа съ рукъ, отъ плеча до кисти, и скоро появилось легкое біеніе пульса.

Концы пальцевъ стали дрожать и конвульсивно сгибаться, грудная клѣтка, едва замѣтно приподнявшись, колыхнула ткань облаченія.

— Онъ дышетъ! — прошепталъ «Темный», обращаясь къ своему повелителю.

Тотъ обмакнулъ указательный палецъ въ одинъ изъ сосудовъ и провелъ этимъ пальцемъ вертикально по лбу Наля. На этомъ блѣдномъ, словно восковомъ, лбу появилось изображеніе священнаго пламени.

— Да не смоетъ во вѣкъ сила тьмы этого святаго знака просвѣтленія!—торжественно произнесъ «Благодатный», и пристально глядя нѣсколько секундъ прямо на его закрытыя вѣки, повелительно добавилъ:

— Проснись!

Наль глубоко вздохнулъ и открылъ глаза. Сауръ упалъ на колѣни, прикоснулся губами къ краю одежды «Благодатнаго» и робко спросилъ:

— Что повелишь далѣе мнѣ, «Темному»?

— Собери все и ступай. Сохрани обо всемъ, что видѣлъ, глубокую тайну и черезъ девять сутокъ жди меня у источника жизни!

— Ухожу!

«Темный» наклонился еще разъ, еще разъ поцѣловалъ край одежды старика и ушелъ, скрывшись во мракѣ ночи. А старикъ сѣлъ у изголовья Наля, положилъ его голову къ себѣ на колѣни.

«Сынъ Благодатнаго», открывъ на мгновеніе глаза, снова сомкнулъ ихъ и теперь спалъ покойно, тихо, ровно дыша, согрѣваясь все болѣе и болѣе. Отецъ наклонился надъ его лицомъ и, казалось, даже во мракѣ видѣлъ, какъ, мало-по-малу, оживляется это прекрасное лицо, покрываясь легкимъ, здоровымъ румянцемъ.

Старикъ говорилъ будто про себя, а спящій все слышалъ, каждое слово отца, достигая слуха, глубоко запечатлѣвалось у него въ сердцѣ.

«Открыта тебѣ тайна твоего рожденія... Открыта тайна моего великаго преступленія... Просвѣтленный духомъ, излюбленный сердцевидецъ величайшаго духа, я забылъ свои клятвы, увлеченный земною красотою, и погибалъ во мракѣ, отдавшись во власть духа тьмы и разрушенія. Я далъ тебѣ жизнь, похитивъ у Нирваны частицу всеобъемлющей души, и подвергъ эту святую частицу скорби, страданію и мучительной смерти, и тѣмъ искупилъ свое прегрѣшеніе... Нынѣ, къ новой жизни воскресшій, ты пойдешь во слѣдъ за мною, самъ просвѣтленный, и не оглянешься на земную жизнь, на ея лживыя, непрочныя радости, гнусные соблазны злаго духа, предательскія западни для легковѣрныхъ...

«Что дала тебѣ та жизнь, земная, плотская? Какая ра-

дость въ ней осталась не отравленной горькимъ разочарованіемъ? Какое чувство не измѣнило тебѣ?

«Позорная могила, — та, на краю которой ты, изъ нея извлеченный, спишь теперь, — эта могила дастъ отвѣтъ на вопросы. Забудь же объ этой жизни съ ея радостями плоти, отдайся всецѣло созерцанію великаго духа и скоро, просвѣтленный самъ, предстанешь предъ сонмомъ просвѣтленныхъ, постигнешь равновѣсіе покоя и свѣта, пока сама собою не спадетъ твоя земная оболочка, и не сольется ввѣренная тебѣ частица духа съ Нирваной.

«Пойдешь-ли теперь за мною, забывъ навѣки, что погибло и здѣсь зарыто?»

— Иду, отецъ мой! — ясно прозвучало изъ устъ спящаго.

— О «величайшій!» Ты слышишь?! Я исполнилъ твое повелѣніе... Идешь-ли за мною?.

— Иду, иду...

— Пока не наступитъ часъ послѣдняго испытанія! — послышался «Благодатному» голосъ въ сторонѣ... Казалось, что этотъ голосъ шелъ прямо отъ старой полуразрушенной могилы.

Амбредъ-Соръ покорно наклонилъ голову и промолвилъ:

— Я повинуюсь!

VII. Честь возстановлена.

Прошла недѣля.

Отецъ Никаноръ ежедневно молился о спасеніи души безвременно погибшаго мученика... Глубокое убѣжденіе въ невинности Наля все росло и росло въ душѣ старика... Шолобову тоже стало лучше. Онъ попросилъ къ себѣ генерала и совѣтовался съ нимъ, какъ поступить теперь съ увѣдомленіемъ въ Петербургъ о случившемся... Нельзя-ли вовсе скрыть, уничтожить даже слѣды суда и казни и написать, что сынъ погибъ во время защиты цитадели. Но, увы! Сдѣлать это было невозможно. Несчастная мать! Что будетъ съ нею?

Офицеры старались увѣрить себя и другъ друга, что все, что случилось, такъ и должно было быть, что поступили всѣ законно и правильно, а передъ закономъ голосъ сердца и дружбы долженъ умолкнуть. Понемногу даже стали успокаиваться, и жизнь вступала въ свою обычную боевую колею.

Только Бабаджанъ ходилъ пасмурный, задумчивый, изрѣдка совѣщаясь со своимъ другомъ Столбушинымъ.

Разъ онъ рѣшительно, подозвавъ товарища, сообщилъ:

— Знаешь, я хочу уйти отъ васъ, перебѣжать на ихъ сторону!

— Что ты, сумасшедшій! Опомнись!

— Да ты не думай, что въ самомъ дѣлѣ. Я такъ, нарочно. Мнѣ вѣдь тамъ повѣрятъ. Что же, я киргизъ, не вашъ, значитъ, ну, и повѣрятъ. Я тамъ все разузнаю, всю правду. Если Сережа виноватъ — тогда уже, что дѣлать. Вернусь, скажу вамъ,—всѣмъ легче будетъ; если же...

И глаза киргиза заискрились зловѣщимъ блескомъ.

Но доброму товарищу погибшаго не пришлось привести въ исполненіе свое крайне рискованное намѣреніе.

Изъ лагеря муллы Алемкула явился конный посланецъ съ письмомъ отъ Костецкаго. Письмо было адресовано въ руки генерала. Вотъ что въ немъ значилось:

«Весьма сожалѣю, что непростительная поспѣшность ваша была роковою для безвинно погибшаго, вами разстрѣляннаго. Преступленіе, въ которомъ вы его обвинили, — было сдѣлано мною. Я одинъ велъ сношенія съ Алемкуломъ. И послѣдняя вылазка была не болѣе, не менѣе, какъ приличный предлогъ плѣна. Конечно, я бы поторопился во-время раскрыть вамъ глаза, если-бъ зналъ обо всемъ, что вы тамъ творили такъ поспѣшно; но, увы! Вѣсть эта дошла до меня слишкомъ поздно. Я бы даже не открывалъ вамъ истины... Зачѣмъ? Еслибы не былъ самъ жестоко разочарованъ въ своихъ надеждахъ и планахъ. Когда вы получите это письмо, то не пытайтесь искать меня между живыми: револьверъ покончитъ мои земные расчеты, и сознаніе, что это письмо сниметъ съ памяти Рубана позорное пятно, значительно облегчаетъ мнѣ мою безотрадную, послѣднюю минуту. Прощайте и простите.

Казиміръ Костецкій».

«Болѣе подробныя доказательства невиновности вашего Паля вы найдете въ письмѣ муллы Алемкула. Ему, конечно, вы можете болѣе вѣрить, чѣмъ мнѣ. А подлеца, курбаши-Девлета, я зарѣзалъ здѣсь собственноручно».

Можете себѣ представить, что произошло въ цитадели и

во всѣхъ, не только офицерскихъ, но и солдатскихъ кружкахъ, когда содержаніе письма Костецкаго стало общеизвѣстно.

Не было офицера, который бы отъ души, всѣмъ сердцемъ не пожелалъ бы быть самъ на мѣстѣ разстрѣленнаго. И все-таки, сквозь глубокую скорбь просвѣчивало свѣтлое чувство нравственнаго удовлетворенія. Дорогое имя любимаго товарища и память о немъ освобождались изъ-подъ тяжелаго гнета позора.

Отецъ Никаноръ совершилъ крестный ходъ на могилу «невинно убіеннаго». Весь гарнизонъ участвовалъ въ этомъ печальномъ торжествѣ. На могилѣ былъ вооруженъ большой крестъ, и вокругъ положено было основаніе будущему саду. Каждый изъ офицеровъ посадилъ по дереву. Ибрагимъ-бай взялся на свой счетъ провести воду и соорудить часовню. Бывшая рота Сергѣя Николаевича назначена была на стоянку сюда, и вся мѣстность, до сихъ поръ пустынная и печальная, оживилась красивымъ бивуакомъ.

Шолобова принесли сюда на носилкахъ. Суровый воинъ рыдалъ и улыбался сквозь слезы.

Во время панихиды знаменщики окружили могилу, и при возгласѣ отца Никанора:

«И сотвори ему вѣчную память» —

старыя, отрепанныя, избитыя вражескими пулями знамена тихо наклонились и покрыли собою могильный бугоръ.

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

Прологъ 3

Часть первая.

I. На пути къ Ишанъ-Дауду 13
II. „Наль“ 23
III. Улькунъ-томаша 31
IV. Совѣщаніе 43
V. „Послѣднюю береги для себя“ 52
VI. Корень и стебель 59
VII. Тревога 66
VIII. Раздумье и грезы 71
IX. Развѣдка 75
X. Возвращеніе 85

Часть вторая.

I. Амбредъ-Соръ 91
II. У маркитанта 96
III. У постели больного 101
IV. Покровитель Гуль-Гуль 109
V. Гуль-Гуль влюблена 115
VI. Почта изъ Россіи 127
VII. Тяжелое раздумье 141
VIII. Дружба, преданность и любовь 146
IX. Военный совѣтъ 153
X. Тигрица 159
XI. Штурмъ 171
XII. Переговоры 178
XIII. Видѣнія и грёзы 185

Часть третья.

I. Выручка 190
II. День торжества и скорби 194
III. Улики 196
IV. Судъ и приговоръ 200
V. Казнь 214
VI. Къ новой жизни 217
VII. Честь возстановлена 221

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Н. Н. КАРАЗИНА.

ТЬМА НЕПРОГЛЯДНАЯ.

Повѣсти и разсказы.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе П. П. Сойкина.
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Стремянная, 12, соб. домъ.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Невскій, 96, уг. Надежд.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 22 ЯНВАРЯ 1905 Г.

ТИПОГРАФІЯ И. Н. СОЙКИНА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ. СТРЕМЯННАЯ, 12.

ТЬМА НЕПРОГЛЯДНАЯ.

Разсказъ изъ гаремной жизни.

I.

Въ общей саклѣ, на женской половинѣ дома купца Суффи Казиметова, сидѣли двѣ женщины и разговаривали очень оживленно, то, очевидно, увлекаясь, довольно громко, даже вскрикивая и перебивая другъ друга, то понижая голосъ почти до шопота, причемъ обѣ боязливо поглядывали на боковую дверь, завѣшанную тяжелымъ текинскимъ ковромъ.

Несмотря на большую груду раскаленныхъ угольевъ подъ желѣзнымъ таганомъ въ центрѣ помѣщенія, въ саклѣ было холодно, и собесѣдницы плотно кутались въ теплые халаты, накинутые поверхъ головъ, и усердно поджимали подъ себя ноги, обутыя въ мягкія сафьянныя «ичеги».

На таганѣ кипѣлъ большой чугунный кунганъ съ водою, а немного подальше отъ огня стояли маленькіе мѣдные гразированные кунганчики и даже одинъ русскій фарфоровый чайникъ, съ розою на пузатомъ боку; на подносѣ разставлены были зеленыя плоскія чайныя чашечки китайской фабрикаціи, а поближе къ собесѣдницамъ стоялъ еще одинъ подносъ съ фисташками, миндалемъ и сухимъ кишмишемъ,—угощеніе, довольно скудное. Гостей, очевидно, не ждали, да и сама сакля была не прибрана, какъ слѣдуетъ, а въ полномъ домашнемъ безпорядкѣ. Возвышенныя части глинобитнаго пола были устланы простыми войлоками, не покрытыми коврами, какъ подобаетъ, а сами ковры лежали въ тугихъ сверткахъ вдоль стѣнъ, служа пока какъ бы изголовьями; кое-гдѣ были разбросаны халаты

и другія части женской одежды, грязныя, выходныя туфли, еще даже не просохшія съ послѣдней прогулки, камышевые обручи пялецъ со вшяленными въ нихъ начатыми вышивками по сукну, грубо скованныя ножницы и повсюду обрѣзки канауса и русскаго ситца—слѣды поконченной кройки.

Изъ этой сакли двѣ двери выходили въ открытый дворикъ съ оголенными тутовыми деревцами, съ квадратнымъ прудомъ-хаузомъ, полузатутымъ пленкою грязнаго льда, съ примерзшими къ нему обрѣзками дынныхъ корокъ и палыми листьями, а вокругъ этого пруда шла крытая галлерея, на точеныхъ столбахъ, ведущая въ другія помѣщенія женской половины. Въ боковой стѣнѣ, кромѣ той подозрительной, занавѣшенной двери, виднѣлась еще дверь пониже, въ которую, не согнувшись, не пройти, особенно взрослому человѣку; дверь эта вела, тоже черезъ другой такой же дворикъ, на общую мужскую половину, а дальше на въѣздной дворъ съ конюшнями, и еще дальше въ сакли подъ крытыми воротами, для гостей неважныхъ и прочихъ постороннихъ, кому дѣло есть до хозяина, а уже за этими саклями прямо къ выходу на узкую, кривую улицу.

Не легко было, значитъ, постороннему человѣку добраться прямымъ ходомъ до женской половины, за которою, за прудомъ, тянулись еще постройки, попроще, для кухни, коровника, мытья и стирки, для всякаго хозяйскаго черного дѣла, для дѣтей и женской прислуги... Оттуда, несмотря даже на плотно притворенныя двери, тянуло чаднымъ запахомъ пригорѣлаго сала и кунжутнаго масла.

Въ саклю гдѣ сидѣли женщины, свѣтъ проникалъ только сквозь частый узорный гипсовый переплетъ окошекъ, продѣланныхъ вверху, надъ дверями, и слабо боролся съ такимъ же слабымъ, красноватымъ отблескомъ горящихъ углей. Женщины, видно, хорошо приглядѣлись въ полумракѣ другъ къ другу, а если бы кто вошелъ сюда сразу, то, навѣрное, не скоро бы разглядѣлъ эти двѣ темныя, съ головою закутанныя фигуры, развѣ только, когда распахнется халатъ, пропуская руку за новымъ запасомъ фисташекъ, и блеснутъ искорки ожерелья, да чуть зазвенятъ безчисленныя подвѣски къ нагрудному убору.

Время было зимнее. За полдень давно перевалило. Холод-

ный вѣтеръ завывалъ по-шакальи въ дымовыхъ отдушинахъ и уныло шумѣлъ въ обезлиственныхъ кронахъ деревьевъ.

Домъ Суффи Казиметова считался однимъ изъ зажиточныхъ и почтенныхъ домовъ въ городѣ. У хозяина былъ собственный караванъ-сарай на центральномъ базарѣ и, кромѣ того, двѣ лавки съ бумажнымъ товаромъ. Самъ Суффи въ званіи купца-«савдаизръ» торговалъ русскими сигцами, но въ Россіи не бывалъ еще ни разу. Въ Меккѣ же былъ однажды, въ молодости, еще съ покойнымъ отцомъ, почему сохранилъ наслѣдственно почетное званіе хаджи. Человѣкъ онъ былъ еще не старый, лѣтъ подъ сорокъ, не болѣе и женъ имѣлъ четырехъ: одна уже померла, не очень давно, самая первая по порядку, а три и до сихъ поръ живы. Хозяйствомъ всѣмъ и женскою половиною завѣдывала мать покойной, Улькунъ-Курсакъ, баба толстая и строгая, опытная во всѣхъ хозяйскихъ дѣлахъ и зоркая. Къ женамъ старуха относилась довольно безпристрастно. Только къ одной изъ нихъ не лежало у нея сердце; но тутъ были особенныя причины: эта третья, самая младшая, звали ее Эстеръ, быстро заняла въ сердцѣ мужа именно то первое мѣсто, которое прежде занимала ея покойная дочь. Хотя ни въ чемъ невиноватая Эстеръ и не думала пользоваться привилегіей и силой первой фаворитки, а все-таки было какъ-то подозрительно: можетъ-быть, только прикидывается, подлая, такой скромницей, а Богъ вѣсть, что у нея на умѣ, и кто можетъ подслушать, что такое она нашептываетъ мужу съ глазу-на-глазъ?.. Чего, напримѣръ, хозяинъ вчера выходя отъ Эстерки, такъ грозно цыкнулъ на косоглазую Хатычу, когда та, некстати, подвернулась на самомъ порогѣ?

Кромѣ того, Улькунъ-Курсакъ была ревностная мусульманка и знала шаріатъ чуть не наизусть, въ правилахъ истинной вѣры была строга и не уступчива. Казы, самъ Казы, очень одобрялъ и хвалилъ ее за это, а у той имя даже какъ будто не правовѣрное, а скорѣе джюгудское, да и обликъ у нея совсѣмъ особенный... Красива очень, что и говорить, залюбуешься невольно, особенно когда мыться станетъ, и щеки красить не нужно, сами горятъ, словно жаръ, такъ и вспыхиваютъ; не чета двумъ остальнымъ, особенно этой косоглазой грязнухѣ Хатычѣ... Разъ даже злая старуха не стерпѣла, дала здороваго толчка *жидовкѣ*, да и сама испуга-

лась... «Ну, подумала, пожалуется, подлая, на меня хозяину!» А вышло все благополучно: Эстеръ смолчала и не пожаловалась...

Не везло дому только въ одномъ: много ужъ жены прежнія приносили дѣтей, да все дѣвочекъ,—самое пустое дѣло для богатаго человѣка, а мальчика, желаннаго, радостнаго мальчика ни одного... А вотъ Эстеръ, какъ только вошла въ домъ къ Суффи, такъ съ перваго же раза подарила мужу сына, да какого! Сильнаго, красиваго, съ глазами черными, какъ уголья, и, навѣрное, счастливаго въ будущемъ, потому что все темячко новорожденнаго было сплошь покрыто черными, шелковистыми волосиками...

Пять мѣсяцевъ уже прошло съ тѣхъ поръ, а городъ и по сіе время не забылъ того праздника, что счастливый отецъ задалъ во славу и здоровье новорожденнаго...

Эстеръ тогда отъ мужа получила такой подарокъ, что всю недѣлю женщины сходились любоваться и ахать. Отбою отъ любопытныхъ и завистливыхъ гостей не было.

Все шло хорошо, радостно, и въ домѣ Суффи-Казиметова было весело, какъ вдругъ случилось большое несчастье, и все перемѣнилось.

И прежде, бывало, болѣли дѣти, умирали даже, но чуть не на другой день это горе проходило, забывалось начисто, даже сами матери не горевали. А тутъ заболѣлъ вдругъ самъ сынокъ Эстеръ, да какъ заболѣлъ: сразу, будто кто его сглазилъ, ни съ того, ни съ сего... Горитъ ребенокъ, мечется, по тѣльцу струнья пошли, носикъ заложило, хрипитъ, будто отходить въ иной міръ собирается... Какъ громомъ пришибло несчастнаго отца, бѣдная мать словно разумъ потеряла, съ рукъ не спускаетъ больного ребенка. Старуха всѣ домашнія средства въ ходъ пустила: бараньимъ саломъ отъ рыжаго барана больного вымазали сплошь, мулла порошокъ принесъ зеленый ранки присыпать, священный настой какой-то насильно въ горлышко вливали, надъ костромъ дымомъ окуривали, вороного жеребца приводили, чтобъ страждущаго обнюхалъ, въ ноздряхъ щекотали у лошади, чтобы она фыркала при этомъ... ничего не помогаетъ!.. Все хуже и хуже!

Вотъ съ этой-то минуты и начинается нашъ разсказъ о томъ, что произошло въ домѣ Суффи-Казиметова.

II.

— Умретъ, умретъ, умретъ!.. Трехъ дней не проживетъ— подохнетъ!—проговорила грязнуха Хатыча.

Спина у ней зачесалась отъ чего-то; она хотѣла почесать, да рукою достать не могла и выругалась скверно.

— Ой, ой, бѣда будетъ!.. — испуганно закачала головою другая собесѣдница, Сары-Кошма.—Такая бѣда, что и подумать страшно. Всѣмъ худо будетъ, а мнѣ вдвое...

— Почему это—тебѣ вдвое?

— А какъ же? Вѣдь послѣ Эстерки—я къ нему ближе... Эстерку онъ не тронетъ, а я тутъ подъ рукою... Ну, и начнетъ съ меня...

— Ишь, ты!.. Скажи на милость! «Я подъ рукою», я первая... Да съ чего ты это выдумала?

— Сама Улькунъ-Курсакъ говорила... Вчера еще мнѣ на кухнѣ, тихонько такъ: «ты, говоритъ, джанымъ, старайся, хорошенько рядись, зря на глаза не суйся, а все-таки съ глазъ прятаться не надо. Лови хорошую минуту, да и подвертывайся, какъ будто нечаянно... Заговоритъ ежели о чемъ,—плачь сейчасъ, да не реви, какъ ишакъ на базарѣ, а потихоньку всхлипывай, плечами больше подергивай и глаза натирай... Спроситъ:—«чего ревешь?»—отвѣчай не сразу, а такъ, словно про себя: «Эстеръ-джанымъ жалко очень... какая она хорошая, красивая, добрая. За что, молъ, ей отъ Бога такое наказаніе?..» Все это, говоритъ, тебѣ потомъ зачтется, потому что, если бала (мальчикъ) помретъ, и мать его не выдержитъ, сама скоро поколѣетъ, до того времени всю красоту свою, изо-дня въ-день, спускать начнетъ... Ты не гляди, что у нея щеки красныя,—это не кровь, а огонь у ней въ груди горитъ, въ щеки отдаетъ. Пожелтѣетъ вся послѣ, исхудаетъ, какъ рыба оглоданная, запаршивѣетъ, какъ овца, да и свалится... Таксыръ больше не женится, такъ при двухъ и останется... Ну, кто же будетъ первая? Не эта же Хатыча ожирѣяая!» Ой, да что же ты щиплешься такъ больно! Вѣдь не я говорю, Улькунъ-Курсакъ говорила... не я! Чего же ты?

— Такъ тебѣ и попасть въ первыя! У тебя, вонъ, одна нога короче другой. Не видитъ, молъ, что ли Суффи? Вчера еще улыбнулся, когда ты изъ кухни дворомъ ковыляла... Ну,

утка—чистая утка!.. Ты чего, подлая этакая, булавкою, никакъ, колоться вздумала!.. Да я тебя!..

— Тише, дура! Это я ненарочно зацѣпила... Ты сама на шпинекъ сѣла,—все вертишься!.. Помажешь курдюкомъ на ночь, заживетъ... Курдюкъ объ курдюкъ помогаетъ...

— Ты вотъ—курдюкъ... а что на прошлой недѣлѣ было? А, не знаешь?..

— Не знаю...

— Ну, то-то. А было вотъ что: сидѣла я тамъ, вонъ въ томъ углу, и притворялась, будто не вижу, что Суффи глядитъ,—стала шаровары мѣнять. А шаровары узки, не скоро стянешь... Не то онѣ смялись—сѣли, не то сама потолстѣла... Таксыръ взглянулъ, да и сплюнулъ...

— Что же тутъ хорошаго, что сплюнулъ?

— А вотъ что: въ тотъ же день, вечеромъ, когда вернулся съ базара, сунулъ мнѣ тихонько свертокъ, да и говоритъ: бери и не болтай, главное, Эстеръ не дразни... Тутъ, добавилъ, на аршинъ противъ положеннаго больше...

— Чего же подарилъ?

— Кафтаусу краснаго, да не нашего, простого, а, знаешь, ференчи съ желтыми полосками...

— Что же ты не показала, дрянь ты этакая, толстомордая!

— Чего показывать зря... Мало ли что дарилъ мнѣ таксыръ, всѣмъ не нахвастаешься!.. Зачѣмъ зависть разжигать?..

— Не тебѣ одной, всѣмъ попадаетъ... Вонъ Эстеръ такъ все на виду и держитъ, беретъ, а сама какъ будто и не рада... Подчасъ даже будто и не взглянетъ... Ухъ... Какъ бы сдохъ поскорѣе!

— Тише ты, дурища! Услышатъ—бѣда!

За текинскимъ ковромъ словно вздохнулъ кто-то, да такъ жалобно. Испуганной трусихѣ Хатычѣ показалось даже, что самъ коверъ слегка заколыхался,—да должно быть, только показалось...

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе... даже фисташки перестали щелкать, попадая въ крашеные зубы...

— А, можетъ, и живъ будетъ!—вздохнула Сары-Кошма.

— Не можетъ этого быть...

— Аллахъ все можетъ... Вонъ Казы говорилъ..

— Казы говорилъ, что Аллахъ все можетъ, что самъ захочетъ, а этого онъ не хочетъ, потому и болѣзнь напустилъ такую на ребенка!

— Зачѣмъ же его лѣчатъ? Пускай такъ бы и оставили умирать покойно,—не мѣшали бы волѣ Божьей!..

— Да, поди, оставь! А слышала, что самъ Суффи вчера еще говорилъ нашей вѣдьмѣ? Слышала?..

— Говорилъ, что всѣхъ передушу, если не отходите... да это онъ съ горя, да со злости... это ничего!..

— Говори: «ничего!..» На нашего Суффи какая управа?! Не на улицѣ, не на базарѣ, у себя на дому... что хочетъ, то и сдѣлаетъ...

— Вчера было уже совсѣмъ кончаться сталъ. Ханымъ говоритъ: «Эстеръ, оставь его въ покоѣ, положи въ уголъ, да прикрой съ головою войлокомъ», а жидовка взяла сына на руки, губами своими ко рту его прижалась, отдышала, небось... опять, дохнулъ раза два и раскрылъ глазенки...

Въ душную саклю ворвалась струя холоднаго воздуха; въ полуотворенную дверь со двора вошла приземистая, слегка сгорбленная, женская фигура, осторожно переступая высокій порогъ... Со свѣту ей показалось совсѣмъ темно въ саклѣ, а въ рукахъ у нея была миска съ чѣмъ-то горячимъ—вотъ и страшно ей стало въ такой темнотѣ: какъ бы не споткнуться, да не уронить посуду...

Это и была сама Улькунъ-Курсакъ.

— Кто тутъ есть?.. Эй!—сердито крикнула старуха, разглядѣвъ, наконецъ, собесѣдницъ. — Это вы, что ли, курицы проклятыя? Что огня не зажжете? Да и зачѣмъ сюда забрались... Ишь, разсѣлись, угощаются!.. Не велѣлъ таксыръ здѣсь собираться, велѣлъ сидѣть по своимъ конурамъ... Да что же фонари не зажгли? Этакъ лобъ расшибешь, ногу сломаешь. Зажигай огонь и убирайтесь къ шайтану!

— Зажгу, небось... Поспѣешь!—огрызнулась Хатыча.

Въ саклѣ послышался звукъ, похожій на то, будто кто доскою, плашмя, шлепнулъ по мѣшку съ мукою.

Сары-Кошма захихикала, доставая съ полки коробку со спичками.

— Развѣ можно ногою въ животъ прямо?..—запротестовала Хатыча.—Вы, ханымъ, полегче, осторожнѣй!

— Впотьмахъ не разберешь. Сами виноваты... Зажигай проворнѣе, не разговаривать много!

Справились, зажгли, и сборная сакля женской половины представилась въ полномъ своемъ видѣ.

— Ахъ, ты, Господи!—проговорила ханымъ, поставивъ проворно на полъ миску съ варевомъ, единственно съ цѣлью только выразительно всплеснуть руками.—Да гдѣ это вы? Да что это вы?.. Въ коровникѣ, что ли?.. Да если *самъ* вернется, да увидитъ... да если... Убирайте все скорѣе, свиньи, живо! А я пойду къ той, покормить тоже надо... Вы уберете,—идите жрать на кухню...

— Холодно, ханымъ...—запросилась Сары-Конма.

— Ну, такъ сидите, не жравши,—мнѣ все равно!—отрѣзала «сама», сердито отпихнула ногою полу ковра, согнулась и скрылась въ его складкахъ, вмѣстѣ со своею миской...

Женщины лѣниво принялись за уборку...

III.

За ковромъ была еще маленькая саклюнка, не жилая, такъ что-то въ родѣ кладовки, совсѣмъ безъ оконъ. Это помѣщеніе было сплошь заставлено коваными сундуками, укладками русской работы, обитыми раскрашенной жестью, съ замками со звономъ, хранилищами одежды и всякой болѣе цѣнной рухляди; въ стѣнахъ, въ безчисленныхъ узорныхъ нишахъ, рядами, разставлены были кунганчики и фарфоровая посуда, маленькія шкатулки съ драгоцѣнными украшеніями, пучки душистыхъ травъ и ящички съ разными косметиками. Въ кладовой было душно, преобладалъ тяжелый, пряный запахъ мускуса. Въ противоположной стѣнѣ виднѣлась низенькая дверь на двѣ створки, изъ цѣльнаго красиваго орѣха, вся сплошь рѣзная, съ такими хитрыми и замысловатыми узорами, что и не разберешь, что такое вырѣзано... Дверь эта была, должно-быть, не заперта, потому что распахнулась сразу, какъ только старуха пихнула ее ногою: руки у ней вѣдь были заняты,—а распахнулась дверь прямо въ помѣщеніе первой жены Суффи Казиметова,—Эстеръ, и бѣдная джюгудка хоть и слышала, что къ ней идутъ, а все-таки не утерпѣла и вздрогнула, взглянувъ на вошедшую большими, испуганными глазами.

— Здравствуй!—видимо, стараясь быть поласковѣе, сказал Улькунъ-Курсакъ.—Ну, что?.. Живъ?.. Дышитъ еще, что ли?

— А тебѣ, что же, хочется, чтобы умеръ скорѣе?—прошептала въ отвѣтъ Эстеръ.

Чуть губами пошевелила, и слышать нельзя бы было по-настоящему, а старуха разслыхала, сердито поставила чашку на низенькій табуретъ и тоже, чуть слышно, проворчала:

— Змѣя,—не женщина!

Тяжелый, спертый воздухъ въ кладовкѣ былъ чистымъ раемъ сравнительно съ тѣмъ, что такое было здѣсь... Съ непривычки, съ перваго входа и не продохнуть бы вовсе... Гнилой, трупный запахъ разложенія, смѣшанный съ тѣмъ же мускусомъ и розовымъ масломъ, душилъ свѣжаго человѣка, а наши бабы ничего, сидятъ себѣ покойно и будто не чувствуютъ: Эстеръ въ самомъ углу, у люльки, гдѣ лежалъ больной ребенокъ, а старуха въ углу, противоположномъ, присѣла на корточки, оперлась локтями о колѣни, а кулаками въ жирный, двухъярусный подбородокъ.

— Видишь,—сказала она, помолчавъ съ минутку:—какая ты все, Эстеръ-джайымъ, сварливая, да не добрая... не хорошо! Ужъ я ли не стараюсь для тебя, я ли не заботусь о больномъ мальчикѣ... Да, что говорить! Когда, я помню, у меня были свои дѣти, я ихъ не любила такъ, какъ твоего Шаринку... И сплю, и ѣмъ, и когда прислугу луплю, чѣмъ попало, все думаю о немъ, все въ умѣ прибираю, что бы сдѣлать, да какъ бы помочь?.. Вотъ, сегодня еще, къ Салтыку-киргизу ходила. Мулла изъ большой мечети посылалъ меня посовѣтоваться, говорилъ, что Салтыкъ первый знахарь, что уже если онъ не поможетъ, такъ уже и идти больше некуда... Салтыкъ-то гдѣ живетъ? А, знаешь? На арбѣ въ часъ не доѣдешь, а я пѣшкомъ ходила, одна ходила... ты пойми!.. И все ты мнѣ будто не вѣришь... не хорошо... ой, ой, не хорошо!.. Бога только прогнѣвишь, а Онъ и накажетъ, отниметъ балу. Тебѣ же худо тогда будетъ... Намъ что!.. Суффи видитъ наши заботы, наши старанія... Поѣшь, голубка, покормись! Вотъ я тебѣ шурпы принесла... хорошую сегодня варили, изъ рыбы!

— Что же Салтыкъ сказалъ?—спросила Эстеръ и повернулась лицомъ къ хозяйкѣ. Прямо на это лицо свѣтъ фонаря ударилъ.

Красива была очень джюгудка Эстеръ, только и подвели же эту красоту заботы и печаль о больномъ мальчикѣ; тяжелое горе отразилось въ каждой чертѣ этого строгаго, типичнаго лица, въ выраженіи глубокихъ глазъ, въ сдвинутыхъ бровяхъ надъ тонкимъ, правильнымъ носомъ, въ складкахъ сочныхъ губъ, сжатыхъ словно подъ вліяніемъ нестерпимой, физической боли ..

— Что же сказалъ Салтыкъ?—повторила она отчетливо и громко.

— Да что сказалъ!—безнадежно махнула рукою Улькунъ-Курсакъ.—Ты бы, все-таки, покушала, джанымъ. Вѣдь нельзя же такъ. Съ самаго утра только чаю попила, да кусочекъ лепешки отщипнула... Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ... Заходилъ къ тебѣ, родная моя, Суффи, послѣ того какъ утромъ навѣщалъ?.. Я все около кухни... можетъ быть, и проглядѣла какъ нибудь... Заходилъ?

— Салтыкъ?..

— Да что ты—заладила!.. Салтыкъ—да Салтыкъ... Былъ хозяинъ, что ли?

— Нѣтъ!—отрѣзала Эстеръ.

— Удивительно!..—протянула Улькунъ-Курсакъ, даже руками развела...

Эстеръ, не вставая на ноги, быстрымъ ползкомъ по мягкому ковру, словно ящерица какая-нибудь, скользнула къ старухѣ и схватила ее за руки...

— Скажишь ты мнѣ, на милость, что знахарь твой говорилъ про сына?

Домоправительница ни отъ кого бы не стерпѣла такого неуваженія, а тутъ легонько освободилась отъ тисковъ, и, грустно качая головою, произнесла:

— Плохо!—сказалъ Салтыкъ. — Есть еще одно средство, попробовать надо; только уже это самое послѣднее... Если уже это не поможетъ, тогда, значитъ, повелѣно ребенку помирать свыше...

А у Эстеръ, давно уже, крупныя слезы градомъ, но безъ всхлипыванія, безъ рыданій, катились изъ глазъ, струились по впалымъ, пятнисто-румянымъ щекамъ, но не смывали этого румянца. Бѣдная, скорбная мать чуть не прижалась лицомъ къ колѣнямъ Улькунъ-Курсакъ и говорила:

— Джанымъ, дорогая моя, помоги!.. Охъ, говорю, помоги... Спаси Шарипку!.. Любить тебя буду какъ!.. Ноги мыть твои буду, состаришься, ослабѣешь, на рукахъ своихъ носить стану... Раба твоя буду, не первая жена въ домѣ... жизнь свою отдамъ, коли захочешь...

— Охъ! Охъ! Всѣ вы такъ говорите, когда бѣда придетъ... Всѣ ко мнѣ, словно кошки весною ластятся, а потомъ: «У, старая вѣдьма!.. У, злая баба, жадная!..» Всѣ такъ...

— Не говори, не говори... не надо! Вѣдь то другія,—не я... Я никогда тебѣ осуда не дѣлала, я никогда даже мужу на тебя не жаловалась...

Эстеръ своею худою рукою старухинъ ротъ прикрыла, будто бы для того, чтобы удержать несправедливые упреки.

— Ну, ладно!—отряхнулась Улькунъ-Курсакъ.—Салтыкъ велѣлъ удавить,—слышишь?—Удавить, а не зарѣзать барана. Чтобы отыскать барана бѣлаго, съ головою сплошь черною... а потомъ эту голову сварить и завернуть въ твою рубаху, только не мытую, а ношеную... непремѣнно твою, материнскую, не чью другую, — и положить эту рубаху, въ самую полночь, къ ребенку въ люльку и держать до самаго утра... И будетъ тогда такъ: если къ утру мать заболѣетъ, значитъ, болѣзнь эта оставила ребенка и перешла къ матери, а если ты здорова будешь, значитъ, ребенокъ помретъ непремѣнно...

Смуглое тѣло Эстеръ, быстро обнаженное, блеснуло при свѣтѣ фонаря... Мать сорвала уже съ себя шелковую рубаху и совала въ руки Улькунъ-Курсакъ...

— На, бери, бери! Скорѣе бери!.. Давите барана, варите голову... Скорѣе... Ночь подходитъ... Близка уже полночь... Пора начинать...

— Да куда же ты, голая? Что ты, очумѣла! Надѣнь хоть халатъ, что ли!

Эстеръ метнулась изъ сакли, да на порогѣ ее старуха перехватила.

— Все сдѣлаю, погоди!.. Время еще не ушло! Времени много еще до полуночи... Вотъ, можетъ быть, и Суффи скоро подъѣдетъ... Вѣдь съ утра дома не былъ... Куда же это онъ запропастился? Безъ него, безъ хозяина-то, будто и страшно какъ-то... А ну, какъ...

— Все на себя беру, все! Ничего не бойся... скорѣе

только!.. Пусть я заболѣю, я здоровая, сильная... я, можетъ быть, и вынесу...

— А какъ сама помрешь?..

Улькунъ-Курсакъ подозрительно покосилась на нее исподлобья, внимательно слѣдя за выраженіемъ лица Эстеръ.

Та вздрогнула и отшатнулась...

— Не хочу помирать...—прошептала она, чуть слышно...

— То-то... Ты подумай!..

— Что я говорю!—вскрикнула Эстеръ на всю саклю.— Что я говорю... Не слушай! Это не я, это шайтанъ во мнѣ сказалъ... Ничего не боюсь! Пускай умру... пускай... Лишь бы живъ былъ мой малютка...

Въ углу, гдѣ стояла люлька, что-то пискнуло и захрипѣло. Какъ кошка на мышь, бросилась туда Эстеръ и накрыла люльку своимъ тѣломъ.

Улькунъ-Курсакъ встала на ноги, подошла тоже къ люлькѣ, заглянула въ нее, тронула бѣдную, рыдающую мать за плечо и проговорила:

— Ну, не надрывайся... Авось Богъ смилуется... Поѣшь, я тебѣ говорю, шурпы, пока еще не совсѣмъ остыла. Нельзя себя морить голодомъ... А я пойду похлопочу, я постараюсь... Я все сдѣлаю, чтобы лучше было... Только, когда Суффи придетъ, ты, джанымъ, скажи ему, какъ я стараюсь... Скажи, какая я добрая... скажи... О-хо-хо! Что это онъ, въ самомъ дѣлѣ, не идетъ!.. Ужъ не случилось ли чего-нибудь съ нимъ?.. Не дай Господи!.. Да будетъ тебѣ... брось! Сядь, да поѣшь хоть немного!

Улькунъ-Курсакъ почесала себѣ затылокъ, вздохнула раза два, покачала головою и медленно вышла изъ сакли.

IV.

А на кухнѣ, тѣмъ временемъ, собралась уже большая женская компанія.

Кромѣ прислуги собрались и сосѣдки,—прямо, задами пришли. Усѣлись всѣ плотно около большого кухоннаго тагана, визжатъ, кричатъ, смѣются. Звонче всѣхъ заливается Хатыча,— такъ всѣхъ и покрываетъ. Увидали пошедшую Улькунъ-Курсакъ,—сразу стихли.

Любопытство, какъ на всей землѣ, такъ и между здѣшними бабами развито сильно: вѣсти разныя быстрѣе телеграфа разносятся. Пронюхали, что будутъ давить бѣлаго барана съ черною головою,—всѣ собрались, благо сюда, на кухню, хозяинъ заглядываетъ рѣдко.

На дворѣ снѣгъ закрутилъ, вѣтеръ холодный такъ и завываетъ, а здѣсь, у пылающаго тагана, даже жарко стало. Всѣ халаты поспустили съ плечъ, сѣтки откинуты, лица открытыя, всѣ въ уборахъ, у кого даже въ носу серьги поблескиваютъ... Гостьи одѣты понаряднѣе, хозяйки попроще. Не на званый, вѣдь, пиръ,—пришли провѣдать запросто.

Поздоровалась Улькунъ-Курсакъ, по положенію, съ кѣмъ постарше, прочимъ такъ головою кивнула, даже буркнула подъ-носъ:

— Кажись бы, и не ко времени...

— Долго засидѣлся таксыръ въ русскомъ городѣ!—заявила одна гостья.

— А ты почемъ знаешь, что онъ въ русскій городъ поѣхалъ?—подозрительно вскинула на нее глаза хозяйка.

— Таксыръ прямо изъ караванъ-сарая верхомъ, съ джигитомъ Муссою поѣхалъ, а потомъ Муссу съ конями назадъ отослалъ!—заговорила Хатыча.

— Мусса не вернулся домой, а остался на базарѣ, только лошадей домой пригнали!—добавила и Сары-Кошма.

— Мой мужъ видѣлъ Суффи въ русскомъ городѣ: съ самимъ генераломъ въ коляскѣ ѣхалъ, такъ рядомъ съ генераломъ и сидитъ, хмурый такой! Генералъ ему ласково что-то говоритъ, а онъ все хмурый, даже голову опустилъ... Солдаты русскіе честь дѣлаютъ, а онъ и не смотритъ,—сообщила уже большія подробности другая гостья.—Мой мужъ тоже въ городѣ былъ, самъ своими глазами видѣлъ. Пріѣхалъ и говоритъ: «экій почетъ Суффи, чтобы это значило?» А я ему говорю: что-жъ такое? Вѣдь ты самъ, въ прошломъ году, у генерала чай пилъ, и одинъ колковникъ къ тебѣ въ гости пріѣзжалъ... Что же такое! Хорошимъ людямъ всякій почетъ бываетъ...

— Чудно!—задумалась Улькунъ-Курсакъ.—Съ чего это его понесло туда?

— Ну, что малецъ: помретъ или выживетъ?—освѣдоми-

лась третья гостья, по наряду, должно быть, важная, уже старая... тоже Улькунъ-Ханымъ изъ другого дома.

— Помретъ сегодня ночью!—рѣшительно заявила хозяйка.

— Ой-ой-ой!—застонало сразу нѣсколько голосовъ.

— Нельзя ему жить больше... Мулла видѣлъ больного мальчика. Третьяго дня еще приходилъ и сказалъ, что ему жить нельзя!

Улькунъ-Курсакъ нагнулась и сказала что-то на-ухо старшей гостьѣ. Та только руками сплеснула.

— А что жъ Эстеръ не идетъ сюда? — спросилъ кто-то изъ дальняго угла.

— Да, вотъ, все убивается. Не ѣстъ, не пьетъ, по ночамъ не спитъ!—отвѣтила Хатыча.

— Все объ мальчишкѣ своемъ убивается,—добавила Сары-Кошма:—и чего, право? Сама себя только изводитъ... Помретъ—такъ помретъ, другого наживетъ... Ее Суффи очень любитъ,—на насъ и смотрѣть не хочетъ!

— А вотъ какъ изведется совсѣмъ... посмотримъ, какъ любить станетъ!

— Чего любить... уже и теперь кошка драная стала. Кожа да кости!

— Не за то любитъ... она его другимъ чѣмъ приколдовала... Это бываетъ...

— А что она по нашей вѣрѣ, или по джюгудской, поганой, осталась?

— Ну, что врешь!—вмѣшалась тутъ сама Улькунъ-Курсакъ.—Ну, развѣ можно, чтобы правовѣрный мусульманинъ да джюгудку въ жены взялъ. Она по нашей вѣрѣ. Она была маленькая, подброшенная... Калымъ Суффи муллѣ выплачивалъ, кто ее вскормилъ и выростилъ...

— Да все равно!—вставила и съ своей стороны гостья, вся въ красномъ, съ особенно богатымъ наборомъ на груди и шеѣ.—Это у нихъ въ крови, въ породѣ самой... ничѣмъ не выбьешь!

— Что *это*,—что?

— Колдовство самое, чары приворотныя, — не помнишь развѣ, какъ самъ Мозафаръ отъ джюгудки чуть не пропалъ?

— То была иранка!

— Джюгудка...

— Иранка, я тебѣ говорю!

— Джюгудка...

— Барана ведутъ, барана!—заговорили сразу нѣсколько голосовъ и прервали споръ.

Дѣйствительно, въ маленькомъ проломѣ, въ высокой садовой стѣнѣ, появились двѣ простыя женщины съ бѣлымъ бараномъ,—одна тащила животное за веревку, а другая зажала его между ногъ, будто верхомъ на него сѣла, и за рога руками впередъ его подаетъ... У барана голова черная, будто смолою вымазана... Идетъ баранъ, упирается, бѣду, конечно, чуетъ, да и народу много собралось, свѣтъ такой яркій подъ навѣсомъ...

— Здѣсь давить будутъ, что ли?—полюбопытствовала молоденькая женщина, почти ребенокъ, усиленно работая локтями, чтобы впередъ пробраться.

— Здѣсь, здѣсь! Конечно здѣсь!.. Куда же его уводить!—послышались разные голоса.

— А кто же давить будетъ?

— Работница задавитъ... Эй, ты, калмычка, приступай!

— Эге!—отозвалось широкое, скуластое, лоснящееся лицо, съ крохотными, узко-прорѣзанными глазками, и принялось отъ своихъ же шароваръ очкуръ выдергивать.

— Смотри, свалятся!

— Что за бѣда! Здѣсь мужского глаза нѣту...

Но въ эту минуту, испуганная, вся запыхавшаяся, размахивая руками и задыхаясь отъ волненія, вбѣжала въ кухонный дворъ работница, которую оставили при входѣ на женскую половину сторожить пріѣздъ хозяина.

— Самъ пріѣхалъ!.. На дрожкахъ!.. На русскихъ дрожкахъ!.. Да и не одинъ, а съ нимъ еще кто-то... Разглядѣть я сама не успѣла: Малайка только крикнулъ мнѣ, будто русская женщина!

Улькунъ-Курсакъ степенно встала и повелительно произнесла, обращаясь къ Хатычѣ и Сары-Кошмѣ:

— Ступайте въ общую, да оправьтесь, неряхи!—Затѣмъ, обращаясь уже ко всѣмъ гостямъ, важно, но вѣжливо поклонилась и добавила:—Не гоню. Никого не гоню, а только будто не ко времени... Не взыщите на угощеніи!

Однако, несмотря даже на то, что хозяйка въ самыхъ уже

дверяхъ дворика еще разъ обернулась и очень выразительно повторила свой прощальный поклонъ, никто съ мѣста не двинулся... Бабье любопытство взяло верхъ надъ требованіями вѣжливости и этикета. Да и какъ утерпѣть, когда даже сюда сталъ доноситься гулъ поднявшейся на въѣздномъ дворѣ суматохи.

А суматоха у главныхъ воротъ разыгралась, дѣйствительно, не малая. Наружныя ворота отворены были настежь. Въ крытомъ проѣздѣ торопливо зажигались фонари. Верховыя лошади, привязанныя у кормовыхъ рѣшетокъ, подъ темными навѣсами, испуганныя неожиданнымъ шумомъ, бились и злобно повизгивали. Гдѣ-то, въ дальнемъ углу, неистово заоралъ ишакъ... Работники суетились, и съ толкомъ, и безъ толку, спорили и торопили другъ друга. Нѣкоторые изъ нихъ уже проснулись и пришли въ себя, другіе совсѣмъ ошалѣли спросонковъ.

Да какъ же и не ошалѣть: близко къ полуночи, темнота непроглядная, на дворѣ холодъ, снѣгъ, вѣтеръ рветъ, чуть съ ногъ не валитъ... А тутъ хозяинъ вернулся, да и не одинъ, а съ гостями. Съ хозяиномъ, положимъ, только одна какая-то сидитъ въ дрожкахъ, да кто ихъ знаетъ?.. Можетъ быть, сзади еще есть русскіе экипажи. Бывало это иногда, такъ-то днемъ, да и не неожиданно, а за недѣлю знаютъ, готовятся, а тутъ,— на, поди, — ночью, словно темные люди за темнымъ дѣломъ, неожиданнымъ набѣгомъ.

При дрожкахъ полицейскій изъ русскаго города, верхомъ, съ пылающимъ факеломъ въ рукѣ, того и гляди, искру заронитъ, самъ хоть татаринъ, а ругается по-русски,—командуетъ... Улица узкая, въ ворота поворотъ крутой, насилу справились съ дрожками. Суффи-Казиметовъ уже выскочилъ изъ экипажа, показываетъ, чтобы подавали къ самому крыльцу, вплотную, а русская женщина въ дрожкахъ сидитъ, голова подъ большимъ платкомъ, зонтикъ въ рукахъ держитъ раскрытый, а съ зонтика такъ и льетъ, словно съ угловъ покатой крыши. Въ ногахъ, подъ фартукомъ, какая-то корзина большая стоитъ, покрытая клеенкою, и еще кожаный съ бляшками чемоданчикъ маленькій. Гостья сама, должно быть, еще молодая, не старая,— носикъ остренькій выглядываетъ изъ-подъ платка, такой розовый, свѣжій и подбородокъ полненькій.

Суффи руку ей подалъ, чтобы помочь вылѣзть изъ экипажа.

Сама легко выпрыгнула и прямо на коврикъ, наскоро постланный ей подъ ноги...

— Сюда пожалуйте!—приглашаетъ хозяинъ.—Да тише вы! Чего шумъ подняли!.. Запирайте ворота! Видите, народъ чужой набирается! Пожалуйте сюда, сударыня, сюда, многоуважаемая госпожа!..

Говоритъ хозяинъ вѣжливо, почтительно,—а самъ блѣднѣе смерти, даже голосъ сталъ не свой, будто дрожь какая-то въ немъ слышится.

Повели гостью неожиданную прямо на женскую половину. Маленькій чемоданчикъ русская женщина съ собою взяла, держитъ бережно, а большую корзину за нею поволокли двое, да и то съ трудомъ.

Стихло немного на дворѣ. Дрожки закатили подъ навѣсъ, лошадей выпрягли. Извозчикъ съ полицейскимъ къ огоньку подсѣли пообогрѣться немного, кругомъ обступила ихъ вся дворня съ разспросами: кто такая, да зачѣмъ привезли?

— Ученая баба, — сообщилъ полицейскій, потирая надъ огнемъ окоченѣвшія руки. — Ой-ой, ученая! То же, что самъ главный докторъ... У васъ, слышь ты, ребенокъ заболѣлъ нехорошо...

— Помираетъ совсѣмъ, сказываютъ!—добавилъ извозчикъ.

— Да развѣ можно въ мусульманскій, чистый домъ невѣрнаго лѣкаря?—усомнился кто-то.

— Закона нѣтъ такого!—пояснилъ другой голосъ.

— Мулла, небось, не похвалитъ! — послышался и третій, изъ заднихъ рядовъ.

— Будетъ тебѣ законъ, когда самъ генералъ приказалъ!— разъяснилъ общее сомнѣніе молодцоватый полицейскій.

— Откуда же баба такая ученая появилась?.. Не слыхать было до сей поры что-то!

— Все больше военные тюра — господа доктора были у русскихъ...

— Недавно пріѣхала изъ Россіи. Совсѣмъ молодая, говорятъ, замужняя...

— Ихъ, вѣдь, русскихъ не распознаешь: которая замужняя, которая нѣтъ...

— Никогда этого прежде не было... охъ, никогда!

— Чего это?

— Да чтобы лѣчить... У правовѣрныхъ въ дому, да...

— Смотри, какъ бы завтра чего на базарѣ не заговорили... Не хорошо это хозяинъ дѣлаетъ... Охъ, не хорошо!

— «Сама», гляди, не пуститъ... Такъ турнетъ...

— «Сама» — баба строгая, начитанная... ее самъ казы почитаетъ...

— Не похвалятъ за это... Гляди — бѣду какую на весь домъ нашлетъ...

— Самъ генералъ, коли прикажетъ...

— Да что — генералъ?.. Генералъ!.. Тутъ воля Божья, а не генеральская. Законъ — одно слово!

— Когда, въ прошлую холеру... тс!.. Это что? Никакъ тамъ всѣ бабы наши въ голосъ взвыли... Что случилось?

Всѣ смолкли и стали тревожно прислушиваться.

А случилось на женской половинѣ вотъ что.

V.

Улькунъ-Курсакъ встрѣтила хозяина, какъ слѣдуетъ, съ почетомъ и хлѣбомъ-солью, двумя лепешками на подносѣ. За нею прятались Сары-Кошма съ Хатычею. Обѣ держали въ рукахъ по бумажному зажженному фонарю.

Въ общей саклѣ, наскоро приведенной въ порядокъ, было свѣтло: и отъ фонарей, и отъ вновь разгорѣвшагося тагана,— и длинныя, причудливыя тѣни присутствующихъ скользили по потолку и узорнымъ стѣнамъ.

Эстеръ изъ своей конуры не выходила, хотя ее и успѣли предупредить о событіи.

— Мальчикъ живъ? — негромко такъ, дрогнувшимъ голосомъ, спросилъ Суффи, а самъ и не смотритъ на ту, къ которой относился вопросъ, а больше въ сторону, гдѣ коверъ пестрый виситъ.

— Часъ тому назадъ живъ былъ... Теперь живъ-ли еще, не знаю! — отвѣтила Улькунъ-Курсакъ, подозрительно и недобрыми глазами глядя на русскую женщину.

А та мокрый зонтикъ сложила, у дверей поставила, платокъ съ головы размотала и верхнюю одежду снимать начала. Сама ласково улыбается, то на трехъ женщинъ, то на стѣны

и потолокъ поглядываетъ. Поклонилась честью хозяйкамъ и по-татарски сказала:

— Здравствуйте! Покажите же, милыя, мнѣ вашего больного ребенка!

Всѣ три женщины такъ отъ нея и шарахнулись въ сторону.

— Послушай, ханымъ...—заговорилъ Суффи Казиметовъ.

Видимо, хочетъ говорить покойно, ласково, убѣдительно.

— Послушай, душа моя, это вѣдь не кто-нибудь, кого я привезъ. Это добрая, умная, самая разумная и знающая женщина, Ольга Николаевна называютъ. Она—докторъ. Она и сюда пріѣхала для того Самъ Акъ-падишахъ послалъ ее сюда, чтобы лѣчить... Вѣдь нельзя къ нашимъ женщинамъ мужчинамъ-докторамъ ходить, нельзя вѣдь, закону нѣтъ, сама знаешь... а она сама баба, ей можно, и грѣха тутъ никакого нѣтъ. Вотъ она теперь посмотритъ нашего мальчика, скажетъ, какъ лѣчить надо, чѣмъ пользовать... Вѣдь, все равно, помираетъ крошка... А ну, какъ... Генералъ говорилъ мнѣ: Суффи, ты умный человѣкъ...

— Противъ воли Аллаха никакой колдунъ не поможетъ,— строго и холодно перебила его Улькунъ-Курсакъ,—и ты это, Суффи, не хорошо затѣялъ. У тебя отъ горя разумъ помутился. Въ мечеть ни разу не заглянулъ, всю недѣлю съ невѣрными все возился... Вино съ ними пилъ—я знаю. Корысть торговая обуяла. Самаго старшаго муллу обидѣлъ вчера. Я все, вѣдь, все знаю... Вотъ тебя Богъ и наказываетъ. Молись лучше Ему, у Него проси милости, а не возись съ нечистью проклятою. Убери ты ее вонъ скорѣе изъ чистаго, мусульманскаго дома!

Русская женщина, должно-быть, хорошо понимала все, что говорила толстая ханымъ, да и взгляды, которыми та надѣляла гостью, слишкомъ уже были выразительны. Сначала вся кровь прилила къ ея лицу, да уши какъ огонь вспыхнули, а потомъ отошла, должно-быть, и заговорила покойно, тоже по-татарски...

— Вы, ханымъ, на меня не сердитесь. Я вѣдь не силою вошла къ вамъ въ домъ, меня позвали. Я вѣдь сама мать и дѣтей люблю,—и своихъ, и всѣхъ люблю, и васъ люблю очень, хоть и не знаю до сихъ поръ. Я, можетъ-быть, вамъ добро принесла; во всякомъ случаѣ, зла, какъ и себѣ самой и своему собственному ребенку, не желаю никому... Прошу же васъ: покажите мнѣ вашего больного мальчика—прошу васъ!..

— Сгинь ты, дьяволиха проклятая!—не сказала, прошипѣла старуха, и кулаки сами собой у ней сжались, да такъ, что даже ногти впились ей въ ладони.

— Уйти?—взвизгнула на Суффи русская гостья.

А у того уже брови сдвинулись къ носу, недобрые огоньки въ глазахъ забѣгали, чалма на затылокъ сдвинулась.

— Слушай ты, глупая старуха! —заговорилъ хозяинъ.— Слушай! Мнѣ жизнь моего сына дорже васъ всѣхъ, дорже моей собственной души. Такъ и знайте. Что мнѣ мулла! Небось, самъ у русскаго доктора лѣчился, когда глазами чуть не ослѣпъ, небось не отвернулся онъ отъ нечистыхъ рукъ,—теперь снова коранъ разбирать можетъ. Что-жъ ему шептать, что-ли, помогалъ къ святымъ книгамъ вернуться? Когда самъ казы холерою занемогъ, кто его отъ вѣрной смерти спасъ, кто вылѣчилъ?.. Наши, небось, знахари... а... кто? Забыла, что ли?.. И нашего Шарипку будетъ Ольга Николавна лѣчить. Смотри! Видишь? Я края одежды ея цѣлую, ко лбу, къ глазамъ, къ сердцу прикладываю (Суффи, дѣйствительно, прежде чѣмъ гостья успѣла помѣшать, быстро и ловко продѣлалъ эту почтительную церемонію). Видѣла? И я тебѣ и всѣмъ въ домѣ приказываю повиноваться ей во всемъ, больше чѣмъ мнѣ самому. Я еще прошу за провинность противъ меня... противъ нея же... въ землю живую закопаю, какъ гадинъ передушу своими руками... Горло всѣмъ перерѣжу...

— Суффи, успокойтесь... Прошу васъ, успокойтесь...—вмѣшалась было женщина-докторъ.

Но тотъ уже расходился во всю. Онъ такъ внушительно положилъ свою руку на жирное плечо Улькунъ-Курсакъ, что та, застонавъ, грузно опустилась на корточки. Сары-Кошма взвизгнула, уронила фонарь и стремительно выскочила на прудовой дворикъ, Хатыча забилась со страху въ уголъ и оттуда, какъ загнанная въ тенета коза, испуганно моргала своими, подкрашенными киноварью и сажею, глазами.

А такъ какъ на сосѣднемъ дворикѣ набралось много любопытныхъ бабъ, и своихъ, и постороннихъ, то, вслѣдъ за визгомъ Сары-Кошмы, и другія взвыли, толпою метнувшись на-утекъ. Чуть было въ полузамерзшій прудокъ нѣкоторыя не попадали.

Вотъ это самое и слышали на въѣздномъ дворѣ мужской половины дома.

Съ минуту, послѣ вспышки хозяйскаго гнѣва, длилось молчаніе. А можетъ-быть, и меньше, но, казалось, долго тянулась эта минута.

— Твоя воля!—проговорила Улькунъ-Курсакъ и, смиренно согнувшись, не взглянувъ даже на гостью, вышла вслѣдъ за Сары-Кошмою изъ сакли.

Хатыча тоже хотѣла было скрыться и стала ползкомъ пробираться вдоль стѣнки, въ выходной двери, да Суффи, наконецъ, ее замѣтилъ.

— Куда? Пойдемъ къ Эстеръ вмѣстѣ. Можетъ-быть, помочь что-нибудь надо будетъ. Бери фонарь!.. Въ кладовой опять не зажжено! Иди, свѣти!.. Прошу пожаловать, госпожа. Простите, если при васъ сказалъ что-нибудь непристойное...

Хатыча стала приподнимать коверъ, да не смогла одною рукою, тяжелъ сталъ очень, будто его сила какая-то къ порогу тянула. Рванулъ Суффи во всю мочь,—съ верхнихъ петлей сорвалъ.

— Что это? Свѣти сюда!.. Аллахъ многомилостивый!

Едва только переступили порогъ, отдѣляющій проходную кладовую отъ общей сакли, какъ наткнулись на тѣло Эстеръ. Бѣдная мать, должно-быть, подслушивала, притаившись за ковромъ. Худыя руки джюгудки крѣпко вцѣпились въ его тяжелыя складки. Сама она лежала, распростертая навзничь, безъ движенія, безъ дыханія.

Ольга Николаевна первая кинулась къ лежащей.

— Свѣтите сюда, ближе!.. — крикнула она растерявшейся отъ такой неожиданности Хатычѣ. Опытнымъ движеніемъ она нащупала сердце, прижалась къ этому исхудавшему до-нельзя смуглому тѣлу ухомъ, затѣмъ она осторожно приподняла закрытое вѣко.

— Сдохла?—пролепетала Хатыча.

— Это обморокъ... это не смерть... несите ее сюда... это пройдетъ... Боже мой... этотъ воздухъ, этотъ ужасный воздухъ...

Русская женщина сама поблѣднѣла, хотѣла было подняться на ноги, но не могла...

— Что съ вами?—помогъ ей, перепуганный въ свою очередь, Суффи.

— Этотъ воздухъ!.. Это сама смерть!.. Неужели и ребенокъ тутъ же?.. Скорѣе его сюда, скорѣе...

Ольга Николаевна ловко и быстро разстегнула пряжки чемоданчика и стала поспѣшно вынимать оттуда разныя баночки и пузырьки... Суффи пошелъ въ саклю Эстеръ за люлькою... Хатыча, кажется, очень заинтересовалась содержимымъ чемоданчика...

— Позовите еще кого-нибудь... Я не могу одна... Надо поднять ее и положить сюда... Да прикройте ее чѣмъ-нибудь... скорѣе... надо отворить всѣ двери настежь...

Улькунъ-Курсакъ тихо вошла въ саклю... Она совсѣмъ преобразилась, она даже пыталась улыбаться и нѣсколько разъ поклонилась незванной гостьѣ.

— Что прикажите, госпожа?.. Сюда перетащить?.. Сейчасъ... Хатыча, бери ты, дура, за ноги, я подъ плечи... Сюда класть прикажешь?

Появилась и Сары-Копма, почему-то нацѣпившая на себя всѣ украшенія, которыя только нашлись у нея въ сундукѣ.

Съ трудомъ переступивъ черезъ порогъ (оборванный коверъ мѣшалъ), пришелъ и Суффи, неся тяжелую люльку съ больнымъ ребенкомъ.

— Повиноваться!.. Не только слову каждому, взгляды ловить и понимать. Слышите!..—прошепталъ онъ, обращаясь къ своимъ (но какимъ шопотомъ: мурашки у нихъ всѣхъ по спинѣ забѣгали...) и бережно опустилъ свою ношу у самаго тагана, какъ разъ посрединѣ сакли.

. . . . . .

Да, тревожную, хлопотливую ночь, вплоть до самаго разсвѣта, провело все женское населеніе въ домѣ Суффи Казиметова. Да и мужской прислугѣ досталось: нѣсколько разъ сѣдлали наскоро лошадей и, сломя голову, скакали гонцы въ русскій городъ съ записками Ольги Николаевны. Всѣ къ утру притомились и еле бродили, а ей хоть бы что!

VI.

И понеслась пестрая молва по всему городу, разлилась по всему базару, проползла змѣею по всѣмъ улицамъ и узкимъ переулочкамъ, забралась во всѣ сакли жилыя, во всѣ потаенные дворики, разросталась съ каждымъ часомъ, съ каждою минутою даже, а, главное, уклоняясь все далѣе и далѣе отъ правды, отъ того, что дѣйствительно происходило.

Исходною точкою всевозможнаго вздора, конечно, служилъ кухонный дворъ Суффи Казиметова.

Сама Улькунъ-Курсакъ первая, послѣ вспышки хозяйскаго гнѣва, появившись передъ всѣмъ собраніемъ, и своихъ, и чужихъ, произнесла:

— Гибель и позоръ нашему честному дому!

Она начала рыдать, бить себя кулаками въ грудь и даже пыталась разодрать свои одежды, въ знакъ полнаго отчаянія...

Сары-Кошма заявила, что лично успѣла замѣтить змѣиный хвостикъ изъ-подъ подола русской гостьи:

— Длинный такой, на концѣ огонь красный... крутитъ и шипитъ, какъ сало на таганѣ!

А потомъ и пошло, и пошло...

Всю ночь многіе изъ гостей кухоннаго двора такъ и не расходились по домамъ, другіе уходили, но возвращались снова, за новыми свѣдѣніями и дополненіями... Сары-Кошма и Хатыча, исполняя порученія женщины-доктора, были, конечно, первыя вѣстовщицы. Улькунъ-Курсакъ, появляясь значительно рѣже, подтверждала и разъясняла.

— Ахъ, что дѣлается... Что только дѣлается!.. Джюгудкѣ въ носъ пузырекъ засунули, а оттуда желтое пламя и змѣйки черненькія... Хозяинъ ей руки назадъ закрутилъ и крѣпко держитъ, а «эта» все у самаго сердца зубами грызетъ, кровь высасываетъ...

— Ой-ой, Аллахъ многомилостивый! Пропадетъ бѣдная!

— Туда ей и дорога!..

— Воду кипятить приказали!..—появляется сама Улькунъ-Курсакъ.—Да чтобы скорѣе... Слышите! Больше воды... цѣлый котелъ!..

— Мальчика варить будутъ... — поясняетъ Сары-Кошма (трясется вся отъ страха, не знаетъ, за что хватиться, и цвѣтныя стеклышки у ней съ шеи сыплются).

— Да что же мы здѣсь стоимъ и молчимъ!—взываетъ старуха-гостья въ красномъ халатѣ.—Спасать надо... Идемъ, что ли!..

— Разорвать въ клочья эту русскую вѣдьму... Избить самого Суффи до полусмерти!..

— Да, поди, сунься!.. Суффи ножъ себѣ за поясъ засунулъ, да и полицейскій изъ города, а съ ними еще два джигита съ плетьми за дверью стоятъ по хозяйскому приказу...

— Эстеръ очнулась!—вбѣгаетъ стремительно Хатыча.—На вѣдьму бросилась, ребенка отнимаетъ... Суффи не даетъ... Не закипаетъ вода, что-ли? Хозяинъ сердится...

— Перевернулась, проклятая! Была вся въ черномъ платьѣ, какъ пріѣхала, а теперь бѣлая стала!—объявила Сары-Кошма.— Мѣшокъ свой открыла, а тамъ все ножи острые, крючья желѣзные... страсти такія!..

— Изъ города котелъ привезли жестяной и двѣ большія бутылки...

— Съ чѣмъ бутылки-то?

— Конечно, съ чѣмъ!—Съ водою мертвою... Какъ польешь на что хоть капельку, сразу какъ огнемъ сожжетъ...

Сегодняшнею неожиданно появился и самъ Суффи Казиметовъ. Всѣ такъ и шарахнулись врозь по темнымъ угламъ.

— Огонь развести, въ саду, за стѣною, да побольше... костеръ складывай!

Покойно такъ говоритъ хозяинъ, будто и не очень строго, а видъ у него такой, что калмычка и еще двое изъ прислуги такъ и кинулись исполнять приказаніе.

Сказалъ и скрылся.

Пяти минутъ не прошло, какъ уже красное зарево поднялось надъ дворомъ, и въ темное небо брызнули огненныя искры. Снова появился Суффи, съ дѣтскою люлькою, полною всякаго грязнаго тряпья, и швырнулъ ее въ самую середину огня. Крикъ и стонъ поднялся во дворѣ... Думали, что и больной ребенокъ въ люлькѣ... А тутъ и мужчины появились въ непоказанномъ для нихъ мѣстѣ: это джигиты хозяйскіе и работники изъ караванъ-сарая, ковры притащили и тоже все въ огонь да въ огонь.

Снова завизжало женское населеніе и стало прятаться отъ мужчинъ, чѣмъ попало, закрывая свои лица.

Теперь Суффи Казиметовъ самъ стоитъ, наблюдаетъ, чтобы все горѣло. Ничего отъ его глазъ укрыть нельзя.

Смрадъ поднялся невыносимый. Вонючею гарью на весь кварталъ потянуло, а огонь все пуще и пуще разгорается; это уже работники стараются, цѣлыми охапками старую солому да бурьянъ подкидываютъ.

— Будь ты проклятъ, окаянный отступникъ! — раздался въ темнотѣ хриплый, старческій голосъ.

Кто сказалъ—не видать... Не то съ крыши, не то, можетъ быть, съ самаго неба,—сверху откуда-то.

Суффи вздрогнулъ и поблѣднѣлъ, однако выдержалъ, сдѣлалъ видъ, что не слышитъ.

Мертвая тишина наступила разомъ, даже черные силуэты мужскихъ фигуръ на красномъ фонѣ костра словно окаменѣли.

— Уходи, таксыръ,—прервала эту роковую тишину Улькунъ-Курсакъ.—Все будетъ сдѣлано по твоему приказу...

Толстая ханымъ сказала это такъ покорно, вкрадчиво даже. Она знала характеръ Суффи, знала, какая вспышка всесокрушающаго гнѣва могла бы разразиться вслѣдъ за этимъ затишьемъ, и, должно быть, сильно испугалась за кого-то, кто по своей дряхлости не успѣлъ бы уйти отъ неминуемой расправы.

— Сочтемся еще!—проговорилъ Суффи и вернулся къ мѣсту самаго «дѣла».

А тамъ уже все было налажено. Женщина въ бѣломъ работала, что называется, не покладая рукъ. Больного ребенка уже обмыли, осмотрѣли. Мальчикъ лежалъ, завернутый въ чистое полотно. Ему просприцовали ноздри, очистили ротикъ. Крохотная, тощая грудка вздымалась шире и легче. Руки Ольги Николаевны работали такъ нѣжно, бережно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшительно и самоувѣренно. Она сама улыбалась и одобрительно кивала головою. А за нею, за каждымъ движеніемъ этихъ тонкихъ, нѣжныхъ пальцевъ, за игрою ея лица, зорко и внимательно слѣдили два черныхъ, лихорадочнымъ огнемъ горѣвшихъ глаза.

Это была Эстеръ. Она приподнялась на локти и просто впилась въ русскую женщину, какъ тигрица въ засадѣ при видѣ лакомой добычи. Незамѣтно она подбиралась, скорѣе подползала, все ближе и ближе. Ольга Николаевна, занятая ребенкомъ, не замѣчала этого маневра. Вдругъ она почувствовала, что кто-то легко и осторожно тронулъ ее за рукавъ. Она обернулась и сразу поняла выраженіе глазъ джюгудки.

Черные глаза ждали рокового отвѣта, просили хотя бы надежды.

— Ахъ ты, моя бѣдная сестра... (Ольга Николаевна особенно выразительно произнесла слово: «сестра»).

Она ласково провела рукою по головѣ Эстеръ и пригнула эту красивую, типичную голову къ себѣ на колѣни.

— Ну, слушай, я тебѣ разскажу сказочку... Маленькій, больной мальчикъ выздоровѣетъ, станетъ большимъ, ему купитъ отецъ красиваго коня, мать сошьетъ яркій, шелковый халатъ, онъ поѣдетъ по базару, и всѣ будутъ спрашивать, чей это такой джигитъ молодой? А онъ отвѣтитъ: я сынъ отца моего, мудраго и добраго Суффи, и матери моей, красавицы... какъ тебя зовутъ, сестра моя милая?

— Эстеръ...—чуть слышно прошептали сухія, воспаленныя губы.

— Ну, вотъ это самое имя и назоветъ джигитъ!

— А я тебя задушить хотѣла...—прошептала снова Эстеръ.— Я, знаешь, хотѣла подкрасться къ тебѣ потихоньку сзади и сдавить горло... я, вѣдь, сильная! Сразу бы задушила... Нѣтъ, ты теперь не бойся, — продолжала она, замѣтивъ, вѣроятно, какъ вздрогнула русская женщина подъ впечатлѣніемъ сказаннаго: — теперь я себя дамъ задушить, если бы кто тебѣ зло захотѣлъ сдѣлать...

Эстеръ помолчала минуту и заговорила снова, стараясь припомнить слова изъ сказки.

— И всѣ будутъ его спрашивать: чей это такой джигитъ молодецъ?.. Знаешь, я, вѣдь, совсѣмъ не любила Суффи... знаешь, моего мужа!

— Отчего же ты его не любила?—улыбнулась Ольга Николаевна, озадаченная такимъ неожиданнымъ оборотомъ.

— Развѣ куры могутъ любить пѣтуха? Что онѣ ему, что онъ имъ?.. Куры [illegible]хутъ,—другія найдутся, пѣтуха зарѣжутъ, другого пустятъ въ курятникъ... Все, вѣдь, равно, все одно и то же... А теперь я очень полюбила Суффи. Очень полюбила... ни за что не пущу его ни къ Сары-Кошмѣ, ни къ Хатычѣ противной!

— За что же ты теперь его полюбила?

— А за то, что онъ помѣшалъ тебя задушить... За то, что ударилъ меня больно-пребольно, за то, что чуть руку не сломалъ, когда вязалъ поясомъ... «А джигитъ отвѣтилъ: я сынъ Суффи и Эстеръ»... Можно мнѣ взять мальчика на руки?..

— Нѣтъ, милая моя, онъ теперь спитъ... Посмотри осто-

рожно, да тише, не разбуди... Ему теперь сонъ больше всего нуженъ...

— Тс!—быстро приподнялась Эстеръ навстрѣчу вошедшей Улькунъ-Курсакъ...

Та даже попятилась... такъ это «тс!» было внушительно.

За нею слѣдомъ показалась рослая фигура Суффи... Теперь только, взглянувъ на его блѣдное, осунувшееся лицо, Ольга Николаевна, замѣтила, какія муки перенесъ отецъ за эту хлопотливую, полную душевной тревоги, ночь... Да и какъ не замѣтить, когда въ верхнія окна сакли, побѣдоносно борясь со свѣтомъ подслѣповатыхъ фонарей, врывался лучъ яснаго, зимняго утра.

VII.

Прошла недѣля. Незамѣтно пролетѣло это время, — иной день, бывало, вдвое больше тянется. Больной ребенокъ поправлялся быстро. Онъ уже настолько окрѣпъ, что могъ ползать по ковру и крѣпко вцѣплялся ручонками въ края чашки съ подогрѣтымъ кобыльимъ молокомъ. Мать хотѣла-было сама продолжать кормить, но ей строго запретили это проявленіе материнскаго чувства.

Ольга Николаевна сначала каждый день пріѣзжала навѣщать больныхъ, проводила съ ними часа по три и больше, а теперь уже настолько подвинулось дѣло выздоровленія, что можно было поручить надзоръ и самому Суффи,—благо тотъ, не то, что прежде, всего на часокъ-другой навѣдается по дѣламъ въ караванъ-сарай или въ русскій городъ, а все больше сидитъ дома и на Шарипку своего не нарадуется... Веселый сталъ такой, добрый, ласковый,—особенно къ Эстеръ... Та возьметъ, бывало, ребенка на руки и станетъ его покачивать, а Суффи глазъ съ нихъ обоихъ не спускаетъ, улыбается и въ ладоши хлопаетъ... Разъ даже (Сары-Кошма клялась на кухнѣ, что сама видѣла) хозяинъ обнялъ джюгудку и цѣловать припялся:—«ужъ онъ ее цѣловалъ, цѣловалъ... и въ лобъ, и въ глаза, а та, подлая, смѣется и все какъ-будто отталкиваетъ, а сама... Ахъ, чтобъ ей костью бараньей подавиться... Вотъ, вѣдь, безстыжая!..»

— Да ты чего же въ камору къ Эстеръ ходила? — спросила ее строго Улькунъ-Курсакъ.

— Да не въ каморѣ, а въ общей саклѣ... Суффи видѣлъ, что я тутъ посуду перетираю. «Эй, ты, толстомясая, чего гремишь? Ты полегче...» А самъ все цѣлуетъ... А тутъ и Эстеръ ко мнѣ: ступай, говоритъ, дура, на кухню...

— А ты что жъ ей не отвѣтила: сама, молъ, ступай. Я такая же жена моему мужу, какъ и ты, даже старше...

— Не посмѣла!..

— Охъ, дѣла, дѣла!.. Людямъ даже на глаза показаться стыдно!—вздохнула старуха. — Сосѣди всѣ на смѣхъ поднимаютъ... «Вотъ такъ Улькунъ - ханымъ, говорятъ. Вотъ такъ старшая хозяйка въ домѣ...» Тьфу!..

— А, вѣдь, что жъ,—вмѣшалась тутъ Хатыча. — Вѣдь, вотъ помогла же русская баба ребенку... Вылѣчила небось!..

— Молчи ты, дура, и впрямь корова не мытая... Что ты понимаешь? «Вылѣчила!» Посмотримъ еще, какъ это вылѣчила. Заколдовала болѣзнь точно,—а надолго ли,—это еще не знаемъ... «Вылѣчила»,—тоже!..

Улькунъ-Курсакъ даже ударить хотѣла толстую болтунку, замахнулась было, да ограничилась только энергичнымъ плевкомъ и отвернулась.

Калмычка ворохъ сухого бурьяна притащила, таганъ, разжигать,—швырнула его на полъ, а изъ бурьяна фаланга выбѣжала,—крупная такая, страшная!.. Ядовитаго паука опасно голою ногою давить, стали чѣмъ попало загонять гадину въ самый жаръ угольный... Визгъ поднялся на кухнѣ, суетня... чуть не упустили, да, слава Богу, справились, — и зашипѣла непрошенная гостья, скорчившись въ комокъ, въ горячей золѣ... подохла. Улькунъ-Курсакъ пристально смотрѣла на эту черную, обуглившуюся точку и словно про себя бормотала:

— Сгибла... никого не успѣла укусить... Во-время доглядѣли... А *ту* не доглядѣли,—всѣхъ перекусала, всѣхъ погубить хочетъ,—и нѣтъ на нее управы!.. Фаланга — что, пустяки! Укуситъ, — поболитъ недѣльку-другую, вспухнетъ тѣло, лихорадка потреплетъ, а потомъ и пройдетъ... А тутъ, вѣдь, на всю жизнь,—да и не на одну земную, короткую,—нѣтъ! И на будущую,—безъ конца, безъ Божьяго прощенія... Эта за ногу хватитъ, за палецъ, что ли... та прямо за душу, такъ и впуститъ туда свое ядовитое зелье... проклятая!..

— Вы это про кого, ханымъ?—прислушалась было Хатыча.

— Не твоего ума дѣло!—огрызнулась старуха.

— Это она про русскую бабу, про доктора этого самаго!—догадалась Сары-Кошма.

— А хоть бы и про нее!.. Дуры вы обѣ, какъ есть... и ничего не поймете...

— А мы, можетъ, и поймемъ...

— Поймете?.. Ну, хорошо!.. Кто вы теперь здѣсь въ домѣ?.. Ну, говорите!

— Какъ кто? Мы жены Суффи,—хозяйки. Ты вотъ, ханымъ, мать первой жены, что померла,—я первая жена, какъ ты приказала,—Сыры-Кошма вторая послѣ меня...

— Врешь, врешь, я первая!—перебила Сары-Кошма.

— Помолчи! — придержала ее Улькунъ-Курсакъ. — Ну, говори!.. Дальше...

— Что дальше?.. Эстеръ по порядку—третья!..

— «Я хозяйка въ домѣ,—ты первая... та вторая»,—раздражительно заговорила Улькунъ-Курсакъ.—Какъ же,—держи карманъ... Это все было до прихода той фаланги съ желтыми волосами. А теперь:— и я, и ты, и ты тоже,—всѣ мы простыя работницы,—все равно, что калмычка наша, что Зюлька колченогая, что вонъ та ослица на привязи. Одна только хозяйка, одна госпожа—Эстеръ, и покуда она не сдохнетъ отъ своей болѣзни, до тѣхъ поръ такъ и будетъ, до тѣхъ поръ мы всѣ подъ ея рукою.—Позволитъ она своему Суффи ласково взглянуть на васъ,—можетъ быть, и взглянетъ; не позволитъ,—онъ до васъ и не дотронется... На порогъ къ себѣ не пуститъ...

— Ну,—это мы еще посмотримъ...—усомнилась Хатыча.

— Поглядимъ...—подтянула ей Сары-Кошма.

— Много увидите! — злобно такъ усмѣхнулась Улькунъ Курсакъ.

— А мы вотъ что придумали... Мы долго, долго думали.. Мы, вѣдь, тоже понимаемъ, въ чемъ дѣло.

— Что же вы придумали?

— А вотъ что: ты, ханымъ, намъ денегъ дай. Мы пойдемъ на базаръ, завтра же пойдемъ, и купимъ тамъ самаго хорошаго шелку, купимъ галуна золотого, золотой нитки и всего купимъ, что надо... Наберемъ бархату краснаго на халатъ и снесемъ къ «уста» (мастеру), знаешь Ибрагима, что за шорнымъ базаромъ, третья лавка слѣва. Онъ намъ узоры нарисуетъ,

такіе богатые, что у самаго эмира нѣту... А мы съ Хатычею вышьемъ, такъ, по всему борту, до низа и по всей спинѣ... Принесемъ, какъ готово будетъ, и подаримъ Суффи, скажемъ:— На, таксыръ, это мы, твои вѣрныя жены, сдѣлали... Мы: я и Хатыча, а Эстеръ тутъ рукъ не прикладывала, потому что она не умѣетъ такъ вышивать... Она пробовала, да не можетъ; пошьетъ часъ-другой, только напутаетъ, а потомъ устанетъ, сомлѣетъ вся, въ потъ ее ударитъ и дышать начнетъ тяжело... Она лѣнивая!—Вотъ что мы съ Хатычею придумали. Посмотримъ тогда, что Суффи скажетъ...

— А скажетъ вамъ Суффи то же, что и я скажу вамъ теперь: дуры вы, дуры набитыя. Да и я, старая, тоже дура, что съ вами разговоръ настоящій затѣяла...

Улькунъ-Курсакъ встала, еще разъ плюнула и пошла навѣдаться на чистую половину.

Всего минутъ за пять до прихода старухи хозяинъ отлучился изъ дому. Улькунъ-Курсакъ извѣстно было это обстоятельство, но она сдѣлала нѣсколько удивленную физіономію, будто отсутствіе Суффи для нея неожиданно и даже нѣсколько непріятно.

— Эхъ! А я было хотѣла поговорить съ нимъ... И куда это онъ только уѣхалъ? — произнесла она, погладила ласково рукою по чернымъ, лоснящимся волосамъ Эстеръ и присѣла съ нею рядышкомъ.

— Не надолго,—сказывалъ...

— Не надолго... это хорошо... очень хорошо... Нашъ Суффи теперь домосѣдъ сталъ... Никуда не ходитъ зря, не гуляетъ... Домъ полюбилъ, значитъ... это очень хорошо... А все ты это сдѣлала, душа моя, ты его къ дому тянешь... Да такъ и надо. Кому охота отъ такой жены изъ дому бѣгать... Ты такая красивая, такая хорошая!..

Эстеръ испуганно взглянула прямо въ глаза Улькунъ-Курсакъ, а та и не мигнула, смотритъ на нее ласково, преласково и все по головѣ гладитъ.

— Дуры наши, тѣ двѣ, завидуютъ, глупыя, и на тебя, ангелъ мой, сердятся. Да ты на нихъ не смотри. Эка невидаль, что онѣ толстыя, румяныя, да здоровыя... а куда имъ до тебя... Онѣ, вотъ, говорили мнѣ: Эстеръ больная, лѣнивая,—это онѣ

про тебя говорили; у Эстеръ сквозь кожу всѣ кости прощупать можно, а мы... Чего же ты, душа моя, отъ меня отодвинулась? Это вѣдь не я,—онѣ говорятъ. А я имъ въ отвѣтъ: у барана, молъ, еще толще курдюкъ, да гдѣ ему противъ породистой кобылы,—та хоть и тоща, да какихъ кровныхъ жеребятъ носитъ хозяину на радость и прибыль... А вы, молъ, не смѣйте обижать Эстеръ... Почитать ее должны, во всемъ слушаться... Я, вотъ, старая, а люблю и почитаю... Я не гордая, я добрая... Для хозяина ты первая стала въ домѣ и для всѣхъ насъ, значитъ, первая... Такъ и законъ велитъ, да такъ и надо...

Старуха говорила вполголоса, а сама все въ уголъ смотрѣла. Тамъ Шаринка спалъ, нагулялся, наигрался вдоволь, наползался—его и сморило... Спитъ ребенокъ крѣпко, свернувшись калачикомъ на мягкой кошмѣ. Въ саклѣ тепло, воздухъ такой чистый, лежитъ мальчикъ почти голенькій, а мать занялась чинкою нагрудника своего: дитя шалило, все за бусы да коралловыя нитки ручонками держало, ну, и порвалось кое-что. Эстеръ и поправляла дѣло, нанизывала на шелковыя нитки разсыпавшіяся кораллинки... Пальцы у нея длинные, тонкіе, ногти киноварью подкрашены, а на щекахъ румянецъ горитъ; на одной румяна попали какъ разъ на мѣсто, а на другой сдвоились яркія пятна,—чужое, значитъ, отъ своего, огневого, сторонится, попало не на мѣсто; брови дугою выведены, словно смолою выклеены, а косы золотою ниткою пробраны, а на концахъ красныя кисточки шелковыя вплетены...

«Заботится о своей красотѣ, подлая», промелькнуло въ головѣ Улькунъ-Курсакъ.

— А посмотрю я на тебя,—произнесла она вслухъ.—Въ сказкѣ говорится о красавицѣ ханшѣ, что батыря Арслана въ полону держала,—ну, совсѣмъ какъ про тебя писано. Такая же красавица... Охъ-хо-хо! Залюбовалась я, на тебя глядючи, а у самой кошки скребутъ на сердцѣ...

— Что такое?..

— Да ужъ не знаю, говорить ли тебѣ, или нѣтъ... Такая ты стала тревожная, да слабая... Сонъ такой мнѣ нынче пригрезился; вѣщій ли сонъ, такъ ли, съ пересыпи,—только нехорошій... Не стоитъ и говорить, право... Не слушай ты меня, глупую старуху!..

— Что же ты во снѣ видѣла?—спросила Эстеръ глухимъ, дрогнувшимъ голосомъ.

— Да пустяки!.. Не стоитъ... Можетъ, милая, принести тебѣ что-нибудь, фисташекъ, кишмишу, — лепешки сейчасъ испекли, свѣжія?..

— Что же ты, ханымъ, во снѣ видѣла?

— Да брось ты это, не спрашивай лучше... Очень худое... Ужъ такое худое, что лучше забыть совсѣмъ... Вотъ схожу къ муллѣ, разскажу весь сонъ, онъ и разъяснитъ. Коли не такъ худо, тебѣ передамъ, а если... Ну, тогда лучше и не разсказывать никому...

Эстеръ быстро встала на ноги, кораллинки и бусы посыпались у ней съ колѣнъ. Она рванулась къ спящему ребенку, осторожно взяла его на руки, тотъ даже и не проснулся, и крѣпко прижала къ своей груди. На свое мѣсто она не вернулась, а присѣла тамъ же, въ углу, подальше отъ собесѣдницы, и повторила:

— Ну, разсказывай!

Улькунъ-Курсакъ закрыла лицо руками, опираясь локтями на колѣни, и протяжно, глубоко вздохнула... Казалось даже, будто она всплакнула немного.

— Ну?

— Да видѣла я такой сонъ, подъ утро подъ самое... Это самые сбывчивые сны, вѣщіе, которые подъ утро... Вижу я... сама стою на высокой крышѣ, только не на нашей, а другой, высокой-превысокой... и все мнѣ кругомъ видать, весь городъ, какъ на ладони: и медрессе видно, и весь базаръ, и за стѣнами что,—все видно, и всѣ, какъ есть, дома... Вижу и нашъ домъ, на своемъ мѣстѣ, на него и гляжу больше... Солнце ясное такое, день жаркій, а тутъ, смотрю, солнце все темнѣть да темнѣть начало... сначала красное сдѣлалось, какъ кровь, а потомъ и совсѣмъ какъ котелъ почернѣло... Страхъ на меня напалъ, думаю: что такое теперь будетъ? Вижу: туча идетъ по небу, тоже черная, и какъ разъ надъ нашимъ городомъ... Молю я Аллаха: — пронеси бѣду мимо!.. А туча все идетъ да идетъ... и вдругъ, сразу, остановилась... О, Господи!

— Гдѣ же остановилась?..

— И сказать,—языкъ сле ворочается...

— Ну?..

— Какъ разъ надъ нашимъ домомъ...

— Уйди, уйди... Молчи!.. Не надо, не надо!..

Эстеръ одною рукою крѣпко сжала ребенка, другою стала отмахиваться отъ разсказчицы, какъ отъ страшнаго видѣнія... Она истерично зарыдала. Ребенокъ проснулся и заплакалъ тоже.

— Я говорила, что не надо... А ты все пристаешь... Да чего ты? Опомнись!.. Ну, не буду больше,—сказано, не буду... Что такое сны? Можетъ, и вздоръ! Вотъ муллѣ разскажу, онъ и скажетъ, что, можетъ быть, и хорошее этотъ сонъ означаетъ... Вотъ во снѣ кого мертвымъ видѣть, на что хуже!.. А значитъ къ долголѣтію,—за вѣкъ тому, значитъ, жить положено... Вотъ, напримѣръ, разбойники нагрянули, всю одежду дорогую покрали,—а оно къ обновкамъ означаетъ... Да Богъ съ тобою... Я-то, глупая, начала сдуру. Ты, смотри, Суффи не пожалуйся... Не буду... молчу... Я вотъ пойду и принесу тебѣ чего-нибудь сладенькаго...

Старуха поднялась на ноги и направилась было къ двери.

— Стой! Не уходи!.. Начала,—такъ уже кончай!.. Не доскажешь, хуже меня запугаешь... Досказывай!..

— Суффи ничего не скажешь?..

— Нѣтъ!

— Не будешь на меня жаловаться?..

— Нѣтъ, не буду!

— Ну, то-то! Да сядь же покойно... Погоди, я Шарипкѣ молочка принесу... Вишь, онъ надрывается, да тебя все за груди цапаетъ... Вѣдь, ничего тамъ не осталось, все перегорѣло... Я принесу молочка...

— Разсказывай!

— Что же съ тобою подѣлать!—вздохнула Улькунъ-Курсакъ и тяжело опустилась на свое мѣсто...

— Ты госпожа, ты приказываешь... Должна я слушаться!

— «Туча остановилась надъ нашимъ домомъ»,—проговорила Эстеръ, какъ бы подсказывая ей продолженіе...

— Да, остановилась и стала спускаться все ниже и ниже... Ужъ и крыши всѣ покрыла, во всѣ дворы, во всѣ сакли заползла непроглядная тьма, и въ этой тьмѣ красные, огненные языки замелькали... И, вдругъ, я слышу голосъ, громкій такой, зычный, какъ та большая, мѣдная труба, въ которую

еще при эмирѣ Мозафарѣ трубили сарбазы, — и спрашиваетъ голосъ:—это-ли тотъ самый домъ, колдовствомъ злымъ опоганенный?.. А другой голосъ ему отвѣчаетъ... знаешь, чей это былъ другой голосъ?.. Да гдѣ тебѣ знать!.. Это я помню, я узнала сразу... Голосъ муллы Мамета-Кула, что, вотъ скоро двѣнадцать лѣтъ какъ померъ, большой мазаръ ему на кладбищѣ выстроенъ... Такъ вотъ голосъ Мамета-святого и отвѣчаетъ:—Этотъ самый! А первый голосъ говоритъ: —Если этотъ, такъ его надо очистить огнемъ небеснымъ, да и вообще, говоритъ, не мѣшало бы многое почистить въ этомъ городѣ, да я пока что терпѣливъ и многомилостивъ,— можетъ, одумаются. А уже такого дѣла не спущу... Только онъ это сказалъ, какъ вдругъ все запылало:—и стѣны каменныя, и вся стройка, деревья во дворѣ, вода въ пруду, — все запылало... Я такъ и ахнула, такъ и присѣла со страху...

— И всѣ сгорѣли?

— Нѣтъ. Сары-Кошма и Хатыча, и всѣ, кто на кухнѣ, всѣ около меня стояли, какъ они здѣсь очутились, я не примѣтила...

— А Суффи?..

— Суффи я не видала. Можетъ быть, его дома не было въ ту пору!

— А я съ Шарипкою?..

Улькунъ-Курсакъ не замѣтила, какъ Эстеръ приблизилась къ ней вплотную; она почувствовала только, какъ тонкіе, но сильные пальцы крѣпко вцѣпились ей въ плечи.

— А я съ Шарипкою?

— Отстань!.. Что ты... Что у тебя въ рукахъ?.. Полоумная!.. Смотри, ребенка выронишь?.. Эй! Хатыча! Кто тамъ есть?!. Эй!..

Старуха отчаянно рванулась и бросилась къ двери.

— Куда же ты бѣжишь? — простонала Эстеръ... — Чего испугалась?.. Что я могу тебѣ сдѣлать худого?..

Она разомъ ослабѣла и покачнулась на ногахъ. Улькунъ-Курсакъ поддержала ее и бережно посадила на коверъ, выхвативъ у ней изъ рукъ плачущаго ребенка, да и во-время какъ разъ...

— Видишь, джанымъ, какъ ты встревожилась... Видишь!.. Я говорила, вѣдь, что не надо было разсказывать...

Въ дверяхъ разомъ показались головы Сары-Кошмы и Хатычи.

— Что случилось?

— Ничего не случилось!.. Бѣгите за молокомъ для мальчика... Чего смотрите, какъ бараны на красный халатъ... Несите молоко скорѣе да чаю для ханымъ-Эстеръ... Забились тамъ на кухнѣ и не заглянутъ, куда слѣдуетъ... Лупоглазыя!..

Хатыча хихикнула и толкнула въ бокъ Сары-Кошму; та отвѣтила ей тѣмъ же.

Обѣ побѣжали исполнять порученіе, и слышно было, какъ онѣ продолжали смѣяться, — долетѣла до слуха Улькунъ-Курсакъ даже фраза:

— Ишь, ты какъ нынче: «несите чаю для ханымъ-Эстеръ!..» Ха-ха-ха!..

— И впрямь дуры!—выругалась, не утерпѣла старуха и, обращаясь снова къ Эстеръ, принялась ее успокаивать, какъ умѣла...

Она испугалась, что вотъ-вотъ вернется Суффи, застанетъ джюгудку въ такомъ состояніи, станетъ разспрашивать, та, пожалуй, скажетъ, въ чемъ дѣло, и достанется тогда, ой-ой, какъ достанется разсказчицѣ,—виновницѣ всей тревоги...

— Ты же смотри, дорогая моя, красавица моя ненаглядная,—ты не говори мужу, ничего не говори!.. Ты же обѣщала мнѣ не передавать... Смотри же! Мнѣ что! Я не виновата! Я что видѣла во снѣ, то и разсказывала. Сны, вѣдь, отъ Бога... Вѣдь, Богъ знаетъ, что дѣлать надо, знаетъ, что кому нужно... У него въ большой, святой книгѣ записано для всякаго человѣка его предопредѣленіе... Вотъ Богъ намѣтилъ къ себѣ твоего Шарипку,—кто знаетъ, зачѣмъ онъ ему понадобился? Можетъ быть, въ батчи къ самому Магомету, великому пророку... Какая слава, какая честь мальчику предназначалась!.. А вотъ пришли невѣрные люди, заколдовали и отбили у Бога... Это не хорошо! Ну, да ничего! Нагрѣшили мы съ тобою... Сходимъ къ муллѣ, когда выздоровѣешь, поправишься совсѣмъ,— мулла святой человѣкъ, онъ отгонитъ злыя чары, и все пойдетъ хорошо, Богъ смилуется и проститъ... Онъ мнѣ и сонъ такой послалъ, чтобы предупредить... Вотъ что, солнце ты мое красное... А ты не тревожься... Ты лучше скажи: — какая вы, Улькунъ-Курсакъ, добрая для меня совѣтчица и указчица!..

— Не нужно Богу моего Шарипку... — бормотала сквозь слезы Эстеръ.—Шарипка мой... Онъ мнѣ нуженъ... Богъ большой, сильный, богатый, зачѣмъ ему отнимать отъ бѣдной Эстерки мальчика... не надо, не надо!..

Слезливое всхлипываніе перешло въ громкія рыданія... Улькунъ-Курсакъ опять встревожилась.

«Ой! ой! — думала она. — Нагрянетъ хозяинъ, какъ снѣгъ на голову...»

— Ну, знаешь, что я придумала... Да не плачь, глупая, слушай лучше внимательно:—я завтра сама схожу къ муллѣ,— я скажу ему, чтобы онъ попросилъ Бога не трогать твоего мальчика, чтобы Аллахъ выбралъ себѣ другого... Вотъ, пускай у сосѣда Дауда взялъ бы ребеночка. У Даудки, вѣдь, семь человѣкъ мальчиковъ, куда ему столько!.. Хочешь, я попрошу муллу, чтобы онъ все это объяснилъ Аллаху, какъ слѣдуетъ... Хочешь?..

— Хочу...—прошептала Эстеръ.

— Ну, вотъ и хорошо... А ты, все-таки, смотри! Ничего, ни полъ-словечка не говори Суффи... Молчи... Не скажешь?

— Не скажу...

— Да что же это, въ самомъ дѣлѣ, эти овцы паршивыя до сихъ поръ молока не несутъ?.. То-есть, право,—безъ пинка да колотушки съ ними не сговоришь!.. Пойти, развѣ, самой поторопить... Прилягъ, моя родная, прилягъ, пока... Пріѣдетъ Суффи, увидитъ, какая ты заплаканная... Вонъ вся краска съ лѣвой щеки сползла... Возьми, накось, зеркальце, поправься...

Эстеръ жадно схватила поданное ей складное, въ фольговой оправѣ, зеркальце и стала торопливо протирать его подоломъ рубахи. Улькунъ-Курсакъ вышла.

По дорогѣ на кухню она встрѣтилась съ обѣими женами:— одна несла молоко въ зеленой глиняной чашкѣ, другая кунганъ съ чаемъ, придерживая подъ мышкою свѣже-испеченныя, еще горячія лепешки.

— А ты, ханымъ, умная!—хихикнула Хатыча.

— Ой-ой, какая умная!—добавила Сары-Кошма.

— А вы подслушивали, небось? Но только ежели которая изъ васъ слово кому пикнетъ, сама, своими руками, какъ курицѣ, сверну шею... слышали?

— Еще такой сонъ разскажешь, — не надолго хватитъ джюгудки...

— Ты ее каждый день донимай снами, — въ недѣлю подохнетъ...

— Ну, не разговаривать лишняго! Не люблю! Несите, да кланяйтесь тамъ ниже, «ханымъ» величайте... Я вотъ стара, да и то раза два этимъ словомъ обмолвилась... Чу, никакъ самъ вернулся... что-то на переднемъ дворѣ зашумѣли...

Дѣйствительно, шумъ у воротъ означалъ возвращеніе хозяина. Суффи вернулся, да и не одинъ, а съ Ольгою Николаевною. Онъ ее случайно встрѣтилъ на базарѣ и попросилъ зайти къ нему въ домъ, на «чашку чая». Та охотно согласилась, потому что и безъ приглашенія собиралась заглянуть, провѣдать своихъ паціентовъ.

Привыкшая уже къ порядкамъ дома, Ольга Николаевна опередила хозяина еще въ воротахъ, быстро пробѣжала главный дворикъ, и, съ веселымъ лицомъ, первая появилась на порогѣ женской сакли; въ рукахъ у нея были игрушки: конекъ на дощечкѣ съ колесиками и мячикъ, оплетенный фольгою и мишурою, съ погремушкою внутри...

— Ну, сестра милая, здравствуй!.. Вотъ и я!

Весело такъ, громко проговорила гостья свое привѣтствіе, и разомъ стихла, такъ поразило ее состояніе, въ которомъ застала она бѣдную мать Шарипки.

Эстеръ лежала на полу и крѣпко прижимала къ себѣ плачущаго ребенка, тотъ ревѣлъ, что называется, благимъ матомъ и, видимо, пытался освободиться отъ такихъ неудобныхъ объятій, а сама Эстеръ находилась въ состояніи полной истерики, безсознательно прижимая къ своей груди Шарипку все сильнѣе и сильнѣе... Никого больше въ саклѣ не было, только дверь во второй дворъ была на половину прикрыта, кто-то вышелъ, должно-быть, да забылъ плотно прихлопнуть.

Ольга Николаевна сразу уяснила себѣ положеніе и, бросивъ игрушки, кинулась выручать ребенка... Дѣло было не легкое: Эстеръ крѣпко уцѣпилась за это крохотное тѣльце и едва только почувствовала, что кто-то пытается отнять у нея сына, какъ ея, пока тихая, — самая страшная, положимъ, — истерика, разразилась неистовымъ, дикимъ воплемъ.

Отставшій на дворѣ, за какимъ-то домашнимъ распоряженіемъ, Суффи, влетѣлъ, какъ бомба.

— Что случилось?.. Боже милостивый!

— Ничего, ничего!.. Возьмите мальчика... покачайте... Вонъ тамъ игрушки. Это ничего!.. Сестра, сестра... Эстеръ!.. Что съ вами... Будетъ вамъ, перестаньте!..

Эстеръ, не узнавая никого, билась головою о землю, силясь освободиться изъ объятій Ольги Николаевны, рвала на себѣ рубаху: лопнувшія нитки бусъ и коралловъ усѣяли весь коверъ разноцвѣтными точками.

— Суффи, да позовите же кого-нибудь изъ женщинъ... Я не могу одна... Эстеръ, милая, дорогая моя!..

Но звать никого было уже не нужно... Улькунъ-Курсакъ, и за нею Сары-Кошма съ Хатычею появились на порогѣ, всѣ три съ самымъ растеряннымъ, недоумѣвающимъ видомъ...

Суффи Казиметовъ бережно принялъ ребенка, поднялъ конька, отыскалъ даже далеко закатившійся мячикъ, отошелъ въ самый темный уголъ сакли и оттуда сталъ всматриваться во все, что происходило передъ его глазами. Онъ словно изучалъ каждое движеніе, каждое мимолетное выраженіе лицъ женщинъ своего двора... Онъ особенно пристально наблюдалъ за Улькунъ-Курсакъ; та, даже не оборачиваясь, чувствовала на себѣ подозрительно-пытливый взглядъ главы дома и стала, очевидно, терять самообладаніе...

Долго возились съ Эстеръ, пока привели ее, хотя сколько-нибудь, въ сознаніе... и только тогда Суффи оставилъ свой наблюдательный постъ и проговорилъ:

— Ну, теперь идите вонъ... всѣ трое, да подальше, на кухню!.. Ну!

Обѣ жены не заставили повторить приказаніе и выбѣжали; за ними, низко поклонившись, степенно вышла Улькунъ-Курсакъ, проговоривъ будто про себя:

— Не понимаю, съ чего это съ нею приключилось?.. Вышла я отъ нея съ часъ, не больше... Была такая веселая, пѣсни даже пѣла... Не понимаю...

— Уходите, ханымъ, я постараюсь понять, чего вы не понимаете...

. . . . . .

Ласковое обращеніе Ольги Николаевны, а отчасти ея цѣ-

лительные пузырьки, добрый пріемъ кали-бромати, присутствіе любимаго человѣка, сдѣлали свое дѣло. Эстеръ окончательно успокоилась, тѣмъ болѣе, что гостья просила хозяина не разспрашивать больную, что именно случилось, покуда ей самой не придетъ охота разъяснить причину истерики... Но болѣе всѣхъ помогъ самъ Шарипка: ребенокъ, быстро успокоившійся на рукахъ отца, разгулялся и развозился на славу... онъ громко смѣялся, сверкая глазенками, уморительно ползалъ по ковру, стараясь не выпускать изъ своихъ рученокъ обѣ игрушки. Мальчика очень занималъ яркій блескъ мячика, но еще болѣе лошадка; онъ издавалъ разнообразные звуки, пытаясь говорить, но только одна Эстеръ понимала ихъ значеніе и даже увѣряла, что ребенокъ произноситъ слово «атъ», то-есть, лошадка,—значитъ, молъ, онъ такой умный, что узналъ форму игрушки... Ольга Николаевна, конечно, тоже поняла и говорила:

— Я вѣдь сказала, что будетъ джигитъ... Вотъ оно и выходитъ по моему. Помнишь, тогда, мою сказочку?..

Эстеръ всплеснула руками, замѣтивъ, наконецъ, что она надѣлала со своимъ ожерельемъ и вдругъ заторопилась собирать растерянныя бусинки. Ей помогала и гостья, даже самъ Суффи... Все бы могло идти прекрасно, но по временамъ Эстеръ вдругъ замолкала, и по ея лицу пробѣгала какая-то грустная тѣнь... Это не ускользало отъ вниманія Ольги Николаевны, и она выразительно переглядывалась съ хозяиномъ дома...

Между тѣмъ время пролетѣло незамѣтно, въ саклѣ стало темнѣть. Понадобились фонари... Суффи сдѣлалъ соотвѣтствующія распоряженія. Должно быть, ни обѣ жены, ни сама Улькунъ-Курсакъ не рѣшились войти безъ зова; фонари принесла калмычка и водрузила ихъ на свои обычныя мѣста, да не совсѣмъ ловко это сдѣлала: стекло въ одномъ изъ фонарей было разбито и временно замѣнено бумагою. Свѣчка вставлена была, должно быть, не совсѣмъ аккуратно и повалилась, бумага вспыхнула... Эстеръ испуганно вскрикнула, схватила ребенка на руки и стремительно бросилась съ нимъ къ выходной двери, да еще на мужскую половину. Суффи ее перехватилъ во время...

— Спасайтесь... Сгоримъ!.. Всѣ сгоримъ!.. Пропадемъ! — бормотала джюгудка, вырываясь изъ сильныхъ рукъ мужа.

— Чего ты?.. Пустяки!.. Чего ты испугалась, душа моя... Какой пустякъ... Вонъ, смотри, уже потушили... Что съ тобою?..

— Пожаръ... страшный пожаръ!.. Черная туча... съ неба огонь...—стонала Эстеръ.—Сонъ!.. Сонъ вѣщій, подъ утро который... Мулла Мамедъ-Кулъ, покойникъ, слышишь?!. Не тронь Шарипку, не смѣй трогать!..

— Эге!..— смекнулъ Суффи.—Кто же сонъ такой видѣлъ?.. Ну! Говори?.. Ну, не надо, не надо!—замялъ онъ свой допросъ, почувствовавъ, какъ его дернула за рукавъ Ольга Николаевна. — Сны — пустяки... мало-ли что можетъ присниться...

Эстеръ перестала рваться къ дверямъ, она вспомнила свое обѣщаніе не жаловаться и ничего не разсказывать мужу; острое, тревожное состояніе ея духа сразу смѣнилось сосредоточенной задумчивостью.

— Ты не думай, милая, о своемъ снѣ,—обняла ее Ольга Николаевна.—Вѣдь это ты видѣла сонъ?.. Не правда-ли, ты?

— Я!—прошептала Эстеръ.

— Такъ ты, когда другой разъ увидишь сонъ, хорошій или нехорошій, ты мнѣ разскажи... Я вѣдь ученая, я всѣ сны разгадывать умѣю. Вотъ сядемъ здѣсь, рядомъ, а вотъ тутъ пускай Суффи сядетъ... А Шарипка спать хочетъ... Смотри, у него глаза слипаются... Держи его на рукахъ, а потомъ, когда заснетъ, мы его въ постельку уложимъ... Вотъ такъ, садись сюда... Ну, хорошо. Теперь разсказывай, только ничего не бойся...

Трудно было понять что-нибудь толкомъ изъ безсвязнаго разсказа Эстеръ, да этого и не требовалось, потому что каждый разъ, когда Суффи пытался проникнуть въ смыслъ разсказа, Ольга Николаевна останавливала его незамѣтно отъ разсказчицы. Женщина-докторъ, очевидно, обладала психіатрическими способностями: она поняла, что огонь и сопряженное съ нимъ бѣдствіе играли главную роль въ нервномъ припадкѣ, и въ ея головѣ быстро созрѣлъ цѣлый планъ соотвѣтствующаго леченія.

Уложили спать Шарипку. Калмычка принесла чай и обычное угощеніе; установилась мирная бесѣда о предметахъ, самыхъ простыхъ и обыденныхъ; Ольга Николаевна разспраши-

вала Суффи объ его жизни, о мѣстныхъ обычаяхъ и правахъ, о торговыхъ дѣлахъ; тотъ отвѣчалъ и самъ, въ свою очередь, задавалъ вопросы. Эстеръ больше молчала, но, повидимому, внимательно слѣдила за разговоромъ, изрѣдка и сама дѣлая наивные вопросы и замѣчанія.

— Правда, что у генерала жена такая бѣлая и толстая отъ того, что ничего не ѣстъ кромѣ сахару?..

— Ахъ, ты, глупая курица!—замѣтилъ ей Суффи.—Вы ей простите, госпожа милостивая... Это она такъ, спроста!

— Ничего!..

— А ты мнѣ давай побольше сахару,—я тоже буду такая бѣлая и толстая!—кокетничала Эстеръ, кошечкою прижимаясь къ плечу мужа.

Суффи смѣялся, давая гостьѣ понять глазами:—что, молъ, съ нея взять, совсѣмъ ребенокъ неразумный!

— А скажи, Ольга, кто лучше: я или «эти»?—Эстеръ кивнула головою въ сторону входной двери, и, не дожидаясь отвѣта, продолжала:—Онѣ говорятъ, что я какъ кошка драная,—худая, тощая, а онѣ гладкія, жирныя... Онѣ говорятъ, что меня мужъ скоро любить не будетъ за это... Скажи, Суффи, правду онѣ говорятъ?..

— Врутъ все! Ты ихъ не слушай!

— А тебя твой мужъ любитъ? — неожиданно обратилась болтушка къ гостьѣ.

Та даже смутилась немного отъ такого оборота.

— Мой мужъ умеръ. Когда живъ былъ,—любилъ очень...

— Ай-ай-ай!.. Бѣдная Олгьа!.. Зачѣмъ же онъ умеръ?.. Отчего ты его не вылѣчила?

— Я тогда сама не умѣла лечить... я послѣ научилась..

— Ну, развѣ можно такъ,—укоризненно замѣтилъ хозяинъ.—Вонъ, смотри: Ольга Николаевна и опечалилась... Видишь, какъ лицомъ замутилась. Это не хорошо...

— Не буду больше!

Эстеръ пристально взглянула на гостью и стремительно бросилась ее цѣловать, повторяя:

— Не буду больше, не буду... Я глупая, ты умная... Не сердись, пожалуйста!

— Да я и не сержусь вовсе...—улыбнулась Ольга Николаевна.

— На меня не надо сердиться,—тихо проговорила Эстеръ.— Знаешь, кто разсердится, тотъ ударить можетъ, а меня нельзя бить; мнѣ и такъ больно... Вотъ тутъ больно, очень больно!

Она прижала обѣ руки къ своей тощей груди и сразу поблѣднѣла...

— Меня если ударить крѣпко, я и помру. Ой, сейчасъ перхать буду... Ой!

Сильный приступъ болѣзненнаго кашля сразу прервалъ ея рѣчь. Ольга Николаевна бросилась къ своему вѣчному спутнику, мѣшку съ хитрыми застежками, Суффи нахмурился... Съ трудомъ удалось заставить Эстеръ проглотить какую-то бѣлую облатку и запить остывшимъ чаемъ... Во время суеты русская женщина успѣла обмѣняться нѣсколькими словами съ хозяиномъ дома:

— Что же это? Опасно?

— Очень. Она сильно больна!

— Помретъ?

— Можетъ, и выживетъ,—лѣчить надо!

— Лѣчи. Никакихъ денегъ не пожалѣю!

— Денегъ не надо, а лѣчить буду!

— Десять часовъ, однако!—громко заговорила Ольга Николаевна.—Ну, милая моя, хорошая, будь умница, ложись спать, а на ночь еще проглоти эту лепешечку, хорошо будетъ. Я скоро опять навѣщу тебя, скоро пріѣду. Суффи, пошлите джигита за дрожками!

— Не уходи!—крѣпко ухватилась за ея платье Эстеръ.— Не уходи!.. Мнѣ такъ страшно стало, не уходи!

— Переночевали бы, милостивая госпожа,—сталъ просить и хозяинъ.—Ночь темная, здѣсь вамъ хорошо устроимъ, какъ тотъ разъ!

— Нѣтъ, нѣтъ,—перебила Эстеръ.—Ольга не такъ, Ольга со мною ляжетъ, а ты... ты туда уходи... Только не туда къ тѣмъ, а къ себѣ...

— Ну, хорошо, хорошо!..—разсмѣялась Ольга Николаевна.

— Ревнивая!—засмѣялся и Суффи.

— А я спать не хочу, вотъ ни чуточку... Я хоть всю ночь просижу съ тобою!

— Такъ тебѣ и позволятъ...

— Ну, хоть немножко посидимъ... Ольга, разскажи мнѣ

сказку, ты такія хорошія сказки знаешь... Милая, дорогая, ну, разскажи что-нибудь, и Суффи пока послушаетъ... А то знаешь что? Ты мнѣ погадай. Вѣдь вы всѣ умѣете гадать, лучше, чѣмъ наши старухи... Наши все страшное гадаютъ, нашимъ куръ надо рѣзать, кровь выпускать, а ты на картахъ, знаешь, бумажки такія есть у васъ съ картинками... Погадай, козочка моя ненаглядная!..

— Я въ карты не умѣю, да у меня и картъ нѣту съ собою!

— А въ мѣшкѣ?

— Тамъ тоже нѣтъ!

— Да, что вы ее слушаете, госпожа... Она совсѣмъ стала, какъ дитя, неразумная,—замѣтилъ, какъ бы извиняясь, Суффи.— Вонъ, возьми Шарикинъ мячикъ и поиграй, а то лошадку повози за веревочку... ха-ха-ха... Какъ разъ по тебѣ забава... Ну, спать! Видишь, госпожа совсѣмъ устала, съ тобою возившись!

— Я погадаю тебѣ, только иначе, —заговорила Ольга Николаевна, замѣтивъ грустное выраженіе, отуманившее лицо Эстеръ:—я погадаю. Только какъ бы?.. Да, Суффи, есть у васъ бумага?

— Чистая, писать?—засуетился хозяинъ и полѣзъ за пазуху халата.

— Все равно!

— Эта годится?

— Хорошо! Садись теперь, вотъ здѣсь, поближе къ стѣнѣ, вотъ такъ. Теперь дайте сюда фонарь поближе и выньте свѣчку. Ну, такъ...

— Огонь!—испуганно вскрикнула Эстеръ.

Гадальщица пытливо посмотрѣла ей прямо въ глаза...

— Да, это огонь,—спокойно и даже строго произнесла Ольга Николаевна:—только огонь добрый, сильный огонь. Онъ гораздо сильнѣе другого, злого огня. Что злой огонь сдѣлаетъ худого,—этотъ поправитъ... Смотри теперь внимательно!

Она оторвала клочекъ бумаги и поднесла его къ свѣчѣ. Проклеенная крѣпко бумага, мѣстнаго производства, сгорала медленно, оставляя черный, узорно коробящійся пепелъ...

— Смотри теперь сюда, на стѣнку. Видишь?

Тѣнь отъ сгорѣвшей бумажки образовала на бѣлой гипсовой стѣнѣ рѣзкій, причудливый силуэтъ...

— Ну, что, видишь что-нибудь? Вѣдь это я на Суффи гадаю, на его счастье...

У Эстеръ даже брови поднялись отъ волненія, глаза расширились, руки слегка дрожали. Она стояла на колѣняхъ, пристально всматриваясь въ таинственное изображеніе. Голова ея усиленно работала... она не понимала, чего именно отъ нея требуютъ, чего-то ждала необычайнаго, чудеснаго, но впередъ уже безусловно вѣрила. Даже серьезный Суффи, и тотъ наклонился и вглядывался въ тѣнь изъ-за плеча Ольги Николаевны.

— Видишь?

— Не знаю...—задыхаясь, прошептала Эстеръ.

— Это Суффи самъ сидитъ... Вотъ это круглое, видишь? Это—его чалма!

— Вижу...

— Это вотъ еще чалма, а вотъ еще двѣ поменьше; это у него гости... Вотъ дальше много гостей, и всѣ ниже его, а онъ высоко сидитъ... видишь?..

— Вижу, вижу!

— Это ему большой почетъ выходитъ, это хорошо!

— Хорошо!

Эстеръ обрадовалась и даже захлопала въ ладоши.

— А я ничего ровно не видалъ!—прошепталъ почти на-ухо хозяинъ гадалкѣ. Онъ тоже внимательно вглядывался и такъ наклонился, что ему не зачѣмъ было возвышать голосъ.

— И не надо вамъ видѣть!—такъ же тихо отвѣтила ему Ольга Николаевна.

— Понялъ, госпожа. Теперь вы на нее погадайте!—добавилъ онъ громко.

— Боюсь!—вскрикнула Эстеръ и отшатнулась.

— Ну, если боишься, то и не надо!

— Нѣтъ, погадай... Пожалуйста, погадай... Охъ, что будетъ, то пускай и станется .. Гадай!..

Новая бумажка вспыхнула въ рукахъ гадальщицы. На этотъ разъ узоръ на стѣнѣ сакли вышелъ особенно причудливъ. Дѣйствительно, даже появилось что-то нѣсколько похожее на женскую фигуру...

— Это я?—вскрикнула Эстеръ на всю саклю, чуть-было опять не закашлялась.

— Ты!—тихо произнесла Ольга Николаевна, самымъ серь-

езнымъ, даже нѣсколько строгимъ тономъ, словно сама глубоко проникнутая ролью прорицательницы.—Это ты!.. Постой, не мѣшай! Это ты... У тебя на рукахъ ребенокъ... да... ты его грудью кормишь... Какъ ты пополнѣла!.. Ой-ой!..

— Шарипка?—на этотъ разъ прошептала Эстеръ.

— Нѣтъ, это другой... А вотъ еще мальчикъ, побольше... Вотъ еще,—совсѣмъ большой...

— Шарипка?..

— Нѣтъ, Шарипки нѣтъ... Вотъ онъ, вотъ! Видишь, лошадка на самомъ концѣ, ее не всю видно, только голову... Видишь, видишь?..

Конечно, настроенное воображеніе Эстеръ сразу разглядѣло и конскую голову, да еще въ полномъ, богатомъ уборѣ...

— Шарипъ уже большой сталъ. Онъ поѣхалъ куда-то, теперь, вотъ, возвращается. Видишь, лошадка сюда повернула голову. Если бы уѣзжалъ, такъ былъ бы хвостъ виденъ, а возвращается,—значитъ, голова... Понимаешь... А тѣ всѣ его братья, разъ, два, три, четыре, и всѣ мальчики, всѣ твои дѣти... Ахъ, какая ты будешь счастливая!... Вотъ какъ хорошо тебѣ вышло!..

Эстеръ усиленно захлопала въ ладоши и смѣялась отъ радости. Уже разсыпался хрупкій пепелъ, ничего уже не было видно на стѣнѣ, а джюгудка все всматривалась, словно для нея сохранилось, незримое для другихъ, радостное изображеніе... Суффи, должно-быть, вполнѣ раздѣлялъ впечатлѣніе своей супруги. Онъ такъ увлекся, что, самъ не замѣчая, сталъ ласково гладить Ольгу Николаевну по ея золотистымъ волосамъ, да вовремя опомнился и пробормоталъ:

— Извините!

А подъ шумокъ общаго веселаго настроенія дверь слегка пріотворилась. Согнувшись до полу, вползла одна женская фигура, за нею другая,—дальше еще что-то копошилось во тьмѣ.

— Погадай и мнѣ!—послышался голосъ Хатычи.

— И мнѣ...—попросила за нею Сары-Кошма.

— Не смѣйте, дуры!—послышалось дальше, за дверью.

Какъ ни строгъ былъ запретъ Суффи, но бабье любопытство превозмогло. Даже страхъ смертной казни не могъ бы удержать этого страстнаго порыва... Долго, продрогнувъ отъ ночного холода, сидѣли онѣ передъ дверьми, не смѣя даже за-

глянуть въ щелку, боясь дышать даже, чтобы не выдать звукомъ своего присутствія,—а тутъ началось гаданье. Это уже свыше всякихъ силъ, этого уже шпіоны не могли выдержать и «дерзнули». Ну, что же! Самое большое, что Суффи и колотитъ до полусмерти, а, можетъ-быть, и не больно исколотитъ, дастъ раза два, сколько успѣетъ, по затылку и все тутъ... «Полземъ!..» Ну, и вползли...

— Это что?!—крикнулъ хозяинъ.

— Пускай сидятъ!..—попросила Эстеръ.—Пришли, такъ пускай сидятъ!

— Оставьте ихъ!—вступилась и сама Ольга Николаевна.

— Оставайтесь! — снисходительно проговорилъ и строгій глава дома.

Улькунъ-Курсакъ рѣшилась и сама перешагнуть порогъ и низко, почтительно поклонилась гостьѣ. Вся семья Суффи Казиметова оказалась въ полномъ сборѣ.

— Ахъ, что мнѣ вышло! Ахъ, какъ хорошо вышло,—торопливо, задыхаясь отъ волненія, принялась Эстеръ разсказывать все происшедшее...—Суффи будетъ богатый, знатный, и толстая, сама кормить буду, у меня четыре мальчика .. Одинъ Шаринка, уже большой, другой будетъ Суффи, какъ отецъ, третій—Маметъ, непремѣнно Маметъ, четвертый... какъ четвертый?.. Я не знаю... какъ четвертаго назовемъ?..

— Шайтанъ!—тихо, словно про себя, подсказала ей Улькунъ-Курсакъ, только одна Сары-Кошма и слышала это и прыснула со смѣху, закрывая ротъ рукавомъ халата...

— Погадай намъ!—пристала она къ Ольгѣ Николаевнѣ.

— Погадай!—вторила ей Хатыча.

— Ну, слушайте: я вамъ погадаю, только не сегодня, а въ слѣдующій разъ. И буду много гадать, но только тогда, когда застану Эстеръ веселою, а если еще разъ такою застану какъ теперь, то не только гадать не буду, а еще то сдѣлаю, что вы... лучше даже не говорить, что я съ вами сдѣлаю...

— Помилуй, госпожа, развѣ мы виноваты?.. Мы ничего не сдѣлали ей худого, мы ее очень любимъ... Мы...

— Ну, хорошо, хорошо! Помните только нашъ уговоръ,— я пріѣду скоро, и пріѣду нарочно неожиданно... Да мнѣ и не нужно пріѣзжать, чтобы знать все, что тутъ у васъ дѣлается... Берегитесь же... слышите!

— Слышали, госпожа... А все-таки теперь погадайте... хоть чуточку...

— Сказала—и довольно!

Говорила Ольга Николаевна съ женами Суффи, а смотрѣла все на Улькунъ-Курсакъ. Та все въ тѣни держалась и даже раза два вовсе отворачивалась. Смотрѣлъ на нихъ и самъ Суффи. Не выдержала старуха и вышла, пробормотавъ:

— Ужинать велю подавать. Можетъ-быть, госпожа проголодалась, такъ долго въ гостяхъ сидючи... Уже за полночь...

— Гм!—смекнулъ, наконецъ, что-то Суффи.

— А въ самомъ дѣлѣ можно и поѣсть чего-нибудь!—весело проговорила Ольга Николаевна.

— Намъ можно здѣсь оставаться?—спросила Сары-Кошма.

Обратилась она, конечно, къ главѣ дома, къ мужу, а отвѣтила на ея вопросъ Эстеръ:

— Поужинаемъ вмѣстѣ. Можно!

Улькунъ-Курсакъ и это слышала, стиснула зубы и такъ толкнула ногою кухонную дверь, что та чуть съ петель не сорвалась.

Хатыча постлала на коверъ шелковую скатерть и собрала посуду. Принесли горячую шурпу изъ курицы, въ большой мискѣ,—для Ольги Николаевны особо, въ китайской чашкѣ, ей даже ложку положили,—сама ханымъ появилась съ блюдомъ, на которомъ воздвигалась цѣлая гора жирнаго, дымящагося пилава. Всѣ усѣлись вокругъ и ждали со стороны главы дома приглашенія къ началу трапезы.

— Прошу!—произнесъ Суффи, поклонившись гостьѣ.—Ну, ѣшьте!—обратился онъ къ остальнымъ.

Эстеръ свернула себѣ изъ куска тонкой лепешки нѣчто въ родѣ черпалки, выгребала имъ изъ похлебки кусочки курицы и скадывала ихъ на ладонь, а оттуда брала въ ротъ; ѣла лѣниво и, кажется, безъ особаго аппетита. Сары-Кошма и Хатыча чуть не по локоть погружали свои руки въ груду плова и такъ набивали ротъ, что даже щеки ихъ оттопырились. Ханымъ совсѣмъ ничего не ѣла. Суффи, повидимому, чувствовалъ себя въ прекрасномъ настроеніи, ѣлъ съ аппетитомъ, и только этикетъ удерживалъ его отъ особой говорливости за столомъ.

Принесли кунганъ съ теплою водою, подонникъ для омовенія рукъ и шелковое, красное полотенце.

Сары-Кошма громко рыгнула, въ знакъ полной сытости и довольства угощеніемъ; рыгнула, еще громче, Хатыча, хотѣла-было и Эстеръ; но у нея это привѣтствіе не вышло.

Узнавъ, что Ольга Николаевна остается ночевать и будетъ спать съ Эстеръ, въ ея коморкѣ, обѣ жены стали перешептываться. Не то онѣ заспорили о чемъ-то, не то сговаривались.

— Спать, такъ спать! — рѣшилъ Суффи, поднимаясь на ноги.

Эстеръ обняла свою гостью за талію и повела ее къ своимъ дверямъ, уже и коверъ приподняла, да остановилась на порогѣ, безпокойно всматриваясь въ соперницъ; а тѣ, какъ бы ей на зло, не торопятся отправляться во-свояси. Сары-Кошма закинула обѣ руки за затылокъ, круто выпятила груди и стала потягиваться, а Хатыча осмѣлилась легонько, словно нечаянно, дернуть мужа за полу халата и даже подмигнула очень выразительно. Суффи понялъ выраженіе глазъ Эстеръ, улыбнулся и проговорилъ:

— Ну, расходитесь, куры, по шестамъ! Покойной ночи, госпожа милостивая, гостья высокочтимая! Пускай Аллахъ пошлетъ вамъ сновидѣнія сладкія, какъ сахаръ, и ароматныя, какъ розы... Покойной ночи!.. А я туда!

Суффи поклонился въ поясъ гостьѣ, приложивъ руку ко лбу и къ сердцу, и рѣшительно направился на мужскую половину.

На другой день, только-что Ольга Николаевна уѣхала въ русскій городъ, а хозяинъ отправился къ себѣ въ караванъ-сарай, Улькунъ-ханымъ стала собираться изъ дому.

Обыкновенно она брала съ собою одну изъ женъ, рѣже выходила съ прислугою, а теперь вздумалось ей идти «на базаръ» одной. Она сказала впрочемъ только, что идетъ на базаръ, но ей не повѣрили, хотя и не возражали. «Знаетъ, молъ, старуха умная, что дѣлаетъ; что-жъ ей мѣшать разспросами».

— Къ муллѣ за совѣтомъ! — шепнула Хатыча.

— Всю ночь, чай, въ коровникѣ на-сторожѣ провела! — подмигнула Сары-Кошма.

А калмычка сообщила, что ходила за бараниной и слышала, какъ работникъ Мумынъ говорилъ другому работнику, Муссѣ, будто когда хозяинъ русскую бабу въ дрожки сажалъ, та просила его непремѣнно къ ней въ городъ пріѣхать, потому, говоритъ, очень поговорить надо, и дѣло молъ спѣшное, неотложное.

Сообщила это служанка самой старухѣ, такъ та даже вздрогнула и будто про себя проговорила:

— Ладно! Посмотримъ еще, кто верхъ возьметъ... кто кого упредитъ!.. Потягаемся...

Если бы не степенная походка съ отваломъ нѣсколько назадъ, никто бы и не призналъ Улькунъ-ханымъ, когда та пробиралась у самыхъ стѣнъ, выбирая сухую дорожку по пустыннымъ, грязнымъ улицамъ города. Да и какъ можно кого-либо узнать въ этомъ сѣромъ халатѣ, накинутомъ на голову, съ узкими, фальшивыми, до самой земли, рукавами, съ черною, густою, волосяною сѣткою на лицѣ. Всѣ бабы на улицѣ на одинъ покрой; сами мужья не распознаютъ, которая чья.

Съ полчаса шла ханымъ только до базара, — въ такомъ неуклюжемъ нарядѣ не распагаешься очень ужъ прытко; на базарѣ не задерживалась. Миновала красные ряды съ ситцами, канаусомъ и разными русскими матеріями, прошла всю скобяную линію, прошмыгнула потомъ большой Наурусовъ чайхане, гдѣ шумно, испуская густые клубы бѣлаго пара, кипѣли десяти-ведерные самовары, и сидѣли русскіе солдаты въ своихъ сѣрыхъ шинеляхъ, пили чай и нать юродивымъ нищимъ въ рваныхъ отрепьяхъ потѣшались. Теперь пошли все шорныя лавки съ выставленными напоказъ нарядными сѣдлами и цвѣтно-расшитыми чапраками. За шорными потянулись все сапожники, за сапожниками — мясники. Скоро бы и базару конецъ, да тяжело навьюченные верблюды дорогу перегородили,—не пройти, не проѣхать. Чѣмъ ждать, взяла въ обходъ, да и запуталась въ глухомъ переулкѣ, стала по сторонамъ оглядываться. Увидала лазейку въ стѣнѣ, пролѣзла кое-какъ и, уже черезъ чужой чей-то дворикъ, снова на улицу выбралась, и какъ разъ на площадку, гдѣ въ старые годы, при эмирахъ, казнили виноватыхъ, горла имъ рѣзали и на колья сажали. Грустно подумала старуха о быломъ-невозвратномъ и все шла да шла...

*

Почти на самомъ выѣздѣ изъ города на востокъ, по пути къ казенному перевозу черезъ рѣку, начиналось старое кладбище, а у того кладбища, надъ густыми группами карагачей, возвышался куполъ мечети Селима-Атты, а подлѣ мечети выстроено было медрессе, гдѣ жили муллы и межъ ними главный, котораго Улькунъ-Курсакъ очень почитала съ дѣтства. Она была тогда совсѣмъ маленькою дѣвочкою, а мулла все такой же старый, какъ и теперь. Очень былъ умный и святой человѣкъ, только строгъ былъ, сказывали, не въ мѣру. До прихода русскихъ многіе черезъ него головы свои потеряли, да и подѣломъ: «не балуй, противъ своей вѣры не грѣши!» А то теперь обрадовались, что святому суду руки связаны, совсѣмъ народъ избаловался... Ну, могло ли бы случиться у нихъ на дому такое дѣло при прежнихъ порядкахъ?

Думала такъ старуха, пробираясь тропиночками между могилъ, выбирая дорогу къ медрессе покороче да поскрытнѣе, и рѣшительно взялась за мѣдное кольцо рѣзной орѣховой двери, продѣланной въ высокой глинобитной стѣнѣ, окружающей зданіе съ куполомъ. Брякнула во всю мочь этимъ кольцомъ и стала прислушиваться.

Къ самому старшему муллѣ попадешь не скоро. Надобно пройти еще часть кладбища по узкой тропинкѣ между могилъ правовѣрныхъ, затѣмъ попасть въ первый дворъ мечети, обширный четвероугольникъ, обнесенный высокою стѣною, къ которой прижались низенькія саклюшки для учениковъ и пришлыхъ богомольцевъ; за этимъ общественнымъ дворомъ, не посреди стѣны, а какъ-то въ самомъ углу, устроенъ былъ входъ въ дальнѣйшее помѣщеніе—дворъ самой мечети, съ полузамерзшимъ прудомъ посрединѣ, обсаженный старыми развѣсистыми карагачами: вдоль боковой стѣны главнаго зданія тянулась длинная, полуоткрытая веранда на точеныхъ столбахъ, украшенныхъ рѣзьбой. Съ веранды во внутрь чернѣлъ цѣлый рядъ небольшихъ дверей, ведущихъ въ особыя помѣщенія для муллъ—учителей. Одна изъ этихъ дверей вела и въ каморку самаго главнаго, Науруса-хаджи.

Старуха хорошо знала дорогу. Когда высокій, худой, какъ скелетъ, молодой ученикъ, отворившій ей дверь, обнаружилъ было намѣреніе провожать ее черезъ дворъ далѣе, она отмахнулась рукою отъ его услугъ, глухо проговоривъ изъ-подъ сѣтки:

— Не надо, иди съ Богомъ! Не впервой!..

Пустынно было на первомъ дворѣ; такъ же безлюдно и во второмъ. Время было еще холодное, зимнее, и всѣ прятались по своимъ саклюшкамъ, только въ углу двора, у котла, копошилась маленькая кучка оборванцевъ, да и тѣ вниманія не обратили на промелькнувшую мимо, закутанную съ ногъ до головы, женскую фигуру. Во второмъ дворѣ уже совсѣмъ никого не было. Улькунъ-Курсакъ знала, въ какую дверь надо постучаться, и, сбросивъ тяжелыя калоши на верандѣ, она привычною рукою взялась и за это позывное кольцо, брякнувъ о скобу, теперь уже легонько,—чуть только коснулась.

— Войди съ миромъ!—проговорилъ старческій голосъ за дверью.

Мулла Наурусъ сидѣлъ на грудѣ войлоковъ, въ бараньей шубѣ и громадной, грязной чалмѣ, закрывавшей ему больше половины лица; только и былъ виденъ острый, сухой, какъ у ястреба, кончикъ носа и клочья совершенно сѣдой, пожелтѣлой даже бороды.

Улькунъ-Курсакъ, проговоривъ обычное привѣтствіе, торопливо присѣла на корточки у самаго порога двери.

Помолчали оба минуты двѣ.

— Ты кто же такая?—спросилъ мулла, мелькомъ взглянувъ изъ-подъ чалмы на пришедшую.

Самъ хорошо узналъ гостью, дѣйствительно, «не впервые» видѣлъ, узналъ не только по фигурѣ, а и по сальному пятну на боку халата, а все-таки спросилъ по положенію.

— Изъ дома Суффи Ка иметова, «Улькунъ-ханымъ» этого дома несчастнаго!—проговорила гостья.

— Не зачѣмъ было и приходить сюда, въ чистое, святое мѣсто изъ такого поганаго двора. Какая ты Улькунъ-ханымъ, какая домоправительница... Тьфу!

— Силъ моихъ нѣтъ больше!.. Помилуй, святой человѣкъ... Власти больше никакой не стало... Бѣда растетъ безъ удержу. Только на тебя и надежда вся!

Старуха въ ноги повалилась, а тѣмъ временемъ вытащила изъ-за пазухи свертокъ зеленаго канауса и положила у самыхъ колѣнъ Наурусa. Тотъ и не взглянулъ даже на приношеніе.

— Суффи отступникъ, Суффи и не правовѣрный больше,—заговорилъ мулла.—Такъ только считается мусульманиномъ, а

душа у него уже давно шайтану отдана. Его жалѣть и щадить нечего. Жаль мнѣ только дома хорошаго... былъ домъ, была и «Улькунъ» всему городу примѣръ, достойная полнаго уваженія, а что теперь сталось? Навозъ, грязь, погибель...

— Охъ, знаю... сама знаю...—простонала гостья и снова припала лицомъ къ полу.

— Суффи,—продолжалъ мулла:—вчера вотъ бумага пришла отъ генерала,—пишутъ: пока холодное время стоитъ, могилы на кладбищѣ чинить, всѣ дыры задѣлывать, известью заливатъ... дыры, говорятъ, вездѣ, мѣстами покойниковъ даже видно, какъ тѣ гніютъ... «Вонъ, пишутъ, пойдетъ къ теплу весеннему», а отъ этого «зараза, болѣзни...» Не отъ того зараза, не отъ того болѣзни,—отъ другого пошли... отъ Божьяго гнѣва, за наши грѣхи, за наше малодушіе и отступничество... Бумага пришла, читаютъ наши, меня спрашиваютъ. Я говорю: не надо, это все и по закону не дѣло генеральское, а наше, духовное,—Божье, значитъ, да и денегъ у насъ нѣту. Откуда у насъ деньги теперь, у нищихъ богомольцевъ... Вакуфы *) обрѣзали, небось; а Суффи, проклятый богоотступникъ, говоритъ:—генералъ правду пишетъ; и въ его требованіи ничего противъ закона нѣтъ. — Онъ, вишь ты, лучше насъ законъ знаетъ.—Да и денегъ, говоритъ Суффи, у «нихъ» довольно, да и недорого будетъ стоить всего... Чтобы его языкъ злою болѣзнью отъ конца до корня покрылся бы. Мусульманинъ тоже называется, а самъ... Я вѣдь знаю, что онъ съ русскими вино пьетъ. Все, что они жрутъ и онъ съ ними... А у русскихъ все со свининою, не разберешь вѣдь... Вотъ наѣлся свинины, и въ душѣ все по-свински стало. Охъ, дѣла, дѣла. На прошлой недѣлѣ, слышала? Святые люди на базаръ пришли издалека, изъ самой Мекки. Санъ на нихъ божескій, «дивона» блаженные; на базарѣ пѣсни пѣли, народу проповѣди читали, призывали снова вернуться къ вѣрѣ благочестивой, къ отпору гяурамъ невѣрнымъ... Курбаши,—это его дѣло,—слышалъ, ничего не сказалъ, а Суффи говоритъ: вы чего черти,—такъ и сказалъ: «черти»,—шляетесь, народъ смущаете?.. Пошелъ говоръ по базару, дошло до русскаго начальства, забрали свя-

---

*) Духовная поземельная собственность.

тыхъ мучениковъ, да въ тюрьму... Что тамъ съ ними сдѣлали?!. Ты знаешь?

— А какъ же! Ихъ допросили, да сказываютъ, отпустили...

— Кто сказываетъ? Кто? — вспыхнулъ мулла. — Врутъ! Съ живыхъ шкуры содрали и дали собакамъ на растерзаніе. Вотъ, что сдѣлали, а ты говоришь «отпустили»!

Видѣла тѣхъ «дивона» Улькунъ-Курсакъ, видѣли и людей тѣхъ же самыхъ, что на первомъ кладбищенскомъ дворѣ у котла сидѣли... Шкуры у нихъ будто и на своемъ мѣстѣ, развѣ что подъ халатами не видно. А мулла говоритъ другое, значитъ, его правда и есть...

— Должно-быть, врутъ!—поспѣшила согласиться старуха.

— А ваша домовая погань—что?—рѣзко перевелъ мулла разговоръ на другой предметъ.

— Совсѣмъ бѣда!—вздохнула Улькунъ-Курсакъ. — Что я тебѣ говорить буду...—Выслушай, отецъ, помоги совѣтомъ!

— Ребенокъ живъ?

— Изо дня здоровѣе становится...

— Мать скоро здохнетъ!..—рѣшилъ мулла.

— Охъ, не говори! Я потому и пришла къ тебѣ, что сегодня ночью такое слышала, такое, что потомъ и заснуть не могла,—все разсвѣта ждала, чтобы сейчасъ прямо къ тебѣ!

— Что такое? Говори все безъ утайки. Я и самъ все хорошо знаю, знаю, что и впереди должно быть, а ты все-таки разсказывай, хочу твою правду и вѣру испытать. Что же ты ночью слышала?

— Забралась я черезъ коровникъ въ задворокъ, — тамъ стѣна тонкая, все слыхать, что у жидовки въ саклѣ дѣлается, кое-что и видать даже можно!

— Гм!—крякнулъ мулла Наурусъ.

— Такъ вотъ, русская вѣдьма ночевать осталась... Совсѣмъ обошла жидовку,—сидятъ вмѣстѣ, обнявшись,—вѣдьма и говоритъ Эстеркѣ: пойдемъ, говоритъ, лучше ко мнѣ жить, въ русскій городъ, а то ты тутъ, я вижу, не скоро поправишься... Жидовка испугалась, даже въ уголъ отъ той шарахнулась... Русская засмѣялась и говоритъ: ты не бойся! Мы и Шаришку съ собою возьмемъ... мальчика тоже оставлять здѣсь не слѣдуетъ... А Суффи?—спрашиваетъ Эстеръ.—И Суффи, говоритъ, съ собою возьмемъ, а то онъ каждый день пріѣз-

жать будетъ... И стала тутъ вѣдьма про свое житье, да про домъ свой разсказывать: и тепло у ней, и свѣтло, и чисто, птички поютъ въ клѣткахъ, и картины разныя на стѣнахъ, постель хорошая, мягкая, воздухъ чистый, а къ веснѣ, говоритъ, вѣдь весна уже не за горами,—въ садъ перейдутъ, шелковую кибитку поставятъ, — «палатки узорныя»,—зацвѣтутъ урюки розовымъ цвѣтомъ, шапталы, сливы, вишни, виноградъ закудрявится... рай просто земной будетъ. И отъ такой жизни ты, говоритъ, скоро поздоровѣешь, поправишься, кровь перестанетъ идти изъ глотки, толстѣть сама начнешь, на радость мужу, и ребенку твоему хорошо будетъ. Будешь ходить нарядная съ открытымъ лицомъ, потому у меня, говоритъ вѣдьма, никто изъ чужихъ мужчинъ тебя не увидитъ, только у мужа своего и будешь на виду. У меня въ дому тишина такая и благодать, а садъ разросся густой-прегустой, и кругомъ высокою стѣною огороженъ... Ужъ такъ подлая вѣдьма свое житье расхваливала, что, вижу, улыбаться стала жидовка и снова къ той ласциться... А тутъ вдругъ нахмурилась разомъ, да и говоритъ: боюсь, эти толстыя свиньи безъ меня за Суффи примутся...

— Ревнуетъ, значитъ!—вставилъ мулла Наурусъ...

— Ухъ, какъ ревнуетъ, просто тигрица стала,—не человѣкъ... Прежде этого не было!

— Да и не откуда было бы,—кивнулъ чалмою мулла.

— Тутъ Эстеръ нагнулась къ русской, къ самому уху, и что-то шептать стала, не могла я разслышать. Только русская сама нахмурилась, отстранила рукою жидовку, да и говоритъ, не надо и желать, говоритъ, это великій грѣхъ. Подобнаго зла и въ мысляхъ своихъ никогда не держи, а то и сестрою своею считать тебя не стану.—Что такое Эстеръ попросила у той, что ей говорила на ухо, я уже и не знаю!

— А я-то знаю, — кивнулъ мулла. — Просила зелья, чтобы тѣхъ двухъ отравить, чтобъ онѣ подохли... Извѣстно чего!

— Тоже я и сама подумала,—проговорила старуха.—Вѣдь, вишь, ты какая злая оказалася!

— Про сонъ говорила?

— Говорила про сонъ, говорила... Такъ хорошо вышло, чуть было не померла жидовка со страху, да, бѣда, самъ вернулся не во-время, а съ нимъ и эта появилась...

Тутъ старуха разсказала въ подробностяхъ все, что произошло въ домѣ, и про гаданье не забыла. Старый мулла слушалъ очень внимательно, помогая намеками старухѣ не пропустить никакой мелочи. Когда Улькунъ-Курсакъ окончила свой разсказъ, мулла долго думалъ, опустивъ голову на грудь,— а та, чуть дыша, не сводила глазъ съ его широкой чалмы, боясь прервать размышленія святого старца.

— Что же сказалъ Суффи? Онъ какъ порѣшилъ?

— Съ чѣмъ это?

— Да съ переѣздомъ!

— Онъ не знаетъ еще. Его, вишь, та русская вѣдьма просила самого пріѣхать къ ней въ гости. Тамъ, знать, переговорить хотятъ... Мумынъ-джигитъ сказывалъ!

— Чего же ты убиваешься?—началъ съ насмѣшкою мулла.—Какая же тутъ бѣда? Никакой, по-моему. Это даже хорошо,—и для Суффи самого, и для его Эстеръ, и для мальчика. Конечно, всѣмъ имъ лучше будетъ, отъ твоихъ глазъ да и отъ рукъ твоихъ подальше. Суффи что, много-ль ему дальше будетъ изъ русскаго города въ свой караванъ-сарай ѣздить, пустяки! Ему хоть не только въ гости къ Эстеръ, къ своему семейству, то-есть, ему бы совсѣмъ въ русскій домъ переселиться. Мѣста, что ли не хватитъ? Да и переселится мало-по-малу. Велитъ вамъ жрать давать вволю, вотъ и вся его забота будетъ... Сынъ-то его будетъ здоровъ и жить долго будетъ,— это вѣрно, а вотъ жидовка, еще на водѣ вилами писано,— отъ ея болѣзни и русскіе доктора не отколдуютъ... И у нихъ тоже мрутъ люди, помретъ и Эстеръ... Ну, тогда Суффи, можетъ, къ вамъ и вернется... Если сама Ольга Николаевна за него не примется... женщина молодая, тѣло ой-ой, красивое, колдовать знаетъ, а Суффи и самъ не старъ, человѣкъ богатый... соблазнъ-то великъ, вѣдь все вмѣстѣ да вмѣстѣ... Возьметъ онъ себѣ въ жены эту бѣлую бабу... чудесно!..

— Нѣшто можно мусульманину... Вѣдь ему для того вѣру мѣнять надо?—замѣтила Улькунъ-Курсакъ, тревожно слѣдя за разсказомъ муллы Науруса

— И перемѣнитъ... Ему что!.. Ему оттого только прибыль... А послѣ васъ всѣхъ за ворота со свободною бумагою... Тебя на базаръ, съ клюкою за подаяніемъ, а тѣ къ жиду Абрамкѣ пристроятся—русскимъ солдатамъ на забаву... весело жить

будетъ почтеннымъ женамъ почтеннаго дома Суффи Казиметова... А про тебя по всему базару нашему, по всѣмъ хорошимъ домамъ разговоръ пойдетъ: «Ай да Улькунъ-ханымъ, строгая, да почитаемая, всему дому главная опора, всѣмъ совѣтница мудрая и указчица,—хорошо уберегла домъ, хорошо устроила! Вѣдь послѣдняя, ледащая, глупая, какъ корова, «Улькунъ» такъ не проворонитъ... Ну, вотъ теперь пускай попробуетъ съ сумою по базарамъ пошататься... покрытая вся грязью, стыдомъ и позоромъ, потатчица разврата и безвѣрія... проклятая Богомъ, всѣми честными людьми оплеванная...»

— Ой, не допусти!—застонала Улькунъ-Курсанъ и повалилась муллѣ въ ноги.—Ой, не допусти!...

— Чего допускать? Сама все своею слабостью устроила. Грозна на словахъ только, а на дѣлѣ баба слабая, трусливая... Ишь ты! «Несите чаю, ханымъ, молъ, требуетъ...» Эхъ! Да лучше бы тебя Суффи убилъ бы со злости, чѣмъ ты покорилась его волѣ... дрянь!

— Я думала сразу только, для видимости, а тамъ исподволь да потихоньку... Думала, образумится... Хитростью думала на своемъ поставить и бѣду развести...

— Перехитрила...

— Смилуйся, святой отецъ. Дай совѣтъ, дай указаніе... Приказывай, все исполню, все, что есть у меня, тебѣ отдамъ, а у меня много-иного всякаго добра,—у меня цѣлый мѣшокъ золотыхъ «тилля» припасенъ... И у Хатычи, и у Сары-Кошмы все отберу, все къ твоимъ ногамъ свалю въ кучу... Только выручай изъ бѣды!

Распласталась старуха на полу, сѣтка у ней съ лица сдвинулась, такъ-таки голыми щеками и ерзаетъ по грязному войлоку...

— Не поздно ли?..—усмѣхнулся мулла.

— Для тебя, отецъ, для твоей силы да святости, есть время. Аллахъ, Аллахъ, смилуйся надъ нами!..

— Встань! Чего валяешься...

— Охъ, не встану, пока слова милостиваго не скажешь!

— Встань! Оправься! Сиди и молчи!—проговорилъ мулла Баурусъ, а самъ задумался будто.

Приподнялась и старуха, жадно слѣдя за этими сухими, пока еще неподвижными губами.

— Ѣхалъ на чаломъ конѣ мулла Даудъ,—началъ Наурусъ такимъ тономъ, будто сказку говоритъ.—Здоровый былъ мулла, сорока лѣтъ всего, сильный и рослый... Ѣхалъ рядомъ со мною, горною дорогою... наши шли рядомъ, много шло и большую пушку тащили... Русскихъ и не видно было... такъ гдѣ-то изрѣдка слышно было, стрѣляютъ будто... Говоритъ мулла Даудъ: «Хоть бы десятокъ поймать такихъ бѣлыхъ рубахъ,—самъ бы имъ горла тупымъ ножомъ перерѣзалъ бы...» Только проговорилъ, не то шмель, не то пчела чуть слышно прожужжала... Упалъ Даудъ съ коня и больше не проронилъ ни слова, не вздохнулъ даже, не пошевелился... Бросились къ нему, глядятъ, а у него въ вискѣ, надъ самымъ ухомъ, маленькая дырка, и кровь изъ той дырки еле-еле сочится, а все-таки видно было, что это пуля попала, видно было, какою смертью погибъ мулла Даудъ... Что же ты думаешь, то русская пуля его убила?

— А то чья же?—дрожащимъ голосомъ спросила Улькунъ-Курсакъ.

— Ни русская и ни чья. Воля Божья отняла у него жизнь, за грѣхъ великій, про который только я одинъ знаю, а больше и знать никто не будетъ. Померъ въ прошломъ году Шаринъ—купецъ... Помнишь такого?

Старуха чуть наклонила голову.

— Померъ неожиданно, ничѣмъ боленъ не былъ. Схватило его, почернѣлъ весь, пять часовъ безъ памяти мучился и померъ...

— Отравили его, сказывали...

— Отравили...—Мулла усмѣхнулся. — Отравили. Русскіе доктора наѣхали, силою тѣло забрали, изрѣзали всего и ядъ нашли, чѣмъ купецъ отравленъ былъ, а кто отравилъ, — не нашли... Потому и на эту смерть была воля Божья... Если бы злой человѣкъ отравилъ,— нашли бы... Самъ бы Богъ указалъ, а тутъ ничего не сыскали, потому что смерть свою Шаринъ еще два года раньше заслужилъ, когда въ Москву ѣздилъ и бумагу ту подписывалъ... Почему, скажи ты мнѣ, маленькій Шаринка не умеръ въ свое время, когда самъ Господь его къ себѣ потребовалъ,—отчего?..

— Русскую бабу привезли... Она отходила, отколдовала!

— Что же она, по-твоему, сильнѣе Аллаха будетъ?

Аллахъ захотѣлъ, а русская баба не позволила... Такъ, что ли?

— Ужъ я и не знаю...

— А знать бы должна... На тебѣ и грѣхъ теперь лежитъ за все, что произошло, и того грѣха ничѣмъ тебѣ не замолить, хоть отдавай въ мечеть все, что у тебя на дому накоплено...

— Ничего ты мнѣ, отецъ святой, такого не приказывалъ!

— А теперь я тебѣ приказываю, что ли? — разсердился мулла.—Я говорю тебѣ только о волѣ Аллаха, а самъ ничего не указываю!

— Понимаю... — глухо простонала старуха. Согнуло ее всю, лицомъ чуть не въ колѣни уперлась, не видать лица за сѣткою, а только халатъ дрожитъ и зубы стучатъ, словно въ лихорадкѣ.

— Смотри, какъ бы сегодня вечеромъ не перевезли, поздно будетъ... Ну, ступай!

Съ трудомъ поднялась Улькунъ-Курсакъ на ноги.

— Дашь, что ли?.. — проговорила она, едва справившись съ дрожью.

— Чего тебѣ?

— Зелья...

— Зелья?... Кого же ты травить собираешься? — усмѣхнулся мулла.

— Ее, бабу эту русскую...

— На нее нѣтъ Божьяго указанія, ее трогать нельзя... И зла даже не думай на нее никакого... Изъ-за нея великое зло подняться можетъ, и насъ всѣхъ, какъ въ бурю на морѣ волною захлеснетъ...

— Жидовку?..

— Она и сама подохнетъ своею смертью, не выдержитъ... Весна не наступитъ, сгибнетъ. Всѣ знаютъ, что ребенку повелѣно свыше умереть, что только колдовство эту смерть задержало, но задержало временно, ибо никогда чортъ побѣдить Аллаха не можетъ... Время пришло, и часъ исполненія воли Божьей насталъ!

— А какъ не помретъ самъ?

— Я думалъ—ты умнѣе...

— Отецъ, я иду, я все сдѣлаю какъ ты прик... какъ по-

велѣваетъ Аллахъ!—во-время поправилась Улькунъ-Курсакъ.— Дай же мнѣ...

— Ничего не дамъ.—Сядь на свое мѣсто и смотри внимательно!

Мулла хлопнулъ два раза въ ладоши... Сухой, рѣзкій, костлявый стукъ этотъ, должно-быть, услышанъ былъ, гдѣ слѣдуетъ... Въ дверяхъ появился одинъ изъ молодыхъ учениковъ.

— Поди на задній дворъ,—приказалъ ему наставникъ:— и принеси живую курицу!

— Какого пера?

— Все равно... Лучше бѣлую.—Бѣлую принеси, что вчера отъ Ибрагима-бая прислали...

«Гадать собирается», подумалъ ученикъ и бѣгомъ пустился исполнять приказаніе.

— А ты сиди и смотри!—повторилъ мулла Наурусъ.

Долго что-то возился «бала», минутъ десять прошло, и какихъ минутъ тяжелыхъ для Улькунъ-Курсакъ. Тотъ сидитъ себѣ покойно, словно задремалъ слегка и слова не промолвитъ, а ту то въ жаръ, то въ холодъ кидаетъ, и будто тяжелое предчувствіе томитъ ее, и сердце какъ-то радостно сжалось: подходитъ, молъ, конецъ ея терзаніямъ, конецъ всему невыносимому положенію въ ихъ домѣ... Не замѣтила, какъ дверь отворилась, не почувствовала рѣзкой струи холода, ворвавшейся въ саклю,—только вздрогнула, какъ услыхала клохтаніе курицы и увидѣла, какъ въ рукахъ муллы Науруса забилось что-то бѣлое, взъерошенное...

— Пододвинься ближе и смотри, — заговорилъ мулла.— Видишь,—птица жива и здорова... Видишь?

— Вижу!—прошептала Улькунъ-Курсакъ.

— Теперь смотри!

Прямо на колѣни старухи упала птица, только что бившаяся въ рукахъ старика, но теперь неподвижная, мертвая, даже безъ посмертныхъ конвульсій...

— Осмотри ее и скажи, отъ чего ей смерть приключилась? — проговорилъ мулла Наурусъ и снова погрузился въ молчаніе...

Долго и дѣйствительно внимательно осматривала Улькунъ-Курсакъ трупъ курицы; она опытными пальцами прощупала

ея горло, отъ головы до самыхъ подкрыльевъ,—нигдѣ ни надлома, ни порѣза, ни малѣйшей капельки крови. Она заглянула подъ крылья, взлузала перья,—нигдѣ ничего похожаго даже на ранку, никакихъ знаковъ насилія... Старуха оставила, наконецъ, свое изслѣдованіе и пытливо посмотрѣла теперь прямо въ глаза старику... Тогда тотъ взялъ у ней курицу, вздулъ перья подъ самымъ затылкомъ и показалъ ей крохотную металлическую точку. Это была головка мѣдной булавки.

— Видишь?

— Вижу...

Мулла отшвырнулъ мертвую птицу далеко, въ уголъ сакли, протянулъ руку за шелковымъ сверткомъ и медленно сталъ развертывать подарокъ Улькунъ-Курсакъ. Это была тонкая канаусовая чалма вышитая на концахъ бѣлымъ шелкомъ. По обоимъ концамъ, хитрымъ узоромъ, вились изреченія изъ корана, красиво переплетенныя, съ орнаментами изъ цвѣтовъ и разными арабесками. Работа была замѣчательно тонка и удивительна, помимо искусства, по труду и терпѣнію.

Мулла долго любовался этою работою, а можетъ-быть, только дѣлалъ видъ, что любуется, и даже пальцемъ водилъ по узору.

— Хорошо, очень хорошо! Это ты сама вышивала или тѣ двѣ, какъ ихъ зовутъ, запамятовалъ. Сары... Сары...

— Сары-Кошма, а другую Хатыча!—подсказала Улькунъ-Курсакъ.

— Да, да... очень хорошая работа! Это какими же ты шелками вышивала, небось аглицкими, тонкими?..

— Да, аглицкими. Мы на базарѣ, у Хакимъ-бая покупаемъ. У него очень хорошія иголки,—и не ломаются... Тонкія-пре тонкія, а не ломаются...

— То-то .. Наши простыя толсты, только на грубую работу годятся... Иголка должна быть тонкая... Я видалъ, есть еще не свѣтлыя, а черненькія .. Тѣ, можетъ-быть, еще лучше... Хорошая работа,—очень хорошая,—спасибо!.. А нагнись ка... Да сядь сюда поближе, сядь какъ разъ передо мною... Ну, нагни голову... Сними халатъ съ головы, да размотай платокъ... Вотъ такъ...

Онъ самъ помогъ старухѣ обнажить голову и сильно нагнулъ ее такъ, что лицомъ та вплотную прижалась къ его колѣнямъ.

— Чего же ты вздрогнула, небось! Ты не курица... Ну, что, понимаешь, чувствуешь?..

Улькунъ-Курсакъ просто замерла подъ сильнымъ давленіемъ сухого пальца муллы въ одну роковую точку ея затылка.

«А ну, какъ?..»—промелькнуло у нея на мгновеніе.

Но мулла отнялъ уже свой палецъ и ласково гладилъ ее по жирному, полуобнаженному плечу...

— Ну, довольно... Уходи теперь... Ступай съ Богомъ!.. Говорятъ, вотъ, ты стара,—а какое стара: ты мнѣ не только въ дочери, во внучки, въ правнучки годишься. Уходи, уходи! Посидѣла и уходи. За подарокъ спасибо. Если спросятъ, была ли у меня, не скрывайся,—скажи, что была, и передай отъ меня дому всему и многоуважаемому хозяину Суффи, и всѣмъ женамъ его, всѣмъ безъ исключенія, и дѣвочкамъ, и сыну-первенцу мое благословеніе. Передай, что желаю всѣмъ здоровья долголѣтія, а хозяину богатѣть и не забывать про добрыя дѣла, про нужды святой мечети... прощай!

Мулла произнесъ все это, сильно возвысивъ голосъ, настолько, что его можно было ясно слышать даже на дворикѣ, гдѣ уже толпились ученики и другіе муллы, собравшіеся уже къ началу очередного урока.

Улькунъ-Курсакъ оправила свой костюмъ, низко поклонилась и вышла изъ сакли.

Должно-быть, не мало времени провела старуха въ бесѣдѣ съ муллою. Когда она добралась до центральной части города, базаръ уже былъ въ полномъ разгарѣ; народъ густыми толпами занималъ перекрестки, толпился у входовъ въ чай-хане и разныхъ подзакусочныхъ, а по узкимъ улицамъ, крытымъ, грязнымъ, никогда не просыхающимъ, просто было не пройти, не проѣхать. Базарный шумъ, «галда» носился неумолчно подъ смрадными сводами; злобно ржали осѣдланные кони, тѣсно привязанные къ столбамъ навѣсовъ, хрипло ревели тяжело навьюченные верблюды, задѣвая другъ друга своими вьюками,—того и гляди, на смерть придавятъ зазѣвавшагося прохожаго... Порѣшила Улькунъ-Курсакъ взять въ обходъ, поправѣе, черезъ красные и посудные ряды, — туда съ крупною скотиною не суются и потому тамъ все-таки почище; отъ тѣхъ рядовъ въ сторону ведутъ тѣсные переулочки, гдѣ работаютъ кустари:

гравировщики по мѣди и олову, сшивальщики разбитаго фарфора, филигранщики и ювелиры, но самое интересное, это «уста» (мастера),—рисовальщики всевозможныхъ узоровъ для вышивокъ. Эти художники сидятъ у пороговъ своихъ крохотныхъ лавочекъ, передъ ними обрубки дерева, плотно обтянутые кожею, и вокругъ маленькіе горшечки съ густо растворенною краскою. Бойкою и смѣлою рукою рисунокъ наводится соотвѣтствующимъ цвѣтомъ будущей вышивки, матерію заказчики приносятъ свою. Передъ лавочками такихъ рисовальщиковъ всегда видны группы сидящихъ на корточкахъ женщинъ, терпѣливо ожидающихъ своей очереди, жадно слѣдящихъ за бойкою рукою узорщика. Этотъ переулочекъ служитъ женскимъ клубомъ всего города и его окрестностей, — здѣсь сообщаются всѣ домашнія новости, главнымъ образомъ, семейныя сплетни. Несмотря на закрытыя сѣтками лица, здѣсь какъ-то большинство узнаетъ другъ друга, да оно особенно и не зачѣмъ закрываться, — мужчины сюда заходятъ рѣдко, а узорщики свои люди и не осудятъ.

Старуха, только мелькомъ заглянувъ въ одинъ изъ такихъ переулочковъ, сразу замѣтила одну изъ заказчицъ по ея утиной походкѣ; это была Хатыча. Не одна же она пришла сюда, навѣрное и Сары-Кошма съ нею... Да вонъ и она сидитъ и помогаетъ мастеру придерживать на обрубкѣ кусокъ малиноваго бархата.

«Ишь, ты, подлыя!.. Я ушла, и онѣ тоже со двора. И безо всякаго спроса. Страха въ нихъ нѣту, изсвоеволились въ конецъ, — подумала Улькунъ-Курсакъ. — Да и чего бояться?.. Мужу до нихъ дѣла никакого не стало. Теперь онѣ ему не жены совсѣмъ, а такъ только, будто на прокормленіе взяты. Ея власть пропадаетъ, только побоями и держится еще коекакъ, да вѣдь бить все время—руки отколотишь, а тѣмъ хоть бы что... Гибнетъ честный домъ, во всѣ стороны разваливается!.. Охъ, горе-горе!»

Подкралась къ нимъ Улькунъ-Курсакъ и присѣла сзади Сары-Кошмы на корточкахъ, будто тоже на работу смотритъ, сама слушаетъ.

— У васъ въ дому новые порядки?—спрашиваетъ мастеръ.

— А ты почемъ знаешь?—спрашиваетъ его Хатыча.

— Какъ не знать... Уже вторую недѣлю весь базаръ го-

воритъ... Таксыръ Суффи большую силу у генерала забралъ... говорятъ даже...

Тутъ «уста» сказалъ что-то очень тихо, старуха не разслыхала и ближе подвинулась. Только Сары-Кошма засмѣялась, а Хатыча подхватила, да и бухнула громко:

— Ге! Наша толстая корова совсѣмъ притихла, не узнаешь теперь, къ жидовкѣ такъ и льнетъ, потому вся сила у этой проклятой въ рукахъ!

— Вотъ теперь, — вмѣшалась Сары-Кошма: — «корова» чуть свѣтъ со двора ушла, къ своему муллѣ колдовать, а мы сюда... Ей даже и не сказывались!

— Мы у Эстеръ спросились!—добавила Хатыча.

— Что же, та добрая? Пустила?

— Пустила... Какъ она посмѣла бы не пустить!

— Говоритъ: «проваливайте, куда глаза глядятъ. Мнѣ, говоритъ, все равно. Хоть совсѣмъ домой не возвращайтесь»!

— Еще бы ей не говорить такъ. Мы красивыя, толстыя, а та щепка: ей бы насъ подальше загнать съ мужниныхъ глазъ...

— Да васъ скоро и погонятъ, — усмѣхнулся мастеръ, — Должно-быть, все за красоту вашу...

— Насъ-то погонятъ? — обидѣлась Хатыча. — Ну, нѣтъ, это еще посмотримъ. Эстеръ-то, ты знаешь ли, больна, скоро поколѣетъ... Да и наша «корова» не зѣваетъ...

— Уже прозѣвала... теперь поздно!—словно про себя, замѣтилъ мастеръ-рисовальщикъ и потянулся лучинкою за ярко-голубою краскою. — Вотъ смотри: здѣсь, гдѣ зеленою краскою обозначено, это все шелкомъ, косоплеткою шить будешь, а тутъ, гдѣ я бѣлою прокрасилъ — это все блестками золотыми пойдетъ, звѣздочками, по шести штукъ въ гнѣздышко. Понимаешь?

— Понимаю!

— А серединки, вотъ эти, жемчужнымъ бисеромъ заполнишь...

— Понимаю...

— А я такъ понимаю,—вмѣшался въ разговоръ мастеръ-сосѣдъ, старый-престарый и бойко грамотный, который больше надписями изъ корана занимался. — А я такъ понимаю, что въ прежнія времена такую Улькунъ-ханымъ задомъ-напередъ

по базару бы на ишакѣ возили... А вѣдь, поди же ты, весь городъ считалъ за самую умную...

Зелено стало въ глазахъ у старухи... Тихонько отползла подальше, потомъ встала и, стараясь даже измѣнить походку, отошла ко входу въ переулокъ. Здѣсь она окликнула какую-то женщину, шепнула ей что-то на ухо, а та пристально посмотрѣла въ ту сторону, гдѣ сидѣли Казиметовы жены, и проговорила:

— Сейчасъ скажу...

И Хатыча, и Сары-Кошма вздрогнули даже, когда посланница передала имъ тихонько, что приказано было Улькунъ-Курсакъ, и стали торопливо собирать свои свертки. Онѣ боязливо взглядывали, ища глазами грозную домоправительницу, а та нарочно пряталась отъ нихъ въ глубокой тѣни камышеваго навѣса.

— Чего всполошились?—усмѣхнулся мастеръ.

— Сама!—прошептала Хатыча.

— То-то... А то, поди, какъ расхрабрились... Да дай обсохнуть прежде; погоди сворачивать, неси такъ, а то всю краску сотрешь!

Но испуганныя неожиданнымъ появленіемъ Улькунъ-ханымъ, женщины уже не слушали наставленій и торопливо пробирались сквозь толпу къ выходу. Онѣ прошли бы мимо самой грозы, да Улькунъ-ханымъ успѣла пребольно ущипнуть Хатычу и такъ толкнуть въ спину Сары-Кошму, что та даже вскрикнула...

— Это при людяхъ-то, ханымъ? — проговорила та. — Будто бы не слѣдовало!

— Ладно! Поговоримъ дома!

— Мы, вѣдь, ханымъ, только на минуточку... Ты ушла, ничего не сказала, — спросить не успѣли, а дѣло спѣшное... Помнишь, о чемъ мы говорили?—стала оправдываться Хатыча

— Спрашивались, слыхала я... У новой Улькунъ спрашивались... не ври...

— Да мы въ шутку... Мы больше той въ насмѣшку!

— Погоди, еще и она посмѣется... Погоди!.. Время-то какъ разъ поспѣваетъ... Я-то, глупая, на нихъ въ надеждѣ, я-то думаю: «меня нѣтъ, эти все смотрѣть будутъ да сторожить», а онѣ... Ну, постой-ка, придетъ моя очередь, минуетъ лихая

напасть, — я тогда вамъ покажу... Будете меня почитать да помнить... не скоро забудете «толстую корову»...

У Хатычи отъ этихъ словъ душа ушла въ пятки. Она споткнулась о камень, чуть въ лужу носомъ не шлепнулась, а Сары-Кошма, по-наивности, спросила:

— А вы развѣ, ханымъ, и это слышали?

— Мои уши за сто верстъ слышатъ, а глаза сквозь стѣну каменную видятъ, такъ и знайте!—проговорила Улькунъ-Курсакъ и еще дала обѣимъ по толчку въ спины, чтобы шли и по сторонамъ зря не оглядывались.

— А шли мы туда, — начала Хатыча, видимо, стараясь задобрить чѣмъ-нибудь грозную старуху: — шли мы и задержались на минуту у большого чай-хане. Стоимъ, будто бикасаны (матерія такая) разглядываемъ, а сами слушаемъ, какъ Курлыбай-машкарабазъ *) народъ смѣшитъ: «Отчего, — говоритъ:—у русскихъ женщины открытыя ходятъ, а у насъ, какъ чучела огородныя, съ ногъ до головы закутанныя? А оттого,— говоритъ, — что у русскихъ есть что показывать, а нашихъ открыть, такъ ишаки заревутъ, лошади перепугаются»...

— Да, если вотъ такое рыло, какъ у тебя, такъ перепугаются!—буркнула Улькунъ-Курсакъ.

— Ну, ужъ вы, ханымъ, всегда скажете недоброе... Это вѣдь Курлыбайка въ шутку, чтобы только народъ посмѣшить... Ему за это деньги платятъ!

— Чѣмъ бы святыя пѣсни, что «дивона» поютъ, слушать, а онѣ машкарабазовъ... Не чуятъ бѣды, — словно дѣти неразумныя надъ проваломъ ходятъ... Охъ, Господи!.. И одна я, какъ есть одна, во всемъ-то домѣ... И на мнѣ одной вся тягота лежитъ,—мнѣ одной и отвѣчать передъ Богомъ... И впрямь давно такую слѣдуетъ на позорище, на базаръ вытащить... Охъ, слѣдуетъ... Да идите вы скорѣе, вотъ ужъ настоящія коровы,— у меня сердце не на мѣстѣ... Страхъ беретъ къ дому подходить... Сердце великую бѣду чуетъ, а онѣ...

Ѣдутъ имъ навстрѣчу двое русскихъ, по погонамъ видно— офицеры, ѣдутъ на добрыхъ коняхъ и папироски курятъ. Увидѣли женщинъ, разсмѣялись и показываютъ другъ другу, а тѣ

---

*) Актеръ.

бросились въ сторону и присѣли на корточки, носомъ къ стѣнкѣ, по обычаю.

— Экія чучела!—сказалъ одинъ офицеръ.

— Это ихъ костюмъ безобразный, уличный такъ уродуетъ, а то, говорятъ, есть и прехорошенькія!—замѣтилъ другой.

— Ну, если всѣ такія, что у Абрамки собраны, такъ, признаюсь, привлекательности не много!

— Не говори, Ольга Николаевна разсказывала, что попадаются такіе типы, хоть сейчасъ въ картину... красоты необычайной... Помнишь, она говорила про одну такую?..

— Ну, это исключеніе!

— А Гуль-гуль помнишь? А Акъ-Томакъ... забылъ... Тоже исключенія?

— Да то, вѣдь, не здѣшнія... Гуль-гулька изъ Бодокшана, сказывали, а то и еще дальше, «со священныхъ береговъ Ганга», какъ въ пѣснѣ поется... А здѣсь все скуластыя да косоглазыя... неряхи невозможныя! Говорятъ, онѣ и моются только разъ въ году. Ну, ты, гнѣдой, чего испугался?

Офицеръ энергично ударилъ шпорами коня, тотъ взвился и обдалъ грязью нашихъ женщинъ... Хорошо еще, что, бѣдныя, ничего не поняли изъ ихъ разговора.

— Гяуры проклятые!—проворчала Улькунъ-Курсакъ.

— Какіе у одного усы, совсѣмъ красные, словно огненные!—замѣтила Хатыча.

Не было бы Улькунъ-ханымъ, она, пожалуй, приподняла бы немного сѣтку и языкъ показала бы, съ нею это иногда случалось.

— Охъ! Что-то теперь дома дѣлается?..—вздыхала старуха и все торопила своихъ спутницъ.

Подходя къ дому, онѣ не пошли по главной улицѣ, а свернули въ тѣсный переулокъ, которымъ можно было пробраться на виноградники и огороды, а оттуда, черезъ извѣстный проломъ, прямо на кухонный дворъ.

Несмотря на отсутствіе хозяекъ, на кухнѣ было все въ относительномъ порядкѣ: самоваръ кипѣлъ, рисъ въ котлѣ, прикрытомъ поверхъ крышки еще войлокомъ, упрѣлъ достаточно, баранина была нарѣзана тонкими ломтями и разложена на доскѣ, чтобы слегка обвѣтрилась, передъ тѣмъ какъ ее будутъ жарить въ растопленномъ салѣ... Калмычка, засучивъ рукава

къ самымъ плечамъ, мыла кишмишъ въ деревянной чашкѣ... Такъ и билъ въ носъ острый запахъ нарѣзаннаго луку, и клубился бѣлый паръ надъ темно-красной громадной, только что отваренной свеклой.

Опытнымъ глазомъ окинула Улькунъ-Курсакъ все находящееся въ кухнѣ, ласково улыбнулась даже калмычкѣ-работницѣ и, приказавъ обѣимъ женамъ остаться здѣсь, сама пошла на женскую половину.

— Попались, небось?—усмѣхнулась калмычка.

— Шайтанъ знаетъ, какъ это она на насъ наскочила!—улыбнулась Хатыча.

— Мы ее съ такой стороны и не чаяли встрѣтить!—добавила Сары-Кошма.

— А хозяинъ пріѣзжалъ безъ васъ. Съ часъ, а то и больше просидѣлъ у Эстеръ и опять уѣхалъ... Теперь уже до вечера!

— О насъ не спрашивалъ?

— И не помянулъ даже!

А старуха, тѣмъ временемъ, прямо пошла въ каморку Эстеръ.

Эстеръ была въ кладовой; передъ нею стоялъ большой кованый сундукъ съ откинутою крышкою; вся кладовая завалена была одеждою. Эстеръ неторопливо и аккуратно укладывалась. Шарипка возился подлѣ. Онъ запустилъ обѣ ручонки въ шкатулку съ уборами и игралъ съ ожерельемъ, раскидывая все вокругъ, безцеремонно и звонко смѣялся. Эстеръ не мѣшала ему производить такой безпорядокъ.

Когда вошла Улькунъ-Курсакъ, «жидовка» вздрогнула и взглянула на нее не безъ тревоги.

— Укладываешься?

Старуха присѣла на порогѣ кладовой, глубоко вздохнула и вытащила изъ-за пазухи небольшой сверточекъ.

— Это что?

— Это я тебѣ на память купила... Хорошая вещь, носи на здоровье, да насъ не забывай, когда уѣдешь... Вѣдь ты навсегда уѣзжаешь. Больше уже къ намъ, то-есть, къ себѣ, въ настоящій, родной домъ не вернешься...

— Вылѣчусь—вернусь...

— А помрешь тамъ?..

Улькупъ-Курсакъ пытливо поглядѣла прямо въ глаза Эстеръ, еще разъ глубоко вздохнула, и на ея сморщенныхъ щекахъ показались слезы.

— Да что вы, ханымъ, меня все пугаете? — заговорила Эстеръ.—Вѣдь Суффи не велѣлъ вамъ пугать меня больше...

— Кто тебя пугаетъ?.. Кто? Сама, какъ безумная, безъ страха идешь на гибель, а говоришь «пугаете»...

— Оставьте, ханымъ, не надо!—простонала Эстеръ.

— Не оставлю, буду говорить... Аллахъ велитъ мнѣ спасти тебя и домъ весь нашъ,—строго заговорила старуха...—Слушай меня только внимательно, козочка моя дорогая, любимая моя, хорошая... Не ради зла тебѣ говорю, а отъ великаго зла спасти желаю... Слушай только. Укроти свое сердце и слушай!

Эстеръ не отвѣчала, но по ея выраженію старуха поняла, что каждое ея слово будетъ выслушано съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Видѣла ты твою Олгу? Хорошо къ ней приглядѣлась?..— продолжала она.

— А то какъ же?—чуть слышно прошептали губы джюгудки.

— Видѣла, какіе у ней глаза?.. Голубые, какъ небо лѣтомъ, добрые, ласковые, такъ и смотрятъ прямо въ душу...

— Прямо въ душу!—повторила Эстеръ за нею.

— А какое лицо, какой ротъ, губы-то какія... Вѣдь улыбнется,—будто солнце заглянетъ въ окошко...

— Она добрая...

— А какое тѣло у ней!.. Помнишь, когда рубаху мѣняла,— помнишь? Вѣдь такого тѣла другого не найти. Полная, бѣлая, какъ сахаръ... Груди какія, плечи... А ноги... Помнишь ноги? Вѣдь у самаго эмира Мозафара, во всемъ гаремѣ такихъ ногъ не сыщешь... Посмотри-же на свои теперь,—посравни-ка... Что это у тебя?.. Палки сухія, черныя, какъ у цапли на болотѣ, кости однѣ, колѣно о колѣно стучитъ... Гдѣ же тебѣ равняться съ Олгою? Бѣдная ты, бѣдная, горемычная женщина!..

— Я больна. Олга меня вылѣчитъ,—я такая же буду... Даже лучше буду... Сама Олга мнѣ говорила... Она говоритъ, что я тоже красивая, она все глаза мои цѣлуетъ и говоритъ, что такихъ глазъ тоже на всемъ свѣтѣ немного... Она...

— Пока еще ты вылѣчишься, Суффи на Олгу наглядится вволю. Онъ уже и такъ довольно наглядѣлся... Эхъ, глупая, глупая!.. Суффи-то зачѣмъ тебя отсюда увозитъ,—лѣчить, что-ли? Лѣчить-то и здѣсь можно. Нѣтъ, чтобы чаще да больше эту русскую змѣю видѣть, больше съ нею глазъ-на-глазъ проводить время... Вотъ для чего... А ты думала... Эхъ, ты, слѣпая, неразумная! А самъ Суффи развѣ не красивъ? Вѣдь настоящій мужчина, статный, видный; вѣдь между русскими и не сыскать такого. Не даромъ на него твоя Олга заглядывается...

— Не надо!—снова простонала Эстеръ.

Но старуха уже расходилась во всю.

— Нѣтъ, надо! Нечего на бѣду глаза закрывать... На базарѣ, что говорятъ?.. А?.. Ты знаешь, что говорятъ на базарѣ?.. Вотъ, погоди, увезутъ тебя отсюда, запрутъ въ русскомъ городѣ за десять замковъ,—околдуетъ та, подлая, твоего мужа, онъ на тебя и не взглянетъ больше. Ее возьметъ въ жены, а ты ей работницей будешь, пока не сдохнешь. Онъ будетъ съ ней на коврахъ цвѣтныхъ валяться и нѣжиться, а ты будешь дастарханъ подавать, да любоваться,—вотъ какъ Хатыча съ Сары-Кошмою, когда Суффи съ тобою тѣшится...

— Я ей глаза выцарапаю, я ей горло перегрызу!—проговорила, сквозь крѣпко стиснутые зубы, Эстеръ, да такимъ голосомъ, что даже Улькунъ-Курсакъ страшно стало

— Давно-бы пора,—поддакнула та.—Только ты успокойся... Ты слушай меня, моя радость: ты пока молчи и виду не подавай, что все знаешь, никому не проговаривайся. Скажи, молъ, только, что раздумала переѣзжать, вѣдь не потащитъ тебя силою, а потащитъ—тогда будемъ знать, что дѣлать надо. Ты пока молчи... Притворяйся даже,—не бѣда! Олга пріѣдетъ,—ты и передъ той притворяйся. Успѣешь еще горло перегрызть... Да ты не сердись... Полегче!.. Зачѣмъ хорошую одежу рвать... Ты спокойнѣе...

Это Улькунъ-Курсакъ увидала, какъ энергично принялась Эстеръ выкидывать все изъ сундука, все, что съ такою любовью, такъ аккуратно уложено было для предстоящаго переѣзда.

— Главное, чтобы Суффи не замѣтилъ, что мы съ тобою все разгадали. Пріѣдетъ мужъ, ты скажи ему просто: ну, раздумала, и только. Жалко, молъ, съ домомъ своимъ разста-

ваться, жалко добрую старуху, это меня, значитъ, огорчать, да и подругъ тоже... Что, молъ, тебѣ и здѣсь хорошо, всѣ тебя любятъ, что ты здѣсь еще лучше поправишься. Стой на своемъ: не поѣду, да и только! А тамъ видно будетъ... Смотри же, ни Суффи, ни Олгѣ, этой проклятой, не проболтайся... Да умойся хорошенько, приберись въ порядокъ... Вишь, какъ тебя всю перевернуло. Что, опять закашлялась... Ахъ, бѣдная ты моя, бѣдная! Эко опять крови сколько!.. Перемѣни рубаху да проглоти хоть этотъ вѣдьминъ порошокъ, помогаетъ тоже... Аллахъ, Аллахъ, какіе люди нынче пошли нехорошіе да злые!.. Бывало-ли это прежде! Охъ, грѣхи, грѣхи... Я пойду и пришлю тебѣ дыню хорошую... Дороги онѣ стали нынче на базарѣ: вѣдь какъ трудно за всю зиму сберечь въ сѣточкахъ, на подвѣсѣ,—изъ ста одна продержится; а я хорошую купила у бабая въ лавкѣ, сейчасъ пришлю къ тебѣ съ Хатычею,— она и прибрать все въ порядокъ поможетъ... Смотри же, моя хорошая, молчи и ни слова...

Старуха припала къ плечу Эстеръ, крѣпко обняла ее и вышла изъ сакли, обернувшись раза два на ребенка, а тотъ мычалъ что-то ей во слѣдъ и протягивалъ ручонки, показывая спутанныя нитки зеленыхъ стеклышекъ.

Несмотря на сравнительно недолгое пребываніе въ краѣ, Ольга Николаевна ко многому уже присмотрѣлась и многое поняла въ его жизни. Положеніе туземныхъ женщинъ, уровень ихъ развитія, вся ихъ обстановка, ихъ горемычная, замкнутая жизнь болѣе всего интересовали любознательную женщину-врача, и короткое знакомство съ семейнымъ бытомъ зажиточнаго, толковаго и умнаго купца-сарта, ей было какъ нельзя болѣе кстати... Она мечтала хотя сколько-нибудь внести свѣта въ эту темную среду, и теперь ея мечты начинали понемногу осуществляться. Она привыкла умѣло наблюдать и дѣлать правильные выводы изъ подобныхъ наблюденій и вполнѣ уже уяснила себѣ отношенія другъ къ другу членовъ семейства Суффи Казиметова.

Она понимала эти отношенія даже лучше, чѣмъ самъ глава дома; она видѣла ясно, какую непримиримую ненависть внушала бѣдная Эстеръ наиболѣе вліятельной въ домѣ Улькунъ-

ханымъ, какую зависть внушала она остальнымъ двумъ женамъ Суффи. Уже съ первой встрѣчи, съ первой минуты своего появленія въ домѣ, Ольга Николаевна могла хорошо замѣтить, что это появленіе внесло въ домъ цѣлый переворотъ, сразу нарушило весь ходъ его обычной жизни и не могло не вызвать серьезнаго, а, можетъ быть, даже рокового отпора. Завязалась борьба... «Свѣта съ мракомъ», какъ шутя выражалась сама Ольга Николаевна. На сторонѣ свѣта:—она, Суффи, безусловно ей преданный и благодарный за спасеніе сына-первенца отъ *конечно* неизбѣжной смерти, хотя бы и «по волѣ Аллаха», за обѣщаніе вылѣчить любимую жену; Эстеръ, глубоко вѣрующая въ чудодѣйственную силу «*свѣтлой женщины*», суевѣрная, считающая ее существомъ неизмѣримо высшимъ, польщенная тѣмъ, что это существо называетъ ее своею сестрою. Съ другой стороны—Улькунъ-ханымъ, опора бытовыхъ традицій, ревнивая охранительница старыхъ, вѣковыхъ порядковъ отъ какого бы ни было новаго вѣянія, тѣмъ болѣе идущаго изъ лагеря невѣрныхъ, нечестивыхъ гяуровъ, и остальные члены дома,—эти невѣжественныя самки, одушевленныя злобною завистью и животною ревностью... Ольга Николаевна тщательно взвѣсила шансы борьбы, и эти шансы были не всегда на ея сторонѣ. Она замѣчала не разъ уже, что во время ея отсутствія «враги» не зѣваютъ и подрываютъ ея работу; она поняла даже, въ чемъ, собственно, заключается эта работа, и спасти бѣдняжку Эстеръ, на голову которой, конечно, долженъ былъ обрушиться ударъ, стало теперь для Ольги Николаевны душевною потребностью. Вотъ почему она такъ настойчиво убѣждала свою названную сестру переселиться въ русскій городъ, подъ ея непосредственное покровительство, хотѣла вырвать ее изъ рукъ хитрой и властной старухи... Она такъ краснорѣчиво описывала прелесть ея новаго уголка, гдѣ *сестра* найдетъ полный покой, а, можетъ быть, даже и полное выздоровленіе отъ тяжкаго недуга, въ которое Ольга Николаевна, впрочемъ, сама плохо вѣрила, что Эстеръ принялась нетерпѣливо считать не только дни, но даже часы, когда она попадетъ въ русскій домъ, гдѣ поютъ въ клѣткахъ желтенькія птички, играютъ весело сундучки съ музыкой, гдѣ она будетъ толстѣть, хорошѣть и избавится, наконецъ, отъ этого удушливаго кашля, вызывающаго такую невыносимую

боль въ груди и эту, пугающую ее, алую кровь, предвѣстницу смерти.

Торжествуя побѣду, Ольга Николаевна уѣхала тогда домой въ самомъ радостномъ настроеніи; она просила Эстеръ держать уговоръ пока въ тайнѣ; оставалось только уговорить самого Суффи, и она не сомнѣвалась ни минуты, что ей это удастся.

Однако, уговорить главу дома на такой рѣшительный шагъ оказалось вовсе не такъ легко, какъ думалось сначала. Суффи безпрекословно повиновался Ольгѣ Николаевнѣ во всемъ, когда дѣло шло о жизни любимаго первенца. Онъ говорилъ тогда, что готовъ погубить даже свою душу за жизнь сына. Но то былъ сынъ-первенецъ, а теперь рѣчь идетъ объ Эстеръ, только любимой его женѣ, матери этого сына, но все же о женѣ, то-есть, объ одной только самкѣ изо всего домашняго запаса... Конечно, жаль будетъ очень, если Эстеръ умретъ, но рѣшаться на такой шагъ, на такое нарушеніе всѣхъ бытовыхъ традицій изъ-за этого стоитъ ли? И Суффи Казиметовъ, ошеломленный предложеніемъ женщины-врача, сначала даже упрекнулъ Ольгу Николаевну за то, что та уговорила Эстеръ, не посовѣтовавшись сначала съ нимъ, главою дома.

Въ это время въ русскомъ городѣ жилъ мулла Исетъ-Асфанджаровъ, родомъ казанскій татаринъ, человѣкъ мудрый, начитанный и очень ученый; онъ ходилъ обыкновенно въ черномъ длинномъ сюртукѣ и въ бархатной тюбетейкѣ на бритой головѣ, и только идя въ мечеть, надѣвалъ чалму и соотвѣтствующее широкое одѣяніе. Онъ былъ большой знатокъ корана и шаріата, носилъ званіе муллы и даже разъ избранъ былъ муфтіемъ въ Оренбургѣ, но отказался отъ этого высокаго духовнаго званія ради науки. Исетъ Асфанджаровъ кончилъ курсъ юридическихъ наукъ въ казанскомъ университетѣ, и пріѣздъ такого великаго ученаго въ нашъ городъ произвелъ на все его мусульманское населеніе глубокое и сильное впечатлѣніе.

Вотъ этотъ-то непогрѣшимый знатокъ корана, мудрый истолкователь его изреченій, умѣвшій примирить указанія пророка съ требованіями цивилизаціи, и помогъ Ольгѣ Николаевнѣ успокоить сомнѣнія Суффи Казиметова и вызвать его полную готовность исполнить ея желанія.

На совѣтъ къ муллѣ Асфанджарову поѣхали они вмѣстѣ,

а съ того совѣта прямо отправились осматривать новое помѣщеніе, предназначенное для Эстеръ и ея ребенка.

А помѣщеніе это было поистинѣ превосходно. Домъ Ольги Николаевны хотя и находился въ довольно людной, центральной части города, однако, около дома нашлось мѣсто для большого фруктоваго сада, окружавшаго этотъ домъ съ трехъ сторонъ, такъ что стѣны сосѣднихъ построекъ были удалены на достаточное разстояніе. Въ глубинѣ этого сада находился еще другой маленькій домикъ, въ три комнаты, обнесенный верандою на столбикахъ. Съ большимъ домомъ этотъ флигелекъ соединялся крытою галлереею, а у самаго домика помѣщался четвероугольный прудокъ, черезъ который проходилъ арыкъ для пропуска воды, такъ что въ пруду вода эта была проточная и не загнивала, да и самый арыкъ былъ не такой, какъ у туземцевъ, грязный и вонючій, а чистый, выложенны жженымъ кирпичомъ-плитнякомъ. Вокругъ всего сада шла широкая аллея изъ тополей и пальмовидныхъ апландусовъ,—деревья были еще молодыя, но уже выросли настолько, что лѣтомъ отбрасывали на дорогу густую, прохладную тѣнь. Въ саду были рядами насажены абрикосовыя и персиковыя деревья, уже въ прошломъ году давшія обильный урожай плодовъ, а по сторонамъ веранды тянулись густые розовые кусты и ряды грядъ, съ осени еще подготовленныхъ для цвѣточныхъ насажденій.

Въ маленькомъ домикѣ и рѣшено было помѣстить Эстеръ съ сыномъ, предоставивъ имъ весь этотъ уголъ двора въ полное ихъ распоряженіе. Домикъ былъ свѣтлый, теплый и необыкновенно уютный. Комнаты были высокія, стѣны начисто оштукатурены алебастромъ, потолки выбѣлены по туго натянутому полотну, полы плитные, кирпичные и пока устланные только новыми цыновками. Въ первой комнатѣ стояла большая печь съ каминомъ, и два большихъ свѣтлыхъ окна выходили въ садъ; нижнія стекла этихъ оконъ были цвѣтныя, а сами окна закрывались рѣшетчатыми ставнями и бѣлыми шторами. Другая комната была поменьше и тоже съ каминомъ. Эта комната была оклеена розовыми обоями и потолокъ—тоже; полъ въ ней былъ бѣлый, дощатый, и окно было только одно, зато вдвое шире первыхъ и открывалось тоже прямо въ садъ, какъ разъ на группу развѣсистыхъ урюковъ. Станутъ поспѣвать,—садись у окошка и ѣшь прямо съ

дерева. За этою комнатою — третья, тоже довольно свѣтлая, но окна ея выходили къ стѣнѣ, а за тою комнатою, возвращаясь къ выходнымъ сѣнямъ, еще комната—кухня, съ хорошею, новою плитою и русскою печкою для хлѣбовъ. Первая комната предназначалась для пріѣздовъ самого Суффи, вторая, розовая, конечно, для Эстеръ съ ребенкомъ, въ угловой предполагалось поставить сундуки и умывальники, а въ кухнѣ жить могла прислуга, по выбору самого Суффи, но лучше бы изъ новыхъ, а не со своего двора. Столъ на первое время, будетъ отъ Ольги Николаевны, а тамъ увидятъ... Насчетъ мебели тоже было не мало разговору...

Суффи говорилъ, чтобы позволили ему прислать свои новые ковры для всего дома, но Ольга Николаевна доказывала ему всю непригодность ковровъ въ санитарномъ отношеніи, и позволила только одинъ, да и то, чтобы ребенку было удобно ползать и играть на полу, пока время стоитъ еще довольно холодное. Кровать для Эстеръ и люльку для Шарипки она, молъ, поставитъ свои, именно такія, какъ требуются для лѣченія, а сундуки можно перевезти, только она ихъ прежде всѣ пересмотритъ самолично. Клѣтки съ желтенькими птичками и ящикъ съ музыкою перенесутся изъ большого дома, а по стѣнамъ повѣсятъ картинки и большое зеркало для Эстеръ. Конечно онъ, Суффи, будетъ полнымъ хозяиномъ въ этомъ домѣ, и безъ его позволенія никто не перешагнетъ его порога, за исключеніемъ только самой Ольги Николаевны... Суффи Казиметовъ попросилъ позволенія приподнять, со стороны сосѣдняго двора, стѣну немного, аршина на четыре, не больше, и хотѣлъ завтра же прислать для этого своихъ каменщиковъ. Это ему было разрѣшено, хотя и вызвало невольную улыбку на устахъ Ольги Николаевны.

— Не для себя больше, — для людей... что скажутъ? — глубоко вздохнулъ Суффи, пожимая плечами.—Вы,- продолжалъ онъ. — осыпаете насъ, маленькихъ людей, такими милостями, что я обязанъ спросить васъ: какою суммою я долженъ отплатить всѣ ваши щедроты?

Вопросъ былъ вполнѣ естественный со стороны Суффи, но для Ольги Николаевны этотъ вопросъ оказался совершенно неожиданнымъ. Она вспыхнула до ушей, подняла на вопрошающаго изумленные глаза и едва проговорила:

— Суффи!.. Что вы?

Но Суффи очень резонно объяснилъ ей, что онъ человѣкъ богатый и платить можетъ, что домикъ не могъ простоять пустымъ, а навѣрное кѣмъ-нибудь былъ бы занятъ. И что если Ольга Николаевна не захочетъ взять съ него денегъ, то ему придется съ грустью отказаться отъ такого благодѣянія...

— Тамъ увидимъ!—попробовала было уклониться хозяйка.

— Хорошо-съ, увидимъ! — многозначительно произнесъ Суффи.

Онъ понялъ смущеніе Ольги Николаевны и замялъ этотъ неловкій разговоръ, рѣшивъ посправиться о наемныхъ цѣнахъ впослѣдствіи, чтобы не заплатить нечаянно меньше, чѣмъ слѣдуетъ.

Колебанія Суффи, затѣмъ совѣщаніе съ мудрѣйшимъ муллою Иссетомъ-Асфанджаровымъ, осмотръ дома, — все это заняло столько времени, что уже начало темнѣть, а тутъ за стѣною послышался мягкій стукъ рессорнаго экипажа, топотъ многочисленныхъ копытъ коннаго конвоя,—и всѣ эти звуки замерли передъ подъѣздомъ дома.

Оказалось, что это пожаловалъ самъ генералъ, и его звучный голосъ весело раздавался уже въ пріемной Ольги Николаевны. Пришлось повременить отъѣздомъ. Нельзя же такъ сразу, словно бѣгствомъ, спасаться отъ такой важной встрѣчи.

Съ генераломъ вмѣстѣ пріѣхалъ и Асфанджаровъ, лукаво поглядывая на Суффи изъ-за генеральскаго плеча.

Генералъ ловко подошелъ къ ручкѣ хозяйки, эффектно при этомъ щелкнувъ шпорами, назвалъ ее лучомъ свѣта и радости въ ихъ захолустьѣ и, обращаясь къ Суффи, произнесъ:

— А я очень радъ, мой высокоуважаемый, почтеннѣйшій Казиметовъ, что засталъ васъ еще здѣсь... Здравствуйте, дорогой, искренно жму вашу почтенную руку!

И онъ дѣйствительно искренно, потому что съ необыкновенною силою сжалъ и потрясъ робко протянутую ему руку польщеннаго Суффи.

— Да вотъ, кстати, чтобы не посылать къ вамъ на домъ,— продолжалъ генералъ,—получите собственноручно. Давайте сюда, Иссетъ Омеровичъ...

Генералъ взялъ у Асфанджарова плоскій ящичекъ, открылъ его и вынулъ оттуда серебряную медаль съ надписью «за

усердіе»; за этою медалью тянулся аршинъ красной ленты съ бѣлыми каемками, и, обращаясь къ хозяйкѣ дома, попросилъ «булавочки».

— Воздѣньте сіи знаки на вашу почтенную грудь и носите ихъ по установленію. Душевно поздравляю!—громко произнесъ онъ и добавилъ, лично уже обращаясь къ Казиметову, при этомъ внушительно понижая голосъ.—Вполнѣ заслуженно!

— За что такія милости?—бормоталъ растерявшійся отъ неожиданности Суффи, тщетно пытаясь прикоснуться губами къ генеральскому плечу...

Ему это было очень неудобно, такъ какъ онъ одною рукою пытался придержать медаль на своемъ мѣстѣ (генералъ плохо управился съ «булавочкою»), а другую Суффи, по этикету, прижималъ къ своему сердцу...

Усѣлись наконецъ. Ольга Николаевна съ генераломъ на диванѣ, Суффи и Асфанджаровъ по бокамъ, на стульяхъ. Минутку помолчали всѣ по обыкновенію.

— Да-съ, наша многоуважаемая, — началъ генералъ...— Побольше бы, побольше намъ такихъ женщинъ, какъ вы, и край нашъ просвѣтился бы быстро... Работайте, дорогая, вносите свѣту, больше свѣту въ эту темную, полудикую среду, и все пойдетъ превосходно... И въ вашемъ лицѣ,—генералъ обратился снова къ Казиметову,—я выражаю мое удовольствіе въ полной мѣрѣ всѣмъ тѣмъ, которые такъ отзывчиво, отбрасывая слѣпые предразсудки, относятся къ просвѣтительнымъ мѣрамъ, предпринимаемымъ свыше, являются, такъ сказать, проводниками цивилизаціи и вообще всего, что такъ охотно ободряется и даже поощряется правительствомъ... Очень, очень радъ!

Асфанджаровъ лукаво улыбался, поглядывая на Суффи. Ольга Николаевна слегка покраснѣла, ей показалось, что самый представитель власти могъ бы все это выразить нѣсколько проще или даже совсѣмъ не выражать, а самъ виновникъ торжественной минуты пока еще ничего не сообразилъ и не понялъ, какъ слѣдуетъ...

Передъ Эстеръ, осмотръ ея будущаго помѣщенія, совѣтъ умнѣйшаго оренбургскаго муфтія, такого вліятельнаго мусульманина, и неожиданная, будто съ неба свалившаяся, высокая почетная награда, и эта близость самого начальника края,— все это такъ перепуталось въ его головѣ, что совершенно сбило

его съ толку, и вдругъ одна только мысль промелькнула ясно и сознательно: «Что скажутъ на базарѣ, какъ притихнутъ злые толки, что скажутъ у него дома, когда онъ войдетъ, украшенный такимъ великолѣпнымъ знакомъ высокой царской милости?»

А когда всѣ разъѣхались, то Асфанджаровъ, сидя въ генеральской коляскѣ, говорилъ:

— Да, ваше превосходительство, таджики, то-есть, сарты, прекрасные мусульмане, но не ярые фанатики. Честолюбіе,— это ихъ большая слабость, и всегда можно достичь хорошихъ административныхъ результатовъ, умѣло наигрывая на этой стрункѣ!

Генералъ утвердительно кивалъ головою и говорилъ:

— Да, я это давно уже замѣтилъ самъ!

Совсѣмъ уже стемнѣло, когда Суффи вернулся домой. Дорога была не близкая, и пока что, — все равно, въ потемкахъ никому не видно, — онъ свою медаль спряталъ за пазуху, но, подъѣзжая къ воротамъ, скололъ концы ленты булавкою прочно и «возложилъ» знакъ отличія себѣ на шею «по установленію». Джигитъ его поскакалъ впередъ, распорядиться освѣтить подворотный проѣздъ и передній дворъ, но на этомъ дворѣ было пусто, служащіе при караванъ-сараѣ еще не вернулись, и только двое конюшенныхъ джигитовъ встрѣтили хозяина, да вдобавокъ еще не сразу замѣтили блестящую медаль и огненно-красную ленту...

«Эко слѣпые олухи!» — чуть не вслухъ подумалъ Суффи, медленно слѣзая съ коня и еще медленнѣе расправляя ноги.— Свѣти ближе!

— Охъ, поздравляю, таксыръ!—обратилъ, наконецъ, вниманіе на что слѣдуетъ одинъ изъ джигитовъ.

— Поздравляемъ!—поклонился и другой.

— Отъ самого генерала, пожалованъ и отличенъ за вѣрную и хорошую службу!—будто бы равнодушнымъ тономъ проговорилъ Суффи, направляясь на женскую половину.

— Ой! ой!—раздалось за нимъ вслѣдъ.

— Поди, завтра большой праздникъ сдѣлаетъ на радости!

— Завтра не завтра, а безъ «томаши» не обойдется!

— Это, понимаешь, совсѣмъ такая, какъ у бухарскаго посланника, помнишь, пріѣзжалъ?

— Еще важнѣй,—пояснилъ джигитъ, сопровождавшій хозяина:—та меньше и лента у той безъ дорожекъ, гладкая, синяя, а эта, вишь ты, какъ огонь красная!

— По халату намъ подаритъ... это вѣрно!

— Да и подаритъ... Вы что думаете?..

Въ общей женской саклѣ всѣ были въ сборѣ, даже Эстеръ вышла изъ своей каморки. Всѣ три жены и сама Улькунъ-ханымъ принарядились почему-то не по обыкновенію; ярко горѣли четыре фонаря на стѣнахъ, пятый на полу, освѣщая накрытый дастарханъ. Эстеръ сидѣла нѣсколько въ тѣни, наклонивъ низко голову, словно разсматривая нагрудникъ, за то Хатыча и Сары-Кошма такъ и выпятились къ свѣту. Улькунъ-ханымъ сидѣла нѣсколько поодаль, не особенно ласково глядя на вошедшаго; она даже бровью не повела, замѣтивъ новое украшеніе на груди Суффи. Это она устроила торжественную обстановку встрѣчи всѣмъ домомъ; она и ждала этой минуты, и боялась ея. Сердце старухи билось усиленно, она какъ бы изучала выраженіе лица Суффи, впередъ хотѣла прочесть, что-то онъ скажетъ, какъ произнесетъ, наконецъ, свое роковое рѣшеніе.

«Неужели же онъ совсѣмъ отдался чарамъ русской колдуньи, неужели же рискнетъ на такой неслыханный проступокъ противъ религіи и старыхъ обычаевъ?.. А можетъ-быть, и опомнится во-время... Аллахъ многомилостивый, помоги, спаси отъ конечной гибели!..»

И губы старухи неслышно шептали молитвы.

«Что же онѣ молчатъ, дуры безтолковыя?» — подумалъ Суффи Казиметовъ.

Хатыча и Сары-Кошма вытаращили-было глаза отъ изумленія, но Улькунъ-Курсакъ такъ на нихъ взглянула, что онѣ и рта разинуть не посмѣли.

— Это тебѣ Олга подарила?..

Суффи даже вздрогнулъ отъ этого и какъ будто знакомаго, и будто чужого, не слыханнаго до сихъ поръ голоса.

Глаза Эстеръ горѣли, теперь уже прямо устремленные на него, ея тонкая рука съ судорожно вытянутымъ указательнымъ пальцемъ, чуть не въ упоръ касалась медали на красной лентѣ.

Удивленно взглянулъ на нее Суффи и на другихъ всѣхъ посмотрѣлъ тоже.

— Ахъ ты, неразумная! — проговорилъ онъ, улыбнувшись.—Это не Олга, это орденъ, большой и важный орденъ, и жалуетъ только такими орденами самъ Акъ-Падишахъ своимъ лучшимъ слугамъ за ихъ вѣрную и хорошую службу!

— Перемѣни вѣру, можетъ быть еще больше получишь! — сорвалось съ языка у Улькунъ-ханымъ.

Хотѣла про-себя сказать, а вышло довольно громко. Суффи услышалъ, брови у него сдвинулись.

— Вы, ханымъ, говорите глупости! — произнесъ онъ. — По вашему положенію и по вашимъ лѣтамъ, кажется, не слѣдовало-бы.

— Сдуру сорвалось!—проворчала старуха.

— То-то!

— А лента-то, лента какая красивая!—всплеснула руками Хатыча.

— Дорого стоитъ такая!—заговорила Сары-Кошма.—Ай-ай—важная!..

— Покажи сюда! Дай-ко!—снова протянула руку Эстеръ.

Суффи осторожно снялъ съ шеи медаль и передалъ ее своей любимицѣ. Другія жены быстро переползли къ ней, и всѣ трое стали съ любопытствомъ разсматривать диковину, только Улькунъ-Курсакъ осталась на мѣстѣ.

Главѣ дома почему-то захотѣлось задобрить эту угрюмую старуху, онъ принялся подробно разсказывать ей, какъ встрѣтилъ генерала, что онъ такое ему говорилъ... всѣ подробности разсказалъ, умолчалъ только о томъ, гдѣ произошла эта счастливая встрѣча.

— Я, вотъ, — продолжалъ онъ: — завтра же надѣну это, когда черезъ базаръ въ караванъ-сарай поѣду, послушаю, что будутъ говорить другіе купцы...

— А хорошаго мало говорить будутъ,—покачала головою старуха:—я знаю, что скажутъ: скажутъ,—Улькунъ-Курсакъ понизила голосъ до тихаго шопота, чтобы кромѣ Суффи никто не могъ услышать:—скажутъ, что за почетъ, да за эту медаль, почтенный купецъ Соффи Казиметовъ, старшина базарнаго совѣта, лучшую жену свою генералу продалъ. Оттого и въ городъ ее перевезъ, чтобы къ русскимъ поближе... Хо-

рошее дѣло сдѣлалъ уважаемый Суффи Казиметовъ!.. Вотъ, что на базарѣ говорить будутъ!

Такого оборота дѣла Суффи не могъ предвидѣть. Вся кровь хлынула ему въ лицо.

— Ханымъ!—вскрикнулъ онъ громко. —Да какъ у васъ языкъ повернулся сказать подобную мерзость... да какъ...

— Что кулаки сжалъ? Не бить ли меня собираешься?.. Что же, бей! Подними руку на мать своей первой жены. Только этого еще и недоставало... Только погоди,—дай всѣмъ разойтись... Пусть идутъ всѣ по своимъ саклямъ. Дай мнѣ съ тобою глазъ-на-глазъ поговорить надо. И то много времени потеряно!

Старуха съ такимъ достоинствомъ проговорила это, такъ рѣшительно и смѣло смотрѣла въ глаза Суффи, что тотъ смутился и произнесъ сдержанно:

— Ну, пусть уйдутъ!

— Ступайте!—приказала старуха женамъ. Хатыча и Сары-Кошма не заставили повторить приказаніе. Эстеръ словно и не слыхала вовсе, продолжала сидѣть, перебирая пальцами красную ленту.

— Уходи и ты, моя добрая козочка!—ласково повторила ей Улькунъ-ханымъ.

Эстеръ мелькомъ взглянула на Суффи—и не двигалась съ мѣста.

— Я поговорю съ ханымъ и сейчасъ же приду къ тебѣ!—обратился къ ней Суффи.—Что мальчикъ нашъ, спитъ?

— Спитъ,—прошептала джюгудка:—а я спать не буду... Эстеръ теперь никогда спать не будетъ... Ей некогда спать... она смотрѣть должна... Ухъ, какъ смотрѣть должна! Ни на одну минутку глазъ не спускать...

— Да что съ нею? — изумился Суффи и вопросительно взглянулъ на старуху, да такъ для той неожиданно, что та не успѣла принять должное выраженіе. Она все дѣлала какіе-то знаки Эстеръ, подмигивала ей глазомъ, чтобы та не расхохоталась во всю, да не проболталась бы, о чемъ не нужно. Эти знаки Суффи и замѣтилъ.

«Эге, знать за прежнее принялась баба, не присмирѣла еще...» подумалъ онъ.

Улькунъ-Курсакъ тяжело поднялась съ мѣста, подошла къ

упрямицѣ, обняла ее и чуть не силою потащила къ двери, шепча ей что-то на-ухо. Та рванулась-было, но потомъ пошла безъ сопротивленія.

— Ну, что же, будемъ говорить! — началъ Суффи, выждавъ, когда домоправительница, проводивъ Эстеръ, вернулась на свое мѣсто.

— Слушай, Суффи. Ты умный человѣкъ и хорошій мусульманинъ, а все-таки выслушай и меня, старуху. Вѣдь ты много меня моложе. Вѣдь ты еще неразумнымъ мальчишкою былъ, когда я твою первую жену родила. Я твой и домъ устроила, я и блюла его чистоту, честь твою охраняла, — всѣхъ васъ уму-разуму учила, и было ли отъ того худо? Ты меня прежде во всемъ слушался,—а потомъ, когда самъ вошелъ въ силу, развѣ я тебѣ зря перечила, твою волю когда-нибудь сдерживала, — нѣтъ вѣдь?.. Я только домъ держала въ порядкѣ, за женами наблюдала, ихъ учила почетъ и привѣтъ тебѣ оказывать, и стоялъ у насъ въ домѣ миръ, на зависть сосѣдямъ. А хозяйство твое развѣ я худо соблюдала, развѣ было у насъ когда хуже, чѣмъ у людей?.. Да вѣдь такого дома во всемъ городѣ поискать другого...

— Да я вѣдь ничего,—нервно перебиралъ Суффи завязки своего халата. — Я васъ тоже всегда почиталъ, — только... Только, вотъ, не понимаю теперь, къ чему рѣчь ваша клонится?..

— А къ тому клонится... Отвѣчай-ка мнѣ теперь прямо, да не виляй хвостомъ, какъ виноватая собака, — рѣзко перемѣнила тонъ Улькунъ-ханымъ. Неужели-же ты и впрямь на такое страшное, позорное дѣло рѣшился?

— Это на что?

— А жену свою въ русскій городъ перевезти?

— А вы, ханымъ, откуда это знаете? Я вѣдь вамъ до сихъ поръ ни слова не говорилъ никому; Эстеръ вотъ, и та отъ меня пока этого не слыхала!

Улькунъ-ханымъ вынесла твердо подозрительный взглядъ своего собесѣдника.

— Сны вѣщіе мнѣ Аллахъ посылаетъ, — и каждую ночь сонъ такой вижу. И голоса слышу съ неба: — ханымъ, ханымъ, блюди, съ тебя одной все спросится!.. Суффи, господинъ мой милостивый, вѣдь это позоръ! Это душѣ вѣчная по-

гибель, — грѣхъ смертельный, и ляжетъ такой грѣхъ не на одного тебя, на всѣхъ насъ, на весь домъ, на все его будущее потомство... Вѣдь скажутъ про меня, что я злая, что отъ моей злобы жену спасать, да укрывать приходится... Такъ уже лучше меня самое, какъ собаку паршивую, выгони на край свѣта сошли, да домъ свой не рушь. А уже если жену услать хочешь, такъ выбери домъ хорошій, честный, мусульманскій, а не въ поганый, къ гяуркѣ невѣрной, колдуньѣ проклятой!

Намекъ на Ольгу Николаевну, однако, не помогъ старухѣ, а только испортилъ дѣло. Суффи опять нахмурился и оборвалъ ханымъ, произнеся коротко и рѣзко:

— Опять старыя глупости!

— Чѣмъ околдовала она тебя, чѣмъ разумъ твой свѣтлый помутила?.. Пожалѣй ты насъ, уважаемый, добрый таксыръ,— пощади! Смотри: — вѣдь, знаешь, сама никому не кланялась, сама горда, а тебѣ въ ноги. Помилуй насъ, отмѣни свое рѣшеніе!..

— Да полно вамъ, ханымъ,—поспѣшилъ Суффи предупредить земной поклонъ.—Послушайте и меня теперь хорошенько. Давно уже я смотрю и все хорошо вижу, да и не я одинъ. Съ того дня, какъ Эстеръ мнѣ сына родила, — великаго дня, великой радости, — пошло все. Одной вамъ не пришелся мой первенецъ по сердцу. Эстеръ, его мать, вы возненавидѣли и другихъ женъ противъ нея настраивали. Заболѣлъ Шарипка, вы притворились, что горе будто чувствуете, а сами даже скрыть не могли своей радости. Плохо я понималъ это тогда, да теперь, какъ припоминаю, все мнѣ, будто на ладони, ясно становится. Привезъ я русскую женщину, добрую, ученаго доктора. Не вы вѣдь, а добрые люди мнѣ посовѣтовали,—какъ вы ее встрѣтили?.. Силою, страхомъ заставилъ я васъ повиноваться, — и Аллахъ чудо послалъ, ребенокъ ожилъ, выздоровѣлъ совсѣмъ,—мнѣ на радость, вамъ, должно-быть, на горе, потому, что вы дальше дѣлали? Вы полагали: — «слѣпъ, молъ, Суффи, ничего не видитъ», — а Суффи видѣлъ и наблюдалъ, да и добрые люди помогли ему. Вы за больную Эстеръ принялись, вы ее своими снами лживыми въ гробъ чуть не вогнали... Мулла Наурусъ дурной человѣкъ, хоть и сидитъ на святомъ мѣстѣ,—это врагъ мой заклятый,—а вы къ нему за совѣтомъ шлялись... Я вѣдь тоже все знаю... Мнѣ сказано слѣ-

дить за вами, хорошенько приглядывать, — я и слѣдилъ, и, видите, лучше чѣмъ вы за мною!

— Съ чертовкою заодно колдовалъ!—прохрипѣла Улькунъ-Курсакъ.

— Да, съ нею. Будь по-вашему. Я и самъ подумывалъ, какъ бы васъ самихъ подальше отправить, да раздумалъ. Помня старое, щадилъ вашу честь, позорить не хотѣлъ, терпѣлъ да все ждалъ, что одумаетесь. А насчетъ великаго грѣха, что я Эстеръ перевезу къ Олгѣ Николаевнѣ лѣчиться, такъ это не безпокойтесь,—я насчетъ этого съ самимъ Иссетомъ-Асфанджаровымъ совѣтовался,—слыхали вы о немъ? Примѣрный мусульманинъ, закону и вѣры учитель и наставникъ. Въ Стамбулѣ извѣстенъ и почтенъ, въ Оренбургѣ муфтіемъ былъ выбранъ,—это не чета нашимъ мулламъ, а уже тѣмъ болѣе вашему Наурускѣ, скупому обманщику, изувѣру... Я ему, не посмотрю на его старость и званіе, когда-нибудь всѣ ребра пересчитаю...

— Охъ!—чуть не прилегла на землю старуха, съ ужасомъ слушая такія рѣчи.

Она никакъ не ожидала, что Суффи такъ расходится, и дорого дала бы, чтобы этотъ, такой желанный для нея разговоръ съ-глазу-на-глазъ, вовсе бы не состоялся, — да теперь было уже поздно. Улькунъ-Курсакъ даже сдѣлала попытку подползти поближе къ дверямъ, да Суффи замѣтилъ и загородилъ ей дорогу.

— Нѣтъ, уже! Говорили вы, — я слушалъ, теперь ваша очередь... Такъ знаете ли вы, что мнѣ сказалъ Иссетъ-Асфанджаровъ? Онъ сказалъ мнѣ, что никакого грѣха нѣтъ лѣчить жену у русскаго врача, что самъ султанъ въ Стамбулѣ своихъ женъ у чужихъ докторовъ лѣчитъ, что даже на разныя воды цѣлебныя ихъ посылаетъ, — что великій святой пророкъ никакого запрета на такія дѣла не накладывалъ и въ Коранѣ, и въ Шаріатѣ, и во всѣхъ святыхъ книгахъ ничего про то не обозначено,—а, напротивъ того, повелѣно любить другъ друга, въ бѣдахъ помогать, крѣпко своей вѣры держаться, но и у невѣрныхъ перенимать все хорошее и полезное. Правда, въ Коранѣ сказано, чтобы просвѣщать невѣрныхъ, если нельзя словомъ, то силою, огнемъ и мечомъ, вводить законы истинной вѣры,—но это тогда, когда есть сила, есть и огонь, и

мечъ въ твоихъ рукахъ, а когда нѣтъ,—такъ значитъ и это безсиліе принимать за волю Аллаха и чтить своихъ государей, свято признавать ихъ власть и имъ безпрекословно повиноваться, хотя бы падишахъ былъ и не нашей, мусульманской вѣры. У русскаго царя между подданными больше мусульманъ, чѣмъ у самого султана Стамбульскаго, а всѣхъ ихъ любитъ онъ одинаково, недостойныхъ караетъ, а достойныхъ возвеличиваетъ и награждаетъ. Мнѣ, вотъ, Олга Николавна нагадала, что я пойду въ гору... и пойду. Видишь это? И посмѣетъ кто когда-нибудь говорить про меня такія позорныя слова!.. Суффи Казиметовъ чести своей и души никому ни за какія деньги не продастъ... Это всѣ должны знать и знаютъ, и только твой змѣиный мозгъ можетъ такую гадость придумать, только твой лукавый, злобный языкъ разнести такую подлую вѣсть по базару. Довольно! Знай же теперь и помни мой приказъ: сиди смирно, не въ свое дѣло не мѣшайся, на половину Эстеръ, да и въ эту саклю не показывать носа. Я прощу тебѣ все зло, которое ты мнѣ сдѣлала, благо дальше уже руки коротки будутъ,—не достанешь, да держи свой языкъ на привязи. Я самъ не хочу, чтобы о моемъ домѣ даже глупые люди говорили что-нибудь дурное, а если заговорятъ, такъ я буду знать, что это твое дѣло, твоего языка работа, и тогда уже—не прогнѣвайся Послѣднюю Зюльку-работницу Улькунъ-ханымъ сдѣлаю, а тебя... тебя... Да провались ты скорѣе съ глазъ моихъ, а то... Уходи скорѣе... Дай хоть немного моему сердцу улечься!

Суффи большими глотками принялся пить остывшій чай, прямо изъ мѣднаго кунгана. Изъ входныхъ дверей протянулись четыре полныя руки, украшенныя браслетами, и помогли ошеломленной Улькунъ-Курсакъ выползти изъ сакли.

Старуха тяжело дышала, не могла промолвить ни слова и только показывала на свой полуоткрытый ротъ, да судорожно рвала воротъ рубахи.

— Пить проситъ!—догадалась Хатыча.

— Гляди, помретъ!—испугалась Сары-Кошма.

Онѣ, конечно, все слышали и дрожали со страху за свою повелительницу.

Хорошо, казалось, разсчитала Улькунъ-ханымъ, устроивъ вернувшемуся Суффи такую торжественно-молчаливую встрѣчу.

Думала, — пріѣдетъ, увидитъ всѣхъ въ сборѣ, тутъ же при людяхъ и станетъ говорить о своемъ рѣшеніи, не станетъ же скрываться, да увозить потайно; самолюбіе не позволитъ да и не зачѣмъ: рѣшилъ такъ рѣшилъ, его воля. Онъ глава семьи,— кто же ему перечить станетъ, отъ кого ему скрываться? И предполагала старуха, что все произойдетъ такъ: Ну, скажетъ Суффи, собирайся, Эстеръ, къ переѣзду, а вы, ханымъ, помогите ей собрать все, что слѣдуетъ. Она, ханымъ, то-есть, сдѣлаетъ видъ, что ничего не понимаетъ,—«дуры» обѣ поймутъ и ударятся въ слезы, Эстеръ заупрямится и скажетъ: «не хочу, молъ, да и только». Станетъ хозяинъ спрашивать—почему? А та, помня обѣщаніе молчать, про что старуха говорила, скажетъ, что, молъ, раздумала, да страшно стало, не грѣхъ ли, молъ, великій будетъ, что у нея сердце заболѣло отъ недобраго предчувствія, что, молъ, ей и тутъ, дома, хорошо, Улькунъ-ханымъ словно мать родную жалко, и подругъ жалко, что ее здѣсь любятъ и балуютъ... Зареветъ, слезами зальется и станетъ просить мужа отмѣнить свое рѣшеніе Хатыча съ Сары-Кошмою тоже заревутъ, завоютъ, какъ собаки зимою, и тоже просить станутъ не увозить отъ нихъ милую, добрую Эстеръ, мальчика имъ тоже жалко, на весь домъ баловень, общая радость, а сама старуха кротко покорится хозяйской волѣ, сейчасъ же и сдѣлаетъ видъ, что готова даже помогать укладываться, только сама все будетъ плакать, да вздыхать и исподволь, понемогу начнетъ увѣщевать Суффи: «Ты, молъ, господинъ, твоя воля, только будто нехорошо ты теперь поступаешь...» Сердце у Суффи не успѣетъ расходиться, да и причинъ къ тому не будетъ. Эстеръ, молъ, одна чего-то заупрямилась, не желаетъ, а онѣ всѣ покорны господской волѣ, не перечатъ, а сжели воютъ, такъ потому, что сердца у нихъ добрыя, жалко стало имъ разставаться съ «джюгудкою проклятою»... Что же, за это нельзя сердиться.

Характеръ Суффи Улькунъ-ханымъ хорошо знала. Слезами и ласковой покорностью, какую хочешь, на него узду надѣвай. Посердится, молъ, хозяинъ, махнетъ рукой, скажетъ: я такъ хочу, такъ и будетъ! А вы, дуры, одумайтесь! А все-таки, можетъ быть, и не станетъ очень торопить переѣздомъ... Только бы на время отложить, а тамъ, исподволь, можетъ, и останется все по-старому... Эстеръ вѣдь тоже стала власть забирать

надъ мужемъ, Эстеръ все время поджигать можно будетъ, можно даже до того мало-по-малу намеками довести, что пырнетъ она сама ножемъ новую сестру свою названную, туда ей и дорога. Ни по той, ни по другой домъ жалѣть не станетъ. Только бы повременить, только бы выиграть время...

Все хорошо разсчитала Улькунъ-Курсакъ, да своего собственнаго неудержимаго нрава не приняла въ расчетъ, характера своего сдержать не смогла, медаль эта проклятая на красной лентѣ, какъ на бѣшенаго бугая изъ-подъ обуха подѣйствовала, ну, и сорвалось съ языка смертельно оскорбительное для Суффи слово. Да и какъ ей было сдержаться? Сколько ужъ времени носитъ она подъ сердцемъ глухую, затаенную скорбь и злобу. И спитъ она плохо, и ѣсть ей не хочется... «Улькунъ-Курсакъ, а какая тамъ «улькунъ»? Совсѣмъ отощалъ ея «курсакъ», извелась вся не хуже жидовки, ну, и не стерпѣла. Прорвала ее разомъ вздувшаяся волна господскаго гнѣва, и все размыло въ минуту.

Сары-Кошма и Хатыча не сразу даже поняли, что такое случилось. Онѣ, конечно, не уходили далеко и все слышали; онѣ и вытащили обомлѣвшую Улькунъ-ханымъ, спасли, такъ сказать, отъ побоевъ, а, можетъ быть, и отъ смертельнаго удара. Теперь вотъ возятся на кухнѣ съ нею, все привести въ полное сознаніе никакъ не могутъ... И водою голову поливаютъ, и животъ ей растираютъ саломъ, и перья жженыя даютъ нюхать, та отбивается, мычитъ, раза два и ту, и другую на отмашь кулакомъ прямо «въ морду» хватила, — и странное дѣло: ни для Хатычи, ни для Сары-Кошмы совсѣмъ не грозна стала больше ихъ Улькунъ-ханымъ, — все равно, какъ бы ровня. Ужъ, значитъ, не права, а виновата старуха непогрѣшимая стала, когда, какъ падаль, безъ отпору, въ ногахъ только валялась. Жалко имъ стало эту бѣдную ханымъ; только и думали жены о томъ, чтобы припрятать ее подальше, уберечь отъ новой вспышки хозяйскаго гнѣва, пока этотъ гнѣвъ не уляжется. Забыли онѣ даже о томъ, что не худо бы теперь побѣжать на задворокъ, за коровникомъ, посмотрѣть да послушать, что Суффи теперь будетъ съ Эстеръ говорить, да что дѣлать. Улькунъ-ханымъ уже ихъ и въ бока толкала, и глазами показывала, чтобы шли, а онѣ возятся около, не понимаютъ ея намековъ. Рванулась Улькунъ-ханымъ и сама по-

ползла, да не осилила высокаго кухоннаго порога и жадно припала ртомъ къ мѣдному ведру съ холодною водою.

Эстеръ тоже все слышала. Она только на мгновеніе забѣжала въ свою каморку, взглянуть на спящаго мальчика, и тотчасъ-же, крадучись, вернулась въ кладовую и припала за ковромъ. Если она и не все поняла ясно, какъ слѣдуетъ, то во всякомъ случаѣ довольно для того, чтобы убѣдиться, что грозную Улькунъ-ханымъ въ глаза обвиняли во лжи, въ клеветѣ, въ слѣпой злобѣ противъ нея, Эстеръ, и ея Шарипки. Она и безъ того инстинктивно боялась старухи, не разъ ловила на себѣ ея взгляды, полные ненависти, и не легко поддавалась вліянію ея притворныхъ ласкъ. Улькунъ-ханымъ молчала, она не оправдывалась, она, какъ виноватая, валялась въ ногахъ Суффи. Страхъ сковалъ ея лживый языкъ, ну, значитъ, правда не на ея сторонѣ... Обвиненіе Ольги Николаевны въ томъ, что она хочетъ отбить у ней, Эстеръ, ея любимаго мужа, падало само собою, и если вызванное имъ тяжкое, невыносимое подозрѣніе еще не вполнѣ разсѣялось, то только потому, что старуха такъ рѣзко сопоставила красоту русской женщины съ ея собственнымъ жалкимъ, болѣзненнымъ состояніемъ, и это сравненіе бѣдная Эстеръ не могла забыть, не могла отъ него отдѣлаться. Ей вотъ такъ и представлялись двѣ пары ногъ: одна пара полная, бѣлая, красивая, другая — худая, темная, съ лоснящимися выступами костей, стукающихся другъ о друга!.. Фи!.. Да вѣдь Суффи тѣхъ полныхъ красоты ногъ еще не видѣлъ. Вѣдь только она одна, Эстеръ, видѣла это чудное тѣло; но, конечно, она ничего Суффи разсказывать не будетъ, а глаза Олги, тоже красивые, глаза Суффи видѣлъ: зато и у ней, Эстеръ, сама Олга говоритъ, глаза еще даже лучше... надо только, чтобы Суффи и не видѣлъ бы никогда всего того, что ему не надо видѣть, вотъ и все, а пока и у нея все придетъ въ порядокъ... Вѣдь «сестра» обѣщала ей это и сдержитъ обѣщаніе. Въ этомъ сомнѣваться невозможно. Сказала русская, что мальчикъ выздоровѣетъ — и выздоровѣлъ; сказала, что Суффи въ гору пойдетъ — и пошелъ: какую красивую, дорогую штуку получилъ отъ самого генерала. Обѣщала ей вернуть красоту и здоровье — и вернетъ. Почему же это злой старухѣ Улькунъ этого такъ не хотѣлось? Старуха говоритъ, что мулла, страшный и мощный, святой мулла Наурусъ —

хорошій человѣкъ, и его слушать надо, а Суффи—тоже властный, хорошій человѣкъ, отличенный отъ прочихъ самимъ генераломъ, говоритъ, что подлому Наурускѣ онъ ребра переломаетъ...

Эти размышленія совершенно неожиданно прерваны были мыслью, внезапно пришедшей въ голову наивной Эстеръ.

«Попросить развѣ Олгу, чтобы она, когда будетъ видѣться съ Суффи и говорить съ нимъ, свое лицо сѣткою закрывала? Вѣдь Олга добрая и сдѣлаетъ это для нея непремѣнно».

Эстеръ даже къ сундуку бросилась и стала отыскивать сѣтку для этой цѣли, выбирая самую легкую, тонкую, шелковистую. Она рѣшила сдѣлать ей этотъ подарокъ при первой встрѣчѣ, завтра же, когда пріѣдетъ къ ней въ домъ, гдѣ поютъ и скачутъ желтенкія птички, и играютъ красивые сундучки съ музыкою. Ахъ, и зачѣмъ Олгѣ Богъ послалъ такую красоту. Вѣдь ей она не нужна совсѣмъ, у ней давно мужъ умеръ; могла же она быть старая и некрасивая лицомъ, какъ та полковница рябая, которую Эстеръ разъ на базарѣ видѣла. Ну, хоть и не такая противная, хоть и много лучше, а все-таки... Какъ бы хорошо, весело имъ было бы жить вмѣстѣ. Она не боялась бы оставлять Суффи съ нею глазъ на глазъ, она бы ее такъ любила, такъ любила... Только что же они тамъ дѣлаютъ? Давно все тихо, словно никого нѣтъ въ общей саклѣ. Что же это Суффи не идетъ?..

Осторожно приподняла Эстеръ тяжелую полу ковра и заглянула: сидитъ ея мужъ на полу, глубоко задумался и чашку съ чаемъ въ рукахъ держитъ, а чашка наклонилась, и чай капаетъ на полу его халата. Суффи этого не замѣчаетъ,—не замѣчаетъ даже, что большая, сѣрая крыса, чуть не у самой ноги его, пробралась къ достархану и фисташки лущитъ...

— Суффи!—окликнула его Эстеръ.

Тотъ слегка вздрогнулъ и вскинулъ на нее глаза. Отъ четырехъ фонарей было очень свѣтло въ саклѣ; Эстеръ не могла не замѣтить, что глаза эти покраснѣли, будто отъ слезъ, да никакъ въ одномъ изъ нихъ дѣйствительно слеза блеснула.

«Развѣ мужчины умѣютъ тоже плакать?»—подумала Эстеръ и окликнула снова:

— Суффи!..

Она подползла къ мужу вплотную и положила голову на его колѣни... Тотъ слегка приласкалъ ее.

— Спать ложись лучше, да спи крѣпче. Завтра же утромъ я перевезу тебя... Ты знаешь?

— Знаю,—прошептала Эстеръ. — Слушай, Суффи, что я тебѣ скажу, только ты этого ей не передавай... не передашь?..

— Что еще такое?

— А вотъ, что: какая Олга блѣдная, какая она несчастная!

— Это почему? — изумился Суффи, пристально всматриваясь въ лицо своей любимицы.

А та все увертывалась и даже свободною рукою закрывалась.

— У Олги животъ болитъ часто... А еще знаешь? У ней одна нога, отъ самаго этого мѣста до самаго колѣна, вся была обожжена, — теперь ничего, ничего не осталось мяса... Помнишь, какъ у той, у Наръ-беби, когда ее послѣ пожара изъ сакли чуть живую вытащили. Только Наръ-беби подохла, а Олгу вылѣчили, а мяса все-таки не наросло... Ну, совсѣмъ ничего не осталось, смотрѣть даже противно!

— Бѣдная!—проговорилъ Суффи.

Онъ, казалось, былъ очень огорченъ этою новостью, но подумалъ и добавилъ:

— Олгѣ Николавнѣ ногъ не нужно, лишь бы ходила. Ходить не станетъ, всѣ на рукахъ носить будутъ. У ней вотъ тутъ и тутъ великая красота, — цѣлое свѣтлое царство Божіе... Вотъ тутъ и тутъ!

Суффи ткнулъ Эстеръ пальцемъ въ лобъ и положилъ свою руку на то мѣсто, гдѣ такъ сильно, порывисто билось ея сердце.

— А теперь, ступай спать, — добавилъ онъ. — Да рано утромъ вымой Шарипку, позови кого-нибудь, чтобы тебѣ помогли, сама хорошенько одѣнься и сына одѣнь по-праздничному. Ступай!

Суффи поднялъ ее на ноги, ласково толкнулъ по направленію къ дверному ковру и самъ пошелъ на мужскую половину.

Осмотрѣлась Эстеръ, заглянула въ люльку, — «спитъ крѣпко».—Самой спать захотѣлось, да вспомнила, что надо укладываться. Думаетъ:

«Уложу все, а потомъ и завалюсь на боковую... Темновато немного, пойти взять еще фонарь изъ общей...»

Сары-Кошма осталась со старухой, а Хатыча вернулась въ саклю.

— Ты чего?

— Да вотъ, думала, помочь тебѣ... Сундукъ-то тяжелый, пожалуй одна не одолѣешь... Я помогу!

— Ну, помогай!

Рада Хатыча, что позволили. То-то она теперь пересмотритъ всѣ наряды Эстеркины, много, чай, прикопила, пожалуй, не все имъ показывала...

И черные, узко прорѣзанные глазки Хатычи жадно бѣгали, скользя по этимъ безпорядочнымъ грудамъ дорогого пестраго платья.

Долго возились съ укладкою, — ну, теперь, кажется, все! Хатыча на крышку сундука навалилась всею своею тяжестью, а Эстеръ стала замокъ запирать... Зазвенѣли эти замки, защелкали, Шарипка проснулся и заплакалъ, даже изъ люльки потянулся посмотрѣть, гдѣ это «музыка играетъ».

— Спи, спи,—подошла къ нему мать: — спи, мой козленочекъ... спи, крошка милая!

На глазахъ Хатычи показались слезы. Она громко всхлипнула и утерлась рукавомъ рубахи.

— Жалко стало,—объяснила она:—можетъ, никогда больше не увидимся...

Эстеръ не отвѣчала. Она скоро успокоила мальчика, и тотъ снова заснулъ, крѣпко сжавъ обѣими ручонками фольговый мячикъ.

Зѣвнула Хатыча во весь ротъ. Этотъ зѣвокъ заразительно подѣйствовалъ и на Эстеръ.

Теперь самой спать пора, уже поздно, далеко за полночь, а завтра вставать надо пораньше.

— Уходи! Да фонари потуши тамъ!

— А знаешь что, Эстеръ, знаешь, милая душа... Мы къ тебѣ въ гости будемъ приходить, я и Сары-Кошма... Можно?

Хотѣла-было отвѣтить ей Эстеръ: «не надо», а съ языка сорвалось:

— Ну, что жъ, приходите!

— Никогда я не была въ русскомъ городѣ, никогда... А хотѣлось бы посмотрѣть... Такъ мы придемъ, придемъ, вмѣстѣ съ Сары-Кошмою придемъ, ты только, душа, попроси Суффи, чтобы пускалъ насъ, а то. пожалуй, не пуститъ... Ну, спи спокойно...

Хатыча, будто неохотно, пошла изъ сакли, подъ ногой у нея блеснуло что-то, какое-то забытое колечко,—она осторожно толкнула его ногою, чтобы откатилось подальше къ выходу...

Пригодится, молъ, мнѣ на память...

Крѣпко спала Эстеръ. Проснулась, когда,—не то разсвѣло, а даже солнце уже давно встало. Первымъ дѣломъ вспомнила приказъ помыть хорошенько ребенка, заглянула въ люльку:—спитъ крѣпко, не шевелится... «жалко будить, помоюсь сама прежде, да наряжусь, а тамъ и съ мальчикомъ успѣю управиться».

Все, что надѣть надо, заранѣе приготовлено, и уборы особо отложены.

Обѣ жены уже одѣлись и пришли помогать. Стали убирать свою подругу, какъ на свадьбу, и все ей зеркальце показываютъ,—да похваливаютъ...

Ужъ такая она у нихъ красавица, такая: точно сама султанша Зюлейка изъ персидской сказки, даже еще лучше.

— А Ханымъ что?—спросила Эстеръ.

— Ханымъ такъ напугалась вчера,—отвѣчала Хатыча:—что даже заболѣла,—думали помретъ!

— Всю ночь стонала у себя въ саклѣ, лежитъ, какъ колода, и встать даже не можетъ. Я ей туда попить снесла,—стонетъ да и только!

— Отлежится, — не сдохнетъ, — махнула рукою Сары-Кошма:—и подѣломъ! Не дѣлай въ домѣ смуты... зачѣмъ мутить! Надо, чтобы все тихо, мирно, по-любовному!

Она хотѣла поддѣлаться къ Эстеръ, а та и не слышала, жадно вглядываясь въ зеркало, гдѣ такъ отчетливо отражались ея красивые глаза съ длинными черными рѣсницами и эти тонко выведенныя дугою брови, а надъ ними блестящій рядъ бирюзовыхъ подвѣсокъ налобника,—и эти, пока впалыя еще, щеки, по которымъ Хатыча черезчуръ уже усердно мазнула порошкомъ красной марены... Эстеръ смахнула рукою

излишекъ такого усердія и все продолжала всматриваться, машинально протирая стекло зеркала.

Ей все казалось, что оно мутно и недостаточно ясно отражаетъ всѣ эти «сказочныя прелести».

Суффи тоже давно проснулся. Онъ находился на переднемъ дворѣ и наблюдалъ, какъ приготовляли арбу для переѣзда Эстеръ. Большая, двухколесная повозка, съ широкою платформою, съ навѣсомъ, обтягивалась коврами,—а сама платформа была устлана мягкими войлоками, а поверхъ стегаными, ватными одѣялами; джигиты таскали круглыя, цилиндрическія подушки—мутаки: все казалось, что еще недостаточно мягко. Высокая, сѣрая лошадь, злобно прижимая уши, стояла привязанною у колеса и все норовила поймать кого-нибудь, изъ неосторожно проходящихъ, зубами. Уборная уздечка, вся въ подвѣскахъ съ кистями, покрывала ей голову, на спинѣ, поверхъ высокаго сѣдла, накинута была узорная, вышитая золотыми блестками попона, «чапракъ». Черезъ верхъ стѣны, отдѣляющей женскую половину, то высовываясь довольно безцеремонно, не быстро, испуганно прячась, выглядывали закутанныя женскія головы. Погода стояла превосходная, утреннее солнце свѣтило съ темно-синяго неба,—это былъ первый, настоящій весенній день этого года.

— Ну, теперь запрягать! — весело проговорилъ Суффи.— Повезетъ Мумынъ, а вы двое верхомъ, за арбою!

Не безъ удовольствія полюбовался онъ своимъ собственнымъ гнѣдымъ карабаиромъ, тоже осѣдланнымъ уже, котораго одинъ изъ свободныхъ джигитовъ держалъ наготовѣ, подъ уздцы, и повернулся, чтобы идти во внутреннія сакли торопить Эстеръ.

Отчаянный, нечеловѣческій вопль вдругъ пронесся въ воздухѣ.

«Это голосъ Эстеръ... Это она, безъ сомнѣнія... Что случилось?»

Какъ бомба, влетѣлъ Суффи на женскую половину. Притворенная дверь, выбитая не въ ту сторону, съ трескомъ сорвалась съ петель.

Эстеръ стояла посреди сакли, глаза у ней были страшно выпучены, руки безсильно опущены внизъ, и въ этихъ рукахъ она держала что-то безформенное, неопредѣленное, чего Суффи

никакъ уже не могъ принять за своего Шарипку. Ребенка такъ держать нельзя...

— Что такое? — схватилъ ее за плечо Суффи, быстрымъ взглядомъ окинувъ внутренности сакли.

Никого больше не было. Хатыча и Сары-Кошма вбѣжали уже при немъ,—это онъ замѣтилъ ясно, Улькунъ-ханымъ не было.

— Холодный, холодный... мертвый... на, возьми!..—забормотала Эстеръ и вновь разразилась отчаяннымъ дикимъ крикомъ...

Она упала навзничь, въ судорогахъ каталась по ковру кусая себѣ руки, то хрипло задыхаясь, то пронзительно взвизгивая... Суффи едва успѣлъ вырвать отъ нея это «что-то», бывшее у нея въ рукахъ... Маленькое голое тѣльце Шарипки было совсѣмъ уже остывшее, даже скользкое...

«Ольга Николаевна», — мелькнуло въ его головѣ: — «она великая, могучая, сильная, она одна все можетъ, она и мертваго воскреситъ... Все остальное послѣ!..»

Онъ велѣлъ джигитамъ, столпившимся у разбитой двери, силою взять Эстеръ, связать даже, если нужно будетъ, и посадить въ арбу, наглухо теперь закрытую коврами...

— Везите, куда приказано... Скорѣе везите...

«Чапъ-чапъ!» *) крикнулъ Суффи, а самъ, вскочивъ на коня, прижимая подъ халатомъ это холодное, крохотное тѣльце, понесся по улицамъ, по направленію къ русскому городу.

— Что такое? — раздался неожиданно спокойный голосъ Улькунъ-ханымъ.

Старуха появилась на порогѣ, пытливымъ взоромъ окидывая всю обстановку.

— Зачѣмъ здѣсь мужчины?.. Вонъ! Суффи гдѣ?.. Эстеръ уѣхала уже?.. Кто тутъ былъ сейчасъ?.. Да говорите же! Чего стоите, разинувъ рты...

Сары-Кошма и Хатыча наперерывъ принялись разсказывать ей. Онѣ сбивались и путались, онѣ сами вѣдь ничего не знали и не понимали...

— Шарипка померъ,—онъ голый, холодный... Эстеръ ухо укусила джигиту, когда тотъ ее бралъ въ охапку... Арба ускакала—чапъ-чапъ! Суффи мальчика за пазухой увезъ... А какъ Эстеръ выла, какъ кричала!.. Арба какую-то собаку, у самыхъ

---

*) Въ карьеръ.

воротъ колесомъ переѣхала, собака выла, громко такъ, громко, и теперь еще слышно, какъ воетъ, а Эстеръ куда громче... Ее въ арбу потащили, и два человѣка сѣли съ ней, туда же, подъ ковры... Суффи въ одной тюбетейкѣ ускакалъ, безъ чалмы...

— Съ чего же это ребенокъ померъ? — удивилась Улькунъ-ханымъ, не обращаясь ни къ кому въ особенности.— Померъ,—значитъ, оно такъ и надо, воля Аллаха... Ишь, вѣдь дверь какъ испортили. Забить войлоками пока... Хатыча, безстыдница, ты бы уже лучше совсѣмъ голая выскочила къ людямъ... Охъ, Господи! Великій грѣхъ, великій, велико и наказаніе... Ступайте на кухню, да пошлите сюда Зюльку, чтобы все прибрала... Срамъ! А я къ себѣ,—и ко мнѣ не ходите!.. Я молиться буду... Много надо молиться, чтобы простилъ Аллахъ наши прегрѣшенія,—смылъ стыдъ и погань съ нашего дома... Уходите!

Хатыча дернула за рукавъ Сары-Кошму и смѣло прошла мимо Улькунъ-ханымъ, а Сары-Кошма обошла далеко стороною, у самой стѣнки, и все смотрѣла на старуху, словно боялась, что та ее укуситъ, что ли.

— Ты чего?

— Послѣ скажу, послѣ... Ой, страшно стало какъ... ой, боязно!..

Она наклонилась къ самому уху своей подруги, и, уже за порогомъ сакли, проходя мимо прудика, шептала:

— Я ее ночью видѣла, какъ она отъ Эстеръ выходила... Она была «тамъ»... тамъ, знаешь? Ой, страшно...

Должно-быть, и Хатычѣ отъ такихъ словъ страшно стало. Она замахала руками, словно отгоняя какой-то тревожный призракъ, проговорила только: «молчи!» и шмыгнула въ дверь своей каморки...

Поздно вечеромъ вернулся Суффи.

Шагомъ въѣхалъ онъ въ ворота, молча слѣзъ съ лошади, бросилъ поводья и прошелъ прямо на кухонный дворикъ.

Работницы попрятались при появленіи хозяина, одна только калмычка осталась у котла,—только она халатъ накинула и спрятала свою скуластую физіономію.

— Позовите всѣхъ! — сказалъ Суффи и сѣлъ на приступокъ у тагана.

Обѣ жены пришли сейчасъ же. Улькунъ-ханымъ съ ними не было.

— А та гдѣ?

— Она все молится... она больна совсѣмъ...—робко заговорила Сары-Кошма.

— Ханымъ лежитъ и встать не можетъ... Боюсь, помретъ даже!—вступилась и Хатыча.

— Приведите ее сюда! Живо!..—крикнулъ Суффи.

Но приводить силою старуху не было надобности. Она сама, тяжело переступивъ порогъ, появилась на кухнѣ, оставаясь въ тѣни, куда не доходилъ свѣтъ костра подъ таганомъ.

— Такъ!—кивнулъ головою Суффи.—Объявляю вамъ къ свѣдѣнію, что мой сынъ, моя радость и вся надежда, мой первенецъ—померъ. Объявляю, что его мать, Эстеръ, моя жена, помутилась головою и душою, и спасти ее нельзя!

— Воля Аллаха!—прошептала старуха.

Сары-Кошма съ Хатычею, и вся прислуга женская, вспомнивъ, что послѣ такого торжественнаго заявленія, надо, по обычаю, начать «выть», закрыли лицо руками и завыли хоромъ...

— Улькунъ-ханымъ, идите за мною!—проговорилъ Суффи, и, какъ ни громокъ былъ бабій вой, Улькунъ-ханымъ этотъ призывъ слышала..

Суффи всталъ и подошелъ къ наружной стѣнѣ двора, какъ разъ къ мѣсту пролома, ведущаго на мусорный дворикъ...

— Идите за мною!—повторилъ онъ.

Старуха покачнулась на ногахъ, сдѣлала нѣсколько шаговъ и снова остановилась.

— Не ходи!—шепнула Хатыча.

— Останься!.. Бѣги куда-нибудь... спрячься!—зашептала и Сары-Кошма.

— Все исполнилось по волѣ Аллаха, все и исполниться должно только по его святой волѣ! — проговорилъ Суффи.— Чего же вы стали, ханымъ? Идите!

Старуха сдѣлала еще нѣсколько шаговъ впередъ.

— Сюда!

Суффи указалъ ей на проломъ.

Женщины прекратили вой и попрятались. Наступила мертвая тишина.

— И не боюсь я тебя вовсе,—рѣзко заговорила ханымъ.—

Не страшенъ ты мнѣ, окаянный палачъ!.. Рука твоя не посмѣетъ подняться, отсохнетъ и отвалится... иду!

Широкая спина старухи-домоправительницы на мгновеніе закрыла черную дыру стѣнного пролома и скрылась въ темнотѣ дворика; вслѣдъ за нею вошелъ туда же и Суффи...

Черезъ минуту Суффи Казиметовъ вернулся, но уже одинъ. Онъ былъ блѣденъ, но его глаза смотрѣли покойно и ясно. Даже его голосъ не дрожалъ, а былъ такой чистый, ласковый, какъ бывало съ нимъ всегда въ хорошія минуты жизни.

— Улькунъ-ханымъ, — объявилъ онъ: — не выдержала великаго горя, покаялась въ своихъ грѣхахъ и сама на себя наложила руки. Приберите тѣло!

И опять, съ быстротою молніи, по всему базару, а оттуда и по всему городу, разнеслась вѣсть обо всемъ, что случилось въ домѣ Суффи Казиметова. Пошли разнотолки — то какъ-будто и близкіе къ правдѣ, то совсѣмъ лживые, преувеличенные. Сунулись было во дворъ, мѣсто самой катастрофы, да не пускаютъ, у всѣхъ входовъ поставлены русскіе казаки, полицейскіе, — и самого хозяина изъ дому не выпускаютъ и къ нему никого не впускаютъ.

А тутъ новое дѣло... пошли слухи, что стараго муллу забрали. Говорили, что спрятался было святой человѣкъ, не скоро разыскали... бился шибко, кусаться даже пробовалъ, а его связали, посадили на арбу и повезли въ русскую крѣпость... И странно! Когда слухъ этотъ подтвердился, когда черезъ весь базаръ открыто везли злого старика, почти что безъ конвоя даже, только съ двумя джигитами, никто не пошевелился, не попробовалъ заступиться... Молча, угрюмо провожали горожане глазами проѣзжавшую тѣсными закоулками базара арбу съ плѣнникомъ и только отворачивались, чтобы не видать этихъ злыхъ глазъ, — а другіе даже уши затыкали, чтобы не слышать его проклятій. Не удивился даже никто, когда хозяинъ большого чайхане Ибрагимъ-бай, человѣкъ ученый, умный и въ вѣрѣ мусульманской крѣпкій, громко произнесъ:

— И давно пора! Жить будетъ покойнѣе въ городѣ, да и въ домахъ станетъ потише...

Словъ своихъ онъ не пояснилъ, но всѣ, кто слышали, поняли и не возражали.

АКЪ-ТОМАКЪ *).

I.

Уже начало темнѣть, когда я подъѣзжалъ къ Ашикъ-Ата. Несмотря на острые шипы подковъ, моя лошадь скользила по глинистой, размокшей отъ дождя тропинкѣ, и я съ трудомъ и даже съ нѣкоторою опасностью спустился на дно оврага и сталъ перебираться въ бродъ черезъ пѣнистый, мутный потокъ разбушевавшагося отъ избытка воды арыка. Зыбкій мостъ давно уже былъ снесенъ водою, и только кое-гдѣ торчали его покосившіеся колья, уцѣлѣвшіе отъ напора.

Сѣрый, влажный туманъ закрывалъ самую деревню, лѣпившуюся не болѣе какъ въ трехъ стахъ шагахъ отъ дороги, по крутому обрыву заравшанскаго берега. Правѣе чуть виднѣлся сквозь туманъ круглый, тяжелый куполъ гробницы самого святого Ашикъ-Ата, отъ имени котораго получило названіе все урочище. Лѣвѣе, почти у самой дороги, тянулись группы пустыхъ сакель и полу-разрушенные навѣсы; здѣсь, одинъ разъ въ недѣлю, собирается нѣчто въ родѣ маленькой ярмарки.

Въ самой деревнѣ почти не было жителей; она и прежде считалась одной изъ самыхъ малолюдныхъ, а военныя событія разогнали и остатки небольшого населенія.

Тамъ было тихо; только какая-то забытая собака хрипло лаяла на туманъ, вѣроятно, почуя сквозь свистъ и вой осенняго вѣтра топотъ моей лошади.

Я уже выбрался изъ ущелья и почти поровнялся съ жидкою группою деревьевъ, давно уже потерявшихъ свою листву, какъ

*) Бѣлая шея—женское имя.

мой карабаиръ *) навострилъ уши и слегка заржалъ, повернувъ влѣво свою красивую голову... Чу!.. Я услышалъ тихое отвѣтное ржаніе; оно неслось изъ-за стѣны пустого дворика, примыкавшаго къ самымъ деревьямъ; въ то-же мгновенія моего слуха коснулся задушенный стонъ и сдержанный быстрый говоръ нѣсколькихъ мужскихъ голосовъ.

— Что-бы это могло значить?—подумалъ я и тотчасъ-же чуть не вылетѣлъ изъ сѣдла, такъ неожиданно шарахнулся въ сторону мой Орликъ.

Большой камень, видимо, направленный въ меня, съ глухимъ стукомъ ударился объ стѣну, отскочилъ и покатился внизъ, подъ гору, разбрасывая жидкую грязь по дорогѣ.

— Вотъ оно что!.. Тутъ что-то не ладно!—промелькнуло у меня въ головѣ.

Я успокоилъ лошадь, снялъ съ плечъ двухстволку и взвелъ курки.

— Эй, тамъ, тамыръ! Чего сталъ? Къ чорту! Твоя дорога прямо!.. — услышалъ я обращенное ко мнѣ громкое воззваніе на грубомъ киргизскомъ языкѣ.

Я, по всей вѣроятности, и сдѣлалъ-бы такъ, какъ мнѣ совѣтовали. Я спѣшилъ, у меня была впереди серьезная цѣль, и вступать по дорогѣ въ схватки съ ночными бродягами безъ крайней необходимости мнѣ вовсе не приходило въ голову. Но въ ту-же секунду, едва только стихъ звукъ этой фразы, раздирающій душу женскій крикъ пронесся въ воздухѣ. Казалось, что женщинѣ, испустившей этотъ отчаянный вопль, только что удалось освободиться отъ чего-то, зажимающаго ей ротъ и стискивающаго горло.

Я рванулся впередъ. Атлетическая темная фигура загородила мнѣ дорогу и уцѣпилась за поводья. Горячій и чрезвычайно пугливый Орликъ почти вертикально поднялся на дыбы и обрушился на это живое препятствіе.

Въ два скачка очутился я посреди дворика; тупой ударъ, полученный мною вдоль спины, заставилъ меня пригнуться къ шеѣ лошади: почти одновременно какое-то острое оружіе съ болью врѣзалось мнѣ въ лѣвое бедро. Я слышалъ крики, гром-

---

*) Мѣстная порода, помѣсь кровнаго аргамака и киргизской степной лошади.

кую брань. Въ темнотѣ промелькнули передо мною еще двѣ темныя личности. Орликъ билъ задомъ и метался. Не цѣлясь, почти въ упоръ, я пустилъ зарядъ въ ближайшую ко мнѣ голову. Краснымъ свѣтомъ блеснуло зарево выстрѣла; я успѣлъ разсмотрѣть двѣ спины въ бурыхъ верблюжьихъ халатахъ, лѣзшія черезъ стѣнку, а подлѣ самой лошади распростертое на землѣ тѣло.

Въ темномъ углу, подъ стѣною, стонала и ворочалась на охапкѣ соломы какая-то неопредѣленная масса. Я слѣзъ съ лошади и направился къ ней.

Въ страшной темнотѣ ничего нельзя было разсмотрѣть. Я ощупью узналъ, что это была женщина. Руки у ней были связаны за спиною, одежда въ страшномъ безпорядкѣ. Я поднялъ несчастную, подхвативъ ее подъ мышки и перетащилъ на середину двора, гдѣ все-таки было немного свѣтлѣе.

Она плакала и вмѣстѣ бранилась. Я слышалъ слова:

— Разбойники, бѣшеные волки!.. Воры проклятые!.. Оставьте, пустите меня...

Я развязалъ ее и поставилъ на ноги.

Я не распрашивалъ ее, это было-бы и лишнимъ, и совершенно безполезнымъ.

Она дрожала, какъ въ лихорадкѣ, и, едва только я успѣлъ распутать концы связывающаго ей руки кушака, схватилась за меня такъ крѣпко, что я съ трудомъ отцѣпилъ отъ своей бурки ея тонкіе пальцы.

Я далъ ей немного отдохнуть, перевести духъ и успокоиться, а самъ сталъ внимательно прислушиваться.

Все было тихо; только слышалось хныканье и слезливыя жалобы бѣдной женщины да тревожное пофыркиваніе Орлика. Бурые халаты, очевидно, бѣжали.

Я оправилъ сѣдло и взялъ ее за руку.

— Поѣдемъ!—сказалъ я ей.

Она ничего не отвѣчала, только шагнула по направленію къ моей лошади.

Я сѣлъ на Орлика и, подставивъ ей лѣвое стремя, приподнялъ ее за поясъ; она, какъ кошка, ловко вскарабкалась на крупъ коня и усѣлась тамъ, обвивъ меня за талію руками.

Мы выбрались на дорогу и поскакали. Звонко шлепали по грязи копыты коня. Дождь зачастилъ; стало очень холодно.

Я освободилъ поводья; привычная лошадь сама разбирала дорогу.

— Тюра!.. — раздался голосъ моей спутницы. — Не гони такъ, мнѣ больно!..

Я перевелъ коня на мѣрный галопъ. Азіатскія лошади отлично ходятъ этимъ покойнымъ, мѣрнымъ аллюромъ.

— Ахъ, какъ они меня измучали...—говорила она.—Воры голодные!.. Разб... Ахъ, какъ у меня бокъ болитъ!.. Вѣдь они били меня... сильно били... Подлые!

Она дрожала, зубы у ней стучали. Она плотно прижималась ко мнѣ. Одежда на ней была вся изорвана, да къ тому-же промочена дождемъ. Я отстегнулъ ремни бурки, снялъ ее и перекинулъ на плечи моей спутницы.

— Я ѣхала въ Катта-Курганъ, — продолжала жаловаться моя спутница. — Эти кайманы *) догнали меня и ѣхали все время сзади; я думала, что они честные люди. Пока было свѣтло, они меня не трогали. Они говорили со мною, и я говорила. Я имъ пѣсни пѣла. А потомъ... грабители... безбожники!..

И она снова заплакала, положивъ ко мнѣ на плечо свою голову.

Черезъ полчаса впереди сквозь туманъ замелькали неясные огни. Это была деревня «Кара-Су», на полу-дорогѣ между Самаркандомъ и Катта-Курганомъ. Тамъ я располагалъ дать отдохнуть коню и самому немного оправиться и напиться чаю.

Ярко пылалъ и трещалъ костеръ, разложенный подъ просторнымъ навѣсомъ; при его сильномъ, хотя и колеблющемся свѣтѣ я разсмотрѣлъ эту женщину. Она была высокаго, почти мужского роста и сложена атлетически. Она была поразительно красива. Большіе глаза выглядывали изъ-за густыхъ черныхъ рѣсницъ, какъ изъ-за темной рамы, полукруглыя, словно нарисованныя, брови почти срослись надъ переносьемъ и придавали всѣму лицу какое-то странное, хищное выраженіе. Длинный, слегка горбатый, носъ, чувственный ротъ съ задорно вздернутою верхнею губою, изъ-подъ которой сверкали бѣлые, широкіе зубы.

Голова у нея была перевязана краснымъ бумажнымъ плат-

---

*) Кочевники по карминской степи.

комъ, концы котораго свѣшивались въ пол-спины сзади; одѣта она была въ красную-же длинную рубаху, всю вымокшую отъ дождя и разорванную отъ ворота чуть не до самаго низа. Смуглая, молодая грудь была обнажена, и на ней чернѣли кровавые знаки. Сверху на плечи былъ накинутъ мужской полосатый халатъ, весь перепачканный въ грязи и тоже носившій на себѣ слѣды недавней, отчаянной борьбы.

Женщина сидѣла у самаго огня и выжимала воду изъ своей намокшей одежды. По временамъ она жадно прихлебывала горячій чай, налитый мною для нея въ большую зеленую чашку и сильно приправленный ромомъ изъ моей походной фляги. Ее сильно донимала лихорадочная дрожь, она ежилась, подставляла къ огню то спину, то плечи и, повидимому, никакъ не могла согрѣться.

Я уже успѣлъ оправиться и осмотрѣть свою рану; это былъ пустой, неглубокій разрѣзъ—должно быть, ножъ скользнулъ по бедру, разорвавъ только верхніе покровы; но за то спина болѣла невыносимо. Я съ трудомъ могъ выпрямиться, и это движеніе причиняло мнѣ жестокую, тупую боль. Меня-таки-изрядно огорошили, и, по всему видно, простою пастушьею дубиною (батикомъ).

— Что,—больно?—спросила, замѣтивъ мою гримасу, незнакомка.

Голосъ ея звучалъ низкимъ контральто и какъ-то странно гортанно, издалека, словно говорившій находился у нея гдѣ-то за спиною, шагахъ въ трехъ. Ея губы при этомъ едва шевелились, пропуская эти оригинальные звуки.

— Нѣтъ, не очень!—отвѣчалъ я, пристально ее разсматривая.

— Ну, какъ-же!—улыбнулась она.—Дай мнѣ сюда твою водку. У тебя хорошая водка... какая она горячая!..

Я подалъ ей флягу.

Она посмотрѣла на нее, посмотрѣла на меня и подлила къ себѣ въ чашку.

— Мнѣ холодно!—произнесла она, словно оправдываясь, и передернула плечами.

— Отчего,—продолжала она,—отчего у васъ, русскихъ, все лучше нашего? Вѣдь Богъ одинъ и у васъ, и у насъ, только онъ васъ не любитъ, потому что вы невѣрные... А все-таки

у васъ лучше... Вѣдь васъ Богъ не любитъ... да? А можетъ быть, это все вздоръ? Можетъ быть, это все наши муллы выдумываютъ, а?

И она понизила голосъ почти до шепота и ближе придвинулась ко мнѣ, недовѣрчиво косясь на сосѣдній навѣсъ, гдѣ партія проѣзжихъ арбакешей усиленно трудилась около котла съ жирнымъ пловомъ.

— Конечно, это все ваши муллы выдумываютъ!—подтвердилъ я.

— Вотъ и вы, русскіе, лучше нашихъ!

Она придвинулась ко мнѣ еще ближе, нагнулась, и по ея лицу промелькнула самая хитрая, кокетливая улыбка.

— Вы всѣ храбрые такіе, богатыри!—продолжала она.— Вы ничего не боитесь, а наши трусы. Трое отъ одного побѣжали, а на бѣдную женщину такъ и накинулись, словно волки. Ножъ у меня сорвали съ пояса, а то бы я справилась!

И она при этихъ словахъ сдѣлала такое энергичное движеніе, что я нисколько не сомнѣвался въ этой возможности «справиться».

— Зачѣмъ ты одна ѣздишь?—спросилъ я.

— А съ кѣмъ я поѣду? У меня еще нѣтъ джигитовъ; я развѣ ханша какая!..

И она задумалась, а губы ея нѣсколько разъ прошептали:—Ханша, важная ханша... ханша...

— Какъ зовутъ тебя?

Она встрепенулась.

— Меня? А зачѣмъ тебѣ знать? Ну, хорошо, я скажу. Меня зовутъ Акъ-Томакъ. Ты развѣ не слыхалъ обо мнѣ?

И она пытливо поглядѣла мнѣ прямо въ лицо, и опять на лицѣ ея показалась знакомая улыбка.

Я отрицательно покачалъ головою.

— Ну, неправда! Это ты все врешь! Кто обо мнѣ не слыхалъ? Обо мнѣ всѣ слышали!

Акъ-Томакъ откинула свою голову, тряхнула косами и концами платка, и что-то злое, нехорошее загорѣлось въ ея выразительныхъ глазахъ.

— Ну, что, ты согрѣлась?—спросилъ я.

Она не отвѣчала.

Мнѣ сильно хотѣлось спать. Я подложилъ подъ голову сѣдельную подушку, вытянулся подъ буркою и началъ дремать. Акъ-Томакъ я отдалъ свое байковое одѣяло, которое всегда возилъ съ собою, притороченное за сѣдломъ.

Спутница моя, казалось, не расположена была послѣдовать моему примѣру и все подкидывала въ огонь сухія вѣточки, не давая потухать веселому пламени; потомъ она встала, спустилась внизъ, подошла къ моему Орлику, привязанному у одного изъ столбовъ навѣса, погладила его и пощупала у него подъ потникомъ рукою (это обыкновенный способъ, какимъ узнаютъ, достаточно ли остыла лошадь, чтобы подпустить ее къ корму). Вѣроятно, довольная результатомъ этого опыта, Акъ-Томакъ осмотрѣлась и пошла въ темный уголъ сарая; черезъ минуту она вышла оттуда, таща за собою тяжелый снопъ сухого клевера, растормошила его, положила часть подъ морду коня, а остальное акуратно сложила около.

Потрепавъ ласково по шеѣ заржавшую лошадь, она снова вернулась къ огню и посмотрѣла на меня. Я притворился спящимъ; я хотѣлъ наблюдать, что она будетъ дѣлать дальше.

Нѣсколько минутъ Акъ-Томакъ сидѣла неподвижно: потомъ протянула руку, взяла мою двухстволку и начала ее внимательно разсматривать; особенно ее заинтересовали гравированные звѣрки и орнаменты на замкахъ.

— Якши, копъ якши *)!—произнесла она и поцѣловала узорчатые стволы оружія.

«Ого!—подумалъ я.—Да ты совсѣмъ амазонка!»

Однимъ движеніемъ руки Акъ-Томакъ сдернула съ головы свой платокъ; черные, блестящіе волосы, заплетенные въ многочисленныя косы, разсыпались; кое-гдѣ заискрились цвѣтныя бусинки и серебряныя монетки.

Большой шрамъ на лбу, какъ разъ надъ правою бровью, старый, давно зажившій шрамъ, такъ и бросился мнѣ въ глаза. Должно быть, его скрывалъ прежде надвинутый на самыя брови платокъ.

Акъ-Томакъ была очень хороша въ эту минуту, но эта была красота эфектная, декоративная. Въ нее даже не слѣдовало слишкомъ пристально всматриваться, иначе въ этихъ

---

*) Хорошо, очень хорошо.

полныхъ энергіи чертахъ замѣчалось что-то непріятное, неженственное и даже нѣсколько отталкивающее.

Она разостлала одѣяло, легла на одну его половину и покрылась другою.

Огонь потухалъ. Неподалеку жевалъ и фыркалъ мой Орликъ. Арбакеши спали въ повалку, плотно прижавшись другъ къ другу и громко похрапывая. Покрытые попонами кони ихъ звучно отряхивались, гремя мѣдными кольцами на высокихъ сѣделкахъ и побрякушками на сбруѣ. Два жеребца дрались гдѣ-то далеко въ сараѣ. Ряды нагруженныхъ двухколесныхъ арбъ стояли неподвижно вереницею вдоль дороги, уткнувшись въ землю своими оглоблями. По ущелью дулъ рѣзкій вѣтеръ, и уныло шумѣлъ густой тальникъ, наклонясь надъ мутнымъ, еле бѣгущимъ ручьемъ. Разорванныя тучи быстро неслись по небу: кое-гдѣ заблестѣли одинокія звѣздочки. Стало морозить.

Я завернулся поплотнѣе въ свою бурку и заснулъ. Самыя несвязныя, нелѣпыя сновидѣнія лѣзли въ голову, безпрестанно смѣняясь. Спина и лѣвое бедро несносно ныли.

Уже разсвѣтало, когда я проснулся. Всѣ, ночевавшіе въ Кара-Су, арбакеши уѣхали. Мой Орликъ былъ прекрасно вычищенъ и осѣдланъ, въ котелкѣ кипѣлъ и пѣнился заваренный чай; одѣяло мое было тщательно сложено и приторочено къ сѣдлу.

Самой Акъ-Томакъ какъ не бывало.

— Она уѣхала съ арбакешами назадъ, въ Самаркандъ!—сказалъ мнѣ на мой вопросъ, пріятель мой, хозяинъ караванъ-сарая.

II.

Верстахъ въ двадцати-пяти отъ Катта-Кургана, въ глубинѣ Заравшанской долины, пріютился въ садахъ и огородахъ небольшой кишлакъ «Урусъ».

Въ деревнѣ этой не было ничего, что-бы хотя сколько нибудь оправдывало ея названіе. Такія-же, какъ и всѣ прочія, разбросанныя по долинѣ, группы глинобитныхъ построекъ съ узкими проѣздами, съ легкими, войлочными и плетеными навѣсами, съ запасами клевера и топлива, сложенными въ высокія кучи на плоскихъ крышахъ сакель, и, наконецъ, съ торчащими изъ-за каждой стѣнки рогатыми вѣтвями.

Обитатели этого кишлака были кровные узбеки,—по крайней мѣрѣ, въ настоящее время, — и положительно нельзя было встрѣтить ни одного лица, которое, хотя одною чертою, напоминало-бы русскій типъ.

Лѣтъ триста тому назадъ, говоритъ преданіе, въ бухарскомъ ханствѣ находилось много русскихъ бѣглыхъ; они просили, чтобы имъ отвели какое-нибудь мѣсто для поселенія. Просьба эта была исполнена, но только подъ однимъ условіемъ—принятія мусульманства.

Такимъ образомъ, въ Заравшанской долинѣ поселилось нѣсколько десятковъ русскихъ ренегатовъ; обзавелись они новыми семействами и зажили, по крайней мѣрѣ, сначала, довольно хорошо, что называется, припѣваючи.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Въ окрестностяхъ русскаго поселенія начали обнаруживаться различныя преступленія: грабежи, воровство и даже убійства. Кромѣ того, стали носиться слухи, будто русскіе опять начали молиться своему Богу, что они выбрали изъ своей среды особеннаго, своего собственнаго «муллу-попа», и даже новорожденныхъ дѣтей по три раза обливаютъ холодною водою.

Сперва народъ, а послѣ и само правительство стало косо смотрѣть на поселенцевъ и считать ихъ «плохими правовѣрнами», начались преслѣдованія въ такихъ размѣрахъ, что русскіе опомнились,—но уже было поздно!

На ихъ бѣду, одинъ изъ многочисленныхъ походовъ тогдашняго владыки Бухары на кого-то изъ сосѣднихъ хановъ окончился горькою неудачею. Пораженіе это, между прочимъ, приписали «молитвамъ русскихъ своему прежнему Богу». И въ одну, очень темную и бурную ночь все населеніе кишлака «Урусъ» было вырѣзано до послѣдняго человѣка.

Названіе-же Урусъ сохранилось до настоящаго времени.

Вотъ изъ этой-то деревни, въ одну изъ холодныхъ, осеннихъ ночей тысяча восемьсотъ шестьдесятъ восьмого года, я выступилъ съ своею ротою, разсчитывая къ разсвѣту дойти до Катта-Кургана—мѣста стоянки нашего батальона.

Въ Урусѣ я предполагалъ захватить шайку Хаджи-Назара, грабившую по долинѣ принадлежащіе намъ сборы хераджа *).

---

*) Хераджъ—пятипроцентный сборъ натурою съ произведеній земли.

но опоздалъ, пробродивъ даромъ цѣлый день и порядочно измучивъ своихъ людей. Недостатокъ, въ то время, хорошей кавалеріи заставлялъ насъ, пѣшихъ, гоняться, понятно, съ какими ничтожными шансами на успѣхъ, за летучими шайками положительно неуловимыхъ барантачей.

Было довольно холодно. Вода въ арыкахъ и многочисленныхъ лужахъ покрылась довольно толстою коркою льда. Ясное, морозное небо сверкало миріадами звѣздъ.

Солдаты шли одинъ за другимъ по узенькой огородной тропинкѣ; впереди ѣхали верхомъ два проводника, вызвавшіеся указать намъ изъ Уруса прямую дорогу.

Поминутно попадались намъ глубокіе арыки, черезъ которые приходилось прыгать, глиняныя стѣны, въ которыхъ непремѣнно отыскивался проломъ, выводившій насъ изъ огороженнаго пространства; по временамъ, и даже чаще всего, мы просто прыгали по шахматнымъ грядкамъ табачныхъ плантацій, спотыкались о сухіе комки скошенной джугары и кукурузы, продирались сквозь чащу джиды и тальника и рвали свои холщевыя рубахи.

— Вотъ такъ прямая дорога! — шутили солдаты. — Какъ разъ, братцы мои, та самая, по которой вороны летаютъ!

Наконецъ, мы выбрались-таки и, судя по недоумѣвающимъ взглядамъ проводниковъ, совсѣмъ не туда, куда предполагали. Мы знали только одно, что пока еще находились на правомъ берегу «Кара-Дарьи», и намъ приходилось переправляться на ту сторону. Мы только не знали, гдѣ: здѣсь-ли, выше или ниже настоящаго пункта? Проводники жалобно хныкали и дрожали; они говорили, что вдругъ почувствовали припадки какой-то странной болѣзни, и что ихъ трясетъ самая злая лихорадка,— понятно, какая ихъ одолѣвала лихорадка! Они боялись за свои головы, и эта боязнь, по ихъ понятіямъ и примѣняясь къ мѣстнымъ нравамъ, не была лишена основанія.

Надо сказать, что рота выступила въ походъ по тревогѣ, въ однѣхъ рубашкахъ, не захвативъ шинелей и взявъ съ собою въ карманы по куску хлѣба. Днемъ солнышко, хотя и осеннее, грѣло-таки изрядно, а при быстрой ходьбѣ было даже жарко, но зато ночью, когда по рытвинамъ и арыкамъ сталъ потрескивать морозъ, мы положительно убѣдились въ не-

достаточности согрѣвающихъ свойствъ въ бѣломъ полотнѣ солдатскихъ рубашекъ.

Пѣнясь по берегамъ и сверкая отраженными звѣздами, катилась Кара-Дарья передъ нашими глазами. Кованные солдатскіе сапоги шуршали по грудамъ камней и пестрыхъ галекъ, покрывавшихъ берега этого, одного изъ важнѣйшихъ притоковъ, рукава Заравшана. На томъ берегу, какъ и на этомъ, чернѣлись массы садовъ, и серебрились безчисленныя змѣйки тропинокъ.

Зрѣлище было, безспорно, прекрасное, грандіозное, но намъ все-таки приходилось лѣзть по поясъ въ воду, что было весьма непріятно при такомъ холодѣ и въ такихъ легкихъ костюмахъ.

Ухая и гогокая, люди спустились въ воду, которая не доходила, впрочемъ, выше бедеръ, и, поднявъ кверху ружья съ навязанными на штыки патронными сумками, бѣгомъ выбирались на противоположный берегъ.

Переправились и пошли дальше, то-есть, побѣжали. Зубъ-на-зубъ не попадалъ отъ холода, намокшія одежда и обувь смерзались.

Снова пришлось прыгать черезъ арыки и грядки, лѣзть черезъ стѣны, продираться сквозь кусты, и черезъ полчаса этой усиленной гимнастики мы очутились, наконецъ, на широкой, гладко укатанной дорогѣ, на которую выбрались черезъ какой-то разгороженный дворъ, встревоживъ цѣлую стаю разношерстныхъ собакъ, встрѣтившихъ насъ свирѣпымъ лаемъ.

Куда теперь идти: направо или налѣво? — мы положительно недоумѣвали.

Невдалекѣ послышался хриплый, гортанный звукъ въ родѣ откашливанья, какимъ обыкновенно погоняютъ ишаковъ, и звяканье цѣпной нагайки. По дорогѣ подвигалась къ намъ какая-то фигура въ чалмѣ, и подъ этою темною, силуэтною массою дробно сѣменили четыре маленькія ножки. Завидѣвъ насъ, фигура остановилась, — должно быть, ее очень озадачила эта неожиданная встрѣча, — и хотѣла-было удалиться. Ее, конечно, задержали, и завязался слѣдующій разговоръ:

— Будь здоровъ, пріятель!

— Да хранитъ васъ Аллахъ. Будьте и вы здоровы

— А какъ-бы намъ пройдти въ Катта-Курганъ?

— Куда?

— Въ Катта-Курганъ!

— Да вы развѣ туда идете?

— Туда!

— Ну, такъ вы стоите на плохой дорогѣ, по которой вы въ Катта-Курганъ никогда не дойдете!

— Мы это знаемъ! Такъ вотъ ты намъ и укажи лучшую!

— Мнѣ некогда... Время теперь ночное... хорошіе люди спятъ, а не таскаются по дорогамъ!

— Ты-же вотъ не спишь, а тоже таскаешься по дорогамъ?

— Я за дѣломъ!

— Мы тоже за дѣломъ. Слушай-же, пріятель, тебя, все равно, мы не отпустимъ, пока ты не проведешь насъ, куда намъ нужно. Такъ ужь лучше иди добромъ, а то потащатъ силою ..

— Отчего не проводить... я готовъ проводить... я всегда готовъ служить русскимъ. Только вотъ что. Вы, русскіе, народъ богатый, вы вонъ съ эмира Мозафара что золота за войну взяли, а я человѣкъ бѣдный...

— Объ этомъ ты не безпокойся. Тебѣ хорошо заплатятъ!

— Я оттого и говорю, что у меня цѣлый день завтрашній пропадетъ, провожая васъ, а для такого байгуша (бѣдняка), какъ я, это много значитъ...

— Во всякомъ случаѣ, ты выручишь столько, что и въ десять дней не заработаешь!

— Ну, хорошо. Да хранитъ васъ Аллахъ! Идите за мною!

— А сколько ташей до Катта-Кургана?

— Не меньше трехъ!

Это извѣстіе окончательно насъ озадачило: «не меньше трехъ!»—это, значитъ, верстъ двадцать пять! Несмотря на наше продолжительное ночное путешествіе, мы все-таки находились въ томъ-же разстояніи отъ цѣли, какъ и въ минуту выхода изъ кишлака Урусъ.

Я собралъ маленькій военный совѣтъ изъ унтеръ-офицеровъ, и мы сообща порѣшили обождать на мѣстѣ до солнечнаго восхода, разложить огни и грѣться, благо подъ руками находились цѣлыя груды сухого топлива.

Нашего новаго проводника мы рѣшили держать подъ стро-

гимъ карауломъ на всякій случай, на что проводникъ не выразилъ ни малѣйшаго неудовольствія.

Яркое пламя костровъ мгновенно запылало въ нѣсколькихъ мѣстахъ, освѣщая бѣлыя группы солдатъ и ряды ружейныхъ козелъ. Люди раздѣвались, снимали мокрые панталоны и портянки и, распяливъ ихъ надъ огнемъ, просушивали. Кто успѣлъ обсушиться, тотъ уже крѣпко спалъ, свернувшись въ клубокъ у огня. Другіе заботились о томъ, чтобы не уменьшалось животворное пламя, немилосердно истребляя вороха заготовленной на зиму колючки.

Нашъ новый проводникъ слѣзъ съ своего осла, спуталъ ему ноги ремнемъ и усѣлся на корточки передъ костромъ, грѣя и коптя заскорузлые, красные пальцы.

Это былъ старикъ лѣтъ шестидесяти даже, пожалуй, нѣсколько болѣе, высокаго роста, довольно бодрый на видъ и съ какою-то странною, молодцоватою выправкою, никогда не встрѣчающеюся въ мѣшковатыхъ, неуклюжихъ сартахъ. Лицо старика было чрезвычайно подвижное, выразительное; лукавые глаза блестѣли изъ-подъ густыхъ, взъерошенныхъ бровей, и рѣдкая сѣдая борода тряслась при каждомъ его движеніи. Въ двухъ шагахъ отъ него улегся его длинноухій спутникъ и, моргая и щурясь на огонь, подбиралъ съ земли сухія былинки и обсыпавшіяся иглы терновника.

Я сидѣлъ неподалеку на барабанѣ и, признаться, горячо сожалѣлъ, что со мною не было моего рисовальнаго прибора.

За часъ до солнечнаго восхода мы снялись съ своего бивуака.

Абда-Рахманъ, нашъ проводникъ, уже успѣвшій сообщить мнѣ свое имя, покачивался въ головѣ колоны, рядомъ съ моимъ стременемъ. Хоръ пѣсенниковъ тянулъ обыкновенную маршевую:

«То не въ дебряхъ вѣтръ шумитъ,
То не море стонетъ...

Барабанщики подбивали тактъ, солдатики подлаживали ногу, забросивъ винтовки за-плечи и потирая на ходу озябшія руки.

Дѣйствительно, мы зашли далеко и въ совершенно противоположную сторону, потому что, когда мы замѣтили сквозь зелень садовъ желтый обрывъ Нурупая, арыка-рѣки, подъ кото-

ромъ расположенъ Катта-Курганъ, солнце давно уже поднялось и стояло почти «на полдень».

Поднимая въ потолокъ бѣлые клубы горячаго пара, свистѣлъ и пѣлъ на разные лады полуведерный тульскій самоваръ, занявшій полъ стола въ моей саклѣ. Рядомъ, въ сосѣдней саклѣ деньщикъ перетиралъ посуду, весело звеня стаканами. Изъ кухни доносилось апетитное ворчаніе и попахивало чѣмъ-то очень вкуснымъ, поддразнивая голодный желудокъ.

Я усѣлся на складномъ походномъ стулѣ передъ ярко пылавшимъ каминомъ, около меня на дворѣ, поджавъ подъ себя ноги калачикомъ, помѣстился Абда-Рахманъ, съ любопытствомъ разглядывая бѣлыя, выштукатуренныя стѣны моего жилища, сплошь разрисованныя мною углемъ и растушкою.

Объ этихъ работахъ моихъ знали чуть-ли не во всемъ Катта-Курганѣ, и даже его окрестностяхъ, и я частенько имѣлъ удовольствіе принимать у себя туземныхъ гостей, пришедшихъ съ единственною цѣлью посмотрѣть диковины на стѣнахъ моей сакли.

Вдругъ старикъ вскрикнулъ и вскочилъ на ноги.

— Акъ-Томакъ!.. Ге!.. Акъ-Томакъ!—заговорилъ онъ съ замѣтнымъ волненіемъ, тыкая пальцемъ въ стѣну.

Въ простѣнкѣ между окнами я набросалъ голову амазонки, спасенной мною мѣсяцъ тому назадъ въ Ашикъ-Ата и такъ внезапно исчезнувшей въ Кара-Су. Этотъ-то рисунокъ и увидѣлъ взволнованный, не то обрадовавшійся, не то испугавшійся Абда-Рахманъ.

— Развѣ ты ее знаешь?—спросилъ я, удивленный такимъ живымъ порывомъ.

— Я-то знаю-ли?!. Да я знаю ее больше, чѣмъ кто-либо другой. Мнѣ-ли не знать ее!..

Онъ вдругъ остановился. Грустная задумчивость смѣнила оживленіе.

— Змѣя, а не женщина,—покачалъ онъ своею головою.— Да, это самъ дьяволъ въ образѣ человѣка... Аллахъ, Аллахъ! Не всегда ты наказываешь преступленія!

Жидкая бородка старика затряслась какъ-то усиленно; длинныя рѣсницы сморгнули нѣсколько слезинокъ.

Въ комнату внесли цѣлое блюдо горячаго плова; глаза

Абда-Рахмана перенеслись съ изображенія красавицы, «дьявола въ образѣ человѣка», на груду облитаго жиромъ, вареннаго рису.

Очевидно, что нашъ проводникъ зналъ нѣчто очень интересное изъ жизни Акъ-Томакъ, которой я послѣ случая въ Ашикъ-Ата не встрѣчалъ болѣе ни разу, и мнѣ хотѣлось, во что-бы то ни стало, вытянуть у него этотъ разсказъ, къ чему и было приступлено, едва только удовлетворились первые порывы волчьяго апетита.

III *).

Годъ тому назадъ, изъ дома въ домъ, изъ мечети въ мечеть, изъ караванъ-сарая въ караванъ-сарай пронеслась по всему Кокану интересная новость.

Новость эту передавали другъ другу осторожно, съ оглядкою; новость эта была, что-называется, «изъ ряда вонъ», и все населеніе многолюднаго Кокана, особенно женская его половина, насторожило свои встревоженныя уши.

Говорили, что дня три тому назадъ одна изъ любимѣйшихъ женъ Худояръ-хана уличена въ невѣрности своему грозному повелителю и мужу.

Ужасное, неслыханное преступленіе, влекущее за собою неизбѣжную, немедленную кару—смерть.

Интересъ событія еще болѣе возросъ, когда узнали имя преступницы. Это была Акъ-Томакъ.

Ее видѣли, и то весьма немногіе, когда ей было всего только одиннадцать лѣтъ, а на двѣнадцатомъ она была уже заперта въ стѣнахъ ханскаго гарема.

Но за то не нашлось бы никого, кто не слыхалъ-бы о необыкновенной красотѣ этой женщины. Говорили, что одного ея взгляда достаточно, чтобы навѣкъ погубить человѣка, что всѣ остальныя женщины передъ нею, что звѣзды передъ мѣсяцемъ, и что, ради этой неземной красоты, самъ Худояръ-ханъ готовъ былъ простить ей это ужасное преступленіе,

---

*) Не имѣя возможности слово въ слово передать разсказъ Абда-Рахмана, я задался мыслью сохранить, на-сколько возможно, характеръ самаго разсказа и удержать цѣликомъ хотя нѣкоторыя, особенно характеристичныя выраженія. Это все, что я могъ сдѣлать, довольствуясь собственнымъ, весьма ограниченнымъ, знаніемъ языка.

только боялся старшаго «казы», который настаивалъ на немедленной казни, для примѣра всѣмъ прочимъ, а на сторонѣ казы были и всѣ почетные муллы Кокана и его окрестностей.

Молодой и красивый авганъ-наемникъ, Омаръ-шахъ, юсбаши (сотникъ) гвардіи Худояръ-хана, виновникъ этого неслыханнаго неуваженія къ сану и доблестямъ хана, успѣлъ бѣжать, что, конечно, было для него необыкновеннымъ счастіемъ, яснымъ указаніемъ того, что «Аллахъ не лишилъ его еще своего милосердія», иначе виновнаго ждала такая страшная, мучительная смерть, отъ которой содрогнулись бы въ могилахъ кости его предковъ.

Какъ-бы то ни было, но преступленіе это было доказано неопровержимыми фактами; не было ни одного обстоятельства, могущаго хотя сколько-нибудь, защитить виновную,—и приговоръ оскорбленнаго властителя состоялся.

По существующимъ мѣстнымъ обычаямъ, преступницу обыкновенно подъ строгимъ конвоемъ отводили въ нарочно избранную для данной цѣли темную саклю, и палачъ-сарбазъ, приложивъ къ виску несчастной раструбъ своего фитильнаго мултука, разомъ отправлялъ ее въ другой міръ и прекращалъ всѣ мученія своей жертвы.

Для женщинъ былъ одинъ только родъ смертной казни—пристрѣливаніе. Болѣе-же благородная смерть—зарѣзаніе, предоставлялась только высшей половинѣ рода человѣческаго—мужчинамъ.

Назначили день исполненія приговора.

Густыя толпы народа запрудили главную улицу, ведущую черезъ базаръ за Катта-Дервазъ (большія ворота). По этой дорогѣ должны были провезти несчастную Акъ-Томакъ на берегъ «Дарьи» и тамъ, въ одной изъ пустыхъ, давно заброшенныхъ сакель, совершить казнь. Тутъ-же, рядомъ, расположены были и городскія бойни, гдѣ ежедневно, сотнями, рѣзали крупный и мелкій рогатый скотъ на потребу жителей столицы коканскаго ханства.

Тысяча народа шумѣли и волновались по главной улицѣ и на прилежащихъ площадяхъ. Всѣ крыши пестрѣли чалмами, бараньими шапками и разноцвѣтными халатами. Тысячи жадныхъ, сверкающихъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ глазъ пристально, затаивъ дыханіе, смотрѣли на ярко освѣщенный солн-

цемъ, изразцовый уголъ мечети Солеймана, изъ-за котораго должна была показаться печальная процессія.

Прежде всего, изъ-за этого угла выдвинулся «курбаши» (полиціймейстеръ города), въ красномъ халатѣ, съ золотыми вышивками по всей спинѣ, въ громадной бѣлой чалмѣ, съ кривой саблей у лѣваго бока. Онъ ѣхалъ верхомъ на статномъ аргамакѣ, около него бѣжали нѣсколько пѣшихъ съ длинными бѣлыми палками въ рукахъ, которыми они расчищали дорогу и внушали уваженіе къ высокому сану курбаши.

Наконецъ, показалась и желанная группа.

На крупномъ ослѣ безъ сѣдла, окруженная сарбазами въ голубыхъ короткихъ халатахъ, въ красныхъ шальварахъ и большихъ бараньихъ шапкахъ, ѣхала Акъ-Томакъ.

Увы! Ожиданія любопытныхъ не сбылись. На голову красавицы былъ надвинутъ сѣрый холшевый мѣшокъ, спускавшійся грубыми складками до самаго пояса.

За нею, примкнувъ почти вплотную къ ослиному крупу, шелъ высокій, пожилой сарбазъ въ кольчужной, остроконечной шапкѣ, перелинъ и наушники которой прикрывали ему шею, плечи и спускались тяжелыми лопастями въ пол-груди. Старикъ этотъ несъ на плечѣ тяжелый мултукъ, окрученный для прочности сыромятными ремнями. Конецъ фитиля, зажатый въ развилку спусковаго крючка, дымился.

Акъ-Томакъ сидѣла на ослѣ задомъ напередъ. Безобразное оружіе, которое должно было черезъ нѣсколько минутъ покончить ея существованіе, было такъ близко отъ нея. Сквозь рѣдкую ткань мѣшка она слышала пороховой, горѣлый запахъ тлѣющаго фитиля; она могла бы сорвать его руками, если-бъ эти руки не были крѣпко связаны у нея за спиною.

Сарбазы шли, лѣниво зѣвая по сторонамъ и набивая себѣ ротъ тертымъ зеленымъ табакомъ. «Курбаши», много опередивъ ихъ, уже дожидался на мѣстѣ казни. Густая толпа народа, раздаваясь по сторонамъ и пропуская процессію, скоплялась сзади все гуще и гуще и неотступно слѣдовала за сарбазами.

Прибыли на берегъ.

Неуклюжую человѣческую фигуру, со связанными руками и закутанную въ мѣшокъ, сняли съ ишака и поставили на ноги. Она зашаталась, чуть было не упала; сарбазъ-палачъ

поддержалъ ее и втолкнулъ ее въ какую-то темную зіяющую дверь. Самъ онъ, согнувшись, нырнулъ туда-же и протащилъ за собою свое оружіе. Курбаши слѣзъ съ лошади, отдалъ ее пѣшему полицейскому и съ любопытствомъ нагнулся къ двери, не входя впрочемъ, въ роковую саклю.

Всѣ замерли, затаили дыханіе, ждали выстрѣла.

Но тутъ случилось совершенно неожиданное обстоятельство.

Раздался выстрѣлъ, но совсѣмъ не тамъ, гдѣ его ожидали: прострѣленный навылетъ крупною чугунною пулею, корчился на землѣ тотъ самый полицейскій, который держалъ лошадь. На эту лошадь вскочила какая-то фигура, очень похожая, впрочемъ, на палача-сарбаза, и скрылась за саклею. И въ туже минуту, тотъ же всадникъ снова показался изъ-за этой сакли, только теперь за его сѣдломъ сидѣла Акъ-Томакъ, крѣпко уцѣпившись за его поясъ. Рядомъ съ ними, сверкая на солнцѣ кольчугою, давилъ растерявшійся народъ, Богъ-вѣсть откуда появившійся, Омаръ-шахъ.

Произошелъ невыразимый переполохъ. Многіе бросились бѣжать по домамъ; кое-кто вскочилъ въ саклю. Послѣдніе увидѣли тамъ, въ противоположной стѣнѣ, большой проломъ, очевидно, заранѣе приготовленный. Тутъ же валялся и мѣшокъ, бывшій на Акъ-Томакъ, и веревка, скручивавшая ей руки; изъ-за угла торчали рогатые подсошки брошеннаго мултука.

Прежде, чѣмъ всѣ успѣли опомниться и сообразить, въ чемъ дѣло, всадники исчезли изъ вида; да и не мудрено было исчезнуть въ этихъ кривыхъ, перепутанныхъ переулочкахъ, въ густыхъ базарныхъ толпахъ, гдѣ если-бы и могло проявиться участіе въ этомъ дѣлѣ, то, скорѣе, это участіе выразилось-бы въ сочувствіи побѣгу, нежели въ желаніи ловить бѣглецовъ, ничѣмъ противъ толпы неповинныхъ.

Покуда вѣсть о побѣгѣ дошла до Худояръ-хана, покуда сформирована была погоня, прошло нѣсколько часовъ времени, и наши бѣглецы, давъ волю скакунамъ, давно уже потеряли изъ вида сады и зубчатыя стѣны Кокана.

Къ вечеру они подъѣзжали уже къ подножьямъ Кашгаръ-Давана, гдѣ имъ легко было спрятаться отъ преслѣдованія.

Пускай-ка угоняются за ними и найдутъ ихъ въ этихъ черныхъ, глубокихъ ущельяхъ, въ которыя солнце заглядываетъ только тогда, когда поднимется надъ самою головою, да и то всего на часъ, много полтора, времени.

Скоро стемнѣло. Дорога шла излучистымъ ущельемъ, поднимаясь все выше и выше.

Впереди ѣхалъ палачъ-сарбазъ на своемъ благопріобрѣтенномъ аргамакѣ, измучившемся подъ двойною ношей; сзади Омаръ-шахъ.

Черезъ часъ спутники свернули въ сторону. Было очень темно, дорога становилась все круче и круче и была сплошь усѣяна обсыпавшимися каменными обломками. Скоро продолжать путь верхомъ не было уже никакой возможности; надо было спѣшиться. Такъ и сдѣлали.

Всѣ трое пошли или, правильнѣе, поползли вверхъ, таща въ поводу тяжело дышащихъ, спотыкающихся коней.

Свернули еще въ боковое ущелье, еще свернули раза два. Стали.

— Тутъ насъ самъ шайтанъ не розыщетъ; тутъ мы и отдохнемъ,—сказалъ сарбазъ,—и конямъ пора, да и намъ тоже, а?..

— Давно пора!—подтвердилъ Омаръ-шахъ.—А то совсѣмъ изъ силъ выбьемся, а до русской границы еще далеко!

— Если Аллахъ поможетъ, послѣ завтра, къ вечеру, будемъ подъ самымъ Ходжентомъ!

— Тамъ русскіе живутъ...—проговорила Акъ-Томакъ;—они хорошіе люди, и не бьютъ насъ, бѣдныхъ женщинъ...

Это были первыя слова, сказанныя ею съ самой минуты выхода изъ каменныхъ подваловъ ханскихъ тюремъ.

Мѣсто, на которомъ предполагали расположиться на ночлегъ, составляло нѣчто въ родѣ площадки, съ одной стороны которой почти отвѣсно спускался обрывъ, а съ другой—поднималась, вся растрескавшаяся, поросшая мхомъ стѣна, теряясь высоко въ нависшемъ темномъ облакѣ.

Вся площадка была усѣяна большими черными камнями, такими большими, что за ними могли совершенно укрыться всѣ трое и даже спрятать своихъ лошадей.

Эти тяжеловѣсныя глыбы свалились оттуда, изъ-за этой заоблачной вышины; однѣ изъ нихъ, сдѣлавъ рикошетъ, пока-

тились дальше, на дно ущелья, другія удержались на площадкѣ, врѣзавшись въ нее своими острыми гранями.

Подобные куски могли и теперь, въ эту ночь, свалиться оттуда и раздавить бѣглецовъ. Но они могли также и не свалиться. «Жизнь человѣческая вся въ рукахъ Аллаха!»

— Это мѣсто хорошее! Я уже три раза здѣсь былъ!—говорилъ старикъ, снимая дорогую попону съ сѣдла курбаши и разстилая ее на землѣ.—Что это, какъ темно стало? Да и сыровато что-то. Насъ скоро промочитъ до нитки...

— Туча спустилась и накрыла насъ!—сказалъ Омаръ-шахъ, снялъ съ себя верхній халатъ и закуталъ имъ Акъ-Томакъ.

Съ его стороны это тоже было первое проявленіе внимательности къ любимой и спасенной женщинѣ.

Мнѣ показалось подозрительнымъ то обстоятельство, что Абда-Рахманъ такъ хорошо и обстоятельно знаетъ всѣ подробности побѣга. Я не утерпѣлъ, чтобы не спросить его объ этомъ.

— Это оттого,—отвѣчалъ мнѣ на вопросъ разсказчикъ,—что палача-сарбаза звали такъ-же, какъ и меня,—Абда-Рахманомъ!

Дѣло было теперь совершенно понятно!

Нѣсколько разъ въ продолженіе ночи на площадку набѣгали сырыя, холодныя тучи; платье намокло насквозь.

Огня разложить было невозможно, — во-первыхъ, потому, что не было никакихъ горючихъ матеріаловъ, а во-вторыхъ, если-бы и нашлось что-нибудь подходящее, то свѣтъ костра могъ-бы указать дорогу преслѣдователямъ.

Омаръ-шахъ и Акъ-Томакъ лежали подъ самою стѣною, и холодъ набѣгающихъ тучъ врядъ-ли проникалъ за ихъ ватные, шелковые халаты. За то бѣдному старику въ эту ночь досталось-таки порядкомъ.

Онъ и приглядывалъ за лошадьми, и прислушивался къ свисту вѣтра въ ущельяхъ и къ неожиданному шуму каждаго оборвавшагося камня. Ему все чудилось, что кто-то невидимый поднимается къ нимъ по узкой тропинкѣ. Да и не одинъ, а какъ-будто много. Ему показалось даже, что о камень звякнуло что-то металлическое.

«Неужели они найдутъ насъ?» думалъ Абда-Рахманъ, и холодный потъ выступалъ у него подъ тюбетейкою, непріятная дрожь пробѣгала по всѣмъ его членамъ.

Онъ подошелъ къ краю обрыва, легъ на животъ, свѣсилъ голову и началъ внимательно прислушиваться.

Все было тихо. Недалеко, дѣйствительно, зашуршало что-то по камнямъ, но это «что-то» была громадная горная ящерица, которая выползала изъ-подъ черной плиты для того только, чтобы, проползши на своемъ чешуйчатомъ брюхѣ нѣсколько шаговъ, забраться подъ другую.

Старикъ покосился въ ту сторону, гдѣ лежали Омаръ-шахъ и Акъ-Томакъ.

— Что, никакъ спятъ?—проворчалъ онъ.—А, что, если-бы насъ теперъ нахлопнули?.. Вотъ было-бы прекрасно! Ее-бы опять того... Его-бы тоже,—да, ему было-бы очень, очень нехорошо, гораздо хуже, чѣмъ ей... А мнѣ? Ой, ой, что-бы мнѣ было! Бррр... О, Аллахъ, Аллахъ, не допусти до такого несчастія!

Чуть-чуть забрезжилъ разсвѣтъ, и путники совсѣмъ было собрались продолжать дорогу, какъ зоркій глазъ Абда-Рахмана замѣтилъ одно подозрительное обстоятельство, помѣшавшее имъ начать свое опасное нисхожденіе въ лощину.

Далеко внизу, тамъ гдѣ невооруженный глазъ европейца не увидѣлъ-бы ничего, кромѣ сверкающей, извилистой ленточки ручья и ярко-зеленыхъ береговыхъ полосъ, старикъ ясно различалъ двигающіяся красныя точки. Онъ даже разсмотрѣлъ лошадей, пущенныхъ на траву, и тонкія струйки дыма у самой воды.

По всему можно было догадаться, что тамъ бивакировала погоня изъ Кокана. Вѣроятно, измучивъ долгою скачкою своихъ лошадей, всадники расположились отдохнуть и перекусить тѣмъ, что успѣли наскоро захватить съ собою, собираясь въ дорогу.

Надо было оставаться на площадкѣ и наблюдать, что непріятель намѣренъ будетъ дѣлать дальше, и куда онъ направится послѣ своего отдыха. Такъ и сдѣлали.

Часа черезъ два томительнаго ожиданія бѣглецы видѣли, какъ всадники сѣли на лошадей и стали переправляться въ бродъ на другой берегъ горнаго ручья. Они выбрались на дорогу и направились обратно къ Кокану.

Вѣроятно, они разсчитывали догнать бѣглецовъ еще до начала горъ, и ошиблись въ своемъ разсчетѣ, а зная по опыту

всю трудность, почти невозможность преслѣдованія въ горахъ, они рѣшились махнуть рукою, возвратиться домой и принять на свои головы гнѣвъ гордаго властителя.

У Акъ-Томакъ и Омаръ-шаха отлегло отъ сердца, они вздохнули свободно, а Абда-Рахманъ поспѣшилъ совершить благодарственный намазъ и усѣлся съ этою цѣлью на пятки, лицомъ къ восходящему солнцу, подложивъ подъ колѣни свою красную куртку.

Давъ коканскимъ наѣздникамъ скрыться изъ вида, бѣглецы сами начали спускаться въ лощину. Это было гораздо трудные и опаснѣе, чѣмъ всходить наверхъ. Особенно, въ этомъ случаѣ, затрудняли лошади, которыя ползли почти на задахъ и ежеминутно грозили оборваться и сбить съ ногъ кого-нибудь изъ спутниковъ.

На одномъ изъ поворотовъ конь курбаши испугался чего-то, шарахнулся, оборвался и полетѣлъ внизъ, кувыркаясь и окрашивая своею кровью острые камни. Другую лошадь удалось спустить на дно лощины менѣе вреднымъ для нея способомъ.

Здѣсь они напились, перевели духъ и тронулись въ путь далѣе. Омаръ-шахъ вдвоемъ съ Акъ-Томакъ на лошади. Абда-Рахманъ пѣшкомъ.

Цѣлый день они не встрѣчали никого по дорогѣ, только разъ они замѣтили, высоко надъ головою, двухъ мальчиковъ-пастуховъ и ихъ маленькое стадо козъ, лѣпившихся по обрывамъ и скусывавшихъ тамъ тощую горную травку.

Несмотря на то, что Омаръ-шахъ часто слѣзалъ съ лошади и шелъ пѣшкомъ, несчастное животное, еще задолго до вечера, отказалось продолжать свою трудную службу; силы лошади были подорваны еще наканунѣ сильною гонкою. Аргамакъ присталъ и не хотѣлъ идти даже въ поводу. Его надо было бросить, что и было сдѣлано, и всѣ трое теперь уже продолжали путь пѣшкомъ, снявъ свою неудобную, неприспособленную къ пѣшей ходьбѣ обувь.

Къ ночи они опять свернули въ сторону и, выбравъ въ скалахъ удобное мѣстечко, пріютились на отдыхъ.

Въ новомъ ночлегѣ путешественниковъ посѣтило ужасное несчастіе. Въ горахъ, на извѣстной высотѣ, въ разсѣлинахъ скалъ, подъ слоемъ сухого мха, гнѣздится маленькій, но страш-

ный по своей ядовитости паукъ кара-куртъ (чернозадикъ). Въ горныхъ областяхъ, лежащихъ сѣвернѣе, этотъ видъ паука приводитъ въ содроганіе самыхъ смѣлыхъ, тамъ укушеніе его влечетъ за собою почти немедленную, мгновенную смерть; укушенные туземцы даже не пытаются бороться со смертью, а прямо ложатся и приготовляются къ переходу въ вѣчность. Въ этихъ-же мѣстностяхъ, особенно ближе къ осени, укушеніе кара-курта хотя, въ большинствѣ случаевъ, также смертельно, но бываютъ и счастливыя исключенія, и укушенный отдѣлывается только продолжительными, невыносимыми страданіями, рѣдко навсегда излечиваемыми.

Маленькій, темно-сѣрый, бархатный шарикъ, въ орѣхъ величиною, быстро бѣгаетъ между камнями на своихъ мохнатыхъ ножкахъ или же, притаившись, сидитъ у верхняго отверстія своей трубчатой норки, поджидая, когда добыча, въ видѣ гусеницъ, жучковъ и разныхъ букашекъ, сама не подползетъ къ его хитрозамаскированной засадѣ.

Къ счастію для людей, паукъ этотъ водится въ такихъ мѣстностяхъ, въ которыя человѣкъ заглядываетъ случайно и очень рѣдко, да и самое насѣкомое это составляетъ положительную рѣдкость для энтомолога, и только счастливый случай помогаетъ ученому добыть его для своихъ коллекцій. Понятно, какъ должны быть рѣдки случаи укушенія, и дѣйствительно, эти случаи составляютъ какъ бы эпоху для горныхъ дикарей, о которой долго и долго, часто по нѣскольку лѣтъ, помнятъ и говорятъ они въ своихъ сакляхъ и кибиткахъ.

На долю Омаръ-шаха выпалъ одинъ изъ этихъ рѣдкихъ случаевъ. Кара-куртъ укусилъ его въ лѣвое колѣно; страшная, рвущая боль заставила его простонать цѣлую ночь. Къ утру нога представляла безобразную, распухшую массу; больной находился въ жару и бредилъ съ открытыми глазами.

А между тѣмъ путь надо было продолжать, во что бы то ни стало; покуда не появится на горизонтѣ сады Ходжента, его высокая цитадель, съ русскимъ флагомъ на гребнѣ стѣны, и свѣтлая, широкая лента Сыръ-Дарьи, бѣглецы не могли еще поручиться за свою безопасность.

Омаръ-шаха пришлось нести на рукахъ. Абда-Рахманъ взвалилъ укушеннаго къ себѣ на спину, прихватилъ его распущенною чалмою и съ такою, не совсѣмъ легкою, ношею побрелъ

по дорогѣ; Акъ-Томакъ помогала ему, сколько могла. Такимъ образомъ, путешествіе могло продолжаться, но уже черезчуръ медленно. За цѣлый день едва-ли былъ сдѣланъ одинъ «ташъ» (около восьми верстъ). Эдакъ они не скоро могли добраться до русской границы, а между тѣмъ небольшой запасъ съѣстныхъ припасовъ истощался, да и болѣзнь Омаръ-шаха развивалась все сильнѣе и сильнѣе.

Акъ-Томакъ какъ будто пріуныла, задумалась, но на ея лицѣ не было замѣтно особаго состраданія. Ее даже какъ-будто сердила эта задержка, и она недовольно поглядывала на своего возлюбленнаго, будто онъ самъ былъ причиною случившагося съ нимъ несчастія.

Абда-Рахманъ тяжело шагалъ, опустивъ глаза въ землю, и въ полголоса разсуждалъ самъ съ собою.

— Странно! Аллахъ, видимо, покровительствовалъ намъ въ началѣ нашего пути, а теперь повернулся къ намъ задомъ. Кто же это, изъ насъ троихъ оскорбилъ его, всемогущаго, всевѣдущаго?!.

Прошли еще версты двѣ, выбились изъ силъ; сѣли. Путешественниковъ одолѣло тяжелое, тоскливое раздумье. Они пріуныли.

Вдругъ изъ-за поворота дороги, изъ-за темнаго гранитнаго выступа, поросшаго горнымъ можжевельникомъ и полынью, до ихъ слуха донеслось заунывное пѣнье; эти звуки все приближались и приближались; слышенъ былъ уже топотъ тяжело навьюченной лошади.

Въ головѣ бывшаго палача въ одно мгновеніе созрѣлъ вѣроломный планъ. Основаніемъ этого плана служила одна мысль, что иногда преступленіе можетъ быть оправдано обстоятельствами.

Абда-Рахманъ усадилъ Омаръ-шаха и его любовницу въ сторонѣ, такъ, что эта группа не сразу бросилась въ глаза, а самъ смѣло зашагалъ на встрѣчу пѣвцу.

Большая, горбоносая лошадь узбекской породы тащила на своей сильной спинѣ цѣлую гору вьюка: черезъ сѣдло на широкихъ ремняхъ, висѣли два объемистыхъ сундука, обитыхъ кожею; поверхъ нихъ—нѣсколько ковровыхъ переметныхъ сумокъ (коржумовъ), плотно набитыхъ всякой рухлядью; все это было покрыто сложенными вчетверо ватными стеганными

одѣялами, а поверхъ всего, не доставая ногами до спины лошади, покачивался маленькій черномазый человѣкъ въ синемъ халатѣ, въ черной шапочкѣ, съ курчавыми, блестящими, словно вымазанными саломъ, волосами. На лбу этого человѣка красною краскою былъ намазанъ значекъ—изображеніе священнаго пламени, выдававшій національность и вѣроисповѣданіе путешественника.

Завидѣвъ высокую фигуру Абда-Рахмана въ его воинственномъ костюмѣ, идущую прямо на него, бѣдный индіецъ струсилъ и хотѣлъ было заранѣе убраться по-добру, по-здорову. Должно быть, онъ не предвидѣлъ ничего хорошаго отъ этой встрѣчи. Онъ повернулъ своего «пѣгаго» и усиленно заработалъ нагайкою. Абда-Рахманъ заоралъ во все горло и кинулся за нимъ слѣдомъ.

Испуганная этимъ неистовымъ воплемъ, не менѣе своего владѣльца, лошадь метнула задомъ; всадникъ кубаремъ полетѣлъ на землю, а лошадь, фыркая и задравъ хвостъ, сдѣлала нѣсколько «козловъ» и остановилась, запутавшись въ веревкахъ разсыпавшагося вьюка.

Не обращая никакого вниманія на законнаго владѣльца, лежавшаго ничкомъ и со страха притворившагося мертвымъ, Абда-Рахманъ сбросилъ съ лошади все кромѣ сѣдла, усадилъ на нее Омаръ-шаха и тронулся дальше, не заботясь объ участи несчастнаго, ограбленнаго индійца.

— Ну, вотъ, теперь очень хорошо,—говорилъ Омаръ-шахъ, обнявъ рукою за шею Акъ-Томакъ.—Завтра, моя радость, мы будемъ въ Ходжентѣ, гдѣ уже тебя, черно-глазая, никакой Худояръ-ханъ не достанетъ!

Не разслышалъ хорошенько Абда-Рахманъ, что ему на это отвѣчала Акъ-Томакъ, только показалось ему, будто бы она буркнула себѣ подъ носъ:

— Будто одинъ Худояръ-ханъ на свѣтѣ... Всѣ вы такіе!

И что-то очень нехорошее замѣтилъ старикъ въ нахмуренныхъ глазахъ своей спутницы.

Прошли еще таша два; дорога измѣнила свой горный характеръ. Вдали стали тамъ и сямъ показываться сѣрые глиняные кишлаки (селенія) и небольшія группы чахлыхъ деревьевъ... Вотъ уже, по сторонамъ дороги, начали попадаться значительныя мѣста съ явными признаками прошлогодней запашки.

— Ну, теперь скоро!—одобрительно произнесъ Абда-Рахманъ.—Скоро конецъ. Не падай духомъ, пріятель!—обратился онъ къ Омаръ-шаху:—Будешь здоровъ и весело заживешь съ новою женою. Ухъ, какъ весело! Меня, старика, не забудь. Въ джигиты къ себѣ возьми. Возьмешь, что-ли? Ты не смотри, что я сѣдой; я еще гожусь... Другому молодому не уступлю. Ха-ха!.. — шутилъ старый сабразъ и весело поглядывалъ впередъ, изъ-подъ своихъ нависшихъ, косматыхъ бровей.

Омаръ-шахъ ничего не отвѣчалъ на это заигрываніе; съ нимъ начиналось опять сильное лихорадочное состояніе, всегда сопровождающее ядовитыя укушенія. Онъ съежился въ воротникъ своего халата и тусклыми глазами глядѣлъ впередъ по направленію голубого облака скалистаго «Моголъ-Тау».

Акъ-Томакъ начала отставать; она шла, ухватившись за полу абда-рахманова халата, и, видимо, изнемогала отъ усталости. Старикъ нашелъ необходимымъ посадить ее тоже на лошадь, чтобы не замедлялось путешествіе.

Конь былъ здоровый, сытый, къ тяжелому вьюку привыкшій. Акъ-Томакъ подвернула полы своего халата и ловко устроилась за сѣдломъ.

Абда-Рахманъ одинъ, не зная устали, бодро шагалъ за лошадью, подгоняя ее поднятымъ на дорогѣ сухимъ прутомъ.

Солнце спускалось за горы; по дорогѣ легли и далеко протянулись гигантскія тѣни. Быстро темнѣло внизу, а наверху красными зубцами вырѣзывались снѣговыя вершины Кашгаръ-Давана.

Акъ-Томакъ вполголоса запѣла грустную безконечную пѣсню—пѣсню-импровизацію. Съ вечернею прохладою больной почувствовалъ себя немного лучше — эта прохлада какъ будто оживила его... Абда-Рахманъ слушалъ пѣніе Акъ-Томакъ и молча шелъ, понуривъ голову.

— Абда-Рахманъ, а Абда-Рахманъ!—вдругъ сказала Акъ-Томакъ, и въ голосѣ ея послышалось что-то зловѣщее, хриплое, словно горло сжалось и не пропускало, сколько нужно, воздуха.

Старика поразилъ этотъ голосъ,—голосъ знакомый и вмѣстѣ чужой, странный такой, какимъ Акъ-Томакъ еще до сихъ поръ не говорила.

— Что, что такое!—рванулся онъ къ ней.

— Я уронила... тамъ... вонъ тутъ... поясъ уронила!—почти вскрикнула Акъ-Томакъ.

Абда-Рахманъ нагнулся и машинально сталъ шарить руками по пыльной дорогѣ; испуганная этимъ движеніемъ, лошадь скакнула впередъ и сажень на пять отдѣлилась отъ старика... Послышался стонъ и грузное паденіе на землю.

Омаръ-шахъ, какъ снопъ, свернулся съ сѣдла и хрипѣлъ, корчась на дорогѣ,—это были уже послѣднія конвульсіи. Когда Абда-Рахманъ подбѣжалъ къ нему, онъ уже неподвижно лежалъ ничкомъ, только пальцы рукъ судорожно сжимались, врываясь въ густой слой дорожной пыли.

Первый предметъ, поразившій старика, была бѣлая рукоятка ножа, торчащая какъ разъ между плечъ Омаръ-шаха.

— Кто же это?—вскрикнулъ Абда-Рахманъ, и вдругъ кинулся къ Акъ-Томакъ, вытянувъ руки.

Онъ понялъ все; онъ хотѣлъ сорвать съ сѣдла преступницу, онъ хотѣлъ... онъ даже самъ не зналъ, что онъ хотѣлъ сдѣлать съ нею въ эту минуту.

Наѣздница ударила лошадь на отмашь плетью и увернулась.

— За что же... за что ты его зарѣзала!?.—почти простоналъ старый сарбазъ и опустился около трупа, словно у него подкосились стариковскія ноги...

Акъ-Томакъ подъѣхала немного, но такъ, чтобы можно было успѣть ускакать при малѣйшемъ враждебномъ движеніи старика.

— За то,—проговорила она почти спокойно,—что не хотѣла я попасть изъ-подъ одной плети подъ другую...

Какая-то ночная птица, не шумя своими мягкими крыльями, черкнула въ воздухѣ почти надъ самою головою Акъ-Томакъ и скрылась.

— Видѣлъ? — указала на нее Акъ-Томакъ. — Теперь я такая же вольная птица, какъ и она... Понялъ теперь, за что? Прощай!

— Змѣя, змѣя,—шепталъ старикъ, прислушиваясь къ замирающему вдали топоту скачущей лошади.—Будь же ты проклята, подлая! Да покроетъ тебя съ ногъ до головы огненная болѣзнь... Да сгніешь ты за живо... да раз...

Глухія рыданія прервали градъ проклятій.

Абда-Рахманъ вытащилъ ножъ изъ раны, завязшій между раздвоенныхъ хребтовыхъ позвонковъ и осмотрѣлъ его. Это былъ тотъ самый ножъ, который Омаръ-шахъ потерялъ еще на первомъ ночлегѣ. Тогда еще рѣшили, что ножъ этотъ выпалъ изъ своего чехла во время подъема.

Дѣло было теперь понятно. Еще съ перваго ночлега задумано было это преступленіе.

На другой день Абда-Рахманъ пришелъ въ Ходжентъ и сталъ разспрашивать, не видѣлъ ли кто женщины верхомъ на пѣгомъ жеребцѣ? Никто такой женщины не видалъ. Акъ-Томакъ словно сквозь землю провалилась.

И пошелъ старикъ по базарамъ, городамъ и селеніямъ отыскивать себѣ пріютъ и работу. Онъ все искалъ встрѣчи съ коварною, неблагодарной красавицей... Ищетъ и до сихъ поръ, и понятно, какъ былъ изумленъ, увидавъ на стѣнахъ моей сакли ея изображеніе.

IV.

Тяжелое вообще положеніе женщины въ мусульманскомъ мірѣ, строго придерживающемся многоженства, достигаетъ крайнихъ размѣровъ въ средне-азіатскихъ ханствахъ, преимущественно въ Бухарѣ, этомъ разсадникѣ самаго яраго ислама.

Обширная духовная власть, сосредоточенная въ рукахъ сильнѣйшаго изъ свѣтскихъ владыкъ, бухарскаго эмира, распространяется отъ него на все духовенство ханства. Ревниво оберегается чистота религіи этими фанатическими ея агентами; на всякаго отступника, хотя бы это отступничество было самыхъ незначительныхъ размѣровъ, немедленно обрушится тяжелая и уже положительно неотразимая кара. И несчастный не ждетъ уже помилованія отъ ревнителей вѣры: распаленные колоссальнымъ фанатизмомъ, они способны на всевозможныя неистовства, и цѣлый рядъ мучительныхъ истязаній указываетъ на изобрѣтательность этихъ поклонниковъ «пророка».

О каждомъ изъ бухарскихъ муллъ можно сказать, что онъ болѣе магометанинъ, чѣмъ самъ Магометъ.

При такомъ положеніи дѣлъ что же остается на долю бѣдной женщины, обсчитанной и обиженной кораномъ чуть-ли не на каждой изъ его узорныхъ страницъ *).

На женщину наложенъ цѣлый рядъ тяжелыхъ обязанностей и одно только право—право требовать отъ мужа пищи, и то въ такомъ только случаѣ, если ею безукоризненно исполнены всѣ ея обязанности относительно мужа: а судьею въ данномъ случаѣ является, прежде всего, этотъ же самый мужъ.

Начнемъ съ того, что самое рожденіе дѣвочки, вмѣсто почему-то всегда ожидаемаго мальчика, производитъ уныніе и панику въ цѣлой семьѣ. Мать не смѣетъ разсчитывать на привѣтъ и ласку со стороны мужа и отца: она рѣдко получаетъ даже обычные, въ такихъ случаяхъ, подарки. Одно только обстоятельство примиряетъ разгнѣваннаго властителя съ совершившимся фактомъ, это—надежда выдать дочь замужъ и получить выгодный «калымъ».

Дѣвочка растетъ въ семьѣ въ полнѣйшемъ забросѣ. Едва только оторвутъ ее отъ груди матери, ей часто становится знакомъ голодъ и другія лишенія, особенно, если мать имѣетъ уже новаго ребенка.

Въ грязи, вмѣстѣ съ другими, подобными себѣ существами, растетъ бѣдное дитя, дѣлитъ свои радости и печали, а частенько и пищу съ собаками, кошками и другими домашними животными; только лѣтъ черезъ шесть-семь, когда въ ребенкѣ замѣчаются уже признаки, предсказывающіе будущую красоту, начинаютъ наряжать ее въ яркіе цвѣтные лоскутья и увѣшивать бронзовыми и стеклянными погремушками. Съ этихъ же поръ прокалываютъ уши и ноздри и вдѣваютъ въ проколы маленькія сережки.

Страсть къ нарядамъ и кокетству развивается чрезвычайно рано и быстро: восьмилѣтнія дѣвочки частенько пачкаются бѣлилами и натираютъ сандаломъ свои, и безъ того румяныя, щечки.

---

*) Всѣ рукописные экземпляры этой книги изукрашены, чуть не на каждой страницѣ, самыми хитросплетенными арабесками, выведенными отъ руки перомъ и тушью. Даже самый текстъ часто располагается узоромъ: середина страницы прямыми, короткими строками, кайма—лучеобразными, изображенными болѣе мелкимъ шрифтомъ. Надъ затѣйливостью подобныхъ узоровъ изощряется обыкновенно все воображеніе досужаго переписчика.

Съ этого же ранняго возраста онѣ не смѣютъ появляться на улицахъ иначе, какъ съ закрытыми волосяною сѣткою лицами.

Странно и смѣшно смотрѣть на эти крошечныя существа, тщательно скрывающіяся отъ любопытнаго взора мужчины. Даже дома, играя во дворахъ и на своихъ плоскихъ крышахъ, онѣ только украдкою рѣшаются подобраться къ краю карниза, чтобы взглянуть, что дѣлается тамъ, на улицѣ, внѣ ихъ заколдованнаго круга.

Едва только дѣвочка подрастетъ, она уже со всѣхъ сторонъ окружена самымъ бдительнымъ надзоромъ. Да и какъ же? На слово ей не вѣрятъ, ее даже не считаютъ законнымъ свидѣтелемъ въ чемъ бы то ни было, хотя бы въ самыхъ пустыхъ случаяхъ, чести и сознанія долга за ней не признаютъ вовсе, хотя строго караютъ за малѣйшія нарушенія того или другого, а для предупрежденія этого нарушенія ревнивые взоры главы семейства и его клевретовъ ревниво оберегаютъ ее въ стѣнахъ дома; на улицахъ же она не показывается иначе, какъ съ закрытымъ лицомъ и въ безобразно накинутомъ на голову халатѣ и все-таки подъ зоркимъ конвоемъ испытанной въ подобныхъ дѣлахъ старухи.

Ей запрещаютъ показывать свое лицо, окутываютъ въ безобразнѣйшій одноцвѣтный костюмъ (я говорю про верхнее, съ ногъ до головы покрывающее ее платье), лишаютъ ее возможности хотя немного, самымъ невиннымъ образомъ, пококетничать своею наружностью. А страсть къ кокетству, какъ я уже сказалъ, развивается весьма рано; препятствія, встрѣчаемыя на каждомъ шагу, раздражаютъ эту страсть до невѣроятныхъ размѣровъ, и жгучій протестъ, не смѣя еще пока вырваться наружу, закипаетъ въ маленькомъ сердцѣ. Начинается упорная война, исходъ которой предъугадать не трудно. Силы слишкомъ неравны! И женщина, вмѣсто того, чтобы видѣть въ мужѣ своего лучшаго товарища и друга, видитъ въ немъ самаго непримиримаго врага и всю свою жизнь не выходитъ изъ оборонительнаго положенія.

Красота и внушаемая ею страсть—вотъ единственные союзники женщины, а если природа отказала ей въ первой, тогда ей остается только одно—покориться и молить Аллаха, чтобы онъ ниспослалъ ей беременность, которая разрѣшилась-

бы непремѣнно мальчикомъ. Ну, тогда дѣло женщины еще не совсѣмъ проиграно.

О какихъ-либо другихъ духовныхъ побужденіяхъ, о чувствѣ любви и т. д. здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Лишенная съ дѣтства всего, что только можетъ облагораживать душу, запертая въ тѣсныхъ стѣнахъ сераля, ровно ничѣмъ не занятая, потому что отъ нея отняты даже и такія чисто-женскія занятія, какъ рукодѣліе, женщина исключительно на одномъ только тѣлѣ сосредоточиваетъ все свое вниманіе. Она его моетъ, холитъ, бѣлитъ, румянитъ, подкрашиваетъ волосы, зубы и ногти, обвѣшиваетъ бездѣлушками и всѣ свои помыслы и мечты сосредоточиваетъ опять на одномъ только животномъ чувствѣ.

А перейти за предѣлы помысловъ въ этомъ направленіи ни дѣвушка, ни жена не смѣютъ, да и не могутъ.

Остаются вдовы, но онѣ тоже, какъ собственность, могутъ перейти по духовному завѣщанію къ другому мужу. Подобные переходы хотя не указаны кораномъ, но, тѣмъ не менѣе, вошли въ общепринятый обычай.

Такимъ образомъ, только особенно счастливое стеченіе обстоятельствъ можетъ поставить женщину въ болѣе или менѣе независимое положеніе, въ которомъ ей открывается, наконецъ, возможность располагать собою.

Среда этихъ счастливицъ пополняется дѣвушками, круглыми сиротами, на которыхъ положительно некому предъявить своихъ правъ, вдовами, почему либо непопавшими въ завѣщаніе, и, наконецъ, рабынями, потерявшими своихъ владѣльцевъ.

За всѣми этими лицами остается только духовно-полицейскій надзоръ за нравственностью, а такъ-какъ изъ нѣкоторыхъ послабленій въ этомъ надзорѣ можно извлечь значительную выгоду, то корыстные муллы, варьируя пункты корана, какъ имъ удобнѣе, нашли возможность именно въ этой свободной средѣ допустить болѣе независимую жизнь съ тѣмъ только, чтобы переходъ этотъ оплачивался опредѣленными, довольно крупными, ежегодными взносами.

Женщина, желающая вступить на самостоятельный путь, должна явиться передъ собраніе муллъ, открыть свое лицо и выдержать весьма тщательный осмотръ. Этимъ осмотромъ опредѣляется ея капиталъ, съ котораго ей придется платить про-

центы. Затѣмъ казы, духовный судья, лицо весьма сильное, выдаетъ ей за своею подписью ярлыкъ и разрѣшаетъ жить свободно.

Размѣры ежегодной платы весьма значительны, особенно, если субъектъ одаренъ сильнымъ, красивымъ сложеніемъ и эфектнымъ лицомъ: самый взносъ не бываетъ менѣе двухсотъ кокановъ, т. е. сорока рублей на наши деньги, принимая коканъ за двадцать копѣекъ, но взносъ этотъ достигаетъ часто до трехъ и четырехъ тысячъ кокановъ, а поразительная красавица Хатыча, въ Самаркандѣ, платила ежегодно по десяти тысячъ кокановъ и никогда не затруднялась уплатою.

Барышъ слишкомъ значительный, чтобы заставить муллъ порыться въ дебряхъ корана и подыскать тамъ все, что имъ нужно!

Красавица, пустившая себя въ оборотъ, лишается покровительства религіи, но это не грозитъ ей нисколько опасностью: она можетъ быть совершенно спокойна за свою участь, пока акуратно выплачиваетъ свою подать—ярлычный взносъ.

Женщина не можетъ показываться на улицѣ съ открытымъ лицомъ, между тѣмъ для *ярлычной* это необходимо; значитъ, является надобность обойти какъ-нибудь строгое запрещеніе корана, и вотъ этотъ обходный путь найденъ—*свободныя* обязаны появляться въ обществѣ въ мужскомъ платьѣ.

Одѣвшись въ мужской халатъ и надвинувъ поверхъ своихъ косъ мужской головной уборъ, красавица можетъ, сколько ей угодно, щеголять своимъ личикомъ и пріобрѣтать себѣ этимъ все больше и больше поклонниковъ.

Эти женщины ведутъ, большею частью, привольную, веселую жизнь и вызываютъ мучительную зависть въ гаремныхъ затворницахъ. Онѣ соединяются часто въ небольшія общества, по двѣ и по три, нанимаютъ прислугу, держатъ лошадей, на которыхъ верхомъ, по-мужски, ѣздятъ изъ города въ городъ, не довольствуясь однимъ постояннымъ пунктомъ.

Прибывъ на мѣсто, онѣ подыскиваютъ удобный дворъ, преимущественно въ предмѣстьяхъ города, приглашаютъ музыкантовъ и открываютъ двери своего временного жилища. Имъ стоитъ только раза два проѣхаться по городскому базару, чтобы къ вечеру того-же дня всѣ знали о ихъ прибытіи.

Постоянными посѣтителями этихъ азіатскихъ салоновъ бы-

ваетъ обыкновенно богатая холостая молодежь, заѣзжіе изъ чужихъ мѣстъ, а иногда и туземные «тузы», которымъ надоѣла, наконецъ, забитость своихъ законныхъ женъ.

Для послѣднихъ посѣтителей отворяются особые, болѣе потаенные ходы, и опытные джигиты прелестницъ проводятъ ихъ, незамѣтно для постороннихъ глазъ, прямо въ помѣщеніе свободной красавицы; это самые доходные посѣтители. Подъ вліяніемъ жгучаго чувства, расходившійся селадонъ высыпаетъ за пазуху кокетки всѣ золотые «тилля» изъ своего, расшитаго шелкомъ, кожанаго кошелька.

Къ чести хозяекъ надо отнести, что рѣдкая изъ нихъ рѣшится проболтаться о подобномъ посѣтителѣ, и эта скромность поощряетъ старыхъ волокитъ на новыя похожденія.

Спокойно и прибыльно идутъ дѣла красавицы, но горе несчастной, которая вздумаетъ уклониться отъ взноса; ни одна контрабанда не преслѣдуется такъ строго, какъ эта, проступокъ получаетъ ужасное значеніе прелюбодѣянія, а это влечетъ за собою плети и смерть. Такой-же участи подвергается и та, которая, подъ покровительствомъ *ярлычной*, рѣшится на подобную продѣлку.

Почти не было примѣра, чтобы преступленіе этого рода не было открыто. За этимъ слѣдитъ самая зоркая и бдительная полиція, отъ глазъ которой не укроется ничто, какъ-бы утонченно не хитрили контрабандистки.

Подъ вліяніемъ свободы, подъ вліяніемъ разнообразнаго общества, ее окружающаго, азіатская женщина, вступившая на эту дорогу, положительно перерождается: запуганность и забитость затворницы мало-по-малу проходитъ; она пріучается къ болѣе свободному, безбоязненному обращенію съ мужчинами; замѣчаетъ, наконецъ, что и они имѣютъ много слабостей и недостатковъ,—однимъ словомъ, перестаетъ слѣпо вѣровать въ ихъ непогрѣшимость. Мужчина теряетъ свой авторитетъ и спускается до равнаго съ ней уровня; замѣтивъ разъ слабыя стороны мужчины, она ловко пользуется ими, часто зло смѣется надъ ними и хитро, послѣдовательно начинаетъ отплачивать имъ, какъ-бы мстя этимъ за своихъ гаремныхъ землячекъ.

Все пробудившееся остроуміе вырвавшейся на свободу азіатской женщины складывается именно въ саркастическомъ направленіи.

Пѣсни, которыя поются гетерами въ своихъ домахъ для развлеченія посѣтителей, анекдоты и сказки, разсказываемые ими, наполнены именно подобнымъ содержаніемъ. И только страхъ—остатокъ прежней запуганности удерживаетъ эту самородную сатиру въ должныхъ размѣрахъ, не допускаетъ ее проникать за порогъ отверженнаго жилища и коснуться какъ нибудь уха обитательницъ гарема.

Съ приходомъ русскихъ кровавый призракъ истязаній и смертной казни исчезъ безвозвратно, и въ этомъ исчезновеніи убѣдились теперь даже самые неубѣдимые. Съ нимъ исчезъ и страхъ, имъ внушаемый. И съ глубокою тоскою смотрятъ теперь мужья-владыки на двери своихъ гаремовъ и чуютъ своимъ встревоженнымъ сердцемъ, что не уберечь имъ этихъ дверей отъ свѣжей, всюду проникающей струи новаго вѣтра, который долженъ освѣжить душную, тяжелую атмосферу тайниковъ этой безобразно сложившейся жизни.

— Аллахъ, Аллахъ! Нѣтъ Бога, кромѣ тебя, твоя надъ всѣмъ власть, тебѣ мы покоряемся!—бормочутъ себѣ въ утѣшеніе недовольные, понуривъ свои чалмоносныя головы.

„Хвастался пѣтухъ своимъ курамъ, что нѣтъ въ свѣтѣ птицы его сильнѣе.
А кто это тебѣ хвостъ выщипалъ?—смѣялись надъ пѣтухомъ его куры *)!

громко распѣваетъ веселая одалиска, перебирая пальцами струны тыквеннаго струннаго инструмента, въ родѣ нашей балалайки.

Было уже довольно поздно. На гауптвахтѣ въ цитадели давно уже пробили вечернюю зорю; ночные часовые были разведены, и я собирался ложиться спать, какъ вдругъ въ полосѣ свѣта, вырывающейся изъ-подъ откинутой полы моей палатки, я замѣтилъ бѣлую конскую морду и красные шаровары всадника. Я узналъ знакомаго мнѣ джигита Юсупа, изъ прислуги старшаго серкера Годдай-Агаллыка. Всадникъ бросилъ поводья на шею коня и, согнувшись, вошелъ въ палатку.

— Аманъ, тюра!—произнесъ онъ, протягивая мнѣ руку.—Спать легъ?

— Аманъ,—отвѣчалъ я;—что скажешь?

---

*) Двѣ строки изъ одной сатирической пѣсни, гдѣ осмѣиваются заносчивость и самохвальство мужчины.

— Одѣвайся, Годдай за тобой прислалъ; очень просилъ пріѣхать, ужъ такъ просилъ, такъ просилъ...

— Куда-же это онъ просилъ меня пріѣхать: на домъ къ нему?

— Ой, ой! Зачѣмъ на домъ!—джигитъ улыбнулся и подмигнулъ своимъ кривымъ глазомъ. — Зачѣмъ на домъ... Совсѣмъ не надо на домъ!

— Такъ куда-же?

— А вотъ поѣдешь, узнаешь... Одѣвайся... а я пойду лошадь тебѣ сѣдлать. Ты ужъ не буди своего сарбаза: пускай спитъ... я самъ осѣдлаю...

— Ну, поѣдемъ!—сказалъ я Юсупу и началъ одѣваться.

— Тамъ и комендантъ-тюра, и хошай-тюра хотѣлъ пріѣхать... Ужъ ты мнѣ повѣрь... хорошо будетъ! — говорилъ Юсупъ, выходя изъ палатки.

Я одѣлся довольно скоро и засунулъ въ карманъ револьверъ, на всякій случай. Безъ оружія мы никогда и никуда не выѣзжали въ то время. Черезъ десять минутъ мы трусили рысцею по переулкамъ катта-курганскихъ предмѣстій, поминутно пригибаясь къ шеямъ лошадей и отстраняя вѣтви фруктовыхъ деревьевъ, отягченныя персиками и сливами.

Ночь была темная, тихая; воздухъ былъ тепелъ и даже душенъ; въ немъ носились ароматы то спѣлыхъ дынь и абрикосовъ, то конскаго навоза, то мускуса. Изъ-за какого-то угла тянуло шибающимъ въ носъ запахомъ горѣлаго кунжутнаго масла.

Въ азіатскихъ городахъ вообще ложатся спать очень рано, и въ настоящую минуту всѣ ворота были заперты, и лавки задвинуты досками. Кое-гдѣ попадались намъ запоздалые евреи-красильщики съ рваными бумажными фонарями въ рукахъ; они робко жались къ стѣнкамъ, уступая намъ дорогу. Гдѣ-то далеко гудѣлъ бубенъ ночного сторожа.

Стая собакъ съ остервенѣніемъ рвала и теребила какое-то тряпье и мигомъ разлетѣлась по сторонамъ при нашемъ приближеніи. Летучія мыши поминутно безъ шума проносились въ воздухѣ, особенно надъ бѣлою лошадью моего проводника.

Мы оставили вправо городскую стѣну и свернули въ глубь окрестныхъ садовъ. Черезъ нѣсколько времени Юсупъ, который все время ѣхалъ впереди, нырнулъ вмѣстѣ съ лошадью въ ка-

кое-то отверстіе, не то калитку, не то случайный проломъ въ стѣнѣ, приглашая и меня слѣдовать туда-же. Я пригнулся, сколько могъ, къ лошади, чтобы не разбить себѣ головы о притолку, и мы очутились внутри небольшого, полуосвѣщеннаго дворика, на которомъ, фыркая и огрызаясь, стояло нѣсколько осѣдланныхъ лошадей, привязанныхъ къ точенымъ деревяннымъ столбикамъ.

Изъ-за невысокой стѣны, отдѣляющей этотъ дворъ отъ другого, болѣе просторнаго, слышались многочисленные голоса, а подъ стѣною густыя вѣтви урюковыхъ деревьевъ рѣзко очерчивались на красноватомъ, колеблющемся фонѣ костроваго освѣщенія.

Намъ отворили одну половинку рѣзныхъ воротъ, и мы вошли въ садъ, посрединѣ котораго, на квадратномъ возвышеніи, подъ группою старыхъ, развѣсистыхъ карагачей, на разостланныхъ коврахъ и кошмахъ возсѣдало многочисленное, оживленное общество.

На самомъ видномъ мѣстѣ, вся залитая свѣтомъ, сидѣла, поджавъ подъ себя ноги, красивая женщина лѣтъ двадцати. Она была густо набѣлена и нарумянена, но, несмотря на этотъ слой краски, замѣтно носила на своемъ лицѣ печать болѣзненнаго истощенія.

Роскошные, черные, какъ уголь, волосы, заплетенные во множество тонкихъ косъ, перемѣшиваясь съ нитками бусъ, падали по обѣимъ сторонамъ ея обнаженной шеи. Рѣзко очерченныя брови угломъ сдвинулись надъ тонкимъ, орлинымъ носомъ; большіе выразительные глаза смотрѣли какимъ-то лукавымъ, хищнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заискивающимъ взоромъ. Старый рубецъ, идя наискось отъ лѣваго виска до половины щеки, придавалъ всей физіономіи дикое, чарующее выраженіе.

Это была Акъ-Томакъ. Я узналъ ее сразу. Да и нетрудно было узнать. Подобныя лица, видѣнныя разъ, не забываются.

Рядомъ съ одалиской красовалась чудовищная, полу-сѣдая борода Годдая-Агаллыка, который нѣжно перебиралъ въ своихъ мускулистыхъ рукахъ тонкіе, длинные, унизанные перстнями, пальцы красавицы.

Двѣ женщины, въ длиннополыхъ рубахахъ изъ краснаго канауса и лиловыхъ шелковыхъ халатахъ, съ усиліемъ воздерживались отъ душившаго ихъ смѣха и подталкивали другъ

друга локтями. Вѣроятно, кто-нибудь передъ нашимъ приходомъ разсказывалъ нѣчто очень смѣшное.

Женщины огрызали ломти сочной оранжевой дыни, подхватывая на лету руками падающіе изо рта кусочки.

Вокругъ подносовъ, заваленныхъ всевозможными мѣстными сластями, засѣдали вліятельные сарты изъ мѣстной аристократіи, лица все больше административныя, и между яркими халатами туземцевъ красивый контрастъ составляли бѣлые кители нашихъ офицеровъ.

Когда я подошелъ ближе, Акъ-Томакъ вскинула на меня свои глаза и какъ-будто озадачилась немного; она отшатнулась назадъ всѣмъ корпусомъ и не донесла до рта руки своей съ кусочкомъ чего-то бѣлаго.

— Здравствуй! — сказалъ я ей. — Вотъ мы и еще разъ увидѣлись!

Акъ-Томакъ сверкнула своими ослѣпительными зубами, что, вѣроятно, означало привѣтственную улыбку, и движеніемъ руки пригласила меня сѣсть около нея.

Я принялъ это приглашеніе.

— Ха, ха, ха! — разразилась одна изъ толстыхъ барынь. — Теперь около тебя такія двѣ бороды, что ты совсѣмъ спряталась за ними... Смотрите, смотрите...

И она совершенно безцеремонно указала пальцемъ на нашу группу.

— Меня вездѣ будетъ видно! — рѣзкимъ, металлическимъ голосомъ произнесла Акъ-Томакъ, къ которой относилось замѣчаніе ея подруги.

Кто-то дернулъ меня сзади за рукавъ; я обернулся. Годдай-Агаллыкъ за спиною хозяйки нагибался ко мнѣ, желая сообщить что-то по секрету.

— Ты, слушай, ты меня, старика, не осуди... что я здѣсь-то, къ ней пришелъ. Я вотъ и за тобою послалъ... Что-же, тутъ дурного ничего нѣтъ... А мнѣ сегодня весело... очень весело! Я лавку свою продалъ хорошо... и знаешь-ли еще что?

Тутъ онъ нагнулся къ самому моему уху и шепотомъ добавилъ:

— И еще вашего вина большую чашку выпилъ... такого сладкаго, что бурлитъ, когда нальешь въ чашку... живого ви-

на! Что-же, кто въ этой жизни безгрѣшенъ? И даже самъ Магометъ (я знаю, мнѣ старый казы говорилъ), не разъ уклонялся съ того пути, который самъ начерталъ для всѣхъ правовѣрныхъ. А ты все таки этому самому казы не проболтайся о сегодняшнемъ вечерѣ. Богъ съ нимъ, что хорошаго!

Надо замѣтить, что власть и значеніе мусульманскихъ духовныхъ лицъ значительно уменьшилась въ областяхъ, занятыхъ нами, но такова сила привычки, что заставляла все еще трепетать и бояться духовныхъ судей даже такихъ крупныхъ тузовъ, какъ серкеръ Годдай-Агаллыкъ.

Я поспѣшилъ успокоить старика, завѣряя его въ своей скромности. Онъ потрепалъ меня по плечу и снова занялся перебираніемъ пальцевъ Акъ-Томакъ и нѣжнымъ нашептываніемъ ей на ухо.

— Зачѣмъ ты ушла отъ меня, не попрощавшись, точно втихомолку... помнишь, тогда, въ Кара-Су?—напомнилъ я хозяйкѣ нашу случайную встрѣчу.

— Помню,—отвѣчала Акъ-Томакъ и задумалась.—Помню,—продолжала она, немного помолчавъ.—Наши дороги были разныя... Ты спалъ... Что-же, думаю, будить тебя... Случай придетъ—увидимся. Вѣдь вотъ увидѣлись-же!

Это было сказано такъ просто и естественно, что мнѣ самому показалось даже страннымъ; что это я такъ удивился тогда, узнавъ объ исчезновеніи красавицы.

Разговоръ сдѣлался общимъ. Акъ-Томакъ и ея подруги сыпали направо и налѣво остротами и замѣчаніями самаго циничнаго свойства. Ни одинъ вопросъ не оставался безъ болѣе или менѣе остраго, замысловатаго отвѣта.

Всѣ гости, особенно Годдай-Агаллыкъ, по иниціативѣ котораго устроенъ былъ этотъ вечеръ, весьма сожалѣли, что нельзя было пригласить музыку, отозванную на какой-то семейный праздникъ въ Пеншамби, верстахъ въ двѣнадцати отъ Катта-Кургана.

— Будете слушать,—громко заявила одна изъ толстыхъ женщинъ,—я сейчасъ вамъ пѣсню спою... хотите?

Понятно, что всѣ поспѣшили выразить ей полнѣйшую готовность быть самыми внимательными слушателями.

— Про куръ и пѣтуха спой!—подсказала ей Акъ-Томакъ, лукаво подмигнувъ на кое-кого изъ своихъ гостей.

— Ну, хорошо! Слушайте-же!—откашлялась пѣвица.—Эй, тамъ, не звони посудою.

— Тсъ!.. Тише!

— Подвинься немного!

— А тебѣ тѣсно? Убери ноги! Э... хмъ!

Завозилась заинтересованная публика.

Толстуха еще разъ откашлялась, посмотрѣла кругомъ, вытерла рукавомъ свои жирныя, красныя губы и начала пѣть. Голосъ ея былъ довольно сильный и чистый; на высокихъ нотахъ она немного взвизгивала. Мотивъ пѣсни былъ скучный и однообразный; вся пѣсня состояла изъ короткихъ, отрывочныхъ куплетовъ, между которыми пѣвица вставляла иногда свои личныя замѣчанія и поясненія. Она пѣла:

„Въ большомъ курятникѣ жилъ пѣтухъ съ своими курами *).
Пѣтухъ былъ одинъ, а куръ у него было двадцать...

— Ты какъ думаешь, Годдай, мало двадцати куръ для одного пѣтуха или довольно?—обратилась пѣвица къ почтенному серкеру.

— Ге!—крякнулъ только въ отвѣтъ Годдай и махнулъ рукою.

„Пѣтуху было хорошо; онъ большаго и не желалъ,
Куры-же его думали иначе.
Пѣтуху было весело. Онъ сидѣлъ посреди двора и только крыльями хлопалъ
Куры скучали, ходили, повѣся головы,
И все норовили подойти поближе къ краю стѣны...
Имъ хотѣлось видѣть, что дѣлается на улицѣ.
Смотрятъ, бѣжитъ мимо красная курица;
Она бѣжитъ, такъ по серединѣ улицы и несется...

— Это была я,—пояснила пѣвица.—А то, можетъ быть, ты, Акъ-Томакъ, или ты, Наръ-Беби. Которая изъ васъ? Ну, да это все равно!..

—„Стой, красная курица, ты куда и откуда?"—спрашиваютъ ее пѣтуховы куры.
—„Бѣгу я туда, куда хочу, и оттуда, откуда хочу. Я птица вольная, не то, что вы несчастныя —
Отвѣчаетъ имъ красная курица, а сама остановилась на минуту...

— Все-таки — баба. Поболтать любитъ. Ну, слушайте дальше...

---

*) Подстрочный, буквальный переводъ, записанный докторомъ Авдѣевымъ.

—„Намъ-бы тоже хотѣлось побѣгать по улицѣ.. вотъ такъ, какъ ты, да своего пѣтуха боимся“.
—„Дуры,—говоритъ имъ вольная курица,—оттого и боитесь!..
Сидите вы, глупыя, взаперти и не знаете ничего, что на свѣтѣ есть новаго...“
—„Разскажи намъ, коли ты знаешь, а мы будемъ слушать“.
—„Жилъ на свѣтѣ большой коршунъ, всѣмъ пѣтухамъ сродни.
Сильнѣе его не было птицы, и дѣлалъ онъ, что хотѣлъ.
Всѣ его боялись и слушались, и по его приказу все дѣлалось.
Пѣтухамъ оттого было хорошо, курамъ плохо...
Подуло вѣтромъ съ зимней стороны, и принесъ этотъ вѣтеръ другого коршуна
Гораздо посильнѣе и больше, чѣмъ первый.
Обломалъ онъ тому оба крыла, оборвалъ когти на лапахъ,
Согналъ его съ нашестка, а самъ сѣлъ на его мѣсто...
И велѣлъ онъ оповѣстить всѣмъ курамъ, что никто теперь надъ ними не властенъ.
Хочешь сидѣть въ курятникѣ—сиди, не хочешь—бѣгай по улицѣ.
Кто слышалъ это, тотъ обрадовался, побѣжалъ,
Кто не слыхалъ, тотъ и до сей поры, вотъ какъ вы, только изъ-за стѣнокъ глазѣетъ“.
—„Ладно“, смекнули пѣтуховы куры и стали переговариваться да на своего пѣтуха поглядывать;
А тотъ спитъ себѣ въ тѣни и ничего не слышитъ“.

— А уже если-бы услыхалъ, намялъ-бы онъ хохолъ этой красной курицѣ. Только-бы перья полетѣли. Какъ ты думаешь?—подтолкнула пѣвица локтемъ своего сосѣда.

— Отстань... пой, знай... не приставай?..—уклонился тотъ отъ прямого отвѣта.

— Силу вашу посшибли... ха-ха! И радъ-бы намять, да руки коротки!—замѣтила Акъ-Томакъ, скаля свои зубы.—Ну, кончай!..

„Проснулся пѣтухъ, гаркнулъ на весь дворъ, куръ своихъ скликаетъ,
А уже ихъ и слѣдъ замело вѣтромъ. Всѣхъ за собою сманила красная курица“.

— Вотъ и все!—закончила пѣвица.—Хорошо, что-ли? Вотъ погодите, мы ваши курятники пообчистимъ!—самодовольно обвела она публику своими веселыми, смѣющимися глазами.

— Никто, какъ Богъ!..—смиренно вздохнулъ Годдай-Агаллыкъ и началъ задумчиво перебирать свою бороду.

Подали ужинъ; онъ состоялъ изъ шурпы (родъ рыбной похлебки) и неизбѣжнаго плова.

Въ промежуткахъ разносились кунганы съ зеленымъ чаемъ и—о, прогрессъ!—даже красное вино, добытое, должно быть,

у нашего маркитанта Ишана. Веселый пиръ длился почти до разсвѣта.

Сквозь темную массу кустовъ, въ самомъ концѣ сада, ярко свѣтились маленькіе четыреугольники. Это были входы во внутреннія сакли двора, предназначенныя для отдохновенія.

V.

Чуть брезжило на востокѣ, когда я вышелъ на первый дворикъ, гдѣ оставилъ свою лошадь. Заря быстро разгоралась на горизонтѣ; рабочій народъ зашевелился по садамъ; кое-гдѣ глухо звякалъ китмень, врѣзываясь въ сырую, разрыхленную почву огородовъ. Вода, пущенная въ оросительныя канавки (арыки), пѣнилась и быстро бѣжала, пробираясь по русламъ, успѣвшимъ уже просохнуть... Стаи розовыхъ скворцовъ переносились съ дерева на дерево. Аисты плавно носились въ воздухѣ. На сосѣднемъ дворѣ пронзительно оралъ ишакъ. По дорогѣ, за стѣною, топотали безчисленныя ноги катта-курганскаго стада, выгоняемаго въ степь на покормку...

Посмотрѣлъ я въ ту сторону, гдѣ должна была находиться моя лошадь; смотрю, какая-то рослая фигура въ ситцевомъ полосатомъ халатѣ возится около нея, поправляя сѣдловку. Я видѣлъ толстую спину этой фигуры и широкій красный затылокъ; и то, и другое показалось мнѣ какъ-будто знакомымъ...

Я подошелъ ближе, джигитъ обернулся.

— Ба! Абда-Рахманъ, ты какъ здѣсь?—удивился я, встрѣтивъ на дворѣ Акъ-Томакъ бывшаго коканскаго палача, нашего проводника, заклятаго врага коварной красавицы.

— Тюра, аманъ!..—произнесъ онъ, улыбаясь, и, оставивъ лошадь, подошелъ ко мнѣ, протягивая руки.

Мы поздоровались.

— Ты какъ здѣсь?—повторилъ я свой вопросъ.

Я недоумѣвалъ. Старикъ отыскалъ, значитъ, Акъ-Томакъ. Это, положимъ, теперь было нетрудно сдѣлать! Красавица пріобрѣла себѣ слишкомъ громкую извѣстность, и молва объ ней могла, конечно, достигнуть ушей эксъ-палача. Но вѣдь...

— А я здѣсь джигитомъ у ней служу,—прервалъ Абда-Рахманъ мое недоумѣніе. — Я уже два мѣсяца служу. При-

строилъ на мѣсто свои старыя кости... Вотъ, твой конь готовъ. Валялся онъ сейчасъ и подпругу порвалъ, да я ее зачинилъ крѣпко. Садись!

Онъ ловко подвелъ моего коня, собралъ поводья и подставилъ мнѣ стремя.

— Постой, другъ, успѣю еще уѣхать!—сказалъ я ему.— Вотъ увидалъ тебя, поговорить хочу!

— Ты гдѣ живешь? На томъ-же мѣстѣ?—прервалъ меня старикъ.—Я къ тебѣ сегодня прибѣгу въ гости... тамъ и говорить будемъ. Я къ полудню приду къ тебѣ, а ты мнѣ вашего вина приготовь... я вѣдь теперь пью. Что-же, это можно!

— Вотъ какъ!

— Да, знаешь, казы старый третьго дня тихо пріѣзжалъ сюда. Ну, я стерегъ, чтобы кто не увидалъ. Вѣдь самъ казы!.. Такъ вотъ онъ самъ пилъ; я тихонько, тихонько подошелъ и видѣлъ: выпилъ чашку, другую попросилъ, а передъ тѣмъ все отнѣкивался, ха, ха!.. Ну, думаю, коли казы самъ пьетъ ваше вино, такъ намъ и подавно грѣха нѣтъ. Мнѣ теперь не страшно его пить, а прежде все боялся,—ухъ, какъ боялся! Не то что кого другого, а грѣха боялся. Садись!

— Такъ приходи-же, смотри, ждать буду!—напомнилъ я старику его обѣщаніе забѣжать около полудня.

— Приду!

Я сѣлъ на лошадь.

— Видѣлъ я вчера,—заговорилъ снова Абда-Рахманъ,—ты сарбазовъ своихъ стрѣлять училъ, тамъ, въ степи, по самаркандской дорогѣ. Я близко подошелъ, ты не видѣлъ меня. Много вѣдь народу приходило смотрѣть, гдѣ тутъ замѣтишь! Хорошо твои сарбазы стрѣляютъ... ухъ, хорошо!.. Такъ всѣ разомъ трррахъ!.. Хорошо. Эй, баба, отвори ворота!..

Мальчикъ-сартенокъ выскочилъ откуда-то изъ-за навозной кучи и началъ возиться, щелкая дверною щеколдою. Распахнулись настежь ворота, въ нихъ пахнуло пылью, поднятою проходившимъ стадомъ. Я кивнулъ головою старику, напомнилъ еще, что буду ждать, и полною рысью погналъ по дорогѣ, лавируя между идущими на встрѣчу пестрыми коровами, почтительно уступающими дорогу моей лошади. Черный горбатый быкъ зло покосился на меня, остановился, взрылъ ногами землю, нагнулъ голову, храпнулъ, но подумалъ, должно быть,

что вступать въ бой не приходится, и побѣжалъ съ ревомъ за какою-то поджарой коровой.

— Сегодня человѣкъ думаетъ такъ, завтра иначе. Это бываетъ. Вотъ и со мною это случилось!—философствовалъ Абда-Рахманъ, выпивъ четвертую чашку чая съ ромомъ.—Ты слушай, въ чемъ теперь ея вина? Человѣка она зарѣзала и какого человѣка хорошаго, такого, что изъ-за нея свою голову чуть не отдалъ. Большое зло она сдѣлала,—ухъ, какое большое!.. Эта правда!

Старикъ задумался и опустивъ свою голову, подлилъ еще рому, взглянулъ на меня и продолжалъ:

— А я развѣ не рѣзалъ людей? Что-же, развѣ я все дурныхъ рѣзалъ, что-ли? Мало-ли ихъ перевелъ на своемъ вѣку, а за что? Иной и самъ не знаетъ, за что на него ханъ гнѣвъ свой положилъ; какъ баранъ, горло подъ мой ножъ подставляетъ... я его и того... Что-же, думаю, это я по ханской волѣ, я не самъ отъ себя. А кто жалованье отъ хана получаетъ за это? Кто халаты отъ хана получаетъ, кого съ ханской кухни кормили, кто въ ханской саклѣ жилъ?—Все я-же. За то мнѣ все и давалось это, что службу свою несъ, значитъ, мнѣ рѣзать людей выгодно было, значитъ, я рѣзалъ людей по своей волѣ. Могъ вѣдь я отойти отъ хана, какъ теперь вотъ отошелъ, и сохранить свои руки отъ чужой крови!

— Ну, а теперь, если-бы ханъ тебя просилъ, пошелъ-бы къ нему на прежнюю службу?—спросилъ я.

— Нѣтъ, не пошелъ,—покачалъ головою эксъ-палачъ:—«кто попробовалъ арбуза, не станетъ глодать глину»; здѣсь мнѣ лучше... Теперь вотъ *она* (старикъ кивнулъ въ ту сторону, гдѣ была ставка Акъ-Томакъ)—она тоже зарѣзала Омаръ-шаха, потому что ей все одно это было. Ты слушай, Омаръ-шахъ пріѣхалъ-бы сюда вотъ, къ вамъ, что бы онъ съ нею сдѣлалъ? Сейчасъ, первымъ дѣломъ, подъ замокъ, это ужъ вѣрно, а ей-бы этого не перенести, я ее вѣдь знаю, теперь вотъ узналъ хорошо. Она, что лошадь негуртовая, особнякомъ ходить хочетъ, не то, что тѣ, табунныя... «Я, говоритъ»,—помнишь?—«не хочу изъ-подъ одной плети подъ другую идти»; и это она вѣрно сказала. Большой грѣхъ она сдѣлала — правда, да до этого, кромѣ самого Аллаха, никому дѣла нѣтъ.

Пускай найдется та рука чистая, никогда на зло не поднимавшаяся, та только и можетъ на нее замахнуться. А развѣ есть такія руки на нашемъ свѣтѣ?..

Меня поразило это замѣчаніе стараго мусульманина: самъ того не вѣдая, онъ повторилъ заповѣданную намъ, христіанамъ, святую истину.

— Старъ я сталъ, силы мои совсѣмъ уже не тѣ, что прежде были,—продолжалъ Абда-Рахманъ. — Она меня пріютила, она меня любитъ, кормитъ хорошо, лучше, чѣмъ ханъ кормилъ; вотъ видишь, въ какихъ халатахъ хожу. Хорошъ?—У меня еще есть два шелковыхъ, вотъ какъ!.. Ха-ха!.. Я, говоритъ, тебя никогда не оставлю...

Онъ снова задумался и уже, какъ-бы про себя, вполголоса произнесъ:

— Все простилъ я ей, все, только не за ея кормъ и ласку; прежде еще простилъ! Какъ самъ на волѣ пожилъ—и пораздумалъ спокойно. Я и не искалъ ея, да она сама обо мнѣ слышала и джигита за мною послала... Вотъ уже я два мѣсяца у ней живу, и такъ ее полюбилъ, такъ полюбилъ, что дочь свою родную нельзя любить больше. А знаешь, что я еще за нею замѣтилъ?

Абда-Рахманъ внезапно оживился, и глаза у него засверкали.

— Она вѣдь добрая; она съ виду только злая кажется. Недавно къ ней цѣлая семья пришла, разоренная послѣ войны; въ однѣхъ тряпкахъ, больные, дѣтей маленькихъ много!.. Три женщины и восемь маленькихъ. Всѣхъ пріютила, халаты имъ подарила и денегъ дала. У вашего коменданта за нихъ просила, чтобы мѣсто имъ отвелъ, гдѣ-бы имъ поселиться. Обѣщалъ сдѣлать это. Вотъ она какая! Да это еще что!.. Она много добраго дѣлаетъ, — что зарабатываетъ и половины на себя не тратитъ. Хорошая баба... А я, тюра, еще у тебя выпью, съ этимъ-то, съ аракомъ. Я привыкъ къ нему... мнѣ, старику, это здорово!

— Пей на здоровье!—поспѣшилъ я подвинуть къ нему бутылку и велѣлъ своему деньщику положить въ сумку у сѣдла Абда-Рахмана еще одну бутылку рому ему въ подарокъ. Гость мой очень обрадовался, услыхавъ мое распоряженіе...

— Я тебѣ завтра винограду привезу и лепешекъ, особыхъ

лепешекъ; здѣсь, въ Катта-Курганѣ, такихъ не пекутъ. Я къ тебѣ и завтра пріѣду. А теперь мнѣ домой пора. Прощай!

Я проводилъ его до перекрестка дороги. Онъ пошелъ пѣшкомъ, рядомъ со мною и велъ свою лошадь въ поводу. Передъ тѣмъ, какъ сѣсть на сѣдло, онъ снова заговорилъ о своей госпожѣ.

— А какая она гордая—страхъ!—сказалъ онъ. — И никто ей ни въ чемъ перечить не можетъ: силы ни у кого не хватитъ! Когда она взглянетъ по-своему, всякій свои глаза въ землю уставитъ, я самъ тоже. Такой грозный взглядъ у ней. Самъ ханъ, я помню, не умѣлъ глядѣть такъ. Она надъ собою никакой власти не стерпитъ... скорѣе сама зарѣжется. Она ужь у насъ такая! Да, на этомъ конѣ никакой джигитъ не усидитъ. И Омаръ-шахъ на немъ-бы ѣздилъ недолго!.. Пошли ему, Аллахъ, на томъ свѣтѣ всего хорошаго. Прощай!

Онъ бойко вскочилъ на лошадь и поскакалъ, мелькая въ зелени садовъ, пока не скрылся за поворотомъ дороги.

— Я твоему ослу, смотри ты у меня, всѣ ноги переломаю: зачѣмъ на мою землю пускаешь? — кричалъ за стѣною какой-то голосъ.

— Какъ-бы я, гляди, тебѣ самому не переломалъ!—отвѣчалъ другой, немного подальше.

— Самому курбашѣ пожалуюсь,—отдеретъ онъ тебя нагайками. Онъ вѣдь мнѣ сродни приходится!—угрожалъ первый.

— А подавись ты своимъ курбашею! Не тѣ нынче времена. Не страшно!—отвѣчалъ другой.

— Не тѣ нынче времена,—невольно повторилъ, я въ раздумьи, идя у самой стѣны, придерживаясь сплошной, прохладной тѣни каргачей.—Не тѣ времена; не знаемъ, что выйдетъ изо-всего этого, а время, точно, для васъ сильно перемѣнилось. «Никто, какъ Аллахъ!»—вспомнились мнѣ вздохи стараго серкера Годдай-Агалыка.

— А ты все-таки не зѣвай!—говорилъ за стѣной кто-то.

Это замѣчаніе, впрочемъ, не ко мнѣ относилось. Старый полуголый таджикъ давалъ инструкцію двумъ мальчуганамъ, взлѣзшимъ на глиняные столбики съ своими пращами и подолами рубашекъ, наполненными маленькими комочками глины. Мальчики собирались стеречь посѣвъ джугарры (китайскаго проса) отъ цѣлыхъ стай крылатыхъ воришекъ, шумными обществами перелетающихъ съ одного поля на другое.

„ТИГРИЦА“.

Быль.

I.

Вотъ уже три часа, какъ я вернулся изъ театра...

Я уже раздѣтъ, лежу подъ одѣяломъ, держу передъ глазами какую-то книгу.

Еслибъ кто-нибудь смотрѣлъ на меня со стороны, онъ бы могъ думать, что я читаю.

Нѣтъ, я не въ состояніи,—я не могу читать.

Строки сливаются въ сплошныя, сѣрыя полосы, въ глазахъ рябитъ отъ этихъ полосъ, заглавныя буквы прыгаютъ передо мною... какое-же тутъ чтеніе!...

Я уже пробовалъ заснуть... Я потушилъ свѣчу,—но тотчасъ-же зажегъ ее снова...

Я весь охваченъ какимъ-то страннымъ, лихорадочнымъ волненіемъ... Вѣдь не пьянъ же я, въ самомъ дѣлѣ! Я даже не ужиналъ сегодня... значитъ,—я боленъ!

Я припоминаю, что когда-то испытывалъ уже нѣчто подобное.

Это было лѣтъ восемь тому назадъ... Кажется... да... это было въ Ходжентѣ, въ одной изъ тамошнихъ опіумныхъ лавочекъ.

Путешествуя по центральной Азіи, изучая мѣстные нравы и обычаи, я, между прочимъ, дѣлалъ надъ собою опыты отравленія гашишемъ... Ощущенія, которое я испытывалъ тогда и которое испытываю теперь, чрезвычайно похожи.

Я, кажется, начну скоро бредить... У меня уже безсознательно сорвалось съ языка нѣсколько словъ...

Мой слуга-татаринъ пріотворилъ дверь, вопросительно посмотрѣлъ на меня, выждалъ немного и скрылся.

Я закрылъ глаза,—а все-таки вижу... Передо мною ясно, отчетливо...

— Да на нее и смотрѣть даже страшно...

Это сказалъ вслухъ мой сосѣдъ по креслу въ театрѣ...

Какая толпа сгрупировалась у барьера, сколько биноклей направилось на одну и ту-же ложу!..

Да, это было какое-то особенное, поразительное явленіе,—явленіе, непривычное для глазъ петербуржцевъ.

Ложа, второй номеръ бель-этажа, обращала на себя несравненно большее вниманіе, чѣмъ сама сцена.

Ту, кто сидѣлъ въ этой ложѣ, никто до сихъ поръ, никогда не видѣлъ.

Очень можетъ быть, что второй разъ она и не покажется. Она, очевидно, не здѣшняя, петербургская—она дитя юга. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія...

Сегодня я попалъ въ театръ случайно.

Я не собирался туда вовсе; пьеса меня не интересовала нисколько,—я даже не потрудился узнать, что играютъ. Машинально подошелъ я къ кассѣ... Узкіе проходы передъ ея окномъ были, противъ обыкновенія, пусты; самое окно, завѣшанное тафтяною занавѣскою, свѣтилось зеленымъ четырехугольникомъ; надъ окномъ висѣлъ ярлыкъ, на ярлыкѣ этомъ четко и ясно значилось: «билеты всѣ проданы».

Нисколько не огорчившись этимъ молчаливымъ отказомъ я повернулъ назадъ.

— Вамъ кресло требуется?—подошла ко мнѣ потертая, старая шинель съ капюшономъ.

— Да, пожалуй...

— Вотъ мое... Самъ я не могу быть,—заговорила шинель такимъ вкрадчивымъ, мягкимъ голосомъ.—Я не барышникъ... я за свою-же цѣну... Этотъ билетъ мнѣ прислали... но я предпочелъ-бы получить деньги... знаете, бываютъ случайныя обстоятельства...

Я взялъ протянутый мнѣ клочекъ розовой бумажки, расплатился, взглянулъ на продавца...

Я видѣлъ только поля смятаго цилиндра, полысѣвшій, вылинявшій боберъ на воротникѣ; между тѣмъ и другимъ кончикъ блѣднаго, заострившагося носа,—больше ничего...

Не зайди я въ театръ, не подходи къ кассѣ, не встрѣть этого проклятаго, воскового, словно у трупа, носа, я бы...

Да, я бы спалъ теперь спокойно, не испытывая этого дурацкаго волненія...

Что же это такое въ самомъ дѣлѣ?.. Вѣдь не влюбленъ же я!.. Только въ старыхъ романахъ случаются такія диковины, что вотъ такъ, взялъ, увидалъ, да и сразу...

Нѣтъ, рѣшено! Надо встать, одѣться, поѣхать къ Воронину, или хоть къ Тулякову, взять холодный душъ, принять, пожалуй, ложку... говорятъ, это помогаетъ въ такихъ случаяхъ... потомъ снова лечь, почитать чего-нибудь поусыпительнѣй, «Сестру милосердія» или «Простыя рѣчи», что-ли...

— Гайнула, одѣваться!..

Или я очень тихо произнесъ этотъ призывъ, или-же не произносилъ его вовсе. Мой татаринъ не явился на этотъ разъ съ своими услугами...

Проснулся я на другой день за полдень, проснулся свѣжій и бодрый, только съ остатками легкой головной боли, которая отъ перваго же стакана чернаго кофе благополучно разсѣялась.

Теперь я успокоился; нервное потрясеніе, произведенное на меня этою женщиною, улеглось; я уже могу отдать себѣ отчетъ,—я припоминаю.

Ложа была драпирована; эта драпировка скрывала мужчину—спутника незнакомки; я видѣлъ только руку его въ толстой военной перчаткѣ, синій обшлагъ мундира, зато она сидѣла вся на виду, у самаго барьера, какъ-разъ по срединѣ ложи.

Изъ-подъ черной, бархатной шляпы съ какимъ-то необыкновенно яркимъ плюмажемъ и цѣлымъ огородомъ пестрыхъ цвѣтовъ выбивались черные, блестящіе локоны, обрамливая лицо и спускаясь ниже плечъ; тѣнь отъ шляпки закрывала половину лица; густыя брови, почти сросшіяся надъ носомъ, казались отъ этой тѣни еще темнѣе и рѣзкими полукругами очерчивали глазныя впадины; глаза ея, правильно прорѣзанные, отѣненные длинными рѣсницами, смотрѣли смѣло, даже дерзко—они словно вызывали и невольно заставляли потупляться встрѣчные взгляды, отводить въ сторону безцеремонно направленные бинокли.

Тонкій прямой носъ, красивый вырѣзъ ноздрей, маленькій

ротъ и блестящіе бѣлые зубы указывали ясно на ея происхожденіе. Смуглый цвѣтъ лица, почти кофейный, съ чуть замѣтнымъ бархатистымъ румянцемъ на щекахъ, носилъ на себѣ слѣды южнаго загара, не смытые даже нашимъ сѣвернымъ морозомъ...

Не смотря на высокую температуру въ театрѣ, ей, кажется было холодно; она плотно завернулась въ яркую восточную шаль, обтянутыя складки которой отчетливо обрисовали ея кругленькія плечи и высокую, атлетически-развитую грудь...

Черезъ всю правую щеку ея тянулся довольно замѣтный рубецъ-шрамъ, оставшійся, должно быть, отъ раны; этотъ рубецъ начинался почти отъ наружнаго угла праваго глаза и кончался у подбородка... но это нисколько не портило лица красавицы — и придавало ей еще большую, какую-то дикую грацію...

Едва я взглянулъ на нее—я уже не спускалъ съ нея глазъ, я отворачивался только тогда, когда взгляды наши скрещивались... Я пробовалъ противиться, пробовалъ выдержать, — и не могъ... Кажется, и всѣ остальные испытывали то же ощущеніе. Недаромъ же мой сосѣдъ замѣтилъ, что «на нее даже смотрѣть страшно.

Да, страшно... Мнѣ кажется, что въ темнотѣ эти глаза должны сверкать, какъ уголья...

Взглядъ ея не былъ обыкновеннымъ, естественнымъ взглядомъ... Въ немъ отражалась какая - то особая внутренняя сила... Какое-то могучее чувство одушевляло его и придавало ему это чарующее, пронизывающее насквозь выраженіе...

Я не знаю, какое это было чувство, но это чувство не могло назваться любовью.

Мнѣ случалось не разъ, въ густыхъ камышевыхъ зарослях «Сыра» и «Аму», лицомъ къ лицу встрѣчаться съ тигрицею... Я встрѣтился разъ съ такою, которая отыскивала по слѣду своихъ, только что выкраденныхъ изъ логовища дѣтенышей... Она была убита; пуля изъ берданки оказалась сильнѣй ея отваги, ея острыхъ зубовъ, ея желѣзныхъ когтей, но я никогда не забуду того взгляда, который бросило на меня умирающее животное...

Въ данную минуту мнѣ припомнился именно этотъ послѣдній взглядъ, съ тою только разницею, что онъ былъ мгновен-

ный, вспыхнувшій и моментально погасшій, вмѣстѣ съ послѣднею искрою—прерванной жизни...

Теперь-же подобный взглядъ былъ постояненъ, продолжителенъ, онъ преслѣдовалъ меня своимъ молчаливымъ укоромъ,—напоминалъ мнѣ о неотразимой, безпощадной мести...

Въ лихорадочномъ бреду, охватившемъ меня сегодня ночью,—смуглая красавица въ ложѣ представлялась мнѣ ожившей, преображенной тигрицей... Разстроенное воображеніе, взбудораженные нервы рисовали мнѣ грандіозныя картины южной природы... Да, это ея настоящая обстановка, — а не здѣсь, въ этой ложѣ съ драпировками, въ этомъ обществѣ людей, носящихъ цивилизованное платье, обладающихъ, хотя по внѣшности—цивилизованными нравами и обычаями.

— C'est un monstre! — донеслось замѣчаніе изъ ложи бенуара...

— Non, c'est une femme!—послышалось другое замѣчаніе—рядомъ...

Я взглянулъ туда: это переговаривались двѣ рыжекудрыя дочери Парижа,—лорнирую мою «тигрицу».

Два антракта подрядъ я бродилъ по коридору бель-этажа, разсчитывая, что незнакомка выйдетъ изъ ложи,—но обѣ мои прогулки были безуспѣшны. Двери ложи оставались заперты; тамъ было тихо, — въ противуположность сосѣдней, гдѣ болтали безъ умолку.

Спектакль еще не былъ оконченъ, когда она уѣхала; я помню, какъ бросился я къ подъѣзду, какъ я выскочилъ на морозъ, не успѣвъ даже отыскать своей шубы... и снова безуспѣшно.

Я слышалъ только, какъ щелкнула дверца кареты, какъ заскрипѣли по снѣгу ея колеса. Я, впрочемъ, слышалъ приказаніе, отданное кучеру: «Домой»! Но куда—домой — куда именно?!..

Однако голосъ приказывавшаго показался мнѣ знакомымъ;—жаль, что я не могъ видѣть его въ лицо: умышлено или нѣтъ,—но онъ такъ тщательно скрывался все время за драпировками своей ложи.

Нѣсколько дней спустя, мнѣ надо было навѣстить одного моего пріѣзжаго знакомаго. Я зналъ, что онъ остановился въ «Hotel-de Paris» и, выбравъ удобное время, направился туда...

Разсматривая доску, гдѣ записаны всѣ живущіе, кто въ какомъ номерѣ, я невольно обратилъ вниманіе на знакомую мнѣ фамилію: «Наземовъ, полковникъ, № 14». Едва я взглянулъ на эту надпись, какъ тотчасъ-же мой слухъ отчетливо и ясно воспроизвелъ слышанное мною на подъѣздѣ театра «домой!»—это былъ его голосъ.

У меня даже голова закружилась отъ волненія. Такъ, значитъ, здѣсь! Я могу къ нему взойти, я могу видѣть его, я могу, конечно, видѣть и...

— Наземовъ въ номерѣ четырнадцатомъ? — машинально спросилъ я у швейцара.

Тотъ молча стеръ рукавомъ написанную фамилію.

— Зачѣмъ?..

— Сегодня съ утреннимъ въ Москву выѣхали, стереть забыли!—удовлетворилъ мое любопытство швейцаръ.

Я закусилъ губу отъ злости...

— Онъ одинъ здѣсь жилъ?...—спросилъ я, подавивъ, на сколько могъ, свое волненіе.

— Никакъ нѣтъ, съ барыней...

Мнѣ показалось, что швейцаръ улыбается, глядя на меня, да еще какъ! Конечно, мнѣ это только показалось...

— Кто такая?..

Не знаю почему, но я чувствовалъ, что краснѣю до ушей...

— Индіянка какая - то, сказывали, а можетъ, татарка... Впрочемъ, не могу знать, потому наше дѣло... извѣстно...

Но я уже не слушалъ, въ чемъ состоитъ его швейцарское дѣло, и вышелъ на улицу, забывъ о своемъ пріятелѣ, забывъ настоящую цѣль моего посѣщенія.

А вѣдь могъ - же я днемъ раньше прійти сюда, ну, хоть вчера еще вечеромъ, могъ-же вѣдь... собирался даже...

«Индіянка, а можетъ быть, татарка»—вотъ и всѣ свѣдѣнія, которыя я могъ собрать объ ней, объ этой тигрицѣ, я ее не могу называть иначе. Развѣ написать Наземову, мы когда-то были съ нимъ хороши... Да гдѣ онъ теперь?.. Уѣхалъ въ Москву... Москва велика, тамъ онъ былъ навѣрное проѣздомъ. Конечно, разузнать можно: стоитъ только поѣхать въ главный штабъ, похлопотать, справиться... но только изъ-за чего бѣсноваться, ради какой именно цѣли?..

Вотъ это-то «изъ - за чего» и пришло мнѣ въ голову на

другой же день послѣ моего визита въ «Hotel-de Paris», а мало по малу, даже очень скоро, изгладились и слѣды впечатлѣнія, произведеннаго на меня этою женщиною. Я даже сталъ приписывать все случившееся со мною исключительно нервному раздраженію, моей временной болѣзни, усиливающей въ данную минуту мою впечатлительность.

Прошло года два.

Мнѣ снова пришлось ѣхать въ среднюю Азію. Я назначенъ былъ членомъ ученой Аму-дарьинской экспедиціи, цѣль которой была изслѣдованіе и изученіе дельты этой рѣки, имѣющей такое важное значеніе для внутренней азіятской торговли...

Я съ удовольствіемъ принялъ приглашеніе участвовать въ этой экспедиціи. Сборы мои были не долги, и, спустя девять дней по выѣздѣ моемъ изъ Петербурга, я уже сѣлъ въ почтовый тарантасъ, на рубежѣ, гдѣ кончаются желѣзно-дорожные и пароходные пути сообщенія, продукты новѣйшей цивилизаціи.

Настоящее путешествіе именно съ этой минуты только и начинается. Васъ уже не везутъ по заранѣе установленному маршруту, съ разсчитаннымъ чуть не съ минутною точностію, временемъ,—какъ какой нибудь тюкъ съ товаромъ. Вы теперь уже ѣдете сами, располагаете, какъ угодно, своимъ временемъ, чувствуете себя свободнымъ, а не связаннымъ по рукамъ и ногамъ, зависящимъ отъ колокольчика сторожа, шаловливаго, словно подсмѣивающагося надъ вашей немощностью свистка кондуктора и болѣе солиднаго, рѣжущаго ухо свистка паровой машины.

Передъ вами не мелькаютъ уже разрозненные клочки пейзажа въ узкихъ окнахъ вагона, отъ которыхъ рябитъ въ глазахъ... нѣтъ, справа и слѣва разстилаются теперь привольныя картины степей; грудь ваша свободно и легко дышетъ чистымъ воздухомъ, а не чернымъ дымомъ каменнаго угля, или вонючимъ чадомъ накалившихся металлическихъ частей машины.

Теперь вы можете смѣло вынуть изъ чемодановъ ваши записныя книжки и альбомы и заносить въ нихъ свои путевыя впечатлѣнія. Вы избавлены отъ необходимости ограничиваться только бѣглыми замѣтками, связь которыхъ часто теряется, дѣлая ихъ совершенно безполезными...

Вы теперь только живете полною жизнью путешественника—и понимаете, почему истые любители этой жизни съ такимъ отвращеніемъ относятся къ рельсамъ и душнымъ, тѣснымъ клѣткамъ-вагонамъ.

Стемнѣло, когда я подъѣзжалъ къ станціи Кара-сай... Сѣрыя тучи еще съ полудня заволокли все небо, надоѣдливо моросилъ мелкій дождь, и холодный вѣтеръ пронизывалъ меня насквозь, несмотря на теплое пальто и непромокаемый плащъ съ капюшономъ.

Перегонъ былъ великъ, лошади утомились и еле переставляли ноги, шлепая некованными копытами по жидкой грязи размякшей дороги. Ямщикъ киргизъ съежился подъ своимъ верблюжьимъ халатомъ, нахлобучилъ на глаза мохнатый, намокшій малахай и, казалось, дремалъ, распустивъ веревочныя возжи...

Мы тащились почти шагомъ; тарантасъ покачивался изъ стороны въ сторону и уныло скрипѣлъ, въ тонъ разыгравшейся непогодѣ.

Тишина и безлюдіе царствовали кругомъ, только вправо, невдалекѣ отъ дороги, виднѣлись какія-то темныя, горбатыя массы... Эти массы медленно двигались одна за другою, меланхолически гудя подвѣшанными подъ шеи колокольчиками;—это былъ запоздалый караванъ, непоспѣвшій засвѣтло къ мѣсту ночлега.

Дальше, почти на горизонтѣ, сквозь туманную мглу моросившаго дождя, мигало пятнистое, красноватое зарево; тамъ, должно быть, расположился киргизскій аулъ, а, можетъ быть, бивакировалъ такой же караванъ, какъ и тотъ, что мы сейчасъ обгоняемъ.

— Близко станція?—спросилъ я ямщика.

— Мона-джакымъ! (вонъ-близко)—отвѣчалъ тотъ, высвободилъ изъ подъ халата руку съ нагайкою и ткнулъ ею для ясности впередъ, по направленію дороги.

И дѣйствительно, было близко. Я слышалъ, какъ бурлила впереди расходившаяся отъ весеннихъ дождей рѣчка «Карасай»... Не смотря на темноту, я уже узнавалъ окрестную мѣстность... я видѣлъ черный гребень крутаго скалистаго обрыва Карасайскаго оврага... Мы должны подъѣхать къ нему—вплотную, потомъ повернуть вправо, обогнуть излучину, въ концѣ

которой устроенъ былъ спускъ—зигзагомъ, воспользоваться этимъ спускомъ, вбродъ перебраться черезъ рѣчку—и затѣмъ уже...

Впрочемъ, я слышалъ, что, со времени моей послѣдней поѣздки, станцію перенесли съ того берега на этотъ, значитъ, рискованная переправа предстояла мнѣ уже послѣ благодатнаго отдыха въ станціонной комнатѣ, съ теплою печью, съ привѣтливо кипящимъ самоваромъ, со всѣми благами, цѣнность и значеніе которыхъ незнакомы, невѣдомы домосѣду горожанину, за то слишкомъ хорошо извѣстны намъ, путешественникамъ...

А вотъ и станція.

Черный силуэтъ приземистаго домика ясно обрисовался во мракѣ. Окна его были освѣщены, и длинныя, дрожащія полосы свѣта тянулись, отраженныя въ дождевыхъ лужахъ. Вдоль камышевой изгороди двигался фонарь, освѣщая — то усталую конскую морду, то холщевую кибитку, то забранныя кверху оглобли повозки... Баба въ сарафанѣ, въ накинутомъ на плечи полушубкѣ, раздувала самоваръ на крыльцѣ, брякая прогорѣвшею желѣзною трубою: около нея вертѣлась паршивая, намокшая, озябшая собаченка, вздрагивая при каждомъ фейерверкѣ искръ, разносившихся изъ-подъ самовара.

Мимо насъ, сломя голову, проскакалъ киргизенокъ, верхомъ на неосѣдланной лошади, обдавъ насъ при этомъ грязью изъ подъ копытъ своей лошаденки.

Передъ крыльцомъ стоялъ чей-то тарантасъ, давно уже распряженный; темная фигура, взобравшись на его подножку, доставала какія-то вещи изъ глубины повозки.

— Зачимъ на дорога сталъ...Гей!..—крикнулъ мой ямщикъ— Нинада на дорога стоять... Тпру!.. Эй, Рустемъ - бай!..

— Ого!—отвѣтилъ откуда-то, изъ нѣдръ мрачнаго навѣса, должно быть, самъ Рустемъ-Бай...

— Ночевать будете, ваше благородіе?—подошелъ къ моему экипажу казакъ урядникъ, смотритель станціи.

— А что?

— Да на счетъ переправы опасность имѣется, великая прибыль воды, какъ бы чего... Вчера вотъ генеральшу переправляли, такъ очень подмочили, жаловаться по пріѣздѣ хотѣли... И такъ какъ мы въ этомъ дѣлѣ ни въ чемъ невиноваты...

— Есть кто нибудь на станціи?..—прервалъ я сообщенія урядника.

— Двое ночуютъ. Осторожнѣе, ваше благородіе — здѣсь топко... извольте нащупать дощечку... Эй, косоглазый чортъ! Свѣти сюда фонаремъ... Валетка, цыцъ! Чего рычишь!.. Пожалуйте!

Я съ удовольствіемъ вылѣзъ изъ телѣги, расправилъ свои онѣмѣвшіе отъ долгаго сидѣнья члены и взошелъ въ сѣни.

Пріятная теплота охватила меня сразу... Съ правой стороны пахло свѣже-испеченымъ хлѣбомъ, съ лѣвой—только-что смазанными дегтемъ хомутами...

Казакъ-урядникъ ловко распахнулъ дверь въ станціонную комнату; яркій, ослѣпительный свѣтъ заставилъ меня въ первую секунду зажмуриться... я переступилъ порогъ.

Чисто выбѣленныя стѣны и потолокъ комнаты усиливали освѣщеніе, громадная печь съ лежанкою занимала чуть не треть всего помѣщенія, на этой лежанкѣ, навзничь, растянувшись во весь ростъ, лежалъ толстый купецъ, съ окладистою рыжею бородою, и, должно быть, спалъ, потому что его распухшій, багровый носъ выводилъ самыя разнообразныя, неожиданныя трели... Вдоль стѣнъ стояли неизбѣжные диваны, обитые побурѣвшей, заласнившейся кожею; между окопъ — столъ, покрытый клеенкою, на столѣ самоваръ, отпертый погребецъ, бумажный свертокъ съ какимъ-то съѣстнымъ дорожнымъ запасомъ,—изъ-за этого свертка торчало горлышко бутылки и еще какой-то металлической посудины.

На окнѣ, около, лежалъ снятый съ пояса револьверъ въ кобурѣ со шнуромъ, военная фуражка, съ брошенными въ нее перчатками — и большая, пузатая папиросница изъ желтой кожи...

За столомъ сидѣлъ проѣзжій... Я видѣлъ только спину его, въ офицерскомъ пальто безъ погонъ, тонкій ремешокъ дорожной сумочки и затылокъ, гладко остриженный.

Часы на стѣнѣ хрипѣли и постукивали своимъ маятникомъ; по бокамъ висѣли почтовыя правила въ деревянныхъ рамкахъ за стеклами; повыше улыбались, глядя на проѣзжающихъ, два литографированныхъ генерала—и какая-то дама съ розою на головѣ и попугаемъ въ рукахъ... Сѣрый толстый котъ заигрывалъ со шнуркомъ, висящимъ у жалобной книги, засунутой въ щель подоконника.

Когда я взошелъ, проѣзжій за столомъ обернулся.

— Наземовъ! Здравствуй!..—Какими судьбами?..—вскрикнулъ я, увидавъ знакомое лицо.

— Да, давненько-то мы не видѣлись,—проговорилъ полковникъ и протянулъ мнѣ руку.—Ты куда?..

Я сказалъ...

— Ну, вотъ и прекрасно... Я тоже въ ту сторону; получилъ командировку... Надоѣло было,—думалъ совсѣмъ бросить эти края, да тянетъ! — Что подѣлаешь?... Ну, что, какъ ты поживаешь?.. Демьянъ, убери вещи со стула... Ну!.. Ну, что вертишься!.. Положи ихъ вонъ тамъ, хоть на лавку!.. Осторожнѣе, медвѣдь косолапый! Садись, пожалуйста. Чаю не прикажешь-ли? Да таки давненько, таки давненько...

Полковникъ говорилъ какъ-то странно... Хотя онъ и покрикивалъ на своего неловкаго деньщика, видимо, старался балагурить, но это все у него не выходило: въ нотахъ его голоса слышалось что-то натянутое...

— Ну, а какъ давненько?..—началъ было я, пристально разсматривая лицо собесѣдника.

— Да лѣтъ пять, пожалуй!—Послѣдній разъ—въ Казалинскѣ... или, то бишь...

— Мнѣ кажется... года два, не больше... Въ Петербургѣ... Я тогда, положимъ, не успѣлъ..

— Да, да, я былъ...—прервалъ меня сухо Наземовъ...—Я тебя тоже тогда не видалъ... да... Рому наливай въ чай больше... это хорошій... взялъ я еще въ Оренбургѣ у Ладогиной купчихи... четыре бутылки выпилъ уже дорогою, еще столько-же осталось. До мѣста, я думаю, хватитъ. Теперь уже недалеко...

Наземовъ перебилъ меня, очевидно, не безъ умысла... Догадаться объ этомъ было нетрудно... Я налилъ себѣ въ стаканъ изъ его бутылки и перемѣнилъ тему разговора.

Я познакомился съ нимъ уже давно. Года три подъ-рядъ намъ пришлось прослужить вмѣстѣ, въ одномъ отрядѣ. Походная, боевая жизнь, также какъ и путешествія, чрезвычайно способствуетъ сближенію людей; какъ говорится, *на ты* переходятъ чуть ли не съ первой встрѣчи; такъ случилось и между нами...

Я помню, какъ въ одной изъ стычекъ, кажется подъ Кара-Тюбе, я съ своею ротою пробивался сквозь густыя заросли, раскинувшіяся по берегамъ горнаго ручья. Позиція наша

была невыгодная, непріятель превышалъ насъ значительно числомъ... изъ-за каждаго куста, изо всякой разсѣлины скалистаго берега летѣли на насъ маленькія пульки азіатскихъ мултуковъ, а мы имъ отвѣчать не могли,—по крайней мѣрѣ, это было бы совершенно безполезно, пока мы не выбрались еще на открытое мѣсто...

За довольно пологою возвышенностью, пересѣченной по всѣмъ направленіямъ арыками и водомоинами, намъ не было видно, что такое происходитъ по ту сторону. Мы слышали только въ той сторонѣ знакомые выстрѣлы казачьихъ винтовокъ, рѣзко отличавшіеся своимъ звукомъ отъ безпорядочной пальбы непріятеля... Я шелъ на эти выстрѣлы.

Но вотъ они стали все рѣже и рѣже, вотъ почти совсѣмъ прекратились... Гиканье и торжествующіе возгласы горцевъ ясно указывали, что дѣло для нашихъ стало худо... Я торопился, сколько могъ, на выручку,—люди мои почти задыхались... Наконецъ, моя рота выбралась на просторъ, и все разъяснилось.

— Капитанъ,—подъѣхалъ ко мнѣ въ эту минуту казачій офицеръ,—тамъ моя сотня. Патроны всѣ разстрѣляли... Насѣдаютъ, дьяволы, страсть! Пугни-ко ихъ, пока я отведу подъ гору своихъ ребятишекъ!

Я въ первый разъ видѣлъ этого офицера и нисколько не озадачился этою фамильярностью—и словомъ ты.

— Сейчасъ *пугну*, отводи *ребятишекъ*... — отвѣтилъ я ему и невольно улыбнулся...

— Да, братъ, приперли!.. — улыбнулся въ свою очередь казакъ и поѣхалъ опять къ своимъ «ребятишкамъ».

Дѣло кончилось.—На ночлегѣ мы снова сошлись въ ставкѣ отряднаго начальника; казакъ пробрался ко мнѣ сквозь толпу офицеровъ и протянулъ руку.

— Спасибо, капитанъ, выручили во время!—началъ онъ.

— Не выручили, а выручилъ!—поправилъ я его.

— Вѣрно!—расхохотался казакъ.—Пойдемъ-ко къ столу—выпьемъ оба-два—вмѣстѣ...

И съ тѣхъ поръ мы, незнакомые вовсе другъ другу, стали самыми короткими пріятелями...

Не разъ съ тѣхъ поръ приходилось намъ взаимно оказывать подобныя боевыя услуги... наша дружба все росла и росла. Когда я, раненый подъ Ургутомъ, пролежалъ чуть не мѣсяцъ

въ походномъ лазаретѣ, Наземовъ почти не отъѣзжалъ отъ моей фуры и кончилъ тѣмъ, что отыскалъ гдѣ-то въ горномъ кишлакѣ туземца-знахаря, оказавшагося болѣе опытнымъ исцѣлителемъ ранъ, чѣмъ наши мундирные, патентованные эскулапы.

Впослѣдствіи обстоятельства перемѣнились: мнѣ надо было ѣхать обратно въ Россію, онъ остался. Между нами легло пространство въ нѣсколько тысячъ верстъ, время шло и шло своимъ чередомъ,—а съ нимъ накоплялись все новыя и новыя впечатлѣнія, вытѣсняя мало-по-малу прежнія, изглаживая ихъ изъ памяти... Перепискою мы не занимались, находя это совершенно безполезною тратою времени, и, что мудренаго, — совсѣмъ бы не вспомнили другъ о другѣ, еслибъ судьба не послала мнѣ этого напоминанія, въ видѣ забытой надписи на доскѣ Hotel-de-Paris и сегодняшней случайной встрѣчи — на Кара-Сайской станціи.

Я разсматривалъ пристально своего собесѣдника. Какъ сильно измѣнился онъ съ тѣхъ поръ, какъ я его послѣдній разъ видѣлъ на проводахъ «*въ русскомъ домикѣ*», на десятой верстѣ отъ Ташкента!

Я помню его здоровымъ, краснощекимъ, вѣчно веселымъ молодцомъ, съ блестящими, выразительными глазами, — теперь же передо мною сидѣлъ почти старикъ. Онъ былъ блѣденъ, румянецъ исчезъ съ его щекъ, на лбу протянулись замѣтныя морщины, надъ бровями образовалась суровая складка; да и глаза сами глядѣли какъ-то задумчиво сосредоточенно, словно его вѣчно занимала какая-нибудь затаенная мысль, не покидавшая его ни на минуту. Въ его густой окладистой бородѣ серебрилась весьма замѣтная просѣдь; —усы, которые онъ прежде такъ лихо носилъ, закручивая ихъ не безъ помощи венгерской помады,—висѣли теперь неряшливо, закрывая собою всю верхнюю губу...

Самая манера его держаться прямо измѣнилась въ какую-то усталую, лѣнивую сутуловатость... Онъ, видимо, одряхлѣлъ, или же только что всталъ съ постели—послѣ тяжелой, долговременной, изнурительной болѣзни.

Въ какія-нибудь пять лѣтъ—такъ измѣниться невозможно!

Я не выдержалъ и сообщилъ ему это замѣчаніе...

— Да, ты правъ,—отвѣчалъ онъ:—я постарѣлъ разомъ, и очень недавно... это было... А вѣдь намъ ночевать здѣсь

придется... Вотъ урядникъ говоритъ: ночью опасно. Что же, подождемъ свѣту...

— Что бы это такое съ нимъ было?... — подумалъ я, невольно вспоминая о женщинѣ въ ложѣ, связывая *„это было“* именно съ этою женщиною.

Я рѣшилъ не приставать къ нему съ разспросами, разсчитывая, что со временемъ онъ самъ выскажется — и, сдѣлавъ видъ, что вовсе не замѣтилъ его рѣзкаго перехода, проговорилъ:

— Да, говорятъ, Кара-Сай бурлитъ шибко, значительно изъ береговъ вышелъ: пожалуй, и вправду опасно...

— Генеральшу подмочили,—показался въ дверяхъ станціонной урядникъ:—чуть было совсѣмъ не утопили. Сила просто воды валитъ, совладать невозможно: тарантасъ высокій,— какъ подшибло его съ боку волною!.. Не удержали-бы ребята на арканахъ, такъ бы и перевернулся кверху колесами...

— Опасно—усмѣхнулся Наземовъ,—а помнишь, какъ мы съ тобою, черезъ Нарынъ, въ іюльское половодье, верхомъ,— переправлялись? Тогда, небось, не обращали вниманія на подобныя мелочи... Демьянъ, разставляй койку...

Я велѣлъ тоже застлать моимъ ковромъ станціонный диванъ съ подозрительными трещинами въ кожѣ и сталъ раздѣваться...

— О, Господи, помилуй!—промычалъ въ просонкахъ купецъ на лежанкѣ и грузно повернулся на другой бокъ...

— А свѣчей не туши, пусть всю ночь горятъ!—распорядился Наземовъ и протянулъ дожидающемуся Демьяну свои ноги, въ длинныхъ походныхъ ботфортахъ.

Мы уговорились продолжать остальной путь вмѣстѣ — и замолчали, собираясь уснуть, если это, впрочемъ, удастся...

По крайней мѣрѣ, мои разсчеты на сонъ не сбылись,—и я проворочался до утра, соображая, предполагая и размышляя о томъ, что мнѣ такое разскажетъ мой товарищъ, когда ему придетъ охота высказаться.

А что эта охота рано или поздно придетъ, въ томъ я не сомнѣвался нисколько.

Странныя вещи происходили съ моимъ дорожнымъ товарищемъ! Я уже началъ подозрѣвать: не наложила-бы на него свою печальную руку какая-нибудь душевная болѣзнь; но мои

подозрѣнія каждый разъ разсѣивались, едва только я начиналъ внимательно наблюдать за Наземовымъ, взвѣшивать каждое его слово,—каждое движеніе... Нѣтъ, онъ здоровъ. Его мозгъ въ полной исправности,—онъ только огорченъ чѣмъ-то, и чѣмъ-то такимъ, что до глубины души потрясло всю его здоровую, энергичную натуру. А между тѣмъ...

Разъ встрѣтили мы или, вѣрнѣе сказать, обогнали небольшой киргизскій караванъ, не торговый, а перекочевывающій съ мѣста на мѣсто.

Время стояло такое, когда послѣ весеннихъ, обильныхъ дождей даже самые безплодные пески урочища Кара-кумъ покрываются довольно сносною растительностью. Киргизы пользуются этимъ временемъ и перегоняютъ сюда свои стада, приберегая на лѣто болѣе обильныя луговыя пастбища.

Вотъ этакой-то перекочевывающій караванъ и попался намъ дорогою.

Нѣсколько десятковъ двугорбыхъ верблюдовъ тянулись, навьюченные разобранными кибитками и всякой незатѣйливой рухлядью домашней обстановки номадовъ. На спинахъ животныхъ, поверхъ вьюковъ, сидѣли больше женщины и дѣти. Мужчинъ мало было при караванѣ. Они, вѣроятно, гнали скотъ другими дорогами, а здѣсь шли только ихъ семейства, на мѣсто, гдѣ предполагалось ставить аулы.

На одномъ изъ верблюдовъ, отставшемъ нѣсколько отъ прочихъ, сидѣла еще молодая женщина въ синемъ бумажномъ халатѣ и въ высокомъ бѣломъ тюрбанѣ (джавлукѣ) на головѣ. Киргизка кормила грудью ребенка, завернутаго въ тряпье и мурлыкала какую-то монотонную, своеобразную пѣсню, такъ идущую къ монотонному-же шагу верблюда, какъ наша волжская «дубинка»—къ мѣрному шагу бурлаковъ, лямошниковъ.

Звонъ нашего колокольчика почему-то испугалъ дикарку; она боязливо оглянулась, отняла ребенка отъ груди и торопливо стала укладывать его въ одну изъ висящихъ сбоку ковровыхъ торбъ (коржуновъ).

Заглядѣлась-ли она на насъ, проѣзжихъ, смутилась-ли очень, но только сдѣлала она свое дѣло такъ неудачно, что ребенокъ выскользнулъ у ней изъ рукъ — и скатился внизъ на песокъ.

Паденіе это было совершенно безвредно для киргизенка:

плотно завернутый въ мягкое тряпье,—онъ легко скользнулъ по вьюку, такъ что настоящее-то паденіе было не болѣе полутора аршина, и вдобавокъ прямо въ рыхлый, сыпучій песокъ, чуть не по колѣно глубиною... ребенокъ даже не вскрикнулъ.

Надо было видѣть, что сдѣлалось въ ту минуту съ Наземовымъ. Испустивъ почти нечеловѣческій, полный тоски и отчаянія вопль, онъ стремительно выскочилъ изъ тарантаса и бросился къ утопавшему ребенку.

— Боже мой! Опять... какое несчастіе!..—бормоталъ онъ, поднявъ дитя и передавая смущенной матери. — Онъ живъ еще... да, да... онъ живъ... чего-же онъ не кричитъ?... Зачѣмъ не подаетъ голосу?.. Боже мой!.. Неужели?..

Киргизка подхватила своего ребенка, точно кулекъ какой-нибудь, разсмѣялась, показавъ при этомъ свои превосходные бѣлые зубы, подогнала верблюда, тотъ неуклюжею, раскачивающеюся рысью — пустился нагонять своихъ горбопосыхъ товарищей.

Запыхавшійся, взволнованный, Наземовъ вернулся къ тарантасу; на немъ, что называется, положительно лица не было.

Я недоумѣвалъ: откуда могла явиться въ немъ такая странная, небывалая до сихъ поръ, преувеличенная впечатлительность?

Другой разъ намъ пришлось проѣзжать мимо большого, богатаго аула, раскинувшагося верстахъ въ двухъ, не болѣе, отъ почтовой дороги.

Аулъ занималъ возвышенную мѣстность и былъ видѣнъ, какъ на ладони. Вечерняя тѣнь уже разстилалась по степи, только на вершинѣ бархана горѣли, ярко освѣщенные заходящимъ солнцемъ, фронтоны и полукруглые купола мазарокъ, оригинальныхъ надгробныхъ сооруженій кочевыхъ народовъ.

Аулъ былъ великъ, кибитки разбросаны просторно, съ большими промежутками, въ нихъ и около кипѣла самая оживленная жизнь,—стихающаяя обыкновенно днемъ, въ самый жаръ, зато разгорающаяся къ ночи, когда пригоняютъ со степи стадо кобылъ для дойки, и возвращаются домой рыскавшіе днемъ мужчины.

— Тюра (начальникъ),—обратился къ намъ съ просьбою киргизъ-ямщикъ:—позвольте заѣхать... Мало-мало времени... часъ какой-нибудь, полчаса... позвольте заѣхать... тамъ знакомый одинъ... видать надо. Я, все равно, шибче послѣ поѣду...

Мы не особенно торопились и въ путешествіи, продолжающемся чуть не мѣсяцъ времени, смѣшно дорожить какимъ-нибудь часомъ, даже получасомъ; къ тому-же насъ мучила жажда, а до станціи было еще очень далеко; отчего-же не заѣхать, напиться свѣжаго кумысу, пожалуй, и чаю.

— Позволь, пожалиста...—такъ убѣдительно продолжалъ просить нашъ возница.

— Ну, сворачивай!—кивнулъ головою Наземовъ.

— Я съ удовольствіемъ...—поспѣшилъ и я заявить свое согласіе на остановку.

Мы свернули.

Лошади точно чуяли отдыхъ. Вся тройка въ карьеръ понеслась по ровной степи, и черезъ двѣ-три минуты тарантасъ нашъ уже былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ полуголыми, черномазыми киргизятами, оравшими во все горло, и цѣлою стаею поджарыхъ собакъ, свирѣпо лаявшихъ на незнакомыхъ имъ пришельцевъ.

Мы остановились у одной изъ кибитокъ, побогаче прочихъ съ виду, и вышли изъ экипажа.

Хозяинъ кибитки, должно быть, польщенный нашимъ предпочтеніемъ, высокій старикъ съ выразительнымъ лицемъ чистаго монгольскаго типа, съ рѣденькою, сѣдою бородкою «à la Napoleon»—привѣтливо встрѣтилъ насъ и, высказавъ обычное привѣтствіе, пригласилъ насъ къ себѣ въ кибитку.

Но мы предпочли остаться на чистомъ воздухѣ, и старикъ обязательно распорядился разостлать для насъ большой пестрый, домашней работы коверъ и поставить даже мебель для сидѣнья, что-то въ родѣ приземистыхъ деревянныхъ табуретовъ.

Намъ принесли деревянную чашку съ кумысомъ и собирались даже зарѣзать барана для угощенья, но мы просили не безпокоиться, предваривъ, что гостить у нихъ въ аулѣ будемъ недолго.

Разлегшись на коврѣ, мы были тотчасъ же атакованы ребятишками, которые назойливо лѣзли къ намъ, несмотря на увѣщанье и даже изрядные пинки старшихъ.

Наземовъ что-то развеселился: онъ хохоталъ вмѣстѣ съ дѣтьми, какъ будто самъ сталъ ребенкомъ; онъ ихъ бралъ на руки, ласкалъ и щедрою рукою раздаривалъ имъ свои запасы серебрянной мелочи...

Вдругъ, до нашего слуха достигъ чей-то плачъ. Наземовъ вздрогнулъ и поднялся на ноги... онъ сталъ внимательно прислушиваться.

— Что это?—спросилъ онъ какимъ-то глухимъ голосомъ, будто давился своимъ вопросомъ: гдѣ это плачутъ? Что случилось?..

Намъ сообщили, что въ одномъ семействѣ, вонъ именно въ той кибиткѣ, что до половины только виднѣлась изъ-за пригорка, сегодня въ полдень умеръ ребенокъ, такъ вотъ теперь собрались родные, по обычаю, поплакать надъ покойникомъ

Наземовъ тотчасъ же пошелъ туда, я послѣдовалъ за нимъ; насъ провожала густая толпа; нѣкоторые побѣжали впередъ, должно быть, предупредить хозяевъ.

Посреди кибитки, на войлокѣ, закрытый съ головою кускомъ бѣлой бумажной матеріи, лежалъ маленькій трупикъ. Вокругъ него сидѣли на корточкахъ десятка два женщинъ, преимущественно пожилыхъ, и причитали что-то, раскачиваясь въ тактъ напѣва.

Мой товарищъ прямо подошелъ къ покойнику и сдернулъ покрывало. Одна изъ моихъ старухъ попыталась было препятствовать—онъ ее грубо оттолкнулъ.

— Кой (оставь)! — сказалъ ей одинъ изъ киргизовъ: — Тюра — хорошій человѣкъ, онъ добрый, онъ зла не хочетъ, оставь, ханымъ (женщина)!

Наземовъ пристально сталъ разсматривать крохотное, посинѣлое тѣльце умершаго, онъ даже руками его ощупалъ. Особенно внимательно изслѣдовалъ онъ грудь и шею покойника.

— Зачѣмъ эти пятна... откуда эти пятна?—цѣдилъ онъ сквозь зубы...—Кто его мать? Покажите мнѣ сейчасъ мать!..

Ему указали на одну изъ женщинъ, закрывшую свое лицо холстомъ.

Наземовъ протянулъ руку, какъ будто съ намѣреніемъ открыть ея лицо, но удержался, нагнулся еще разъ къ ребенку, крѣпко поцѣловалъ его въ лобъ и сунулъ въ руку матери какую-то бумажку...

Я зашелъ съ той стороны, откуда можно было видѣть его лицо. Я былъ пораженъ: крупная слеза катилась у него изъ глазъ; въ этихъ глазахъ выражалось столько грусти, что, глядя на него даже, мужчины принялись отирать свои глаза рука-

вами халатовъ, а женщины подняли такой заунывный вой, что я не выдержалъ и поспѣшилъ выйдти изъ душной кибитки на свѣжій вечерній воздухъ.

Наземовъ вышелъ тоже и крикнулъ ямщику, чтобы давалъ лошадей. Онъ, видимо, съ трудомъ сдерживалъ свои слезы, его грудь высоко поднималась, руки слегка дрожали, точно у лихорадочнаго.

— Урусъ якши! Урусъ добрый! Урусъ самъ отецъ, должно—быть!—доносились съ разныхъ сторонъ замѣчанія, по поводу всего происшедшаго.

Товарищъ мой не выдержалъ, вскочилъ въ тарантасъ и крикнулъ ямщику:—Пошелъ! Гони проворнѣе!

Мы снова понеслись во всю прыть лошадей, также, какъ и подъѣхали.

Еще два-три подобныхъ-же случая убѣдили меня, наконецъ, что спутникъ мой одержимъ какой-то маніей, что манія эта тѣсно связана съ ребенкомъ или, вѣрнѣе, со смертью ребенка...

Я былъ заинтересованъ до-нельзя, но все-таки терпѣливо дожидался случая, который-бы развязалъ Наземову языкъ и заставилъ-бы его высказаться.

И дѣйствительно, случай этотъ, хотя не скоро, однако представился.

Вотъ уже слишкомъ мѣсяцъ прошло времени, какъ всѣ члены экспедиціи собрались на мѣсто. Работы по изслѣдованію мѣстности были распредѣлены. Дѣло наше находилось въ полномъ разгарѣ.

По послѣднему договору съ Хивою, мы владѣли правымъ берегомъ Аму-Дарьи, начиная отъ Бухарскихъ предѣловъ, внизъ до самаго устья, и всею дельтою, крайній, лѣвый рукавъ которой, «Талдыкъ», протекалъ по землямъ, занятымъ тюркменскими становищами.

Политическое положеніе дѣлъ было таково, что хотя мы, т. е. члены экспедиціи, и могли разсчитывать на покровительственное, дружеское расположеніе хана Сеидъ-Рахима-Богодура, то никакъ уже не могли разсчитывать на то же со стороны полудикихъ, независимыхъ тюркменскихъ родовъ, не скрывавшихъ явнаго къ намъ, враждебнаго настроенія.

Страхъ только силы нашихъ батальоновъ сдерживалъ этихъ хищниковъ въ предѣлахъ относительнаго повиновенія; но зато

они пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ, — гдѣ только они не рисковали встрѣтиться съ значительнымъ числомъ «акъ-кульмакъ» (бѣлыхъ рубахъ), какъ они называли нашихъ солдатъ, по цвѣту ихъ костюмовъ.

Маленькія партіи нашихъ топографовъ должны были держать, что называется, ухо востро и соблюдать всѣ мѣры боевой осторожности, во время производства работъ, особенно на стоянкахъ и ночлегахъ.

Намъ, членамъ экспедиціи, было положительно запрещено держаться вблизи враждебныхъ береговъ, особенно высаживаться на эти берега безъ крайней надобности въ подобной высадкѣ, тѣмъ болѣе, что намъ донесли уже лазутчики о шайкахъ тюркменъ, узнавшихъ о нашихъ разрозненныхъ партіяхъ и спеціально снарядившихся съ цѣлью мѣшать нашимъ работамъ и ловить зазѣвавшихся изслѣдователей...

— «Тамъ теперь бродятъ странные люди, — говорилось въ тюркменскихъ становищахъ.—Эти люди бродятъ по нашимъ землямъ и плаваютъ по нашимъ рѣкамъ. Они все вымѣряютъ, смотрятъ на небо въ длинныя трубы, должно быть, наши звѣзды считаютъ, они все, что видятъ глазами, все, что слышатъ ушами, все это на бумагу списываютъ. Имъ до всего есть дѣло: и какая птица у насъ водится, и какой звѣрь въ нашихъ камышахъ джунгляхъ рыскаетъ, и какая рыба въ водахъ нашихъ плаваетъ... Бродятъ эти люди любопытные по одиночкѣ, по два и по три: ихъ легко можно переловить и перерѣзать, а это будетъ для насъ полезно, потому что, если мы дадимъ имъ работу ихъ кончить, то на ихъ мѣсто, послѣ, придутъ солдаты и тогда уже будетъ поздно... Мы знаемъ, что передъ тѣмъ, какъ приходить солдатамъ съ пушками, всегда вотъ такіе люди появляются съ своими мѣдными трубами со стеклами».

Такое-то мнѣніе о насъ разносилось изъ становища въ становище, и мы рисковали ежеминутно попасть въ какую-нибудь западню, разставленную для насъ хитрыми и на этотъ счетъ весьма изобрѣтательными дикарями.

Моя партія состояла всего изъ пяти человѣкъ: — я самъ, мой слуга-киргизъ, нанятый мною еще въ Казалинскѣ, двое каракалпаковъ изъ Чимбая—каикчей, т. е. лодочниковъ — и

нятымъ, какъ волонтеръ, пристроился Наземовъ, выхлопотавшій себѣ право участвовать въ работахъ экспедиціи.

Трое изъ насъ — я, мой слуга и Наземовъ были хорошо вооружены:—у каждаго насъ былъ карабинъ Бердана и охотничье двухствольное ружье, кромѣ того, револьверы «Смитъ-Вессона»,—бьющіе далеко и превосходно. Каракалпаки-каикчи были почти безоружны: кромѣ веселъ и шестовъ съ крюками, необходимыхъ для управленія лодкою, у нихъ не было ничего, да мы и не рѣшились бы довѣрить имъ оружіе, потому что, несмотря на ненависть ихъ къ тюркменамъ,—къ намъ, русскимъ, они относились тоже не очень-то дружелюбно и вовсе не довѣряли нашимъ благимъ намѣреніямъ, о которыхъ такъ много упоминалось въ различныхъ приказахъ и губернаторскихъ прокламаціяхъ къ народу.

Я выбралъ прекрасный каикъ, длиною почти въ двѣнадцать аршинъ, и притомъ узкій, съ зостренными одинаково кормою и носовою частью. Подобнаго рода лодки скоры на ходу, даже противъ теченія, мелко сидятъ, — такъ что достаточно для ихъ прохода, если глубина воды не превышаетъ даже трехъ четвертей аршина, а главное,—превосходно прорѣзываютъ густыя, камышевыя заросли, занимающія сплошною, почти непроницаемою чащею большую часть воднаго пространства дельты.

Я купилъ эту лодку въ Чимбаѣ и тамъ же нанялъ своихъ каракалпаковъ. Эти смуглые, почти черные атлеты, въ громадныхъ косматыхъ бараньихъ шапкахъ и въ затасканныхъ, когда - то бѣлыхъ, рубахахъ, менѣе чѣмъ въ сутки отлично приспособили мою лодку къ продолжительному плаванію. Они ее снова проконопатили, устроили надъ среднею частью навѣсъ изъ гибкихъ прутьевъ и обтянули его толстою холстиною; дно лодки устлали молодымъ камышемъ, сложили на носовой части маленькую глинобитную печь со вмазаннымъ въ нее чугуннымъ котломъ.

И когда мы перетаскали въ нашъ каикъ инструменты, оружіе и свои чемоданы, то онъ превратился въ очень удобный, хотя и оригинальный, рабочій кабинетъ, съ тою разницею, что кабинетъ этотъ былъ пловучій и могъ, по нашему произволу, легко и скоро мѣнять свое мѣсто.

Мы запаслись также чаемъ, виномъ, консервами, кое-какими

необходимѣйшими медикаментами, и въ одно прекрасное утро тронулись въ путь, отчаливъ отъ Чимбайскаго моста и потянувшись на лямкахъ, пока мы не подымемся вверхъ по теченію протока Кигейли, отъ начала котораго намъ предстояли уже наши гидрографическія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, этнографическія работы.

Дня черезъ три мы уже окончили скучное и медленное плаваніе на лямкахъ,—плаваніе, въ которомъ досталось таки порядкомъ мускулистымъ ногамъ нашихъ каракалпаковъ, были уже въ просторныхъ водахъ Куваннъ-Джіармы, гдѣ и опредѣлили исходную точку нашихъ будущихъ работъ.

Полковникъ усердно помогалъ мнѣ въ занятіяхъ и чуть не съ перваго же раза отлично примѣнился къ практическимъ пріемамъ, такъ что съ его помощью я смѣло разсчитывалъ въ мѣсяцъ съ небольшимъ покончить свою урочную работу въ этихъ водахъ.

Черезъ недѣлю мы уже входили въ крайній, лѣвый рукавъ дельты, въ Тальдыкъ, придерживаясь, болѣе безопаснаго для насъ, праваго берега протока.

Іюнь мѣсяцъ стоялъ сухой и жаркій. Это самый непріятный изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ въ этой мѣстности. Воздухъ тяжелъ и удушливъ, сгустившіяся испаренія висятъ надъ водою сплошнымъ, сѣроватымъ туманомъ; небо теряетъ свой голубой цвѣтъ, и раскаленное, свинцовое, пышетъ жаромъ, разслабляющимъ человѣка, отнимающимъ у него силу и энергію.

Къ довершенію этой непріятности, миріады комаровъ не даютъ вамъ покою ни днемъ, ни ночью, даже на срединѣ рѣки, въ совершенно открытыхъ мѣстахъ, и тутъ носятся они сплошными, звенящими облаками, а тамъ, у береговъ, въ заросляхъ, эти невыносимыя, надоѣдливыя насѣкомыя не даютъ вамъ свободно дышать, не даютъ хотя-бы на минуту забыться сномъ, такъ необходимымъ послѣ изнурительнаго двадцати-часового дня.

Мы спасались отъ комаровъ, и то кое-какъ, забившись подъ навѣсъ каика, закупоривъ въ немъ мельчайшія отверстія; днемъ, во время работы, наши густыя вуали и толстыя замшевыя перчатки до локтей, почти не помогали; наши же каракалпаки, почти голые, вымазанные съ ногъ до головы

толстымъ слоемъ вонючаго жира, казалось, нисколько не страдали отъ этихъ ненасытныхъ кусакъ и словно подсмѣивались надъ нашею цивилизованною немощностью.

Прежде, находясь въ болѣе безопасныхъ мѣстахъ, мы, пользуясь всякою остановкою, разводили кругомъ большіе костры-дымокуры, истребляя во множествѣ молодые побѣги камыша и всякаго сырья, дающаго побольше дыму. Это значительно облегчало наше положеніе; но теперь мы были лишены подобной защиты.

Мы должны были принять всевозможныя мѣры къ сохраненію своего инкогнито въ этихъ негостепріимныхъ водахъ, а огонь нашихъ костровъ, естественно, привлекъ бы на себя вниманіе обитателей лѣваго берега и открылъ бы имъ наше присутствіе.

Только днемъ мы могли иногда пользоваться огнемъ и то самымъ маленькимъ, необходимымъ только для приготовленія пищи. Въ палящій зной, когда раскаленная, дрожащая мгла туманитъ горизонтъ, трудно даже опытному глазу замѣтить тонкую струйку голубоватаго дыма, поднимающагося надъ нашею походною кухнею. Ночью же это было бы болѣе чѣмъ неблагоразумнымъ, и намъ приходилось бодрствовать и терпѣливо дожидаться восхода солнца, разгонявшаго хотя нѣсколько несмѣтныя комариныя полчища.

Работы наши мы производили большею частью ночью, пользуясь кратковременною четырехъ-часовою темнотою, особенно тогда, когда приходилось проплывать открытыми пространствами.

Наземовъ, лежа на носовой части, почти не возвышаясь надъ бортами каика, дѣлалъ промѣры глубины лотомъ и отмѣчалъ въ таблеткахъ полученныя цифры. Я, съ помощію бусоли Шмалькальдера, замѣчалъ румбы поворотовъ рѣки и чертилъ на глазъ карту береговъ и направленіе теченія, дѣлая на поляхъ нужныя замѣтки.

Если-бы кто-нибудь съ берега могъ видѣть насъ, то ему представлялась-бы слѣдующая картина: плыветъ какой-то маленькій каикъ, по виду ничѣмъ не отличающійся отъ прочихъ туземныхъ каиковъ, посѣщающихъ эти воды. На кормѣ сидитъ полуголый каракалпакъ и правитъ рулемъ-лопатою, на носу тоже подобная же фигура съ шестомъ; что-то еще копошится

на днѣ лодки,—больше ничего. Все это были такія обыкновенныя вещи, которыя не могли-бы привлечь вниманія недруговъ... Можетъ быть, благодаря этому именно обстоятельству, мы и производили наши работы пока безпрепятственно.

Вчера появился молодой серпъ луны. Это отчасти удобно для насъ, отчасти нѣтъ. Лунныя ночи въ этой мѣстности блещутъ особымъ яркимъ фосфорическимъ свѣтомъ. Въ такія ночи можно читать даже безъ огня, и далеко видны окрестные предметы.

Слуга мой, киргизъ Аманджулъ, шепнулъ мнѣ сегодня, чтобъ я присматривалъ за каракалпаками: онъ замѣтилъ что-то подозрительное въ ихъ перешептываніи — жаль, что мы плохо понимаемъ ихъ гортанное пѣвучее нарѣчіе.

— И на кой чортъ только мы ихъ взяли съ собою?—досадливо проворчалъ мой товарищъ.—Сами бы могли съ этою лодченкою справиться, а то-бы солдатишекъ прихватили пару...

Но въ томъ-то и дѣло, что, отправляясь въ наше рискованное плаваніе, я не рѣшился брать съ собою солдатъ, чтобы не подвергать ихъ опасности, тѣмъ болѣе, что поѣздка эта и не входила въ программу нашей экспедиціи, а составляла, такъ сказать, роскошь, и если я рисковалъ, ради этой научной роскоши, своею головою, то совѣсть моя не позволяла подвергать тому же риску безотвѣтныя солдатскія головы. Что же касается полковника и моего слуги, то вольному воля! Первый ѣхалъ по своей охотѣ, второй получалъ отъ меня жалованье, зналъ, куда онъ ѣдетъ и на что можетъ разсчитывать.

Однажды утромъ, только что сталъ брезжить на горизонтѣ золотистый свѣтъ утренней зари, меня разбудилъ мой Аманджулъ-слуга. Наземовъ тоже проснулся и, нагнувшись черезъ бортъ, прыскалъ себѣ въ лицо водою.

— Тюра,—шепотомъ произнесъ киргизъ, ломая немилосердно русскій языкъ,—тюра, дѣло—джаманъ (худо)... совсѣмъ джаманъ дѣло... собака убѣжалъ одинъ...

— Про какую собаку ты говоришь?—спросилъ я.—Кто такой убѣжалъ?

— Каикчи одинъ убѣжалъ... Спать легъ Аманджулка, било два чиловѣка, проснулся Аманджулка — одинъ чиловѣкъ сталъ. Убижалъ собака... ночью убѣжалъ... худо будетъ!

Я сообразилъ, въ чемъ дѣло.

Одного изъ каракалпаковъ-каикчей дѣйствительно не было на лицо; другой же угрюмо сидѣлъ у печки, отвернувшись отъ насъ и ковыряя камышинкою въ остывшей золѣ. Онъ даже не обернулся на первый окликъ вполголоса, сдѣлавъ видъ, что не разслышалъ его... Дикарь былъ, видимо, смущенъ и какъ будто растерянъ...

Его допросили тотчасъ-же, пригрозивъ, что, въ случаѣ неправды, его пристрѣлятъ немедленно.

Запинаясь и путаясь въ словахъ, онъ разсказалъ намъ, что товарищъ его, когда стемнѣло, полѣзъ въ воду купаться, забрался вонъ въ тѣ камыши и больше уже не возвращался... «Умеръ: должно быть, рыба большая его съѣла», — предполагалъ каракалпакъ.

Это была очевидная ложь; положимъ, что здѣсь водятся довольно крупные сомы, достигающіе пяти аршинъ длины; еслибъ подобная рыба схватила за ногу купающагося, то ничего нѣтъ мудренаго, что побѣда не осталась бы на сторонѣ человѣка... Но во время борьбы несчастный имѣлъ-бы достаточно времени, чтобы кричать и звать на помощь, а такого крика мы не слышали; напротивъ, ночью царила непробудная тишина, даже, противъ обыкновенія, мы не слышали сегодня заунывнаго вытья-плача шакаловъ и жалобнаго мяуканья дикой кошки... Только тихій, меланхолическій звонъ комаровъ нарушалъ тишину ночи.

Очевидно, что выдумка нашего каикчи была слишкомъ наивна, чтобы повѣрить ея искренности.

Мы заявили каракалпаку, что съ этой минуты за нимъ будетъ самый зоркій присмотръ, и, если только замѣтимъ въ немъ что-либо подозрительное, то онъ, не медля ни минуты, поплатится за измѣну своею головою.

— Жизнь человѣка въ волѣ Божьей! — спокойно произнесъ фанатикъ и пожалъ плечами.

Въ этомъ спокойствіи мало было для насъ утѣшительнаго.

Первымъ дѣломъ мы рѣшили немедленно измѣнить мѣсто нашей стоянки и даже дальнѣйшій маршрутъ.

Не безъ основанія мы предполагали, что бѣжавшій каракалпакъ сообщитъ тюркменамъ о нашемъ присутствіи и, зная

приблизительно направленіе нашего движенія, укажетъ мѣсто, гдѣ можно будетъ устроить намъ засаду.

Мы круто повернули въ сторону, воспользовались первымъ боковымъ протокомъ и стали подниматься снова вверхъ по теченію.

Такимъ образомъ, мы прошли около сорока верстъ, когда нашъ протокъ вывелъ насъ снова въ воды Талдыка, на то мѣсто, гдѣ мы останавливались на ночлегъ три дня тому назадъ.

Мы были увѣрены, что этимъ маневромъ мы совершенно сбили съ толку тѣхъ, кто бы вздумалъ насъ розыскивать.— Отчасти мы не ошиблись въ нашемъ предположеніи.

Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ особенное, и чего я никакъ не предполагалъ, что окончательно измѣнило весь дальнѣйшій ходъ событій и прервало разомъ наши изслѣдованія.

Переждавъ день, такъ какъ впереди насъ виднѣлось значительное открытое пространство, которое мы не рѣшились проходить засвѣтло, мы выбрались изъ своей уютной стоянки.

Нашъ каикъ тихо скользилъ по водѣ, чуть замѣтная серебристая струя тянулась за нами дрожащею змѣйкою; этотъ слѣдъ терялся далеко-далеко, внѣ предѣловъ нашего зрѣнія. Справа и слѣва темными массами виднѣлись береговые камыши, отходя все дальше и дальше, заволакиваясь, по мѣрѣ отдаленія, все болѣе и болѣе густою пеленою надводнаго тумана. По временамъ, то на правомъ берегу, то на лѣвомъ, вспыхивали красноватые огоньки и погасали почти тотчасъ-же: мы не могли не обратить вниманія на это странное обстоятельство. Ужь не сигналы-ли это?!.. Не открылъ-ли врагъ наше присутствіе?!.

Тихо все было кругомъ, и на берегахъ царило полное безмолвіе.

Мы продолжали подвигаться все впередъ;—мы знали, что еще тридцать-сорокъ верстъ—и мы должны подойти къ устью бокового протока, бывшаго когда-то водопроводнаго арыка, который долженъ насъ вывести изъ негостепріимныхъ водъ Талдыка въ мѣста, гдѣ, при счастіи, мы можемъ надѣяться встрѣтить хотя одну изъ нашихъ топографскихъ партій.

Протокъ, по которому мы плыли теперь, уже началъ съуживаться, озеро, очевидно, кончалось... Луна поднялась надъ камышами,—громадная такая, багрово-красная, и по водной поверхности протянулось ея дрожащее отраженіе...

Странно, какъ-то жутко становилось на душѣ, при взглядѣ

на эти молчаливые, кровавые отблески!... Но вотъ луна поднимается все выше и выше... Багровый свѣтъ ея смѣнился серебристымъ, фосфорическимъ... легкій вѣтеръ пронесся надъ рѣкою и всколыхнулъ камышевые заросли,—тамъ и сямъ послышалось гоготанье встревоженныхъ гусиныхъ выводковъ. Невдалекѣ, намъ показалось—чуть не рядомъ, совершенно неожиданно раздался звонкій лай собаки и храпъ испуганнаго коня. Мы затаили духъ и машинально взялись за оружіе... Каракалпакъ-каикчи хотѣлъ было броситься съ лодки въ воду, но мой киргизъ предупредилъ его,—схватилъ за поясъ и, молча, но выразительно пригрозилъ ножемъ. Носъ лодки зашелестилъ, раздвигая пожелтѣлые стебли прошлогодняго стараго камыша. Мы слышали уже легкое журчаніе прибоя въ болѣе густыхъ, молодыхъ чащахъ. Мы снова забрались въ заросли, не зная, къ добру это намъ послужитъ, или къ худу.

— Надо стать и выждать!—нагнувшись ко мнѣ, прошепталъ Наземовъ.

Полковникъ при этомъ осторожно опустилъ въ воду «реекъ»... Глубина оказалась всего аршинъ и девять вершковъ... Значитъ, мы почти у самаго берега.

Зацѣпившись багромъ за ближайшій кустъ камыша, Аманджулъ задержалъ лодку; мы осмотрѣлись.

Лѣвѣе насъ, чуть-ли не надъ самыми головами, свѣсилась душистая вершина тонкаго джидоваго деревца, наклонившагося надъ водою; оборванные, оголившіеся корни этого дерева причудливою бахромою висѣли по самому краю глинистаго обрыва; дальше виднѣлись густые кусты джингила, обвитые и перепутанные павиликою и еще сухими, бѣлесоватыми стеблями какого-то вьющагося растенія. Прямо противъ насъ берегъ вгибался небольшою губою, образуя мелководный полукруглый заливъ съ песчанымъ дномъ и черными илистыми окраинами; берега этого залива были свободны отъ растительности и, шагахъ въ сорока отъ воды, намъ ясно виднѣлось полукруглое очертаніе кибитки и зубчатая, словно гребень, вершина какой-то изгороди... За этою изгородью тяжелымъ пятномъ рисовалась темная группа деревьевъ, тамъ опять кибитка,—рядомъ еще... Опять стѣнка... Затѣмъ уже ничего нельзя было разобрать—все сплошь поглощалось этою фосфорическою, дрожащею мглою лунной ночи...

Кое-гдѣ горѣли огни... Чуть слышно доносились неопредѣленные звуки: то будто говоръ, то тихій шопотъ, то плачъ ребенка, чавканье пережевывающихъ свою жвачку, дремлющихъ коровъ... Только надъ самымъ ухомъ громко и назойливо лаяла на насъ поджарая, ощипанная собака, съ торчащими злобно ушами, и вотъ вотъ собиралась прыгнуть съ берега въ воду, не рѣшаясь, впрочемъ, на этотъ отважный подвигъ...

Очевидно, мы, что называется, «нарѣзались», вплотную подошли къ какому-то людному становищу. Дружественное оно или нѣтъ? Вотъ теперь въ чемъ вопросъ.

Не дѣлая никакихъ попытокъ къ разрѣшенію этого вопроса, мы тихо стали отталкиваться баграми и отходить назадъ; собака насъ преслѣдовала, цѣпляясь и прыгая по самому краю берега. Съ какимъ бы наслажденіемъ я пустилъ въ нее пулю, еслибъ ружье наше могло стрѣлять, не производя шуму!..

Вдругъ, сзади насъ, послышался всплескъ воды, словно раздавшейся подъ какимъ-то грузнымъ тѣломъ, гортанный голосъ...—Ого... Го-го... Джанымъ... Го-го!...—И фырканье горячащейся лошади...

Мы взялись за штуцеры... Холодная дрожь невольно пробѣжала у меня по спинѣ.

На высокомъ вороном жеребцѣ, разсѣкавшемъ воду своею сильною грудью, плыла совершенно голая женщина, только металлическіе браслеты выше локтей и длинныя серьги въ ушахъ блестѣли на ея смугломъ, лоснящемся тѣлѣ. Волосы, заплетенные въ мелкія косички, были подобраны кверху и связаны въ общій пучекъ... Эта женщина была атлетически сложена, во всѣхъ ея движеніяхъ, въ посадкѣ на конѣ было столько граціи, столько красоты и какой-то могучей, стальной силы...

Амазонка плыла на неосѣдланной лошади, она пригнулась къ шеѣ коня и плескала ему воду на голову; конь трясъ головою, поводилъ ушами и, раздувъ широко красныя, тонкія ноздри, жадно хваталъ губами блестящую, серебристую струю...

Вотъ онъ описалъ большой кругъ,—пересѣкъ еще не успокоившуюся борозду на поверхности рѣки, выбрался на болѣе мелкое мѣсто и сталъ... Наѣздница соскочила въ воду, точно русалка, изгибаясь своимъ эластическимъ тѣломъ.

Луна своимъ свѣтомъ такъ и заливала и коня, и наѣзд-

ницу... Я стоялъ въ лодкѣ, неподвижный, словно очарованный, и не сводилъ глазъ съ этого чуднаго зрѣлища.

Вотъ тюркменка снова подплыла къ коню, схватилась рукою за гриву и ловко вскочила на спину; она повернулась теперь лицемъ прямо къ намъ... Замѣтила она насъ или нѣтъ, но только нѣсколько мгновеній она неподвижно смотрѣла въ нашу сторону...

Меня кинуло въ жаръ, въ глазахъ у меня заходили какіе-то круги...- «тигрица, ложа второй номеръ бельэтажа... Наземовъ»,—все это промелькнуло у меня въ головѣ... Я невольно повернулся къ полковнику,—я его не узналъ...

Онъ былъ блѣденъ, какъ мертвецъ,—или это лунный свѣтъ производилъ такое впечатлѣніе... Нѣтъ,—луна тутъ была не виновата.—Его брови сдвинулись, глаза тускло смотрѣли впередъ, губы плотно сжаты... Онъ, казалось, не дышалъ, онъ замеръ...

Медленно, словно машинально, поднималъ онъ карабинъ, не спуская глазъ съ тюркменки... Онъ цѣлился прямо въ нее...

Едва я успѣлъ броситься и ударить рукою по стволу оружія, какъ раздался выстрѣлъ. Пуля щелкнула по водѣ, сдѣлала рикошетъ, щелкнулась еще разъ почти у самой купальщицы—и понеслась дальше, срѣзывая попадающіеся ей на пути камышевые стебли...

Когда разсѣялся дымъ отъ выстрѣла, наѣздницы уже не было, горячій конь въ нѣсколько прыжковъ вынесся на берегъ; только по водѣ виднѣлись волнующіеся, широко расходящіеся круги, достигшіе, наконецъ, и до нашей лодки, чуть слышно плеснувшіе о ея борта и замершіе.

На берегу послышались тревожные крики, неожиданно вспыхнулъ яркій снопъ пламени;—это сигнальный маякъ, незамѣченный до сихъ поръ нами...

Съ каждою секундою разгоралась сильнѣе и сильнѣе, быстро охватывающая становища и аулы, береговая тревога.

Наземовъ опомнился и провелъ рукою по своему лбу...

«Бѣда теперь»—шепталъ испуганный Аманджулъ.—Теперь совсѣмъ пропалъ... Вой-вой!..

Да, дѣло становилось скверное; надо принимать мѣры ко спасенію... какія?.. Надо уходить!.. Куда?.. Одно, что мы знали навѣрное—это то, что на раздумье и соображенія мы не могли терять ни минуты времени.

Выстрѣлъ полковника,—непонятный, несвоевременный, безтолковый выстрѣлъ, испортилъ все разомъ и поставилъ насъ въ крайнее, почти безвыходное положеніе.

— Къ противоположному берегу... прямо греби!—крикнулъ Наземовъ и самъ, положивъ карабинъ на дно лодки, ухватился за весло.

Дѣйствительно, этотъ маневръ представлялся въ данную минуту наивыгоднѣйшимъ. Плыть назадъ, внизъ по теченію, было нельзя: мы рисковали тамъ наткнуться на тѣхъ, кто былъ предупрежденъ бѣжавшимъ каикчи;—подниматься вверхъ было бы лучше, но конные тюркмены, замѣтивъ наше движеніе, могли бы легко опередить насъ, занять узкіе проливы и поставить насъ, такимъ образомъ, между двухъ огней... Да, положительно держать къ противоположному берегу было самое лучшее, по крайней мѣрѣ пока,—а потомъ... а потомъ?.. Потомъ не знаю... да будетъ воля Аллаха!.. какъ говорятъ въ такомъ случаѣ здѣшніе фанатики... Они правы... бываютъ случаи, когда только на волю Всевышняго и можно положиться. Наше положеніе было однимъ изъ подобныхъ случаевъ.

Я тоже поспѣшилъ взяться за весло, Аманджулъ схватилъ багоръ и тотчасъ же громко вскрикнулъ:

— Ишь, вѣдь, собака!..

И другой нашъ каикчи, каракалпакъ, воспользовавшись минутою замѣшательства, незамѣтно скользнулъ въ воду и убѣжалъ.

Когда я внимательно осмотрѣлъ поверхность рѣки, то замѣтилъ шагахъ въ пятидесяти черную точку, быстро подвигавшуюся къ берегу: это была голова бѣжавшаго; онъ плылъ проворно, какъ собака, и скоро скрылся въ камышахъ,—такъ что мой киргизъ не успѣлъ даже выстрѣлить ему въ догонку, несмотря на желаніе свое пустить ему вслѣдъ пулю...

Я былъ даже доволенъ этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ. Лишній человѣкъ въ рядахъ непріятеля не имѣлъ для насъ никакого значенія, — а у насъ онъ положительно былъ бы стѣснителенъ, и трудно было бы намъ сохранять необходимое спокойствіе духа, чувствуя плечо къ плечу возможность, можетъ быть, непоправимой измѣны...

Едва только мы переплыли рѣку и бросились въ береговыя

заросли, какъ увидѣли нѣсколько десятковъ конныхъ, столпившихся на оставленномъ нами берегу... Эта толпа волновалась, одиночные всадники разъѣзжали по берегу, скакали то вверхъ, то внизъ, въѣзжали по одиночкѣ въ воду и тотчасъ же въ карьеръ возвращались назадъ... Мы ясно видѣли брызги воды, разлетавшіяся изъ-подъ ногъ лошадей, мы слышали голоса, угрожающіе крики... даже нѣсколько выстрѣловъ прогремѣло, подхваченныхъ рѣчнымъ эхомъ, что-то жалобно провизжало невдалекѣ... Стая проснувшихся пеликановъ тяжело поднялась и надъ самою водою полетѣла отыскивать болѣе покойнаго мѣста для ночлега; встревоженные выстрѣлами шакалы завыли въ зарослях.

— Этотъ человѣкъ, собака, что убѣжалъ—джаманъ человѣкъ! —заговорилъ мой киргизъ. — Онъ теперь скажетъ тамъ, что насъ мало, всего только трое... А тѣ не гнались бы за нами шибко, еслибъ не знали, сколько насъ... они трусы... они побоялись бы: жаль, что я не убилъ его. — Ой-ой, какъ жаль!

Онъ былъ правъ отчасти; сомнѣніе въ нашихъ силахъ было бы для насъ очень выгодно;—жаль, дѣйствительно, что его не убили—невольно подумалъ и я.—Что дѣлать!.. Когда заботишься о сбереженіи своей головы, не очень дорого цѣнишь чужую жизнь...

— Къ чорту лодку и на берегъ!—шепнулъ мнѣ Наземовъ... Пойдемъ напрямикъ, сухимъ путемъ... мы ихъ съ толку собьемъ этимъ... На берегъ!..

Мы выпрыгнули и, ухватившись за свѣсившіяся съ обрыва вѣтви джиды, вскарабкались наверхъ. Аманджулка остался въ лодкѣ.

— Ты чего же?—спросилъ я.

— Погоди, надо!—лаконически отвѣчалъ киргизъ.

Онъ быстро оттолкнулъ каикъ отъ берега, отплылъ на значительную глубину и, скрытый отъ взоровъ тюркменъ, сталъ пробивать дно лодки.

Я его понялъ.

Онъ быстро окончилъ свою работу и вплавь вернулся къ намъ на берегъ. Мы видѣли, какъ лодка наша, наполняясь мало-по-малу водою, стала медленно опускаться... вотъ уже только борты видны, вотъ одинокими рогами торчатъ изъ-подъ

воды ея возвышенныя кормовая и носовая части, вотъ уже ничего не видно, только ветошь какая-то всплыла наверхъ и, закружившись, медленно поплыла по теченію.

Наша лодка потонула; ее теперь если и найдутъ, то не скоро. Не видя лодки, тюркменамъ въ голову не придетъ, что мы на берегу... Не взяли-же мы тяжелый каикъ съ собою! Насъ вѣдь всего только трое—значитъ, они насъ будутъ разыскивать на водѣ, а мы тѣмъ временемъ...

Не будемъ же терять этого золотаго времени.

—

Первый день нашего путешествія пѣшкомъ прошелъ довольно благополучно.

Мы шли, все время пробираясь сквозь густыя заросли джиды, колючаго терновника и джингила; это обстоятельство было для насъ чрезвычайно выгодно, скрывая отъ глазъ преслѣдователей наше отступленіе.

Кромѣ оружія, инструментовъ и записокъ, которые мы взяли съ собою, догадливый Аманджулъ захватилъ еще мѣшокъ съ сухарями, фунтовъ десять, и до половины недопитую бутылку водки; страдать отъ голода мы не могли: по крайней мѣрѣ, дня на два мы были обезпечены въ этомъ отношеніи.

Мы шли, не торопясь, сберегая наши силы, подвигаясь впередъ не болѣе двухъ верстъ въ часъ; густая, колючая, страшно перепутанная чаща и изрытая, рыхлая солонцевая почва сильно затрудняла наше движеніе. Полотняныя рубахи наши страдали больше всего, и къ вечеру на насъ висѣли, положительно, одни лохмотья.

Къ полудню мы отдохнули немного, подкрѣпили силы сухарями и глоткомъ водки и снова пустились. Къ ночи мы были уже, по крайней мѣрѣ, въ двадцати-пяти верстахъ отъ мѣста высадки.

Два раза только приходилось намъ переходить въ бродъ черезъ небольшіе протоки, вода которыхъ едва достигала до пояса; эти препятствія были намъ даже очень пріятны: мы могли утолять жажду и освѣжаться невольнымъ купаньемъ.

Къ ночи мы остановились въ такой чащѣ, что въ темнотѣ двигаться впередъ было даже не мыслимо.

Эта была первая мучительная, безконечно тянувшаяся ночь. Мы не могли защититься отъ миріадъ комаровъ, такъ какъ

пологовъ съ нами теперь не было, мы не могли также, конечно, развести огня... Жадные летучіе легіоны не принимали во вниманіе нашего угнетеннаго положенія и безжалостно мучили насъ, доводя до бѣшенства, до изступленія.

Къ довершенію бѣды, стая шакаловъ держала насъ всю ночь въ осадѣ... Мы не могли стрѣлять въ нихъ и принуждены были, въ теченіе четырехъ часовъ, то есть, до самой утренней зари, слушать ихъ отвратительный концертъ. Хорошо еще, что на ихъ вытье не пришелъ какой-нибудь болѣе опасный хищникъ.

Съ какимъ восторгомъ встрѣтили мы первый, розовато-золотистый лучъ восхода, съ какимъ наслажденіемъ мы вдыхали теперь живительный, освѣжающій утренній вѣтеръ!..

Съ сильною головною болью, чувствуя во всѣхъ членахъ усталость, какую-то болѣзненную разбитость, мы снова тронулись въ путь, и, часамъ къ восьми утра, выбрались на открытое мѣсто.

Гдѣ мы теперь? Отъ озеръ Сары и Кара-куль мы еще должны быть далеко. Что намъ дальше дѣлать? Выходить-ли на открытое мѣсто, или ждать опять ночи, благодѣтельной темноты, которая, быть можетъ, поможетъ намъ незамѣтно добраться до новыхъ зарослей, что чуть-чуть замѣтною, синеватою полосою тянулись впереди, на самомъ горизонтѣ...

Во всякомъ случаѣ, лучше провести день этотъ на отдыхѣ въ нашемъ укромномъ мѣстечкѣ, а уже ночь посвятить продолженію пути. Одно только было рискованно въ этомъ промедленіи,—это то, что, проискавъ насъ напрасно на водѣ, недруги могутъ открыть мѣсто высадки и по слѣдамъ пуститься за нами...

Значитъ, и то было скверно, и другое нехорошо, но впечатлѣнія минувшей ночи были настолько свѣжи въ нашей памяти, что мы съ наслажденіемъ помышляли объ относительно-удобнѣйшемъ отдыхѣ днемъ и путешествіи ночью.

Мы остались и, какъ оказалось, очень хорошо сдѣлали.

Не прошло и часу, какъ Аманджулъ, оставшійся на опушкѣ для наблюденія, позвалъ насъ. Мы подошли. Киргизъ указалъ намъ на чуть замѣтныя точки, двигавшіяся въ степи. Эти точки, по его мнѣнію, были всадники. Наши бинокли убѣдили насъ въ справедливости его мнѣнія.

Были-ли это преслѣдовавшіе насъ тюркмены, были-ли это другіе, одно только вѣрно, что это были не наши, а, значитъ, враги, готовые тотчасъ же атаковать насъ, едва только они бы насъ замѣтили.

Всадниковъ было человѣкъ двадцать, и они тянулись гуськомъ, другъ за другомъ, точно волки, вышедшіе на поиски.

Тюркмены шли воровскою рысью, направляясь почти по тому же направленію, по какому предполагали и мы сами двигаться.

Мы внимательно, не отнимая биноклей отъ глазъ, слѣдили за каждымъ шагомъ всадниковъ, пока они совершенно не скрылись изъ виду, спустившись въ какую-то лощину... Болѣе они не показывались.

Поѣвъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы намъ оставалось нашихъ сухарей еще дня на два, и въ волю отдохнувъ, мы подъ вечеръ рискнули выступить изъ своего закрытія.

Теперь мы могли идти скоро: мѣстность была значительно ровнѣе и почти не задерживала нашего шага... Еще было далеко до разсвѣта, когда мы достигли снова кустовъ, и все шли и шли, придерживаяся разъ взятаго направленія.

Вдругъ сзади насъ послышался конскій топотъ; этотъ топотъ все приближалси и приближался: насъ, очевидно, нагоняли.

Едва только успѣли мы броситься въ сторону и притаиться за кустами, какъ на синеватомъ фонѣ ночного неба обрисовались силуэты человѣческихъ головъ, въ высокихъ тюркменскихъ шапкахъ; лошадей за кустами не было видно...

Конные проѣхали мимо насъ, не болѣе какъ въ десяти шагахъ. Темнота не позволила имъ разсмотрѣть хорошо наши прервавшіеся слѣды... Мы ихъ всѣхъ видѣли ясно, они насъ нѣтъ... Мы ихъ даже пересчитали: —одинадцать человѣкъ, на три штуцера,—это немного... Но кто могъ поручиться намъ, что сзади не идетъ еще такая же партія?

— Опять она, опять она!—прошепталъ Наземовъ.

Я тотчасъ же принялъ мѣры, чтобы онъ не вздумалъ снова выстрѣлить по женщинѣ, возбудившей въ немъ почему-то такую страшную ненависть.

Дѣйствительно, между проѣхавшими всадниками я замѣтилъ одну фигуру, показавшуюся тоже и мнѣ женщиною; на

ней одной вмѣсто шапки навернутъ былъ на голову тюрбанъ, длинные концы котораго висѣли на спинѣ.

Я не знаю, почему узналъ ее Наземовъ, почему онъ узналъ, что это именно она?.. Вѣроятно, у ненависти глаза зорче обыкновеннаго.

— Таже баба!—узналъ также и киргизъ Аманджулъ. Ну, да у этого глаза днемъ видятъ лучше всякаго бинокля, ночью—лучше всякой кошки.

Если будемъ живы, допытаюсь у полковника разгадки... Онъ теперь обязанъ сдѣлать это—его выстрѣлъ былъ всему причиною... Если будемъ живы?.. Ну, а если нѣтъ?..

Что-то подсказывало мнѣ, что мы благополучно вывернемся изъ этого положенія... Меня ни на минуту не покидало это отрадное предчувствіе.

Выждавъ, когда топотъ коней стихъ, мы пошли по слѣдамъ конныхъ. Преимущество было теперь на нашей сторонѣ:—вниманіе тюркменъ устремлено впередъ, а не назадъ...

Мы шли теперь гораздо скорѣе... Мы почти бѣжали... Мы съ Аманджуломъ, впрочемъ, только старались не отставать отъ полковника, а тотъ шагалъ и шагалъ впередъ, не обращая вниманія на стебли и вѣтви кустовъ, немилосердно хлеставшіе насъ справа и слѣва...

Неужели-же онъ торопился догнать ее?!.

Я ему замѣтилъ это,—онъ не отвѣчалъ, онъ, кажется, даже не слышалъ моего вопроса .. Наземовъ только надбавилъ шагу... Хорошо еще, что тюркменскіе кони шагаютъ во всякомъ случаѣ скорѣе;—разстояніе между нами и разбойничьей партіей, не смотря на энергическую походку нашего товарища, все увеличивалось и увеличивалось.

Однако уже свѣтаетъ, чаща начинаетъ рѣдѣть и рѣдѣть... Кажется, недалеко есть какое-то жилье!.. Или это былъ обманъ слуха, или мы дѣйствительно слышали сейчасъ блѣяніе козы?

— Жаренымъ пахнетъ!—повелъ носомъ Аманджулъ.—Человѣкъ живетъ близко...

Киргизъ, да еще голодный, далеко слышитъ запахъ съѣстнаго...

Вдругъ, совершенно неожиданно, сзади насъ раздался громкій крикъ...—Эге!..

Мы обернулись... Какъ это они могли подойти такъ близко?.. Какъ это мы не слышали ихъ приближенія?..

Шагахъ въ полуторастахъ, не болѣе, видна была сквозь кусты новая группа всадниковъ... Передніе изъ нихъ остановились, задніе торопливо догоняли переднихъ.

Инстинктивно мы бросились въ сторону и пустились бѣгомъ, выбирая мѣста, гдѣ заросли были погуще... Трескъ кустовъ и храпъ коней дали намъ знать, что насъ преслѣдуютъ; мы, пѣшіе, едва бѣжали въ этой чащѣ, гдѣ же тутъ конному разскакаться!

Однако какой-то рыжій, съ бѣлою лысиною во весь лобъ, гремя наборною уздечкою, — начиналъ-таки насѣдать... Вотъ его голова уже киваетъ надъ кустами, у которыхъ мы были минуту тому назадъ... Вотъ онъ споткнулся о что-то, чуть не упалъ. Тюркменъ выругался и потянулъ шашку изъ ноженъ.

Аманджулъ остановился, вскинулъ карабинъ къ плечу... Разбойникъ замѣтилъ это и круто вильнулъ въ сторону... На его мѣстѣ тотчасъ-же показалась сѣрая голова другого коня и баранья шапка всадника.

Выстрѣлъ на нѣсколько минутъ задержалъ преслѣдованіе. Мимо насъ, брыкая задомъ, заложивъ уши, испуганно храпя, не разбирая встрѣчныхъ препятствій, пронеслась сѣрая лошадь. Сѣдловка на ней была растрепана и сбита на бокъ... Какой-то безобразный, окровавленный мѣшокъ волочился по землѣ, слѣдуя за каждымъ прыжкомъ бѣшенаго коня... Этотъ мѣшокъ стоналъ еще и судорожно хватался руками за землю...

— Одного нѣтъ! — догонялъ насъ запыхавшійся Аманджулъ, вкладывая на бѣгу новый патронъ въ камеру карабина.—Одинъ собака пропалъ!..

Мой киргизъ былъ, казалось, очень доволенъ, что однимъ врагомъ стало меньше...

Преслѣдователи наши разсыпались цѣпью и стали охватывать насъ съ трехъ сторонъ,—свободное пространство впереди насъ становилось все уже и уже... Надо, во что бы то ни стало, прорваться прежде, чѣмъ сомкнутся концы этой живой цѣпи всадниковъ.

Мы все бѣжали и бѣжали, сердце усиленно билось у меня въ груди: въ боку кололо отъ боли... я задыхался... я чувствовалъ, что вотъ-вотъ сила оставитъ меня окончательно, и я упаду...

*

Вдругъ мы очутились на открытомъ мѣстѣ. Кусты кончились... Прямо передъ нами глубокій арыкъ съ обрывистыми берегами, за нимъ зеленое поле, засѣянной джугарою,—тамъ, дальше, группа фруктовыхъ деревьевъ, а сквозь ихъ темнозеленую листву желтѣли глиняныя стѣнки какой-то сакли...

Не думая долго, мы сползли въ воду арыка, чуть не завязли въ его илистомъ днѣ, кое-какъ перебрались на ту сторону и, вымокшіе насквозь, облѣпленные черною, вонючею грязью, пустились черезъ поле, прямо къ виднѣвшейся саклѣ.

Мы займемъ ее, мы укрѣпимся тамъ... Если тамъ есть жильцы, хозяева, мы выгонимъ ихъ силою... Намъ нечего церемониться, нечего терять времени: вонъ, они уже ѣздятъ по берегу арыка и ищутъ удобнаго мѣста для переправы... поищите, поищите! Арыкъ слишкомъ широкъ, чтобъ его перескочить, конь не пройдетъ тамъ, гдѣ проползъ человѣкъ.

Испуганная фигура въ длинной бѣлой рубахѣ, съ растрепанными тряпками на головѣ, выскочила изъ воротъ сакли, взгизгнула и пустилась бѣжать... Какая-то черная шапка высунулась тоже и спряталась. Нѣсколько собакъ съ лаемъ вынеслись намъ навстрѣчу... Крохотный мальчуганъ, совсѣмъ голый, рывшійся только-что въ навозной кучѣ,—вскочилъ на ноги и, разинувъ ротъ, вытаращивъ глаза, смотрѣлъ на насъ,—не понимая, что такое случилось, откуда появились эти три человѣка, бѣгущіе прямо на него,—мокрые, покрытые грязью, съ ружьями въ рукахъ.

Съ разбѣга мы вскочили въ ворота и принялись ихъ заваливать, чѣмъ попало. Первое, что намъ попалось на глаза, это была сломанная арба, которою мы тотчасъ же и воспользовались... Аманджулъ тащилъ уже раздобытую имъ толстую жердь... Я замѣтилъ въ углу дворика еще нѣсколько штукъ такихъ же, но едва подбѣжалъ къ нимъ, какъ увидалъ старика, притаившагося въ этомъ самомъ углу, съежившагося, присѣвшаго на корточки и державшаго въ своихъ дрожащихъ рукахъ какое-то металлическое оружіе... Этотъ старикъ былъ—та самая черная шапка, что спряталась, когда мы подбѣгали къ воротамъ сакли.

Я отступилъ невольно на шагъ назадъ, но, вглядѣвшись въ своего противника, погрозилъ ему только пальцемъ и поволокъ жердь на мѣсто, гдѣ устраивалась баррикада.

Сзади меня грянулъ опять выстрѣлъ — это Аманджулъ свалилъ еще одну собаку и даже захохоталъ отъ удовольствія.

Къ нашему удивленію, намъ не мѣшали укрѣплять свою позицію, и враги, переправившись только черезъ арыкъ на эту сторону,—ѣздили шагомъ, держась въ сторонѣ, не приближаясь болѣе на опасную для нихъ дистанцію.

Мы начали осматриваться въ нашемъ новомъ убѣжищѣ.

Это былъ небольшой дворъ, — совершенно квадратный, обнесенный со всѣхъ сторонъ высокою глинобитною стѣною. Стѣнки эти были настолько высоки, что перелѣзть черезъ нихъ безъ помощи лѣстницы было-бы невозможно—(обстоятельство для насъ чрезвычайно удобное); посреди дворика стояла маленькая, закопченая каракалпакская кибитка, верхній войлокъ которой давно уже отслужилъ свой вѣкъ и пестрѣлъ многочисленными дырами, прогорѣвшими отъ костровыхъ искръ... У одной изъ стѣнокъ былъ акуратно сложенъ кормъ для скота, у другой высились кучи сухого камыша и разнаго бурьяна, заготовленнаго для топлива... Множество козьяго помета, какъ во дворѣ, такъ даже и внутри кибитки, показывало, что хозяева—обладатели стада козъ, выгнанныхъ теперь, вѣроятно, на пастбище. Плугъ-сабанъ, самой допотопной конструкціи, стоялъ почти у самыхъ воротъ; нѣсколько лопатъ, китменей и другихъ ручныхъ земледѣльческихъ орудій валялось около.

Домашняя утварь внутри кибитки была чрезвычайно несложна и свидѣтельствовала о бѣдности хозяевъ... Нѣсколько войлоковъ замѣняло постели, плоскій чугунный котелъ и двѣ-три деревянныя чашки — составляли всю кухню; крошечный сундукъ, окованный по угламъ жестью, занималъ глубину кибитки: въ немъ хранилось, вѣроятно, все, что только было цѣннаго... Вотъ и все.

— Ты съ кѣмъ говоришь?—спросилъ я у своего киргиза.

Я былъ въ эту минуту внутри кибитки и услышалъ голосъ Аманджула.

— Да вотъ,—отвѣчалъ тотъ,—«бабай» (старикъ) ругается, что его домъ заняли, грозится, что придутъ сыновья и порѣжутъ насъ — я ему велѣлъ идти отсюда, а онъ нейдетъ... я его выгоню!

Дѣйствительно, этого старика надо будетъ удалить. Онъ намъ мѣшаетъ... Оставить его здѣсь нельзя,—не безопасно...

Упрямый старикъ, не выпуская изъ рукъ лезвія отъ косы, все еще сидѣлъ въ углу, плотно прижавшись спиною къ стѣнкамъ.

Аманджулъ осторожно сталъ подходить къ нему съ одной стороны, я съ другой, въ глазахъ старика засвѣтилась безпокойная робость... Онъ, какъ волкъ, поворачивалъ свою сѣдую голову съ трясущейся бородкою то въ ту, то въ другую сторону... Киргизъ взялъ шестъ и, улучивъ минуту, ударилъ его по рукамъ... оружіе выпало... Я бросился на этого несчастнаго, и, съ помощью своего слуги, вывели, скорѣе вынесли, его вонъ, раздвинули барикаду у воротъ и пустили плѣнника на свободу.

Едва только каракалпакъ почувствовалъ свободу, какъ бросился безъ оглядки въ кусты, поразивъ насъ прыткостью и проворствомъ своихъ старческихъ ногъ.

Теперь мы были одни обладателями своей крѣпости, если не считать чернаго козленка, бившагося на привязи.

Кучи топлива были навалены почти въ уровень съ гребнемъ стѣны; взобравшись на нихъ, мы отлично видѣли, что дѣлается вокругъ. Оставивъ Аманджула наблюдать у воротъ, мы съ Наземовымъ влѣзли на эту обсерваторію.

Партія тюркменъ столпилась въ кучу. Они о чемъ-то горячо совѣщались, должно быть, о дальнѣйшихъ способахъ атаки. Хотя выстрѣлы нашихъ карабиновъ и могли бы достичь до нихъ, но, сберегая патроны, которыхъ осталось не болѣе какъ по двадцати штукъ на ружье, мы воздерживались отъ безполезной пока стрѣльбы.

— А ихъ немного,—замѣтилъ полковникъ:—если бы ссадить еще трехъ-четырехъ, то мы могли бы продолжать путь...

— Ихъ немного, но скоро...—началъ было я...

— Смотри влѣво!—донесся голосъ Аманджула съ наблюдательнаго поста у воротъ.

Новая партія конныхъ рысью шла по опушкѣ, приближаясь къ той, что совѣщалась... Это тѣ вернулись, ночные... Или наши выстрѣлы были услышаны ими, или же они встрѣтили какое-нибудь препятствіе, заставившее ихъ прекратить преслѣдованіе и вернуться...

Это уже было совсѣмъ скверно!.. Мы переглянулись...

— Теперь ихъ много!—спокойно произнесъ Наземовъ, стис-

нулъ зубы и, прислонивъ карабинъ къ стѣнѣ, поднесъ бинокль къ глазамъ.

Я догадывался, во что онъ такъ пристально всматривался.

Черезъ полчаса обѣ партіи соединились, потолковали немного, указывая на нашу саклю руками, погрозили намъ издали шашками и стали раздѣляться на группы... Эти группы, по два и по три всадника въ каждой, скоро оцѣпили насъ со всѣхъ сторонъ... затѣмъ всадники стали слѣзать съ лошадей и, повидимому, готовиться къ отдыху.

Звѣрь, по ихъ мнѣнію, былъ, что называется, въ мѣшкѣ: уйти не могъ... Что же имъ хлопотать и безпокоиться? Можно отдохнуть теперь и собраться съ силами.

Эта женщина была съ ними... Она одна не слѣзала съ лошади и держалась ближе всѣхъ къ намъ: она словно вызывала насъ на выстрѣлъ, она подсмѣивалась надъ нами... Аманджулъ выстрѣлилъ... Мимо!.. А близко, почти у самаго коня... Это предостереженіе, казалось, подѣйствовало:—амазонка отъѣхала подальше и громко что-то прокричала намъ въ отвѣтъ... что—нельзя было разобрать. До насъ долетѣлъ только отголосокъ послѣднихъ звуковъ.

— Выругалась, нехорошо—выругалась. Ишь, вѣдь, какъ баба ругается!—пояснилъ, хорошо изощрившій свои пять чувствъ, Аманджулъ.

— Я ее убью... я ее убью!. —шепталъ Наземовъ, будто самъ съ собою разговаривалъ.

— Такъ это она и есть? — спросилъ я, нарочно сдѣлавъ удареніе на словѣ она.

— Она!—«Агреаль»!—машинально произнесъ полковникъ, не спуская бинокля съ наѣздницы.

Руки, державшія бинокль, слегка вздрагивали, глаза Наземова горѣли; онъ закусилъ свою нижнюю губу и словно прилипъ къ стѣнѣ, опершись локтями на ея вырѣзной зубцами гребень.

Начало сдѣлано. Я уже зналъ теперь ея имя... «Агреаль»—это слово ясно и отчетливо произнесъ мой товарищъ.

Скоро я узнаю и остальное...

Около полудня, тюркмены снова стали собираться вмѣстѣ... Они что-то затѣваютъ. Они, видимо, рѣшились на болѣе энергичную мѣру, чѣмъ долговременная, скучная осада.

Одинъ изъ всадниковъ навязалъ поясъ на конецъ своего длиннаго ружья и, махая имъ, сталъ къ намъ приближаться...

А, это переговоры... Но вся толпа слѣдуетъ за нимъ... вотъ они уже прошли половину разстоянія... Мы ждемъ и только теряемъ время... Что онъ кричитъ?..

— Сдаться велитъ!—перевелъ Аманджулъ...

— Ближе не подходить! Стрѣлять будемъ! — крикнулъ я, приставивъ руки ко рту.

Толпа остановилась; всадникъ съ поясомъ на ружьѣ подъѣхалъ шаговъ на сто...

— Выходите, эй!—кричалъ онъ.—Все равно, вы пропали! Насъ много, а васъ всего трое... Бросьте ружья и выходите... Сами доброю волею сдадитесь — живы будете, нѣтъ — всѣхъ перебьемъ...

— Они сейчасъ кинутся... они коней горячатъ!—предостерегалъ Аманджулъ...

Едва только я успѣлъ сползти внизъ и подбѣжать къ воротамъ, какъ раздался дружный гикъ, и вся толпа, во мгновеніе ока, очутилась подъ стѣнами...

Нѣсколько пуль влетѣло въ просвѣты нашей барикады, нѣсколько пуль щелкнулось о стѣнки... Два наши выстрѣла, почти въ упоръ, не пропали даромъ. Скрытые выступами воротныхъ столбовъ, мы продолжали стрѣлять, выбирая тѣхъ, кто, слѣзши съ лошадей, пытались отодвинуть арбу... Одинъ изъ нападавшихъ полѣзъ подъ барикаду, киргизъ ударилъ его прикладомъ по темени и раздробилъ черепъ...

Какая-то пуля, сдѣлавъ рикошетъ, ударила меня въ бедро... Я боли не чувствовалъ... Я слышалъ только легкій толчекъ... Наземовъ стрѣлялъ сверху... но вотъ онъ застоналъ, чуть не выронилъ изъ рукъ ружья и началъ спускаться...

Трудно было разобрать, что такое дѣлается... Барикада трещала и подавалась; мы могли только выстрѣлами отгонять нападавшихъ. Если-бы мы только высунулись изъ-за своихъ закрытій, то были-бы тотчасъ-же убиты...

Еслибъ это случилось года два-три назадъ, когда у насъ не было скорострѣльныхъ карабиновъ Бердана, мы бы погибли...

Аманджулъ стрѣлялъ и съ каждымъ выстрѣломъ произносилъ свое обычное, торжествующее: «эге!» У него текла по

лицу кровь, и киргизъ безпрестанно обтиралъ ее рукою: должно быть, эта горячая струя мѣшала смотрѣть.

Вдругъ атака прекратилась...

Когда мы опомнились и оглядѣлись, нападающіе уже отступили... Нѣсколько убитыхъ лошадей валялось близко отъ стѣнъ; одна изъ нихъ, раненая, пыталась еще подняться на ноги и жалобно, пронзительно ржала, глядя вслѣдъ отступавшимъ; четыре трупа, кромѣ того, что проползъ подъ арбою, лежали у воротъ... Нѣсколько пѣшихъ туркменовъ пряталось въ канавахъ и ползли дальше, поминутно оглядываясь..

Аманджулъ былъ раненъ въ лобъ; пуля сорвала ему кожу надъ правою бровью, но не повредила черепа... Я только теперь почувствовалъ ноющую боль въ бедрѣ и ясно ощущалъ, какъ мое бѣлье прилипло въ этомъ мѣстѣ къ тѣлу. Наземовъ былъ раненъ въ плечо... У него перебита ключица: онъ не можетъ болѣе владѣть оружіемъ... Это скверно... Еще одна такая атака—и мы погибли.

Печально провели мы остатокъ этого неблагополучнаго дня. Надежды на удачный исходъ нашего положенія не было никакой... Кажется, что намъ приходилось умирать...

Даже меня стало покидать мое утѣшительное предчувствіе.

Кое-какъ перевязавъ наши раны, утоливъ мучившую насъ жажду айраномъ (прокисшимъ козьимъ молокомъ), кувшинъ съ которымъ нашелъ мой Аманджулъ, мы стали обсуждать наше положеніе и взвѣшивать шансы возможности успѣха.

Прежде всего мы сосчитали патроны... Увы! Безпорядочная частая пальба нанесла ущербъ нашимъ боевымъ запасамъ... Оказалось: у Наземова шестнадцать, у меня девять, у Аманджула только пять... Горячій, пылкій киргизъ стрѣлялъ усерднѣе всѣхъ... Тридцать патроновъ на два ружья... (Наземовъ стрѣлять уже не могъ)... Это мало... Этого количества достаточно только, чтобы умереть съ честью.

Рана Наземова самая опасная... Она его страшно мучитъ... Онъ стонетъ, не переставая... Неискусная перевязка облегчаетъ мало страдальца... Я могу еще держаться на ногахъ, но мнѣ больно при каждомъ шагѣ. Это еще, пока не началась опухоль, а что будетъ дальше?..

Еслибъ была вода... Еслибъ былъ ледъ!.. Жара страшная... Солнце поднялось какъ разъ надъ головою, ни одна стѣнка не

отбрасываетъ тѣни... Мы положили Наземова въ кибитку, а сами расположились у воротъ... Тюркмены скрылись, но они не ушли, они здѣсь, близко... Вонъ, изъ - за кустовъ поднимается столбъ дыма, вонъ еще...

Агреаль я не видалъ во время атаки... Ея не видѣлъ также и Аманджулъ, ея не видѣлъ и Наземовъ, иначе, она была бы между убитыми...

До вечера атака не возобновлялась... Наступила ночь, а съ нею живительная прохлада... Я чувствовалъ себя лучше, полковникъ тоже и даже вышелъ изъ кибитки, придерживая здоровою рукою — раненую...

Какая темная, непроглядная ночь спустилась на землю... Ярко разгорѣвшіеся костры осаждающихъ горѣли красными пятнами...

Враги, вѣроятно, послали за подкрѣпленіемъ... Они теперь ждутъ этого подкрѣпленія...

— Можешь ты идти? — спросилъ меня Аманджулъ, пристально всматриваясь въ темноту.

— Немного могу!

— Будемъ здѣсь сидѣть — пропадемъ, уйдемъ — можетъ быть, живы будемъ... Надо идти...

Аманджулъ перетаскалъ немного топлива на середину двора и зажегъ костеръ. Намъ огонь вовсе не былъ нуженъ, но мой киргизъ ничего не дѣлалъ напрасно, значитъ, у него была цѣль, былъ уже обдуманъ планъ дальнѣйшихъ дѣйствій.

— Я останусь, — проговорилъ Наземовъ... — Вы уходите, я останусь... Я вамъ теперь безполезенъ... только обуза лишняя... А вы оба уходите!

— Это онъ хорошо говоритъ, — замѣтилъ Аманджулъ... — Мы уйдемъ, а онъ будетъ здѣсь, пускай выстрѣлитъ разъ утромъ, если сможетъ... Это хорошо. *Они* будутъ думать, что мы всѣ здѣсь, и пока будутъ собираться, да подходить осторожно, мы далеко уже будемъ!

Аманджулъ взглянулъ на дѣло съ чисто-практической стороны и, пожалуй, былъ правъ по своему — честный номадъ самъ бы охотно пожертвовалъ собою, если бы былъ въ такомъ же положеніи, какъ полковникъ, и потому считалъ себя вправѣ требовать этой жертвы и отъ другого.

Но я энергично воспротивился этому плану... Бѣжать, такъ бѣжать всѣмъ тремъ вмѣстѣ, или остаться и гибнуть.

Киргизъ пожалъ плечами, презрительно сплюнулъ и проговорилъ только:

— Погоди, часъ времени пройдетъ—еще темнѣе станетъ...

Въ стѣнѣ, какъ разъ напротивъ воротъ, у самой земли, была небольшая дыра, промытая водою; въ это отверстіе свободно могла пролѣзть собака, но если его разрыть немного,—то...

Пламя нашего костра ярко освѣщало барикадированныя ворота... Тюркмены, понятно, наблюдали только за этимъ пунктомъ. Если мы вылѣземъ съ противоположной стороны, то, пожалуй, насъ и не замѣтятъ, по крайней мѣрѣ, на первое время...

Мы принялись разрывать себѣ выходъ. Часъ прошелъ,—работа наша была готова.

О, съ какою болью въ раненомъ бедрѣ проползъ я въ это отверстіе! Наземовъ крѣпко стиснулъ зубы, чтобы не вскрикнуть отъ еще худшей боли... Аманджулъ, подкинувъ еще на огонь вязанку хворосту, проползъ послѣдній и присоединился къ намъ.

Да, дѣйствительно было темно. Мы могли ощупывать только другъ друга, но никакъ не видѣть... Съ Божью помощью мы успѣемъ отползти подальше.

И мы ползли и ползли, — все впередъ и впередъ, дальше отъ нашей крѣпости, затаивъ дыханіе, мучимые болью, останавливаясь на минуту только тогда, когда эта жгучая, страшная боль вызывала у насъ головокруженіе.

— Вода!—прошепталъ Аманджулъ...

— Я больше не могу идти... не могу... силъ нѣту!—прошепталъ Наземовъ...—Господи!

Я нагнулся къ арыку, зачерпнулъ въ горсть воды и плеснулъ въ лицо товарища. Это освѣжило немного раненаго, изнемогавшаго отъ усталости и потери крови.

Мы всѣ трое жадно пили, прильнувъ губами къ мутной, глинистой водѣ арыка... Это не тотъ, широкій, что мы переходили вчера утромъ... Это другой: тотъ остался сзади, а мы полземъ совсѣмъ въ другую сторону. Я обернулся.

Костры тюркменъ чуть-чуть мигали вдалекѣ, зато нашъ огонь разгорался все болѣе и болѣе. Не добралось-ли оставленное безъ присмотра пламя до кучъ топлива? Если такъ, то это можетъ намъ повредить.

Во всякомъ случаѣ, насъ ночью, въ этомъ густомъ мракѣ искать не будутъ, они подождутъ до утра. Отдохнемъ и поползем дальше... Впрочемъ, теперь ползти нѣтъ надобности: мы можемъ идти, это все-таки скорѣе. Наземову даже легче, вотъ развѣ я самъ... Нѣтъ, ничего... Опираясь на ружье, я могу ступать, кость цѣла, нетронута... Слава Богу!

Прошелъ уже часъ, какъ мы оставили наше убѣжище, прошелъ другой... скоро начнетъ свѣтать... Вотъ уже обрисовались темными силуэтами кусты впереди; прокричала цапля... невдалекѣ свистнулъ зимородокъ и смолкъ... Должно быть, близко рѣка съ обрывистымъ берегомъ. Эта птица только и держится въ такихъ мѣстахъ... Неужели мы подходимъ къ Улькунъ-дарьѣ?..

Мы добрались до кустовъ, когда начало быстро свѣтать... за ночь мы все-таки прошли верстъ восемь... это мало.

— Ну, теперь—*кончалъ*!..—произнесъ Аманджулъ...

Я вдрогнулъ.

Въ голосѣ моего слуги не было ничего отраднаго... Когда я оглянулся, то увидѣлъ, что въ положеніи нашемъ не было ничего утѣшительнаго.

Насъ открыли и преслѣдовали... Кровавый слѣдъ, оставленный нами, не позволялъ врагамъ сбиться съ дороги... Они уже близко, и ихъ голоса слышались, словно надъ самымъ ухомъ.

— Въ чащу, въ чащу!..—крикнулъ я, собираясь уже первый послѣдовать своему совѣту.

— Все равно! — покойно произнесъ Наземовъ и сѣлъ на землю.

— Садись и ты—эдакъ лучше,—рѣшилъ Аманджулъ;—всѣ трое садись—хорошо будетъ!

Мы сѣли, плотно прижавшись другъ къ другу спинами, лицами врозь, образовавъ такимъ образомъ маленькое каре, способное отражать, но лишенное всякой возможности двигаться.

Я зналъ и прежде этотъ способъ обороны, способъ къ которому прибѣгаютъ уже, конечно, только въ послѣднюю, крайнюю минуту... Лошадь нападающаго смѣло идетъ на того, кто стоитъ, она его валитъ съ ногъ и топчетъ; но та же лошадь упирается при видѣ сидящаго на землѣ и бросается въ сторону; та же лошадь рѣдко наступитъ на лежащаго, а скорѣе перепрыгнетъ

черезъ него... Кромѣ того, сидя, опершись локтями на колѣна, удобнѣе стрѣлять... Выстрѣлы, вѣрнѣе направленные, скорѣе достигаютъ цѣли... Очень можетъ быть, что, сидя такимъ образомъ, мы отобьемъ первую атаку, мы, какъ говорится, *отсидимся...*

Ну, а потомъ?..

Вѣдь у насъ всего только тридцать выстрѣловъ... Нѣтъ, не тридцать—Наземовъ потерялъ дорогою свой патронташъ, а онъ былъ самый полный: тамъ было шестнадцать штукъ... У насъ съ Аманджуломъ только четырнадцать...

— Помните: *три послѣднія берегите для себя!*—шепнулъ мнѣ на ухо полковникъ.

— Ближе, ближе подпускай... ничего...—ободрительно бормоталъ киргизъ Аманджулъ...—Они уже шагомъ идутъ. Они видятъ, что мы сидимъ... Баба-то, баба, опять тутъ. Она впереди всѣхъ... она... Берегись!..

Тюркмены ринулись прямо на насъ; они поскакали въ разсыпную... Передо мною показался вороной аргамакъ... Онъ попятился, круто остановившись на скаку... Чья-то рука, вооруженная плетью, хлещетъ его по шеѣ, по бедрамъ, по сухой, кровной головѣ... Я не вижу всадника,—конь, поднявшись на дыбы, скрываетъ его своимъ тѣломъ...

Я спустилъ курокъ... рухнулъ конь, рухнулъ и всадникъ: оба пластомъ растянулись на землѣ... Другой конь налетѣлъ сзади, споткнулся и перекувырнулся черезъ голову...

Сзади насъ послышались выстрѣлы... Это кто же?!.. Это не тюркменскіе *мултуки*... Звуки этихъ новыхъ выстрѣловъ такъ похожи на наши... Неужели?

Выстрѣлы эти повторяются... я не вижу ихъ, я сижу не въ ту сторону лицомъ, я боюсь повернуть голову: передо мною еще волнуется кучка враговъ. Но вотъ эта кучка поворачивается: одинъ изъ всадниковъ падаетъ, прочіе стремительно несутся назадъ... Они уходятъ... это уже не маневръ, — это бѣгство, полное бѣгство, со всѣми признаками отчаяннаго, паническаго страха.

— Это вторая партія, та, что звѣзды считаетъ на небѣ и рыбъ всѣхъ переписываетъ!—покойно сообщилъ мнѣ мой наивный слуга...

Онъ всталъ на ноги, отряхнулся и, какъ ни въ чемъ не

бывало, началъ продувать дуло своего оружія, не обращая даже никакого вниманія на враговъ, чуть уже виднѣвшихся вдали разрозненными, разбросанными по кустамъ точками.

Насъ выручила дѣйствительно вторая партія топографовъ,— совершенно случайно высадившаяся на берегъ, въ полуверстѣ отсюда и поспѣшившая на выстрѣлы.

Мы спаслись.

Дня два простояли мы на этомъ мѣстѣ, на берегу Улькунъ-Дарьи.

Осмотрѣвъ мѣсто нашей схватки, мы нашли Агреаль, придавленную упавшей лошадью!.. Она еще дышала, но уже болѣе не открывала своихъ глазъ, не произносила ни одного звука... Ея грудь была положительно размозжена, и при накладываніи руки ясно чувствовались острые концы переломленныхъ реберъ; эти поврежденія были безусловно смертельны.

Бережно перенесли мы умирающую на мѣсто стоянки, уложили на коврѣ и устроили надъ нею навѣсъ отъ солнца.

Смуглая, словно бронзовая, безъ кровинки въ быстро похудѣвшемъ лицѣ, она все еще была чудно-хороша,—и сердце каждаго изъ насъ тоскливо сжималось, глядя на ея молчаливыя страданія, на медленное угасаніе молодой, кипучей жизни...

Наземовъ ни разу не подошелъ къ ней; онъ смотрѣлъ издали и отворачивался каждый разъ, когда кто-нибудь замѣчалъ его наблюденія...

Только я одинъ, и то отчасти, посвященъ былъ въ тайну, существовавшую между нимъ и этою женщиною, и потому, понятно, никто не замѣчалъ нѣсколько страннаго поведенія моего товарища.

Подъ вечеръ того-же дня, солнце тихо опускалось въ туманную, мглистую полосу на горизонтѣ; бивакъ нашъ началъ мало-по-малу оживляться... Мы собрались около умирающей... Наземовъ остался на своемъ мѣстѣ, поодаль.

Вдругъ онъ поднялся на ноги и шагнулъ къ намъ.

Блѣдный, съ помутившимися глазами, онъ, шатаясь, подошелъ къ навѣсу, нагнулся и положилъ руку на голову Агреаль. Та даже не вздрогнула. Тогда Наземовъ нагнулся еще ниже... Я думалъ, что онъ хочетъ поцѣловать ее, я думалъ, что его движеніе произвольное... я думалъ...

— Да поднимите-же его... Видите, онъ въ обморокѣ!—сказалъ кто-то изъ присутствующихъ,—и первый бросился на помощь къ Наземову.

Его подняли и отнесли на постель.

— Упокой, Господи!..—вздохнулъ старый, сѣдой матросъ и перекрестился, снявъ при этомъ свою клеенчатую шапку...

— Померла баба! — пояснилъ Аманджулъ, приподнявъ руку умершей и опустивъ ее разомъ.

Эта прекрасная, стройная рука, съ длинными тонкими пальцами, унизанными перстнями, упала на коверъ, какъ-то сухо, мертво, деревянно стукнувшись при этомъ...

Ночью мы ее похоронили на обрывистомъ берегу Улькунъ-Дарьи, натаскали на могилу земли и хворосту, воткнули шестъ съ красною тряпкою, чтобы видно было, а на шестъ привязали кусокъ бумаги, на которомъ одинъ изъ нашихъ товарищей, умѣющій писать по-тюркски—написалъ подъ мою диктовку:

«Агреаль, родомъ тюркменка—«солоръ», убита въ бою съ русскими и погребена ими съ честью»...

Чтобы видали и знали тѣ, кто поинтересуется это видать и знать.

— — — — —

Наземовъ два мѣсяца пролежалъ въ страшной нервной горячкѣ и поднялся на ноги, только благодаря своей могучей, геркулесовской натурѣ.

Разъ какъ-то, уже въ Казалинскѣ, по окончаніи нашей экспедиціи, обильной приключеніями, мы съ нимъ разговорились о прошломъ, и я намекнулъ ему объ интересовавшемъ меня эпизодѣ.

Нервная горячка имѣетъ одно благодѣтельное свойство: она словно перерождаетъ человѣка, она заставляетъ его невольно забывать огорченія и невзгоды прежняго времени, заставляетъ свѣтлѣе смотрѣть впередъ, словно молодитъ выздоровѣвшаго, какъ будто хочетъ вознаградить его за причиненныя ею страданія.

То же случилось и съ Наземовымъ.

Теперь онъ гораздо менѣе раздражительно отнесся къ моему вопросу и обѣщалъ мнѣ удовлетворить мое любопытство при первомъ удобномъ случаѣ.

Случай этотъ скоро представился.

— — — — —

Вотъ что разсказалъ мнѣ Наземовъ:

Спустя мѣсяцъ, можетъ быть, нѣсколько менѣе, послѣ занятія нашими войсками Хивы, изъ тюркменскихъ становищъ стали доходить до насъ самыя неутѣшительныя извѣстія.

Въ то время, когда всѣ остальные осѣдлые жители ханства безпрекословно признали русскую власть, когда самъ ханъ Сеидъ-Рахимъ-Богадуръ явился съ повинною въ ставку нашего главнокомандующаго, тюркменскіе роды отказались наотрѣзъ входить съ нами въ какіе-бы то ни было переговоры и отношенія;—они не допускали никакого вмѣшательства въ ихъ дѣла съ нашей стороны и открыто заявили о намѣреніи своемъ отстаивать, во что бы-то ни стало, свою независимость...

Можетъ быть, вольные полу-кочевники и были правы съ своей точки зрѣнія, можетъ быть, въ ихъ упорствѣ руководили ими отдѣльныя личности, въ родѣ политическихъ агитаторовъ центральной Азіи, каковы были Садыкъ, племянникъ извѣстнаго Аблая-Кенисарры—и Матъ-Мурадъ, честолюбивый искатель власти... Можетъ быть, наивные рыцари низовьевъ «Аму» и ея лѣваго берега просто на просто слѣпо вѣрили въ свои собственныя силы и не знали нашихъ, а потому были убѣждены въ успѣхѣ предстоявшей борьбы съ нами... Все это, впрочемъ, не касается до нашего разсказа, а потому я приступаю прямо къ факту высылки летучихъ сильныхъ отрядовъ, направленныхъ въ самый центръ возмутившихся становищъ, для ихъ наказанія и приведенія въ полную покорность.

Положеніе дѣлъ было таково, что высылка подобныхъ отрядовъ была неизбѣжна;—отряды эти сформированы были подъ стѣнами Хивы и въ первой половинѣ іюня мѣсяца выступили по дорогамъ, ведущимъ въ тюркменскія земли.

Въ одномъ изъ такихъ отрядовъ находился и полковникъ Наземовъ съ своими казачьими сотнями.

— Мы вступили ночью,—разсказывалъ Наземовъ;—отрядъ нашъ сформированъ былъ превосходно, изъ отборныхъ ротъ пѣхотинцевъ, легкихъ орудій и нѣсколькихъ казачьихъ сотенъ...

Ужъ какже я не люблю этихъ ночныхъ выступленій: никакого въ нихъ толку нѣтъ, да, по моему, и никакой надобности, по крайней мѣрѣ, въ настоящемъ случаѣ...

Темнота, какъ на бѣду, страшная, время-то было въ по-

слѣднюю лунную четверть, только передъ самымъ разсвѣтомъ показывался на горизонтѣ ея блѣдный серпикъ... Дорога узкая, все между стѣнъ да садовъ, на каждомъ шагу мостики дряблые,—того и гляди, что орудія провалятся или лошади ноги покалѣчатъ... Духота, пыль!.. Ощупью просто пробираться приходится...

Всѣ недовольны, всюду ворчня слышится... Ни пѣсенъ, ни говору веселаго, ни музыки... Идутъ, словно хоронятъ кого... Тоска просто одолѣваетъ... А тутъ еще ко сну клонитъ, такъ сами глаза и слипаются, поводья изъ рукъ валятся... Только ноги, привычныя къ сѣдлу, сами собою держатся, а то бы такъ и кувырнулся съ лошади... Да что... Я уже не говорю про насъ, кавалеристовъ,—пѣхотинцы на ходу дремлютъ... Смотришь, бывало, на солдатика, идетъ онъ, съ своимъ назатыльникомъ на шапкѣ, на спинѣ словно вьюкъ цѣлый, верблюжій, ружье черезъ плечо на ремень повѣсилъ, идетъ себѣ впередъ, ноги машинально совсѣмъ переставляетъ, глаза полузакрыты, трубочка въ зубахъ потухла, уже и на своемъ мѣстѣ развѣ однимъ святымъ духомъ держится... Окликнешь такого солдатика, не сразу отвѣтитъ, потому не слышитъ,—спитъ... Говорятъ,—будто даже сны видятъ, на ходу-то...

Да еще бы и не спать-то... За день намаются вдосталь—а ночью, вмѣсто того, чтобы лечь да выспаться,—нѣтъ, становись въ ряды, — шагай!.. Да, не нравятся нашему брату эти безцѣльныя, ночныя выступленія!

А походъ предстоялъ намъ чрезвычайно интересный! Тѣ, кто оставались въ лагерѣ подъ Хивою, отъ души завидовали намъ, счастливцамъ... Мы направлялись въ такія мѣста, о которыхъ наслышались много чудесъ, и имѣли возможность въ самомъ ближайшемъ времени провѣрить на дѣлѣ все слышанное.

Больше всего, конечно, интересовали насъ сами обитатели этихъ мѣстъ... Надо припомнить, что еще передъ хивинскимъ походомъ о тюркменахъ думали такъ:

«Это не бухарскіе сарбазы, бѣгущіе при первомъ выстрѣлѣ,—это не та сволочь, что, сбираясь въ числѣ десяти и болѣе тысячъ, не выдерживаетъ атаки одной нашей роты въ сто человѣкъ... Тюркмены такъ же воинственны и храбры, какъ черкесы; они превосходно вооружены, сидятъ на лихихъ,

кровныхъ коняхъ, пріученныхъ къ боевой и разбойничьей жизни... У тюркменъ есть своего рода военная исторія,—преданія, легенды, рыцарство... Они дорожатъ своею боевою репутацію и не дадутся на посрамленіе пришельцамъ...» Мы разсчитывали, что со стороны этихъ союзниковъ хивинскаго хана мы встрѣтимъ могучій отпоръ, отпоръ, который по крайней мѣрѣ былъ бы достоинъ нашей атаки... Но, намъ пришлось пока убѣдиться въ противномъ. Первыя встрѣчи наши съ «черными шапками» въ пескахъ Адамъ-Крылгана и Алты-Кудука убѣдили насъ, что и эти отважные наѣздники легко бѣгутъ отъ нашихъ выстрѣловъ, не пытаясь даже потягаться въ рукопашную съ нашими казаками... Могучіе союзники хана Сеидъ-Рахима — «любимое воинство Аллахъ», непобѣдимые «Іомуды», «Солоры», «Чодоры» и «Теке»—оказались на дѣлѣ далеко не такими богатырями, какъ о нихъ думали, и почти безъ боя отступили въ свои земли, оставивъ намъ въ добычу и беззащитнаго, потерявшаго свою голову владыку,—и его взбудораженное, разгромленное ханство.

Мнѣніе о тюркменахъ тогда сильно перемѣнилось, однако, еще находились сторонники ихъ, люди, которымъ не хотѣлось разставаться съ созданными идеалами степныхъ рыцарей—и эти люди объясняли позорное поведеніе тюркменъ равнодушіемъ къ судьбамъ ханства, отчасти имъ даже чуждаго, нежеланіемъ проливать своей крови за деньги, изъ-за чужихъ интересовъ...

— Вотъ теперь,—говорили они,—другое дѣло!—Теперь они себя покажутъ... Развѣ были бы они такъ упрямы и неподатливы, если бы не были увѣрены въ своихъ силахъ... Смотрите, какъ они васъ встрѣтятъ въ своихъ родныхъ становищахъ... Они покажутъ вамъ себя теперь совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ...

Это предположеніе, пожалуй, имѣло свое основаніе—и вотъ почему, между прочимъ, мы, не безъ нѣкотораго замиранія сердца, выступили на бой съ этими, все таки еще неизвѣданными вполнѣ противниками...

Тихо мы подвигались въ темнотѣ и густой пыли, останавливались поминутно, встрѣчая на пути всевозможныя задержки: то мосточикъ разобранъ, саперы вновь настилаютъ наскоро, то орудіе соскользнуло колесомъ въ тинистую боковую канаву, и вытаскивать его надо, то пѣшія части растя-

нулись,—головную колонну остановили, подтянуться даютъ, то, чертъ его знаетъ, какое недоразумѣніе... Крикнули гдѣ-то: «Стой!» команду передали дальше... Откуда она пришла, и не доберешься, а между тѣмъ колонна стоитъ, пока не разберутъ случившейся путаницы... Разъ съ дороги сбились, не въ тотъ проходъ повернули, вернуться пришлось... И все это проклятое, ночное выступленіе!..

Кончили тѣмъ, что когда разсвѣло, и отрядъ весь остановили на привалъ и оправку,—хивинскія стѣны были у насъ еще на виду;—мы и восьми верстъ не отошли;—только напрасно измучились...

Постояли мы тутъ часа полтора; мѣсто хорошее: деревья тѣнистыя, прудки, арыки съ проточною водою... Пообмылись солдатики, чаю сварили, отдохнули и развеселились... Всѣ невзгоды и непріятности ночного шатанія сразу были забыты.— И люди, и кони словно переродились и бодро выступили съ привала далѣе.

Утро было превосходное, — свѣжее такое, прохладное... Солнце только что взошло, не успѣло даже высушить ночную росу на деревьяхъ и на широкой листвѣ табачныхъ плантацій, прилегавшихъ къ самой дорогѣ... Темно-зеленые, развѣсистые карагачи сверкали словно усыпанные брильянтами; надъ разрыхленною, вспаханною почвою подымался легкій паръ... Дымки вились надъ разбросанными тамъ и сямъ саклями узбековъ земледѣльцевъ, но сами жители не довѣряли еще нашимъ миролюбивымъ наклонностямъ и прятались отъ насъ, выглядывая только украдкою изъ-за своихъ глиняныхъ стѣнокъ...

Я чувствовалъ себя въ отличномъ расположеніи духа; конь мой, кажется, раздѣлялъ съ господиномъ то же чувство, шелъ бодро и шаловливо грызъ удила наборной уздечки...

Перескочивъ боковую канавку, я прибавилъ шагу и сталъ понемногу обгонять растянувшуюся, смѣшанную колонну, прислушиваясь къ говору солдатъ и офицеровъ.

Да, теперь совсѣмъ не то, что ночью... Теперь повсюду слышится веселый, оживленный говоръ, смѣхъ, звонкое, лихое пѣніе, бьющая въ тактъ барабанная дробь и серебристое дребезжаніе увѣшаннаго бубенчиками бубна въ рукахъ ротнаго запѣвалы...

Пѣхота шла бойко, ходко, казаки даже рысцею нагоняли

расходившихся туркестанцевъ... орудія почти безъ стука катились по мягкой, дорожной пыли, и сытыя лошадки почти не натягивали своихъ веревочныхъ, просмоленныхъ уносовъ...

И все это, на ходу, занято было одною и тою-же мыслью, все это шло и говорило объ одномъ и томъ-же, живо интересующемъ всѣхъ насъ предметѣ:—о тюркменахъ, о ихъ житьѣ, о ихъ нравахъ и обычаяхъ.

— Женщины тамъ не то, что у этихъ свиней,—доносился чей-то голосъ, подразумѣвавшій подъ словомъ—свиньи, вѣроятно, вообще городскихъ и осѣдлыхъ мусульманъ.—У нихъ — бабье все красавицы, одна другой лучше, не забитыя, не загнанныя;—лица свои подъ сѣтку не прячутъ... Онѣ у нихъ всегда вмѣстѣ съ мужьями, говорятъ даже, будто на войну ходятъ вмѣстѣ...

— Да, лихія наѣздницы! — вторилъ кто-то другой... — Вотъ бы...

Легкій вздохъ прервалъ это «вотъ бы»—предоставляя, какъ угодно, уже развивать это окончаніе фразы...

— Ковры тюркменскіе—положительно лучше хваленныхъ персидскихъ!—доносилось съ другой стороны... — Вы повѣрите, господа,—у меня былъ какъ-то одинъ такой вотъ,—такъ семнадцать лѣтъ служилъ;—а вы знаете, какова наша служба:—и въ грязь его прямо сгелешь, и мочишь-то его, такъ въ сапогахъ по немъ и валяешься... и семнадцать лѣтъ...

— У персидскихъ узоръ лучше... вкусу какъ-то больше... У персидскихъ кайма...

— И ничего нѣтъ хорошаго у вашихъ персидскихъ... Такъ, ерунда какая-то, путаница:—и зеленое, и красное, и желтое—все перемѣшано... пестрота!

Отъ сравненія тюркменскихъ ковровъ съ персидскими переходили къ самимъ персіянамъ, къ сравненію этихъ послѣднихъ съ тюркменами... Приводились многочисленные разсказы о трусости «кызылъ-башей» (такъ здѣсь называютъ персіянъ) — о томъ, какъ часто шайки въ десять и даже менѣе тюркменъ нападали на большіе персидскіе караваны и грабили ихъ безнаказанно,—уводя въ плѣнъ охваченныхъ паникою, даже не пытающихся сопротивляться, иранскихъ купцовъ...

— Вѣрите-ли? Это мнѣ Иртыкъ-Мергень, тюркменъ тотъ, что къ генералу джигитомъ поступилъ, самъ говорилъ... «Какъ только, бывало, покажутся наши, такъ тѣ сейчасъ стой, ло-

жатся ничкомъ на землю—и отдаютъ себя на волю Аллаха... Даже не пошевелятся, когда ихъ поодиночкѣ, какъ барановъ какихъ-нибудь, арканами связываютъ.

— Что и говорить... сволочь!..

— А, должно быть, они насъ приготовились порядкомъ встрѣтить... Будетъ баталія!.. Теперь имъ уже, вѣроятно, извѣстно о нашемъ выступленіи — приготовились... Посмотримъ, наконецъ, каковы такіе эти хваленые батыри...

— Ты не помнишь, что по статуту полагается, чтобы получить Георгія?—допытывался у своего сосѣда молоденькій пѣхотный офицерикъ, болтая ногами на своей смиренной клячѣ.

Честолюбіе, значитъ, начало разгораться въ сердцѣ юнаго воина... А мы все шли да шли... и къ полудню пришли на мѣсто перваго бивуака, отойдя отъ Хивы безъ малаго верстъ тридцать, если не больше... Кто его знаетъ:—здѣсь дороги не мѣреныя...

На этомъ привалѣ пришли къ намъ первыя вѣсти отъ лазутчиковъ, прибывшихъ изъ тюркменскихъ становищъ. Намъ дали знать, что непріятель дѣйствительно предувѣдомленъ о нашемъ приближеніи и уже принялъ мѣры для встрѣчи. Лазутчики разсказывали, что мужчины всѣ поголовно,—кто только способенъ былъ носить оружіе и сидѣть на конѣ,—собрались въ партіи и стягиваются къ Чандыру, куда мы предполагали идти, а семьи ихъ готовятся со всѣмъ скотомъ откочевать на это время въ пески, въ пустыни, лежащія по ту сторону оазиса... Разсчетъ ихъ былъ совершенно вѣренъ: они смѣло могли надѣяться, что мы не рискнемъ гнаться за ними въ эти безводныя пустыни, не зная ни дорогъ, ни мѣстъ, гдѣ находятся скрытые, одинокіе колодцы... А еслибы и рискнули на этотъ подвигъ, то у насъ въ тылу очутились бы вооруженныя силы непріятеля и этимъ поставили бы насъ въ самое критическое и опасное положеніе...

Эти извѣстія заставили нашего генерала измѣнить первоначальный планъ дѣйствій:—намъ мало было разбить непріятеля, и то если онъ еще дастъ бой, а не уклонится отъ него, на что мы могли всегда разсчитывать... Намъ необходимо было наказать кичливыхъ тюркменъ, нанести имъ ощутительный погромъ, внести раззоренье въ ихъ жилища, захватить, если воз-

можно, именно ихъ семьи и взять оттуда заложниковъ... Принципы азіатскихъ войнъ не тѣ, что преслѣдуются у образованныхъ народовъ... Только такимъ могучимъ погромомъ, — не скоро поправимымъ, мы могли бы достичь желанныхъ результатовъ, а для этого надо было, какъ можно скорѣе, не теряя времени, предупредить тюркменъ, отрѣзать ихъ отъ спасительныхъ песковъ, догнать и захватить именно ихъ семьи, стада и обозы...

Тотчасъ же большая часть кавалеріи отряжена была съ этою послѣднею цѣлью,—и мы выступили съ привала на рысяхъ, взявъ вправо,—на урочище «Игды» — такъ какъ намъ говорили, что это лучшая и ближайшая дорога къ становищамъ іомудовъ и другихъ сосѣднихъ мелкихъ родовъ тюркменскихъ.

Оставивъ орудія при пѣхотѣ, мы захватили съ собою только ракетные станки, простились съ товарищами и тронулись... Въ тотъ же вечеръ, часовъ въ девять, какъ разъ къ закату солнечному, мы остановились дать отдыхъ и покормить лошадей, какъ разъ на рубежѣ первыхъ іомудскихъ кочевій.

Мы провели эту ночь держа ухо востро. Огней не раскладывали, и половина казаковъ не разнуздывала даже лошадей и не снимала оружія.

Сколько передумано было въ этотъ ночлегъ! Какіе пытливые, тревожные взгляды направлялись въ ту сторону, силясь проникнуть мракъ ночи, разгадать, что тамъ такое дальше, тамъ, куда мы еще не дошли, но куда попадемъ завтра, съ разсвѣтомъ.

Темно и тихо было въ той сторонѣ, но эта тишина какъ будто предвѣщала что-то роковое, грозное... Какіе-то неясные звуки доносились по временамъ оттуда, но какіе это были звуки, разгадать было невозможно... Очень можетъ быть, что эти звуки существовали только въ нашемъ воображеніи... Иногда, далеко, на самомъ горизонтѣ, вспыхивали красноватыя пятна, не то зарево костровъ, не то сигнальные маяки... не то пожаръ... Да, на послѣдній это зарево было довольно похоже, особенно, когда эти разрозненныя пятна сближались между собою, сливаясь въ удлиненныя полосы...

— Гляди: — это они свою пшеницу на корню жгутъ!— соображали казаки.—Ишь—воръ-народъ:—ни себѣ, ни людямъ чтобы не доставалось... Разбойники...

Переждавъ темноту,—чуть только забрезжило, — мы сѣли на коней и тронулись... Мѣстность стала значительно измѣняться; намъ часто попадались большіе пустыри, ничѣмъ не засѣянные, даже не бывшіе когда-либо подъ плугомъ, поросшіе дикимъ терновникомъ, бурьяномъ и колючкою. Между этими пустырями кое-гдѣ зеленѣли разбросанные сады, обнесенные высокими стѣнами... Тамъ были и жилища тюркменовъ, ихъ сакли и кибитки... Каждый подобный садъ могъ бы служить хорошею крѣпостью, но все это было пусто, все это носило на себѣ слѣды спѣшной, недавней перекочевки... Тамъ и сямъ чернѣлись на землѣ круги, оставшіеся отъ снятыхъ кибитокъ; около такихъ круговъ мѣстность была вытоптана и засорена навозомъ и костровою золою. Тутъ же валялись сломанныя, никуда больше негодныя арбы, бродили забытыя куры, рыскали бездомныя собаки и, завидя насъ, провожали своимъ унылымъ, тоску наводящимъ воемъ мимо идущія сотни оренбургцевъ, уральцевъ и кубанцевъ въ ихъ папахахъ и буркахъ, присоединившихся къ намъ отъ кавказскаго отряда Ломакина.

Мы съ любопытствомъ разсматривали всѣ эти свѣжіе слѣды недавняго бѣгства кочевниковъ, стараясь опредѣлить по нимъ промежутокъ времени между этимъ бѣгствомъ и нашимъ приходомъ.

Да, промежутокъ этотъ не долженъ быть слишкомъ великъ, а значитъ,—мы ихъ скоро, даже очень, можетъ быть, скоро нагонимъ... И мы, сами того не замѣчая, все прибавляли и прибавляли шагу, пока не перешли совсѣмъ въ полную рысь,—какъ гончія собаки, почуявшія свѣжій слѣдъ поднятаго звѣря.

И какъ же злились мы, какъ досадовали на разныя препятствія, поминутно встрѣчавшіяся намъ на дорогѣ. Тюркмены позаботились устроить этихъ препятствій какъ можно болѣе. То они запрудили воду въ арыкахъ и пустили ее прямо поперегъ дороги, затопивъ эту дорогу и превративъ въ топкую грязь солонцеватую почву, такъ что наши бѣдные кони вязли по брюхо... То, когда намъ приходилось переходить черезъ широкіе арыки, мы находили мосты на нихъ сломанными и даже сожженными, что на часъ и болѣе задерживало переправу... Иногда намъ приходилось дѣлать объѣздъ въ нѣсколько верстъ, чтобы обойти подобное препятствіе... Мы проклинали догадливыхъ тюркменъ, посылали на ихъ головы всевозможныя

бѣдствія, злились отъ души, забывая, что сами, будучи на ихъ мѣстѣ, сдѣлали бы то же самое, если еще не больше.

Мы, какъ дѣти, злились даже на то, когда насъ заставляли останавливаться и давать отдыхъ усталымъ конямъ. Мы сами, горячась и волнуясь, не чувствовали усталости и наивно думали, что и наши кони должны находиться въ такомъ же ненормальномъ возбужденномъ состояніи.

Хорошо еще, что подъ нами были безотвѣтные, все выносящіе, желѣзно-ногіе степные моштаки, которые могутъ, шутя, выдерживать подобные бѣшенные перегоны, а то бы была бѣда: мы бы могли очутиться, въ самую критическую минуту, на лошадяхъ, еле передвигающихъ ноги отъ изнеможенія.

А слѣды становились, какъ нарочно, все свѣжѣе и свѣжѣе. Мы въ одномъ становищѣ нашли даже не остывшую золу. Направо отъ дороги, мы замѣтили небольшое квадратное поле съ сгорѣвшей на корню пшеницею; обгорѣлые комли еще тлѣли, и по вѣтру несся черноватый, стелящійся дымъ,—печальное знамя войны и разрушенія.

Говорили, что кубанцы нашли даже какого-то забытаго старика, до того струсившаго, что тотъ потерялъ даже языкъ и упорно молчалъ на сыпавшіеся на него перекрестные допросы...

Да, по всему уже видно, что близко... еще одинъ угонъ, еще одно усиліе—и мы нагонимъ... Отдохнувшіе кони шли бойко... Мы не держались одной и той же дороги, мы растянулись вправо и влѣво, стараясь захватить возможно большее пространство... Насъ занималъ вопросъ: кто первый завидитъ вдали хвосты отступавшихъ тюркменскихъ обозовъ... Кто будутъ эти счастливцы?.. Изъ-за чего мы тогда такъ горячились, я теперь положительно не понимаю...

Къ вечеру́, мы ихъ увидали.

Зеленѣющіеся оазисы стали все рѣже и рѣже; впереди уже протянулась волнующаяся линія мертвыхъ песковъ; болѣе возвышенные, наносные курганы тяжело очерчивались на багровомъ фонѣ заката...

Мы стали взбираться на одинъ изъ подобныхъ кургановъ, и едва только голова колоны перевалила за его гребень, какъ прямо передъ собою мы увидали длинные, теряющіеся въ отдаленіи, отступающіе обозы кочевниковъ.

Эти обозы извивались, словно гигантскія змѣи... Унылый скрипъ арбяныхъ колесъ и глухой говоръ торопливо погонявшихъ своихъ лошадей обозниковъ долетали до насъ ясно, отчетливо...

Медленно двигались тяжело-нагруженныя арбы, облака пыли поднимались изъ подъ многочисленныхъ колесъ, изъ подъ тысячи ногъ сбитаго въ гурты скота. Отдѣльные всадники рыскали вокругъ, то останавливались, то ворочались назадъ, то неслись вправо и влѣво... Бѣлые верхи крытыхъ арбъ, будто слоны, виднѣлись посреди этого движущагося хаоса... Видѣли ли они насъ—или нѣтъ?

Да, должно быть: крикъ ужаса и злости вырвался у заднихъ, ближайшихъ къ намъ, этотъ крикъ понесся по всѣмъ линіямъ обозовъ, передаваясь отъ одной арбы къ другой... Разомъ наддали усталыя лошади, онѣ словно собрали послѣднія усилія... Или мы остановились... я не помню... Я помню только то, что разстояніе между нами и хвостомъ тюркменскихъ обозовъ увеличилось въ первую минуту значительно...

Всѣ эти, рыскавшіе отдѣльно, всадники сбились въ кучу и, какъ собаки, понеслись къ намъ на встрѣчу... Да, какъ собаки, я не могу теперь подобрать другого, болѣе подходящаго сравненія... Только это храброе, благородное животное бросается на врага, не разбирая ни своихъ, ни его силъ, только это животное, одушевленное преданностью къ своему хозяину, въ защиту его добра, кидается на явную смерть, не помышляя вовсе о своей собственной шкурѣ.

Такъ и эти всадники,—съ шашками въ рукахъ, пригнувшись къ шеямъ своихъ коней, гикнули и кинулись на насъ. Мгновеніе,—не болѣе, какъ одно мгновеніе, и мы прямо передъ собою увидѣли высокія черныя шапки тюркменъ и головы ихъ коней, покрытыхъ ковровыми попонами...

Казаки не выдержали и подались назадъ—тюркмены врубились... Тщетная попытка, безполезныя жертвы!.. Справа и слѣва набѣжали подоспѣвшія сотни... я видѣлъ, какъ эти сѣрые, запыленные всадники, на своихъ приземистыхъ лошадкахъ, охватили кругомъ маленькую группу красныхъ халатовъ... А черезъ минуту, словно ничего и не случилось; казаки снова разомкнулись и, гикнувъ въ свою очередь, понеслись на обозы, лишенные уже своихъ немногочисленныхъ защитниковъ.

Изрубленныя тѣла тюркменъ валялись на окровавленномъ пескѣ, ихъ кони носились между сотнями, за ними гонялись, нѣкоторыхъ уже поймали, нѣкоторые таки пробились и, растрепавъ вьюкъ, сбивъ на сторону сѣдло, дико скакали къ своимъ обозамъ, откуда раздалось нѣсколько выстрѣловъ... тамъ и сямъ вспыхнули бѣловатые клубочки дыма... А вотъ и у насъ, что-то зашипѣло, треснуло, и длинная огненная лента прорѣзала воздухъ на направленію къ головамъ обозовъ. За этою лентою, потянулось еще и еще... Гдѣ-то вправо тоже зашипѣли въ воздухѣ подобныя-же огненныя змѣи. Это дѣйствовали наши ракетныя команды, съ цѣлью произвести полную панику и суматоху въ отступавшихъ обозахъ, сбить ихъ съ пути и остановить движеніе.

Послышался сигналъ «къ атакѣ»—зачѣмъ?! Лишняя кровь, лишняя рѣзня, лишнее увлеченіе.

Не съ крикомъ «ура», нѣтъ, это не крикъ, это звукъ, который не можетъ вырваться изъ человѣческой груди, — мы ринулись впередъ, мы ринулись, не разбирая больше ничего, не видя почти ничего передъ собою.

Увлеченный общимъ движеніемъ, я тоже скакалъ, привставъ на сѣдлѣ, силясь разглядѣть что-нибудь въ этомъ хаосѣ пыли и движущихся фигуръ. Вотъ я ударился колѣномъ объ ободъ арбянаго колеса, вотъ съ боку мелькнула испуганная рогатая голова какого-то быка, съ вытаращенными глазами, вотъ конь мой споткнулся на что-то, вотъ опять толчекъ... Мой конь теперь шарахнулся въ бокъ, самъ я чуть не вылетѣлъ изъ сѣдла. Какой-то молодой казакъ обогналъ меня; я и теперь хорошо помню его фигуру: выпучивъ глаза, точно тотъ быкъ, котораго я только-что видѣлъ, раскрывъ ротъ, онъ гонитъ каблуками свою лошадь и скачетъ, не разбирая дороги. Онъ и поводья даже бросилъ... онъ рубитъ и рубитъ шашкою, онъ не понимаетъ, не сознаетъ, что дѣлаетъ... вотъ онъ ударилъ по чьей-то лошади, вотъ задѣлъ какую-то фигуру, закутанную съ головой, поднявшую руки кверху, а вотъ и по колесу арбяному ударилъ, клинокъ шашки сломался отъ этого удара, а онъ все рубитъ... такъ, по воздуху машетъ расходившаяся рука. А вотъ и самъ покачнулся, конь его тоже... Я его видѣлъ сейчасъ, сію секунду, теперь онъ исчезъ... онъ, должно быть, тамъ, внизу, подъ ногами... онъ упалъ... его топчутъ и

мнутъ, топчутъ также безпощадно и безсознательно, какъ онъ самъ безпощадно и безсознательно несся и рубилъ все встрѣчное.

Грустно и стыдно становится за человѣка, когда вспоминаешь подобныя минуты...

Изъ облака пыли вдругъ вынырнула передо мною фигура женщины. Эта женщина стояла во весь ростъ на арбѣ; лѣвою рукою она придерживала ребенка, правая же рука была вооружена длиннымъ ножемъ...

Мнѣ казалось, что она смотрѣла прямо на меня, по крайней мѣрѣ, я видѣлъ, я помню и теперь ея взглядъ, блестящій, гнѣвный, заставившій меня сразу осадить свою лошадь... но въ ту же минуту неожиданный толчекъ арбы заставилъ тюркменку покачнуться... Она чуть не упала, она удержалась, но при этомъ выронила изъ рукъ своего ребенка, и маленькое тѣльце покатилось внизъ, стукнулось обо что-то и исчезло подъ ногами моего коня...

Жалобный, дѣтскій крикъ до сихъ поръ еще рѣжетъ мнѣ слухъ... я его никогда—никогда не забуду...

Въ то же мгновеніе женщина сама ринулась внизъ и ухватилась руками за поводья моей лощади... Острая боль въ бедрѣ,—боль, въ которой не трудно было узнать ударъ ножемъ, заставила меня вскрикнуть... Справа высунулась рука, вооруженная казачьей шашкою и ударила по лицу тюркменку, та упала...

Этотъ эпизодъ былъ дѣломъ двухъ-трехъ секундъ... Со всѣхъ сторонъ слышались звуки трубъ, призывающихъ къ отбою, къ порядку... Офицеры проталкивались между арбами и перепутавшимися, разрозненными сотнями, чтобы остановить ненужное кровопролитіе...

Однако, полчаса спустя, не менѣе, удалось остановить свалку и водворить порядокъ. Обозы были остановлены, свернуты въ тѣсный вагенбургъ и со всѣхъ сторонъ оцѣплены казачьими караулами... Защитники были перебиты, оставались только женщины и дѣти...

Въ самый обозъ были отправлены наши туземные джигиты, знающіе мѣстный языкъ, которымъ велѣно было передать тюркменскимъ семьямъ приказаніе начальника,—бросить оружіе и прекратить всякое сопротивленіе.—Казакамъ запрещено было подходить къ арбамъ, въ предупрежденіе случаевъ грабежа,

или же, что весьма легко могло бы случиться, возможности попасть подъ скрытый ударъ ножа или шашки.

Къ тому же наступила темнота, которая еще болѣе могла бы усилить безпорядокъ, еслибы не позаботились прекратить его заранѣе, еще засвѣтло.

А между тѣмъ, кругомъ обоза были разложены большіе костры, освѣтившіе мѣсто свалки; отрядили людей, подбирать раненыхъ, что-бы немедленно оказать имъ нужное пособіе. Единственный докторъ при нашемъ отрядѣ уже засучалъ по локоть рукава своего кителя, и его помощники фельдшера доставали изъ походныхъ вьюковъ разные инструменты и перевязочныя средства.

Осмотрѣлъ и я свою рану ножемъ:—это оказалось слишкомъ пустая поверхностная царапина, чтобы стоило о ней заботиться, а потому, залѣпивъ ее пластыремъ и перевязавъ бинтомъ, я сталъ разыскивать своего драбанта (деньщика), распорядившагося тѣмъ временемъ относительно чая и моего походнаго коврика—постели.

Теперь только, когда все успокоилось, улеглось, когда прошло это нервное, лихорадочное состояніе, возбужденіе, овладѣвшее нами, — я, да, вѣроятно, и не одинъ я, почувствовалъ крайнюю усталость, почти изнеможеніе.

Жадно я выпилъ большую чашку горячаго чаю и едва только прилегъ на свой коверъ, едва только голова моя коснулась кожанной сѣдельной подушки,—какъ дремота начала одолѣвать меня... я закрылъ глаза...

Гулъ и говоръ нашего лагеря глухо доносился до моего слуха... Рѣзкій звукъ трубы, завывавшей обыденную «вечернюю зорю», казался мнѣ какимъ-то далекимъ — далекимъ, гдѣ-то тамъ, за этими песчаными холмами... Я засыпалъ...

Вотъ, чувствую, кто-то проходитъ мимо,—торопливо какъ-то... вотъ кто-то еще... этотъ уже просто перешагнулъ черезъ меня, вѣроятно, ради сокращенія дороги... вотъ опять прошла цѣлая кучка... говорятъ громко; кое-что изъ этого разговора, не смотря даже на мой ослабѣвшій, засыпающій слухъ, мною улавливается...

— То есть, я тебѣ, братецъ, скажу:—такая красота писанная, что я еще такой и не видалъ!—говоритъ знакомый голосъ—одного офицера кубанской сотни.

— Ну, ужь эти черномазыя,—такъ, должно быть, на цыганку похожа... носатая. .—отвѣчалъ другой.

— Нѣтъ, ты погляди сперва—ты погляди, а потомъ говори.—Чудо—да и только!

— Поглядимъ...

— Гдѣ, господа, гдѣ?.. Иванъ Алексѣичъ, гдѣ, голубчикъ?

— Тамъ, супротивъ первой сотни... Да иди-же скорѣе... Легче! Тутъ дрыхнетъ кто-то!..

— Чуть было не раздавилъ... Кто это?..

— Глаза вотъ какіе... ротикъ, то есть, я тебѣ доложу... Кривошеинъ взялъ было ее за подбородокъ,—такъ она его, друга милаго—на отмашь... Дуракъ этотъ было обидѣлся,—а докторъ говоритъ ему: — И по дѣломъ; — я-бы еще не такъ смазалъ!

— Ха-ха-ха! Такъ ловко пришлось!..

— Въ пропорцію...

«Объ какой это красавицѣ говорятъ?»—думаю я,—а самому лѣнь даже глаза открыть,—языкъ ворочаться во рту не хочетъ... Все равно, думаю, завтра узнаю... Слышу—будятъ меня.

— Наземовъ, вставай, братъ!—толкаютъ меня въ бокъ и за руку тянутъ.

— Ну, что еще?..

— Да вставай, — самъ увидишь... успѣешь еще выдрыхнуться. Просыпайся... ну... скорѣе!..

Открылъ я глаза, поднялся — эсаулъ Павликовъ стоялъ передо мною. Мы съ нимъ большіе были тогда пріятели... Теперь вотъ давно уже не видѣлись, почти съ того времени съ самаго.

— Тамъ,—говоритъ мнѣ Павликовъ,—раненую одну привели на «перевязочный»—удивительная женщина... У ней вся щека шашкою разрублена, а она и не морщится,—глядитъ на всѣхъ да словно либо подсмѣивается, либо укусить хочетъ... такъ огоньки въ ея глазахъ и бѣгаютъ во всѣ стороны... Субъектъ замѣчательный... и ребенокъ въ рукахъ у ней мертвый; хотѣли взять,—не даетъ, зубами даже защелкала. Докторъ велѣлъ оставить... Пристаютъ все черезъ переводчика, чтобы перевязать себя дала,—успокаиваютъ ее все... Пойдемъ, посмотримъ!

Какъ разсказалъ онъ мнѣ это, объ раненой щекѣ, да объ

мертвомъ ребенкѣ, такъ меня даже въ сердце кольнуло; не знаю уже почему — представилась мнѣ именно та женщина, что я на арбѣ видѣлъ, которая меня ножемъ ударила... Заинтересовало это обстоятельство меня шибко, поднялся я на ноги, поправился—и говорю Павликову:

— Ну, братецъ, идемъ. . Гдѣ же это?

А темнота такая стояла кругомъ, просто хоть глазъ выколи... Тамъ, гдѣ огни разложены, освѣщено еще не много, отъ костра аршина на три вокругъ, не болѣе, а дальше ни зги... словно такая темнота густая, что свѣту даже не пускаетъ расходиться... Заглянулъ туда, гдѣ тюркменскіе обозы,—такъ масса какая-то черная, тяжелая, неподвижная; у насъ въ лагерѣ бродятъ еще, половина народа не спитъ... На арыкѣ неподалеку варятъ что-то, — дымъ густой валитъ и надъ коновязями стелется.

— Сюда, сюда, за мною!—бормочетъ мнѣ эсаулъ Павликовъ и за руку тянетъ...—Легче тутъ... постой, тутъ, кажется, канава... какъ бы намъ съ тобою не врѣзаться... А... вотъ она, вотъ... шагай тутъ шире... гопъ!.. Вотъ такъ, переправились... Видишь: — вонъ, у послѣдняго огня... народу тамъ много толпится... Кутяпкинъ—ты что-ли?..

— Я!—рявкнулъ кто-то въ темнотѣ, должно быть, этотъ самый Кутяпкинъ.

— Теперь ровно... Иди смѣлѣе—скоро!—говоритъ Павликовъ...—Гдѣ ты отсталъ?.. Иди же!

— Иду!—отвѣчаю я...

Стали ближе подходить... Ровное мѣсто тутъ выдалось, просторное... Подбѣжали...

Густая толпа окружала костеръ, около котораго была уже раскинута перевязочная палаточка. Офицеры занимали переднія мѣста, сзади толпились казаки, стараясь разглядѣть, что такое дѣлается тамъ, въ центрѣ этого любопытнаго круга.—Все это стояло тихо и переговаривалось между собою шепотомъ, словно въ присутствіи начальства какого-нибудь важнаго. Докторъ чистой воды требовалъ, чтобы принесли ему въ чашкѣ... Я это приказаніе его услышалъ, какъ только мы съ Павликовымъ подошли къ кучкѣ.

— Разступись, ребятки, раздайся, молодцы!—командовалъ мой спутникъ...—Эй, землякъ, посторонись!..

Мы протискались впередъ, пожали кое-кому изъ знакомыхъ руки—и очутились почти рядомъ, вплотную съ нашимъ ретивымъ, суетящимся докторомъ.

У огня, — на какой-то подставкѣ, — сундучекъ какой-то кованный, какъ я разглядѣлъ послѣ, сидѣла женщина-тюркменка... Красная рубаха на ней была вся въ клочьяхъ, рукавъ одинъ совсѣмъ оторванъ, а другой до плеча распахнутъ. Голыя руки, здоровыя такія, полныя, держатъ что-то на колѣняхъ,— въ тряпье завернутое... должно быть, это и былъ ея ребенокъ .. Волоса черные, длинные, въ мелкія косы заплетены и по спинѣ висятъ; украшенія разныя — нитки съ бусами, монеты нанизанныя, раковинки, камешки какіе-то — все въ безпорядкѣ,— порвано, перепутано. Взглянула она въ мою сторону, такъ я даже попятился — Тѣнь на меня легла отъ сосѣда, такъ она меня, должно быть, не видѣла, за то я ее ясно, хорошо видѣлъ и узналъ сразу... Та самая!

Чудное это было лицо, разъ его видѣть, забыть трудно... невозможно! Странныя вещи въ лицѣ этомъ творились... Подвижное, оживленное, оно отражало въ себѣ малѣйшее внутреннее чувство—смотри просто и читай...

Опустила она глаза свои внизъ, на ребенка мертваго смотритъ, сама не шевелится; только грудь тяжело дышетъ, да словно вздрагиваетъ, словно горя материнскаго накопилось тамъ, словно рыдать она хочетъ, да удерживается передъ гяурами, передъ врагами своими слезы показать боится... А сколько любви, сколько нѣжности было въ этомъ лицѣ въ такую минуту... но только въ эту минуту... Но вотъ она подняла глаза, обвела кругомъ своимъ взглядомъ — и чудная перемѣна свершилась разомъ, почти мгновенно... Эти большіе, черные глаза положительно горѣли; они жгли васъ, насквозь пронизывали... въ нихъ было столько злости, почти бѣшенства; въ ея сжатыхъ губахъ, въ этихъ бровяхъ, почти сросшихся надъ переносьемъ, дышала такая безпощадная, ничего не прощающая ненависть, что...

Да, нѣтъ, не я одинъ... я видѣлъ, я хорошо видѣлъ, что и другіе всѣ отворачивались или потупляли свои глаза.— Только докторъ одинъ умѣлъ какъ-то выдерживать, да и то потому, что не очень въ эти змѣиные глаза вглядывался... Ужь очень его занималъ кровавый рубецъ на щекѣ этой кра-

савицы — рана, порѣзные края которой сильно разошлись, и оттуда струилась густая темно-красная кровь, перепачкавшая и шею тюркменки, и ея руки—и даже тряпье, покоившееся у ней на колѣняхъ...

Я стоялъ и смотрѣлъ, какъ очарованный,—я уже болѣе глазъ не спускалъ съ этой оригинальной фигуры и мало-помалу выдвигался впередъ и впередъ, пока не очутился самъ въ центрѣ этого, ярко-освѣщеннаго пространства.

Тюркменку пытались разспрашивать, говорили съ нею на ея родномъ языкѣ, ободряли ее, успокаивали, говорили ей, что только вотъ перевяжутъ ее и завтра же утромъ, съ Богомъ, на всѣ четыре стороны отпустятъ... Клялись ей даже, что никакого зла ей не сдѣлаютъ, а даже, напротивъ, денегъ дадутъ, подарковъ разныхъ!.. Она ничего не отвѣчала, она упорно молчала, она словно онѣмѣла. И если ея языкъ безмолвствовалъ, за то глаза говорили ясно, а что такое говорили глаза, такъ хоть и понятно было, да, признаться, понимать бы не хотѣлось.

Между нею и нами, ея врагами, не могло быть примиренія. А какіе же мы были враги! Я не знаю про другихъ, но сознаюсь откровенно, самъ я готовъ былъ, Богъ знаетъ, на какія жертвы, чтобы только успокоить ее, облегчить ея материнское горе. Мнѣ даже совѣстно стало передъ нею. Вспомнилъ тогда я, что вѣдь подъ мою лошадь упалъ ребенокъ, значитъ, я...

Какъ виноватый, стоялъ я передъ нею, какъ преступникъ какой... Теперь вотъ какъ вспомню, такъ даже смѣшно становится... То-есть, не то, чтобы смѣшно, а странно немного... что только это со мной тогда дѣлалось?..

Кончили перевязку... обернули ей всю голову бинтами... обезобразили, страхъ. Стали мы понемногу расходиться... Время уже было, да и сонъ одолѣвать всѣхъ началъ... Я послѣдній ушелъ... Только это я повернулся, отошелъ шаговъ съ десятокъ, слышу, докторъ зоветъ.

— Это не я,—это вонъ она вернуть васъ велѣла, —говоритъ докторъ.—Вотъ она... Спросите ее, чего она хочетъ?..— Этого?..— спросилъ онъ у тюркменки, когда я подошелъ.

Та головой кивнула ему и на меня глядитъ пристально... Чувствую, что глядитъ въ упоръ, глазъ не спускаетъ, хотя теперь, за перевязкою, глазъ этихъ мнѣ самому уже не видно...

— На, возьми!.. Это тебѣ! — произнесла она и ребенка своего мертваго протягиваетъ...

— Зачѣмъ?..—попятился я... Зачѣмъ?..

Докторъ тоже озадачился немного, руками въ бокъ подперся и, выпуча глаза,—то на меня, то на нее глядитъ.

— Ты его убилъ, — ты теперь и бери себѣ, — говоритъ тюркменка. — Онъ живой былъ мой, а теперь, онъ твой... Бери...

Сказала она это «бери»!—такъ простонала словно, а въ голосѣ рѣшительность такая, энергія слышна, видно, что не проситъ, а просто приказываетъ, да и только...

Озадачило меня совсѣмъ это обстоятельство... растерялся я, словъ больше не нахожу—даже страшно стало... «Чего это, думаю, она отъ меня хочетъ?.. А та — держитъ ребенка, высоко такъ его подняла, тряпье развернулось, лохмотьями внизъ виситъ, и голое тѣльце, посинѣлое такое, скорченное видно...

— Возьмите,—шепчетъ докторъ... — Берите скорѣе; тамъ его отдадите... Похоронятъ, зароютъ гдѣ-нибудь... Что же ей съ нимъ няньчиться... Мы уже давно хлопочемъ, чтобы оторвать у нея этотъ трупикъ, да намъ не отдавала, а силою брать,— раздражать не хотѣли... Берите ..

Взялъ я ребенка, держу, а у самого руки дрожатъ... вотъ-вотъ выроню...

— Вы счастливый,—шутитъ докторъ и въ бокъ меня подталкиваетъ.—Вы ей, должно быть, одинъ изъ всѣхъ понравились, а на насъ она словно на волковъ глядѣла. Ишь, вы... Донъ-Жуанъ да и только—veni, vidi, vinci. Пришелъ, увидалъ, ну, и готово. Идите-же, несите подарокъ, да передайте его за арбою тамъ фельдшеру Абрамкѣ, онъ уже тамъ съ нимъ распорядится. Только осторожнѣе—смотрите, чтобы эта не увидала, когда передавать будете!

Повернулся, пошелъ я, понесъ свой *подарокъ*. Только до арбы дошелъ, Абрамка фельдшеръ самъ подбѣжалъ, говоритъ: ваше высокоблагородіе, пожалуйте!

Отдалъ я, чуть не бѣгомъ къ своему бивуаку кинулся. Все мнѣ казалось, что за мною гонится эта фигура, вся въ красномъ, волосы растрепаны, по вѣтру распустились, а лицо— бѣлыми бинтами все заворочено.

Къ разсвѣту уже дѣло подходило, и на горизонтѣ, на самомъ краю, кустики темноватые стали обрисовываться. Тихо такъ въ лагерѣ нашемъ было, все притомилось и спало крѣпкимъ сномъ, только мнѣ одному не спалось, а ужъ какъ усталъ-то я за день. И коверъ-то мнѣ жесткимъ казался, и подушка на сѣдлѣ какъ-будто неловко лежала. Ворочаюсь съ боку на бокъ, да и только. А тутъ ранка моя, и пустѣйшая самая, а разболѣлась. Ноетъ такъ, что страсть. Ужъ не отравленъ ли ножъ былъ, думаю—кто его знаетъ, съ *нея* станется. Признаться сказать, испугался я не на шутку; хотѣлъ было встать, да къ доктору идти, да раздумалъ, совѣстно стало; окажутся пустяки, послѣ товарищи на смѣхъ поднимутъ.

Все мнѣ *она* представлялась передъ глазами, эта сцена, передъ ея арбою, въ первую минуту нашей атаки, являлась передо мною во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ. Звуки всѣ, такъ и тѣ даже слышались. Ужъ не помню я, какъ и заснулъ, да и не радъ былъ своему сну. Такія грезы непріятныя одолѣли, тяжелыя... кошмаръ душить меня началъ, а чудилось, что это *она*, тюркменка эта охватила мое горло пальцами и давитъ... глазами своими насквозь прожигаетъ, словно желѣзомъ каленымъ. Слава Богу, разбудили меня скоро. Утренняя тревога поднялась въ лагерѣ, тутъ уже не до сна. Проснулся я, едва въ силахъ голову былъ приподнять отъ подушки... ведра два воды велѣлъ на себя вылить, помогло немного.

— Что, братъ, нездоровъ, что-ли?—пытливо такъ и взглянулъ на меня эсаулъ Павликовъ.

— А что?—спросилъ я.

— Да то, что на тебѣ, дружище лица нѣтъ. Мертвецъ лучше изъ себя выглядываетъ!

Было бы зеркало, взглянулъ бы, да только этого инструмента врядъ-ли оказалось бы во всемъ лагерѣ; повѣрилъ на слово Павликову. Да скоро за нимъ и другіе замѣтили во мнѣ эту перемѣну. Докторъ хинину даже далъ, принять двѣ столовыя ложки велѣлъ.

— Поправитесь, — говоритъ. — А наша-то паціентка не уходитъ, все здѣсь еще сидитъ. Кажется, что совсѣмъ хочетъ остаться!

Въ этотъ день мы не выступили обратно. Много работы намъ предстояло, хлопотъ было столько, что едва къ ночи управились. Скотъ у тюркменъ отобрали, арбы всѣ въ кучи сдвинули и пожгли, чтобы другой разъ не удирали. Всѣмъ на свои мѣста приказали вернуться и по домамъ сидѣть—однимъ словомъ, все сдѣлали, что слѣдовало. Вѣдь наша экспедиція была, такъ сказать, карательная.

Еще ночь пришлось простоять на этомъ мѣстѣ, на другой день, до свѣту, и сами собрались и въ походъ тронулись.

Разбрелись тюркменскія семейства. Только мы съ версту отошли отъ нихъ, такъ и кинулись они во всѣ стороны Ужъ очень запуганы были, думали, что тутъ имъ и конецъ, начнется поголовное истребленіе... Даже не вѣрили своимъ глазамъ, что безъ присмотру остались, на полной свободѣ.

Раненая тюркменка — та не осталась съ ними, дѣйствительно съ нами пошла. Ей никто въ этомъ не препятствовалъ, пожалуй, даже нашлись такіе, что рады были, виды, можетъ быть, какіе имѣли на нее. Докторъ свою арбу предложилъ, то-есть, не то, что совсѣмъ свою; выбралъ онъ себѣ одну покрѣпче изъ такихъ, что на сожженіе были обречены, помѣстилъ на нее свой скарбъ—и тюркменку посадилъ сверху.

— Не пѣшкомъ же ей идти, если ужъ такъ у насъ понравилось,—говорилъ онъ.—Ты послушалъ бы, что говоритъ она, ты послушалъ бы. Этакая настойчивая, да упрямая!

— А что?—спросили его.

— Да то вотъ, заладила одно: «иду съ вами, да и только! Не возьмете, говоритъ, все равно, сзади пойду; развѣ убьете—тогда отстану». Зачѣмъ, что ей надо у насъ, что затѣваетъ она—ничего не говоритъ. Что-же, пускай идетъ, намъ какое дѣло!

Устроилъ ей докторскій драбантъ навѣсикъ надъ арбою, отъ солнца защиту, забилась она туда и даже не выглядываетъ... Сколько ни подъѣзжали къ ней дорогою, сколько ни заговаривали—не отвѣчаетъ, молчитъ и спящей притворилась даже. Только и словъ отъ нея добились, что воды попросила... жажда ее мучила сильно, и воды пила она много, цѣлый кувшинъ около нея поставили. Докторъ залѣзъ къ ней, пульсъ пощупалъ, та не сопротивлялась. У ней сильное лихорадочное состояніе оказалось, должно быть, отъ раны.

Признаюсь, какъ ни мучило меня любопытство, я ни разу

не подъѣхалъ къ ея арбѣ. Духу просто не хватило, рѣшимости не было. Разъ пришлось мнѣ отстать значительно, а потомъ догонять головную сотню. Надо было мимо обоза ѣхать, а дорога узкая, миновать арбы было не возможно. Издали я видѣлъ ея бѣлый, покачивающійся навѣсъ,—мнѣ приходилось проѣхать вплотную. «Господи! Еслибъ она спала и не замѣтила меня!» думалъ я. Я просто серьезно начиналъ входить въ какую-то глупѣйшую роль преступника, меня даже мучило угрызеніе совѣсти, словно я дѣйствительно виноватъ былъ въ смерти ея ребенка, въ ея несчастіи.

На мое счастіе, дѣйствительно, она меня не замѣтила. Спала ли она, или нѣтъ—не знаю. Я только слышалъ, проѣзжая мимо, глубокій, тяжелый такой вздохъ, похожій скорѣе на стонъ, чѣмъ на дыханіе спящаго.

Жаркая такая погода стояла, пыль неподвижною тучею поднималась въ воздухѣ, вѣтра ни малѣйшаго; знойнымъ удушьемъ вѣяло отъ раскаленной почвы, и небо-то все стало такое сѣрое, тусклое, словно паромъ затянуло его. И люди, и кони изнемогали и задыхались въ этой жарѣ. Раненые на арбахъ разметались и бредили... ихъ веревками привязали, чтобы не свалились... Каково-то было нашей тюркменкѣ—не знаю... Докторъ опять освѣдомился—говоритъ, что плохо.

На третій день стали мы подходить къ нашему главному лагерю... Мнѣ командировка тутъ вышла недѣли на двѣ, уѣхалъ я, не повидавши нашей раненой. И очень, признаться, доволенъ былъ этимъ обстоятельствомъ. Такъ тяжело дѣйствовало на меня ея присутствіе.

Вернулся я назадъ уже послѣ знаменитаго чандырскаго дѣла, въ которомъ тюркменамъ былъ нанесенъ рѣшительный и окончательный погромъ, приведшій ихъ хотя къ временному усмиренію.

Поуспокоились въ ханствѣ; наши стали уже поговаривать о возвращеніи... Часть отряда должна была во всякомъ случаѣ здѣсь остаться; съ этою-то частью пришлось оставаться и мнѣ... Началъ я справки наводить объ нашей добровольной плѣнницѣ, узналъ все до подробности; зовутъ ее Агреалы, рана у ней совсѣмъ зажила, только шрамъ остался,—но шрамъ этотъ, говорили мнѣ, нисколько ея не портитъ, напротивъ, еще больше оригинальности придаетъ, «пикантности», какъ говорилъ одинъ

изъ генеральскихъ адъютантовъ... Красавица такая, что на нее просто не насмотрѣться, и всѣ поголовно повлюблялись.— Самъ генералъ чуть не каждый день о здоровьѣ ея присылалъ ординарца справляться, лошадь ей одинъ, тоже вздыхатель, должно быть, подарилъ, хорошую лошадь, кровнаго жеребца тюркменскаго... А мелкіе подарки, вещицы разныя золотыя, куски матерій, сласти—такъ это ей каждый день со всѣхъ сторонъ доставляютъ.—Говорили мнѣ, что она уже не такъ дикѣ смотритъ, попривыкла, должно быть, сама даже иной разъ заговариваетъ, только все печальная такая, словно груститъ о чемъ-то,—ни разу никто улыбки даже на ея лицѣ не видалъ... Даже не любитъ она, когда около, близко смѣются и съ нею шутить начинаютъ... Къ вольному обхожденію поводовъ никакихъ не даетъ, строго себя держитъ и за всякую выходку въ этомъ родѣ сердится, а то плакать начнетъ, если кто ужъ очень приставать станетъ.

Зачѣмъ она у насъ осталась—не говоритъ, сколько ее ни разспрашивали. Обо мнѣ, говорятъ, часто справлялась... По имени меня не знала, а по примѣтамъ давала понять, кого ей нужно, и такъ мои примѣты ясно и подробно описывала, что съ первыхъ же словъ понимали ее,—понимали, о комъ она спрашиваетъ.

Заинтриговало все это меня до-нельзя. «Вотъ, думаю, какое завязывается романическое приключеніе... Чѣмъ только вся эта исторія разыграется?»

Стояла моя палатка особнякомъ, въ небольшомъ, темненькомъ такомъ фруктовомъ садикѣ; кругомъ сада этого высокая глинобитная стѣна была выведена съ зубчатымъ, полуобсыпавшимся гребнемъ, и въ этой стѣнѣ было два только выхода:— одинъ настоящій, въ видѣ калитки, аршина два шириною, не больше, да столько же въ высоту, входить надобно, согнувшись; а другой выходъ уже мои казаки продѣлали, проломили стѣну такъ, что хоть два всадника въ рядъ въѣзжай... Надъ самою моею палаткою высокій карагачъ протянулъ свои кудрявыя вѣтви, круглый день тѣнь давалъ, арычекъ съ проточною водою черезъ весь садикъ протекалъ, и чудесное такое мѣстечко вышло, жаль только, что виноградныя лозы, вдоль стѣнъ росшія, всѣ были поломаны нами, и абрикосы, зеленые еще, оборваны, а то бы просто благодать была.

На ночь большой проходъ жердью загораживали, чтобы лошади, сорвавшись, уйти не могли тутъ, и часового казака ставили, а маленькій входъ просто запирался, и подпирали его извнутри коломъ для прочности.

Въ садикѣ этомъ только я помѣщался, два мои драбанта и мои кони верховые; черный песъ у меня былъ «сибирякъ», ну, тотъ уже около лошадей имѣлъ резиденцію... А сотня стояла подальше, за большимъ арыкомъ, шагахъ этакъ въ полутораста...

Разъ ночью, не помню, на другой или на третій день послѣ моего возвращенія изъ командировки, лежу я на своей койкѣ; полы палатки для воздуха поднять велѣлъ, душная ночь выдалась, и комары появились уже, безпокоятъ... Лежу я,—не спится мнѣ; ночь темная, свѣчу я давно погасилъ, чтобы мошкара и жучки разные на огонь не лѣзли, лежу я и думаю, думаю, какъ нарочно, именно объ этой тюркменкѣ, объ Агреаль... Вдругъ, слышу, вся палатка моя легко вздрогнула, будто кто-то задѣлъ за шнуръ, которымъ она была натянута.

— Кто тамъ бродитъ? Василій, ты?—окликнулъ я своего драбанта, самъ прислушиваться сталъ, на локоть даже приподнялся на койкѣ, въ темноту всматриваюсь.

Тихо все кругомъ, никакого отвѣта; ну, думаю, это мой арапка путается; легъ опять.

Давно уже я затушилъ свѣчу, а потому успѣлъ приглядѣться къ мраку. Вижу, гдѣ кончается темная складка палаточной обшивки, тамъ посвѣтлѣй треугольникъ косой выдался—небо въ немъ видно, и звѣздочка искрится, ниже вонъ вершина куста чернѣетъ, колъ какой-то торчитъ—и вижу я, какъ въ этомъ самомъ треугольникѣ что-то темное мелькнуло и загородило его... Голова вижу, плечи... Человѣкъ, какъ есть.

— Кто тутъ? — крикнулъ я изъ всей мочи и за револьверъ даже взялся, руку протянулъ за нимъ подъ подушку.

Чуть слышно прошмыгнулъ ко мнѣ этотъ неизвѣстный гость въ палатку, я и вопроса своего повторить не успѣлъ: слышу, сѣлъ онъ ко мнѣ на кровать и руку на плечо положилъ.

— Это я пришла къ тебѣ... Ты чего испугался? Я пришла. Вѣдь, ты меня знаешь?

Холодный потъ у меня по всему тѣлу сразу выступилъ, узналъ я, по голосу узналъ Агреаль. Хватитъ она меня сей-

часъ ножемъ, думаю... Мстить за ребенка своего пришла, иначе что же ей ночью отъ меня понадобиться можетъ?

Основательно эдакъ-то разсуждая, я скользнулъ руками по ея тѣлу, ощупалъ обѣ руки, пусты, никакого оружія нѣтъ. Успокоился я немного, потомъ огонь зажегъ... Только спичкою чиркнулъ, задула она, говоритъ: не надо.

— Какъ ты пришла, сюда?—спрашиваю.

— Прямо пришла, какъ люди ходятъ, такъ и пришла... Ты думаешь, я птица, черезъ стѣну сверху перелетѣла, или змѣя, арыкомъ проползла подъ стѣною? Я знала, гдѣ твоя кибитка стоитъ, мнѣ еще днемъ показали!

Слышу, подсмѣивается она, сама такъ близко ко мнѣ подсѣла, жаромъ отъ ея тѣла пышетъ, и сердце у нея, слышно даже, какъ въ груди колотится, а, можетъ быть, и у меня это, я не разобралъ тогда хорошенько.

«Кто тебя знаетъ, думаю, можетъ, и подъ стѣною проползла».—Ну, а часовой какъ тебя пропустилъ?

— Какой часовой?

— Казакъ, что у пролома стоитъ. Какъ ты мимо казака этого прошла?

— Никакого казака я тамъ не видѣла,—говоритъ Агреаль...—Ахъ, нѣтъ, видѣла, только онъ спитъ, сидитъ, голову на колѣни положилъ и спитъ, вотъ такъ спитъ, крѣпко, ничего не слышитъ!

Она завозилась на кровати, должно быть, показывала, какъ это именно спитъ часовой: за темнотою я не могъ разглядѣть, удачно или нѣтъ она его скопировала.

— Ну, пришла, такъ пришла! Что же тебѣ отъ меня надо?

Она ничего на это не отвѣчала, только вдругъ охватила меня за шею и обнимать начала, сама плотно ко мнѣ прижалась, и не то смѣется, не то всхлипываетъ, дрожитъ вся, словно въ лихорадкѣ.

Жалко мнѣ ее стало, то-есть, не жалко, а, какъ бы вамъ сказать, другое совсѣмъ чувство заговорило: обнялъ и я ее одною рукою, за подбородокъ взялъ, глаза ей цѣловать началъ, чувствую—мокрые.

— Зачѣмъ ты у насъ осталась?—спросилъ я, немного погодя.—Отчего къ своимъ не идешь?

— Къ кому, своимъ?

— Ну, къ роднымъ, къ мужу, къ отцу, мало-ли къ кому? Есть-же кто-нибудь у тебя дома!

— У меня теперь никого нѣтъ!

Сказала она это теперь, тѣмъ самымъ голосомъ, тѣмъ самымъ тономъ, какъ говорила она тогда, на перевязочномъ пунктѣ, когда ребенка своего мертваго ко мнѣ протянула.

Непріятно, шибко непріятно подѣйствовалъ на меня этотъ сухой, холодный тонъ, такъ и кольнуло въ сердцѣ, а она положила голову свою ко мнѣ на плечо — и на ухо шепчетъ:

— У меня отецъ былъ, и мужъ былъ, и сынъ былъ, мать умерла, матери давно уже не было... Мужъ еще весною противъ васъ пошелъ туда, въ пески, на тотъ берегъ, онъ тамъ остался, онъ не вернулся... Слышишь?—Не вернулся, его нѣту больше... Отецъ тоже съ вами дрался, тогда, когда вы на таборъ нашъ напали... Его убили, я видѣла, я сама видѣла, какъ упалъ онъ, я видѣла, понимаешь ты, видѣла!.. У меня сынъ былъ Али-Джанъ; ему уже годъ былъ, онъ батыремъ выросъ бы... Онъ бы мать свою берегъ и кормилъ, онъ бы и за отца, и за дѣда отомстилъ бы вамъ, онъ бы... Теперь у меня сына нѣтъ... Мой маленькій, мой дорогой, красавецъ Али-Джанъ умеръ—твой конь его копытомъ раздавилъ. Вѣдь твой конь, да? Твой?

— Мой, что и говорить!.. Да развѣ я виноватъ, развѣ я хотѣлъ тебѣ зло сдѣлать, развѣ я хотѣлъ сына у тебя отнять?.. Господь съ тобою, неужели-же ты меня виноватымъ въ этомъ дѣлѣ считаешь?

Обнялъ и я ее теперь, въ губы цѣлую, въ лицо цѣлую, руки даже цѣловать началъ—рванулась она отъ меня, сильно такъ рванулась, оттолкнула даже, вставая.

— Я опять прійду къ тебѣ завтра ночью... Слышишь—завтра ночью прійду; жди, ждать будешь?

— Буду!—прошепталъ я, задыхаясь; протянулъ руки, чтобы остановить ее, удержать...

— Кой! (оставь!) — произнесла она сердито и шмыгнула вонъ изъ палатки, только темный силуэтъ ея мелькнулъ на минуту въ свѣтломъ треугольникѣ и скрылся.

Остался я одинъ... самъ не знаю, что со мною тогда дѣлалось. Нѣтъ уже ея, самъ видѣлъ, какъ ушла, а стоитъ она

тутъ передо мною—да и только... Дыханье просто ея слышу, чувствую руки ея у себя на шеѣ... До утра не спалъ я... Пошелъ потомъ разыскивать ее. Говорили, что верхомъ куда-то уѣхала, а куда, не знаютъ... Ужь я и у маркитантовъ распрашивалъ,—тѣ вѣдь всюду рыщутъ, должны бы видѣть. Нѣтъ, не знаютъ ничего... Распрашивалъ я, впрочемъ, осторожно, боясь, какъ бы не узналъ кто про ночное посѣщеніе. Изъ себя просто цѣлый день выходилъ, ревновать даже началъ ее. Къ вечеру совсѣмъ одурѣлъ... Влюбленъ, да и только... просто по уши врѣзался... Забылъ даже, что и ѣсть надо, только чаемъ отпивался...

«Ну, думаю, ночью придетъ. Она сдержитъ слово — она велѣла ждать, значитъ, прійдетъ непремѣнно»... Я въ ту минуту такъ вѣрилъ въ ея обѣщаніе прійти, что не задумался бы ни передъ какою ставкою... И какже злило меня это проклятое, медленно опускающееся солнце, какъ невыносимо долго тянулось безконечное время.

Нарочно не велѣлъ ставить часового. Подъ какимъ-то предлогомъ позволилъ упразднить этотъ обычный постъ, что не мало удивило моего сотеннаго вахмистра.

Настала давно жданная, желанная ночь.

Опять въ тотъ же часъ пришла она—и остановилась передъ входомъ въ мою палатку.

Вдругъ, слышу голоса знакомые... двое товарищей во дворикъ въѣхали, какъ-разъ въ ту минуту, въ самый тотъ мигъ, когда я хотѣлъ броситься и обнять мою красавицу.

— Наземовъ, ты дома?!—спрашиваетъ одинъ изъ этихъ несвоевременныхъ посѣтителей.

— Да дома,—дома!—отвѣчаетъ за меня другой...—Неужели спать уже завалился?.. Что это у тебя темно?.. Василій, дай огня... Кто это у тебя? Ага... женщина!..

О, какъ я проклиналъ этихъ гостей, какъ ненавидѣлъ я ихъ въ эту минуту...

— Спрячься сюда!—шепнулъ я Агреаль, толкая ее за густой кустъ винограда.

— Зачѣмъ мнѣ прятаться? — произнесла она громко...— Я къ тебѣ не украдкою. Пришла, такъ тутъ и останусь. Мнѣ, что ты, что они—все равно!

Холодно проговорила она эти слова... Боже, какъ тяжело

мнѣ было слышать эту спокойную, равнодушную фразу! А я-то думалъ, а я-то вообразилъ себѣ... Я уже...

Принесъ Василій свѣчу въ фонарѣ, повѣсилъ на гвоздь у палаточнаго столба, и тысяча мотыльковъ, жучковъ, откуда только налетѣли! Закружились, защелкались о промасленную бумагу. Освѣтило съ ногъ до головы тюркменку... Попятились даже вошедшіе офицеры.

— А, вотъ кто у тебя!..—пробормоталъ одинъ.—Ну,—виноваты, голубчикъ, виноваты—прощай!.. Пріятнаго времяпровожденія, бонъ нюи. Ишь, ты, счастливецъ!..

— Что же, господа, чего же, посидите. Все равно! — заплелъ я какую-то ерунду. Совсѣмъ растерялся, боюсь, что Агреаль сейчасъ уйдетъ,—вижу, что она уже какъ будто собирается.

— Ну-ну-ну, знаемъ, что уже тутъ! Прощай! — Ишь, ты, подцѣпилъ... Прощай!..

Пожали они мнѣ руки наскоро и прочь ушли. — И слышалъ я, какъ они хохотали, садясь на лошадей, хохотали, проѣзжая вдоль стѣны, по той сторонѣ. И долго еще мнѣ слышался топотъ ихъ коней и смѣхъ, почему-то казавшійся мнѣ обиднымъ и оскорбительнымъ въ высшей степени.

— Ну, здравствуй!—подошла ко мнѣ Агреаль, когда затихъ послѣдній звукъ уѣхавшихъ.

— Жизнь моя, дитя мое!—обнялъ я ее.—Дорогая! Ты душа моя. Полюбилъ я тебя сразу, какъ никого не любилъ. Еслибъ ты не пришла... еслибъ ты не пришла...

Ласкаю ее, цѣлую... и она ничего не сопротивляется—только все словно подсмѣивается, потомъ сама меня обняла, опять какъ вчера вырвалась, словно угорь выскользнула.

— Ну, говоритъ,—опять приду завтра. Жди непремѣнно. Довольно! Не трогай!

И остался я одинъ, опять дуракъ-дуракомъ, подушку просто началъ грызть со злости, чуть лобъ не разбилъ, кинувшись за нею слѣдомъ, да опомнился—и остался.

Мучила она меня, такимъ образомъ, почти цѣлую недѣлю. Истомила совсѣмъ. Пошли толки по лагерю. Съ кѣмъ ни встрѣчусь, всѣ улыбаются какъ-то подозрительно... нашлись такіе даже, у которыхъ хватило нахальства въ глаза поздравлять меня съ побѣдою. Взбѣсилъ меня одинъ такой, вызвалъ я его...

однако, до дуэли не допустили, примирили. Ну, послѣ этого немного перестали, оставили меня въ покоѣ. Однако, всѣ рѣшили, что я дѣйствительно счастливый обладатель этой интересной дикарки. О, еслибъ они были правы!.. Къ счастью для меня, эти преждевременные толки оказались, такъ сказать, вѣщими.

— Слушай,—говоритъ разъ мнѣ Агреаль, когда я встрѣтился около маркитантской палатки, чай она пила подъ ея навѣсомъ, а около лошадь ея стояла осѣдланная, и мальчишка афганецъ копыта ей очищалъ отъ грязи. — Слушай. Я къ тебѣ опять приду сегодня—и уже больше не уйду, какъ тогда. А теперь ступай, да не слѣди за мною. Что это все, куда я—туда и ты слѣдомъ шатаешься! Такъ не надо!

Пришла она точно ночью ко мнѣ, по обыкновенію на кровать сѣла, сама огонь потушила, полы палаточки я опустилъ, нагнулась ко мнѣ и шепчетъ:

— Хочешь, я женою твоею буду... хочешь?

Господи! Какіе чудные, какіе счастливые дни настали, какъ незамѣтно летѣло время. Я ожилъ, я помолодѣлъ, я, какъ ребенокъ, готовъ былъ броситься каждому на шею. Все такъ цвѣло вокругъ меня, такъ улыбалось. Свѣтлымъ праздникомъ шло для меня это незабвенное, чудное, золотое время.

II.

Кончился нашъ походъ, затихли смуты, затихло даже въ тюркменскихъ становищахъ. Ушли войска, назначенныя къ возвращенію на старыя квартиры, стали мы, оставшіеся, осматриваться, да устраиваться на новомъ мѣстѣ.

Сдали Хиву хану и перешли на правый берегъ, на нашъ собственный. Недалеко отъ Шурахана, выбрали садъ просторный, здѣсь и лагерь временной разбили, а скоро приступили и къ постройкѣ новаго, постояннаго помѣщенія, крѣпость въ нѣкоторомъ родѣ затѣяли.

Принанялъ и я поблизости небольшой садикъ съ двумя саклями полуразвалившимися. Узбекъ тутъ одинъ за безцѣнокъ мнѣ его отдѣлалъ, взялъ работниковъ изъ персіянъ бѣглыхъ, да солдатика одного, безсрочно-отпускного, и меньше, чѣмъ въ недѣлю, такое гнѣздышко устроилось, что смотрѣть

было пріятно. Чисто, тѣнисто, прохладно, уютно такъ... раекъ маленькій, да и только. Тутъ я поселилъ свою красавицу съ двумя нанятыми слугами изъ тѣхъ же персіянъ, а самъ долженъ былъ въ лагерѣ жить, потому что внѣ черты нашего военнаго раіона офицерамъ жить не позволялось.

Все свободное время свое, когда службою не былъ занятъ, проводилъ я въ своемъ райкѣ; одно только, что сердило меня, это необходимость къ ночи возвращаться въ лагерь. Ну, да ужъ дѣлать нечего, пришлось покориться этой печальной необходимости.

Впрочемъ, Агреаль потѣшила меня разъ. Вернулся я къ себѣ въ скучную палатку, посидѣлъ часокъ передъ тѣмъ, какъ спать, бумаги тамъ разныя разобралъ, книги счетныя по продовольствію сотни провѣрилъ, слышу—драбантъ входитъ.

— Тамъ, говоритъ, ваше высокоблагородіе, солдатикъ одинъ пѣхотный пришелъ зачѣмъ-то, доложить просилъ. Позвать, что-ли?

— Что тамъ еще нужно? Мало дня, по ночамъ шляются!.. Зови его... какого батальона?

А самъ я не замѣчаю, что Васька мой ухмыляется чего-то себѣ въ руку и на входъ косится.

Вошелъ солдатикъ, кепи съ бѣлымъ назатыльникомъ на головѣ, пальто сѣрое въ накидку.

— Ну, чего тебѣ, землякъ?.. Ахъ, ты, глупая! Вишь, какъ нарядилась. Голубушка моя ненаглядная... Можно-ли такъ! Вѣдь тебя остановить бы могли. Непріятность какая могла бы выйти... Вотъ вѣдь проказница!

— Не радъ—такъ я уйду!—надулась было Агреаль и глазами изъ-подъ козырька шапки сверкнула.

— Ну, полно! Полно... чего ты... Какже я могу не радоваться тебѣ... орленокъ мой. Ты какже въ ворота крѣпостные прошла?

— А слово ваше такое сегодня узнала... сказала часовому «тесакъ» — онъ и пропустилъ меня и впрямь за солдата принялъ. Я каждый день знаю, какое у васъ слово на очереди бываетъ!

Почесалъ я затылокъ, слегка этакъ, думаю: «скверно! Въ хорошемъ же секретѣ суточный отзывъ держится». Пораспросилъ ее—какъ узнаютъ они это завѣтное слово.

— Да очень просто... Кто-нибудь изъ нашихъ — сидитъ недалеко отъ вашего часового и ждетъ, пока какой-нибудь вашъ же солдатъ мимо пойдетъ. Часовой его окликнетъ, тотъ отвѣтитъ, а нашъ и услышитъ, что онъ такое отвѣчалъ, ну, всѣмъ нашимъ и разскажетъ. Очень просто!

«Просто-то, просто», снова почесалъ я затылокъ. Непріятно немножко стало, а больше всего огорчили меня эти ея подраздѣленія: наши да ваши. Не сроднится она никогда душою съ нами, русскими, все будетъ къ своимъ, въ родные аулы тянуть. Высказалъ я ей все это, не утерпѣлъ.

— Ишь, какой ты!—разсмѣялась она, стала обнимать меня, какъ котенокъ, начала ласкаться, и глаза-то у ней стали такіе мягкіе, нѣжные, весь этотъ огонь ея злой, обычный, ни вѣсть куда исчезъ. Усыпила она меня, просто, этими ласками, убаюкала. Шутить начала.

— Чтожъ, переходи къ намъ и ты будешь нашъ!—говоритъ мнѣ.—Хочешь, на Талдыкъ уѣдемъ?

— Ну, нѣтъ, ужъ это шутишь... этого ужъ не дождешься... многаго захотѣла очень!

— Шучу...—отодвинулась она отъ меня и задумалась.— Да, говоритъ, правда. Тебѣ у насъ нечего дѣлать. Тамъ тебѣ много хуже будетъ, чѣмъ здѣсь. Ужъ лучше я у тебя останусь на вѣкъ!

— На вѣкъ?—прижалъ я ее къ своему сердцу.

— А какъ придется. Нѣтъ, не на вѣкъ... я скоро старуха сдѣлаюсь, сухая такая буду, черная—тебѣ такой не надо будетъ. Ты новую найдешь, молодую!

И откуда только она этого кокетства подлаго набралась, съ ума просто свести могла!

Съ той ночи частенько она приходила ко мнѣ, этакимъ-то манеромъ, по знакомой дорогѣ, пока не остановили ее разъ въ воротахъ. Чуть было большой бѣды не вышло! Уладилъ я кое-какъ дѣло... отдѣлался самъ только строгимъ выговоромъ, да скандальною огласкою. Однако, приходилось или ее отослать куда-нибудь подальше, или самому съ нею изъ боевого лагеря убираться.

Кстати письмо пришло тутъ изъ Оренбурга. Пріятель мой увѣдомлялъ меня, что формируются новые полки казачьи, такъ ваканціи командировъ двѣ открылись. Звалъ, чтобъ ѣхалъ я

не теряя времени, хлопотать занять одну изъ этихъ ваканцій. Письмо это было мнѣ весьма на руку.

Тотчасъ-же взялъ отпускъ, говорю своей барынѣ: сбирайся въ дорогу! Ѣдемъ!

— Куда?—испугалась она какъ будто, во всѣ глаза на меня смотритъ, даже румянецъ со щекъ сбѣжалъ... потемнѣло все ея лицо и губа верхняя, вздернутая, дрогнула.

Говорю ей все по порядку.

— Я твоя... чтожъ... куда повезешь, туда и поѣду. Я вездѣ за тобою идти должна!—произнесла она тихо-тихо и въ землю потупилась, гибкими пальцами своими ожерелье перебираетъ и кисти пояса щиплетъ. Косымъ лучемъ ее изъ окошка освѣтило. Божество просто стоитъ, не женщина!

— Да нѣтъ, все не то ты говоришь. Я что-же, я не хочу насильно... я вѣдь не желаю тебя стѣснять, не хочу зла дѣлать. Я пришелъ, вотъ, говорю тебѣ откровенно. А ты...

— Ну, такъ оставь меня здѣсь!—вскинула она глаза изъ подлобья, лукаво такъ взглянула.

Убила она меня просто этимъ словомъ. «Ну, думаю, кончено!»

Вышелъ я въ садикъ изъ сакли, сѣлъ на коврѣ, подъ раскидистымъ тутовикомъ—лежу, молчу.

— А далеко это, куда ты ѣхать хочешь?—подошла она ко мнѣ и присѣла рядомъ.

Встрепенулся я. Сталъ ей все въ подробности разсказывать, убѣждать ее... она, ничего, слушаетъ внимательно и все что-то будто по пальчикамъ разсчитываетъ, соображаетъ. Губами шевелитъ даже. И на тѣнь свою, что на пескѣ обрисовалась, косится.

— Это не очень далеко,—говорю я—тысячи полторы верстъ, небольше. Дорога отличная; сперва на пароходѣ,—на эдакой большой-большой лодкѣ, что огнемъ по водѣ ходитъ, такой, которую вы «уткаме» называете, потомъ въ тарантасѣ на лошадяхъ. Скоро, эдакъ, въ двѣ недѣли на мѣстѣ будемъ. Ты не видѣла ничего путнаго, вотъ посмотришь, знать будешь, послѣ сама будешь своимъ разсказывать. Нарочно на словѣ своимъ удареніе сдѣлалъ!

Только этакъ-то съ нею, какъ съ ребенкомъ,—описываю ей наши дорожныя прелести.

— А назадъ сюда и мы вернемся? — спрашиваетъ меня Агреаль.

— Конечно, вернемся. Если не сюда, въ Шураханъ, такъ въ другое мѣсто: въ Ташкентъ или Самаркандъ. Все-жъ-таки сюда, къ вамъ въ Азію. Ты Ташкентъ или Самаркандъ. знаешь?

— Знаю. Изъ Ташкента вы вотъ пришли, въ Ташкентѣ вашъ старшій, голова, живетъ Ярымъ-падишахъ *), и Самаркандъ знаю... великій, святой городъ. Вы его у Мозофара, эмира-бухарскаго, отняли. Наши тамъ были, разсказывали!

«Эге! Думаю... Да ты въ политикѣ кое-что смекаешь... видно, не изъ простыхъ сама-то...»

Странное дѣло—сколько ни приходилось мнѣ разспрашивать про ея прежнее жить-бытье, кто она такая,—кто были ея родные,—какъ они жили, что дѣлали?—она никогда не отвѣчала толкомъ, а всегда какъ-то недомолвками, уклончиво... Видно, что лгать ея языкъ не привыкъ, не умѣетъ, а правду говорить ей почему-то не хотѣлось... Такъ и не могъ я ничего узнать про ея прошлое... Даже со стороны никто ничего не зналъ о ней, а, можетъ быть, и были знающіе, да тоже скрывали... Подозрительнымъ казалось мнѣ это обстоятельство, — но моя любовь усыпляла всякую подозрительность—и разъ не добившись положительныхъ результатовъ, я прекратилъ свои допросы, всегда моей красавицѣ, видимо, ненравившіеся...

Проболтали мы съ ней чуть не весь день о нашей будущей поѣздкѣ... Укладываться было нечего, и сборы наши были самые короткіе...

У меня было своихъ три верховыхъ лошади, да ея конь... Этого было слишкомъ достаточно и для насъ, и для нашего багажа, да и переѣздъ былъ всего какихъ нибудь триста верстъ, отъ Шурхана до Чимбая, а тамъ уже и до озера Сары-Куль недалеко, куда наши пароходы приходили изъ Казалинска.

Проводы намъ сдѣлали самые блистательные; верстъ за десять провожать почти все офицерство выѣхало... Шампанскаго ящикъ цѣлый выпили и бутылки дномъ кверху въ песокъ позарывали на мѣстѣ разставанія... Подпила моя Агреаль немного, развеселилась, на сѣдлѣ покачивается и пѣсни свои за-

---

*) Ярымъ-падишахъ — значитъ по русски—полу-царь, титулъ, которымъ туземцы называютъ нашего генералъ-губернатора.

тянула... А пѣсни у нея все были безконечно-длинныя, монотонныя такія... Голосъ пріятный, сильный, немного мужской какъ будто, низкій контральто, какъ его музыканты называютъ,—и глубоко такъ въ душу врывался этотъ голосъ, за сердце бралъ... Всѣ эти, что съ нами въ одной оказіи ѣхали, всѣ столпились кругомъ и слушали на ходу, тѣснясь къ нашей группѣ.

Любопытство тоже разыгрывалось у многихъ: Агреаль-то, какъ жила въ своемъ садикѣ, — рѣдко когда показывалась, были такіе, что ни разу не видали ея даже, а слышать о ней много слышали... Ну, такъ вотъ теперь и пользовались случаемъ... Меня таки, признаться, это обстоятельство сердило немного,—то есть, не то чтобы ревновалъ я, а очень ужь эти господа безцеремонно любопытство свое обнаруживали!

Да впрочемъ, они правы были:—чего тутъ было церемониться особенно съ какой нибудь дикаркой, тюркменкой, офицерской любовницею, какъ ее считали... Первое-то, обаяніе ея красоты и загадочности по немногу прошло, да тутъ и мало было такихъ, что находились подъ вліяніемъ этого перваго обаянія... Все больше новыя лица были, наѣзжія...

Ѣхалъ съ нами еще одинъ купецъ здѣшній, Трезвоновъ... Помню я его еще, когда онъ простымъ работникомъ, стремяннымъ у Хмурова жилъ, въ Ташкентѣ; мужикъ онъ былъ безо всякаго образованія, но не дуракъ; — и этотъ его практическій умъ выразился въ томъ, что когда хозяинъ его обанкрутился и распрощался съ своими торговыми ташкентскими предпріятіями,—у него, у Трезвонова, оказался капиталецъ, довольно круглый, да нѣсколько разныхъ, весьма прибыльныхъ заведеній, по питейной части... Быстро шелъ въ гору этотъ повоиспеченный купецъ—онъ сейчасъ-же въ гильдію записался,—а года черезъ три въ его рукахъ находились почти всѣ главнѣйшія торговыя операціи. Занимался онъ у насъ поставкою провіанта, между прочимъ,—и пріѣзжалъ въ Шураханъ; — теперь вотъ ѣхалъ обратно, пристроившись къ нашей оказіи...

Носилъ этотъ Трезвоновъ полурусское, полутатарское платье и разѣзжалъ всегда верхомъ на кровномъ аргамакѣ; на всѣхъ нарѣчіяхъ азіятскихъ говорилъ не хуже всякаго мѣстнаго жителя и ужъ гдѣ только не перебывалъ... Вообще, человѣкъ онъ былъ довольно интересный, бывалый, только грубъ очень и заносчивъ, какъ вообще всѣ, кто изъ хамовъ да въ паны

попалъ... Я его, признаться,—шибко не долюбливалъ, и онъ меня, кажется, тоже, особенно послѣ того, какъ я его въ мошенической продѣлкѣ разъ уличилъ по доставкѣ провіанта... Съ тѣхъ поръ и пошли между нами, какъ онъ выражался—кондры...

Однако, онъ меня побаивался, должно быть, этихъ кондровъ своихъ слишкомъ явно не выказывалъ, а напротивъ — льстилъ и унижался передо мною на каждомъ шагу—и всячески старался заискать и подластиться... Такъ и теперь:—только мы успѣли отъ воротъ крѣпостныхъ отъѣхать, подъѣзжаетъ онъ ко мнѣ, папаху свою приподнимаетъ, раскланивается, самъ искоса на Агреаль взглянулъ...

— Съ нашимъ почтеніемъ, ваше высокоблагородіе, господинъ полковникъ!—говоритъ.—Такъ какъ, значитъ, мы теперь попутчики съ вами, то позвольте мнѣ по этому поводу пріятность свою выразить...

Поклонился онъ и Агреали,—произнесъ ей привѣтствіе по тюркменски, — и слышу я, какъ онъ, «полковницею» ее назвалъ—та расхохоталась; улыбнулся и я, не выдержалъ...

Вотъ этотъ-то самый Трезвоновъ больше всего надоѣдалъ мнѣ дорогою. Все время почти не отставалъ отъ Агреали, ѣхалъ съ нею рядомъ—я съ одной стороны, а онъ пристроился съ другой и, какъ приклеенный точно, бокъ о бокъ ѣдетъ.

На привалахъ, на ночныхъ остановкахъ, все съ услугами своими къ намъ лѣзъ; бывало, верстъ за пять еще до мѣста отдыха ускачетъ впередъ съ своими джигитами,—оказія только подходитъ, а у него ужь все готово:—ковры постланы, сакля прибрана, самоваръ кипитъ, пловъ варится,—фруктовъ, винограду, дынь цѣлые подносы наставлены! Отказываться какъ-то не ловко было, ну, и пользовался этимъ его дорожнымъ гостепріимствомъ, а эта моя снисходительность все его на новые подвиги подбивала. Дошло до того, что даже подсмѣиваться стали въ оказіи.—А что дѣлать, не разыгрывать же мнѣ шута какого нибудь,—Отелло ревниваго, ну, и терпѣлъ, хоть не разъ приходилось губы кусать со злости.

— Что это вы, Михайло Петровичъ, все безпокоитесь? Вы меня совсѣмъ въ неловкое положеніе ставите! — намекнулъ я разъ ему.—Съ какой стати право... Вы лучше-бы...

— Батюшка, ваше высокоблагородіе,—перебилъ онъ меня слова не далъ мнѣ докончить. — Я для васъ вотъ какъ, всею

душею... Знаю, что вы недовольны мною, знаю, а хочу заслужить—хочу показать, какой я есть изъ себя человѣкъ!..— И пошелъ, и пошелъ—съ часъ битый такую низкопочтительную ахинею плелъ, что я радъ былъ, когда онъ, наконецъ, кончилъ, побоялся другой разъ его и затрогивать...

Прибыли мы, наконецъ, въ Чимбай, послали джигитовъ въ Кушкане-тау, узнать, не пришелъ ли пароходъ, а сами расположились по близости городскаго базара,—въ караванъ-сараѣ. Трезвоновъ, конечно, съ нами рядомъ.

Пришлось намъ прождать тутъ цѣлую недѣлю; задержало что-то наши пароходы у Аму-дарьинскаго устья. Чего только за то время не придумалъ Михайло Петровичъ, чтобы занять время и разнообразить его разными туземными удовольствіями.— Музыка мѣстная, горшки, обтянутые кожею, вмѣсто литавровъ, свистульки разныя и трубы въ сажень длиною, да бубны каждый вечеръ у насъ на дворѣ гремѣли, голова даже отъ такой музыки болѣть у меня начала, а Агреали это удовольствіе доставляло, потому я и не препятствовалъ. Батчи приходили плясать, сказочники легенды да прибаутки свои разсказывали, пѣсни пѣли. Чуть не весь городъ сходился на наши импровизированныя празднества. Всѣ крыши кругомъ плоскія, всѣ гребни стѣнъ народъ облѣпитъ, кишмя кишитъ,—а Трезвоновъ потѣшается,—мелочь серебрянную начнетъ горстями раскидывать, такую дикую возню подымутъ, что потомъ цѣлый день въ ушахъ стоитъ звонъ и грохотъ.

— Ахъ, какъ надоѣло мнѣ все это, скоро-ли пароходъ придетъ,—не дождусь право!—сказалъ я разъ Аграели—И что хорошаго! То ли дѣло у насъ въ садикѣ, помнишь?.. Тишина такая, покой. Тамъ вѣдь лучше было? Ну,—скажи, моя дорогая, лучше?..

— Здѣсь весело,—отвѣчала мнѣ Агреаль уклончиво.—Сегодня новый батча придетъ плясать,—Михалъ-бай говорилъ (это она Михалъ-баемъ Трезвонова называла)—хорошій батча,— такого, говорятъ, у самаго хана Сеидъ-Рахима не было...

— Вотъ какъ!—А прежде ты мнѣ что-то не говорила, что любишь «томашу» *)—Я бы тебѣ и въ Шурханѣ, могъ все это устроить!

---

*) Томаша значитъ вообще зрѣлище.

— Значитъ ты скучала въ Шурханѣ, да? Тебѣ тамъ дурно было?..

— Нѣтъ, и тамъ хорошо было. А у васъ въ Россіи пляшутъ?.. Вотъ такъ, какъ здѣсь пляшутъ?

— Пляшутъ,—отвѣчаю,—только не такъ какъ здѣсь, безобразно, а лучше, иначе...

— Лучше? Ну—а тамъ поютъ?

— Поютъ, и музыка есть. Ты слышала нашу музыку у насъ въ лагерѣ.—То еще плохая была, а тамъ такую услышишь... тамъ такую томашу увидишь!.. Вотъ посмотришь сама, дай только пріѣхать!

— Посмотрю!—холодно отвѣтила моя тюркменка и стала одѣваться, новаго батчу смотрѣть.

Нѣтъ, не заинтересовалъ я ее своими разсказами про русскія прелести. Вообще, я замѣтилъ, что разсказы мои о Россіи, о новыхъ мѣстахъ, о нравахъ, обычаяхъ, о театрахъ нашихъ, о городахъ мало ее интересовали; слушала она ихъ всегда вяло какъ-то, холодно и украдкою отъ меня прикрывала рукою—лѣнивую зѣвоту.

— Погоди,—думаю,—это я разсказывать не умѣю, а пріѣдемъ, сама увидишь—такъ глаза разгорятся!

Передъ самымъ отъѣздомъ нашимъ изъ Чимбая еще одна непріятность маленькая вышла.

Вернулся я изъ ставки здѣшняго начальника—домой, смотрю—Агреаль нѣсколько кусковъ канаусу пестраго развертываетъ, узоромъ любуется на солнцѣ... По глазамъ вижу, нравится ей эта матерія.

— Откуда это?—спрашиваю.

— А это...—Она не то, что смутилась, странно какъ-то на меня взглянула.—Это, говоритъ, мнѣ Михалъ бай подарилъ... Посмотри—это хорошій канаусъ... это не хивинскій, такой въ Бухарѣ только дѣлаютъ!

— Тамъ, гдѣ бы его ни дѣлали,—мнѣ все равно, а только отъ Михалъ-бая тебѣ подарковъ брать не слѣдуетъ!—прикрикнулъ я на нее. Вспылилъ таки порядочно.

Собралъ я всѣ куски матеріи и только-что хотѣлъ отослать по принадлежности, какъ вдругъ—самъ Трезвоновъ входитъ... Слышалъ ли онъ мою фразу, или нѣтъ,—не знаю—только сразу приступилъ къ дѣлу...

*

— Что это вы, ваше высокоблагородіе, никакъ моимъ подарочкомъ обидѣлись... аль не понравился?

Разсердился я не на шутку... «Что это, думаю,—наивность или уже крайнее нахальство»?..—Разъ на всегда, господинъ Трезвоновъ, просилъ бы я васъ впредь ничего подобнаго не дѣлать—и избавить насъ отъ вашихъ непрошенныхъ любезностей... Поняли?! А если не поняли, то я съумѣю заставить васъ понять меня, какъ слѣдуетъ!..

— Напрасно обижать изволите! — покойно отвѣтилъ мнѣ Трезвоновъ на мою запальчивую выходку, подобралъ куски канауса, раскланялся и вышелъ изъ сакли.

Агреаль какъ будто не видала и не слыхала всей этой сцены; едва только Михалъ-бай ея вышелъ, какъ она совершенно покойно принялась стлать постель и не потребовала рѣшительно никакихъ объясненій, даже не взглянула на меня...

А мнѣ хотѣлось бы вызвать у ней этотъ вопросъ... Я видѣлъ ясно, что она не одобрила моего поступка, она не поняла его... по ихнему, можетъ быть, ничего нѣтъ дурного въ приниманіи подарковъ, это даже въ обычай вошло... Ну, а въ ея настоящемъ положеніи другое дѣло... Вотъ это-то мнѣ и хотѣлось ей разъяснить; самому начинать неловко было, я ждалъ вопроса съ ея стороны, а она, какъ ни въ чемъ не бывало, — расправляетъ подушки, раскатала ковры, двери сакли на задвижку заперла, заглянула мимоходовъ въ кувшины, — есть ли тамъ вода... однимъ словомъ, хозяйничаетъ себѣ покойно,—да и только.

«Ну, думаю, подожду болѣе удобнаго случая»... Полчаса, эдакъ, спустя говорю ей:

— А знаешь, отчего я не позволилъ тебѣ взять канаусъ отъ Трезвонова? Знаешь, отчего я разсердился?

— Знаю!

— Ну, отчего, отчего... разскажи-ко мнѣ...

«Неужели думаю, она поняла мои побужденія—и согласна съ ними... Послушаю, что она скажетъ».

— Ты полковникъ, большой тюра *), а онъ купецъ,—богатый купецъ, а все-таки простой человѣкъ... Еслибъ онъ былъ бѣдный, онъ бы могъ тебѣ такой маленькій подарокъ сдѣлать,

---

*) Тюра—начальникъ.

а онъ богатый, онъ очень богатый, онъ долженъ и подарокъ тебѣ дѣлать большой, не такіе пустяки, какъ эти куски, что прислалъ онъ...

Поняла, значитъ, очень хорошо поняла... Я только руками развелъ... Что же дѣлать! Это ея дикая логика, а все-таки логика... Сердиться тутъ не за что, огорчаться особенно тоже незачѣмъ...

Сталъ я тутъ объяснять ей настоящія причины, долго говорилъ... все больше билъ на то, что чужой человѣкъ ничего даромъ дѣлать не станетъ, а если дѣлаетъ, то, значитъ, имѣетъ въ виду и самъ получить свои выгоды, на что-нибудь да разсчитываетъ... и очень часто разсчитываетъ на что-нибудь дурное... Съ полчаса говорилъ я ей на эту тему, во рту даже пересохло... Кончилъ.

— Что ты сказала?.. Что ты сказала сейчасъ?!.

Холодный потъ разомъ проступилъ у меня... сердце даже замерло... я слышалъ... я ясно, отчетливо слышалъ, какъ она сквозь зубы, отвернувшись отъ меня и поправляя подушку. произнесла:

— Всѣ вы для меня чужіе...

Всю ночь я не спалъ... Всю ночь думалъ... фразу эту ея разбиралъ и анализировалъ, такъ ли у ней, съ досады, шутя, сорвалась съ языка эта фраза—или вырвалась она, затаенная до сихъ поръ на сердцѣ, глубоко-сознательная и прочувствованная?..

Не трогалъ я ее, не безпокоилъ больше разпросами... часа четыре просидѣлъ на своемъ коврѣ, прислонившись спиною къ стѣнкѣ. Разсвѣтать стало... серебристый лучъ ворвался въ дверныя щели и освѣтилъ внутренность сакли... Подняла голову Агреаль, увидѣла меня въ моемъ положеніи, разомъ рванулась ко мнѣ и крѣпко обняла, приложивъ, къ моимъ сухимъ, воспаленнымъ глазамъ свои щеки...

И забылъ я ея холодную фразу, помирился съ нею, подъ вліяніемъ ея жгучихъ ласкъ... Весело было такъ мнѣ въ этотъ день, не могъ даже сердиться на Трезвонова и даже первый заговорилъ съ нимъ, когда, передъ отправкою на пароходъ, пришлось съ нимъ встрѣтиться...

Добрались мы до озера, гдѣ пристаютъ наши пароходы... Не безъ нѣкотораго страха взошла Агреаль на палубу «Самар-

канда» и еще разъ взяла съ меня клятву, что мы непремѣнно вернемся изъ Россіи опять сюда, куда бы то ни было, но только сюда, въ Азію. Посмѣялся я надъ нею, надъ ея страхомъ и охотно далъ ей еще разъ это обѣщаніе. «Что-жъ, думаю, это говоритъ въ ней привычка, привязанность къ родинѣ, все вещи довольно естественныя и, въ нѣкоторомъ родѣ, даже похвальныя... Разсчитывалъ я шибко тогда, что на нее должны же подѣйствовать прелести и блескъ цивилизованной жизни, старыя привычки и привязанности уступятъ свое мѣсто новымъ, и со временемъ она же сама будетъ смѣяться надъ своею боязнью, а если и вспомнитъ свою прежнюю, полудикую жизнь, то развѣ для того только, чтобы сравнить ее съ новой и уже никогда къ ней не возвращаться».

Да я былъ убѣжденъ въ этомъ, я даже мечталъ о томъ, чтобы окрестить ее и обвѣнчаться, какъ слѣдуетъ; я только не рисковалъ заговорить съ нею объ этомъ пока... ну, хоть, пока не представится къ этому болѣе удобнаго случая, болѣе удобной обстановки.

Случай, дѣйствительно, скоро представился, но не такой, какого я ожидалъ... Съ приведеніемъ въ исполненіе моей завѣтной мечты мнѣ пришлось попытаться прежде, чѣмъ, можетъ быть, слѣдовало; и на первыхъ порахъ я потерпѣлъ полное фіаско.

Дѣло было такъ. Прибыли мы въ Казалинскъ, и я на первыхъ порахъ нанялъ небольшой номеръ въ дрянномъ трактирѣ «Городъ Неаполь», единственномъ, впрочемъ, въ городѣ... Надо было повидаться кое съ кѣмъ изъ знакомыхъ, — поговорить, да похлопотать о разныхъ дѣлахъ, однимъ словомъ, прожить въ Казалинскѣ дня три или четыре.

Скучала здѣсь шибко Агреаль... Шутка-ли, все кругомъ чужое и, надо правду сказать, далеко не привлекательное; маленькая, грязная и душная комната, и по цѣлымъ днямъ одна одинешенька. Мнѣ приходилось иногда, уѣхавъ изъ дому рано утромъ, вернуться совсѣмъ уже къ ночи... А тутъ еще любопытные докучали, все подъ окнами и въ корридорѣ толпились, взглянуть на интересную тюркменку хотѣли. Слухъ-то о ея привозѣ сюда, чуть-ли еще не до прибытія парохода, распространился по всему городу. Только эти любопытствующіе господа оставались съ носомъ, — моя красавица заперлась и не выглядывала.

Трезвоновъ, впрочемъ, навѣщалъ Агреаль,—даже съ моего на то разрѣшенія... Пришелъ просить объ этомъ, неловко было отказать, подумаетъ, что и вправду боюсь его или ревную...

Дня черезъ два, утромъ, Агреаль спрашиваетъ меня:

— А что, онъ дѣйствительно такой богатый и важный купецъ, какъ онъ самъ разсказываетъ?

— Важный, не важный, а денегъ много есть дѣйствительно!— отвѣчаю я.—Тебѣ зачѣмъ знать это?

— А то, что онъ меня съ собою въ Ташкентъ звалъ!— наивно такъ говоритъ Агреаль.

— Вотъ какъ!.. — У меня даже духъ захватило... искры зеленыя передъ глазами запрыгали.

— Разсказывалъ онъ мнѣ все — какіе дома у него въ Ташкентѣ, сколько лошадей, лавокъ съ дорогими товарами, обѣщалъ, что если я только съ нимъ туда уѣду, — онъ меня просто золотомъ засыпетъ. Пугалъ вашею Россіею, говорилъ, что тамъ холодно очень, и люди замерзаютъ не только на улицѣ, даже въ постеляхъ, дома, что тамъ ночь сто дней стоитъ, а день только два часа всего... Много страшнаго говорилъ, совсѣмъ не то, что ты мнѣ разсказывалъ, я ему поэтому и не повѣрила... Да, онъ также просилъ не говорить тебѣ объ этомъ, я сказала, что непремѣнно скажу... Кто-то тутъ прошелъ подъ окнами, желѣзными этими крючками, что у васъ на сапогахъ, защелкалъ, Михалъ-бай думалъ, что это ты, такъ и убѣжалъ поскорѣе; я видѣла въ окно, какъ онъ черезъ дворъ, по стѣнкѣ прокрадывался!

Ничего я ей не отвѣтилъ пока на эти разсказы, молча взялъ фуражку, сказалъ, что вернусь скоро, и вышелъ... Направился я прямо къ купцу Жирнозагривкову, у котораго остановился Трезвоновъ .. Вхожу, самъ хозяинъ встрѣчаетъ меня, а Мишки Трезвонова нѣтъ.— Оглянулся я кругомъ, смотрю— шапка его и хлыстъ лежатъ здѣсь, на окошкѣ.

— Дома?—спрашиваю.

— Отлучился куда-то... не скоро назадъ будетъ! — отвѣчаетъ супруга Жирнозагривкова, сама на слѣдующую дверь оглядывается, какъ будто растерялась немного...

Шагнулъ я черезъ комнату, толкнулъ дверь,— та отворилась... Сидитъ Трезвоновъ въ самомъ углу; поблѣднѣлъ, какъ полотно, на меня, вытараща глаза, смотритъ.

— Что же это вы прячетесь?—спрашиваю... самого такъ и тянетъ хватить наглеца, чѣмъ-попало.

— Ничего я не прячусь. Что-же, ваше высокоблагородіе, мнѣ отъ васъ прятаться? — заплелъ Трезвоновъ. — Дурного ничего мы супротивъ васъ не дѣлали; зачѣмъ прятаться... а ежели...

— О чемъ это вы съ Агреаль говорили?..—приступилъ я къ нему. — Ну-ко, повторите тепёрь ваши предложенія... я вотъ послушаю, а ужъ потомъ и самъ поговорю съ вами... Ну-ко!

Придвинулъ я стулъ къ нему близко, почти вплотную, сѣлъ верхомъ, въ упоръ гляжу и нагайку ременную—въ рукахъ у меня нагайка была тогда—крѣпко въ кулакѣ стиснулъ.

— Бить меня, ваше высокоблагородіе, нельзя, потому мы первой гильдіи и почетными называемся, а разговоръ имѣть согласны... потому отъ настоящаго разговора никто въ убыткѣ быть не можетъ. Прошу терпѣливо и милостиво выслушать!

Такъ началъ Трезвоновъ.—«Что-жъ, думаю, высказывайся, буду тебя терпѣливо и милостиво выслушивать»...

— Всякому человѣку, ваше высокоблагородіе, чего получше хочется, что кто по своимъ деньгамъ, средствамъ имѣть можетъ. Коли ежели я дѣлалъ такія предложенія полюбовницѣ вашей, такъ что-же-съ, кому отъ того обида? Женщина она вольная, потому, изволите-ли видѣть, на русской землѣ, по русскимъ, то-есть, законамъ рабынь крѣпостныхъ не полагается... Желательно ей съ вами въ обществѣ состоять, ну, и пущай состоитъ, желательно будетъ въ другую компанію перейти, ну, и перейдетъ, никто ей возбранить этого перехода не вправѣ, а коль не вправѣ, то и обижаться нечѣмъ... Говорилъ я ей все это, точно говорилъ, не запираюсь, да нѣшто я васъ лично хулилъ при этомъ, нѣшто говорилъ я такъ: погляди вотъ да посравни, какой я супротивъ нихъ молодецъ... ничуть, то-есть, ни вотъ сколько... Капиталами точно сравнивался; да вѣдь и сила-то наша въ чемъ-же, какъ не въ этомъ самомъ капиталѣ? На капиталъ-то я и напиралъ больше, на карманъ ее ловилъ. Коли-бы ваши какія законныя права на нее были, ну, другое дѣло. Къ примѣру хоть будь она ваша дочь, что-ли, или супружница вѣнчанная, а то вѣдь... А изволили онѣ сказать вамъ, какой я отвѣтъ получилъ на всѣ свои предложенія... изволили сказать?

Я отрицательно потрясъ головою.

— А вотъ что изволили онѣ сказать: «Неужели ты, говорятъ, «тентякъ» — такъ и выразились—тентякъ, дуракъ, значитъ — думаешь, что найдется по всей землѣ столько золота, чтобы меня купить можно было?» Тутъ это я ваши шаги словно будто заслышалъ, думаю: «удрать поскорѣе отъ грѣха, пока что. Мало-ли что въ горячности съ человѣкомъ случиться можетъ... оскорбленіе дѣйствіемъ или еще какой дебошъ, взаимное членовредительство, судбище и, Боже мой, какія непріятности, и вашему званію обидныя, да и моему гильдейскому мораль». Вѣрно я разсудилъ, значитъ?..

Ну, можно ли было сердиться мнѣ на него, послѣ его этакаго доклада? Даже разсмѣшилъ онъ меня подъ конецъ. Особенно послѣ того, какъ сообщилъ объ отвѣтѣ Агреали, отвѣтѣ, за который я чуть не на шею бросился къ «гильдейскому купцу» и не расцѣловалъ его отъ радости...

Не дуракъ былъ этотъ Трезвоновъ, видно, что и натуру тоже хорошо зналъ человѣческую, съ разсчетомъ приберегъ онъ подъ конецъ эту утѣшительную фразу и не ошибся въ разсчетѣ.

Черезъ четверть часа, мы уже въ сообществѣ съ супругами Жирнозагривковыми пили какую-то нижегородскую фабрикацію, за здоровье «неподкупной царевны, Миликтрисы Кирбитьевны», то-есть, за мою красавицу-Агреаль.

Сравненіе положенія жены съ положеніемъ любовницы, на которую всякій можетъ разсчитывать, всякій можетъ искать взаимности и дѣлать всевозможныя предложенія, засѣло у меня тогда въ головѣ и заставило меня, какъ я уже говорилъ, приступить къ этому серьезному, обдуманному уже съ моей стороны дѣлу.

Я подробно и обстоятельно разъяснилъ Агреали сущность нашего законнаго брака, говорилъ долго и убѣдительно. Я думалъ, что она съ радостью согласится на это, я даже думалъ, что, въ нѣкоторомъ родѣ, дѣлаю ей честь своимъ предложеніемъ, осчастливить хочу, и каково же мнѣ было услышать отказъ на отрѣзъ, отказъ, такой энергичный и рѣшительный, что я даже и не посмѣлъ больше настаивать.

Я думалъ, что ее, главнымъ образомъ, пугаетъ необходимость при этомъ перемѣнить вѣру, креститься... Оказалось, что

вовсе нѣтъ. Она просто указала мнѣ на пыль, поднявшуюся отъ вѣтра на улицѣ, и сказала:

— Видишь вѣтеръ, онъ вольный, да не совсѣмъ, онъ все-таки дуетъ туда, куда Аллахъ ему укажетъ, а я хочу быть вольнѣе даже вѣтра, и дуть туда, куда я сама пожелаю; знаю я, какъ живутъ у васъ жены. Онѣ думаютъ, что онѣ вольныя, я вѣдь тоже много слышала, а по моему онѣ ничуть не вольнѣе тѣхъ, что у осѣдлыхъ узбековъ въ гаремахъ запрятаны!

Такъ я уже больше и не пробовалъ ее убѣждать, не хотѣлъ огорчать даже этимъ, потому что замѣтилъ, какъ непріятно подѣйствовали на нее мои намеки и доводы, и не только что не ослабили, но напротивъ еще усилили ея страхъ и отвращеніе къ Россіи, къ поѣздкѣ въ наши края, такіе далекіе отъ ея родины.

Время шло.—Минуты огорченія смѣнялись минутами радостей, случалось и наоборотъ—это даже разнообразило нашу жизнь... и я былъ счастливъ, т. е. не совсѣмъ счастливъ—были странныя обстоятельства, которыя туманили, отравляли мое счастіе... Объ этихъ обстоятельствахъ я буду говорить въ свое время.

Помню, какъ теперь помню, одну свѣтлую, радостную минуту... Такія минуты никогда ни забываются. Агреаль объявила мнѣ, что она скоро будетъ матерью. Это случилось на дорогѣ между Карабутакомъ и Орскомъ... Я просто обезумѣлъ отъ восторга... Какъ я ласкалъ ее, какъ я берегъ ее послѣ этого! Я на рукахъ выносилъ ее изъ тарантаса въ станціонную комнату, на рукахъ и обратно сажалъ въ экипажъ... Я велѣлъ ѣхать тише, осторожнѣе... Я блѣднѣлъ и пугался за нее при каждомъ толчкѣ, что очень смѣшило Агреаль,—непривыкшую къ подобнымъ нѣжностямъ... Вѣдь у нихъ что... У нихъ беременныя женщины на коняхъ верхомъ черезъ барьеры, да арыки широкіе прыгаютъ... А что мнѣ было за дѣло до тѣхъ!.. Развѣ и съ привычными женщинами, съ самыми простыми, не бываетъ несчастныхъ случайностей!..

Я мечталъ о ребенкѣ, я думалъ, что дитя, наше собственное, родное дитя еще болѣе скрѣпитъ нашу взаимную привязанность, еще болѣе усилитъ въ ней любовь къ отцу ея ребенка... Я думалъ... Эхъ! Да мало ли что я передумалъ въ эти чудныя, счастливыя, дорогія, незабвенныя минуты!..

И пріѣхали мы такимъ образомъ въ Россію.

Холодно, равнодушно относилась она ко всему нашему. Казалось, ничто не занимало ее особенно, ничто не удивляло также... Вѣдь ужъ какія диковинки приходилось ей видѣть, и видѣть, конечно, въ первый разъ въ жизни, а глядѣла она на нихъ словно на что-то старое, давно видѣнное ею, хорошо извѣстное и уже успѣвшее порядкомъ наскучить.

Въ Оренбургѣ, напримѣръ, она на то только и обратила вниманіе, что по улицамъ на базарѣ много бухарцевъ въ чалмахъ и халатахъ цвѣтныхъ бродило.

— Точно у себя дома,—замѣтила она, и спросила при этомъ:—А какъ отсюда до Бухары далеко?

— Ой, ой!—покачала она головою, когда я объявилъ ей эту, не слишкомъ даже почтенную цифру.

Узнала она также, что въ городѣ мечеть есть мусульманская и даже хорошая мечеть, побывать тамъ захотѣла; хоть туда женщинъ и не пускаютъ, однако, со мною пропустили ее... Понравилось шибко ей это оригинальное зданіе...

— Вотъ у васъ это хорошо, говоритъ... У насъ бы русской церкви и построить бы не позволили, а еслибъ и позволилъ ханъ, то народъ на другой же день до тла ее сжегъ бы...

— Видишь! — воспользовался я тутъ подходящимъ случаемъ:—Народъ нашъ, значитъ, лучше, добрѣе...

— Можетъ быть,—равнодушно отвѣчала она.—Вездѣ есть и дурные, и хорошіе люди...

Прокатили мы скоро этотъ скучный промежутокъ, между Оренбургомъ и Самарою... Волгу, нашу красавицу увидѣли... «Аму-Дарья, говоритъ, лучше». Ну, Богъ съ тобою... Экая ты упрямая патріотка.

Однако, все плаваніе до Нижняго съ палубы не схоила, на верхній даже мостикъ забралась — и къ ночи толькд въ каюту спускалась... Смотритъ на берега пристально, каждый встрѣчный пароходъ глазами провожаетъ; когда близко какой пройдетъ, свистнетъ,—вздрогнетъ слегка... Спросила, куда Волга течетъ, въ какое море?—Узнала.

— Это, говоритъ, отъ насъ недалеко будетъ,—Усть-юртъ, пески перейти только надо... Наши тамъ часто прежде бывали, вашихъ людей въ плѣнъ таскали съ тамошняго берега... Теперь

вотъ не ходятъ,—солдаты ваши тамъ завелись... Да, можетъ, не долго тамъ стоять будутъ эти ваши солдаты?..

Ужъ какъ тяжелы, какъ невыносимы мнѣ были эти ея—ваши да наши. И говоритъ-то это она съ какою-то усмѣшкою странною, непонятною, съ какимъ-то злорадствомъ, точно умышленно злить хочетъ... Эдакая непримиримая!..

Въ Оренбургѣ, впрочемъ, удалось мнѣ убѣдить ее перемѣнить свою красную шелковую рубаху и черный халатъ на наше русское платье... Трудно было уговорить ее, охъ, какъ трудно!.. Однако ничего... согласилась.

— Что за охота, говорю я ей, что всякій, разиня ротъ, на насъ смотритъ, пальцами указываетъ...

Накупилъ я ей матерій по ея вкусу... Бархату масаковистаго купилъ даже. Тамошняя портниха, меньше чѣмъ въ недѣлю, съ ногъ до головы одѣла... Шляпку, бурнусъ... все какъ слѣдуетъ.

— Экое я чучело стала!—улыбнулась она, поглядѣвшись въ зеркало.

«Оно точно, что въ своемъ родномъ, прежнемъ платьѣ, да въ тюрбанѣ шалевомъ, какъ будто и лучше», невольно подумалъ и я, да не рѣшился высказаться... Думалъ, посрываетъ съ себя все это модное тряпье и въ печку броситъ... А вѣдь нельзя же... мода!.. Всякому встрѣчному въ глаза кидаться тоже не приходится.

Пріѣхали мы въ Москву, оттуда въ деревню на время, къ родственнику одному моему; пожили тамъ, потому торопиться было некуда. Дѣло-то мое въ Оренбургѣ на счетъ полка казачьяго не выгорѣло, ну, и былъ я совсѣмъ, какъ птица божья, свободенъ, хоть на всѣ четыре стороны!

Ни съ кѣмъ не сходилась моя дикарка, даже съ женщинами отчужденно такъ себя держала; слишкомъ полгода прожили мы на одномъ мѣстѣ, а ни одного знакомства она не свела, какъ слѣдуетъ... Меня это уже сердить начинало... Да и ко мнѣ самому она странно какъ-то начала относиться: бывало, прежде, замѣтитъ, что я не доволенъ чѣмъ, или огорченъ, сама ласкалась, видно было, что дорожила мною, моимъ къ ней расположеніемъ, а теперь ужъ совсѣмъ не то стало... Равнодушно принимала она мои ласки, почти не отвѣчая на нихъ. Въ разговоръ даже со мною вступала, какъ-то нехотя, отвѣчала на

вопросы все односложными да—нѣтъ, а то и просто на просто молчала...

Случалось мнѣ иногда подмѣчать, улавливать взглядъ ея, брошенный въ мою сторону... Нехорошій это былъ взглядъ, каждый разъ производилъ на меня самое грустное, тяжелое впечатлѣніе...

Думалъ я, что любовь ея проходить начинаетъ...—пробовалъ упрекать ее въ этомъ, на объясненія вызывалъ,—и всякій разъ видѣлъ какую-то злую усмѣшку на ея губахъ, усмѣшку, смѣнявшуюся скучною зѣвотою, которую она, впрочемъ, торопилась прикрыть своими длинными, тонкими пальцами.

Всѣ сосѣди по деревнѣ сперва отнеслись къ ней радушно, привѣтливо, заинтересовались ея положеніемъ, а потомъ рукою махнули, какъ увидѣли ея упрямый, энергичный отпоръ...

Слышалъ я послѣ, какъ ее «татарскою вѣдьмою» въ околодкѣ называли, матери даже ребятъ своихъ ею пугали. А отецъ Павелъ, приходскій нашъ батюшка, такъ даже увѣщевать меня разъ пріѣхалъ, заклиналъ душу свою не губить и отречься отъ дьявола.

И смѣшно мнѣ было все это, и грустно... Докторъ нашъ уѣздный ученый былъ человѣкъ, тотъ приписывалъ эту перемѣну характера Агреали ея положенію... «Это, говоритъ, часто случается; беременность иногда всю натуру человѣка измѣняетъ, а потому все пройдетъ, все по старому будетъ. Только родитъ—и сразу выздоровѣетъ»... Приводилъ тутъ онъ даже слово какое-то латинское, какъ болѣзнь эта психическая называется.

Ждалъ я, не дождался просто этого блаженнаго конца... Всѣ свои надежды на него полагалъ... Время по пальцамъ разсчитывалъ, и казалось оно мнѣ какимъ-то длиннымъ, безконечнымъ.

Самъ-то я на бѣду все больше и больше къ ней привязывался... заняла она всю мою душу, весь умъ, всю мою волю... Остальное все далеко, на второй планъ отходило, все стушевывалось...

Видѣлъ я, что мое присутствіе тяжело ей—уступалъ сейчасъ, уходилъ и издали только слѣдилъ за нею, за каждымъ малѣйшимъ ея движеніемъ... Думалъ, что небольшая разлука поможетъ моему дѣлу... Уѣхать-то я отъ нея не могъ, силъ не хватало, а эдакъ комедію маленькую разыграть захотѣлось...

Пришелъ я къ ней разъ передъ вечеромъ, говорю, равнодушнымъ такимъ притворяюсь...

— Надо вотъ мнѣ съѣздить — верстъ за сто... Не знаю только, сейчасъ ли ѣхать, на ночь глядя, или ужъ завтра утромъ... Какъ ты, моя дорогая, думаешь, какъ посовѣтуешь?..

— Ты мужчина, ты умнѣе,—отвѣтила Агреаль.—Это мы, глупыя бабы, должны у васъ совѣта спрашивать!

— Я, видишь-ли, долго тамъ пробуду, недѣли двѣ,—можетъ больше... Надо очень...

— Сколько надо,—столько и пробудешь!—отвѣчаетъ упрямица, сама и не взглянетъ.

— Скучать очень безъ меня не будешь?..

Улыбнулась она только на этотъ мой вопросъ, плечами досадливо передернула и промолчала.

— Ну, прощай,—разсердился я.—Ѣду сейчасъ!..

Отошелъ къ дверямъ, покосился на нее черезъ плечо, вижу—смотритъ она мнѣ вслѣдъ, равнодушно, покойно, только улыбка насмѣшливая на ея губахъ бѣгаетъ... Чувствую я, что понимаетъ, эхидная, мои маневры, прямо въ лицо мнѣ смѣется...

Уѣхалъ; конечно, на другой-же день, рано утромъ вернулся, только протосковалъ даромъ цѣлую ночь на сосѣднемъ хуторѣ, у пасѣчника, и съ тѣхъ поръ уже своихъ такихъ опытовъ не повторялъ болѣе.

. . . . . .

Родила она, наконецъ, и родила благополучно... Сыномъ подарила... Трехъ дней не пролежала въ постелѣ, молодецъ, какъ ни въ чемъ не бывало, поднялась на ноги.

Сильно безпокоилась она передъ родами: все боялась, что дѣвочка на свѣтъ Божій появится... Почему ужъ такъ не хотѣлось ей дѣвочку, не знаю, не говорила, за то же и обрадовалась, когда оказался сынишко. Развеселилась, какъ ужъ я ея давно не помнилъ, смѣяться стала громко, даже пѣсни свои запѣла...

«Ну, думаю, правъ докторъ... Вотъ и шабашъ ея психической болѣзни—роды благополучные какъ рукою сняли всѣ ея душевные недуги».

Молебенъ отслужилъ по этому случаю и завтракъ устроилъ для всѣхъ своихъ сосѣдей... Даже Агреаль рѣшилась пока-

заться обществу на этомъ завтракѣ, что нашихъ дамъ и дѣвицъ, какъ я узналъ послѣ, весьма шокировало. Онѣ хоть сами и не были, да отъ мужей своихъ слышали.

Тутъ начался рядъ вещей, которыя меня сильно озадачили и заставили таки порядкомъ призадуматься надъ ихъ разрѣшеніемъ... Поведеніе моей Агреали стало для меня положительно непонятнымъ.

Началось съ того, что она сама ни за что не хотѣла кормить ребенка. Объясняла это свое нежеланіе такъ, что будто бы не здорова, будто и у себя дома она тоже пріискивала кормилицу для своего первенца.

Говорила-ли она правду, или нѣтъ, — не знаю... Только странно было это мнѣ... Такая здоровая женщина, и вдругъ...

«Ну, чтожъ, думаю, это еще не бѣда,—дѣло весьма легко поправимое»... Напялъ я въ кормилицы молодую, здоровую, бабу... Въ деревнѣ вѣдь это легко, не то что въ большомъ городѣ, гдѣ все такіе слабогрудыя, да чахоточныя.

Затѣмъ другая забота пришла и гвоздемъ у меня въ головѣ засѣла.

Надо было крестить ребенка. Все таки вѣдь это мой, такъ сказать, отъ русскаго отца, долженъ быть, значитъ, христіаниномъ... Не зналъ я, какъ взглянетъ на это Агреаль, боялся даже заикнуться объ этомъ передъ нею, думалъ такую бурю подниметъ, что страсть... Однако, дѣлать нечего, времени слишкомъ долго тянуть нельзя... Собрался съ духомъ, посовѣтовался кое-съ кѣмъ, говорю ей:—такъ, молъ, и такъ.

И каково же было мое удивленіе, когда на мой вопросъ, предшествуемый длиннымъ сбивчивымъ предисловіемъ, я услышалъ короткую и ясную фразу:

— Конечно... Вѣдь онъ твой сынъ... Дѣлай же съ нимъ, значитъ, все, что надо по вашему закону!

И обрадовалъ, и огорчилъ меня этотъ лаконическій обстоятельный отвѣтъ.—Ну, да я уже обтерпѣлся, попривыкъ къ огорченіямъ этого рода и немедленно приступилъ къ совершенію обряда. Торопился даже, все боялся, какъ бы не передумала мать, но та даже больше и не заикалась объ этомъ...

Поправилась моя Агреаль скоро, какъ я уже говорилъ— держать ее здѣсь взаперти, въ деревнѣ больше было незачѣмъ... Мѣсяца три пожили еще, дали окрѣпнуть ребенку... сталъ я съ

нею въ Петербургъ собираться. Самому надобно было, да и чудеса петербургскія хотѣлось показать Агреали, все еще не теряя надежды заинтересовать ее Россіею...

Ребенка оставили на попеченіи старушки одной, родственницы моей... Какъ мнѣ ни не хотѣлось этого, да Агреаль настояла, ну, и пришлось ей уступить.

— Зачѣмъ, говоритъ, мальчика дорогами мучить. Если ты любишь такъ его, такъ долженъ подумать, гдѣ ему лучше будетъ, а не таскать за собою, какъ игрушку!

Что было отвѣчать на такое резонное, справедливое замѣчаніе? Какъ ни жаль было, какъ ни грустно, а пришлось разстаться съ моимъ крошкою Колею... Мы мальчика-то Николаемъ окрестили...

Велѣлъ я старушкѣ писать мнѣ два раза въ недѣлю аккуратно, чуть что, сохрани Богъ, случится, увѣдомить, немедля ни секунды, телеграммою... Расцѣловалъ я сынишку, благословилъ его передъ отъѣздомъ... Мать тоже поцѣловала, быстро эдакъ, чуть прикоснулась губами и поскорѣе отдала его на руки кормилицы...

Всю первую станцію носилась передъ моими глазами эта сцена холоднаго материнскаго разставанія, и на душѣ у меня сдѣлалось такъ тяжело, такъ больно, что я не выдержалъ... слезы изъ глазъ выступили...

Странная женщина была эта Агреаль!.. Какъ ни скупа она была въ послѣднее время на ласки, какъ ни рѣдко дарила она меня ими, однако, въ тяжелую минуту, когда я дѣйствительно нуждался въ ея участіи, она шла сама ко мнѣ на встрѣчу и усыпляла мою подозрительность, разгоняя своею ласкою накопившіяся на душѣ моей тучи... Такъ и теперь...

Рѣшилъ я, что Агреаль любить-то любитъ нашего Кольку, какъ же не любить, все таки вѣдь сынъ ея (материнское чувство даже, вонъ, въ звѣрѣ сказывается), а брезгаетъ она какъ будто немного, особенно послѣ того, какъ его окрестили... Всѣ вѣдь они такіе фанатики...

Такъ и объяснилъ я себѣ холодность Агреали ея фанатическою ревностью.

Пробыли мы въ Петербургѣ мѣсяца два... Ужъ куда только я не возилъ свою красавицу, чего только ей не показывалъ...

Только и понравился ей циркъ, — что на Караванной — туда даже сама просилась и въ конюшню постоянно ходила... Шапки цвѣтныя, красныя да бѣлыя, толпою за нею туда таскались, меня таки бѣсили порядочно,—и все приставали ко мнѣ, чтобы я познакомилъ ихъ, представилъ, такъ сказать, à cette belle amazone... Представилъ кое-кого, чтобы отвязались, только эти представленные остались съ носомъ... Съ ними даже и говорить не захотѣла Агреаль, одного даже на смѣхъ подняла, увидала какъ-то, какъ онъ, выставивъ ноги впередъ, на англійскій ладъ, по Невскому верхомъ протрясся на вороной кобылѣ... Безъ смѣху послѣ вспомнить не могла...

Вѣсти о сынѣ я получалъ аккуратно. Писали, что богатыремъ, не по днямъ, а по часамъ ростетъ. Такой славный, да здоровый мальчишка... Рвался я туда сердцемъ, къ моему Колѣ, не могъ дождаться, скоро-ли дѣла мои проклятыя кончатся и позволятъ мнѣ вырваться изъ этого противнаго, надоѣвшаго до смерти Петербурга.

Вырвался таки, наконецъ. Оставили номеръ свой въ «Hotel de Paris», на Николаевскую, да и съ Богомъ.

Какъ пріѣхали въ деревню, опять затосковала и нахмурилась моя Агреаль... Худѣть начала, и въ глазахъ блескъ зловѣщій появился... Я къ доктору. Ужъ чего добраго, оборони Богъ, не чахотка-ли у нея начинается. А весна стояла, какъ нарочно, такая скверная, гнилая, и тянулась эта весна чуть-ли не до іюня мѣсяца.

— Очень можетъ быть,—говоритъ докторъ, тотъ самый.— Очень можетъ быть... Эти южные индивидуумы не выносятъ нашего климата, особенно тѣ, что привезены взрослыми... Обезьяны вотъ въ звѣринцахъ—тѣ сотнями дохнутъ... Начнетъ сейчасъ хирѣть, задумываться, похудѣетъ, какъ скелетъ, и хлопъ кверху носомъ.

— Нашли тоже къ чему приравнять... вотъ уже подъискали подходящее сравненіе... «обезьяны»...

Недоволенъ остался я сообщеніемъ доктора, не повѣрилъ сразу, однако таки призадумался.

А потомъ, слышу, и Агреаль заговаривать о поѣздкѣ на югъ начинаетъ... Все на холодъ жалуется, да на небо наше сѣрое, суконное, на дожди постоянные. Тоскуетъ объ своей сторонѣ, вспоминаетъ, какъ тамъ хорошо, тепло, привольно...

Часа два, бывало, сидитъ около меня, головку на плечо мнѣ положитъ и лепечетъ, лепечетъ, о родинѣ своей разсказываетъ. какіе у нихъ камыши, густые да зеленые, какая вода теплая... пески, ужъ на что сыпучіе, мертвые, бугристые пески—а и тѣ ей стали милы.

— Мы, говоритъ, хоть не на Аму, къ намъ, хоть куда въ другое мѣсто, только туда, поближе. Здѣсь гадко... тутъ жить нельзя, и твоя красавица умретъ... вотъ увидишь, непремѣнно умретъ. А тебѣ жалко будетъ, очень жалко. Вѣдь я знаю:—ты очень меня любишь... да, очень любишь?

Какъ змѣенышъ обвилась она вокругъ меня и стала ластиться. Кроткая даже стала такая, ласковая—совсѣмъ перемѣнилась—что будешь дѣлать!

Сталъ и я тутъ соображать, и, въ концѣ-концовъ, рѣшилъ, что уступить ей необходимо. На югъ, такъ на югъ! Пускай, думаю, и Колька нашъ, тамъ, въ этомъ благословенномъ климатѣ, растетъ, развивается... ребенокъ отъ этой перемѣны ничего не потеряетъ, а скорѣе даже выиграетъ.

Къ тому же и возрастъ моего Кольки былъ таковъ, что рискнуть на путешествіе было можно. Почти годовалый ребенокъ, при хорошемъ присмотрѣ, можетъ выдержать, какое угодно, путешествіе, особенно лѣтомъ, въ крытомъ экипажѣ.

Посписался кое съ кѣмъ, устроилъ такъ дѣла, чтобы по крайней мѣрѣ было изъ-за чего ѣхать и сталъ собираться.

Признаться, и самого-то меня начинало тянуть на мѣсто своей старой службы—прискучило уже такъ-то, безъ дѣла валандаться. Кончилось тѣмъ, что ужъ не знаю, кто изъ насъ—я или Агреаль больше торопились съ поѣздкою и пороли горячку въ ожиданіи счастливой минуты отъѣзда.

Чтобы не тащить съ собою кормилицу, къ тому же и охотницъ ѣхать «въ бусурманскія земли»—здѣсь не оказалось, порѣшили мы Колю отъ груди отнять, что и было тотчасъ же благополучно приведено въ исполненіе.

Выѣхали.

Да, не зналъ я, даже не предчувствовалъ ничего, какъ эта поѣздка окончится, какія страшныя минуты придется мнѣ пережить, какое испытаніе выдержать... Не зналъ... Ѣхалъ я счастливый, довольный. Дорогая, горячо любимая женщина рядомъ, бокъ о бокъ, сынъ нашъ у меня на колѣняхъ, вся

семья, значитъ, въ сборѣ. Какого же еще счастья нужно человѣку?..

И быстро, незамѣтно летѣло время нашего счастливаго, блаженнаго путешествія. Какія-нибудь пятнадцать-двадцать дней, словно двадцать часовъ пролетѣло.

Прибыли мы въ Казалинскъ, тамъ узнали, что послѣдній пароходъ на Аму отходитъ завтра.—Не откладывая въ долгій ящикъ — заняли, милостью капитанскою, отдѣльную каюту и съ Богомъ.

По прибытіи въ Чимбай, мы застали дѣло совсѣмъ уже на иной ладъ. Русскіе уже устроились тамъ, какъ у себя дома: и уѣздные начальники завелись—и полиція... все, какъ слѣдуетъ. Остановились мы все-таки пока въ туземномъ караванъ-сараѣ, чуть-ли не въ томъ самомъ, гдѣ мы тогда, въ первый разъ съ Трезвоновымъ стояли, музыкой его потѣшались отъ скуки.

Агреаль просила меня пожить здѣсь съ недѣлю, а то и двѣ... и представила такія къ тому причины...

— Я, говоритъ, уже туда, къ своимъ, больше не пойду... я уже теперь совсѣмъ твоя,—а позволь мнѣ написать домой, чтобы оттуда ко мнѣ одинъ человѣкъ пріѣхалъ, поговорить съ нимъ надо. Да ты не бойся, онъ старикъ уже, человѣкъ этотъ... совсѣмъ сѣдой и вотъ такъ, согнувшись, ходитъ!

Представила даже, какъ это именно ходитъ ея старикъ—прошлась, прихрамывая, даже по саклѣ.

Мнѣ такъ было хорошо, такъ дорого слышать отъ нея первую половину ея фразы, что я и перечить не сталъ, самъ даже распорядился поскорѣе джигита нанять, взялъ отъ Агреали ея письмо, что она кое-какъ нацарапала, и не читая его, не расклеивая—отправилъ на Талдыкъ съ нарочнымъ.

Къ довершенію моей радости, что все дѣло такъ хорошо устраивается—Агреаль и къ ребенку нашему значительно перемѣнилась, нѣжнѣе стала заботиться. Чаще ласкала его, держала на рукахъ, цѣловала даже и горячо такъ, страстно цѣловала, такъ и впивалась губами въ его пухленькія, румяныя щечки.

О, какъ я любилъ ее въ такія минуты, вдвое, вдесятеро... Что я говорю? Развѣ можно выразить словами, цифрами, какимъ бы то ни было опредѣленіемъ, что чувствовало тогда мое сердце?

Разъ только я замѣтилъ что-то непонятное для меня. Агреаль долго держала на своихъ рукахъ Колю, потомъ отнесла его на постельку, — ребенокъ уже заснулъ — и бережно уложила.—Она повернулась, и свѣтъ изъ дверей сакли ударилъ ей прямо въ лицо. Она думала, что я не вижу, что я не смотрю на нее, но я видѣлъ, я ясно, отчетливо видѣлъ крупныя слезы на ея рѣсницахъ. Слезы на глазахъ Агреали, которая никогда еще не плакала.. Откуда эти слезы, что ихъ вызвало—не знаю, разспрашивать я тогда почему-то не рѣшился.

Я думалъ, я хотѣлъ такъ думать, что это были свѣтлыя, дорогія слезы, вызванныя изъ глубины сердца материнскимъ счастьемъ.

Дней черезъ пять, не болѣе, вернулся посланный на Талдыкъ джигитъ,—говоритъ, что *тѣ* двое сегодня же къ ночи пріѣдутъ. Они, говоритъ, къ одному знакомому человѣку, здѣсь, не далеко заѣхали, къ ночи будутъ.

Поблѣднѣла, какъ полотно, Агреаль, услышавъ это извѣщеніе, покачнулась даже на ногахъ и вышла изъ сакли на свѣжій воздухъ и съ полчаса назадъ не возвращалась.

«Тѣ двое... они» — какіе же это двое? За однимъ вѣдь только посылали,—соображалъ я,—за старичкомъ, сѣденькимъ, горбатымъ, хромоногимъ. Гм... двое»... Рѣшилъ потомъ, что двое, такъ двое, не все ли мнѣ равно?

Велѣлъ саклю рядомъ приготовить для гостей, очистить ее, ковровъ постлать побольше и заказалъ на базарѣ блюдо жирнаго плову съ бараниною — изъ самаго лучшаго рису велѣлъ приготовить. Надо, думаю, гостей угостить, какъ слѣдуетъ, принять поласковѣе. Пожалуй, еще родственники они мнѣ какіе-нибудь окажутся.

Солнце садилось, когда въ Чимбай, дѣйствительно, пріѣхали двое верховыхъ чужихъ людей, тюркменъ и третью лошадь привели съ собою подъ вьюкомъ дорожнымъ.

Какъ теперь помню обѣ эти фигуры. Онѣ никогда не изгладятся изъ моей памяти.

Одинъ изъ нихъ былъ, дѣйствительно, старикъ, довольно, впрочемъ, еще бодрый и сильный.—Онъ былъ въ черной бараньей шапкѣ, поверхъ которой накручено было бѣлое полотенце, въ родѣ чалмы, что означало принадлежность его къ духовному

сословію.—Глаза у этого муллы были хитрые, прищуренные, довольно добродушные на первый взглядъ, какъ будто даже подсмѣивающіеся,—носъ крючковатый, спускающійся нѣсколько надъ верхнею губою, съ подстриженными сѣдыми усами, бородка жидкая, клиномъ, трясущаяся—голова старика уже не совсѣмъ прочно сидѣла на загорѣлой, мускулистой шеѣ.

Другой былъ здоровый молодецъ лѣтъ тридцати, немного попорченный оспою, но довольно красивый, — смотрѣлъ онъ только какъ-то волкомъ, въ сторону, словно боялся взглянуть въ глаза прямо. Одѣтъ былъ просто, даже бѣдно—темнокрасный, бумажный халатъ, изъ подъ него воротъ бѣлой толстой рубашки полотняной, кожанные шаровары, обшитые снизу тесьмой и длинная мягкая обувь, а поверхъ нея калоши съ зелеными задками и остроконечными кованными каблуками.

Оружіе у обоихъ, не смотря на скромность костюма, было превосходное, рукоятки на ножахъ и шашкахъ изъ слоновой индійской кости и украшены серебромъ съ бирюзою. Лошади тоже дорогія, кровныя, даже и та, что пришла подъ вьюкомъ, запасная. Такихъ лошадей по триста рублей нельзя купить каждую.

Я все замѣтилъ и запомнилъ, каждая мелочь не забыта мною, да врядъ-ли когда и забудется.

Агреаль встрѣтила ихъ довольно сухо, слегка поклонилась, но руки не протянула. Когда они взошли, согнувшись въ дверяхъ сакли, я указалъ имъ на ковры и попросилъ сѣсть.

Затѣмъ освѣдомился, какъ этикетъ того требовалъ, объ ихъ здоровьѣ, о благополучіи родныхъ, друзей и знакомыхъ; о томъ, благословилъ ли Аллахъ дорогу ихъ, и такъ далѣе.

На все это я получилъ лаконическіе утвердительные отвѣты, выдержалъ въ свою очередь рядъ тѣхъ же, повторенныхъ каждымъ изъ гостей отдѣльно, вопросовъ—также отвѣчалъ имъ утвердительно, и затѣмъ, такъ какъ Агреаль замѣтила, что уже поздно, и гости, вѣроятно, съ дороги устали,—то, проводивъ ихъ въ отведенную для нихъ саклю, я приказалъ подать туда заказанный пловъ, а самъ вернулся къ себѣ, отложивъ до утра дальнѣйшіе разговоры.

Печальное же утро пришлось мнѣ встрѣтить.

Вздоръ все, что говорятъ о предчувствіяхъ разныхъ: никакихъ предчувствій не бываетъ... иначе я долженъ бы былъ

испытывать тогда хотя что-нибудь подобное. Но я ничего не испытывалъ, я заснулъ довольный, спокойный и передъ тѣмъ крѣпко поцѣловалъ сына и свою Агреаль, которая, впрочемъ, на этотъ мой поцѣлуй не отвѣтила, она даже задрожала вся, когда я къ ней прикоснулся.

— Что ты?—спросилъ я.

— Какая ночь холодная!—глухо такъ, хрипло отвѣтила Агреаль, словно что-то стянуло ей горло и не пропускало звуковъ, какъ слѣдуетъ.

А ночь тогда была, какъ нарочно, теплая, даже душная, такъ что я оставилъ двери въ сѣняхъ отпертыми настежь, завѣсивъ ихъ только легкимъ полотнянымъ пологомъ.

Я заснулъ.

Долго-ли я спалъ, не знаю, но проснулся отъ страшной тяжести, навалившейся мнѣ на грудь. Я хотѣлъ протянуть руки—онѣ были связаны... ноги мои тоже обвивала веревка и съ острою болью врѣзывалась въ перетянутыя щиколодки.

Я хотѣлъ крикнуть и не могъ. Мнѣ забили въ ротъ скрученный конецъ шерстяного кушака, я только могъ тихо стонать и почти задыхался.

Въ саклѣ ходили, шептались... Я слышалъ голоса Агреали и ея гостей... Я догадывался.

Вотъ зажгли огонь—голубая искра спички разгорѣлась и мало-по-малу освѣтила всю саклю. Я могъ теперь видѣть, что такое дѣлается. Но лучше бы мнѣ глаза выкололи, чтобъ только я ничего этого не видѣлъ.

Старикъ мулла стоялъ у постели Коли, ко мнѣ спиною; другой тюркменъ находился около меня и слѣдилъ за каждымъ моимъ движеніемъ. Агреаль съ фонаремъ въ рукахъ подошла тоже ко мнѣ и наклонилась, точно хотѣла сказать что-то мнѣ на ухо.

Она и сказала:

— Ты раздавилъ моего сына, я велѣла задушить твоего. Ну, съ тебя довольно и этого. За отца и за мужа мнѣ другіе отвѣтятъ. Прощай!

Она снова потушила фонарь, и всѣ трое вышли изъ сакли.

Я слышалъ, какъ они сѣли на лошадей, я слышалъ топотъ копытъ по двору, слышалъ этотъ топотъ, все удаляющійся и удаляющійся по базарной улицѣ.

Я рвался, какъ бѣшеный, я грызъ зубами проклятый шарфъ; заживо похороненный не такъ бьется, очнувшись въ своемъ гробу... Я обезсилѣлъ, обезпамятѣлъ и потерялъ, наконецъ, сознаніе.

Что дѣлалось дальше, я уже ничего не помню, мнѣ все это разсказывали послѣ.

Какъ меня нашли утромъ, какъ развязали, какъ нашли въ постели тѣло моего бѣднаго сына, ничѣмъ неповинную жертву, какъ похоронили его, какъ меня самого, признаннаго сумасшедшимъ, охваченнаго какимъ-то безпамятнымъ безуміемъ, отправили на излеченіе въ Россію.

Я помню только то, что я поправился отъ своей тяжелой болѣзни и первымъ же дѣломъ поѣхалъ опять сюда, въ Туркестанъ... зачѣмъ именно—я не давалъ себѣ отчета... Меня тянуло неудержимо и только.

Остальное, со дня нашей встрѣчи на Карасовской станціи ты знаешь самъ, а потому теперь для тебя понятно будетъ и все, что было послѣ.

Наземовъ кончилъ свой разсказъ, чуть не вызвавшій въ немъ опять глубокаго нервнаго потрясенія.

. . . . . .

Я передалъ разсказъ моего пріятеля, стараясь, сколько возможно, ближе держаться къ подлиннику. Я не знаю, насколько удалось мнѣ это; на всякій случай сообщаю, что Наземовъ живъ и здоровъ и часто бываетъ въ Петербургѣ.

У меня, какъ у всякаго рабочаго человѣка, слишкомъ мало свободнаго времени, чтобы принимать своихъ знакомыхъ, но въ воскресенье вечеромъ я всегда уже складываю свои занятія и посвящаю нѣсколько часовъ своимъ друзьямъ, которые и собираются у меня, чѣмъ, конечно, доставляютъ мнѣ много истиннаго удовольствія. Въ числѣ этихъ друзей бываетъ и Наземовъ, и если кому угодно лично съ нимъ познакомиться, то я опять-таки повторяю: въ воскресенье вечеромъ двери моей квартиры для моихъ друзей отперты.

Само собою разумѣется, что для этого надо быть въ числѣ этихъ послѣднихъ.

К О Н Е Ц Ъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Н. Н. КАРАЗИНА.

СЪ СѢВЕРА НА ЮГЪ.

Романъ въ 2-хъ частяхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе П. П. Сойкина.
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Стремянная, 12, соб. домъ.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Невскій, 98, уг. Надежд.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 8 ФЕВРАЛЯ 1905 Г.

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СТРЕМЯННАЯ, 12.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I. Обозъ.

Большой обозъ, возовъ, пожалуй, до ста, потихоньку тянулся ровною степною дорогою.

При этомъ обозѣ шло очень много всякаго народа, не то что при торговыхъ обозахъ, гдѣ часто бываетъ всего только по одному возчику на три телѣги. Здѣсь же шли и ѣхали цѣлыя семьи, даже съ своими дряхлыми стариками и грудными ребятами.

Гнали и скотинку стороною, только немного, кромѣ той, что въ возахъ была запряжена,—десятка два, не больше.

Шелъ этотъ обозъ издалека, и идти еще ему было порядочно. И волы, и кони, и люди,—все это, видимо, давно уже освоилось съ дорогою, втянулось и шло себѣ спокойно, неторопливо, не горячась, какъ обыкновенно сначала,—попривыкло, значитъ. Да и было время привыкнуть.

Четвертый мѣсяцъ шелъ этотъ обозъ. Вышелъ съ мѣста на саняхъ, простоялъ подъ «Орскомъ» весеннюю распутицу, переснарядился съ полозьевъ на колеса, подкормилъ скотину на привольныхъ весеннихъ кормахъ—и пошелъ себѣ дальше, выгадывая, какъ бы до снѣгу и зимнихъ бурановъ дотянуться до мѣста.

А какое такое это мѣсто? — про это и не зналъ никто путемъ во всемъ обозѣ, начиная съ сѣдого, сто-семи-лѣтняго старика, дѣдушки Дениса, до самаго малаго ребенка—безымянки, появившагося на свѣтъ Божій только на прошедшемъ ночлегѣ.

Шелъ этотъ обозъ изъ лѣсныхъ сторонъ лѣваго берега Волги. Съ самаго мѣста немного возовъ выступило: деревня «Малые Кандалы» на двадцати-трехъ возахъ, да выселокъ «Дегтярный» на семи,—а уже послѣ, изъ разныхъ другихъ мѣстъ, дорогою приставать начали; больше же всего прибавилось въ Орскѣ; въ прошедшемъ году еще которые выступили,

да не дошли однимъ годомъ и зимовали въ этомъ городѣ,— эти-то самые и поспѣшили снарядиться въ путь и пристать къ общему обозу. «Все веселѣе, когда народу больше».

Стоило только взглянуть на эти возы, чтобы убѣдиться въ томъ, что путешественники не думали уже возвращаться на старое мѣсто и позабрали съ собою все, что только поднять было подъ силу. Развѣ только однѣ голыя стѣны остались на покинутомъ пепелищѣ.

Возы все были длинные, аршинъ по пяти въ разгонѣ и больше, на манеръ такихъ, какъ въ Малороссіи. Оси у возовъ толстыя, съ желѣзными подъосками, колеса дубовыя на березовыхъ ступицахъ, ободья широкія, ладони въ три,—по песку когда идутъ, совсѣмъ почти не рѣжутъ, а такъ поверху надавливаютъ, точно лыжи по рыхлому снѣгу. Волы подъ ярмомъ сытые, крупные, гдѣ по парѣ, а гдѣ и по двѣ пары впряжены; надъ ярмами высокіе коньки вдѣланы, гдѣ чистые строганные, а гдѣ и красною краскою окрашенные; налыгачи сыромятные, крѣпкіе, — однимъ словомъ, вся сбруя, хотя и не хитрая, да дюже, по-хозяйски слаженная.

А на возахъ-то... чего только не было на этихъ возахъ!.. Все, какъ-есть, полное хозяйство.

Каждый возъ дѣлился на двѣ половины: на переднюю— чистую и заднюю—скарбъ. На задней, на самомъ днѣ, стояли большіе сундуки и укладки съ разнымъ добромъ; поверхъ наложены были боченки, ведра, корыта, плужки разнообразные, бороны... Сзади—пара колесъ запасныхъ и большая баклага для воды, ведеръ въ двѣнадцать, котлы и чугуны, и желѣзныя треноги... Съ боковъ, вдоль лѣстницъ, подвязано все длинное—бруся разные запасные, жерди на всякую потребу, лишнія оси, оглобли... Тутъ же и завернутые въ рогожи тюки съ лопатами, заступами, граблями, цѣпами и косами. Все это въ порядкѣ убрано, привязано крѣпко; нигдѣ не виситъ ничего и даромъ не болтается, на ходу не постукиваетъ, а точно приклеено къ своему мѣсту.

Скарбовая половина возовъ загружена высоко; передняя, чистая, — пониже. Тамъ только перины, подушки, одежда и всякая мягкая рухлядь, да развѣ что-нибудь самое необходимое, что дорогою потребоваться можетъ. Тутъ спятъ ночью и днемъ укрываются отъ ненастья.

Надъ возами крытые верха устроены,—у кого на деревянныхъ дугахъ наметаны изъ пропитанной дегтемъ холстины, у кого рогожные навѣсы, а у кого и тесовыя крыши на два ската, а въ стѣнкахъ подъ крышами окошки продѣланы, и даже стекла въ нихъ вставлены... Были и такіе возы, что совсѣмъ на избу похожи были, только поменьше. Одинъ шутникъ такъ даже дымовую трубу приладилъ и скворешницу поставилъ на высокомъ шестѣ,—конечно, для потѣхи больше.

Запасную скотину гнали поблизости. Лошадей совсѣмъ мало было: при всемъ обозѣ только пара пѣгихъ дяди Василія, да сѣрая хромая кобыла татарина Мамета изъ Чебоксаръ, и ту онъ вымѣнялъ уже дорогою въ Орскѣ на яловую корову. Коровъ была тоже самая малость: штукъ шесть дойныхъ — ребятишкамъ чтобъ молоко было дорогою; для того только и гнали.

Шли всѣ эти возы въ два ряда, потому-что по степи дорога широкая,—что же даромъ растягиваться!

Мужчины и кто помоложе да покрѣпче изъ женщинъ, тѣ все больше пѣшкомъ шли, — дѣло привычное; старики и старухи на возахъ сидѣли съ малыми ребятами; постарше дѣти— тѣ съ собаками взапуски по сторонамъ рыскали... Утомятся очень—на возы полѣзутъ... Отдохнутъ, выспятся— и опять за бѣготню примутся, потому дорогою, особенно въ хорошую погоду, не только малымъ, да и большимъ весело бываетъ.

Утромъ поднимутся вмѣстѣ съ зарею, управятся съ варевомъ, напоятъ скотину, вытянутся на дорогу и идутъ до жару. Какъ начнетъ уже сильно припекать лѣтнее солнце, такъ сейчасъ приваломъ становятся. Возы стянутъ въ девять рядовъ, выровняются улицами, черезъ каждые четыре воза пошире переулочки оставятъ для прохода и выпрягать воловъ станутъ. Скотину пасутъ на травѣ, по близости... Начинаютъ варить, что у кого припасено... Дымъ такой поднимется надъ обозомъ!.. Издали кто идетъ,—ну, совсѣмъ на деревню похоже. Такъ и отдыхаютъ, пока не спадетъ палящій зной, и не потянетъ вечернею прохладою.

Тамъ опять въ дорогу, до самаго солнечнаго заката, а къ темнотѣ снова строятъ обозъ рядами и становятся на ночлегъ, чтобы завтра съ зарею опять подняться въ дальнюю дорогу, и конца не предвидится.

II. Зеленая степь.

Отъ лѣваго берега Урала на востокъ, до карагайскихъ лѣсовъ, что близъ Оренбургскаго укрѣпленія и солонцевъ бекпакалинскихъ, отъ Орска, на югъ, вплоть до самаго Иргиза города, — все это степь, ровная, хорошая, кормами обильная, «богатая степь», какъ называютъ ее кочевые киргизы. Три рѣки орошаютъ ее: Эмба, Орь и Иргизъ. Озеръ мелкихъ и прѣсноводныхъ затоновъ на ней видимо-невидимо, особенно близъ Ори, этой живой жилки степного края. Земля здѣсь все больше черноземная, мѣстами супесковатая, есть и суглинокъ, только его немного. Мѣстами степь прорѣзываютъ сухіе овраги — суходолы, и каменистыя балки, по бокамъ которыхъ, прорвавшись сквозь верхній слой тучной земли, выглядываютъ красно-сѣрыя гранитныя массы. По днамъ этихъ балокъ тянутся длинныя, прерывчатыя болотины, поросшія осокою и камышемъ... Здѣсь, кромѣ гранита, виднѣются бѣловатыя массы песчаника и одиночки-камни, словно Богъ вѣсть кѣмъ, Богъ вѣсть откуда занесенные...

Еще въ концѣ марта, чуть-только начнутъ стаивать неглубокіе снѣга, вся степь быстро покрывается ковромъ роскошной зелени... Вся земля въ то время пропитана влагою на довольно значительную глубину и становится похожа на одну безпредѣльную топь, особенно тамъ, гдѣ каменистая подпочва глубока, и нога провалившагося коня не достаетъ этого твердаго слоя. Жаркое весеннее солнце быстро просушиваетъ эту топь, согрѣваетъ ея поверхность и вызываетъ наружу такую роскошную, богатую растительность, какую не бывшій въ этихъ краяхъ и представить себѣ не можетъ. Наши новороссійскія степи только блѣдное подобіе этой «богатой земли», нетронутой еще плугомъ, а если и тронутой кое-гдѣ, въ послѣднее время, то такъ мало, что и говорить объ этомъ не стоитъ.

Степной ковыль и тимофеевка волнуются отъ легкаго вѣтра, точно сѣдое, зеленоватое море; пестрятъ яркія звѣздочки полевой гвоздики и ромашки: точно огоньки, алѣютъ головки степного мака, и сплошнымъ лиловымъ ковромъ раскидываются по скатамъ лощинъ лиловые вѣнчики колокольцевъ и розовые мотыльки дикаго горошка.

Нигдѣ не видно ни одного деревца, за то трехъаршинные стебли бурьяна-репейника и темно-зеленой крапивы густыми порослями покрываютъ мѣста прошлогоднихъ аульныхъ стоянокъ, особенно тамъ, гдѣ были ночные загоны для скота, гдѣ скопилось много перепрѣлаго навоза.

Свѣжій, сочный тальникъ-кустарникъ тѣснится по берегу; красноватыя прутья, словно жилки, тянутся сквозь густую листву, изжелта-зеленую, съ пріятнымъ смолистымъ запахомъ... Потянулъ вѣтерокъ—кусты встрепенулись и посеребрились разомъ, точно сѣдиною покрылись, засверкавъ бѣлою исподнею своихъ продолговатыхъ листьевъ; утихло—и снова они стали темные, рѣзко выдѣляясь на золотисто-желтомъ пескѣ прибрежья.

Ярко-бѣлыя полевыя бабочки миріадами носятся надъ степью; звонъ стоитъ въ ушахъ отъ стрекотанія безчисленныхъ кузнечиковъ; жужжитъ пчела и шмель, и съ глухимъ шуршаніемъ ползаютъ между корнями большіе жуки-навозники.

А птицы разной сколько въ этой степи! Вотъ гдѣ безконечное приволье истому охотнику; только эти послѣдніе сюда еще не заглядывали, и мирно плодится непуганная дичь, не обращая даже вниманія на топотъ киргизскаго коня, пробѣгающаго чуть не у самаго многочисленнаго выводка. Только и грозы на птицу, что орлы, налетающіе изъ поднебесья, да ястреба, кобцы и соколы, то вольные разбойники, промышляющіе на себя, то крѣпостные рабы человѣка, слетающіе съ рукавицы киргиза, соколинаго охотника.

Степныя куропатки цѣлыми стаями бродятъ по степи, въ густой травѣ, съ шумомъ взлетаютъ разомъ, проносятся надъ самою землею, саженъ на десять, и снова прячутся въ траву, потому тамъ и привольнѣе, и прохладнѣе, и на счетъ корму обильнѣе. Тамъ и сямъ, щелкая крыльями, взлетаютъ неуклюжіе стрепеты; цѣлыми табунами бродятъ тяжелыя драхвы, издали словно овечье стадо, сразу и не узнаешь. Жаворонки, подорожники и разная мелочь, пока еще не очень пригрѣло полуденнымъ солнцемъ, такъ и шныряютъ въ воздухѣ, наполняя его самыми разнообразными звуками... А выше всего, ближе къ небу и къ бѣловатымъ легкимъ облачкамъ, тамъ плавно носятся орлы и другіе хищники, являя собою, такъ сказать,

аристократію птичьяго царства, высшій слой пернатаго общества, спускаясь внизъ только съ одною цѣлью: либо отдохнуть, либо урвать да на чужой счетъ поживиться, пользуясь своею силою и нахальствомъ. На то они и птицы высшаго полета.

Звѣрья въ степи немного: — волкъ да заяцъ. Дальше къ Иргизу сайгаки будутъ встрѣчатся, а здѣсь они рѣдко бываютъ. Волки здѣсь мелкіе, трусливые держатся поближе къ ауламъ, крадутъ овецъ киргизскихъ, гдѣ собакъ немного, а гдѣ ихъ достаточно, тамъ держатся подальше отъ этого опаснаго сосѣдства и терпѣливо ждутъ, когда имъ бросятъ какую-нибудь падаль или такъ, сама, съ дуру, забѣжитъ молодая ошалѣлая лошадь.

Гадина тоже въ этой степи водится: тарантуловъ очень много, особенно на открытыхъ мѣстахъ, пригрѣтыхъ посильнѣе солнечнымъ жаромъ... Тутъ всегда можно найти ихъ маленькія норки, и ужъ близко отъ этой норки вы—оборони Богъ—не садитесь.

Скорпіоны, фаланги, змѣи и другія гадины—тѣ уже дальше къ югу будутъ встрѣчаться, за Иргизомъ, когда пойдутъ сплошные пески и солонцы, а здѣсь они рѣдко бываютъ, развѣ съ собою кто завезетъ, въ тюкахъ съ бухарскимъ хлопкомъ или въ рваныхъ войлокахъ верблюжьяго вьюка.

Лѣтомъ дожди бываютъ, но рѣдко. Сухія же грозы налетаютъ частенько; хватитъ и градъ иногда, да только особыхъ бѣдъ отъ этого не бываетъ, потому что сѣяныхъ полей нѣтъ здѣсь, а вольную траву градъ не скоро вышибетъ, да если-бъ и вышибъ, то въ одну недѣлю отъ корней пойдетъ она еще пуще, и снова зазеленѣетъ и запестритъ цвѣтами пострадавшая степь, словно она и бѣды никакой не видала.

Вотъ по такой-то хорошей степи и шелъ нашъ обозъ; залюбовывались дорожные люди, глядя вокругъ, и не одинъ разъ въ головы имъ западала завистливая мысль:

— Эхъ, кабы намъ здѣсь и остановиться!

А другая мысль шла тотчасъ за первою и ходу подавала, словно взмахъ кнута надъ спинами притомившейся тройки.

— Ужъ коли здѣсь такъ хорошо, что же тамъ, дальше, куда идемъ мы? Тамъ ужъ совсѣмъ во-очію царство небесное!

III. Лѣса одолѣли *).

Въ запрошломъ еще году пришелъ къ нимъ въ деревню «Малые Кандалы» мужикъ ихней же волости, Степанъ Ложка.

Лѣтъ восемь тому назадъ этотъ Ложка съ другими прочими ушелъ на Каму, къ купцу Брусницыну, на плоты; въ сгонщики нанялись тогда всею, какъ есть, артелью.

Къ зимѣ всѣ вернулись, только безъ Степана: сказывали ребята, что на Волгу въ самолетскіе матросы поступилъ.

Семьи настоящей у Степана не было, кромѣ Анисьи солдатки; та повыла немного и утѣшилась... А другіе прочіе думать о немъ перестали, такъ и забыли совсѣмъ.

Восемь лѣтъ прошло... Старые кто перемерли, парни бородами обросли, мальчишки выросли и поженились... Вернулся Степанъ Ложка. Узнали его.

— Откедова, братъ?..

— Я-то?

— Да!

---

*) Переселеніе на Сыръ-Дарью и другія земли средней Азіи, занятыя нашимъ оружіемъ, началось уже давно.

Для выдачи разрѣшенія на переселеніе составлены были законодательнымъ порядкомъ точныя, опредѣленныя правила, и разрѣшенія на эти переселенія выдавались только тогда, когда причины къ переселенію найдены были совершенно основательными.

Въ нашихъ лѣсныхъ губерніяхъ, гдѣ лѣса не составляли собственности крестьянъ, эти послѣдніе терпѣли большой недостатокъ въ удобной для хлѣбопашества землѣ, и понятно, что крестьяне эксплоатировали лѣса незаконнымъ образомъ, пользуясь недостаточнымъ надзоромъ и послабленіемъ лѣсныхъ сторожей. Теперь, вотъ уже скоро три года, какъ вслѣдствіе реформъ въ лѣсномъ вѣдомствѣ, установилось и болѣе правильное лѣсное хозяйство, и бдительный надзоръ, пресѣкшій возможность крестьянамъ незаконно пользоваться лѣсомъ и разомъ уничтожившій эту губительную контрабанду.

Крестьяне принуждены были исключительно заняться землею, а ея было мало, совсѣмъ недостаточно. Положеніе ихъ стало весьма затруднительнымъ и вызвало неизбѣжно правительственную мѣру, вслѣдствіе которой „недостаточность пахатной земли въ исключительно лѣсныхъ губерніяхъ“ служитъ достаточнымъ поводомъ къ разрѣшенію переселенія и выдачи пособій переселенцамъ.

Такимъ образомъ эта правительственная мѣра повела къ тому, что здоровыя руки хлѣбопашца, вмѣсто того, чтобы наносить вредъ лѣсному дѣлу, всецѣло обратились на трудъ полезный, болѣе имъ свойственный. Прямая выгода этого переселенія должна была отразиться и на новомъ краѣ, гдѣ роскошныя земли, бывшія до сихъ поръ мертвымъ капиталомъ, получили, наконецъ, возможность разработки.

— Съ далекихъ сторонъ, не скоро разскажешь!

— Съ Волги, что-ли?

— Хватай дальше! Изъ какой-то, братцы мои, распрекрасной стороны, что и-и, Боже мой! Ну, а что вы-то тутъ, какъ, сидни? Какъ васъ самихъ Господь Богъ перевертываетъ?

— Да что мы—мы все то же, какъ допрежъ того... Тѣснота да голь!

— Эхъ, сердечные! Ужъ очень мнѣ васъ, голубчики, жалко!

— Изъ силъ выбились... страсть!

— То-то! Ну, разсказывай вы напередъ, я послѣ... Выливай все разомъ!

Молчаливъ, шибко молчаливъ мужикъ до поры, до времени. Только и словъ у него, что «ничего» да «все отъ Господа», а какъ ты его пожалѣешь, особливо какъ тутъ еще полведра, или больше—ну, онъ сейчасъ и раскисъ, и пошелъ всю тебѣ душу выкладывать... Всѣ нужды, всѣ напасти припомнитъ, кого слѣдуетъ словомъ хорошимъ помянетъ, только это ужъ съ оглядкою...

«Вываливай все разомъ!»—сказалъ Степанъ Ложка,—вотъ и началось это настоящее вываливанье...

«Пуще всего лѣса одолѣли, просто дохнуть не даютъ!.. Къ самымъ дворамъ посдвинулись—тѣснота. Огороды махонькіе, да и тѣ всѣ корнями перепутаны. Возишься это, возишься съ одною грядою: на хорошемъ мѣстѣ—съ десятиною легче управиться... Поле только то и есть, гдѣ полянка по близости выщется; скотину выгнать некуда... Прежде-то много вольготнѣе было; самые эти распроклятые лѣса кормили. Лыко драли, всякія подѣлки: чашки, ложки, плошки—все, что слѣдуетъ, по хозяйству дѣлали, выгодно сбывали... Деготь гнали—это ужъ самое прибыльное дѣло; пчелъ водили, кому досужно... На то, что земли мало, почитай-что нѣтъ ничего,—на то не глядѣли, потому и безъ нея жить можно было... Нонѣ, братецъ мой, не то! Пришли землемѣры, разверстали эти самые лѣса на участки, лѣсничихъ и сторожей ни вѣсть откедова нагнали силу... Заказы подѣлали: эти вотъ не смѣй трогать, Боже тебя сохрани! Потому казенные... Сюда вотъ и носа не совай, потому не твои, одно слово, не смѣй трогать, не твое!

«Ну, думали, спервоначалу всегда строго, а тамъ обойдется... Лѣсничихъ-то мы и прежде видѣли; смекаемъ: ничего, можно жить будетъ... Влопались разъ—нѣтъ, не то! Штрафы пошли... Такъ-то допекли насъ этими самыми штрафами, просто ни дохнуть, ни оправиться; за штрафами и того пошло хуже: стали это въ городъ по судамъ таскать—навидались мы тогда всего, чего слѣдоваетъ. Дядя Еремей, Вавило Кислый, Сенька... Знаешь Сеньку, парнишко такой былъ рыжеватенькій?.. Ну, всѣ по сіе время въ городу острогъ гноятъ. Вотъ мы отъ этого лѣсу запретнаго совсѣмъ и отступились. Поразбрелись кто-куда, по другимъ мѣстамъ — и того хуже; опять вмѣстѣ собрались—совсѣмъ вышло не сладко!

«Пойдутъ бабы сукъ собирать—сейчасъ стой! Деньги подай! Слегу тебѣ на сарай понадобилось, оглоблю, что-ли, какую—поди, купи въ сторожкѣ... Тьфу ты, Владычица небесная! Да откедова «купила»-то этого набраться? Какъ что случилось въ лѣсу—порубка, что-ли, или какой другой грѣхъ, сейчасъ съ обыскомъ. Да вѣдь какъ вынюхаютъ! Петръ Исаичъ, кабатчикъ, ужъ на что хитеръ былъ, какъ запряталъ два бруса липовыхъ, розыскали и поволокли, да и его самого съ ними тоже.

«А теперь станетъ дѣло къ осени, тамъ опять зима. Темь, стужа! Лучины достать не откуда, чтобъ такъ, безъ денегъ, не то что дровъ—протопиться. Пробовали было всѣмъ обществомъ одинъ участокъ, поближе, такой махонькой, себѣ купить; не продаютъ. «Вы, говорятъ, послѣ вездѣ валить станете, да отнѣкиваться, что, молъ, изъ своего везете. Покупай, что надо, поштучно». Такъ пошли ни съ чѣмъ.

«Какіе прежніе достатки были, теперь уже самая малость осталась; годка два, пожалуй, и продышемъ еще, а ужъ тамъ—воля Господня, и сами не знаемъ, что будетъ».

— Ты, что-ли, начнешь, дѣдушка?—Обноси, Кузьма,—бабамъ послѣ!

IV. Степанова «подстрека».

Съ недѣлю прожилъ въ Малыхъ Кандалахъ Степанъ Ложка; столько-то горя всякаго мужичьяго наслышался, страсть! Не одни кандалинцы да сосѣди ихъ дегтярники, и изъ другихъ

лѣсныхъ трущобъ приходили. И на задворкѣ у кабатчика Петра Исанча, подъ дуплистою липою, гулъ стоялъ отъ мужичьяго говору.

Много Степанъ слушалъ, много и самъ говорилъ, потому что человѣкъ онъ бывалый, шутка-ли, изъ какихъ мѣстовъ пришедшій! А ужъ какія же это мѣста! Вѣдь есть же на свѣтѣ стороны такія разлюбезныя!.

— И все это съ бѣлымъ калачемъ...—говорилъ Степанъ Ложка, проковыривая трубочку.

— Ну?

— Вотъ-те крестъ!—Безъ бѣлаго калача и щей хлебать не садись али тамъ ухи какой изъ синь-злата окуня, либо щуки аршинной. Осетрины же этой, шиповины, хоть-бы на нее и не глядѣть, все едино! Весломъ, бывало, повернешь—трехъ или четырехъ рыбинъ по головамъ оглушишь. Супротивъ солнца на воду смотришь—ну, ее и видно. Сила просто, валитъ! Такія-то саксаулины плывутъ, безъ малаго, что съ энту колоду. Мы ихъ все на крюкъ ловили!

— На крюкъ?

— На его самаго!

— Ловля-то запретная. Слыхивали, ребята съ Волги приходили, сказывали, что коли кто крючья протянетъ, да, неровенъ часъ, пымаютъ—за Иркутскъ угонятъ!

— Тамъ—не здѣсь, тамъ край вольный; никакихъ запретовъ ни на что еще не положено!

— А на выгонъ?

— Насчетъ всего слободно!—Ты вотъ говоришь: «на выгонъ». Ахъ, вы, простота-Акимы! «На выгонъ» — ха-ха-ха! Вы и земли-то путемъ, чтобъ этакъ много, знать, не видали. Бывало, взлѣземъ на крышу, чтобъ повиднѣе было (крыши-то таможнія не то, что наши, а плоскія, вотъ ровно полъ мазаный, али вотъ подъ печной),—ну, взлѣзешь это на крышу и поглядишь во всѣ стороны: и все это, сколько ни гляди, все наше, всѣ земли вольныя, конца имъ нѣту, потому — степь...

— Скотину погонятъ табунами страшенными, по тыщѣ головъ, а то и побольше. Тамъ это ходитъ табунъ, въ другомъ мѣстѣ, глядишь, ходитъ. Тамъ опять овечья атара, тутъ другая, и все это одно-одному не мѣшаетъ, все это не стоитъ

на вытоптанномъ мѣстѣ, а потравитъ кормъ-отъ — на новое мѣсто переваливаетъ. За всю паству-то лѣтнюю и половины не вытопчетъ, а вѣдь животовъ не мало!

— Много держатъ?

— Да такъ вотъ, другъ любезный, что если таперича со всей вашей округи пособрать да изъ-подъ городу мѣщанскую скотину прибавить, да еще всю, что на монастырскую ярмарку къ Успеньеву дню сгонятъ, такъ и тогда не наберется столько, сколько въ тѣхъ мѣстахъ на одинъ аулъ придется!

— Батюшки!

— Да ты не врешь?

— Да мнѣ какая прибыль врать-то, я съ тебя деньги, что ли, беру? Таперича какой урожай у васъ въ запрошломъ былъ,—сказывали—Господь милость свою послалъ; ну, а сколько?

— Самъ-семь,—во сколько!

— Хо-хо-хо-хо! Удивилъ! Сразилъ, какъ есть! Такъ-то топорищемъ по комарищу и ахнулъ! «Самъ-семь» — шутка ли «самъ-семь!» Господь послалъ! Нако-сь, отвалилъ сколько! А самъ-тридцать хочешь? А самъ-шестьдесятъ просо любишь? А самъ-семьдесятъ...

— Да, тьфу ты, блажной! Чаго, самъ-дѣлѣ, насъ морочишь, что мы тѣ за дурни достались!

Даже обидѣлись мужики мало-кандалинскіе; ужъ очень имъ это показалось необычно — «самъ-семьдесятъ», шутка ли!

— Волоки крестъ, подымай образа—присягну!—зыкнулъ Степанъ Ложка во всю-то глотку. Ужъ очень и ему обидно показалось такое невѣріе.

И какъ же это не вѣрятъ? Они, таперича, не видали ничего изъ-за своего лѣса, на всѣ четыре стороны свѣтъ отъ нихъ загороженъ, а онъ самъ видѣлъ, самъ пахалъ, самъ косилъ и самъ этотъ же хлѣбъ «самъ-тридцать» лопалъ. Фу, ты, народъ какой крѣпкой, невѣрный. Ну, кремни!

— Да вѣдь это, братъ, ужъ того... больно много, неровно облопаешься!—говорили слушатели.

— Небойсь! Ничего не облопаюсь; въ самую пропорцію; поспрошаете у другихъ, може, бывалыхъ,—нонѣ народу много валитъ туда, есть, вотъ какъ я,—и оттедова еще не то услышите, вспомянете тогда меня, скажете: «охъ, Степа, Степа! Правдивая твоя душа была, мы-то прохвосты невѣрные...»

— Ну, ладно, ладно, вали дальше, чего ревѣть началъ! Мы вѣдь тебѣ не въ обиду!

И много еще диковиннаго разсказывалъ имъ Степанъ-Ложка—правдивая душа; много такого, отчего не спалось мужикамъ по цѣлымъ ночамъ, отчего въ головы имъ такъ и лѣзла, словно сверло въ колоду, неотвязная мысль.

— А что, коли намъ, всѣмъ какъ есть, да туда же? Съ женами, съ дѣтьми, большими и малыми? Что мы тутъ сидимъ, самъ-дѣлѣ, какого лѣшаго ждемъ, пока послѣдніе животы не пойдутъ прахомъ?

— Какъ бы хуже не было... бываетъ, братцы, что изъ куля да въ рогожу попадаютъ!—слышались разрозненные, одинокіе голоса.

— Хуже не будетъ!—толковали другіе.—Отваляемъ всѣмъ обществомъ «напутственный», по гривеннику съ рыла, да и съ Господомъ!

— Пособи Владычица небесная!

— Петра Исаичъ, волоки еще четверть!

— Прощай наша родимая сторонушка, прости, разлюбезная, и померсть-то въ тебѣ, можетъ, не придется!.. — выли бабы—народъ глупый.

— А какъ бабамъ-то не выть?—говорили кандалинцы.—Баба, ровно кошка, къ своему жилью привязчива, нагрѣтое мѣсто пуще всего любитъ, и оттедова ее коломъ не скоро вышибешь!

Взбудоражилась деревня «Малые Кандалы». Пошла «Степанова подстрека» по всей лѣсной округѣ.

Самъ то Степанъ давно уже ушелъ, куда ему надобность была, да сѣмя, имъ посѣянное, дало богатый отпрыскъ и готовилось развернуться роскошнымъ вѣтвистымъ стеблемъ.

V. Встрѣчные.

Шли себѣ, знай, наши обозники, да шли. Много народу дорожнаго обгоняло ихъ, много и на встрѣчу попадалось, особенно почтовыхъ. Тѣ шибко гонятъ, въ день-то троекъ по десяти попадается.

Съ любопытствомъ поглядывали проѣзжіе на большой обозъ-деревню, въ разговоръ вступали не разъ. Ѣхали все больше

народъ военный, чиновный, ѣхали и купцы, только этихъ не такъ, чтобы много.

И приходилось малымъ-кандалинцамъ да дегтярникамъ всякія вѣсти слышать, всякое принимать пожеланіе и напутствіе.

То услышатъ они такое, что словно по чаркѣ хлебнутъ, весело на душѣ станетъ; а то было и такое, что хоть назадъ зорочай. Уныніе пойдетъ по всему обозу; бабы, по обыкновенію своему, ревъ поднимутъ, мужики въ землю уставятся; такъ и идутъ, носы повѣсивши, пока еще кто-нибудь изъ встрѣчныхъ однимъ словомъ всю тяготу сниметъ, всю тоску ровно вѣтромъ разгонитъ.

Вчера, вотъ, у полудня этакъ, въ сторонкѣ отъ дороги, неподалеку, скотину кормили, смотрятъ: тарантасикъ ѣдетъ, такой неважный: колеса всѣ въ разныя стороны разбѣгаются, оси словно не желѣзныя, дугою выгнулись; кожа отъ жару пересохла и полопалась; каждая гайка дребезжитъ, каждый винтикъ на своемъ мѣстѣ подпрыгиваетъ. Сзади чемоданъ, въ кошмѣ завернутый, спереди—то же. Въ тарантасѣ двое лежатъ: шинели у нихъ сѣрыя, пуговицы свѣтлыя, шапки бѣлыя, штаны красные, на сапогахъ шпоры. Экипажъ-то короткій, всѣ четыре ноги вонъ торчатъ, такъ оно и примѣтно... Увидали нашихъ—остановились.

Одинъ, усатый такой, поманилъ пальцемъ. Дядя Василій подошелъ, шапку снялъ—все какъ слѣдуетъ. За Василіемъ еще человѣка три подошло, а тамъ и весь обозъ сошелся—всякому любопытно, да и скука же на полуденномъ привалѣ, — ну, и рады проѣзжему человѣку.

— Куда Богъ несетъ?—спрашиваютъ.

— Да къ Казалѣ городу... на «Сыръ-рѣку»! — говорятъ.

— Далеконько!..

— Далече, родимый! Не знаемъ, много ли осталось!

— Теперь немного уже: сотни четыре съ половиною; до осени дойдете!

— То-то вотъ и мы смекаемъ. По той ли дорогѣ идемъ только; какъ бы намъ въ сторону куда не зайти...

— Нѣтъ, тутъ дорога одна, сбиться некуда. Вали все на югъ, какъ птица перелетная летаетъ, какъ-разъ потрафите!

— Такъ... такъ намъ и сказывали въ Оркѣ!

— А зачѣмъ Богъ несетъ?

— Насъ-то?

— Васъ!

— Зачѣмъ... гм... Дядя Василій, сказывай!

— Сказывай ты, все едино... али ты говори, Яковъ, у тебя рѣчь складнѣе...

— Переселяетесь?

— Такъ, такъ, кормилецъ, это самое настоящее слово. Всѣ переселяемся, всѣ, какъ есть, цѣльною волостью!

— Худо, что ли, на старыхъ мѣстахъ было, что бросили?

— Въ раззоръ приходить стали. Земли у насъ самая малость, жить нечѣмъ, лѣса это...

И пошли старое припоминать. Съ полчаса добрыхъ наперерывъ говорили. Проѣзжіе все слушали, ничего-себѣ, стояли. Одинъ даже изъ тарантаса вылѣзъ, папироску закурилъ, на бабу Авдотью покосился и подъ бокъ толкнулъ товарища. Хорошіе господа, добрые!..

— Что же, молъ, тамъ, на «Сырѣ», дѣлать будете?— спрашиваютъ.

— Пахать, батюшка, огороды разводить!

— Песокъ пахать будете? Огороды на солонцѣ разводить?

— Какъ песокъ, кормилецъ? Тамъ земля-то—страсть: самъ-семьдесятъ...

— Кто вамъ говорилъ?

— Робята наши были, сказывали; всѣ въ одинъ голосъ хвалятъ!

— Врутъ ваши ребята... А, впрочемъ, пошли вамъ Господь! Ямщикъ, трогай!..

И погнали опять дорогою, шибко погнали. Кони добрые, все вскачь лупятъ; только пыль пошла по дорогѣ цѣлымъ облакомъ; не видать уже за нею ни тарантаса, ни бѣлыхъ шапокъ, ни сапоговъ со шпорами.

— Какъ же это теперь, други любезные?—сказалъ дядя Василій.

— Что же это теперь... А ну, какъ...

И духу не хватало у мужиковъ докончить это «а ну, какъ!» только про себя всякъ подумалъ:

«А ну, какъ тамъ и вправду песокъ, да солонецъ, да безводье? Уже это не первый намъ говорятъ такъ-то. А что, если да всего рѣшимшись, за три тысячи верстъ ушедши, да на-

задъ ворочаться придется? Вѣдь это что будетъ тогда, ась?.. Эхъ, Степа, Степа, чѣмъ-то тебя помянуть тогда придется, анафемскаго ирода».

— Эхъ, да что тутъ! — гаркнулъ первый дядя Василій. — Видимо дѣло, шутку сшутили надъ нами эти бѣлоголовые! Извѣстно — все на смѣхъ норовятъ, только народъ смущаютъ!

И пріободрились мужики. Не то, чтобы совсѣмъ повеселѣли, однако, запрягать воловъ пошли по своимъ возамъ, потому — и время подходило.

Всю дорогу тотъ день въ молчанку играли во всемъ обозѣ. Тетка Авдотья пѣть-было принималась — завыла что-то, да и смолкла: какая ужъ тутъ пѣсня, когда на сердцѣ кошки поскребываютъ!

Солнышко стало садиться, холодкомъ повѣяло. Туманъ пошелъ надъ сырыми мѣстами. Молодой мѣсяцъ, словно серпъ серебряный, показался на лиловомъ небѣ. Алыми пятнами вспыхнули легкія облачка и золотомъ снизу подернулись. По дорогѣ навстрѣчу опять экипажъ ѣдетъ, только ужъ не такой маленькій, дрянненькій, а что твой домъ, съ фонарями и стеклами. Два фонаря съ боковъ, одинъ сзади, наверху одинъ, на толстой палкѣ. Въ экипажѣ генералъ сидитъ, изъ себя видный, дюже объемистый; сигара въ зубахъ, книжка въ рукахъ; сбоку барыня, вся въ бѣломъ, сама красная такая, румяная...

Шестерикъ волочитъ экипажъ, и то тяжело. Чуть только рысью потрогиваютъ. Лакей въ военномъ картузѣ на козлахъ сидитъ и все ямщика въ загривокъ поталкиваетъ, чтобы ѣхалъ шибче, да, видно, не помогаетъ.

Остановились. Вылѣзъ генералъ изъ экипажа, пройтись, увидалъ нашихъ, остановился.

— Э! Здорово, ребята!

— Здравствуй, отецъ родной... ваше... не знаемъ ужъ, какъ величать тебя!

— Куда?

Сказали все, какъ слѣдуетъ, обстоятельно сказали. Совѣту попросили.

— Исполать вамъ, ребята, и Богъ на помощь. Дорога скатертью; это хорошо, очень хорошо, что нашъ новый край заселяться начинаетъ. Давно пора. Страна благодатная, бога-

тая, только рукъ проситъ, хорошихъ рабочихъ рукъ. А вѣдь вы, чай, не на боку лежать туда ѣдете?

— Какъ можно, батюшка, зачѣмъ на боку. Ужъ мы во какъ рады стараться. Только ужъ вы, благодѣтели наши, не оставляйте насъ своею милостью, а ужъ мы — во... то-есть... да что, одно слово!..

— Земли много, вволю, — продолжалъ генералъ, — земля хорошая, податей на первое время никакихъ, по пятидесяти рублей на дворъ на обзаведеніе!

— Батюшки-свѣты!

— Ну, и все прочее... Очень радъ, очень радъ. Помогай вамъ Господь и счастливой дороги. — Нина, пересядь на ту сторону, а то я себѣ весь бокъ лѣвый отлежалъ. — Иванъ, дай имъ рубль мелочью, дѣтямъ на орѣхи... Прощайте!

— Прости, батюшка; спасибо на ласковомъ словѣ; чтобъ тебѣ всякихъ почестей и чиновъ... Ахъ, ты, Господи!.. Что, робята, вотъ оно какъ! Нашъ Степанъ не то развѣ сказывалъ! Въ одно, какъ есть, слово...

И повеселѣли обозники, да такъ, что всю ночь пѣсни охватывали. Дѣвки и бабы въ хороводъ стали. Орда косоглазая повылѣзла изъ своихъ куреней, со всѣхъ концовъ глядѣть съѣхалась.

А на слѣдующій день десять верстъ лишнихъ противъ положенія угнали — все скорость ходу выгадывали.

И такимъ-то образомъ не разъ приходилось нашимъ дорожнымъ людямъ мѣнять веселье на грусть и тоску, а тамъ снова на радость и самыя свѣтлыя, отрадныя надежды.

Языкъ вѣдь безъ костей Богъ далъ человѣку, особливо встрѣчному, а такихъ имъ попадалось не мало дорогою.

VI. Семья дѣда Дениса.

Отъ головы обоза четвертая телѣга была на видъ не то, чтобы больше другихъ, а какъ-то видніе, осанистѣй. И порядку на ней и около было больше, и чище другихъ казалась она, и скрипѣла осями меньше, почти и не слыхать было, и поломокъ никакихъ не было съ нею, не то, что съ прочими, что не разъ изъ-за одной телѣги приходилось цѣлый обозъ останавливать.

Семья въ этой телѣгѣ была небольшая: всего только трое— дѣдъ сѣдой Денисъ, сынъ его пріемный «Никонъ — сила медвѣжья» и внучка Марина, красивая дѣвушка, лѣтъ съ небольшимъ за двадцать. Малыхъ дѣтей вовсе не было въ этой семьѣ; можетъ, отъ того и чисто такъ на возу было.

Дѣду Денису было за сто лѣтъ; самъ онъ себѣ сто семь насчитывалъ,—можетъ-быть, и менѣе немного было, а можетъ, и больше,—послѣднее вѣрнѣе.

Лысина на его головѣ была самая маленькая, за то густые волосы, слегка курчавые, были совершенно бѣлаго, изжелта серебристаго цвѣта, такая же и борода лопатою и густыя, щетинистыя брови. Кожа на лицѣ морщинистая, темно-коричневая, словно шкура дубленая, руки еще здоровыя, сильныя (пудовой котелъ легко снималъ дѣдушка съ возу, самъ и на возъ укладывалъ); въ ногахъ у него той силы уже не было и безъ суковатой дубинки не въ моготу было пройти ему вдоль всего обознаго города. Съ возу самъ, безъ посторонней помощи слѣзалъ; на возъ внучка всегда подсаживала, если Никона по близости не находилось.

Дѣдушка Денисъ былъ старикъ словоохотливый и веселый, шибко любилъ про старину вспоминать; часа по два иногда безъ перерыву разсказываетъ, только все у него въ памяти уже перепуталось. Слушать-то его слушали, только такъ, для виду больше, изъ почтенія. Все уже давно переслушали, надоѣло. А то и такъ случалось съ дѣдушкою: разскажетъ, бывало, какъ пугачевцы у нихъ съ живого воеводы шкуру снимали, да и позабудетъ, что разсказывалъ, опять начнетъ съ начала,—кому же охота слушать станетъ.

Начальства всякаго дѣдъ боялся пуще грома небеснаго. Отъ краснаго околыша его дрожь пробирала, особенно ежели съ свѣтлою бляхою. Съ молоду ужъ напуганъ былъ очень.

Вѣры онъ держался старой. Съ новыми попами хлѣбомъ не корми, а дай по писанію сцѣпиться. А ужъ зналъ онъ это писаніе такъ, что изъ-за трехсотъ верстъ къ нему за справкою ѣздили, изъ скитовъ вятскихъ.

Грамотѣ не обучался, читать не умѣлъ, а такъ, памятью взялъ; только на одномъ этомъ и былъ крѣпокъ памятью.

Внучку свою безъ души любилъ. Она ему отъ дочери покойницы досталась, когда ту громомъ въ лѣсу убило; а мужа-то

у дочери той не было вовсе; потому больше и любилъ Денисъ свою внучку: «потому, говорилъ онъ, — Божья она, безродница...»

Жену покойницу, говорили, кто помнитъ, шибко колачивалъ: когда за дѣло, когда и такъ. Овдовѣлъ — пить началъ, потомъ пересталъ послѣ сорокового запоя. Къ кіевскимъ угодникамъ пѣшкомъ ходилъ, оттуда въ Воронежъ къ Тихону Задонскому. Вернувшись домой, много дивнаго разсказывалъ, только все на пугачевцевъ и воеводу ободраннаго сводилъ.

Выбрали его обознымъ головою. Шутка ли, сто семь годовъ! За это больше и выбрали!

Были такіе, что не хотѣли дѣда въ головы: старъ, говорятъ, шибко. Куда онъ годится, какихъ такихъ распорядковъ отъ него ждать можно?! А другіе говорили:

— А Никонъ на что при немъ? Онъ настоящій голова и будетъ, а почетъ весь дѣдушкѣ за его старость. Никонъ и умнѣе всѣхъ насъ, и сила-то у него медвѣжья, только молодъ, другимъ какъ бы обидно не было, а тутъ разлюбезное дѣло: Никонова голова, Никоновы руки, а дѣдова старость, — вотъ и ладно!

Спросили Никона.

— А мнѣ што?—говоритъ Никонъ.—Какъ міръ, а я изъ дѣдоваго повиновенія не выйду!

А самъ ухмыляется, да на Дениса поглядываетъ. И какое тамъ повиновеніе, когда онъ со старикомъ ровно съ малымъ ребенкомъ обходится. Бывало, дѣдъ разсказывать станетъ, а время-то позднее. Придетъ Никонъ съ обхода по обозу... Цыцъ, дѣдушка, говоритъ,—спать пора. Полѣзай въ телѣгу». И полѣзетъ дѣдушка въ телѣгу. Тамъ его Марина тулупомъ покроетъ потеплѣе, онъ спитъ такъ до свѣту.

Вотъ оно какое было Никоново повиновеніе.

Никону самому было уже подъ тридцать. Женатъ онъ не былъ, потому никакой охоты къ женитьбѣ у него не было. Это былъ мужикъ роста небольшого, въ плечахъ широкъ, сильно сутуловатъ, лицомъ некрасивъ, рябой отъ оспы, и прозвище свое: «сила медвѣжья» вполнѣ онъ оправдывалъ.

Работу всякую крестьянскую справлялъ за троихъ. Много говорить не любилъ, а если и скажетъ что, то ужъ вѣрно три дня и три ночи обдумывалъ. Народъ всякому его слову вѣрилъ.

Подъ Орскомъ, когда зимовали, онъ и устроилъ-то все степное обозное дѣло.

Пришли подъ Орскъ на саняхъ, лошадьми. У иного по шести саней было. Добра довольно всякаго, а подводы не укладистыя, да на одну лошадь и не навалишь многаго. Такъ было и въ степь весною выходить хотѣли... такъ бы и вышли, если-бъ не Никонъ Денисычъ. То-то бы натерпѣлись всякаго горя въ степи! Шутка ли, сколько подводъ, сколько коней, а вѣдь конь не волъ—онъ совсѣмъ особаго ухода и присмотра требуетъ. Еще дорогою думалъ объ этомъ Никонъ и все мозгами ворочалъ, какъ дѣло поправить.

Въ ту же зиму пришелъ другой обозъ, изъ-подъ Воронежа, на волахъ, большими возами; сталъ Никонъ присматриваться да прицѣниваться... дружбу такую свелъ съ хохлами. Съ Мариною толковалъ мало-мало, втихомолочку. Никто и не замѣчаетъ, что такое Никонъ затѣваетъ. А время-то уже въ веснѣ подходитъ: оттепели пошли, дороги чернѣть начали, вѣтры стали задувать южные, днемъ съ дождемъ, къ ночи—гололедка.

Рано утромъ, въ базарный день, забралъ Никонъ со двора всѣхъ своихъ семерыхъ гнѣдыхъ, почистилъ, животы подмылъ, навозъ примерзшій отскоблилъ отъ ногъ, хвосты подвязалъ, Марина лоскутьевъ надрала кумачевыхъ и гривы заплела, совсѣмъ по цыганскому манеру. Повели вдвоемъ со двора.

— Ты куда?—увидалъ дѣдушка Дениса.

— Продавать!—только и отвѣтилъ всего Никонъ.

— Что ты, безпутный, кого лѣшаго затѣялъ?—накинулся старый.—Какъ же мы теперь, народъ дорожный, да безъ коней?!.

— Ты что же это, дѣдушка, безъ лаптей на снѣгъ вышелъ? Подь, я тѣ обую...—подошла къ нему Марина.—Я къ тебѣ на площадь сейчасъ выйду,—обернулась она къ Никону,—вотъ только съ дѣдомъ управлюсь!

— Ну, обуй, родимая, обуй, горемычная!—зашамкалъ старикъ и полѣзъ, спотыкаясь, на крыльцо, за перила рукою придерживаясь, потому что въ попыхахъ и костыль свой позабылъ въ сѣняхъ, за дверью.

— Коли Никонъ повелъ коней на площадь, значитъ, такъ и быть тому должно!—рѣшилъ старикъ, да и рѣшить не могъ онъ никакъ иначе.

Добрые были кони у Никона, подкормленные, породы русской, все доморощенные, дѣльные. На площади и часу не стояли. Казаки мигомъ разобрали. Пару самъ-начальникъ купилъ себѣ въ упряжь за семьдесятъ два цѣлковыхъ, а остальные тоже хорошо пошли. Вернулся Никонъ, триста въ кошелькѣ принесъ, ухмыляется.

— А сбрую зачѣмъ оставилъ, коли лошадей рѣшился?— подсмѣивался дядя Василій, а за нимъ и другіе.

— Сбруя въ свое время понадобится! — сказалъ Никонъ и опять пошелъ къ хохламъ, такъ до ночи и домой не ворочался.

На другой день опять съ утра ушелъ и опять до ночи. Никто и не зналъ, гдѣ онъ шатается. Говорили, что кто-то, за двадцать верстъ, въ станицѣ казачьей его видѣлъ.

— Не закурилъ ли съ большихъ-то капиталовъ? — опять подсмѣялся дядя Василій.

«Небой-сь, не закуритъ»,—подумали другіе и тоже стали къ своимъ конямъ приглядываться.

Два дня прошло. Глядятъ, у Никона двѣ пары здоровенныхъ воловъ у колоды стоятъ и сѣно пережевываютъ. Здоровые такіе животы; между роговъ хоть высись, сами, какъ смоль, черные, лысины на головахъ бѣлыя, въ пахахъ подпалины.

— Гдѣ досталъ?—спрашиваютъ.

— Тамъ, гдѣ и вамъ доставать надо,—сказалъ Никонъ.— Гляди, весна на дворѣ, выходить пора. Не на коняхъ же пойдете въ степь... То-то людямъ смѣху надѣлаете!

— Укажи, гдѣ, родимый, а мы рады...

И указалъ Никонъ, все обстоятельно разсказалъ, даромъ-что на слово не больно охотливъ былъ.

Такая суетня поднялась—страсть! Продаютъ, мѣняютъ, магарычи запиваютъ; цѣну сейчасъ на рогатую скотину набили, на лошадей сбили, что Никону втихомолку ладно пришлось, то другому чуть не въ убытокъ. Однако, къ походу сладились.

Шибко тогда орскіе маклаки, коршунье сборное, руки погрѣли, и кабатчику Просвиркину малость перепала. Тоже и другой народъ безъ приношенія не остался—потому, коли взмутили воду стоячую, тутъ тебѣ и ловъ настоящій, только знай, закидывай!

Въ тѣ поры, за недѣлю до выхода, и выборы въ головы обозные дѣлали. Вотъ и пришлось дѣдушкѣ Денису головой быть, все Никона ради...

Таковъ-то былъ «Никонъ Денисычъ—сила медвѣжья».

Названная племянница его, дѣдушкина внучка Марина, дѣвка была рослая, красивая, глаза темно-сѣрые, коса рыжеватая, платкомъ голову рѣдко повязывала, рубаху носила толстую холщевую, по плечамъ, вплоть до локтей, красною бумагою вышитую, на шеѣ—мѣдный крестъ на цѣпи да нитка стекла граненаго въ полфунта вѣсомъ, башмаковъ не знала, а, по старому обычаю, лапотки плетеные и ноги бичевкою до колѣна окручены. Походка у ней была размашистая, иному мужику не уйти съ нею рядомъ, грудь такая, что ровно кормить двойню собралась, даромъ-что дѣвка была; замужъ тоже не шла, сколько къ ней не присватывались; дѣдъ не неволилъ, дядя только въ бородку посмѣивался, а у самой охоты, должно-быть, не было.

За дѣдомъ Марина ухаживала съ охотою и любовью, Никона слушалась такъ, что всякую мысль его угадывала. Нравомъ была сердита, только отходчива; зло, впрочемъ, долго не помнила, только подъ горячую руку не попадайся. Татаринъ Маметка и по сію пору скулу полотенцемъ подвязываетъ; помнитъ ее и писарь станціонный изъ Верхне-озерной станціи... Что же, по дѣломъ, не спросясь, не суйся!

Пѣть любила Марина до страсти, только одна, не въ хорѣ, особенно вечернею зарею, когда съ работы вернутся. Въ одиночку тоже молиться любила, а съ народомъ рѣдко хаживала въ церковь; какъ начнетъ дѣдъ по своему писанію, такъ неотрывно слушала и уже сама почти-что половину всего наизусть знала.

Лѣшаго не боялась. По лѣсу, въ какую хочешь, темь одна ходила, а медвѣдя — такъ самого разъ до смерти напугала; смѣху-то было послѣ!

Дѣло это такъ вышло: пошла она въ лѣсъ подъ осень; калина поспѣвать начала,—она всегда послѣ первыхъ подморозковъ осеннихъ дозрѣваетъ. Зашла далеконько, набрала полную кошму и въ подолъ наклала. Назадъ пошла — маленько дорогою ошиблась; тропинокъ-то не мало въ лѣсу, и знающій сбиться можетъ; сперва она пѣсни пѣла, потомъ смолкла, приглядываться стала да прислушиваться.

Тишь такая стоитъ въ лѣсу. Внизу уже стемнѣло совсѣмъ, только наверху еще солнышко по листьямъ передвигается; все выше да выше, вотъ чуть только вершинки потрогиваетъ, вотъ и совсѣмъ пропало. «Куда же это я зашла? — думаетъ Марина;—кажись, въ «Горѣлыя просѣки?» Такъ и есть, вотъ и липнякъ пошелъ «смышляевскій»; тутъ вотъ болотина скоро будетъ; мнѣ ее обходить придется. Одначе, верстъ шесть дала крюку! А все Никона выглядывала: говорилъ, что къ вечеру на старое мѣсто придетъ, вотъ-те и пришелъ». Думаетъ такимъ маперомъ Марина, а сама шагаетъ. Тропинка-то мягкая, сырая, босую ногу почитай-что и не слышно. Чу-кось, такъ и есть! Прислушалась дѣвка. Кто-то возится за кустомъ! Приглянулась—плечи широкія, полушубокъ вверхъ шерстью выворочень. Никонъ, собака, прячется, пугать ее хочетъ. «А ну, какъ я его сама прежде!»

Тихо-тихо подкралась Марина къ Никону, да какъ ухнетъ на него! Ухнула и обомлѣла. Мурашки по всѣмъ жилкамъ пошли, руки опустились, калина разсыпалась, свѣтъ потемнѣлъ въ глазахъ, и ноги подкашиваться начали.

Какъ рявкнетъ «Никонъ»—по лѣсу, что громъ загудѣлъ, а потомъ—деру въ чащу; трескъ такой пошелъ по кустамъ...

Опомнилась Марина скоро, въ себя пришла; и страхъ-то еще путемъ не прошелъ, и смѣхъ-то ее разбираетъ. Однако, домой только къ свѣту попала.

Въ то же утро Никонъ ее по затылку лихо огрѣлъ: «гдѣ, говоритъ, всю ночь шаталась?»

— Ну, и дуракъ же ты, какъ я погляжу! — спокойно сказала Марина.—Вотъ-тѣ и не скажу ничего за твою глупость!

Такъ бы и не узналъ ничего дядя, да услыхалъ изъ-за двери, какъ она дѣду разсказывала, почесалъ загривокъ, а вечеромъ, встрѣтившись въ хлѣву, куда она борову помои носила, говоритъ:

— Ну, родная, двинь ты меня въ эвту самую скулу, да не кулакомъ, а чѣмъ потверже; вонъ, гляди, шкворень лежитъ «Такъ, скажи, тебѣ, дураку ревнивому, и надоть».

— Ну, ничего, ладно! — сказала Марина. — Другой разъ, пожалуй, и двину, а теперь ступай; я на твои тычки не обидчива!

Такъ и разстались, безъ ссоры, а по душѣ, по пріятельски.

VII. Дядя Василій и другъ его закадычный Маметка *), татаринъ Чебоксарскій.

За глаза Василія иначе и не звали, какъ «варнакъ»; развѣ-развѣ когда «прохвостъ» добавятъ; въ глаза же «дядею» величали. Не потому, чтобы почтеніе къ нему особенное имѣли, или боялись, а просто, на всякій случай.

Ростомъ онъ былъ высокъ, черноволосъ, носъ съ горбиною, зубы волчьи, глаза каріе, такъ во всѣ стороны и бѣгающіе, живые такіе.

Лѣтъ-тридцать тому назадъ цыгане бродячіе забрели въ «Малые Кандалы»; цѣлый-то годъ по ихъ округѣ шатались. Теткѣ Анисьѣ Горшковой ребеночка малаго подкинули на задахъ, въ капустныя гряды. Это самый-то и былъ Васька цыганенокъ, и шибко же онъ на цыгана смахивалъ... какъ есть! Только рѣчь русская, безъ цыганскаго пошибу.

Говорили тогда:

— Полно! Ужъ не сама ли тетка Анисья родила, а говоритъ: «подкинули!» Не даромъ у ней кажинный разъ на гумнахъ цыгане таборомъ становились!

Да хоть бы и такъ! Кому до этого дѣло есть? Почесали бабы себѣ языки всласть, до сыта, да и забыли.

Сильно баловала своего цыганенка пріемнаго тетка Анисья, такъ баловала, что еще въ тѣ поры, кто поумнѣй, говаривали:

— Не быть проку съ Васьки, не ждать отъ него ничего, кромѣ пакостей! Потому съ измальства такъ веденъ былъ!

Такъ оно и вышло.

Ну, да и разбойникъ же онъ былъ, въ самомъ дѣлѣ! На сходкахъ — первый горланъ; перекричитъ, хоть кого, и весь міръ завсегда только путаетъ, не на дѣло сбиваетъ. И чудное дѣло выходило. Никто-то ему не вѣритъ, никто словъ его въ правду не принимаетъ, а самыя эти слова такъ и норовятъ въ душу забраться, дѣйствуютъ. Бывало, начнетъ мутить Васька—слушаютъ его, думая про себя: «ври, ври, знай, смущай народъ! Мы, пожалуй, слушать будемъ; отъ слуху ничего не станется, ладно, молъ, какъ же». Самыя эти рѣчи его

*) Маметка, Маметъ—сокращенное имя Магомета.

смутныя такую-то дорогу прокладываютъ—страсть. Глядь, всѣ уже молчатъ, рты разинули, глазъ съ его рыла, распроклятаго, цыганскаго не спущаютъ. А онъ-то все чешетъ, онъ-то чешетъ! Сдѣлали по его—пакость вышла, да такая, что еле-еле расхлебываютъ послѣ всею волостью.

Клянутъ его станутъ, зароки пойдутъ, чтобы не слушать другой разъ, со сходки чтобы гонять его непремѣнно куда подальше.

Ну, ладно, не придетъ Василій на сходку; сядетъ себѣ, въ кабакѣ у Петра Исаича, къ открытому окошечку и сидитъ, на народъ поглядываетъ, съ бабами шутки шутитъ, ждетъ.

Вотъ одинъ кто изъ мужиковъ отойдетъ отъ «міра», такъ, на минутку забѣжитъ въ кабакъ; ужъ оттедова—стой! Шалишь, не вернешься! Тамъ другой понавѣдается, — тоже. Глядишь — мало-по-малу вся сходка перейдетъ къ кабаку поближе, и уже стоятъ, столбы столбами, дядю Василія слушаютъ.

Послѣ того, какъ Степанъ Ложка побывалъ у нихъ въ деревнѣ, всѣ переселяться всполошились, всѣ поднялись, да чуть было опять не остались на старыхъ мѣстахъ, какъ услышали, что Василій говорить началъ.

— Вы,—говоритъ,—что только дѣлать надъ собою хотите, головы вы неразумныя. Бросите, говоритъ, свою родную сторону, храмы Божьи, могилы отцовскія. Молитвы всѣ перезабудете въ странѣ той, идолянской; тамъ, говоритъ, нечисть и мракъ, злато дьявольское... роду нашему, людскому, на смущеніе!

Много говорилъ, такъ что слезы прошибъ. А послѣ того, на другой же день, телѣги сталъ ладить.

— Ты-жъ куда это?—спрашиваютъ.

— А на Сыръ-рѣку; что, говоритъ, мнѣ съ вами, сиднями, дѣлать въ лѣсной закутѣ? Тамъ, по крайней мѣрѣ, тепло, просторъ и Божья благодать,—одно слово, воля!

— Вотъ-те и разъ! А вчера что же ты, каторжный, намъ сказывалъ?

— Какой такой, ты сказалъ?.. Ась?

— Да разлюбезный человѣкъ, во какой... Ты, братъ, не взыщи, не придирайся, мало ли что у человѣка въ сердцахъ сорвется!

— То-то!

Въ позапрошломъ годѣ пробовали было урезонить Ваську, какъ слѣдоваетъ. Никонъ Денисьичъ подбилъ народъ, взяли это его и своимъ судомъ-самосудомъ такъ-то отодрали — страсть!

Всталъ это Василій, ничего, не сердитый, одежду оправилъ, міру на всѣ четыре стороны поклонился и говоритъ:

— Спасибо за науку, братцы! Я ужъ этого благодѣянія вашего не забуду!

Двѣ недѣли тогда всѣ карауломъ ходили, отъ Васьки оберегались, а на третью, въ самую субботу, въ половину этакъ всенощной, бацъ къ намъ въ деревню два становыхъ, семеро лѣсничихъ, десятниковъ штукъ двадцать,—одно слово, воинство нагрянуло. Обыскъ сейчасъ.

Что же бы ты думалъ? У одного на дворѣ за колодою шесть штукъ тесинъ подъ навозомъ зарыто, у другого, въ коноплянникахъ, дубовый брусъ четырехаршинный, у третьяго то же, и у всякаго, то-есть, въ какомъ-нибудь мѣстѣ лѣсу ворованнаго нашли малое дѣло. А вотъ, какъ передъ Господомъ Богомъ, никто за послѣднее время за нимъ не ѣздилъ, у кого и было что, все давно перевели. А тутъ, накось, поди, сколько! Пуще же всего съ Никономъ пакость вышла: у него въ сѣняхъ топоръ нашли, весь кровью перепачканный; а тутъ одинъ сторожъ изъ солдатъ руку свою перевязанную показываетъ: «Вотъ, говоритъ, выше локтя, по этому самому мѣсту ошарашилъ».

Позабрали тогда народу не мало. Никонъ только тѣмъ и отдѣлался, что показаніе отца протопопа вышло такое, яко бы Никонъ всю ту ночь при его дворѣ неотлучно находился: плотникъ онъ, такъ ради спѣшной работы и ночевать не ходилъ домой, а спалъ въ сѣняхъ протопоповыхъ и ночью никуда не отлучался. Пару красненькихъ тутъ пришлось выложить—ну, и помогло.

Долго тогда бѣду эту неожиданную помнилъ народъ. Зналъ, и отъ кого все это вышло, да что съ нимъ подѣлаешь? Развѣ опять отодрать самосудомъ?

— А что-жъ! Валяй, ребята! — подсмѣивался въ бороду дядя Василій.—Я, говоритъ, готовъ страдать за правду... Что же! Валяй меня, дядю своего, на весь міръ радѣльщика, голову неповинную...

— Этакой-то каторжный!.. А, впрочемъ, что же, ничего, человѣкъ онъ важный, въ случаѣ чего, завсегда выручить можетъ, потому—съ мозгомъ... Отчего же не оказать ему почету—не повеличать дядею, коли это ему нравится!

Маметка-татаринъ уже дорогою присталъ къ нашимъ обозникамъ—въ Губерлинскихъ горахъ, у станціи Гирьяльской. Ночью какъ-то подъѣхалъ къ возамъ—его спервоначалу и не замѣтили. Смотрятъ разъ—чья такая лошаденка стоитъ, тощая-претощая, казацкимъ сѣдломъ осѣдлана; узды нѣтъ, а такъ, недоуздочекъ намотанъ... А тамъ и самого татарина увидали: сидитъ онъ, скорчившись, у огонька, грызетъ что-то и нагайкою уголья помѣшиваетъ.

— Откуда?—спросили.

— Чебоксарскій... съ Волги...—отвѣчаетъ.

— Куда идешь?

— А съ вами!

— Какъ такъ?.. Когда же это ты присталъ къ намъ?

— Третій день... я все стороной да около держался Слышалъ, что вы на «Сыръ» идете, и мнѣ туда дорога... Вотъ и я съ вами...

— Нѣтъ, братъ, проваливай подальше! Больно ты налегкѣ... кто ты такой—не знаемъ; какъ бы худа какого отъ тебя не вышло...

— Небойсь, говоритъ, я человѣкъ хорошій, смирный... ничего худого не будетъ!

— А все-таки отваливай!

— Не замай, ребята!—подошелъ тутъ дядя Василій.—Я за нимъ пригляжу. Зачѣмъ его гнать? Онъ, можетъ, человѣкъ полезный будетъ... въ татарской, говоритъ, сторонѣ за толмача *) міру послужитъ. Не замай!

Такъ его и оставили.

Дня два не прошло—околѣла татарская лошаденка... взвалилъ это себѣ за плечи Маметка мѣшокъ да сѣдло и поволокъ. Весь день такъ-то тащилъ. Обозники смѣялись, глядючи.

— Захвати,—говорятъ,—еще мѣшка два нашихъ, а то, вишь, конямъ тяжело—дорога-то горная!

---

*) Толмачъ—переводчикъ.

— Садись на мою телѣгу,—сказалъ дядя Василій,—такъ, значитъ, при ней и оставайся, потому — ты вѣдь кто?.. Собака ты забѣглая! А такую можно пріютить—ее завсегда при случаѣ приспособить къ дѣлу годится!

Такъ и остался при немъ Маметка-татаринъ.

Подъ Орскомъ ушелъ Маметъ изъ табора, четыре дня не приходилъ, думали—удралъ. Оглядѣлись—не стянулъ ли чего? Нѣтъ, все на своемъ мѣстѣ. На пятый день, глядятъ, вернулся Маметъ, да не одинъ,—корову за рога на веревкѣ притащилъ: «купилъ,—говоритъ, въ станицѣ».

— А зачѣмъ? На что она тебѣ—яловая-то *)?

— А продамъ, либо на лошадь промѣняю... Вотъ на завтрашнемъ же базарѣ!

Такъ и сдѣлалъ.

Съ того времени и дружба началась у Василія съ «забѣглою собакою». Мѣсяца не прошло,—слушаютъ обозники да только удивляются, какъ это такъ скоро Васька, прохвостъ, «по-собачьему» выучился! Такъ съ Маметкою и рѣжетъ, такъ и рѣжетъ... А тамъ, глядятъ, Василій сѣдло купилъ себѣ, весь снарядъ верховой. Пошли гулять съ татариномъ вдвоемъ. Гдѣ только ѣздятъ—никто и не знаетъ.

Когда, по Никонову совѣту, на половій ходъ начали перенаряжаться, одинъ Василій своихъ пѣгихъ не тронулъ.

— Намъ, говоритъ, волы несподручны... *по нашему*, т. е., дѣлу. А что присмотръ за конями — это наплевать! На то у меня есть Маметка!

— Кобыла лучше... Бугай не годится...—поддакнулъ ему Маметка-татаринъ.

«Какое такое *дѣло* собираешься дѣлать ты съ этимъ дьяволомъ чебоксарскимъ?—думали мужики. — Все вѣдь вретъ... Только чтобъ на зло Никону... Не по его совѣту...»

Такъ и вышелъ дядя Василій на коняхъ. Да ему оно, точно что, сподручнѣе было, потому что добра-то, не Богъ вѣсть, сколько у него имѣлось, телѣженка же маленькая, одною лошадью только и шла, а на другой «дядя» все по сторонамъ рыскалъ, по улусамъ киргизскимъ; все съ Маметкою «дѣла торговыя» обрабатывалъ.

---

*) Яловая—неотелившаяся, безъ молока.

VIII. Степанъ-малышъ и жена его Авдотья.

Степанъ-малышъ былъ мужикъ молодой—всего только двадцать второй пошелъ ему съ «Николина дня». Женатъ онъ былъ уже два года; дѣтей не было.

Если взять да поставить рядомъ дядю Василія съ Степаномъ-малышомъ, то большой противоположности, большихъ крайностей трудно и подобрать было.

Лицо у него было круглое, расплывшееся. Носъ, ротъ, прорѣзы глазъ, — все какое-то неопредѣленное, безформенное; глаза свѣтлые, добрые; волосы, какъ ленъ; бороды и усовъ и въ поминѣ не было.

Росту онъ былъ малаго, за что «малышомъ» и прозывался, ходилъ, не торопясь, словно раздумывая, работалъ тихо, но споро. Со стороны глядѣть—«эко лѣнивый парень-то», а поприсмотришься къ дѣлу—«нѣтъ, ничего, работникъ знатный».

На сходкахъ его и не слыхать было, да онъ рѣдко на нихъ и хаживалъ. Вина пилъ малость самую. Пѣсни любилъ до страсти слушать и самъ напѣвалъ, тоненькимъ голосомъ, совсѣмъ по-бабьи. Ни одинъ хороводъ безъ него не обходился. Да что! Ты только погляди, гдѣ двѣ-три бабы собрались да затянули, тамъ уже и Степана ищи безпремѣнно.

Нахальства отъ него, какъ отъ другихъ прочихъ, ни одна дѣвка не видала. Подойдетъ, бывало, ухмыльнется, за руку легонько подержится, скажетъ: «ишь-ты, какая!» и пойдетъ дальше.

Птицу всякую шибко любилъ тоже. Въ деревнѣ когда жили, всю избу скворешницами обставилъ. Вышку устроилъ для горлицъ. Къ веснѣ, только-только станутъ первыя оттепели, все это снигирье красное, синицы желтобокія, другое что — на степановыхъ задворкахъ собирается; снѣгу не видать подъ мелкою птахою; щебетъ такой пойдетъ, пискъ!.. Все Степанъ ихъ прикармливалъ, по цѣльному гарнцу проса изводилъ за день, самъ норовилъ безъ каши остаться.

Сирота онъ былъ круглый. Хозяйство свое велъ одинъ; да и хозяйство-то его было самое маленькое, не на чемъ и похозяйничать путемъ было. Лѣтомъ онъ копошился кое надъ чѣмъ въ деревнѣ, на зиму уходилъ въ Нижній или Ярославль

на заработки, а то гдѣ поближе нанимался. Къ лѣту опять въ деревню.

Жилъ онъ аккуратно, и деньга у него водилась. Сотни четыре накопилъ и носилъ съ собою, на одномъ ремешкѣ съ мѣднымъ образкомъ-складнемъ, въ кожаномъ мѣшечкѣ. До денегъ, впрочемъ, онъ жаденъ не былъ. Разъ было потерялъ ихъ, съ мѣшкомъ вмѣстѣ, немного потужилъ и махнулъ рукою. Скоро, чуть не на другой день, нашелъ онъ опять— особенно не обрадовался, однако третью часть отдѣлилъ и отдалъ отцу-протопопу на церковную стройку. Въ ту пору въ селѣ придѣлъ новый строился во имя Іоанна воина, такъ вотъ на это самое дѣло.

— Зачѣмъ, дурашка, сдѣлалъ такъ? Шутка-ли: сто тридцать серебра! Али легко достались?—говорили ему кое-кто изъ сосѣдей.

— По закону такъ слѣдоваетъ... потому Господь Богъ указалъ, гдѣ ихъ найтить; все одно, какъ бы самъ, значитъ, нашелъ... ну, а нашедшему...

— Шальной!—махнули тогда рукою.

— Блаженный!—подсмѣялись другіе.

— Воздастся тѣ сторицею...—сказалъ отецъ протопопъ и чаемъ напоилъ его съ баранками.

Женился Степанъ такимъ образомъ.

Въ выселкѣ Дегтярномъ жила дѣвка—Дунька, такая худощавая, востроносая, вертлявая, что твой вьюнъ. Первый запѣвало была во всей волости, и уже безъ нея ни одного хоровода никогда не устраивалось. Нравомъ она была веселая и на ласку шибко податлива. По послѣдней причинѣ ся и не сваталъ никто. Кому охота брать за себя жену гуляку? Однако, всѣ ее шибко любили, особенно парни, и никто ее не корилъ. никто ее не попрекалъ; даже бабы, и тѣ языкъ не чесали. Можетъ, потому, что уже попривыкли очень.

Со Степаномъ сошлась она такъ: шла она разъ поздно вечеромъ домой, къ себѣ въ Дегтярный, а Степанъ шелъ изъ Дегтярнаго. Въ лѣсу и встрѣтились.

Темно уже было. Зги, просто, не видать. Такъ бы и разошлись, не видѣвши другъ друга, да у Степана привычка была пѣть на ходу, особенно ежели въ лѣсу въ одиночку— какъ-то не такъ боязно... Авдотья и услыхала его.

— Ты, Степанъ?

— Я... А! Дунька, здравствуй... Куда?

— Домой!

— То-то... Ишь, ты какая!..

— Не замай! Куда-жъ ты, постой, чего испужался? Тронулъ, да и тягу? А что я тебѣ скажу!

— Ну...

Авдотья сѣла на траву. Степанъ постоялъ-постоялъ и тоже сѣлъ.

— Я пѣсню новую знаю... Солдатъ выучилъ...

— Ишь, ты, вѣдь все съ солдатами... Ну, валяй!

Начала пѣть Дунька свою новую пѣсню. Голосъ звонкій, ночь тихая, — такъ по лѣсу и раздается, Степанъ слушалъ-слушалъ да за руку ее опять повыше локтя.

— Ишь, ты какая!..

— Степа!..

— Чего?

— Женись на мнѣ; я гулять перестану... Окромя тебѣ ни съ кѣмъ, ни Боже мой! Вотъ чтобы мнѣ не встать съ этого мѣста...

— Жениться?

Степанъ почесалъ затылокъ.

— Степа, а ужъ какъ любить-то я буду тебя, во какъ!

Авдотья обняла Степана обѣими руками, ровно змѣя обвилась, близко такъ, близко.

— Не обманешь? — проговорилъ Степанъ, а самъ тоже ее облапилъ. Въ первый разъ въ жизни пришлось ему это «облапить»...

— Слушь, я еще пѣсню знаю!..

Она легонько освободилась отъ него и отодвинулась.

— Пойдемъ лучше ко мнѣ, въ Малые Кандалы, что тѣ дома-то дѣлать!.. — рѣшилъ Степанъ. — Дорогою пѣть вмѣстѣ будемъ!

— Пойдемъ! — тихо-тихо проговорила Дунька. Ну, и пошли...

Было это дѣло въ Петровки. Какъ только постъ отошелъ, такъ сейчасъ и повѣнчались... Ну, и было же смѣху послѣ этого! Все надъ Степаномъ больше.

Не прошло и недѣли послѣ свадьбы — загуляла наша Авдотья, да такъ, что на, поди, пуще прежняго...

— Ишь, ты, какая!—бормоталъ Степанъ, понуривъ голову да только затылокъ почесывалъ.

— А ты пымай ее, да приведи въ избу, да, помолясь святымъ угодникамъ, возьми ухватъ али полѣно какое...—совѣтовали ему парни пріятели.

— Дуй ее, каторжную, покедова съ души не сопретъ!—совѣтовали другіе.

— Поучить надо!—сказалъ какъ-то самъ протопопъ.

И рѣшилъ, наконецъ, Степанъ, что, дѣйствительно, «поучить надо».

— Авдотья, подь сюда!—позвалъ ее разъ со двора въ избу.

— Ну, чего?

— Подь ближе!

— Ну, подошла!

— Теперича видишь что... какъ, значитъ, законъ... ну, и самъ батюшко... То-есть, не то, чтобы убить до смерти, а оно поучить надо!

— Бить, что ли, хочешь?

— Бить!

— Что же, бей!—спокойно сказала Авдотья, а сама на него такъ смотритъ ласково, мягко.

Степанъ замахнулся и опустилъ руку, только не ударилъ, а словно растерялся немного, а, можетъ, вспомнилъ наставленіе—«ухватомъ, либо полѣно, что ли, какое».

— Постой, ты посиди здѣся, э я принесу!—сказалъ Степанъ и вышелъ изъ избы, да такъ домой въ тотъ день и не возвращался.

«Ну, ее къ лѣшему! Еще, пожалуй, и въ самъ-дѣлѣ въ сердцахъ огрѣешь!» — подумалъ онъ, да такъ и пролежалъ весь день на сѣнникѣ, пока подъ вечеръ съ самаго конца деревни, съ выгону, не донеслись до него бабьи пѣсни. И слышалъ онъ, какъ между прочими голосами заливался и звѣнѣлъ на всю-то улицу серебристый голосъ его виноватой хозяйки.

И махнулъ рукою на все кроткій Степанъ-малышъ, накинулъ полушубокъ и пошелъ на голоса. Потому — развѣ безъ него можно?

Такъ съ тѣхъ поръ и жили они—мирно да ладно. Авдотья, знай себѣ, погуливала, Степанъ—знай-себѣ, помалкивалъ. Прочіе кто подшучивали, только Марина, Денисова внучка, встрѣ-

тившись разъ у водопойной колоды, поглядѣла на Степана и промолвила.

— Добрый ты мужикъ, Степа; дай я тебѣ рубаху починю: у меня нонѣ досугу много!

— Почини!—сказалъ онъ.

И съ того вечера, кромѣ какъ о Маринѣ, больше онъ ни о чемъ и не думалъ. Все-то у него она одна была передъ глазами, все-то въ его ушахъ и слышалось: «добрый ты мужикъ, Степа; дай-ко я починю тебѣ рубаху»!

IX. Городъ Иргизъ.

Верстъ за пятьсотъ отъ Орска, на самомъ томъ рубежѣ, гдѣ кончаются благодатныя зеленыя степи, и начинаются солончаки и пески, стоитъ городъ Иргизъ.

Прежде это было незначительное степное укрѣпленіе, называвшееся «Уральскимъ», и при немъ небольшая слободка; теперь, при введеніи послѣднихъ реформъ по степному управленію, въ городъ его переименовали, только отъ этого переименованія ничего въ немъ не прибавилось.

Еще за версту не доѣзжая до Иргиза съ сѣвера, начинается сыпучій песокъ, и издали замѣтна высокая гора, на которой виднѣются низенькія, словно распластанныя стѣны степного форта, а за ними длинныя крыши солдатскихъ казармъ да госпиталя.

Тутъ ближе, почти подъ самою горою, черезъ рѣку Иргизъ въ бродъ надо переѣзжать. Бродъ не широкій и мелкій, особенно въ лѣтнюю пору. За бродомъ сейчасъ тяжелый подъемъ на гору, по сыпучему песку, на которомъ постоянно бьются и мучатся не только тяжелые возы, но даже почтовыя тройки.

Поднимешься—улица сейчасъ пойдетъ. Дома все низенькіе, маленькіе, окошки подслѣповатыя, крыши почти плоскія, все какого-то глинистаго, сырого цвѣта, тоску и уныніе наговяющаго на душу.

Въ дождливое время грязь по колѣно (самая-то слободка на солнцѣ пришлась), а лѣтомъ пыль и духота непомѣрныя.

Посрединѣ улица пошире немного расходится: здѣсь базарная площадь, вѣчно безлюдная, вѣчно нѣмая, даже въ самые тѣ дни, когда по положенію съѣздные базары предполагаются.

Нѣсколько лавокъ, большею частью съ запертыми дверями, лѣпятся около базара; въ лавкахъ этихъ, во всѣхъ-то разомъ, на алтынъ товару, и тотъ раскупать некому.

Кабаковъ много. Почти-что столько, сколько домовъ въ слободкѣ. Куда ни погляди, вездѣ-то это надъ дверями дощечки съ надписями, и на веревочкахъ пустые бутылки и штофчики качаются.

«За послѣднее время орда потреблять начала; за этимъ больше и ѣздятъ въ Иргизъ, потому за чѣмъ другимъ—не за чѣмъ».

Такъ всякому любознательному путешественнику объясняетъ мѣстный старожилъ, Илья Маркычъ Морозовъ.

Рѣка Иргизъ самая поганая рѣка по всей степи. Весною, въ половодье, еще ничего себѣ, а ужъ къ лѣту—такъ хоть бы ея вовсе не было. Мѣстами рѣка эта пересыхаетъ, и образуются почти стоячіе, заплесневѣлые пруды съ чуть-чуть замѣтнымъ нижнимъ теченіемъ, потому-что совсѣмъ-то течь она не перестаетъ, а прокладываетъ себѣ дорогу подъ пескомъ, пробираясь, гдѣ грунтъ порыхлѣе. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существуетъ это подземное теченіе, всегда сырость держится, а къ ночи туманъ поднимается. Пробовали-было поселенцы здѣсь капустники разводить — когда удастся дѣло, когда совсѣмъ дрянь выходитъ, только труды даромъ затрачены,—послѣднее чаще. Вода въ рѣкѣ на вкусъ противная, горько-соленая, и въ лѣтнее время до того вшами переполнена, что даже привычныя лошади брезгаютъ. Жители перебиваются кое-какъ колодезною водой, только и она отдаетъ сильно морскимъ иломъ и солью. Если колодецъ мало-мальски запущенъ, и изъ него давно уже не вычерпывали воду, то туда лучше и не заглядывай — разитъ изъ такого колодца, все равно, что изъ помойной ямы, такъ и отдаетъ гнилыми яйцами.

Чѣмъ дальше отъ рѣки, колодцы становятся лучше, но рыть ихъ труднѣе, потому здѣсь уже песокъ, когда роешь—обсыпается, да и рыть приходится очень ужъ глубоко.

Лѣса кругомъ — нѣтъ ни прутика, и каждое бревнышко, каждую жердочку надо привезти изъ Орска, за пятьсотъ верстъ, или изъ оренбургскаго укрѣпленія, изъ карагайскихъ лѣсовъ, верстъ за четыреста слишкомъ. Топятъ бурьяномъ и колючкою; цѣлыя горы этого добра запасаютъ еще съ осени. Дѣлаютъ и кизякъ, только мало.

*

Полей не пашутъ, хлѣба не сѣютъ; огороды разводятъ. И сколько же трудовъ, сколько хлопотъ съ этими огородами! Пуще всего имъ отъ песку достается. Только подуетъ вѣтеръ съ западной стороны или южной, а тамъ самые пески и тянутся, такъ и начнетъ засыпать огородныя гряды. Не успѣваютъ расчищать и часто бросаютъ совсѣмъ работу; такъ завѣетъ все пескомъ до самыхъ домовъ, къ которымъ песчаные сугробы навалятся чуть не подъ самыя крыши.

Мертво и безлюдно въ этомъ степномъ городѣ; словно проклятіе тяготѣетъ надъ нимъ, и тоска охватываетъ душу путешественника. И думается ему:

«Вѣдь живутъ же, подумаешь, люди, словно для нихъ земля сошлась клиномъ, словно ихъ на цѣпи держатъ въ этомъ проклятомъ мѣстѣ».

— Попріобыкли кто, ну, и живутъ, а то больше сторонкою обходятъ!—говоритъ все тотъ же Морозовъ, Илья Маркычъ.

А неподалеку отъ Иргиза города, всего верстъ за двадцать на востокъ, есть другое мѣсто: земля супесковатый черноземъ, колодцевъ и родниковъ природныхъ видимо-невидимо, вода въ одномъ лучше другого; пастбища луговыя хорошія: орды сюда прикочевываетъ много, до двадцати тысячъ кибитокъ. Вотъ бы гдѣ настоящее мѣсто городу, центру администраціи всего района!

Только одна бѣда: горы нѣтъ такой, чтобы доступъ на нее былъ труденъ, а безъ горы какъ же возможно! Съ чего тогда придется «обстрѣливать»? Ордѣ пальца въ родъ не клади. Мало-ли, что можетъ случиться!..

Вотъ къ этому городу Иргизу и подходилъ нашъ обозъ, этакъ подъ вечеръ, когда солнышко начало уже садиться, и отъ нагрѣтыхъ за день песковъ тянуло, словно изъ жерла натопленной печки.

X. Ночлегъ на берегу Иргиза.

Обозъ остановился у рѣки, вытянувшись вдоль берега четырьмя улицами. Въ первомъ ряду, съ краю, стояла повозка дѣдушки Дениса; ближе всѣхъ она приходилась къ проѣздной дорогѣ, а потому Никонъ, уходя въ городское правленіе для предъявленія «проходного листа», сказалъ Маринѣ:

— Ты, дѣвка, слушь, приглядывай! Потому народъ здѣшній — кто его знаетъ какой, неравно стащатъ что али того хуже!

— Я Степана кликну, коли ты запоздаешь, аль какая задержка выйдетъ... Ему что!—Онъ въ середкѣ. Пущай тутъ посидитъ...

— Степана?—ухмыльнулся Никонъ

— Его...

— Не замай, ладно! У самой, чай, глядѣлки зоркіе. Съ какихъ поръ пужлива стала?.. Дѣдушка! Полно тѣ дрыхнуть-то. Слѣзай, котелъ ладь... Марина, подсоби...

— Ладно... — произнесла Марина и нахмурилась. — Иди знай, безъ тебя управимся!

Пошелъ Никонъ въ гору; такъ и вязли его тяжелые сапоги въ сыпучемъ пескѣ. Даже одышка взяла, пока наверхъ выбрался.

«Ну, и гора-же, чтобъ тѣ разорвало,—думалъ онъ,—каково завтра съ возами подниматься будетъ»?

— Откуда и куда?—окликнулъ его солдатикъ; шинеленка рваная въ накидку, шапка на затылокъ... виномъ такъ и разитъ... одна нога въ сапогѣ, другая въ галошѣ.

— На Сыръ. Гдѣ, землячекъ, правленіе-то?—обошелъ сторонкою Никонъ и пріостановился немного.

— Кабакъ, ежели, Ильи Маркыча,—это будетъ тебѣ сейчасъ третій домъ направо — близко!.. А правленіе далеко, въ крѣпости. Да оттедова тебя въ зашей турнутъ, потому, — не время!

— Можетъ, не турнутъ?—сказалъ Никонъ.

— Что за чо...лаэкъ?—окликнулъ кто-то правѣе.

Присмотрѣлся Никонъ (сумерки-то уже сгустились порядкомъ) — глядитъ, на пескѣ еще сидитъ кто-то и за песокъ руками цапается, поровитъ подняться.

— Это пріѣзжій... то-бишь, переселенецъ... они тутъ, то-есть, издалека, ну, и опять не близко...—подскочилъ къ нему солдатикъ.

— Подыми!.. Шапку поищи... она тутъ вотъ... на...шелъ...

Грянула изъ открытыхъ дверей третьяго дома, направо, какая-то пѣсня и затихла сразу, когда дверь эта захлопнулась, выпустивъ еще двѣ шатающіяся фигуры.

— Кара-улъ!.. Душатъ... оставь... брось!.. — визжалъ на ближнемъ дворѣ сиплый бабій голосъ.

«Длинь, длинь, длинь», прозвенѣлъ въ вечернемъ воздухѣ серебристый звукъ разбитаго окошка.

— Ну, и народъ же веселый!—покачалъ головою Никонъ и поспѣшилъ уйти отъ грѣха подальше, направляясь къ крѣпостнымъ воротамъ, надъ которыми темнымъ силуэтомъ торчалъ часовой, покачиваясь, словно маятникъ, изъ стороны въ сторону.

Слѣзъ съ воза дѣдушка Денисъ, отцѣпилъ котелокъ, треногу сталъ отвязывать.

— Не надо!—сказала Марина.—Тутъ вотъ по берегу эво сколько ямъ накопано, и безъ треноги можно...

И точно, по всему-то берегу были все прорыты продолговатыя углубленія—походныя печи; зола кучами лежала въ пескѣ и около. Тряпье кос-какое валялось, навозъ притоптанный, слѣды босыхъ и обутыхъ ногъ. Видно было, что много уже народу перебывало на этомъ мѣстѣ и стояло здѣсь ночлегомъ. Выбрала Марина ближайшую ямку и установила котелъ; какъ-разъ пришлось, словно по мѣркѣ. Дѣдушка колючки вязанку сгребъ съ возу; этого добра еще дорогою набрали Марина съ Никономъ. Скоро по всей извилистой линіи берега закраснѣлись костровые огоньки, потянуло дымомъ надъ рѣкою. Въ густомъ мракѣ начали обрисовываться рогатыя головы воловъ, лежащихъ между возами, черныя жерла колесныхъ ступицъ, бѣловолосыя головы ребятъ, выглядывающія изъ-за телѣжныхъ грядокъ, красные кумачевые платки на головахъ женщинъ, бѣлые рукава ихъ сорочекъ. Темныя фигуры двигались, переходя то отъ огней къ возамъ, то обратно. Говору не было особенно шумнаго, пѣсенъ вовсе не слыхать было; не пѣла даже Дунька и молча сидѣла, скорчившись у огня, поглядывая искоса на своего мужа, встряхивавшаго надъ огнемъ свой заскорузлый полушубокъ.

Всѣмъ было какъ-то жутко и боязно въ этомъ мѣстѣ, не то, что въ безлюдной степи, гдѣ и дышалось вольнѣе, и пѣлось вволю, и страху никакого никто не чувствовалъ, все равно какъ у себя дома. Здѣсь не то.

Черною громадою, тяжелою, непривѣтливою, высилась надъ ними гора съ своими мрачными верками и часовыми. Чужіе

голоса доносились по вѣтру изъ чужого, неизвѣстнаго города; барабанъ легонько гдѣ-то постукивалъ и возбуждалъ тревожное вниманіе ребятъ, не хотѣвшихъ даже, по обыкновенію, слѣзать съ своихъ телѣгъ, а робко прятавшихся подъ низкими навѣсами.

— Эка вода-то вшивая! — сплюнула Марина. — Какъ-то пить ее только станемъ!

— Процѣди сквозь тряпку! — рѣшилъ дѣдушка и отхлебнулъ маленько для пробы.

— Одна соль, чисто соль... Я было глотнула—выплюнула; и какъ это народъ здѣсь живетъ?

— Солить не надоть, кашу-то... хе-хе... Ну, да и спину же ломитъ... эхъ, кабы въ баню... то-есть во!.. Рубль серебра отдалъ бы, чтобъ ежели съ вѣникомъ, съ березовымъ...

— Ишь, чего захотѣлъ, дѣдушка!—улыбнулась Марина, и вздохнула тяжело, да такъ протяжно, такъ глубоко, словно вспомнила о чемъ-то... должно полагать, тоже о банѣ соскучилась.

Сварилась каша, приготовила Марина ложки, сухарей изъ мѣшка отсыпала, чашку деревянную крашеную сполоснула. Не приходитъ что-то Никонъ—должно, въ правленіи замѣшкался. Спать начали укладываться, кто съ ужиномъ поуправился. Тамъ и сямъ огоньки гасли, холоднѣе стало къ ночи, туманомъ затянуло обозъ; за третьею повозкою, почитай, ничего и не видно.

— Хлѣбъ-соль!—подошелъ Степанъ, ровно вынырнулъ изъ этого тумана.

— Съ нами кушать!—сказала Марина.

— Никона нѣту?

— Не приходилъ еще. Что «твоя?»

— Спать легла. А мнѣ вотъ не спится, словно сгрустнулось маленько. Я ужъ тутъ посижу, пока что. Не погонишь?

— Сиди, знай!

И сѣлъ Степанъ-малышъ, сѣлъ у самой телѣги, въ тѣни; его и не видно совсѣмъ, а ему все видать: какъ Марина ложкою сало перемѣшиваетъ въ чашкѣ, какъ это у ней армякъ съ одного плеча спустился, грудь это видна, здоровая такая; супротивъ самой груди пѣтухъ пришелся, что на заплечикахъ красною бумагою вышитъ. Повернулась къ огню Марина—щеки

красныя такъ и загорѣлись; глазомъ повела — словно звѣздочка мелькрилась подъ темною рѣсницею. Дѣдушка лежитъ на брюхѣ, улупъ подъ себя подостлавши. Сѣдая борода по полу стелется. Лесокъ-то желтый, прежелтый, борода бѣлая, словно изъ пакли.

— Ѣшь съ нами,—сказала Марина. — Никона ждать не станемъ; придетъ — оставимъ ему въ котлѣ. Небойсь, надъ огнемъ не простынетъ!

— Я поѣмши ужъ, благодарствую!

— «Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ словѣ Божіемъ, исходящемъ»... Подай-ко соль, Марина!

— Это точно!—вздохнулъ Степанъ-малышъ. А самъ и не слыхалъ путемъ, какъ это дѣдушка по писанію началъ, уставился на Марину, да такъ глазъ съ нея и не спущаетъ, только спиною о колесо телѣжное почесывается.

Пришелъ, наконецъ, Никонъ, самъ пасмурный такой, сердитый. Покосился на Степана-малыша, зыкнулъ на дѣдушку, чтобы, значитъ, въ телѣгу лѣзъ: что, молъ, на пескѣ-то валяться. Сѣлъ къ котлу и, перекрестясь, запустилъ въ него свою ложку.

— Что долго такъ? — подошла къ нему Марина и сѣла рядомъ, руку ему на плечо положила.

— Ну, народъ!—только и отвѣтилъ дядя Никонъ и принялся за обѣ щеки закладывать.

Чу!—конскій топотъ послышался, близко такъ; въ туманѣ не видать, кто ѣдетъ. Пробѣжалъ одинъ конь рысцею, за нимъ, погодя, другой, взскачь.

— Эй, ты, чего не спишь? Обозный староста!—окликнулъ изъ темноты голосъ дяди Василія.

— Куда несетъ?—угрюмо проворчалъ Никонъ.

— Отселева не видать.—Маметка, трогай!

— Шатуны!—покачала головою Марина

— «Въ руцѣ Твои, о, Господи»... Эхъ-эхъ-эхъ!— зѣвалъ и потягивался дѣдушка, и ворочался такъ, что даже тяжелый возъ скрипѣлъ и вздрагивалъ.

Молча всталъ Степанъ-малышъ и побрелъ къ своему возу.

— Гляди, Дунька твоя дома-ли? — крикнулъ ему вслѣдъ дядя Никонъ.—Крикнулъ—и голосъ у него оборвался разомъ: такъ-то его совѣсть зазрила, и обидно-то ему самому показалось, и Степана-то жалко: «за что, молъ, парня обидѣлъ?» Хотѣлъ было крикнуть еще: «Степанъ, Степа» —да не выкрикну-

лось. Бросилъ ложку, всталъ на ноги и палку взялъ свою съ желѣзнымъ наконечникомъ.

— Куда?—спросила Марина.

— По обозу пройду, вишь, темь-то какая! А здѣсь не степь, здѣсь народъ... ну, и народъ же!.. Ложись спать, лѣзь на возъ, я приду, подъ возомъ лягу!

И пошелъ Никонъ обычнымъ обходомъ, а когда вернулся, то все уже въ таборѣ спало крѣпкимъ сномъ; погасли послѣдніе огни, и, вытянувъ на пескѣ рогатыя головы, тяжело сопѣли волы, словно темныя, неподвижныя колоды виднѣлись между возами.

XI. Базарный день.

На другой день, рано утромъ, еще до восхода солнца поднялись на ноги обозники. Необычная была ихъ эта стоянка. Воловъ не отгоняли отъ обоза на паству, какъ бывало прежде: мѣста не было вольнаго. Скотина такъ и ночевала при возахъ, безъ корма. Думали, когда становились, на другой же день выйти изъ Иргиза и сдѣлать дневку, пройдя переходъ отъ города. Не такъ вышло. Какъ ни хлопоталъ вчера вечеромъ Никонъ съ предъявленіемъ проходного листа, никакого толку не добился. «Поздно, говорятъ, пришелъ, завтра!» А тутъ работы не мало. Чиновникъ долженъ въ таборъ пріѣхать, списокъ провѣрить. Дѣло дорожное, могутъ и безпаспортные бродяги къ обозу пристроиться. Опосля того «квитокъ» на выпускъ изъ города требуется, его тоже не скоро выхлопочешь. Хорошо, что Никонъ мало-маля грамотѣ смекаетъ, а неграмотному тутъ и въ жизнь не справиться. Въ Кара-Бутакѣ фортѣ, ужъ на что дрянная крѣпость, всего и начальства-то полтора человѣка, и то два дня проваландались.

Собрались мужики къ Никоновой повозкѣ, затылки чешутъ, стоятъ да молчатъ. И Никону-то самому тошно, тоже чешется. Дѣдушка Денисъ по писанію что то съ воза толкуетъ—его никто и не слушаетъ...

— Что же теперь?

— Ась?

— Два дни ждать, сказываютъ, надоть!

— Два дни... эко дѣло!

— Хоть бы стороною обойти «его» проклятаго. То-есть, сорокъ верстовъ крюку сдѣлать легче!

— Не законъ такъ-то. Мы нѣшто бродяги?

— Скотина теперь безъ корму. Вода—эка какая! Вчера почти-то не видать было, ну, и лакали, а какъ теперь увидали—страсть! Съ души попретъ!

— Корму купить надо... Я схожу поглядку, гдѣ. Вчерась солдатикъ сказывалъ, базарный день подходится конѣ... сена пріѣдетъ, всего навезетъ!

— [illegible]! Безъ сомнѣнія... эвъ!.. [illegible]. Какая корова [illegible] на верблюдѣ-то! [illegible]

— Сторожитъ, это нельзя-зверь! Сжалитъ тѣ въ три дня не отмоешь.

По большой дорогѣ тянулись группы вьючныхъ киргизъ. Бодро, пѣсенною со степи, вытекали на дорогу другія группы, гуськами и одиночки. Верблюды тяжело ступали по песку, навьюченные стогомъ, колючкою и камышомъ, другого чего нѣтъ было кормовину. Тянули барановъ на продажу. Кто-то вырвался [illegible] и ложась [illegible] хромую, для себя уже негодную. Богъ и [illegible], кто хотя [illegible] русскому городскому базару. [illegible] сидѣ [illegible] достать ситцу дрянного, втрое дороже противъ его настоящей стоимости, сукна [illegible] на обязку халатовъ и на [illegible] халатовъ, табаку въ листахъ, косячекъ въ [illegible] посудѣ, а пуще всего что ихъ надмали[illegible]—конечно, не всѣхъ, а тѣхъ, кого наиболѣе коснулась [illegible] сила—хлопотъ въ избахъ [illegible] Кордрича Кордрича съ братомъ и съ [illegible] на дорогу, пока назадъ въ свои аулы пріѣдутъ.

[illegible] въ этому кому, что ближе къ дорогѣ. [illegible] Дѣлать-то нечего на [illegible], а [illegible] на стоящей [illegible].

[illegible] что твой [illegible] [illegible] [illegible] и [illegible] рубахами.

[illegible] [illegible] [illegible] [

— Эй, красавица, слышь ты, курносая, подь сюда, водкой накачаю до сыта!—кричитъ другой, совсѣмъ молодой, безусый.

— Молоко съ губъ-отъ оботри!—проворчала какая-то старуха, кутаясь въ шубу, изъ-подъ которой выглядывалъ рыжій мальчуганъ и моргалъ на свѣтъ своими гноящимися, красными глазенками.

— Не серчай, бабушка! И для тебя найдемъ по зубамъ, чаго помягче!

— Озорники!

— Ну, братцы, поглядывай въ оба!—предостерегалъ дѣдъ Никонъ, проходя по обозу.

— Небойсь, глядимъ!—отозвался кто-то изъ-за воза.

— Ты не видалъ-ли, дядя?—робко подошелъ къ Никону Степанъ-малышъ, какъ-то тоскливо посматривая по сторонамъ.

— Чего не видалъ-то?

— Да се... Хозяйку-то... Авдотью... эко дѣло, подумаешь!

— А что, ушла?

— Да не видать что-то, на возу глядѣлъ—нѣту, бабъ поспрошалъ—говорятъ, не видали!

— Придетъ твоя Авдотья, не ищи, сама придетъ. Эхъ, голова ты горемычная!

— Э-эхъ!

— Держи, держи! Караулъ!..

Безъ шапки, въ какой-то рваной куртчѣ, голова стриженая, безъ сапогъ, прямо вбродъ черезъ рѣку бѣжалъ человѣкъ и волокъ за собою пестрое клѣтчатое одѣяло; за нимъ гналась баба и пронзительно кричала: «караулъ! Грабятъ!» Два мужика, тоже вбродъ, дули во всѣ лопатки наперерѣзъ уходившему. Кучка солдатъ со смѣху помирала и хваталась за животы, глядя на эту травлю.

Удралъ-таки воръ, однако, ворованное бросилъ. Вернулась запыхавшаяся погоня. Баба, захвативъ свое добро, продолжала выть и приговаривать: «воры дешные, разбойники, грабители окаянные!»

— Сказывать, доглядывай лучше!—повторилъ Никонъ.

— Гляди, гляди! Вонъ идутъ! Вонъ даже на одной лошади трехъ барановъ гонятъ. Такъ и есть, это наши!

— Кто, кто такіе?

— Дядя Василій съ Маметкою. Ишь, ты! И не узнать подъ малахаемъ. Грѣховодники!

Все вниманіе толпы обратила на себя одна приближающая группа. Вдвоемъ на одномъ конѣ ѣхали дядя Василій и его другъ закадычный. Лошаденка была татарская, а не Васильева пѣгая, лишнее сѣдло болталось сбоку. Василій сидѣлъ спереди на сѣдлѣ, а Маметка сзади, на конскомъ крупѣ, охвативъ всадника руками за поясницу. Впереди въ прискочку бѣжали три овцы съ большими курдюками грязно-желтоватаго цвѣта, съ темно-бурыми головами. На Василіи, поверхъ своей шапки, надѣтъ былъ киргизскій малахай съ краснымъ верхомъ, оттого его и не узнали сразу. Татаринъ волокъ на длинномъ волосяномъ поводѣ незнакомую лошадь, еле переступающую, вытянувшую морду въ одну линію съ поводомъ. Лошадь эта была худа до того, что всѣ кости торчали наружу, спина вся сбита и гноилась, на заднюю ногу она прихрамывала, и даже порядочно.

Подъѣхали наши торговцы, слѣзли и ладить около своего воза стали пригнанную скотину

— Это я, братцы, вотъ что,—объяснилъ дядя Василій собравшимся мужикамъ:—я своего пѣгаго промѣнялъ въ аулѣ верстъ за десять отселева. Взялъ вотъ этого мерина да трехъ барановъ въ придачу. Таперича барановъ продамъ, хошь нонѣ же на базарѣ, по пяти серебра возьму; мерина подкормлю да полечу—онъ у меня въ недѣлю поправится. Лошадь молодая!..

— Жеребенокъ!—поддакнулъ Маметка.

— И лучше моего прежняго служить она будетъ, потому—степная! Вотъ оно разсчетъ какой... Пятнадцать серебра почитай-что задаромъ, за комерцыю...

— Безъ барышъ нельзя!—суетился Маметка.

— Эхъ, важно!—поправилъ подпояску приземистый мужиченко, борода клиномъ.

— Молодецъ, дядя Василій, одно слово—голова!—заерзалъ другой мужикъ и принялся, съ видомъ знатока, ощупывать курдюки у приведенныхъ барановъ

— Мозговъ требовается!—повелъ плечомъ дядя Василій и снялъ съ себя тяжелый малахай. Жарко съ непривычки...

— Таперича, по торговой части, супротивъ нашего мужичьего дѣла, много ловчѣй придется!—говорила борода клиномъ.

— Я знаешь, што сдѣлаю?—высунулся изъ толпы Прохоръ-Кислый, мужикъ длинный, сухой, какъ жердь, борода желтая.—Во што! Таперича, запасную пару воловъ по боку...

— А самъ, коли какой случай выйдетъ, на себѣ возъ степью потащишь? — спокойно произнесъ Никонъ, слышавшій весь разговоръ сзади.

— На себѣ? Нѣтъ... на себѣ не свезти!—замялся Прохоръ-Кислый.

— Особливо песками!—согласился тотъ, кто щупалъ барановъ.

— Въ песку невозможно...

Покосился на Никона дядя Василій,—зло этакъ покосился и улыбнулся... Оглядѣлъ Никонъ Васильеву покупку, только плечами повелъ...

— Обозный староста!..—словно про себя, проговорилъ дядя Василій.

— Смута—парень...—тоже словно про себя, только громко сказалъ Никонъ.

— Ты, слышь, отваливай! Ты мому дѣлу не указчикъ!—вдругъ накинулся Василій. Не выдержалъ, обозлился очень.

— Маметкинъ пашпортъ готовь для показу... Ты за него отвѣтчикъ...

— Опять мое дѣло!..

— Есть бумага... Моя бумага—хорошая бумага...—засуетился татаринъ, а самъ опять лошадь свою куда-то ладилъ.

— То-то ты и деру, въ сторону, съ своею бумагою хорошею, ровно какъ въ Карабутѣ!—усмѣхнулся Никонъ и отошелъ.

— Я къ тебѣ, батюшка!—поклонилась Никону старуха, что на солдатъ осерчала:

— Что тѣ?

— Пойдешь опять «туда»—старуха вскинула глазами на крѣпостные ворота—поспрошай, какого лекарства, примочки, што-ль... Парнишкѣ мому всѣ глаза разъѣло, глядѣть не можетъ!

— Спрошу!

— Купоросу, што-ли...

— Тамъ чего дадутъ...

— Эй, дядя, дядя...—торопливо прибѣжалъ молодой парень Прохора племянникъ.—Ступай скорѣе! Начальникъ съ писаремъ пріѣхалъ... Обознаго старосту спрашиваютъ!

— Подь скорѣй, Никонъ!—донесся съ возу звонкій голосъ Марины.

— Подай журналъ!..—сказалъ съ казацкой лошади усатый чиновникъ въ бѣломъ кителѣ, въ фуражкѣ съ краснымъ околышемъ, и искалъ глазами: гдѣ бы ему присѣсть удобнѣе.

Началась провѣрка.

XII. Степанъ Малышъ отыскиваетъ свою хозяйку.

Весь обозъ обошелъ Степанъ-малышъ—нѣту. Надо полагать, въ городъ зачѣмъ пошла,—пошелъ и Степанъ туда же...

«Можетъ, дорогою встрѣчу али такъ, по краснымъ лавкамъ шляется»... думалъ онъ и неторопливо шагалъ себѣ да шагалъ въ гору, по песчаному подъему.

Пропадала Авдотья и по три дня, и больше, въ деревнѣ-то... Степанъ и не думалъ о ней—привыкъ ужъ къ этому, а тутъ другое дѣло: «мѣсто чужое»; народъ отпѣтый; какъ бы что ни того, неравно обидѣть могутъ. Все приглядѣть надоть.

— Не проходила ли тутъ, землячокъ, женщина одна?—обратился Степанъ уже на горѣ къ безсрочному солдату-сапожнику, расположившемуся прямо на улицѣ, въ тѣни отъ сакли.

Поглядѣлъ сапожникъ на Степана; видитъ—въ лаптяхъ, значитъ, его мастерства не требуетъ, и промолчалъ на этомъ основаніи, плюнулъ на исподину подошвы и сталъ размазывать заскорузлымъ пальцемъ.

— Эко дѣло!—развелъ руками Степанъ и побрелъ дальше.

Довольно длинная улица тянулась передъ его глазами. Густая пыль туманомъ стояла надъ нею, и въ той пыли двигались навьюченные верблюды, конные и пѣшіе люди, группы барановъ и другого скота, и слышались голоса: то гортанные звуки туземнаго говора, то бойкая русская рѣчь, то отвратительный стонъ и ревъ верблюдовъ, блеяніе овецъ, пронзительныя выкрикиванія ишаковъ, злое ржаніе степного коня, брязгъ тельца, топотъ, хмѣльные звуки гармоники, киргизская «адалай-га» *) и русская характерная брань, не русскимъ языкомъ произносимая...

---

*) Типичный припѣвъ почти всякой пѣсни.

Лавки отперты, въ темныхъ пролетахъ дверей виднѣются развѣшанные куски ситца и кумача. Кабачныя двери непрерывно визжатъ на своихъ незатѣйливыхъ блокахъ. Туда и оттуда, то и дѣло, снуетъ народъ: то широкоплечій киргизскій халатъ изъ верблюжьяго сукна, то такой же халатъ цвѣтной, то бѣлая солдатская рубаха, то синяя поддевка, то бабій сарафанъ, такъ и бьющій въ глаза своимъ яркимъ цвѣтомъ.

У дверей заведенія Илья Маркыча киргизъ-работникъ селедки чиститъ, такія здоровенныя, полуаршинныя; взглянуть только, такъ во рту солоно становится. Кромсаетъ онъ ихъ большимъ ножомъ на куски; куски эти на доску въ акуратѣ укладываетъ. Торопится «малайка» *); потому хозяйскій голосъ слышитъ: самъ Илья Маркычъ—«живѣе, лѣшій!»—покрикиваетъ.

Заглянулъ туда Степанъ,—войти-то боится.

— А, землякъ! Заходи, что-ли!—Валяй смѣлѣй!..—привѣтствуетъ его хозяинъ.

— Иди сюда... другъ... иди... угощу...—манитъ его уже совсѣмъ подгулявшій солдатикъ.

— Не видали ли, господа поштенные... — началъ-было Степанъ, и вдругъ ему совѣстно что-то стало, да такъ, что и не вошелъ мужикъ въ заведеніе морозовское, назадъ попятился, махнулъ рукою и пошелъ себѣ дальше...

Видитъ, дядя Василій барановъ своихъ новокупленныхъ черезъ улицу гонитъ... Маметки съ нимъ нѣтъ, потому Маметка въ степь убѣгъ, какъ только завидѣлъ чиновника, что съ провѣркою въ таборъ пріѣхалъ.

Киргизъ съ лошадью чуть не наскакалъ на него; еще бы немного—совсѣмъ подмялъ бы. Малахай у киргиза на затылкѣ, тюбетейки нѣтъ; голова бритая, такъ и блеститъ на солнцѣ; рубаха разорвана съ лѣваго плеча вплоть до пояса; халатъ въ одинъ рукавъ надѣтъ, виситъ чуть не до земли. Цуетъ плетью всадникъ своего коня; ноги, все равно, какъ пригвожденныя, за сѣдло держатся, а ужъ въ тѣлѣ совсѣмъ никакой силы нѣтъ, такъ его во всѣ стороны и раскачиваетъ.

Налетѣлъ пьяный на овецъ Дяди Василія; одну смялъ; чуть даже конь его не запахалъ по дорогѣ мордою... Дядя Василій палку поднялъ, въ догонку кинулся...

---

*) Кличка всякаго работника туземца.

— Караулъ! Лови его, держи!

— Держи, держи! Перехватывай!—кричатъ въ другой сторонѣ.

Тамъ верблюдъ вырвался, чего-то испугался и, раскачиваясь, бѣжитъ по улицѣ, тоже ничего не разбирая, словно пьяный... изъ прорванной ноздри кровь капаетъ. Снопы камыша по землѣ за нимъ волочатся, дорогу такую широкую прокладываютъ въ густой пыли.

Посторонился Степанъ, прижался къ самому окошку, слышитъ:

— Не... болѣ не стану... пить-то...—говоритъ знакомый голосъ.

— Ничего, пей!—Чего боишься?..—уговариваетъ другой.

Окно-то вмѣсто стекла бумагою заклеено, въ одномъ мѣстѣ дыра прорвана, кулакомъ чьимъ-нибудь, должно-быть...

Заглянулъ Степанъ въ дыру это... Такъ и есть.

Сидитъ это его Дунька за столомъ, раскраснѣлась вся; кафтанишко спустила съ плечъ и платокъ съ головы сняла. Около нея унтеръ усатый, еще двое солдатиковъ.

«Войтить теперь да ахнуть сразу, чѣмъ тамъ ни попало!—подумалъ Степанъ.—Какъ бы самого только не вздули... вишь, они какіе гладкіе, солдаты-то».

Вошелъ Степанъ; дверь тутъ же была, сейчасъ, съ окошкомъ рядомъ, такъ чуть только притворена.

— Чего надоть?—гаркнулъ унтеръ.

— Ничего, заходи!—пригласилъ другой солдатъ.—Зачѣмъ гнать... гнать не слѣдоваетъ: онъ землякъ, значитъ, можетъ, изъ однихъ мѣстовъ... Какой губерніи?..

— Казанской!—отвѣтилъ Степанъ, а самъ совсѣмъ ни съ того начать хотѣлъ.

— У насъ въ ротѣ тоже одинъ казанской былъ да въ прошломъ году померъ,—сообщилъ унтеръ.—Садись съ нами!

— Хозяйка моя...—началъ-было Степанъ, взглянувъ на Авдотью.

Та потупилась; исподлобья, украдкою взглядываетъ. И не разберешь-то ея,—что ли ей смѣшно, не то ли боязно.

— Сладкой хочешь?

— Не пью я ничего нонѣ!

— Для праздника можно; день базарный, а это у насъ, все-равно, что праздникъ!

П засѣлъ Степанъ-Малышъ съ солдатами и съ хозяйкою своею; только солдатъ не дуракъ, дверь поплотнѣе приперъ. «Одинъ-то ничего, а много наберется,—ну, ихъ къ лѣшему».

Къ вечеру разошелся базаръ. Орда по ауламъ своимъ разбѣжалась; купцы лавки позаперли. Угомонилась Большая улица. Вѣтеръ подулъ южный и засыпалъ пескомъ всѣ слѣды базарные, чисто такъ стало, и мести не надо.

Пришелъ Степанъ-Малышъ домой въ таборъ, пришла съ нимъ и его Авдотья; ну, и смѣялись же мужики, какъ они оба, вмѣстѣ, обнямшись, шли: одного въ ту сторону качнетъ, другую въ эту, то врозь, то навстрѣчу.

— Пропадетъ, пожалуй, парень!—замѣтилъ дядя Никонъ, глядя на эту пару.

— Ничего, не пропадетъ...—замѣтила Марина.

Дѣдушка опять тутъ по писанію текстъ привелъ и все бормоталъ про «Сонъ богородицы», пока всѣ на своихъ мѣстахъ не заснули.

Всѣ дѣла были обдѣланы; на завтрашній день выступать хотѣли до свѣту; наговорили имъ страсть чего про будущую дорогу. Пріуныли обозники, и долго не спалось имъ — все о тяготахъ дорожныхъ думалось...

XIII. Скорѣй изъ города.

Еще до свѣту поднялись обозники и стали слаживаться въ дорогу.

Въ этомъ слаживаньи замѣтна была какая-то особенная суета и торопливость, не то, что обыкновенно,—спокойно, въ порядкѣ, по разъ заведенному, привычному обычаю.

Тѣ возы, которые успѣли раньше другихъ справиться и запречь воловъ, трогались съ мѣста, не дожидаясь прочихъ. А тутъ гора эта проклятая!.. Изъ силъ выбивались мужики, покрикивая на воловъ, и надсаживались, хватаясь за грядки и подпихивая съ заду плечомъ, когда животныя, выбившись изъ силъ на крутомъ, песчаномъ подъемѣ, останавливались и, понуривъ низко, чуть не въ самый песокъ, свои рогатыя головы, съ налитыми кровью глазами, съ раздутыми, воспален-

ными ноздрями, тяжело сопѣли и пятились, уступая невольно тяжести повозокъ.

Всѣ, даже самые хворые, даже женщины съ грудными ребятами, не садились на возы, а шли подлѣ, подгоняя воловъ то крикомъ, то подхлестываньемъ, чѣмъ ни попало. Все, что только можно было снять съ возовъ и нести на рукахъ, все было снято, чтобы хотя сколько-нибудь облегчить грузъ. Даже дѣдушка Денисъ—и тотъ не приторачивалъ своего котла, а волокъ его на спинѣ и только отмахивался, когда его внучка Марина уже въ третій разъ говорила ему:

— Не замай,—старый, положь!—Что надсаживаешься? Нѣшто много помочи отъ того будетъ?..

— Ничаго!—бодрился «старый» и все, знай, волокъ до самаго верху.

Дядя Василій—тотъ прыткій, да и телѣженка у него—пустое дѣло,—тотъ прежде всѣхъ выбрался на гору, остановилъ свою лошаденку наверху, сидитъ на повозкѣ да трубочку покуриваетъ.

— Подсоби, родимый!—кряхтитъ Евсей-рыжій, у котораго волы саженъ трехъ не дотянули до верху.—Подсоби дру-угъ?

— Выбирайся, выбирайся, ладно!—цѣдитъ сквозь зубы дядя Василій, а самъ хоть бы съ мѣста тронулся.

Спасибо, Степанъ подоспѣлъ, камень подъ заднее колесо подсунулъ а то бы бѣда!—Совсѣмъ возъ назадъ бы скатился и другихъ, пожалуй, посшибалъ бы.

Выбрались это наверхъ, стали. Волы почти-что задохнулись. Сзади кричатъ:

— Гони дальше! Чаго сталъ?! Дорогу загораживаешь!..

— Не замай! Пущай духъ переведутъ!.. Ну, голубчики, ну, разомъ!.. Ну, еще маленько!.. Вытягивай, вытягивай!.. Го-го-го-го!.. Гей, гей!.. Цобъ!..

Глухіе удары кнутовъ такъ и сыпятся на воловьи спины, такъ и хлопаютъ, рѣзко выдѣляясь въ общемъ шумѣ сумятицы...

— Семенъ!.. Семенъ!.. Да веди воловъ, что-ли!.. Веди, лѣшій!.—визгливымъ голосомъ кричитъ какая-то баба снизу.

— Скотину пою!—отзывается голосъ Семена.—Кнутъ гдѣ, Анисья, кну-утъ? Пошарь подъ возомъ-то, голубка!

Одна бабенка кашу было-варить хотѣла для ребятъ; ужъ

и крупки горсточку намочила, да на нее такъ прикрикнули, что она вздохнула, да и бросила свою затѣю.

— Ишь-ты! Кашу! Тутъ дай Богъ скорѣе, а она—кашу! Ишь, вѣдь, что задумала, кашу!

А ничего особеннаго, необычнаго не было въ желаніи этой бабы. Каждое утро, вотъ почитай уже третій мѣсяцъ, она эту кашу варила и ребятъ своихъ кормила, а теперь—поди-жъ ты—«не время, николи, дай Богъ скорѣе»...

— На первомъ привалѣ варка!—оповѣстилъ по всему обозу Никонъ.

— Васютка, Васютка-а!.. Голубчики мои, кровные... Васютки моей не видали ли... дѣвоньки маленькой?—суетится тетка Арина, а второпяхъ и не замѣчаетъ, что ея Васютка за ея же полу держится.

— Экъ, ихъ спѣшатъ! Экъ ихъ, разбираетъ!—замѣчаетъ дядя Василій.

И дѣйствительно, все торопилось, все дѣлалось спѣша, съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ, словно имъ всѣмъ, на этомъ именно мѣстѣ, грозили страшныя бѣдствія. Вотъ-вотъ, молъ, лихой врагъ гикнетъ и нагрянетъ сзади. Вотъ-вотъ налетитъ на ихъ возы огненная стѣна всесокрушающаго степного пожара. Вотъ-вотъ нахлынетъ пѣнистая волна, прорвавшаяся уже сквозь размытыя плотины.

Выбрались, наконецъ, на гору; чуть-чуть дали воламъ перевести духъ и дальше погнали по пустымъ улицамъ еще спавшаго города.

Уныло скрипѣли возы, свирѣпо лаяли и выли на нихъ сухопарые псы городскіе. Притихли обозники и шли уже молча подлѣ своихъ возовъ, не оглядываясь назадъ, словно боясь чего-то. А чего?—и сами они не знали. Только не до разговоровъ имъ было, и дышали-то они не въ волю, не полною грудью, словно груди ихъ стѣснены были тяжелою заботою, словно кошмаръ навалилъ на нихъ и не давалъ легкимъ свободно расширяться.

Крики и шумъ при подъемѣ на гору, усиленные вслѣдствіе той же лихорадочной торопливости, разомъ стихли, когда возы шли уже по ровному мѣсту.

Поровнялись съ кабакомъ Ильи Маркыча Морозова. Дверь заперта; у порога въ растяжку спитъ шинель солдатская,

другая храпитъ и мычитъ подальше, на самой дорогѣ. Такъ уже съ вечера, должно-быть, започивали.

Обошли ихъ возы сторонкою.

— Ну, ихъ! Еще, неравно, проснутся!

— Слу-у-шай!—чуть-чуть долетѣло со стороны крѣпости, и вдругъ, чаще, усиленнѣй захлопали кнуты и хворостины. Надцали шагу волы и шли теперь, что твои лошади.

Жутко, боязно стало на душѣ; а чего имъ бояться? Все, слава Богу, въ порядкѣ обстоитъ, Никонъ Денисьевичъ, дай Богъ ему добраго здоровья, все передъ начальствомъ оправилъ. Украсть они ничего не украли. Идутъ «съ разрѣшеніемъ», значитъ, «переселяются».

— Своротокъ-то сюда, что-ли?—вполголоса передаютъ съ передней телѣги.

Сталъ одинъ возъ, сталъ другой, третій прямо уперся съ разгону, такъ-что воловьи лбы стукнулись о телѣжный задокъ.

— Что тамъ? Чего еще, Господи?.. Что случилось, батюшки?.. Трогай! Гони мимо!

Побѣжалъ Никонъ разрѣшать недоразумѣніе насчетъ своротка. Онъ еще вчера все, какъ слѣдъ быть, развѣдалъ. Потому за обознаго старосту и считается. Разрѣшилъ—пошли дальше.

Еще и не разсвѣло путемъ, какъ весь обозъ выбрался уже изъ города, и заныряли возы между высокими песчаными наносами.

Чаще и чаще стали оглядываться обозники. Чуть чернѣются сзади угловатыя массы городскихъ построекъ, чуть-чуть доносится вытье городскихъ псовъ, а крика «слушай», почитай что, и вовсе уже не слышно.

Еще прошли съ версту. Выбрались совсѣмъ изъ песчаной полосы, что навалилась косою къ самому городу, и твердая, солончаковая дорога зашуршала подъ широкими ободьями колесъ. Легче пошли усталые волы; полѣзли на возы бабы съ ребятишками.

Полною грудью, вольготно вздохнули обозники,—и вдругъ по всему обозу стало какъ-то необыкновенно весело.

Звонкою пѣснею залилась Степанова хозяйка.

— Эй, вы, соколики!—ни съ того,—ни съ чего, на весь обозъ гаркнулъ Евсѣй-рыжій.

— Ну, вотъ,—зашамкалъ дѣдушка Денисъ,—прошли это мы эвтотъ Иргизъ-градъ, слава тѣ, Господи. Владычица небесная! Ась?!..

Какой-то всадникъ, совершенно неожиданно для всѣхъ, вдругъ словно вынырнулъ изъ темноты и пристроился къ обозу.

— Маметка!—съ презрѣніемъ произнесъ Никонъ, присмотрѣвшись.

— Здравствуй! И я вотъ прибѣжалъ... да, прибѣжалъ... Арба наша гдѣ?—бормоталъ татаринъ, и, щурясь и пригибаясь къ шеѣ своей лошаденки, сталъ разыскивать телѣгу дяди Василья.

XIV. Солончаки.

Недолго это живое веселье царствовало въ нашемъ обозѣ. Разсвѣтная полоса на восточномъ горизонтѣ все расширялась и расширялась. Загорѣлись золотыми пятнами клочковатыя, жидкія облака и разсѣялись тотчасъ же. Ослѣпительнымъ снопомъ свѣта брызнули солнечные лучи; потянулись отъ возовъ длинныя, безконечныя тѣни; рѣзко обозначились всѣ неровности почвы, всѣ кустики, всякая ямка; безпредѣльная, унылая панорама развернулась передъ глазами переселенцевъ,—и опять тоскливое раздумье смѣнило веселую минуту.

Не то они нашли здѣсь, за Иргизомъ, къ чему привыкъ ихъ глазъ, избалованный роскошною зеленью прежней степи. Сѣрымъ ковромъ разстилалась пустыня, словно солдатскимъ сукномъ прикрыли ее, да еще сукномъ рваным, много ношенымъ, въ лоскутьяхъ, въ заплатахъ, въ безчисленныхъ дырьяхъ, сквозь которыя виднѣлось грязное полотно рубахи. Тамъ прожгли это сукно, тамъ деготкомъ замарали, тамъ его взъерошили, и торчитъ буроватая щетина. И звѣрье всякое мелкое подъ этою щетиною бродитъ,—приглянись только—увидишь.

Выше поднялось солнце, разсѣялась дымка, заслонявшая горизонтъ, а тутъ еще на пригорочекъ выбрался обозъ—и еще дальше, верстъ, пожалуй-что, за сорокъ во всѣ стороны стало видно.

Земля солнцеватая, то-есть, мѣстный суглинокъ и супесокъ содержитъ большое количество осадочныхъ морскихъ солей.

Соль эта наверхъ проступаетъ: мѣстами немного, только такъ подернетъ поверхность сѣроватымъ налетомъ, мѣстами же, словно грязный, весенній снѣгъ, разстилаются бѣловатыя пространства, и на солнцѣ далеко они видны, особенно еще потому, что ничего не растетъ на этихъ пятнахъ, а кругомъ стоитъ горячій бурьянъ, высохшая полынь, попадается полынь, только не такая, какъ въ степяхъ степи, пахучая, зеленая, а тоже, сколько сѣрая, сколько [illegible] густыми [illegible] были покрыты. Ближе къ [illegible] [illegible] [illegible] ночью, расплетаясь лишь и [illegible] [illegible] [illegible] пыли жѣлтой сѣры и дѣлаетъ сайгака, особенно послѣдняго.

Соль быстро [illegible] къ себѣ всю влажность изъ воздуха, и трудно дышится въ этой степи, скорѣе устаютъ и люди, и животныя особенно [illegible] съ непривычки. Днемъ и ночью, когда дуютъ дожди, вся почва разбухаетъ и превращается въ тину; [illegible] подсыхаетъ, растрескивается [illegible] длинными трещинами, да такъ и затвердѣетъ на все лѣто. Но слѣдующую весну вода побѣжитъ по тѣмъ трещинамъ, размоетъ ихъ, превратитъ въ овраги; въ [illegible] во всѣ стороны [illegible] новыя развѣтвленія,—въ прокъ [illegible] [illegible] [illegible], а въ другомъ, глядишь, этою же водою уже [illegible] [illegible] старыя трещины, тамъ опять ровно; [illegible] [illegible] [illegible] мѣстахъ уже теперь чисто, хоть [illegible] [illegible] на одну травинку, ни на одинъ стебелекъ не наткнешься.

Дорожная полоса, съ [illegible] [illegible] [illegible], завернула [illegible], и мѣстами [illegible] [illegible] [illegible]

ниже солнцевыхъ слоевъ, и потому вода, хоть и гнилью отзывается, однако, все-таки прѣсная, не то что въ поверхностныхъ озерахъ, которыя часто встрѣчаются въ этой сторонѣ, и вода которыхъ мало отъ морской воды отличается.

Колодцы есть, и довольно ихъ, особенно по тракту, и вода въ нихъ холодная и хорошая, только рыть эти колодцы трудно, потому—глубоко.

И звѣрь, и гадина, и птица—все пойдетъ здѣсь уже не такое, какъ въ зеленой степи. Всякаго животнаго и мелкой птички вовсе не слышно—нечего ей здѣсь дѣлать и гнѣздиться негдѣ. Орловъ въ поднебесьи много. Сайгаки бродятъ табунами, только отъ дороги подальше держатся, уже очень напугали ихъ пули проѣзжихъ: а въ сторонѣ, за берегу этаго, часто виднѣются они; бродятъ по солонцамъ—оно и заманчиво; то мху поглодутъ, то языками шершавыми соль слизываютъ. Бодаться начнутъ между собою—упрутся рогами другъ въ друга, такъ и стоятъ, лбами сдвинувшись, по получасу и больше. Молодые ягнята прыгаютъ, рѣзвятся, самки на спинахъ барахтаются, о землю трутся. Есть муха такая здѣсь, что яйца свои кладетъ имъ подъ кожу; личинки выведутся, зудъ самый жгучій начинаетъ мучить безпомощныхъ животныхъ, вотъ они и трутся, и ерзаютъ на спинахъ, пока не натрутъ себѣ кровавыхъ ссадинъ.

Чуть заслышатъ они далекій звукъ почтоваго колокольчика, чуть завидитъ зоркій глазъ черную точку на почтовой дорогѣ или киргиза конного, пробирающагося сторонкою, такъ сейчасъ, какъ молнія, ринутся въ сторону, и глазомъ моргнуть не успѣешь, какъ они изъ виду скроются, только пыль бѣлымъ облачкомъ стелется въ дали, она только и показываетъ, куда ушли пугливые звѣри.

Большеголовыя ящерицы, то песочно-желтыя, то сѣрыя съ коричневыми пятнами, то ярко-зеленыя съ рѣзкимъ, чернымъ, гармоническимъ узоромъ, такъ и мелькаютъ между корнями колючки, а подальше, словно серебряный обручъ, свернулась на солнцѣ змѣя; вотъ другая, полущая, маленькая головка высоко поднимается, словно выжидаетъ что-то, словно за каждый кустикъ, во всякую ямку заглядываетъ. Вокругъ ея что-то шелеститъ, только не видно.

Много здѣсь всякой гадины ядовитой, и на ночлегъ надо

останавливаться съ оглядкою. Да и вообще погани всякой здѣсь больше, чѣмъ чего хорошаго.

Киргизъ-кочевникъ любитъ, впрочемъ, этакія мѣстности. Сало, говорятъ, вкуснѣе у овецъ, откормленныхъ на солончакахъ, и овцы сами быстрѣе жирѣютъ и поправляются. Можетъ быть, потому и любятъ ихъ киргизы. Но на русскаго, вообще на человѣка, не привыкшаго къ нимъ, видъ этой печальной, грязно-сѣрой мѣстности производитъ самое непріятное чувство тоски и безлюдья, какой-то мертвенности, и даже сыпучіе пески, которые будутъ встрѣчаться далѣе, производятъ на него сравнительно лучшее впечатлѣніе.

XV. Сухое озеро.

Жарко стало, да такъ, что просто идти не подъ силу. Вѣтеръ подулъ—и еще того хуже вышло: такъ и обжигаетъ этимъ вѣтромъ лицо и голую грудь, виднѣющуюся изъ-подъ разстегнутаго ворота. Глаза горятъ и чешутся отъ солоноватой пыли. То и дѣло, чихаютъ усталые волы, и ноздри у нихъ покраснѣли, какъ кровь, раздраженныя этою тонкою, раздражающей пылью.

Бабы, и изъ дѣтей, кто по-старше, разбрелись по сторонамъ дороги, пометъ сухой подбираютъ и стебли рвутъ, которые повысохли уже и годны для топлива. Другихъ дровъ не будетъ на привалѣ и ночлегѣ, такъ что-же даромъ-то терять время! Кто въ мѣшокъ складываетъ найденное добро, кто въ кошелку, а кто и просто въ подолъ рубахи или паневы.

Эти поиски и прежде, и по зеленой степи происходили и доставляли молодежи, особенно дѣтямъ, большое удовольствіе. Воздухъ легкій, пріятный; тамъ цвѣты особенные найдутся, тамъ птица выпорхнетъ чуть не изъ-подъ самыхъ ногъ, — такъ бы и схватилъ ее руками, если-бы зналъ, что она тутъ именно притаилась; бабочки летаютъ, осы, шмели. Ребята взапуски съ собаками гоняются, дѣвки горѣлки затѣютъ. Ну, совсѣмъ, какъ въ своихъ лѣсахъ, бывало, по грибы соберутся, въ праздникъ. Теперь совсѣмъ не то.

Уныло бредутъ они, понуривъ голову; гдѣ что найдутъ годное — поднимутъ, молча въ мѣшокъ кинутъ и оглянутся,

словно что чужое крадутъ. Пѣсни не слышно; смѣху—тоже. Всѣ работаютъ лѣниво, вяло, нехотя, словно на помѣщика. Большая половина дѣтей и съ возовъ не хочетъ слѣзать, особенно послѣ того, какъ Евсѣева Ваньку гадина чуть-чуть въ босую ногу не ужалила. Дядя Василій, шедши стороною, тоже здоровенную змѣю, аршина въ два, убилъ кнутомъ, взялъ ее поперекъ тѣла на кнутовище перевѣсилъ и понесъ дѣвокъ пугать, смѣху ради, а змѣя-то ожила вдругъ, чуть его самого не хватила. Шибко онъ тогда струсилъ и полѣзъ часокъ соснуть на свою телѣгу.

Два волка, поджарые такіе, маленькіе, перебѣжали дорогу. Загикали, заулюлюкали на нихъ по всему обозу; собакъ натравили — тѣ нейдутъ: все отъ жары норовятъ въ тѣни, подъ возами держаться.

Солнце поднялось уже высоко. Такъ и жжетъ, такъ и палитъ. Удушливъ сильно нагрѣтый воздухъ и волнистою полосою дрожитъ онъ надъ раскаленною почвою.

— Никонъ Денисьичъ, а Никонъ Денисьичъ!—подошелъ тутъ одинъ изъ обозниковъ.—Пора, другъ, приваливать. Скотина не можетъ; почитай, спотыкаться начала...

— То то жарко больно!—замѣтила съ возу Марина.

Она заснула-было послѣ ночной тревоги, да больно душно стало, вотъ она и вылѣзла изъ-подъ навѣса, вся потная, раскраснѣвшаяся, и косу свою двухъ-аршинную въ порядокъ приводитъ.

— Напоить бы гдѣ?—поглядѣлъ дѣдушка Денисъ во всѣ стороны.

Онъ старикъ догадливый, знаетъ, что въ такомъ случаѣ нужно.

— Да, напоить хорошо бы!—усмѣхнулся Никонъ, только усмѣшка эта была совсѣмъ не веселая.

Давно онъ уже объ этомъ подумывалъ, и такъ-то одолѣла его эта дума, что битый часъ до того онъ затылокъ себѣ поскребывалъ, да, видно, ничего не выскребывалось.

Сколько ни глядѣлъ дѣдушка Денисъ, привставъ на возу, ничего на воду похожаго онъ не видѣлъ. Глядѣла и Марина-внучка, справившись съ своею косою; у ней глаза молодые зоркіе, не то что стариковскіе.

— А это что? Никакъ озеро?—замѣтила вдругъ дѣвка и подозвала къ себѣ Никона.

— Подь сюда, лѣзь на возъ!

— Ну?

— Гляди! Эвося!.. Вонъ, какъ-разъ супротивъ той сухой тычины и моего пальца... Видишь?..

— Вижу!

— Никакъ вода... Вонъ на солнце свѣтится!.. Озеро, можетъ...

— Кто его знаетъ! Можетъ, и озеро...

— Вотъ Господь милосердый и послалъ водицы!—обрадовался старый дѣдушка.

Стали и другіе въ ту сторону поглядывать.

— Отъ дороги не такъ чтобы очень далеко,—съ версту крюку, не болѣе...

— Самая малость!

— Да, можетъ, солона больно, не годится?

— Пропарить надо, тогда ничего...

— Эхъ бы таперь квасу съ ледкомъ!.. Важно!..

Заговорили, заволновались по всему обозу...

— Мама, пить хочу... до смерти, мама-а! — захныкала Аринина Васютка.

И на другихъ возахъ тоже запищали ребята. Пока о водѣ не говорили—молчали, хоть и хотѣлось пить, да терпѣли, а тутъ ревъ подняли, плачъ.

— Молчи, родимый! Молчи, соколикъ, молчи!.. Вотъ придемъ,—кашу сварю, покушаешь, наньешься до сыта. Молчи, не реви! Чаго ревѣть-то, цыцъ!—утѣшали нетерпѣливыхъ ребятъ ихъ тетки и матери.

— Вѣдь эка глупъ народъ, поди-жъ ты! Невдомекъ было набрать въ баклаги!—громко, во всеуслышаніе заявилъ дядя Василій.

— А ты набралъ въ свои?—покосился на него Никонъ.

— Я-то! Я-то взялъ... эвося!..

И дядя Василій приподнялъ надъ головою небольшой боченокъ и тряхнулъ его легонько, чтобы слышно было, какъ оно булькаетъ.

— Заторопились больно... Оторопь взяла. Не до воды тутъ было!—почесалъ затылокъ Евсѣй-рыжій. — Что-жъ, ворочать, что-ли?..

— Крюкъ будетъ!—словно въ раздумьѣ, про себя про-

изнесъ Никонъ. — Да опять озеро ли то, не другое ли что... кто его знаетъ...

— А то что же?

— Може, марево какое. Какъ бы задаромъ съ дороги не сойти. Провѣдать напередъ надо...

У воза стараго дѣдушки Дениса собралась обозная сходка. Поговорили, поспорили, затылки почесали, кто переругнулся, кто нѣтъ,—рѣшили на томъ: стать здѣсь же, на дорогѣ. Отпречь воловъ и сгонять ихъ къ водопою на то озеро, а послѣ назадъ гнать къ возамъ и пасти. Воды набрать въ посуду, какая у кого найдется. Всѣмъ мужикамъ отъ обозу не отлучаться. Коли бабы хотятъ—за водою идти, могутъ.

Охотниковъ набралось довольно. Обозы свернули въ ряды, воловъ выпрягли и согнали въ общій гуртъ, посудою навьючились и тронулись.

Сжались волы въ плотную кучу, идутъ нехотя. Нѣкоторыя пары назадъ было къ возамъ повернули. Что за диковина! Однако, справились мужики. Идутъ версту, идутъ другую... Бабы, кто пошли, совсѣмъ языки повысовывали. Нога вязнетъ, колючка рветъ толстые, синіе чулки со стрѣлками, цѣпляется за подолы, и безъ того отрепавшіеся за дорогу. Въ лощину спустились, оно и не видно озера, а вотъ какъ выберутся повыше, сейчасъ оно тутъ и есть. Оглянулись назадъ—чуть-чуть виднѣются верхушки возовъ. Бѣлыя точки бродятъ около—то бабьи рубахи виднѣются. Пыль столбомъ крутится гдѣ-то далеко въ сторонѣ и прямо на воза несется. Вотъ слѣдъ сайгачій, свѣжій нашли,—должно, сейчасъ только ушли звѣри, гурта воловьяго испугались...

— А оно казалось близко!—замѣтилъ кто-то.

— Я говорилъ: должно, марево!—проворчалъ Никонъ.

Дядя Василій съ Маметкою-татариномъ, вдвоемъ на одной лошади, ѣдутъ, переговариваются по своему.

Выбрались повыше. Какъ на ладони, заблестѣло широкое озеро. Съ одной стороны берега покруче, обрывомъ стоитъ, съ другой—гладко къ водѣ спускается. Только какое же это озеро чудное!.. Мужики такого, отродясь, и не видывали.

Вода въ этомъ озерѣ бѣлая, блестящая, даже смотрѣть больно. Что за диво! Вонъ слѣдки на ней видны копытчатые, вонъ пыль поднялась легонькая. Что такое, въ самомъ дѣлѣ?!.

Спустились—разглядѣли, что и вовсе никакой воды нѣту, а такъ что-то твердое, гладкое. Должно-быть, когда-то точно озеро было, да высохло, и отъ сухого, гладкаго дна, ровно отъ топленной печки, жаромъ пышетъ.

Много такихъ окаменѣлыхъ озеръ встрѣчается въ этой степи. Богъ-вѣсть когда, можетъ быть, нѣсколько столѣтій тому назадъ, здѣсь разстилалась водная поверхность, жизнь кипѣла на ея зеленѣющихъ берегахъ, привольно дышалось влажнымъ, освѣжающимъ воздухомъ; но это были озера умирающія. Съ каждымъ годомъ прибыль водъ отъ таянья снѣговъ и дождей не покрывала убыли, не покрывала того, что за лѣто выпаривало жгучее солнце. Эти озера были лужи, оставшіяся отъ одной великой лужи — древняго моря, заливавшаго всѣ низменности центральной Азіи; сначала ихъ было много и они были велики; потомъ большія озера, въ свою очередь, распались на меньшія. Тѣ же, которыя уцѣлѣли долѣе прочихъ, оставили послѣ себя неизгладимые слѣды, имѣющіе всѣ формы настоящаго озера, такъ часто обманывающіе неопытный глазъ, благодаря блеску осадка, а иногда и колебанію обыкновеннаго степного миража.

Вотъ къ такому-то озеру и подошли наши обозники съ ведрами и бочатами; мало того, что сами пришли, да еще пригнали на водопой усталую, истомленную жаждою скотину.

Молча стояли они на берегу минутъ пять, все диво-дивное разсматривали. Волы въ кучѣ стояли, не расходились и тупо смотрѣли своими, словно ошалѣлыми, глазами. Глухое мычаніе слышалось по временамъ, будто ропотъ на человѣка, непозаботившагося о своихъ работникахъ, такъ усердно служившихъ ему своими могучими шеями. Бабы первыя выть начали.

— Что же это таперь, ба-а-атюшки, кормильцы мои?.. Околѣвать, это, безъ пойла-те середь степи придется!.. — захныкала одна, сидя на боченкѣ, что сюда на своихъ плечахъ приволокла.

— Все-то нутро, какъ есть, пересохло, пида горитъ!.. — взвыла другая.

— Дѣтушки мои, родимыя, чѣмъ-то мнѣ напоить васъ, горемычныя?—тянула третья.

— Какъ же таперича?—почесалъ затылокъ Евсѣй-рыжій и взглянулъ на Никона.

— Назадъ гнать, что ли?—усмѣхнулась борода клиномъ и тоже поглядѣла на обознаго старосту.

— Спрашиваетъ мена Маметка,—началъ дядя Василій,— «куда это *они* гонятъ?» Я говорю: къ озеру, молъ; Никонъ Денисьичъ водопой нашелъ знатный! А онъ, татаринъ-то: то не вода говоритъ, а такъ. Вотъ мы съ нимъ ѣхали, да и думали, что молъ, изъ всего этого выйдетъ?..

— Что же ты намъ ранѣе не сказалъ объ этомъ? На кой прахъ, почитай, пять верстъ задарма гнали? — спросилъ Никонъ. — Да еще, таперь вотъ, надъ своими глумится. Аль совсѣмъ отатарился?

— Мнѣ что, я не обозный староста! Мое дѣло не мірское,—усмѣхнулся Василій.—Мое дѣло все вотъ тутъ, на одной телѣженкѣ, а твое—за весь обозъ быть отвѣтчикомъ!

— Песъ окаянный!..—накинулась на него одна изъ женщинъ.

— Вотъ и напрасно, бабушка, а я было тебѣ водицы хотѣлъ дать изъ моей баклаги; таперя—нако-сь вотъ, не ругайся!

И дядя Василій при этихъ словахъ ударилъ по боку свою лошаденку и погналъ съ татариномъ-собакою назадъ къ обозу

— Вы, ребята, напередъ тоже обознаго своего во всякомъ случаѣ держитесь покрѣпче: онъ у васъ голова съ мозгомъ — не выдастъ!.. — крикнулъ онъ, отъѣхавъ шаговъ десятокъ.

А Никонъ ровно и не слыхалъ этихъ обидныхъ словъ: даже не взглянулъ на Василія, только кнутовище свое на четверть въ песокъ засадилъ, а потомъ уже, когда тотъ отъѣхалъ подальше, обвелъ глазами мужиковъ, хотѣлъ-было сказать что-то, да подъ сердцемъ у него такъ засосало, что индѣ въ глазахъ стало зелено.

Однако, что же даромъ-то стоять на мѣстѣ! Собрались и назадъ къ возамъ повернули. Порѣшилъ, наконецъ, Никонъ Денисьичъ, что надо дальше идти, пока смогутъ; день, молъ, одинъ какъ-нибудь перетерпятъ, а въ ночи безпремѣнно къ озеру Джалангачь поспѣть надо, потому ему въ Иргизѣ еще сказывали, что всего двадцать четыре версты отъ городу до этого озера считается. Все-жъ за цѣлое утро, почитай за полдень, ушли они половину дороги, а то, пожалуй, и больше.

XVI. Степанова прыть.

А въ обозѣ всѣхъ, отъ мала до велика, мучило томительное ожиданіе. Многіе на возахъ все время стояли, чтобъ виднѣе было сверху-то. Видѣли хорошо, какъ посланные за бугоръ скрылись, потомъ долго ничего не видѣли, потомъ опять увидали гуртъ, уже далеко; больше по столбу ныли онъ былъ замѣтенъ; за этимъ-то столбомъ и слѣдили обозники, и строили самые пріятные, утѣшительные планы. «Вотъ, молъ, припрутъ съ водой-то, котлы пальютъ, варить-это станутъ; сухари размочатъ, — распрекрасное дѣло эти самые сухари, когда ихъ намочить: совсѣмъ на квасъ похоже!.. Оно точно, что здѣсь самый припекъ, жарко; рядна можно будетъ между возами развѣсить, оно и хорошо будетъ въ холодочкѣ. А тамъ, поспамши малое дѣло, Господи благослови — въ дорогу. Одначе что-то долго!

— Идутъ?—спрашиваетъ баба изъ-подъ воза.

— Не видать что-то, баушка!—хрипло отвѣчаетъ дѣвочка лѣтъ девяти, стоя на самомъ верху и заслонивъ глазенки загорѣлою рукою.

— Батюшки, да что же они тамъ валандаются?.. Бога въ ихъ нѣту, право-слово—нѣту!..

— Мама, пить!—опять заныли Аринины ребята.

— Ну, братъ, оно точно, что нашему брату, съ непривычки, не втерпежъ!—крякнулъ одинъ мужикъ изъ оставшихсядругому

— Не говори! Голову этто такъ ломитъ, страсть!—уныло отвѣтилъ тотъ, сидя въ тѣни и опустивъ голову на колѣни.— Пить не пилъ, а ровно съ похмѣлья. Теперь бы платъ, въ водѣ намочивши, первое дѣло...

— Видать!..—кричитъ кто-то съ того конца обоза.

— Идутъ, идутъ!—гудитъ по всѣмъ возамъ.

— Дядя Василій напередъ взаскачь гонитъ! Видишь? Эвона, на горку-то выѣзжаетъ!

— Дашка, бѣги, родная, навстрѣчу-то съ горшечкомъ!

— Погодь, погодь, маленко, птенцы вы Божьи, погодь!— утѣшаетъ своихъ бабушка Арина.

Дядя Василій подъѣхалъ къ обозу шажкомъ, и прямо къ своей телѣгѣ. Обступили его обозники. Многіе впередъ ушли

на встрѣчу подвигающемуся облаку пыли,—это самые нетерпѣливые; другіе на мѣстѣ дожидались. Бабы посуду начали готовить, огни разводить, чтобы не терять времени даромъ. Тамъ и сямъ потянулись костровые дымки, и горѣлымъ навозомъ запахло. Повеселѣе стало въ обозѣ.

— Не солона вода?—спрашивали дядю Василія.

— Чай, мутна шибко?

— Нѣтъ, не такъ чтобы очень!—уклончиво отвѣчалъ дядя.

— Хорошъ вода, больно сладкій! — заговорилъ Маметка-татаринъ и, глупо ухмыляясь, толкнулъ локтемъ Василія.

А тотъ, какъ увидалъ, что бабы за огнемъ хлопочутъ и котлы готовятъ, такъ и покатился со смѣху, а чего?—никто и не понялъ сразу-то

Вернулись от озера — разъяснилось дѣло. Гробовое уныніе овладѣло всѣми. Какъ шальные, ходили всѣ между возами, другъ на дружку даже глядѣть не хотѣлось. Пуще всего дѣтскій плачъ донималъ всѣхъ, такъ вотъ и рѣзалъ по сердцу. Ребята народъ малый, глупый, гдѣ имъ стерпѣть, когда и большимъ чуть-что не подъ силу.

Разладъ пошелъ по обозу, неурядица. Кто совѣтовалъ отдыхать и пережидать жару на мѣстѣ, кто кричалъ, чтобы дальше идти, были и такіе, что назадъ, на Иргизъ рѣку ворочать хотѣли.

Много обидныхъ словъ наслышался тогда старый Денисъ: онъ вѣдь, по почету, обозный; много и Никону Денисычу пришлось добрыхъ пожеланій услышать. Обидно стало и Маринѣ, потому на за себя больше, а за Никона.

— До ночи-то передохнемъ, пожалуй! — завыла баба съ груднымъ ребенкомъ, проходя мимо и косясь на старосту.

— То-есть, во-што! — говорилъ Никонъ, заводя воловъ подъ ярмо.—Коли-бъ теперь кто сказалъ мнѣ: «Никонъ, распори брюхо свое, оттедова вода побѣжитъ, и на всѣхъ ея хватитъ»—такъ бы и шарахнулъ ножемъ, не задумавшись!

— Ишь! Ровно волки, подлые!—покосилась на мужиковъ Марина и брови нахмурила.

Кто его знаетъ, на чемъ бы порѣшили, если-бъ надъ всѣмъ гамомъ и шумомъ не возвысился вдругъ одинъ голосъ, совершенно уже неожиданный.

— Ребята!—на весь обозъ крикнулъ Степанъ-Малышъ, и

крикнулъ такимъ голосомъ, что всѣ невольно обернулись въ его сторону. — Аль вы опились, аль такъ съ ума рехнулись? Чѣмъ же таперича Никонъ виновенъ? Завсегда съ ночлега безъ воды не выходили, даже безъ нужды набирали, а тутъ вотъ забыли. Гдѣ же Никону все знать-то! Дѣло дорожное — дѣло Божье!.. Сколько случаевъ такихъ было, что безъ Никона вы бы пропадомъ сгинули, а таперь за все добро его безъ вины корите. Не по-Божьему это, братцы, дѣлаете .. Всякаго мутилу слушаете, что надъ міромъ зубы скалитъ, надсмѣхъ какой норовить сдѣлать... Нѣшто это резонъ?.. Сказывалъ Никонъ: запрягать и идти до ночи, такъ и дѣлать по его надыть, а что толку по-пусту супротивничать? — говорилъ Степанъ, задыхаясь и захлебываясь словами.

Лицо все у него раскраснѣлось, и руками-то онъ размахался, такъ на народъ и лѣзетъ. Откуда прыть взялась — никто и не знаетъ. Всегда смирный такой, тихій, только и слыхать его было что въ хороводѣ, а тутъ на-поди!..

Чудна всѣмъ эта прыть Степанова показалась. Кого она на умъ навела, кому отъ этихъ словъ совѣстно стало, а кто и на смѣхъ его поднялъ, только послѣднихъ было всего двое: дядя Василій да Авдотья безпутная, Степанова хозяйка.

Первый по той причинѣ, что его за живое задѣли, мутилой обозвали, опять же и правъ у него такой насмѣшливый; вторая — совсѣмъ по особой причинѣ.

Авдотья одна только поглядѣла, откуда это взялась прыть у ея тихаго, смиреннаго мужа, вотъ и залилась она на всю округу звонкимъ, раскатистымъ смѣхомъ, только въ смѣхѣ томъ ничего не было веселаго, и кончился смѣхъ этотъ разомъ, словно кто его оборвалъ, на самомъ сильномъ звукѣ.

Видѣла передъ тѣмъ Авдотья, какъ Степанъ, потупившись, стоялъ подлѣ Никонова воза, какъ онъ молчалъ все, только исподлобья то на Никона, то на Марину поглядывалъ. Видѣла она, какъ послѣ Никоновыхъ словъ Марина къ возу отвернулась и рукавомъ глаза утерла, и слезу, что выкатилась изъ-подъ темной рѣсницы и по щекѣ загорѣлой скользнула, видѣла Авдотья, и поняла она, что отъ этой-то самой слезы родилась чудная прыть Степанова.

Бабье сердце, что омутъ — поди, разбери, что на его днѣ ворочается!

XVII. Авдотьинъ зарокъ.

Лѣниво пошли волы ненапоенные, да и тяжелѣе имъ было, потому что теперь уже мало кто изъ мужиковъ пѣшкомъ шелъ, а про бабъ съ ребятами и говорить нечего. Тихо подвигался обозъ—версты двѣ въ часъ, не больше.

Дѣдушка Денисъ совсѣмъ разнемогся: долго онъ на солнцѣ безъ шапки бродилъ, пока на мѣстѣ стояли, ему голову и припекло. Легъ онъ подъ крышку, соснуть хотѣлъ, да не могъ: голову ломитъ, какъ послѣ угара, въ глазахъ мутитъ, а сна нѣтъ. Стонетъ полегоньку дѣдушка да молитвы читаетъ—какое слово про себя, какое вслухъ бормочетъ, только на другихъ тоску нагоняетъ. Марина сидѣла у передка, бѣлымъ платкомъ накрывшись; Никонъ рядомъ шелъ, голову опустивши, словно дорогу разглядываетъ. Еще жарче стало, когда солнышко черезъ полдень перевалило. Бываетъ и у насъ, въ Петровки, жара, а ужъ такой, какъ эта, и не видывали, и не слыхивали. Печь накаленная, одно слово!

Одна баба заснула, грудь у ней открылась во снѣ, такъ ее ровно кипяткомъ обварило, такъ и повыступили пузыри на кожѣ; другой — затылокъ обожгло. Евсѣй-рыжій сапоги-было снялъ, думалъ—все идти полегче, да опять надѣлъ; ровно накаленная, стала эта дорога, сквозь сапогъ даже пронимаетъ, не то что босую ногу.

Авдотья, Степанова хозяйка, та совсѣмъ раздѣлась, такъ и лежитъ на возу, какъ мать родила, благо возъ крытый; заглянулъ-было туда Степанъ и отвернулся; замѣтила эта Авдотья.

— Что-жъ ты, Степа? Садись рядкомъ,—потянулась она.— Эхъ, важно, ровно на полкѣ въ банѣ! Таперь бы вѣничекъ березовый, апосля кваску холоднаго съ мятою!

«Да, вѣникомъ-то тебя слѣдовало бы!»—подумалъ Степанъ, только громко не сказалъ этого.

Тутъ у ярма колокъ выскочилъ; Степанъ пошелъ поправлять его, да уже больше и не подходилъ близко къ возу, а все передомъ шелъ, на хозяйку свою не оборачиваясь.

— Тебѣ бы быть обознымъ старостою, — начала опять Авдотья,—а мнѣ бы старостихою. Ты вѣдь даромъ что тихій,

а тоже, когда нужно, съ голосомъ... Вишь, какъ тебя, супротивъ другихъ, міръ послушался... Степа... Асы!..

Лукаво такъ улыбнулась Авдотья, руки назадъ закинула, вся словно перегнулась—нѣжится; ея-то никто не видитъ подъ крышею, а ей видно. «Вотъ обозъ заворачивать началъ, передніе возы показались; вотъ Никонова телѣга... Экъ его волы идутъ — здоровые животы! Устали на нихъ нѣту! Вонъ самъ Никонъ шагаетъ: экій медвѣдь, право слово—медвѣдь! А вонъ и *она* сидитъ — тьфу ты, право! Копна-копною; платомъ покрылась, совсѣмъ квашня съ тѣстомъ».

— Степа, подь сюда, дурачекъ, подь, умница... а, Степа!— позвала еще разъ Авдотья своего мужа, а сама зѣвнула, и послѣднія слова сквозь эту зѣвоту прошли, жалостно вышло такъ.

Пріостановился Степанъ, поровнялся съ возомъ.

— Чаго тебѣ? Прикройся, безстыжая!

— Жаарко!.. Какой стыдъ? Я нѣшто передъ чужими?.. Гляди, Степа, эвона кто?

И Авдотья указала ему на Марину.

— Ишь, гляди, сидитъ какая,—кто энто?

— Сама, чай, знаешь!—угрюмо отвѣтилъ Степанъ.

— Знаю...—проговорила Авдотья и помолчала съ минуту.— Лѣзь на возъ, Степа, чай притомился,— начала она опять.— Да-ну, лѣзь, дуракъ, чаго упираешься!..

— Отстань!

Степанъ даже сплюнулъ.

— А кто лучше, Степа: я аль она? Скажи по-правдѣ! — опять начала его хозяйка.

Сильно екнуло сердце Степана отъ этого вопроса, въ жаръ это его кинуло, такъ что даже горячій вѣтеръ, пахнувшій въ пылавшее его лицо, не обжегъ, какъ всегда, а принесъ относительную прохладу.

— Она лучше...—тихо заговорила Авдотья.—У ней бровь дугою, грудища эва какая! Она честная, работящая, не то, что я, безпутная; она съ каждымъ встрѣчнымъ не гуляетъ, одного только знаетъ. Я же что?— Я совсѣмъ пропащая, хоша и замужняя; другой бы мужъ билъ бы меня и денно, и нощно, въ гробъ бы давно загналъ побоями, а ты—нѣтъ; ты добрый, душа-то у тебя, почитай-что, ангельская; не такую тебѣ жену, какъ я, требовается. Степа, Степа! Другой разъ какъ разду-

маешься — тоска нападетъ смертная, утопиться легче; зароки это давать станешь. Эхъ, Степа... Бей же ты меня, бей, окаянную... благо теперь сподручно, бей кнутомъ, чѣмъ попало дуй... Господи! Побои твои легче мнѣ будутъ того...

И вдругъ зарыдала Авдотья, да не громко, а тихо, словно она задерживала въ груди это рыданіе и на волю не выпускала.

— Дуня... Дуняха...—дрогнулъ голосъ у Степана.—Дуня, перестань, чаго ты? Я не то, чтобы... я совсѣмъ напротивъ...—замололъ Степанъ и полѣзъ на возъ.

Взялъ онъ рубаху скомканную и прикрылъ ею жену, взялъ еще какую-то ветошь, тоже прикрылъ и ею. Авдотья не сопротивлялась, прижалась лицомъ къ мѣшку, что служилъ изголовьемъ, и только плечи у ней вздрагивали.

— Слушь, Дуня, таперича вотъ что...—говорилъ тихонечко Степанъ.

— Бей же меня, бей! Жалости въ тебѣ никакой нѣту!—все свое твердила Авдотья, всхлипывая.

— Зачѣмъ бить, не надоть. Ужъ то не жена, что побоевъ ради. А коли, значитъ, ты по душѣ, все одно, какъ на духу, каешься, значитъ,—ну, и шабашъ!—говорилъ Степанъ, лаская хозяйку.

А та все успокаивалась, мало-по-малу; всхлипыванія становились все рѣже и рѣже. Вотъ она словно всхрапнула легонько, вотъ еще разъ, носомъ засопѣла.

«Никакъ заснула?» — подумалъ Степанъ; прислушался — точно. И самого его стало клонить головою на мѣшокъ, да такъ, что не въ силу удержаться. Только онъ прилегъ, закружилось у него все передъ глазами, скрипъ колесъ совсѣмъ не слышенъ, словно возъ на мѣстѣ остановился; не слышно даже, какъ покачиваетъ телѣгу изъ стороны въ сторону. Храпъ такой поднялся подъ крышкою Степанова воза, а тутъ еще вѣтромъ пахнуло, приподняло рогожку, что на верхъ была закинута; рогожка эта опять опустилась, только не на прежнее мѣсто, а заслонила свѣтлый полукругъ передняго отверстія—*лаза*.

А волы идутъ себѣ да идутъ на своемъ мѣстѣ. Прямо передъ лбами днище большой кади виднѣется; кадь эта къ переднему возу подвязана, черезъ нее накрестъ толстая веревка перехвачена, къ этой веревкѣ куль рогожный подвязанъ, изъ-

за куля уголъ сундука виднѣется, кованный, и опять что-то, въ рогожу запакованное. Все это видѣли волы Степановы съ самаго того времени, какъ въ походъ выступили: попривыкли они ко всему этому, и коли-бъ ихъ перепутать возами и оставить самихъ находить свое мѣсто, они бы сразу нашли тотъ возъ, за которымъ идти привыкли.

Остывать начало, слава Богу! Легче дышется; теперь и волы словно пріободрились, пошли походчѣе, а то было совсѣмъ пристали. Изъ силъ выбились обозники, первый разъ пришлось имъ этакъ-то, безъ воды, маяться.

Вонъ, правѣе дороги, цѣлиною киргизъ-ямщикъ ѣдетъ тройкою: на одной лошади самъ сидитъ, двѣ другихъ впереди бѣгутъ. Это возвратный, тотъ самый, что еще утромъ обогналъ обозъ. Крикнули ему, остановился; спросили «далеко-ли?»—говоритъ: «джакынъ», значитъ—близко.

— Засвѣтло дойдемъ, можетъ! — сказалъ Никонъ. — Вонъ бугоръ синѣетъ, за этимъ бугромъ недалеко. Въ Иргизѣ, сказывали: тамъ и станція почтовая близко!

Пріободрились въ обозѣ.

Дѣдушка Денисъ было выглянуть хотѣлъ, да не смогъ, сила вся у него, невѣсть куда, пропала; языкъ пересохъ, и голосу нѣту; помапилъ рукою Марину, та не видала; потянулся, ногою толкнулъ легонько—обернулась.

— Что ты, дѣдушка?

— Смерть приходитъ! — прошепталъ старикъ, да, должно быть, ужъ очень тихо, потому, что внучка не разслыхала.

— Таперь ужъ недалече, киргизъ сказывалъ!—отвѣтила она.

— Ребята, гляди, утки!—крикнулъ кто-то въ обозѣ.

Дѣйствительно, далеко очень, но по полету все-таки узнать можно: три утки, другъ за дружкою, потянулись изъ-за бугра и спустились.

Если утки есть, значитъ, и вода близко. А тутъ и волы начали все чаще и чаще пофыркивать и морды вытягивать—тоже чуютъ, какъ сырьемъ потянуло. Мычанье кое-гдѣ послышалось, хриплое такое, придушенное. Совсѣмъ, чай, ссохлись воловьи глотки. Ходу наддали, что на поди! Коли-бъ возы не такъ тяжелы были, пожалуй, бѣгомъ пошла бы скотина. Дядя

Василій свернулъ съ дороги, впередъ угнать хочетъ, цѣлиною обозъ объѣзжаетъ; дуетъ лошадей въ два кнута съ Маметкою.

— Я напередъ ѣду; квартиры заготовлять стану!—смѣется мутило, каторжный.

Вотъ и закатываться стало солнышко. Багровымъ заревомъ покрылась степь, небо зазеленѣло, и вспыхнули на немъ красныя облака съ золотистыми окраинами. И откуда только взялись эти облака? Днемъ ихъ ни одного не было видно, а тутъ вонъ ихъ сколько! И всѣ къ западу сошлись, словно за солнцемъ гонятся.

Синій бугоръ впереди все яснѣе и яснѣе виднѣется; вотъ ужъ побурѣлъ онъ, вонъ и кустики на немъ замѣтны стали, камушки, рытвинки.

Туманная полоса поднимается изъ-за него, а за нею сверкнула другая полоска, свѣтлая.

— Озеро, вода!—пронеслось и загудѣло изъ конца въ конецъ по всему-то растянувшемуся обозу.

XVII. На озерѣ Джалангачь

Стало совсѣмъ темно, когда обозъ пришелъ, наконецъ, къ озеру. Большимъ серпомъ разстилалась передъ нимъ водная поверхность, окруженная черными берегами. Обозъ сталъ съ одного конца этого серпа, у самаго кургана.

Въ порядокъ эту ночь не строились, — не до того было. Да и гдѣ тутъ о порядкѣ думать, коли еще за версту половина бѣгомъ пустилась. Ребятишки изо всей силы бѣгутъ къ водѣ, падаютъ въ темнотѣ, ревутъ; бабы тоже, подобравъ подолы, дуютъ. Воламъ удержу нѣтъ.

Никонъ и изъ мужиковъ, кто поумнѣе, кричатъ, чтобъ скотину держали, не сразу къ водѣ припускали.

— Передохнутъ, съ жару нарвавшись, помяни мое слово. Ворочай головами отъ воды, не выводи изъ-подъ ярма; пущай такъ перестоятъ!—распоряжался обозный.

Кто послушалъ, а кто съ телѣгами въ воду заѣхали, по самые животы, а назадъ повернуть ужъ не могутъ, помощи просятъ.

Одинъ мальченко чуть не утонулъ было; дѣвку одну что-то въ прибрежной грязи за босую ногу цапнуло; взвизгнула она не своимъ голосомъ, а все на берегъ нейдетъ, пригоршнями воду глотаетъ.

Кричатъ, ругаются; дѣти—кто плачетъ, кто смѣется; бабы ссорятся, скотина реветъ — та, что къ водѣ не пустили. Собаки, ни съ того, ни съ сего, выть начали. А тутъ еще верблюды чьи-то паслись, испугались; не разбирая дороги, прямо черезъ обозъ бѣгутъ, переваливаясь, тоже ревутъ по-своему; въ темнотѣ словно чудовища горбатыя кажутся. Киргизъ верхомъ прискакалъ, гикнулъ такъ, что въ ушахъ зазвенѣло, и назадъ удралъ.

Да, озеро Джалангачь, съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ, вѣрно, въ первый разъ на своемъ берегу такую смутицу видитъ.

Только къ полуночи управились и, мало-по-малу, въ порядокъ привели дѣло; тогда только и огни раскладывать начали. И какіе же костры запылали здоровенные, благо на берегу да на бугрѣ много колючки нашли и сухого «перекати-поля».

Полегче стало немного дѣдушкѣ Денису, какъ его сырымъ вѣтеркомъ обдуло и ночною прохладою; полѣзъ онъ съ воза, на землю сталъ, а ноги-то ужъ плохо держатъ и подгибаются; за возъ ухватился, старый, стоитъ.

— Говорила: брось котелъ, надорвешься—нѣтъ, упрямый, тащитъ въ гору!—сказала съ легкимъ укоромъ Марина и подошла помочь дѣду.

— Не то,—покачалъ тотъ сѣдою головою,—не то! Котелъ дѣло плевое—эвося, твой котелъ, гляди!

И онъ одною рукою сдернулъ съ воза котелъ и опустилъ его на землю; Марина даже и подсобить не успѣла.

— Блажной! — произнесла она. — Что остатками-то хвалишься! Вотъ я тѣ, дѣдушко, здѣся кошемку подстелю, ты и сиди. Къ озеру не ходи, сама принесу въ ковшикъ, помыться. Рубаху приготовлю, перемѣнишь. Ишь, ты вѣдь вся пропотѣла какъ!

— Перемѣню, рубаху перемѣню, это хорошо. Ты дѣвка добрая, Господь тебѣ завсегда опосля уважитъ за то, что стараго дѣда не забываешь, печешься, — это первое дѣло. Подсунь полушубокъ. Ладно! Ой, батюшки!.. О-охъ!

— Что тѣ?

— Голову ломитъ, просто свинцовая аль вотъ булыжная, инда плечи не держатъ. Намочи платъ да накрой. Орда, совсѣмъ орда! Нѣшто такъ обозы ставятъ? Таборъ цыганскій!

Денисъ оглядѣлъ обозъ, приподнявшись на локтѣ, и опустился головою на сложенный полушубокъ, глаза закрылъ и тихонько стонать началъ.

— Напекло!—подошелъ Никонъ.—Какъ бы, оборони Богъ, не разнемогся; дѣло старое!

— Небойсь, не помру дорогою, — разслышалъ эти слова Денисъ,—на Сыръ-рѣку здравъ дойду!

— Дай-то Господи!

Стали все по хозяйству ладить; Никонъ съ Мариною оставили старика. Тотъ задремалъ, должно-быть, или такъ притихъ. По всему обозу тоже все устроилось. Яркими красными столбами отражались въ водѣ разложенные костры, трещала сухая трава, и вмѣстѣ съ дымомъ летѣли въ воздухъ тысячи мелкихъ искръ, мелькая въ темнотѣ, словно мухи огненныя. И на томъ берегу, далеко-далеко, чуть-чуть мигалъ огонекъ, и доносилось ржаніе лошади. Тамъ тоже стояла телѣга, и двѣ темныя фигуры сидѣли у огонька, подогрѣвая чайники. Дядя Василій тамъ нашелъ себѣ квартиру. Это первый разъ, что онъ сталъ не вмѣстѣ со всѣмъ обозомъ.

Тутъ недалеко и станція почтовая виднѣлась: землянка и двѣ кошемныя кибитки; позади нихъ загонъ для разгонныхъ лошадей, обнесенный камышевымъ заборомъ. Тамъ дальше еще видны были огни, — это ужъ небольшой киргизскій аулъ стоялъ. Вообще на томъ берегу было люднѣе, можетъ, оттого и дядя Василій выбралъ для почлега именно это мѣсто.

— Чайку бы теперь хорошо попить!—потягивалась Авдотья, Степанова хозяйка.

— Откедова взять чаю-то этого?—проворчалъ Степанъ.—Набаловалась въ Орскѣ-то, съ солдатами.

— А ты не кори! Покаялась, ну, и не кори, чаго попрекаешь!

— Я не корю, я такъ, къ слову... Варить станешь что? Оно бы таперь варенаго — первый сортъ. Засыпь крупы въ чугунчикъ!

— Не охота что-то съ горшками возжаться... Чу-кось! Это кто поетъ-то?

Съ того берега донеслась пѣсня; только и долетала самая малость, а Степанъ разслышалъ, что и поютъ даже.

— «Лучину»,—произнесъ онъ. — А это, вишь, Маметка свою «адалайгу» взвылъ; ишь, ты, совсѣмъ по-волчьи!

— Чтой-то у насъ тихо! — прижалась къ нему Авдотья.

— Притомились!

— А помнишь, Степа, ась?

И Авдотья прижалась къ мужу еще плотнѣе, рукою обвила за шею. Сидятъ они въ тѣни, за возомъ, ну, ихъ и не видно.

И думается въ то время Степану: «Чѣмъ бы не жизнь? Да не лежитъ къ ней мое сердце. Оно точно, иную пору жалость станетъ,—ну, простишь, ничаго. А ужъ какая же она мнѣ жена, какая хозяйка? Вотъ таперь ластится, а тамъ, гляди, опять... Законъ сказалъ, человѣкъ не долженъ, потому не порядокъ. Вотъ другіе мужья бьютъ, отучаютъ, потому, можетъ-быть, имъ надобно, можетъ, любятъ они женъ-то, ну, учатъ для своего обиходу, а мнѣ все одно. То есть, во, приди кто, скажи: Степанъ, твоя хозяйка, поди, погляди, съ дядею Василіемъ чай лакаетъ, — это, молъ, не спроста! Наплевать! То-есть, какъ есть наплевать, одно слово».

— Степа!

— Чаго?

— У дяди Василія, я видала, цѣлый капшукъ чаю!

— Ну?

Степана инда въ жаръ бросило. Неужели же это она даже въ мысли къ нему залѣзла?

— Поди, попроси щепотку, до смерти хочется. Подь, родной, подь, касатикъ.

— Просить идти... нѣтъ не пойду! — отодвинулся Степанъ отъ своей хозяйки.

— Что такъ?

— Далеко больно! — сказалъ Степанъ, подумавши, а самъ не то сказать хотѣлъ, да не выговорилось.

— Ладно же!

Встала Авдотья, синюю безрукавку накинула, платокъ кумачевый повязала на голову по-дѣвичьи, концы подъ бороду.

— Куда? — поднялся Степанъ, и рука у него протянулась, будто бы онъ за косу хотѣлъ поймать свою хозяйку, благо коса на поларшина изъ-подъ платка виднѣлась.

— Куда надоть! — отклонилась Авдотья и пошла межъ возовъ, мелькая своимъ краснымъ платкомъ, когда ей приходилось проходить освѣщенное огнями пространство.

Поглядѣлъ ей вслѣдъ Степанъ, усмѣхнулся, налилъ въ деревянную чашку воды, насыпалъ туда изъ мѣшка сухарей пригоршню, размѣшалъ ложкою, соли досталъ изъ досчатой солонки, перекрестился и сѣлъ ужинать, только первымъ глоткомъ чуть-чуть не подавился, опустилъ ложку на край чашки, уставился глазами въ ту огненную точку, что на томъ берегу мигала, да такъ и просидѣлъ за полночь, забывши о своихъ сухаряхъ намоченныхъ.

Прошелъ добрый часъ; опять съ того берега долетѣла пѣсня, опять Василій поетъ и Маметка ему подтягиваетъ. Чу! Вотъ и третій голосъ, тонкій такой, дрогнулъ и покатился по водѣ, словно мелкимъ серебромъ разсыпался.

Тогда только опомнился Степанъ и принялся съ голодухи за обѣ щеки закладывать.

XIX. Попутчица.

Еще засвѣтло, вечеромъ на джалангачскую почтовую станцію пріѣхалъ тарантасъ, а въ тарантасѣ купецъ сидѣлъ, здоровый такой, краснощекій, брюшко съ отвальцемъ; сумочка черезъ плечо укладистая, черезъ брюхо цѣпь золотая съ печатками, въ полфунта вѣсомъ, сапоги бутылками. Самъ въ бѣломъ пальто, а штаны плисовые, гранатнаго цвѣта, — степенный купецъ и, какъ слѣдуетъ быть купцу, маленько выпивши. Съ купцомъ чиновникъ ѣхалъ, очень ужъ не изъ важныхъ, фуражка, однако, съ звѣздочкою.

Купецъ лежалъ, почитай, во весь тарантасъ вытянувшись; одна нога для прохлады ямщику въ спину упиралась, другая въ сторону, вонъ изъ тарантаса глядѣла; чиновникъ сидѣлъ съ почтеніемъ, къ боку прижавшись, чтобъ его степенство не обезпокоить.

Ѣхали они въ Ташкентъ изъ Нижняго. Купецъ по своей надобности, чиновникъ—по казенной, такъ ему и подорожная съ двумя печатями была выдана; а какъ по казенной много дешевле, чуть не на половину, такъ оно и разсчетъ былъ купцу прихватить съ собою его благородіе. Однимъ словомъ, разлюбезное дѣло для обоихъ было. Тарантасъ, плата за лошадей, чай, ромъ, водка, закуска дорожная, все, что требуется,—его степенства; подорожная и почетъ—его благородія.

Одно только бѣда: его степенство выпьетъ, бывало, сколько слѣдуетъ, и заблажитъ, его благородіе тоже пропуститъ по препорціи, уступить не захочетъ,—карамболь въ тарантасъ, на всѣхъ-то рысяхъ, устроютъ, а потомъ сейчасъ—стой!

— Вонъ изъ моего тарантаса!—кричитъ его степенство.

— А подъ судъ хочешь?—бодрится его благородіе, а самъ думаетъ: «ну, те къ лѣшему, еще и взаправду высадитъ одного середь степи, что съ нимъ подѣлаешь»!

Сперва начнетъ пугать, привирать, что, молъ, онъ съ казеннымъ порученіемъ, бумаги везетъ по торговой администраціи или насчетъ войны коканской, что, молъ, за него отвѣчать можно...

А купцу наплевать кричитъ себѣ знай: «вонъ изъ моего тарантаса!» пока не захрапитъ, навзничь крестомъ распластавшись.

А тамъ дальше поѣдутъ себѣ съ Богомъ; только какъ займетъ его степенство все логово, его благородію и останется самая малость. Тѣсновато, а то бы ничего, первый сортъ путешествіе.

Пріѣхали наши пассажиры на станцію Джалапгачъ, ночевать расположились. Что за охота, на ночь глядя, по степи ѣхать! Самоваръ казаку ставить велѣли, погребецъ выволокли, чайничекъ серебряный, колбасу, жестянку съ икрой, другую съ огурчиками маринованными, два флакона, одну бутылку большую, другую поменьше. Его степенство на всякій случай гармонію вытащилъ изъ-подъ подушки, его благородіе гитару—изъ ящика подъ козлами. Сѣли закусывать.

Съ часъ они этакъ-то чайкомъ баловались, разговоръ вели самый благородный, какъ по ихъ званію требуется.

— Да-съ, жалованье не Богъ знаетъ какое. Безъ дохода тоже по вашему дѣлу невозможно!—говорилъ купецъ, ковыряя ножомъ въ жестянкѣ съ паюсной икрой.

— Знаніе и опытъ нужны, вотъ что,—резонно замѣчалъ чиновникъ,—другой, по вольнодумству, сразу влопается, на пустомъ дѣлѣ, ну, а съ должнымъ пониманіемъ... Ну-съ, а насчетъ чего прочаго какъ теперь тамъ?

— Это въ Ташкентѣ-то? Тоже и насчетъ этого много просторнѣй стало. Прежде, бывало, дамскаго общества за сто рублей поискать, а теперь полно-съ — клубъ и за городомъ гулянье!

— Быть не можетъ!.. Пожалуйте!

— Благодарю покорно. Конечно, мнѣ изъ Нижняго зачѣмъ фамилію свою волочить, а семь рѣкъ переѣхавши...

— Хо-хо-хо!..

— Такъ-то-съ...

Купецъ подмигнулъ и потеръ ладонью пониже жилета, собесѣдникъ локтемъ толкнулъ его легонько; налили еще, выпили, другъ друга съ праздникомъ поздравили.

— А что, другъ, ты это на струнахъ-то подобралъ?—полюбопытствовалъ его степенство.

Онъ иногда на «ты» переходилъ, когда расчувствуется;—что-жъ, тутъ вѣдь по душѣ, обижаться нечего.

— Съ кѣмъ это вы говорить изволите, позвольте спросить? Кто такой это «ты»?

— А пѣшкомъ хочешь? Ну-ко...

Купецъ началъ на гармоніи персидскій маршъ наигрывать, попутчикъ взялъ гитару и колки подкручиваетъ; самъ ворчитъ, а струны перебираетъ пальцами,—ничего, ладно вмѣстѣ выходитъ.

— Стой! Слышалъ?

— Голосъ женскій!

— Казакъ! Эй, станціонный!

Высунулся станціонный изъ сосѣдней кибитки, услужливый такой, юркій казачишко.

— Кто это тамъ у васъ? Вонъ поютъ у озера!

— Проѣзжіе тоже, съ обозомъ. На томъ берегу весь таборъ, а на этомъ одна телѣга!

— Зови сюда!

— Слушаю-съ!

Не прошло и десяти минутъ, пришелъ дядя Василій, снялъ шапку, стоитъ, купца разглядываетъ; за нимъ Маметка прячется. Авдотья не пришла, у телѣги осталась.

— А баба гдѣ?—сразу повелъ дѣло его степенство.

Сразу и дядя Василій все дѣло сообразилъ. «Ну, думаетъ, погрѣться, малое дѣло, можно»!

— Совѣстится, бабенка молодая еще, непривычная къ господскому обществу!—почесалъ онъ затылокъ.

— Да вѣдь, братецъ, мы безъ всякихъ дурныхъ намѣреній,—заговорилъ его благородіе,—ну, въ дорогѣ, съѣхались на одной станціи, вмѣстѣ сошлись, все веселѣе!

Поговорили еще малость, а тѣмъ временемъ Маметка къ телѣгѣ сбѣгалъ. Дядю Василія посадили на коверъ съ купцомъ рядомъ, какъ онъ ни отнѣкивался. А Маметка поодаль въ темнотѣ, слышно, говоритъ какому-то:

— Да ну, иды, не бойся, зачимъ бойся, иды!

— Какъ бы Степанъ не пришелъ... Хи-хи-хи!—упиралась легонько Авдотья; однако компаніей не побрезгала, подошла, рукавомъ закрывается—стыдно, молъ.

Купецъ подушку велѣлъ принести изъ тарантаса, чтобъ сидѣть мягче было, извѣстно — дѣло дамское, спокойствія требуетъ.

Весело такъ стало на Джалангачской станціи. Банкетъ, одно слово!

Передъ разсвѣтомъ лошадей запрягли въ купеческій тарантасъ; усаживаться стали. Купецъ первый полѣзъ, умостился поудобнѣе; уголъ погребца все подъ локоть попадался, поправилъ казакъ и это дѣло.

— Ну, полѣзай!—говоритъ его степенство Авдотьѣ.

— Да какъ же, теперича, отъ своего законнаго...—опять стала она упираться.

— Ну, что за вздоръ. Вы въ Казалу идете, мы тоже мимо Казалы поѣдемъ, — уговариваетъ его благородіе. — Это рѣшительно все равно. Чѣмъ съ обозомъ двадцать дней тянуться, тутъ въ три дня докатимъ. По крайней мѣрѣ, съ комфортомъ. Садись, садись, не задерживай!

— Дура, не ломайся, чаго, въ самомъ дѣлѣ, отъ своего счастья пятишься? Озолочу!.. — пыхтитъ купчина. — Садись вотъ рядомъ. Ты куда? Полѣзай на козлы: видишь, дамѣ мѣсто надо.

— Однако, какъ же это на козлы? Позвольте, милостивый государь!

— А пѣшкомъ хочешь?

— Садись, садись, Авдотья Лукьяновна, садись; насчетъ Степки не сумнѣвайся: все какъ есть оправлю!—уговариваетъ Василій.

— Садысъ!—подсаживаетъ Маметка.

— Вотъ видишь сама: изъ твоего же обоза земляки, а дѣло говорятъ. Получай, ребята!

— Покорнѣйше благодаримъ! За что жаловать изволите?

— Давай, пожалыста, больше!

— Да мы всѣ трое, можетъ, помѣстимся; я этотъ сундучекъ и такъ сзади привяжу.—Казакъ, нѣтъ-ли, любезный, веревочки?

— Трогай!

— Эй, вы, други!

Легче, ой! Экъ тряхнуло!

— Съ Господомъ!

Только пыль столбомъ взвилась изъ-подъ колесъ тарантаса, и въ этой пыли мелькали: то конскія головы, то широкая спина ямщика въ верблюжьемъ халатѣ, то красный платокъ на головѣ Авдотьи—Степановой хозяйки, то... чортъ его знаетъ что! Все дальше и дальше уносился тарантасъ; вотъ уже одна пыль видна, вотъ ужъ и та разсмѣялась.

— Это нашъ теперь будетъ; ничего, коврикъ отличный, заграничная штука!—говорилъ казакъ, стряхивая съ забытаго ковра остатки закуски и стекла разбитой посуды.

— То-то въ обозѣ смѣху будетъ!—произнесъ дядя Василій, укладывая въ кошель пару красненькихъ. — Одначе и намъ пора. Напой коней, Маметъ, да смотри, молчи, не сказывай, какъ дѣло было: напутаешь съ дуру. «Знать не знаю»— одно слово!

— Зачимъ сказать! А ты зачимъ два бумага положилъ: одинъ моя, другой—твоя; давай пожалыста!

— Ладно, братъ, послѣ. Чу-ко-сь, никакъ въ обозѣ шевелятся!

XX. Степанъ думаетъ—Никонъ сказываетъ.

Напоили скотину, воды набрали въ баклаги; теперь уже никто не забылъ про воду; въ кувшины, въ бутылки, во все, что у кого нашлось подходящаго, поналивали. Тронулись. Стали озеро огибать, передніе возы уже со станціей поравнялись.

«Не пришла, подлая,—думаетъ Степанъ,—мужъ тутъ вотъ одинъ управляйся, а она здѣся ждетъ тебя барыней!»

А вотъ и телѣга дяди Василія; Маметка пристяжную впрягаетъ; глядитъ Степанъ—нѣтъ Авдотьи «гдѣ же это она, въ самъ-дѣлѣ?»

— Ты, слышь, Степа, я тутъ не причемъ!—подошелъ къ

нему «мутило».—Я, братъ, про эвти дѣла хоша знаю, одначе самъ не грѣшенъ; ни, то-есть, вотъ сколько!—говоритъ Василій и на пальцѣ-мизинцѣ показалъ при этомъ самую малость.

— Это ты про что?—спросилъ Степанъ, а самъ все хозяйку свою глазами ищетъ.

— Я про жену про твою!

— Ну?

— Какъ она это ушла теперь...

— Ушла?

— Сѣла это съ купцомъ и покатила. Вотъ, Мамета спроси, онъ видалъ!

— Маметка, ты видалъ?

— Въ Казала побижалъ. Купецъ побижалъ, она побижалъ, оба-два побижалъ. Я сказалъ: ни хады, Василь сказалъ: ни хады,—она побижалъ!

— Съ купцомъ?

— Да, другъ любезный; пришла она къ намъ это чайкомъ побаловаться, а тутъ проѣзжій, богатѣющій купецъ: «намъ, говоритъ, по дорогѣ—подвезу; чѣмъ съ обозомъ идти, лучше въ тарантасѣ!» Куда же ты? Погоди, разскажу!

Махнулъ рукою Степанъ-малышъ, утеръ глаза рукавомъ рубахи,—слеза-то не шла, а такъ утеръ и пошелъ возъ свой догонять. Пока съ Василіемъ говорили, обозъ-то все шелъ, ну, и пришлось теперь догонять, ходу надбавивши.

Широко шагаетъ Степанъ-малышъ, такъ и забираетъ дорогу; руки за спину заложилъ, глаза въ землю уставилъ, да и дуетъ. Вотъ и съ возомъ своимъ поравнялся, и не взглянулъ даже, дальше идетъ; вотъ и переднихъ обошелъ, все идетъ.

— Куда, братъ? Нѣшто пѣшкомъ догонишь! — кричитъ сзади дядя Василій.

Молчитъ Степанъ да знай-себѣ шагаетъ.

— Заколодѣло, это бываетъ! — рѣшилъ дядя Василій и сталъ лошадей одерживать.

Скоро разнеслась по обозу вѣсть объ Авдотьиномъ побѣгѣ. Загалдѣли мужики; пуще же всего бабы языки чесали.

— Сто рублевъ купецъ подарилъ, а пріѣдемъ, говоритъ, еще дамъ сорокъ!—узнала откуда-то Анисья рябоватая.—Ишь, вѣдь гулящая!

— Эко счастье бабѣ-то привалило! — вздохнула сноха

Евсѣева, Прасковья.—Шутка-ли, сто сорокъ! Эвтихъ денегъ въ сто годовъ не заработаешь!

— Что-жъ теперь, какъ ее пымаютъ?—полюбопытствовала еще одна бабенка.

— Тоже не похвалятъ!

— Таперича за этакія дѣла дуть ее надо, пока не сдохнетъ; а опосля того все-жъ дуть, пока не очнется, то-есть, до седьмого поту дуть!—рѣшилъ Евсѣй-рыжій.

— Нонѣ нельзя!—замѣтила борода клиномъ.

— Свою жену, да нельзя?

— Невозможно...

— Таперича, коли-бъ такъ сдѣлала моя Татьяна, я-бъ ее, каторжную, пробралъ!

— А таперь чего-жъ лаешься?—обидилась, надо полагать, эта самая Татьяна.

— Эй, дядя Василій, такъ какъ это ты сказывалъ?

И пошли суды да пересуды по всему обозу. Дня на три тогда разговору этого хватило; съ чего ни начнутъ, все сведутъ на Авдотью, Степанову хозяйку, пусть ей не ладно икнется.

А Степанъ все шелъ.

Тихая, безпредѣльная степь-пустыня разстилалась по обѣ стороны, сзади и спереди. Солнышко выглядывало уже изъ-за синяго края. Лента-дорога тянулась далеко, пропадая за песчаными буграми; слѣдъ колесный виднѣлся на ней.

— Колеса-то шипованныя, — замѣтилъ Степанъ; назадъ оглянулся—не видать обоза. Вздохнулъ глубоко этакъ, всею грудью, махнулъ рукою и произнесъ:—ну, тя къ Господу!

И вдругъ легко этакъ у него стало на сердцѣ; только одно онъ подумалъ, то самое, что въ то же время Никонъ своей Маринѣ сказывалъ.

— Жаль Степку!—говорила Марина.

— Чего жаль?—усмѣхнулся Никонъ.

— Хозяйка-то это отъ него ушла!

— Дай Богъ ему, чтобъ назадъ не вернулась: не по рукѣ рукавица...

Вотъ это самое и Степанъ подумалъ, и стало вдругъ ему такъ весело, что во всю-то степь Каракумскую зазвенѣла пѣсня молодецкая.

Далеко слышно въ тиши да на утреннемъ воздухѣ; долетѣла эта пѣсня и до отставшаго обоза, а первая услыхала ее Марина. Засмѣялась она и говоритъ Никону:

— Слышь? Это Степка. Эхъ, ты, горе-парень, золотое сердце!

XXI. Кара-Кумы.

Прошелъ обозъ «Ката-Куль»-озеро, прошелъ «Джалавли»-рѣку. Потянулись передъ ними бугры песчаные, перевалы сыпучіе, перегоны тяжелые...

Отъ станціи Терекли до самаго взморья Аральскаго, а оттуда еще верстъ на сто съ залишкомъ залегли барханы наноснаго песку, и межъ этихъ бархановъ проѣзжая дорога проложена, мѣстами твердая, укатанная, а мѣстами пересыпанная пескомъ, словно зимою снѣгомъ, послѣ сильной замети. Бѣда проходить этими заносами! Осыпается песокъ подъ ногою и копытомъ, ходу не даетъ, и врѣзываются въ него ободья колесныя чуть не по самую ступицу.

Верстъ на двадцать иногда тянется такой заносъ — изъ силъ выбьется скотина, пока его перевалитъ; а въ одинъ день, пожалуй, и не поспѣешь, потому на одной верстѣ иную пору больше часу пробьешься.

Оно бы, когда въ силѣ скотина, ничего бы, а то какая сила безъ корму да безъ пойла! Воламъ-то свои ноги только въ пору выволакивать. Исхудали животы — страсть! Кожа только широкія кости обтягиваетъ; натерло ярмомъ кровавыя ссадины, муха на нихъ налипла; ревутъ, бывало, волы отъ боли и зуда, а все, знай, прутъ, не выдаютъ хозяевъ. Потомъ, какъ обойдутся, обтерпятся—ничего, а съ ночлега, на отдохнувшія плечи, куда какъ неловко; съ мѣста не хотятъ трогаться, потому на ярмо навалить больно.

Запасные волы давно въ ходъ пошли, чуть уже не вся скотина перепорчена; ужъ имъ и войлочки подъ ярма подкладываютъ, и тѣмъ-другимъ примачиваютъ—ничего нѣтъ проку.

Жаръ страшный, накаленные бугры словно печи. Иной переходъ ни кустика, ни травинки не видно, прямо въ сѣрое небо упираются желтые гребни, даль загораживаютъ, тоску на душу нагоняютъ неразгонную.

Другой воды, кромѣ колодезной, нѣтъ и въ поминѣ; а ко-

лодцы эти далеко одинъ отъ другого разбросаны, гдѣ по два, по три вмѣстѣ, гдѣ въ одиночку, иногда близъ самой дороги, а то и версты за три въ сторону, не скоро отыщешь.

Попадаются колодцы съ хорошею водою, чистою, какъ слеза, холодною, какъ ледъ, а больше такіе попадаются, что изъ него несетъ, точно изъ помойной ямы; вода въ такихъ колодцахъ мутная, соленая и гнилымъ яйцомъ отзывается.

Потомъ, какъ узнали обозники, что не всегда найдутъ воду годную, стали для себя въ посуду запасать; воловъ же всякой водою поили, благо пили, не брезгали.

Что пуще всего убивало—это безкормица. Придутъ къ ночи, погонятъ скотину на подножный, гоняютъ, гоняютъ по буграмъ, ну, и достанется, можетъ, по былинкѣ на животъ,—съ чего тутъ силы набраться? Сухарями было подкармливать хотѣли, да боязно! А ну, какъ самимъ не хватитъ?

Падать начала скотина. Штукъ восемь уже бросили на дорогѣ. Одинъ возъ тоже близъ «Саппака»-станціи бросили: на себѣ не потащишь. Совсѣмъ пріуныли обозники.

Не слыхать уже ни пѣсенъ веселыхъ, ни смѣху, идутъ, словно кого близкаго хоронятъ.

Пыль и грязь совсѣмъ одолѣли, рубахи третью недѣлю не смѣнены, лица не мыты, головы не чесаны; какая была рубаха—красная или синяя, бѣлая, что-ли, съ прошивками и кумачными ластовками,—теперь всѣ одинакія стали отъ грязи, звѣрье завелось—мука! Не мыться же, въ самомъ дѣлѣ, когда воды только на питье хватаетъ. Иной разъ придутъ къ колодцамъ, а воды въ нихъ нѣтъ, одна грязь на днѣ; впереди, можетъ, караванъ прошелъ, всю высосалъ; ну, ждать придется всю ночь, бывало, до утра, пока не наберется свѣжая, а тутъ дальше идти надо, время терять невозможно, харчи на исходѣ; какое же тутъ мытье!

Жарко стало такъ, что идти не подъ силу. Рѣшили на сходкѣ, по Никонову совѣту,—ночью идти, сколько успѣютъ, днемъ—стоять. Вышло много вольготнѣе.

— Такъ вотъ они, эти Кара-Кумы проклятые!—покачивали головами мужики.—Таперь это совсѣмъ бѣда; одно слово, пропадать приходится,—а, впрочемъ, ничего, слава тѣ, Господи, идти можно...

Ну, и шли, назадъ не ворочались.

XXII. Берегись оба!

Совсѣмъ старый Денисъ плохъ сталъ; съ воза такъ уже больше и не слѣзалъ. Ѣсть не ѣстъ, пьетъ тоже самую малость, высохъ весь, почернѣлъ; лежитъ на возу, словно мощи, даже глядѣть страшно.

— Не дойдетъ!—говорилъ тихонько Никонъ Маринѣ.

— Помретъ дорогою!—тоже думала и Марина.

— Придемъ-это мы на Сыръ-рѣку, Господь поможетъ, я пчелъ водить стану,—шамкаетъ чуть-чуть слышно старый.— А то рыбачить тоже дѣло хорошее. Таперича, если купить полпуда нитокъ суровыхъ да бичевы фунтовъ десять,—Степанъ бредень сплететъ семисаженный, съ двумя корнами... Ой, батюшки!

— Что тѣ, дѣдушка?

— Духъ вотъ въ эвтомъ мѣстѣ самомъ спираетъ, не продохнешь... Охъ, Господи!..

Грустно станетъ Маринѣ, слезы у ней подступятъ, зайдетъ за возъ, рукавомъ утретъ, а тутъ Никонъ подойдетъ къ ней, обнять не обниметъ, потому при людяхъ тоже зазорно, а этакъ толкнетъ подъ бокъ, либо въ спину поласковѣе, и скажетъ:

— Ты вотъ что, не убивайся больно, потому онъ свое пожилъ; на томъ свѣтѣ, чай, давно его спрашиваютъ!

— Да все жалко же дѣдушку-то... Помретъ на чужой сторонѣ, середь песковъ этихъ...

— Помретъ—похоронимъ. Дай Богъ и намъ съ тобою до такихъ его годовъ дожить, вотъ что!

— Вчера вотъ дядя Василій приходилъ, глядѣлъ, говоритъ тоже: «не долго проживетъ». Все это про достатки разспрашивалъ, много ли того, много ли другого...

— Ему зачѣмъ?

— Не знаю. Спрашивалъ еще...

Марина закраснѣлась и потупилась.

— Ну, сказывай!

Брови у Никона сдвинулись, кнутовище въ кулакѣ чуть не хрустнуло, такъ въ ладонь и врѣзалось.

— Ты, говоритъ, не дѣвка, а... Да ну его къ лѣшему, что разсказывать! Я его облаяла, да и отошла, плюнумши!

— Такъ...—произнесъ Никонъ, да и понаперъ плечомъ подъ телѣжную грядку; волы-было чуть не стали въ пескѣ, да съ хозяйской подмогою однимъ духомъ выволокли.

Больше въ тотъ день и разговору у Никона съ Мариною не было.

Къ утру, только какъ съ водопоемъ управились и прогнали скотину за барханы, народъ кто куда поразбрелись, всякъ за своимъ дѣломъ, разсказала Марина Никону все, о чемъ она съ дядею Васильемъ говорила.

— Пришелъ онъ, тебя не было, къ гурту ходилъ,—пришелъ и говоритъ: «Я къ тебѣ съ словомъ, Марина... какъ тебя по-отцу величать не знаю, по-дѣдушкѣ не приходится.— Что тѣ?—спрашиваю.—Повѣнчать васъ съ Никономъ,—говоритъ онъ,—никакой попъ не повѣнчаетъ; ты вотъ не знаешь, а я знаю доподлинно, что Никонъ пытался-было у отца протопопа еще въ запрошломъ лѣтѣ, да нельзя, говоритъ: сродственники. А что онъ думаетъ, таперича, въ Казалѣ у незнакомаго повѣнчаться, все это тоже одно пустое дѣло, потому завсегда добрые люди найдутся и попа этого надоумятъ,—значитъ, куда ни кинь, все клинъ выходитъ... А какъ я таперича вдовъ состою и все прочее, что тамъ у тебя, какъ съ Никономъ, одно слово, не погляжу; ну, и какъ, значитъ, выйдетъ твое рѣшеніе насчетъ, то-есть, законнаго...

— Ну?—сказалъ Никонъ, а самъ сидитъ туча-тучею.

— Ну, что ну! Сказывала тебѣ, что облаяла да плюнула. Такъ и отсталъ!

Въ тотъ же день, передъ вечеромъ этакъ, пришлось Никону Денисычу съ дядею Васильемъ у колодца встрѣтиться.

— Здорово, староста! Какъ тѣ Господь помогаетъ? Что старому легче?—спросилъ Василій, а самъ глядитъ этакъ весело и кнутовищемъ по сапогу пощелкиваетъ.

Пристально поглядѣлъ на него Никонъ, такъ-что того инда въ потъ кинуло, да и говоритъ:

— На сорокъ шаговъ мимо воза обходи, а Марину встрѣтишь—бѣги за версту. Слышишь?

— Что такъ?—усмѣхнулся дядя Василій.—Она дѣвка вольная; кто она тебѣ такая доводится? Откедова такой пестунъ непрошенный выискался?

*

— Про то я знаю, да она, да Господь-Богъ, потому онъ все знать долженъ, а ты мое теперешнее слово помни!

— Поди, проспись, что, ровно медвѣдь, на роженъ прешь? Отваливай!

— Не ровенъ часъ—убью...

— Такъ-то?!

Никонъ отвернулся и пошелъ прочь отъ колодца, а Василій поглядѣлъ ему вслѣдъ да накрѣпко зубы стиснувши, процѣдилъ: «Ладно, еще кто кого, посмотримъ!»

XXIII. Цѣпной песъ.

Скучновато было Степану первое время, да потомъ попривыкъ.

Какъ придутъ на стоянку, сейчасъ воловъ въ гуртъ пуститъ и пойдетъ бродить по обозу. Бродитъ, бродитъ, съ тѣмъ поговоритъ, съ другимъ, кому что поможетъ, ребятъ поянчитъ и опять пойдетъ шляться; только всегда такъ выходило, что, въ концѣ-концовъ, около Денисова воза очутится. Ласково поздоровается съ нимъ Марина, Никонъ тоже не гонитъ,— вотъ онъ тутъ и сядетъ. Сваритъ Марина поѣсть чего, онъ отнѣкивается сначала, а потомъ ничего, возьметъ ложку и и ѣстъ-себѣ на здоровье; что-жъ гдѣ трое сыты, тамъ четвертому всегда найдется.

Тоже вѣдь онъ и отъ помоги не бѣгалъ. Никонъ, бывало, пойдетъ что по обозу распорядиться, онъ все за него около воза устроитъ: подмажетъ, подкрѣпитъ, подвяжетъ. За дѣдомъ больнымъ тоже уходъ требуется, гдѣ Маринѣ одной все управить! Да и Денисъ полюбилъ его шибко. Степанъ ему пѣсни пѣлъ, тотъ Степану про божественное говорилъ, такъ и утѣшали другъ друга. Дѣдъ на возу лежитъ, окошко себѣ въ боку проковыряетъ, Степанъ рядомъ идетъ, оно и способно на ходу всякіе разговоры вести.

Да и кстати пришлась Степанова подмога въ эту пору, потому дѣдъ ужъ чуть-чуть-что пошевеливался; на возъ класть да съ воза снимать все равно на рукахъ, какъ малаго ребенка, надо было.

Марина шибко ласкова была къ Степану, Степою называла; Никонъ не хмурился, не подшучивалъ, не подсмѣивался надъ

его «оказіей», какъ другіе, и самъ Степанъ Денисовъ возъ словно за свою избу считать началъ.

— Ты, братъ, слушай!—сказалъ ему какъ-то Никонъ.— Чѣмъ тебѣ особнякомъ идти, иди за нами. Тамъ что опосля выйдетъ, про то не знаемъ; можетъ, хозяйка воротится, коли въ Казалѣ тебя не дожидается, а пока что—держись вмѣстѣ, такъ и становись рядомъ, будемъ сусѣдями...

Крупа была у Степана, мѣрки въ двѣ, гречневая, сухарей мѣшокъ, сала соленаго нашлось фунта четыре,—все это добро съѣстное перетаскалъ онъ къ Маринѣ: «что-жъ, говоритъ, я у васъ обѣдать буду!»

Такъ дѣло и устроилось совмѣстное.

Только дядѣ Василію это было не совсѣмъ-то по сердцу. Замѣтитъ, что Никонъ ушелъ отъ обоза, и начнетъ бродить по близости, съ Мариною норовитъ заговорить. При Никонѣ же все опасается послѣ того разговора.

Подходитъ, бывало, онъ къ возу, у котораго Марининъ платокъ алѣетъ, да голосъ ея густой слышится, глядь, а тамъ Степанъ-малышъ сидитъ, ну, и не сподручно.

Осердился дядя Василій. «Ишь, говоритъ, — какого пса себѣ цѣнного выискали—тоже, чай, не спроста!

XXiV. Могила дѣда Дениса.

Разъ, пройдя всю ночь безостановочно, стали подходить они къ взморью. Самое-то море Аральское много правѣе было, верстъ за сорокъ, а заливы его да затоны соленые вплоть къ самому тракту приходились. Урочище-то «Акъ-Джулпасъ» прозывается, что значитъ по-русски—бѣло-дорожное, потому мѣсто низкое, маленько топкое; во всякомъ слѣду (колеса ли его проложатъ, конская ли нога или верблюжья лапа), какъ просохнетъ на солнцѣ вдавленное мѣсто, сейчасъ оно бѣлымъ налетомъ покрывается, соль морская сквозь песокъ проступаетъ; а большая дорога, укатанная,—та совсѣмъ бѣлая по темно-желтому песку тянется.

Давно обозники такой большой воды не видали. Ночью-то ея не видать было, а какъ стало разсвѣтать, туманъ разогнало, такъ и засверкали, словно зеркала, свѣтлые, широкіе водные затоны. Солнышко выглянуло, рябь на поверхности

всколыхнулась, длинная, золотая полоса отъ самаго солнца вплоть до этого берега черезъ воду перекинулась.

Чаекъ-рыболововъ надъ водою снуетъ видимо-невидимо; словно часовые, сидятъ неподвижно по краямъ отмелей большіе орлы-добычники и счастіе свое подкарауливаютъ. Вотъ одинъ рыболовъ къ водѣ спустился, черкнулъ крыломъ и прочь полетѣлъ, а въ клювѣ у него что-то серебряное блеснуло на солнцѣ. Завидѣвъ это, ближайшій орелъ подскокнулъ на мѣстѣ, крыльями взмахнулъ, взвился и съ разгону, прямо на чайку съ добычей; та сейчасъ тягу, рыбу-то бросила: «подавись, молъ, на, окаянный!» а тому только этого и надо.

Обрадовались обозники большой водѣ; для питья-то она, положимъ-что, совсѣмъ не годится, а помыться вволю можно. Рѣшили здѣсь дневку сдѣлать, такъ и расположились обозомъ, попросторнѣе.

Только на этой дневкѣ въ семьѣ Денисовой большое горе случилось; оно, можалуй-что, и жданное горе, а все-таки всѣхъ какъ обухомъ огорошило.

Еще съ половины перехода дѣдушка Денисъ совсѣмъ отходить началъ; метался, руками разводилъ, слова говорилъ несвязныя; потомъ притихъ, глаза закрылъ и заснулъ, а, можетъ, и такъ, забытье нашло, потому что Марина, сколько ни будила, добудиться не могла, да какъ вскрикнетъ на возу: «померъ дѣдушка!» Такъ половина обоза на этотъ ея крикъ и кинулась. Обступили кругомъ возъ, на ходу туда заглядываютъ; голосить бабы начали...

— Дышитъ еще,—сказалъ Никонъ, прислушавшись. —Гони ихъ, Степанъ; чаго, въ самомъ дѣлѣ, по живомъ человѣкѣ, словно по мертвомъ, развылись!..

— Иди, родные, съ Богомъ, иди! Говорятъ: живъ, иди!— отгонялъ народъ Степанъ. — Да полно, ты, Анисья, — иди! Слышь, твой пищитъ, чаго робенка кинула...

— Дѣдушка родимый, кормилецъ ты нашъ! — навзрыдъ рыдала Марина, припала къ старику и все его разбудить хотѣла, чтобы глаза открылъ, слово сказалъ какое...

— Слѣзь!—сказалъ Никонъ.

— Дѣдушка-а!..

— Э, да слѣзь же, брось! Человѣкъ, коли помираетъ, покоя требуетъ, а она его теребитъ; слѣзь!

Привсталъ Никонъ на конецъ оси, взялъ Марину въ охапку и сволокъ ее на землю.

Разошелся народъ. Никонъ шелъ подлѣ воза, все головою покачивалъ да затылокъ скребъ; Степанъ съ Мариною сзади шли: Степанъ молчалъ, да все глядѣлъ въ сторону, Марина плакала потихоньку да рукавомъ глаза утирала.

А дѣдушка Денисъ лежалъ на возу, какъ есть покойникъ! Голова сѣдая, отъ каждаго толчка телѣжнаго покачивается,— силы-то въ шеѣ ужъ нѣту вовсе; челюсть отвисла нижняя, и ротъ раскрылся. На сухой, костлявой груди чуть-чуть шевелится бѣлая рубаха; можетъ, это ее дыханіемъ приподнимаетъ, а можетъ, и вѣтерокъ работаетъ, прорываясь въ боковыя оконца.

— Съ вечера, нонѣ вотъ, рубаху чистую попросилъ, безпремѣнно, чтобъ бѣлую; словно чуялъ онъ свою кончину...— разсказывала Марина Степану сквозь слезы.

Степанъ и безъ этого разсказа хорошо зналъ, что было: да и какъ ему не знать, когда самъ же онъ, съ Мариною вмѣстѣ, и одѣвалъ старика, и подвертки ему новыя накрутилъ на ноги, и лапти-плетушки подвязалъ новою бичевкою.

— Ишь, ты, подумаешь,—тихонько говорилъ онъ, слушая Марину.—Вѣстимо, чуялъ...

— Помретъ таперь, середь степи, на дорогѣ... Вѣтромъ это...

— Оживетъ, дастъ Богъ. А тамъ, може, и полегчаетъ... Что его за старость, много ли всего за сто перевалило!.. — утѣшалъ Степанъ.—Бываетъ такъ, что вотъ совсѣмъ...

— На Сыръ - рѣку все дойти обѣщался, а тутъ вотъ, на поди...

— Можетъ, и дойдетъ...

Сталъ обозъ ко взморью подходить,—все не просыпается Денисъ. Построили обозъ становищемъ, скотину выпрягли, уладились, какъ слѣдуетъ,—все спитъ. Разостлали Никонъ со Степаномъ большую кошму, поверхъ ея рядно подъ голову, чтобы повыше было, устроили... Сняли Дениса всѣ втроемъ осторожно и положили на кошму. Прохладно такъ на сыромъ воздухѣ чисто!..

Марина изъ сундука образъ достала, темный такой, безъ оклада, только три пятна видно на немъ посвѣтлѣе, и въ головахъ его устроила, къ колесному ободу прислонивши.

— Хорошо бы таперь свѣчку восковую... — посовѣтовала тетка Анисья. Она все время толклась по близости и теперь стояла, глаза кулаками натирая до красна.

— Хорошо бы оно, точно, да гдѣ ее взять, свѣчку-то?

А тѣмъ временемъ стало разгонять туманъ и открывать воду. Чуть только выглянуло солнышко, открылись глаза у Дениса.

Вздрогнула Марина, и духъ у ней замеръ. Никонъ крестное знаменье сотворилъ наотмашь, а Степанъ за возъ зашелъ да оттуда глядитъ на Марину, а у самого слезы такъ и текутъ по лицу, незваныя, непрошеныя.

Зашевелилъ Денисъ своими сухими губами, глазъ съ золотой полосы не спускаетъ, что по водѣ разыгралась отъ солнышка. Руку хотѣлъ было поднять, да нѣтъ, видно уже и на это не хватаетъ силы.

— Вотъ и Сыръ-рѣка, слава тѣ, Господи! — сказалъ онъ тихо, но явственно такъ, слышно.

Отвернулся теперь и Никонъ, а Марина, такъ она словно закостенѣла.

Началъ опять что-то говорить Денисъ, только теперь уже ничего разобрать невозможно. Говорилъ, говорилъ да вдругъ и осунулся. И такъ онъ уже плашмя лежалъ на кошмѣ-то, а тутъ словно еще на полъаршина ниже опустился. Глаза его остались открытыми, только тусклые такіе стали, неподвижные.

Густая толпа стояла кругомъ; всѣ шапки поснимали, крестятся. Весь обозъ сошелся, только одного дяди Василія съ его татариномъ не было.

Порѣшили мужики хоронить своего старосту обознаго въ тотъ же вечеръ. Не везти же три дня съ собою тѣло въ такую жаркую пору.

Отвязали лопаты да пару желѣзныхъ заступовъ; могилу хотѣли вырыть тутъ же, у воды; начали копать—не ладно выходитъ: на первой же четверти вода проступила; бросили.

Нечего дѣлать, пришлось идти за полверсты, на песчаный курганъ; а на курганѣ томъ камней большущихъ десятка три

было сложено въ кучу; кто говоритъ: участокъ обозначенъ, значитъ—межа; кто говоритъ: киргизская могила.

Рыть пошелъ самъ Никонъ, съ нимъ Степанъ - малышъ, Дементій, сосѣдъ покойнаго Дениса по избамъ въ «Малыхъ-Кандалахъ», да еще человѣка четыре, для компаніи больше, потому тутъ и на три лопаты дѣла то не больно много.

Одна бѣда была—это за гробомъ да крестомъ. Откуда лѣсу взять, изъ чего все это сдѣлать? Степанъ сломалъ крышку съ своего воза, еще кое-кто, что у кого нашлось подходящаго, притащили. Никонъ со Степаномъ принялись тесать да сколачивать; къ полудню все дѣло обработали.

А тѣмъ временемъ на берегу, на самомъ припекѣ, просто что твою баню обозники устроили. Долго, не мывшись, всякую грязь да нечисть терпѣли, а тутъ, какъ дорвались до воды, и пошли полоскаться. Были и такіе шутники, что достали вѣники березовые, еще изъ Россіи припасенные, залегли въ горячій песокъ, да и хлещутся.

Никонъ тоже услалъ Марину отъ покойника подальше, чтобы бѣлье перемыла, время не тратила: «Пусть, молъ, за работою не такъ убивается...» Около покойника старуху Домну посадили, чтобъ постерегла малость, собакъ отгоняла.

Кто бы что ни дѣлалъ, всѣ въ ту сторону нѣтъ-нѣтъ, да и поглядываютъ; а бѣлый саванъ, что съ головою накрыли Дениса, далеко на красномъ пескѣ видѣнъ, такъ вотъ въ глаза и лѣзетъ.

Искали грамотнаго кого, почитать что-нибудь надъ покойникомъ, да такого не нашлось во всемъ обозѣ.

«Что-жъ,—думали мужики,—Господь-то, чай, знаетъ, что не откуда взять чтенія этого. Можетъ, по нашему сиротству не взыщетъ. Онъ вѣдь тоже милостивый!»

Коли бы кто другой померъ, дѣдушка надъ нимъ, на память, почиталъ бы, а то самъ начетчикъ Богу душу отдалъ. Дай ему Господь на томъ свѣтѣ всего, что полагается по его Господней милости!..

Вечерѣть стало. Положили дѣдушку въ гробъ; Степанъ впередъ пошелъ съ крышкою, за нимъ образъ, а за ними четверо мужиковъ гробъ понесли на длинныхъ полотенцахъ. Опять вытьо поднялось, а то было пріутихло.

Принесли на мѣсто, глядятъ—яма глубокая вырыта была,

а теперь дно совсѣмъ видно. Края-то, сыпучій песокъ, обвалились, до половины и засыпали. Опять разгребать пришлось. Справились.

Опустили гробъ, заваливать начали. Вырвалась Марина, сквозь народъ протолкалась, какъ взвоетъ не своимъ голосомъ и въ яму, прямо на крышку, бросилась,—насилу-насилу оттащили.

Всѣхъ проняло это ея горе, а пуще всѣхъ Степана. Реветъ парень, словно малый ребенокъ, а самъ знай пригоршнями песокъ загребаетъ, могилу заваливаетъ. Завалили живо.

— Слушай, братцы,—подалъ совѣтъ Евсѣй-рыжій.—Видали сами, легко было заваливать, легко и раскопать будетъ. Здѣся, можетъ, такое звѣрье есть, — мы вѣдь не знаемъ. Сказывали мнѣ еще въ Орскомъ, что водится здѣсь звѣрь, на нашего волка похожій, задъ у него только словно отшибленный, и очинно этотъ самый звѣрь могилы разрывать повадливъ... Какъ бы чего...

— Да что жъ ты, таперь, съ этимъ подѣлаешь? — спросилъ одинъ изъ мужиковъ.

— Камни эти перетаскать сюда надыть, вотъ что!

— А какъ *заругаютъ?*

— Кто это?

— Найдутся такіе! Нѣшто есть гдѣ земля, чтобъ не нашлось?..

— Здѣся степь, одно слово — пустыня, сторона вольная!

— Да, вольная! Такъ тѣ вотъ сейчасъ...

— Намнутъ вихоръ...

— Не намнутъ! Э, да что, въ самомъ дѣлѣ! Берись, ребята, разомъ! Заваливай!

Живо закипѣла работа; десятки рукъ бойко принялись за дѣло. Минуты не прошло, какъ каменная груда, съ торчащимъ шестомъ на вершинѣ, словно переползла съ одного мѣста на другое.

Шестъ убрали, а на самый гребень водрузили крестъ, сколоченный изъ телѣжной оглобли и запасной оси, — душа христіанская, значитъ, покоится...

И далеко сталъ видѣнъ этотъ крестъ, во всѣ стороны. Со стороны Казалы, когда ѣдешь, онъ за четырнадцать верстъ ясно видѣнъ, а со стороны Иргиза только за пять, — цѣпь песчаныхъ барханов съ этой стороны его заслоняетъ.

Шесть разъ приходилось мнѣ проѣзжать этой степною дорогою, и каждый разъ я, издали еще, отыскивалъ глазамъ на горизонтѣ могилу стараго Дениса. Каждый разъ я видѣлъ на вершинѣ грубаго креста большого орла-добычника. Птица сидѣла неподвижно и только головою ворочала въ слѣдъ за проѣзжающими. Орелъ словно сторожилъ эту забытую, одинокую могилу.

XXV. Рѣчи больно занятныя.

Схоронили обознаго старосту, одну заботу справили, — другая подошла. Дядя Василій первый это дѣло затѣялъ.

— А что, люди вольные, какъ же теперь быть-то?—началъ онъ.—Такъ, сами по себѣ пойдемъ, какъ кому вольготнѣе, аль старосту новаго выберемъ? — Чтобъ ужъ, какъ прежде, подъ одно начало?

Вотъ и задалъ онъ мужикамъ думу этимъ вопросомъ. Вѣдь староста-то померъ—надо, значитъ, новаго... Стали дальше соображать — иначе выходитъ. Всѣ вѣдь хорошо знали, что Денисъ покойникъ такъ только, ради почету, за лѣта его старостою считался, что всему дѣлу настоящая голова Никонъ, что и хлопотать имъ, потому, не о чемъ: и безъ того дѣло ихнее идетъ ладно да складно; что коли заговорилъ о выборѣ дядя Василій, такъ ужъ лучше его бы не слушать, потому, вѣрно, опять мутить станетъ.

— Не надоть старосты новаго! Никонъ Денисьевичъ какъ былъ головою, такъ и будетъ, чаго-жъ лучше искать!—громко заявилъ Дементій.

А онъ человѣкъ старый, покойниковъ сосѣдъ и пріятель, мужикъ степенный!

— Эвона, что затѣялъ,—старосту выбирать! Не самъ ли, молъ, другъ сердечный, въ старосты-то мѣтишь?

— Онъ, братцы, Маметку своего въ обозные прочитъ, татарина-то — хо-хо-хо! Эй, Саламалыкъ, хочешь старостою быть?

— Нѣтъ, братъ, Васька, отваливай! Ты на коняхъ, мы на волахъ,—больно прытокъ!

Загалдѣли мужики, какъ только Дементій первый голосъ подалъ. Да и довольны же они были, что безъ хлопотъ дѣло

устроилось, — какіе тутъ выборы — на дорогѣ! Еще коли-бъ дома, да подъ липами, на задворкѣ у Петра Исаича, ну еще ничего, для порядку слѣдовало бы, а тутъ, безъ водки, что за сходъ, только времени переводъ. Быть за старосту Никону, какъ допрежъ былъ, благо отъ мірского дѣла онъ не отнѣкивается.

Такъ и разошлись по возамъ, на томъ порѣшивши.

— Да мнѣ-то что? — говорилъ въ тотъ же вечеръ дядя Василій, сидя на коврикѣ около своей телѣги и чаекъ изъ зеленой, татарской чашечки прихлебывая.

— Это, братъ, ты точно. Это въ самый разъ!—поддакивалъ Евсѣй-рыжій.

Ему тоже дядя Василій чайку поднесъ въ ковшичкѣ. Шелъ Евсѣй мимо, а Василій кричитъ: заходи, другъ: у меня чайники скипѣли!—Вотъ онъ и подошелъ.

— Мнѣ что,—продолжалъ мутило,—мнѣ-то ужъ совсѣмъ наплевать, потому я ту сторону, не бывамши, хорошо знаю. Что Никонъ, что Дементій, что самого черта лысаго выберутъ—мнѣ все едино. Неужели я, таперь, съ вами, такъ въ кучѣ, и сидѣть буду, — тоже нашли дурака! Вы меня, можетъ, въ три года разъ увидите. Потому, какая теперь тамъ сторона—ась? Ты знаешь?...

— Не, не знаю, какая такая; говорятъ, что сдобренная, безъ навозу родитъ!

— Не про то я говорю.—Ты чего, другъ?

Мужиченко тутъ проходилъ мимо, да и остановился послушать.

— Я такъ...—замялся тотъ.

— Садись, гость будешь. Что Гришутка твой дышетъ еще? Садись вотъ на арчакъ!

— Ничего, слава Богу!

— Такъ вотъ оно. Дѣловъ въ этой сторонѣ много, хорошихъ дѣловъ; коли человѣкъ съ головой, онъ въ три года силу-капиталъ достать можетъ. А первое дѣло, что никто тебѣ не указчикъ—къ примѣру, по купечеству: поѣхалъ ты это въ степь, угналъ верстъ за двѣсти; ѣздишь по ауламъ одинъ, птица вольная! «Косоглазые» тебя это принимаютъ съ почетомъ, потому ты гость, «купакъ», по-ихнему, купецъ; мяса

то это нажрешься у нихъ, баранины, кумысу налакаешься. А тутъ не зѣвай, братъ, дѣла обдѣльвай... Гдѣ за рубь, гдѣ за полтора, а гдѣ и въ промѣнъ на что, почитай задаромъ, барановъ скупаешь... Наберешь десятокъ-другой въ городъ, хошь, примѣрно, въ тотъ же Казалинскъ гонишь, къ базарному дню. Что купилъ за рубь, получай пятерку, за что платокъ какой кумачный въ шесть гривенъ али сережки въ пятнадцать копѣекъ — получай въ десять разъ супротивъ плаченнаго... Сейчасъ послѣ базара, половину про запасъ, половину — по боку. Кабаковъ-то тамъ, трактировъ разныхъ видимо-невидимо про этотъ случай понастроено... Гульба, братъ, съ бабами всласть! Пожилъ это съ недѣлю, опять къ кунакамъ своимъ въ кочевья... Вольная жизнь! Ни патенту отъ тебя не требовается, ничего! Другой разъ, въ двадцать годовъ про паспортъ твой никакая собака не донюхается; и при такой слободѣ — что хошь! Можно и другія какія дѣла обработать хорошія...

— Можно, братъ, знаешь что? — просіялъ вдругъ Евсѣй-рыжій.—Можно, братъ... — Да вдругъ и замолчалъ, и сталъ соображать по пальцамъ, такъ ли оно, дѣйствительно, выходитъ.

— Это мнѣ въ Орскомъ казакъ одинъ сказывалъ, изъ маклаковъ; это вѣрно!—слышитъ за спиною дядя Василій.

Обернулся — борода клиномъ виднѣется изъ-за воза, за нею еще торчатъ двѣ шапки, да въ потьмахъ чья-то лысина свѣтится... Усмѣхнулся, этакъ, про себя дядя Василій и говоритъ:

— Садись, други, всѣ въ кругъ, чего стоять-то!..

Сѣли.

— Пойдешь ты по другой части, — говорилъ дядя Василій,—опять лафа!.. Къ примѣру, по рыбной: уйдешь на взморье, къ устьямъ, становище поставишь... не мудрое дѣло «крючья», пустая штука, а доходъ первый сортъ! Конечно, тоже своими двумя лапами немного надѣлаешь, работниковъ принанять пару изъ тамошнихъ надо, а завелъ машину—знай только, поспѣвай огребать!.. Осетрина аль сомовина, другая какая рыба ловится—страсть! Въ сутки раза по три обираютъ «переметы»... Себѣ она, рыба-то, почитай задаромъ приходится, а на базарѣ за нее деньги даютъ... А главное, опять, самъ себѣ хозяинъ. Ни волостного, ни сотскаго, ни десятника... Да что, братцы, вѣрите ли? Тамъ станового не заводили, право слово!

Въ кругу слушателей даже кто-то свистнулъ отъ восторга.

— Къ купцамъ ли, таперь, съ караваномъ нанялся, — продолжалъ Василій.—Вотъ, братцы, это такъ житье!—Отцу протопопу у насъ не жилось такъ, какъ у купцовъ въ караванѣ, особливо если попадешь къ хорошему, вотъ какъ намедни въ Джалангачѣ ночевалъ.

— Это тотъ, что Авдотью увезъ?..

— Этотъ самый! Да, ребята, сидишь ты теперь здѣсь и не знаешь, гдѣ завтра будешь. Сегодня десятокъ рублишекъ загребъ, завтра, можетъ, Господь тѣ сотню отвалитъ... Вотъ это житье! Ни за тобою, ни передъ тобою... Ни засуха тебѣ не страшна, ни градобитіе,—на все это тебѣ наплевать... Заботы, главное, никакой нѣту!..

— Важно!—индо на мѣстѣ привскочила борода клиномъ.

— Въ Хива ходылъ, въ Бухара ходылъ хорошо биваетъ!— заявилъ отъ себя Маметъ.

— Вездѣ вольному человѣку дорога скатертью... Слыхали вы, ребята, про Митроху-Сиваго?—Не слышали, чай? Слушь, я разскажу. Аль, можетъ, спать время, что болтать-то, ась?..

— Подвинься, Евсюха! Не засти, Кузьма!

— Чаго спать, днемъ выспались!

— Эна, въ полушубкѣ приперъ, и безъ того жарко. Легче! Ногу отдавилъ!

— Занимай кругъ просторнѣе, что другъ на дружку валитесь!

— Тсъ! Тише вы тамъ, черти!

— Былъ это Митроха-сивый, человѣкъ ретивый, да больно не талантливъ: все это не шло ему въ руку, всякое дѣло у него не выгорало, — разсказывалъ дядя Василій нараспѣвъ, тономъ сказочника. — Жилъ онъ въ Рассеѣ, вотъ, можетъ, какъ и мы, въ той же губерніи. Пытался это онъ кабакъ держать — прогорѣлъ, полѣзъ въ подрядчики — въ зашей наклали; лѣскомъ-было, малое дѣло, хотѣлъ позаняться — въ острогѣ просидѣлъ съ полгода. Въ скиты поперъ къ святымъ старцамъ, «антихристову печать» въ ходъ пущать—на первой «сотенной» влопался, и угнали его сердечнаго. въ хорошемъ одѣяніи, за «Барабу», въ мѣста прохладныя... Думали земляки въ ту пору: «Ну, пошабашилъ парень, сгнетъ въ казенномъ заведеніи...» Одначе, слышатъ, онъ оттедова убѣгъ!

— Удралъ?!

— Удралъ. Вотъ только и угодилъ онъ, изъ острога удрамши, не назадъ въ Рассею, а прямо на Сыръ, въ кочевья... Что-жъ бы вы, таперь думали?

Василій замолкъ на минуту, ждетъ, что ему скажутъ. Ничего не говорятъ мужики, и тишина стоитъ невозмутимая.

— Семи годовъ не прошло путемъ,—тихонько такъ, словно самъ съ собою, говоритъ дядя Василій, — казенный подрядъ на муку въ тридцать тыщей загребъ и чистаго капиталу нажилъ отъ него — десять. Вина выслалъ ему Кузнецовъ сто шесть бочекъ, и въ каждомъ, то-есть, фортѣ по восьми питейныхъ открылъ нашъ Митроха, только онъ таперь Митрохой-сивымъ не называется. Такъ-то вотъ. А ты говоришь: «хороша земля, сдобренная, безъ навозу родитъ», — нѣтъ, други почтенные, не въ землѣ тамъ сила. Вѣстимо, въ кучѣ сидючи, въ солонцахъ роючись, съ сохою да бороною возжаючись, немного чего дождетесь супротивъ сваго житья рассейскаго. А, впрочемъ, ничаго, кому какой талантъ вышелъ, а только я, братцы мои, не съ вами. Такъ мнѣ оно все единственно, что Никонъ, что Дементій, что Сидоръ, что Кузьма, что самъ чортъ лысый, какъ вамъ давеча и сказывалъ.—Маметъ!

— Чиво Маметъ надо?

— Стели, братъ, кошму-то, спать время. Экъ, какъ его къ полуночи, опять стало затуманивать!

А Степанъ, лежа подъ полушубкомъ, не далеко отъ Никона, привсталъ на локоть и говоритъ:

— Гляди, Денисьичъ, кака сходка собралась у Васильева воза: быть завтра у насъ какой-нибудь смутѣ въ обозѣ!

Поглядѣлъ и Никонъ, только ничего не сказалъ, а всталъ на ноги, потянулся, зѣвнулъ и пошелъ въ ту сторону, мимо Васильева воза, должно-быть, скотину на всякъ случай провѣдать.

XXVI. Сухая гроза.

Мало-по-малу все подвигается впередъ нашъ обозъ да подвигается.

Вотъ еще диковину увидали обозники: кончились пески

сыпучіе, голые, начались бугристые; а говорили имъ, что за этими бугристыми песками скоро земли настоящія пойдутъ, скоро и Сыръ-рѣка будетъ. Немного не дотянулъ дѣдушка Денисъ, деньковъ съ пятнадцать пожилъ бы, самъ своими глазами увидалъ бы.

Кустарникъ пошелъ, частый такой, саксаулъ и джингилъ. Съ виду они оба шибко другъ на друга похожи, а приглядѣться—есть разница. Зеленью тоже джингилъ много поярче будетъ саксаула, такой темный, словно дубъ въ смѣшанномъ лѣсу отдѣляется. Растетъ этотъ кустарникъ на пескѣ, и корни у него цѣпкіе, далеко въ глубь пробираются; все, что не скрѣпило этими корнями, вѣтромъ давно повыдуло, и растутъ кусты словно на тумбахъ, нарочно для нихъ устроенныхъ. Глядѣть чудно даже на эти бугры съ зелеными верхушками, особенно непривычному глазу.

Дорога между ними тянется, сильно углубленная, издали и не видать, кто идетъ по ней, словно по дну канавы. Даже верблюдъ, на что скотина высокая, а только чуть вьюки виднѣются, да киргизъ въ острой шапкѣ, что на эти вьюки взобрался.

Птица степная показалась, кочевки попадаться стали. Людиѣе какъ-то кругомъ, и идти обозникамъ веселѣе.

Только насчетъ воды опять стало хуже. На одномъ ночлегѣ пришлось имъ верстъ за восемь свернуть въ сторону отъ большой дороги. Хотѣли было у почтовой станціи стать, да не пустилъ унтеръ-смотритель, говоритъ: для самихъ воды нехватка; ступайте къ караванному, верблюжьему тракту, нынче мало что-то каравановъ проходило, можетъ, на ваше счастіе, попадете на нетронутые. Потянулся обозъ къ караванному тракту цѣлиною. Достались имъ эти восемь верстъ, лучше бы два перехода лишнихъ сдѣлать.

Пришли къ ночи; совсѣмъ уже стемнѣло. Глядятъ—опять горами стоитъ сыпучій песокъ, и между двухъ такихъ горъ, въ лощинѣ, четыре дыры, темныя такія, виднѣются. Это и были самые караванные колодцы. Сталъ обозъ на горѣ, потому въ лощинѣ темно.

Глядѣли обозники, когда къ колодцамъ шли: что за небо такое отъ закату дѣлалось?.. Солнце стало спускаться за чи-

стый край, и вдругъ словно потухло, не дойдя еще до краю порядочно; густая полоса тумана заслонила его, и сквозь эту полосу чуть-чуть желтый шаръ просвѣчивалъ. Багровое зарево разошлось по всему небу, будто кровью оно облилось, а полоса все шире и шире расползается, только это не туча, по крайней мѣрѣ, мало на тучу похоже. Тяжело дышать стало, волы всѣ потомъ облились, и у обозниковъ рубахи прилипать къ тѣлу начали. Думали, прохладнѣе станетъ съ закатомъ, а тутъ, на-поди, совсѣмъ, какъ въ банѣ, паритъ и сѣрою попахиваетъ.

— «Ката-джиль ночью будетъ большой! — говорилъ Маметка-татаринъ. — Будетъ стоять, береги верхушки на арба, убижалъ будетъ. Шапка держи; убижалъ, все убижалъ!

— Ураганъ, сказываетъ, большой будетъ! — объяснилъ дядя Василій.—Держись шапка!

Однако, пока ничего, только паритъ шибко, а тихо въ воздухѣ; пыль, какъ поднимется, такъ и стоитъ, ни въ ту, ни въ другую сторону не подается; всякая былиночка, ровно мертвая, не шелохнется. И у насъ передъ грозою тоже иногда затишье такое же бываетъ.

Пришли къ колодцамъ, стали въ порядокъ, огни было раскладывать хотѣли, да Никонъ не велѣлъ, говоритъ: «обожди пока, а то хватитъ, разнесетъ, неравно пожару на возахъ надѣлаешь». Бабы маленько струхнули. Мужикамъ тоже словно не по себѣ, неловко. Такая даже тоска напала на всѣхъ, да и скотина, должно-быть, чуетъ: сбилась въ кучу, задомъ къ закату, головы внизъ опустила, сопитъ тяжело да рогами другъ о дружку постукиваетъ. Собаки, провалъ ихъ побери, воютъ, а кони дяди Василія чутко ухомъ пошевеливаютъ, а то, нѣтъ-нѣтъ, да и вздрогнутъ. Маметка ихъ стреножилъ, на всякъ случай, какъ бы съ перепугу куда далеко не удрали бы; послѣ, пожалуй, въ степи и не отыщешь.

Какъ сѣло совсѣмъ солнце, темнота наступила, не зги не видно! Звѣздъ тоже не видать на небѣ; мѣсяцъ долженъ уже выйти, и его не видать, должно-быть, все заволокло этою диковинною тучею. Чу! Слышатъ мужики, громъ прогремѣлъ, глухо такъ, будто далеко гдѣ-то. Молнія передъ тѣмъ блеснула, только не стрѣлою, а пятномъ свѣтлымъ тучу прорѣзала, словно накалила ее, да и потухла. Еще раза два про-

гремѣло, а потомъ и подувать начало. Сразу рвануло такъ, что шапки полетѣли съ головъ, а затѣмъ и затихло на малое время. Сильнѣе сѣрою запахло, еще тяжелѣе стало дышаться.

Загудѣла степь, и этотъ глухой гулъ такъ и идетъ стѣною къ обозу. Страхъ напалъ на всѣхъ: кто подъ возы полѣзъ, кто ничкомъ прилегъ и тулупомъ сверху накрылся съ головою.

— Береги скотину, братцы, пуще всего береги!—крикнулъ во все горло Никонъ, а самъ со Степаномъ въ лощину, къ гурту сбѣжали; только-только во время, а то бы всѣ волы разбѣжались, такъ они заметались, а чего бы? — У нихъ въ лощинѣ совсѣмъ пока тихо. Еще спустились внизъ десятка два мужиковъ, стали стѣною—берегутъ.

Рвануло еще разъ, сильнѣе прежняго. Одинъ возъ, должно быть, легче другихъ былъ, сразу кверху колесами перевернуло; другая телѣга, съ краю что стояла, внизъ покатилась, чуть было не задавила Евсѣя-рыжаго, баба въ ней сидѣла съ тремя ребятами, — ничего, удержались, только чуть со страху не померли.

Загулялъ «ката-джиль» этотъ по степи... «Свѣто-преставленіе, да и полно!»—рѣшили мужики. Громъ не переставалъ гудѣть, молнія такъ и не погасала, словно раскаленное горѣло небо. Песокъ тучею несется съ запада, такъ и засыпаетъ, съ ногъ валитъ. Занесло пескомъ воза совсѣмъ, съ колесами. Тѣ, что подъ вѣтромъ стояли, по самыя грядки завалило. Крыши почти совсѣмъ посрывало и сколько одежи мужичьей унесло въ степь и всего другого, что полегче да не крѣпко привязано было; ну, и натерпѣлись же мужики за эту страшную ночь! Думали, не доживутъ до утра, а что всего чуднѣе казалось имъ—капли дождя за всю ночь не выпало.

Къ разсвѣту полегчало; мѣстами небо звѣздное стало просвѣчивать; клочья тучъ неслись по небу, какъ бѣшеные. А вотъ и мѣсяцъ выглянулъ серебрянымъ рогомъ, яркій такой онъ показался мужикамъ, привѣтливый.

Много мелкой бѣды надѣлалъ ураганъ въ обозѣ. Какъ разсвѣло да поулеглось, стали мужики приводить все въ должный порядокъ; было имъ хлопотъ до самаго полудня, тогда только съ мѣста выступили.

Скотину-таки не всю уберегли, паръ шесть ушло изъ лощины. Пошли Степанъ съ Никономъ ихъ разыскивать, дядя Василій тоже поѣхалъ-было верхомъ, да скоро вернулся. Ѣдетъ онъ мимо воза Никонова,—Марина стоитъ на возу и обухомъ топора крышку приколачиваетъ; остановилъ лошадь Василій и шапку приподнялъ.

— Своею дорогой ступай, что сталъ-то! — нахмурилась Марина.

— Экая ты сердитая, — усмѣхнулся Василій, — а я вотъ слово тебѣ пришелъ сказать хорошее, совѣтъ дать!.. Ну, какъ те Господь милуетъ?

Хотѣла было сказать Марина: отваливай! — да промолчала: пусть, молъ, его поговоритъ, тоже и любопытно ей было послушать, что онъ ей совѣтовать хочетъ.

— Таперича опосля Дениса покойника кому все его добро должно остаться,—знаешь?—началъ Василій.

— Кому слѣдоваетъ!—отвѣчала дѣвка уклончиво.

— А ну-ка, какъ по-твоему?

— Извѣстно, намъ съ Никономъ!

— То-то вотъ и нѣтъ!

— Не тебѣ ли ужъ? Больно хлестокъ!—усмѣхнулась тутъ и сама Марина и однимъ ударомъ гвоздь по самую шляпку загнала сквозь тесину въ телѣжную грядку.

— Зачѣмъ мнѣ... намъ чужого не требовается. А все-жъ и не Никону!

— Ври больше!

— Не вру. Все тебѣ одной, все тебѣ, никому другому... Кто таперь Никонъ доводится Денису—знаешь, чай?

— Сынъ... кто-жъ еще!

— То-то сынъ, только пріемный, а это все одно-наплевать! Ты же отъ родной его дочери роженая, значитъ, всему достатку законная наслѣдница. А Никонъ тутъ сторона-дѣло, можетъ самъ нажить, коли съумѣетъ. Такъ-то! Мнѣ что: моего прибытку тутъ нѣту, а коли говорю тебѣ это, такъ по душѣ, значитъ, больше для того, что дѣвку-сиротку не обидѣли... А мнѣ самому что...

Сказалъ онъ это «дѣвку-сиротку»—у Марины такъ и подступило подъ сердце; вспомнила она про дѣдушку покойника, вспомнила она про ласки, про любовь его, да какъ разревется

на возу... А тутъ дядя Василій хлысть коня по боку да и съ Богомъ—Никона завидѣлъ, какъ тотъ съ найденными волами въ лощину сталъ спускаться. Только Никонъ его изъ-за скотины не видѣлъ, а Василій еще одно слово успѣлъ сказать:

— Ты,—говоритъ,—про всякъ случай помни, что я тебѣ на Джалангачѣ сказывалъ насчетъ *законнаго*. Я отъ своего слова не попячусь...

— Что ты, родная, разревѣлась чего? — подошелъ тутъ Никонъ, а самъ косо этакъ вслѣдъ Василью поглядываетъ.

— Ничего, такъ, о дѣдушкѣ взгрустнулось, ничего...—говоритъ Марина, а про то, что Василій говорилъ, промолчала.

А Степанъ все слышалъ; онъ раньше подошелъ, только его за возомъ не видно было.

— Что же ты ему всего не сказала?—спросилъ онъ Марину потихоньку, уже въ дорогѣ.

— Ну, ихъ,—махнула рукою Марина.—Боялась, какъ бы не сцѣпились, грѣха какого какъ бы не вышло!

— Это-то вѣрно,—согласился тутъ и Степанъ съ нею.—А я гляди, каку ящерку пымалъ, — сама желтенькая, спинка черненькая... эвося какая!

— Брось! Укуситъ гадина-то, брось! Нужда руки поганить!

— Она не кусается!—словно про себя проговорилъ Степанъ; однако нагнулся и пустилъ ящерку подъ кустъ.

Поползла ящерка шибко такъ, только мелькнула раза два между кореньями и скрылась, а Степанъ вздохнулъ глубоко и призадумался; такъ и шелъ за возомъ верстъ десять, головы не поднимая.

О чемъ только думалъ онъ—Господь его вѣдаетъ; потомъ «травушку» сталъ напѣвать «пожелтѣлую», сначала тихо, а потомъ все громче и громче, и вылилась въ этой унылой пѣснѣ, почитай, вся душа Степанова.

XXVII. Прибыли на мѣсто.

Стоитъ у дороги домикъ въ четыре окошечка, весь изъ глины сбитъ, крыша на два ската, совсѣмъ, почитай, плоская; двѣ трубы торчатъ надъ крышею, чистыя такія, бѣлыя, знать—никогда онѣ дыму печного не видывали, потому — и печей топить нельзя въ этомъ домикѣ, но для того онѣ сдѣ-

ланы, а такъ, для показу больше сложены. Снаружи глядишь—больно красиво: стѣнки сѣрыя, вокругъ оконъ оторочки бѣлыя, карнизикъ подъ крышею тоже бѣлый, зубцами выведенъ. У дверей столбъ, на столбѣ—фонарь, подъ фонаремъ—доска, на доскѣ цифры и словами что-то написано. Чудно смотрѣть на этотъ домикъ: торчитъ онъ середь степи одинъ-одинешенекъ, безъ двора, безъ всякихъ хозяйскихъ пристроекъ; неуютно, непривѣтливо, совсѣмъ отъ него жильемъ не несетъ, а глаза мозолитъ, такъ вотъ прямо и лѣзетъ...

— Этапъ, должно полагать! — рѣшилъ Прохоръ-кислый, приставилъ руку ко лбу отъ солнышка, приглядывается.

— Ты чего?—спросилъ Евсѣй-рыжій.

— Солдата, гляжу, нѣтъ-ли? Безпремѣнно ему тутъ торчать полагается!

— Безъ солдата какъ же возможно!..

— Какъ бы остановки не было. Може, паспорта оглядывать станутъ!

— Дорога-то ничего, слободна. Этапъ, гляди-ко, въ сторонѣ пришелся; проѣздъ, надо быть, вольный...

— Такъ вотъ-те сейчасъ «вольный!..»

— Не этапъ это, а станція почтовая,—произнесъ Никонъ.—Въ Иргизѣ сказывали, подъ самою Казалою станцій пятокъ вотъ такихъ понастроено. Ну, вотъ это первая; стало-быть, таперича близко. Слава тѣ, Господу милостивому!..

— Близко!—невольно повторялъ всякъ, отъ мала до велика. И всѣмъ вдругъ стало не то что боязно, а какъ-то не по себѣ, жутко.

— Вѣдь, ишь-ты—близко! Дошли же, значитъ... Дальше-то какъ же... Что, таперича, будетъ съ нами—ась?!.. — невольно подумалось каждому.

— Пойти поразспросить,—сказалъ Никонъ.—Намъ, ребята, не здѣсь становиться, дальше идти; тутъ-то вотъ эва какіе перегоны почтовые понадѣланы, всего по четырнадцати верстъ; намъ это не разсчетъ; къ вечеру мы еще перегонъ упремъ безъ малаго...

— Ну, его, не ходи!—сказала Марина. — Неравно, какъ бы...—Да и замялась, путемъ-то сказать не сумѣла, что это такое—«какъ бы».

— Ничаго! Я духомъ; а тамъ напрямикъ живо догоню Возамъ-то эва какой крюкъ обходить придется! — и Никонъ

показалъ рукою на сѣрую ленту пыльной дороги, огибавшую группу глинистыхъ бугровъ, поросшихъ сѣдою полынью и жидкимъ кустарникомъ-джингиломъ.

Пошелъ Никонъ, шибко такъ зашагалъ, прямо къ станціи; зашелъ за бугоръ, его и не видно, а вновь показался уже далеко, только рубаха его холщевая бѣлѣется на солнцѣ.

— Сгоняю и я!—засуетился дядя Василій, отпрегъ живо пристяжку, влѣзъ къ ней на спину и погналъ, а за нимъ и Маметка собрался; тотъ уже въ такомъ случаѣ никогда не отстанетъ.

— Ничаго!—сказалъ и Степанъ-Малышъ, замѣтивъ, какъ Марина безпокойно поглядываетъ то на бѣлую точку—Никонову спину, то на красную рубаху «мутилы».

— Скоро дойдемъ!.. Таперича самая малость осталась, пустое дѣло!.. Близехонько. Шабашъ, значитъ... Много ли, ты говоришь?—загудѣло по всему обозу.

Въ кучки стали мужики сходиться.

Шибко попривыкли мужики къ дорожной жизни, такъ попривыкли, что о своихъ деревенскихъ избахъ, почитай-что и вовсе забыли. Обжились на возахъ, втянулись въ дорогу, всю бы жизнь такъ и шли бы!

День въ день, словно по одной мѣркѣ вылитый, уложился; всѣ напередъ знали, что въ какое время дѣлать... Ровно, плавно, какъ по маслу, шла разъ заведенная машина, а тутъ—вотъ, на поди, стой! Пріѣхали!

И стало мужикамъ это совсѣмъ будто бы обидно.

Новыя заботы, а какія—про то пока еще Господь-Богъ вѣдаетъ, — словно нежданыя, негаданыя, тяжелымъ камнемъ навалились на души обозниковъ, и пошли заскорузлые пальцы чесать да поскребывать загорѣлые, дубленые затылки.

— Шестьдесятъ пять верстъ, сказываютъ, осталось!—сказалъ Никонъ, догнавши обозъ.—Либо завтра къ ночи, либо послѣ завтра рано утречкомъ на мѣстѣ станемъ!

— А чтобъ тѣ лѣшій попуталъ! Чтобы еще хоть сотни три впереди осталось бы!—досадливо закопошилось въ головахъ у многихъ...

А волы, знай-себѣ, идутъ ровнымъ, словно размѣреннымъ шагомъ, нѣтъ имъ дѣла, сколько дороги сзади осталось, сколько

еще впереди тянется; только, можетъ, одно и чувствуютъ они, что возы стали какъ-будто полегче: шутка ли, сколько провіанту за этотъ длинный путь переѣдено!

Стали на ночлегъ; это уже послѣдній. Тихо и невесело было въ обозѣ, словно опять кого хоронили. Ни пѣсенъ не пѣлось, ни говору не слыхать было громкаго... Поднялись также безъ шуму, тронулись.

Совсѣмъ измѣнилась степь супротивъ прежняго; дорога пошла твердая, по сторонамъ все канавы тянулись да рытвины, словно человѣческими руками прорытыя; трава стала гуще, больше погорѣлая отъ солнца, а то кое-гдѣ еще и зеленая. Аулы тамъ и сямъ зачернѣли; овечьи атары показались, табуны верблюжьи... вонъ и рогатая скотина виднѣется, эка все мелочь!..

Народъ засновалъ, пѣшій и конный, телѣги тарохтятъ русскія, волами запряженныя, а на телѣгахъ сидятъ люди не русскіе, въ полосатыхъ халатахъ, въ большущихъ шапкахъ бараньихъ. Два всадника съ гикомъ перескочили дорогу, а впереди ихъ собакъ штуки четыре, а передъ собаками зайчишко маленькій такой улепетываетъ. На одномъ всадникѣ сюртучекъ надѣтъ холщевый, господскаго покроя, и шапка бѣлая съ краснымъ околышемъ на затылокъ съѣхала; на другомъ—халатъ верблюжій и шапка войлочная съ рогами. Въ дрожкахъ кто-то прогналъ на коренастомъ иноходчикѣ, одѣтъ словно по-приказчичьи, а то, можетъ, и купецъ какой. Городской народъ, надо полагать.

Вонъ и земля пахатная видна; чуть-чуть такъ нацарапана, совсѣмъ дрянно, неумѣлыми, непривычными руками. Только ухмыльнулись мужики, на эту пашню глядючи.

Широкій плесъ вправо раскинулся, вплоть до самой дороги добрался; берега густо камышемъ заросли, мѣсто низкое, топкое. Воду попробовали—прѣсная, типою отзывается. Большая рѣка, знать, близко, а какая такая? — извѣстно Сыръ-рѣка, другой тутъ рѣки не полагается

Солнышко садиться стало, вырисовалась на закатной полосѣ темная окраина. «Гляди-ко-сь, что это? Вонъ на самомъ краю, вонъ виднѣется?...»

Глядятъ мужики—и глазамъ своимъ не вѣрятъ. Видятъ они цѣлый рядъ мельницъ-вѣтряковъ, совсѣмъ такихъ, какъ и у нихъ въ Россіи; машутъ эти мельницы своими крыльями, словно руками манятъ: «подходи, подходи, молъ, ближе...» За мельницами дымъ густой поднимается, да не однимъ столбомъ, а много ихъ. Не одна, знать, труба дымитъ, не въ одной печи вечерняя стряпня варится...

— Казала, братцы! — строго такъ, степенно произнесъ Никонъ, снялъ шапку, сгребъ ее подъ мышку и широко, наотмашь, сотворилъ крестное знаменіе.

Поснимали и другіе шапки... Замотались руки отъ одного плеча на другое, ото лба на брюхо.

— Приперли-таки! —крякнулъ Прохоръ-кислый.

— Эй, вы, други, соколики! — лихо погналъ на рысяхъ дядя Василій, телѣжка только знай-подпрыгиваетъ.

Тетка Арина, эка дрянь баба, до вытья охотница, начала сначала-было потихоньку, да какъ заголоситъ вдругъ, разомъ во всю-то глотку. «А чтобъ-те разодрало! И безъ твоего вытья людямъ тошно!..»

Въ тотъ же день, еще вечерняя заря не потухла, и прибылъ нашъ обозъ на новое мѣсто.

XXVIII. Страница о прежнемъ.

Лѣтъ тридцать тому назадъ подошли русскіе люди къ рѣкѣ Сыръ-Дарьѣ, оглядѣлись, да и порѣшили стать здѣсь постоянною, твердою ногою.

Новые поселенцы не были хлѣбопашцы, не были купцы, не были горожане, — они только дорогу проложили сюда для всѣхъ тѣхъ послѣдующихъ, кому охота будетъ въ такую даль да глушь забираться. Да и пришли эти новые поселенцы не своею волею, а ихъ привели.

Это были солдаты, а потому, хотя и принялись, тотчасъ же по приходѣ, за лопаты и кирки, только не для мирной разработки новыхъ земель, а для возведенія прочнаго, боевого оплота—крѣпости.

Выбрали мѣсто самое для этого прочное, на крутой горѣ, чтобъ далеко во всѣ стороны видно было, рвы вырили глубо-

кіе, стѣны подняли высокія, башни по угламъ поставили круглыя съ выступами и пушки на нихъ взволокли чугунныя...

Назвали новый оплотъ «Фортъ-Раимъ», потому что гора эта прежде того такъ называлась.

И вольный, какъ вѣтеръ, кочевникъ, и «гильча», нищій, полудикій хлѣбопашецъ, и сосѣдъ-коканецъ, и проѣзжій бухарскій купецъ издалека видѣли на стѣнахъ «Раима» незнакомое имъ, чужое знамя...

Безъ страха, безъ озлобленія, безъ всякаго опредѣленнаго чувства смотрѣли они на этотъ клокъ холстины съ красно-синимъ крестомъ... Велика степь, всѣмъ мѣста хватитъ! Что за бѣда, что пришли сюда «бѣлыя рубахи» съ сѣвера и заняли у нихъ всего только одну горку, и то такую, что совсѣмъ она для нихъ не годилась, хоть бы ея и вовсе не было. Сами даже помогать русскимъ строиться приходили.

Прошелъ годъ, другой,—къ новому форту довольно-таки разнаго пестраго народа принаѣхало, больше безъ всякаго дѣла опредѣленнаго, а такъ, что наклюнется, за то и хватались... Торговать стали, только отъ ихъ этой торговли не было кочевникамъ ни тепло, ни холодно. Дѣло было новое; киргизы и прочіе азіатскіе люди водкою грѣться не научились еще; послѣ уже спохватились,—исправились, какъ слѣдуетъ.

Рѣка Сыръ-Дарья къ самому форту не подходила, мимо шла верстахъ въ трехъ, а то и поболѣ; сначала, пока народу было немного, не бѣда была, а какъ стали прибывать, вышло безъ воды дѣло неладное...

Къ тому же пришли на Сыръ-Дарью большіе обозы колесные и караваны вьючные... Въ головахъ кто шелъ, уже на мѣстѣ стояли, разгружаться начали, а хвосты, говорили, дней за пять пути по дорогѣ еще тянулись... До сихъ поръ такихъ большихъ каравановъ и не видывали на Сырѣ.

Собралось кочевое населеніе со всѣхъ концовъ смотрѣть, что за кладь такая привезена диковинная?

Видятъ—все больше желѣзное, есть и деревянное—полосы кованыя, плиты прокатныя, брусья тесаные; съ гвоздями, съ винтами да гайками цѣлые ящики...

Разложили все по берегу, построили навѣсы просторные, печи съ длинными трубами, загородокъ понагородили. стали все привезенное собирать да сколачивать.

Долго глядѣли косоглазые, ничего не понимали; наконецъ, разглядѣли, въ чемъ дѣло. Какъ только поняли, такъ и покатились со смѣху.

Да какъ и не смѣяться, подумаешь: изъ желѣза да лодки строятъ! Чудной народъ съ сѣвера; да и лодки-то какія большущія!..

— Развѣ желѣзо плаваетъ?.. Брось-ко его на воду, попробуй, сейчасъ пойдетъ ко дну и закосетъ его тамъ пескомъ и тиною, не вытащишь... А они цѣлыя лодки... ха-ха!..

И пошелъ пересмѣхъ да хохотъ гулять по ауламъ... Далеко этотъ смѣхъ разошелся, собралось народу отовсюду видимо-невидимо смотрѣть на дураковъ, какъ они въ своихъ лодкахъ желѣзныхъ «нырять» будутъ.

Спустили на воду эти лодки.

Кому смѣшно было—стало теперь страшно. Выпучили глаза, рты поразинули, руками развели: смотрятъ—и глазамъ своимъ не вѣрятъ.

Кто потрусливѣй—на коня да въ аулъ, по домамъ скорѣе; кто побойчѣе—стоятъ еще да молитвы бормочатъ Аллаху и его пророкамъ.

А потомъ всѣ сообща порѣшили, что отъ такихъ людей, которые съ шайтаномъ дружбу ведутъ, лучше подальше, чтобъ самому не попасть *ему* въ лапы.

— Развѣ не дьявольское дѣло это, когда желѣзо по водѣ поплыло? *).

Все хозяйство, что при лодкахъ было, на берегу устроилось. Заодно съ фортомъ хозяйство это, а отъ него далеко. Стали мѣста такого искать, чтобы свести и то, и другое. Нашли, только повыше немного, отъ взморья верстъ, безъ малаго, за сто отъ того мѣста, гдѣ рѣка Сыръ въ море воды свои вливаетъ.

Новое мѣсто называлось «Казала». Было уже здѣсь не то коканское, не то хивинское поселеніе; объ томъ не допытывались... Тутъ и сами вновь строиться начали...

---

*) Разсказъ этотъ заимствованъ со словъ восьмидесятилѣтняго старика—участника и очевидца событія, Михаила Пластова, живущаго въ Казалинскѣ и въ настоящее время.

Видитъ азіатскій народъ — дѣло не ладно! Пытались оба хана не разъ мѣшать русскимъ... А въ ту пору большая половина ханскихъ войскъ билась ножами, пиками да стрѣлами; гдѣ же имъ противъ русскаго ружья да пушки становиться?.. Такъ и отстали.

Все больше и больше стало прибывать съ сѣвера русскаго народа, шире и шире сталъ расползаться русскій городъ, и скоро столько забралъ подъ себя мѣста, что его на просторный аулъ, съ загонами да зимовками, тысячъ на десять кибитокъ хватило бы...

— Вѣдь это они насъ тѣснить съ нашего мѣста насиженнаго почали! — стали подумывать да соображать кочевники и осѣдлые хлѣбопашцы, гильча полудикіе.—Кто же теперь надъ степью хозяинъ: ханъ ли, мы ли, или они, съ вѣтру пришедшіе?..

И рѣшили это дѣло скоро и вѣрно: «хозяинъ, молъ, тотъ, за кѣмъ сила хозяйская».

На томъ и успокоились, потому порядокъ этотъ для нихъ самое обыкновенное дѣло; другихъ порядковъ и въ былыя, и въ эти времена они и не знали.

XXIX. Городъ Казалинскъ.

Новое мѣсто пришлось какъ разъ на большомъ караванномъ трактѣ.

Все, что только везлось изъ Бухары, Хивы и прочихъ дальнихъ мѣстъ той стороны въ Россію, въ оренбургскіе склады и на нижегородскую ярмарку,—все это черезъ Казалу проходило. Въ этомъ-то перепутьи и была главная выгода новаго города.

Пока русскіе дальше впередъ не проходили, дѣло шло тихо (извѣстно, «на краю сидишь — осторожность требуется»), а какъ прошли наши вверхъ по Сыру, до Перовска и дальше, когда, наконецъ, чуть не полъ-ханства бухарскаго да столько же коканскаго, а въ послѣднее время хивинскаго *«подъ Бѣлаго Бугря»* отошли, обрусѣлъ городъ Казалинскъ, и шире разрослось его хозяйское дѣло.

У самой рѣки подъ крѣпость отведено большое мѣсто. Одною своею стороною крѣпость эта черезъ рѣку на тотъ берегъ смотритъ, а другою—въ городъ уперлась.

Въ самой крѣпости выстроены все казармы солдатскія, длинныя-предлинныя, неуютныя такія, сѣрыя, какъ сами шинели солдатскія, однообразныя... Ближе къ берегу—мастерскія сборныя для флотиліи, кузницы да склады разные. Посрединѣ крѣпости большое мѣсто пустымъ оставлено, значитъ — площадь. На стѣнахъ кругомъ пушки поставлены, а у пушекъ по часовому торчитъ...

Барабанъ всѣхъ по утрамъ на ноги поднимаетъ, вечеромъ тотъ же барабанъ въ койки укладываетъ... Сегодня какъ вчера, завтра какъ сегодня, изо-дня въ день идетъ своимъ чередомъ жизнь казенная, какъ и слѣдуетъ идти ей во всякой крѣпости, хотя бы и въ такой, что и стѣны обваливаются, и рвы засариваются, и ворота стоятъ день и ночь настежь отпертые, а то и просто съ петель снятые.

Зелень кое-какая виднѣется (въ сѣрой глинѣ все глазу пріятнѣе); чахлые кустики тальника стоятъ запыленные, безъ поливки, безъ уходу хозяйскаго...

Скучно, тоскливо, непривѣтливо, недомовито, а впрочемъ, все, какъ слѣдуетъ, по порядку, разъ заведенному.

Только и жизни въ крѣпости, что на самомъ берегу, гдѣ вѣчно стучатъ кузнечные молоты, валитъ изъ трубъ черный дымъ клубами, и копошатся матросики, пароходы да лодки свои улаживая. Опять же тутъ и тѣни больше: надъ водою разрослись вербы плакучія, а подъ ними скамеечки для отдыха поставлены.

Отдѣляетъ крѣпость отъ города широкое, пустое мѣсто, все дорогами искрещенное; кое-гдѣ, впрочемъ, торчитъ уцѣлѣвшая травка, и ужъ тутъ непремѣнно комендантскія коровы пасутся.

Отъ этого мѣста, «эспланады», какъ его здѣсь называютъ, идутъ улицы, длинныя, немощеныя; лучами онѣ расходятся отъ крѣпостныхъ воротъ и далеко въ окрестную степь расползаются.

Дома построены просторно, съ широкими дворами и пустырями; смотрятъ эти дома на улицу маленькими окошками, по два и по три въ каждомъ, а то и побольше... Всѣ они съ виду какъ одинъ, все изъ той же глины сѣрой слѣпленные, рѣдко побѣленные, приземистые, съ добраго коня рукою до крыши достать можно. Передъ нѣкоторыми изъ нихъ разведены крохотные палисадники, для виду болѣе: торчитъ тополь и тотъ же тальникъ, есть и подсолнечники.

Много такихъ домовъ есть, что крашеными досками обозначены, и на доскахъ тѣхъ «питейный домъ» значится, гдѣ литерами, а гдѣ и подходящимъ изображеньемъ; у этихъ намѣченныхъ домовъ и въ будни, и въ праздникъ, одинаково, всегда народу достаточно толпится, и русскаго, и азіатскаго; тутъ и веселѣе, и шумнѣе, а въ прочихъ мѣстахъ тихо.

Поднимется вѣтеръ, закрутитъ пыль по улицамъ—не зги тогда не видно. А пыли этой по щиколотку—ходить мягко. Да эта пыль еще полгоря, а вотъ осенью да въ весеннее время, да послѣ дождей большихъ,—тогда бѣда! Изъ дому въ домъ перейти—у самыхъ заборовъ пробираться надо, и то грязь по колѣна, а серединою улицы лучше и не суйся! Недавно самъ Головъ увязъ съ своими дрожками; четыре верблюда еле выволокли...

Середину города занимаетъ большая, четырехугольная, базарная площадь. Восемь улицъ сходятся къ этой площади, по двѣ съ каждой стороны. Площадь обнесена кругомъ лавками съ навѣсами и ятками для мелкихъ торговцевъ. Въ обыкновенные дни лавки эти большею частью заперты, немногія только торгуютъ, зато въ базарные дни все настежъ!

Вся площадь народомъ занята. Шумъ и гамъ такъ и стоятъ въ тучахъ густой пыли. И говоръ киргизскій, и русская рѣчь, и верблюжій ревъ, и ржаніе коней, блеяніе овецъ, сдавленное коровье мычанье, дребезгъ желѣза, звонъ стекла, россійская гармоника и татарская балалайка, — все слышится въ этихъ тучахъ, только не видно за пылью путемъ, что дѣлается, а приглядишься хорошенько, увидишь, особенно если самъ тамъ же толчешься.

Здѣсь вотъ пріѣзжій коканецъ расположился или киргизъ изъ карагайской лѣсной стороны; привезъ онъ на базаръ дерево для кибитокъ. Большіе обручи съ перекладинами для крышъ, «тендюки» въ одномъ мѣстѣ свалены, ребра строганыя, въ пучки связанныя—въ другомъ, боковыя рѣшетки, «телѣга»—въ третьемъ. Громадные тюки и свертки съ сѣрою и чернобурою кошмою прямо на землю свалены, тутъ же и верблюды уложены, на которыхъ привезено сюда все это, сразу и не отличишь скоро, гдѣ тюкъ, гдѣ скотина...

Рядомъ овецъ согнали на розничную продажу. Толпятся около нихъ покупщики русскіе, ссорятся, торгуются, курдюки

у овецъ сотый разъ перещупываютъ, съ продавцами-киргизами чуть не до драки схватываются.

А тутъ же и конямъ идетъ проба: каковъ бѣгъ, да цѣлы ли ноги; верховые съ гикомъ рыщутъ между пѣшими, сталкиваются, давятъ и опять ругаются. И чудное дѣло! Завсегда русскій норовитъ по-киргизскому выругаться, киргизъ же по-русски такія слова хорошія подбираетъ, что, дай Богъ, всякому; перенимаютъ хорошее скоро, потому народъ понятливый.

Какъ тѣни, проходятъ въ пыли горбатые верблюды, навьюченные и такъ, порожніе. Навязаны они цѣпью, другъ за дружкою; на переднемъ вожакъ сидитъ, и высоко-высоко киваетъ его бараній, островерхій малахай, изъ-подъ котораго глядитъ на все черная, закопченая, съ роду не мытая, косоглазая, скуластая морда.

Въ этомъ углу толпа собралась погуще — стоятъ вокругъ широкоплечіе верблюжьи халаты, головы понурили, руки за спину заложили, слушаютъ, какъ слѣпой старикъ съ жиденькой бѣлой бородкою пѣсни имъ поетъ про былое, старое. Передъ пѣвцомъ чашечка деревянная, въ рукахъ у него палка длинная, на головѣ большая шапка баранья, и видно по этой шапкѣ, что пришелъ онъ издалека, съ хивинской стороны. Сидитъ старикъ на корточкахъ, вотъ ужъ съ самаго утра такъ, положенія своего не мѣняючи,—такъ просидитъ онъ и до вечера, пока не разъѣдутся по ауламъ всѣ его слушатели.

Между бѣлыми рубахами русскихъ солдатъ и желтоватыми халатами киргизовъ, яркими пятнами пестрѣютъ красные, зеленые и синіе халаты пріѣзжихъ бухарскихъ купцовъ и евреевъ; эти послѣдніе съ своими товарами больше по окраинамъ базаровъ держатся, у лавокъ. Тутъ на возвышеніяхъ разложены кипы краснаго товара, мѣдная и желѣзная посуда, чай, сахаръ, кожи, сбруя разная, сѣдла, московскія привозныя сласти и галантерея. Ярко-зелеными горами лежатъ арбузы, и, словно золото, желтѣютъ груды спѣлыхъ дынь, запахъ которыхъ такъ и шибаетъ въ носъ, заглушая все остальное.

Казаки, рыбаки съ «Косъ-Арала» *) свой товаръ привезли и разложили на плетеныхъ циновкахъ; лоснятся на солнцѣ

*) Отмель Косъ-Аралъ при впаденіи Сыръ-Дарьи къ море; на ней устроена постоянная рыбачья колонія, преимущественно изъ казаковъ-переселенцевъ. Весь сбытъ рыбы—на казалинскій базаръ и черезъ него уже дальше.

большіе сомовьи туши, на веревкахъ развѣшана разная провѣсная рыба. Разитъ ину пору отъ этого товара такъ, что, дай Богъ, ноги унести поскорѣе да подальше. Что-жъ ты подѣлаешь, когда жарко!

Много народу на такіе базары съѣзжается. Велика базарная площадь, а и половина на ней не умѣстится всего, что понаѣдетъ, да понавезутъ. Во всѣ улицы торговля вытянется, и кипитъ ключемъ казалинская жизнь, что котелъ на жаркомъ огнѣ, и какія дѣла можно бы обдѣлывать здѣсь—если бы...

И опять это ненасытное «если бы»...

Правѣе базара садъ городской, казенный, разбитъ, заборомъ огороженъ, чтобы никто въ него не заглядывалъ; да заглядывать туда никому нѣтъ охоты, потому не зачѣмъ. Много сразу-то въ этомъ саду было понасажено, да безъ присмотра и воды повысохло, и торчатъ, словно колья на пожарищѣ, сухіе, оголенные сучья...

Чѣмъ дальше тянется улица отъ середины города въ поле, тѣмъ меньше и меньше стоятъ на ней домики... на самыхъ концахъ уже, почитай, что совсѣмъ однѣ землянки коптятся, и тутъ же начинаются киргизскіе аулы съ своими войлочными кибитками.

Близко эти аулы подходятъ къ городу, особенно съ той стороны, что отъ воды подальше; береговую же полосу наши себѣ отобрали, потому она степному человѣку не слишкомъ-то надобна...

За городомъ табуны бродятъ и стада городскія, подъ призоромъ киргизовъ-пастуховъ, наемныхъ работниковъ. И на самыхъ высокихъ мѣстахъ, гдѣ степному вѣтру побольше простору и воли, мельницы-вѣтряки поставлены. Эти-то мельницы и завидѣли наши обозники, когда подходили къ Казалинску, кончая свою многотрудную, далекую дорогу.

XXX. Какъ Никонъ къ отцу Ивану за требою ходилъ, а дядя Василій кибитку себѣ торговалъ на базарѣ.

Вотъ уже третья недѣля, какъ пришелъ нашъ обозъ.

Недѣли двѣ обозомъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ спервоначалу остановились, стояли, а теперь перевели ихъ на отведенное мѣсто, у самаго города, съ Перовской стороны, отъ городской межи съ полверсты, не больше.

— Тутъ, говорятъ, можете, благослови, Господи, строиться!

Первымъ дѣломъ сходилъ Никонъ къ попу казалинскому; насилу-насилу разыскалъ. Церковь новая тогда строилась на другомъ концѣ города, такая-то церковь, что въ Казалѣ и не видывали по сію пору. Вся изъ жженаго кирпича, окна высокія, въ верху стрѣлами, куполъ жестью бѣлой обитъ, и крестъ поставленъ большой такой, золоченый. Отецъ Иванъ такъ съ утра до вечера и не сходилъ со стройки, хозяйничалъ. Тутъ и нашелъ его нашъ обозный староста.

— А вонъ онъ! — сказалъ солдатикъ, что дверь пристрагивалъ, когда Никонъ спросилъ его, гдѣ «самъ», молъ?

Сказалъ солдатикъ, кивнулъ головою кверху, поплевалъ на руки и опять за рубанокъ принялся. Сталъ Никонъ искать отца Ивана, поднялъ голову, шапку напередъ снялъ. Сидитъ кто-то на самомъ куполѣ, въ бѣломъ балахонѣ, шляпа желтая, соломенная, круглая и черною лентою обвязана, въ рукахъ трубка двойная; приставилъ онъ ее къ глазамъ, щурится и на рѣку смотритъ; а рѣка эта свѣтлою дугою зеленые луга охватываетъ, на лугахъ скотина пасется, а изъ города бабье идетъ съ ведрами доить «на полудняхъ»; такъ и горятъ, такъ и рдѣютъ на солнышкѣ цвѣтные платки горожанокъ.

— А то вонъ наша Алена! — словно такъ, самъ съ собою, сказалъ отецъ Иванъ, трубку въ карманъ сунулъ и сталъ-было слѣзать.

— Ты чего? — спросилъ онъ, увидавъ, наконецъ, какъ Никонъ седьмой разъ чуть не «земной» ему отвѣшиваетъ.

— Къ тебѣ, батюшко, за требою! — еще разъ поклонился Никонъ.

— Не «батюшка», а «ваше благословеніе», — урезонилъ его отецъ Иванъ. — Въ чемъ дѣло, проворнѣе... Время — деньги, братъ. Ну?

Ловко такъ соскочилъ отецъ Иванъ съ послѣдней ступеньки лѣстницы, бородку поправилъ, закурилъ папироску и еще разъ на Никона нукнулъ.

— Люди мы пріѣзжіе... издалека... — началъ Никонъ.

— Откуда?.. — перебилъ отецъ Иванъ. — Стой, стой, стой! Эй, Родіонъ... Кузьма!.. Завороти его ко мнѣ на дворъ, тамъ барыня приметъ, сторгуются... Чего?.. На базаръ?.. Врешь! Все равно... дороже дадутъ, какъ-же?!. Такъ вотъ, сейчасъ, держи карманъ. Заворачивай, Родіонъ!..

Выбѣжалъ изъ-за кирпичнаго склада дьячекъ Родіонъ изъ отставныхъ, выскочилъ, словно вотъ изъ-подъ земли, Кузьма—звонарь, въ солдатской шапкѣ... Съ двухъ сторонъ налетѣли они на киргиза, что везъ мимо осетровъ пару, черезъ сѣдло перекинувши, и поволокли его, куда слѣдуетъ, прямо по задворкамъ, черезъ грядки и кучи мусорныя.

— Такъ откуда?—обратился опять отецъ Иванъ къ Никопу.

— Съ Волги, — сказалъ Никонъ. — Таперича, пришли къ тебѣ вотъ, бат... то-бишь, ваше благословеніе, за требой...

— За какой?

— Извѣстно—молебенъ благодарственный, съ водосвятіемъ... какъ, значитъ, Господь-Богъ сподобилъ новую землю увидѣть и все прочее... таперича больше, почитай. какъ шесть тысячей верстовъ...

— Сколько всѣхъ возовъ?

— Возовъ-то?..

— Да!

— Возовъ... таперича, было вотъ сто одинъ,—два отстали, еще въ запрошломъ, подъ Орскомъ, потомъ это опять два...

— Говори скорѣе! Сказано: «время—деньги»...

— Девяносто шесть... Во сколько!

Отецъ Иванъ началъ бойко соображать какую-то математику, палецъ за пальцемъ такъ и загибаетъ.

— Ладно, сегодня некогда; завтра въ восьмомъ утра; скажи, чтобы были всѣ въ сборѣ, приду!—Эй ты, стрѣлокъ, въ случаѣ градоначальникъ подъѣдетъ, скажи, что домой, молъ, ушелъ завтракать!

— Слушаю-съ! — отозвался стрѣлокъ, онъ же и столяръ, что дверь пристрагивалъ.

— Такъ завтра, въ восемь... — еще разъ добавилъ отецъ Иванъ.—Такъ девяносто шесть, говоришь ты?

— Такъ точно!

Перепрыгнулъ отецъ Иванъ черезъ канавку и пошелъ молодцеватою походочкою по той же дорогѣ, по какой дьячекъ съ звонаремъ киргиза съ осетрами проводили, а Никонъ покачалъ головою, поскребъ затылокъ, произнесъ такъ, въ раздумьи «ваше благословеніе», и пошелъ тоже домой, къ обозу, только правѣе взялъ маленько, черезъ базарную площадь.

А въ ту пору день какъ-разъ приходился базарный.

Протолкался Никонъ Денисьичъ сквозь толпу, дошелъ до лавокъ, слышитъ... Такъ и есть! Дядя Василій галдитъ что-то, а съ нимъ и изъ обоза человѣка три: Евсѣй-рыжій, Прохоръ-кислый и Митродоръ съ своею хозяйкой.

Подошелъ Никонъ поближе: мутило кибитку у коканца горгуетъ.

— Собирай тутъ вотъ на мѣстѣ, все, какъ слѣдуетъ!— командуетъ Василій.—Вишь, ты, ребята, это вотъ «тендюкъ» прозывается, черезъ него это пойдетъ тесьма: сюда волоки— закрылъ, назадъ волоки—проходъ для свѣту али вотъ дыму будетъ, поняли? Коли ежели зимою, да прогоритъ огонь-то, уголья сейчасъ сгребъ въ кучу, тендюкъ закрылъ—тепло, какъ въ банѣ... спи, хоть раздѣмшись!

— Важно!—крякнулъ Евсѣй-рыжій.

— Чудесное дѣло!—сказалъ Прохоръ-кислый.

— Ишь, ты!.. Какъ же теперь безъ печки?..—усомнилась Митродорова хозяйка.

— Ни таракановъ это, ни звѣрья подпольнаго,—чисто!.. Сырости этой тоже, ни Боже мой!—разливался дядя Василій.— А вы, простота, что задумали: избы строить?

— Изба лучше...

— Чего?

— Изба, я говорю!

— А ну, гляди... это что?—указалъ мутило на сухую жердь, что изъ-за стѣнки торчала.—Это что?

— Это?—Слега, вотъ что!

— «Слега», а поди, купи... Эй, поштенный, что такая, по вашему стоитъ?

Остановился «поштенный»,—половина ровно киргизъ, половина—изъ нашихъ.

— Шесть гривенъ дать можно,—сказалъ «поштенный»,— а за эту вотъ, пожалуй, и полрубля довольно!

Тутъ онъ указалъ на такую палку, что развѣ-развѣ ухватъ приладить годится.

— Ну, сторона!—развелъ руками Прохоръ-кислый.

— Что теперь «матица» *) будетъ стоить, ась?..—спросилъ Евсѣй.

---

*) Матица—большой брусъ, служащій связью и основаніемъ потолка.

— А вотъ я тѣ скажу,—ухватилъ его за полу Василій.— Утрева глядѣлъ я на берегу, гдѣ пристань: девять аршинъ длиннику, пять вершковъ въ верхнемъ концѣ,—семнадцать съ полтиною спрашивали!

— Ба-а-а-тюшки!

— Дай Богъ провалиться на этомъ самомъ мѣстѣ...

— Подь-ко, тоже и шалашъ твой киргизскій не дешево обойдется!—молвилъ про себя Никонъ и пошелъ дальше.

Сталъ онъ проходить межъ лавокъ, глядитъ: Маметка ему на встрѣчу большой узелъ на спинѣ волокетъ, самъ пѣшій. Увидалъ татаринъ Никона—сейчасъ въ сторону. Узенькій проходецъ тутъ былъ, такъ, проломанъ въ стѣнѣ,—туда и юркнулъ Маметка.

«Гляди, не сволокъ-ли чего?—подумалъ Никонъ.—А то чего бы ему прятаться?»...

Еще идутъ мужики изъ обоза, мѣшки захватили.

— Куда, братцы?

— Да хлѣбца купить. Бѣда! Все попріѣли... крупы вотъ тоже!

— Ничего, что-жъ! Дастъ Богъ на будущій годъ своего дождемся!

— Разѣвай ротъ шире...

— Что за чертъ!—оглянулся Никонъ.—Дядя Василій идетъ позади его, самъ не глядитъ въ его сторону, а этакъ влѣво рыло воротитъ.

Дошелъ мутило до перекрестка, повернулъ въ проулокъ— и прямо къ кабаку; а у кабака того, сейчасъ, домъ побольше пристроенъ, — большое крыльцо выходитъ прямо на улицу, а у крыльца тарантасъ стоитъ, лошадей изъ него выпрягаютъ. Домъ этотъ «гостиницею городъ Барнаулъ» прозывался или, все единственно, «Ніяполь», потому на одной доскѣ у него то было написано, а на другой—другое. Вотъ сюда-то во дворъ и шагнулъ дядя Василій,

Мужики изъ обоза пошли себѣ дальше за хлѣбомъ, а Никонъ въ обозъ; такъ и разошлись, всякъ своею дорогою.

XXXI. Земли подъ пахоть.

Тяжело было обозникамъ нашимъ первое время, такъ тяжело, что не разъ приходилось имъ проклинать и день тотъ, и часъ, когда надоумило ихъ бросить свою прежнюю лѣсную сторону.

Кто покрѣпче, тѣ молчали, терпѣли да приглядывались; надежды еще не теряли, что пойдетъ все хорошо, какъ по маслу, не хуже, какъ и у тѣхъ старожиловъ-поселенцевъ, что совсѣмъ богатыми горожанами стали. Кто послабѣе, особливо бабы, тѣ давно уже волкомъ выли и даже, все побросавъ, назадъ въ Россію собирались... Были и такіе, что совсѣмъ довольны оставались: лучшаго, молъ, и не требуется, и только и слышали отъ нихъ, что похвальбу да пѣсни; только этихъ пѣвуновъ было пока очень немного.

Отвели мужикамъ землю подъ пахоть отъ городу верстъ безъ малаго девять, отъ рѣки—четыре. Мѣрою не скупились,—что Бога гнѣвить?!—отмежевали достаточно.

Ходили туда, на это мѣсто, всѣмъ обществомъ; бабъ даже взяли съ собою; оглядѣли, межъ собою подѣлились, опять за попомъ посылали и опять молебенъ съ водосвятіемъ отслужили, какъ слѣдуетъ по закону.

Выпили по стаканчику; отецъ Иванъ сѣлъ на дрожки и домой въ городъ погналъ, на стройку свою все поспѣшалъ. Стали мужики наши съизнова землю осматривать.

Ровно такъ лежали ихъ поля будущіе. Земля сухая, твердая, не уколупнешь желѣзною лопатою; къ одной сторонѣ взлобочкомъ выходили эти поля, повыше, а въ другую сторону—чуть-чуть пониже спускались; гдѣ выше—тамъ земля много тверже, ну, совсѣмъ, что твой камень, гдѣ пониже—помягче. Подѣлили полосами такъ, что всякому и твердаго, и мягкаго досталось поровну.

Земля суглинокъ съ солонцомъ, кое-гдѣ пескомъ пересыпана. Полынь густая поросла на полѣ, колючка тоже мѣстами желтѣла. Время было—конецъ лѣта; все, что зелено, все давно повысохло, повыгорѣло на солнцепекѣ.

Собрались мужики на взлобкѣ, далеко оттуда видно: вонъ городъ, то-есть, не то, что городъ, а однѣ мельницы да куполъ новаго храма чуть-чуть на самомъ краю торчитъ... Вонъ тамъ рѣка чуть синѣется. Дымъ бѣлый столбомъ надъ ней поднимается, и идетъ этотъ столбъ изъ города куда-то дальше... То пароходъ ко взморью пробирается. А вонъ бугры видны, на буграхъ могилы киргизскія, словно дома цѣлые, каменные. Тамъ вонъ кочевки чернѣютъ, орда рыскаетъ. Словно серпъ серебряный озерко—затонъ видать неподалеку; все оно зеле-

нымъ камышемъ кругомъ заросло, а надъ озеромъ чайки носятся.

— Эхъ, кабы оно, это озеро-то, да къ нашему мѣсту пришлось... чудесное дѣло было бы,—вздохнулъ Никонъ, глядя изъ-подъ руки;—похлопотать бы нѣшто...

— Что-жъ раньше-то не хлопоталъ?—Теперь, чай, поди, поздно!—тихонько такъ сказала ему Марина.

— Да, братъ, прогулялъ, не порадѣлъ для міру-то!—вымолвилъ тутъ дядя Василій; такъ громко сказалъ онъ это слово, только опять не къ Никону, а такъ, ровно на вѣтеръ.

— Кабы знатье...—почесалъ подъ шапкою Степанъ-Малышъ.

— Таперича какъ-же мы эвту самую землю пахать будемъ?—подступилъ къ обозному Евсѣй-рыжій.—Ну-ко-ся, другъ, укажи!

— Сохой пахать; какъ же еще? А то плугомъ, таперь вотъ волы-то и пригодятся наши...

— Тутъ, братъ, всяку соху обломаешь... вишь, твердынь какая!..

И Евсѣй ковырнулъ кованымъ сапогомъ сильно такъ, а еле-еле сцарапнулъ.

— Дождемъ, можетъ, поразмочитъ къ осени, тогда и запашемъ!

— Дождемъ?

— Ну-да!

— Да нѣшто тутъ дожди бываютъ? Тутъ вотъ, сказывали, въ запрошломъ годѣ всего одинъ разъ дождь-отъ шелъ, и то махонькой...

— Поглядимъ, дастъ Богъ, увидимъ!—только и сказалъ Никонъ Денисьичъ, потому и сказать больше ничего не могъ, такъ какъ и самъ-то немного зналъ про эту сторону.

— Слушь, Никаша,—начала Марина вполголоса,—что эвто они все къ тебѣ да къ тебѣ пристаютъ? Что ты міру за отвѣтчикъ? Привелъ обозъ,—ну, и шабашъ! Таперича всякъ о своемъ пущай тужитъ!

— Нельзя такъ!—сказалъ Никонъ, а самъ пристально такъ все кругомъ разглядываетъ, что за канавы такія понарыты были, должно-быть, больно давно: совсѣмъ уже загладились мѣстами, бурьяномъ позаросли, чуть-чуть означаются на полѣ.

— Таперя о своей головѣ сколько заботы,—тянула свое Марина.—Домъ вотъ строить надыть, огородъ заводить... мало-ли дѣла!.. Плюнь ты на свое староство; пущай другого выбираютъ; спасиба не дождешься отъ нихъ, а только съ утра до ночи на тебя же лаются...

— Это не спроста!—проговорилъ Никонъ.

— Да что не спроста-то, что?

— Нѣтъ, я про свое,—махнулъ онъ рукою,—я про свое...

И пошелъ Никонъ къ тому мѣсту, тутъ всѣ эти канавы вмѣстѣ сходились. Ужъ очень ему эти борозды занятны показались.

— Ишь, ты, опять, знать, перемѣриваетъ. Экой какой землемѣръ выискался!—усмѣхнулся дядя Василій.—Что-жъ, братцы, гайда по домамъ, то бишь, по возамъ, цыгане вы горемычные! Что попусту-то на солнцѣ толочься? Помяните вы слово мое, смочите вы землю эту своими слезами, можетъ, тогда помягче пахать будетъ... Эй, Прошка, другъ, а у меня еще малость осталось: пойдемъ, вмѣстѣ, значитъ, сообща выдакаемъ!

Поднялъ мутило надъ головою руку съ бутылкою, всколыхнулъ легонько и опять ее за пазуху запряталъ.

— Что-жъ, угости!—осклабился Прохоръ-кислый и бороду свою расправилъ.

— Эхъ, жаль, безъ лошади! Шутка-ли, такой конецъ пехомъ переть... Далеко!

— Далеконько-таки!

— Таперича, я полагаю, въ рабочую пору хошь съ ночи сюда забирайся... Пока пріѣдешь, пока что...

— То ли дѣло у насъ въ Лѣсной! Сичасъ подъ бокомъ; хоша и мало ея, земли-то, а близко...

— Домой, такъ домой!

— Съ Богомъ, ребята!

— Бабы, пѣсни пой... Начинай, Демка!

— Ну, васъ къ лѣшему!

Тронулись мужики со взлобка всею ватагою; далеко такъ виднѣ по степи бѣлыя да кумачныя рубахи. Орда глядитъ на нихъ, изъ кибитокъ своихъ повысунувшись.

Тонко такъ началъ было Степанъ, думалъ подхватятъ; покосился на Марину а та идетъ, потупившись, платкомъ полъ-

лица закрыла, конецъ носа да губы только и видны, и не весело что-то эти губы сжались, а равно что тяжелое залегло у дѣвки на сердцѣ.

И оборвалась разомъ только-что начатая пѣсня.

— Да, ребята, да, други мои разлюбезные, съ этою землею вы наплачетесь; не разъ свою лѣсную сторону вспомните!—бойко такъ, лихо проговорилъ дядя Василій.

— Охо-хо!..—вздохнули мужики, идя да спотыкаючись, дорожъ, что всѣ въ землю смотрѣли, потупились...

Новыя земли пахатныя, щедрою рукою отмѣренныя, не пришлись имъ, должно быть, по сердцу.

XXXII. Стройка.

Лѣто къ концу, тамъ осень, а тамъ и зимнихъ холодовъ да метелей дожидать надо. Въ теплое время на возахъ да подъ возами любо, а къ зимѣ надо и о тепломъ углѣ подумать. Либо по степному, киргизскому манеру, какъ дядя Василій сбирается да другихъ подъучаетъ, либо по нашему, россійскому положенію, а строиться надо.

И принялись наши обозники за стройку.

Первымъ дѣломъ стали приглядываться, какъ у людей, по здѣшнему строятся. Непривычное это дѣло было, но и не мудреное слишкомъ; легко далось мужикамъ съ перваго же разу.

Колодцы рыть начали—и для обиходу вода нужна, не ходить же за версту на рѣку, да и для стройки требуется.

Стали глину мѣсить вмѣстѣ съ рубленой соломой, саманомъ, какъ ее здѣсь называютъ. Кто позатѣйливѣй, тотъ формы дощатыя подѣлалъ, кирпичи чтобы дѣлать: кто попроще, тотъ просто комья лѣпилъ да на солнцѣ высушивалъ; недѣля только прошла, а весь уже матеріалъ сготовили, стѣны выводитъ тогда начали.

Кто прямо на землѣ, во всю вышину, а кто въ полъ-вышины; остальное, сколько нужно, въ землѣ выкопали, въ родѣ землянокъ.

На улицу окна вывели, а двери въ бокъ. Какъ разобрали съ возовъ всю лишнюю стройку, такъ на рамы оконныя да косяки дверные вдосталь лѣсного матеріалу хватило. Никонъ Денисьевичъ и дѣлалъ эти рамы, почитай, на весь поселокъ:

ему за то кирпичи лѣпить помочь хотѣли; только какъ дѣло подошло, у всякаго своя нашлась работа; гдѣ же тутъ еще про другихъ стараться!..

Печи сладили глинобитныя, по русскому манеру, съ большими жерлами; дошло дѣло и до крыши.

Ну, и побились же обозники съ этими крышами! Лѣсъ потребовали долгій, съ возовъ взять не откуда, и вспомнили они тутъ, какъ на базарѣ имъ дядя Василій про цѣны здѣшнія сказывалъ.

Недѣли двѣ, а то и больше прошло, пока за этимъ лѣсомъ шлялись. Гдѣ ужъ тутъ выводить крутыя крыши съ коньками! Стали настилать плоскія, съ легкимъ на одну сторону скатомъ.

Сперва на стѣну жердей кое-какихъ понаклали, на нихъ камышу настлали толстымъ, слоемъ, потомъ земли насыпали, а съ верху все тою же глиною съ саманомъ смазали.

Спасибо еще, солдатики приходили помогать землякамъ; вотъ они-то и указывали все, какъ дѣлать надо.

Добрые эти солдаты были, ласковые, особливо съ бабами да дѣвками; для нихъ больше и старались. А мужики, знай-себѣ, только въ бороды посмѣиваются: «ладно, молъ, хлопочи, кавалеръ! Не солоно за свое старанье похлебаешь; у насъ тоже нюхъ есть, глаза зоркіе, небойсь, не прозѣваемъ!»

«Погоди, придетъ свое время, — посмѣиваются промежъ себя кавалеры;—тоже свое дѣло знаемъ; не вы первые, не вы послѣдніе!»

— Вы, земляки, земли-то немного наваливайте; гляди, жерди не выдержутъ, дождемъ намочитъ—обвалятся; задавитъ неравно... Васъ-то ничего, а вотъ бабъ жалко!

— То-то, бабъ жалѣете больно; ишь, прыткіе!

— Соскучились, столько-то годовъ не видавши!

Солдатъ съ совѣтомъ, мужикъ съ руками, спорно такъ шла стройка. Еще заморозками осенними по утрамъ не попахивало, а ужъ задымились трубы новаго поселка, и вытянулась прямая улица на двѣ стороны, Стали тогда о дворахъ хлопотать, огораживаться.

Степановъ дворъ какъ-разъ рядомъ съ Никоновымъ, только на его дворѣ ничего о-сю-пору не строилось.

— Ты чего же ждешь?—спрашивали его сосѣди.

— А чего же мнѣ хлопотать?—отмахивался Степка.—Я и такъ проживу, какъ Богъ пошлетъ!

— Блажной, право!

— Не для кого мнѣ гнѣздо вить,—сказалъ Степанъ Маринѣ, когда та его о томъ же спросила.—Проживу я зиму около васъ, коли не прогоните, а на лѣто я другое дѣло задумалъ!

— Мы тебя не прогонимъ, что же, живи!—ласково сказала Марина. — Ты вѣдь не даромъ; тоже, чай, къ нашему жилью не мало твоихъ рукъ приложено, старался... Что же это за дѣло твое, лѣтнее, ась?

— Ишь, ты какая! — ухмыльнулся Малышъ. — Погоди, я еще путемъ не обдумалъ!

Развеселился Степанъ послѣ этого разговора; долго онъ думу эту обдумывалъ, чтобы прожить съ Никономъ и Мариною вмѣстѣ, только сказать не рѣшался, совѣстился; такъ-бы и не сказалъ, если-бъ Марина сама не начала; а теперь оно, дѣло-то это, вышло какъ-то сподручно.

Весь день Степанъ пѣлъ на всю деревню; и на томъ, и на этомъ концахъ его пѣсни слышали, а подъ вечеръ съ Василіемъ встрѣтился, тотъ и смутилъ все веселье Степаново.

— Вотъ, погоди, вернется твоя хозяйка, спроситъ: «а гдѣ же я жить-то буду, гдѣ домъ мой?» Ну-ко, что запоешь ты ей тогда, на спросъ на этотъ?

— Э-эхъ!—крякнулъ Малышъ.

— То-то «э-эхъ!» А я слыхалъ про Дуньку. Мнѣ въ постояломъ вѣрные люди сказывали. И такія-то я дѣла слыхалъ, что любо!..

— Какія же дѣла такія?—глухо промолвилъ Степанъ, и лицо у него все осунулось, словно три дня лихорадка его трепала.

— Да ужъ такія, хорошія; говорить только вотъ съ тобою неколи...

Посвисталъ Василій, кнутовищемъ по смазному сапогу похлопалъ и пошелъ вдоль улицы, къ своему жилью направляючись; а жилье себѣ сладилъ онъ-таки по своему: купилъ на базарѣ кибитку маленькую, юломейкою прозывается, и поставилъ эту юломейку на самомъ концѣ, на выѣздѣ, только кру-

гомъ нея загонъ изъ камышевой загороди устроилъ. Тамъ и Маметка съ нимъ устроился, только этого татарина рѣдко на деревнѣ видать было; бывало такъ, что по недѣлямъ гдѣ-то по округѣ шляется, а потомъ прибѣжитъ, проживетъ день—другой, да и опять пропадетъ на малое время. Какъ есть, собака присталая.

XXXIII. Пособіе.

Славная такая осень стояла въ тотъ годъ,—ясная, теплая, ровная; мужики наши такой осени сроду и не видывали.

— Вотъ благодать-то,—толковали они, — ежели насчетъ уборки хлѣбовъ—первый сортъ! Ни торопиться не надоть, ни упущать ничаго за безвременьемъ. Копны это у тебя не подмочитъ, хлѣбъ-отъ не проростетъ въ снопахъ... Опять молотьба—первый сортъ, на вольномъ воздухѣ-то безъ крыши...

Одна бѣда только, что для нихъ-то самихъ эта осень распрекрасная совсѣмъ задаромъ пришлась, потому ни убирать, ни молотить имъ пока было нечего.

Ходили чужіе хлѣба смотрѣть: ничего, слава-те, Господи, уродило дюже!.. Самъ-пятьдесятъ, не самъ-пятьдетятъ, какъ Ложка имъ сказывалъ, а все-таки имъ во снѣ такіе урожаи не грезились...

Сѣно глядѣли; ну, то не такъ, чтобы ужъ очень, больше всѣ камышъ замолодь кошечный, одначе скотина ѣстъ, не брезгуетъ...

На стороны тоже ходили къ казакамъ «Живичку» да «Исаенкѣ»—вотъ ужъ тутъ точно-что было чего поглядѣть!..

Огороды всѣ эти полосою вдоль самаго берега тянулись верстъ за десять отъ города, въ обѣ стороны; не мало тоже труда на нихъ было положено: зато и вышло дѣло.

Пуще всего мужики бакшамъ съ дынями да арбузами дивились.

— Молодецъ, Степа-Ложечка, порадѣлъ міру, правдивая ты душа, вѣрно все обозначилъ!.. Что таперъ наша лѣвая сторона?—«Голь», одно слово, супротивъ праваго края!

— Таперича все это однѣ дыни самыя жрать будемъ, сласть!—толковали бабы...

— Отъ нихъ холера, сказываютъ, бываетъ; гляди, не облопайтесь,—толковали мужики.—Вамъ бабамъ, только о сладкомъ и въ помыслахъ... Эки сластены! Откедова прибыли?..

Много добра у старыхъ поселенцевъ, только вотъ она въ чемъ статья-то самая, вотъ она гдѣ загвоздка-то самая, вотъ она гдѣ загвоздка-то настоящая; какъ только наши обозники эту загвоздку выворотятъ!

Прибылъ обозъ къ осени, впереди зима, не то, чтобы длинная очень, а таки порядочно, мѣсяца три съ хвостикомъ... Хлѣбъ-то, что съ собою былъ, поприѣденъ; давно уже прикупаютъ они его, этотъ хлѣбъ самый. Деньгами-то не больно богаты, ужъ послѣдніе рублевики поразмѣняли, а впереди-то что, ась? Чѣмъ зиму-то кормиться будутъ?..

А теперь насчетъ скотины, она съ брюхомъ, а брюхо ѣды требоваетъ, значитъ, сѣна, какого ни на есть, хоть этого камышеваго, а надыть; его-то откуда взять? Тоже купить?.. А какъ не на что будетъ, что со скотиною сбудется? Какъ передохнетъ она за зиму съ «сытости цыганской», съ чѣмъ тогда на поле выѣдутъ? Эхъ, дѣло-то выходитъ не ладно!

Положимъ оно, бѣдовать да впроголодь сидѣть—дѣло привычное. Сами-то кое-какъ зиму промаятся. Опять же свѣтъ, хошь и самый край его, почитай, не безъ добрыхъ людей, бабье похристарадничаетъ на прокормленіе.—А къ веснѣ поля обсѣвать чѣмъ?.. Зерна посѣвнаго гдѣ достать? Вотъ это-то дѣло пуще всего нашихъ обозниковъ заботило, и не вылѣзала изъ головъ мужицкихъ дума эта тяжелая, неотвязная.

А все стройка эта ихъ, анафемская, деньгами поддѣла: шутка-ли, жердь въ руку толщиною—рубль... разореніе!.. Какіе достатки выдержатъ?

Сказывали люди, что поселенцамъ деньгами пособіе выдавать будутъ... Намедни, дорогой-то, самъ генералъ «по пятидесяти рублевъ» баилъ... Ходили объ этихъ деньгахъ-то справляться, только толку пока не нашли никакого.

Писарь одинъ въ кабакѣ дядѣ Василію сказывалъ, что, молъ, все не въ то мѣсто попадали, гдѣ деньги эти, пятидесятирублевыя-то, для нихъ принесены, а то бы выдали; какъ не выдать, коли онѣ для этого самаго положены?

А другой писарь самому Никону говорилъ; встрѣтились они, чудно такъ вышло это: Никонъ, передъ восходомъ солнца за полчаса, вышелъ изъ дому на дворъ, скотину провѣдать; глядь, а писарь черезъ плетень отъ Прохорова двора лѣзетъ.

— Ты, братъ, кавалеръ, откедова?—поспрошалъ Никонъ

— А я тутъ по дѣлу! — хотѣлъ было вильнуть писарь въ проулокъ.

— Нѣтъ, стой! Пѣшто мимо воротъ, сквозь заборъ, модель?

Сгребъ это Никонъ писарька за воротъ; тотъ прижался; сила-то у Никона какая? Супротивъ писаревой все одно, какъ медвѣдь супротивъ мыши...

— Эй, дядя Прохоръ, землякъ! Выходи, что ли... У тебя на дворѣ-то не ладно!—крикнулъ Никонъ.

А Прохоръ-то, глядь, не въ избѣ, а около; камышъ подъ нимъ постланъ мягко такъ лежать; дрыхнетъ Прохоръ, писаревой шинелью укрымшись; только мычитъ во снѣ, а около посуда валяется...

— Это ты видишь? Это, молъ, на мои деньги, не на чужія; значитъ, мы съ нимъ пріятели, кумовья, а по такому положенію,—говоритъ писарь,—что въ ворота, что мимо, все единственно... Вѣрно?

Видитъ Никонъ, что человѣкъ резонъ говоритъ, ну, и пустилъ.

А въ тотъ же день подъ вечеръ пошелъ Никонъ опять о деньгахъ спрашивать, этого же писарька встрѣтилъ; по знакомству поразговорились.

Вотъ тутъ-то и говорилъ писарь, что, молъ, никакихъ такихъ шальныхъ денегъ нѣтъ, что лучше пущай и не ищутъ ихъ, а что ежели угостить виноградным, то онъ, писарь, молъ, не прочь, и что не токмо что отъ Никона этого угощенія не требуетъ, а еще самъ, по дружбѣ, готовъ; значитъ, жертвуетъ.

Такъ мужики насчетъ пособія и думать перестали.

XXXIV. Первыя бѣды мужичьи.

А зима-то все ближе и ближе.

Стали по небу тучи ходить, сѣрыя такія, непастныя... Дождь пошелъ, вѣтры холодные задули... Хватились мужики насчетъ топлива—тоже дѣло дрянь выходитъ.

Топитъ въ этой странѣ сухимъ камышемъ, бурьяномъ да колючкою: еще для топлива кизякъ на зиму лѣпятъ изъ навозу съ соломою—это ужъ первое топливо; жару даетъ оно,

что твои дрова березовые... Тоже и саксауломъ топятъ, только онъ не по зубамъ, дорогъ, развѣ начальство да купцы богатые этимъ балуются, а ужъ гдѣ нашему брату, мужику обнищалому!..

Запасаютъ камышъ да бурьянъ еще съ лѣта, цѣлыя горы навалятъ его по задворкамъ, чтобы до новаго хватило. Купить его дорого тоже, потому провозъ цѣнится, а самимъ возить—хорошо, коли спозаранку задумалъ, а то, когда все кругомъ отолкутъ, ступай за нимъ верстъ за сорокъ, а то и дальше...

Вотъ и пришлось обозникамъ за то, что, по незнанію своему, спохватились поздно, чуть не къ самому взморью ѣздить... Съ утра ранняго выѣдутъ, а на другой день, къ ночи, на мѣсто поспѣютъ; навьючивать возы тоже время надо; на четвертыя сутки только назадъ обернутся.

Дороги нѣтъ, степью, цѣлиною прутъ. Раскиселило землю отъ дождей да ненастья, по колѣна волы вязнутъ, по ступицу колеса уходятъ; измаются мужики сами, скотину свою, голодную, замучатъ; въ два дня сожгутъ все, что привезено, и опять въ ту же дорогу дьявольскую собираться надоть. Какъ тутъ не зачесаться мужичьимъ затылкамъ!

Затянуло небо сплошь тучами, по недѣлямъ солнца не видно; давно уже листъ обвалился съ деревьевъ, стояли они оголенныя, словно метлы обшарканныя. Воронье стаями носится, каркаетъ, тоску нагоняетъ на душу. Грязь на улицахъ невылазная. И день, и ночь моросить холодный дождь и мочитъ онъ, размачиваетъ сѣрую глину казалинскую.

Мало кого на улицахъ видно, всѣ по домамъ больше сидятъ. Не ѣдетъ кочевой человѣкъ въ городъ, всѣ они въ зимовки отошли, гдѣ песку побольше, потеплѣе и посуше. Караваны пріостанавились въ дорогахъ; верблюду идти не подъ силу, даже порожнему, не то что съ вьюкомъ тяжелымъ. Самая бездорожная пора настала, и опустѣли людные казалинскіе базары.

— Эхъ, хоть бы морозы, что ли, скорѣй пришли, все бы вольготнѣе было!—кряхтятъ мужики, намаявшись съ топливною возкою...

А тутъ подоспѣла еще новая бѣда, да такая, что и руки опустились, на ту бѣду глядючи

Стройка была новая, глинобитная, просохнуть путемъ не успѣла, а тутъ ее дождемъ стало размачивать.

Насквозь протекли крыши, неопытною, непривычною рукою настланныя, стали обваливаться, спервоначала углы, а тамъ сами стѣны, подмытыя снизу...

У тетки Арины, прошлую ночь, совсѣмъ вся задняя стѣна завалилась; слава-те Господи, что еще не внутро, а во дворъ упала, а то бы передавило ребятъ, да и саму Арину съ ними. Собрались мужики на подмогу; дѣло ночное, темное; ничего въ толкъ не возьмутъ сразу-то. Арина воетъ, ребята пищатъ... Волы съ перепугу, задравши хвосты, по двору бѣгаютъ... Загородили было кое-какъ камышемъ а дождь-то такъ и хлещетъ, ровно изъ ведра полилъ... Продрогли мужики; иной, гляди, въ одной рубахѣ, раздѣмшись, на тревогу-то выбѣжалъ; ругаются... Въ землянку воды набѣжало вершка на три, сказывали послѣ, что это не дождевая, а снизу подступила сквозь землю, дарьинская...

Пошла Арина къ сосѣдямъ, захватила съ собою ребятъ, а у сосѣдей тоже крыша течетъ, корыта да горшки подставляютъ.

Въ ту же ночь и остальное все размыло, завалилась крыша, вся, какъ есть, съ трубою, и осталась баба на зиму безъ крова, безъ тепла своего собственнаго...

Трехъ дней не прошло, другой грѣхъ случился, только еще хуже: печь обвалилась у Анисьи съ Матвѣемъ Лаптевымъ и задавила дѣвку, дочку ихъ, лѣтъ семнадцати... Спервоначалу и не разглядѣли бѣды да ужъ подъ утро, какъ свѣтать стало, глядятъ, а ноги въ синихъ чулкахъ со стрѣлками торчатъ изъ-подъ обвала. Стали разрывать, выволокли, ужъ она вся и похолодѣла... Заревѣлъ Матвѣй Лаптевъ; такъ объ землю и ударилась тетка Анисья; да нѣшто вытьемъ дѣлу поможешь?

Стали тогда всѣ Васильевой кибиткѣ завидовать; тепло у него, сухо, спи безъ опаски, ничего не завалится...

— Что, братцы, сказывалъ я вамъ, — подсмѣивался мутило,—не слушали... А жаль дѣвчонку, я было сватать хотѣлъ послѣ праздниковъ... Я, мблъ, думалъ, не спѣсивая, не будетъ рыла ворочать, какъ иныя прочія... Эхъ, да и житье же въ юломейкѣ, первый сортъ, лучше не надоть!

Накинулись тогда всѣ на Никона: ты, молъ, отъ кибитокъ отговаривалъ, ты, молъ, все строиться подбивалъ. На твоей душѣ весь грѣхъ лежать долженъ, что своимъ умомъ горе этакое на міръ накликалъ!

— Я этому не причина!—сказалъ Никонъ, а самъ стоитъ, точно виноватый.—Воля Божья, супротивъ ея что подѣлаешь?..

— Оно точно, дѣвку-то жалко, — началъ было Степанъ-Малышъ.—Слушь, Матвѣй, что я скажу тебѣ, подь сюда!

— Ну?—подошелъ Матвѣй.—Ты вѣдь, шалый, за одно съ тѣмъ-то?—кивнулъ онъ въ ту сторону, гдѣ Никонъ стоялъ, потупившись.

Отвелъ его Степанъ маленько въ сторону, за стѣну, сталъ кошель доставать изъ-за пазухи. Далеко у него этотъ кошель былъ запрятанъ, не скоро выволокъ его Степка.

— На вотъ зелененькую; только одна, братъ, и осталась. Тебѣ хоронить дѣвку годится... На, возьми, чего упираешься?

— Давай!—сказалъ Матвѣй, расправилъ бумажку на ладони, поглядѣлъ на нее, потомъ на Степана.—Ну, спасибо!—промолвилъ онъ.—Опосля отдамъ какъ-нибудь, сочтемся!

— Опосля отдашь! — повторилъ Степанъ-Малышъ, и пошли оба, всякъ въ свою сторону.

— Каторжный, чтобъ-те пусто было, чтобъ-те, за твои слова, совѣтныя... — напустилась Анисья на Никона, благо тотъ все отмалчивается, слова отвѣтнаго не молвитъ.

— Тоже какого лѣшаго слушать стали,—заговорили мужики,—тогда безъ воды остались, потомъ вотъ опять, что, скажь. Было такое... теперя вотъ, на, поди, безъ крова, въ непогодное время, въ зиму-то самую...

— Черти!—выскочила тутъ Марина. Она все время въ сѣняхъ своихъ стояла, а народъ подлѣ Никоковой избы собрался.—Чего лаетесь, собаки? Подь всѣ сюда! Подь къ намъ въ домъ, всѣ до единаго, подь и ты, окаянный, что народъ смущаешь. Чего стоишь, позади прячешься?.. Иди! Вишь, къ себѣ зову, значитъ—пользуйся; другой разъ, можетъ, и къ порогу не пущу близко!

— Ладно, нынѣ и здѣсь хорошо, а коли народъ идетъ, то и мнѣ съ народомъ для ча твоимъ тепломъ не погрѣться?..—

отозвался Василій, потому къ нему и шли послѣднія рѣчи Денисовой внучки...

Замолкли мужики: озадачила ихъ Марина. Стоитъ она на порогѣ, дверь распахнула настежь; глазами такъ и поводитъ во всѣ стороны, вся раскраснѣлась, грудь такъ и поднимается подъ рубахою... Богатырь стоитъ, а не дѣвка... Тронулись мужики сразу, двое такъ даже шапки сняли, словно станового увидѣли.

— Входи, входи всѣ до единаго! — зычно такъ кричитъ Марина. — Входи, ругатели вы горластые; чего жметесь въ кучѣ?..

Стали входить. Что за дѣло такое?

А стройка у Никона просторная была: шесть аршинъ по улицѣ пущено, а во дворъ, въ длину—девять; это подъ избу только, а тамъ еще сѣни въ четыре аршина шли, а за сѣнями—такъ въ родѣ амбара, либо клѣти, тоже подъ крышею. Въ углу печь побѣленная, а полъ гладко такъ смазанъ и пескомъ на палецъ усыпанъ. Четыре окошка прямо на улицу, одно въ бокъ, во дворъ, много свѣту пропускаютъ, даромъ что замѣсто стеколъ промасленною бумагою рамы заклеены; вдоль стѣнъ скамьи поставлены, еще россійскія, привезенныя; въ переднемъ углу столъ и образа на полкѣ, на столѣ рядно чистое, ножикъ и хлѣба краюха, фунта въ четыре, солонка деревянная, коньками вырѣзанная. Потолокъ циновкою подбитъ, рукою не достанешь, высоко, чисто такъ, тепло, просторно.

Вошли мужики, одинъ за однимъ, на образа перекрестились, стоятъ да оглядываются. Вошелъ и мутило, у самой двери остановился.

— Ну, теперь гляди всѣ!—говоритъ Марина; успокоилась она, надо полагать, потому уже не оретъ во все горло, а ровно этакъ говоритъ, степенно.—Гляди, гдѣ у насъ потолки текутъ, гдѣ дырья, указывай! Гдѣ у насъ крыша обваливается? Отыскивай изъянъ, коли можешь!.. Чѣмъ не домъ, отчего жить нельзя? Сказывай! Что же стоять-то? Садитесь всѣ, милости просимъ, гости будете...

Поклонилась Марина міру въ поясъ, на лавки рукою указала; сѣли мужики.

— Словъ вы только Никоновыхъ слушали, а слово на-двое бываетъ:—съ него и хорошее можетъ статься, и дурное,—гово-

рила Денисова внучка.—Сказывалъ вамъ Никонъ—строиться надо; начали вы строиться, началъ и онъ вмѣстѣ съ вами. Изъ одной земли и онъ, и вы глину мѣсили, въ одно и то же время начали, въ одно и кончили; глядѣть бы вамъ, поди, въ оба, какъ мы дѣло дѣлаемъ, а не съ солдатами лясы точить да магарычи запивать... Никонъ-то, можетъ, полъ-Казалы обѣгалъ, у хорошихъ людей совѣту просилъ да учился,—вотъ и вышло дѣло, вотъ мы и подъ крышею; чего же вы того же не дѣлали? И у васъ то же было бы...

— Да что толковать, — началъ тутъ и Никонъ. Онъ все время вдали стоялъ да на Марину глядѣлъ, глазъ не спускаючи. — Что говорить-то съ вами... Выбирай теперь, какого хошь себѣ старосту, я вамъ больше слугою не буду... Дѣлай всякъ, какъ знаешь, мнѣ что! Хоть сейчасъ кочевать ступайте, на орду степную глядючи... Скажу я вамъ еще слово одно, только когда время къ тому приспѣетъ, а теперь—шабашъ, я вамъ не отвѣтчикъ, не указчикъ больше...

— Ты вотъ, Денисьичъ, слышь...—замялся «борода клиномъ».—Ты что-жъ это осерчалъ, право слово,—ну, право... чаго, въ самомъ дѣлѣ? Мы нѣшто что... мы, значитъ, по-божески, ну, и все прочее... потому народъ подчасъ глупъ бываетъ... такъ-то вотъ!

— То-есть во какъ!..—отрѣзалъ Прохоръ-кислый.

— Какъ есть!..—порѣшилъ Евсѣй-рыжій.

— То-то вотъ оно и выходитъ! — замѣтилъ Кузьма-свистунъ.

— Прощенья просимъ, за угощенье благодарствуемъ! — промолвилъ дядя Василій, перешагнулъ черезъ порогъ, минуточку еще постоялъ за дверью, словно слушалъ что-то, да и пошелъ себѣ черезъ дворъ, на улицу.

Взялись мужики за шапки и стали расходиться.

— Ишь, грязи наволокли!—произнесла Марина. — Степа, принеси метлу, въ сѣняхъ тамъ стоитъ,—маленько вымести...

— Ишь, ты какая!—передернулъ плечами Степанъ-малышъ, хотѣлъ было и локтемъ толкнуть Марину подъ-бокъ, да та стояла-то больно далеко, и пошелъ за метлою.

Посидѣлъ минутку Никонъ на лавкѣ, крякнулъ вдругъ, будто спохватился, либо вспомнилъ что, сгребъ шапку да поясъ и пошелъ на улицу, вслѣдъ за мужиками.

— Гляди, опять свяжется,—промолвила, косясь на окошко, Денисова внучка. — Эко его къ мірскому дѣлу тянетъ, была печаль о чужой головѣ пуще, чѣмъ о своей думать...

— Ты его, слышь, не замай, — сказалъ тутъ Степанъ-малышъ,—это онъ вѣрно... это онъ, какъ должно, потому...

Не договорилъ тутъ Степанъ, почему это потому, замолчалъ и принялся метлой по полу шаркать.

XXXV. Вторыя бѣды горше первыхъ.

Вотъ и зимы дождались.

Ну, да и зима же здѣшняя,—хоть бы и вовсе ея не было! Перепадали дни, что порядочно-таки морозило, а то больше снѣгъ валитъ съ дождемъ пополамъ, только грязь увеличиваетъ. Вѣтры стали задувать безпрерывные; такъ вотъ-те сквозь намокшую одежу и пронизываетъ.

Дуетъ въ окна, дуетъ въ двери, въ дыру каждую, а этихъ дыръ достаточно понабралось въ мужичьихъ стройкахъ. Не горитъ сырой да мокрый камышъ въ печахъ, только дымомъ валитъ оттуда.

На дворѣ грязь и въ дому грязь: раскисли земляные полы отъ потековъ да воды, что съ собою народъ на лаптяхъ наноситъ.

Пришло съ зимою время тяжкое.

Запарщивѣла скотина, голодная да непокрытая, валиться стала. Ребятки малые тоже хирѣть начали.

Старые поселенцы да городскіе люди-хозяева осерчали что-то на горемыкъ нашихъ.

— Вы, говорятъ, бѣду намъ нагоните; отъ вашего скота чумленаго какъ бы по всему городу зараза не пошла.

Начальству жаловаться ходили.

Пріѣзжалъ лѣкарь и военныхъ офицеровъ съ нимъ два человѣка; долго изъ двора во дворъ ходили, щупали скотину-то, бока ей мяли, языки глядѣли, — девять штукъ отобрали, повели на казенный дворъ, за городъ; остальнымъ прочимъ рыло дегтемъ мазать велѣли и навозомъ окуривать, чтобы безпремѣнно.

Насчетъ ребятъ сказывали: «кормить чтобы лучше, молокомъ да мясомъ, одѣвать тоже теплѣе, босыхъ на улицу не пущать». Все разсказали обстоятельно.

Ошалѣли мужики совсѣмъ. Просто пропадать приходится! Ну, и бѣдовое же время приспѣло! Вотъ оно гдѣ горе-то настоящее начинается; мы еще, молъ, такого и не видывали.

Пуще всего бѣда, что брюхо пусто. Бывали такіе дни, что съ ранняго утра до позней ночи крохи не перепадетъ.

Кумовья у кого завелись, солдатики больше, тѣ приходили съ бабами поболтать,—ну, приносили чего: хлѣба тамъ, крупъ казенныхъ, иной водки притащитъ малость. Мужики уже до того и не касались: пущай бабы погложатъ; ихъ, молъ, это счастье.

Всю одежу, какая у кого была лучшая, перепродали. Хотѣли было и скотину по боку, да боязно: а съ чѣмъ, молъ, на поле послѣ выѣдутъ? Оно, конечно, заодно ей пропадать, какъ сказывалъ давеча дядя Василій: «Все, говоритъ, одно къ веснѣ не дотянетъ — поколѣетъ». А ну, какъ выживетъ? На нее одну, на скотину-то, только и надежда.

На заработки поденные ходили; только заработковъ этихъ найти трудно было: все по тому же по времени проклятому, зимнему. Да и въ самомъ дѣлѣ! Лѣтомъ, точно, руки рабочія всякому нужны, потому дѣловъ много по всякой части; а зимою—на кой онѣ прахъ? Всѣ хозяева сидятъ себѣ въ теплѣ, безъ дѣла, жуютъ, знай, запасенное, что имъ о чужомъ брюхѣ еще заботиться! Всякъ норовитъ, чтобы про свое хватило бы. Такъ-то!

Да и работъ подходящихъ мужики наши не знали. Въ своей лѣсной сторонѣ прежней все мастерство ихъ было только что корыта, ложки, чашки, бадейки дѣлать, опять лыко драть, лапти плесть, короба разные. А здѣсь эта работа неподходящая, потому матерьялу для нея не имѣется.

Вотъ Никону ладно, онъ плотничное дѣло лихо смекаетъ. На прошлой недѣлѣ работу у купца Маслова досталъ, девять рублевъ въ полмѣсяца заработать можетъ. Какъ ему, дошлому, не продержаться?

Бабы тоже кое-чѣмъ по своему дѣлу промышляли. Пойдутъ это подъ окнами христарадничать—ну, и нарвутся. Бѣлье мыть все больше да насчетъ шитва кой-какого; все перепадетъ копѣйка, особливо кто пошустрѣе да помоложе.

У кого еще уцѣлѣла стройка, видъ-то свой сохранила малость, къ тѣмъ другіе бездомовники пристали. Сама Марина къ

себѣ ребятъ пособрала съ трехъ семей, сама и прокармливала ихъ.

Совсѣмъ размыло оставленныя стройки, только глыбы глиняныя виднѣются на тѣхъ мѣстахъ брошенныхъ. Того уже виду, что спервоначалу деревня имѣла, нѣтъ: растрепала, исковеркала новый поселокъ злая непогода.

— Ничего! Вотъ, дастъ Богъ, подойдетъ весна, оправимся! — все еще не теряютъ надежды наши обозники.

А весны этой съ ея тепломъ-благоденствіемъ ждать надо еще безъ малаго полтора мѣсяца. Дождутся ли?

XXXVI. Въ Никоновомъ домѣ.

Широко разгулялись бѣды да напасти по всѣмъ дворамъ; въ одномъ только Никоновомъ не было и духу слышно ни того, ни другого.

Ладно такъ сложилась жизнь обыденная подъ этою крышей,—жильцы такіе собрались подходящіе.

Съ ранняго утра, почитай-что до свѣту, Никонъ со двора уходитъ на свою работу, къ купцу Маслову. Полы купецъ затѣялъ настилать досчатые, на шесть горницъ, такъ вотъ за этими-то полами и состояла работа Никонова. Извѣстно богатому человѣку всякая затѣя подъ силу; чего же Маслову за капиталомъ стоять, коли такихъ дорогихъ половъ захотѣлось въ новомъ своемъ домѣ? А Никону Денисычу такая работа ловко по рукамъ пришлась: строгаетъ да тешетъ онъ съ утра до дочи, купецъ его чаемъ поитъ, водки подноситъ, хотя Никонъ отъ этого пойла и отнѣкивается.

Степанъ-малышъ тоже съ утра по домашней работѣ рукъ не складываетъ. Дворъ оглядитъ, что нужно исправитъ, за скотиною присмотритъ,—шутка ли, шесть животовъ! Никоновыхъ двѣ пары, да его пара. За топливомъ уѣдетъ ко взморью, тоже день-другой уйдетъ времени.

Марина стряпаетъ, ребятъ, своихъ постояльцевъ, кашею кормитъ, шьетъ, стираетъ, Никону въ полдень обѣдать носитъ.

И все идетъ у нихъ складно, ровно смазано. Вездѣ глазъ, вездѣ все по порядку прилажено. Достатки тоже не Богъ-вѣсть какіе, а нужды не видно; и тепло, и сыто живется.

Приглядѣлся Никонъ къ Степану, приглядѣлся и тотъ къ

нему; шибко такъ слюбились другъ съ другомъ, словно братья стали единоутробные.

Чудное дѣло даже стало, право! Уходитъ Никонъ на цѣлый день, Степана глазъ-на-глазъ съ Мариною оставляетъ, а покойно у него на сердцѣ, даже не шелохнется ничего такого. То-ли онъ Маринѣ шибко вѣрилъ, то-ли Степану самому—онъ и самъ путемъ не разбиралъ того. Бывало такъ даже: сядетъ Марина въ уголъ, а Степанъ завалился на лавку, голову къ ней на колѣни положилъ, та волосы его разбираетъ, а Никонъ топоръ остритъ, рубанокъ правитъ къ завтрему—и ничего.

А помнитъ хорошо Никонъ, что въ первое время, даже здѣсь уже, послѣ смерти Дениса, не токмо что прежде, совсѣмъ не то было. Помнитъ и онъ, помнитъ и Марина, помнитъ и Степанъ, какъ на него косо поглядывали да подъ носъ бурчали. Всѣ помнятъ а словно позабыли все это, словно и вовсе того не было.

Пискотня такая, смѣхъ стоятъ въ Никоновой избѣ съ утра до ночи; дѣти малыя по полу ползаютъ, орутъ. Марина порядокъ надъ ними соблюдаетъ, гдѣ ласкою, гдѣ словомъ, а гдѣ и прутомъ: «зачѣмъ баловаться!» Сосѣдки придутъ къ ней, набьются въ избу, всѣ грѣться просятся, калякаютъ кое о чемъ, кости чужія перемываютъ. Къ ночи, какъ только сумерки станутъ, вонъ поспѣшаютъ, потому Никонъ скоро долженъ вернуться, а онъ этого бабья не терпитъ,—вотъ эту его повадку и знаютъ.

За работою и не видитъ Марина, какъ день за днемъ проходитъ. Не замѣчаетъ и Никонъ, какъ все длиннѣе и длиннѣе дни становятся, къ концу зима приближается; одинъ только Степанъ,—кто его знаетъ, что съ нимъ? Глядишь: веселъ парень, пѣсни поетъ, а нѣтъ-нѣтъ и задумается, словно загруститъ о чемъ.

Разъ Марина выглянула въ окошечко, что во дворъ выходило, смотритъ: взялъ Степанъ пукъ соломы, свернулъ его и волу бурому съ бѣлою лысиною спину отъ навоза примерзшаго очищаетъ; махнетъ разъ—и постоитъ, махнетъ другой—и опять остановится, а послѣ положилъ руку свою съ пучкомъ скотинѣ на спину, да такъ и задумался, куда-то черезъ загородь глядючи.

Навѣдалась Марина въ печку: вода только закипать въ котлѣ начинаетъ; еще вязку камышу подкинула, поправила.

Демку махонькаго отъ порога оттащила, чтобы не зашибъ кто, двери отворяючи; потомъ опять въ окно выглянула— стоитъ Степанъ все такъ же, какъ и стоялъ, не шелохнется. Краюху хлѣба всю Марина изрѣзала, въ солонку соли изъ мѣшечка насыпала,—а за мѣшечкомъ-то этимъ надо было въ сѣни, въ кладовую сходить,—опять Демку, каторжнаго, отъ двери оттащила, Никашкѣ подзатыльника дала, чтобъ къ столу не лѣзъ,—все вѣдь время не малое на эти дѣла надоть— опять въ окно выглянула—опять то же...

— Степанъ!..—окликнула тутъ Марина.

Молчитъ Степанъ-Малышъ, не оборачивается даже.

«Аль заснулъ съ устатку-то, стоючи?»—подумала дѣвка.

— Степа! Эй, что ты тамъ? Подь въ избу!

— Ась?—словно проснулся парень, обернулся, а глаза-то у него красные, словно лукомъ натертые...

Вздохнула тутъ и Марина, отошла отъ окошка, подняла съ полу все того же поскудника Демку, приласкала его, да такъ и впилась губами въ его щеку пухлую.

Вернулся Никонъ домой позже обыкновеннаго. Стемнѣло совсѣмъ; ночь морозная стояла, и небо все звѣздами выяснило.

— Что запоздалъ?—спросила Марина.

— Да вотъ еще работка навернулась!—весело такъ вымолвилъ Никонъ; снялъ полушубокъ и къ печкѣ просушить повѣсилъ; сталъ разуваться.

— Попъ здѣшній, отецъ Иванъ-то, къ купцу приходилъ,— разсказывалъ онъ,—у купца-то, слышь, гости сбирались нонеча, человѣкъ девять,—ну, и отецъ Иванъ пришелъ. Такъ вотъ онъ и подряжалъ меня на церковную работу, рублевъ на двадцать пять. Ты, говоритъ, зайди, погляди; я и заходилъ... Ну, что у васъ тутъ, какъ?

— Все какъ слѣдуетъ!—отозвался Степанъ.

— Ужинать будешь?—спросила Марина.

— У попа кормили, сытъ...

Темно было въ избѣ, только и свѣту, что изъ печки. Ребята давно спали въ повалку на соломѣ, что Степанъ имъ настлалъ еще засвѣтло. Марина сидѣла на лавкѣ, ноги подобравши подъ себя, Степанъ на печку забрался, лежитъ тамъ на брюхѣ, на локти опершись.

— Нашихъ бабъ встрѣтилъ: Домну и Василису, да еще

Пашку дѣвку; шляются по дворамъ съ котомками,—говорилъ Никонъ.—Обнищалъ народъ, просто срамъ!.. Былъ еще одинъ человѣкъ у купца въ гостяхъ, вышелъ ко мнѣ, все объ нашихъ распрашивалъ. Вы, говоритъ, какъ же теперь съ землею будете? Какъ пахать. какъ обсѣвать, чѣмъ, молъ? Про все любопытствовалъ. Я говорю: что, молъ, какъ Господь пошлетъ, такъ и будемъ, а онъ-то говоритъ: «нѣтъ, тутъ на Господа Бога надѣйся, а самъ не плошай... Тутъ тоже смѣтка нужна да сноровка; безъ знатья-то этого лучше и не приступайся... Приходи, говоритъ, ко мнѣ, все разскажу, дѣло тогда будетъ...» Что-жъ, говорю, за добрый совѣтъ спасибо, не побрезгаешь—приду. «То-то, говоритъ, приходи. Я, молъ, ко всѣмъ вамъ давно приглядываюсь и вижу, что изъ одного тебя прокъ только и выйдетъ»,—такъ и говоритъ: изъ одного тебя, молъ!

— Это онъ вѣрно!—вставилъ Степанъ съ печки

— Извѣстно!—согласилась Марина.—Ну?

— Ну, ничего. Сказалъ, приду. Эхъ, иззябъ я что-то маленько; ну, и морозъ тоже — знатный!.. Завтра ѣхать тебѣ, Степанъ, за топливомъ надыть, потому твердо стало по степи, важно; эхъ, жаль снѣгу маловато, санки бы справилъ...

— Я уже все сладилъ къ утрему-то, до свѣту поѣду, на двухъ возахъ. Матвѣй тоже забѣгалъ, сказывалъ, чтобы вмѣстѣ...

— «Канавы-то видѣлъ ты?»—спрашиваетъ.

— Кто это?

— Да все тотъ же... Иваномъ Александровичемъ звать его, прозвище запамятовалъ. Я говорю: какъ-же, молъ, всѣ оглядѣлъ; точно, есть канавы, только старыя дюже, запущенныя. Я видѣлъ, какъ же... «Ну, такъ вотъ, говоритъ, въ этихъ самыхъ канавахъ и вся сила...» Тутъ кликнули его зачѣмъ-то, онъ и ушелъ. «Заходи, говоритъ, еще разъ—наказалъ онъ мнѣ,—безпремѣнно!» Надоть зайти когда въ праздникъ; вотъ въ воскресенье будущее нѣшто...

— Зайти надоть...

— Василій о сю пору еще не ворочался,—началъ Степанъ;—какъ угналъ съ Маметкою четвертаго дня, въ субботу, такъ о сю пору и не былъ. Въ кибитку-то его что народу нашего набралось! Вчера чуть не сожгли было: огонь-то эвося какой развели, а вверху-то кругъ и затлѣлъ; ладно, что

не всѣ спали—доглядѣлъ Евсѣй... Наказывалъ Василій, чтобъ никто не лазилъ въ его шалашъ, да нѣшто послушаютъ съ холоду?

— Нехорошіе слухи ходятъ про Ваську да про татарина его. Мнѣ что? Мнѣ это дѣло стороннее, а говорятъ въ городѣ-то...

— Что-жъ говорятъ-то?—подняла голову Марина.

— Да неладно...

Зѣвнулъ Никонъ это на всю избу, сталъ полушубокъ сворачивать себѣ подъ голову. Полѣзъ съ печки Степанъ, пошелъ скотину провѣдать... Такъ и пахнуло въ горницу холоднымъ туманомъ, когда дверь отворилась.

— А и то спать нешто?—потянулась Марина.

Легли.

— Слышь!—началъ опять Никонъ.

— Ну?

Вернулся тутъ и Степанъ, сталъ тоже себѣ на лавкѣ, у самой двери, постель ладить.

— Собаку, какую ни на есть, раздобыть бы намъ надоть,—говорилъ онъ, укладываясь,—все голосъ бы со двора подавала; а то загородь-то какая—все одно, какъ ея и нѣтъ; опять безъ воротъ дѣло-то... а съ собакою...

— Я ужо принесу щенка,—у купца сука ощенилась, обѣщалъ дать одного!

— Ты что говорить-то началъ?..—спросила Марина.

— Да вотъ оно дѣло-то какое... сказывать-ли только?

— Коли началъ—сказывай!

— Былъ это у купца еще одинъ человѣкъ, военный, какъ чиномъ—не знаю; судьею онъ здѣсь состоитъ, что-ли, сказывали... Такъ вотъ этотъ-то человѣкъ объ тебѣ все со мною заговаривалъ!

— Обо мнѣ?

— Да, объ тебѣ. Хвалилъ такъ, что страсть!.. Какъ ты мнѣ приходишься, все спрашивалъ. А опосля говоритъ: «пришли ты, молъ, ее ко мнѣ, я ей работу по ея дѣлу дамъ, выгодную... Чтобы въ воскресенье поутру приходила»!

— Каковъ онъ изъ себя будетъ?

— Да черноватый такой, усы большущіе, плотный!

— То-то онъ и ко мнѣ приставалъ,—заговорила Марина и на локоть приподнялась.—Иду я по базару,—заслонку мѣ-

няла въ лавкѣ,—иду, а онъ нагоняетъ сзади, верхомъ на лошади. «Здравствуй, красавица!»—сказываетъ. Поклонилась я, а онъ рядомъ ѣдетъ, все въ лицо мнѣ засматриваетъ. Такъ до самой околицы нашей и провожалъ. Ужъ натерпѣлась я тогда страму-то! Иду, платокъ на лицо насунула, по сторонамъ глядѣть-то совѣстно, просто провалиться сквозь землю легче... Этакій-то песъ окаянный!.. Подлипало! Должно, это онъ самый и есть, какъ вотъ ты сказываешь, черноватый, съ усищами!

— Должно, онъ самый!

— Что-жъ ты ему сказалъ-то?

— Да что,—говорю,—молъ, благодарствуемъ за ласку, а что ей, тебѣ, то-есть, и по дому своему, по хозяйству, работы не мало; чужой брать не приходится.

— Ну, а онъ?

— А онъ ничего; облаялъ дуракомъ, посвисталъ да и пошелъ... что-жъ ему?..

Заворочался Никонъ на лавкѣ; узковато ему маленько, не то что на полатяхъ; подумалъ, что важно бы это приспособленіе уладить, хоша бы плетеное какое, коли изъ досокъ не подъ силу...

— Ты, Марина, слышь, не ходи!—высунулъ Степанъ голову изъ-подъ полушубка.

— Куда это?—усмѣхнулась Марина.

— Да къ нему, къ судьѣ-то этому...

— Такъ вотъ-те сейчасъ и пойду... Ладно! Спи, а то съ пѣтухами подниму завтра... Счастье вотъ твое только, что куръ еще не заводили, такъ и пѣтуховъ по всей деревнѣ ни одного нѣтути...

— Деревня...—пробормоталъ Никонъ, совсѣмъ уже засыпаючи.

— Мама...—запищалъ на полу ребенокъ.

— Какая я тебѣ мама?—опять усмѣхнулась Марина.— Мама твоя, чай, теперь у такого же судьи, поди, работу справляетъ... Спи! Чаво? Аль проголодался?

— Акулька-то долгокосая тоже такъ-то вотъ пошла...— началъ Степанъ вполголоса, словно самъ себѣ, не кому другому, повернулся къ стѣнѣ и засопѣлъ носомъ.

— Ма-ама!

— Да ну, цыцъ!.. прибью!..

— Охъ, Владычица небесная, прости наши прегрѣшенія!..— замычалъ Никонъ и закончилъ молитву свою медвѣжьимъ храпомъ...

Заснула и Марина.

И тихо все стало такъ въ Никоновомъ домѣ. Только вѣтеръ гудѣлъ подъ крышею, да пощелкивала, вздуваясь пузыремъ, промасленная бумага, замѣсто стеколъ вставленная...

Вспыхнулъ огонь въ печкѣ: какая-то забытая былинка загорѣлась; освѣтилась на минуту половина избы, засверкалъ мѣдный складень на полкѣ да крестъ восьмиконечный въ переднемъ углу; тѣнь какая то клиномъ выступила на стѣнѣ—и снова все сгинуло въ потемкахъ, только чуть-чуть означались синеватымъ свѣтомъ три окошка, что на улицу выходили, и черными крестами выступали на нихъ перекладины рамъ Никоновой работы...

А морозъ-то все пуще и пуще крѣпчалъ къ утру-то. Пробиралъ онъ до костей мужиковъ, что спали въ стройкахъ своихъ, до половины, почитай, развалившихся... пробиралъ даже и тѣхъ, что забрались въ клбитку дяди Василія...

И вспомнили наши мужики, ворочаясь во снѣ да ежась отъ поту цыганскаго, про свою теплую лѣсную сторону, гдѣ дрова, хоша и запретные, а жару даютъ вволю; спи, хоть совсѣмъ раздѣвшись!..

«Провалъ побери того Степана-ложку анафемскаго!»

XXXVII. Какъ Степанъ съ Матвѣемъ Лаптевымъ за топливомъ на взморье ѣздили, о чемъ дорогою говорили и что видѣли.

Проснулся Степанъ—чуть-чуть брезжило. Вышелъ на дворъ. Ну, да и холодно же! Сталъ возы къ воротамъ выкатывать, воловъ вывелъ запрягать; слышитъ: по улицѣ скрипятъ уже оси Матвѣева воза.

— Готовъ, землякъ, что ли?—окликнули Степана.

— Выѣзжаю! — отозвался онъ и пошелъ жердь оттаскивать, что замѣсто настоящихъ воротъ служила.

— Трогай мимо—сказалъ Малышъ Матвѣю,—а я забѣгу

въ избу, хлѣбушка захвачу, день-то великъ ли, заночуемъ, пожалуй, тоже и пожрать захочется!

— Хлѣбушка?.. Да, братъ... оно извѣстно...

— Я живымъ духомъ!

— Эй... слышь... того... захвати, другъ, и про меня!— промолвилъ Матвѣй, глухо такъ, съ запинкою, словно не хотѣлъ онъ, чтобъ его слышали.

И не въ жизнь бы онъ, можетъ, не попросилъ того, да не втерпежъ пришлось: вчерашній день, весь цѣликомъ, съ пустымъ брюхомъ проходилъ, ночью иззябся; какъ сказалъ это Степанъ про хлѣбъ, такъ у него все нутро перевернулось.

Стоитъ мужикъ, къ волу прислонился; зипунишко короткій, обдерганный, подъ зипуномъ женина безрукавка поддѣта, шея голая, лаптишки протерлись. Дрожитъ весь, иззябъ, какъ собака.

— На ходу хошь погрѣюсь!—цѣдитъ мужикъ сквозь зубы, руками по бокамъ себя наотмашь похлопываетъ.

Сбѣгалъ Степанъ въ избу, тамъ уже всѣ на ногахъ. Никонъ тоже собирается, Марина печь растапливаетъ. Взялъ, что слѣдуетъ, вернулся.

— Я еще крупокъ нагребъ да горшечекъ взялъ, — говоритъ парень,—пріѣдемъ на мѣсто—кашу сваримъ. Что мальченку-то своего не захватилъ?

— Да что-то неможется ему, хирѣетъ парнишко; просился тоже, а вышелъ—силы-то нѣту, я и оставилъ!

— Ишь, ты!

— Ну, да и сторона же!

— Трогай!

Выѣхали возы за околицу. Твердо стало въ степи: всю эту топь морозомъ стянуло, важно!

Повернули цѣлиною, напрямикъ черезъ болотину; въ другое время на этомъ мѣстѣ утонуть впору, а теперь первый сортъ дорога, инда тарантятъ; легко воламъ.

Красная зорька разгораться стала въ той сторонѣ, куда на Перовскъ дорога тянется; черное воронье засновало надъ городомъ, стаями носится; задымились вездѣ трубы приземистыя; землянки пригородныя тоже закурились; народъ закопошился.

Версты четыре уже мужики отъѣхали, какъ солнышко выглянуло. Волы идутъ себѣ потихоньку, телѣги прыгаютъ съ

кочки на кочку, Степанъ-Малышъ съ Матвѣемъ Лаптевымъ идутъ сзади, рядкомъ, по сторонамъ поглядываютъ, молчатъ пока, не разговариваютъ.

— Аль не судьба, аль ужъ талану никакого Господь не далъ?—вымолвилъ, наконецъ, Матвѣй, когда уже порядочно отъ города отъѣхали.

— Ты это про что?—покосился на него Малышъ.

— Да вотъ про то же... Таперича, и я человѣкъ, и онъ человѣкъ, изъ одной, значитъ, волости, изъ одной деревни, да и изъ одной глины слѣплены; что же мнѣ таперь,—нѣтъ, ты скажи, что мнѣ таперь, околѣвать, что ли? Ты вотъ это мнѣ скажи...

Передернуло инда всего Матвѣя, кнутовищемъ по грядкѣ стучитъ, словно осерчалъ чего, глядитъ на Степана волкъ волкомъ.

— Зачѣмъ околѣвать, зачѣмъ, голубчикъ?.. Ты чего же это?

— За что я, къ примѣру, ни возьмусь, какъ ни бьюсь, а все изъ рукъ валится, пропадомъ все идетъ, а у него вотъ нѣтъ, у него выгораетъ!

— Ты это про Никона?

— Про него самаго. Вотъ ты, голова твоя съ мозгомъ, скажи мнѣ, отъ чего это такъ, какая тому причина?

— Такъ Господь Богъ, значитъ...

— Извѣстно Господь, никто окромя Его самаго!

Глядитъ Матвѣй теперь не на Степана, а прямо, черезъ возъ да черезъ воловъ, далеко такъ, и самъ говоритъ не громко, словно молитву читаетъ.

— Таперича вотъ, все одно, идемъ мы оба два одною дорогою, шагъ въ шагъ идемъ, ровно. Хороша ли дорога, дурна ли, онъ того не разбираетъ, знай-ломитъ, а я-то все, гдѣ получше, щупаю... Надуло мнѣ въ одно ухо вѣтромъ—гляди, молъ, вишь стороною лучше идти-то, я и думаю: дай, молъ, сверну, попробую. Своротилъ. Нѣтъ, вижу, не больно ладно! Надуло мнѣ въ другое ухо этимъ самымъ вѣтромъ анафемскимъ—гляди, парень, тамъ, молъ, еще лучше. Своротилъ и туда. Спервоначала-то оно, точно, получше показалось, а потомъ смекаю: не вернуться ли на прежнюю дорогу, какъ бы крюку не дать большого? Свернуть-то я свернулъ, глядь: а

Никонъ-то уже далеко ушелъ, чуть его видно, покелева я это по вѣтру со стороны на сторону сновалъ... Ты какъ про это полагаешь?

— Эвося, эвося, гляди, зайчишко побѣгъ... Ахъ, ты, шельмецъ-звѣрь! Тюхъ, тюхъ, тюхъ! Эво, какъ, эво, какъ!.. Тоже вотъ Божья тварь...

— Звѣрь вольный! Поди тоже, чай, не всегда сытъ бываетъ!

Проводили мужики зайца глазами, опять идутъ молча.

— Потому онъ мужикъ—сила!—вымолвилъ слово Матвѣй.

— Никонъ—сила!—утеръ носъ рукавицею Степанъ.

— И все это, значитъ, отъ силы,—потупился Матвѣй.— Таперь вотъ только на животовъ и надежа! Кое-какъ, можетъ, справлюсь за лѣто, а то плюну на все и—шабашъ! Либо въ батраки къ казакамъ-рыболовамъ-пойду, въ кабалу, значитъ, либо...

И не зналъ путемъ мужикъ, что онъ это другое сдѣлаетъ... И первое-то не онъ самъ измыслилъ, а слыхалъ намедни, какъ Прохоръ сказывалъ, что казаки работниковъ себѣ подыскиваютъ къ веснѣ; вотъ это ему теперь и втемяшилось.

— Что-жъ, нѣшто и въ батракахъ люди не живутъ?— промолвилъ Малышъ.

Опять молча пошли мужики; долго молчали этакъ-то.

— Знаешь, что?—началъ весело Степанъ. — Каку штуку я измыслилъ! Всѣмъ намъ, таперича, держаться въ кучѣ надоть, какъ есть обчествомъ; все чтобы вмѣстѣ, а не вразбродъ. Совсѣмъ тогда иное дѣло; это ты мнѣ повѣрь, это я вѣрно говорю. Слушай, таперича пахать, примѣрно. Что ты, по здѣшнему мѣсту, одинъ много распашешься? Скажи ты мнѣ: много?

— Коли съ сохою...

— То-то, нѣшто съ сохою въ одиночку выѣдешь? Такъ это назадъ ни съ чѣмъ съ поля уѣдешь. Я вотъ видѣлъ, да и слыхалъ тоже: четыре пары воловъ въ одинъ плугъ здѣся закладаютъ, а у кого изъ нашихъ найдется столько? Ну, у кого?

— Гдѣ-жъ тутъ четыре пары, и одна не у всякаго, какъ вотъ отобрали чумленыхъ! —

— А сообща — первый сортъ дѣло! Почему я это тебѣ обработалъ полосу завтра ты ко мнѣ пришелъ, послѣ-завтра

на Евсѣеву, что-ли, аль тамъ, къ кому хошь. Смотришь, а дѣло-то и сдѣлалось. Сказывалъ Никонъ на прошлой сходкѣ: «своею рукою копѣйку возьмешь, а мірскою рупь загребай»! Такъ-то вотъ; правда? Гляди таперь хошь бы на мое сиротское дѣло. Что я, бобыль одинокій, былъ бы, что? Пропадать бы мнѣ надоть аль весь вѣкъ батрачить. А вотъ, какъ сообща съ Никономъ, такъ оно и можно жить. Я вотъ за бурьяномъ уѣхалъ, потому безъ топлива невозможно, онъ вотъ полы у купца строгаетъ. Онъ деньги во дворъ тащитъ, я бурьянъ аль камышъ вожу, оно и ладно выходитъ. Такъ аль нѣтъ?

— Вамъ житье, что говорить!

— Потому, какъ слѣдоваетъ. Ишь, вонъ орда какой косякъ погнала! Ну, да и много же животовъ развела она—страсть!

— Корма вольные!

— У ней вольные!

— Мутятъ тоже другіе. Вотъ хоша бы тотъ-то: подбивалъ надысь народъ, чтобы скотину скорѣй продавали: «не выживетъ да не выживетъ, говоритъ, подохнетъ, ни съ чѣмъ останетесь, а то хоша деньги, по крайности, для прокормленія будутъ». А вѣдь это онъ вѣрно говорилъ! Скотина зачумѣла, запаршивѣла, задаромъ, все равно, отобрали. Значитъ, это онъ вѣрно. Какъ его, таперича, другой разъ не послушать, когда онъ дѣло говоритъ?

— Отобрали животовъ, точно!

— Опять, гляди, какая жизнь его. Нѣшто дурная? Ни заботы, ни горя, вольный человѣкъ! Все, что ни сдѣлаетъ, все ему въ руку приходится, все не въ убытокъ, а къ прибыли... Что-жъ онъ сила аль нѣтъ?

— Дядя Василій—сила!

— Коли-бъ всѣ по его дѣлали, можетъ, и сами таперя сыты да одѣты были бы!

— Всяко бываетъ!

Опять притихли мужики, на возъ полѣзли. Матвѣй на брюхо легъ, Степанъ присѣлъ на грядку.

Пригрѣло ихъ солнышко; давно уже за полдень перевалило, ярко такъ свѣтитъ; слѣпитъ глаза безконечная, снѣжная равнина; бурыя проталины мѣстами, гдѣ повыше, виднѣются. Впереди, далеко еще, полосою камыши желтѣютъ; тамъ вонъ кибитки дымятся, орда на зимовкахъ стоитъ... Волкъ, поджавъ хвостъ,

пробирается стороною: менѣе кочекъ; пѣшаго человѣка да возовъ воловьихъ не боится, подлый, близко шляется, а заприметилъ бы коннаго, такъ только его и видѣли! Воронье палую лошадь теребитъ, облѣпило всю, каркаетъ, межъ собою спорится, на всю степь, далеко ихъ перебранка слышится птичья.

Свѣжо, легко такъ дышать морознымъ, чистымъ воздухомъ. Вѣтеркомъ отъ ауловъ потянуло, горѣлымъ навозомъ, жильемъ шибнуло...

— Намъ много правѣе забирать надоть, а то тамъ орда не пущаетъ. Это, молъ, нашъ камышъ, сказываютъ, не вашъ, такъ вы и не троньте,—говоритъ Степанъ.—Надысь тоже наши ѣздили, такъ не пустили, еще въ зашей наклали!

— Въ зашей-то отчего не накласть?—Это нашему брату тоже въ привычку!

— Все отъ косоглазаго-то ровно обидно!

— Ничего, что же! Ворочай, землякъ... Эвося на ту тычину держи—вонъ чуть-чуть маячитъ...

— Вижу!..

Забѣжалъ Матвѣй къ переднему возу, заворотилъ; пошло дѣло, какъ будто подъ горку.

Къ закату солнечному на мѣсто поспѣли.

— Кто же это изъ нашихъ здѣсь?—спросилъ Матвѣй.—Кажись, окромя насъ никто не выѣзжалъ?

— То-то вотъ я и самъ гляжу: волы пасутся, ровно какъ будто наши!—глядитъ изъ-подъ руки Матвѣй.

Солнышко уже закатилось до половины. Вдоль края тучка потянулась, а подъ тучею этою красная полоса свѣтится, а на этой полосѣ камышевыя заросли видны, а между ними скотина бродитъ. И камышъ черный, и скотина черная,—все отъ свѣту черное кажется; масти не разберешь, а только какъ будто не чужіе, знакомые. Стали глядѣть да всматриваться, нѣтъ ли кого; огонекъ вспыхиваетъ, потрескиваетъ чуточку; тамъ толкутся двое, и лошадь стоитъ около. Пошелъ Степанъ навѣдаться, а въ ту пору одинъ изъ воловъ ближе подходить сталъ, его и видно; и видитъ Степанъ, что это, какъ есть, Прохоровъ волъ, чубарый, хвостъ у него еще до половины обрубленъ (болѣзнь у него приключилась на этомъ самомъ хвостѣ, еще дорогою, такъ коновалъ, то бишь, барабанщикъ, солдатъ въ Карабутахъ-

фортѣ, сапожнымъ ножомъ отмахнулъ половину)... Онъ самый, Прохоровъ, чубарый!..

Только, постой, что за диковина? Вѣдь этого самаго чубараго намедни вмѣстѣ съ чумленными отобрали, на убойство,— какъ же это онъ таперича тутъ проявился?..

А вотъ и другая скотина высунулась,—опять сивый Мавры Баранихи, опять изъ тѣхъ—чумленныхъ... Неужто-жъ всѣ они тутъ?

Сталъ Степанъ считать тѣхъ, что видны: безъ двухъ штукъ всѣ. Вернулся Матвѣй Лаптевъ.

— Видалъ?—спрашиваетъ.

— Нашенскіе...

— То-то нашенскіе, отобранные... Были наши, теперь знаешь чьи?

— Чьи?

— Дяди Василія, вотъ чьи! Пастухи-киргизы сказывали— его. Это тамъ пастушенокъ-мальченка и Маметъ къ нему пріѣзжалъ, да удралъ: должно, меня, какъ я подходилъ, запримѣтилъ. Шибко такъ погналъ, къ тѣмъ вонъ дуламъ, надо полагать; надо быть, что и Василій тамотка сидитъ!

— Что-жъ киргизъ говоритъ?

— Да нѣшто онъ что знаетъ? Сказываетъ: бій прислалъ, наказалъ пасти, да и шабашъ; больше ничего не говоритъ!

— Чудно!

— Надо оповѣстить нашихъ ужо, какъ пріѣдемъ!

— Надоть! А таперя какъ? Мы нѣшто свою скотину станемъ пущать къ энтой, къ больной-то?.. Какъ бы чего...

— Да какая она больная? Такъ только — пустыя слова! Заморена, точно, а они: «чумлена», «больная!» — озлился Матвѣй Лаптевъ.

— Чудно дѣло!..

Стали огонь раскладывать. Стемнѣло совсѣмъ, и снова къ ночи холодище сталъ расходиться. Пока Матвѣй камышъ рѣзалъ бабьимъ серпомъ, Степанъ снѣгу наложилъ полный горшокъ, къ огоньку приладилъ. Часа времени не прошло, и каша поспѣла.

— Это я, братецъ ты мой, на недѣлѣ впервой горячее хлебаю. Эхъ, жаль, право, жаль, не захватилъ мальченку!

— А дома-то голодомъ сидятъ?..

— Обѣщался нонеча кавалеръ къ Анисьѣ побывать, може, принесетъ чего, а то что-жъ ты подѣлаешь?

— Такъ!

И усидѣли мужики, Степанъ съ Матвѣемъ, вдвоемъ весь горшокъ каши; огонь развели страсть какой, инда зарево, словно отъ пожарища, на небѣ разгорѣлось. А послѣ спать завалились, подъ возомъ; благо Степанъ кошму захватилъ, такъ развѣсили ее съ той стороны, что вѣтромъ дуло, и теплое такое логово устроилось.

А тѣмъ временемъ отъ аула два вершника подъѣзжали къ этому мѣсту.

— Вѣдь сказывали ему, шельмецу, чтобы сюда не гонялъ, а онъ—вишь ты!—ворчалъ дядя Василій.—Кто такіе?

— А тотъ, дѣвка его стѣнка убила... давилъ совсѣмъ!—бормоталъ татаринъ.

— Матвѣй, что ли? А другой?

— Не видалъ другой...

— Принесла нелегкая!

Вершники стали къ огню приглядываться; ихъ-то не видать, со свѣту въ темь, а имъ все на свѣтъ видно.

— Дрыхнутъ!—придержалъ коня Василій.

— Гони бугай, Василь... а я сичасъ... ого-го!.. Якши будетъ!

— Ты куда?

— Василь, наша бугай гони, Маметъ его бугай тащилъ, якши?

— Не трожь, ну, ихъ! Заѣзжай легонько съ той стороны!

Разъѣхались вершники, стали потихоньку отгонять своихъ воловъ подальше. Завистливыми такими глазами косился Маметка на Степанову да Матвѣеву скотину, шибко и ту хотѣлось прихватить съ собою, да Василій не велѣлъ.

— Не пришло еще время,—сказываетъ, — во всю длину руки свои протягивать. Ладно пока, что хоть по закону дѣла обрабатывать можно!

Проснулись мужики наши, а ужъ той скотины, что паслась по близости, и въ поминѣ нѣту. Принялись за дѣло. Живо оба воза камышемъ навалили, дома цѣлые наклали, благо везти легко,—назадъ поѣхали.

Къ ночи еще не было города видно, одначе пріѣхали до свѣту. Никонъ съ Мариною спали еще, только около Васильевой

кибитки говоръ да шумъ слышался: знать, самъ хозяинъ прибылъ, потому что его голосъ всѣхъ покрывалъ, такъ и гремѣлъ на всю улицу.

— Эй, выбирайся вы, живо, постояльцы непрошенные! Вишь, самъ хозяинъ вернулся. Изъ своего дому, все одно, что съ чужого коня. Чаго?.. Робятъ негдѣ положить?.. Мнѣ что, какое мое тутъ дѣло?.. Ладно, выбирайся, выбирайся, покелева кнутомъ не погналъ!..

— Не любитъ шутить дядя Василій что твой бурмистръ распоряжается!

— Пошла, пошла, гайда! — слышится и маметкина рѣчь собачья.

— Мнѣ почемъ знать, чья она? — отговаривался Василій днемъ, когда Матвѣй при народѣ о томъ-то дѣлѣ пыталъ. — Купилъ я, точно, воловъ паръ пятнадцать, можетъ, и больше; чьи они были допрежъ того—почемъ я знаю? Въ аулахъ покупалъ больше, всего пару въ городѣ прихватилъ. Мнѣ что, что другіе видали? Можетъ, они и врутъ, энти-то, глазастые, а, можетъ, имъ съ похмѣлья ни вѣсть какіе чубарые и безхвостые казались...

— Зачѣмъ поганый бугай покупалъ—поганый бугай солдатъ кончалъ, шкура сжигалъ; зачѣмъ моя покупалъ будетъ...— бодрился и Маметъ туда же.

Такъ и отговорились, куда на языкъ горазды!

— Я еще не то про него знаю,—сказывалъ въ тотъ вечеръ Никонъ Маринѣ и Степану-малышу,—да ладно, не замай, молчу пока до времени!

— А тотъ-то, усастый, нонече мимо окошекъ два раза проѣзжалъ, — говорила, усмѣхаясь и потягиваясь, Марина.— Тутъ это поѣхалъ, я на дворѣ была, хотѣлъ было во дворъ впереть, да я ушла; оттуда ѣхалъ — я и гляжу скрозь дыру въ окнѣ, а онъ у Маланьи, слышу, «дома ли самъ-то?» пытаетъ. Ладно, та догадалась: «дома, говоритъ, дома»; онъ и подралъ себѣ съ Господомъ.

— Тоже вотъ баринъ, а на какія дѣла!—пожалъ Никонъ плечами.—Ты это кому штаны чинишь? Мои, что ли?..

— Степановы! — вспыхнула Марина и наклонилась низко такъ, должно быть, чтобы шовъ разглядѣть поближе...

— Чтой-то про его Дуньку не слыхать ничего?—началъ было Никонъ, а самъ глазъ такъ съ Марины и не спущаетъ...

— Не слыхать! — еще ниже потупилась Марина нитку она въ то время скусывала, только, знать нитка не по зубамъ пришлась, долго возилась...

— Ну, прощай! — отрѣзалъ мужикъ, захватилъ шапку, поясъ и уже на ходу, черезъ дворъ шедши, одѣлся, какъ слѣдуетъ.

А Марина сидѣла, сидѣла, да опосля и заплакала, безъ всхлипу, а тихонько такъ, въ той же избѣ будь кто—не разслышалъ бы.

И о чемъ только плакала баба, она и сама, можетъ, того не вѣдала. Съ бабьими слезами зачастую бываетъ такъ.

XXXVIII. Абрамъ Моисеевичъ Мандельбергъ.

Недалеко отъ базара, домовъ такъ черезъ пятокъ, по средней улицѣ, стоялъ маленькій домикъ въ два окна на улицу. Этотъ домикъ не сразу и видно-то было: два куста бузины широко разрослись подъ его окнами, а изъ-за этихъ кустовъ мало что разглядѣть можно было. За домикомъ, прислонившись къ нему бокомъ, стоялъ не то сарай, не то кладовая, такъ строечка какая-то, безъ оконъ, съ одною дверью, а на двери этой завсегда висѣлъ здоровенный замокъ, фунтовъ въ десять вѣсу, такой замокъ, что отпереть его нельзя никакой отмычкою, кромѣ какъ законнымъ ключемъ съ хитрыми вырѣзками, а ключъ этотъ постоянно висѣлъ на цѣпочкѣ, на шеѣ самого хозяина, и отъ глазу сторонняго за его пестрымъ шелковымъ жилетомъ прятался.

Что было въ этомъ сарайчикѣ, про то почитай-что никто и не вѣдалъ во всей Казалѣ, а слухи, что тамъ, молъ, не мало всякаго добра накладено, ходили давно уже по городу.

Пробовали было разъ довѣдаться, — люди такіе любопытные изъ гарнизону выискивались,—всю ночь подъ стѣны подкапывались, до свѣту возжались, а со свѣтомъ ихъ и нахлопнули.

Бахвалился одинъ изъ тѣхъ людей на судѣ, что не такія стѣны подкапывали, что уже сами не знаютъ, какъ на такой стройкѣ поганой влопались, и всю причину бѣдствія своего въ томъ полагали, что стѣны эти какъ-то ужъ больно хитро сложены, значитъ, прочно.

Хозяинъ тому дому за двумя кустами бузины и сараю съ хитро сложенными стѣнами, и всему тому, что въ сараѣ томъ складено, былъ Абрамъ Моисѣевичъ Мандельбергъ — по письменному, а по говору, какъ его завсегда кликали, Абрашка кривоносый или запросто «жидюга-кавалеръ».

Росту самаго малаго, лицомъ смуглъ, глаза живые, бойкіе, каріе, такъ во всѣ стороны и бѣгающіе, носъ съ горбинкою, подъ носомъ усы небольшіе, а борода всегда чисто-на-чисто обритая, — вотъ каковъ изъ себя былъ Абрамъ Моисѣевичъ; ходилъ онъ и зиму, и лѣто всегда въ ватномъ триковомъ пальто господскаго покроя, шею платкомъ обматывалъ чернымъ, на головѣ носилъ шапку военную съ краснымъ околышемъ, — чисто одѣвался и простуды боялся до смерти, хотя дѣлами такими занимался, что при нихъ самая-то простуда и есть, потому на водѣ да около все его дѣло главное было; можетъ, оттого онъ и одѣвался тепло такъ.

Говорилъ Абрамъ Моисѣевичъ скороговоркою, такъ вотъ-вотъ и засыпалъ словами, и всегда при этомъ держался руками за того, съ кѣмъ разговоръ велъ: прихватитъ его за полу или за рукавъ, такъ и не отпускаетъ, пока всего не выговоритъ.

Отъ крупнаго разговора, впрочемъ, всегда отмалчивался или же просто уходилъ подальше, а драки пуще даже, чѣмъ простуды, боялся.

Вставалъ Абрамъ Моисѣевичъ всегда со свѣтомъ, рано, ложился тоже рано, по крайней мѣрѣ, у него даже и въ зимнее время никогда свѣту въ окнахъ не видѣли, — не сидѣлъ же онъ одинъ—одинешенекъ въ потемкахъ.

Въ карманѣ всегда пистолетъ носилъ, маленькій такой, о шести стволахъ; оружейникъ казенный, Павлушка Бердягинъ, впрочемъ, сказывалъ, что пистолетъ этотъ онъ оттого и подарилъ Абраму Моисѣевичу, что стрѣлять изъ него уже невозможно было.

Собакъ держалъ трехъ: двухъ завелъ послѣ того, какъ къ нему въ сарай подкопаться пробовали.

Прибылъ Абрамъ Моисѣевичъ въ городъ Казалинскъ вотъ уже шесть годовъ. Служилъ онъ прежде флейтистомъ въ батальонахъ, что Ташкентъ брали, и дослужился до безсрочнаго, съ этою-то командою безсрочно-отпускныхъ и дотащился пѣш-

комъ до Казалы. Командѣ пришлось дожидаться здѣсь чего-то безъ малаго мѣсяца три; Абрамъ Моисеевичъ и приглядѣлся къ мѣсту, и такъ оно ему по сердцу пришлось, что онъ тутъ и остался, дальше не пошелъ. Приписался въ мѣщане, да и сталъ строиться.

Было у него два товарища, земляки изъ-подъ Гродно-города, какъ и онъ; долго они уговаривали Абрамку, чтобы не оставался, а шелъ домой, да не отговорили.

Когда пришло время прощаться, товарищи еще разъ пристали—иди, да иди съ ними.

— Мало тебѣ?—говорилъ Мордко Бекштейнъ.—Двѣ тысячи есть, чего-жъ тебѣ еще?.. Пріѣдемъ, купцами будемъ!

— Здѣсь помрешь, увидишь — помрешь! — предсказывалъ Исаакъ Пуцъ.

— Слушай, ну, слушай, что говорить буду! — отвелъ ихъ въ сторону Абрамка. Не хотѣлъ видно, чтобъ чужіе слушали.

— Ты придешь въ Гродно и будешь только Исаакъ Пуцъ. Годъ пройдетъ, два пройдутъ, много пройдетъ—и все вы будете Мордко съ Исаакомъ. Я здѣсь остаюсь Абрамка, а пріѣду въ Гродно... не скоро, можетъ быть, пріѣду, но пріѣду... Увидите тогда, кто такой пріѣдетъ въ Гродно вмѣсто Абрамки Мандельберга.

— Ну, прощай!—сказалъ тогда Исаакъ Пуцъ.

— Прощай, ну!—сказалъ Мордко Бекштейнъ.

— До хорошаго свиданія!—протянулъ имъ обоимъ руки Абрамка Мандельбергъ.

Такъ онъ и остался.

Первымъ дѣломъ Абрама Моисѣевича было купить мельницу-вѣтрякъ около города. Не дорого обошлась ему эта мельница. Прежній хозяинъ ея захворалъ шибко, все это ему видѣнія разныя представлялись, больше все изъ нечистой силы; сказывали, запивалъ шибко, такъ оттого сталъ его лечить Абрамъ Моисѣевичъ; прежде того отецъ Иванъ пользовалъ, да плюнулъ и отступился. Чѣмъ уже и какъ лечилъ больного новый лекарь, только полгода не прошло—всѣ эти видѣнія какъ рукою сняло, выздоровѣлъ, значитъ, и тотчасъ же, какъ въ умъ свой пришелъ, какъ слѣдуетъ, судьѣ прошеніе подалъ, хворый-то, о томъ, что якобы «безсрочно-отпускной жидъ такой-то,

имя рекъ, мельницу у него обманнымъ будто бы способомъ...» и все прочее.

Пересмотрѣли дѣло—нѣтъ, въ большомъ все порядкѣ, носа комаръ не подточитъ. Ну, и смѣху же было тогда надъ прежнимъ-то хозяиномъ, просто проходу не давали ему, «съ докторомъ» поздравляли, а Абрамка сейчасъ за перестройку принялся.

И ловко же онъ эту мельницу перестроилъ. У другихъ, напримѣръ, не силенъ вѣтерокъ, чуть-чуть вѣтряки помахиваютъ, а то и просто стоятъ, а у него словно въ бурю работаютъ, такъ и свиститъ подъ жерновами.

А годъ тотъ пришелся урожайный: зерна навезли киргизы, полевики, да поселенцы видимо-невидимо; съ Куванъ-Дарьи тоже наволокли горы цѣлыя. Загребъ тогда Абрамъ Моисѣевичъ деньгу не малую.

И такую еще штуку онъ съ киргизами подстроилъ: пересталъ деньги брать за помолъ, а все на счетъ, на книжку, и каждый разъ приказывалъ на этой книжкѣ помольцу «тамгу», значитъ,—печать свою прикладывать. Послѣ уже, мѣсяцевъ черезъ семь, подъ осень, какъ подешевѣла скотина, а деньги подорожали въ степи, всѣ долги аульные Абрамъ Моисѣевичъ скотиною и забралъ. Никто въ городѣ и не зналъ объ этомъ его дѣлѣ, потому скотъ въ аулахъ и остался на пастьбѣ, только пасся онъ теперь съ новыми таврами новаго владѣльца, а году не прошло, скота этого «новотавреннаго» набралось таки не мало. Самъ даже бій Бекетай съ волостнымъ Рустемъ-бекомъ позавидовали.

Ловко такъ пошло дѣло у Абрама Моисеевича; еще бы годикъ-другой — и совсѣмъ богатымъ человѣкомъ сдѣлался бы, да стряслась разъ бѣда надъ степью: «джютъ» *) прошелъ; и не разбиралъ этотъ джютъ проклятый, какое тавро и чье стоитъ на скотинѣ,—такъ и валитъ безъ разбору.

Пріунылъ было Абрамъ Моисѣевичъ, однако, скоро оправился. Всего не перечтешь, за что только не брался «кавалеръ-жидюга». Всюду его видѣли: и на базарѣ, и на рыбалкахъ, и при казенныхъ подрядахъ, и питейныя заведенія

---

*) Джютъ—повальная болѣзнь на скотѣ.

держалъ онъ, и все ему вездѣ удавалось, со всего снималъ пѣнку, да и не мало.

«Надо быть, шибко разбогатѣлъ Абрамка!» думали всѣ тогда и не вѣрили ему, какъ онъ клялся и божился, и провалиться обѣщался «на энтомъ самомъ мѣстѣ, если не все въ убытокъ».

— А что, за сотню перевалило тысченокъ-то? — спрашивалъ его, подсмѣиваясь, самъ градоначальникъ казалинскій.

— Ой, ой! Ваше высокоблагородіе!.. Если бы и свои-то деньги вернуть, такъ вотъ какъ Богу молился бы, сейчасъ домой въ Гродно уѣхалъ бы... — отнѣкивался Абрамъ Моисѣевичъ, только это онъ все вралъ, надо полагать.

А что была у него дума въ Гродно уѣхать — это точно, потому что по всему замѣтно было, не для постояннаго гнѣзда въ Казалинскѣ хлопоталъ жидюга; жилъ налегкѣ, что-называется «на чеку», и всякую минуту готовъ былъ съ мѣста сорваться. Это и по стройкѣ его замѣтно было: домишко маленькій, затрата не Богъ вѣсть какая, на мельницу завсегда покупатели были наготовѣ, да и не мало ихъ, наперерывъ хлопотали; огородовъ и полей не разводилъ, а больше арендовалъ готовое, да и самъ выглядывалъ, будто вотъ-вотъ на почтовую станцію за лошадьми собирается.

Деньги всѣ при себѣ носилъ, должно-быть; ходили слухи, что на груди, въ особой сумкѣ кожаной, что за шею и на поясѣ ремнями держалась, а сверху жилеткою, плотно застегнутою, прикрывалъ... Это тамъ все были крупныя бумаги, мѣста много не занимающія, а расходная, оборотная сумма — та въ другой сумочкѣ, обыкновенной, черезъ плечо, съ замочкомъ, находилась, близко подъ рукою.

Самъ Абрамъ Моисѣевичъ такъ объ себѣ думалъ: «Вотъ этотъ годъ доживу до теплаго времени, значитъ, весны, и довольно. Все продаю да сдаю — и домой. Лѣта мои уходятъ, вотъ, говорятъ люди, что старѣть начинаю, надо и о женѣ да дѣтяхъ подумать».

И представлялось тутъ «жидюгѣ», какъ онъ въ Гродно пріѣдетъ съ капиталомъ, какъ посватаетъ себѣ Руфь или Сару какую-нибудь хорошую, красивую и съ капиталомъ тоже, какъ пойдутъ у него это разные—Абрамки, Срулики, Исаачки, и всѣ будутъ около него вертѣться, а онъ имъ носы утирать

будетъ, учить уму-разуму, чтобы послѣ, когда подрастутъ, такъ же, какъ отецъ, деньгу наживать умѣли.

Задумается этакъ-то Абрамъ Моисѣевичъ, такая его разберетъ охота домой ѣхать, что непремѣнно, безъ всякаго отлагательства, будущею весною за почтовыми посылаетъ. И ждетъ, не дождется Абрамка весны этой, зимніе дни ему привѣсть какіе длинные кажутся. Вотъ и подойдетъ эта весна; станетъ Абрамка деньги свои пересчитывать, опять задумается. «Ужъ не дотянуть ли мнѣ еще, чтобы до круглаго счету?» такъ вотъ и лѣзетъ ему въ голову.

Мается онъ, мается съ этою думою, а послѣ махнетъ рукою, застегнетъ плотнѣе жилетку, поправитъ сумочку и скажетъ, порѣшитъ значитъ:

— Ну, ужъ на слѣдующую весну непремѣнно!..

XXXIX. Казакъ Савва Вуколовичъ Бородинъ, послѣдній изъ «захрященовцевъ».

Казакъ Савва Вуколовичъ Бородинъ—другое дѣло. У того все на чистоту было.

Сразу видно было, что человѣкъ клещемъ впился въ землю, строитъ свое гнѣздо прочно, такъ, чтобы не только для него самаго на всю жизнь, а для дѣтей и для внуковъ, и правнуковъ хватило бы.

Промысломъ своимъ Савва Вуколовичъ былъ рыбакъ и огородникъ.

На Сыръ-Дарью попалъ онъ еще съ сорокъ восьмого года, въ прежнее еще Раимское поселеніе. Попалъ онъ не своею волею, а по наряду, изъ оренбургскихъ казачьихъ станицъ былъ выпровоженъ.

Пришелъ онъ сюда еще совсѣмъ молодымъ парнемъ, лѣтъ этакъ двадцати, годъ всего женатымъ.

Въ тѣ года такой порядокъ заведенъ былъ: начальство заставляло, чтобы поселенцы однимъ только хлѣбопашествомъ занимались, а на все остальное для нихъ строгій запретъ положенъ былъ.

Копались, копались казаки съ землею, толку выходило совсѣмъ-что ничего. Денегъ казна что имъ переплатила, по цѣлымъ годамъ на солдатскомъ пайкѣ содержала цѣлыя семьи

поселенскія. Нищета только развелась отъ этого порядка, пришлось отъ него волею-неволею отступиться и предоставить казакамъ, чѣмъ хотятъ, заниматься, самимъ себѣ хлѣбъ добывать, на опеку не надѣяться. Ну, и пошло теперь поселенское дѣло совсѣмъ другимъ манеромъ.

Выбралъ себѣ Бородинъ рыбачій промыселъ, шибко онъ по душѣ ему пришелся. Самъ еще не могъ хозяйствовать, капитала не было, а нанялся въ артель «компанейскую» купца Голубева «съ товарищами».

До самой Москвы,—шутка ли, далеко какъ!—дошли слухи, что на Сыръ-рѣкѣ и въ морѣ Аральскомъ столько-де рыбы красной водится, что хоть загребай ее голыми руками; вотъ и составилась компанія купеческая, и называлась эта компанія: «товарищество рыбныхъ промысловъ на Аралѣ и заготовки въ прокъ рыбнаго товара». Большихъ барышей тогда отъ этой компаніи ожидали.

Въ сороковыхъ годахъ дѣло русское на Сырѣ совсѣмъ было вновѣ. Лѣвый берегъ рѣки государственною границею считался, и переваливать за него—Боже сохрани, запрещено было. По морю плавать тоже мѣста были заказаны: только по сѣверной его части и дозволялось, а чтобы къ югу, къ Аму-Дарьѣ рѣкѣ, да къ тюркменскимъ берегамъ—чтобы и близко подходить не смѣли.

Стѣсненіе большое въ этомъ промышленники для себя находили, а были они головы все самыя безшабашныя, стѣсненій всякихъ, какъ собака веревки, неуважающія.

Набирали артель Голубевъ съ компаніей больше съ низовой вожской стороны, съ тамошнихъ рыбачьихъ поселковъ. Извѣстно, какой человѣкъ пойдетъ отъ своего дѣла на чужое, да еще въ отдаленность такую. Собрался теплый народъ, все съ борку да съ сосенки, разбойники-разбойниками, а не рыбаки. И надъ этою ватагою, вольною артелью начальникомъ поставили приказчика голубевскаго, Николая Васильевича Захрященова.

Такъ эта артель и называлась съ этой поры «захрященовцы».

Въ сорокъ-восьмомъ году это дѣло было; девять годовъ вотъ уже минуло, какъ померъ въ Москвѣ Николай Васильевичъ, да передъ смертью своей годовъ десятокъ въ бѣлока-

менной пожилъ, — итого девятнадцать лѣтъ, какъ съ Сыра, значитъ, уѣхалъ, а спроси любого киргиза, не только что нашего, по всему Сыру-рѣкѣ, по всему берегу морскому да по аму-дарьинскимъ гирламъ, —кто не слыхалъ про Николая Васильевича Захрященова и про его артель вольныхъ рыболововъ;—врядъ ли кто незнаньемъ отнѣкиваться станетъ.

Вотъ въ эту-то артель и нанялся Савва Бородинъ, вмѣстѣ съ своею женою, молодою, здоровенною казачкою. Оба они,— шутка ли, четыре руки рабочія, — за девять асигнаціями, на хозяйскихъ харчахъ, въ лѣто договорились.

Ну, и навидались же они видовъ въ этой артели. Главную стоянку свою артель имѣла на отмели Косъ-Аралѣ; здѣсь были построены камышевые шалаши, обмазанные глиною, съ печами желѣзными, кладовыя для товара, деревянные лари, въ которыхъ разсолъ—«тузлукъ»—держался для рыбы. На берегу котлы здоровенные были вмазаны, а въ этихъ котлахъ жиръ рыбій и сало сомовье вытапливали. Лодки парусныя, рѣчныя плоскуши и морскія, съ килями, у береговъ стояли на причалахъ; которыя чинились, тѣ на песокъ были вытащены. Шумъ, гамъ, стукотня, бранъ, пѣсни, самыя разухабистыя, такъ и стояли надъ островомъ, особенно въ сборное время.

Начнутъ, бывало, снаряжаться въ море. Провизіи запасаютъ на мѣсяцъ, а то и поболѣ. У всякаго рыбака за плечами ружье, на поясахъ ножи да шашки, глядѣть—не на мирный рыбачій промыселъ, на разбой какой собираются; да по правдѣ-то сказать, безъ этого послѣдняго не всегда и обходилось дѣло.

Разъ одну ладью, съ девятью человѣками, недѣли три по морю трепало, подъ конецъ снесло къ самому Талдыку, крайнему рукаву аму-дарьинскому, и втесалась ладья въ камыши. Забило ее туда вѣтромъ, а назадъ нѣтъ ходу. Счастье имъ еще было, что туркмены дѣла этого не видали, а то бы ни одному не уйти цѣлому. Дня три бились рыбаки въ камышахъ, отъ комаровъ чего натерпѣлись; провизія вся вышла, голодъ нашелъ; остервенились люди и другъ на друга уже стали коситься... Да, должно-быть, Никола-угодникъ смилостивился, выручилъ, послалъ вѣтеръ имъ, подходящій, ну, и выбрались ребята на чистую воду.

Теперь, чѣмъ бы домой скорѣе тягу, а они нѣтъ, глядятъ

рулевому: «держи къ берегу, вонъ, говорятъ, аулы виднѣются; что мы, съ пустыми, что-ли, руками назадъ поѣдемъ?»

Ну, причалили. Аулы, точно, были, кибитокъ десятка два; звалось это мѣсто «Кизылъ-кызъ» (красная дѣвка); а съ той поры «Урусъ-бырры» (русскіе волки) прозываться стало; тѣхъ-то, прежнихъ жителей кизылъ-кызскихъ, ни одного не осталось больше, а сосѣдніе кто и до сихъ поръ помнятъ про эту высадку.

— Что же, вѣдь, тоже люди, поди, пожрать хотятъ, надо же было провизіей раздобыться. Ну, а при этомъ дѣлѣ и все прочее можетъ случиться!

А всего-на-всего только девять рыбачишковъ и высаживалось.

Сколько изъ этой артели въ плѣнъ къ тюркменамъ попало, сколько побито было и такъ попропадало безъ вѣсти, того и не считали.

Было еще разъ, что на островъ пустой занесло ладью съ тремя человѣками, такъ тѣ тамъ и перемерли съ голоду да съ жажды. Тонуло тоже каждый годъ не мало народу. Тяжелая была работа, нечего говорить.

Ловилось рыбы тьма-тьмущая, это вѣрно, только проку съ этой ловли особеннаго не выходило. Тогда еще не знали, что соль можно по близости находить, въ переварку годную, а получали эту соль караваннымъ путемъ, съ Илецкой Защиты. Бывало, набагрятъ рыбы да переметами наловятъ, горы накладутъ на берегу, икры полные чаны напустятъ, соли ждутъ, а соль-то запоздаетъ. Припечетъ рыбу на солнцѣ да на горячемъ пескѣ, духъ отъ нея пойдетъ такой, что хоть вонъ бѣги съ острова-то: куда же годится рыба послѣ этого, только что развѣ жиръ изъ нея вытапливать. Весь, значитъ, уловъ и пошелъ прахомъ, ни за что. Годъ на годъ, мѣсяцъ на мѣсяцъ не приходились тоже, — иной барыши принесетъ, что инда сердце хозяйское радуется, иной такъ въ убытокъ придетъ, что никакими барыши не нагонишь.

И стало дѣло артельное съ году на годъ распадаться; рыбаки жалованья не доплучали, харчами обижаться стали, бунтъ разъ подняли, чуть Николая Васильевича самого съ камнемъ на шеѣ, въ воду не спустили, однако не на таковскаго напали. Тѣмъ дѣло, наконецъ, порѣшилось, что разбрелась артель, кому

гуда охотнѣе глядѣлось, а кое-кто и на мѣстѣ остались, только теперь уже не на хозяина, а на самихъ себя работать начали. Развалилось большое дѣло на маленькія, размѣнялась «сотенная» на гривенники, и вотъ одинъ изъ такихъ-то гривенниковъ пришелся на долю Саввы Вуколыча Бородина съ его хозяйкою.

Отбился казакъ Савва отъ артели, сталъ накопленное да сбереженное считать; насчиталъ немного—всего на всего веревокъ - бичевы пуда полтора да крючьевъ желѣзныхъ полпуда, деньгами рубля четыре; снасти-то онъ хозяйскія сволокъ, ну, а деньги, точно, были свои, скопленныя.

Надо было теперь, главное дѣло, каичекъ, лодку такую, раздобыть... Этому дѣлу помогла ночь темная да товарищичья послуга: на перевозѣ киргизскомъ, верстъ семьдесятъ выше, не оказалось одного каика небольшого, а изъ киргизскаго каика долго ли на русскій маперъ лодчонку переспастись. Такъ и снарядился Савва Вуколычъ и принялся за дѣло.

Голубевская компанія широко хотѣла захватывать, въ Россію сбывать большими партіями, а наши рыбаки такъ далеко не глядѣли, доставляли товаръ на мѣстную потребу, въ Казалинскъ-городъ, къ базарнымъ днямъ; а на ихъ счастье къ тому времени шире и шире сталъ городъ разрастаться, люднѣе его базары становились, все больше покупателей наѣзжало. Бывало, что ни привезутъ недѣльнаго улова, все сбудутъ, съ пустыми руками, да не съ пустыми кошелями, назадъ на Косъ-Аралъ уѣдутъ и опять за работу до слѣдующаго дня базарнаго.

Задумалъ тутъ Савва и въ городѣ своимъ домикомъ завестись, благо хозяйка дѣтей ему народила,—не таскаться же по шалашамъ рыбачьимъ бабѣ съ малыми ребятами. Мѣста отводились даромъ; подъ огороды, по самому берегу, лучшая полоса. Тогда еще не все было занято и селиться можно было свободно, съ выборомъ.

Повалило счастье Саввѣ, разжирѣлъ казакъ, совсѣмъ сталъ купцомъ выглядывать... только вотъ бѣда: и на Косъ-Аралѣ у него дѣло хозяйскаго присмотра требуетъ, а въ городѣ окромя дома тоже завелись обороты... Тамъ приглядитъ—въ другомъ мѣстѣ упуститъ, просто хоть разорваться! А жаденъ сталъ къ дѣлу да деньгамъ; чѣмъ богаче становился, тѣмъ жаднѣе; ужъ какъ онъ на ребятъ своихъ косо поглядывалъ, — маленькіе

они еще были, двое парнишекъ да дѣвочка. «Не растутъ, дьяволята!—ворчалъ, бывало, Савва Вуколычъ.—Все бы отцу помогали. Скоро ли дождемся только этихъ помощниковъ?»

Нанялъ онъ на рыбалки киргизъ-работниковъ,—ничего не понимаютъ косоглазые, а которые поняли, такъ лучше сейчасъ же помеломъ гони съ «переметовъ»: такъ воруютъ, черти, что инда тошнитъ, глядя!

Съѣдутся къ тонямъ родичи ихъ да купаки со степи, сядутъ по берегу, какъ вотъ птица водяная, что рыбы дожидается, ну, и ждутъ... А работники переметы очищаютъ—девять рыбинъ своимъ, а десятую хозяину откладываютъ; вотъ тутъ и барыши!

Конечно, и русскій тоже работникъ не безъ грѣха по этой части, да это ничего, русскій только для себя норовитъ, много ли ему понадобится! Отъ такихъ улововъ почитай-что и незамѣтно; да русскому и спрятать не куда, коли много цапнетъ... Нѣтъ, что говорить, русскіе бы работники первый сортъ дѣло! Да вотъ гдѣ взять-то ихъ, этихъ русскихъ?

И все-то это Саввѣ Вуколычу думалось, гдѣ бы это принанять себѣ русскаго человѣка, да чтобы не одного, поболѣе, да чтобы не на годъ, а эдакъ закабалить бы его, милаго человѣка, чтобы ему годовъ пять изъ хозяйскихъ лапъ не вывернуться.

Разъ онъ сидитъ въ одной рубахѣ, раздѣвшись. Печь то жарко натоплена, полъ въ горницѣ чистою кошмою выстланъ, самоваръ на столѣ горитъ-свѣтится. Хозяйка ребенка поитъ чаемъ съ баранками, а самъ Савва Вуколычъ только-что пропустилъ махонькую, рыбкою малосольною закусилъ и поджидаетъ, поглядываетъ въ окно, не зайдетъ-ли пріятель его закадычный, Куликовъ-капитанъ, чтобы это вмѣстѣ поблагодушествовать.

— Поди, чай, къ Живчику зашелъ,—не говоритъ, поетъ просто хозяйка Саввы Вуколыча,—а ужъ оттедова не скоро выпустятъ; нонче Живчиха кулебяку пекла съ сазаномъ да яйцами... теперь вотъ эту самую кулебяку и кушаютъ...

— Кулебяку жрутъ, ишь ты... Нѣтъ, сказывалъ—зайду!

— Можетъ, попозже. Ишь, вѣдь, вотъ опять шатаются...

— Энти-то?.. Да, бродятъ!

— Утромъ я имъ по баранку дала, вотъ они и опять къ окнамъ лѣзутъ!

— А ты гони ухватомъ!

— То-то гнать приходится!

Подъ окномъ въ ту пору три головы показались: тетка Маланья, бабушка Арина да еще дѣвчонка одна молоденькая

— Подайте, милостивые господа купцы честные, Христа-аа ра-а-ди!

— Поди къ чорту!—урезонилъ Савва черезъ окошко.

— Проходи, проходи, ненасытные!—запѣла его хозяйка.— Проходи, что-ли... Ну!

— Нѣтъ, стой! Вали въ домъ заходи...—вдругъ это поднялся съ лавки Савва Вуколычъ...—Заходи всѣ! Припаси пожрать имъ, что есть... тоже, чай, души христіанскія, поѣсть хотятъ. Ну, чего уперлись, рты поразинули, заходи, пока честью просятъ!

— Что ты это?—поглядѣла на мужа хозяйка. — Что ты это, Вуколычъ?

— Тсъ! Не замай, мысль это у меня такая въ головѣ завертѣлась, и эту мысль въ настоящемъ разѣ обработать нужно... Подь, отвори имъ задвижку!

— Затѣйникъ!—протянула хозяйка, ухмыляясь.

— Тамъ ты, «жидюга», хлопочи по сему предмету, а мы, можетъ, раньше тебя все обдѣлаемъ!—словно про себя промолвилъ Савва Вуколычъ и на всякій случай убралъ со стола въ поставецъ лишнюю посудину.

XXXX. Никонъ въ дорогу собирается, чего-то опасается, а чего—напрямикъ сказать языкъ у него не ворочается.

Долго возилась у печки Марина; калачей навалила на столъ цѣлую гору, яицъ крутыхъ запекла въ нихъ, какъ остыло все это, въ мѣшокъ сложила и веревочкою завязала. Въ другой мѣшокъ, поменьше, положила четыре рубахи чистыя, поддевку и изъ другой одежи, что слѣдуетъ. Все о томъ заботилась, какъ бы не упустить чего, не забыть про что такое, что въ дорогѣ да на чужомъ мѣстѣ понадобиться можетъ, къ людямъ чтобы не ходить да денегъ зря не тратить.

Никону Денисьичу далеко-таки ѣхать надо было, верстъ за триста, почитай, безъ малаго на полмѣсяца, а, пожалуй, и побольше, вотъ она и сбирала его теперь въ дорогу эту дальнюю.

— Гляди ты, Степа, поглядывай! — наказывалъ Никонъ Малышу.—Топлива это у тебя на недѣлю есть сложеннаго; изъ дому отлучаться не зачѣмъ, когда опять надобность придетъ, какъ-нибудь обойдись, лучше купи, да не отлучайся, а то Матвѣя попроси, онъ за одно и съ нашимъ возомъ съѣздитъ!

— Ужъ ты не сумлѣвайся въ этомъ, — потупился Степанъ,— это все я справлю, какъ слѣдуетъ!

— То-то. Насчетъ скотины тоже. Самъ знаешь, какой народъ, чтобы чего не вышло!

— Извѣстно!

— Опять вотъ...—началъ было еще что-то Никонъ, да и смолкъ; отвернулся, сталъ сапоги оглядывать, въ порядкѣ ли; ему намедни подметки новыя солдатъ подкинулъ, такъ вотъ, прочно-ли сработалъ.

— Все справимъ!—тихонько вымолвилъ Степанъ и тоже глядитъ куда-то въ сторону, словно какъ въ окошко, на улицу.

— Надо было работу брать такую дальнюю,—проговорила Марина,—охота, значитъ!

— Шибко батюшка просилъ, отказать-то невозможно было. Всего, баитъ, двѣ недѣли!

«И двѣ недѣли время не малое!» про себя это подумала Марина, а, можетъ, и сказала, только тихо очень, никто и не слышалъ словъ ея этихъ.

Вышелъ Никонъ въ сѣни, дверь за собою притворилъ, подождалъ минутку, поворочалъ кадками, такъ, безъ дѣла, Степана кликнулъ.

— Что ежели случится насчетъ дому, алибо хозяйства...— заговорилъ онъ, когда Малышъ вышелъ къ нему на окликъ.

Такъ и отпрянула Марина отъ стола къ двери и ухомъ прислонилась къ затвору, вслушивается. А Никонъ со Степаномъ сошли съ крыльца, за уголъ куда-то завернули,—ихъ и не слышно.

Чудное такое стало съ Мариной дѣлаться: то въ холодъ ее кидать станетъ, то жаромъ обдастъ. Потупилась въ землю, словно виноватая, и отъ дверей отойти забыла.

— Есть тутъ загвоздка одна, Степа, — вполголоса говоритъ Никонъ,—слушай ты меня хорошенько. Можетъ, я зря болтаю, можетъ, сердце мое недоброе что чуетъ...

Стоитъ Степанъ, тоже словно виноватый, коситъ глаза въ сторону, пальцами конецъ кушака теребитъ.

— Работа моя эта, новая, шибко сходна, отказаться—дѣло неподходящее было, только, вишь, ты, какая оказія: намедни былъ это у отца протопопа Васька нашъ, зачѣмъ—не знаю; долго говорили, а послѣ этого и самое рѣшеніе вышло, чтобы мнѣ, значитъ, ѣхать отсюдова: «Шибко, сказываетъ, тебя мужики ваши хвалятъ»; такъ и говоритъ: «хвалятъ ужъ шибко очень; всякую, значитъ, работу на чистоту справить умѣешь», вотъ оно что...

— Кто это сказываетъ?

— Да все онъ же, отецъ Иванъ,—это послѣ разговору-то Васькинаго. Какъ бы чего не вышло!

— Ничего не выйдетъ!—ухмыльнулся Степанъ, и словно отлегло у него отъ сердца, словно онъ не того ждалъ отъ Никона, а другого чего, худшаго.

А Никонъ глядитъ на него, насмурный такой, туча-тучею, лицо раскраснѣлось, глаза на выкатъ. Кулачищемъ сгребъ комли снопа камышеваго да и потрескиваетъ между пальцами.

— Ежели что случится...—молвилъ.—Спаси отъ грѣха смертнаго. Владычица небесная!

— Чаго бояться, доглядимъ, небойсь!

— И о чемъ толкуютъ, псы этакіе?—мается подъ дверью Марина.—Хотя бы словечко услыхать. Ишь, вѣдь, за сарай забрались, антихристы!

. . . . . .

— А бураго, пожалуй, своди къ коновалу, пущай поглядитъ!—спокойно такъ говоритъ Никонъ, черезъ дворъ идучи.

— Примочки дать обѣщался, — поотсталъ маленько Степанъ,—а то въ нутро чего понадобится!

— Своди, что-жъ, дашь двугривенный. Въ Матросской слободкѣ, супротивъ казенной кузницы!

— Да, знаю!

Плюнула Марина и отошла отъ двери. Стала узелъ въ двѣ петли на мошнѣ завязывать, а руки, провалъ ихъ побери, вздрагиваютъ, пальцы, словно крючья какіе, межъ собою путаются.

— Время подходитъ, — сказалъ Никонъ, — такъ купецъ наказалъ, чтобъ дожидался его у трактира, подвезти обѣщался батюшкѣ до самаго Перовскаго, на почтовыхъ; завтра же, къ ночи, пожалуй, буду!

— На почтовыхъ первымъ сортомъ! — кивнулъ Степанъ головою и бойко тряхнулъ волосами.

— Только дожидаться чтобы долго не заставлялъ, а то, говоритъ, какъ хошь, одинъ, безъ тебя, уѣду. Сбирай, Марина, да и съ Господомъ!

— У меня готово!—промолвила дѣвка, а слезы-то къ горлу инда подступили, душатъ, а не идутъ наружу, только глаза словно огнемъ выжигаютъ.

— Сядемъ, что-ли, по обычаю!

Сѣли.

Всталъ Никонъ первый, на образа началъ креститься. Затряслась вся Марина, вскочила съ лавки; только Никонъ къ ней повернулся, такъ и повисла она ему на шею.

— Эхъ, лучше бы ты работы той рѣшился, дома бы остался!—проговорила дѣвка.

— Очумѣла!—поглядѣлъ ей въ лицо Никонъ, поцѣловалъ три раза, опять поглядѣлъ въ лицо, махнулъ рукою да и порѣшилъ.

— Надыть, значитъ. Пойдешь провожать, что-ли?

Заперли избу, пошли къ трактиру всѣ трое. А по средней улицѣ уже колокольчикъ почтовый побрякиваетъ, купеческая кибитка тащится. Самъ купецъ изъ подъ зонтика выглядываетъ; увидалъ нашихъ, рукою манитъ.

— Погоди маленько, зайдемъ, «посошокъ» сообща выпьемъ, чтобы дорога была поглаже!

Веселый такой купецъ, душа человѣкъ и носъ красный-прекрасный, словно въ сандалѣ его три дня отмачивали.

Зашли, выпили.

Только сѣлъ Никонъ съ купцомъ въ кибитку, глядитъ Марина — дядя Василій изъ окна трактирнаго выглядываетъ; былъ онъ, должно полагать, въ сосѣдней горницѣ, потому они его прежде и не видали.

Замерло сердце у Марины, словно что худое почуяло.

— Скатертью дорога, Никонъ Денисьичъ!—кричитъ вслѣдъ кибиткѣ Мутило. — Назадъ вернуться дай Богъ благополучно! Все въ дому въ добромъ здоровьѣ застать. Эй, вы, други! Закатывай! Ухъ!..

— Пойдемъ!—толкнула Степана Марина.

— Заходи, красавица, чайкомъ побалуемся! — оретъ на

всю улицу дядя Василій.—Тутъ такіе для тебя кавалеры подобраны, не чета твоему судьѣ благородному!

Гордо такъ оглянулась дѣвка на этотъ надсмѣхъ, брови сдвинула.

— Хошь, сейчасъ рыло сворочу ему на сторону?—вспыхнулъ Степанъ и побагровѣлъ весь въ лицѣ-то.

— Оставь! — молвила Марина, сплюнула на сторону и пошла вдоль улицы, плавно такъ, ровною, твердою поступью.

Сплюнулъ и Степанъ-Малышъ, поглядѣлъ на Василья, а тамъ въ окнѣ еще три головы торчатъ, солдатскія, смѣются да посвистываютъ, безобразничаютъ.

— Народъ, тоже люди!—качнулъ головою Степка и побѣжалъ догонять Марину; а та, тѣмъ временемъ, ушла впередъ-таки порядочно, только концы платка краснаго развѣваются по вѣтру, да брызжетъ грязь дорожная изъ-подъ ея лаптей плетеныхъ, кромошныхъ.

XL. Своей волости хозяинъ.

Цѣлый день почти что шлялся Абрамъ Моисеевичъ Мандельбергъ по нашей слободѣ; лошаденку свою чалую привязалъ у избы Никона къ возу, а самъ все пѣшкомъ грязь мѣсилъ, переходя вдоль стѣнокъ съ одного двора въ другой.

Пасмурный такой былъ изъ себя «кавалеръ-жидюга», ворчалъ что-то подъ носъ, должно быть, ругался по-своему.

Воротникъ выше ушей поднялъ, шапку нахлобучилъ—дождливая тогда погода была, вѣтеръ холодный съ сѣвера такъ вотъ насквозь и пронизываетъ. Въ такую пору дома бы сидѣть лучше, а онъ, вишь ты, прогуливаться задумалъ, ни себя, ни лошади своей не жалѣючи. Только, надо полагать, прогулка эта пришлась ему солона.

— Упрямый народъ, несообразные люди, совсѣмъ шваль!..—бормоталъ Абрамъ Моисеевичъ, останавливаясь передъ послѣднимъ дворомъ и оглядываясь назадъ вдоль пустой улицы.

— Эй, кавалеръ, заходи, что-ли! — кричитъ ему дядя Василій, выглянувъ изъ своей кибитки.

Взглянулъ на него Абрамка, помахалъ рукою, значитъ: погоди, приду, и сталъ въ окошко стучаться, а окно-то ка-

кое — бумагою заклеенное, стуку настоящаго нѣту, а такъ шелеститъ легонько.

— Да брось, купецъ, не выгоритъ твое дѣло, брось!— кричитъ дядя Василій. — Только время понусту тратишь, да на дождѣ мокнешь. Эй, тебѣ говорю, поштенный!

— Ну, кто тамъ есть?—знай постукиваетъ Абрамъ Моисѣевичъ.—Хозяинъ!

Тихо въ дому, ничего не слышно, даже дымкомъ, какъ въ другихъ домахъ, не попахиваетъ, тепломъ не несетъ въ оконныя щели.

Отодралъ маленько жидюга бумажку, заглянулъ, а тамъ пусто, никого нѣту, да, должно быть, и не живетъ никто, потому печь обвалилась, мазаный полъ размокъ отъ дождя, и вода на немъ стоитъ лужами; ни стола нѣтъ, ни лавки; только въ переднемъ углу на полочкѣ дощечка черненькая прилажена, должно, иконка какая забытая.

— Тсъ...—посмаковалъ «жидюга-кавалеръ», покачалъ головою, хотѣлъ-было назадъ идти, опять къ своей лошади, что заждалась уже хозяина своего, голову повѣсила, кости свои непокрытыя подъ дождь выставила, всѣмъ тѣломъ вздрагиваетъ да губами съ воза кое-какія былинки подбираетъ.

— Ко мнѣ пойдемъ!—хлопнулъ его по плечу Мутило.— Я, можетъ, твоему горю настоящій помощникъ. Я всей этой волости хозяинъ, а безъ меня, братъ, ни-ни. Хочу—да, не хочу—нѣтъ. Идемъ!

Подошелъ Василій сзади, жидюга и не замѣтилъ, пока въ окошко избу разглядывалъ.

— А ты знаешь, за какимъ я дѣломъ?—пожалъ онъ плечами;—Можетъ, знаешь, что мнѣ надо?

— Стало-быть, знаю!

— Ну-у?..

— Не нукай, пока не запрегъ!

— Пойдемъ, ну; сейчасъ пойдемъ. Коняку только моего, вонъ онъ гдѣ стоитъ... Я сейчасъ!

— Оставь. Маметка сбѣгаетъ за меренкомъ. Эй, Маметъ, мулла, собака!

Пошли Абрамъ Моисеичъ съ Васильемъ къ кибиткѣ; Маметка, подобравъ полы халата своего верблюжьяго, за лошадью побѣжалъ.

*

— Пожалуйте, ваше степенство!—откинулъ дядя Василій узорную кошму у входа.

А хорошо въ кибиткѣ у дяди Василья, ровно у бея какого киргизскаго все прилажено. Ходить мягко, лежать—того мягче; тепло, просторно. Свѣтъ сверху идетъ, хотя и закрытъ тендюкъ отъ дождика, да приловчился Мутило, окошечко маленькое въ кошмѣ прорѣзалъ, рамочкою обдѣлалъ и стеклышко вставилъ въ него.

На полу, какъ разъ посрединѣ, яма круглая выкопана, глубиною на четверть, въ ней уголья горячіе, а надъ этими угольями котелокъ кипитъ съ чѣмъ-то, къ желѣзной треногѣ подвѣшенный; къ одной сторонѣ, у стѣнки, камышевые снопы повыше накладены, кошмою сѣрою прикрыты, а сверху коврикомъ,—это постель хозяйская; два сундука кованые стоятъ рядомъ съ постелью, другъ на дружкѣ; на рѣшеткахъ, «телѣгахъ», узды развѣшаны, хомуты, нагайки, сѣдло одно казацкое, другое—киргизскій некрашенный арчакъ. Полочку даже приладилъ дядя Василій досчатую, и на полочкѣ той всякая посуда разставлена: чашки, чайники, бутылка до половины отпитая, другая—полная, запечатанная... Одежи тоже всякой не мало навѣшано, а поперекъ всей кибитки веревка волосяная протянута, и на веревкѣ красныя рубахи и синіе порты сушатся. У самой двери Маметка-татаринъ свое логово устроилъ на манеръ хозяйскаго; половина туши бараньей надъ головами виситъ, въ ногахъ дегтярница съ помазкомъ и тыква съ кунжутнымъ масломъ. Отъ дверей влѣво свободное мѣсто осталось, такъ здѣсь мѣшки съ ячменемъ поставлены, пузатые такіе, въ каждомъ безъ малаго половина батмана, мѣръ по пяти, значитъ. За кибиткою загородка устроена камышевая, въ ней телѣга стоитъ, та еще, что изъ Россіи привезена, а у телѣги пара лошадей привязана, торбами помахиваютъ, жуютъ ячмень да пофыркиваютъ.

— Зачѣмъ по дворамъ таскался? — попыталъ дядя Василій, когда вошли съ гостемъ въ кибитку и кошму за собою опустили.

— Ну, зачѣмъ надо, за тѣмъ и былъ!

— А что надо, сказывай!

— Мое то дѣло будетъ...

— Народу, что-ль на рыбалку требуется? — зорко такъ

поглядѣлъ дядя Василій на гостя, насквозь прохватилъ его взглядомъ, усмѣхнулся и подъ бокъ толкнулъ его, не такъ чтобъ уже очень легонько.

— Эхъ, ты, братецъ! Ну, искалъ, ну, надо. Ну, коли ты знаешь—надо, говорю, видишь, говорю, что надо, зачѣмъ кричишь? Если бы не надо, зачѣмъ хлопотать, время загублять даромъ?

— Савва Вуколычъ-то умнѣй тебя подводитъ механику. Тебѣ бы такъ не выдумать. Вотъ ты по дворамъ Христа славишь, на дождѣ да на вѣтру маешься, а онъ въ теплѣ, за самоваромъ благодушествуя, дѣла обдѣлываетъ!

Забѣгали такъ глаза у Абрама Моисеича, оторопь взяла его легкая; чуялъ онъ и прежде, что перебьетъ ему Бородинъ эту линію, поспѣшилъ впередъ забѣжать, а тутъ вонъ какая оказія выходитъ—до него еще побывали.

— Правда?—протянулъ кавалеръ-жидюга.

— Стало-быть, правда, коли сказываю. Тебѣ много-ли надо, говори напрямикъ, не вертись?

— Что это?

— Да, ну, народу, значитъ, работниковъ. Шестерыхъ достаточно?

— Шестерыхъ?

— Мало, что-ли?

— А хоть бы и столько,—поглядѣлъ на хозяина Абрамъ Моисѣевичъ.—Хоть бы и столько!

А самъ думаетъ:

«Ишь, шестерыхъ!.. Хоть бы половину столько».

— По десяткѣ съ рыла жертвуешь? Предоставлю къ сроку, къ самому времени въ аккуратъ. Идетъ, что ли?

— Ой, ой!.. Какія деньги большія... Зачѣмъ много такъ? Спрашивай дешевле, говорить будемъ!

— Дешевле не возьму. Ищи самъ!

— Поищу!

— Только помни: захочу тебѣ работниковъ предоставить—будутъ работники, не захочу—такую линію подведу, что за сто рублей паршиваго мужиченка не достанешь. Я, братъ, что хочу, то и сдѣлаю; сказано—моя это волость!

— А я къ градоначальнику пойду. Зачѣмъ народъ мутишь, отъ дѣла отбиваешь, торговому человѣку препятствуешь? Это тоже по закону не дозволяется!

— А ступай—не токмо что къ градоначальнику, валяй, хошь, къ хану самому хивинскому. Мнѣ что? Мое дѣло сторона: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. А только съ Саввою Вуколычемъ говорить мнѣ много сподручнѣе будетъ!

— Ну, слушай, ну, милый человѣкъ, послушай немножечко... дорого вѣдь! Гдѣ же мнѣ, бѣдному человѣку? Вѣришь, весь годъ одни убытки!

— Хоша бы мнѣ такъ обѣднѣть. Вотъ бы запраздновалъ!.. Сразу-бы въ первую гильдію записался. Эхъ, ты!— Морочь другихъ, кто поглупѣе, а съ нами на чистоту разговоръ веди... лучше дѣло-то будетъ!

— Шесть человѣкъ?—почесалъ затылокъ Абрамъ Моисѣевичъ.

— А коли шесть надыть—такъ шесть!

— Шестьдесятъ рублей?

— Да, шесть красненькихъ: задатку сейчасъ половину, а другую половину послѣ, какъ кресты свои поставятъ, значитъ, по здѣшнему, тамгу...

— Скидка будетъ?

— Да-ну, не торгуйся... такихъ, то-есть, мужиковъ предоставлю, одно слово — волы, не люди. Поотощали они маленько, а какъ отъѣдятся на твоихъ харчахъ, погляди, какіе работники выйдутъ!

— Эхъ, эхъ, эхъ!..

— Савва Вуколычъ по двадцать четыре сулилъ въ лѣто; накинь по одному, чтобы, значитъ, по чертвертной, для ровности счета!

— Это отчего не накинуть. Это накинуть можно, за этимъ стоять не буду!

— Бабами не брезгай, по рыбалкамъ и онѣ въ работу годятся. Тѣхъ дешевле достать можно; другая за одни харчи пойдетъ, бездѣтная, либо дѣвка!

— Ну, ихъ!

— Какъ знаешь! Только по здѣшнему мѣсту и это товаръ... Съ иной дѣвки больше, чѣмъ съ мужика, проку будетъ. Есть тутъ одна такая, что коли бы здравъ ея супротивный да со мною дѣла вела бы, по сотенной загребала бы. Маметъ, сѣдлай коней. Время подходитъ!

— Такъ какъ же?—тронулъ его за рукавъ Абрамъ Моисѣевичъ, придерживать началъ, по своему обыкновенію.

— Какъ уже сказано!

— Получай задатокъ... На! Только, чтобы у меня дѣло вѣрно было, безъ обману чтобы!

— Тоже, чай, крещеный. Эвося, съ крестомъ ходимъ, да намъ и напредки честь свою соблюдать требуется!

Досталъ Абрамъ Моисѣевичъ изъ сумочки своей бумажникъ, размоталъ веревочку, выволокъ три красненькихъ, съ двухъ концовъ пересчиталъ.

— Расписочка будетъ?—спрашиваетъ.

— А этого хочешь?

— Тьфу!.. А не обманешь?

— Бери, чортъ, деньги свои и проваливай! Некогда мнѣ возжаться съ тобою, убирайся!

Осерчалъ дядя Василій, а, можетъ, и прикинулся сердитымъ, деньги, впрочемъ, изъ рукъ не выпустилъ, держитъ крѣпко.

— Ну, ну, ну, какой горячій! А когда дѣло будетъ?

— На той недѣлѣ, во вторникъ. Никона, слышь ты, въ Перовскъ на какую-то работу требуютъ. Такъ вотъ тогда... Прощенья просимъ... Вотъ твой чалый, а вотъ и мой сивка осѣдланъ; тебѣ въ городъ, мнѣ въ другую сторону... съ Богомъ!..

Погналъ, куда ему надобно, дядя Василій, поѣхалъ трусцою и Абрамъ Моисѣевичъ въ городъ.

— Мало спросилъ съ него, обмолвился! — досадовалъ Мутило, похлестывая сиваго.

— Пожалуй-что и хорошо! — соображалъ жидюга-кавалеръ.

Зналъ онъ хорошо, что за человѣкъ дядя Василій, самъ даже думалъ навѣдаться къ нему, если дѣло не выгоритъ, и очень уже доволенъ былъ Мандельбергъ, Абрамъ Моисѣевичъ, что дѣло такъ скоро и неубыточно сладилось.

А дождь все усиливался къ ночи-то. Снѣгъ мокрый повалилъ хлопьями ему на смѣну; по брюхо вязла въ грязи чалая лошаденка; подслѣповато мигали такъ огоньки въ окнахъ пригородныхъ домиковъ. Уныло завывалъ вѣтеръ, гуляя по опустѣлымъ улицамъ, и глухо шелестилъ онъ, пробираясь комышевыми загородками.

Словно на бѣду нашимъ обозникамъ, зима въ этотъ годъ стояла гнилая да долгая.

XLI. Бабья тревога.

Запѣли наши бабы подъ дудку Саввы Вуколыча.

Вернулись Маланья съ Ариною въ слободку поздно вечеромъ, веселыя такія, обнадеженныя. Тутъ сейчасъ-же, у околицы, своихъ встрѣтили, бабъ тоже; мужиковъ, почитай, никого дома не было, разбрелись всѣ по разнымъ сторонамъ.

— Шабашъ голодать! — кричитъ Маланья. — Тамъ онъ себѣ, какъ хошь, а я на него насяду, такъ-то насяду!.. Что глядѣть на нихъ, въ самомъ дѣлѣ!

— Извѣстно, — молвитъ Арина. — Тамъ когда что еще придется, а тутъ дѣло вѣрное!

— Неужели-жъ такъ: «и крупою, и мукою?»—пытаютъ прочія бабы.

— Хоть сейчасъ съ мѣшкомъ приходи. Мы, говоритъ, не постоимъ на эвтомъ!

— Рыбою обѣщались одѣлять тоже. «Шабашъ, — сказываютъ, голодать, души вы христіанскія»!

— Пошли имъ, Господь, милостивцамъ!.. Чаемъ поили, говоришь ты, пирогомъ кормили?

— Во—какъ нажрались!

— Чудное дѣло, право! Намедни насъ съ Марьею такъ-то взашей отъ тѣхъ самыхъ оконъ проводили, первымъ сортомъ!.. Собаку спустить стращали!

— Что-й-ты? Ужъ такіе-то люди мягкіе, такіе-то сердечные! Говоритъ это онъ, ну, вотъ, ровно рѣчка журчитъ, ровно попъ это, въ церкви, складно такъ, жалостливо и все по кни-ижному. Мы, почитай, половины путемъ и не поняли!

— Я свово пошлю!

— Много-ль народу, сказывали, надоть?

— А ужъ это, болѣзныя, не знаемъ. Коли что, мы своихъ пошлемъ, а ужъ прочіе кто—какъ придется!

— Жеребій надоть!

— Такъ вотъ те сейчасъ! Мы нѣшто для чужихъ хлопотали, цѣлый день возжались съ ними?

— Эхъ, матка! И я такъ-же-бы повозжалась денекъ съ пирогомъ да за самоваромъ, такъ-то-бы похлопотала. Можетъ, на всю недѣлю сыта была бы!

— Кому счастье...

Набилось народу въ Маланьину избу, не бѣда, что печь худая да нетопленная, а жарко стало. Все только и разговору про то, какъ довольствіе всякое отпущать будутъ. Разгорѣлись бабы на съѣстное, да и какъ не разгорѣться послѣ такого-то поста, голодухи!

Кабы не ночь, гляди, всѣ-бы, кажись, къ Саввѣ Вуколычу поперли. Про мужиковъ, что, пожалуй, перечить станутъ, и слышать не хотятъ.

— Да мы ихъ проймемъ, лежебоковъ этихъ. Мы ихъ проймемъ во-какъ!

— Поѣдомъ заѣдимъ!

— Одно слово—изгрызу живого!

— Драться станутъ—пущай бьютъ, хошь до полусмерти, а ты все свое толкуй. Попрекомъ его донимай да укоромъ, чтобъ ему мѣста не нашлось такого, гдѣ-бы попреку да слезъ бабьихъ не слыхать было!

— Онъ, вишь ты, что говорилъ тоже: «умная баба завсегда на своемъ поставить можетъ»!

— Это онъ вѣрно сказывалъ!

— Сами пойдемъ къ трактиру-то; однихъ не пустимъ. Пока рукъ не приложатъ, не отходи, да и полно!

— Степка придетъ—гони въ шею! Никона и близко не подпущайте. Они, каторжные, сыты да обуты, въ теплѣ сидятъ, имъ хорошо говорить-то, языкомъ молоть: «ждите, молъ, да перетерпливайте, не долго еще придется»!

— Никонъ вонъ деньжищъ у попа загребъ сколько! Ему хорошо, ему чего не ждать!

Такой-то бабій всполохъ пошелъ по всей нашей слободкѣ—страсть! Съ базарной площади, безъ малаго верста, а и то бабьи голоса доносило по вѣтру.

Стали мужики собираться, сразу и не поймутъ ничего, что такое только дѣлается.

— Угорѣли, надо полагать! — качнулъ головою Дементій Трифоновъ.

— Съ моей-то Анисьей какая причта, и не соображу!— навѣдался Матвѣй Лаптевъ черезъ заборъ къ Степану-малышу, когда тотъ у воловъ копался.

— Что такое?

— Мѣшки собираетъ, обувается, вишь ты, въ темь какую да въ непогоду за провіантомъ собирается идти куда-то; сказываю ей: воровать идешь нешто ночью-то? А она: знаю, значитъ, куда, а ужъ коли ты завтра не по-моему сдѣлаешь, супротивъ меня пойдешь, значитъ, ужъ я-те доѣду! Такъ и сказала: доѣду, говоритъ!

— Чудно!

Двѣ бабы въ кровь разодрались изъ-за того, чьему мужу напередъ идти надо. Изъ-за парнишки Пашки тоже до драки чуть дѣло не дошло. Мать сказываетъ: шестнадцатый годъ ему пошелъ, а сосѣди баютъ — четырнадцатый; коли шестнадцатый, годится въ работники, а малолѣтковъ не принимаютъ; такъ оттого больше и споръ вышелъ.

— Ишь, ты, сказываютъ, и мужа, и сына впереть хочешь, за двоихъ получать — на-ко-сь, вотъ энтаго не хочешь!? Завистливая, глаза твои поповскіе!

И какіе-же хитрыя нашлись. Пока спорили да схватывались, три одѣлись да ночью-же прямо къ Саввѣ Вуколычу дернули, гамъ и дожидались утра, на задворьѣ, въ стогъ соломы забившись.

. . . . . .

А Савва Вуколычъ спитъ себѣ, знай, на кровати съ хозяйкою, мычитъ во снѣ да руками за шею хватается; все ему домовой чудится, будто-бы навалился, косматый, колѣномъ надавилъ подъ ребра, да и душитъ. Сладко такъ спитъ, разметавшись, и хозяйка Саввы Вуколыча, похрапываетъ съ посвистомъ, важно такъ, словно котенокъ мурлычетъ. И не чуютъ во снѣ люди, какой-такой переполохъ идетъ по слободкѣ по ихъ милости.

Зато не спитъ въ своей каютѣ Абрамъ Моисеичъ; ставни внутреннія приперъ плотно, ковромъ завѣсилъ, чтобы свѣту не видать наружу было-бы, счеты свои сводитъ, тихонько мурлычетъ подъ носъ:

Еще это лѣто, куда ни шло. Съ будущимъ же годомъ — шабашъ. Вотъ чтобы мнѣ съ этого мѣста не подняться, если домой, въ Гродно, не уѣду... Будетъ!

XLII. Изъ огня да въ полымя, а все-таки морозу спасибо.

Вернулись Марина съ Степаномъ-малышемъ домой съ приводъ Никона Денисьича, Марина въ избу пошла, а парень на дворѣ остался.

Дѣла тутъ оказались у него по хозяйству на дворѣ, особенныя, спѣшныя, ну, а къ ночи время подходило, надо было все засвѣтло справить, не бродить же по сараямъ да навѣсамъ съ фонаремъ; оборони Богъ, искра стреканетъ въ вѣтряную пору, долго ли до грѣха дѣло...

Вошла Марина, прямо къ окошку присѣла, на подоконникъ оперлась и въ окно смотритъ; а чего увидишь въ окнѣ сквозь бумагу промасленную? Однако дѣвка смотритъ пристально, а глаза туманомъ затянуло, и слезы на рѣсницахъ скопляются, вотъ-вотъ потекутъ по щекамъ, польются, да только чего те мѣшкаютъ, все собираются.

И тяжело же на душѣ у Марины Денисьевны, и сердце колотится сильно подъ рубахою; а то замретъ на малое время, защемитъ... вотъ ровно какъ передъ бѣдою бываетъ. Передъ радостью тоже это случается.

Возится Степанъ на дворѣ, ровно медвѣдь на пасѣкѣ, даже въ избѣ слышно, какъ онъ телѣгами поскрипываетъ, все ихъ въ порядокъ устанавливаетъ. Инда потъ пробралъ мужика. Пошабашилъ съ телѣгами.

Оглянулся парень на дверь сѣнную, поскребъ затылокъ, передохнулъ малость. Все, никакъ, справилъ, можно бы и въ избу.

— Идти аль не идти?—завозилось у него въ головѣ.

Крякнулъ Степанъ и началъ хворостъ съ одного мѣста на другое перетаскивать. И такъ близко онъ къ избѣ сложенъ былъ, а все-таки лучше поближе перевалить всю кучу, все какъ бы сподручнѣе брать его Маринѣ для топки будетъ.

Переволокъ копну парень, руки въ кровь исцарапалъ.

— А поилъ ли я скотину?—сталъ припоминать ретивый работникъ.—То-то горе мое, поилъ. А важно бы теперь этихъ самыхъ воловъ къ рѣчкѣ сгонять, все вѣдь оно не близко пойло это, часъ времени и ушелъ бы!

— И нейдетъ никто мимо двора, разговорился бы покрайности. А то что же теперь на дворѣ въ сумерки дѣлать? Надо въ избу идти!

А отъ сѣнныхъ дверей Степана словно сила какая-то отталкиваетъ. И чудная же сила эта! Сама тянетъ, такъ вотъ и манитъ къ себѣ, сама же и отталкиваетъ. Словно всѣ доски, всѣ щелки этой двери заговорили и кричатъ онѣ Степану-малышу:

— Иди, иди, дурашка, чего упираешься, чего и себя, и ее томишь-мучаешь? Ждутъ тебя не дождутся, а ты тутъ вотъ хворостъ съ мѣста на мѣсто, словно медвѣдь колоду, перетаскиваешь!

— Вотъ только сунься!—злобно такъ шепчутъ другія.— Только и увидишь ты послѣ того свѣту божьяго; на людей, на небо, на землю даже смотрѣть будетъ совѣстно. Эхъ, петля да прорубь по тебѣ, знать, стосковались. Дальше, братъ, дальше, христовъ работничекъ! Да вонъ, гляди, у тебя еще не все и пошабашено!

Оглянулся парень, глядитъ — и точно: дюжина тесинъ да двѣ доски вершковыя, что вчера еще съ поповскаго двора привезены, лежатъ на землѣ, на сырости, а дерево сухое, цѣнное, за него десяти рублей дать мало—дешево.

Выбралъ имъ, этимъ доскамъ да тесу, мѣсто Степанъ хорошее, подъ самою крышею, на перекладинахъ, и сталъ ихъ туда поштучно перетаскивать.

А тѣмъ временемъ совсѣмъ смеркаться начало. Разогнало вѣтромъ тучи на небѣ, и сквозь сѣрый туманъ заискрились на немъ свѣтлыя точки—звѣздочки.

Сидитъ себѣ Марина у окна, время проходитъ, а и ей по дому, тоже какъ Степану на дворѣ, работы не мало.

Пора приниматься.

Затопила печь, поставила утренніе щи разогрѣть, хлѣба нарѣзала, соли натолкла, взяла метлу, подметать избу начала.

Съ каждымъ шагомъ, за каждымъ дѣломъ, тянетъ да тянетъ дѣвку на дверь оглянуться: все ей мерещится, что за дверью Степанъ стоитъ и за щеколду держится. Разъ даже явственно такъ щелкнула эта щеколда, и половицы въ сѣняхъ скрипнули.

Вздрогнула Марина, похолодѣла даже вся и метлу чуть изъ рукъ не выпустила.

— Что это онъ тамъ возится долго? — досадливо такъ мыслитъ Марина, а въ то же время и другое и ней ворочается:

— Хоть бы и не приходилъ совсѣмъ, тамъ бы и остался, на дворѣ-то. Право-ну!..

Тогда только и замѣтила дѣвка, что совсѣмъ стемнѣло, когда колѣномъ о скамью стукнулась. Отыскала спички на

полкѣ, зажгла свѣчку и глаза даже отъ яркаго свѣта рукавомъ прикрыла.

Горятъ у ней эти глаза, словно недѣлю плакала, и на свѣтъ смотрѣть даже больно. Что за оказія? Кажись, и въ поминѣ слезъ этихъ анафемскихъ не было. Тогда-то, когда тарантасъ купеческій тронулся, колокольчикъ зазвякалъ, она, точно, всплакнула-было маленько, да давно ужъ это. Остыла, обвѣтрилась, назадъ идучи. Да, полно, давно ли? Часа три, можетъ, не больше; такъ оно и есть. Совсѣмъ почти передъ вечеромъ дѣло было, а какъ оно время-то долго тянется, словно сто годовъ прошло съ тѣхъ поръ.

Думаетъ это Марина, а сама крючекъ съ окошка, что на дворъ выходитъ, снимаетъ; пріотворила его немного, выглянула. Темно такъ на дворѣ, сиверко задуваетъ. Рваныя, клочковатыя тучи шибко такъ по небу несутся, черный шестъ торчитъ надъ сараемъ. И чудится Маринѣ, что вотъ-вотъ на шестъ этотъ налетятъ темныя клочья, и ждетъ она, кто кого сшибетъ—шестъ ли крякнетъ, не выдержитъ, тучи ли порвутся на меньшіе клочья и повиснутъ на этомъ шестѣ, словно тряпье, для просушки развѣшенное.

Возится Степанъ подъ навѣсомъ, досками хлопаетъ, ворчитъ что-то подъ носъ; чуть-чуть только спина его въ рубахѣ въ темнотѣ виднѣется. Жарко, должно-быть, парню, что снялъ съ себя свой полушубокъ.

— Степа! — крикнула Марина, да такъ чудно крикнула, что приложи кто ухо къ самому рту ея, онъ бы этого крика призывнаго не слыхалъ бы.

Захлопнула Марина окошко, отошла подальше и на образа перекрестилась.

А тутъ котъ-подлецъ на столъ забрался и краюху хлѣба обнюхиваетъ. Зыкнула на него дѣвка: брысь, каторжный! Такъ бы вотъ и шаркнула его, чѣмъ попало. Откуда только злость у ней явилась? Кажется, убила бы на мѣстѣ; да котъ тоже не дуракъ, со стола—ходу. Прежде подъ лавку, оттуда подъ печь, только его тутъ и видѣли.

Сталъ тутъ Марину смѣхъ разбирать; сѣла она на лавку, въ бока уперлась кулаками, такъ на всю избу и заливается-хохочетъ.

— Ишь-то, плутъ! Ишь, подлиза, усатая морда!.. Ха, ха, ха!..

А какъ сказала дѣвка: «усатая морда», такъ ей вживѣ судья-подлипало и представился, какъ онъ ее, пѣшую, съ базара верхомъ провожалъ, срамилъ передъ народомъ своими проводами непрошенными.

Прошелъ смѣхъ, боязно стало: «А ну, какъ этотъ подлипало самый да за отъѣздомъ Никона пуще привяжется? Что, какъ нагрянетъ, незваный, негаданный?.. Ладно, молъ, какже! Нѣшто я одна тутъ? А Степка на что? Чай, тоже Никонъ не спроста вѣрнаго по себѣ сторожа оставилъ».

Только вотъ горе: кто ее отъ этого сторожа сторожить будетъ?..

Чу-кось!.. Кто-то въ окошко стукнулъ... А можетъ-быть, такъ, показалось... Тсс!.. Опять кто-то стучитъ, явственно такъ... Вонъ даже бумага выперлась подъ чьими-то пальцами.

— Степанъ!—крикнула громко Марина, теперь уже совсѣмъ не такъ, какъ прежде, а громко, такъ-что парень чуть торчмя не полетѣлъ сверху, голосъ этотъ услышавши.

— Денисьевна,—слышится за окномъ голосъ тетки Анисьи,— а Денисьевна!..

— Что те, бабушка? — отозвалась Марина, а у самой сердце такъ и колотится.

— Позычь сольцы, родимая, съ горсточку, да огарочка махонькаго позычь, благодѣтельница... Я-бъ зашла, да у тебя ворота изнутри засовомъ задвинуты!

— Тамъ Степка на дворѣ, онъ отворитъ, покличь его,— промолвила Марина,—да заходи съ нимъ въ избу-то, у меня ужинать собрано; время ужъ... Заходи, что ли!

— Зайду, зайду, красная, зайду... — зашамкала баба и зашлепала по грязи вдоль стѣнки, къ воротамъ пробираючись.

Вотъ и во дворъ вошла, вотъ въ сѣняхъ топчется... еще съ нею кто-то, должно, Степанъ самъ, кому же больше? Такъ и есть, онъ, его походка... ишь, покашливаетъ!

А Степанъ тѣмъ временемъ отперъ ворота Анисьѣ и думаетъ: «А зайду въ избу, погрѣюсь, щей похлебаю... словно какъ будто озябъ маленько. Что-жъ, теперь ничего, *при людяхъ можно*»!

А чего «при людяхъ»! Сколько разовъ было, что по суткамъ въ избѣ одинъ сидѣлъ съ Мариною, глазъ на глазъ... Не съѣли, небойсь, другъ дружку...

Вошли. Степанъ въ сторону глядитъ, Марина въ другую, тетка Анисья въ передній уголъ крестится. Сѣли ужинать.

— Уѣхалъ, значитъ, самъ-то?—промолвила гостья.

— Охъ, уѣхалъ!—вздохнула хозяйка.

Тряхнулъ головою Степанъ и поперхнулся первою ложкою

— Таперича, чай, далеко угнали, съ купцомъ-то; чай, поди, полсотни верстъ,—больше!

— На почтовыхъ скоро, не то, что съ обозомъ!

— На почтовыхъ чудесно...—вымолвилъ тутъ и Степанъ, и опять кусокъ сталъ у него поперекъ горла, да и давитъ тамъ, ни взадъ, ни впередъ не пробирается.

Сидятъ всѣ трое теперь, хлебаютъ молча. Марина чуть-чуть на ложку набираетъ, Степанъ глотнетъ разъ да положитъ ложку на край миски, пораздумается, словно сытъ совсѣмъ парень и ужинать сѣлъ такъ только, нехотя, для компаніи. Анисья за всѣхъ троихъ, за обѣ щеки убираетъ.

Поужинали.

Отсыпала Марина теткѣ Анисьѣ соли, въ конецъ платка завязала, дала огарокъ вершковый. Сказала та «спасибо» и домой стала собираться.

— Пошли вамъ Господь всего за вашу доброту да кротость! Ну, прощайте, голуби ласковые!—проговорила Анисья, шагаючи черезъ порогъ.

Вспыхнула Марина, вся раскраснѣлась, такъ ее это слово послѣднее Анисьино доняло.

Ушла гостья; остались теперь Степанъ съ Мариною одни. Стала дѣвка со стола убирать, а саму въ жаръ такъ и кидаетъ, руки дрожатъ, въ глазахъ мутится...

Армякъ Степановъ висѣлъ на гвоздѣ, на той стѣнкѣ, у которой Марина стояла; шагнулъ туда парень, чтобъ снять его, протянулъ руку, чуть-чуть только коснулся плеча Марининаго.

— Соколикъ мой!..—не сказала,—простонала дѣвка и потянулась къ парню.

И пропали у ней тутъ и воля и сила, и не знала она, не сознавала больше, что это—во снѣ ли ей все снится, или на яву происходитъ.

Чувствуетъ Степанъ, какъ его шею обняли, обвили змѣями двѣ горячія руки, какъ къ его лицу плотно прижались моло-

дыя, здоровыя груди, стекла ожерелья вдавились ему въ лобъ, мѣдный крестикъ, словно самъ собою, къ губамъ приложился.

Рванулся Степанъ, сгребъ армякъ, захватилъ полушубокъ съ лавки да съ розмаха къ двери такъ и кинулся.

Инда дверь съ одной петли соскочила.

— Куда-жъ ты, Степа?—чуть слышно прошептала Денисова внучка и опустилась на лавку.—Куда-жъ ты?.. Ничего... что-жъ... я вѣдь... Степа...

А Степанъ дверь снаружи припираетъ; одною рукою работаетъ, другою крестится. Выбѣжалъ на дворъ да въ сарай, бросилъ одежу въ телѣгу, да и сталъ тутъ столбомъ, глаза, словно быкъ подъ обухомъ, выпучивши...

Очнулась Марина, духъ перевела, воды цѣлый ковшъ выпила. Остановилась посреди избы, глаза внизъ потупила и задумалась.

И представилось ей,—ну, вотъ какъ совсѣмъ передъ глазами,—какъ Никонъ съ купцомъ въ тарантасѣ ѣдутъ: купецъ это спитъ-похрапываетъ, Никонъ сидитъ, ноги свѣсивши, на дорогу поглядываетъ. Ямщикъ сгорбился на козлахъ, кнутомъ помахиваетъ, на усталыхъ лошадей покрикиваетъ... «Тпру... стой! Ваше степенство, на станцію пріѣхали!..»

Легко такъ, весело стало вдругъ на душѣ у Марины: и плакать-то хочется, и смѣхъ ее разбираетъ.

— Спасибо, Степа, спасибо, родной... Дай Богъ тебѣ... за твою... за...

Пересилили слезы смѣхъ веселый, въ два ручья залилась Денисова внучка, припала къ землѣ и поцѣловала самое то мѣсто, гдѣ стоялъ Степанъ, снимая со стѣны свою одежу.

Такъ съ той ночи, пока Никонъ не вернулся, и ночевали Степанъ съ Мариною порознь: дѣвка въ избѣ, на лавкѣ, парень—на дворѣ, въ телѣгѣ.

Что-жъ, оно не такъ, чтобы ужъ совсѣмъ холодно ночью-то, опять къ веснѣ дѣло становилось, все какъ-то теплѣе, да и полушубокъ у Степана новый, не скоро его морозомъ прохватитъ. Опять же оно и спокойнѣе: въ избу-то только черезъ дворъ пробраться можно, а ужъ на дворъ ни одна собака чужая не заберется, когда знаютъ, что самъ хозяинъ, словно цѣпной песъ, на дворѣ дрыхнетъ.

XLIII. Благослови, Господи!

Еще до свѣту начались суетня да сборы въ нашей слободкѣ.

Бабы запасливыя, изъ муки, что имъ хозяинъ ихъ новый, Савва Вуколычъ милосердный, по своей добротѣ въ задатокъ выдалъ, напекли караваевъ полупудовыхъ да пироговъ съ сомовиною, сухарей про дальній запасъ насушили. Всю провизію эту въ мѣшки сложили, на воза поклали. Изъ одежи, что осталось еще непроданная, сбереженная, тоже навязали узлы. Ничего дома не оставляли, все добро, весь скарбъ хозяйскій, домашній цѣликомъ захвагить норовили, словно назадъ и не сбирались больше вернуться. Ладно, хоть и немного осталось этого скарбу домашняго. Иконы-благодать прежде всего поснимали съ полокъ. Что имъ тутъ въ пустыхъ стройкахъ оставаться?

Еще и солнце порядкомъ не успѣло проглянуть изъ-за далекой синей ленты камышевыхъ зарослей, что на востокѣ, вдали, виднѣлась, какъ уже всѣ возы, навьюченные да увязанные, впередъ дышломъ выдвинулись.

Поглядѣть со стороны, такъ совсѣмъ переселяться задумали, все равно, какъ года два тому назадъ, въ своей лѣсной сторонѣ, въ «Каидалахъ» а «Горѣломъ» выселкѣ, когда въ эту дальнюю сторону сбирались.

Только съ виду эти возы, ощипанные да отрепанные, далеко не такъ сытно, домовито выглядывали.

Не видать уже было тѣхъ горъ-подводъ, что, ставъ на колесную ступицу, рукою до верху не дотянешься; чуть только до грядокъ добра нагруженнаго хватало, а были и такіе возишки, что инда дно изъ-подъ клади просвѣчивало.

Да и скотина возовая не та уже стала, что въ Орскомъ да на пути, степью зеленою. Одры одрами смотрѣли отощалые, запаршивѣвшіе волы и, щурясь осовѣлыми глазами, глядѣли они на эту грязную, вязкую дорогу, что черною полосою тянулась вдоль по слободкѣ, а оттуда правѣе, степью, мимо города.

Не разъ доводилось мѣрить имъ эту дорогу, хозяйское топливо со степи во дворы переваживая, вотъ и еще разъ

пришлось, только подальше немного, верстъ за сто слишкомъ отъ города, къ самому взморью.

Стали запрягать скотину да оглядываться: все ли забрали съ собою, не позабыли ли чего?

Кажись, все, какъ слѣдуетъ, въ полномъ порядкѣ.

Стали сбираться, переговариваться. Бродятъ такъ безъ дѣла мужики, ждутъ чего-то; а чего—и сами не знаютъ.

— Одначе, благословясь бы, да съ Господомъ, ась?.. — проговорилъ рваный полушубокъ и сталъ на другихъ поглядывать, словно взглядомъ своимъ разрѣшенія выпрашивалъ.

— Нешто трогать?—поскребъ подъ шапкою другой и тоже сталъ оглядываться.

— Постой, погоди! — рѣшилъ третій, а почему такъ рѣшилъ, того и самъ не вѣдалъ.

— Да чего стоять-то! — крикнули съ самаго дальняго двора, съ задняго воза.

— Чего? То-то, братъ, больно прытокъ... Тоже, вѣдь, не шутка; ишь ты, поди, полегче... не сразу... оглядѣмшись тоже, полагать надо. «Трогай!» какъ же, вотъ такъ-те сейчасъ...

— Извѣстно!—согласились тѣ же голоса на заднемъ возу.

А почему извѣстно — опять-таки не знали. Постояли еще съ четверть часика; солнышко повыше выбралось, пригрѣвать стало.

— Батюшки!—взвизгнула на всю улицу тетка Маланья.— Нешто мы не крещеные?

— Ась?

— Что такое?..

— Безъ молебна-то напутственнаго...

— Безъ напутственнаго никакъ невозможно!

— Какъ безъ молебна... молебенъ безпремѣнно, чтобы съ водосвятіемъ, съ крестнымъ цѣлованіемъ... ишь, ты, что выдумали!.. Безъ молебна...

— Ребята, кто въ избахъ, выходите всѣ къ молебну... Вываливай живо! Эй, Домка, голубка, куда твой побегъ? Зови, слышь, къ молебну...

— Эхъ, Никона Денисьича нѣту, старосты обознаго—онъ бы сразу все обдѣлалъ. Дядя Василій, порадѣй міру, сбери по гривеннику съ рыла, смахай къ отцу Ивану...

— Наше дѣло сторона!—тряхнулъ головою дядя Василій.

Вышелъ онъ тоже поглядѣть на сборы нашихъ рыболововъ. Стоитъ Мутило у своей кибитки, а оттуда Мандельбергъ, «жидюга-кавалеръ», выглядываетъ. Маметка-татаринъ глаза свои косые щуритъ...

— Погоди, кавалеръ, — говоритъ Василій, — дай этихъ сплавить; твои послѣ выйдутъ, раньше поспѣютъ, погоди...

Суета идетъ по улицѣ да по дворамъ крестьянскимъ. Ни толку, ни ладу нѣтъ въ этомъ скороспѣломъ обозѣ, не то, что при Никонѣ, дорогою, подъ его началомъ да присмотромъ.

Который возъ посреди улицы стоитъ, который въ воротахъ застрялъ, а который и со двора не выѣзжалъ еще, стоитъ незапряженный... Бродятъ мужики по деревнѣ, бабы то на возъ заберутся, то опять съ воза слѣзутъ, да въ избу, пустые углы оглядывать, не забыли ли чего.

Молебенъ служить затѣяли, перекоряются, кому деньги молебныя сбирать, кому за отцомъ Иваномъ бѣжать.

— Не пойдетъ батюшка, чай, почиваетъ еще, дрыхнетъ! говоритъ одинъ.

— Какъ не пойдетъ,—галдитъ другой въ отвѣтъ,—коли, значитъ, должонъ, по своему, то-есть, по положенію. Извѣстно, ежели съ требою, такъ хоть середь ночи... такъ-то!..

До свѣту собираться начали, а уже девятый часъ утра пошелъ, съ мѣста и не думали трогаться. Не ладилось, не клеилось дѣло безъ головы хозяйской, и не разъ приходилось всякому на окна Никонова дома поглядывать.

Тихо тамъ, въ дому, ничего и не видно, и не слышно. Молчаливо глядятъ на улицу заклеенныя бумагою окна, слови глаза слѣпые, бѣльмами затянутые; замокъ на ворота повѣшенъ, во дворѣ чисто такъ, все къ мѣсту прибрано... Волы лежатъ подъ навѣсомъ, сѣно камышевое пережевываютъ да на своихъ товарищей поглядываютъ сквозь заборъ,—тоже, надо полагать, какъ и дядя Василій, посмѣиваются...

Выходилъ Степанъ изъ избы раза два; пройдетъ это по двору, поглядитъ косо и опять въ избу спрячется.

Дымокъ вьется изъ трубы печной, такой веселый, привѣтливый; печка, должно-быть, у хозяйки топится. Сидитъ она, эта хозяйка, въ теплѣ да въ сытѣ, не надо ей ни муки задаточной, ни рыбы дармовой, никакихъ другихъ харчей, мило-

сердымъ Саввою Вуколычемъ жалованныхъ, потому—свое все есть, а на чужое глазъ у нея не завистливый.

И тошно Маринѣ, Денисовой внучкѣ, на улицу выглянуть, глаза бы ея не глядѣли на эти сборы безпутные... и думаетъ женщина:

— Что бы теперь, на этотъ случай, Никонъ мой наѣхалъ бы, вернулся; что бы онъ сказалъ, что бы сдѣлалъ?.. Рукою на все махнулъ бы, плюнувши, или на своемъ бы поставилъ, словомъ бы своимъ простымъ мірское дѣло пересилилъ бы?..

— Онъ бы ихъ, тепереча, раскаталъ, то-есть, во какъ!— рѣшалъ въ тоже время про себя Степанъ-Малышъ. — Онъ бы ихъ разнесъ, одно слово!..

Да далеко былъ въ ту пору Никонъ Денисьичъ; и не зналъ онъ, и не чуялъ, какъ распадается, расклеивается широко задуманное имъ хозяйское дѣло.

— Ребята, хозяинъ самъ ѣдетъ!—пронесся крикъ съ городского конца улицы.

— Гляди, гляди! Эвона въ дрожкахъ, самъ правитъ, полведра тащитъ!

— Сторопись, дѣдушка!

Поснимали всѣ шапки, сбились въ кучу,—мужики особо бабы особо, ждутъ.

— Здорово, родимые, здорово, голубчики, Христовы работнички, какъ васъ Господь Богъ милуетъ, всѣ-ли вы въ добромъ здоровьѣ?

— Покорно благодаримъ, Савва Вуколычъ, твоими молитвами!—низко такъ поклонились мужики, стоятъ безъ шапокъ да на мѣстѣ переминаются.

Проѣхалъ Савва Вуколычъ шажкомъ по обозу. Меренъ его гладкій, рыже-пѣгій, широко такъ по грязи шагаетъ, такъ и брызжетъ изъ-подъ ногъ во всѣ стороны. Остановился.

Слѣзъ купецъ съ дрожекъ, не торопясь, степенно, привязалъ лошадь къ забору.

— Пособи кто посудину снять,—говоритъ—да нѣтъ-ли стаканчика?

Подсобили снять съ дрожекъ бутыль полведерную, десять рукъ разомъ потянулись за этимъ дѣломъ. Не оказалось ста-

канчика, чашечку чайную разыскали на возу Маланьиномъ, все единственно.

Всѣ сошлись теперь къ одному мѣсту. Которые и недоговоренные, что оставались, не ѣхали, и тѣ пришли.

— А мы вотъ на счетъ того значитъ...—говорятъ, переминаются,—какъ ежели безъ напутственнаго, никакъ этого невозможно, безъ благословенія значитъ...

— Это вы точно,—согласился Савва Вуколычъ,—только не теперь тому время; съ молебствіемъ поспѣемъ еще. Да это ужъ не ваше дѣло и не ваша забота. Какъ пріидете на мѣсто, устроитесь, отецъ Иванъ на Косъ-Аралъ пріѣдетъ; такое ужъ у меня заведеніе; тамъ и отслужимъ, передъ началомъ лова!

— Это точно, намъ все единственно. Какъ твоей хозяйской милости будетъ угодно. Твоя воля!

— А вотъ что, братцы, надоть было вамъ еще до свѣту выбираться, къ ночи чтобы безпремѣнно у Раима стать, а на завтра, за-свѣтло, на мѣсто поспѣть; теперь же не поспѣете, больно долго со сборами мѣшкали!

— Ничего, поспѣемъ!

— Это мы какъ разъ, намъ долго-ли, не изволь сумлѣваться, потрафимъ въ свое время!

— То-то, потрафимъ. Мнѣ, братцы мои, теперь кажинный день дорогъ. Вишь, какое тепло становится—рыба повалитъ, тутъ самый ловъ ейный, а вы еще до мѣста не доѣхали... хозяину убытокъ выходитъ. Такъ-то!

— Это точно!

— Придете къ взморью, ледъ уже взломало тамъ, очистило; ждите меня на берегу, на островъ не переправляйтесь безъ меня; я подъѣду, самъ распоряженіе сдѣлаю. Да вотъ что: много больно вы ребятъ съ собою забираете, не поколѣли бы тамъ со стужи!

— Куда же намъ ихъ дѣть? Мы ужъ теперь всею семьею. Никакъ безъ эвтого невозможно!

— То-то, послѣ на меня не пеняй, я не отвѣтчикъ. Подходи по одному, живо! Счастливаго пути! Дай Богъ вамъ всего...

— Тебѣ подай Господь всякой милости да по заведенію твоему прибыли. Благослови Господи! Во какъ, мы, значитъ, эхъ!

— Подходи, Архипъ, чего упираешься? Бабы, подходи всѣ; живо! Не задерживай!..

— Я не потребляю!

— Ну, не ломайся, лакай на доброе здоровье. Поѣдете, къ рѣкѣ ближе держитесь, тамъ покрѣпче, не такъ топко. Да не копайся дорогою, чтобъ завтра къ ночи безпремѣнно...

— Будь покоенъ, это мы все понимаемъ, должны же мы хозяйское велѣніе понимать...

— Ладно!

Выпили по стаканчику, стали на дорогу вытягиваться. Заскрипѣли возы осями немазанными, потянулись волы, замычали, по колѣно въ грязи вязнуть стали, а гдѣ и поглубже; размочило весеннимъ тепломъ, расклеило степную дорогу. Тихо такъ идетъ обозъ ощипанный, еле-еле впередъ подвигается.

— Въ трое сутокъ дай Богъ добраться!—тряхнулъ головою Бородинъ, Савва Вуколычъ, глядя на этотъ обозъ заморенный, на своихъ христовыхъ работниковъ.

Проводилъ купецъ мужиковъ за околицу, выждалъ, пока за пригоркомъ, что дорогу пересѣкалъ, послѣдній возъ спрятался, щелкнулъ возжами своего рыже-пѣгаго и погналъ домой шибкой рысью, пить чай къ своей хозяйкѣ полногрудой, давно уже все по хозяйству справившей, поджидающей его за пузатымъ самоваромъ да жирною кулебякою, за разными вишневыми и прочими домашностями.

— Ну,—сказалъ дядя Василій,—теперь, кавалеръ, нашъ чередъ, только совѣтъ дамъ я тебѣ такой: не прикажи своимъ бабья да ребятъ забирать съ собою, только помѣха одна; пущай тутъ остаются; тебѣ что за печаль о всякомъ брюхѣ заботиться?

— Бозе меня сохрани... — затрясъ головою «жидюга-кавалеръ».—Бозе меня сохрани...

— Нонѣ у насъ что? Авторникъ... ну, такъ въ пятницу утромъ и твои на мѣсто поспѣютъ, ужъ это вѣрно; положись ты на мое слово, самъ предоставлю. Пойдемъ въ «Ніяполь», тамъ потолкуемъ...

Тяжело вздохнула Марина, глядя на опустѣлую улицу. А по Перовскому тракту лихо звенѣлъ да побрякивалъ приближающійся почтовый колокольчикъ.

Замерло Маринино сердце.

XLIV. Весна.

Съ вечера надвинулись съ юга темныя дождевыя тучи; теплый, душный такой туманъ поднялся отъ земли, и заволокло этимъ туманомъ и степь далекую съ ея курганами и киргизскими могилами, и камышевыя заросли, что далеко на востокъ разстилались, и городъ съ его крѣпостью, съ эспланадою, съ чахоточными, оголенными палисадниками, съ казеннымъ садомъ-пустыремъ, съ улицами длинными, грязными, съ предмѣстьями и выселками, съ огородами и базаромъ, стихнувшимъ къ ночи, лавки свои да навѣсы торговые позапиравшимъ... И чуть-чуть мигали въ этомъ туманѣ красноватыя звѣздочки—огни въ окошкахъ, чуть-чуть маячили свѣтлыми пятнами костры киргизскіе, что на томъ берегу орда табунная грѣться разложила, камышу дарового не жалѣючи.

А къ полуночи степнымъ вѣтромъ пахнуло, туманъ разогнало, словно руками завѣсу эту влажную раздвинуло, крупныя капли теплаго дождя забарабанили по плоскимъ крышамъ, по окнамъ, бумагою закленнымъ, по хребтамъ да ребрамъ скотины безпріютной, ночевавшей въ степи да на дворахъ открытыхъ. За крупными каплями повалили другія, помельче... чаще и чаще, гуще и гуще... слились въ цѣлыя струи и потомъ, словно изъ ведра, теплый ливень—«лѣтникъ». Всю ночь до разсвѣта лилъ, не переставаючи, а какъ проглянуло солнышко къ утру-то, зимы да снѣгу словно и въ помипѣ не было. Гдѣ и былъ еще по канавкамъ да сѣверным склонамъ холмовъ снѣжокъ залежавшійся, и тотъ смыло, извело этимъ дождемъ, съ юга пришедшимъ; взломало ледъ на Сырѣ-рѣкѣ и понесло его пластинами размокшими внизъ, къ морю Аральскому. Да и льду-то этого немного оставалось, у береговъ только; середина вся прошла еще на той недѣлѣ, послѣ трехдневной сырой оттепели.

Пронеслись дальше къ сѣверу ночныя тучи, безъ слѣда исчезли на небѣ. Голубымъ покровомъ раскинулось надъ черной, раскисшею землею весеннее небо, и заиграло на немъ яркое солнышко; жарко такъ разыгралось, словно все просушить поспѣшаетъ, торопится... озябшій народъ согрѣть да распарить старается... Поснимали наши мужики свои рваные полушубки, затасканные, другъ на дружку поглядываютъ, ухмыляются.

— Эвона, братъ, какъ здѣся! У насъ въ лѣсной сторонѣ, на Волгѣ, въ энту пору еще на саняхъ ѣздятъ... Морозы во стоятъ какіе!

— Благодать Господня, одно слово! Самыя тѣ страны это и есть, куда птица разумная, перелетная, отъ нашей зимы спасается!

— Нѣтъ, та страна еще того подальше будетъ; мнѣ давича на базарѣ вѣрный человѣкъ про то сказывалъ, та сторона подальше!

— Одначе и тутъ ничего, первый сортъ, вольготно!..

— Чего же лучше, слава те, Господи!

И забыли разомъ согрѣвшіеся на весеннемъ солнцѣ Христовы работнички всѣ свои бѣды зимнія, всякія лиха и напасти, холодами да вьюгами нагнанныя.

Хорошо работаетъ ретивое солнце. Густѣетъ грязь на дорогахъ, колеи да тропы пѣшеходныя приминаются, крѣпнутъ. Свѣтлѣютъ просыхающіе холмы да бугры степные. Не прошло недѣли—глядятъ: тамъ и сямъ пыль отъ вѣтра поднимается, въ воздухѣ крутится, надъ степью столбами носится.

Чище сталъ городъ выглядывать, побѣлѣли стѣны и заборы глиняные, поскидалъ народъ свою одежу зимнюю, все какъ-то попестрѣе да веселѣе на базарѣ и улицахъ стало.

А тамъ и трава степная начала пробиваться, ей вѣдь недолго. Свѣжимъ, ярко-зеленымъ коврикомъ покрылась вся степь, только дороги на ней виднѣются сѣрыми лентами, да поля вспаханныя, огороды, съ осени подготовленные, зачернѣлись полосами да клиньями, словно заплаты черныя, на зеленое сукно нашитыя.

А тамъ и цвѣты запестрѣли, степные, вольные: желтые одуванчики, лиловые ирисы, ярко-голубая, словно бирюзовая, цикорія, иванъ-да-марья глазастая. Почки на вѣткахъ налились и лопаться начали, зазеленѣли сады-палисадники городскіе, даже казенный садъ-пустырь какъ-то праздничнѣй сталъ выглядывать, словно нищій сѣрякъ-калѣка шапку на бекрень надвинулъ, гармонію взялъ въ костлявые пальцы, да, глядя на людей, сталъ за ними пританцовывать.

Закопошились въ густыхъ камышахъ «новогонныхъ» *) безчисленные утиные выводки, запорхали долгохвостые фазаны въ кустарной чащѣ, долгоногія цапли по отмелямъ рядами вытянулись, засновали чайки надъ рѣкою цѣлыми стаями, жаворонки столбомъ прямо вверхъ отъ земли подниматься начали, забѣгали по низамъ перепела да куропатки степныя, заползали другъ за другомъ черепахи неуклюжія, ящерки въ пескѣ рыться начали и засвистали у своихъ норокъ неотвязные, прожорливые суслики, хлѣбопашцу-сѣятелю первые воры-разбойники.

Ожили степи, ожили воды, ожилъ воздухъ, ожило даже все въ землѣ, подъ кореньями, и тамъ всякая нечисть закопошилась.

Ожилъ кочевой народъ, какъ саврасъ безъ узды по степи носится, ожилъ и горожанинъ, и полевой человѣкъ; всѣ изъ домовъ повылѣзли и стали снаряжать, къ работѣ готовить всю свою сбрую земледѣльную.

А работа весенняя—дѣло спѣшное, мѣшкать имъ не приходится. Скоро солнце изъ друга любезнаго злымъ недругомъ сдѣлается, оно не долго человѣку мирволить будетъ; коли поспѣлъ что уладить, ну, и радуйся, прозѣвалъ — послѣ наплачешься.

Сталъ Никонъ Денисьичъ провѣрять свою волость безшабашную, силы полевыя считать да вымѣривать, хозяйство общественное, давно имъ задуманное, слаживать.

Поклонился міру, просилъ на сходку собраться. И стали въ указный день сходиться къ его дому Христовы работнички.

XLV. Сходка въ полтора человѣка.

Къ Никонову дому собралась наша сходка. Было это утромъ, не такъ чтобы рано очень, часу въ десятомъ. Солнышко уже сильно припаривало, чуть просыхать стала топкая улица нашего поселка, а на самомъ мѣстѣ, гдѣ сходка собралась, тамъ совсѣмъ хорошо было, особливо около самой заваленки... Хозяинъ догадливый даже песочкомъ посыпалъ

---

*) Мѣстное выраженіе, которымъ называютъ молодые весенніе побѣги камыша и прибрежной осоки.

это мѣсто и давно уже поджидалъ тутъ, пока всѣ соберутся. Марина—та не вышла, отворила окошко и сѣла около; ей и видно все, и слышно; чего-же лучше? А Степанъ со двора глядѣлъ, на ворота опершись.

— Православные...—началъ было Никонъ Денисьичъ, да и сталъ тутъ всю сходку глазами обводить; а къ сходкѣ этой собралось всего-на-всего мужиковъ шестеро душъ да женскаго пола съ дюжину. Совсѣмъ мало народу, да что подѣлаешь, коли весь тутъ?

Крякнулъ инда обозный староста, почесалъ съ досады загривокъ.

— Вольному воля,—говоритъ,—спасибо, что хоть столько собралось, чаялъ, что и того не будетъ. Только не знаю я, братцы мои, говорить-ли мнѣ вамъ что, совѣтовать, аль ужъ не надо, чтобы на вѣтеръ слово мое не пущать, не звонить въ пустой колоколъ?

— Что-же такъ? Ничего! — Говори, все единственно!— рѣшилъ Дементій Трифоновъ.

— Пущай сказываетъ, — согласился Савелій-Рыжакъ,— отчего хорошихъ словъ не послушать. Говори, что же. Дакося я присяду маленько къ стѣночкѣ!

— Убери своего пискуна, бауика. Вишь, онъ какъ голоситъ, инда по уху рѣжетъ. Проваливай съ нимъ отседова подалѣ!—зыкнула на Дарью, Савельеву хозяйку, розовая рубаха, по бѣлому полю горошкомъ, съ красными кумачевыми ластовицами.

— Не мѣшай, бабы!

— Ишь ты, ребенокъ ему помѣха... душенька ангельская Ну, цыцъ, родимый, цыцъ! Молчи, глупый, на бараночка, на!...

— Знать ужъ вамъ на роду такъ написано,—вымолвилъ Никонъ, — чтобы самимъ своею охотою въ петлю лѣзть. Что-жъ, и лѣзьте, коли сласть въ томъ находите. Разбрелись по чужимъ угламъ, къ чужому дѣлу, своего строить не хотите. Можетъ, оно и легче батрачить спервоначалу кажется, да только, смотри, напредки какъ бы не наплакаться!

— Да вѣдь не всѣ ушли, мы вотъ остались,—заговорилъ Савелій-Рыжакъ,—пущай, думаемъ, идутъ, Богъ съ ними! А мы—нѣтъ, не проведешь, тоже не въ лапоть щи вливаемъ.

Мы вотъ остались, чтобы, значитъ, всѣмъ вмѣстѣ, какъ ты по осени сказывалъ. Вотъ оно что! Такъ-то!

— Да, братъ, эвона какъ!—поддакнулъ Евсѣй, тоже рыжій, Савелью подмастокъ.

И оба соврали, шибко-таки соврали мужики, потому хоть и остались они, точно, да не по своей волѣ, а по той причинѣ, что не попали они въ наборъ Саввы Вуколыча, прозѣвали и у Абрама Моисѣевича. Вотъ теперь и утѣшаются себѣ, куражутся.

— Ну, да ладно! — сказалъ имъ Никонъ Денисьичъ, чуть-чуть усмѣхнувшись.—Слушайте-жъ, братцы.

И затихла вся сходка, стали всѣ къ слову выборнаго старосты обознаго прислушиваться. Кто присѣлъ на заваленку, кто такъ стоитъ, переминается.

— Вотъ оно когда время наше подошло, и терять это время намъ нельзя, не приходится, потому, упустишь день, въ недѣлю его не наверстаешь, это вѣрно, по здѣшнему положенію. Перво на перво соберите всю скотину, что осталась къ работѣ пригодная; коли сладимъ четыре плуга, по три пары каждый, и слава те, Господи! Двѣнадцать паръ, считалъ я, пожалуй, найдется. Всѣ сообща въ поле выѣдемъ и за работу примемся. Безъ счету, безъ торгу всякъ всю свою силу къ дѣлу прикладывай. Не лукавь, гляди на поле, какъ на исповѣдь, все одно, какъ ежели у попа на духу стоишь,—значитъ, не утаивай. Не гляди на то, что ты вотъ четыре живота вывелъ, онъ двухъ только: счетъ послѣ ровный будетъ. Моя вотъ скотина и лучше вашей, и больше ея, а я съ вами этимъ считаться не стану, всю на мірскую работу вышлю!

«Приглядѣлся я къ хозяйскому порядку здѣшнему, во какъ его понялъ. Слушайте же вы меня всѣ, Христа-ради. Худого ничего не присовѣтую, а прикажу ежели что, вѣрьте—все міру на пользу. Сами вы видите, сами знаете: и одинъ я безъ васъ проживу, одинъ справлю свое дѣло, да не хочу его отъ мірского отвиливать... глядѣть мнѣ тошнехонько на нашъ разладъ и передъ чужими людьми за васъ совѣстно...

«О сѣменахъ посѣвныхъ не печальтесь: будутъ намъ сѣмена. У Габина, Ивана Александровича, все ужъ я подъ работу покосную выпросилъ; обѣщалъ дать. А у него какая пшеница, чай, сами видѣли, первый сортъ, ядреная!..

«Въ недѣлю, дастъ Богъ, покончимъ съ пахотью, засѣемъ, заволочемъ по здѣшнему, тамъ за канавы примемся. Пока еще земля съ просырью, пущай ее печетъ солнышкомъ, а какъ просохнетъ совсѣмъ, заколодитъ, тутъ и наша работа приспѣетъ. Проведемъ воду отъ самаго Сыра-рѣки, а спущать ее будемъ въ болотину, что недалече отъ нашего поля лощиною тянется. Видали, чай, сами. А съ канавою этою пущай его жаритъ солнцемъ. Засуха намъ не страшна, дождя ждать не станемъ, своя вода подъ рукою, только пущай ее, сколько требуется.

«Кажинный день безъ прогулу работавши, все въ свое время поспѣетъ; вѣстимо, не такъ ходко, кабы ежели не разбрелись вы, ребята, да всею, какъ есть, волостью. Ну, да Богъ съ ними. На будущій годъ, чай, всѣ вернутся, похлебавши на рыбалкахъ не солоно, коли не затянетъ имъ петлю Савва Вуколычъ вашъ еще на годикъ; онъ вѣдь на это первый мастеръ по округѣ считается.

«Ну, въ ту пору поля прибавимъ себѣ, земли намъ здѣсь вволю отведено. Съ однимъ поспѣемъ, другія подойдутъ работы. Сѣнокосъ настанетъ, опять сообща да вмѣстѣ. Какъ сберемъ добро, дѣлежъ дѣло не трудное: отложили сѣмена, а остальное все, на каждую душу, поровну. И проживете вы безъ нужды да въ сытѣ будущую зиму, не то, что нынѣшнюю. Урожаи здѣсь отмѣнные, всѣмъ вволю хватитъ и на продажу останется. Мы же льготные, податей не платимъ, все, значитъ, въ домъ, а не изъ дому...

«Только одно скажу я вамъ, братцы, — все то же самое: слушайтесь меня во всемъ, да лихого человѣка сторонитесь подальше, а гдѣ люди эти лихіе водятся, про то сами догадывайся... Ладно, что ли?..»

— Ежели такъ, какъ ты говоришь, ужъ на что ладнѣе... первый сортъ! — весело тряхнулъ головою своею съ просѣдью Дементій Трифоновъ.

— За сѣменами сейчасъ идти къ Габину, ась? — полюбопытствовала розовая рубаха.

— Погоди, землякъ, больно прытокъ... У меня съ Иваномъ Александровичемъ насчетъ сѣмянъ такой уговоръ былъ, чтобы на покосъ десять человѣкъ косцовъ ему предоставить, на двѣ недѣли, по шести гривенъ за человѣка; значитъ, въ

день шесть рублевъ выйдетъ, въ недѣлю это—сорокъ два, а въ двѣ недѣли безъ шестнадцати рублевъ—сотенная; на эту всю цѣну отпуститъ онъ намъ впередъ пшеницы сѣмянной, со скидкою супротивъ торговой цѣны полтинника на четверть... эвося какъ! А мы, таперича, должны поруку ему дать, что въ свое время безотмѣнно, безъ отговору на работу къ нему должны вывалить, съ своими чтобы косами, а харчи его, габинскіе... Согласны на этотъ уговоръ, что ли, ребята?..

— Это какъ же, постой! — выдвинулся впередъ Савелій-Рыжакъ;—По шести гривенъ... что больно дешево?.. Дядя Василій баялъ давеча, что въ ту пору меньше, какъ за рубль, косца достать невозможно, а то и дороже платятъ... А ты по шести гривенъ... ишь, больно ловокъ!..

Глянулъ на него сурово такъ Никонъ Денисьичъ.

— Что же,—говоритъ,—вѣрно, Василію лучше знать дѣло надо, онъ вѣдь завсегда міру первый другъ былъ, первый радѣльщикъ. А почемъ онъ самъ жиду тому вашихъ же работниковъ на весь годъ продалъ?

— Да мы не къ тому, а ровно какъ будто обидно...— замялся Савелій-Рыжакъ,—потому...

— Потому, голова твоя умная, жди, пока приспѣетъ то время, когда по рублю давать будутъ, а пока насидишься безъ хлѣба да безъ сѣмянъ. Рубль-то этотъ тебѣ во гдѣ придется! А тутъ добрый человѣкъ напередъ все тебѣ предоставляетъ, на вѣру даетъ. Ты за это долженъ вѣкъ Богу за него молиться, благодѣтелемъ звать. Подь, сунься, займи сѣмянъ у другого, онъ тѣ ввалитъ эти сѣмена самыя, во все лѣто не отработаешь... Такъ то!

— Пущай ставитъ міру полтора ведра, мы, значитъ, согласны! — хлопнула рука объ руку розовая рубаха. — Пущай ставитъ—и шабашъ! — Хошь сейчасъ руки прилежимъ, намъ все единственно...

— Нѣтъ, братъ, ты отъ него этого не жди, не разѣвай ротъ широко на хлебово!—усмѣхнулся Никонъ Денисьичъ.— Ему не модель за свое же добро людей спаивать; человѣкъ онъ не изъ таковскихъ, не сродни Бородину да жидамъ разнымъ... Ну, такъ сказывай, братцы: мнѣ нынче вечеромъ съ отвѣтомъ къ нему идти надо, уговоръ кончить!

— Ладно!—рѣшилъ Дементій Трифоновъ.

— Пущай такъ! — кивнулъ головою Евсѣй, тотъ самый, что какъ то зимою со Степаномъ-Малышемъ за топливомъ вмѣстѣ ѣздили.

— А мы не согласны!—рявкнула розовая рубаха.

Инда мужики всѣ, взглянувъ на нее сплюнули.

— Не замай его, пущай проспится, — шепнулъ Никону Степка.—Вишь, онъ съ ранняго утра, теплаго дня ради, какъ насосался, оттого и бахвалится!

— Такъ давай руки, Господи благослови; чтобы вѣрно, крѣпко, нерушимо было слово мірское, я за него отвѣтчикъ!— сказалъ Никонъ Денисьичъ. Снялъ шапку, перекрестился и протянулъ свою широкую, медвѣжью лапищу Дементію Трифонову.

Тотъ хлопнулъ по протянутой рукѣ своею, подержалъ ее малость времени, перекрестился тоже и отошелъ въ сторону За нимъ стали подходить другіе. Всѣ руки дали. Подошла и розовая рубаха, размахнулась, словно топоромъ на колоду хлопнула.

— Ловокъ ты, парень!—сказываетъ.—На, получай! А безъ вина мы всежъ-таки не согласны. Да ты попроси, другъ милый... дастъ, ей-Богу, дастъ. Ну, хоть полведерочка на всѣхъ... право слово!..

— Эй, баушка Арина, тащи его въ сарай; пущай его вылежится, попросохнетъ!—крикнулъ Дементій Трифоновъ.

— Я то... я ничего... Я отъ міра не пячусь. По шести гривенъ, сказывалъ? Хошь даромъ пойду... Косарь я вѣрный, первый сортъ... я вò какъ!..

Размахнулась опять розовая рубаха, захотѣла показать міру, какъ это она косою лихо дѣйствуетъ, да и угодила плашмя въ грязь, такъ и запрокинулась. Стала ее оттуда поднимать баушка Арина, помогли ей, спасибо, Савелій да Евсѣй Рыжіе.

— Вотъ этого зелья пуще всего оберегайтесь,—произнесъ Никонъ Денисьичъ.—Всякому дѣлу отъ него первая порча выходитъ. Такъ я, ребята, пойду къ Ивану Александровичу?..

— Съ Богомъ, Никонъ Денисьичъ, — поклонились мужики.—Мы, значитъ, согласны!

— Ишь, ты, на сходку собрались тоже; согналъ парень міръ въ полтора человѣка. Гляди, не распусти и послѣднее войско...—усмѣхнулся дядя Василій, пріостановившись, какъ разъ въ эту пору, проѣздомъ по улицѣ.

XLVI. За плугомъ.

На другой же день послѣ сходки и выѣхали всѣ въ поле; ходко такъ принялись за дѣло; сгоряча глазъ такъ на работу и зарится, руки зудятъ да чешутся.

Плуги Никонъ всѣ приладилъ по своему, какъ онъ у казаковъ высмотрѣлъ, по здѣшнему, мѣстному, съ однимъ колесомъ на выхватѣ, ось наискось, когда катится, плугъ на бокъ клонитъ, глубже въ землю сошники забираются и шире пластъ подрѣзываютъ.

Запримѣтили мѣсто, съ котораго начинать, да такъ и пошли махать, земли не размѣряючи, сколько выйдетъ по силамъ ихнимъ.

Пока два плуга только сладились, а то скотина не годилась, больно отощала за зиму, силу всю поистратила отъ безкормицы; надо было поправить ее спервоначала, дать ей на новой травѣ выгуляться. Такъ и сдѣлали.

Первымъ за плугомъ пошелъ самъ Никонъ Денисьичъ, за нимъ Дементій Трифоновъ на Степановыхъ волахъ; въ первый же день, почитай, десятину подняли... А земля такая оказалась гожая, даромъ, что сѣрая, такъ подъ плугъ сама и просится. Отъ пластовъ вывороченныхъ теплый паръ поднимается, духъ такой хорошій, хлѣбный пошелъ; ложись просто подъ пластъ, самъ выростешь.

— Только воду пущай на нее лѣтомъ, въ свое время,— приговаривалъ Никонъ, — таку-те силу нагонитъ. Я знаю... Въ поясъ будетъ...

— Далече вода-то эта!—брало сомнѣнье другихъ.

И чудно казалось имъ: какъ это воду они проведутъ свою, отъ рѣки самой,—эва, гдѣ она эта рѣка, далече!.. Опять же въ гору дѣло выходитъ, да и немалую, какъ тутъ се понимаешь? Ну, вотъ и задумывались. И Никону-то вѣрится, и, на дѣло глядя, беретъ раздумье.

— Была уже здѣсь вода проведена,—говорилъ имъ на то Денисовъ пріемышъ.—Я еще по осени эти вотъ всѣ канавы заросшія разглядывалъ. Эвона ихъ сколько! Тоже, чай, не даромъ ихъ рыли; кто-нибудь до насъ работалъ же на этихъ мѣстахъ. Сказывали: орда здѣсь сидѣла, такая, какъ и мы вотъ, полевая; только давно это дѣло было, почитай еще много до

приходу русскаго человѣка. Вотъ мы по ихъ готовымъ канавамъ и пустимъ воду, только расчистка настоящая имъ требуется. Такъ-то...

— Тебѣ ужъ лучше знать,—говорили смиренные мужики.— Ты голова, мы твои руки, что хошь, то и дѣлать будемъ, извѣстно, потому, какъ значитъ, оно... ежели безъ головы... одно слово, что укажешь!

И откуда только набралось у нихъ этого смиренія, какимъ его вѣтромъ нагнало, откудова?.. До того, бывало, какими бахвалами ходили мимо Никона, особливо, какъ перехватятъ гдѣ да потолкуютъ допрежь съ другимъ старостой, что въ кибиткѣ сидитъ, киргизъ-киргизомъ, да ихъ волостью своею величаетъ.

— Вотъ это любо мнѣ, такъ-то любо! — сказывалъ, въ тотъ же вечеръ, Степанъ-Малышъ Маринѣ. — Ладно да въ мирѣ, душа, значитъ, въ душу!

— На долго ли?..—качала головою Денисова внучка.

— На вѣкъ! — увѣренно такъ говорилъ Степанъ. —Ужъ это на вѣкъ! Потому, сами видятъ, настоящее дѣло пошло... слѣпому быть надоть!

Вернулись съ поля къ ночи совсѣмъ, темно ужъ стало. Притомились сильно; такъ ко сну и валитъ, особенно, какъ поужинали до сыта.

— Коли этакъ-то еще дней пятокъ, всю пашню одолѣемъ, за посѣвъ примемся!—межъ собою толкуютъ мужики.

Въ тотъ же вечеръ порѣшили и съ другимъ дѣломъ. Поле ихнее безъ малаго четыре версты отъ слободки лежало, на проходъ много времени тратится. Время же стоитъ теплое, можно и въ полѣ ночевать. Чего-жъ лучше?.. Построить шалаши, какіе ни на есть, да и перебраться туда на все это время рабочее. И для скотины первая паства, и подъ глазомъ хозяйскимъ скотина эта пасется, все подъ руками.

Никонъ этому дѣлу не перечилъ, потому видитъ: резонъ. Да и дома-то у мужиковъ были такіе, что на дворѣ, пожалуй что, и безъ шалаша, много лучше выходитъ.

— А какъ же насчетъ печки? — попытали было бабы.— Стряпать-то какъ же?

— Варить-то да печь нечего въ печахъ вашихъ, — сказали имъ мужики,—а кашицу, какую ни на есть, и на огонькѣ

состряпать можно, въ котелочкѣ, на трехъ вилочкахъ, по киргизскому... чудесно!..

Смѣются, потѣшаются, весело всѣмъ стало такъ. Розовая рубаха опять уже гдѣ-то нарѣзаться поспѣла, мычитъ: «Благодѣтель поднесъ», и туда, на кибитку Васильеву, пальцемъ тычетъ, указываетъ.

Снарядили воза два за камышемъ, къ завтрему, для шалашей; собрался ѣхать опять Степанъ-Малышъ, а съ нимъ и Марина поразмяться захотѣла. Еще за нею бабы три увязались. Дѣло легкое камышъ этотъ рѣзать, самое бабье.

— А я, братъ, ни-ни, — тихонько сказалъ Малышу Никонъ Денисьичъ. — Таперь я ужъ ихъ съ глазъ своихъ не спущу. Пока что дѣло спѣшное, надо за ними приглядывать, а то сразу сблудятъ!

И покосился обозный староста, голова всему дѣлу, въ ту самую сторону, куда розовая рубаха пальцемъ указывала.

XLVII. Въ камышахъ.

Прибыли на мѣсто наши бабы... Верстъ за сорокъ отъѣхали отъ города. Далеко отошли камыши, къ дѣлу пригодные, да и эти, спасибо, уцѣлѣли какъ-то за зиму... Молодого-то камышу, зеленаго, много засѣло кругомъ, а стараго только и осталось, что на островѣ, отъ берега саженъ съ десятокъ; попасть туда съ возами никакъ невозможно; на берегу и стали. Воловъ отпрягли, пастись пустили, а у возовъ яремные концы приподняли, одежи кое-какъ понавѣсили, шатеръ отъ солнышка сдѣлали...

Стали на мѣсто около полудня, на другой день, какъ изъ дому выѣхали... Совсѣмъ новая сторона! Степанъ разокъ былъ здѣсь, да давно, чуть только вспомнилъ... Къ тому же зимою мѣсто это совсѣмъ иначе выглядывало, только и узналъ его Малышъ по курганчику маленькому, на которомъ изъ камней куча была сложена, а на самомъ верху этой кучи бѣлѣлась голова воловья, одинъ черепъ, съ рогами; на черепѣ, промежъ раговъ, сидѣлъ беркутъ быстроглазый, да улетѣлъ, какъ только скрипъ возовъ мужичьихъ заслышалъ.

Широко Сыръ-Дарья разливалась близъ этого мѣста, ближе къ берегу по ней островки виднѣлись, которые густо камы-

шемъ да осокою заросшіе, которые совсѣмъ голые, чуть только изъ-подъ воды выглядывали...

Въ сухую пору всѣ эти острова съ берегомъ сходятся, а теперь время разливное, первое половодье... Далеко вода пришла въ степь; во всякой ложбинѣ, по всякому мѣсту низкому стоитъ эта вода озерами... Тихо на этихъ озерахъ зато, не шелохнется ни одна струечка. Небо ясное, синее такое, наверху раскинулось; бѣгутъ по немъ облачка бѣлоснѣжныя. И небо это, и облака всѣ въ водѣ озерной отражаются; а въ Сыръ-Дарьѣ вода мутная, глинистая, несетъ по ней разный соръ да мусоръ, съ береговъ смытый; грязною пѣною края островов окаймляются, а на островахъ-отмеляхъ видимо-невидимо куличковъ бѣгаетъ; инда въ глазахъ пестрятъ на красномъ пескѣ эти бѣлыя птички, долгоносыя, съ темными крылышками. Рѣзвится тварь Божья, въ прибоѣ себѣ пищу разыскиваетъ, въ пескѣ роется, межъ собою ссорится... Пискъ и гамъ стоитъ надъ рѣкою, и нѣтъ имъ дѣла до человѣка чужого, не боятся вовсе... А на затонахъ утки дикія плаваютъ, въ зеленой осокѣ снуютъ ярко-желтые шарики—утеночки... Въ сырой травѣ ползетъ, извиваясь, ужъ степной, пятнистый, отъ шуму межъ кочекъ хоронится.

А кругомъ даль безконечная, синяя... Въ одной сторонѣ только желтѣютъ бугры песчаные, да далеко только, пожалуй, въ день не доѣдешь.

Не видать жилья никакого, не видать человѣка бродячаго, скотина нигдѣ не пасется... Кто пришелъ, становись тутъ полнымъ хозяиномъ, забирай, что хочешь... Запрету нѣтъ... Все вольное, Божье... ни межей, ни столбовъ съ пометками нигдѣ не поставлено.

Когда пріѣзжали сюда землемѣры казенные, года четыре назадъ, а то и побольше, такъ они эти приволья межъ двумя аулами дѣлили—однимъ вольнымъ, а другимъ, что къ городу приписалися, кочевое дѣло свое оставили.

— Станешь ты на западъ рыломъ,—вразумляли они тогда старшинъ выборныхъ, — такъ стань, чтобъ конь твой ушами въ сторону глядѣлъ, а хвостомъ вонъ въ эту... Все, что въ правую руку, будетъ ваше, а что влѣво—не ваше. Поняли?

— Джаксы!.. (хорошо, значитъ),—говорятъ степные люди.—Джаксы, поняли!

А какое—поняли! Всѣ на коняхъ пріѣхали, вершниками, кони-то не хотятъ стоять смирно, подъ сѣдломъ крутятся, который такъ, а который этакъ норовитъ повернуться... Всякъ и понялъ по своему...

Остались степные люди много довольны, поклонились землемѣрамъ, чѣмъ слѣдуетъ, по порядку, обычаю заведенному, и разъѣхались по своимъ кочевьямъ.

Съ тѣхъ самыхъ поръ и пошли каждое лѣто изъ-за сѣнокоса да камыша распри между аулами, до драки не разъ дѣло доходило и безъ грѣха порою не обходилось... А до той поры, пока не пріѣжали землемѣры, ничего, мирно шло дѣло; всякому всего вдосталь хватало.

Какъ только настанутъ теплые дни, такъ сейчасъ всѣ аулы, что здѣсь зимовали по близости, дальше въ пески откочевываютъ, потому и въ пескахъ пока хорошо, много корма хорошаго овцы находятъ, а къ серединѣ лѣта, когда въ пескахъ вся весенняя трава повыгоритъ отъ солнца да безводицы, ну, тогда опять на эти мѣста, ближе къ рѣкѣ, прикочевываютъ... Мѣста-то и выходятъ сбереженныя, нетронутыя.

Вотъ оттого-то теперь и пусто было кругомъ, и не видали никого наши бабы, сколько не приглядывались изъ-подъ руки, на возы для удобства взобравшись.

Стали первымъ дѣломъ обдумывать, какъ бы имъ на островъ перебраться... Дѣлать нечего, разулся Степанъ-малышъ, взялъ шестъ въ руки, пошелъ броду искать... бабы на берегу сидятъ, смотрятъ, надъ Степаномъ шутки шутятъ, смѣются, потѣшаются.

Бредетъ Степанъ, впереди себя шестомъ нащупываетъ.

— Не больно глыбко! — кричитъ Малышъ,—Всего во по какое мѣсто. Го-го-го-го... ухъ!..

— Что, небойсь, тепла вода-то?..

— Ну, тепла!.. Такъ-то подъ душу и прохватываетъ... Больно студена... Здѣся, гляди... ей! Сюда не ходи, тутъ яма, ишь, какая!.. Весь шестъ уходитъ, а здѣся вотъ ракушка острая... А рыбины что подъ ногу суется... страсть!..

— Гляди, парень, какъ бы тебя сомъ не ухватилъ за что.. онъ вѣдь зубастый!—кричитъ Маланья.

— Нѣтъ,—промолвила Марина, — сомъ сюда не зайдетъ,

опъ—рыба крупная, середины рѣки держится... сомъ не зайдетъ на мелкое мѣсто!

А сама такъ глазами въ парня и впивается, зорко вокругъ него воду осматриваетъ. Разуваться начала; скинула плетенки, стала обвертки разворачивать.

— Ты же куда это?—бабы спрашиваютъ.

— А на островъ; что-жъ, надо всѣмъ идти туда, одной кому здѣсь оставаться?

— Страшно!..

— Дно чудесное!—кричитъ Степанъ съ того берега,—Песокъ мягкій... Полѣзай, бабы, раздѣвайся, что-ли!

— Нашелъ дуръ; такъ-те сейчасъ и полѣзутъ въ воду... А ты, ужъ за одно тебѣ мокнуть, перетаскай на себѣ всѣхъ на плечахъ, будь человѣкъ любезный!

— А что-жъ, ладно!—ухмыльнулся Малышъ, а самъ искоса на Марину поглядываетъ.

Пораздѣвались бабы, дѣлать нечего, полѣзли въ воду... Визжатъ да ухаютъ... Такъ и разносится по степи визгъ этотъ бабій... Утки на затонахъ переполошились, кулики съ отмелей поднялись густыми серебристыми стаями... И чудно смотрѣть на эти стаи, точно вотъ взялъ кто въ горсть монеты мелкой, серебряной, да и махнулъ на вѣтеръ, розсыпью...

Живо закипѣла работа.

Повалился желтый камышъ, серпами подрѣзанный. Стали его вязать въ снопы толстые, какъ есть въ обхватъ, на берегъ острова стаскивать; гадину всю, что притаилась межъ корнями, встревожили. А гадина есть тамъ опасная, змѣйка такая сѣроватенькая, пятнышками мелкими; босоногому надо глядѣть въ оба, не наступить какъ бы.

Часа три поработали, навалили камышевыхъ сноповъ цѣлую гору; начали плотъ вязать. Кто на плотъ взобрался, кто около бредетъ, попихиваетъ его къ нашему берегу...

Забралась Марина съ своимъ серпомъ въ самую чащу, да какъ вскрикнетъ, да не такимъ крикомъ веселымъ, а другимъ, отъ котораго всѣ бабы и плотъ бросили, на берегъ повыскакали...

Побѣжалъ Степанъ къ ней, что, думаетъ, приключилось такое, а у самого даже духъ заняло; ужъ не гадина ли цапнула?

Стоитъ Марина столбъ столбомъ, руки опустила, снопъ выронила. Вся, какъ рубаха блѣдная, стала и глазами въ одно мѣсто смотритъ, не сморгнетъ даже.

Глядитъ и Степанъ. Вишь, ты, оно дѣло какое!

Въ самой чащѣ человѣкъ лежитъ ничкомъ, весь до половины объѣденный. Изъ одежи уцѣлѣло еще кое-какое тряпье, а по тряпью этому видать, что не киргизъ, а кто-то изъ нашихъ, только не мужикъ, а ровно будто солдатъ, что-то военное.

Взялъ Степанъ Марину за руку, она совсѣмъ холодная.

— Нишкни, — говоритъ, — молчи, да и шабашъ; забудь, что и видѣла. Благо только мы съ тобою тутъ; другія бабы, эвона, всѣ на берегъ повыскакали; пойдемъ!

Привелъ онъ ее къ тому мѣсту, гдѣ плотъ ладили.

— Что тамъ?—пытаютъ бабы съ того берега.

— Ну, и змѣя же, братцы мои,—во какая; я такой большущей и не видывалъ сроду! Спасибо не тронула, прочь уползла!—говоритъ Малышъ, а у самого зубы постукиваютъ, не то съ холоду, не то со страху.

Да и какъ не испужаться, такую гадину большущую увидѣвши?

Прозябли работницы страсть, одежду всю подмочили снизу... вѣтерокъ-то хоть и теплый, да на мокрое тѣло холодомъ вѣетъ.

Развелъ мужикъ костеръ, жаркій такой, стали всѣ грѣться, да обсушиваться, поставили котелокъ съ краю, кашу варить, обѣдъ готовить, — то-бишь, ужинъ скорѣе, потому дѣло уже совсѣмъ къ вечеру близилось.

— Что же, голубчики, скотина выкормилась, наваливать-бы воза да ѣхать домой ночью-то,—толкуютъ одни,—что время-то терять намъ! Въ ночь-то мы, пожалуй, верстовъ пятнадцать угонимъ, завтра утромъ еще столько же упремъ, а къ обѣду и домой поспѣемъ...

— Ночи-то темныя, вотъ бѣда, горе наше! Пожалуй, съ большого-то знатья дороги въ такое угодимъ мѣсто доброе, что и не вылѣземъ! — толкуютъ, сомнѣваются другія.—Какія тутъ примѣты есть дорожныя, почитай что никакихъ нѣтъ...

Степанъ тоже говоритъ:

— Ночью не ладно, нѣшто отъѣдемъ маленько, вонъ хоша къ тѣмъ затончикамъ; тамъ, ровно, земля посуше будетъ—

спать здоровѣе; а то тутъ такую огневицу заполучишь, послѣ не развяжешься...

А не огневицы боялся парень, не сырости рѣчной, а просто тянуло его подальше отъ этого острова проклятаго...

Вѣдь привелъ же Господь на такую оказію нарѣзаться!..

XLVIII. Соколиные охотники.

А тѣмъ временемъ степью ѣхали человѣкъ шесть вершниковъ.

Не за дѣломъ какимъ они ѣхали, не по нуждѣ какой, а такъ, съ соколами охотничали, по заводямъ рыскали...

Всѣ это киргизы были изъ сосѣднихъ ауловъ, а одинъ пріѣзжій гость изъ дальнихъ кочевьевъ, изъ тѣхъ, что до сихъ поръ еще не знаютъ, чьи они: сами ли свои, хивинскаго ли хана данники, или русскіе, подданные «царя бѣлаго» (Акъ-паши)...

Гуськомъ ѣхали вершники, другъ за дружкою,—это ужъ такая привычка степная, по одному слѣду пробираться, по волчьи,—и хоть всего ихъ было шестеро, а растянулись порядочно, отъ передняго коня до задняго, пожалуй, что четверть версты уложилась бы.

Впереди ѣхалъ сѣдой старикъ, борода клинышкомъ, лицо словно изъ кожи дубленой; на головѣ малахай высокій, лисій, а верхъ у малахая синимъ сукномъ покрытъ и галунами золотыми выложенъ. Конь подъ нимъ изъ крупныхъ, долгоногій, такой же, какъ и хозяинъ, старый; смолоду сѣрымъ былъ, а теперь весь гречкою красноватою покрылся... Однако, ноги коня еще здоровыя, какъ желѣзо крѣпкія, идутъ бодро, легко, въ высокой травѣ степной даже и не путаются... На рукѣ лѣвой у старика рукавица надѣта, красная, суконная, а на рукавицѣ сидитъ ястребъ пестренькій, крѣпко когтями своими въ хозяйскую рукавицу вцѣпился; темно ему, ничего птица эта шустрая не видитъ подъ своей нахлобучкою съ бубенчикомъ...

За нимъ слѣдомъ другой гарцуетъ, молодой, здоровый такой, въ плечахъ, пожалуй, аршинъ уложится. Съ лица парень шибко красивъ по своему; по нашему, можетъ, и не показался бы. Глаза хотя и узкіе, ровно щелочки, а смотрятъ весело, такъ насквозь и пронизываютъ; носъ не широкій, а съ горбиною;

чуть-чуть усики пробиваются, какъ смоль черные, а на щекахъ румянецъ густой залегъ... Чалма бѣлая кисейная цвѣтными концами на лѣвое плечо спускается, а халатъ верхній и не разберешь цвѣту какого — чего-чего на немъ не напутано! Изъ тонкой шали сшитъ персидской и цѣною въ полтораста барановъ, дешевле и достать невозможно такого... У этого джигита соколъ не на рукѣ сидитъ, а на плечо взобрался и все крыльями взмахиваетъ, себя на своемъ мѣстѣ поддерживаетъ... Горячится подъ вершникомъ рыжій конь, во всю голову лысина, инда рука затомилась его сдерживать, ременные поводья въ пальцы врѣзываются.

Это есть самый гость пріѣзжій изъ дальнихъ ауловъ, сынъ бія тамошняго Аблай Касимова, Салтыкъ Аблаевичъ.

Третій джигитъ тоже хорошо одѣтъ, изъ богатыхъ, и конь подъ нимъ добрый; вся сбруя на конѣ серебромъ выложена. Тоже съ птицей ѣдетъ; все это ее рукою подкидываетъ, словно спускъ съ руки пробуетъ, изловчается.

А остальные трое—простые люди, не «акъ-сюятъ» (бѣлая кость), какъ тѣ, а ихъ нукеры, слуги аульные. Послѣдній, такъ совсѣмъ рвань-рванью, труситъ на своей пѣгашкѣ горбоносой, да по сторонамъ приглядывается, ровно собака принюхивается, щурится.

И видитъ этотъ послѣдній, что далеко-далеко словно дымокъ поднимается, у самаго края неба бѣгаетъ тоненькая струечка.

«А кто-то въ наши мѣста забрался!—думаетъ вершникъ.— Дай-ка подъѣду, укажу муллѣ Аманджулу, что мулла мнѣ скажетъ на это?»

Подумалъ джигитъ, хлестнулъ плеткою свою лошаденку и догналъ передняго, старика этого самаго.

— Эй, мулла Аманджулъ, а мулла Аманджулъ! Слушай!

— Что ты?—придержалъ коня мулла Аманджулъ и поглядѣлъ на подъѣхавшаго.

— Тамъ люди гуляютъ. Не наши люди, чужіе. Вонъ тамъ, у Саутъ-Ата могилы!

Протянулъ киргизъ свою руку съ нагайкою, самъ на деревянныхъ стременахъ приподнимается въ ту сторону, гдѣ дымокъ завидѣлъ, указываетъ.

Приглядѣлся и старый своими глазами прищуренными; да-

ромъ что восьмой десятокъ на исходѣ, а видитъ еще хорошо, лучше другого молодого, пожалуй...

— Да, — говоритъ, — тамъ не наши, а, должно быть, изъ городу... Вишь, и огня путемъ разложить не умѣютъ... Намъ въ ту же сторону дорога, подъѣдемъ, увидимъ!

— Они вонъ нашъ камышъ палятъ, а сами въ прошломъ году какъ нашихъ съ покосу погнали, да еще не со своего, а съ нашего же, — промолвилъ третій вершникъ, что все спускъ соколиный пробовалъ; — народъ они жадный, на чужое завистливый!

— Я еще русскихъ и не видѣлъ путемъ, какъ слѣдуетъ! — сказалъ гость пріѣзжій и коня осадилъ, сильно за поводъ дернувши. Потому, какъ только съѣхались вмѣстѣ, такъ и норовилъ лысый сейчасъ сѣраго зубами за загривокъ цапнуть.

Свернули маленько въ сторону соколиные охотники, опять гуськомъ вытянулись и поѣхали къ Саутъ-Ата могилѣ, прямо на дымъ, что издалека завидѣли.

Въ самое это время было, какъ солнце спускаться начало. Въ степи въ лѣтнюю пору не долго сумерки держатся, быстро темнѣетъ. Не успѣетъ послѣдній край багроваго солнца въ темную полосу спрятаться, какъ начинаетъ рости эта полоса, не поверху, а понизу, по степи расползаться.

Не успѣли вершники и пяти верстъ отъѣхать, совсѣмъ стемнѣло; только затоны одинокіе свѣтлыми пятнами на черной степи виднѣются, небо въ нихъ ночное отсвѣчиваетъ. Пропалъ дымокъ изъ вида, зато заалѣлась вдали точка огненная, а надъ нею, не такъ чтобъ высоко, а словно въ туманъ упираючись, зарево пятнистое разгорѣлося.

Вотъ прямо на это зарево мигающее и держали путь наши вершники.

XLIX. Хоть и чужой камышъ, да баба хороша, — получай на доброе здоровье.

Поспѣла у бабъ нашихъ пшонная кашица. Досталъ Степанъ-Малышъ съ воза мѣшокъ, вытащилъ оттуда сала баранья́го, курдючнаго, съ полфунта, каравай хлѣба, соли въ бумажкѣ да ложки деревянныя. Котелокъ отъ огня отодвинули, войлочекъ разостлали, сѣли всѣ вкругъ ужинать.

— Спать ляжете, я не буду... стеречь васъ стану,—говоритъ Степанъ, ложку облизывая,—потому какъ безъ сторожа совсѣмъ по здѣшнему мѣсту невозможно!

— Чего сторожить-то?—усмѣхнулась Марина.

— Всяко бываетъ: звѣрь ли какой, можетъ, подберется, скотину отгонитъ...

— А тутъ, сказывали, тигры водятся, звѣрь такой лю-ютый... страсть!.. — начала было Лукерья весноватая, да и струсила. Почудилось ей, что за ихъ кучей камышевой словно что-то хрустнуло.

— Ай, батюшки!

— Ничего,—молвилъ Степанъ,—тигра была здѣсь допрежъ того, да вотъ ужъ десятый годъ не слыхать про нее, значитъ, ушла куда подалѣ!

— У Перовскаго форта,— сказала Марина,— ея и по сіе время много... Никонъ, какъ ѣздилъ туда, сказывалъ... Надысь казаки одного ухлопали... Въ четыре аршина былъ!

— Ишь, ты какой!..

— У Перовскаго есть...

— А что, какъ теперь на насъ орда нагрянетъ?..—опять начала Лукерья весноватая.

— Такъ что-жъ?—попыталъ Малышъ.—Ну, и пущай нагрянетъ... что за бѣда!.. Орда ничего...

— Ишь, какіе *они* изъ себя страшенные!—Черти-чертями! На базаръ коли пріѣзжаютъ, такъ глядѣть боязно... разбойники, одно слово...

— Ничего не разбойники, народъ смирный... Изъ нашихъ много хуже бываетъ!—сказала Марина.—Вотъ хошь бы...

— Ну, *его*, не замай!—толкнулъ ее легонько Степанъ.

— Да что и взять-то съ насъ, съ бабъ-то?

— Бабы-то имъ, можетъ, нужнѣе... Какъ прійдутъ да увидятъ: экія, молъ, сидятъ раскрасавицы писаныя! Вотъ хоть бы ты, Лушка!—засмѣялся Степанъ.

— Много красивѣй меня найдется,—покосилась на Марину Лукерья.—Ее береги, другихъ не трожь! Зубы тоже скалитъ, пѣсельникъ!..

— Одначе и спать пора! Полѣзай бабы въ телѣги, — ложись, что-ли!..

Подкинулъ Степанъ въ огонь еще снопъ, разгорѣлось жаркое

пламя, длинные языки кверху кинулись, змѣями извиваючись... Еще того темнѣе кругомъ сдѣлалось.

Двѣ чайки испуганныя наверху гдѣ-то вскрикнули, налетѣли на самый свѣтлый столбъ отъ костра, мелькнули въ немъ крестами красноватыми и пропали, сгинули въ потемкахъ. Бугай-птица замычала на болотинахъ, другая ей откликнулась съ того берега.

— Гей, гей!—чуть слышно донеслось со степи.

— Чу-кось?

— А что?

— Кричитъ никакъ кто-то? Ровно человѣкъ... вонъ съ той стороны послышалось!

— Тоже птица, можетъ, какая, тутъ ея много всякой!

Поужинали. Бабы въ телѣги полѣзли, камышу туда настлавши для мягкости. Степанъ всталъ, прошелся маленько. Заскрипѣли возы, пока тамъ возились, укладывались; потомъ стихло все; кто-то шепталъ—молитву, полагать надо; Лукерья зѣвнула, громко такъ, протяжно... одна ужъ и прихрапывать начала.

Вернулся мужикъ съ своего обхода, сѣлъ у огонька, подкинулъ еще топлива, да и задумался. И сонъ его не клонитъ нисколько, все то ему тѣло въ камышахъ на островѣ представляется. И думается ему, разное припоминается. Кто-то за плечо его тронулъ; оглянулся—Марина стоитъ, въ куцавейку закутавшись.

— Ты чего не спишь, голубка?

— Что я тебѣ сказать хочу... — начала дѣвка и назадъ къ возамъ обернулась, минуточку прислушалась.

— Двѣ недѣли, кажись, прошло, — продолжала Денисова внучка,—въ городѣ сказывали: офицеръ какой-то съ казенными деньгами выѣхалъ...

— Нишкни... Я и самъ думалъ про то же... говорили тогда: ѣхалъ въ Иргизъ онъ; надо бы ему въ три дня поспѣть на мѣсто, а тамъ его и по сіе время не видали!

— И что я теперь думаю...

— Знаешь, что? Молчи ты лучше... забудь, что видѣла. Намъ что за дѣло! Вѣрно тебѣ говорю...

Помолчали съ минутку. Марина ближе къ Степану подвинулась, сѣла около, чуть вздрагиваетъ.

«Ишь, воркуютъ, ровно голуби шепчутся, и не слыхать ничего»,—подумала про себя Лукерья весноватая и поглядѣла сквозь пролетъ, между грядокъ телѣжныхъ.

— Видалъ ты, какихъ коней пригналъ Василій со степи баскихъ? Такихъ-то коней, что любо дорого смотрѣть!—начала опять Марина.

— Не трожь ты его, не замай, говорю! — словно озлился Степанъ малость самую.

— Да что ты его боишься, что-ли? — промолвила съ усмѣшкой Марина.

— Чего мнѣ бояться! Ничего не боюсь; а только не трожь... Намъ же лучше будетъ, вотъ что... Человѣкъ онъ не добрый и всякаго худа ожидать отъ него надыть... и чуетъ мое сердце...

— Боюсь и я его, да только не за себя, за Никона, — заговорила Марина, — а ужъ если бы на мое одиночество, я бы съ нимъ зубомъ помѣрилась!

Раскраснѣлась дѣвка, пальцы въ кулакъ сжались, инда колечко мѣдное съ стыклышкомъ на пальцѣ хрустнуло. А потомъ ничего, улыбнулась, взглянула на парня и прилегла къ нему головой на колѣни.

Сталъ ее Степанъ легонько подъ куцавейкою оглаживать, самого инда въ жаръ кинуло.

— Хи-хи-хи!—чуть-чуть съ воза слышится.

Вдругъ конь заржалъ со степи, да близко такъ, словно вотъ тутъ сейчасъ, и ста шаговъ не будетъ.

Вскочила на ноги Марина да на возъ. Поднялся и Степанъ, пристально въ темноту вглядывается, рукою заслонилъ глаза отъ свѣту костроваго, но ничего, все равно, не видитъ.

Притихли на возахъ бабы, притаились, ровно сурки по норамъ, боятся даже оттуда выглянуть. Собаченка была съ ними махонькая; спала она подъ возомъ, клубочкомъ свернувшись; та тоже чужого человѣка почуяла, вскочила, залилась звонкимъ лаемъ и кинулась впередъ навстрѣчу.

— Какой люди такой?—кричитъ кто-то хошь и не ладно, да по-русски, по нашему, и слышно, какъ онъ коня сдерживаетъ, близко не подъѣзжаетъ, сторожится, надо полагать. А конь его похрапываетъ, на огонь, упирается.

— А ты кто такой?—окликнулъ Степанъ, а самъ къ возу подошелъ, топоръ на всякій случай оттуда вытаскиваетъ.

Ближе подъѣхали конные. Вотъ уже бѣлая голова лошади показалась; началъ костеръ потухать, и всѣ шестеро вершниковъ стали видны: сбились всѣ въ кучу, стоятъ, межъ собою говорятъ что-то и стременами желѣзными другъ о дружку побрякиваютъ.

И вершники молчатъ, и Степанъ молчитъ, другъ на друга смотрятъ только, да переминаются. А на возахъ тихо, ничего не слыхать, словно тамъ всѣ перемерли со страху. Собаченка прижалась у ногъ Степановыхъ, ворчитъ, зубы скалитъ, и шерсть вся у нея ощетинилась.

— Что тутъ дѣлаешь?—спросилъ, наконецъ, одинъ изъ вершниковъ, самъ мулла Амапджулъ.

— За камышомъ, вотъ, пріѣхали изъ города,—отвѣчалъ Степанъ.—Мы тамошніе!

— А твой камышъ это?—пытаетъ старикъ.

— А кто его знаетъ, чей... ишь, его много... надо полагать, вольный!

— Наше мѣсто, нашъ и камышъ, и трава наша, и вода наша,—все здѣсь наше, а вы пришли и чужое забираете!

— Намъ немного надо. Мы больше брать не будемъ, а теперь ужъ прости насъ, не знали, не вѣдали!

— Ну, и ступай съ Богомъ домой,—а камышъ не трогай, здѣсь бросай. Вы нашимъ ничего своего не даете и нашего зато не трогайте!

— Да ужъ это-то оставь намъ, сдѣлай милость, оченно надоть. Мы вонъ, вишь, откедова за нимъ перли, что времени ушло,—оставь намъ, сдѣлай милость!

Видятъ киргизы, всего одинъ человѣкъ супротивъ ихъ шестерыхъ; ближе подъѣхали, съ лошадей полѣзли. Видитъ и Степанъ, что дѣло-то выходитъ неладно, не знаетъ парень, что и говорить ему больше.

А орда уже распоряжаться начала по своему. Салтыкъ коверъ велѣлъ разостлать, что за сѣдломъ у одного былъ притороченъ... Камышъ стали брать, нашими заготовленный; разложили огонь, свой особенный, по близости... Свѣтло опять кругомъ стало... Достали посуду свою, кунганчики высокенькіе этакіе, чашечки-плоскушки, зелененькія... чай варить начали.

— Ужъ мы уѣдемъ,—заговорилъ Степанъ снова, шапку снялъ, кланяется низко,—ужъ мы уѣдемъ, больше и не пріѣ-

демъ сюда никогда, только ты дай намъ этотъ-то камышъ увезти... говорятъ-те, оченно надо!

— Ступай, ступай!—закричалъ другой джигитъ.—У васъ земли теперь больше нашей стало... Вы вѣдь жадные, все захватить наровите—уходи, пока воловъ у тебя не отняли...

Испугался Степанъ этой угрозы, подошелъ къ возу, да и говоритъ тихонько:

— Эй, вставай кто, помоги воловъ запречь. Ну, ихъ къ лѣшему, пущай своимъ камышомъ подавятся... и впрямь уйти, по-добру, по-здорову, лучше будетъ!

Лежатъ бабы и не шелохнутся.

Видитъ Марина: дѣлать нечего... слѣзла съ возу, а пламя отъ киргизскаго костра такъ на нее и ударило.

Брови у дѣвки нахмурены, глаза такъ грозно глядятъ на орду. Росту она высокаго, а отъ свѣту этого еще того выше кажется.

— Ишь, ты, какая баба!—киргизы межъ себя перешептываются, а Салтыкъ такъ на нее и уставился, глазъ не спускаетъ, и глаза у него стали вдвое противъ прежняго шире, такъ и горятъ, словно уголья...

Молча Марина кнутъ взяла съ воза, молча за волами пошла, молча и пригнала ихъ, и стали они оба со Степаномъ ярма на нихъ накладывать...

Подошелъ Салтыкъ къ муллѣ Аманджулу, сталъ ему скоро говорить что-то по своему; тотъ ухмыльнулся, бороду свою сѣдую погладилъ, посмотрѣлъ на Марину тоже, да и говоритъ въ отвѣтъ что-то.

Тоже тихо говорилъ старикъ; киргизы, что близко отъ него стояли, только и слышали послѣднія слова его рѣчи.

— Нельзя у насъ того,—говорилъ старикъ,—это не прежнія времена!

— Чего нельзя?—споритъ Салтыкъ.—Ихъ двое только, насъ шестеро... Я за такую бабу табуна коней не пожалѣю!

— Не дѣло говоришь ты. У русскихъ строго на это... Я же одинъ за все послѣ отвѣчу. А мнѣ бѣжать съ тобою отъ своихъ ауловъ изъ-за бабы не приходится...

Опять что-то заговорилъ Салтыкъ, опять мулла Аманджулъ засмѣялся... Подошелъ Салтыкъ ближе къ Маринѣ, а та уже запрягла свою пару, поворачиваетъ...

— Постой, хорошая баба,—говоритъ джигитъ,—бери свой камышъ... Я тебѣ его даю, я добрый, бери!..

Протянулъ руку киргизъ, хотѣлъ было обнять дѣвку за шею, да та такъ отмахнулась ловко, что тотъ еле на ногахъ удержался...

— Не трожь, ладно!—гаркнулъ Степанъ и сжалъ въ кулакѣ топорище.

— Ишь, сердитая какая!.. — засмѣялся тутъ и старикъ Аманджулъ.—Ну, бери, бери, камыша мнѣ не жалко... бери!.. Бери весь и другой разъ пріѣзжай, когда надо будетъ!

— Забирать, что-ли?—посовѣтовался Степанъ съ Мариною.—Какъ бы чего не вышло...

— Вѣстимо, бери!—промолвила Марина, и сама первая захватила охапку сноповъ и шаркнула ее на возъ, прямо поверхъ Лукерьи весноватой, да другой еще бабы, что лежала вмѣстѣ съ нею.

— Заваливай, заваливай, родимая, спасибо!—чуть прошептала Лукерья,—Заваливай!..

— Пронеси Господь и помилуй!—про себя молилась другая баба и кулакъ себѣ въ ротъ засунула, чтобы стуку зубовъ ея не слышно было, потому лихорадка ее пробрала даже отъ страха.

Живо Степанъ съ Мариною навалили камышъ на воза; тронулись.

— Да вы постойте,—говоритъ Салтыкъ,—куда торопитесь... Хочешь чаю?.. Иди, пей съ нами!..

Не понялъ путемъ Степанъ его рѣчи, а слышалъ только слово «чай», догадался, что подчуютъ...

— Спасибо,—говоритъ,—намъ неколи, много оченно благодарствуемъ...

Вывели возы на ровное мѣсто, колеи старыя нащупали и поѣхали. Лежатъ бабы подъ снопами, не шелохнутся. Марину инда смѣхъ разбираетъ, на нихъ глядючи, а Степанъ все назадъ оглядывается, какъ-бы не нагнали да не отняли.

Дальше и дальше отъѣзжали возы, все еще огонь виденъ; видны и люди около, и лошади, черныя такія, огонь загораживаютъ.

— Да и не темно совсѣмъ,—замѣтилъ мужикъ,—много свѣтлѣе какъ тамъ, у огня, казалось... Нѣшто нашихъ королевенъ выпустить, али ужъ погодить маленько?..

— Пущай, такъ до Казалы довеземъ,—говоритъ, шутитъ Марина.—То-то смѣху будетъ послѣ... какъ бы онѣ только не задохнулись тамъ... Тпру!.. Стой!.. Эй, вы, воины храбрые, вылѣзай, что-ли!..

Остановились воза, версты три отъѣхавши; а тутъ уже и свѣтать начало... Отъ затоновъ паръ поднялся густой, бѣлый, и затянуло этимъ паромъ и костеръ киргизскій, и людей степныхъ, и коней ихнихъ, словно бѣлою стѣнкою всѣхъ ихъ задвинуло.

Повылѣзли бабы, отдуваются, сами надъ собою подсмѣиваются, воловъ погоняютъ всѣ четверо, уйти подальше торопятся.

А изъ-за пригорка впереди золотой край солнца уже выглядываетъ, длинные лучи по всему небу раскинулись, потухли послѣднія звѣздочки, и колыхнулъ утренній вѣтеръ надъ степью духи травъ степныхъ, весеннихъ... Запахло полынью и чебромъ, медомъ потянуло отъ розовой кашки и липца-остролистника...

Ходко волы шагаютъ, только колеса по кочкамъ подпрыгиваютъ, на всю степь оси немазанныя заливаются; собачонка Шарикъ межъ высокою травою носится, птицъ мелкихъ гоняетъ да на вѣтеръ лаетъ, захлебывается.

— И какъ только этотъ косоглазый на тебя зарился, какъ только зарился!—покачивалъ головою Степанъ.—И что за причина такая, что всѣ это, кто только ни увидитъ тебя, сейчасъ глаза пялить начинаютъ... что за причина въ томъ? Скажи ты мнѣ, сдѣлай милость такую!..

— Ужъ такая я, значитъ, приворотная,—улыбается Марина, рядомъ съ Степаномъ нога въ ногу шагаетъ. —Коли отъ грѣха подальше хочешь, не подходи ко мнѣ и близко... Только и саму меня на грѣхъ ино время другіе кто наталкиваютъ... Вотъ что!

Послѣднія слова дѣвка тихо сказала, только одному Степану и слышно было... Задумалась Марина, потупилась въ землю, нагнулась на ходу, захватила полыни цѣлую пригоршню, помяла въ рукѣ, да и кинула.

Рванулъ и Степанъ чего-то, тоже помялъ, потеръ межъ ладонями, тоже кинулъ... Самъ глядитъ въ сторону... что, молъ, тамъ такое собачка Шарикъ дѣлаетъ?..

Около полудня привалъ сдѣлали у «Бекетнаго-холма», постояли часика два; дальше тронулись. Не успѣли и версты отъѣхать съ мѣста отдыха, глядятъ: а съ боку имъ на перерѣзъ опять выѣзжаютъ два вершника. Степанъ еще издали узналъ обоихъ,—изъ тѣхъ были, что ночью наѣзжали, одинъ тотъ, что на Марину зарился, а другой, что коверъ разстилалъ, чай заваривалъ.

— Опять они, ишь, ты! Къ намъ ѣдутъ,—замѣтилъ Степанъ.—А другіе же гдѣ? Не видать что-то. Ишь, вѣдь рыскаютъ безъ дѣла, словно звѣрье!

Подъѣхали ближе вершники. Какъ поровнялись, сейчасъ рядомъ поѣхали, немного только въ сторонѣ отъ дороги держались. Ѣдутъ молча. Салтыкъ увидалъ Марину, кивнулъ своею чалмою кисейною, осклабился: «Здравствуй, баба хорошая!»—кричитъ.

А и статный же парень этотъ Салтыкъ, гость наѣзжій. Сидитъ въ сѣдлѣ, словно вросъ въ него; коня горячитъ, тотъ просто ногами въ воздухѣ отрабатываетъ, травы не топчетъ. Ѣдетъ джигитъ прямо, а самъ смотритъ вправо, глазъ съ Марины не спускаетъ... Больше ничего и не сказалъ, какъ—«здравствуй, баба хорошая», а съ тѣхъ поръ вотъ уже пятую версту провожаетъ, слова не промолвитъ...

— Смотри, таксырь, тогда ихъ всего двое было,—говоритъ ему другой джигитъ,—а теперь вонъ сколько; что же мы ихъ тогда не видѣли?

Ничего не отвѣчаетъ Салтыкъ, только сталъ малость ближе къ возамъ держаться, знать, не разглядитъ хорошо издали... ближе-то оно виднѣе.

Злость стала разбирать Степана-малыша, а Марина, знай, посмѣивается.

«Скоро-ли ты отстанешь, каторжный?—думаетъ про себя парень.—Ишь, привязался, ровно листъ банный... право-ну-слово привязался... глазища пялитъ какъ!»

— Я-бы съ нимъ, ничего, погуляла!—говоритъ съ возу Лукерья весноватая.—Попроси его, Денисьевна,—онъ-те сейчасъ халатъ свой подаритъ... вишь, у него подъ нимъ еще штуки три надѣто!

— Намъ чужого не требуется!—отвѣтила Марина и перешла на другую сторону воза, чтобы ея оттуда не видно было.

Только это она перешла, щелкнулъ джигитъ коня плетью, тотъ взвился на дыбы, скакнулъ черезъ дорогу, и опять чувствуетъ дѣвка, какъ на нее два черныхъ глаза уставились, и не смотритъ она на нихъ, а чувствуетъ... даже за плечами у ней словно мурашки отъ этихъ глазъ забѣгали.

Такъ и провожалъ все Салтыкъ Аблаевичъ бабъ нашихъ, вплоть до вечера; а ужъ совсѣмъ какъ стало смеркаться, вдали темный садъ комендантскій завидѣлся, столбъ дыма чернаго съ кирпичнаго завода Габинскаго, колокольчики зазвенѣли на почтовомъ трактѣ, и вѣтряки-мельницы крыльями своими замахали, тогда отсталъ только провожатый непрошенный; и то не совсѣмъ, а взъѣхалъ на курганъ да оттуда и смотритъ все, глазами провожаетъ, пока возы за околицу свою не проѣхали.

Пріѣхали домой совсѣмъ подъ вечеръ, хотѣли камышъ свой на полѣ сваливать, да побоялись, чтобы не стащилъ кто; все равно, завтра, какъ на работу пойдемъ, съ собою захватимъ.

Встрѣтилъ ихъ Никонъ Денисьичъ.

— Все ли благополучно было?—спрашиваетъ.—Счастливо ли съѣздили?

— Ничего, что-жъ,—отвѣчалъ Степанъ, загривокъ почесывая,—слава-те, Господи!

— Слава-те, Господи, — промолвила, потупясь слегка, и Марина Денисьевна.

L. Чигири.

На другой день праздникъ пришелся. Не хотятъ мужики работать, да и полно. А работы ушли уже впередъ достаточно,—земля вся была уже вспахана, и сѣмена посѣяны. Уже и съ бороновкою покончили. Затѣялъ только Никонъ Денисьичъ, съ той стороны, гдѣ городской прогонъ выходилъ для скота, стѣнку небольшую вывести, чтобы краевъ поля не топтала скотина, да потомъ сообразилъ: время, молъ, терпитъ, и такъ убережемъ какъ-нибудь, а вотъ насчетъ провода воды, другое дѣло—тутъ мѣшкать нечего. Такъ-то сильно солнце начало прижаривать, что земля стала трескаться, трава на глазахъ выгорала; и порыжѣла степь зеленая, словно кто по ней каткомъ горячимъ прокатилъ да выгладилъ.

Вотъ и пошелъ бродить Никонъ по полю, старыя канавы разглядывать.

Шли эти канавы такъ: одна, широкая довольно, аршина въ два, шла мимо поля, недалеко, всего шагахъ въ пятидесяти, а отъ нея другая тянулась вѣтвью, уголъ поля перерѣзывала; отъ этой канавы шли два слѣда узкихъ: одинъ поперекъ самой пашни, а другой далеко въ сторону, къ лощинѣ спускался, къ болотинѣ.

Осмотрѣлъ Никонъ малыя канавы; ничего, заросли только, мѣстами сравнялись; расчистить недолго, на шесть лопатъ всего на одинъ день работы; а вотъ большая канава, что на рѣку большимъ обходомъ, угломъ выходила, та совсѣмъ мѣстахъ въ четырехъ была перегорожена, и бугоръ пересыпалъ ее песчанный, на сажень выше остального уровня гребнемъ выходилъ. Вотъ тутъ-то Никонъ призадумался.

Взобрался онъ на этотъ бугоръ: то на рѣку посмотритъ, то на поля свои съ молодыми всходами, и даже злость беретъ мужика, на все это глядючи. Вѣдь вонъ она, вода эта, сколько ея даромъ пропадаетъ. На тотъ берегъ болотомъ расходится, а сюда не течетъ вода, круто ей подняться. Казачьи поля, тѣ все-таки пониже тянутся, да и туда не во всѣ вода проведена; огороды городскіе по самому берегу залегли; тамъ дальше киргизскія бахчи идутъ. Зеленѣетъ на нихъ широкая листва арбузная да дынная, огудина цѣпкая тянется, извивается. Торчатъ шалашики сторожевые, огородки камышевыя топорщатся.

Никого русскихъ, ни въ полѣ, ни на огородахъ не видно, всѣ они въ городѣ да на базарѣ гуляютъ-бражничаютъ, а у киргизъ, ишь, ты, копошатся люди полуголые, что-то у самаго берега работаютъ; ишь, ты, какъ лопатами помахиваютъ, смотрѣть любо-дорого.

И тянетъ Никона пойти поглядѣть, какъ это орудуютъ люди степные, по нашему совсѣмъ дикіе, ничего неумѣющіе, къ дѣлу совсѣмъ неспособные.

Спустился Никонъ съ бугра, пробрался сквозь колючій терновникъ, опять попалъ на старую канаву, да и пошелъ такъ по ея гребню, благо тотъ конецъ ея какъ-разъ выходилъ на рѣку, у киргизскихъ бахчей, гдѣ работали эти люди полуголые.

Подошелъ ближе, у загородки остановился, поздоровался по ихнему (научился уже немного). «Пришелъ, вотъ, поглядѣть, какъ вы работаете, люди добрые?»—говоритъ имъ черезъ стѣнку.

— Аманъ, тамырь! (здравствуй, пріятель),—говорятъ,—заходи, вонъ тамъ пролазъ есть, вонъ гдѣ высокія камышины торчатъ, самое то мѣсто!

Пролѣзъ Никонъ черезъ загородку, подошелъ къ работникамъ, сталъ ихъ дѣло разсматривать. А дѣло киргизское самое пустое, немудренное.

Отъ поля-бахчи у нихъ тоже къ рѣкѣ канава выведена, только дно этой канавы выше воды въ рѣкѣ, а воду поднять надо, вотъ они тутъ-то свою машину и приладили. Поставили три жерди, вмѣстѣ связанныя, треногою, на веревкѣ, къ этой треногѣ лопату подвѣсили съ длиннымъ концомъ, ухватились двое за этотъ конецъ и расхаживаютъ: махнутъ внизъ—зачерпнутъ въ рѣкѣ воды съ полведра, махнутъ вверхъ—выплеснутъ ее въ канаву; вода и бѣжитъ по ней до того мѣста, гдѣ ей опять подниматься надо, а тамъ опять такая же лопата работаетъ, выше воду гонитъ и по бахчѣ разливаетъ ее по маленькимъ рытвинамъ.

Нехитрая штука, а дѣло свое хорошо дѣлаетъ. Разглядѣлъ все Никонъ, какъ слѣдуетъ, и рѣшилъ здѣсь же устраивать и свою водоподъемную машину, а машину эту онъ не самъ выдумалъ, а посовѣтовалъ ему Габинъ, Иванъ Александровичъ, говорилъ онъ ему, что не здѣсь, а на Аму-рѣкѣ все такія понастроены и чигирями называются.

Сталъ съ киргизами говорить объ этомъ, тѣ говорятъ ему: дѣло хорошее, много лучше нашего будетъ.

— Что же вы сами такъ не дѣлаете?—спросилъ Никонъ Денисьичъ.

— Не въ обычаѣ, да и стоитъ дорого, достатковъ нашихъ не хватитъ. Колесо, говорятъ, надо вашимъ, русскимъ, заказывать, а такую цѣну заломятъ, что въ два года не отработаешь!

И пришла тутъ въ голову Никону такая сдѣлка: «дай-ка я потолкую съ ними, можетъ, и сговоримся, къ общей выгодѣ; а тутъ еще и потому безъ киргизовъ не обошлось бы дѣло, что поднимать воду надо на ихъ землѣ, какъ же безъ ихъ соглашенія?»

*

— Я вамъ все устрою, что по деревянной части, а вы мнѣ земляную работу выведете, — говоритъ имъ Никонъ.— Мнѣ высоко поднимать воду надо, вонъ въ тотъ арыкъ спустить. Вы мнѣ пройдите канаву до того мѣста, гдѣ старая начинается, я тамъ колесо свое поставлю; и вамъ воды вдоволь будетъ, не зачѣмъ будетъ вамъ тутъ, съ утра до ночи съ своими черпаками возиться, и на наши поля вода побѣжитъ, а бугоръ тотъ мы уже сами какъ-нибудь прорoемъ.

Подумали киргизы, потолковали межъ собою, да и говорятъ Никону:

— Ладно, тамыръ, только мы тебѣ канаву прорoемъ, а ты намъ послѣ воды не дашь, да съ нашего же мѣста погонишь...

— А Богъ-то на что? Тоже совѣсть есть. Я безъ обману; сроду еще въ этомъ ни противъ кого неповиненъ. Ужъ въ этомъ вы будьте благонадежны!

— Да намъ и всѣ говорятъ такъ-то, да только языкъ у васъ двоякій, сегодня такъ говоритъ, а завтра иначе...

— Мы бумагу напишемъ такую,—говоритъ Никонъ.— условіе, значитъ, сдѣлаемъ, тогда крѣпко будетъ. Я свой крестъ поставлю на бумагѣ, вы свои тамги приложите. Хотите?

— Нѣтъ,—говорятъ,—съ бумагой еще скорѣе обманешь; бумага у васъ хуже языка; коли на бумагу пойдетъ дѣло, такъ мы совсѣмъ не согласны!

— Что же,—задумался Никонъ,—человѣкъ я вамъ чужой, новый... Что съ вами подѣлаешь!

И шибко запечалился мужикъ, видитъ, что безъ киргизовъ ничего подѣлать невозможно, а они вонъ какіе волки травленные, ни на что не идутъ. Плохо дѣло!..

Подошелъ тутъ старый-престарый киргизъ, весь сгорбленный, на палку опирается; сидѣлъ онъ въ шалашѣ до той поры и весь разговоръ слышалъ своихъ съ русскимъ человѣкомъ.

— Слушай,—говоритъ,—знаешь ты муллу Габина?

— Ивана Александровича?—пытаетъ Никонъ Денисьичъ.— Какъ не знать, знаю!

— И онъ тебя знаетъ?

— Ничего, и я ему извѣстенъ. Онъ мнѣ вѣритъ, по моему слову—сѣменами посѣвными ссудилъ, на сто рублевъ безъ малаго. Какъ не знать мнѣ Ивана Александровича!..

— Ну, такъ пусть онъ пишетъ эту бумагу, а то и бумаги не надо, пусть только слово свое за тебя скажетъ, мы тогда на все согласны!

Обрадовался Никонъ Денисьичъ.

— Ладно,—говоритъ,—ребятки, это мы хоть сегодня же устроимъ. Хошь кто, пойдемъ сейчасъ къ Ивану Александровичу, тамъ и порѣшимъ все дѣло,—чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше... Идемъ, что ли?..

— Нѣтъ, пускай онъ самъ сюда пріѣдетъ да вотъ тутъ на мѣстѣ все и разскажетъ, что намъ дѣлать надо, что тебѣ. Когда къ намъ пускать воду, когда къ тебѣ. Все пускай разскажетъ, тогда мы это живо сдѣлаемъ. Мы изъ ауловъ работниковъ вызовемъ, въ четыре дня все сдѣлаемъ, что отъ насъ полагаться будетъ!

Видитъ Никонъ, что больше говорить ему съ киргизами нечего, распрощался и пошелъ напрямикъ въ городъ, прямо въ большой домъ Ивана Александровича, поклониться ему и просить его скрѣпить своимъ словомъ дѣло, имъ задуманное.

На другой же день къ киргизскимъ бахчамъ подъѣхали дрожки-бѣгунки. Въ дрожкахъ сидѣлъ человѣкъ пожилой уже, бородка маленькая съ просѣдью, изъ себя плотный, даже толстоватый немного. Самъ онъ лошадью сѣрою правилъ, сытою такою, доброю, а сзади сидѣлъ Никонъ, ноги до земли спустивши. Всѣ киргизы на встрѣчу ему высыпали, взяли лошадь подъ уздцы, отвели ее бережно и къ шалашу привязали. Кумысу принесли полную чашку для угощенія. Даже старикъ сгорбленный вылѣзъ и своимъ беззубымъ ртомъ ухмыляется.

Походили по бахчѣ, поговорили малость, да тутъ и порѣшили дѣло, безъ бумаги, безъ всякихъ крестовъ, безъ тамги. Просто на слово.

Какъ уѣхалъ Габинъ, сейчасъ и за работу принялись; а пока киргизы свое дѣло дѣлали, Никонъ купилъ лѣсу подходящаго, мужиковъ прочищать канаву выгналъ, а самъ принялся строгать, тесать да прилаживать. Въ недѣлю все дѣло поспѣло. Собралось много народу изъ города смотрѣть на ихнее устройство; самъ уѣздный пріѣзжалъ и сказалъ Никону:

— Ну, братъ, молодецъ, дошлый! Заходи ко мнѣ, я тебѣ

еще дамъ работу хорошую, когда время будетъ, а пока на, получи на водочку!

Протянулъ онъ ему рубль-цѣлковый, да не взялъ Никонъ.

— За что, — говоритъ, — жаловать изволите? Я и безъ задатку приду; на работѣ сговоримся, а послѣ и разсчетъ будетъ!

— Вотъ ты какой!—проворчалъ уѣздный, да и не взглянулъ больше на Никона, должно-быть, на его слово обидѣлся. Сѣлъ въ дрожки свои и въ городъ уѣхалъ.

Жаль, мужики съ прочисткою канавы запоздали, а то бы тутъ при всѣхъ можно было бы въ ходъ пустить всю машину, поглядѣть, какъ она дѣйствуетъ, воду накачиваетъ, безъ малаго на двѣ сажени поднимаетъ, да не лопатами, а ведрами большими, такъ и зачерпываетъ.

Черпалка же эта Никонова была устройства самаго простого: у того мѣста, гдѣ нижняя канава съ верхнею сходилась, были два столба изъ кирпича сложены, съ устоями, на фундаментѣ. Столбы эти стояли по сторонамъ канавы, другъ отъ друга въ сажени разстоянія. На верхнихъ концахъ столбовъ гнѣзда были сдѣланы, окованныя желѣзомъ листовымъ, а въ этихъ гнѣздахъ толстая ось ворочалась. На оси колесо было надѣто, наглухо съ осью скрѣпленное; вмѣстѣ съ нею оно и ворочалось. Поперечникъ того колеса былъ въ полторы сажени, ободъ плоскій, съ пробоинами, а на ободѣ, супротивъ каждой спицы, деревянная бадья прилажена изъ бочекъ, пополамъ разрѣзанныхъ; Никонъ бадьи эти подѣлалъ. Колесо ворочалось отъ нижней канавы къ верхней, и бадьи были привязаны въ ту же сторону жерлами. Станутъ колесо поворачивать, оно нижнею частью черпаетъ воду внизу, поднимаетъ ее наверхъ, а какъ начнутъ бадьи наверху опрокидываться, вода и выливается въ широкій жолобъ, просмоленный, а черезъ него въ верхнюю канаву. На колесѣ четырнадцать бадей прилажено, каждая бадья въ четыре ведра вмѣстимости; въ минуту колесо это одинъ разъ поворачивается, значитъ, въ эту минуту снизу вверхъ пятьдесятъ шесть ведеръ воды переливается.

Недаромъ говорилъ Никонъ, когда работу свою показывалъ, первые повороты пробовалъ:

— Въ часъ,—говорилъ,—времени все поле затоплю, коли потребуется. Вотъ увидите!

Колесо-то тяжелое, руками его не повернешь, такъ досужій плотникъ шестерню къ оси придѣлалъ, а шестернѣ другое колесо, на стоячей оси, въ лежку, съ кулаками деревянными по ободу; къ этому-то колесу запряжка конская приспособлена, а киргизы народъ сговорчивый, тѣ сами взялись, уже не въ счетъ своей работы, своими лошадьми у чигиря работать ежедневно, четыре часа подъ-рядъ, утромъ рано, на разсвѣтѣ, да четыре часа передъ вечеромъ, когда земля остывать начнетъ.

Мало того, эти самые киргизы, лѣнивый народъ, лежебоки, ни къ чему непригодные, какъ увидали, что мужики съ прочисткою канавы все копаются, сами имъ на подмогу вышли, съ своими китменями да мотыками. Черезъ двое сутокъ съ ихъ помощью все было готово, и по расчищенному дну большого арыка побѣжала, запѣнилась вода сыръ-дарьинская къ полю крестьянскому, допрежъ того на сухомъ пустырѣ разбитому.

Ожили всходы пшеничные, яровые, зазеленѣли яркимъ ковромъ засѣянныя полосы, а вокругъ ихъ, куда вода не проходила, залегла степь солнцемъ выжженная.

Любо-дорого было смотрѣть на все это Никону Денисьичу. Просто и дома не сидится. Съ утра и до ночи глубокой бродитъ вокругъ да около, утѣшается да про дальнее будущее раздумываетъ. И думается ему:

«Коли бы сюда перенести всю стройку, дальше отъ этого города, чтобы ему пусто было, протянуть вотъ такъ, лицомъ къ дорогѣ проѣзжей, орской, широкую улицу, по ней тоже провести арычки, канавки, тальнику насадить, тополя молодого. Всю бы большую канаву вплоть до рѣки обсадить тальникомъ не мѣшало бы: вода меньше усыхать будетъ, да и глазу пріятнѣе. Это нѣшто трудно! Тутъ вотъ какъ: сломалъ вѣточку, ткнулъ ее въ землю, — коли есть вода, она сама сейчасъ примется, пуститъ корень, а отъ корешковъ опять пойдутъ отпрыски; на другой годъ и не узнаешь своей посадки, кустъ кустомъ разрастется.

«Да, важно бы перенести сюда слободку, что ей тамъ на низу стоять, въ грязи тонуть невылазной, а тутъ сухо, песочекъ есть. Тутъ круглый годъ грязи не попробуешь. Скотины завести побольше. Овецъ, что ли. Тѣ выгодны своему хозяину. Пастуховъ изъ орды нанять, чтобы своего не отры-

вать отъ поля., Засѣвъ во все мѣсто отведенное пустить. Мало будетъ — еще попросить, чтобы степи отмѣряли намъ; вишь, она, эта степь, зря лежитъ, никому непригодная, мертвая. Отказу намъ въ этомъ полагать надо, николи не будетъ.

— И все это очень возможно, — говорилъ ему въ тотъ день вечеромъ Иванъ Александровичъ Габинъ.—Все, братецъ, возможно. Ты вотъ простой человѣкъ, а понялъ, какъ въ новомъ краю за дѣло приниматься нужно. Я самъ пріѣхалъ сюда ни съ чѣмъ, а теперь, самъ видишь, какое завелъ хозяйство. Мнѣ одному приходилось съ этимъ народомъ барахтаться, зубъ за зубъ случалось схватываться; сколько горя перенесъ, сколько неудачъ вытерпѣлъ, а все-таки мой верхъ вышелъ, потому шелъ я прямо, настоящею дорогою. А ты самъ на этой дорогѣ стоишь, и мужикъ, по всему видно, крѣпкій, на своемъ устойчивый; такъ и держись. Если бѣда какая случится, несчастье, что ли, незадача какая, ничего, духомъ не падай: вывернешься. Силъ-то въ этомъ краю много, непочатой уголъ, только знай, гдѣ эти силы разыскивать!

«Киргизъ, здѣшній человѣкъ, онъ тебѣ первымъ другомъ и помощникомъ готовъ сдѣлаться; онъ же тебѣ и первый врагъ будетъ, коли ты себя человѣкомъ нечестнымъ покажешь. Видѣлъ на своемъ дѣлѣ, что значитъ у нихъ къ человѣку довѣріе.

«Мы больше киргиза знаемъ, лучше его дѣло понимаемъ, мы ему должны показать примѣромъ, почему осѣдлая жизнь лучше ихняго бродяжничества. Киргизъ не глупъ, онъ самъ пойметъ, гдѣ лучше, его за шею веревкою тянуть со степи на поле незачѣмъ. Больше времени на наше дѣло требуется, не скоро разбогатѣешь, зато, что ни взялъ, то уже твое, прочное, его никто отнять не можетъ, если самъ изъ рукъ не выпустишь. Ну, а наскоро разбогатѣть—дѣло легкое, особенно если позабудешь, гдѣ у тебя совѣсть ворочается.

«Гляди вотъ, что тутъ наши дѣлаютъ? Другъ дружку подкапываютъ. И если одинъ въ гору пошелъ, то ужъ непремѣнно ищи тѣхъ, кто голышами разоренными остался. А все потому, что они не оттуда богатство свое берутъ, откуда слѣдуетъ— изъ кармана въ карманъ только деньги перетаскиваютъ.

«Много ли русскихъ сюда переселилось? Самая малость, а ужъ имъ, гляди, тѣсно, ужъ они глазами ѣдятъ другъ друга,

врагами смотрятъ. А край здѣсь такой, что переселись сюда въ сто разъ больше народу, и то всѣмъ своего дѣла по горло хватитъ, не вычерпать во вѣки.

«Все здѣсь не тронуто, все непочатый уголъ, за что ни возьмешься порядкомъ, а они мимо добра скрытаго проходятъ да на готовое только накидываются.

«Вѣрно тебѣ говорю, пойдетъ въ ходъ ваша слободка; не вся только: отъ тѣхъ, что на Косъ-Аралъ ушли, я ужъ мало жду проку, тѣ ужъ плохіе вамъ работники. Только пока держи ты ихъ крѣпко, хоть до времени; потомъ сами привыкнутъ, увидятъ, что хорошо, сами никуда не уйдутъ.

— А меня, братецъ ты мой любезный, первымъ своимъ другомъ считайте, потому я по своему дѣлу хоть сейчасъ готовъ пристать къ вамъ. И совѣтомъ помогу, и деньгами, коли понадобится, потому, коли я вамъ нуженъ подчасъ бываю, то и вы мнѣ самые первые, нужные люди. Крѣпко другъ за друга державшись, мы не скоро разстанемся, и пойдетъ въ ходъ наше здѣшнее русское дѣло, и орда къ нему пристанетъ съ полною готовностью, съ охотою.

«Тогда, пожалуй, и солдатъ можно будетъ увести въ другое мѣсто, гдѣ они нужны окажутся, а мы и безъ нихъ обойдемся».

И долго еще говорили Иванъ Александровичъ Габинъ съ Никономъ Денисьичемъ, въ саду хозяйскомъ, въ бесѣдкѣ, за самоваромъ сидючи.

Ночь была лунная, свѣтлая, въ степи просто какъ днемъ видно; вышелъ Никонъ отъ Габина, идетъ по дорогѣ, пѣсни поетъ, и такъ-то ему весело, такъ-то у него на душѣ свѣтло да радостно!

Идетъ онъ не въ слободку, а на поле, потому что въ слободкѣ уже никого не было, всѣ до единой души въ поле, въ шалаши переселились и избы свои позаколачивали. Чуть только огоньки вдали у этихъ шалашей виднѣются, а кругомъ въ полѣ тихо такъ, ни души не видать, только шуршатъ по низу перебѣгающія изъ-подъ одного куста подъ другой проворныя степныя ящерки.

LI. Сваха.

Шелъ Никонъ не самою дорогою, а сторонкою, гдѣ не такъ пыльно, по тропиночкѣ, нашими мужиками протоптанной. Дорога широко расползлась, свѣтлая такая вдаль тянется, пыль лежитъ на ней толстымъ слоемъ, покойно, вѣтру нѣтъ, да и

проѣзжихъ давно не видно. И видитъ Никонъ, что по самой срединѣ дороги что-то впереди чернѣется, да крупное такое, словно лошадь съ повозкою.

Ближе подошелъ—и впрямь стоитъ тарантасикъ маленькій, въ одну лошадь запряженный, а въ тарантасѣ господинъ сидитъ, шапка военная, а пальто простое надѣто, парусинное.

Сидитъ этотъ господинъ, папироску покуриваетъ, платочкомъ отъ комаровъ отмахивается, поджидаетъ кого-то.

«Что за человѣкъ такой?—думаетъ Никонъ.—И чего ему здѣсь надобно?»

Сталъ приглядываться, узналъ сразу: сидитъ это судья черноусый и все-то въ ту сторону, гдѣ шалаши крестьянскіе, вглядывается, его, Никона, не замѣчаетъ.

Взялъ Никонъ въ сторону, отошелъ подальше, чтобы и не видалъ его совсѣмъ баринъ, а потомъ напрямикъ и пошелъ къ шалашамъ, а самъ тоже сталъ зорко присматривать по сторонамъ, не увидитъ-ли еще кого, и чувствуетъ мужикъ, что у него въ груди ровно какъ будто захолонуло, неладно стало что-то, не то страхъ напалъ, не то что-то недоброе чуется.

Шалаши крестьянскіе стояли не тѣсно, просторно. Марининъ шалашъ, самый большой, на отлетѣ былъ Степаномъ построенъ. Темно въ этомъ шалашѣ, а не спятъ тамъ, слышно—разговариваютъ.

Остановился Никонъ, шагахъ въ трехъ не больше, слушаетъ: одинъ голосъ Марининъ, а другой—не Степановъ, а чей-то чужой, незнакомый, хотя и хриплый такой, сиповатый, а слышно, что женскій.

«Кто бы это былъ такой?—соображаетъ Никонъ.—Не изъ нашихъ бабъ, это вѣрно, я тѣхъ всѣхъ по голосамъ знаю; должно, кто изъ городскихъ. Не этой ли и дожидается баринъ, тамъ, на дорогѣ сидючи?... Что такое говорятъ, ась? Да-ко послушаю».

— Такъ и говоритъ?—спрашиваетъ Марина, какъ будто съ усмѣшкою.

— Такъ и говоритъ,—молвитъ чужая женщина.—Позвалъ это онъ меня, сказываетъ: по дѣлу важному. Ну, я пришла.—«Здравствуй, говоритъ Антонитъ Евлампьевна!»—«Здравія желаю, говорю, ваше благородіе». — «У меня дѣло къ тебѣ

есть».—«Какое-же, молъ, дѣло?» спрашиваю.—«А вотъ, говоритъ, какое: знаешь ты слободку, что переселенцы прошлогодніе построили?»—«Знаю, говорю, какъ не знать?»—«Ты знакома тамъ съ кѣмъ-нибудь»?—«Кое съ кѣмъ говаривала», сказываю.—Есть,—говоритъ... Тутъ онъ мнѣ сейчасъ наливки поднесъ вишневой и самоваръ приказалъ ставить. Прежде,—говоритъ,—выпьемъ и закусимъ, а за чаемъ и разговоръ настоящій будетъ. Ну, сѣли мы это за угощеніе... о томъ, о семъ поболтали, онъ и говоритъ:—«Есть, говоритъ, тамъ одна женщина, звать ее Мариною, по батюшкѣ не знаю; живетъ она въ большомъ домѣ, что посреди улицы, отъ всѣхъ отличается». Это про тебя-то онъ спрашиваетъ.—«Ну, говорю я, знаю эту женщину, на базарѣ не разъ встрѣчались»,—помнишь, какъ ты ситецъ розовый, червячками, у бухарцевъ покупала?—Ну, тогда я тоже себѣ канаусу на фартукъ отмѣривала... Ну, а все, что другое, я тебѣ уже сказывала!

— Такъ пятьдесятъ рублевъ жалуетъ?—молвилъ Марина.—Во сколько!

И слышитъ Никонъ, что и злость-то подступаетъ у дѣвки къ горлу, и смѣхъ-то ее разбираетъ; все это онъ по голосу Марининому чувствуетъ.

— Да, говоритъ, пускай идетъ ко мнѣ въ прачки, бѣлье стирать. Въ недѣлю два раза пущай приходитъ, а жалованья ей за работу пятьдесятъ цѣлковыхъ въ мѣсяцъ. Да еще говорилъ, чтобы плотнику своему объ этомъ дѣлѣ она, то бишь ты, не сказывала, потому, ему знать не зачѣмъ. А коли знать будетъ, такъ отберетъ у ней деньги, а деньги, пятьдесятъ-то рублевъ, очень хорошія деньги, на нихъ чего-чего нельзя подѣлать!

— Деньги большія. Ну, ладно, скажи ему, я буду посылать за бѣльемъ Степана, либо другого кого, онъ и относить это бѣлье къ барину будетъ, а за эту цѣну я мыть ему его рубахи согласна!

Сталъ тутъ смѣхъ разбирать и Никона.

«Шустрая тоже дѣвка, ишь, какую механику подводитъ... дорогая прачка какая выискалась!»

— Что ты, матушка, да какъ же это возможно... нѣшто того требуется?

— Чего же еще?

— Извѣстно чего, не махонькая. Тсъ! Батюшки! Никакъ стоитъ кто-то около!..

Увидала она тутъ Никона, и Марина изъ шалаша выглянула, смѣется.

— У меня тутъ гостья сидитъ изъ городу; послушалъ бы ты Никонъ, что она тутъ разсказываетъ, какія пѣсни поетъ чудесныя!

— Слыхать-то я слыхалъ,—вымолвилъ Никонъ, — давно ужъ торчу тутъ да слушаю, только вотъ что я тебѣ скажу, разлюбезная купчиха, или какъ тамъ тебя звать-величать, извини, не вѣдаю...

— Ничего я тутъ особеннаго не говорила, а ежели пришла по своему дѣлу, такъ тутъ никакой обиды нѣту!—попятилась Антонида Евлампьевна.

— Да ты что же мордою-то отшатнулась, какъ лошадь отъ кнута; я тебя бить не стану; чего боишься, аль смекаешь сама, что потрепать бы тебя слѣдовало?

— Ну, ее, не трожь!—говоритъ Марина.—Отъ разговору ихняго ничего не станется. Она у меня тутъ съ самаго закату солнечнаго сидитъ, угощеніе съ собою притащила, хозяина въ расходъ не вводитъ. Ну, и народъ же, эти здѣшніе!..

— Ишь, ты, какъ давно!—ухмыльнулся Никонъ Денисьичъ.—Такъ это съ тѣхъ-то поръ баринъ на дорогѣ сидитъ, тебя дожидаючись? Иди-ко къ нему поскорѣй, его, чай, совсѣмъ комары заѣли, сердечнаго. А ужъ я тебя, голубка, провожу отселева, чтобы неравно не обидѣлъ кто дорогою!

— И безъ проводъ твоихъ обойдусь,—заторопилась Антонида Евлампьевна,—сама найду дорогу, одна пройду... Да, ну, отстань! Не трогай!.. Говорятъ-те, слушай!.. Ой!.. Чортъ, дьяволъ!.. Самому уѣздному жаловаться буду... брось!

— Ничего, что же... Господа все подъ ручку вдвоемъ ходятъ, когда прогуливаются,—потѣшается Никонъ надъ своею гостьею непрошенною.—А мы съ тобой не господа, мы люди сѣрые... Намъ подъ руку не къ рылу, не приходится. Мы другимъ манеромъ приспособимся!

Стребъ ее Никонъ за платокъ на затылкѣ, прихватилъ и косынку шейную, и воротъ отъ платья, никакъ и коса туда-же въ его горсть попала, для прочности, должно быть, и поволокъ къ дорогѣ, гдѣ дожидался баринъ, судья усатый, въ своемъ тарантасикѣ.

Шибко ругаться стала Антонида Евлампьевна, обидно, надо полагать, показалось ей это обращеніе. Плакать послѣ начала, взмолилась слезно, разокъ «караулъ!» взвизгнула.

— Ну, не кричи, — говоритъ ей Никонъ. — Чего орешь, зѣваешь? Вѣдь тутъ твоихъ никого нѣту, все наши. Баринъ твой, пожалуй, услышитъ, крику твоего испугается, дожидаться не станетъ, да одинъ и уѣдетъ въ городъ. Лучше ужъ не ори, переставляй ноги проворнѣй!..

— Мужикъ необразованный!..

— Ну, ну, разговаривай!.. Вишь, что я тебѣ сказывалъ!. Вонъ и точно по лошади ударилъ, погналъ!.. Ого-го-го!.. Ну, голубушка, придется тебѣ таперь пѣшкомъ идти въ городъ, домой-то, одна-одинешенька. А въ степи-то ночью стра-а-ашно! Волки бродятъ десятками... и больно эти волки до такихъ бабъ, какъ ты, лакомы!

А судья какъ увидалъ Никона, что тащилъ за шиворотъ его посланницу, такъ сейчасъ повернулъ оглобли да отъ грѣха подалѣе,—что, молъ, съ *нимъ*, этимъ медвѣдемъ косолапымъ, связываться!..

Вывелъ Никонъ купчиху на дорогу, выпустилъ. Та реветъ, всхлипываетъ: обидѣли ее, дескать, мужичье поганые! Жаловаться все грозится...

— Ну, да ладно; ступай себѣ съ Господомъ, кому хошь, подавай прошеніе!

Выпустилъ ее мужикъ и пошелъ домой къ себѣ въ шалашъ; а тамъ ужъ и Степанъ вернулся откуда-то съ отлучки. И слышитъ Никонъ, какъ Марина ему про все, что случилось, разсказываетъ, посмѣивается, да оба, на все-то поле, смѣхомъ веселымъ заливаются.

— Я ее нарочно все разспрашивала, до твоего прихода задерживала,—говорила дѣвка Никону, какъ тотъ съ проводъ вернулся.—Ты послушалъ бы, что только она тутъ пѣла... и-и, Боже ты мой!..

Баба ничего, по всему городу извѣстная, эта купчиха Антонида Евлампьевна! Такъ теперь и дошла одна домой, пѣшкомъ, пыль по щиколотку; страху что натерпѣлась дорогою—за каждымъ, то-есть, кустомъ ей по десятку волковъ чудилось. Слышала даже, какъ они, эти звѣри, зубами голодными на нее щелкали. Сама все это послѣ разсказывала.

LII. Зачѣмъ Степанъ-Малышъ ходилъ въ городъ и кого тамъ встрѣтилъ.

Послалъ Никонъ Степана-Малыша въ городъ деньги получать съ одного барина военнаго за какую-то работу плотничью, давнишнюю еще, три рубля шесть гривенъ.

— Тамъ тебѣ опять скажутъ: дома, молъ, нѣтъ, такъ ты поспрошай: скоро ли будетъ? Да и подожди маленько,—говорилъ онъ ему.—Что, молъ, намъ третій мѣсяцъ за этими деньгами шляться? Такъ и скажи ему, барину-то...

— А какъ деньги получишь, купи мнѣ китайки черной аль темно-синей аршинъ, починить куцавейку, — весь передъ отрепала!—добавила отъ себя Марина.

Вотъ и пошелъ Малышъ въ городъ, сталъ тамъ по улицамъ его пыльнымъ шляться, барина того отыскивать, и ужъ очень-то городъ этотъ ему съ виду противенъ кажется!..

Теснота, духота, пылища страсть какая! Инда деревья всѣ да кустики побѣлѣли, не узнать, что и были они когда-то зеленые... Словно отъ печей натопленныхъ, несетъ жаромъ отъ стѣнъ да заборовъ... Прѣлымъ навозомъ несетъ со двора, а то и того хуже... Мимо питейныхъ хоть и не приходи: отворятъ дверь, такъ пахнетъ, инда съ души воротитъ... Народъ бродитъ по улицамъ все какой-то несообразный: либо пьяный вовсе, вавилоны посреди улицы выводитъ, либо такіе, что держись подалѣ... Орда пріѣзжая около базара рыскаетъ, тарантасы да дрожки господскіе зря катаются—не зѣвай! Сторонись! Сшибутъ—не заплачутъ!..

То ли дѣло у насъ въ полевомъ хуторѣ (они такъ свои шалаши называть начали)! Тишина, чистота, воздухъ легкій, цвѣтиками попахиваетъ... пыли и не видать вовсе... птички тебѣ чирикаютъ, вѣтерокъ ниву крестьянскую, словно море, колышетъ и гонитъ мягкія такія, блестящія волны зеленыя... Благодать, да и только!

И шибко же Степанъ-Малышъ этого города не долюбливалъ, заглядывалъ туда только по нуждѣ какой, вотъ хоть бы и нынѣшній разъ; а по своей волѣ, какъ другіе, для гуляньевъ, его туда не только калачемъ, а десятью, пожалуй, не заманишь.

Идетъ это мужикъ, припоминаетъ, какъ ему Никонъ разсказывалъ, гдѣ баринъ живетъ.

— «Значитъ, какъ пройдешь базаромъ, по средней улицѣ, потомъ забирай во второй переулокъ, увидишь кабакъ съ красною доскою, а за кабакомъ домикъ, низенькій такой, у него еще двѣ двери на улицу продѣланы; въ первую ты, говоритъ, не ходи, тамъ тоже кабакъ, только такой темный, безъ патенту, безъ вывѣски, а иди во вторую, тамъ и спроси, кого въ сѣняхъ встрѣтишь»...

— Таперь сюда!—сообразилъ парень.—Эвона и проулокъ... вѣрно!.. Ищи, значитъ, кабакъ. Вонъ онъ и есть... а вонъ и еще кабакъ... вонъ опять, кажется... Тьфу ты лѣшій! Да тутъ ихъ безъ малаго полдюжины!.. Который же?..

Стоитъ мужикъ посреди улицы, низенькаго дома, съ двумя дверьми на улицу, выглядываетъ... Всѣ эти дома какъ-будто съ виду одинаковые...

— Сторонись, ворона! — гаркаютъ у него за плечами... Бубенцы громыхаютъ, кони фыркаютъ, отдуваются, тарантасище, словно домъ цѣлый, гора-горою, трещитъ да покряхтываетъ... И кони, и ямщикъ, и сбруя, и тарантасъ, и сундуки-чемоданы, что на немъ навязаны, все отъ пыли сѣрое, одинаковое... Въ серединѣ только мелькнуло на минуту брюхо какое-то бѣлое да юбка розовая, нога въ сапогѣ да рука съ яблокомъ надкушеннымъ.

Прокатилъ мимо тарантасъ, только-только успѣлъ Степанъ въ сторону отъ него шарахнуться...

— А что, кавалеръ, гдѣ здѣсь живетъ Рукочесовъ баринъ?—снялъ онъ шапку передъ солдатомъ, что у забора остановился на минуточку...

— Проходи дальше!—буркнулъ кавалеръ, даже головы не поворачивая...

Еще къ кое-кому обращался Степанъ съ тѣмъ же вопросомъ, все получалъ отвѣты такіе же, не дѣлу пригодные... Въ кабакъ даже завернулъ спросить; тамъ тоже не знаютъ. Часа два бродилъ, насилу-то нашлась добрая душа, и то татаринъ.

— Рукочеса?..—говоритъ.—Иды туды... ходы прямо... вонъ Рукочеса кибитка!..

Нашелъ-таки. «Дома нѣтъ»,—говоритъ ему баба здоровенная, что на крыльцѣ китель офицерскій стирала въ корытѣ...

А вернется, сказываетъ, не ранѣ, какъ завтрева, къ вечеру; на охоту съ полковникомъ уѣхали...

Не ждать же Степану здѣсь до завтрева; по наказу Никонову, пошелъ пока на базаръ китайку покупать, благо, въ карманѣ своихъ денегъ было, сколько на тотъ предметъ надобно.

А на базарѣ дядя Василій кошмы у киргизъ гуртомъ скупаетъ, чтобы потомъ самому продавать съ выгодою. Увидалъ Степана, кричитъ:

— А подь-ко сюда, землячекъ, что я тебѣ скажу, братъ! Иди сюда, скорѣе!

— Здравствуй! Ну, чего надо?—протолкался къ нему Степанъ между тюками съ кошмою да между верблюдами лежачими.—Что скажешь?..

— А то, что бѣги сейчасъ въ гостинницу, въ трактиръ, значитъ, Барнаулъ, тамъ тебя пріѣзжіе зачѣмъ-то спрашиваютъ... мнѣ трактирщикъ сказывалъ. Хотѣлъ было я на хуторъ къ вамъ за тобою Маметку посылать, да вотъ ты и самъ навернулся...

— Какіе-такіе господа?—сомнѣвается парень.—Меня, говоришь ты, спрашиваютъ?

— Извѣстно, тебя! Степку-Малыша, сказываютъ... Иди, можетъ перепадетъ что; чуръ пополамъ, вмѣстѣ!

Смѣется Мутило, а самъ тѣмъ временемъ некупленный тюкъ къ своимъ купленнымъ ногою попихиваетъ.

«Ну, ихъ къ Богу! — думаетъ Степанъ;—Вретъ, вѣрно, Васька! Извѣстно, насмѣхается».

Однако, купивши китайки у бухарца, въ его лавочкѣ красной, пошелъ къ трактиру «Городъ Барнаулъ», «Ніяполь» тожъ... Тутъ вѣдь онъ отъ базара недалеко, близехонько.

Подходитъ Степанъ ближе, загнулъ за уголъ, какъ-разъ противъ трактира вышелъ. А у крыльца трактирнаго тарантасъ, запыленный, тотъ самый, что чуть не наѣхалъ на него давеча... Около четверикъ стоитъ лошадей, усталыхъ, потныхъ; бока имъ подвело, ноги у нихъ дрожатъ, подгибаются... Знать, шибко гнали, что такъ замаяли... Народу человѣка три около тарантаса возятся: которые колеса стаскиваютъ да оси смазываютъ, которые новыхъ лошадей привели съ почтоваго двора, закладать собираются...

Зашелъ Степанъ-Малышъ со двора, покликалъ повара, изъ

отставныхъ солдатиковъ... Знакомый поваръ, Будынинъ прозывается, человѣкъ добрый, только всегда выпивши.

— Проѣзжіе тутъ,—говоритъ,—сказывали мнѣ, меня зачѣмъ-то требовали... кто такіе?

— Купецъ изъ Ташкенту, Бандуринъ, съ супругою,—говоритъ поваръ. — Иди, что же, тамъ номерной доложитъ... Пашка, ей! Гдѣ ты тамъ, прохвостъ, запропастился?

Сталъ Степанъ въ темномъ корридорѣ, пока Пашка пошелъ къ купцу въ горницу.

— Что такое?—спрашиваетъ его степенство, купецъ Бандуринъ изъ Ташкента.

— Крестьянинъ какой-то пришелъ, значитъ, мужикъ... Васъ спрашиваетъ... — докладываетъ номерной Пашка. — Требовать изволили?

— Ахъ, душечка, не надо... Что ему нужно, пускай идетъ отсюда... никакого намъ мужика не требуется,—говоритъ торопливо такъ супруга—не отворяй дверь, не надо!

И чудится Степану: ну, вотъ совсѣмъ голосъ знакомый, совсѣмъ какъ-будто...

Инда присѣлъ на сундукъ парень, такъ его отъ этого голосу въ голову ударило. Все одно, какъ съ того свѣта пришелъ кто да заговорилъ у него надъ ухомъ.

— Нѣтъ, не надо!—говоритъ номерной Пашка. — Эй, ты, гдѣ ты тамъ?..

А Степанъ, только опомнился, да вонъ изъ корридора, выбѣжалъ на заднее крыльцо, оттуда во дворъ, хотѣлъ-было дальше бѣжать, да остановился, совсѣмъ какъ-будто и не по своей волѣ, сталъ у столба воротнаго и смотритъ на тарантасъ, ждетъ чего-то.

Видитъ: запрягли тарантасъ, вышелъ купецъ на крыльцо, сказалъ что-то ямщику, не громко такъ; тотъ полѣзъ на козла, тронулъ лошадей и поѣхалъ одинъ, безъ купца, по улицѣ, не шибко, такъ полегоньку, будто упряжку пробуетъ.

— Куда же это?—спрашиваетъ изъ окошка все тотъ же голосъ знакомый.

— Неисправность есть махонькая, — говоритъ купецъ, — тамъ починятъ въ кузницѣ, черезъ часъ готово будетъ. Посиди здѣсь, душка, а я пока схожу къ Сомову, чаю куплю на дорогу да винца захвачу бутылочку!

— Приходи же скорѣй, — говорятъ изъ окошка, — да захвати чего сладенькаго, мармеладцу, что-ли, какого, либо варенья сахарнаго!

— Ладно, захвачу! — говоритъ его степенство. Постоялъ малость на крылечкѣ, зѣвнулъ, ротъ прикрывши рукою, спустился и пошелъ тихонько, не спѣша, въ базарный переулокъ.

Стоитъ Степанъ все да смотритъ. Ему и тарантасъ виденъ вправо, и купецъ виденъ; спина его широкая, въ бѣломъ пальто, далеко въ толпѣ замѣтна; ремешокъ тоненькій отъ сумки дорожной черезъ всю спину чернѣется; алѣетъ затылокъ мясистый, словно окорокъ. Чѣмъ дальше купецъ идетъ, все шагу подбавляетъ, потомъ совсѣмъ, почитай, бѣгомъ пустился.

А тарантасъ отъѣхалъ малость, завернулъ за уголъ да и сталъ, дожидается. И видитъ Степанъ-Малышъ, какъ его степенство изъ-за лавочки выскочилъ, сѣлъ въ тарантасъ и ямщика кулакомъ въ загривокъ.

Пыль столбомъ поднялась разомъ, закружилась, загромыхали гайки тарантасныя, замотали головами пристяжныя, взаскачь пустились. Только его и видѣли!

И не понимаетъ Степанъ-Малышъ, что такое это происходитъ передъ его глазами. Да спасибо дядя Василій подошелъ тутъ. Онъ тоже все видѣлъ, тронулъ Степанова за плечо, усмѣхается.

— Съ хозяйкою имѣю честь проздравить, — говоритъ.— Вернулась, вишь, въ добромъ здоровьи, да никакъ еще и съ прибылью. Угощеніе, братъ, съ тебя теперь требуется!

Понялъ все Степанъ-Малышъ, разомъ это у него прояснило. Какъ ударится бѣжать черезъ весь городъ, прямо къ себѣ на хуторъ; потомъ остановился на полдорогѣ, уже за городомъ, назадъ озирается,—все ему кажется, что гонится за нимъ его Дунька. Нѣтъ, ничего, пустая дорога широкою лентою тянется, никто не бѣжитъ по ней, никто за нимъ не гонится.

Свернулъ парень въ сторону, отошелъ-было шаговъ съ десятокъ, да вспомнилъ, что у него за пазухой китайка Маринина лежитъ, вернулся.

«Отдать допрежь того надо,—думаетъ,—а тамъ...»

И не знаетъ мужикъ, что же это—тамъ? Что дальше изо всего этого выйдетъ, за что, про что это стало ему такъ тяжко, людямъ на глаза показаться совѣстно?

Да, вернулась-таки его хозяйка, Авдотья-распутница.

. . . . . .

А дядя Василій въ тотъ вечеръ такъ разсуждалъ въ трактирѣ «Барнаулъ», слыша, какъ Авдотья реветъ въ своемъ номерѣ, убивается...

— Извѣстно, иначе и быть не могло это дѣло!.. Что за важность!.. Ты говоришь вотъ: «бросилъ». Этакъ-то если бы всѣ бросали, разлюбезное дѣло было бы... Ежели таперича этотъ товаръ въ ту сторону требуется, назадъ въ Россею его везти никакъ не способно... Перво-на-перво тамъ своя ждетъ, законная, а другое—что и безъ нея добра этого тамъ достаточно, навозу-то... Опять же онъ, купецъ, не зря насъ кинулъ: довезъ до мѣста, въ добромъ здоровьи, прямо къ мужу доставилъ, одѣлъ барыней и еще три сотенныхъ на прощаніе пожаловалъ; самъ видѣлъ, какъ у ней на столѣ лежали... Чего же ей еще?.. А она вонъ реветъ коровою... Вся причина оттого, что мужа боится, назадъ къ своимъ вернуться совѣстится; да и ворочаться ей нѣтъ никакой надобности... сиди-себѣ, знай, здѣсь въ Казалинскѣ, поджидай: можетъ, еще кто другой навернется... А Степка, я знаю, онъ не изъ таковскихъ, онъ силою ея не потащитъ, черезъ начальство требовать не станетъ,—и самое ея теперешнее дѣло въ разлюбезномъ видѣ выходитъ... А она, ишь, реветъ, ишь, реветъ! Нѣшто пойти къ ней, поговоримъ маленько... Что, у ней изнутри не заперто?..

— Ничего, иди, можно,—говоритъ ему хозяинъ,—потолкуй... а то что проку! Въ моемъ заведеніи да такой ревъ... безобразіе!..

LIII. «Ревнивая».

Живо разошлась вѣсть о томъ, какъ купецъ Авдотью привезъ въ Казалинскъ, да и бросилъ, хозяину сдалъ по принадлежности...

Господа навѣдываться въ трактиръ «Барнаулъ» съ того же дня начали, будто такъ, за какимъ дѣломъ, а сами чтобъ посмотрѣть только: какова такая изъ себя эта барыня брошенная. Ничего себѣ: раздобрѣла на хорошихъ кормахъ, выправилась... одежа господская ей къ лицу пошла, лучше чѣмъ прежняя, деревенская; руки бѣлыя такія, должно, ничего не работали, и лицо оплыло маленько; глаза такіе веселые, волосы

свѣтлорусые, въ пучекъ на затылкѣ собраны, а на пучкѣ этомъ нашлепка какая-то изъ плетеной соломки, кругомъ лентами зелеными выложена, а по срединѣ перо торчитъ кверху красное... Вышла прогуляться по городу передъ вечеромъ, какъ наплакалась вволю; идетъ по улицѣ барыня-барыней и въ руку не сморкается, платокъ для того изъ кармана каждый разъ вытаскиваетъ... Въ лавку это вошла, капаусу на капотъ купила, размѣняла одну радужную...

Дядя Василій, какъ повидался съ нею, еще въ номерѣ, провожать-было вышелъ, да подошли тутъ изъ господъ двое, онъ и отошелъ въ сторону.

Про Степана Дунька ничего не разспрашивала, только когда Васька говорилъ ей, чтобы она на его счетъ не сумлѣвалась, не безпокоилась, она помолчала этакъ, подумала, да и переспросила еще разокъ:

— Вѣрно ли ты говоришь? Значитъ, не сердится? Я ему, пожалуй, пошлю одну сотенную на обзаведеніе...

— И совсѣмъ нѣтъ никакой въ томъ надобности!—сказалъ ей на то Василій, въ тотъ же разъ; а другой разъ, когда господа его отсадили назадъ маленько, онъ разсерчалъ, должно быть, вспомнилъ про давешнее, да и говоритъ:

— А и то правда, пошли ему сотнягу на его бѣдность; онъ то, пожалуй, оттреплетъ за косы передъ всѣмъ народомъ, значитъ, при публикѣ, шлыкъ-тѣ твой собьетъ на сторону...— Что же, ваше высокородіе, мы ничего, потому мы о своемъ дѣлѣ!—проговорилъ онъ, пятясь за уголъ, увидѣвъ, какъ одинъ изъ господъ брови что-то нахмурилъ, а другой за палку взялся...

Дошла вѣсть и до крестьянскаго хутора, самъ-же Степанъ первый сталъ всѣмъ разсказывать; только чудно, какъ онъ это разсказывалъ, сквозь слезы какъ будто, словно обидѣли его чѣмъ, вотъ онъ и жаловался.

Узнала и Марина, брови нахмурила, въ землю потупилась, да и говоритъ, злобы не скрываючи:

— Ну, чего поешь? Ступай къ своей, энтой, коли жалостливъ больно, чего тутъ-то плачешься...

Ошалѣлъ Степанъ отъ такихъ ея словъ, потому, во-первыхъ, что прежде того, еще дорогою, она совсѣмъ не такъ говорила про него да про Дуньку; а во-вторыхъ, видитъ: и впрямь сердится.

Пошелъ съ этого разговору въ поле, оттуда на огороды киргизскіе, тамъ и просидѣлъ до вечера, на рѣку глядючи, какъ по ней круги расходились широкіе, а посреди такъ кругомъ сомовьи головы показывались.

Подъ вечеръ домой вернулся. Марина у шалаша сидитъ, одежу чинитъ; Никона нѣту, ушелъ куда-то. Подошелъ это Степанъ, остановился, самъ глядитъ въ сторону... ни говорить что, не знаетъ, ни за дѣло какое приняться... Видитъ—снопъ лежитъ камышевый ровно какъ-будто не на своемъ мѣстѣ; взялъ переволокъ, куда слѣдуетъ; повернулся онъ къ Маринѣ спиной и чувствуетъ, какъ его такъ и прожигаетъ въ спину взглядъ, прямо на него направленный... Обернуться боится, а хочется, такъ-то хочется, что и не утерпѣть. Ну, была не была!.. Нѣтъ, Марина пристально внизъ, на иголку глядитъ, длинныя рѣсницы опущены, тѣнь отъ нихъ легла такая широкая... И видитъ Степанъ, какъ отъ этой тѣни по щекѣ внизъ побѣжало что-то, прокатилося до подбородка до самаго, а оттуда на ожерелье стеклянное капнуло...

Отвернулся Степанъ, силы нѣтъ глядѣть, сердце на части разрывается, опять за снопъ ухватился... Слышитъ:

— Степа!

Тихо такъ, словно не человѣкъ вымолвилъ, вѣтерокъ колыхнулъ камышъ, а то и того легче.

Обернулся опять—нѣтъ Марины; стоитъ она въ глубинѣ шалаша, у самой далекой стѣнки, а работу свою на порогѣ бросила.

«Идти аль нѣтъ?»—думаетъ парень и кругомъ по сторонамъ боязно оглядывается, словно воровать что собирается...

— Степа!—повторила опять Денисова внучка; сама такъ покойно глядитъ на него, словно даже строго маленько. — Поди сюда... Ну, иди же!..

Подошелъ Степанъ къ двери, остановился, концы своихъ лаптей разглядываетъ.

— Сюда иди, ближе!..—говоритъ дѣвка, а сама вся, какъ румяна, разгорается, и грудь ея высокая такъ и колышется, такъ и поднимается.

— Скажи ты мнѣ правду,—говоритъ Марина,—да безъ утайки, какъ передъ крестомъ говори; помни: обманешь, солжешь—не проживешь и сутокъ, свернетъ тебя въ три погибели... Говори же правду, истину...

— Я передъ тобою, Марина Денисьевна...—началъ было Степанъ,—все одно какъ, то-есть... — да и замялся, языкъ что-то не ворочается, подъ сердце подступило, дышать не даетъ вольно.

— Ты ее любишь... шибко?.. — глухо такъ промолвила Марина.

— Дуньку-то?

— Ну-да, ее... говори скорѣе! Не томи, чего тянешь? Говори ужъ прямо...

— Нѣтъ, не люблю... совсѣмъ и позабылъ и думать,— заговорилъ Степанъ, — чтобы мнѣ съ этого мѣста не сойти, коли лгу, чтобы мнѣ...

— Не божись, и такъ повѣрю... А коли она прійдетъ теперь къ тебѣ да въ ногахъ валяться станетъ, прощенья просить, что тогда—простишь, помилуешь?..

— Что ей у меня прощенья просить, — задумчиво такъ заговорилъ Степанъ,—ни въ чемъ она передо мною не повинна... Господь съ ней... Я на ней никакихъ себѣ обидъ не считаю, а ежели передъ людьми мнѣ совѣстно, такъ это ужъ, значитъ, такъ, народъ такой, что зубы охочь скалить... Нѣтъ, Богъ съ ней!

— Ну, а кто лучше: я или она?—не проговорила путемъ, а просто зубами скрипнула Денисова внучка и пошатнулась напередъ.

Рукою за шею свою взялась, монисто растягиваетъ, будто тѣсно оно ей и душитъ. Ниточка одна лопнула, стеклышки на полъ посыпались. Не замѣчаетъ этого Марина, не замѣчаетъ и Степанъ, и не знаютъ они, какъ это такъ случилось, что ужъ не стоятъ они другъ противъ друга, а сидятъ рядкомъ, плотно обнявшись.

— Своими руками задушу... — говоритъ Марина, крѣпко обнимая парня,—и тебя задушу, и ее тоже, если узнаю, что... Желанный мой, голубокъ сизый...

— То-есть, во какъ! — потряхиваетъ кудрями Степанъ-Малышъ и еще того крѣпче ее стискиваетъ.

И не видятъ ничего парень съ дѣвкою, кромѣ какъ другъ друга, не видятъ даже, какъ въ дверяхъ Никонъ стоитъ да на нихъ смотритъ въ оба.

Хрустнула на порогѣ какая-то вѣточка; вздрогнули они... похолодѣли инда.

— Чу-ко-сь, никакъ идетъ кто-то? Подъ ногою хрустнуло...—отшатнулась Денисова внучка.

Но никого теперь въ дверяхъ не видно было, никого и около не было... должно быть, имъ показалось что, они и встревожились...

. . . . . .

Въ эту ночь Никонъ и вовсе не приходилъ домой... Ждала его, ждала Марина съ ужиномъ, свѣтать начало, когда спать легла, только сна у ней этого не было... Не спалъ и Степанъ-Малышъ, лежа на дворѣ навзничь да на звѣздочки глядючи... Солнце вставать стало, поднялись они оба.

Пришелъ тутъ и Никонъ, осунувшійся такой, сѣрый, пошатывается, словно выпивши, однако водкою не отдаетъ отъ него; да и голоденъ мужикъ—не то что гдѣ бражничалъ; такъ навалился на лапшу вчерашнюю, холодную, что инда за ушами потъ выступилъ. Говоритъ—у купца сидѣлъ знакомаго, а потомъ за рѣку ѣздилъ, да челнокъ снесло внизъ далеко, вотъ всю ночь съ нимъ и проваландался...

Завалился спать Никонъ, поѣвши до-сыта, закрылся съ головою полушубкомъ, даромъ, что теплынь стояла такая, что хоть нагишомъ ходи. Такъ и проспалъ далеко за полдень, благо работы особенной, спѣшной въ ту пору не было.

— Все онъ видѣлъ!—поняла скоро Марина Денисьевна и глядѣла потомъ прямо въ глаза Никону, ни разу не потупилась.

Ничего зато не понялъ Степанъ-Малышъ, и какъ только глазами встрѣтится съ обознымъ старостой, просто дѣть ихъ куда, не знаетъ, не вѣдаетъ. Сказалъ бы тому спасибо, кто бы ихъ въ ту пору ему гвоздемъ выкололъ...

. . . . . .

А изъ-за Дуньки Степановой на той же недѣлѣ двое господъ разодрались до крови, и пока тѣ орудовали, уѣхала она опять по знакомой дорогѣ, въ Ташкентъ, съ акцизнымъ чиновникомъ.

LIV. Прибыльныя дѣла Василія Іоныча.

Шибко зашагалъ въ гору дядя Василій, другимъ, глядя на него, даже стало завидно, не всѣмъ, конечно, а многимъ. Были и такіе даже изъ этихъ завидующихъ, что давно уже, лѣтъ по десяти жили въ этихъ краяхъ, всякія дѣла обдѣлывали,

большими оборотами орудовали, а не успѣли столько загрести жару, какъ дядя Василій, безъ малаго два года всего сюда пожаловавшій...

На базарѣ да въ трактирахъ, гдѣ спервоначала его Василіемъ кликали, а то и по-просту Ваською, теперь уже и не величали иначе, какъ Василіемъ Іонычемъ, купцомъ, а киргизы, народъ темный, въ чинахъ несвѣдующій, тѣ его за начальство считали, потому разъ видѣли, какъ онъ съ самимъ Головымъ въ дрожкахъ проѣхался.

Богатъ сталъ дядя Василій, только богатство его было непоказное, въ глаза не лѣзло. Ходилъ онъ очень чисто, даже щеголевато, это правда: кромѣ цвѣтныхъ канаусовыхъ, другихъ рубахъ и не носилъ; поверхъ рубахи поддевочка-безрукавка была надѣта изъ тонкаго синяго сукна съ серебряными кучерскими пуговицами, а поверхъ всего архалукъ азіатскій, стеганый, а то просто халатъ верблюжій или суконный черный; шапка дорогая, барашковая, изъ черныхъ каракульскихъ смушекъ, двадцать рублей ежели дать—недорого; штаны кожаные, шелками шитые, а сапоги выше колѣнъ, смазные, выростковые, съ подковками. На поясѣ ременномъ съ бляхами кисетъ съ табакомъ висѣлъ, огниво, ножъ, да еще не одинъ, и пистолетъ-револьверъ за-всегда носилъ съ собою (горнисту гарнизонному три рубля отдалъ, чтобъ только стрѣлять изъ него научилъ да разбирать для чистки эту хитрую штуку).

— Очень способно,—говоритъ дядя Василій,—по здѣшнему мѣсту на всякій случай имѣть,—особливо по моему, по сиротскому положенію...

Жилъ мужикъ все въ той же кибиткѣ, только перенесъ ее поближе къ городу, съ того времени, какъ изъ слободки всѣ наши въ поле выселились. Только войлокъ онъ перемѣнилъ верхній да коврами хивинскими все нутро выложилъ; посуду всю завелъ киргизскую, ѣлъ, однако, ложкою, по-нашему, а только ежели гдѣ случалось въ гостяхъ, у бія какого-нибудь степного, то не хуже косоглазыхъ всею пятернею работалъ,—научился и этому...

Лошадей держалъ при себѣ трехъ: двухъ для себя подъ верхомъ, одну для Маметки. Хорошихъ лошадей завелъ, такихъ, что поискать надо; особенно одинъ жеребецъ былъ у него: росту—что твой верблюдъ, вороной, какъ уголь, безъ всякой

отмѣтины; гдѣ купилъ такого—не сказываетъ; а давали ему казачьи офицеры четыреста рублей серебряныхъ—не беретъ.

— Я бы,—говоритъ,—самъ вашимъ благородіямъ за такую лошадь полтысячи отвалилъ бы, не пожалѣлъ, коли-бъ у васъ нашелъ, а то и больше накинулъ бы, вотъ что!

И знали всѣ, что Василій Іонычъ не бахвалился по-пусту, не сулилъ того, чего въ карманѣ не водится, а запустилъ бы руку въ кошель и выволокъ бы оттуда, что требуется.

Говорили про него, будто видѣли, какъ онъ мѣшокъ съ тремя стами хивинскихъ червонцевъ пересчитывалъ, говорили также, что въ Куссъ-баевскихъ аулахъ до пяти тысячъ его собственныхъ овецъ считается, говорили, что въ караванъ, проходившій на позапрошлой недѣлѣ, купца Кукишина, онъ своихъ собственныхъ тоже верблюдовъ поставилъ, безъ четырехъ—сто головъ... Говорилъ онъ и самъ, будто Головъ у него, безъ росписки, призанялъ тысченку,—это тогда, когда въ дрожкахъ съ нимъ по базару проѣхался.

И охотно вѣрилось всему, что только ни говорилось, потому—на правду дѣло шибко смахивало.

Маметка все еще состоялъ при дядѣ Василіи, въ той же должности, только какая это должность такая—про то никто не зналъ, не вѣдалъ. Кто изъ чужихъ, считалъ его приказчикомъ Василія Іоныча; по бумагамъ онъ купцомъ считался хивинскимъ и подданнымъ тамошняго хана, а не нашимъ. Чудно тоже Маметка къ купечеству этому приписался... Пришелъ изъ Россіи вмѣстѣ съ обозомъ, безпаспортнымъ бродягою, родомъ изъ Чебоксаръ, а тутъ вдругъ, на, поди, хивинскій купецъ сказывается и бумагу на то званіе отъ хана, куда слѣдуетъ, представилъ; все въ той бумагѣ указано правильно, писано вѣрно, самъ переводчикъ по письменной части сказывалъ: печати ханскія; круглая, большая, и поменьше, сердечкомъ, на своемъ мѣстѣ приложены; бумага та въ трубочку сворочена и шнуркомъ краснымъ перевязана, а не такъ, какъ наши паспорта, лепешкою, въ восьмую долю сложены.

Ни отъ кого, ни отъ чего теперь нашъ хивинскій купецъ не прячется, а торговли его тоже никакой не видно: когда дома, все при дядѣ Васильѣ треплется—самоваръ ему ставитъ, лошадей поитъ, чиститъ, сѣдлаетъ, сзади да около рыскаетъ.

— Онъ у меня агентомъ по торговой части состоитъ, по

степному отдѣленію,—сказываетъ про него всѣмъ Василій,— и на посылкахъ къ хану хивинскому служитъ, потому у меня и тамъ всякія дѣла заведены...

И точно, недѣли по три подъ-рядъ пропадаетъ ину пору Маметка-татаринъ, должно-быть, и вправду на Аму-рѣку ѣздитъ, а то бы куда ему дѣваться?— По степи тоже знали бы, если бы тутъ трепался, а то ничего не говорятъ, не слышно что-то...

Отъ нашихъ крестьянъ и дядя Василій, да и Маметка его тоже совсѣмъ, почитай, отстали, рѣдко когда и на хуторъ ихъ заглядывали. А отстали они по той причинѣ, что съ тѣхъ, кто на Косъ-Аралѣ батрачатъ, съ тѣхъ ужъ взятки гладки—гольгольемъ стали и впереди ничего путнаго не видѣли, а около тѣхъ, что при Никонѣ держались, — тоже не рука была возжаться: зорко Никонъ поглядывалъ, а съ этимъ медвѣдемъ дядя Василій порѣшилъ больше не связываться.

Порѣшилъ же онъ это съ мѣсяцъ тому назадъ, съ одного только слова Никонова; и очень ужъ это слово на дядю Василія подѣйствовало, такъ сразу и отрѣзало.

Задѣлъ Васька какъ-то Никона на базарѣ:

— Здорова-ли хозяйка?—спрашиваетъ.—Степка съ тобою, аль дома остался?

Инда кровь въ голову ударила Никону отъ вопроса этого, побагровѣлъ весь, а потомъ побѣлѣлъ, ровно стѣна штукатуренная; духъ перевелъ, да и говоритъ, не громко, а этакъ вполголоса, чтобы не всѣ слышали:

— Лучше ты меня, Василій Іонычъ, не трогай, да о нашихъ забудь, потому я тѣ это приказываю, а не послушаешь— не пеняй... Доносчикомъ до сей поры не былъ, а, пожалуй, стану; что хорошаго?

Поглядѣлъ на него пристально дядя Василій: инда губа у него нижняя отвисла маленько.

— Про что ты говоришь? — спрашиваетъ. — Какъ твои слова понимать я теперь долженъ?

— А какъ знаешь,—говоритъ Никонъ,—такъ и понимай. А то хвосты прячь куда подальше, чтобы кто ненарокомъ самъ не наткнулся...

— Ври больше! — усмѣхнулся Василій, только не больно весела усмѣшка эта вышла, и отъѣхалъ отъ Никона подальше. Съ той поры вотъ и отсталъ совсѣмъ... Значитъ, подѣйствовало...

Только въ головѣ Васильевой теперь еще одною думою больше стало; и первымъ дѣломъ, въ ту же ночь, они съ Маметкою вдвоемъ отлучились изъ дому; куда ѣздили — неизвѣстно, а утромъ видѣли ихъ только около того мѣста самаго, гдѣ Степанъ съ бабами, по-веснѣ, камышъ для шалашей своихъ рѣзали.

LV. Страшные вѣстники.

Самый полдень былъ... Жарко такъ пекло солнышко; колибы не вѣтеръ со степи, просто дышать бы невозможно было. Птица вся притаилась даже, и не видно ея, и не слышно, вся въ густую траву да кусты забилась, въ нихъ запряталась; только кулички неугомонные да рыбалки надъ рѣкою носятся. А рѣка течетъ такая мутная, глинистая, тихо у береговъ плещется, подмываетъ глинистые обрывы и несетъ съ собою все, что захватить ей подъ силу: щепу, камышъ сухой, сѣна клокъ, доску какую-то старую, всю сгнившую... а на доскѣ той ужъ водяной пріютился, выползъ на нее, развернулъ кольца, да такъ и лежитъ въ растяжку, на солнышкѣ грѣется... И серебрится его брюхо издали, словно тонкій клинокъ отъ сабли сверкаетъ; только головка у этого клинка быстро туда и сюда пошевеливается, паучка водяного, смуняка какого-нибудь высматриваетъ.

Бѣгутъ по небу клочковатыя облачка бѣлыя, шибко бѣгутъ, а на самомъ низу, тамъ, гдѣ даль синею полосою съ моремъ сходится, вмѣстѣ сливаются и клубятся тамъ, словно въ тучи собраться хотятъ, грозой разразиться надъ высохшею, горячею степью...

Притомились киргизы-работники на своихъ бахчахъ береговыхъ, тѣхъ самыхъ, гдѣ Никонова водоподъемная машина стояла, пошабашили съ работою и залегли въ тѣнь отдыхать до вечера... А тѣни той, благодаря колесу водоподъемному, стало достаточно; насыпи выведены вонъ вѣдь какія, густой бурьянъ, въ ростъ человѣка, выросъ у ихъ подножій, желоба широкіе сверху, словно крыша, раскинулись; тутъ вотъ и легли отдыхать киргизы-работники, потому въ такомъ мѣстѣ много чѣмъ въ шалашѣ прохладнѣе.

Трое спятъ уже, четвертый не спитъ, все ворочается; и слышитъ этотъ четвертый, будто кто-то кричитъ съ того бе-

рега; зоветъ словно какъ-будто, да и лошадь ржетъ, а въ откликъ ей другая гдѣ-то подальше отзывается.

Вылѣзъ киргизъ изъ-подъ желоба, приставилъ руку къ глазамъ, приглядывается... Блеститъ на солнцѣ водная гладь, дрожитъ воздухъ накаленный, а съ нимъ и камышъ на томъ берегу, и обрывъ песчаный, и отмель съ чайками,—все дрожитъ и волнуется, ничего не видно, сразу-то на свѣтъ глядючи...

Однако приглядѣлся киргизъ: видитъ—вершникъ изъ камышей выѣхалъ, сталъ на самомъ берегу, руки приставилъ ко рту трубою, кричитъ... А вѣтромъ отшибаетъ его голосъ въ сторону, ничего не слышно, словъ не разберешь, то-есть...

Вонъ еще вершникъ выскочилъ... Шибко гналъ, должно-быть: лошаденка вся мокрая, хоть выжми, и сѣдло все растрепано... Вотъ еще одинъ пробирается... тоже усердно коня нахлестываетъ, торопится... Выбрались всѣ къ берегу, орутъ теперь всѣ трое вмѣстѣ.

— Ничего не слыхать!—гаркнулъ имъ киргизъ съ этого берега; его, однако, услышали, рукой машутъ, назадъ что-то показываютъ...

Вотъ одинъ свистнулъ лошаденку нагайкою, та встрепенулась да съ обрыва прямо въ воду. Нырнула сразу вмѣстѣ съ всадникомъ—широко разступилась вода, высоко кверху брызнула... Вотъ на ея поверхности опять голова конская показалась, за нею другая, человѣчья... Смыло водою съ сѣдла всадника, однако тотъ справился, за хвостъ успѣлъ схватиться; лошаденка плыветъ къ этому берегу и хозяина своего вытаскиваетъ. Тѣ двое, что остались, по берегу шагомъ ѣдутъ, спуска отыскиваютъ; вбродъ пошли уже, потомъ поплыли...

Шибкимъ теченіемъ въ сторону относитъ... вонъ задержались-было на мели, опять сорвало ихъ... а все къ берегу этому ближе подвигаются; скоро кони подъ ногами дно ощупаютъ; вотъ уже тронули, справились... выбираются... выбрались...

Только были они на томъ берегу какъ-разъ противъ водоподъема, а вылѣзли на этотъ безъ малаго полверсты ниже.

Течетъ вода съ хвостовъ да съ гривъ конскихъ, съ халатовъ отрепанныхъ киргизскихъ. Поскакали сюда, пыль подняли густую. Скачутъ прямо, дороги не разбираютъ: вонъ бахчею,

прямо по арбузной зелени топчутся, вонъ черезъ загородь прыгаютъ... Должно-быть, что важное везутъ, коли такъ торопятся.

— Аманъ! — кричатъ имъ наши киргизы; всѣ уже проснулись и повылѣзли.

— Аманъ, аманъ!—кричатъ разомъ всѣ трое изъ-за рѣки прибывшіе. — Бій Рустемъ-бекъ прислалъ. «Саранча идетъ». Готовься!..

— Вой, вой!—завыли наши киргизы. — Большая саранча идетъ? Откуда?—спрашиваютъ.

— Земли не видно подъ нею,—говорятъ киргизы съ того берега, — глазомъ не окинешь, гдѣ она начинается, гдѣ кончается. Передъ нею, говорятъ, степь зеленая, а за нею пыль только столбами по голому мѣсту носится... Бій прислалъ сказать, чтобы здѣсь готовились, черезъ воду ее не пускали-бы...

— Скоро придетъ?—спрашиваютъ.

— Либо сегодня ночью, либо завтра къ утру ждать надо, коли что задержитъ,—завтра къ вечеру. Поскакали мы сюда, она только что подходила къ нашимъ «рангджоямъ» *). Вы, счастливые, успѣете приготовиться, а на насъ саранча, гнѣвомъ Аллаха, нежданная, негаданная накинулась...

Сказали это все гонцы Бія Рустемъ-бека и дальше, въ городъ поскакали; а наши киргизы, первымъ долгомъ, послали оповѣстить Никопа и мужиковъ на хуторѣ, и къ Габину, Ивану Александровичу, поскакалъ гонецъ тоже, а прочихъ огородниковъ забыли. Больно они ужъ солоны достались киргизамъ, сосѣди эти; хлопотать для такихъ не хотѣли.

LVI. Саранча.

Быстро разнеслась страшная вѣсть по всей окрестности; все поднялось на ноги, все закопошилось. На крѣпостномъ валу барабанщики даже тревогу ударили, и высыпали на крѣпостной дворъ сѣрые солдатики, стали строиться

Никопъ, какъ услыхалъ про саранчу, оторопѣлъ сперва-началу, — оторопѣли и прочіе мужики; бабы, понятное дѣло сейчасъ выть стали.

---

*) Особый видъ степной осоки, съ длинными ползучими корнями, называется „рангъ“. Мѣстности, покрытыя этою растительностью, называются „рангджои“,—это лучшія пастбища для скота, и киргизы очень дорожатъ ими.

— Мы въ сторонѣ, — вымолвилъ Никонъ, — авось, насъ Господь Богъ помилуетъ, минуетъ...

— Какое въ сторонѣ!—говорятъ киргизы.—Вы люди новые, можетъ, еще про саранчу не знаете, что это за бѣда такая, такъ вотъ насъ сюда прислали указать вамъ, какъ отъ нея оберегаться надо. Мы тутъ съ вами останемся...

— Спасибо!—говоритъ имъ Никонъ.

— Что-же мы теперь дѣлать будемъ?—толкуютъ мужики.—Она, саранча эта, сказывали, все, какъ есть, пожрать норовитъ, начисто, значитъ...

— Дастъ Богъ, управимся!

— Мы вамъ еще народу пригонимъ со степи,—говорятъ киргизы,—здѣсь коли задержимъ, она и до нашихъ покосовъ не доберется, нашего камышу не тронетъ. Это идетъ *пѣшая*, а пѣшую легче задержать, чѣмъ крылатую: ту ужъ и не трогай; гляди на нее да молись Аллаху; потому все въ его волѣ, а человѣку тутъ и рукъ своихъ приложить не къ чему!

Ускакали киргизы, а черезъ два часа, не больше, человѣкъ за сто привалило со степи къ полямъ крестьянскимъ; съ лопатами да китменями прибѣжали, хворосту натащили, бурьяну сухого, приготовляться начали.

Весь городъ всполохнулся. Все, отъ мала до велика, на берегъ высыпало и унизало этотъ берегъ живою, волнующеюся цѣпью.

Широкая рѣка легла, повидимому, непреодолимою оградою; авось-либо люди, съ помощью рѣки, сладятъ съ подступающей бѣдою, только бы на этотъ берегъ не дать ей перекинуться.

Пѣшая саранча—это такая, у которой крылья еще не выросли, ползетъ она и прыгаетъ по землѣ густою массою, все зеленое на ходу своемъ поѣдаетъ, потому, во-первыхъ, что она очень прожорлива въ эту пору бываетъ, а во-вторыхъ, ея столько, что и счесть нельзя, если бы считать даже не поштучно, а сотнями тысячъ. Бываетъ въ здѣшнихъ мѣстахъ такъ, что когда идетъ *пѣшая*, то въ ширину ея колонны верстъ на пять разстилаются, а въ глубину, отъ переднихъ до заднихъ, десятки верстъ укладываются. Цвѣту она красновато-бураго, и далеко видны покрытыя ею пространства. Подвигается она впередъ медленно, — хоть за это спасибо: по крайней мѣрѣ, вѣсть о нашествіи далеко ее опережаетъ, люди

приготовиться успѣютъ. Хоть не все сберегутъ отъ погибели, все-таки кое-что и уцѣлѣетъ.

Будь каждый годъ это бѣдствіе, не стоило бы и руки томить, за землю браться; слава Богу, что хоть не часто саранча появляется. Послѣдній разъ вотъ передъ нынѣшнимъ ее въ Казалинскѣ только семь лѣтъ тому назадъ видѣли.

Свезли на берегъ камышу сухого, всякаго топлива горы цѣлыя наготовили. Наложили костры въ два ряда, такъ что костры второго ряда въ промежутки первымъ приходились. Берегъ, гдѣ только отложе въ воду спускался, вездѣ подрывать обрывомъ начали. Вынесли котлы чугунные, тазы мѣдные, рожки, погремушки, все, что нашлось у кого, чтобы шуму побольше было. Это тоже помогаетъ дѣлу, только плохо.

На помощь огородникамъ вывели солдатъ цѣлый батальонъ изъ крѣпости, съ ружьями и патронами холостыми, двѣ пушки выволокли; одну дотащили до берега ничего, благополучно, а другую дорогою бросили: колеса у ней разсохлись, ну, и разсыпались, какъ только съ мѣста ее тронули, провезли малость. При пушкахъ особые пришли солдаты, мѣшокъ съ порохомъ притащили. Всѣ ребятишки сбѣжались, толпятся кругомъ, рты разинувши, ждутъ не дождутся, какъ это она, *энта горластая*, ухать начнетъ. То-то, чай, для малыхъ ребятъ занятно!

— Вы, братцы, кавалеры, пороху-то не жалѣйте, по самое жерло набивайте! — просятъ огородники солдатиковъ, что при пушкѣ.—Она отъ того громче долбанетъ. Ба-бацъ! То-есть, во какъ!

— Поди тоже разнести ее можетъ на части, — толкуютъ другіе, познающѣй.—Тутъ тоже мѣра требовается, препорція. Зря невозможно!

— Чаго невозможно: она мѣдная, крѣпость вишь какая, не уколупнешь!

— Да вотъ ты, землякъ, тоже крѣпокъ,—шутятъ солдатики, — а поди, чай, больше полведра въ себя не вливаешь водки, осторожность соблюдаешь... ась?

— Ишь, къ чему приравнялъ... Робята, идетъ!..

— Что, гдѣ?

— Эвося! То что? Никакъ *она* по кустамъ пробирается... Смотри, смотри!..

— Ошалѣлъ! *Ее*, братецъ ты мой, не увидишь отсюдова; не опомнишься, какъ она то сразу... А это что, это такъ, вѣтерокъ колыхнуло, оттого и шевелится...

— Огурчики вы мои милые, — голосить баба-казачка,— только квѣтъ пошелъ настоящій—погубитъ васъ, пожретъ эта нечисть распроклятая. Сердечные вы мои, холеные, поливанные!

— Четыре ведра воды и по полтиннику на рыло, коли мои отстоите! — сулитъ громогласно такъ Савва Вуколычъ, и далеко въ толпѣ его голосина слышится. Самого не видать за народомъ, а слышно явственно, какъ онъ это командуетъ.

— Двѣ роты на казенный огородъ отдѣлить! — пріѣхало какое-то верховое начальство и повело съ собою часть солдатъ опять назадъ, черезъ городъ, къ комендантскому саду.

Выѣхалъ Иванъ Александровичъ на дрожечкахъ и мигомъ проскакалъ по берегу вдоль всей оборонительной линіи. Ѣдетъ да на костры заготовленные поглядываетъ.

— Мало,—говоритъ,—ребята, сложили—не надолго огня хватитъ. Бѣгите вонъ къ моимъ кирпичнымъ заводамъ, весь кирпичъ волоките оттуда, мнѣ его не жалко. Да смотри, не зажигай рано, чтобы не сгорѣло попусту. Когда сигналъ ждите, тогда уже; а те, Боже васъ упаси, все дѣло погубите...

— Ужъ мы тебя будемъ слушать. Тоже прошлый разъ покаемъ: тебя тогда не послушались, дрянь было вышло!

— Иванъ Александровичъ, а Иванъ Александровичъ, слушь! Какъ мы, то-есть, одно слово, ежели насчетъ зализки... съ нашимъ удовольствіемъ... потому мы согласны... Савва Вуколычъ четыре ведра... Ур-ра!.. Многая лѣта...

— Нарѣзались уже, свиньи! — проворчалъ Иванъ Александровичъ и тронулъ лошадку рысцою; запрыгали дрожечки по старымъ грядкамъ, забренчали своими гайками.

Головъ пріѣхалъ послѣ верховыхъ; одѣлся какъ на войну, пистолетъ даже прицѣпилъ сбоку и трубку захватилъ подзорную.

Отецъ Иванъ пришелъ, съ нимъ дьячекъ съ кропильницею и эпитрахиль, свернутая, у него подъ мышкою.

— Пожарная команда гдѣ? — спрашиваютъ.—Сейчасъ ее сюда! Пожарную команду! Что ей тамъ въ городѣ безъ дѣла сидѣть... Послать верхового за пожарною командою...

Послали верхового казака; часа черезъ полтора пожарная

команда собралась и пригнала четыре бочки, полдюжины багровъ, веревку съ крюкомъ, другую безъ крюка, а трубы нѣтъ— «занята», сказываютъ, «лазаретные капустники поливаетъ».

Простояли такъ всѣ весь вечеръ, до темной ночи. Теперь еще страшнѣе стало, ежели ночью нагрянетъ. Никто домой идти не рѣшается.

— Она не идетъ ночью; чай, поди, тоже спитъ на мѣстѣ, а вотъ къ утру—это первое дѣло, тутъ она съ голодухи сразу и насядетъ!

— Не успѣемъ собраться,—лучше ужъ здѣсь и заночуемъ, на мѣстѣ. Вѣрнѣе дѣло будетъ!

Такъ и порѣшили, чтобы никому домой не идти, ночевать на берегу, чтобы и сторожей на тотъ берегъ выслать. Послѣднее дѣло самое лучшее было. Вызвались охотники, человѣкъ десятокъ, подали имъ вельботъ казенный и перевезли на ту сторону.

— Прощайте, братцы!.. Ого-го-го!—кричатъ они съ того берега.—Кланяйтесь нашимъ!

— Прощай!—ревутъ съ этого.

— Водки вышлите побольше, потому холодно!

— Ладно, съ водкою-то и саранчу проглотите; сиди такъ, гляди въ оба! Робята, темно, бабы не видятъ, давай купаться. Ныряй, Максимка, прохвостъ! Ну, те, къ дьяволу, легче!..

— И сколько теперь рыбы собралось здѣсь, противъ этого мѣста, страсть!—говоритъ въ сторонѣ бывалый солдатикъ изъ отставныхъ;—Первое дѣло сазанъ, потомъ осетеръ, рыба хитрая, потомъ сомъ усатый. Всѣ онѣ теперь большую себѣ выгоду чуютъ; какъ саранча пойдетъ черезъ, они ее и давай цапать, давай цапать, отмѣнный самый скусъ послѣ того осетрина имѣетъ, супротивъ другой вдвое дороже брать надо, и жиръ у ней пойдетъ те сейчасъ въ желтизну съ прозеленью...

— Значитъ, жретъ она ее, рыба-то?

— Жретъ, потому это ея первое продовольствіе, — настоящая пища. Вотъ она ее и чуетъ!

. . . . . .

Всю ночь тоже даромъ простояли, разсвѣло совсѣмъ, солнце поднялось, — не показывается саранча, да и только. Надоѣло всѣмъ ждать напрасно, стали расходиться мало-по-малу.

— Наврали киргизы, посмѣялись только, вотъ и все; а мы вишь, какой переполохъ надѣлали!

— Можетъ, въ сторону взяла; это случается, а можетъ, назадъ перевернулась!

— Она назадъ никогда не ворочается; вѣрнѣе, что наврали косоглазые. Антихристы!

Вотъ, однако, еще прискакали гонцы съ того берега, говорятъ: близко! Всѣ снова на свои мѣста вернулись, опять горячку запороли. Были такіе, что уже зажигать костры собрались, да ихъ удержали во время—«погоди, говорятъ, не спѣши, чего торопишься... сказывали: жди общаго сигнала»!

Около полудня и наши охотники вернулись, говорятъ:

— Ну, братцы, и валитъ же *ея* сила несмѣтная! Сами видѣли: совсѣмъ близко; вотъ сію минуту покажется... гляди, гляди... вонъ она и есть!..

Всѣ духъ затаили, замерли. Тихо такъ стало на этомъ берегу, шепотомъ другъ съ другомъ переговариваются, глазъ не сводятъ съ того берега.

Звучно такъ расходятся въ этой тишинѣ рыбьи всплески, звучно кивикаютъ чайки въ воздухѣ; слетѣлось ихъ много что-то; удивляются, должно-быть, что это народу столько сюда собралось. Розовые скворцы цѣлыми стаями по тому берегу носятся, съ мѣста на мѣсто пересаживаются, тоже добычу свою чувствуютъ.

И все это живое: и человѣкъ, и рыба, и птица,—все это противъ саранчи ополчилось, а та идетъ себѣ впередъ, знать ничего не знаетъ. Только и дано ей разуму отъ Господа, что идти впередъ и жрать, что только на пути встрѣтится. Страшна, могуча, эта слѣпая, глупая сила, и сама она своего могущества не вѣдаетъ,—претъ, да и только.

Вонъ впереди за водою сѣрая лента глинистаго обрыва виднѣется, на ея гребнѣ торчатъ, частою зеленою щеткою, камыши молодые, узловатые корни, водою подмытые, мохнатою бахрамою спускаются.

Словно тучка набѣжала на солнце, и потемнѣло сразу все, что впереди виднѣлось; потомъ бурѣть начало, словно кровь просачивается изъ сѣроватой глины; заколыхались, качнулись упругіе стебли, толще стали, шаршавѣе; вотъ и корни сплелись вмѣстѣ, слились въ одну общую красноватую ленту. Грязная пѣна заклубилась у самаго берега. Бурлитъ и шумитъ волна и дальше, все дальше къ серединѣ рѣки подступаетъ.

Это начали спускаться съ берега въ воду несмѣтныя полчища насѣкомыхъ.

Стали тонуть переднія, на нихъ навалились заднія; эти тонули—на нихъ сверху все прибывали новыя. Клубомъ свернулась вся масса и поволокло ее внизъ теченіемъ. А все-таки она къ нашей сторонѣ подвигалась все ближе и ближе.

Словно плотъ живой черезъ рѣку перекинулся, плотина перегородила быстрое теченіе.

— Зажигай!—пронеслась команда вдоль по всей линіи.— Зажигай разомъ, живо!

Затрещалъ сухой камышъ, высоко взвилось красное пламя. Загорѣлась первая линія костровъ, за нею сейчасъ же вторая вспыхнула.

Цѣлая огненная стѣна выросла на этомъ берегу и закрыла собою огороды и бахчи. Тамъ солдаты палить изъ ружей начали, все залпами; инда вздрогнули всѣ, какъ пушка рявкнула.

Бабы, ребята трезвонить начали. Мужики съ длинными жердями обгорѣлыми костры ворошили, новое топливо подбрасывали.

Шипятъ эти костры, тухнутъ все. Вонючій дымъ поднялся, черный такой.

— Караулъ, батюшки! — Топлива не хватаетъ — гасятъ, переваливаютъ.—Камышу тащите!—послышались тамъ и сямъ отчаянные, испуганные такіе крики.

Ничего въ этомъ вонючемъ дыму не стало видно... всѣ огороды затянуло имъ; отхлынулъ народъ растерявшійся, кафтанишки да халатишки свои опаливши... Отбѣжали, отряхиваются...

Стали гаснуть костры. Тамъ и сямъ вырвутся изъ дыма длинные языки пламени, лизнутъ вверхъ, словно оторвутся снизу, и пропадутъ въ дыму... рѣже все да рѣже, меньше да меньше, — вотъ и совсѣмъ погасли, дымъ низомъ застлался... Пахнуло вѣтромъ, отнесло дымъ въ сторону—глядятъ на свои гряды огородныя казалинцы, да только рты пораскрывали. Все уже въ нѣсколько слоевъ саранчею завалило, — не видать ни одного зеленаго стебелька, ни одной былиночки, всюду кишитъ и ворочается бурая нечисть, а на томъ мѣстѣ, гдѣ костры горѣли, цѣлый валъ обгорѣлыхъ труповъ саранчи виднѣется...

страдомъ несетъ отъ этого вала, бѣги просто подальше, все равно, беречь больше нечего...

А черезъ рѣку все еще тянется живая плотина, все еще новыя массы на берегъ поднимаются, и конца не видно имъ, а начало ихъ безъ удержу все впередъ да впередъ расползается.

Никонъ видѣлъ все это; онъ тутъ пахо лся, все, что слѣдуетъ, у себя съ кирпизами устроивши. Какъ только замѣтилъ мужикъ, что у *берсовыхъ* неустойка, сейчасъ же бѣгомъ къ своему полю бросился, прибѣжалъ и велѣлъ костры на другія мѣста перетаскивать.

— Мы,—говоритъ,—такъ ся не удержимъ, коли поперекъ станемъ, а какскось сгонятъ ее будемъ, вотъ по этой канавѣ установимся.

— Дѣло, — сказали кирпизы, — «кочь-якши» (очень хорошо)... этакъ будетъ способнѣе!

Живо перетаскали костры, разложили ихъ такъ, что одинъ край всего ряда дымъ впередъ былъ, другой къ полямъ ближе; сарычъ и есть куда отъ огня сторонироваться, задѣть на перелетѣ нападывать не будутъ, гнать ихъ на огонь прямо не станутъ. Межъ кострами стали люди съ лопатами, отгребать чтобы сарычу, когда та прорываться станетъ...

Въ сторонѣ поля крестьянскія пришлись, по разсчету, какъ сказала баба; только краемъ своимъ она ихъ захватить могла, да край-то этотъ такой, что повозиться съ нимъ надо не мало, непуточный, и на сто полей такихъ хватило бы...

Свезли все, что только горѣть могло: солому, навозъ даже высохшій перетаскали...

«Погубитъ, проклятая, все дѣло наше,—думалъ Никонъ, и тоска его одолѣвать начала.—Теперь, поди, не скоро *ихъ* уломаешь за дѣло приняться, — будутъ все говорить: «на что, мосъ, намъ съ землею возиться, коли все добро разомъ можетъ черезъ этотъ дьяволъскій въ сторонѣ здѣшней пепакостить...» Эхъ, кабы удержать, уберечь бы... Владычица Небесная, подсоби, Заступница, подсоби, выручи, Матушка!»

— Держись, бабы! — кричала Марина, Денисова внучка, крѣпко стиснувши рукоять окованнаго заступа,—Зубами ухва-

тись, не пущай! Неужли же намъ супротивъ такого ..... прости Господи, не устоять!

— Зажигай!

Пришло и наше время съ саранчею схватиться... Сперва она рѣдко повалила, въ одиночку... Пока ея не жгли, а просто лопатами отбрасывали, ногами топтали, а тутъ сплошь подваливать начала, пришлось зажигать огни, *краснымъ пѣтухомъ огораживаться*... И у насъ стѣна огненная вспыхнула... Словно черти, сновали межъ костровъ киргизы полуголые... Орутъ по своему, взвизгиваютъ, гикаютъ... Мужики осатанѣли совсѣмъ, такъ въ огонь и лѣзутъ сами... Никонъ вездѣ поспѣваетъ, всюду его голосъ громкій слышится; Марина какъ труба трубитъ мѣдная: «не выдавай, бабы, да и полно!..»

Вотъ какъ разъ противъ середины, у самаго угла поля, стали гаснуть костры... Тутъ гуще хлынула саранча и стала заваливать ихъ своими тѣлами...

— Огня больше, камышу подкладывай!—кричалъ Никонъ, сбивая народъ къ слабому мѣсту.

А откуда взять этого камышу, весь вышелъ — бѣда! Прорвется въ одномъ мѣстѣ, все пропало!..

Рубаха на Никонѣ вспыхнула, тотъ сорвалъ ее съ себя клочьями... Въ бородѣ зашипѣло.

— Навались, навались! — кричитъ мужикъ, и голосъ у него охрипъ, самъ отъ дыма задыхается. — Огня, ребятки, огня, голубчики!..

— Разбирай шалаши! Чего встали?—догадалась Марина.— Разбирай до-чиста!

Бѣгомъ кинулась дѣвка къ своему шалашу, тряхнула его такъ, что сразу одна стѣна завалилась... Поволокли бабы камышъ да жерди, все, что только захватить успѣли... Въ самое время угодили, — минуточку бы еще попозже, и шабашъ былъ бы!

— Вали все въ огонь, вали все разомъ! Вотъ такъ! Сторонись, опалитъ!.. Го-го-го-го!

Ярко вспыхнуло широкое пламя... Наша взяла... А тутъ съ лѣваго края кричатъ:

— Осаживаемъ, братцы, осаживаемъ! — Попятилась, анафемская, подается!

— Гей «джирайда!» (ладно)... Ого! Джирайда!—засновали

киргизы. — Теперь, говорятъ, пойдетъ... Ее только своротить надо, а то ужъ она сама сюда не сунется. Якши! Якши!..

Много помогла дѣлу Никонова выдумка наискось костры положить: напоръ не такъ силенъ былъ, задерживать сподручнѣе... Какъ только взяло немного съ лѣваго ранга, такъ сразу полегче стало, и по кострамъ это замѣтно было: меньше тухли, и ярко горѣли они, особливо, какъ ихъ мѣстами разворачивать начали.

А тутъ смеркаться стало... Всю ту сторону, гдѣ солнце садилось, чернымъ дымомъ затянуло. Багровое такое спускалось въ дыму солнышко, словно пожаромъ всю степь охватывая... Уныло брелъ народъ городской съ берегу, по домамъ расходясь... Савва Вуколычъ на всю степь ругался.

Всю ночь стерегли у костровъ мужики и бабы свои поля, всю ночь шелъ по степи глухой гулъ и шелестъ: то ползли все дальше и дальше ненасытныя, несмѣтныя полчища; а къ утру только тамъ и сямъ виднѣлись одинокія, отсталыя... Птицы ихъ доклевывали, стаями надъ землею черною, оголенною носились, и глядѣли эти птицы, что за диковина такая, что вотъ же уцѣлѣлъ этотъ зеленый клокъ земли, одинъ посреди объѣденнаго поля, словно бархатъ цвѣтистый, въ черную раму оправленный...

Иванъ Александровичъ пріѣзжалъ на поле крестьянское, утромъ рано, навѣдаться; увидалъ, что цѣло, нетронуто.

— Ну, слава тѣ, Господи,—говоритъ.—А я было думалъ, что и у васъ все, какъ у береговыхъ, пропало... Тамъ не отстояли, что дѣлать! Воля Божья... зато будущій годъ надо двойного ждать урожая... Это ужъ тутъ завсегда такъ... А вы, ребята, не унывайте, — такія бѣды, перво-на-перво, здѣсь не часто случаются, а второе, что нѣтъ такой бѣды, чтобы ея поправить нельзя было... Ну, прощайте, — говоритъ, — ѣду въ степь глядѣть, какою полосою прошла саранча, много ли она покосовъ испакостила. Прощайте...

— Прощенія просимъ, Иванъ Лександрычъ, на ласковомъ словѣ спасибо...

Купилъ Никонъ на радостяхъ четырехъ барановъ, закололъ ихъ киргизамъ на угощеніе; такъ въ тотъ день до обѣда всѣ и пировали, на солнцепекѣ, бражничали... Хоть шалаши и пожгли, да поля цѣлы. Одна бѣда только, что дѣвчонка Анисьина

шибко обгорѣла... не доглядѣли ея въ попыхахъ, какъ она это къ костру близко сунулась... Весь бокъ правый опалила себѣ, вздулись по ней пузыри во какіе! Смазали ихъ саломъ, тряпку наложили чистую — реветъ на весь таборъ дѣвчонка, да ничего, дастъ Богъ, оправится.

LVII. Никоново горе затаенное.

Отстояли поля, кажись, какъ бы Никопу не радоваться, что ходитъ невеселымъ да пасмурнымъ? А всѣ уже успѣли замѣтить, какою тучею черною ихъ обозный изподлобья выглядываетъ...

Работаетъ мужикъ здорово, за что рукою не ухватится, такъ и горитъ у него дѣло, всю свою силу расходуетъ, ничего не жалѣетъ: за лопату возьмется, рукоять такъ стиснетъ, что диво глядѣть, какъ эта рукоять не сломится, — топоромъ ли ахнетъ, сразу по обухъ засаживаетъ, однимъ взмахомъ разнести норовитъ... Намедни куль съ хлѣбомъ взвалилъ на возъ: чѣмъ бы его вольготно прихватить, другому кому подсобить велѣть, а онъ однимъ швыркомъ на телѣгу брякнулъ, восьмипудовой-то, инда въ спинѣ что-то хрустнуло... Все словно злится на что-то, сердится и на всякомъ дѣлѣ злость свою сорвать норовитъ, сердце свое потѣшить...

Говоритъ мало, почитай-что по цѣлымъ суткамъ молчитъ; кто съ нимъ заговоритъ, отвѣчаетъ нехотя, да и прочь идетъ сейчасъ... Глядитъ на всѣхъ искоса, а на него взглянутъ — отворачивается...

Съ Мариною говоритъ тоже мало, только ничего, мягко, ласково, а близко къ ней не подходитъ, все какъ-будто сторонится. Со Степкою-Малышемъ—то же, какъ и съ Мариною, только усмѣшка у него въ ту пору показывается, какая-то чудная усмѣшка... Степанъ разъ подмѣтилъ, такъ инда лихорадка его тряхнула, межъ лопатокъ морозомъ подернуло.

И замѣтили всѣ, что не такъ чтобы очень давно вся эта перемѣна съ Никономъ приключилась. А когда именно, съ какого разу—того не догадывались. Смекали чуть-чуть про дѣла его бабы здѣшнія, онѣ на этотъ счетъ догадливѣе, — только межъ собою такъ переговаривались:

— Не должно, чтобъ отъ *этого* самаго, потому неужели же

онъ и допрежъ того ничего не видѣлъ? У *нихъ*-то *это* съ самой перовской побывки заведено... Ахти-хти, грѣхи наши тяжкіе!

Мало дома сидѣлъ Никонъ Денисьичъ, все куда подальше норовилъ, все у него въ сторонѣ да около дѣла оказывались... Иную пору и къ обѣду не ворочался, раза три ночевалъ гдѣ-то, гдѣ—не сказываетъ.

Какъ послѣ саранчи не стало крестьянскихъ шалашей, новыхъ строить не хотѣлось, а на солнцепекѣ тоже жить несподручно было, рѣшили опять въ избы старыя, въ слободку перебраться. Къ тому же и духъ пошелъ съ поля нехорошій: какъ вѣтромъ подуетъ съ берегу, такъ и понесетъ вонью да смрадомъ отъ тѣлъ саранчи; гдѣ-же успѣть пожечь все, или въ ямы закопать; припекло солнцемъ, стало оно гнить... На будущій годъ для урожая, говорятъ, это первое дѣло, только нынѣшній—для носа ужъ очень чувствительно, хоша бы для привычнаго, крестьянскаго...

Вотъ тогда еще стало сподручнѣе Никону дома не сидѣть... То, говоритъ, въ поле ходилъ навѣдаться, водоподъемъ чинилъ, то насчетъ покосовъ въ степь ходилъ, да и заночевалъ тамъ у тамыровъ (пріятелей) въ аулахъ.

Марина никогда, впрочемъ, о томъ не спрашивала, знала, что разспросами докучать не приходится; глядѣла она ему въ глаза прямо, не потупясь, словно ни въ чемъ не виноватая, съ ласкою не приставала; только когда уйдетъ тотъ, долго она ему вслѣдъ всегда смотрѣла, и въ ту пору Степка уже лучше и не подходи къ ней: либо обругаетъ, либо, чѣмъ ни на есть, по уху огрѣетъ... А потомъ разсмѣется, глаза вытретъ, обниметъ Степана, слово скажетъ ласковое,—и развеселится снова парень, ухо свое почесывая.

Степанъ же шибко Никону угодливъ сталъ, такъ и норовитъ ему что помочь, пріятство оказать какое. Около дома да по хозяйству за троихъ старается; чистоту завелъ такую, порядокъ. Гдѣ встрѣтится съ Никономъ, шапку скидаетъ первый; отъ своего полушубка полу лѣвую отрѣзалъ да починилъ ею Никоновъ. Марина это видѣла, ужъ потѣшилась же она надъ парнемъ.

— Знаетъ кошка, чье мясо лопаетъ, — сказываетъ, — какъ же это таперича самъ къ зимѣ ходить будешь, въ кургузомъ-то, объ одной полѣ?

— А я,—говоритъ Степанъ, — изъ него, по солдатскому манеру, курточку перекрою. Въ короткомъ-то много способнѣе. Видала, какъ у кавалера, что къ намъ ходитъ, чудесно!

— Ишь, ты, модникъ!—смѣялась Марина, на скамьѣ потягиваясь.

Раза два этакъ-то заставалъ ихъ Никонъ, да потомъ изловчился. Сталъ еще рѣже домой навѣдываться, а коли случится за чѣмъ, не доходя шаговъ за сотню, пріостановится. Шарика громко къ себѣ покликаетъ, либо пѣсню затянетъ во все горло. Только пѣсня эта выходила у него какая-то ни съ чѣмъ несообразная.

— Ишь, ровно волкъ завылъ на болотѣ!—услыхалъ разъ такую его пѣсню Дементій Трифоновъ.

Вотъ какія порядки завелись *съ той поры* въ домѣ Никона Денисьича, выборнаго обознаго старосты.

LVIII. На ночлегѣ.

Подоспѣло время покосное.

— Дружба дружбою, — сказалъ разъ Иванъ Александровичъ Никону, на берегу съ нимъ встрѣтившись, у пристани,— а разсчитаться намъ надо; за сѣмена готовы у тебя десять работниковъ съ косами?

— Напрасно поминаешь, не таковскіе; еще съ утра на мѣсто выѣхали,—отвѣчалъ Никонъ,—завтра засвѣтло на мѣсто поспѣютъ, а съ утра и за дѣло возьмемся, благослови, Господи!

— Ладно!—Я тоже завтра подъѣду; харчи вывезу и вино, потому это все я ужъ на себя беру; такъ и скажи вашимъ, чтобы ни о чемъ не заботились!

— Много благодарны на ласкѣ!

— А ужъ я тебя, голубчикъ, приглядѣть попрошу, послѣ сочтемся. Ваши покосы близко моихъ отведены, такъ вы ужъ тамъ за одно и останетесь. Много ли васъ выѣхало?

— Мужиковъ шесть человѣкъ, четыре бабы да я пятый, то бишь, одинадцатый. Всѣ тутъ, больше не насчитывается. Маловато будетъ, киргизовъ принаймемъ, тѣ ужъ, я глядѣлъ давеча, ловко къ косѣ русской приспособились, хорошіе косари выдаются!

— На что лучше! Такъ до завтрева?

— Вѣрно.

Распорядился Никонъ, чтобы здѣсь, кто дома остались изъ бабъ, за полемъ приглядывали, сторожили бы, связалъ котомку себѣ дорожную, косу приправилъ, топоръ за поясъ засунулъ, заперъ домовую дверь замкомъ висячимъ и зашагалъ по степной дорогѣ, а потомъ цѣликомъ влѣво, догонять возы съ косарями съ утра еще вышедшіе.

Чудной такой видъ имѣла эта степь послѣ саранчинаго поѣду. Тамъ, гдѣ прошла она, разстилалась одна только земля оголенная, кое-гдѣ торчали стебли высохшіе, совершенно оглоданные; какъ щетинки обугленныя на свиной кожѣ опаленной торчали эти стебельки, тоску нагоняя на душу путника. Тамъ и сямъ зеленѣли, Богъ знаетъ почему, уцѣлѣвшія полоски, клочки оборванные, словно островки разбросанные. Широкою полосою прошло опустошеніе; издали похоже оно было на пахоть, гладко заборонованную и укатанную, ближе на пожарище смахивало. Здѣсь суглинокъ рыжеватый въ черную землю клиномъ врѣзался, тамъ бѣлѣетъ, серебрится на солнцѣ солончакъ, и сверкаютъ проступившіе на поверхность кристаллики. Подъ травою ничего этого не видать было прежде, а теперь все, какъ на ладони, словно красками раскрашенное, виднѣется. Балки степныя, водомоины бороздятъ поверхность; шныряютъ по ней суслики, пискуны, ящерки проворныя: негдѣ имъ спрятаться, а человѣка видятъ издали, тревожатся, въ песокъ зарываются.

Каменистая гряда словно выдвинулась—обходила эту гряду саранча, въ сторону шибко подалась, и покосы, что за грядою этою были, уцѣлѣли. На болотинахъ низменныхъ тоже все объѣдено было, только здѣсь сыро, корни не пригорѣли, живо зазеленѣлись новые, молодые побѣги, снова запестрѣли цвѣты желтые и бѣлые, голубыя звѣздочки. И незамѣтно, чтобы здѣсь тронула саранча, а миновать ей этихъ болотъ не приходилось. Вотъ и до сей поры кое-гдѣ отсталыя ползаютъ, копошатся.

Птица вся степная прочь ушла съ пустого мѣста и здѣсь, на обновленныхъ островахъ, скучилась. Весело глядѣть на нихъ, голоса разные слышатся. Озерко-затонъ словно зеркальце виднѣется, рамка у него узенькая, зелененькая, а кругомъ черно, словно въ трауръ наряжено. Пыль, на дымъ похожая,

большими столбами носится, крутитъ вѣтромъ эти столбы, винтомъ ихъ заворачиваетъ, и мелькаетъ въ этомъ винтѣ все, что подъ силу поднять вѣтру было со степи.

Верблюды бродятъ въ сторонѣ, лѣнивые такіе, неуклюжіе, къ голой землѣ принюхиваются, послѣдніе стебли догладываютъ, а то въ растяжку на боку валяются, ноги свои длинныя вытянувъ, глаза щурятъ да на солнцѣ нѣжатся, грѣются. Совсѣмъ съ виду будто колѣлые, падаль какая-нибудь.

Овечью атару гонятъ киргизы. Пыль такую подняли, страсть! Взаскачь овцы дуютъ, плотно въ кучу сбившись, прямо черезъ голыя мѣста къ озеру. Собаки поджарыя съ лаемъ вокругъ носятся, отсталыхъ въ кучи сбиваютъ; пастухи гикаютъ, а идутъ сами лѣниво, тихо, палки длинныя съ крючьями на концахъ за собою волочатъ, и чертятъ эти палки за ними зубчатыя, прерывистыя борозды.

Скоро идетъ Никонъ, думаетъ своихъ догнать дорогою. Возы все же должны выбирать себѣ путь—гдѣ объѣхать приходится, гдѣ на арыкѣ замѣшкаться, а пѣшему человѣку вездѣ дорога скатертью: дуетъ онъ себѣ напрямикъ, ничего не разбирая; на десять верстъ отстанетъ, часа въ четыре нагнать можетъ.

Вотъ вышелъ Никонъ на то мѣсто, по которому возы проходили, узналъ слѣдъ своихъ колесъ, ноги босыя бабьи около топтались, вонъ сапогъ чей-то подкову каблучную отпечаталъ, вонъ лапоть вышелъ клѣтчатой надавкою, а вонъ и дѣтскія ноженки. И зачѣмъ это только робятъ съ собою взяли? Только помѣха одна отъ нихъ,—что бы дома оставить! Вотъ тутъ останавливался одинъ возъ, должно, поправлялъ что-то, другой его справа обошелъ, ишь, какъ колеса въ рыхлый солонецъ врѣзались. Вотъ мужикъ зачѣмъ-то ходилъ въ сторону, а вотъ гдѣ онъ назадъ на дорогу выбрался.

Идетъ Никонъ, слѣды разсматриваетъ. Чу-кось! Никакъ скрипнуло что-то. Точно это ось взвизгнула; по вѣтру далеко слышно; вотъ и голоса чуть-чуть доноситъ, должно-быть, близко; задержалъ шагъ Никонъ — чего торопиться, все одно, на ночлегѣ догонитъ, вдосталь, *глядя на нихъ*, намается.

Нѣшто впередъ уйти, обогнать ихъ дорогою, обойти стороною, благо темнѣетъ, скоро не видать будетъ, да и дожидаться ихъ на мѣстѣ? Они это станутъ, огонечекъ пока раз-

ложатъ, кишищу варить будутъ съ саломъ. Марина щи утренніе разогрѣетъ съ бараниной; лепешекъ она еще вчера напекла, тоже на салѣ, вкусныя.

Шибко, должно быть, проголодался мужикъ, цѣлый день шагавши, что вспомнилъ про съѣстное. Эхъ, была не была! Не впервой! Зато и натрескаюсь же, во какъ!

И рѣшилъ Никонъ не обходить обоза, а догонять его, чтобы поспѣть какъ-разъ къ походному ужину.

Поспѣлъ Никонъ какъ-разъ къ ужину. Всѣ вокругъ котелка сидятъ да прямо въ него, въ чашку не выливаючи, ложки запускаютъ.

— А вотъ и я васъ нагналъ! Думали, въ степи ночевать стану? На-кось! Давай, Марина, ложку!—весело говорилъ Никонъ.—Не захватили, чай, квасу?

Глянула на него Марина, давно она уже голоса такого веселаго не слышала отъ Никона; то было испугалась сначала, будто какъ дрогнула маленько, а тутъ обрадовалась, свою ложку протянула, облизавъ прежде на-чисто, и подвинулась влѣво, около себя мѣсто очистила.

Степанъ поперхнулся, закашлялся, каша ему, никакъ, не въ горло попала.

— Какія ночи-то Богъ даетъ те-еплыя! — вымолвила Лукерья весноватая, новый ломоть отъ каравая отрѣзывая.—Въ такую-то и въ одиночку спать, безъ полушубка можно, раздѣмшись. Вишь, какъ отъ земли паритъ, чудесно!..

И второю ложкою поперхнулся Степанъ.

— Извѣстно, намъ чужого не требуется, потому мы и своимъ, слава те, Господи, благодареніе Создателю, много, значитъ, довольны...—началъ-было Дементій Трифоновъ, да и замолчалъ, а къ чему началъ про свое довольство, къ какому дѣлу это приходилось, про то неизвѣстно. Должно-быть, кашею заѣдено, квасомъ прихлебнуто.

— Таперича, видишь, ты, другъ милый, — задралъ кверху голову Савелій-Рыжакъ, — видишь ты, другъ милый, эту звѣзду? По нашему она просто звѣзда и ничего больше, а по киргизскому, Маметъ какъ-то сказывалъ, «Кичкенъ-аю» означаетъ. Вотъ оно что!..

Поднялся Никонъ на ноги, ложку на край котелка положивши, утерся рукавомъ, наотмашь перекрестился на небо.

— Ну, я спать пойду. Оно точно что теперь тепло, можно и одному проспать, хошь и безъ полушубка, одначе я энтотъ полушубокъ захвачу на всякъ случай!

Потянулъ онъ съ воза какую-то одеженку, отошелъ шаговъ на двадцать. Кустъ тамъ стоялъ джингиловый, густой такой, въ темнотѣ, словно копна, чернѣлся; сталъ укладываться.

— Смотри, робята, подниматься до свѣту!—крикнулъ онъ, глухо, должно, уже успѣлъ съ головою покрыться. — Скотину не отгоняйте далеко, пусть тутъ у возовъ пасется!

— Помилуй меня, Господи, помилуй меня, Господи, помилуй, Господи! — шепталъ сквозь зѣвоту Дементій Трифоновъ, на своемъ возу стоючи. — Экъ ты павою разлеглась, посунься влѣво!

— И близко не подходи ко мнѣ,—шепнула Марина Степану, а тотъ-было уже спроста хотѣлъ на возъ улечься.— Ступай, куда хошь, спать. Вонъ къ тому же кусту, тамъ и спи,—понялъ?

Понять-то ничего не понялъ мужикъ, съ перваго, то-есть, разу, однако, почесалъ затылокъ, взялъ армякъ и пошелъ, куда ему указывали, а Лушка, — ну, и подлецъ же баба!— Видитъ все впотемкахъ, глаза ея кошачьи; слышно, все посмѣивается... хи-хи-хи, да хи-хи-хи. Провалъ ее побери, смѣливую.

Всю ночь не спала Марина: выбрала просвѣтъ между грядокъ возовыхъ да въ просвѣтъ этотъ все къ кусту джингиловому приглядывалась. Всю ночь и Степанъ не спалъ, ворочался да почесывался. Зато спокойно чернѣла подъ кустомъ широкая спина Никонова, словно камень лежалъ недвижный. Спалъ-ли, не спалъ-ли мужикъ, — про то никто не зналъ, не вѣдалъ, окромя его самого, а только на ноги онъ раньше всѣхъ поднялся, встряхнулся, спустилъ кафтанъ съ головы на плечи и подошелъ къ Марининому возу. Та инда похолодѣла вся сразу, во всѣ глаза на него смотритъ. Досталъ Никонъ жбанокъ съ квасомъ, приставилъ ко рту, до половины вытянулъ, перекрестился и, захвативъ свой топоръ да косу, зашагалъ прямо въ степь, куда и возамъ идти надо.

Скоро и остальные всѣ поднялись, потому къ свѣту дѣло подходило, ужъ успѣли выспаться, вылежаться.

LIX. Что на сѣнокосахъ приключилось. — Какъ Салтыкъ Аблаевичъ задумалъ свататься, и о чемъ господа въ палаткѣ своей разговаривали.

Веселое время — здѣшніе покосы. Много народу на нихъ сходится да съѣзжается. Хоть и большое мѣсто степи захватываютъ они, а всѣ таборы глазомъ видны... Луговицы тянутся ровныя, съ малыми все холмиками; взойдешь на такой холмъ, все съ него, какъ на ладони, видно.

Не успѣли наши прибыть на мѣсто, смотрятъ—и гордскіе верстахъ въ пяти бивакъ огораживаютъ. Правѣе, далеко-далеко, тамъ евстигнѣевскіе покосы, купца изъ Пргиза пріѣзжаго... Нанялъ купецъ все киргизъ изъ орды, шайка-шайкою рыскаютъ оборванцы, огни зря раскладываютъ, того и гляди; камыши подпалятъ; а камыши тѣ къ ихъ покосамъ близко подходятъ, какъ-есть вплотную...

Кто изъ господъ пріѣхали изъ городу надсматривать за своими наемщиками, тѣ палаточки привезли съ собою, и бѣлѣютъ эти полотняные шалашики, словно глыбы снѣгу запоздалаго, инда солнце отъ ихъ верхушекъ отсвѣчиваетъ. Около непремѣнно ужъ тарантасики стоятъ нагруженные, телѣги кверху оглоблями, лошади въ хомутахъ да во всей, какъ есть, сбруѣ пасутся.

На болотинахъ, — а этихъ болотинъ тоже не мало тутъ раскидано, — охотники, не настоящіе, а такъ, для баловства больше, похаживаютъ, все больше по краешкамъ, изъ ружей по чайкамъ да куликамъ пострѣливаютъ. Гулко такъ расходятся по степи эти выстрѣлы, бѣлые клубочки дыма надъ зеленою осокою носятся, какъ нити расползаются.

Орда тоже прибыла сюда, базарчикъ походный раскинула; барановъ на зарѣзъ пригнали, другого скота разнаго для той же потребы. Кабатчикъ Савка выѣхалъ изъ города, свой шалашъ съ бутылкою на шестѣ на самой верхушкѣ кургана поставилъ. Сидитъ тамъ, да сверху глядитъ на всѣхъ, воронъ-ворономъ...

Бія сосѣдніе отъ своихъ ауловъ уполномоченныхъ выслали приглядывать за нашими, чтобъ свои-то сѣна косили, а въ чужія не забирались, потому на это мы шибко повадливы.

Оно, конечно, мало толку въ этихъ уполномоченныхъ, потому нашихъ завсегда сила въ этихъ мѣстахъ собирается, смотрѣть имъ въ зубы тоже не станутъ, пущай ихъ издали ругаются... А то и сами эти полномочные, надоѣстъ имъ смотрѣть на безчинство наше, плюнутъ и прочь пойдутъ. «На те, молъ, подавитесь, волки ненасытные!..»

А вѣдь такъ, коли говорить по правдѣ, по истинѣ, съ нашей стороны одна пакость выходитъ, потому и своихъ отведенныхъ покосовъ столько, что будь косцовъ въ десять разъ болѣе, и то половины не выкосить,—такъ, значитъ, баловство одно; опять же глазъ завистливый: видитъ, и у себя хорошо, а все какъ будто у киргиза зеленѣй да гуще, у косоглазаго,— ну, и заѣдешь въ его вотчину...

Живо наши, Никонъ съ мужиками да бабами, на полосы свой участокъ раздѣлили, косы разставили и пошли махать, времени не теряючи. Съ Иваномъ Александровичемъ такъ поладили, что вмѣсто поденнаго счета задалъ онъ имъ общую урочную работу: коли больше указного, выторгованнаго времени провозятся—ихъ убытокъ, а коли меньше—имъ выгода... Никонъ полагалъ, что замѣсто двухъ недѣль много раньше дѣла всѣ обдѣлаютъ... Наше дѣло вѣдь только скосить, а ворошить да въ стога сваливать—это дѣло его, хозяйское...

Сгоряча да съ новинки шибко пошла въ ходъ работа... Бабы съ косами мужикамъ не уступаютъ, такъ и помахиваютъ, а на Марину глядѣть, такъ сердце радуется... Дюжая такая, юбку подтыкала за поясъ, чтобъ шагать сподручнѣе было, чулки синіе стрѣлками, рубаха бѣлая, каемкою отороченная, изъ-подъ крашенинпаго подолу чуть выбивается, платокъ на головѣ кончиками назадъ завязанъ, какъ огонь красный, издали алѣетъ, отъ всѣхъ прочихъ ее отдѣляетъ... Косою машетъ широко такъ, только свиститъ степная трава, полосами ложась, срѣзанная... Любоваться надо на такого косца-дѣвку; да и любовались же ей, и не одинъ Степанъ, не разъ исподлобья взглядывавшій, а другіе кто: съ одной стороны, все тотъ же черноусый каждый день мимо разъ по десяти ѣздилъ, да все заговаривать норовилъ, а съ другой стороны— Салтыкъ Аблаевичъ, чужой заѣзжій батырь. На другой же день послѣ начала покоса пріѣхалъ да и поставилъ кибитку свою

съ нашимъ таборомъ чуть не рядомъ, на холмикѣ; съ Салтыкомъ еще человѣкъ пятокъ прибыло: сынъ Аманджула-старика—Палаванъ-ходжа, и нукеры Аслановы, хивинцы. Самъ старый Аманджулъ дома остался, не провожалъ своего гостя, что-то больно въ его сторонѣ загостившагося...

Никону словно и дѣла нѣтъ ни до кого изъ нихъ... Все ходитъ такой же пасмурный, говоритъ съ кѣмъ мало, съ Габинымъ только: вечеромъ, когда тотъ его чай пить къ себѣ зазоветъ, ну, тогда поразойдется мужикъ, разговорится, и о чемъ, о чемъ только не говорятъ они! Слышали разъ ребята,—проходили мимо шатерчика Габинскаго да пріостановились на на минуточку,—о какой-то мельницѣ говорили, что сама безъ вѣтру и воды по сту четвертей въ день молоть можетъ... Только какая эта такая чудная мельница, того порядкомъ не дослушались.

Разъ вечеромъ съ работою пошабашили, ужинать стали; глядятъ, а къ нашимъ шалашамъ киргизы десять штукъ барановъ гонятъ да двухъ лошадей ведутъ, попонами покрытыхъ, а по одной лошади еще поверхъ попоны два тючка висятъ свороченные. Подошли киргизы. Полаванка съ ними. Остановились, шаговъ десятка два до телѣгъ не дошедши, кланяются. **«Аманъ» кричатъ.**

«Что за дьяволъ?»—думаютъ они. А тѣ опять:—«Аманъ-сызъ?» (здоровы-ли вы? значитъ). Да ладно, говорятъ, ничего, слава те, Господи! Откедова?—Тѣ опять за свое: «Джаны-ызъ-аманъ-ба?» (скотъ и душа здоровы ли ваши?). Инда очалѣли наши, что только имъ требуется. Началъ тогда Полаванъ-ходжа по-русски говорить: «Такъ, молъ, и такъ,—говоритъ,—Салтыкъ Аблаевичъ, сынъ Аблая-бія, того самаго, что отъ Акъ-Падши золотую медаль съ птицей на красной лентѣ имѣетъ, хотя самъ не Акъ-Пашѣ служитъ, а кланяется хану хивинскому Сеидъ-Рахимъ-Багадуру...—прислалъ въ подарокъ десять барановъ, двухъ кобылъ, девять халатовъ адрасныхъ да три шелковыхъ, баранью шубу бѣлую и сахару полъголовы; проситъ принять и влаѣть на здоровье...»

— Кому же это?—спрашиваетъ Лукерья весноватая, а сама плутъ-плутомъ на Денисову внучку поглядываетъ. Та зардѣлась вся, въ землю потупилась, Никонъ тучею нахмурился, а Степанъ опалѣлъ совсѣмъ, ротъ раскрылъ да на киргиза, выпуча глаза, глядитъ...

— Кто отецъ ея, дѣвки этой?—спрашиваютъ киргизы, а семи на Марину рукою указываютъ.

— У ней нѣтъ отца!—говоритъ Лукерья весноватая: шустрая баба, прежде всѣхъ поснѣетъ.

— А мать кто?

— Да и матери нѣтъ. Сирота она круглая!

— Да вы чего же это?—спросилъ тутъ и Никонъ, близко подошелъ къ Полавану, въ упоръ глядитъ на киргиза, тотъ инда попятился.

— Оставь!—встала тутъ Марина.—Кланяйся,—говоритъ,—этому своему Салтыку, — какъ, бишь, его назвалъ? — Скажи, молъ: мнѣ его скотина и одежда не требуется. Это онъ засватывать прислалъ! Скажи ему, чтобъ онъ отсталъ отъ меня, потому я замужняя, а не дѣвка; обознался парень... такъ и скажи. Забирай скотину свою, гони съ себѣ домой... Не въ обиду тебѣ говорятъ, потому и сердиться на насъ нечего; уходите, люди добрые!..

— Гони назадъ!—крикнулъ Полаванъ своимъ киргизамъ.—Только, — говоритъ, — это ты напрасно говорила: шла бы въ жены къ батырю, другу моему, зла не видала бы, первая у него была бы, въ золотѣ ходила, ѣла всласть и спала бы на мягкихъ коврахъ, ханская жена, да и только, любимая. А насчетъ того, что ты замужнею себя называешь, такъ и это зачѣмъ грязью языкъ мараешь. Все мы прежде хорошо разузнали, все, какъ есть... Вашъ же человѣкъ, купецъ Василій, сказывалъ, онъ и научилъ насъ. Ежели-же мы объ отцѣ и матери твоей спрашивали, такъ это для порядка только, обычай того требуетъ. Подумай обо всемъ хорошенько, а мы завтра еще пришлемъ къ тебѣ сватовъ, передъ вечеромъ, съ двойными «джаксы»,—авось, тогда примешь, не побрезгуешь!

Сказалъ это все Полаванъ-ходжа и назадъ пошелъ, а за нимъ погнали назадъ и барановъ, и лошадей съ подарками. Салтыкъ изъ кибитки вышелъ, глядитъ, что не выгорѣло его сватовство, должно, осердился шибко, потому назадъ спрятался и кошму дверную за собою задернулъ.

Всю ночь тогда толковали у насъ про сватовство киргизское. Кто думалъ, какъ бы бѣды какой изъ того не вышло, кто говорилъ, что ничего, потому какая же тутъ обида?—

Сердиться нечего! *Онъ*, вишь, ты, не зря какъ лѣзетъ, а по закону своему норовитъ. Никонъ слова не промолвилъ, пошелъ опять въ палатку къ Ивану Александровичу. Одна только Лукерья звонко такъ заливалась смѣхомъ веселымъ. «Вѣдь вотъ, говоритъ, людямъ счастье! Да я бы хошь сейчасъ... Эй, Малайка, сбѣгай къ Салтыку въ аулъ, скажи, чтобы ко мнѣ сватовъ загналъ, да подарковъ поболѣ, я, значитъ, согласна!

— Такой-то дряни, какъ ты, и безъ тебя у нихъ достаточно!—промолвилъ Степанъ Малышъ, благо тихонько, никто не слыхалъ, а то бы впервой отъ него худое слово услыхали.

На что добрый парень, мухи не обидитъ, а тоже сердце свое имѣетъ; тронули не во-время—окрысился...

Налилъ воды въ тазъ аптекарь Поддуванчиковъ, Исакъ Назарычъ, хлопкомъ палочку обвертѣлъ съ конца зазубреннаго, собрался было ружьишко свое промывать... Вошелъ тутъ къ нему судья черноусый, швырнулъ шапку на кровать.

— Завтра,—говоритъ,—уѣзжаю... въ городъ, въ присутствіе надо. Ты со мною ѣдешь или здѣсь остаешься? Я завтра чѣмъ свѣтъ отправляюсь...

— Что, видно, не выгораетъ ловля?— подсмѣялся аптекарь и давай стволами въ тазу пофыркивать. — Слышалъ, сегодня сватовъ засылали къ *ней;* увезутъ ее въ Хиву, тогда и гуляй себѣ съ носомъ, во какимъ!..

Наставилъ тутъ руку аптекарь къ своему носу, другую на полъ-аршина отмахнулъ, показалъ примѣрно длину этого носа настоящую... Хохочетъ баринъ.

— Я,—говоритъ черноусый,—съ носомъ? Я съ носомъ? Нѣтъ, погоди! Мы еще на своемъ поставимъ, не мытьемъ доймемъ, такъ катаньемъ; а наша будетъ, это навѣрное!

— А помнишь, у ротнаго на споръ дѣло шло? Отчего тогда отказался?—Струсилъ?

— Тогда не время было, а теперь другое дѣло; сто рублей и дюжину ставлю... хочешь?

— Какой срокъ?

— Тебѣ все «срокъ!» — Погоди, увидишь. Ну, положимъ такъ: сроку мѣсяцъ ровно, согласенъ?

— Идетъ, пожалуй! — протянулъ руку аптекарь, Исакъ Назарычъ.—Такъ черезъ мѣсяцъ ровно?

— Я разнимаю! — вошелъ тутъ казачій сотникъ Ячменкинъ.—Въ чемъ дѣло, господа?

Казаки его сотни здѣсь тоже на зиму запасы сѣнные себѣ готовили, такъ вотъ онъ присмотрѣть за ними выѣхалъ. Вмѣстѣ тутъ, всей компаніей, они и бражничали четвертые сутки. Дѣлать-то лѣтомъ въ городѣ нечего, вмѣсто дачи, все равно покосное время служило.

— Прогоришь!—увѣренно такъ вымолвилъ сотникъ, когда ему разсказали о спорѣ.—Прогоришь, а впрочемъ, какъ знать... Не робѣй, казакъ, атаманомъ будешь. А помнишь, какъ Евлампьевну твою честью провожали, забылъ небойсь? Ха-ха!

— Поживемъ—увидимъ!—твердилъ свое черноусый и всю ночь на койкѣ складной ворочался, папиросу за папиросою палилъ, весь коврикъ закидалъ къ утру окурками да спичками обгорѣлыми.

LX. Какъ-было скоро на слѣдъ попали, да еще скорѣе того со слѣду найденнаго сбились.

А въ городѣ въ ту пору такой случай вышелъ; ничего, повидимому, не было особеннаго, а разговору много этотъ случай надѣлалъ по городу, да и за городъ по степи не мало толковъ пошло да пересудовъ.

Солдатъ Иванъ Котомкинъ, тотъ самый, что былъ деньщикомъ прежде у одного офицера, безъ вѣсти пропавшаго по веснѣ съ деньгами казенными, пошелъ по базару шляться въ праздничный день, купить что-нибудь, что по его солдатскому положенію требуется.

Бродилъ онъ, бродилъ, толкался, толкался между верблюдами да тюками на площади, между народомъ пріѣзжимъ со степи, зашелъ въ чайную лавочку бухарца Юнусова, спросилъ себѣ кунганчикъ на три копѣйки и сѣлъ подъ плетенымъ навѣсомъ на кошемкѣ благодушествовать.

Не мало-таки народу сошлось въ этой лавочкѣ; время было душное, жаркое, часъ за полдень; а въ эту пору всегда стихаетъ малость базарная суетня, потому многіе отдыхать въ ятки торговыя забираются.

Подошелъ тутъ къ Котомкину изъ товарищей кое-кто, сидятъ вмѣстѣ, разговариваютъ, а въ дверяхъ, что противъ входа продѣланы на задворки, видны все ноги лошадиныя; много этихъ ногъ, разныхъ мастей, разно кованныхъ, топчутся. Самихъ-то коней не видно, потому дверь сверху кошмою завѣшена, а ноги всѣ наперечетъ, какъ хочешь, разглядывай.

И не сталъ бы глядѣть солдатъ на эту дрянь, что за диковина, да одна пара заднихъ показалась какъ-будто знакомая: подъ колѣнями чернота съ просѣдью, бородавка у щиколотки правой, а лѣвая въ получулкѣ, бѣлоножка.

Приподнялъ Котомкинъ войлочекъ, глядитъ: стоитъ лошадка, киргизскимъ сѣдломъ осѣдланная; мѣшки ковровые по бокамъ сѣдла свѣшиваются, оттопыренные такіе, чепракъ изъ крашенины пестрой на бокъ сбился, уздечка простая, ременная, безъ набору, стремена круглыя, деревянныя; голову лошадь потупила, масти не разберешь путемъ подъ пылью да потомъ засохшимъ, грива подщипана, а хвостъ пучкомъ завязанъ. Лошадь верховая, киргизская, а шея вся у нея словно какъ-будто хомутомъ стертая.

— Ломтевъ! — позвалъ Котомкинъ товарища. — А ну-ко, подь сюда, другъ, поближе!

— Что надо? — отозвался Ломтевъ; встать не всталъ, а подвинулся къ двери, тоже смотритъ.

— Это что?

— Лошадь!

— Никакъ пристяжная наша, бурка бѣлоножка? Только какъ же ее, сердечную, вышколили, и не узнать совсѣмъ; ишь, какъ бока подвело ей на вольныхъ кормахъ. Дакось, я ее окликну!

Посвисталъ солдатъ по своему — лошадь голову подняла, уши навострила, сюда смотритъ.

— Она, братъ, самая, — говоритъ Котомкинъ; обрадовался шибко, инда трясется весь. — Нишкни, — говоритъ, — зря нельзя такое дѣло обдѣлать; я посижу здѣсь, постерегу, а ты поди,

сбѣгай, десятника базарнаго розыщи, сюда тащи немедленно. Валяй, братъ, живо!

Такъ и сдѣлали, какъ сговорились.

Только десятникъ пришелъ, урядникъ казачій, сейчасъ солдаты лошадь цапъ за поводъ, стали отвязывать, сами кругомъ поглядываютъ: хозяинъ не выищется ли.

— «Кой!» (оставь)—закричалъ тутъ киргизъ въ яргакѣ жеребячьемъ, шкурою наружу, вскочилъ на ноги да солдата за полу,—Не трогай! Не твоя, моя лошадь! Зачѣмъ отвязываешь?

— Намъ-то тебя и надо, голубчикъ!—говорятъ солдаты.—Пойдемъ въ полицію, тамъ все разузнаютъ,—пойдемъ, братъ, чего упираешься! Ну, ребята, хватай его! Подталкивай сзади! Да не связать-ли руки ему, ишь, онъ какой прыткій, въ зубы норовитъ заѣхать. Юнусовъ, подавай веревку!

Озлился киргизъ, степной человѣкъ, парень здоровый, барахтаться началъ; четверо навалились, сладили, руки за спину закрутили, поволокли сердечнаго, куда слѣдуетъ, а за нимъ и лошадь повели, во всемъ, какъ есть, ея облаченіи, ничего не трогая.

Привели киргиза въ полицію, дали сейчасъ знать слѣдователю, начальнику уѣздному. Слѣдователя въ городѣ въ ту пору не оказалось; сказывали: на рыбалки уѣхалъ сазановъ ловить; пріѣдетъ не раньше, какъ къ ночи, а то утромъ завтра. Собралось много народу на полицейскій дворъ смотрѣть на пойманнаго; толкотня такая поднялась. Пришелъ и Маметка, ненарокомъ; какъ услыхалъ да увидалъ, въ чемъ дѣло, сейчасъ назадъ, дядю Василія разыскивать; черезъ часъ пришли оба вмѣстѣ.

— Ничего,—говоритъ татарину Василій Іонычъ,—чего губы развѣсилъ? Другіе кто увидятъ; молчи, знай, да дѣлай, что прикажутъ; чего прежде глядѣлъ, собака?

— Чиво моя глядѣлъ! Моя ничего глядѣть не могла!—бормочетъ Маметка, а самъ дрожитъ, словно заяцъ пойманный, и во дворъ войти боится.

— А вы его хорошенько допросите, — бойко такъ говоритъ Василій Іонычъ, впередъ протискавшись,—потому черезъ него все дѣло вывѣдать можно. Помню я самъ лошадей капитанскихъ - это одна изъ тѣхъ, пристяжная, точно; ее помыть да покормить, она опять такая же будетъ!

— И какъ это *онъ* его ухлопалъ?—толкуютъ другіе, дѣло не разобравши, какъ слѣдуетъ.

— Извѣстно, какъ: была ихъ цѣлая шайка, полтораста человѣкъ; подстерегли они его, когда тотъ версты три до станціи не доѣхалъ, да и сбили въ сторону: гнали, гнали, какъ отогнали отъ дороги далече, тутъ и накинулись!

— Батюшки!

— Началъ онъ это палить. Пистолетъ то у него въ шесть пуль устроенъ, а ихъ то полтораста человѣкъ. Всѣ заряды разстрѣлялъ, сто сорокъ четыре живыхъ осталось; сцапали его, голову сейчасъ отмахнули да въ мѣшокъ, сумку-то вынули, лошадей забрали, ямщика тоже, вотъ и вся недолга. Это у нихъ, у разбойниковъ, нѣшто долго?

— Этотъ-то кто же, старшой межъ ними аль такъ? Не допрашивали еще?

— Слѣдователь, слышь, рыбачитъ, а писарь допрашивалъ—молчитъ все, ничего не говоритъ!

— Народъ жесткій. Ты говоришь, все нутро выпотрошили, а потомъ шкуру драть стали?

— Врутъ все, зачѣмъ баловать! Тсъ! Ведутъ опять, запирать хотятъ. Сторонись ты, баба, гляди, какъ бы онъ тебя мимоходомъ за что не цапнулъ!

— Цапнешь, какъ руки за спиною скручены! Небойсь, ему, сердечному, таперь не до цапанья!

— Что это, ребята?

— Да вотъ, ваше благородіе, разбойника пымали, къ допросу приволокли... того самаго...

— А вы его, братцы, не мучайте,—говорилъ дядя Василій.—Покормите хорошенько, да и заприте покрѣпче; руки тоже незачѣмъ связывать. Человѣкъ онъ, можетъ, и хорошій, ни въ чемъ самъ по себѣ неповинный, а черезъ него все дознать можно. Перво-на-перво: откуда лошадь взялъ? Коли купилъ—у кого именно?... Гдѣ?.. Тѣхъ тоже допросить одинъ за однимъ, такъ и доберемся!

— Резонно это онъ говоритъ, очень резонно. Что же его не допрашиваютъ?

— Да говорятъ те, голова ты съ мозгомъ, слѣдователь уѣхавши—на тоняхъ, значитъ!

— Пойдемъ, братцы, домой, что здѣсь, право, валандаться! Пожалуй, еще въ свидѣтели заберутъ. Иди, Марья: желтоволосая, отваливай!

— Ходимъ, братцы!

— Очищай, очищай дворъ, чего налѣзли, выходи, знай! Уѣздный пріѣдетъ, ругаться станетъ. Уходи проворнѣе! — захлопотали полицейскіе солдатики.

Дядя Василій, однако, остался; Маметка тутъ же вертѣлся. Отвели киргиза въ особую саклю, дали ему лепешекъ и квасу въ кружку, руки развязали, а дверь заперли крѣпко-на-крѣпко и бревномъ снаружи приперли. Самъ дядя Василій объ этомъ шибко старался. Часовыхъ приставили: одного у дверей, а другого съ той стороны сакли, у стѣнки, чтобы какъ-нибудь не подрылъ али не выломалъ какъ-нибудь. Всѣ дѣло въ акуратѣ справили и стали спокойно дожидаться пріѣзда слѣдователя.

Лошадь-улику тоже въ сарай заперли, къ ней тоже часового приставили. Это опять-таки Василій Іонычъ посовѣтовалъ:

— Какъ бы,—говоритъ,—не выкрали, а то не подмѣнили бы, тогда пиши пропало, ничего не доберетесь толку!

Деньщикъ капитанскій, Иванъ Котомкинъ, успѣлъ уже наклеваться на радостяхъ, что бурка розыскался.

— Какъ я, значитъ, по гробъ жизни для своего командера покойнаго, — говорилъ онъ всѣмъ и каждому, — потому солдатская присяга, чтобы кровь проливать за отечество,— бери, на, хошь послѣднюю капельку, намъ не жалко. На, бери, пей на здоровье, другъ любезный, да бери же, ничего, видишь— жертвую...

И очень горевалъ Иванъ Котомкинъ, что никто не беретъ у него этой послѣдней капельки, не глядя на то, что онъ не прекословитъ, жертвуетъ; такъ горевалъ сердечный, что съ горя того инда въ сонъ его ударило; легъ онъ, какъ есть, поперекъ дороги проѣздной, да спасибо товарищамъ, оттащили его къ забору бережно и уложили въ тѣнь, прямо рыломъ въ лопухи широкіе, развѣсистые.

Поздно ночью пріѣхалъ слѣдователь.

— Этихъ двухъ, — говоритъ онъ своему повару Демкѣ,—

завтра съ кашею зажаришь. Кашу перемѣшай съ яйцомъ да лукомъ рубленымъ и поджарь на сковородѣ прежде; понялъ?

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!

— А этого молодца отвари, зеленью посыпь и картофель на пару приготовь къ нему, чтобы разсыпчатый былъ, такъ бы пескомъ подъ ложкою и раскатывался. Понялъ?

— Понялъ, ваше высокоблагородіе!

— А вотъ изъ этой мелочи уху!

Доложили тутъ ему о киргизѣ пойманномъ, бумагу запечатанную подали за номеромъ.

— А, хорошо; теперь некогда, ночь уже, завтра утромъ! ...Какъ разварится рыба, такъ сейчасъ процѣди, лимону положи ломтиками, лавроваго листу, перчику побольше, и вотъ этихъ трехъ опусти туда, да смотри, чтобъ недолго держать на огнѣ. Понялъ?

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!

— Ну, ступай. Да, постой! Забѣги къ батюшкѣ, проси его обѣдать завтра вмѣстѣ съ матушкою, акцизнаго тоже позови и къ Дарьѣ Алексѣевнѣ навѣдайся... Туши свѣчку!

Сладко такъ захрапѣлъ слѣдователь, завернувшись въ теплое байковое одѣяло, и всю-то ночь ему рыба разная чудилась. Большіе сазаны такіе обступили кровать, смотрятъ на него и посмѣиваются: «что, говорятъ, ушли мы-таки отъ твоихъ крючьевъ, а погляди-ка, какіе мы жирные да гладкіе; скажи намъ спасибо, что не попались, не то облопался бы». Вотъ сомъ подплылъ саженный, голова съ усами, точь-въ-точь самъ судья; все этотъ сомъ-рыба подъ одѣяло норовитъ къ нему забраться. Демка!—мычитъ во снѣ слѣдователь,—Гони его въ шею, каторжнаго. Въ присутствіе пускай идетъ, коли надо что... Не будетъ, подлецъ, другой разъ лошадей воровать...» Тутъ это все ерши забѣгали у него передъ глазами... «Ишь, какъ серебрятся, шельмецы, на солнышкѣ, а вотъ я васъ всѣхъ бреднемъ,—бреденькомъ частенькимъ». Тиною зеленоватою заволокло все передъ глазами, лягушки заквакали; все глуше да глуше слышится, будто нырнулъ онъ подъ воду, и вода надъ нимъ сравнялась, только пузырьки наверху булькаютъ,—тихо такъ, ничего не слышно; высокая трава подон-

ная за ноги цѣпляется, раки ползаютъ... Пшь, подлецъ, какъ цапнулъ, анафемскій!

Проснулся слѣдователь, свѣтло совсѣмъ, солнце въ верхнюю вырѣзку въ ставнѣ пробивается, сердечко на полу обозначилось свѣтлое. За стѣнкою часы тикаютъ; захрипѣли, бить собираются: разъ, два, три... Ахъ, ты, волкъ те заѣшь, одиннадцать пробило. Вскочилъ на ноги его высокоблагородіе, потянулся и крикнулъ зычно такъ:

— Демка, квасу и умываться!..

Собралось начальство въ присутствіе, обо всемъ переговорили, о чемъ слѣдуетъ, бумаги на столъ положили; кто глазами плохъ, очки надѣлъ, прокашлялись и велѣли привести арестованнаго.

Пошли за нимъ; долго съ дверью возились, пока ее отперли, ужъ очень запереть крѣпко старались намедни; вошли, глядятъ: спитъ бѣдняга крѣпко, къ стѣнѣ носомъ отвернувшись, самъ кренделемъ скорчился, руки между ногъ зажалъ; одежда вся растрепана, по полу земляному разметана. Стали будить— не просыпается; приглядѣлись—а ужъ онъ и похолодѣлъ совсѣмъ, лицо все почернѣло, исковеркалось... Покончился...

Запороли горячку страсть какую! Только отъ горячки этой никому ни тепло было, ни холодно.

— Эхъ, досада,—говорилъ тогда Василій Іонычъ,—и какъ мы было ловко на слѣдъ напали, а тутъ, вотъ, поди-жъ ты, надо же было, чтобъ приключилась такая оказія!

— Жалко, человѣкъ пропалъ, — покачивалъ головою Маметка, — а, можетъ, у него папинка былъ, можетъ, маминка былъ... жалко...

— Самъ отравился,—говорилъ тогда догадливый слѣдователь,—видимое дѣло, самъ отравился; видитъ человѣкъ, что попался, отвертѣться невозможно, ну, и того... они вѣдь фанатики. А какіе у меня, батенька, балыки готовятся!..

Инда пальцы облизалъ баринъ, какъ о балыкахъ вспомнилъ, и повелъ къ себѣ гостей «съ курочкою» позабавиться да кстати и хваленые балыки пробовать.

LXI. На чемъ порѣшилъ батырь влюбчивый и о чемъ съ дядею Васильемъ разговаривалъ.

Давно бы пора Салтыку Аблаевичу, гостю муллы Аманджула, домой собираться: загостился онъ порядочно, чай, его дома, на Талтдыкѣ заждались; ужъ и такъ на прошлой недѣлѣ пріѣзжали тамошніе справляться. Задержалъ этихъ новопріѣзжихъ Салтыкъ при себѣ; когда самъ поѣдетъ, не сказываетъ, говоритъ только одно:

— Не зачѣмъ мнѣ одному туда ѣхать!

Разсказали тутъ здѣшніе пріѣзжимъ, что такое этотъ отвѣтъ значитъ, все разсказали.

— Плевое дѣло,—говорятъ тѣ;—мы и не такія дѣла обдѣлывали... коли помочь нужно, не откажемся!

— Нѣтъ, вы не знаете,—говоритъ самъ мулла Аманджулъ,—не тѣ времена теперь, не тѣ порядки. Перво-на-перво не подступитесь, а второе, ежели удастся, мнѣ за васъ плакаться придется, потому я за своихъ гостей передъ русскими отвѣтчикъ буду!

Дѣло дрянь выходитъ.

Посылалъ Салтыкъ еще сватовъ, два раза посылалъ, что «калыму» впередъ выслалъ, что еще сулилъ,—ничѣмъ взять не можетъ. Разъ даже пригрозили его посланнымъ, что либо жаловаться будутъ, либо сами расправятся по-своему.

Закручинился совсѣмъ батырь, голову понурилъ, къ ѣдѣ его не тянетъ, сонъ отъ глазъ бѣжитъ по почамъ. Исхудалъ весь, лицомъ потемнѣлъ даже. Глядятъ на него всѣ—«совсѣмъ джигитъ измается», думаютъ. Только знай все по покосамъ русскимъ ѣздитъ да издали на свою зазнобу любуется... То проскачетъ мимо, лихо такъ, швырнетъ въ нее горстью монеты серебряной, да и мимо; то такъ стоитъ неподалеку, поводья на шею коня опуститъ; конь привычный, траву щиплетъ, хвостомъ отъ слѣпней отмахивается, а всадникъ сидитъ, руки на лукѣ сѣдельной скрестивши, да съ Марины глазъ не спускаетъ, только работать той мѣшаетъ, потому что хоть и ни въ чемъ тутъ дѣвка сама по себѣ неповинна, а все передъ людьми какъ-будто совѣстно... Нашлись тутъ такіе, что по-

смѣиваться начали... Ему, каторжному, ничего, лупоглазому, а ей-то каково! За что ее въ жаръ до-красна кидаетъ, работа просто изъ рукъ валится?

Бывало такъ, что цѣлый день Салтыка не видать на покосѣ; «на охоту съ ястребомъ уѣхалъ», сказываютъ киргизы. Тоску свою въ полѣ размыкиваетъ.

Только и на охотѣ влюбчивому батырю не сладко. Бывало, спуститъ съ руки птицу, пойдетъ она сперва по низу, ровно такъ, потомъ въ сторону бросится, шибко кверху взовьется, изъ глазъ пропадетъ. Всѣ глядятъ кверху, въ эту высь да даль лазурную, присматриваются, а Салтыку и дѣла нѣтъ, ѣдетъ себѣ шагомъ, въ землю потупившись, да верхушки полыня, цвѣточки репейные нагайкою сбиваетъ.

Вотъ опять показалась въ вышинѣ черная точка, пулею оттуда валится, прямо норовитъ подъ крыло ударить утку кряковую, поднявшуюся. Сшибутся птицы, комомъ на землю обѣ вмѣстѣ спустятся; всѣ взаскачь туда дуютъ, дороги не разбираючи, знай, только коней нахлестываютъ; гикъ да визгъ такой пойдетъ по степи; черти чертями орда носится, а батырь и съ мѣста не трогается. А то вдругъ пѣсню затянетъ унылую, да съ мѣста и пойдетъ махать, куда глаза глядятъ; за нимъ пойдутъ — не догнать, потому конь у него не чета здѣшнимъ; отстанутъ, изъ виду потеряютъ. Послѣ самъ домой къ ночи вернется, броситъ нукеру коня своего вываживать, самъ въ кибитку заберется, да и лежитъ лицомъ къ стѣнкѣ часа по три, а то и поболѣе...

— Отъ меня уѣзжайте, — говорилъ словно про себя, — однако, всѣмъ слышно было, кому слѣдовало,—старый Аманджулъ,—тогда что хотите, то и дѣлайте. А пока у меня—все равно, не позволю; не дѣло!

— Ладно!—смекали люди пріѣзжіе, однако, все своими сборами мѣшкали.

А тутъ наши киргизы оповѣстили покосниковъ, что недобрые люди дѣло супротивъ нихъ затѣваютъ недоброе. Тѣ сторожиться начали. Не подступиться просто...

Да и время подходило кончать покосы. Города-стоги въ степи выросли: страсть, что сѣна наготовили: не только на

эту зиму, а на будущую хватило бы запасу. Стали наши по домамъ собираться.

Еще пуще Салтыкъ Аблаевичъ закручинился.

Дошла тутъ вѣсть изъ города о смерти киргиза арестованнаго, вызывать людей начали въ городъ, не узнаютъ ли, кто такой покойникъ. Многихъ требовали; пріѣдутъ, поглядятъ — не знаемъ, говорятъ, кто такой, въ первый разъ видимъ такого, совсѣмъ чужой, незнакомый.

Да и какъ узнать его, всего исковерканнаго, изуродованнаго? Кто, можетъ, и призналъ, отказался невѣденьемъ: охота степному, вольному человѣку въ чужое дѣло вмѣшиваться!

Оно точно, что въ степи, не то, что въ городѣ, тамъ знаютъ много больше, чего горожанамъ и не снилось даже. Да только надо знать, съ какого боку къ разспросамъ подступать надо, коли что вывѣдать требуется.

— А что, — говоритъ разъ Салтыкъ Аблаевичъ муллѣ Аманджулу, — что будетъ тому человѣку, который *сдѣлалъ это*?

Про что такое *это*, про то и не говоритъ, потому и безъ того всѣмъ извѣстно.

— Да не похвалятъ! — говорилъ мулла Аманджулъ, самъ на гостя поглядываетъ.

— Зарѣжутъ?

— Нѣтъ, *у насъ* не рѣжутъ!

— Въ яму посадятъ?

— У насъ ямъ нѣту, русскіе всѣ вывели да засыпали... У насъ другимъ наказываютъ, хуже ножа подчасъ приходится отъ такого наказанія... Другому позавидовалъ бы зарѣзанному!

Улыбнулся Салтыкъ Аблаевичъ.

— Разскажи, — проситъ, — сдѣлай милость, какъ и что; все подробно разскажи, я слушать буду!

— Первымъ дѣломъ, — началъ разсказывать мулла, — въ крѣпость тебя посадятъ, потомъ начнутъ водить каждый день къ допросу, обругать норовятъ; потомъ забудутъ года на два, а то подолѣ, потомъ опять вспомнятъ, опять поведутъ, раз-

спрашивать станутъ, всякое слово твое записываютъ; опять забудутъ на время, опять вспомнятъ. А ты все сидишь въ саклѣ... Темно въ этой саклѣ, блохи тебя грызутъ, одежда вся развалится, коли кто изъ своихъ не принесетъ для перемѣны. Кормятъ тебя тѣмъ, что послѣ солдатъ останется ихнихъ, и то не вдосталь... Истомятъ всего, на человѣка сдѣлаютъ непохожимъ, а потомъ и порѣшатъ твое дѣло, и то если кто изъ крупныхъ начальниковъ, на твое счастье, пріѣдетъ, изъ самыхъ большихъ. Разъ такъ пріѣхалъ въ городъ генералъ, какъ ругалъ своихъ чиновниковъ—страсть. Мы всѣ слушали, такъ даже страшно за нихъ стало. Тогда онъ скоро велѣлъ всѣмъ, что въ крѣпости сидѣли, рѣшенье написать, а то бы они, несчастные, и по сіе время маялись. Благодарить генерала приходили этого добраго!

— Ну, а какое же рѣшеніе подъ конецъ бываетъ?—спрашиваетъ Салтыкъ Аблаевичъ.

— А всякое. Иной разъ выпустятъ на волю, скажутъ: «ступай, другой разъ не попадайся». А то въ Сибирь угонятъ... Тогда поминай, какъ звали!

— Куда это въ Сибирь?

— Далеко, въ ту сторону, откуда къ намъ зима приходитъ. Въ той сторонѣ вѣчная ночь стоитъ, вѣчный холодъ, морозы да мятели, бураны, и горы тамъ стоятъ высокія, всѣ изъ желѣза кованныя; вотъ эти горы самыя велятъ тебѣ разрывать, желѣзо по кускамъ отламывать, камни таскать. На день ходу вглубь земли тебя загонятъ, въ самое нутро, и сидишь ты тамъ весь вѣкъ, пока Аллахъ не пришлетъ ангела за твоею душою многострадальною...

— Сидѣлъ кто изъ твоихъ тамъ, что ты такъ знаешь хорошо, разсказываешь?

— У меня и теперь одинъ сынъ тамъ!—глухо такъ промолвилъ мулла Аманджулъ и слезу рукавомъ смахнулъ, что изъ глазъ стариковскихъ вытекла, по сѣдой бородѣ заискрилась.

— Сулесъ-сулесъ *)!—послышался чужой голосъ недалеко отъ кибитки.

---

*) Отвѣчай!—окликъ, который дѣлаетъ пріѣзжій гость, когда хочетъ узнать, принимаютъ-ли его, или нѣтъ хозяева. Если онъ услышитъ въ отвѣтъ привѣтствіе и приглашеніе, то слѣзаетъ съ коня и входитъ: если на его троекратный вызовъ будетъ молчаніе, то это равносильно отказу.

Выглянулъ Салтыкъ изъ кибитки, видитъ: дядя Василій стоитъ верхомъ на своемъ аргамакѣ, а около него Маметка коня своего оглаживаетъ, по шеѣ его треплетъ.

— Тотъ самый, — произнесъ Салтыкъ, — что тогда пріѣзжалъ изъ русскаго города!

— Кунакъ-кудакъ *)! — промолвилъ громко Аманджулъ. — Добро пожаловать!..

Слѣзъ Василій съ аргамака, передалъ поводья татарину, вошелъ въ кибитку, по обычаю киргизскому поздоровался, сѣлъ по лѣвую руку хозяина, а тотъ мальчика покликалъ, велѣлъ барана привести, чтобы сварить его гостю на угощеніе.

Все время Салтыкъ дядю Василія разсматривалъ, все словно о чемъ поговорить съ нимъ собирался, да откладывалъ дѣло.

А Василій про дѣла городскія разсказываетъ, какъ онъ подрядъ снялъ поставлять на весь гарнизонъ говядину, какъ хочетъ съ муллой барышами подѣлиться, потому у него закупать скотъ для бойни собирается. Обѣщалъ меренка подарить, иноходчика. Въ караванѣ алматинскомъ, говоритъ, вымѣнялъ. Хорошо такъ бѣжитъ, ровно; на здѣшнемъ бѣгу безпремѣнно призъ взять долженъ, потому прытокъ больно.

Дочери пришли Аманджуловы въ кибитку, тотъ и съ ними пошутилъ: «курыгамъ» назвалъ, «чарыгамъ», то-есть, свѣтикомъ, душенькою повеличалъ, обѣщалъ сватовъ послать отъ себя, коли калыму много наготовили.

Какъ о сватахъ заговорилъ Василій, Салтыка инда всего передернуло, зло такъ покосился онъ на гостя русскаго, а потомъ ничего, оправился, тоже заговаривать началъ.

Поужинали вареною бараниною, шурпою, кумысу чуть не полведра выпили всѣ вмѣстѣ. Пора была гостю постель стлать къ ночи. Вышелъ онъ изъ кибитки на минуточку, а Салтыкъ тотчасъ вслѣдъ за нимъ вышелъ.

— Слушай, — говоритъ Василію, — мнѣ съ тобою поговорить нужно; пойдемъ подальше, чтобы не слыхалъ кто, кому не слѣдуетъ; да ну, идемъ!.. Чего упираешься!..

— Чего мнѣ упираться; идемъ, коли хочешь... Говори, знай, что тебѣ отъ меня требуется?

---

*) Божій гость

Отошли они оба далеко; Маметка за ними было пошелъ, да Василій рукой ему махнулъ, значитъ: не надо. И не могъ никакъ любопытный татаринъ, какъ ни прилаживалъ свои уши чуткія по вѣтру, ничего слышать, о чемъ это его хозяинъ съ пріѣзжимъ гостемъ разговариваютъ.

Долго говорили они, часа два, пожалуй, а подъ конецъ Василій махнулъ рукою, да и говоритъ:

— Ну, ладно! Коли такъ, такъ такъ! Только и ты свой уговоръ помни, держи свое слово; выдашь —все равно, пропадать вмѣстѣ... я вѣдь тоже зубастый!

Эти вотъ послѣднія слова слышалъ и Маметка-татаринъ, только ничего онъ изъ нихъ не понялъ для себя путнаго, а коли бы понялъ, такъ самому ему хуже бы было, пуще, какъ тотъ разъ, когда киргиза арестовали, перетрусилъ бы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Островъ Косъ-Аралъ.

Сыръ-Дарья рѣка течетъ по дну песчаному, мѣстами иловатому, берега обмываетъ глинистые, солончаковые; быстро бѣгущія воды много съ собою всего этого добра уносятъ, на заворотахъ рѣки широкія мели нагораживаютъ, съ мѣста на мѣсто ихъ перекатываютъ, потому и называются мели эти ползучими, или перекатными.

Старыя мели, десятками лѣтъ накопившіяся, все ниже да ниже сползаютъ по теченію, на ихъ мѣста сверху новыя наваливаются,—и все это къ устьямъ движется, въ море Аральское норовитъ спуститься и распластаться тамъ, по его дну глубокому.

А навстрѣчу этому подвижному песку и осадкамъ глинистымъ бьетъ вѣчнымъ прибоемъ морская волна неугомонная и назадъ все осаживаетъ, останавливаетъ. Не одолѣть рѣчному теченію этой волны, и скопляются здѣсь, на выходѣ какъ-разъ, всѣ эти отмели перекатныя, выше и выше выростаютъ, наслаиваются, вотъ уже изъ-подъ воды на свѣтъ Божій выглядываютъ, и раскидываются по всему устью новые островки оголенные, плѣшины желтоватыя, пріюты всякой крылатой твари, до воды очень уже охочей.

Мало-по-малу эти островки-малютки вмѣстѣ сползаются, въ наносномъ сору сѣмена разныя, корешки уцѣлѣвшіе проростать начинаютъ, вверхъ гонятъ молодые, зеленые отпрыски, покрываютъ оголенныя мѣста веселымъ, цвѣтистымъ коврикомъ. Мертвыя отмели жить тогда начинаютъ, получаютъ кличку свою собственную отъ кочевого человѣка, что по берегу шляется,

въ раздѣлъ идутъ, словно путныя земли, а то такъ считаются вольными притонами, куда всякому человѣку дорога незапретная.

Вотъ такая-то отмель перегородила сыръ-дарьинское устье длинною, низкою плотиною, саженъ двѣсти шириною, да длиною съ версту, если не поболѣе. Два прохода эта отмель въ море оставила: одинъ пошире—правый, другой узенькій—лѣвый.

Съ западной стороны отмели прозрачная, ярко-зеленая морская волна набѣгаетъ, на желтомъ пескѣ бѣлою, серебристою пѣною разсыпается; хлебнешь этой волны, ротъ инда сведетъ, такая соленая; съ восточной-же стороны мутная, глинистая, прѣсная вода сыръ-дарьинская тихо плещется, въ проходахъ «на барѣ» и та, и другая межъ собою смѣшиваются. Съ моря вѣтеръ дуетъ, морская вода вверхъ беретъ, вокругъ острова норовитъ обойти; со степи пахнетъ посильнѣе—прѣсная одолѣваетъ, «сѣрая» «зеленую» осаживаетъ.

Самая эта отмель и называется островомъ Косъ-Араломъ. Островъ этотъ главнымъ притономъ рыбачьимъ по всему низовью считается, и весь низовый народъ, рыбою промышляющій, сюда сходится, свозитъ свои снасти рыболовныя, строитъ свои шалаши жилые и разныя промысловыя заведенія.

Правая половина острова, если отъ рѣки на нее глядѣть, вся густо кустами да камышами заросла, по окраинамъ песокъ желтѣетъ, бѣлые солонцы инда глаза слѣпятъ на солнцѣ. Лѣвая-же сторона, та давно вся вытоптана, почти сплошь застроена; люди на ней копошатся съ утра до ночи, скотина бродитъ по близости, лодки качаются у берега на привязяхъ или вверхъ килями лежатъ, перевернутыя, на песокъ горячій выволоченныя. Посудины эти все больше изъ киргизскихъ каиковъ передѣланы, на нашъ ладъ оснащены; сами лодки отъ воды низко борты несутъ, чуть не черпаютъ, а съ обоихъ концовъ носы одинаковые, кверху загнутые, не разберешь, гдѣ корма, гдѣ передъ, обѣ стороны одинаковы. Къ первой перекладинѣ, что борты стягиваютъ, «бимсу», по-матросскому, кое-какая мачта прикручена, жердь эдакая, аршинъ въ пять длиной; на эту мачту парусъ косой поднимаютъ, на случай перехода далекаго да вѣтра попутнаго, а то все больше на шестахъ, «пехомъ», да греблею идутъ, когда снасть рыболовную обираютъ или растягиваютъ.

Ближе всего къ берегу стоятъ печи съ котлами салото-

пенными; немудренымъ манеромъ печи эти устроены: низенькая стѣнка глинобитная кольцомъ выведена, въ это кольцо котелъ чугунный вмазанъ, на заплечикахъ своихъ держится. Съ одной стороны внизу дыра продѣлана, самое жерло печное; въ него камышъ сухой подваливаютъ для топки, а для дыму особый выходъ продѣланъ, а то и за-просто самъ уже дымъ дорогу себѣ прокладываетъ, въ щели между котломъ и стѣнками печными пробивается. Котлы безъ крышекъ стоятъ, открытые, валятъ въ нихъ потроха рыбьи, цѣликомъ рыбу, которая на солнцѣ протухнуть успѣла, къ другому употребленію уже не годится, сомовьи головы, всякую дрянь... Все это въ котлахъ кипитъ, распаривается, жиръ съ пѣною наверху скопляется; его снимаютъ большими ковшами на длинныхъ рукояткахъ, черпаками, значитъ, и въ мѣха турецкіе сливаютъ; тамъ онъ и стынетъ; все, что въ котлѣ осталось, къ дѣлу непригодное, вываливаютъ тутъ-же, на берегъ. Въ зимнее время еще ничего, съ полъ-горя, а лѣтомъ, въ жару, когда солнце шибко припекаетъ, и близко къ этимъ котламъ да кучамъ гніющимъ не подступишься: вонь стоитъ такая, продохнуть путемъ невозможно! Счастье, коли вѣтеръ съ берега на море, ну, тогда ничего, проноситъ, а когда въ жилую сторону пахнетъ—и не приведи, Господи! Ну, да здѣшній народъ привычный, ихъ такъ и называютъ въ городѣ: «носы-де ваши дубленые».

Много этого сала, жиру рыбьяго, здѣсь заготовляется, да сбыту ему нѣтъ настоящаго. За безцѣнокъ отдаютъ на базарѣ городскомъ, киргизы тоже скупаютъ малость, для смазки своей сбруи конской, а то больше все забираютъ скупщики и везутъ къ Орску или на сибирскій трактъ; большую, говорятъ, выгоду съ того имѣютъ,—купятъ за рубль, продадутъ за восемь.

За печами этими большія мѣста оставлены свободныя; здѣсь столбы врыты съ перекладинами, на нихъ снасти сушатся, чинятся. Снасти эти не Богъ-вѣсть какія: въ другихъ мѣстахъ, на Дону да на Волгѣ, за такія снасти рыбаковъ не хвалятъ, въ «теплыя мѣста» сажаютъ, а у насъ сторона вольная, присмотру не полагается; у насъ, окромь такихъ снастей запретныхъ, другихъ и въ поминѣ нѣту. Длинные, толстые канаты протянутъ по водѣ, съ поплавками деревянными, на канаты понавѣшаютъ крючковъ острыхъ, желѣзныхъ, на бичевкахъ, а бичевки эти разной длины: которая въ аршинъ,

которая въ два, а которая и поболѣе, — на всякую глубину достаетъ. Часто эти бичевки одна отъ другой перевязаны, стѣна стѣною теченіе перегораживаютъ. Какъ пойдетъ туда рыба, непремѣнно на эти крючья попадаетъ. Зацѣпится сомъ головастый или осетръ—«шипъ», по здѣшнему — двухаршинный, начнетъ биться сейчасъ, метаться; съ крюка-то и сорвется съ перваго, да десятокъ другихъ въ него вцѣпится; такъ и мается рыба пойманная, пока ее не снимутъ рыбаки, два раза въ сутки снасти свои осматривающіе. Иной рыбинѣ посчастливится, сорвется; только недолго она своей волѣ порадуется: крючья въ тѣлѣ у ней раны подѣлаютъ, сдохнетъ отъ нихъ рыба, и все-таки на берегъ ее волною выкинетъ. Послѣ каждаго вѣтра морского, съ сильнымъ прибоемъ, много такой рыбы порченой валяется. Только въ котлы салотопные и годится эта рыба, а въ котлахъ этихъ мѣста немного, одной развѣ изъ сотни найдется; все остальное такъ зря и пропадаетъ, никому, ни къ чему непригодное, птицамъ развѣ морскимъ въ пользу. Много и мелочи, молодой рыбы, тоже безъ пользы портится. Неводомъ бы захватило эту молодежь, всю-бы можно назадъ въ воду покидать, пусть ее живетъ, подрастаетъ, послѣ наша-же будетъ, съ прибылью, а съ крюка рыбу назадъ не кинешь. Куда она годится, дохлая?

Много ужъ очень рыбы здѣсь, а народу мало; какую хочешь, ловлю устраивай, все ея не выловишь въ сто лѣтъ, пожалуй; что послѣ будетъ, о томъ не думаютъ, потому нашъ человѣкъ, русскій, то-есть, онъ такъ норовитъ, чтобы про его вѣкъ только хватило; такое ужъ у него хорошее правило.

Разъ Саввѣ Вуколычу говорилъ про это баринъ заѣзжій, ученый, сказывали. Чучела онъ все набивалъ изо всякой птицы, что ему попадалась, гадинъ разныхъ сбиралъ да въ баночки складывалъ.

Осмотрѣлъ все баринъ на Косъ-Аралѣ, плечами пожалъ, въ книжку записалъ, да и говоритъ Бородину (онъ тогда у него въ домѣ останавливался).

— А надо-бы къ вамъ ревизію настоящую, потому, — говоритъ, — шибко вы очень съ своимъ рыболовствомъ безобразничаете. Распустили васъ, безъ присмотра, научить васъ некому!

Сталъ онъ тутъ подробно да толково такъ разсказывать

какъ, что, да почему, да какъ слѣдуетъ; долго слушалъ его Савва Вуколычъ и струсилъ мужикъ, какъ насчетъ присмотра казеннаго дѣло коснулось.

— То-есть, безпремѣнно,—говоритъ,—все такъ и сдѣлаю, какъ ваше высокоблагородіе изволите сказывать. Извѣстно, мы — мужики, вы — чиновники ученые, значитъ, мы должны васъ слушаться, уму-разуму набираться. Такъ вотъ все сейчасъ и сдѣлаю. Другой разъ пожалуете, все уже будетъ по-новому!

Уѣхалъ тогда этотъ баринъ, осетрины, балыковъ новоготовленныхъ, тешки вяленой, икры свѣжей, клею рыбьяго — всего забралъ съ собою, что по его наукѣ требовалось, для пробы, значитъ.

— Помни-же ты,—говорилъ онъ тогда Саввѣ Вуколычу,— помни-же мои совѣты и твои обѣщанія!

— Будьте ужъ благонадежны, ваше, молъ, превосходительство, все будетъ исполнено, какъ слѣдуетъ!

— То-то же,—улыбнулся баринъ, не обидѣлся, что тотъ его въ превосходительство пожаловалъ.—Ну, прощай, за хлѣбъ, за соль спасибо; заходи, когда ежели приведетъ Богъ побывать у насъ въ Питерѣ!

Много-ли вотъ времени прошло съ его отъѣзду,—да какъ, безъ малаго семь годовъ,—все идетъ дѣло по-прежнему. Савва Вуколычъ только въ бороду себѣ подсмѣивается, особливо, какъ вспомнитъ про приглашеніе барина побывать у него въ Питерѣ.

Чудной тоже народъ бываетъ эти чиновники ученые! Жаль только, что рѣдко они сюда показываются. Важно-бы отъ скуки, для времяпрепровожденія.

За мѣстомъ для снастей стоятъ сараи, гдѣ лари помѣщаются для просолу. Сараи эти изъ камышу сплетены, въ углахъ столбы деревянные врыты, крыша плоская, тоже изъ камышу, на жерди настланнаго; все это, и стѣны, и крыша кое-какъ глиною смазаны, чтобы дождя не пропускали. Лари сколочены изъ толстыхъ досокъ, въ щеляхъ проконопачены, снаружи осмолены. Въ ларяхъ «тузлукъ» *), вѣчный, безсмѣнный разсолъ, держится; въ него-то рыбу распластанную и

*) Тузъ—по-киргизски соль; тузлукъ—значитъ разсолъ.

укладываютъ. Въ этихъ ларяхъ рыба и лежитъ до тѣхъ поръ, пока не просолится, какъ слѣдуетъ; потомъ вынимаютъ ее оттуда и провѣшиваютъ на солнцѣ, чтобы лишняя жижа стечь могла, и обвѣтрило-бы ее, какъ слѣдуетъ. Между сараями веревки протянуты и жердки тонкія, и все это сплошь провѣсною рыбою занято: краснѣютъ на солнцѣ жирныя балыковыя полосы, янтарный жиръ слезится, словно золотомъ все обливаетъ; духъ такой отъ него идетъ хорошій, особенно ежели на тощій желудокъ приходится.

Тутъ-же, по близости, и жилыя строенія находятся. Домики сложены изъ кирпича, сырца необожженаго; по два и по три окошечка на улицу продѣлано. Тѣсно такъ въ этихъ домикахъ, повернуться негдѣ, да и тамъ всѣ мѣста свободныя товаромъ заняты. Живутъ въ этихъ домикахъ хозяева, когда наѣзжаютъ, а то больше приказчики, а народъ рабочій — тѣ, какъ знаютъ, помѣщаются. Настроятъ себѣ кое-какихъ шалашей, пологовъ отъ комаровъ наставятъ, да подъ ними и прячутся. Сидѣть то имъ въ своихъ шалашахъ по-долгу, впрочемъ, не приходится: работы много, не оберешься. Дня иногда не хватаетъ, всю ночь треплются, особенно, ежели попадется хозяинъ до чужой работы, дешевой, завистливый. Вотъ, поди, гуляй у такого, какъ Бородинъ, Савва Вуколовичъ!

II. «Харчи хозяйскіе: и крупою, и мукою, а рыбы—такъ вдоволь».

Сладко пришлось нашимъ рыбакамъ, бывшимъ пахарямъ: даровая рыба и прочіе харчи хозяйскіе. Работою ихъ тоже, нечего сказать, не нудили.

Какъ переправились они тогда, по ранней веснѣ, съ материка на островъ, Савва Вуколычъ милостивый сейчасъ имъ помѣщеніе отвелъ, просторное такое, чистое.

— Вотъ,—говоритъ,—ребятушки, — самъ рукою показываетъ,—энто самое мѣсто, отъ кустовъ, вправо, вплоть хоть до самаго берега занимайте!

— А жить-то гдѣ-же мы будемъ?—пытаютъ мужики.— Таперича, вишь, ты, холодно, да и мокро; отъ дождя куда схоронишься? Укажи, родимый, будь милостивъ!

— Что я вамъ, гостиницу заводить обязанъ, «рестара-

цыю» ставить?—смѣется хозяинъ.—Какъ хошь, такъ и стройся. Время пока довольно, я васъ цѣльную недѣлю не потревожу работою, а матерьялу строевого во сколько!

Указалъ онъ имъ на камыши, что уцѣлѣли на островѣ, кое-гдѣ по окраинамъ.

— А не хватитъ,—говоритъ,—на материкъ смахайте; дѣло, чай, привычное!

Понарыли себѣ норъ, кроты кротами, сверху позавалили кое-какъ, ладно вышло; изъ ребятъ взятыхъ четверо на той-же недѣлѣ померло, да баба одна, а мужики ничего, слава-те Господи, подобрались, точно, порядочно, а все-же живы остались; крѣпкій народъ были.

Пріѣхалъ тутъ бородинскій приказчикъ съ сыномъ хозяйскимъ, лодки готовить велѣлъ, снасти собирать; началась работа на островѣ, закопошились и прочія артели.

Передъ другими тоже хозяевами поспѣть надо, времени терять не приходилось.

Чуть свѣтъ,—только по часамъ хозяйскимъ онъ и полагается, свѣтъ-то этотъ, а глазамъ его не видно,—всѣ изъ своихъ норъ-землянокъ вылѣзутъ. Съ моря вѣтеръ идетъ холодный, несетъ съ собою сырой туманъ, льдистый, пробираетъ насквозь дырявые полушубки. Смолятъ, сколачиваютъ, строгаютъ, веревки сучатъ, крючья выковываютъ въ походной кузницѣ. Солнце взойдетъ, завтракать дадутъ: похлебку сварятъ изъ сомовины, съ крупою, а хлѣба не полагается, потому мукою, по положенію, выдаютъ на руки, а печь негдѣ, никакого нѣтъ на то приспособленія; спасибо, бабы изловчились, у киргизовъ лепешки печь научились: намѣсятъ тѣста, раскатаютъ его блинами, да на стѣнки пустого котла накаленнаго и налѣпятъ.

Послѣ завтрака за работу, вплоть до полудня; тамъ отдыхъ даютъ на часъ,—обѣдай, какъ знаешь, чѣмъ знаешь, потому тоже провіантъ натурою полагается. Говядяны хошь не даютъ, за то рыбы соленой вволю. А рыбу даютъ ту, что съ прошлаго года осталась несбытая; дѣвать ее больше некуда, все одно, очищать тузлуки для новаго лова требуется. Даютъ, нечего грѣха брать на душу, не скупятся, вволю отрѣзываютъ.

Только и пріѣлась-же рабочимъ людямъ эта рыба, особливо сомовина. Просто и глядѣть на нее не хочется, не то

что ѣсть. Съ души претъ, какъ только ложку ко рту подносить станешь. Недѣли не прошло, только хлѣбомъ да кашицею и пробавляться начали, за рыбою и въ кладовую ходить перестали къ приказчику.

— Пшь, ты, какимъ добромъ да брезгаютъ!—пожалъ только плечами Савва Вуколычъ, когда ему докладывали.—Что-жъ, пущай, какъ хотятъ; больно лакомы стали, какъ поразъѣлись; мнѣ имъ не покупать скотину, еще на мясо путемъ не наработали. Сластены какіе выискались!

Пришло время переметы ставить; вывезли снасть на лодкахъ, не приноровились къ дѣлу, какъ слѣдуетъ, путаютъ только. Однако, съ хорошей науки хозяйской (попало имъ тутъ не мало отъ дюжихъ рукъ Саввы Вуколыча) скоро съ дѣломъ справились. Тутъ-бы и шабашъ, потому какъ снасти на своихъ мѣстахъ, одно дѣло—обирать ихъ остается, два раза въ сутки объѣзжать на лодкахъ, только и всего. Такъ нѣтъ, благо рукъ рабочихъ стало достаточно, такъ-то расширилъ Бородинъ свое заведеніе, Мандельберга, Абрама Моисеича, превзошелъ, все устье одинъ норовилъ захватить; то и дѣло, что новые да новые переметы городитъ. Подъ конецъ столько наставилъ, что и объѣхать-то ихъ всѣхъ, обобрать по одному разу въ день не поспѣваютъ.

Присмотръ начался тутъ за работниками самый строгій; стали замѣчать наши, будто кто, пока они на взморьѣ, за переметами валандается, всѣ ихъ шалаши переворачиваетъ, всякую одежу переглядываетъ, съ мѣста на мѣсто перекладываетъ. Что, думаютъ, за диковина?

А началось это съ того случая, какъ барана разъ у нихъ увидѣли киргизскаго. Поѣхали наши на лодченкѣ вдоль по берегу; верстахъ въ трехъ атара паслась овечья; киргизы-пастухи спали, должно полагать, и не слыхали, какъ наши изъ-за камышу на ладьѣ выдвинулись; собаки тоже, чай, съ той стороны по степи за кугнами рыскали. Пасутся овечки да барашки курчавые на травкѣ зелененькой, жирненькіе такіе, надо полагать, отмѣнно вкусные. Давно уже наши скоромятины не пробовали, глаза разгорѣлись, зубы просто защелкали.

«Что за важность, думаютъ,—у киргиза этого добра много, онъ и счетъ, чай, потерялъ своей атарѣ, а въ писаніи тоже сказано: «подѣлись съ неимущимъ отъ избытковъ своихъ,

воздастся за то тебѣ сторицею». Ему-же, киргизу, значитъ, выдетъ изъ того выгода».

Сцапали они тогда барашка одного, порядочнаго-таки, голову отмахнули, чтобы не оралъ, да въ лодку, рогожею покрыли и прочь поскорѣе поплыли.

Стали его свѣжевать вечеромъ, приказчикъ увидѣлъ, сразу къ допросу приступилъ.

— Гдѣ, говоритъ, взяли, голубчики, такого? Откуда Господь послалъ милость?

— Гдѣ?—отвѣчаютъ наши, совѣстно тоже стало маленько.— Извѣстно, гдѣ—купили...

— Много-ли у васъ «купила-то» этого припасено, что больно расходуетесь?..

— Про то, говорятъ,—наше дѣло, тебѣ нашихъ кошелей не считать, а красть тоже мы не согласны!

Отсталъ тогда отъ нихъ приказчикъ, сказалъ Саввѣ Буколычу на другой день.

— Извѣстно,—фыркнулъ тотъ,—на рыбу мою промѣняли... Спрятали, подлецы, осетровъ штуки три, да и промѣняли ночью косоглазымъ. Ты-же самъ говоришь, что одна лодка въ отлучкѣ находилась долго!

И порѣшили на томъ, что мужики-работники хозяйское добро воруютъ да киргизамъ сбываютъ; съ того времени и присмотръ начался этотъ каторожный.

И очень ужъ этотъ самый присмотръ, а пуще всего напраслина, обидны мужикамъ показались.

III. «Повадился кувшинъ по воду ходить...»

Обидѣться-то они обидѣлись, только и мясо баранье имъ много вкуснѣе сомовины тухлой показалось. Такъ-то разохотились мужики съ этого куска легко добытаго. «Нельзя-ли еще?» думаютъ.

— Опять нѣшто съѣздить?—стали пытать другъ друга — Не смахать-ли, родимые?

А куда съѣздить, куда смахать, про то не сказываютъ, совѣстятся съ непривычки. Въ первый разъ, почитай, пришлось дѣло такое, такъ вотъ больше на намекъ только языкъ и поворачивается.

— Почему, въ самомъ дѣлѣ, не съѣздить?—стало и тамъ сямъ слышаться.—Ничего!..

— При случаѣ нѣшто... Какъ-нибудь это мимо Господь идти приведетъ... тогда нѣшто?

— Такъ вотъ Онъ тебя и поведетъ на такое дѣло. Держи карманъ шире, разѣвай ротъ!

— На какое дѣло такое?..

— Извѣстно!

— Полагать надо, лучше эвто дѣло бросить, потому не хорошо. Одинъ грѣхъ выходитъ!

— Пословица есть, братцы мои: «повадился кувшинъ по воду ходить, тутъ ему и голову...

— Тяни, знай, зря не болтай! Выбирай снасть-то!... Эвося, какого-было шипа не уберегли. Подцѣпи его багромъ подъ хвостъ. Легче!.. Лодку перевернешь... Здѣся глыбко!..

— Навались на весло! Что ровно ложкою въ котлѣ мѣшаешь. Ровнѣй загребай!

Поговорятъ эдакъ-то, кто стороной слышитъ, и не поймотъ путемъ, о чемъ рѣчь идетъ, да и пошабашутъ на одномъ разговорѣ, за работу горячѣе примутся.

Сталъ тутъ праздникъ великій подходить, «Петровъ день»; въ ихнемъ селѣ, въ лѣсной сторонѣ, храмовой праздникъ, «престолъ», значитъ, полагается. Какъ тутъ возможно, чтобы безъ говядины?

— Нѣшто ужъ съѣздить?—опять началась старая пѣсня, потихоньку эдакъ, вполголоса.

— Тьфу ты, чтобы вамъ пусто было, сомустители! На грѣхъ наталкиваютъ!

— Нѣ-ѣтъ, это дѣло надо бросить! Это дѣло, братцы мои, такое, что...

— Неужели-же мы ради праздника «почтарину» *) энту тухлую лопать станемъ!..—завыли бабы, да не одна, не двѣ, а всѣмъ, какъ есть, таборомъ заголосили сердечныя.

---

*) Осетры, зашедшіе далеко въ рѣку для метанія икры, сильно истомленные тамъ въ борьбѣ съ теченіемъ, теряютъ жиръ и отличаются отъ вылулявшихся, отдохнувшихъ въ морѣ, цвѣтомъ своего мяса, пепельно-сѣрымъ; эти осетры называются „почтарями“ загнанными и считаются самымъ дурнымъ, почти неимѣющимъ цѣны товаромъ.

Въ тотъ-же вечеръ четверо стали сговариваться, межъ собою перешептываться.

— Гляди, не разбиваться, какъ каики занимать начнемъ, вмѣстѣ держись! Лишняго народу не надоть, потому отъ него только сумятица выходитъ!

— «На дальніе переметы», подь, скажи приказчику,— «къ сизой отмели, значитъ, на ночь»!

— Ему что? Ему все единственно: что на тѣ, что на энти. Отъ него препятствія нѣту!

— Опять, гляди, черти догадливые, скажутъ: на рыбу хозяйскую смѣняли...

— А ну ихъ!

Подошелъ тутъ къ нимъ приказчикъ ихній, Иванъ Митричъ, посмѣивается самъ легонько въ бородку, пальчикомъ паренька, что поближе стоялъ, подманиваетъ.

— Подь сюда, землячекъ, подь, любезный другъ, на два слова. Да ну, иди! Не съѣмъ... чего упираешься!

— Чего намъ упираться! Мы ничего, что-же. Мы тутъ о своемъ дѣлѣ домашнемъ...

— Да ладно, ладно! Иди знай, не бойся. Ну, какъ Господь-Богъ милуетъ?

— Помаленьку, слава-те Господи. Твоими, надо полагать, молитвами...

— Куда, братцы, собираетесь, сговариваетесь, на ночь глядючи, ась?..

— На работу, извѣстно куда! На дальніе переметы, къ «сизой» отмели, во куда!

— И это чудесно вы вздумали. Тамъ, окромя рыбины, и другое что на крюкъ ловится!

Инда въ жаръ кинуло парня отъ этихъ словъ приказчичьихъ. Провалиться радъ бы, да некуда.

— Такъ!—пристально глядитъ ему прямо въ глаза Иванъ Митричъ.

— Идти мнѣ, что-ли? Аль еще разговоръ какой будетъ? Робята, вишь ты, дожидаются...

— Погодятъ, не спѣшно. Мѣсто у насъ больно чудесное: вонъ травочка зелененькая выбивается, все равно, какъ лужкомъ выходитъ. Глазу смотрѣть пріятствіе одно, погляди-ко!

— Это точно, что зеленью скрозь песокъ прошибаетъ. Дѣло, значитъ, Божье!

— Парочку махонькихъ бы очень хорошо было по этому мѣсту. Будутъ это они бѣгать, рѣзвиться. А то что путнаго? Кормъ хорошій, даръ Господень пропадаетъ. Ни себѣ, ни людямъ!

— Не разумѣю я, Иванъ Митричъ, о чемъ рѣчь твоя выходитъ? Какая такая парочка?

— Какую Богъ пошлетъ вамъ на счастье. Хорошо-бы, кабы барашка да ярочку. Размноженіе пошло бы у насъ на островѣ. Все не такъ скучно, когда безъ дѣла, опять же хозяйственно...

— Мы не за такимъ дѣломъ...—догадался, наконецъ, парень.—Что ты это, Иванъ Митричъ!

— Ври больше. Мое дѣло сказать тебѣ, что мнѣ требуется, ты своимъ оповѣсти, а тамъ какъ ужъ знаете. Съ Богомъ, ребятки!

Почесалъ парень за ухомъ, пошелъ, своимъ сказалъ, о чемъ рѣчь шла, все въ подробности.

— Что же,—говорятъ ребята, — коли на знатье пошло, такъ на знатье. Онъ не вѣдаетъ, съ его стороны это все одно, какъ за благословеніе родительское почитать надо. Тащи, ребята, багры въ лодку, да топорикъ бросьте на дно, на всякъ случай. Эхъ, кабы теперь водки!

Повезло нашимъ рыбакамъ въ эту ночь, шибко повезло. Еще не разсвѣло путемъ, какъ уже вернулась лодка. Не доходя до общей пристани, въ камыши съ морской стороны причалили, выгружаться стали. Трехъ большихъ выволокли; курдюки у нихъ такіе здоровенные, по пуду сала въ каждомъ безъ малаго, а сало это замѣсто масла ѣсть можно, потому вкусъ у него самый отмѣнный, нѣжный. Про наказъ Ивана Митрича тоже не позабыли, привезли ему парочку, только оба барашки вышли.

— Ничего, другой разъ когда съѣздите, можетъ, дѣло поправите, — сказалъ имъ Иванъ Митричъ утромъ, глядя, какъ на травѣ рѣзвились привезенные, «травку, даръ Господень», поципывали.—А пока и за этихъ спасибо. Ужъ не поднести-

ли по стаканчику, вѣрные мои работнички, Божьи охотнички?

Шутникъ, право, этотъ Иванъ Митричъ, однако, ничего, мужикъ обходительный. Ребята наши всею, какъ есть, артелью порѣшили тогда, что съ такимъ дѣло вести ничего, можно.

— Не жалуются на довольствіе?—спрашивалъ разъ послѣ того Савва Вуколычъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ жаловаться?—усмѣхался приказчикъ.— Шибко даже благодарны хозяину, во какъ отъѣдаются. Привыкли къ рыбинѣ, говорятъ: «что твоя баранина — одно слово!»

Всякое дѣло спервоначалу, безъ привычки, какъ-то чудно кажется, а потомъ ничего, справляются лихо, надъ собою даже смѣются, какъ про прежнее вспомянутъ. Такъ вотъ и насчетъ совѣсти тоже. Товаръ это уступчивый, податливый, знай только съ нимъ настоящее обращеніе.

И завелось у нашихъ съ той поры такое положеніе. Въ недѣлю чтобы два раза безпремѣнно. А дни чтобы мѣнять, потому орда приноровиться можетъ. Насчетъ народу, чтобъ наблюдать очередь, а заправилой всему, все одно, какъ за атамана, Макаръ Сысоевъ выбранъ былъ, тотъ ужъ каждый разъ ѣздилъ, приноровился хорошо; опять-же смекалка у него на этотъ предметъ отмѣнная оказалась. Способный былъ мужикъ.

— Дядѣ Василію не уступитъ, ей-Богу! — говорили про него одни, кто попроще.

— Нѣтъ, братъ, до дяди Василія ему еще далеко...—говорили другіе, кто поумнѣе.

— Погоди, поживетъ, поработаетъ. Не хуже его наворотрится. Нельзя, чтобы сразу!

Такъ и зажили наши мужики на хорошихъ кормахъ. Другіе, глядя на нихъ, даже завидовать начали.

Простой народъ киргизы, да насчетъ воровства, «баранты» по-ихнему, тоже догадливы: запримѣтили, наконецъ, нашихъ рыболововъ, вплоть до Косъ-Арала выслѣдили, незамѣтнымъ образомъ, втихомолочку; послали сейчасъ гонцовъ въ городъ, къ уѣздному начальнику съ жалобою.

— Мы, говорятъ, сторожимъ вокругъ острова, ничего съ него нельзя увести; что украли, все тамъ должно остаться, а спрятать некуда, потому великъ-ли островъ; только допусти — все обшаримъ и розыщемъ. Намъ не жалко барана-другого, да напредки чтобы конецъ былъ этому, потому обидно. Шутка-ли, въ мѣсяцъ времени слишкомъ триста штукъ головъ пропало. Это хуже волковъ выходитъ дѣло!

Послалъ уѣздный офицера казачьяго на Косъ-Аралъ произвести слѣдствіе, самое чтобы строжайшее, обыскъ сдѣлать. Взялъ съ собою офицеръ понятыхъ изъ городу, да киргизовъ человѣкъ тридцать къ нему приспособилось. Походъ военный, да и полно!

— Ужъ я ихъ накрою,—хвастался его благородіе,—я ихъ накрою. У меня не вырвутся, ни-ни...

— Это безпремѣнно покончить надо,—говорилъ тутъ и самъ Иванъ Митричъ.—Больше некому, какъ мандельберговскіе шалятъ, потому я самъ видѣлъ, какъ они баранину лопали. Ишь, вѣдь народъ какой, а на всѣ другія прочія артели отъ нихъ одна мараль выходитъ!

Мандельберговскіе, точно, пробавлялись мясцомъ,—земляки вѣдь тоже, изъ одной волости; какъ не подѣлиться отъ избытковъ своихъ? Ну, наши и дѣлились.

Струхнули маленько на островѣ, какъ про нашествіе вражеское услыхали.

— Небойсь,—говоритъ Иванъ Митричъ:—шкуры всѣ жгли, какъ я приказывалъ? Ни одной не утаили? Говори правду, всѣ равно какъ на духу, потому такъ требуется!

— Парочка есть. Больно хороши! На полушубки хотѣли, для починки!

— Вали подъ котелъ, нечего тутъ разговаривать! А мясо все сюда волоки, живо!

Пріѣхалъ слѣдователь, офицеръ казачій, оцѣпили островъ спервоначалу, обыскъ начали. Ничего, то-есть, не нашли такого, чтобы уликою служить могло. А ужъ какъ искали, какъ искали! Во всѣ лари заглядывали. Весь песокъ перерыли, кусты повыворачивали.

— Ну, ловки-же!—махнулъ рукою его благородіе. Къ допросу приступилъ.

«Знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ»—только и всего

было ему показанія для записи, окромя какъ насчетъ мѣсторожденія, какой волости, сколько-молъ лѣтъ, бываетъ ли у исповѣди и у святого причастія. Насчетъ примѣтъ особыхъ проходились тоже. Ничего не помогло. Такъ ни съ чѣмъ и уѣхали.

Ужъ и смѣху-то сколько было, какъ на другой день обѣдать сѣли наши, баранины утаенной цѣлые котлы наварили. Ѣдятъ такъ, инда за ушами потрескиваетъ.

— Съ солониною, ребята, честь имѣю поздравить!—вымолвилъ имъ Иванъ Митричъ.

— А что, рыбою не шибко пахнетъ?—полюбопытствовалъ и Савва Вуколычъ.

Онъ тоже пріѣзжалъ вчера вмѣстѣ со слѣдователемъ, да тутъ и остался денька на два, для распоряженія по своему дѣлу хозяйскому. Самоваръ привезъ съ собою и хозяйку свою захватилъ тоже. Куликовъ—капитанъ тоже съ ними пріѣхалъ, «инсъ грюнъ», говоритъ, по-нѣмецки, значитъ—на дачу.

А какъ ему, мясу-то, рыбою не пахнуть, когда больше сутокъ, почитай, въ ларяхъ на самомъ днищѣ подъ осетрами распластанными пролежало...

Не то щи вышли мясные, не то солянка рыбная, и не разберешь съ первой-то ложки, однако, ничего, вкусно; какъ новинка, такъ даже въ охотку, по зубамъ пришлось.

IV. „..Тутъ ему и голову сломить“.

Отдохнули съ недѣльку послѣ осмотра. Никуда по ночамъ не ѣздили. Пускай, думаютъ, позабудется дѣло немного, поуспокоятся косоглазые, а то, вишь, какъ они осерчали съ неудачи своей; зорко, чай, стерегутъ теперь сгоряча, не подступишься.

Иванъ Митричъ тутъ имъ хорошей рыбы выдавать сталъ, тайкомъ отъ хозяина; ждать пока можно. А Ивану Митричу тоже разсчетъ былъ мужикамъ потакать, потому триста штукъ по киргизскому счету въ мѣсяцъ и пропало, а куда-же столько съѣсть одной артели, въ двадцать животовъ. Тоже, значитъ, прикашикъ самъ не мало пользовался.

— Вы, говоритъ, ребята, таперь осторожно, съ оглядкою; слышалъ я, въ ордѣ всполошились, говорятъ: «Коли мы на-

стоящею указною дорогою ничего не добились, такъ ужъ теперь, не прогнѣвайся, своимъ обычаемъ обойдемся». До свалки дойти дѣло можетъ, вотъ что!

На счастье наше ночи стали хоть и не больно длинныя, да за то темныя, за два шага ничего не видать; вѣтры съ моря туманъ нагонять стали на берегъ, стѣна — стѣною туманъ этотъ подступаетъ, не то, что не видать сквозь него, а даже голосъ много глуше слышится, звука не даетъ настоящаго. А это для таковскихъ дѣловъ первая благодать: очень ужъ сподручно становится.

— А не съѣздить-ли? — пришелъ тутъ Макаръ Сысоевъ къ самому Ивану Митричу.

— Мнѣ-то что?...—сказалъ тотъ громко.—Въ туманѣ осторожнѣе, снасти не порвите, приглядывайтесь къ вѣшкамъ. — Погоди еще денька три!—добавилъ онъ уже много потише; только и слышалъ эту добавку тотъ, кому надлежало слышать.

— Слушаю, Иванъ Митричъ, твое дѣло прикащичье, какъ укажешь; наше дѣло исполнять, чтобы въ аккуратѣ... я такъ думаю, что далеко; можетъ, два дня проваландаемся, спросубы какого не было!

— Развѣдаю напередъ, что *тамъ*... Сбирай артель; каикъ большой смолить: разсохся!

Дня черезъ три вышла лодка съ нашими. Опять поѣхало четверо. Выбрались часа черезъ три послѣ полудня, взяли напрямикъ въ море, чтобы всѣмъ видно было: за дѣломъ, молъ, люди поѣхали. На переметахъ до ночи провозились. Стало туманомъ задергивать, отъ воды паръ подниматься началъ, будто каждая волна сама собою задымилась. Не видать стала острова, не видать даже вѣхи его большой, что для парохода поставлена, въ случаѣ тому въ море выбираться надо будетъ. Коли нашимъ ничего этого не стало видно, значитъ, и оттуда тоже нашихъ замѣтить не могутъ.

Снялъ тутъ шапку Макаръ Сысоевъ, перекрестился три раза, подпоясался поплотнѣе.

— Что-же, братцы, куда таперя? Въ аманджуловы хутора, аль на кураму *) побережную?

---

*) Курама—сбродъ. Аулы, составленные изъ нѣсколькихъ родовъ.

— Твое атаманское дѣло: куда велишь, туда и гресть станемъ. Куда хошь!..

— За «сизую» отмель лучше и не суйся, тамъ ужъ, вѣрно, стерегутъ; нѣшто подалѣе куда?..

— А что-же, на двое сутокъ ушли, вернуться поспѣемъ!

— Въ аманджуловы лучше: тамъ, можетъ, коровенку сцапать приведетъ Господь!

— Ишь, глазъ-то у тебя завистливый: «коровенку!» Жеребца не хочешь-ли взять на лодку?

— Зачѣмъ жеребца?.. Жеребца не надоть, его не втащить... опять же живого!

— Держи просто вдоль берега, тамъ увидимъ. Прислушивайся только, гдѣ собаки лаютъ!

— Ладно; навались, ребята, дружно, эй, дружно, эй, разомъ, еще разъ, еще разикъ... ну!

Только борозда потянулась за лодкою зубчатою змѣйкою; веслами такъ гресть изловчились, что и не слыхать совсѣмъ, потому изъ воды не выхватываютъ ихъ, плеску не дѣлаютъ.

— Вычерпывай ковшомъ, гляди, съ носу набирается; легче выливай, что словно изъ лохани помоями, осторожнѣй!..

— И чудится мнѣ, братцы мои, что насъ теперь безпремѣнно сцапаютъ!

— А чтобы тебѣ языкъ скоряжило! Не въ добрый часъ бѣду накликаешь. Дружно! Разомъ!..

— Чу-ко-сь!..

Весла разомъ всѣ изъ воды выхватили, сама собою лодка шла разогнанная.

— Никакъ песъ голоситъ?..

Стали прислушиваться. Макаръ Сысоевъ къ самой почти водѣ ухомъ прилегъ, черезъ бортъ наклонившись; много такъ сподручнѣе слушать выходитъ, явственнѣе.

— Волки, братцы; тутъ, значитъ, жилья близко нѣту... Греби! Лѣвѣе держи, камыши впереди.

Словно тѣнь легкая впереди мелькнула; взяла лодка влѣво, пропала эта тѣнь изъ виду.

Дальше да дальше все идутъ. Загорѣлось въ туманѣ красноватое пятнышко, мигающее.

— Аулы, надо полагать; это тѣ, что по пяти кибитокъ стоятъ, у озера!

— А можетъ, такъ огни пастухи разложили? Свѣту больно много, изъ кибитки меньше бываетъ!

— Держи легче къ берегу...

Свернули. Эка темь стала, воды просто не видать подъ лодкою; только слышно, какъ Макарка шепчетъ: « легче, легче!»

Зашуршали камыши, о борта затерлись, по лицу хлещутъ мокрые стебли; рукою ихъ отстраняютъ, а глазами не видятъ: рои комаровъ обступили, звонъ такой слышенъ въ туманѣ: рыба гдѣ-то большая плещется. Птица слетѣла съ воды, лодки испугавшись.

— Щупай шестомъ впереди!—шепчетъ ребятамъ Макаръ Сысоевъ.—Глыбко передъ носомъ?

— Аршина полтора есть. Кому спуститься, по поясъ будетъ, не больше!

— Отселева пѣшкомъ: дальше нѣтъ ходу. Двое на лодкѣ оставайся, а то одинъ. Раздѣвайся проворно, ребята!.. Кто останется?

— Я ужъ не пойду, у меня вередъ подъ колѣнкомъ, водою размочитъ, прикинется!—вымолвилъ тотъ, кому худой конецъ ихняго дѣла мерещился.

Разулись ребята, тихонько полѣзли въ воду. Первымъ Макаръ Сысоевъ спустился.

— Ничего, говоритъ,—дно чудесное, мягкое... нога не глыбко вязнетъ, всего по щиколотку!

Взялъ онъ за одинъ конецъ багоръ длинный, другой парень посрединѣ схватился, третій за другой конецъ, гдѣ крюкъ самый пришелся; пошли гуськомъ. Макаръ впереди палкою дно щупаетъ.

Тихо шли такъ наши. Парень въ лодкѣ долго слушалъ, какъ камыши шелестили, вода плескалась за ними; потомъ все смолкло. Только комары неугомонные пуще прежняго звонить начали, густымъ роемъ надъ лодкою слетѣлись, дохнуть не даютъ, да и полно. Завернулся парень кошмою да рогожею; сонъ одолѣваетъ, а спать нельзя, потому долженъ голосъ подать, когда его окликнутъ съ берега, а то какъ-же имъ найти лодку, въ какомъ она мѣстѣ ихъ дожидается?

Долго-ли, коротко-ли, время прошло, только слышитъ парень—окликаютъ.

— О-го-го-го!..

«Никакъ Макаринъ голосъ?»

— О-го-го-го!..—еще ближе слышится.

— Здѣся!..—рявкнулъ мужикъ. — Держи, братъ, прямо на голосъ. А-у!..

Тукъ!.. Чужая лодка съ размаха ударила его лодку въ бокъ, чуть мужикъ въ воду не свалился. Съ другой стороны еще каикъ сквозь камышъ протискивается.

— Кто такіе?

Схватился парень за топоръ. Дѣло-то, видитъ, неладное выходитъ: чужіе!..

— Эге! Джаманъ-каракъ!—(поганый воръ) слышатся чужіе голоса,—веревка его опутала сразу, и по рукамъ пришлось, и за шею прихватила для прочности.

— Братцы, пустите душу на покаяніе!—взмолился мужикъ.— Въ другой разъ николи не буду. Вотъ на крестъ закаюсь и другимъ закажу... не губите только... голубчики, милостивцы...

— Вяжи его да въ лодку,—говоритъ кто-то по-киргизски. Одинъ онъ только здѣсь, что-ли?

— Одинъ; тѣ, что на берегу теперь, не уйдутъ: не на чемъ. Мы васъ ужъ давно тутъ караулимъ, волки паршивые. Много-ли васъ всѣхъ пришло сюда, сказывай?..

А тѣ трое съ Макаркою выбрались-таки на берегъ, какъ-разъ супротивъ огней; стали приглядываться: ничего, мѣсто знакомое, разокъ здѣсь уже побывали, это вотъ второй привелъ Господь. На знакомомъ мѣстѣ словно какъ-будто вольготнѣе становится.

— Я теперь пойду одинъ, туда вонъ, обходомъ, собакъ отманивать, а вы отсюдова. Пока лаю не услышите, ни Боже мой, ни одной штуки не трогать. Лежи смирно, не дыши!

— Знаемъ тоже: бывалые!..

Залегли двое. Макаръ ушелъ, и не слыхать его совсѣмъ, какъ онъ это босыми ногами по травѣ шагаетъ: гдѣ приляжетъ, гдѣ на четвереньках проползетъ; кошка-кошкою пробирается.

— Это такъ-то разъ лежали мы...—началъ одинъ что-то разсказывать.

— Молчи, знай, слушай!

*

— Что больно долго? Давно пора-бы голосамъ слышаться. Полчаса прошло!

— Порядочно!

— Эдакъ-то, оборони Богъ, свѣтать начнетъ. Долго мы на водѣ замѣшкались!

— Чего добраго, слушай-ка: вонъ опять... эва... энто что, слышалъ?..

— Конь топочетъ... на лошади кто-то стороною погналъ... вонъ еще одинъ!

— Бросилъ-бы уже лучше Макаръ, вернулся-бы, право. Не ладно что-то дается!

— Богъ милостивъ. Лежи смирно, дожидайся. Таперь, ужъ это вѣрно, скоро!

Полежали еще съ полчасика; невтерпежъ пришлось мужикамъ: времени много уходитъ.

— А это что?..

— Ась?..

На самомъ низу сквозь туманъ полосочка свѣтлая протянулась. Кусты были около нихъ, черные сплошь казались прежде, не разберешь путемъ, что такое, а теперь явственно отличаются отъ прочаго; гнѣздышко маленькое въ серединѣ, и то замѣтно стало. Неподалеку въ высокой травѣ птичка чирикала, другая ей тотчасъ откликнулась, а тамъ и третья.

— Свѣтаетъ!

— Да, братъ!

— Не выгорѣло!.. Пяться ракомъ назадъ къ берегу, пока туманъ не разогнало!

— А Макарка?

— Тю-тю твой Макаръ! Надо полагать—влопался... Сопитъ, чай, носомъ, съ забитою глоткою... *Они* завсегда въ ротъ кляпъ забиваютъ въ такомъ случаѣ!

— Слышно-бы было, если-бы что. Тоже, чай, просто въ руки не дался, все-бы повозился маленько!

— *Они*, братъ, не таковскіе, чтобы въ огласку шло; они всѣхъ насъ поштучно переловить норовятъ!

— Пяться, что-ли... а то махнемъ бѣгомъ, живо до воды добѣжимъ; здѣсь недалеко!

Полѣзли наши старою дорогою, въ обратный путь; не солоно на этотъ разъ похлебали. Думаютъ: можетъ, Макарій их-

ній и не влопался, а видѣлъ неустойку, назадъ раньше ихъ повернулъ, въ лодкѣ перь съ Яшкою дожидается.

Добрались наши до береговыхъ камышей, приглядываются, окликнули.

— Здѣся!...—отзывается имъ Яшка, только голосъ хриплѣе много сталъ, отъ туману да сырости, надо полагать.

Ближе, должно быть, подтянулся парень, потому вонъ совсѣмъ у берега сквозь камышъ лодка виднѣется, край ея одинъ только. Вонъ багоръ торчитъ.

— Дѣло наплевать вышло... домой надоть, аль въ морѣ выждать; Макарка здѣсь, что-ли?

Говоритъ это мужикъ, запыхавшись, самъ, не глядя, въ лодку лѣзетъ.

— Это теперь трое ихъ!—говорятъ тамъ верблюжьи халаты и арканы готовятъ.—Четвертый на берегу; если не попался, такъ попадется. Весь «курдакъ» *) теперь попался. Погодите-же!

V. Въ киргизскомъ становищѣ гости пріѣзжіе, хоть одного роду, да почетъ имъ неодинаковый.

— Никонъ дома, что-ли?—вбѣжалъ Степанъ-Малышъ въ избу. Запыхался парень, красный такой.

— Что ты, Степа?—обернулась къ нему Марина; — Что случилось такое?

Ворочала она горшки въ печи ухватомъ, поставила теперь инструментъ свой въ уголъ, смотритъ на парня, побѣлѣла въ лицѣ, надо полагать, что обезпокоилась.

— Никона надыть,—говоритъ Степанъ; — не приходилъ еще домой? А то я въ поле побѣгу!

— Да что такое? Зачѣмъ надыть? Случилось что? Говори ты толкомъ, шальной!..

— Наши напакостили, бѣда стряслась... оповѣстить Никона надоть!

Сказалъ это Степанъ-Малышъ, да не долго думая, времени

---

*) „Курдакъ"—киргизское слово. Волки выходятъ большею частью вереницею, по нѣсколько штукъ, и нападая на стадо, дѣйствуютъ согласно заранѣе обдуманному плану: одни приманиваютъ на себя пастуховъ и собакъ, другіе въ это время воруютъ. Такая вереница называется „курдакомъ".

не теряючи, въ поле махнулъ, чрезъ заборъ перелѣзъ, напрямикъ чтобы. Бѣгомъ пустился.

Въ полѣ тоже не нашелъ Никона; говорилъ тамъ ему мужичекъ одинъ, что видѣлъ, какъ онъ къ водоподъему своему шелъ. Степанъ туда, тоже нѣту. «Только что вотъ передъ тобою ушелъ» киргизы сказываютъ.

«Эка пропасть, право!» Рубаха вся инда смокла у Степана, снимай хоть сейчасъ, да выжимай воду. Сбросилъ онъ тутъ сапоги, швырнулъ ихъ въ шалашикъ къ старику. Босикомъ-то ловчѣе бѣгать.

«Негдѣ ему быть теперь, какъ либо у батюшки, либо у Ивана Александровича», смекаетъ парень. Побѣжалъ напередъ къ отцу Ивану.—«Безпремѣнно, думаетъ, у него ставни прилаживаетъ».

Одначе у отца Ивана тоже не оказалось обознаго выборнаго. Нашелъ его Степанъ, наконецъ, полдня пробѣгавши, у Габина, въ саду, на грядкахъ, гдѣ тутовникъ, шелковица была у него разсажена. Самъ Иванъ Александровичъ показывалъ что-то Никону, какъ червячекъ шелковую нитку прядетъ, разсказывалъ.

— Бѣда стряслась!..—кричитъ Степанъ еще издали, только сквозь заборъ увидѣлъ.

Пошли ему тутъ навстрѣчу и гость, и хозяинъ. Степанъ шапку—было снять хотѣлъ, взялся за голову, а шапка-то у него дома осталась, простоволосый бѣгалъ все время.

— Наши влопались,—говоритъ,—поѣхали въ аулы барановъ воровать, ихъ тамъ и накрыли, связали, всѣхъ покрутили. Маметка оттуда, со мною встрѣлся, сказывалъ!

— Кто такіе наши-то?—спрашивалъ Никонъ, а у самого брови сдвинулись, кулаки сжались.

— Косъ-аральскіе. Макарка, да Яшка, да еще Долбилинъ Трифонъ, а еще...

— Тьфу ты! Я думалъ, и впрямь изъ нашихъ. Что-жъ, пущай на доброе здоровье, намъ какое дѣло?

— Зазорно тоже, все-жъ-таки они земляками считаются; выручить надо, Никонъ Денисьичъ!

Инда слеза въ голосѣ Степановомъ слышится, совсѣмъ парень разобидѣлся.

— А что-жъ, это онъ правду говоритъ,—вымолвилъ тутъ

отъ себя и Иванъ Александровичъ.—Привезли ихъ или тамъ еще, въ аулѣ, сидятъ? У кого въ аулѣ-то?

— Въ аманджуловскомъ. Къ ночи привезти хотѣли, Маметка сказывалъ; «такъ, говоритъ, связанныхъ и проведутъ по всему городу и въ руки уѣздному предоставятъ, со всѣми т. е. уликами». Въ запрошлую ночь еще сцапали, сутки продержали безъ корму, а теперь сдавать хотятъ. Поѣхали это они...

— Съѣзди ты, Никонъ, туда,—говоритъ Иванъ Александровичъ,—отвези записку отъ меня Аманджулу, бію тамошнему, да онъ кстати и самого тебя хорошо знаетъ; потолкуй съ нимъ; можетъ, какъ-нибудь миромъ дѣло поладите, а то что позориться! Они, можетъ, съ этой науки перестанутъ такими дѣлами заниматься, ну, а не уймутся, тогда ужъ пущай, какъ хотятъ. Такъ все это и скажи ты бію. Онъ человѣкъ мягкій, податливый. Скажи, что я, молъ, тоже прошу его объ этомъ!

— Спасибо тебѣ, Иванъ Александровичъ, батюшка, спасибо, родимый! —низко, чуть не въ ноги, поклонился Степанъ-Малышъ.

— Надоть идти,—порѣшилъ тутъ и Никонъ;—что-жъ, пиши записку-то!

Далъ тутъ имъ Габинъ лошадь свою да телѣжку; записку написалъ.

— Тамъ, говоритъ, есть одинъ мальчикъ, по-русски обученъ, онъ ему прочтетъ и переводъ сдѣлаетъ. Съ Богомъ отправляйтесь. Дай Богъ успѣха... Дорогою если встрѣтите, все равно, верните, если Аманджула самого не будетъ съ ними, а то и на дорогѣ, все равно, порѣшить дѣло можно!

— Домой завернуть на минутку надо, одежу захватить... я, вишь ты, въ одной рубахѣ!

Ударили по лошади, шибко до дому догнали. Марина въ воротахъ стоитъ, дожидается. Пока Степанъ разсказывалъ ей все, что случилось, Никонъ одѣлся, подпоясался, бумажку въ шапку запряталъ.

— Готово,—говоритъ. — Прощай, я ѣду; къ завтрему, раньше не ждите!

— Прощай, Никонъ Денисьевичъ!- вымолвила Марина,— вся зардѣлась и въ землю потупилась.

Поглядѣлъ тутъ на нее мужикъ, потомъ на Степана поглядѣлъ; тотъ тоже нагнулся, пальцемъ въ завалинѣ ковыряетъ. Букашка тамъ ползала красненькая, такъ онъ ей все дорогу перегораживалъ, въ сторону своротить заставлялъ.

— Ты что-же, со мной поѣдешь, аль тутъ, дома съ *нею* останешься? — спрашиваетъ Никонъ, садясь въ телѣгу.

— Я тутъ... это... коли что, ежели по дому потребуется... ободья, вишь ты, разсохлись. Таперича, если ихъ въ воду положить, они намокнутъ...—замололъ Степанъ.

— Ну, оставайся!

Тяжко вздохнулъ Никонъ и отвернулся, сталъ возжи разбирать.

— Поѣзжай!—сказала тутъ Марина, — искоса взглянувъ на парня.

Тихо сказала, сквозь зубы, почитай. Слыхалъ-ли Никонъ это ея слово, про то невѣдомо, а только Степанъ такъ въ телѣгѣ метнулся, что забылъ обуться и шапку взять, полѣзъ спѣшно.

Подала ему тутъ Марина армякъ, сапоги новые и шапку, поклонилась.

— Я тутъ и одна по дому всѣ порядки справлю, поѣзжайте. Дай Богъ вернуться счастливо!

Поѣхали наши. Долго имъ обоимъ вслѣдъ дѣвка смотрѣла, пока за косогоромъ не пропали изъ виду, пыль, что изъ-подъ колесъ клубилась, вѣтромъ не развѣяло.

Шибко такъ бѣжитъ сивый меренокъ Ивана Александровича, телѣжка по кочкамъ подпрыгиваетъ; Никонъ лошадью правитъ, глядитъ впередъ, не оборачивается; Степанъ позади сидитъ, къ нему затылкомъ, ноги съ грядки свѣсивши. Молчатъ мужики, а меренокъ сивый, знай себѣ, на бѣгу пофыркиваетъ.

Часа три гнали степью, много еще до вечера на мѣсто прибыли. Издали видно, какъ кибитки киргизскія разстановлены, все порознь, по всей лощинѣ раскинулись. Вонъ одна побольше, бѣлый верхъ кошемный красными тканными тесьмами накрестъ перетянутъ; у входа по бокамъ коврики пестрые повѣшены. Много народу толпится у этой кибитки; лошади посѣдланныя стоятъ въ кучѣ, десятка два, мордами

вмѣстѣ, хвостами врознь, знать, куда-то ѣхать собираются. Въ сторонѣ, немного поодаль, еще кучка стоитъ, обступили что-то, не видать за народомъ. Бабы ихнія, въ синихъ рубахахъ, въ бѣлыхъ джавлукахъ, на головѣ навороченныхъ, снуютъ между кибитокъ, кричатъ что-то, хохочутъ звонко; ребятишки скачутъ совсѣмъ голые, чумазые такіе, косичками на бритыхъ головкахъ потряхиваютъ. Верблюдъ паршивый лежитъ на боку, должно быть, больной, оретъ сердечный. Около него двѣ старухи возятся, ногу ему тряпками оборачиваютъ; другой верблюдъ стоитъ навьюченный, по два барана зарѣзанныхъ приторочены къ его сѣдлу съ обоихъ боковъ, пятый поверхъ лежитъ, тоже везти хотятъ куда-то.

— Это вотъ *они самые,*—догадался Никонъ и кнутомъ въ ту сторону указываетъ.—Мы, братъ, въ самое время поспѣли, не опоздали. Тамъ вонъ, надо полагать, и *тѣ* сидятъ, окаянные!

Остановилъ онъ лошадь, слѣзъ. Тутъ къ нему двѣ дѣвки подошли, румяныя такія, толстомясыя; отдалъ имъ Никонъ возжи, самъ со Степаномъ пѣшкомъ пошелъ, прямо къ большой кибиткѣ, гдѣ народъ толпился. Разступились киргизы, дали дорогу пріѣзжимъ.

Бій Аманджулъ принялъ нашихъ мужиковъ ничего, ласково. Стала орда перешептываться.

Подалъ тутъ Никонъ записку габинскую. Распечаталъ ее старый бій, бережно расправилъ.

— На, читай,—говоритъ мальчику лѣтъ четырнадцати, что подлѣ сидѣлъ.—Какъ здоровье,—спрашиваетъ,—почтеннаго Ивана Александровича, семейство его, домашніе всѣ здоровы-ли?

— Благодарствуемъ, ничего, слава Богу, всѣ здоровы, тебѣ кланяются!

— Дорога ваша легка-ли показалась, благополучно-ли доѣхали?

— И это слава-те Господи! Далеко-ли тутъ... рукой подать, все едино!

— Такъ...

Сталъ тутъ читать киргизенокъ, глаза съузилъ, прищу-

рился, самъ пальцемъ по бумагѣ водитъ, читаетъ не спѣша, слово за слово. Прочтетъ малость, по-своему разскажетъ.

Сидитъ Аманджулъ старый, слушаетъ внимательно, глаза въ землю опустилъ. На бритой головѣ у него тюбетеечка надѣта малиновая бархатная, стеганая, галуномъ золотымъ обложена; такъ онъ ее все приподнимаетъ, потъ съ головы шелковымъ платочкомъ вытираетъ.

Никонъ ждетъ, сидитъ молча, лицомъ пасмуренъ, словно гнѣвается. Степана и въ жаръ, и въ холодъ, попеременно кидаетъ. Сомлѣлъ парень, ждетъ не дождется, какое такое рѣшеніе отъ Аманджула выйдетъ по ихнему дѣлу.

— Это онъ за воровъ проситъ!—поднялъ голову старикъ и на Никона взглянулъ пристально.

— Извѣстно, за нихъ самыхъ, окаянныхъ этихъ!—сердито вымолвилъ Никонъ.

— И ты тоже за нихъ просишь?

— Затѣмъ пріѣхали!

— Просишь ты какъ будто нехотя, я потому тебя и спрашиваю!

— И какъ это можно, чтобы нехотя... будь ты родимый...— началъ было Степанъ.

— Коли-бы моя воля да не при людяхъ было, я бы самъ ихъ, своими руками, какъ слѣдъ отработалъ-бы за эвти дѣла!— заговорилъ Никонъ.—Только сраму такого передъ людьми чужими трудно выдержать, потому на всю волость позоръ пойдетъ: «экихъ работниковъ хорошихъ намъ изъ Рассеи Богъ послалъ», скажутъ; не возьмутъ того въ толкъ, что они словно какъ чужіе стали. «Всѣ, скажутъ,—одной волости, съ одного села, земляки; у васъ тамъ и всѣ, чай, такіе». Покончимъ дѣло промежъ себя; не пущай его совсѣмъ чтобы въ огласку, не доводи до начальства, сдѣлай милость такую...

— Будь ты отцомъ родимымъ, милостивымъ, а мы за то первые за тебя молельщики!

Бултыхнулся тутъ Степанъ въ ноги старому Аманджулу, тотъ усмѣхнулся.

— Не надоть этого!—толкнулъ Степана Никонъ кулакомъ подъ бокъ.—Не требуется!

— Такъ!—вымолвилъ бій, да и задумался.

Тихо стало въ кибиткѣ, никто слова не говоритъ, не шеп-

чутся даже. Всѣ ждутъ. А кругомъ снаружи гомонъ идетъ глухой, слышно, какъ народъ навалился на стѣнки, во всѣ щели да прорѣхи глядятъ; за Никоновой спиной горячо дышетъ кто-то; кошма отъ напора вздулась. Потрескиваютъ рѣшетки кибиточныя.

— Акрымъ! (тише, значитъ)—окликнули изнутри,—Осторожнѣе!

— Мы бы не жаловались, коли бы люди они были не такіе,—началъ говорить бій;—коли бы у нихъ хоть что нибудь было бы, хоть какое-нибудь добро, скотина бы велась... Они у насъ украли, мы бы къ нимъ на баранту народъ выслали, свое съ хабаромъ вернули бы, а то что съ нихъ взять? Знаю я этихъ, что на Косъ-Аралѣ сидятъ,—съ нихъ взять нечего. Опять же зазнались они очень, не по сану своему руки протягиваютъ... поучить ихъ надо бы... уши обрѣзать или пальцы на рукахъ, по прежнимъ нашимъ порядкамъ. Теперь этого нельзя; за это сами отвѣтить можемъ. Что же намъ дѣлать остается? Вотъ посмотримъ, что вашъ судъ для насъ сдѣлаетъ?

— Извѣстно, подержатъ года два въ острогѣ, а то сошлютъ куда...

— То-то вотъ: сошлютъ. Коли-бы изъ вашихъ «полевыхъ» кто, мы-бы у васъ скотиною убытки свои вернули-бы, а то хлѣбъ сняли-бы съ поля!

— Пущай моихъ воловъ заберутъ себѣ,—шепнулъ тихонько Степанъ.—Скажи ты имъ это, Никонъ Денисьичъ: я свою пару отдамъ!

— Да я-то не возьму,—громко вымолвилъ Аманджулъ—ишь, ты какой щедрый!

Чутокъ тоже на ухо старый, не по лѣтамъ своимъ: на что тихо говорилъ парень, а все до слова услышалъ. Оробѣлъ Степанъ, думаетъ: проврался что-то, неладно.

— Для Ивана Александровича да для тебя, потому я тебя давно уже знаю, хоть мы и мало знакомы, я все сдѣлаю. Что ко мнѣ въ гости не заѣзжаешь?

Степанъ не понялъ сразу, къ чему дѣло пошло, такъ-то круто повернулъ Аманджулъ, бій старый. У Никона въ глазахъ словно какъ-будто свѣтлѣе стало немного.

— Сегодня у меня прогостите, а завтра я вамъ на руки

сдамъ «тѣхъ-то»; что хотите, то съ ними сами и дѣлайте. А ежели еще разъ попадутся, то ужъ лучше и не пріѣзжайте. Такъ и Ивану Александровичу скажи: пусть онъ мнѣ лучше и не пишетъ такой бумаги, а то перестану быть съ нимъ пріятелемъ, разссорюсь... такъ и передай!

— Спасибо,—вымолвилъ Никонъ.—Коли до меня дѣло будетъ какое, присылай: твой работникъ!

— Экіе дни Аллахъ посылаетъ намъ жаркіе! Что-же, поди, погляди на «своихъ».

— Ну, ихъ къ...

— Завтра утромъ сдамъ я ихъ тебѣ на руки,—опять повторилъ Аманджулъ.—Отведи ихъ самъ на Костъ-Аралъ, разскажи имъ все, что слышалъ здѣсь, скажи; зорко мы теперь свое добро бережемъ, пусть лучше и не суются, а сунутся, пусть на себя пеняютъ, будетъ плохо, пожалуй, что и къ начальству доставлять ихъ не потребуется, сами всѣ концы схоронимъ, не розыщутъ; наши на нихъ сильно озлобились, меня и не послушаютъ, да я и знать, пожалуй, не буду, коли ежели что случится; понялъ?

— Какъ не понять!

— Чтобы послѣ всего такого да опять... Ахъ, Господи! Да что-же это за люди будутъ такіе!

— Бываетъ!—сказалъ Аманджулъ и велѣлъ принести кумысу большую чашку деревянную.

Выручили *своихъ* Степанъ съ Никономъ, погостили тотъ день у Аманджула, а на другой день чуть свѣтъ выѣхали. Сдали имъ рыбаковъ косъ-аральскихъ, а тѣ и идти не могутъ, рукъ поднять не въ силахъ, такъ ихъ арканами намяло, трое сутокъ на привязи просидѣвши. Усадили ихъ въ телѣгу, отвезли на Косъ-Аралъ; до берегу доѣхали, а оттуда лодку выкликали. Еще день прошелъ даромъ съ этою поѣздкою.

— Сколько времени потратили только, страсть!—ворчалъ Никонъ, въ обратный путь собираясь со взморья.—На великъ-ли срокъ бумаги ваши написаны? Много-ли осталось еще?—спрашиваетъ.

— Какіе наши сроки!—вздохнули мужики;—Сказываетъ *онъ*: «деньгами впередъ много забрали».

Назадъ дорогою ѣхали, опять Никонъ слова не вымолвилъ,

знай, погоняетъ лошадь, торопится. Пробовалъ-было Степанъ съ нимъ заговаривать: и то начнетъ, и другое—молчитъ мужикъ да и шабашъ. Запѣлъ-было парень со скуки. «Ну!» крикнулъ Никонъ, и не разберешь толкомъ, на кого: на него-ли, или на мерена.

— Заждались, чай, насъ дома-то, шутка-ли, четвертыя сутки!—брякнулъ простоватый парень.

Взглянулъ на него искоса Никонъ, лошадь наотмашь ударилъ, сплюнулъ даже.

— Оставь ты разговоры эти, сдѣлай милость божескую, оставь!—промолвилъ онъ.

Ну, съ того слова Степанъ и оставилъ его, самъ молчитъ всю остальную дорогу.

А къ городу стали подъѣзжать они, уже давно стемнѣло, одиннадцатый часъ ночи пошелъ, и темь стояла такая, что чуть только дуга впереди чернымъ полукругомъ маячила.

VI. „Закопошились черви въ гниломъ болотѣ“.

Пришла купчиха Антонида Евлампьевна къ «черноусому», шуршитъ у него на кухнѣ юбкою канаусной, пыхтитъ, отдувается, на стульчикъ присѣла... Сопрѣла баба съ жару-то да съ ходьбы спѣшной.

— Дома самъ-то?—спрашиваетъ казачка мальчика, Симкою прозывается.

— Еще не вставалъ, манежится послѣ вчерашняго. Голосъ подалъ уже... разокъ выругалъ...

— На дому что-ль вчера былъ аль въ гости ходилъ?.. Налей-ка плошечку!

— На дому. Въ карты играли до свѣту. Яичницу съ ветчиною дѣлалъ имъ, на четыре персоны!

— Такъ доложь, поди, Симушка, ужъ онъ знаетъ, зачѣмъ... скажи, молъ...

— Доложу!

Взялъ это казачекъ подносъ, сталъ дверь отворять, обернулся, а Антонида Евлампьевна руку запустила уже въ сахарницу, всю пятерню, цѣликомъ, потную.

— Э, не годится, купчиха, зачѣмъ баловать... съ меня спрашиваютъ...

— Кусочекъ одинъ только... Что-же... нѣшто тебѣ жалко... я чуточку...

— Горстей-то чуточку?

— А... Зови ее сюда! Эй, Кулебяка Евлампьевна, шагай прямо; съ чѣмъ пожаловала?

Подобралась аккуратно купчиха,—въ кухнѣ-то было налито на полу,—въ дверь прошмыгнула, прошла, поскрипывая, черезъ первую комнату, глянула мелькомъ на столъ карточный, раскрытый, замѣленный, весь окурками папиросными засыпанный, заплеванный... Тутъ, налѣво сейчасъ, другая дверь, въ спальню ведетъ. Темно тамъ, ставни-то еще заперты, свѣтъ въ щели пробивается, полосою дотянулся до самой кровати, клѣтки по черному красныя на одѣялѣ обозначились. Не то локоть голый видѣнъ, не то колѣнко...

— Садись, разсказывай,—говоритъ черноусый,—а я пока одѣваться стану. Симка!..

— Каково почивать изволилъ, батюшка? Что во снѣ хорошаго видѣлъ?

— Садись ближе... Вотъ сюда. Да ну, двигайся, чего упираешься, не молоденькая!

— Озорникъ... Ну-у... Симка услышитъ. А я къ тебѣ съ вѣсточкой. Что дашь?

— По вѣстямъ глядя...

— Ужъ такая-то вѣсть, такая вѣсть... Да ну не балуйся, а то говорить не стану!

— Симка, водки! Да не осталось-ли редисочки отъ вчерашняго? Погляди тамъ, въ шкафикѣ!

— Коли не въ эвто время, такъ ужъ я и не знаю, когда! — вздохнула Антонида Евлампьевна.

— А что?

— Оба уѣхали—и *самъ* покатилъ въ габинской телѣжкѣ, и тотъ съ нимъ поперъ. Одна теперь одинешинька въ дому осталась. Заходила я это, пытала стороною; сутокъ на двое отлучились, сказывала, а то и поболѣ. Въ орду за дѣломъ какимъ-то услалъ ихъ *садоводъ* этотъ!

— Ну, такъ какъ-же?

— Да уже теперь какъ знаешь... А полагать надо, изъ нашихъ рукъ не вывернется. Коли на корысть не пойдетъ, такъ мы другое что подстроимъ... Дѣло, по здѣшнему мѣсту, бывалое!

— Слушай, коли правду тебѣ говорить откровенно, ста рублей не пожалѣю. Поняла?

Пида вскочилъ на кровати черноусый. Подалъ тутъ ему Симка графинчикъ на подносикѣ, подзакусочки соленепькой на блюдечкѣ; освѣжился натощакъ баринъ, сталъ купчиху подчивать, та тоже выпила, поламалась сначала, для порядку больше, говоритъ: «охъ, ужъ не рано-ли?» Симку въ лавку услали и стали промежь себя разговаривать.

Пошелъ гулять черноусый въ тотъ день, передъ вечеромъ этакъ, когда прохладнѣе стало.

Заходилъ кое-къ-кому изъ знакомыхъ, у отца Ивана посидѣлъ на его стройкѣ новой, съ уѣзднымъ на дрожкахъ къ пристани съѣздилъ, саксаулъ повѣрять казенный; солдатика встрѣтили сильно выпившаго, на гауптвахту сейчасъ его спровадили.

— Ужъ очень много питейныхъ домовъ завелось у *меня* въ городѣ!—говоритъ уѣздный.

— Не такъ, чтобы много, однако достаточно, по числу жителей! —говоритъ черноусый.

— Думаю я: не убавить-ли ихъ на половину?—смотритъ на него уѣздный.

— Не мѣшало-бы,—смотритъ на него черноусый;—отъ нихъ, говоритъ, одна безнравственность!

— Ущербъ казнѣ какъ-бы не вышелъ? Потому они всѣ патенты свои оплачиваютъ...

— Нравственность прежде всего. Что тутъ жалѣть какую-нибудь тысячу рублей, другую, а впрочемъ...

— Вчера шесть прошеній поступило ко мнѣ, сегодня три... Морозовъ еще проситъ!

— Что-же вы?

— Разрѣшилъ!

Вздохнулъ тутъ тяжело уѣздный, черноусый тоже вздохнулъ, для компаніи.

Уѣздный къ себѣ поѣхалъ, повернулъ изъ воротъ налѣво, эспланадою; судья къ базару потянулся, прямикомъ; папиросочку закурилъ, идетъ, хлыстикомъ себя по ногѣ пощелкиваетъ; шагу прибавилъ.

Встрѣтился тутъ ему аптекарь, изъ кармана оттопыреннаго торчитъ что-то, въ бумагѣ завернутое... Прихрамываетъ легонько, на палочку опирается.

— Что это со вчерашняго осталось? — спросилъ его черноусый.

— Да, со вчерашняго. Глядѣть—было не высоко, а соскочилъ—порядочно. Ступилъ, должно быть, не ладно!

— Бываетъ. А тебѣ по дѣломъ: не таскайся неуказаннымъ путемъ, знай дорогу настоящую!

— Куда идешь?

Махнулъ тутъ рукою черноусый—туда, молъ, а самъ подсмѣивается.

— Ну, полно врать! А нашему пари срокъ подходитъ; ты что скажешь на это?

— Скажу, что изволь къ расплатѣ приготовляться, вотъ, что,—не ожидалъ?

Осклабился тутъ аптекарь.

— Ладно, говоритъ, чѣмъ докажешь? На слово тоже не повѣрятъ!

— И докажу. Зачѣмъ на слово вѣрить? На дѣлѣ докажу... вотъ увидишь!

— Докажи!

Нагнулся тутъ на ухо къ нему черноусый, обнялъ одною рукою, шепчетъ...

— Сегодня ночью, можетъ... Да даже и навѣрное... Приходи съ сотникомъ въ слободу, станьте такъ, чтобы не видно было... Ровно въ два часа пополуночи я отъ нея выйду... А ужъ какъ войду, то мое дѣло; что, развѣ это не доказательство?

— Идетъ, пожалуй... это похоже будетъ на дѣло... Такъ мы придемъ, непремѣнно придемъ!

— А теперь проваливай; тебѣ—туда дорога, мнѣ—сюда; до пріятнаго свиданья!

Подержались за руку; черноусый пощупалъ, что это въ карманѣ у аптекаря.

— «Коньячеусъ дель шампанія»?—спрашиваетъ.

— «Вродѣ того... Адіо дель пасата... Бонъ нюи. Однако ты шельма ловкая... Ха, ха!

— Прощай!

Разошлись пріятели, каждый своею дорогою: аптекарь къ крѣпости заковылялъ, черноусый мимо базара, къ слободѣ, задами пошелъ, не улицею; свернулъ въ поле для этого.

А время-то становилось позднее, солнышко сѣло, и темнѣть начало... Судья коричневое пальто надѣлъ, догадался, и штаны черные; совсѣмъ его не видать, только шапка одна бѣлѣетъ... Снялъ и ту на всякій случай, смялъ, въ карманъ засунулъ, идетъ дальше. Заборъ дорогу ему перегородилъ— перелѣзъ. Прошелъ еще шаговъ съ десятокъ —опять стѣнка; перелѣзъ и черезъ эту... Только было разошелся, опять... Тьфу, ты, чортъ ихъ дери, сколько они тутъ понагородили! Грядки стали попадаться ему подъ ноги, въ яму чуть не свалился... Эхъ, жаль, не захватилъ съ собою фонарика!

Покончила все съ дневною работою по дому Марина Денисьевна, убрала, сѣла къ окошечку, на улицу поглядываетъ, чинитъ ветошь какую-то, мурлычетъ пѣсенку вполголоса... Разбираетъ ее одну-одинешеньку скука смертная...

Совсѣмъ никого народу нѣтъ на улицѣ, пустырь-пустыремъ стала слободка, и глядѣть-то не на что... Въ полѣ-то все лучше было, веселѣе какъ-то... Уныло глядятъ заборы да стѣны размытыя, торчатъ съ концовъ крышъ жерди оголенныя... Золотитъ все это, жаромъ обливаетъ заходящее солнышко, а все не краситъ, еще тошнѣе отъ того становится!..

Думается Маринѣ, передумывается... Сердце щемить начало, а чего—и сама не знаетъ, не догадывается... Чего, дѣвка безстрашная, совѣстью чистая, покойная, а словно робость какая нападаетъ... Мышь заскреблась подъ печкою,— задрожала вся; разсмѣялась потомъ, громче пѣть стала... Видитъ: идетъ мимо купчиха, по той сторонѣ, улицу переходитъ, словно къ ней норовитъ; подошла, кланяется на ходу...

— Здравствуй,—говоритъ,—красавица; что не весела сидишь, по комъ скучаешь?

— А по комъ мнѣ скучать!—вымолвила Марина;—Здравствуй, Евлампьевна...

— Что ваши, дома?—спрашиваетъ купчиха, сама будто не знаетъ, прикидывается...

— Никого нѣту, уѣхамши... одна я... Куда Богъ несетъ? Сюда забрела изъ городу?..

— Да такъ, думаю: «дай, провѣдаю». Къ тебѣ, родимая, къ тебѣ; пустишь, что-ли?

— Заходи, что-же. Сейчасъ дверь отопру... проходи во дворъ, ворота не заперты...

«Поболтаю, отъ скуки,—думаетъ дѣвка;—Никону она не по праву, пустая баба; да ничего, что отъ разговору подѣлается? Она, вишь ты, занятная...»

Вошла Антонида Евлампьевна, помолилась въ уголъ, сѣла, узелочекъ изъ-подъ шали выволокла, на столъ положила; стукнуло что-то въ немъ, словно какъ-будто посудина...

— Что это ты?

— Да вотъ угощеніе кое-какое... по нашему бабьему дѣлу самое настоящее, не побрезгуй...

— Зачѣмъ расходовалась? Съ своимъ хлѣбомъ въ гости ходишь!..

— Что за расходность! Пустое дѣло. Ужъ очень-то я люблю съ хорошимъ человѣкомъ, для компаніи... Одной-то въ душу пейдетъ, а ежели въ обществѣ—разлюбезное самое дѣло... Это слабенькая, сла-адкая, ровно медъ. Самоварчикъ-то есть? съ чайкомъ горяченькимъ чу-у-десно!

— Самоваръ эвона на полкѣ, пожалуй, сейчасъ поставлю. Не долго это.

— О-хо хо! Грѣхи наши тяжкіе! Проститъ, чай, Господь, по моему, по вдовьему положенью...

Вынесла Марина самоваръ съ сѣнцы, гостья тоже за нею выглянула... Видитъ Марина: дверь отперта настежь, на крыльцо ведетъ которая; притворила ее плотнѣе, задвижку задвинула на всякій случай.

— Это хорошо!—замѣтила купчиха.—Чтобы не зашелъ кто непарокомъ... Время позднее...

Сама зорко глядитъ; увидала, что Марина къ самоварному жерлу нагнулась, дуетъ; легонько пальцемъ по задвижкѣ этой толкнула, въ обратную сторону... Не замѣтила дѣвка этого, знай, раздуваетъ и щепочекъ подбрасываетъ.

— Закипитъ скоро,—сказываетъ;—погоди, я молочка принесу да пирожка нарѣжу; сегодня пекла, свѣжій!

— Хозяйка ты, я вижу, привѣтливая... Нако-ся тебѣ подарочекъ, получай!

— Что это?—отступила Марина, нахмурилась, смотритъ на гостью неласково.

Платокъ та вынула шелковый, цвѣтами заткапный, доро-

гой платокъ, рублей двадцать стоитъ, и то купить дешево... Развернула его Антонида Евлампьевна, такъ и загорѣлся узоръ разноцвѣтный на лиловомъ полѣ.

— Прикинь-ка его на голову!

— Отъ кого это?—пытаетъ Марина.

— Не отъ меня, глупая, не отъ меня... все отъ него, отъ красавца-то энтаго... знаешь?

— Слушай,—говоритъ Марина,—коли ты опять объ этомъ-же рѣчь вести хочешь, то вотъ тебѣ Богъ, а вотъ и порогъ отседова. Хочешь, гостьею чтобы тебя почитали, лучше и разговоръ энтотъ брось... уговоръ—первое дѣло... какъ теперь знаешь!

— Ну, ну, полно! Экая ты, право, лебедка, сердитая... Ну, сказала я, что-жъ тутъ такого? Отъ слова ничего не можетъ статься, что за важность...

— Не таковская, чтобы даже въ помыслахъ *онъ* что имѣлъ, про меня зарился-бы...

— И ничего, то-есть, нѣтъ тутъ обиднаго, ни, то-есть, вотъ сколько нѣтъ...

— Мое дѣло...

— Какъ знаешь... Только я то скажу, что и не таковскія отъ него не бѣгали, не отворачивались. Въ запрошломъ вотъ годѣ полковницкая дочка не брезгала... Браслетъ онъ ей тогда презентовалъ, сто сорокъ въ Ирбитѣ заплатилъ, на ярмаркѣ; синій азамрудъ, а кругомъ это красные камни самоцвѣтные, звѣзда звѣздой горѣлъ... На платье еще трико дамскаго и зонтикъ!

— Ну, и энтотъ платокъ пущай туда-же пошлетъ, ко всему наряду чтобы...

— Да полно тебѣ куражиться, красавица ты, полно... говорю я тебѣ отъ всего, то-есть, сердца...

— Отстань, сказано!

Такимъ-то голосомъ зычнымъ крикнула Марина, что та взглянула на нее да и смолчала.

— Не хочешь, не стану... о другомъ о чемъ поговоримъ... Милости просимъ, прикушай эвтаго!

Налила она тутъ изъ бутылки съ ярлычкомъ пестренькимъ, раззолоченнымъ, въ стаканчикъ, подаетъ ей, кланяется...

— Раскипятила ты меня только по-пусту... — бормочетъ

*

Марина. — «Ужъ зачѣмъ я тебя впустила?—думаетъ.—Неравно Никонъ подъѣдетъ, опять вытуритъ, на меня прогнѣвается...»

— Слабенькая, одно слово—вода сахарная; прикушай, прихлебни только...

«Отъ нея не отвяжешься... Что-жъ, съ одного ничего не будетъ—выпью,—думается дѣвкѣ.—Аль ужъ выпить, побаловаться... Простую пробовала—тоже ничего, а энта, ишь ты, какая красная...»

Прихлебнула изъ стаканчика, посмаковала, еще разъ прихлебнула... Выпила...

— Вотъ хорошо, вотъ любо! На доброе здоровье, красавица! Дайко-съ и я, старушка, съ тобою...

Выпила и Антонида Евлампьевна; пирожкомъ стала закусывать...

Стукнуло что-то въ сѣняхъ и по полу покатилось; двери словно отворилъ кто-то.

— Чуко-сь!..—привстала съ лавки Марина;—Вошелъ кто то... Чудное дѣло!

— Ничего, это котъ шалитъ, можетъ, либо крыса,—говоритъ гостья.—«Ишь, ровно медвѣдь косолапый, неловкій какой», думаетъ про себя.

Вышла Марина поглядѣть, за нею и Евлампьевна тащится... Никого въ сѣняхъ нѣту, тихо, дверь на задвижку изнутри приперта, какъ слѣдуетъ... Темно въ сѣняхъ, чуть только изъ слухового окна просвѣчиваетъ...

— Видишь, говорила я: такъ что-нибудь... Либо котъ, либо крыса... эвося горшечекъ опрокинулся...

— Свѣчу зажгу... Все виднѣе будетъ...—сказала Марина, вернулась въ избу, стала доставать спички съ полки, и Антонида Евлампьевна у двери стоитъ, къ притолкѣ прислонившись...

— Съ кѣмъ это ты шепчешься? — быстро обернулась къ ней Марина и похолодѣла вся.

— А ни съ кѣмъ, родимая, съ кѣмъ мнѣ шептаться... только мы двое тутъ съ тобою, никого больше нѣту!

— Ты будто «погоди еще» сказала?

— А это я насчетъ свѣту... Что свѣчу жечь понапрасну, мимо рта не пронесемъ, а разговаривать и въ сумеречкахъ

можно... Оно еще вольготнѣе въ сумеречкахъ-то, въ мысляхъ словно какъ-будто простору больше... Покойникъ мой завсегда, бывало, любилъ въ потемочкахъ... сядетъ онъ это...

— Ты зачѣмъ это пришелъ? Вонъ!—на всю избу крикнула Марина.

Визгомъ звѣринымъ, не голосомъ человѣческимъ крикъ этотъ у ней вырвался...

Только черкнула она спичкою, стоитъ передъ нею черноусый, подступить ближе собирается...

А тѣмъ временемъ аптекарь съ казачьимъ сотникомъ давно уже по улицѣ бродили, ждали, какъ это черноусый изъ дому Никонова выходить будетъ.

Ходили это они, ходили, курили папиросы свои, курили, промежь себя потихоньку разговаривали. Прежде все въ темнотѣ, у стѣночекъ держались, да надоѣло потомъ, ближе на улицу вышли, у самаго, почитай, дома толкутся.

— Который часъ?—спрашиваетъ сотникъ аптекаря;—Забылъ захватить свои съ собою!

— Половина перваго!—говоритъ аптекарь, папироскою на часы посвѣтивши.

— Долго...

— Долгонько!..

Помолчали, опять ходить стали да прислушиваться. Любопытные тоже.

— Начинается, начинается... — засуетился сотникъ, къ окошкамъ бѣгомъ бросился.

Заковылялъ за нимъ и аптекарь, прихрамываетъ сердечный, торопится.

Взлѣзали оба на приступку, проковыряли пальцами бумагу въ оконныхъ рамахъ, присматриваются...

— Стонетъ, — шопотомъ заговорилъ сотникъ,—слышишь? Ничего только я не вижу!

— Уйдемъ лучше, ну, его къ чорту съ его пари, непріятность можетъ выйти!

Струсилъ аптекарь, на утекъ собрался было, заблаговременно чтобъ.

— Какая непріятность? Пустяки, что за важность, пуст...

VII. Грѣхъ великій.

Шибко шли домой Никонъ съ Степаномъ-Малышомъ, поспѣшали оба.

Лошадь-то они у Габина оставили, заѣхали къ нему спервоначалу, замѣшкались. Вотъ и въ слободку пришли, идутъ улицею.

— Стой! — разомъ осадилъ Никонъ и сталъ пристально впередъ вглядываться.

Согнулся весь, съежился, словно звѣрь какой припалъ, готовый кинуться.

А на бѣлой стѣнѣ явственно такъ двѣ спины выдѣляются, пошевеливаются.

— Воры!—шепчетъ Степка. Хотѣлъ было на нихъ бѣгомъ броситься.

— Какъ-бы чего хуже не было!—глухо выговорилъ Никонъ, сжалъ въ рукѣ топорище, задрожалъ весь, да мимо этихъ спинъ прямо въ избу.

Шарахнулись господа отъ окошка. Хотѣлъ-было одного изъ нихъ сцапать Степанъ, вывернулся, на казака напалъ.

Аптекарь нашъ, даромъ-то хромой, ходко зарысилъ такъ по улицѣ.

— Караулъ! — оретъ въ догонку имъ Степанъ. — Караулъ! Воры!

А тутъ купчиха Антонида Евлампьевна изъ калитки выкатилась.

— Убили, убили!—визжитъ баба.—До смерти убили! Охъ, батюшки! Охъ, голубчики!

— Пымалъ!—оретъ Степанъ и на нее сверху навалился, не выпускаетъ.

Сталъ народъ со всѣхъ концовъ сбѣгаться: кто съ фонарями, кто съ дубьемъ, кто съ чѣмъ. Объѣздные казаки, слышно, скачутъ съ базара; топочутъ кони, все ближе да ближе подвигаются. Дрожки ѣдутъ, тоже въ эту сторону, гонятъ шибко, должно быть, самъ уѣздный.

— Горитъ гдѣ,—что-ли? — кто-то спрашиваетъ.—Народъ скорѣе скликайте...

Вышелъ изъ избы Никонъ.

Пошатывается мужикъ, словно хмѣленъ сталъ шибко. Весь

въ крови перепачкался; въ рукахъ ничего нѣту, самъ безъ шапки; волосы на лбу поправилъ—слѣдъ кровавый остался.

— Вяжи его!—командуетъ сотникъ. Стоятъ да смотрятъ.

Казаки слѣзли было съ лошадей, сунулись, да взглянули на Никона—и попятились.

Фонарями свѣтятъ ему прямо въ лицо—блѣдный сталъ мужикъ, глаза глядятъ чудно такъ,—должно быть, отъ свѣта этого такъ кажется.

— Вяжите его, ребята, чего стоите. Аркановъ сюда! Вяжите разбойника!

— Нечего его вязать,—вымолвилъ Никонъ,—разбойникъ-то въ избѣ лежитъ; а я и такъ пойду, несвязанный... Ступай Степанъ въ избу... Мнѣ *туда,* чай, уже не ворочаться болѣе... шабашъ...

Бросилъ Степанъ купчиху, пошелъ въ избу. Повалилъ народъ за нимъ, волною хлынулъ.

Лежитъ черноусый ничкомъ посреди избы. На земляномъ полу размокшемъ грязь стоитъ отъ крови. Между лопатокъ топорище торчитъ, а желѣзо все внутро ушло, по обухъ по самый.

Марина на лавкѣ сидитъ. Воротъ у нея вплоть до пояса разодранъ, косы разметаны.

Сидитъ дѣвка прямо, глядитъ покойно... Свѣтло такъ въ глазахъ у нея, ясно. Лицо только бѣлѣе стѣны стало, и руки чуть-чуть вздрагиваютъ.

— Что такое сдѣлалось?—потупился Степанъ.

— Грѣхъ случился великій!—вымолвила Марина Денисьевна, встала и начала на образъ креститься.

Забрали тутъ Никона, обознаго выборнаго старосту, забрали и Степана-Малыша, забрали и Марину: «главная, говорятъ, всему зачинщица, причина самая».

Всѣхъ троихъ забрали, разсадили порознь, въ арестантскія, подъ караулъ строгій, и пошли ихъ каждый день допрашивать.

Заходили толки да переговоры по всему городу и пригородамъ, по степи слухъ пробѣжалъ.

Началось дѣло судное.

VIII. Подъ замками.

Вотъ уже мѣсяцъ къ концу подходитъ, какъ сидятъ по арестантскимъ конурамъ, каждый порознь, всѣ по дѣлу тому забранные.

И въ присутствіе-то ихъ водили «показанія отбирать», и на мѣстѣ ихъ допрашивали, справки наводили, писали да переписывали... Въ лѣсную сторону, на Волгу, и туда запросы посылали... Тянутъ дѣло, да и полно.

«И чего только за душу волокутъ?—думаютъ всѣ трое.—На-чистоту совѣмъ дѣло выходитъ, никто ни въ чемъ не запирается, показываютъ все по совѣсти, безъ всякой утайки... Чего-же имъ еще? Хоть-бы рѣшили судьбу нашу поскорѣе. Не маяли-бы по-пусту...

Антониду Евлампьевну тоже притянули; засадили сперва-началу, а потомъ отецъ Иванъ на поруки взялъ ее, по христіанскому своему сердцу доброму, ну, и выпустили.

Иванъ Александровичъ тоже было-сунулся за нашихъ хлопотать, да его сразу осадили...

— Ужъ не за одно-ли вы тоже съ ними, что такую горячку порете?—говорятъ ему.— Съ покойникомъ-то вы, знаемъ мы, шибко не ладили. Гмъ, подозрительно что-то...

Многіе по этому дѣлу сильно любопытствовали; глядѣть это ходили на «убійцу». Показывали имъ его черезъ окошечко дверное, а внутрь не пущали, говорятъ: опасно...

Крѣпокъ мужикъ Никонъ былъ, а захирѣлъ отъ этого... Злость у него подступала каждый разъ подъ сердце, какъ увидитъ въ окошкѣ барынь разряженныхъ, господъ съ лорнетками, на него установленными,—а наружу эта злость не выпускается, крѣпко ее Никонъ въ себѣ таитъ, ничѣмъ не высказываетъ... Ну, и стало ломать его; такъ-то подѣйствовало, что и на себя съ лица не похожъ сталъ, пожелтѣлъ весь, а глаза какъ у волка забѣгали...

Пуще всего господа насчетъ Марины любопытствовали. Каждый день кто-нибудь да и повидается; допросы съ нея тоже снимались, самые долгіе выходили. Написано-то этихъ допросовъ немного было, а разговору было достаточно, подробно обо всемъ разспрашивали.

Степана-Малыша меньше прочихъ трогали. Загрустилъ бѣд-

няга, все плачетъ. Въ *общую* просится, а то о другихъ печалится. Его про дѣло спрашиваютъ, а онъ самъ норовитъ спросить: «каково Никопу да что съ нимъ? Марина здорова-ли, не захворала-ли съ горя, съ несчастья нежданнаго?» Чудной такой сталъ парень. Много тоже надъ нимъ господа забавлялись...

Стало тутъ было слѣдствіе къ концу подходитъ. Судъ составили, цѣлую комиссію. Въ головѣ этой комиссіи судной самого маіора, командира батальоннаго, назначили, а кромѣ него семеро господъ, все изъ военныхъ.. Одного чиновника имъ тоже для письмоводства поставили, такого, что всѣ порядки зналъ,—по всей формѣ. Отцу Ивану тутъ тоже предписаніе вышло, чтобы присутствовалъ въ засѣданіи, въ эпитрахили и съ крестомъ, неравно что насчетъ присяги потребуется.

Сумка съ бумагами у слѣдователя на четверть вздулась. «Вотъ, говоритъ, еще на полвершечка прибавится, можно будетъ и кончить. Все предоставлю, и дѣйствуйте тогда, какъ знаете».

Назначили даже время, когда судить, день и часъ даже; приходилось это какъ-разъ черезъ три недѣли и два дня. Оповѣстили подсудимыхъ объ этомъ, порадовали ихъ чуточку, дали вздохнуть вольготнѣе; въ баню сводили съ солдатами, съ своими кое-съ-кѣмъ повидаться допустили.

— Теперича—говорятъ — скоро!

И нужно-же было тутъ случиться оказіи, да такой, что опять все вверхъ дномъ перевернулось, опять началось новое слѣдствіе, а старое перепуталось.

IX. Шакалья балка.

Пріѣхалъ въ городъ киргизъ-посыльный, джигитъ простой, сталъ Висилія Іоныча розыскивать; нашелъ скоро, потому купецъ въ ту пору дома былъ, никуда не отлучался.

— Что тебѣ надоть, другъ любезный?—спрашиваетъ Василій пріѣзжаго киргиза.

— Салтыкъ за тобою прислалъ,—говоритъ джигитъ.—Сейчасъ непремѣнно чтобы пріѣхалъ, большое дѣло есть, а какое дѣло-про то ты самъ долженъ знать, мнѣ-же ничего не сказано!

— Да развѣ онъ еще не уѣхалъ къ себѣ, здѣсь все гоститъ, Салтыкъ-то?

— Уѣзжалъ, да опять вернулся...

— У Аманджула гоститъ, что-ли?

— Нѣтъ, теперь самъ по себѣ пришелъ; своихъ людей привелъ и особнякомъ, на вольныхъ земляхъ, свои кибитки поставилъ: двѣ большихъ да одна юламейка, а народу шестеро!

— Далеко стоятъ?

— Въ полдня доѣдешь, коли лошади хороши. Я вотъ со вчерашняго вечера выѣхалъ!

— Кое мѣсто?

— Самъ увидишь; я провожу тебя, куда слѣдуетъ, а говорить здѣсь про то мнѣ не велѣно!

Задумался немного дядя Василій... Дѣло какъ-будто неладное, темноватое выходило.

— Коли къ завтрему не пріѣдешь,—говорилъ Салтыкъ, онъ самъ сюда будетъ, только не у тебя гостемъ остановится, хоть ты и кунакомъ ему считаешься, а прямо, говоритъ, къ самому уѣздному. Самъ ежели не поѣдетъ, джигита пришлетъ съ бумагою, а въ бумагѣ той...

— Маметка, сдѣлай коней, что тутъ съ нимъ разговаривать! Поспѣешь-ли ты на своей за моимъ? Чай, отдохнуть, покормиться требуется, ась?

— Аллахъ поможетъ, поспѣю!—говоритъ джигитъ.—Моя хорошо ходитъ...

Живо собрались въ дорогу. Долго-ли тутъ возиться! Одѣлся Василій, въ сѣдло пистолетъ засунулъ, другой—за поясъ... Сѣли на коней; передъ вечеромъ всѣ трое изъ города выбрались.

Не по себѣ было Василію Іонычу; всю дорогу ѣхалъ, задумавшись, мозгами все ворочалъ, съ Маметкою не разговаривалъ, съ провожатымъ тоже; самъ впереди ходкимъ поѣздомъ по степи дуетъ, Маметка съ киргизомъ отстали маленько, стороною, сзади держутся...

— Вонъ въ Аманджуловы хутора сюда дорога!—показываетъ нагайкою татаринъ.

— Такъ!—говоритъ киргизъ провожатый, а самъ и не смотритъ въ ту сторону.

— Хорошій человѣкъ мулла Аманджулъ, и домъ у него хорошій, и люди его хорошіе...

— Такъ!—говоритъ киргизъ, и больше ничего не добавляетъ... неразговорчивъ что-то.

— Ты самъ здѣшній?—пытаетъ Маметка и пристально въ него всматривается.

— Такъ!—бурчитъ тотъ, да и только.

— Не видалъ я тебя что-то прежде, а здѣшнихъ всѣхъ я хорошо знаю, и старыхъ, и малыхъ!

— Такъ!

Сплюнулъ Маметка, осердился даже. Онъ къ человѣку по душѣ, разговориться съ нимъ хочетъ, скучно тоже ѣхать да въ молчанку играть, а тотъ все: «такъ да такъ».

— Языкъ-то у тебя ничего больше говорить не умѣетъ, эй, ты, «малахай красный»!

— Аллахъ далъ одинъ языкъ, а глазъ и ушей по двое!—отвѣтилъ, наконецъ, джигитъ, подогналъ лошадь плеткою и поравнялся съ дядею Василіемъ, увидавъ, что тотъ вправо забралъ слишкомъ, такъ своротить его на настоящую дорогу.

— Да ты что вправо да влѣво меня ворочаешь? Прямо говори, куда; самъ мѣста здѣшнія знаю, найду безъ тебя дорогу!—осерчалъ и тотъ.

— Къ утру пріѣдемъ, самъ увидишь,—говоритъ киргизъ.—Иди за моею лошадью. Не хочешь—домой ворочайся!

Посердился маленько дядя Василій, однако все-таки ѣдетъ, домой не ворочается...

Струсилъ что-то и Маметка, купецъ хивинскій, поравнялся съ своимъ хозяиномъ.

— Эй, слушай, Василъ, а Василъ... послушай!—по-русски заговорилъ Маметка, чтобъ тотъ, чужой, не понялъ.

— Ты что еще?

— Нехорошіе люди, дурной человѣкъ. Пойдемъ домой, пожалиста!

— Молчи, дуракъ!..

— Зачѣмъ дуракъ? Пойдемъ домой... ми два, онъ одна—пойдемъ теперь; ми будемъ два, онъ будимъ многа, — нельзя ходить домой будетъ...

Ничего не отвѣтилъ ему дядя Василій, махнулъ рукою, усмѣхнулся...

— Теперь скоро!—словно про себя вымолвилъ чужой человѣкъ;—Ге-ге-ге-гей!..

— Чего разорался? То молчалъ, а то на всю степь гикаешь, аль волковъ скликаешь?

Темная степь передъ ними виднѣлась, небо впереди посвѣтлѣе обозначалось; хорошо виденъ былъ киргизъ провожатый, такъ на небѣ и вырѣзывался, а то вдругъ исчезъ, съ виду пропалъ, будто провалился куда или, словно сила нечистая, въ воздухѣ развѣялся.

Проѣхалъ еще шаговъ десятокъ дядя Василій, и его конь храпнулъ, вытянулъ шею, уши насторожилъ, слегка пятится... Обрывъ крутой впереди—умная лошадь степная, тропу легонько ногою ощупываетъ. Пустилъ поводья Василій, далъ жеребцу волю; тотъ лучше человѣка въ такомъ случаѣ путь разыскиваетъ.

— Легче!—окрикнулъ купецъ, услыхавъ, какъ за его спиною храпитъ и фыркаетъ лошадь Маметкина. — Не наѣзжай, легонько! «Шакалья балка» никакъ; таперича оглядѣлся; должно, это самое мѣсто и есть!

— Эй, вы!—кричитъ киргизъ впереди (теперь уже его совсѣмъ не видно),—Держи на голосъ!

Проѣхали еще съ версту днищемъ «Шакальей балки», вода впереди засвѣтилась, взморье никакъ. Надъ водою, на самомъ берегу, три кибитки виднѣются, двѣ круглыя большія, а одна съ острою верхушкою; словно стогъ сѣна впереди черпѣется. Въ двухъ темно, а изъ третьяго тендюка *) свѣтъ лучемъ выходитъ красноватымъ, дымокъ клубится легонькій.

Ближе стали подъѣзжать, кони заржали у кибитокъ, наши имъ отвѣтили, перекликнулись.

Слѣзли съ лошадей пріѣзжіе, расправили ноги. Василій къ кибиткѣ пошелъ, Маметка при лошадяхъ остался, по обыкновенію; оглядывается вокругъ да обнюхивается, «хвостъ бережетъ».

— Сюда зови!—слышится въ кибиткѣ голосъ Салтыка Аблаевича.—Двое ихъ, ты говоришь?

Что ему провожатый отвѣтилъ, того не слышно. Окликнулся Василій по обычаю, приподнялъ кошму входную. Сал-

---

*) Тендюкъ—верхнее круглое отверстіе для прохода дыма.

тыкъ ему на встрѣчу ступилъ, подержались за руки пріятелями, сѣли на коверъ, о дорогѣ да объ здоровьи справились; замолчалъ Салтыкъ, сталъ дядя Василій оглядываться.

Пусто было въ кибиткѣ; видно, налегкѣ сюда Салтыкъ пріѣхалъ; одинъ коверъ всего лежалъ на землѣ, а въ прочихъ мѣстахъ густая, сочная трава пробивалась; знать, недавно кибитка поставлена, не притоптали еще; по рѣшеткамъ ружье виситъ, двѣ шашки, куржуны переметные, къ верхнему кругу веревка подвѣшена, на веревкѣ обручъ виситъ, въ обручѣ соколъ дремлетъ, покачивается. Салтыкъ сидитъ въ одной тюбетейкѣ шелковой, а шапка хивинская, большая черная, барашковая, лежитъ около. Въ кибиткѣ еще сидятъ двое чужихъ людей, тоже по-хивински одѣты, молодые оба джигиты, чуть только бороды пробиваются. Дорожный кальянъ стоитъ, совсѣмъ заправленный; отъ угольевъ смрадъ идетъ, должно быть, сейчасъ на нихъ что-нибудь жирное жарили. Свѣту въ кибиткѣ не много, чуть-чуть только люди отъ стѣнъ отдѣляются: чтобъ видѣть что-нибудь, надо вглядываться, да и то глаза надо имѣть привычные.

— А ты забылъ про уговоръ нашъ?—вымолвилъ Салтыкъ Аблаевичъ.—Не хорошо это, не ждалъ я!

— Не забылъ я,—говоритъ ему Василій,—а дѣло это не легкое, не сразу сдѣлаешь!

— Будто? По-нашему, выкрасть бабу изъ аула—плюнуть труднѣе... пустое дѣло; а по-вашему нелегко. Не могу я этого понять, какъ ты тутъ хочешь? Дурачишь ты меня, правда!

— Украсть недолго, а только концы схоронить надо, чтобы послѣ самому быть чистому, вотъ въ чемъ хитрость. Тебѣ хорошо: получилъ да и ушелъ, а я-то...

— Значитъ, не можешь?

— Надо бы для тебя это сдѣлать, человѣкъ-то ты хорошій, а пуще всего—нужный!

— То-то... Не хотѣлось бы мнѣ выдавать тебя русскимъ головою, по *тому дѣлу*, а придется, пожалуй. Какъ ты объ этомъ, пріятель, думаешь?..

— Погоди, дай срокъ!

— Много и такъ ждалъ. Вотъ видишь, опять за тѣмъ же пріѣхалъ... Недѣлю ждать еще буду!

Помолчали оба немного. Салтыкъ въ землю смотритъ, Ва-

силій тоже потупился, прочіе двое кальянъ другъ дружкѣ передаютъ... Хрипитъ, бурлитъ этотъ кальянъ, словно захлебывается.

— Она человѣка убила?—спросилъ тутъ Салтыкъ Аблаевичъ и голову поднялъ.

— Ты почемъ знаешь?

— У насъ по степи все извѣстно. Сидитъ въ ямѣ теперь. Что, ее скоро рѣзать за это будутъ?

Тоска такая въ голосѣ батыря послышалась, дрогнуло въ горлѣ какъ-будто бы.

— У насъ не такъ. Да она и не виновата... ее, чай, выпустятъ, не скоро, а выпустятъ!

— А если не выпустятъ, если не выпустятъ... если... Самъ ты видишь теперь, что торопиться надо. Я сюда съ своими людьми за тѣмъ и пріѣхалъ, безъ нея и не уѣду, такъ и знай. Ты человѣкъ умный, хитрый, я тебя знаю... ты не сдѣлаешь, другому некому; а не сдѣлаешь, не поможешь мнѣ, пропадешь, какъ собака, обо всемъ напишу вашему уѣздному... говорилъ я тебѣ ужъ объ этомъ...

— Дай срокъ...—повторилъ опять дядя Василій.—Оглядѣться дай хорошенько... надо...

— Недѣлю даю, больше нѣтъ. Завтра же утромъ назадъ поѣдешь, а я за тобою слѣдить буду!

— Ладно!..

— Обо мнѣ, что я тутъ стою, никому не сказывай; ни аманджуловскимъ, ни городскимъ дороги сюда не показывай!

— Зачѣмъ болтать зря; я не изъ таковскихъ!

— Спать будешь?..

— Нѣтъ, кони отдохнутъ, со свѣтомъ назадъ уѣду; коли что, вѣсть пришлю съ Маметкою!

— Пошли Аллахъ хорошую... Такъ недѣлю, не позже? Денегъ надо? Бери... бери, сколько требуется!

Вытащилъ Салтыкъ кожаный кошель изъ-за пояса, протягиваетъ Василью.

— Не надоть, послѣ сочтемся, коли расходоваться надо будетъ; прячь назадъ, не надо!

— Зачѣмъ не берешь деньги... бери!—просунулъ голову Маметка,—Бери деньги...

— Коней готовь, ступай, скоро въ дорогу. Прощай!.. Ну, задалъ-же ты мнѣ работу!

— Люди мои нужны будутъ, бери... мало шестерыхъ, я еще достану, сколько нужно...

— И людей твоихъ не нужно. Что мы, баталію, что-ли, съ казалинскимъ гарнизономъ зачнемъ, страженіе какое?..— ухмыльнулся дядя Василій, хотя ему было шибко невесело въ ту пору. — Казалинскую крѣпость штурмою брать станемъ? Чудной, право!

— Въ недѣлю только семь разъ солнце восходитъ,—заговорилъ Салтыкъ Аблаевичъ,—помни, я считать буду. Видишь, вонъ свѣтать начинаетъ?.. Тамъ оно взойдетъ первый разъ, а вотъ и отмѣтка готова!

Вынулъ ножъ Салтыкъ и на верхней перекладинѣ, куда кошма дверная подвѣшивается, сдѣлалъ глубокую и длинную вырѣзку.

X. О чемъ думалъ и передумывалъ дядя Василій, ѣдучи въ городъ Казалинскъ изъ Шакальей балки обратною дорогою.

«Попался разъ Дабуй барантачъ. Долго на него наши зарились, шибко досадить успѣлъ. Поймали, наконецъ, изловчились, обрадовались.

«Ну, думаютъ, за все теперь выместимъ. Припомнимъ тебѣ всѣ твои пакости.

«Заперли его въ казематку крѣпостную, часовыхъ приставили, а онъ въ первую же ночь и убѣгъ.

«Стали тюрьму оглядывать: анъ подъ стѣнку ходъ прорытъ, словно нора лисья, прямо взади казематки, къ обрыву береговому. И чудно, право, какъ: земли даже не видать вывороченной.

«Вотъ онъ, значитъ, какимъ манеромъ удралъ: подрылся.

«Въ Яны-курганѣ, въ большомъ русскомъ лагерѣ, въ передовомъ самомъ, тоже такое дѣло было: посадили въ крѣпость четырехъ ухумцевъ, тѣхъ, что солдатъ нашихъ, часовыхъ задремавшихъ, перерѣзали. Присудили ихъ всѣхъ, чтобы повѣсить, съ барабаннымъ боемъ, со всякимъ приспособленіемъ, другимъ прочимъ, на страхъ и впередъ науку.

«Висѣлицу поставили, бумагу написали по всей формѣ, палача подыскали, а вѣшать-то было ужъ некого: тоже под-

рылись ухумцы подъ стѣну, да и были таковы, часового еще одного увели съ собою. Солдатикъ-то оказался изъ татаръ казанскихъ, одновѣрецъ.

«Много осторожнѣе стали наши послѣ этого. Байтака, лазутчикъ, что черезъ цѣпь проползти хотѣлъ, собакою прикинулся, того покрѣпче спрятали, часовыхъ кругомъ всей сакли поставили.

— Смотрите, ребята, въ оба,—наказываютъ часовымъ,— какъ ежели что, голова, что-ли, изъ-подъ земли покажется въ какомъ мѣстѣ, валяй ее прикладомъ, пока назадъ подъ землю не спрячется!

— Ладно!

«Стоятъ часовые солдатики, другъ съ дружкою перекликаются; башлыки отъ непогоды нахлобучили. А ночь-то была темная да вдобавокъ шибко ненастная.

«И видитъ это одинъ солдатикъ, какъ около него, шагахъ этакъ въ трехъ, не болѣе, кусточекъ колючій зашевелился. Лѣзетъ это изъ-подъ земли что-то круглое, мохнатое; голова Байтакова, знать, высовывается. Высунулась по плечи, поглядѣла да и спряталась... Земля, слышно, осыпается.

«Онъ туда; притаился, точно кошка надъ щелью, замахнулся ружьемъ, ждетъ... опять это показываться начинаетъ. А молодой тоже солдатикъ попался, неопытный, заоралъ сразу:

— Караулъ, братцы, лѣзетъ!—да и ну молотить по головѣ этой прикладомъ.

«Встревожилъ этимъ крикомъ онъ всю караулку; съ огнемъ бросились къ саклѣ. Часовые, хотя и всѣ на своемъ мѣстѣ находились, да глядѣть-то стали всѣ въ одну сторону. Кто внутрь пошелъ, кто ухватился за голову Байтакову, измолоченную, тащить стали, выволокли.

«Тьфу ты, Господи!.. Одни только сапоги киргизскіе, въ халатъ верблюжій заворочены, чучело эдакое сдѣлано, а самого Байтака нѣту; знать, отлучился куда не надолго; не думается тоже, чтобы назадъ домой захотѣлъ вернуться. Удралъ совсѣмъ значитъ.

«Тутъ онъ двѣ дыры прорыть успѣлъ: одну для себя, настоящую, а другую для отвода, часовымъ солдатикамъ позабавиться чтобы надъ чѣмъ было.

«Тоже, подрывшись подъ стѣнку, и изъ Иргиза ушли

ордынцы, что пять лѣтъ тому назадъ степь противъ насъ волновали, откочевывать въ хивинскую сторону подъучали.

«Ну, тѣ вольготно себѣ выходъ устроили, шибко разобрали стѣну, ворота-воротами сдѣлали, хоть на лошади выѣзжай, пригнись только маленько, коли шапка высокая.

«А въ третьемъ годѣ Майдановъ-горнистъ, что за убійство бабы судился и за искалѣченіе ундера капральнаго, какъ ушелъ?.. Тоже выбралъ четыре кирпича изъ-подъ оконницы, середку стѣны выцарапалъ мало-по-малу, землю подъ койку да по полу раскидывалъ, плотно утаптывалъ. Къ каждому утру, какъ обходъ по казематамъ начинался, ночную свою работу аккуратно кирпичами выбранными закладывалъ.

«Семь ночей работалъ труженникъ честный, на восьмую выползъ. Да еще записку, чудакъ, на стѣнкѣ мѣломъ оставилъ. Пишетъ:

«Прощайте, братцы! Иду въ генералы къ хивинскому хану. Онъ мнѣ дивизію цѣлую препоручаетъ... Дастъ Богъ, когда встрѣтимся, увидимся... Ушелъ бы раньше, да скорпіонъ проклятый за палецъ укусилъ; много онъ помѣхи этимъ въ работѣ сдѣлалъ... Шутка-ли, за эдакою-то тюрьмою семь ночей провозился!.. Починить прикажите скорѣе, чтобы не убѣгъ кто ненарокомъ»...

«Подписано: горнистъ Корнѣй Майдановъ, генералъ хивинскій...

«Изъ Самарканда тоже какъ арестанты разбѣжались? Опять же таки подрылись. Мѣрили проходъ ихній: въ семь саженъ съ аршиномъ вышелъ...

«Способъ-то этотъ, подрываніе, самый, по здѣшнимъ мѣстамъ, подходящій, по здѣшней стройкѣ.

«Конечно, коли изъ жженаго кирпича стѣна выведена, да на извести кладена, ну, тогда шабашъ, невозможно. Ломомъ не скоро дыру продолбишь, не то что руками голыми, а здѣсь какая стройка: намнутъ, намѣсятъ глины съ саманомъ (рубленною мелкою соломою), перемѣшаютъ, налѣпятъ кирпичей изъ этого да на солнышкѣ ихъ посушатъ немного. Такъ и строятся. Замѣсто извести идетъ та-же глина, только пожиже немного. Дождемъ стѣну такую снаружи мочитъ, а сырость насквозь просачивается.

«Скреби теперь голыми пальцами, подаваться будетъ. Иную

землю рыть много труднѣе, чѣмъ стѣну изъ кирпича этого саманнаго. Господа инженеры, строители, воздушнымъ такой кирпичъ называютъ. И точно, что онъ воздушный, коли отъ дождя да вѣтру самъ собою подчасъ валится.

«Опять ежели безъ кирпичей стройка идетъ, а прямо стѣна изъ сырой глины лѣпится, глинобитная, значитъ, тоже опять не велика прочность.

«И могутъ-ли такія стѣны удержать человѣка, особливо коли человѣкъ этотъ на волю просится, свою шкуру оберегаетъ?.. Да въ такомъ положеніи ину пору запоры желѣзные, стѣны каменныя, высокія, рвы водяные, глубокіе, цѣпи кованныя не выдерживаютъ, а не то что...

«Таперича Казалинскъ крѣпость нѣшто иначе строена?.. Все такъ-же, самымъ подходящимъ манеромъ, насчетъ ежели уходу... Приспособленіе чудесное!..

«Уйти, значитъ, только тотъ не можетъ, кто самъ не захочетъ... Ну, такихъ и запирать не для чего... Самъ себя сторожить будетъ; а такого человѣка, чтобы на свѣтъ выволочь, мало будетъ проковырять стѣну, надо еще силкомъ протащить его въ дыру эту, да съ оглядкою, а то самъ «караулъ» заоретъ, солдатиковъ часовыхъ позоветъ къ себѣ на выручку...

«Въ такомъ положеніи надо будетъ другой еще фортель придумать, къ своему времени приготовить... Одурачить, значитъ, какъ-нибудь заключенника, потому силою тутъ ничего не подѣлаешь...

Такъ-то вотъ всю дорогу обратную, изъ Шакальей балки домой, думалъ да передумывалъ Василій Іонычъ.

Задалъ тоже ему другъ его Салтыкъ Аблаевичъ работу тяжелую, никакихъ-бы денегъ нельзя взять за такую... Только развѣ для друга и можно, для пріятеля, потому человѣкъ-то онъ ужъ очень хорошій, самый распрекрасный... чтобъ ему сдохнуть скорѣе распроклятому!.. Змѣя-бы, что-ли, цапнула его какая ядовитая... Тамъ, въ Шакальей балкѣ, такія водятся, что разъ укуситъ, черезъ три часа человѣка скорчитъ... Верблюдъ намедни живо издохъ отъ этого самого... Эхъ, хоть-бы глазъ-на-глазъ, безъ свидѣтелей, гдѣ-нибудь встрѣтиться. Кажется, попадись онъ мнѣ такъ-то, съ живого сдеру шкуру зубами, измочалю всего, право слово!..

«Таперича одну зарубку положилъ на дверяхъ, завтра другую, тамъ опять третью... Не обочтется, каторжный!.. Седьмую рѣзать начнетъ—пропадетъ моя голова, не вывернешься. И надо-же было мнѣ его въ дѣло свое впутывать!

«Ну, дастъ Богъ, исполню ему его порученіе, обдѣлаю его дѣло, удружу, сосчитаюсь, и квитъ, значитъ, на чистоту... Ишь ты какое *калау* *) запросилъ! Надо отдать дѣлать нечего.—Чего отсталъ, Маметка? Гони проворнѣе!

XI. На крышѣ съ фронтономъ.

Немного народу было на пристани за крѣпостью, гдѣ стоятъ суда аральской флотиліи.

Да и кого выгонишь изъ дому въ такую пору жаркую, самую, почитай, полуденную?

Уныло стояли вербы развѣсистыя, опустивъ свои запыленныя вѣтви плакучія; уныло плескалась рѣка, подмывая ихъ корни, далеко во всѣ стороны расползшіеся. Уныло не то пѣли, не то жаловались на что-то матросы-маляры въ засаленныхъ кожаныхъ передникахъ, лѣниво шаркая обтертыми помазками по боку барказа, на берегъ выволоченнаго. Ярко свѣтились на солнцѣ бока этой лодки, только-что выкрашенной заново.

Солдатикъ гарнизонный купаться было пришелъ, сѣлъ на

---

*) Между киргизами существуетъ такой обычай: входить другъ съ другомъ въ особенную дружбу—братаніе. Побратавшіеся называютъ другъ друга тамыромъ (пріятелемъ). Желающіе потамыриться обнимаются черезъ обнаженную саблю, держа оружіе на груди. Цѣлуются и даютъ при этомъ обѣщаніе быть всегда друзьями.

Первымъ признакомъ этой дружбы служитъ выборъ «калау», т. е. предметовъ, особенно понравившихся другъ у друга. Если одинъ тамыръ увидѣлъ у другого что-нибудь особенно приглянувшееся ему, онъ объявляетъ объ этомъ, указываетъ на этотъ предметъ и говоритъ: «калау», тогда тотъ обязанъ тотчасъ-же отдать ему выбранное. Въ противномъ случаѣ, если послѣдовалъ отказъ, дружба разрывается безъ всякой возможности возобновиться снова. Въ результатѣ такого разрыва—страшная, постоянная месть, баранта, угонъ скота, ограбленіе аула и даже убійство.

Выборъ калау падаетъ преимущественно на предметы роскоши и особаго удовольствія, напр. на бѣгунцовъ, иноходцевъ, дорогіе мѣха, собакъ, охотничьихъ соколовъ и ястребовъ, украшенія и т. п. Обратно получить разъ отданное калау, указавъ на него въ свою очередь, нельзя; предоставляется за то право взять что-нибудь въ обмѣнъ, и потому, кромѣ исключительныхъ случаевъ, калау для обѣихъ сторонъ не обременителенъ.

(Изъ моихъ этнографич. записокъ о киргизахъ больш. и мал. орды).

*

песокъ, разувается; сниметъ одинъ сапогъ, позѣваетъ, почешется, подождетъ чего-то, тамъ за другой примется, опять зѣваетъ да почесывается, нехотя, словно по службѣ какой. Скука одолѣваетъ смертная...

Баба бѣлье принесла комендантское, на плоту полоскать собралась, съ кузнецомъ Тихономъ слово за слово переговаривается. А отъ кузнеца Тихона толко ноги видны, на пескѣ протянутыя, разутыя; самъ за колодою лежитъ, въ тѣнь, подъ лопушникъ широкій головою забрался.

— Что, тетка?—скажетъ кузнецъ и зѣвнетъ, ротъ перекреститъ, будто усы оботретъ.

— Ничего!—отвѣтитъ баба, тоже зѣвнетъ, валькомъ раза два шлепнетъ, призадумается...

Докторскій кучеръ дрожки на себѣ приволокъ на берегъ мыть, брякнулъ объ землю оглоблями, плюнулъ, выругался и сѣлъ на эти-же дрожки, трубочку сталъ набивать, покурить захотѣлось, видно...

Пароходъ «Аралъ» стоитъ на причалахъ у берега; матросы на немъ удочки на борту развѣсили, сами спятъ въ повалку на палубѣ, благо тѣнь тамъ легла отъ парусовъ, для просушки развѣшенныхъ. Торчитъ кверху труба пароходная, черная, закопченая, жерло тряпкою обвязано. Торчатъ мачты тоненькія. Лоскуточекъ виситъ на одной красненькій, отрепанный, не шелохнется... Не шелохнется ни одна веревочка, не покачнется; словно нарисовано все это на сѣромъ небѣ дымчатомъ... Только тѣни рѣзкія чуть-чуть все подвигаются, и все-то въ одну сторону.

Съ того берега, съ огородовъ казенныхъ, голоситъ кто-то, лодку требуетъ... Чуть только голосъ этотъ зовущій слышится...

Приглядѣлось все это всякому казалинцу, опротивѣть успѣло даже; чего-бы, кажется, приходить сюда человѣку разглядывать, особенно ежели дѣла нѣтъ никакого? А дядя Василій, вотъ уже полчаса скоро, бродитъ здѣсь, прохлаждается... То на рѣку посмотритъ, прищурившись, то съ матросами-малярами рѣчь заведетъ, то на стѣну крѣпостную ненаркомъ будто-бы взглянетъ...

Стоитъ теперь Василій Іонычъ на пригорочкѣ. Къ берегу этотъ пригорочекъ отлого спускается, весь бурьяномъ густымъ заросъ, лопушникомъ да крапивою, а къ стѣнѣ крутымъ об-

рывомъ спускается, вплотную приходится. Самая стѣна къ нему прислонилась, а къ стѣнѣ той казарма, сакля такая длинная пристроена.

Видна отсюда, сверху-то, дядѣ Василію крыша ея плоская, травою заросшая; двѣ трубы печныя изъ нея выглядываютъ: одна дымится легонько, другая гнѣздомъ аистовымъ занята, значитъ такъ, для счету только поставлена. Съ передней, лицевой стороны крыша фронтономъ глиняннымъ огорожена, чтобы видъ съ фасаду былъ получше, если глядѣть на казарму съ площади крѣпостной, съ самаго того мѣста, откуда всю стройку и все, что есть въ крѣпости хорошаго, пріѣзжимъ генераламъ два раза въ годъ показываютъ. Имъ-то, можетъ, и хорошо все съ той стороны видно, да дядя Василій изъ-за этого фронтона ничего не видитъ, что въ крѣпости дѣлается. Только и видна ему самая крыша да труба, да мусоръ, на крышу наваленный...

И очень это все ему, должно быть, понравилось. Пробрался это онъ черезъ бурьянъ, шагнулъ прямо на крышу, обернулся, руку къ глазамъ приставилъ, все-то какъ-будто за рѣку приглядывается... И видитъ онъ: глядитъ это на него кучеръ докторскій, ужъ теперь не сидитъ онъ на дрожкахъ, а вовсе разлегся, забылъ про мытье, должно быть...

— Чей экипажъ-то? — спросилъ его Василій Іонычъ. — Однако, того, припекаетъ...

— Хозяйскій,— сплюнулъ кучеръ съ трубочки.—Дожидаетесь кого, али такъ, для прогулки?

— Человѣка тутъ жду. Послалъ его за рѣку, а онъ, ишь, ты, подлецъ какой, застрялъ тамъ, не видать что-то...

— Такъ!

То не сыръ-ли боръ шумитъ,
Амиръ съ арміей катитъ...

— Не идетъ, да только! Должно быть, у огородниковъ сидитъ... Говорилъ ему, чтобы скорѣе...

— Замѣшкался, надо полагать...

Онъ катитъ, катитъ, катитъ,
Самъ покатываетъ...

— Знать, ужъ не дождаться! Экій лѣшій, право... Стану я его тутъ ждать на солнцепекѣ самомъ... Сколько времени потерялъ... Тьфу ты, право!

Говоритъ это словно про себя дядя Василій, однако, громко. Рукою махнулъ и прочь пошелъ, не сталъ дожидаться болѣе; да оно, кстати, и ждать-то было некого...

Спустился внизъ дядя Василій, прошелъ мимо барказа, прямо въ ворота крѣпостные. Обогнулъ склады съ сухарями казенными, зашагалъ мимо казармы той самой... Двѣ двери выходятъ изъ нея на площадь, у каждой двери по солдату торчитъ, съ ружьемъ и при всей аммуниціи. За дверями корридоръ идетъ длинный, вдоль всей казармы, плитнякомъ вымощенъ; съ того корридора еще нѣсколько дверей выходятъ; по корридору мимо всѣхъ этихъ дверей еще часовой взадъ и впередъ шагаетъ; соскучился, смѣны себѣ дожидается...

Идетъ Василій Іонычъ, поспѣшаетъ, шагу даже прибавилъ, по сторонамъ не зѣваетъ, потому нѣтъ ему до всего этого никакого дѣла.

Только вышелъ вонъ изъ крѣпости, на городскую сторону, верховой ѣдетъ ему на встрѣчу, по одеждѣ—киргизъ. Поравнялись; задержалъ вершникъ коня своего, пріостановился.

— Атаманъ!—говоритъ.—Сказалъ мнѣ твой Маметъ, что ты сюда пошелъ, я и поѣхалъ тебя розыскивать!

— Что надо?—досадливо такъ спросилъ Василій Іонычъ, инда крякнулъ.

— Салтыкъ велѣлъ узнать, что новаго, хорошо-ли дѣло идетъ, а больше ничего...

— Скажи Салтыку своему, чтобы завтра къ намъ высылалъ людей въ указанное мѣсто. Съ Богомъ теперь! Что здѣсь все людямъ на глаза мечешься!.. Ишь, ты, бій твой четвертой зарубки положить не успѣлъ, а второй разъ повидаться посылаетъ!

Повернулъ киргизъ лошадь, прочь погналъ; дальше пошелъ дядя Василій въ городу.

XII. Оказія.

Сидитъ Марина Денисьевна теперь одна-одинешенька.

Саклюшка отведена ей просторная: въ ширину четыре аршина, въ длину восемь. Одна дверь всего только, въ корридоръ ведетъ, надъ нею оконце въ три стекла продѣлано, а больше нѣтъ... Въ самый полдень даже и то мало свѣту сквозь это

окопце пробивается, а какъ на закатъ пойдетъ солнышко, тогда совсѣмъ темно въ саклѣ дѣлается. Ночью-же совсѣмъ хоть глазъ выколи... Поставлена тутъ Маринѣ койка деревянная, солдатская, и мѣшокъ соломою набитый замѣсто тюфяка. Просила она, чтобы ей одежду какую дозволили взять изъ дому, да теперь нельзя уже было, потому, говорятъ, что домъ заперли и ко всѣмъ дверямъ печати припечатали, часового тоже сторожить приставили.

Стѣны штукатуренныя, глиняныя; штукатурка вся давно уже потрескалась и валиться начала. Сороконожки по этимъ стѣнамъ другъ за дружкою въ перегонку бѣгаютъ, съ виду мохнатыя такія, страшныя, а ничего, не опасныя. Отодвинула, впрочемъ, кровать заключенница на всякій случай, посреди сакли, подальше отъ стѣнъ поставила.

Потолокъ наверху четырьмя толстыми балками перегороженъ, а между балками этими все брусочки строганые, палочки такія, часто наложены, на нихъ сверху плетенки камышевыя настланы, а поверхъ плетенокъ земля толстымъ слоемъ насыпана. Трава, что на крышѣ выросла, пустила внизъ корешки глубокіе, длинные; проложили себѣ дорогу эти корни сквозь весь слой, сквозь плетенки даже и между палочекъ бахромою внутрь сакли выглядываютъ. Въ дождливую пору вода тоже просачивается, только теперь это пока не бѣда— пора стоитъ сухая, лѣтняя, о дождѣ и думать-то позабыли.

Каждое утро приходилъ къ Маринѣ унтеръ дежурный, не то ефрейторъ, ѣсть приносилъ и саклю оглядывалъ; офицера заходили, чаю подчасъ присылали, хлѣба бѣлаго. На прогулку выпускали во дворъ арестантскій черезъ день, только прогулки эти шибко Маринѣ не нравились... Народу обступитъ много, глазѣютъ это на нее; кругомъ солдаты торчатъ. И рада-рада была дѣвка назадъ къ себѣ, въ свою конуру, вернуться.

Думала она прежде на выводкахъ этихъ со Степаномъ-Малышомъ или съ Никономъ встрѣтиться, словомъ перемолвиться, да тѣхъ порознь, въ особое время, водили; слѣдователь такъ приказалъ, чтобъ сговориться не могли, для показаній столкнуться-бы.

Тосковала Марина шибко въ первое время, волчицею по саклѣ металась, думала даже на переводѣ (балкѣ потолочной) повѣситься, да одумалась (оно, кстати, и балка-то высоко

была, не достанешь); потомъ улеглось у ней сердце, такъ грустить начала, по днямъ сидѣла, передумывала... И все-то ей припоминалось тутъ, на досугѣ, все съ той самой поры, какъ дѣвочкою маленькою, при дѣдушкѣ Денисѣ, покойникѣ, состояла, но самое послѣднее, когда грѣхъ этотъ въ ея домѣ приключился...

Съ той думы, должно быть, успокоилась она, попривыкла къ своему одиночеству мало-по-малу... Стала время считать, день за днемъ отмѣчать черточкой на стѣнкѣ. Думаетъ такъ:

«Кончится-же все это когда-нибудь. Присудятъ, можетъ, къ чему, а все-же, въ концѣ-концовъ, на волю выпустятъ. Только-бы поменьше къ допросамъ этимъ таскали, по людямъ не водили-бы».

И чудно, право! Сама она себя считала во всемъ виноватою... Не сообразила дѣла, какъ слѣдуетъ, себѣ самаго большого ждала наказанія, Никону поменьше, а Степану и вовсе никакого... Да и не знала она путемъ, сидитъ-ли еще Степанъ въ острогѣ, или давно ужъ на волю выпущенъ.

Засвѣтился на потолкѣ красноватый четырехугольникъ— это, значитъ, фонарь со свѣчею повѣсили въ корридорѣ; развели уже по мѣстамъ смѣну ночную. Положила Марина обычную черточку на стѣнкѣ (а черточекъ этихъ много у ней уже нагорожено—рѣшетка рѣшоткою), помолилась Богу, легла на свою койку и дремать стала...

Долго-ли, мало-ли спала, вдругъ ей на лицо упалъ кусокъ чего-то твердаго. Такъ и вскочила Марина, приглядывается; ничего-то не видно ровнехонько, а слышно, что съ потолка на то-же самое мѣсто еще что-то валится, будто земля съ потолка осыпается... Что за диковина?

Подождала еще минуточку дѣвка, стала прислушиваться: царапаются наверху, между балками, плетенку словно кто руками отдираетъ; пуще земля сыплется, палочка одна даже вывалилась и со стукомъ объ койку ударилась...

И не страшно ничего Маринѣ... Видитъ она, слышитъ ясно, что черезъ потолокъ къ ней добираются, а ничего... Подошла только къ двери потихонечку, думаетъ: ежели недоброе что, постучусь только; часовой-то эвона гдѣ, близко; вонъ, слышно, по плитному полу шагаетъ.

Блеснула наверху звѣздочка и потухла, словно заслонило

ее чѣмъ-то... Вонъ опять блеснула... другая рядомъ съ той заискрилась. Воздухъ свѣжій ночной въ душную саклю врывается, снизу сквознякъ потянулъ, изъ-подъ двери...

— Марина,—шепчетъ наверху голосъ,—а Марина! Откликнись, голубка, только тише, легонько!

— Кто тамъ?—тоже шопотомъ спросила Марина, отошла отъ двери, стала на койку...

— Никонъ убѣгъ, таперича далеко отсюдова; въ одномъ мѣстѣ тебя дожидается, и Степка съ нимъ; за тобою прислали... Вотъ тебѣ веревку мы спустили, обвяжись вокругъ пояса да вылѣзай проворнѣе... Лови арканъ-то...

— Кто такой?—пытаетъ Марина, а голосъ у ней въ горлѣ дрогнулъ, перехватило чѣмъ-будто, ноги подкашиваться начали, голова закружилась, койка изъ-подъ ногъ уходить стала куда-то.

Скользитъ у ней по шеѣ петля веревочная, ползетъ ниже... Вотъ еще кушакъ спустили, широкій такой, мягкій... Уцѣпилась за все это Марина, а силы у ней нѣтъ; такъ вотъ всю и покачиваетъ.

— Берись,—обвязывайся проворнѣе...—Никонъ, слышь ты, дожидается... время уходитъ... Не робѣй, что-ли!

Какъ сказали это наверху: «Никонъ дожидается», — крѣпко взялась Марина за веревку, обѣими руками, зубами даже прихватилась, натянула... И чувствуетъ она, какъ ноги ся отдѣлились отъ койки, въ воздухѣ болтнули, руки чьи-то подъ мышки ее подхватили... Сильно пахнуло въ лицо вольнымъ воздухомъ, свѣтла такъ лѣтняя ночь показалась.

Дядя Василій одинъ стоитъ передъ нею; никого нѣтъ около тихо кругомъ. Гдѣ они, въ какомъ мѣстѣ? Не въ догадъ дѣвкѣ, что такое это съ нею дѣлается.

— Накинь вотъ это, на всякъ случай; ползи за мною; не подымайся, какъ-бы не увидали,—говоритъ Василій.—То-то Никонъ теперь обрадуется! Самого-то его выволокли мы, а тебя-то, поди, и не чаяли!

Ползетъ за нимъ Марина Денисьевна... Лопухи да бурьяна кругомъ кусты какіе-то колючіе; прохладою спереди вѣетъ, волна бьетъ о берегъ; птица ночная кричитъ далеко, на томъ берегу, должно быть.

Проползли они шаговъ эдакъ двѣсти, встали на ноги...

Стѣна крѣпостная вправо осталась, впереди чуть домики городскіе чернѣются, влѣво дорога пыльная тянется... Узнала Марина мѣсто, какъ будто опомнилась.

— А ты не обманываешь меня, Василій Іонычъ?—глухо спросила она и остановилась.

— Это грѣхъ тебѣ, Марина Денисьевна. Ужо вотъ пріѣдемъ, самой станетъ совѣстно. Человѣкъ это для тебя жизни не жалѣетъ, самъ норовитъ въ острогъ попасть, всѣхъ васъ вотъ на волю повытаскивалъ, а она его обманщикомъ считаетъ... Поспѣшай, родимая, иди проворнѣе!

Дернулъ ее за руку Василій и влѣво потащилъ; свистнулъ не громко, ему другимъ свисткомъ откликнулись; колесо скрипнуло будто-бы, лошадь, слышно, хвостомъ отъ комаровъ отмахивается... Опять посвистываетъ кто-то, куда путь держать, указываетъ.

— Сажай въ телѣгу ее, Маметъ—говоритъ Василій,—я васъ провожу за городъ; а ты съ нею дальше гони, къ указанному мѣсту, на берегъ. Тамъ смотри, на глаза тѣмъ не показывайся до моего прихода, а я пока здѣсь останусь: надо, чтобы меня тутъ видѣли!

Посадили Марину въ телѣжку, сѣномъ набитую, Маметка рядомъ сѣлъ; покатилась повозка по дорогѣ, взаскачь погналъ коня татаринъ чебоксарскій.

А въ густой осокѣ прибрежной, за камышевою чащею, стоитъ каикъ рыбачій, на водѣ покачивается. Отъ рѣки за камышемъ не видать; съ берегу тоже обрывъ глинистый все заслоняетъ; сидятъ на каикѣ трое людей, самъ Салтыкъ Аблаевичъ съ двумя хивинцами; четвертый на обрывѣ лежитъ, на брюхѣ, смотритъ вдаль, дожидается.

Давно уже засѣли здѣсь хивинцы, по указу Василія Іоныча; онъ имъ и лодку приспособилъ, и мѣсто это выискалъ.

— Сидите только смирно; Боже васъ оборони, кто увидитъ! Носу отсюда не высовывайте!—наказывалъ онъ имъ, а Салтыку въ особенности.—Коли сегодня ночью не представлю, тогда ужъ какъ знаешь, все одно, значитъ, влопался!

И сидѣли они смирно, дожидались терпѣливо. Только Салтыкъ всѣ губы искусалъ себѣ до крови отъ этого терпѣнія...

Въ лихорадку его даже ударило... То-и-дѣло самъ на обрывъ лазилъ и въ даль изъ-подъ шапки своей черной приглядывался.

Еще много до свѣту приходилось, заторохтали въ степи колеса телѣжныя; у Салтыка душа замерла. Другіе даже всѣ изъ лодки повыскакали.

XIII. Порѣшенны

Какъ увидали на другой день пустую саклю съ потолкомъ продырявленнымъ, гдѣ Марина сидѣла, шибко озадачились. Пошли сейчасъ гнать по горячему слѣду, а горячаго слѣду этого только и было всего два отпечатка ногъ на крышѣ, да бурьянъ на пригоркѣ смятый, стоптанный.

— Бѣжала, шустрая!—говорятъ одни.

— Увезли!—толкуютъ другіе.—Значитъ, выкрали!

Статочное-ли дѣло, чтобы силкомъ кого изъ-подъ замковъ тюремныхъ увезти можно было, безъ согласія его, безъ вѣдома... Вѣрнѣе, значитъ, сама убѣжала; а коли одна убѣжала, значитъ, другіе къ тому-же готовились, да не поспѣли, оплашали, полагать надо.

Правый не побѣжитъ, ему не зачѣмъ; бѣгутъ виноватые. А коли она виновата, Марина, то-есть, такъ и тѣ двое пуще ея кары заслуживаютъ.

Совсѣмъ было къ концу подходило судное дѣло, а тутъ—стой! Давай все сначала.

Опять пошли допросы да передопросы, опять справки да переписки, опять стали таскать заключенниковъ по городу со стражею почетною, «съ ундеромъ и съ книжкою».

Осень подошла.

Вотъ, думаютъ, теперь скоро; къ первопутку зимнему пошабашутъ.

Прошла эта осень; зима наступила, мокрая, вѣтряная, малоснѣжная.

— Раньше, какъ къ веснѣ, и кончать нечего!—толкуютъ судьи многомудрые.—Потому какъ ежели гнать *ихъ* придется по этапу, не погонишь степью въ бураны снѣжные да въ гололедицу, за три тысячи верстъ, пѣшкомъ, съ желѣзными подвѣсками!

И долга же эта зима показалась Степану съ Никономъ; и конца ея они не чаяли.

Вторая зима эта была, какъ они на мѣста эти новыя, благодатныя, прибыли.

Наступила весна. Согрѣло солнышко землю озябшую, распустило льды, снѣга слежавшіеся, заглянуло, надо полагать, и въ души мундирныя, тепломъ въ нихъ повѣяло. Да и надоѣло оно тоже съ однимъ и тѣмъ-же дѣломъ столько времени возжаться. Опять-же запросы стали приходить отъ большого начальства по округу.

Прикончили съ дѣломъ «по убіенію посредствомъ топора надворнаго совѣтника Іосифа Антоніева Колоштанскаго, съ пересѣченіемъ спинного хребта и проникновеніемъ онаго (т. е. топора) въ грудную полость, отъ сего умершаго».

Порѣшили съ участниками этого дѣла кроваваго.

Никона Денисова присудили: лишить всѣхъ правъ и всего прочаго, заключить въ тюрьму на девять лѣтъ, препроводивъ его для сего въ омскій губернскій острогъ, а послѣ этого срока водворить въ той же мѣстности на поселеніе пожизненно.

Степану-Малышу зачесть годъ и два мѣсяца, проведенные въ тюрьмѣ, въ наказаніе за непринятіе мѣръ къ предупрежденію преступленія, и выпустить на свободу.

Дѣло объ исчезновеніи Марины Денисьевой, за неимѣніемъ никакихъ слѣдовъ и указаній, предать волѣ Божіей.

Послали это рѣшеніе на просмотръ и утвержденіе, куда слѣдуетъ; тамъ смилостивились: изъ Никоновыхъ девяти лѣтъ четыре года сбавили; во всемъ прочемъ согласны были и предписали: «приговоръ этотъ исполнить».

Сѣрое утро было такое. Заволокло все небо жиденькими тучками, кругомъ обложило. Распустило еще неокрѣпшую, какъ слѣдуетъ, весеннюю дорогу, налились водою глубокія колеи, черно, уныло вся степь окрестная выглядывала.

Много народу всякаго сошлось къ крѣпостнымъ воротамъ. Густая толпа уже часа два мѣсила липкую грязь на эспланадѣ. Дождикъ сталъ моросить косой, холодный. Мокнетъ народъ, зипуны да халаты на головы накинули, ежатся, а все ждутъ чего-то, не расходятся.

Изъ господъ кто пріѣхалъ, такъ въ крѣпость пропустили; ждутъ они въ теплѣ, на сухомъ мѣстѣ, а сѣрый народъ—что ему дѣлается?—Коли на чужое горе пришла охота глядѣть, пусть и мокнетъ, своего любопытства ради.

— Вонъ онъ идетъ, онъ самый... эвона!—кричитъ бурый халатъ, штаны солдатскіе.

— Гдѣ, кто?

Сунулась толпа, впередъ подалась, зашлепала грязь подъ ногами, брызнула.

— Идетъ! Ишь, сердешный, потупился... Ахъ ты, Господи, Боже ты мой милостивый!

— Да кто идетъ, кто? Посторонись, милый человѣкъ, аль пригнись, что-ли, вишь ты какой рослый, ровно стѣна все загораживаешь... Эй, милый человѣкъ, любезный!

— Обойди стороною, мѣста довольно; что я тебѣ, кланяться, что ли, стану?

— Да вишь ты—лужа!

— Это Степанъ!

— Ишь ты! Что-же онъ одинъ-то, безъ караулу?

— Зачѣмъ его караулить? Его, слышишь ты, ослобонили, совсѣмъ, значитъ, на волю!

— Сердешный!

— Отходи отъ воротъ! Отходи, эй! Чего толчетесь? Прочь съ дороги! Да ну, просить, что-ли, станемъ вашего брата! Раздайся, черти, дьяволы!

Вышелъ тутъ ундеръ полицейскій, съ нимъ два солдатика, стали народъ осаживать.

— Скоро поведутъ, что-ли? — спрашиваютъ съ разныхъ сторонъ;—Сказывали—скоро!

— Какъ скоро, такъ сейчасъ!

— Иванъ Семенычъ, а Иванъ Семенычъ! Семенычъ!

— Кто кличетъ? А, кума, ты это? Прозябла, чай, ждамши, толстомясая?

— Скоро поведутъ-то? Скажи, родимый.

— Выходи сюда! Вотъ тутъ посуше. Прочитали все, таперь скоро, сичасъ!

Пуще въ толпѣ завозились, жмутся къ воротамъ, того и гляди, въ ровъ крѣпостной свалятся. Въ отворенные ворота часть площади видна: телѣга стоитъ тамъ въ одну лошадь,

подвода, значитъ, десятокъ солдатъ съ ружьями и мѣшками заплечными, два казака верхомъ,—хмурые всѣ такіе, невеселые. Да и кому весело столько верстъ, до перваго этапу пѣшкомъ по грязи переть, а ничего не подѣлаешь, потому—служба.

Подошелъ Степанъ-Малышъ къ воротамъ, видитъ: сотни глазъ на него уставились; вспыхнулъ весь, бѣдняга, назадъ-было попятился, остановился, совѣстно такъ стало. А чего?

— Какъ ты, таперича, вольный человѣкъ, —подошелъ тутъ къ нему человѣкъ изъ городскихъ, незнакомый совсѣмъ,—значитъ оправданъ и все прочее, — прозздравляю; пойдемъ въ трактиръ. Иди, дуракъ, весь день на свой счетъ угощаю, жертвую. Ну, иди, чего упираешься!

Не до того было Малышу; жутко ему глядѣть на солдатъ да казаковъ, что около подводы стоятъ, а на ворота, куда выходъ вольный, — еще того жутче. Провалиться-бы сквозь землю легче ему было, да земля, даромъ-что размокшая, а крѣпка еще, устойчива, не расходится подъ ногами, на сколько слѣдуетъ.

Хуже теперь Степану, много хуже супротивъ даже того разу, когда его вели сюда связаннаго.

— Вольный ты человѣкъ таперь, значитъ, какъ есть чистъ, непороченъ, оправданъ, а посему ликуй и радуйся!—лѣзетъ это ему въ оба уха. За рукавъ его теребятъ, за шею обнять норовятъ.

Словно надсмѣхъ какой, издѣвку надъ горемъ его тяжелымъ, надъ тоскою дѣлаютъ.

И одолѣваетъ-же эта тоска парня «оправданнаго», давитъ грудь, подъ сердце подступила, и нѣтъ конца этой тоскѣ, нѣтъ выхода: не съ кѣмъ Степану теперь словомъ перемолвиться, нигдѣ никакой утѣхи не предвидится.

Гудитъ народъ кругомъ. Много его тутъ собралось. Изъ города все новыя и новыя толпы прибываютъ, торопятся. Застилаетъ все это, словно туманомъ сѣрымъ заволакиваетъ, заглушаетъ крики и говоръ, словно все это вдаль отъ него уходитъ, раздвигается. И одинъ одинокій онъ стоитъ здѣсь, посреди народа всего, одинокимъ и всю жизнь останется.

Брякнуло желѣзо неподалеку; духъ у Степана занялся.

— Ведутъ, ведутъ!—перешептываются въ народѣ. И ехидно такъ, словно шелестъ змѣйный, шипѣніе гада какого ползучаго, шопотъ этотъ народный слышится.

Отросла борода у Никопа, ввалились щеки поблекшія, глубоко куда-то глаза его сѣрые спрятались; тускло глядѣли они изъ своихъ ямъ на свѣтъ божій, прямо впередъ, вдаль; по сторонамъ не разбѣгались.

Согнулась его спина широкая, сгорбилась; не подъ силу, знать, пришелся ей квадратъ желтый, тузъ каторжный; подалась подъ нимъ Никонова сила медвѣжья.

Тяжело переступаютъ ноги кованныя, и желѣзо за ними по грязи бороздитъ, волочится.

И не помнилъ уже Степанъ, не зналъ, какъ съ мѣста рванулся, какъ въ ноги повалился Никону, какъ подняли его, оттащили прочь солдаты съ мѣшками да ружьями.

— Съ радости-то нарѣзаться успѣлъ какъ! — говорятъ, толкуютъ около...

— Хорошъ! Нечего сказать!

— И никакъ невозможно, чтобы при такомъ случаѣ не выпить, никакъ этого невозможно!

— Убрать!—звонко такъ командуетъ офицерикъ, безусый еще, молоденькій.

Чуть было бабу-мѣщанку конемъ своимъ съ ногъ не сшибъ, ужъ очень отъ безпорядка такого изволилъ придти въ волненіе.

Очнулся Степанъ-Малышъ уже въ госпиталѣ казенномъ. Справа койка стоитъ, на ней халатикъ лежитъ сѣрый, колпакъ бѣлый бумажный, изъ-подъ колпака носъ заострившійся торчитъ, борода небритая виднѣется. Слѣва тоже койка, такая-же точно, опять халатъ лежитъ, опять колпакъ бумажный, только рожа подъ тѣмъ колпакомъ красная такая, вздутая, и усы рыжіе щетиною топорщатся. За этими койками еще стоитъ много коекъ, длиннымъ рядомъ вытянувшись. Супротивъ— окошки, мухами засиженныя, со стеклами заплатанными, зацвѣтшими. У одного такого окна столикъ стоитъ, чернилами забрызганный, у столика фельдшеръ сидитъ, папироску куритъ, колки на гитарѣ правитъ, «Черный цвѣтъ» мурлыкаетъ. Съ потолка рѣшетчатаго вода откуда-то дождевая просачивается и мѣрно, капля по каплѣ, звучно такъ о плитный полъ щелкается.

Глянулъ на себя Степанъ — и на немъ такой-же халатъ

сѣрый; пощупалъ голову руками—бумажный колпакъ шелеститъ подъ исхудалыми пальцами.

Страхъ напалъ на бѣднягу, хотѣлъ было крикнуть, да голосу не хватаетъ; хотѣлъ вскочить—сила вся, ни вѣсть куда, пропала; словно приковалъ его кто къ тюфяку соломенному, ни рукой, ни ногой не можетъ онъ двинуться.

Замычалъ, глянулъ въ его сторону фельдшеръ дежурный и положилъ на столъ свою гитару недостроенную.

XIV. «Свѣтъ не безъ добрыхъ людей» — пословица, даже и по здѣшнему мѣсту пригодная.

Съ мѣсяцъ прошло времени, какъ увели Никона. Забываться стала мало-по-малу вся эта оказія.

Съ домомъ да съ добромъ Никоновымъ приключилось тутъ тоже большое недоразумѣніе: кто говоритъ, что, безъ наслѣдниковъ законныхъ, въ казну все должно поступить. Самъ уѣздный тоже такъ думалъ и воловъ велѣлъ уже на казенный дворъ тащить. Батюшка тутъ, отецъ Иванъ, супротивничаетъ: «казна и такъ богата, говоритъ, а онъ, Никонъ, мужикъ былъ религіозный, ну, и попуталъ его лукавый, подтолкнулъ на такое дѣло, что и со всякимъ прочимъ можетъ случиться, а потому, ради души его спасенія, все на церковь должно поступить, кстати оно и стройка церковная не совсѣмъ покончена, деньги требуются».

До ссоры дошло тутъ дѣло. Прочіе всѣ—кто на ту сторону клонитъ, кто на другую.

Иванъ Александровичъ тоже отъ себя подалъ заявку: пишетъ по формѣ, какъ слѣдуетъ, такъ, молъ, и такъ: Никонъ Денисьевъ своего дѣла отъ мірского не отдѣлялъ, всегда говорилъ объ этомъ и на дѣлѣ по словамъ своимъ поступалъ, на что имѣются свидѣтели законные, а посему выходитъ, что все имущество: рабочій скотъ, инструменты, орудія земледѣльческія и стройка, все должно быть возвращено ихъ сельскому обществу, а тамъ ужъ какъ захотятъ, такъ съ тѣмъ и поступятъ.

Написали, всякъ отъ себя, къ высшему начальству бумаги и въ бумагахъ тѣхъ изложили все въ подробности, просили должнаго разрѣшенія. Хитро тоже учинили они это дѣло: на-

писалъ каждый порознь и послалъ другъ отъ друга тайно; въ большомъ секретѣ держали это.

«Погоди,—всякій думаетъ,—вотъ придетъ разрѣшеніе, какъ снѣгъ на голову; утретъ оно носы вамъ... погодите!..»

Много-ли, мало-ли времени прошло, вышло это разрѣшеніе. Самъ генералъ въ ту пору проѣздомъ изъ Ташкента въ Питеръ пожаловалъ.

Чуть не лопнулъ съ досады уѣздный, а отецъ Иванъ такъ даже боленъ сталъ, служить не могъ, какъ узналъ, что дѣло-то вышло по габинскому—значитъ: «отдать въ міръ».

— И чего вы-то не въ свое дѣло суетесь!—не вытерпѣлъ уѣздный, когда съ Иваномъ Александровичемъ у генеральскаго крыльца встрѣтились.—Вы кто такой? Частный человѣкъ, ничего больше. Ну, чего вы лѣзете? Только мутите, только мутите. На зло мнѣ все, я вѣдь знаю!

— Поговорилъ-бы я съ вами, да некогда,—говоритъ ему, усмѣхаясь, Иванъ Александровичъ:—меня вотъ его превосходительство ждетъ чай пить Велѣлъ придти къ нему, понадобилось что-то!

— Чай пить?—осовѣлъ уѣздный, и глаза на него прищурилъ, перчатки свои разронялъ.

— Такъ точно!

— Гмъ... Зачѣмъ-бы это, не изволите знать, добрѣйшій Иванъ Александровичъ?

— Поразспросить, можетъ, хочетъ кое-о-чемъ, мнѣ, вѣдь, какъ *частному человѣку*, безпристрастному, значитъ, со стороны виднѣе, а впрочемъ, не могу знать... До свиданья!

— Ба-атенька, — прихватилъ тутъ его уѣздный за рукавъ, — баатенька, вы-то уже не очень, не того, знаете-ли, полегче!

Самъ это его оглаживаетъ да кулакомъ въ бокъ поталкиваетъ, наигрываетъ словно.

— Вы то помните, что генералъ что? Въ годъ разъ наѣдетъ, а то и меньше, а мы съ вами тутъ всегда, и день, и ночь, одного города граждане, земляки въ нѣкоторомъ родѣ; ссориться намъ не слѣдуетъ, не годится! А, что? Тс...

Отскочилъ тутъ въ сторону уѣздный, шарфъ поправилъ, перчаточку сталъ торопливо натягивать, а рука у него потная, непривычная къ чехламъ, не лѣзетъ. Встрепенулся легонько и

Иванъ Александровичъ, сказать что-то хотѣлъ было, потому прокашливаться началъ...

Мелькнуло въ дверяхъ что-то синее, съ лампасомъ ярко-краснымъ, сѣрое пальто съ красными-же лацканами и золотыми пуговицами. Часовые у дверей тотчасъ артикулъ выкинули.

Генеральскій деньщикъ одежу съ его превосходительства вынесъ на крыльцо, встряхнулъ ее и сталъ щеткою по ней ерзать, да солидно такъ, степенно, на маленькое начальство и не глядитъ даже, знай, щеткою шаркаетъ.

— Напрасно потревожились!—усмѣхнулся Иванъ Александровичъ, вынулъ часы, посмотрѣлъ на нихъ, обдернулъ сюртукъ свой черный съ петличкою и спросилъ деньщика, камердинера генеральскаго:

— А что, его превосходительство встали?

— Изволятъ одѣваться. Сейчасъ чай будутъ кушать. Господина Габина приказали просить. Пожалуйте!

Подъ вечеръ этакъ часу въ восьмомъ случилось это, а уѣздный такъ до часу и не отходилъ отъ крыльца: то походитъ мимо окошекъ, то посидитъ на стульчикѣ, что приказалъ себѣ изъ горницы вынести да у воротъ поставить. Все это онъ Ивана Александровича караулилъ, когда-же тотъ, наконецъ, разговаривать съ генераломъ кончитъ, отъ него выйдетъ.

Намучился тутъ шибко старичекъ нашъ прыткій, семь поповъ смѣнилъ, самъ послѣ разсказывалъ.

А Иванъ Александровичъ въ ту же ночь письмо написалъ «въ городъ Омскъ, содержащемуся въ губернскомъ острогѣ крестьянину Никону Денисову. Въ случаѣ его неприбытія на мѣсто заключенія, удержать на почтѣ или же переслать въ острожную канцелярію для доставленія по назначенію».

А въ письмѣ этомъ сообщалъ онъ ему о рѣшеніи генеральскомъ насчетъ его имущества и о томъ, что его превосходительство, узнавши отъ него, Габина, все дѣло, какъ оно происходило, изволилъ милостиво отнестись къ пострадавшему и обѣщалъ хлопотать, гдѣ слѣдуетъ, о скорѣйшемъ смягченіи его участи, сокращеніи срока заключенія и о дальнѣйшемъ, что до него касается. Писалъ ему также Иванъ Александровичъ и о дѣлахъ волости ихней, только объ этомъ не прихо-

дилось писать многаго, особенно хорошаго, утѣшительнаго. Старостою на мѣсто Никона выбрали Дементія Трифонова старика. Тотъ человѣкъ хоть и хорошій, трезвый, да для міра слабъ, опять же и въ лѣтахъ. Осенняя жатва удалась первымъ сортомъ, и у мужиковъ теперь хлѣба много, вволю; сѣномъ, соломою тоже запаслись на зиму, проживутъ безъ нужды, только не чаетъ онъ, что съ будущею весною такъ же ходко, какъ и при Никонѣ, за дѣло примутся. Другіе кто выдѣлиться хотятъ, а это все одно, что общее разореніе снова. Пока ничего, впрочемъ, слава Богу, держатся, а что впредь будетъ—увидимъ. Коли нужда какая Никону въ деньгахъ будетъ, такъ чтобы написалъ къ нему, Габину; онъ вышлетъ. Тутъ еще изъ церковныхъ суммъ за работу плотничью не все Никону было выплачено, рублей сто десять еще ему причитается; отецъ Иванъ помалкиваетъ объ этомъ, да въ свое время отъ него тоже настоящій отчетъ спросится, и эти деньги не пропадутъ. Объ Маринѣ писалъ, что пока нѣтъ никакихъ слуховъ ни откедова, просто какъ въ воду канула; о Степанѣ же, что парень, прохворавши долго да провалявшись въ госпиталѣ, совсѣмъ чудной сталъ какой-то, на себя не похожъ, никуда къ дѣлу не годится, и какъ-бы, оборони Богъ, не рехнулся съ горя, потому примѣты есть такія: глядитъ больно чудно, отъ всѣхъ прячется, ни съ кѣмъ не говоритъ и не баетъ, гдѣ по цѣлымъ суткамъ пропадаетъ. Оттого больше его и въ старосты не выбрали, хотя-бы на мѣсто Никона другого кого и не найти-бы подходящѣе.

Просилъ въ письмѣ Иванъ Александровичъ, чтобы Никонъ и о себѣ когда прислалъ вѣсточку, потому, хоть онъ и въ острогѣ сидитъ, а писать оттуда все-таки дозволяется.

Добрый человѣкъ былъ Иванъ Александровичъ, не даромъ всѣмъ въ Казалинскѣ поперекъ горла стоялъ. Ужъ какъ на него точили зубы власти мѣстныя, да вѣрно крѣпокъ, не уварился совсѣмъ, не пережевывался.

XV. Гдѣ Марина?

Верстахъ въ восьми отъ крайнихъ мельницъ казалинскихъ залегла глубокая степная балочка. Тянется она далеко отъ рѣки въ степь и въ двухъ только мѣстахъ, по всему своему

протяженію, къ переѣзду удобна: одно мѣсто поближе, всего въ верстѣ отъ крайней черты, до которой весенніе и іюльскіе разливы подходятъ; здѣсь колесная дорога вытоптана; а другое мѣсто далеко; тамъ только тропы конскія проложены для верховыхъ, а съ телѣгою туда лучше и не суйся; камень на камнѣ всѣ крутые бока балки усыпали, колючій джингилъ поросъ по обрыву, а дно балки все водомоинами изрыто глубокими.

Лисицы проворныя въ томъ мѣстѣ водятся, норы себѣ порыли подъ камнями; тамъ и сямъ между корней перепутанныхъ джингиловыхъ зіяютъ эти черныя дырочки. Волки тоже гнѣздятся здѣсь степные; мѣсто ужъ очень хорошее для нихъ прятаться. Куропатки сѣрыя шнырятъ по кустамъ цѣлыми стаями: на зарѣ такое поднимаютъ клохтанье, что по вѣтру за полверсты слышится.

Дикое мѣсто совсѣмъ. Конный охотникъ съ собаками тутъ не разскачется, а пѣшій съ ружьемъ не заходитъ часто изъ города, потому далеко. Косоглазыхъ-же, что по своимъ дѣламъ ѣздятъ, по тропиночкамъ узенькимъ пробираются, такъ звѣрье не шибко-то ихъ боиться, особливо птица; развѣ волкъ трусливый на всякій случай хоронится и, поджавъ хвостъ-полѣно, дальше все по водомоинамъ пробирается; а то заляжетъ въ уютномъ мѣстечкѣ, куда и солнце на минуту только заглядываетъ, да и лежитъ тамъ до ночи, когда придетъ его пора— ужинъ себѣ раздобывать, около атаръ бродить киргизскихъ.

Этимъ самымъ мѣстомъ, одною изъ тропинокъ, пробирались осторожно два вершника—дядя Василій съ Маметкою. Кони привычные ловко такъ съ крутизны спускались, и править ими не нужно: свободно висѣли поводья на шеяхъ конскихъ. Дядя Василій трубочку набивалъ себѣ, въ серебро оправленную, изъ корешка черешневаго, Маметка косточку обгрызалъ баранью, хрящи да мясо, гдѣ осталось, обчищалъ ножичкомъ, пережевывалъ, мурлыкалъ пѣсенку по-своему, кулекъ-кулькомъ въ покойномъ сѣдлѣ усѣлся, на затылокъ сдвинулъ шапку свою косматую.

Насторожилъ уши вороной конь дяди Василья, пріостановился на минутку, храпнулъ и снова впередъ тронулся, только осторожно, чуть ногами переступалъ, а все въ правую сторону жался, будто чуялось ему впереди да влѣво что-то недоброе.

А время становилось уже позднее; солнышко за гору

«Раимъ» спускалось, и по дну балки темь стала расползаться туманная, синеватая.

— Что за дьяволъ!—выпустилъ изо рта трубочку Василій Іонычъ, отмахнулъ дымокъ рукою, сталъ прислушиваться да впередъ вглядываться.

Выпустилъ и Маметка кость изъ рукъ, швырнулъ ее въ сторону, за ружьемъ на всякій случай потянулся, что за плечами у него висѣло на веревочной привязи.

«Должно, звѣрь какой забрелъ?—думаетъ татаринъ;—Ужъ не джулбарсъ-ли? Отъ волка наши кони не попятятся, потому на охотѣ привыкли, изъ «загоночныхъ». Только давно что-то, вотъ уже сколько лѣтъ, про джулбарсовъ въ этой сторонѣ не слыхивали; не забрелъ-ли какой изъ верховой стороны, отъ Кармакчей или Перовскаго?..»

Сѣрыя, изрытыя, вывѣтрившіяся верхушки камней торчатъ впереди; запыленные кусты чуть вѣтромъ пошатываетъ; блеститъ солонецъ на днѣ балки серебристыми змѣйками. Тихо все, ничего не видать, не слыхать подозрительнаго.

— А это что?—вздрогнулъ будто-бы Маметка.—Вонъ сидитъ подъ кустомъ, видишь? Гей!

Лошаденка у него сразу назадъ попятилась, круто на заднихъ ногахъ повернулась; чуть-было татаринъ съ сѣдла не кувырнулся, даромъ что цѣпкій.

— Человѣкъ сидитъ!—промолвилъ дядя Василій.—По одежѣ, должно, кто изъ нашихъ!

А подъ кустомъ, на самомъ днищѣ лощины, у тропинки точно сидѣлъ человѣкъ; рубаха на немъ холщевая, бѣлая, порты пестрядинные, ноги въ лаптяхъ, а голова простоволосая. Сидитъ этотъ человѣкъ, колѣни свои обѣими руками охвативши, лицо внизъ сунувши, будто дремлетъ, сидитъ онъ недвижно, словно камень какой, только вѣтерокъ, что по дну балки межъ кустовъ пробирается, волоса его рыжеватые шевелитъ, путаетъ, словно сдуть норовитъ репейники, крѣпко-на-крѣпко къ нимъ прицѣпившіеся.

Поднялъ голову человѣкъ этотъ, должно быть, топотъ конскій заслышалъ, руку протянулъ къ головѣ, словно шапку снять хотѣлъ, поглядѣлъ вокругъ по землѣ, поднялъ картузъ свой съ козырькомъ надорваннымъ, стоитъ на мѣстѣ, вершниковъ дожидается, когда тѣ ближе подъѣдутъ.

А должны они проѣхать какъ разъ мимо него, задѣнутъ стременемъ, коли не посторонится, и миновать имъ стороною этой встрѣчи никакъ невозможно, никакого объѣзда нѣту другого, ни съ правой стороны, ни съ лѣвой.

— Это Степка!—словно про себя замѣтилъ Василій Іонычъ.— Что это онъ тутъ только дѣлаетъ?.. Какъ-бы чего... Кто его знаетъ?—Мѣсто глухое... Когда человѣкъ въ отчаянность придетъ, всякое можетъ случиться... И зайчиха подчасъ на собаку фыркаетъ!

— Степанъ, ты чиво тутъ садышь?.. Зачѣмъ такой мѣста гулаешь?..—узналъ его и татаринъ чебоксарскій.

— А я тебя ждалъ, Василій Іонычъ!—вымолвилъ Степанъ и загородилъ собою дорогу.

— Что надо? Говори, что случилось? Господь съ тобою, что ты, что ты?! Не замай!

Увидалъ тутъ Василій, какъ Степанъ руки протянулъ, словно за поводъ коня ухватить хотѣлъ, вотъ и струсилъ маленько: только присмотрѣлся какъ поближе къ лицу Малыша, вся и робость его, Богъ-вѣсть куда, отлетѣла.

Глядитъ на него Малышъ грустно такъ, жалостливо, губы чуть-чуть шевелятся, будто молитву шепчутъ какую, на глазахъ дрожитъ что-то, чуть-чуть просвѣчиваетъ, съ рѣсницъ обрывается; руки, какъ плети, внизъ висятъ, и колѣни словно подгибаются, тѣла сдержать не могутъ.

— Я ждалъ тутъ тебя, Василій Іонычъ,—опять повторилъ Степанъ.—Я со вчерашняго дня тутъ вотъ. Что-же, мѣсто... такое... не далеко... ничего...

— Да ты-бы ко мнѣ пришелъ, коли нужно что, чѣмъ тутъ въ степи, въ дичи такой, сидѣть!

— Ходы къ намъ въ кибитка; зачимъ сюда ходылъ? На кибитка лютче!

— Тамъ народу много. Кругомъ народъ, всѣ смотрятъ, слушаютъ, а я къ тебѣ одному,—лепеталъ Малышъ.—Тутъ хорошо тихо. Время ночное подходитъ, звѣрье услышитъ—не выдастъ!

— Да что надо, блажной?

Слѣзъ тутъ съ лошади дядя Василій, бросилъ поводья, оглядываетъ Степана съ ногъ до головы пристально.

— И того не надо. Пускай тотъ ѣдетъ, Маметка; съ тобою однимъ хочу говорить, надо!

— Что за диковина?—пожалъ плечами Василій.—Шабашъ парень, должно быть, тю-тю... Выѣзжай, Маметъ, на тотъ берегъ балки, тамъ погоди, постой маленько, пока я подойду. На вотъ, бери и мою лошадь. Ну, разсказывай!

Отъѣхалъ татаринъ, все назадъ оглядывается; киваетъ изъ-за кустовъ его черная шапка; кремешки изъ-подъ кованыхъ копытъ звонко такъ щелкаютъ, шуршатъ по сухой травѣ, внизъ обрываются. Тише да тише все это слышится, потомъ и смолкло совсѣмъ; знать, отъѣхалъ далеко аль остановился, стоитъ гдѣ, притаившись.

— Василій... слышь-ко...—началъ Степанъ и потупился.— Я вѣдь не то, чтобы... не для чего такого...

— Ну?—пожалъ плечами Василій, сломалъ вѣточку, сталъ отъ комаровъ отмахиваться.

Поднялъ голову Малышъ, взглянулъ прямо въ глаза Мутилы, ясно такъ взглянулъ, покойно.

Пришла тутъ очередь и Василію тоже потупиться; неловко что-то стало, опять-же у самой ноги его козявка ползла какая-то, поглядѣть ее, должно быть, занятно было.

Въ первый, почитай, разъ такъ-то случилось съ дядею Васильемъ.

— Гдѣ она?—промолвилъ парень, и глазъ не спускаетъ съ того, кого спрашиваетъ.

— Кто? Про кого ты это?..—сталъ тутъ Василій кушакъ поправлять, по рукояткѣ ножа своего киргизскаго въ бирюзовой оправѣ провелъ ненарокомъ.

— Марина гдѣ? Я тебя про нее спрашиваю!

Осердился тутъ шибко дядя Василій, побагровѣлъ весь, зубы сжалъ, отступилъ шага на два.

— Знаешь ли ты, пропащая твоя голова, какія ты слова говоришь?—процѣдилъ онъ.

— Какія слова мои?.. Полно, братъ... никакихъ тутъ словъ моихъ нѣту...

— А ежели я это вотъ сейчасъ свидѣтеля крикну, все одно, хошь Маметку. Можетъ, у меня еще есть, окромя него, кто слышитъ это...

— Не надо народу, не надо, значитъ. Мы съ тобою глазъ на глазъ... ты по-душѣ... зачѣмъ другихъ звать?

— Да что я, тьфу ты, прости, Господи, что я за одно, что-ли, съ ней былъ, съ бѣглой-то этой?

— А ты полегче!—сверкнули глаза у Степана, кулаки его сжиматься сами собою начали.

— Чего легче? Ты еще, поди, въ людяхъ будешь разносить, что тебѣ въ голову забредетъ, въ безумную. Ишь, ты, у кого спрашивать вздумалъ про Марину! Мнѣ-то что? Я сторона и вашихъ дѣловъ не знаю. Небойсь, когда васъ таскали, меня не трогали. И теперь ты меня, сдѣлай милость, въ энтакія дѣла не путай!

— Василій Іонычъ, первымъ молельщикомъ за тебя буду. Не мало у тебя грѣховъ-то, не бери хоть этого на душу!

— Отстань. Коли за тѣмъ надо было, нечего было ждать въ трущобѣ, почитай, сутки цѣлыя. Болтать только вотъ мнѣ съ тобою неколи. Эй, Маметъ, выѣхалъ, что-ли? Ого-го-го!

— Го-го!—донесся издалека, съ самаго выѣзда, отвѣтный гикъ татарина.

— Постой! — схватился за него Степанъ.—Постой. Гляди ты на меня: не такой я, что доносить на тебя стану; не для того и спрашиваю. Сердцемъ я чую то, до чего другіе и не догадываются. Къ тебѣ вотъ и пришелъ потому. Окромя тебя кому-же и знать, гдѣ Марина? Скажи ты мнѣ это. Пожалѣй ты душу мою... смилуйся... Все одно; какъ вотъ камни эти: что ни слышатъ, никому о томъ говорить не станутъ, такъ и во мнѣ замретъ твое слово. Языкъ легче вырѣжутъ, чѣмъ отъ меня что узнаютъ. Пусть я на мѣстѣ сдохну, пусть николи больше ея не увижу, пущай на нее самое нападетъ хворость лихая, если донесу на тебя, стану жаловаться. Не узнать мнѣ никогда, гдѣ она, что съ нею, коли ты не скажешь. Не утаивай-же отъ меня этого; что въ томъ тебѣ корысти? Тебѣ тоже это доброе дѣло Богомъ зачтется!

Зарыдалъ Степанъ, глухо такъ, порывисто, словно въ груди у него что-то начало лопаться. Въ ноги повалился и сапоги Васильевы обнимаетъ.

Заскребъ затылокъ Василій Іонычъ, осунулось лицо у него, перекосилось какъ-то. Одни, въ глухомъ мѣстѣ, на днѣ оврага, темень густая кругомъ надвинулась. Жутко такъ вдругъ стало ему, подъ архалукомъ ватнымъ, стеганымъ, мурашки морозные забѣгали.

— Слушь-ко, — произнесъ онъ, тронувъ за плечо Степана.—Ну, брось, полно... слушай...

Задрожалъ Степанъ-Малышъ, такъ на него и воззрился.

— Ну, зачѣмъ тебѣ знать это? Скажи ты мнѣ по правдѣ по истинѣ, зачѣмъ?

— Я къ ней пойду...—прошепталъ парень.

— Вотъ какъ! Ну, а коли больно далеко?

— Все единственно пойду... на край свѣта хотя... скажи, куда только?...

Помолчалъ Василій съ минуту, поразмысливалъ что-то, и такъ, и эдакъ умомъ своимъ раскидывалъ, сказать—все одно на себя руки накладывать, не сказать—парень-то больно его ужъ разжалобилъ, совѣсть аль чортъ ее знаетъ что на сердцѣ у него заворочалось...

— Къ ней поѣдешь?—переспросилъ онъ.—Ну, а коли выдашь меня аль другому кому скажешь?

— Я-то?

Сорвалъ съ своей шеи Степанъ-Малышъ шнурокъ со складнемъ мѣднымъ и кипариснымъ крестикомъ, положилъ на землю, перекрестился трижды и поцѣловалъ образокъ, а потомъ и землю около, взялъ шнурокъ, показываетъ его Василію.

— Пущай дьяволъ на этомъ самомъ вотъ гайтанчикѣ удавиться меня попутаетъ, безъ креста, безъ покаянія, собачьею смертью околѣть мнѣ доведется, если что своимъ словомъ тебѣ во вредъ сдѣлаю...

— Жаль мнѣ тебя, парень... шибко жаль... а дѣлать нечего!

— Ну?..

— Да что ну? Коли-бы зналъ, отчего не сказать... а то вотъ и дѣло, что ничего мнѣ самому неизвѣстно!

— Василій Іонычъ...

— Да ужъ что дѣлать, землячекъ! Коли что по ордѣ разузнаю, скажу, а пока не прогнѣвайся...

На колѣняхъ все стоялъ Степанъ, а тутъ присѣлъ, къ землѣ все головой сталъ клониться... Ничего и не говоритъ больше; молчитъ... Что это приключилось съ нимъ?—думаетъ дядя Василій.

— Ну, прощай пока!—говоритъ, и сталъ потихоньку отходитъ далѣе по тропиночкѣ. Что-же тутъ съ этимъ блаженнымъ средь ночи, на пустыряхъ валандаться...

— Василь Онычъ... А-га-га-га!—окликаетъ его Маметка, должно быть, ждать соскучился.

— Давай лошадь!—словно изъ-подъ земли Василій Іонычъ передъ нимъ показался.

— А Степка кайда? (гдѣ).

— Тамъ!—махнулъ рукою Василій, сѣлъ на своего бѣгуна и погналъ съ мѣста шибкою рысью.

Съ полчаса гнали такъ-то; что только ни заговаривалъ татаринъ, ничего не отвѣчалъ ему мужикъ, да вдругъ какъ остановится разомъ... Лошадь Маметкина сзади бѣжала, такъ съ разбѣгу и ткнулась мордою въ хвостъ бѣгуна передняго.

— Трогай впередъ шагомъ!—сказалъ хозяинъ, повернулъ коня и взаскачь понесся обратною дорогою, къ выѣзду изъ балки.

Не видать стало впотьмахъ всадника, только топотъ коня скачущаго все глуше да глуше слышится, нагайка ременная раза два никакъ щелкнула... Лошадь Маметкина вслѣдъ заржала, одна идти не хочетъ, упирается...

— Какой дѣло? — недоумѣваетъ татаринъ чебоксарскій.. Потерялъ что, меня бы послалъ. Что такой, право?..

Не догналъ, однако, Василій своего слугу вѣрнаго, какъ обѣщалъ. Тихимъ самымъ шагомъ тотъ ѣхалъ, останавливался раза три дорогою, прислушивался... Вотъ, думаетъ, догонитъ, вотъ никакъ ѣдетъ, топочетъ что-то сзади. Такъ одинъ и пріѣхалъ домой Маметка, лошадь успѣлъ свою разсѣдлать, убрать, какъ слѣдуетъ. Разсвѣло совсѣмъ, солнышко выходить начало, только тогда и вернулся Василій; лошадь подъ нимъ взмыленная вся, загнана порядочно; хозяинъ самъ ничего, веселый такой, не ругается изъ двухъ словъ въ третье, по обыкновенію; самоваръ приказалъ ставить, за водкою послалъ...

— А я, братъ, Степку-то въ аулъ къ Бикетанкѣ свезъ... Совсѣмъ ослабѣлъ парень, пѣшкомъ бы не дойти, а въ городъ не хочетъ... Чу-у-у-дакъ!—говорилъ Василій.—Вотъ я его и свезъ, оттого и замѣшкался. Не ночевать-же ему въ балкѣ!

— Зачимъ въ балка ночивать, тамъ волкъ, каскаръ зарѣжетъ. Волкъ много, Степка одна. Зачимъ спать въ балкѣ? Въ кибиткѣ лютче!

— Вотъ я его въ кибитку и свезъ!—вымолвилъ дядя Василій и налилъ себѣ чаю изъ кунгана въ большую зеленую чашку, настоящую китайскую!

Маметкѣ тоже кивнулъ онъ головою на чай: «лакай и ты, значитъ, на доброе здоровье».

XVI. Корнаухій дѣдко.

Въ городѣ или по округѣ гдѣ рѣдко показывался, а на Косъ-Аралѣ островѣ такъ живмя-жилъ старичекъ одинъ. Сколько лѣтъ ему было, про то онъ самъ забылъ даже, а по разсказамъ его, какъ начнетъ про старину вспоминать, должно быть, что было достаточно.

Зиму и лѣто все онъ на отмели жилъ съ рыбаками... Къ заморозкамъ, когда всѣ бросаютъ островъ, въ городъ переселяются, дѣдко одинъ оставался. Пріютится въ землянкѣ рабочей съ желѣзною печкою погнутою, проржавѣлою; оставятъ ему тутъ сухарей, рыбы соленой, онъ такъ и зимуетъ въ своей норѣ, сторожемъ себя почитаетъ всего острова, хотя въ сторожѣ-то этомъ нѣтъ никакой надобности.

— Ступай въ городъ съ нами, — говорятъ ему, бывало, работники;—что здѣсь одному оставаться? Замерзнешь, старый чортъ, то такъ подохнешь отъ старости, безъ покаянія, потому тутъ попа взять тебѣ не откуда. Нѣшто у волка какого каяться будешь. Идемъ съ нами!

— Не... не пойду... что тамъ за городъ такой? Не пойду...—лепечетъ старикъ.

Силкомъ разъ хотѣли тащить—упирается, плачетъ, словно ребенокъ. «Караулъ!» разъ заоралъ на весь островъ, словно его въ полонъ тащутъ, а не въ доброе мѣсто какое.. Блаженный!

Работы никакой не могъ онъ дѣлать, хоша самъ себя по рыбачеству считалъ первымъ работникомъ, надъ нашими ребятами своимъ ртомъ беззубымъ подсмѣивался. Бранился тоже иную пору. «Все, говоритъ, не такъ, не по-христіански вы дѣлаете».

Какъ онъ сюда попалъ, откуда, никто не зналъ, всякъ разно толковалъ, а самъ онъ тоже запомнилъ, надо полагать, потому все у него прежнее въ головѣ перепуталось. Что давно случилось, можетъ, десятка три лѣтъ назадъ тому, а то и поболѣе, то ему казалось недавнимъ, словно году не прошло еще. Иной разъ такое начнетъ разсказывать древнее, отшатнутся даже отъ него, креститься станутъ. «Не съ того-ли свѣта, молъ, какой выходецъ?»

Съ виду сторожъ былъ таковъ, что кто взглянетъ сперво-

началу, незнакомый какой, всякъ назадъ попятится; наши всѣ ничего, привыкнуть успѣли къ его безобразію; онъ имъ совсѣмъ за обыкновеннаго казался, только развѣ что безъ ушей только, попорченный. За это вотъ и прозвали его «корнаухимъ дѣдкою».

Былъ онъ, надо полагать, съ молоду росту высокаго, да согнуло его старостью... И напередъ-то согнуло, и въ бокъ шибко покривило, — коряга-корягою сталъ сучковатою, всего исковеркало. Пригнулась у него голова, въ поясъ обыкновенному человѣку приходится, а руки длинныя стали, вытянетъ— до земли хватаютъ; на одной рукѣ двухъ пальцевъ недостаетъ, а на другой только одинъ мизинецъ и остался... Голова у него была совсѣмъ лысая, желтая такая, глянцевитая, а лицомъ словно сапогъ смуглый, и клочками топорщились его брови сѣдыя, будто мохъ поросъ надъ глазами ввалившимися... Чудной тоже носъ былъ у него: конецъ крючкомъ заострился, на губу верхнюю свѣсился, а ноздри вплоть до глазныхъ угловъ тянулись, по той причинѣ, какъ самъ онъ помнилъ еще, Пугачъ, а можетъ и другой кто, только въ то время самое, ноздри ему желѣзомъ повыдергалъ... Борода совсѣмъ не росла у него; которыя и были щетинки рѣдкія, и тѣ повылѣзли; на верхней губѣ тоже ничего не видно было, да и губа-то самая совсѣмъ высохла, съежилась; ротъ не закрывался путемъ, и видно было, какъ въ этой беззубой дырѣ кончикъ языка поблекшаго шевелится...

Уши ему въ Хивѣ обрѣзали, когда въ плѣну тамъ находился. А въ плѣнъ онъ разъ пять попадалъ. Раза два купцы его выкупали, на товаръ промѣнивали, на кумачъ да на ситецъ владимірскій, а то такъ бѣгалъ три раза; и послѣдній разъ бѣжалъ уже недавно, на нашей памяти, назадъ тому лѣтъ двадцать, не болѣе. Тогда вотъ и на Косъ-Аралъ пришелъ.

Таковъ онъ и пришелъ съ виду, какимъ и по сіе время остался... Другимъ, помоложе, значитъ, его и не помнитъ никто. Знать, уже вѣкъ свой положенный давно пережилъ, что его такъ заколодило; земля не принимаетъ, должно быть.

Сидѣли разъ ночью рыбаки, работники вольные, еще Николая Васильевича Захрященаго наемники, Голубевскіе; ужинать это они собирались; уху варили въ камышахъ, на мате-

ромъ берегу на лѣвомъ, отъ взморья недалеко... Слышатъ камыши потрескиваютъ по-близости. Метелки колышутся и все ближе да ближе шелестятъ, подвигаются...

«Уже не звѣрь-ли какой подкрадывается, полосатый? — думаютъ,—Не тигра-ли?»

Въ ту пору еще водились и въ здѣшней мѣстности эти дьяволы зубастые...

Темная ночь была, не зги не видно, отъ огня костроваго еще темнѣе кажется...

Насторожились это наши, багры взяли, кремни у самопаловъ поправили; оглядѣлись, значитъ... Ждутъ, что дальше будетъ... Маленько оробѣли тоже.

Выползло что-то изъ гущины, на заднія ноги поднялось... Прямо на огонь валитъ.

— Пали!—шепчутъ одни.—Пали! Время теперь самое настоящее. Вишь ты: «онъ самый!»

— Человѣкъ это, братцы, никакъ!—стали другіе въ темноту вглядываться.

Во-время разглядѣли, спасибо, а то такъ-бы его, дѣдушку, тутъ и пристукнули.

Стали его разспрашивать: кто такой, да откедова, да куда идетъ-пробирается? А тотъ молчитъ, мычитъ что-то, на уху такъ и накинулся, на недоваренную; хлѣба краюху увидалъ у одного паренька, звѣремъ набросился, вырвалъ изъ рукъ у него хлѣбъ, словно собака грызть его принялся; обѣими лапами поддерживаетъ, на всѣхъ волкомъ озирается.

Шибко проголодался бѣдняга, сколько дней, можетъ, бродилъ, не ѣвши, вотъ и остервенился такъ, пищу завидючи. Спать потомъ завалился, какъ поѣлъ до-сыта.

Самъ вѣры православной, зовутъ его... Никакъ не зовутъ, безымянка, значитъ, родства непомнящій. Пришелъ изъ Хивы, а куда идетъ? Никуда больше идти не хочетъ... Только и узнали всего, когда на другой день опять съ разспросами приступили.

«Ну, ладно,—думаютъ,—живи здѣсь съ нами на островѣ. Господь съ тобою, намъ хлѣба не жалко».

Съ той самой поры и остался тутъ корнаухій дѣдушка, сторожъ добровольный.

Ну, и знатокъ же онъ по рыбьему дѣлу оказался дошлый. Чего-чего не знаетъ! Про всякую рыбину: какъ живетъ она

да что дѣлаетъ, да гдѣ гуляетъ, икру мечетъ въ какое время,— все знаетъ, разсказываетъ все складно, словно про земляковъ своихъ, словно самъ сродни какому-нибудь осетру аль сазану толстобрюхому приходится.

Спасибо ему: въ той артели, что пріютила его, много супротивъ другихъ таланнѣе пошла... Мѣста ловныя сталъ онъ имъ показывать настоящія, насчетъ времени тоже.

Стали его тутъ хозяева приголубливать, чаемъ поить, одежу давать кое-какую, обносочки, потому человѣкъ онъ, видятъ они, пригодливый.

Савва Вуколычъ было жалованье ему положить хотѣлъ и все, какъ есть, довольствіе, пенсію тоже выдавать послѣ сулился... Контрактъ думалъ написать съ нимъ, да какъ показалъ ему эту бумагу самую, такъ дѣдко даже затрясся со страху и въ ту-же ночь тягу съ острова... На третій день еле поймали его наши ребята, на-силу, на-силу огладили старика, успокоили.

И завсегда съ той поры, какъ увидитъ дѣдко Савву Вуколыча, сейчасъ по камышамъ отъ него станетъ прятаться...

XVII. Розсказни «корнаухова дѣдки» про стороны дальнія, про дороги къ нимъ, прямыя и окольныя.

Пришелъ Степанъ-Малышъ на Косъ-Аралъ островъ, своихъ, должно быть, провѣдать захотѣлъ, тоску свою здѣсь у моря привольнаго размыкать... Пришелъ, дѣдку сейчасъ сталъ разыскивать.

Дружилъ онъ съ «корнаухимъ» и прежде, когда приходить сюда доводилось, любилъ парень со старикомъ разговаривать, гостинцевъ ему носилъ изъ города... Самъ дѣдко тоже парня нашего супротивъ другихъ особенно жаловалъ.

Пусто было на островѣ, весь народъ на лодкахъ ушелъ переметы обирать, дѣдку съ собою увезли. Взялъ Степанъ это удочку, у шалаша одного валялась, снарядилъ ее, какъ слѣдуетъ, живца насадилъ на крюкъ и сѣлъ на бортъ лодки, на мель выброшенной, сѣлъ да и задумался.

Повеселѣлъ немного парень съ той ночи, какъ съ Василіемъ Іонычемъ въ балкѣ степной разговорился. Глядѣть сталъ бодрѣе, пѣсню даже разъ отъ него слышали... Вотъ и теперь,

когда шелъ сюда, на островъ, всю дорогу пѣлъ; въ аулѣ отдыхалъ, съ ребятами-киргизятами заигрывалъ, старухѣ «Махтѣ-Дурмынъ» верблюда пособилъ вьючить, на спину горбатую помогъ ей взобраться, — одно слово, супротивъ прежняго ожилъ... Краска это у него въ лицѣ появилась, и глаза прояснѣли, перестали разбѣгаться во всѣ стороны, какъ у полоумнаго.

Сталъ къ вечеру народъ собираться, привезли рыбу обобранную, рядами на берегу сложили. Ворочаются на пескѣ осетры двухъ-аршинные, зѣваютъ сердечные, кровь сочится у нихъ изъ боковъ, крючьями распоротыхъ. Сома выволокли одного страшеннаго, шестеро на берегъ выволакивали, а въ лодку и не клали его, привезли такъ за собою, на буксирѣ. Пудовъ восемнадцать вѣсу была эта звѣрь-рыбина; хотѣли цѣликомъ въ городъ тащить, уѣздному показывать.

Управились со снастями, подъ котлами салотопными огонь развели, принялись за свою варку, похлебку рыбью обыкновенную; про баранину, какая она на вкусъ будетъ, ужъ и думать-то позабыли... Съ того разу самаго пошабашили.

Гармонія тутъ нашлась у одного солдатика отставного. Парнишка, казачекъ хозяйскій, дудочку изъ камыша вырѣзалъ. Музыка, веселье стоитъ на островѣ, другіе кто плясать начали.

Развели дымокура изъ сырого навозу, первое средство противъ комаровъ навязчивыхъ, сѣли въ кружокъ, болтаютъ всякъ про свое... Дѣдко корнаухій приковылялъ съ ложкою, отвели ему сейчасъ у огонька мѣсто почетное.

Макаръ Сысоевъ водки раздобылъ гдѣ-то, должно, сволокъ у приказчика.

— Я,—говоритъ,—для своего благодѣтеля постарался... Я за него, говоритъ, по гробъ жизни...

Налилъ онъ стаканчикъ жестяной и перво-наперво Степану-Малышу протягиваетъ. Выпилъ тотъ, ничего, не сталъ на этотъ разъ отнѣкиваться.

— А ты, дѣдко, будешь пить, что-ли?

— Не...—замоталъ головою корнаухій.—Я ея, эптой... ни Боже мой! Гайда джюръ... не буду...

— Что такое, право? Аль совсѣмъ въ хивинской сторонѣ обасурманился? Водки да не пить!

— А занятная сторона это, братцы... И что это за земля такая? — вымолвилъ Степанъ-Малышъ и глаза у него разгораться начали. — Я-бы послушалъ, коли-бы дѣдушка разсказалъ что!

— Онъ это тебѣ сейчасъ распишетъ. Онъ гораздъ разсказывать. Таперича про полонъ свой...

— А какъ это тебя, дѣдко, Николай Василичъ повѣсить хотѣлъ... ась?—протиснулся впередъ фартукъ кожаный, засаленный.—Онъ вѣдь, братцы, помнитъ Захрященаго... — Помнишь-ли что?..

— Миколай Василичъ?.. Собака онъ, вотъ что,—проворчалъ корнаухій.—Шайтанъ-кучюкъ!

— Не любишь!

— Въ прошломъ году это было... Ты, говоритъ, у меня жестянку укралъ съ деньгами...

— Тридцать годовъ это было, а ты говоришь—въ прошломъ! Своротилъ тоже... эна!

— Не... Не тридцать. Я помню!

— А хорошъ городъ Хива, дѣдушка? Лучше Казалинска нашего аль хуже?

— Казала? Казала знаю. Русскій человѣкъ пришелъ сюда, въ Казала не ходилъ, на Раимѣ строился. Знаю!

— И далеко будетъ эта сторона хивинская, дѣдушка?— вымолвилъ опять Степанъ и опять раскраснѣлся, вспыхнулъ весь.

А можетъ это отъ огня костроваго неровнаго другимъ такъ показалось...

Натолкнуть только надо дѣдку на разговоръ про сторону хивинскую да не помѣшать чѣмъ, а тамъ онъ ужъ самъ начнетъ, не остановишь даже. Словно лошадь почтовая, на ноги разбитая — нейдетъ сначала, упирается, а разогрѣется какъ, такъ лучше другой здоровой чешетъ, бѣгъ этотъ самый ее поддерживаетъ.

Сдвинулись наши ребята поплотнѣе, топлива въ огонь подбросили, сырья разнаго, чтобы дымило больше. «Погоди, не замай,—думаютъ,—онъ сейчасъ самъ раскошелится».

Задумался, замолчалъ вдругъ дѣдушка; на огонь смотритъ пристально, пальцемъ своимъ одинокимъ чертитъ что-то передъ собою въ воздухѣ. Потомъ бормотать началъ, надъ бро-

вями всклокоченными почесалъ, припомнить что, должно быть, силится.

— Начнетъ сейчасъ!—толконулъ Степана-Малыша землячекъ одинъ, рядомъ сидящій. — Это онъ завсегда пружится мыслями, значитъ, ветхъ сталъ и немощенъ. Тише, братцы!

— Эй, Васька, брось ты къ... свою дудку! Уши прогудѣлъ. Кинь, чортова голова!

— Пески,—вымолвилъ вдругъ, словно простоналъ, дѣдушка.—Пески, пески и все-то пески; кругомъ они, сыпучіе, горячіе... Отъ Каспія—моря самаго, тутъ и пошли пески...

— Это не здѣшнее, другое море, значитъ,—пояснилъ Макаръ Сысоевъ,—побольше да подальше!

— Ужъ онъ, ребята, не изъ волжскихъ-ли, изъ низовыхъ?—замѣтилъ себѣ-на-умѣ казакъ изъ поселенцевъ. — Который это разъ онъ про Каспій проговаривается. Надысь вонъ кочермою лодку назвалъ. Это тоже слово нездѣшнее!

— Жарко это было,—тянулъ свое корнаухій.—Потащили насъ волокомъ, на арканахъ. Смерть пришла наша. Все нутро сожгло, изсохли мы... во!.. Воды много, а воды нѣту...

— Это, значитъ, вдоль морского берега волокли, и много-то ея, воды, да солона она шибко, не годится хлебать; все равно, что ея нѣту! — опять съ своимъ словомъ полѣзъ Макарка.

— Не даетъ слушать мужикъ, словно безъ него въ разумъ не возьмутъ, экій переводчикъ выискался!

— Да ну, молчи, ладно! Сами смекаемъ. Дай дѣдкѣ расходиться, какъ слѣдоваетъ!

— Пришла наша смерть тогда, — стоналъ корнаухій. — Тутъ вотъ и померъ...

Вздрогнули всѣ разомъ, такъ отъ него и шарахнулись. Мурашки подъ рубахами забѣгали. Воззрились въ старика. Сидитъ тотъ передъ огнемъ, скорчившись. Совсѣмъ съ того свѣта выходецъ. Могилою инда отъ него повѣяло, сыростью подземною.

— Померъ...—бормоталъ дѣдко.—Совсѣмъ померъ...

— Страсти какія!..—тамъ и сямъ шопотъ послышался.— А что, какъ и вправду?..

— Эхъ, важно было, хорошо!—вдругъ это оживился разсказчикъ, голову поднялъ, и горбъ у него словно выпрямляться

началъ.—У Сеидъ-Мурада, у хана, зелено такъ, свѣжо!.. Сады райскіе, одежа—шелкъ одинъ. Сласти это пошли. Вина нѣту, тамъ буза все, хорошее пойло... Жену дали мнѣ, то-бишь, двухъ... Во какія бабы!.. Хорошее житье было у Сеидъ-Мурада... Май-Булга ночью пришла ко мнѣ, змѣею подползла, сюда это лѣзетъ, говоритъ: «зарѣжь Сеидъ-Мурада». А это грѣхъ великій, кровь человѣческую проливать, солнышку ее показывать... Каждая капелька энтой крови во сто голосовъ завопіетъ къ Господу... На убивцу проклятіе, смрадъ и огонь дьявольскій... Май-Булга говоритъ: «зарѣжь», и въ сердце-то забирается, зубами вцилась, руками за шею... Ну...

Опять замолчалъ дѣдко, опять зачертилъ пальцемъ въ воздухѣ, оглянулся боязливо, закашлялся.

— Опять пошли пески, потомъ камыши, густые, высокіе, частые. Нагишомъ совсѣмъ, порѣзался, гадины искусали. А я, братцы, одново раза джулъ-барса руками задавилъ. Во, гляди: «мона быръ, мона ике, мона учь» *), эге!

Выпрямился старикъ, бойко сорвалъ съ плеча свое тряпье халатное. Грудь косматая, ввалившаяся, словно мохомъ поросшая, отъ плеча лѣваго поперекъ реберъ вся бороздами изрыта глубокими, шрамами узловатыми исполосована.

— Ну, братъ, сердяга, побывалъ-же ты въ передѣлкахъ! — покачали головами наши ребята.

— А что мнѣ, други любезные, сдается...—заговорилъ тутъ бывалый казакъ-поселенецъ.

— Что еще, ну-ко?

— А то, что онъ этого Сеидъ-Мурадку ухлопалъ, потомъ бѣжалъ отъ эвтого самаго. И бѣжалъ, надо полагать, на низы аму-дарьинскіе; объ камышахъ-то заговорилъ, да и джулъ-барса вспомнилъ...—пояснилъ тутъ догадливый парень.

„Куркъ-ма, куркъ-ма, минеке чагырымъ,
Джаманъ адамъ, кара аю шюнда джокъ“ **)

затянулъ дѣдко дряблымъ, дрожащимъ голосомъ и опять закашлялся, разомъ оборвалъ свою пѣсню-татарщину.

— А раскажи-ко ты, старый, какъ это вы супротивъ

---

*) Смотри: вотъ разъ, вотъ два, вотъ три.

**) Не бойся меня, не бойся, свѣтикъ мой: злого человѣка, медвѣдя чернаго, здѣсь нѣту.

царя бѣлаго воевали, Перовскаго графа въ Хиву не пущали, дорогу все ему загораживали?—попыталъ работникъ одинъ, когда унялся немного кашель стариковскій.

— Уйди!—зло такъ поглядѣлъ на него корнаухій.—Уйди! «Синъ сабразъ джаманъ китъ!» *).

— Этого онъ шибко не любитъ!—разсмѣялся пытавшій.—Надысь проврался, да спохватился во время. Онъ вѣдь съ нашими бился. Давно это было, въ Казалу еще русскіе не приходили!

Какъ ножомъ обрѣзалъ дѣдко свои разсказы, замолчалъ и потупился. Слова отъ него не могли добиться болѣе, какъ ни ласкали, ни задабривали, ни уговаривали.

— Ишь, вѣдь, что ты языкомъ своимъ надѣлалъ!—сердились ребята на «злого солдата».—И чего ты это сунулся? Пустилъ онъ разъ въ тебя головнею за такое-же слово, не унимаешься!

— Я ничего, что-жъ такое?

— Молчалъ-бы ужъ лучше!

Посидѣли еще немного, видятъ, что не добьются больше никакого толку, стали по норамъ своимъ расходиться, спать укладываться. А время-то подходило для этого самое настоящее.

Туманомъ густымъ, холоднымъ всю даль окутало; стало и островъ ихъ туманомъ этимъ, словно пеленою, заволакивать. Зычно пронесся надъ рѣкою задавленный крикъ «бугай-птицы», «выпи», значитъ. Ну, совсѣмъ голосъ ея похожъ, будто вола рѣзать начали, да не дорѣзали. Приказчичій меренъ встрепенулся спросонья, забился на своей привязи. Вѣтерокъ съ моря налетать сталъ. Прибой морской ровными, мѣрными такими перекатами слышался.

Одинъ дѣдко корнаухій у костра остался, все сидитъ, не спитъ. Мало спалъ старикъ, ину пору сутокъ по трое глазъ не смыкаетъ; потребность эта прошла, знать у него отъ древности.

Приволокъ Степанъ-Малышъ кошемку откуда-то, разостлалъ ее около дѣдушки и свернулся на ней калачикомъ.

Не спалось что-то и Степану-Малышу. Полчаса не прошло,

---

*) Ты, злой солдатъ, прочь ступай!

приподнялся онъ на локоть, кругомъ оглянулся, сталъ окликать дѣдку, руку протянулъ, за трепье его подергалъ.

— Дѣдко, а дѣдко!..

— Эге!—словно очнулся корнаухій.—Джюхлай, джюхлай, бала *). Ночь, вишь ты.

— Нѣту сна, дѣдушко, нѣту, родимый. Поспрошать тебя кое о чемъ мнѣ надобно!

Покосился на него дѣдко, сталъ это рукою своею безпалою его оглаживать.

— Скажи ты мнѣ, дѣдушко, какая дорога будетъ настоящая въ земли хивинскія?

— Въ земли хивинскія?—отвѣчалъ дѣдко, подумавши.—Въ земли эти, бала, дорогъ много!

— Разскажи что объ нихъ, дѣдушко. Я те чаю за это принесу и сахару русскаго; разскажи!

Зналъ Степанъ, что старикъ шибко до чаю охотникъ, особливо ежели въ накладку, съ сахаромъ; авось-либо, думаетъ, проберетъ его этою самою приманкою.

— Тебѣ и безъ чаю скажу,—зашмакалъ корнаухій;—а ты принеси, все-таки принеси, пить буду!

— Никого теперь нѣтъ, всѣ разошлись спать,—говорилъ Степанъ тихо,—вишь ты, никто тебя не потревожитъ, никто не обидитъ ничѣмъ, спрашивать о чемъ дурномъ не станетъ!

— Джаманъ сарбазъ, каракъ, у!

— Разскажи про дороги, дѣдушко!

— Разскажи да разскажи! Сухія дороги есть, степью прямо, ой, ой, тяжелыя дороги! Пойдешь—помрешь, не вытерпишь. Пустое мѣсто, никого народу нѣту; пески пойдутъ, колодцы глубокіе; дня три-четыре отъ одного до другого ходу. Человѣкъ стерпитъ, конь не выдержитъ, сдохнетъ, а верблюду можно... верблюдъ звѣрь первый: ему все можно. «Иркибай» будетъ, могила такая, это половина дороги сухой считается, а послѣ Кара-Терень озеро. Много воды, берега не видать, хорошая вода, сладкая. На Кара-Терень пришелъ—все равно, что домой, тамъ уже хорошо пойдетъ!

— Не ходи, бала, не ходи, Аллахъ тебя сохрани; «*Палоіанъ-ата*» будь тебѣ помощникъ; Богородица, дѣва радуй-

*) Спи, спи, дитя.

ся,—не ходи! Злой человѣкъ сидитъ тамъ; бить будутъ, какъ скотину вьючить станутъ, желѣзомъ руки стянутъ, на шею кольцо надѣнутъ, ухо рѣзать начнутъ... не ходи! Не надо воды кара-теренской, Богъ съ нею! Въ сторону далеко кругъ есть, обходъ такой; тамъ волею Аллаха устоишь, солнцемъ не сожжетъ тебя, пескомъ не засыпетъ, живъ будешь, прямо на большую рѣку Аму придешь; тамъ хорошо. Сеидъ-Мурадъ добрая душа, жену дастъ, чаю дастъ; туда иди, тамъ хорошо...

И вдругъ это старикъ словно осунулся, затрясся весь, ближе нагнулся къ Степану, сталъ ему теперь шептать на ухо. Словно боится чего дѣдко, шепчетъ, а самъ все оглядывается.

— И туда не ходи теперь, тамъ живого въ землю закопаютъ, ремни изъ спины вырѣжутъ, потому, тамъ теперь Сеидъ-Мурада нѣту, Май-Булга тоже нѣту: она хорошая была, бала, толстая, брюхо большое, грудища во! Ее огневая болѣзнь съѣла, всю до-чиста, не померла еще она совсѣмъ, а ужъ сгнила до косточекъ... туда не ходи!

— Страсти ты какія разсказываешь, дѣдушко! — промолвилъ Степанъ задумчиво.

Защемило сердце у него. Лепечетъ старикъ, словно ребенокъ малый; можетъ, и путаетъ что; видимое дѣло, все у него въ памяти перемѣшалось; однако-таки и правда въ его рѣчахъ, злая правда чуется. И въ такой-то сторонѣ, одна одинешенька, у злого татарина, у хивинца окаяннаго!..

Застоналъ Степанъ, ткнулся носомъ въ песокъ, грудь ему стѣснило, всхлипываетъ: слезы совсѣмъ подступили, душатъ, а наружу не выливаются.

— Бала, а бала, — сталъ его тутъ корнаухій дѣдко подталкивать,—ты что, бала?.. Мнѣ худо было, мнѣ хорошо было; всяко бываетъ. Вонъ смотри въ ту сторону!

Протянулъ тутъ старикъ на сѣверъ руку свою изуродованную. «Смотри вонъ, говоритъ, въ ту сторону».

А что смотрѣть?.. Темень глухая стоитъ, сквозь туманъ чуть звѣздочки маячутъ, просвѣчиваютъ. Ничего-то больше не видно, ни въ той сторонѣ, куда дѣдко указываетъ, ни въ другихъ какихъ,—все кругомъ одинаково.

— Придетъ пора, сѣно покончутъ, «джугару» убирать станутъ, виноградъ-ягоду; тогда вѣтеръ оттуда дуть будетъ,

и дуетъ онъ долго, во всю луну-мѣсяцъ, пока новый рожокъ не народится, такой узенькій, бѣленькій; тогда перестанетъ дуть вѣтеръ оттудова, съ другой стороны начнетъ, куда солнце къ ночи спускается. Ну, то «джаманъ джиль» *). Попадешь въ него—быть худу. Такъ вотъ, бала, брось ты щепку передъ первымъ, хорошимъ вѣтромъ, брось ты ее здѣсь, на этомъ вотъ мѣстѣ самомъ, ее къ новой лунѣ въ хивинскую сторону черезъ все море прогонитъ. Это, значитъ, еще дорога будетъ.

— Кочерма ходила, каикъ ходилъ, много каиковъ ходило, и русскіе были, и наши. И есть тамъ въ морѣ земля такая, «Буянъ-островъ»; тамъ такой каикъ большой лежитъ, пескомъ его занесло, а народъ особо, кто были, всякъ на своемъ мѣстѣ лежитъ. Пойдешь туда—кости увидишь; хивинскіе все люди были, а два рыжихъ—россійскихъ человѣка. Моихъ костей нѣту, я ихъ унесъ; онѣ—вотъ онѣ, все тутъ... да, унесъ. И ты унесешь; Богу молись, Миколаю-угоднику: онъ, батюшка, заступникъ первый, онъ выручитъ.

— Пойдетъ послѣ сладкая вода, за этою водою земля будетъ, каракалпакъ живетъ, человѣкъ смирный, а туда дальше, куда птица на зиму летитъ, тамъ «трухменъ», разбойникъ, сидитъ. Талдыкъ рѣка — это ихъ вода, вотчина. У нихъ все лучше; увидятъ что—все ихнее. Глаза у нихъ зоркіе, руки сильныя, кони добрые, большущіе, долгоногіе, словно верблюды тутъ, прыткіе такіе; хивинскаго человѣка обижаютъ, низового каракалпака, байгуша обижаютъ. Я пастухомъ тамъ былъ: барановъ много, карамалъ **) тоже. Аблай-ханъ пойдетъ на персидскую межу, назадъ придетъ, еще больше станетъ.

— Аблай-ханъ, сказываешь ты?..—встрепенулся Степанъ-Малышъ.—Какъ ты сказалъ?..

— Какъ!.. Персидская земля далеко, она за трухменами будетъ: ходилъ я туда, тамъ дѣвки все долгокосыя; ихъ по двадцати тиля штуку продавали мы хивинскому хану; на базаръ тоже возили въ Ургенчъ городъ. Пошелъ туда разъ Аблай-ханъ,—не вернулся: отъ холеры померъ. Холера — немощь злая, сразу крутитъ человѣка. Аблай-хана домой мы привезли, и холеру съ нимъ привезли. Вой-вой сколько на-

---

*) Дурной вѣтеръ.
**) Крупный рогатый скотъ.

роду повалило! Пошелъ народъ тогда, кто въ пески, кто на горы, къ афганскому хану... аль не туда? Постой, запамятовалъ!

Сталъ тутъ опять припоминать старикъ свое прошлое, силился-силился, инда на локоть головою склонился. Слышитъ Степанъ, а тотъ уже носомъ сопитъ да всхрапываетъ, заснулъ никакъ подъ свои разсказни.

«Спи, Господь съ тобою», подумалъ парень, самъ навзничь запрокинулся, на звѣздочки далекія смотритъ, думу свою обдумываетъ.

«Вишь ты, вотъ вѣтеръ съ сѣверу подуетъ, когда джугару убирать начнутъ; это къ сентябрю мѣсяцу, значитъ; щепку, таперича, здѣсь кинешь, отнесетъ ее водою, по вѣтру этому, къ самой землѣ хивинской. Щепка что, щепка дѣло мертвое, извѣстно—лучина. Хорошая лодка, надысь Митричъ сказывалъ, восемьдесятъ рублевъ. Поплоше можно какую, подешевле. Василій Іонычъ, Василій Іонычъ! Нѣту зла у меня на тебя, за твое за слово послѣднее отошло мое сердце. Только, братъ, на томъ свѣтѣ тоже съ тебя спросится, не похвалятъ за эти дѣла, нѣтъ, не похвалятъ».

И заснулъ на томъ Степанъ-Малышъ, какъ, значитъ, съ дяди Василія на томъ свѣтѣ будетъ спрашиваться: не поглядятъ тоже на его силу да на капиталъ, не поглядятъ даже и на то, что въ однихъ дрожкахъ онъ съ самимъ Головымъ по базару проѣхался.

XVIII. Распорядки Степановы по хозяйству своему, по той причинѣ, что ужъ очень ему деньги требуются.

— И что ты это затѣялъ, блаженный человѣкъ, добрая душа, какія дѣла такія? — допытывалъ его Демеитій Трифоновъ.—Ты подумай только, другъ любезный, да насъ хоть вразуми толкомъ, потому понять твоихъ дѣловъ совсѣмъ невозможно. Таишься ты вотъ отъ добрыхъ людей, вона сколько времени ни вѣсть гдѣ пропадаешь, слоняешься. А тутъ вотъ пришелъ и, накось, каку линію загибаешь, совсѣмъ ни съ чѣмъ несообразную!

— Потому, какъ мнѣ здѣся уже не жить...—мялся Степанъ, въ землю потупившись.

— Эдакую-то скотину, первыхъ воловъ по всей волости, да на базаръ волочь?.. Тьфу!

— Э-эхъ!—вздохнулъ тутъ и Степка. Самъ чуть не плачетъ; жалко тоже стало.

— Животы по сту рублевъ, по таперешней порѣ, за половинную цѣну отдать хочешь!

— Мнѣ многаго не требуется, потому за восемьдесятъ рублевъ!

Спохватился тутъ парень, не сталъ договаривать. Неловко что-то ему стало—не то совѣстно чего, не то кто его знаетъ что. Вѣдь вотъ и свое добро, своя скотина, а словно чужое что проситъ, міру пришелъ кланяться.

— Да затѣмъ тебѣ эти восемьдесятъ рублевъ требуются?—донимаетъ Дементій.

— Очинно ужъ нужно... Такъ-то вотъ нужно, что во!.. Будь отецъ родной!.. Что-же, право, въ самъ-дѣлѣ?.. Сдѣлай такую милось божескую!

Слезы это у парня навертываться стали, ноги подгибаются, колѣнки дрожатъ, ну, вотъ-вотъ сейчасъ въ землю станетъ кланяться.

— Слушь-ко, что я тебѣ говорить стану!—тронулъ его за воротъ Дементій Трифоновъ.

Въ сторону отъ дороги отвелъ, потому задѣнетъ кто изъ проѣзжающихъ.

— Вотъ что, братецъ: коли ты на богомолье куда, къ угодничкамъ божьимъ, святымъ заступничкамъ, собираешься, на это, другъ, много денегъ не требуется, саму малость развѣ, коли, къ примѣру, десять рублевъ, на всякъ случай, и за глаза достаточно... Хаживали такіе, что съ цалковымъ-рублемъ отъ Соловецкія на Аѳонъ праведный закатывали. Идутъ все больше трудомъ христіанскимъ, именемъ Христовымъ побираются; это, голубь ты мой, для души много пользительнѣе, опять же и Господу угоднѣе, потому какое ни на есть подвижничество... И вѣрь ты мнѣ, ми-и-илый, снабдимъ тебя всѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ, ступай, значитъ, съ Господомъ, по той причинѣ, какъ таперь, сами мы видимъ, ты намъ не работникъ и больше за человѣка божьяго считаешься. А опосля, дастъ Богъ, перемѣна будетъ какая, въ мысляхъ у тебя поворотъ какой выйдетъ, назадъ это вернешься, все добро твое

будетъ въ цѣлости, сохранно. На вотъ, молъ, получай все съ рукъ на руки. Слушай, Степанъ, дѣло говорю тебѣ: не рушь своего теперь, зря, значитъ, повремени маленько!

— Оно ежели поплоше какую, можно и подешевле...— лепечитъ-знай свое Степанъ.

Видимое дѣло, что гвоздемъ у него въ головѣ засѣло что-то, ничего и не слушаетъ.

— Намъ что,—говоритъ Дементій Трифоновъ и кнутовищемъ въ пескѣ поковыриваетъ.—Намъ что, мы твоего добра задерживать не станемъ: бери, коли блажь пришла такая. Только по душѣ, значитъ, говоримъ тебѣ, совѣтуемъ; а впрочемъ, какъ знаешь. Подумай ты только, повремени хоть съ недѣльку; что те приспичило? Такъ куда-же идти хочешь: къ кіевскимъ аль въ другое мѣсто какое?..

«Каичекъ нѣшто киргизскій взять, простенькій?» думалъ про себя парень нашъ, разсчитывалъ.

И не слышалъ онъ вопроса Дементія, ничего и не отвѣчалъ потому.

— Ась?..

Мотнулъ головою новый староста, руками развелъ въ стороны; вздохнулъ Степанъ тяжко-претяжко, и разошлись они пока, оба въ разныя стороны.

Пропалъ опять Степанъ-Малышъ; недѣлю цѣлую не видать его было.

Разсказалъ Дементій Трифоновъ кое-кому про разговоръ свой послѣдній съ Малышемъ, тѣ другимъ кому по-своему передали. Пошла молва и по нашему поселку, да и по городу тоже болтать начали.

Всякъ это и норовитъ плести, что идетъ больше ему на разумѣніе.

Порѣшили у насъ, что «на Аѳонъ»; потому больше некуда.

Затолковали ребята:

— Распродать все хочетъ, какъ есть, добро: скотину, сбрую хозяйственную, одежду какую лишнюю. Деньги въ ладонку зашить, на шнурокъ толстый, да на шею подъ рубаху— чудесно! Попретъ это онъ теперь налегкѣ, потому деньги—

бумажки, какой въ нихъ вѣсъ, какая тягота?.. Будь хоть сто тысячъ, въ шапкѣ на край свѣта унести можно!

— Опасно оно тоже съ деньжищами-то. Лихой человѣкъ, тотъ, все одно, собака гончая, нюхомъ чуетъ. Онъ не поглядитъ тоже, что странный человѣкъ, богомолецъ. Онъ это сразу ощупаетъ. Мѣста здѣсь все глухія. Ну, и шабашъ!

— Здѣшнія мѣста самыя для такихъ дѣловъ подходящія, это точно!

— Женѣ Авдотьѣ, въ Ташкентъ, весь капиталъ сполна отослать хочетъ. «Она, сказываетъ, хоша супротивъ меня великую пакость сдѣлала, а я прощаю, значитъ, жертвую, и пускай она теперь все это, какъ слѣдоваетъ, чувствуетъ». Такъ-то вотъ!..

— У Дуньки-то, чай, и своего добра много нажито. Ея, окромя какъ въ шелкахъ да за наливкою сладкою, и не видалъ никто, кто тамъ бывалъ. Великъ-ли капиталъ Степкина окажется? Нѣшто проберешь ее такою пустяковиною?

— И съ чего такого, подумаешь, раскиселился такъ парень, чудно тоже, право!..

— Ничего не раскиселился, а хочетъ особнякомъ на Косъ-Аралѣ рыбнымъ дѣломъ заняться, свое заведеніе устроить. Слыхали мы тоже, какъ онъ все объ цѣнѣ на снарядъ справлялся, каики вотъ приторговывалъ. Опять-же гдѣ онъ все послѣднее время больше возжается, гдѣ?.. На томъ-же все на Косъ-Аралѣ островѣ. Опротивѣло это ему поле, пахоть опостылѣла, совсѣмъ вонъ и глядѣть на нее не хочетъ!

— А, можетъ, и на Иргизъ уйти собирается? Не даромъ что-то съ казаками-старовѣрами перешептывается. У нихъ вѣдь это просто. Цѣпь-цѣпью выведено, такъ вотъ другъ за дружку и клещатся!

— И все это невѣрно. А слыхалъ я самое настоящее дѣло и отъ людей тоже вѣрныхъ: затѣялъ онъ, братцы мои, колоколъ отлить для новаго храма казалинскаго, и на колоколѣ этомъ чтобы написано было безпремѣнно, снаружи, по ободу верхнему, подъ самыми ушами: «Во здравіе и долгоденствіе раба божьяго Никона и судей онаго сердецъ ихнихъ на смягченіе». Да, а изнутри, какъ-разъ тамъ, гдѣ языкомъ ударяетъ, самое это мѣсто: «За упокой души рабы божіей Марины».

— Да нѣшто она померла?

— А гдѣ она, ты знаешь?.. Нѣтъ, ты мнѣ скажи теперь: знаешь ты, гдѣ она обрѣтается?..

— А почемъ мнѣ знать это? Отстань, сдѣлай милость. Орешь громко, еще услышитъ кто!

— Можешь ли ты таперь знать: жива она или нѣтъ, коли ничего тебѣ про нее невѣдомо?.. То-то вотъ оно и есть!.. Ну, а Степану это, можетъ, лучше кого другого, доподлинно, все, какъ есть, извѣстно. Вотъ и заказалъ онъ ей, значитъ, на вѣчное поминаніе!

Отецъ Иванъ, надо полагать, тоже слышалъ про Степана «самое настоящее дѣло» и отъ «людей тоже вѣрныхъ», потому, какъ пришелъ домой, сейчасъ сталъ своего причетника Морковкина разыскивать; и очень ужъ сердился батюшка, что нигдѣ разыскать не могъ этого окаяннаго причетника, потому питейныхъ заведеній много въ городѣ, скоро-ли ихъ всѣ обѣгаешь!

Однако къ вечеру отыскали и на квартиру отца Ивана въ хорошемъ видѣ доставили.

Распорядился тутъ его благословеніе такимъ манеромъ, что за позднимъ временемъ отложить дѣло до завтрева, а завтра чтобъ рано разыскалъ Морковкинъ Степана-Малыша, переселеннаго крестьянина, и сюда доставилъ, да не зря какъ, Боже оборони, съ тычкомъ или словомъ какимъ нехорошимъ, а чтобы съ ласкою, пріятностью и со всѣмъ, какъ есть, почтеніемъ.

«Глупъ мужикъ,—думалъ въ ту ночь отецъ Иванъ,—что за вздоръ такой—колоколъ! Велика нужда въ трезвонѣ, чтобы глушило только; наши колокола хоть и небольшіе, а ничего, голосистые, по нашему городу совершенно достаточные... И вотъ это самое вразумить ему надо... Храмъ же нашъ въ другомъ чемъ, болѣе необходимомъ, нуждается: облаченій приличныхъ вотъ не достаетъ тоже да и мало-ли чего! А самое лучшее, если ужъ пришло человѣку такое благое намѣреніе, чтобы продать все, по слову евангельскому, и капиталъ раздать нищи... Тьфу! Совсѣмъ не то; просто вручить оный капиталъ ему, отцу ихъ духовному, а ужъ онъ знаетъ, какъ, куда и что... Насчетъ же поминанія и прочаго—это и въ

книгу записать можно... А хорошо бы право... По теперешнему безденежью совсѣмъ не лишнее было бы. Оно, положимъ, многаго Степанъ за добро свое не выручитъ... Ну, сто, ну, полтораста, пожалуй, и до двухсотъ наберется; такъ что же, и это деньги; брось-ка ихъ на улицу, небойсь никто мимо не пройдетъ, чтобы нагнуться поднять полѣнился бы».

Сталъ тутъ отецъ Иванъ примѣрно разсчитывать, сколько можно выручить, если продать все состояніе Степаново... Вспомнилъ даже и про часть его, что въ зернѣ и въ покосахъ,—все припомнилъ... Считалъ, считалъ, да и заснулъ такъ, считавши.

Причетникъ-же Морковкинъ еще до свѣту искать Степана-Малыша отправился.

Только не вышло ничего такого, что думалось.

Вернулся Степанъ-Малышъ изъ своей отлучки опять къ Дементію Трифонову.

— Только,—говоритъ, — всего сорокъ четыре рубля и нужно,—не откажи, сдѣлай милость!

Долго опять возжались наши мужики со Степкою, ничего отъ него не добились путнаго... Сходку собрали, да и порѣшили на сходкѣ на этой:

«Выдать Степану сорокъ четыре рубля денегъ и отпустить съ Богомъ; а добро его все въ міру оставить, все равно какъ замѣсто залога; въ случаѣ ежели вернется Степанъ, отдать ему все это въ полное владѣніе, хоша-бы онъ эти деньги и не сразу, а по частямъ выплачивалъ или просто работою какою отрабатывалъ».

— Такъ куда-же идешь ты?—стали его тутъ въ послѣдній разъ спрашивать.

— А куда Господь укажетъ!—отвильнулъ Степанъ отъ отвѣта настоящаго.

Поклонился онъ въ ноги на четыре стороны, землю поцѣловалъ даже, прощаться началъ:

— Простите меня, люди добрые, коли въ чемъ виноватъ передъ вами!

— Богъ тебя проститъ!—гудятъ мужики и въ землю потупились: жалко тоже парня стало.

— Какія вины твои, человѣкъ ты блаженный, душа твоя безгрѣшная!—завыло бабье, такъ въ слезы и ударилось.

— Когда-же идешь-то?—спрашиваютъ.—Ты скажи, мы проводить, какъ слѣдоваетъ, выѣдемъ!

— Дня черезъ три, не ранѣе!—говоритъ Степанъ.

Повеселѣлъ парень, глядѣть сталъ совсѣмъ козыремъ.

— Ишь, ты, чортъ, лѣшій,—погрозила ему кулакомъ Лушка-весноватая и рукавомъ закрываться стала, засовѣстилась чего, полагать надо.—А я было на него зубы наточила, зариться начала было. А онъ, ишь ты, тоже въ странники... Ишь, богомолецъ какой выискался!

Пошутили тутъ надъ Лушкою наши ребята, разошлись кто куда; думали—еще въ три-то дня со Степаномъ повидаются. Только съ этого самаго вечера никто его здѣсь, ни въ городѣ, ни около того, больше не видывали и не слыхивали.

И не знали потомъ никто, куда и сгинулъ Степанъ-Малышъ, добрая душа, развеселый пѣсельникъ, въ какую это сторону его вѣтромъ унесло, потому коли-бы дорогою какою шелъ, такъ все-бы видѣлъ кто встрѣчный, слухъ-бы пошелъ хоть какой-нибудь...

Вспомнили года два кто изъ нашихъ: «а гдѣ это, молъ, Степанъ нашъ передъ угодниками за насъ грѣшныхъ старается?» А потомъ и вспоминать перестали.

Взбѣжалъ бѣлый гребень на волнѣ рѣчной, сверкнулъ на солнышкѣ, прокатился наискось и о берегъ песчаный, пологій разсыпался, а за нимъ другой такой-же, тамъ третій, тамъ четвертый, волна за волною идетъ и о берегъ разбивается,—гдѣ тутъ ихъ усчитать, гдѣ тутъ упомнить какую... Такъ и Степанъ нашъ прокатился волною серебристою, и закрыли его другія, все новыя да новыя, одна на другую набѣгающія волны, закрыли и отъ глазъ людскихъ, заслопили о немъ даже память самую.

XIX. Бери товаръ—получай деньги.

А Степанъ въ ту-же ночь верстъ тридцать пѣшкомъ отмахалъ. Поспѣшалъ шибко мужикъ: съ версту бѣгомъ дулъ, а полверсты шагомъ, духъ переводилъ... До разсвѣта и прибылъ, куда ему слѣдуетъ.

Не чуялъ, не догадывался парень, что сидѣлъ онъ теперь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, года два тому назадъ, Марину его, по рукамъ, по ногамъ связанную, Салтыкъ съ своими джигитами въ каикъ сажалъ; дядя Василій съ Маметкою провожалъ ее горемычную въ далекую чужую сторону и такимъ словомъ утѣшалъ, напутствовалъ:

— Не вини ты меня теперь, Марина Денисьевна,—говорилъ онъ тогда,—повремени маленько... Ворогомъ злымъ ты меня считаешь—знаю. А вотъ, помяни мое слово, послѣ сама-же спасибо скажешь. Какая твоя жизнь пошла-бы здѣсь, при настоящемъ, значитъ, положеніи, мы того не вѣдаемъ, полагать только надо, что не больно сладка, ну, а *какъ* заживешь ты любимою женою Салтыка Аблаевича, то сама скоро увидишь... Пройдетъ это сердце твое; отъ хорошаго житья тоже человѣкъ много добрѣе, мягче становится... Дастъ Богъ заверну въ *вашу* сторону, побываю у тебя,—первымъ гостемъ ты меня почитать станешь, благодѣтелемъ назовешь... увидишь, что Василій говоритъ ежели, безпремѣнно все по его слову, въ самомъ разѣ вѣрнѣйшемъ выходитъ... Ну, молодцы, стели ковры въ каикъ, клади ее... Аллашка вашъ пущай всю дорогу вамъ благополучіемъ словно изъ ушата поливаетъ! Гайда! Съ Господомъ!

Вотъ на этомъ-то самомъ мѣстѣ и прилегъ теперь Степка, языкъ отъ усталости высунувши.

А мѣсто-то было чудесное, потому со всѣхъ сторонъ закрытое, и безъ нужды сюда некому не для чего заглядывать.

Какъ и тотъ разъ, въ густыхъ камышахъ стоялъ каичекъ киргизскій, только поменьше немного; затиснуло его не то руками человѣческими, не то волною рѣчною, между двухъ кочекъ, песку съ одного бока намыть даже успѣло... Каикъ порядочный, крѣпкій, совсѣмъ почти новый, проконопаченъ ладно; два шеста, одинъ съ крюкомъ желѣзнымъ, другой такъ, простой, вмѣстѣ связаны, на днѣ лежатъ, лопата деревянная тутъ-же торчитъ и ковшикъ долбленый на веревочкѣ волосяной привязанъ. Какъ есть все приспособленіе!

Какъ пробирался Степанъ вдоль берега обрывистаго къ этому мѣсту самому, онъ еще шаговъ за двадцать край лодки завидѣлъ; видитъ онъ и шапку островерховую, киргизскую, что изъ-за лодки торчала.

«Мангытъ,—подумалъ тутъ мужикъ,—онъ самый. Вишь дожидается! Вѣренъ тоже въ своемъ словѣ».

Полѣзъ Степанъ въ карманъ шароварный, сталъ деньги на ходу, бумажки повѣрять замасленныя, закатанныя, за лодку по договору разсчитаться хотѣлъ, да взглянулъ еще разъ на шапку Мангытову и видитъ: взмахнула крыльями киргизская шапка, голову назадъ закинула, носъ свой долгій лопаткою къ верху подняла и полетѣла прочь, шаги человѣчьи почуявши; только вслѣдъ за нею метелки камыша высокія да пушистыя всколыхнулись.

— Тьфу ты! Колпикъ-птица!... А я было... Ну, знать, никого людей нѣту тутъ, коли птица эта робкая, дикая, отдыхать опустилась...

Ближе Степанъ подошелъ, сталъ лодку оглядывать; облюбовалъ все, какъ слѣдуетъ.

Въ полномъ порядкѣ на мѣсто доставлено. Кому-же деньги отдать? Вотъ оказія! Время не терпитъ, дороги много впереди, къ ночи на Косъ-Аралъ спуститься надо... А тутъ... Э-эхъ!

Приглядывался Степанъ, приглядывался, прислушивался, прислушивался... Тихо все кругомъ—никого не видно да и не слыхать тоже.

Положимъ, что Мангытъ придетъ, это вѣрно... Вѣстимо, куда недалеко отлучился, можетъ, въ аулъ продралъ куда, верстъ за десять, по близости, отъ скуки, значитъ; можетъ, вернется скоро, да ждать-то парню нашему невтерпежъ, совсѣмъ, то-есть, некогда...

Досталъ тутъ Степанъ портянку чистую, изъ мѣшечка своего выволокъ, провѣрилъ деньги, завернулъ ихъ въ тряпку, обвязалъ осокою травою крѣпко-на-крѣпко, выбралъ кустъ камышевый повиднѣе да повыше и засунулъ подъ корни свой сверточекъ. Потомъ взялъ да связалъ камышъ этотъ сверху пукомъ, надломилъ метелки пушистыя... Мѣсто замѣтилъ, значитъ.

«Ладно, молъ, думаетъ,—придетъ Мангытъ—сразу замѣтитъ его работу, догадается... Они вѣдь чутки на это, не впервой имъ такъ-то приходится. Оно, конечно, коли на нашего, русскаго человѣка, — ну, тогда бѣда... А у степныхъ людей, у глупыхъ, оно просто: «не твое, такъ и руки протягивать нечего, пущай, молъ, лежитъ, дожидается хозяина настоящаго».

Разсчитался, значитъ, Степанъ такимъ манеромъ, положилъ мѣшокъ свой въ лодку, сволокъ каикъ въ воду съ отмели и сталъ шестомъ сквозь густые камыши на вольную струю, на теченіе пропихиваться...

И какъ только ходко время надвигается, какъ все на свѣтѣ быстро мѣняется!

Давно-ли вотъ такимъ манеромъ Степанъ съ Мангытомъ за лодку расплачивался сговоренную, а попробуй теперь кто, также вотъ, на этомъ хоть-же самомъ мѣстѣ, то-то-бы надъ нимъ всласть потѣшились!

Что Бога гнѣвить, много умнѣй сталъ народъ степной, дикій, много хорошаго отъ русскаго человѣка перенялъ... Простоту эту прежнюю у нихъ повытрясли наши, въ темный народъ свѣту напустили настоящаго.

XX. Два человѣка—не одинъ, все веселѣй съ товарищимъ.

Стемнѣло совсѣмъ, какъ прибылъ Степанъ на Косъ-Аралъ островъ.

Не шелъ онъ къ восточному берегу, къ тому, гдѣ ставки рыбачьи стоятъ, не въ тотъ рукавъ даже взялъ, а въ нижній, и подошелъ къ острову съ глухой стороны, присталъ къ заросли. Запряталъ свой каикъ въ укромное мѣсто, привязалъ крѣпко-накрѣпко, а самъ большой кругъ вдоль берега сдѣлалъ и сталъ къ шалашамъ подходить совсѣмъ со стороны противной.

А время подходило самое такое, когда вѣтеръ съ холодныхъ сторонъ начинаетъ дуть, какъ говорилъ тогда Степану дѣдко корнаухій... Давно ужъ Малышъ этого времени дожидался, къ нему и готовился.

Переночевалъ эту ночь Степанъ у рыбаковъ косъ-аральскихъ. Хотѣлъ было въ ту же ночь пуститься въ дорогу свою дальнюю, давно обдуманную, да увидалъ, что мандельберговскіе переметы, миновать которыхъ невозможно было, народомъ заняты, на ночную оборку работники жидюги-кавалера выѣхали, вотъ и отложилъ до разсвѣта... Оно еще и лучше, пожалуй: видно, да и не такъ боязно... Туманомъ застелетъ передъ разсвѣтомъ — любо! Въ трехъ саженяхъ отъ переметовъ пройдешь, никто не увидитъ.

Легъ Степанъ у шалашика, кошмою закрылся... Не при-

ходитъ сонъ, да и шабашъ. Крѣпко спалъ народъ передъ разсвѣтомъ; поднялся на ноги Степанъ-Малышъ, забралъ мѣшокъ съ сухарями, заранѣе заготовленный, боченокъ съ водою дарьинской, оглянулся кругомъ,—никто его не видитъ...

«Съ дѣдкою нѣшто попрощаться зайти? — подумалъ мужикъ—Онъ всегда былъ до меня ласковый»!

А дѣдко спалъ всегда около лодокъ, на берегъ выволоченныхъ; это его любимое мѣсто было. Подошелъ туда Степанъ—не видать что-то... Вонъ и войлочекъ его валяется, берестяная кружка дѣдкина, а самого стараго нѣту.

— Ну, знать, не пришлось,—пожалѣлъ Степанъ,—некогда мнѣ тебя разыскивать, не взыщи да лихомъ не поминай... Не поминайте и вы, ребята, худымъ чѣмъ Малыша-Степана... Прощайте, братцы!

Идетъ Степанъ въ заросли, мѣшокъ подъ мышкою, несетъ боченокъ за плечами; идетъ да на спящихъ оглядывается, словно воръ какой, стащилъ что да и удираетъ... Добѣжалъ до кустовъ и осмотрѣлся,—ишь, ты, взялъ въ сторону... Вонъ куда надоть!..

Чу-кось!.. Камыши никакъ треснули... какъ разъ тамъ, гдѣ лодка Степанова стоитъ... Человѣкъ около каика этого копошится, улаживаетъ что-то; нагнулся, только спина его и видна.

Замерло сердце у Степана, духъ занялся, да приглядѣлся къ этой спинѣ горбатой,—ну, и полегчало.

— Ты что-же тутъ дѣлаешь такое, дѣдко?..—подошелъ Малышъ къ корнаухому и тронулъ его легонько.

— А, пришелъ!.. зашамкалъ дѣдко, — Что поздно? А я ждалъ, ждалъ тебя, думалъ—не придешь вовсе!

Ошалѣлъ Степанъ просто; руки у него опустились, глядитъ на стараго, въ толкъ взять не можетъ.

«Никому не сказывалъ,—думаетъ,—ото всѣхъ таился, а онъ, вишь ты, знаетъ... Въ мысли мои забрался... Что-же теперь дѣлать-то?.. Нѣшто просить, чтобы молчалъ до поры, до времени, никому не сказывалъ, пока подальше хоть отъѣду...

— Дѣдко... родимый...

— Ась, бала, ни-керекъ *)? — повернулъ голову корнаухій.

---

*) Что надо?

— Что мнѣ передъ тобой таиться?.. Я въ хивинскую землю иду... Не говори никому изъ нашихъ про то, что видѣлъ вотъ, помолчи пока, родной, а я ужъ тебѣ всею душою, значитъ!

Прищурилъ на него дѣдко глазъ свой подслѣповатый, подсмѣивается, пальцемъ грозитъ...

— Ну-ко, давай спихивать! — говоритъ въ отвѣтъ. — Таперь мы пока на шестахъ пойдемъ, а тамъ, какъ обогнемъ косу, джиль-данъ *) поставимъ... Садись!

Грозно такъ глянулъ вновь на Степана глазъ стариковскій. Вымолвилъ дѣдко «садись» такъ, словно приказъ какой далъ, и, Боже оборони, приказа этого ослушаться.

— Грѣхъ тебѣ былъ-бы, удачи никакой въ пути не было-бы... Зачѣмъ меня, старика, забыть хотѣлъ, а, зачѣмъ?.. Я вижу, я все знаю... я въ душу къ тебѣ заглянулъ еще тогда, какъ ты меня про дороги разспрашивалъ... Садись!..

Оттолкнулъ Степанъ лодку отъ берега, сѣлъ дѣдко на корму, лопату взялъ; полѣзъ и Малышъ на свое мѣсто...

— Два человѣка — не одинъ, — бормоталъ дѣдко, бороздя воду лопатою.—Два человѣка—сила двойная, благости вдвое...

— Ну, знать судьба! — бормоталъ Степанъ. — Что-же, ничего, какая отъ него помѣха? Все веселѣе съ товарищемъ!

Старый бродяга-бездомникъ, словно волкъ одичалый, какъ ни кормили его, какъ ни ласкали, ни холили, — почуялъ носомъ вѣтеръ вольный, разгадалъ, что замыслилъ себѣ этотъ парень простоватый, что про пути въ земли далекія его разспрашивалъ, да и самъ не выдержалъ.

Знать тошно было ему доживать свой вѣкъ въ жиломъ мѣстѣ... Волчьей смерти волкъ пожелалъ и поволокъ въ пустыни свои кости старыя, шкуру свою истерзанную...

Сплошною, неподвижною стѣною сѣдой туманъ стоялъ на морѣ.

Тихо такъ было, ни одна струйка не плескалась въ камышахъ, не дробилась о бока лодки... Словно замерла безконечная поверхность водная, не проснулись еще воды соленыя, крѣпко за ночь уснувшія.

---

*) Парусъ.

Оглянулся Степанъ назадъ.

Ничего уже не видать тамъ сзади; со всѣхъ сторонъ охватило ихъ молчаливымъ туманомъ. Внизу, подъ лодкою, глубь покойная чернѣетъ, наверху, надъ самою головою, утреннее небо золотится, разгорается...

— Греби... навались... навались!..—шепчетъ, словно ворожитъ что-то «старый бродяга» и пытливо смотритъ впередъ своими подслѣповатыми, много на своемъ вѣку видавшими очами...

XXI. Въ морѣ.

Согрѣло жаркое солнце туманъ-утренникъ, отдѣлился онъ отъ воды, выше поднялся и, мало-по-малу, разошелся весь въ тепломъ воздухѣ, въ голубой, безконечной выси разсѣялся.

Пропалъ давно уже Косъ-Аралъ островъ; вмѣстѣ слились, въ одну черту зеленоватую, всѣ устья рукавовъ сыръ-дарьинскихъ, и не узнать теперь тамъ ничего, гдѣ мѣсто какое, только дымокъ отъ котловъ виднѣлся вдали сизыми, расползающимися нитями... Одинъ только дымъ этотъ и указывалъ нашимъ путникамъ, гдѣ осталось за ними послѣднее жилье человѣческое.

Мысъ Кугъ-Аралъ, южный обрывъ его, тотъ, что на восемьдесятъ саженей вверхъ прямо изъ воды поднимается,— синѣлъ на сѣверѣ треугольнымъ облакомъ... Мысъ этотъ далеко съ моря виденъ — два дня плывешь ину пору, все онъ не прячется, особенно въ погоду ясную... Бѣлыя змѣйки буруновъ пѣнились далеко влѣво, у окраинъ отмелей-невидимокъ... Птицы морскія кружили надъ ними... Бакланъ ширококрылый высоко-высоко темнымъ крестомъ виднѣлся на небѣ, въ перегонку съ облачкомъ бѣлымъ несся, да завидѣлъ, знать, внизу что-нибудь въ пищу пригодное, рыбу какую-нибудь, брюхомъ кверху плывущую, большой кругъ описалъ и къ водѣ началъ плавно спускаться; хвостомъ, какъ рулемъ, на поворотѣ дѣйствовалъ, а крылья парусами распустилъ, даже и не взмахиваетъ ими, двухъ-аршинными...

Ярко-зеленая, словно изумрудъ дорогой, вся сверкающая, прозрачная, чистая такая вода вокругъ каика плещется... Вѣтерокъ разыгрался сѣверный, попутный, зыбь сталъ разводить легкую; тамъ и сямъ по верхушкамъ мелкихъ волнъ бѣлоснѣжные, пѣнистые гребешки запрыгали.

*

Надуло, вспузырило парусокъ клинообразный, выгнуло дугою рейку длинную, «роспялъ» по-здѣшнему, согнуло напередъ и самую шестъ-мачту, какъ струны веревки натянуло волосяныя, гудѣть даже отъ вѣтра начало... Запрыгалъ каикъ Степановъ, на бокъ чуть-чуть накренился, борозду пѣнистую за собою прокладываетъ и ходко такъ все впередъ да впередъ подвигается.

Давно уже птица морская вольная въ этихъ мѣстахъ человѣка не видала.

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ лѣтъ десять тому назадъ казенные люди на казенныхъ баржахъ парусныхъ острова ходили разыскивать, описывать ихъ да обмѣривать,—съ тѣхъ самыхъ поръ сюда никто не заглядывалъ. Рыбакамъ косъ-аральскимъ, нынѣшнимъ, то-есть, такъ далеко заходить не приходится, а прежніе, «захрящеповцы» да «голубевскіе»,—безшабашная морская вольница, — тѣ уже давно свое отгуляли, отжили, память только по себѣ смутную оставили.

Да и кого теперь безъ нужды крайней или охоты пылкой, удержу незнающей, понесетъ сюда, въ это «море-могилу», кому охота подъ самый невѣрный закладъ отдавать свою голову?—Все-таки одна она на плечахъ у человѣка, запасныхъ не полагается.

Не велико это море, противъ другихъ морей просто озеромъ кажется, а страху такого нагнать успѣло на человѣка, что и бывалые моряки, на большихъ судахъ, хорошихъ, выходя «за баръ» въ открытыя воды, не на шутку задумываются.

Громадныя степи-равнины со всѣхъ сторонъ подступаютъ къ морю. Степные вѣтры, не находя себѣ нигдѣ никакой преграды, налетаютъ сразу на воду, взбудораживаютъ ея гладкую до этой минуты поверхность, быстро разводятъ безпокойную, дробную волну... Какъ котелъ на огнѣ закипитъ и вспѣнится грозное озеро и начинаетъ трепать довѣрившееся ему суденышко.

Нѣтъ здѣсь покойной, длинной волны большихъ морей, не знаетъ мореходъ даже, откуда его сейчасъ ударитъ, откуда къ нему бѣда пожалуетъ, и не успѣетъ онъ къ этому удару приготовиться. Спереди, сзади набѣгаютъ и съ размаху бьютъ высокіе гребни, съ боковъ неистово толкаютъ и черезъ борты перекатываются, снизу, подъ самое днище, толкутся... и трещатъ связи судовыя, щелиться начинаютъ бока разбитые,

расшатанные. Тамъ и сямъ всплываютъ около судна клочья вырванной конопатки, грозные признаки близкаго крушенія.

А тутъ налетаетъ новый порывъ бѣшенаго вѣтра, налетаетъ оттуда, откуда его и не ждали совсѣмъ, съ другой вовсе стороны, откуда дулъ передъ этимъ... Не улеглись еще волны, взбитыя прежними порывами, и ихъ уже дробитъ и ломаетъ новая сила... Все море сплошною пѣною покрывается... Тамъ и сямъ, какъ чудища какія, водяные столбы поднимаются и кружатся съ ревомъ и воемъ, сталкиваются и разсыпаются... Словно ожили мертвыя воды, и охватило ихъ неудержимое, безсмысленное, дикое бѣшенство...

«Толчея расходилась», говорятъ тогда испуганные, растерявшіеся моряки, «водяной дьяволъ разыгрался», говорятъ прибрежные туземцы.

Не устоять жалкой лодкѣ противъ этой толчеи, не подъ силу ей игра водяного дьявола... Гибнетъ судно, все измочаленное, исковерканное, гибнутъ и пловцы, безъ всякой надежды на помощь, ни слѣда, ни вѣсти по себѣ не оставляя...

Свершится чудо иной разъ: вышвырнетъ обломки ладьи на берегъ песчаный, вышвырнетъ съ ними вмѣстѣ и людей, за доски ухватившихся. Прошли первыя минуты ошеломленія, опомнились спасшіеся, пришли въ себя, оглядываются... Не вѣрятъ глазамъ, такъ руками и ногами щупаютъ твердую землю... Рады, сердешные, Богу на радостяхъ молятся... Крѣпкимъ, веселымъ сномъ спятъ на пескѣ измученные... Утромъ солнце на небѣ поднимается, покажетъ оно имъ, куда это ихъ счастье да судьба выкинула... Трехъ дней не пройдетъ, станутъ спасенные судьбѣ погибшихъ завидовать, проклинать ту волну, что ихъ выкинула: зачѣмъ она не залила ихъ, безжалостная, зачѣмъ не задушила, зачѣмъ приговорила ихъ къ мукамъ нестерпимымъ, смерти отъ жажды и голода?

Тихи, безлюдны печальные берега. Мертвые пески громоздятся округленными холмами, и въ безконечную даль эти холмы тянутся... Ни кустика, ни травки не видитъ глазъ; капли воды прѣсной нельзя найти, чтобы освѣжить засохшій языкъ, промочить судорожно-сжимающееся горло... Жаромъ пышетъ раскаленная почва, трескается обоженная кожа на открытыхъ мѣстахъ, какъ свинцовая тяготитъ и давитъ одежда, и не-

счастный спѣшитъ сорвать съ себя и бросить послѣднія уцѣлѣвшія лохмотья.

Бредетъ онъ впередъ да впередъ, подъ вліяніемъ чувства самосохраненія, пока не оставятъ его послѣднія силы; а оставятъ, тогда садится на землю, безсознательно глядитъ вокругъ себя потухающими глазами... Мучительныя видѣнія встаютъ передъ нимъ, хриплый бредъ рвется изъ груди... А тутъ солнце садится. Ночь приноситъ съ собою относительную свѣжесть, пробуждаются не надолго угасающія силы. А для чего? Для того, чтобы на слѣдующій день еще долѣе продлить невыносимыя страданія и окончить эти страданія (все равно, днемъ-ли ранѣе, или позже) только давно жданною, желанною, спасительною смертью...

«Тамъ, гдѣ близко соленая вода, не ищи прѣсной», говоритъ киргизская поговорка... Эта поговорка слишкомъ вѣрна для того, чтобы всѣ караванные пути были проложены далеко отъ береговой полосы. И не дойти до этихъ путей, не попасть на ихъ спасительные колодцы ни одному изъ «милостиво выброшенныхъ моремъ на печальный берегъ».

А острова этого моря, неомытые прѣсною водою, какъ тѣ изъ нихъ, что лежатъ близко къ устьямъ рѣкъ, что они могутъ дать человѣку, на нихъ ступившему?

Тѣ-же мертвые пески, кое-гдѣ только поросшіе жидкою, колючею растительностью, голые камни-валуны, накопившіеся у размытыхъ водою трещинъ, серебристые пласты горькой осадочной соли и также полное отсутствіе прѣсной воды.

«Вода—жизнь, нѣтъ воды—смерть». Испоконъ вѣковъ сложилась въ степяхъ эта поговорка-истина.

На двухъ или трехъ изъ подобныхъ острововъ существуютъ, правда, кое-гдѣ крохотные родники съ водою, въ крайности еще возможною для употребленія; но эти родники перемѣнные: сегодня здѣсь, завтра пробили себѣ выходъ въ другомъ мѣстѣ, и запрятались эти родники, словно на зло человѣку забредшему, въ такія мѣста укромныя, не всегда даже доступныя, что десять разъ умереть можно прежде, чѣмъ разыщешь ихъ живительныя, еле-еле просачивающіяся струйки.

Если на матеромъ берегу только особое счастье, благословеніе, что ли, Божье какое, случайность рѣдкая можетъ еще

помочь потерпѣвшему путнику, приведя его, наконецъ, къ колодцамъ караванныхъ путей, то на островѣ надежда на то-же даже немыслима.

Не зачѣмъ сидѣть на берегу, у прибоя, и ждать помощи со стороны моря, не зачѣмъ себя мучить, на высокіе обрывы взбираться и оттуда оглядывать безконечный горизонтъ зеленоватой зыби... По пѣлымъ годамъ не увидишь тамъ ни одного паруса, и несчастному приходится, напередъ, завѣдомо, считать этотъ островъ своею могилою и готовиться къ неизбѣжной, шагъ-за-шагомъ подступающей смерти.

«Проклятое море!—говорятъ здѣшніе, степные люди.—Ты легло на перепутьѣ нашихъ степей; ты пожираешь хорошія, добрыя воды двухъ матерей-рѣкъ «Аму» благодатнаго и «Сыра» священнаго, но отъ нихъ твои воды не становятся слаще. Шайтанъ на днѣ твоемъ сидитъ и святое добро поганитъ... Ты такъ много берешь себѣ добра и жизни, а само не даешь ничего, кромѣ зла и погибели» *).

XXII. Легенда объ островѣ «Барса-Кельмесъ» **).

Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, когда русская власть считалась въ средней Азіи чѣмъ-то неслыханнымъ и невиданнымъ, да и по ближнимъ степямъ она только пустымъ звукомъ носилась, появился между кочевниками вольный герой-батырь «Аблай-Кенисары». Не по сердцу ему пришлось русское сосѣдство и открыто заявилъ онъ себя недругомъ своего могучаго сосѣда.

Разгорѣлась быстро война степная. Десятки отрядовъ русскихъ, пѣшихъ и конныхъ, выступили подавить это возстаніе. Стали и роды киргизскіе въ кучи сбиваться.

Началось для степи тяжелое время, о которомъ киргизы даже и вспоминать не хотятъ, и разсказываютъ о немъ нехотя, считая это смутное время наказаніемъ, посланнымъ на

---

*) Когда сложилась эта тирада, наивные дикари не подозрѣвали, конечно, что пройдутъ года, и по водамъ ихъ негостепріимнаго моря поплывутъ русскіе пароходы, установится правильное сообщеніе между двумя бассейнами Аму и Сыра, и всѣ эти первобытные ужасы значительно потеряютъ свое значеніе.

**) Я привожу здѣсь эту легенду, какъ разсказъ, ярко характеризующій здѣшнюю природу и зависимость отъ нея полудикаго человѣка.

ихъ за грѣхи какіе-нибудь, гнѣвомъ Аллаха и пророковъ его, за что-нибудь на степного человѣка озлобившихся.

Рыщутъ по степи русскіе, рыщутъ киргизы, другъ за дружкою гоняются, какъ за вѣтромъ въ полѣ. Дѣла хозяйскія остановились, «джуты» (падежи скотскіе) пошли отъ заразы трупной; изъ силъ скотина выбилась отъ перекочевокъ частыхъ да скорыхъ; уныніе на людей напало.

Хуже всего пришлось исключительно мирнымъ ауламъ, которые рады-радешеньки были-бы въ сторонѣ держаться, не принимая сами никакого участія, если-бы только подобное положеніе было возможно.

Албай-Кениссары смотрѣлъ на такихъ косо, за сторонниковъ русскихъ ихъ почиталъ и жестоко мстилъ имъ за отказъ въ поддержкѣ его скопищъ. Онъ грабилъ скотъ у такихъ ауловъ, жегъ ихъ добро и кибитки, уводилъ молодыхъ женщинъ и дѣвокъ, дѣтей-подростковъ, убивалъ мужчинъ, оставлялъ на пепелищахъ только дѣтей грудныхъ да старыхъ людей, потому имъ и безъ того помирать приходилось, безпомощнымъ, брошеннымъ.

Случалось, что такая грозная кара вынуждала другіе аулы оказать возставшимъ невольное, вынужденное сочувствіе; какъ снѣгъ на голову, налетали на нихъ тогда русскіе отряды, появлялись уральцы, враги ихъ заклятые, и мстили за измѣну по своему.

Жизнь въ подобныхъ аулахъ, между двухъ огней, подъ страхомъ ежеминутной возможности появленія то вольницы Аблая-Кениссары, то уральскихъ казаковъ, стала невыносима.

Нѣсколько такихъ-то вотъ злополучныхъ ауловъ, изъ тѣхъ, что сидѣли въ «Барсукахъ», близъ моря Аральскаго, воспользовались тѣмъ, что суровая зима сковала льдомъ морскія воды, забрали съ собою все добро уцѣлѣвшее, запаслись на годъ, чѣмъ могли, и перекочевали по льду на одинъ изъ среднихъ острововъ.

«Вотъ,—думали несчастные,—тепломъ весеннимъ повѣетъ, вскроются воды, не переплыть къ намъ тогда ни русскому, ни аблаевцу. Пройдетъ покойное лѣто, а тѣмъ временемъ и дѣла перемѣнятся, кто-нибудь да возьметъ-же верхъ, будемъ тогда знать и мы, чьей стороны держаться. Минуетъ гнѣвъ Аллаха, а тамъ опять подойдетъ зима, перекинетъ имъ мостъ ледяной

съ острова на матерую землю, и переберутся они назадъ, по льду-же, въ свои кочевья насиженныя».

И жестоко-же пришлось бѣднякамъ ошибиться въ разсчетахъ своихъ этихъ.

Точно, прошелъ годъ, и въ степяхъ дѣла перемѣнились, точно, зима наступила, только не такая холодная, какъ прошедшая. Гнилая погода все время стояла, дожди лили, не переставая, были и морозы, только маленькіе, и не замерзло море Аральское.

И пришлось тутъ перекочевавшимъ ауламъ второй годъ провести на островѣ.

Не прошло и половины этого второго срока, обратился островъ въ одно сплошное кладбище; только на кладбищѣ этомъ валялись тѣла неубранныя: хоронить было некому. Со всѣми покончилъ голодъ мучительный, вѣтромъ кибитки разметало опустѣлыя. Островъ-кладбище имя получилъ свое собственное, а прежде безымяннымъ считался.

Назвали этотъ островъ «Барса - Кельмесъ», а слово это значитъ: «Туда пойдешь, назадъ живой не воротишься».

XXIII. На каикѣ.

Вотъ уже третьи сутки проходятъ, какъ Степанъ съ товарищемъ своимъ нежданнымъ, судьбою, знать, посланнымъ, отъ Косъ-Арала отчалили.

Вѣтерокъ ровный дулъ такой, легонькій, «добрый джиль», какъ говорилъ корнаухій. Ину пору совсѣмъ, почитай, стихалъ, чуть-чуть полоскалось косое полотнище незатѣйливаго паруса, а то и посильнѣй гнать принимался, особенно когда солнце вставать начинало, воздухъ морской разогрѣвался немного.

— Пѣшій человѣкъ въ день того не пропретъ, что мы теперь въ одно утро отмѣриваемъ. Пойдетъ все такъ, на шестой день сладкую воду увидимъ!—шамкалъ дѣдко-кормчій и все-то впередъ приглядывался.

— «Аму» рѣка, значитъ, вода-то энта сладкая?..—спрашивалъ Степанъ;—Земля за ней хивинская?..

— Аму далеко... Аму знаю... Нѣтъ, Аму далеко... Улькунъ пойдетъ теперь. Талдыкъ-Дарья—злая вода, ее трухменъ, «человѣкъ-воръ» лакаетъ. А Улькунъ каракалпака поитъ! — бор-

мочетъ дѣдко. Ничего только изъ его бормотанья не понимаетъ Степанъ.

Только и знатья у него, по наслышкѣ, что Аму-рѣка да земля хивинская. Только и думы у него, что про сторону эту. Засѣли у него въ головѣ слова дяди Василія, и все-то время голосъ его слышится.

— Увезли, братецъ ты мой, ее въ земли хивинскія, только моего дѣла тутъ не было!—говорилъ Мутило, а самъ на него не глядѣлъ, а эдакъ въ сторону, все въ сторону косился.—Не на худую жизнь, не въ неволю какую увезли. Хоша и силкомъ, точно, только ей-же опосля лучше будетъ, и ты въ томъ не сумлѣвайся. Къ нелюбимому мужу попривыкнетъ, можетъ, пожалуй, и слюбится. Видалъ, чай, Салтыка Аблаевича? На такого парня какая дѣвка не позарится! Такъ-то, братъ. А меня ты не вини во всемъ эфтомъ, потому я хоша и знаю все, какъ было доподлинно, такъ это я все послѣ, въ степи узналъ, а не то, чтобы самъ такими дѣлами орудовалъ!

И засѣли-же у Степана крѣпко слова эти, осторожныя тоже, пуще всего, какъ объ Салтыкѣ Аблаевичѣ, о мужѣ насильномъ, нелюбимомъ. Какъ померещится передъ глазами Степановыми красавецъ этотъ писанный, чумазый такой, зубы бѣлые, глаза, что уголья, такъ и заскребетъ у него на сердцѣ, на части словно рвать начнетъ, во рту горечью все свяжетъ, на глаза слезы навертываются.

— Облапилъ это онъ ее, силкомъ цѣлуетъ. Она эта отбивается. Гдѣ ей супротивъ такого отбиться!

Мечется инда парень въ лодкѣ, застонетъ подчасъ. Окликнетъ его тутъ дѣдко съ кормы, онъ и опомнится.

Зачерпнетъ ковшемъ воды сейчасъ изъ-за борта, польетъ на голову, по лицу размажетъ. Свѣжо такъ вѣтеркомъ обвѣетъ его. Дышать инда легче станетъ.

— Сомлѣлъ, небойсь?—подсмѣивается корнаухій.—Это тебя солнце бьетъ. Оно злое, солнце-то, какъ ударитъ подчасъ, и живъ не останешься. Ѣхалъ разъ Курбанъ-Ходжа, старикъ дюжій, меня пѣшкомъ гналъ да ногой въ спину толкалъ. Снялъ чалму «на, говоритъ,—держи!». Самъ тюбетейку снялъ тоже, голова, ровно колѣно, голая, онъ ее скребетъ лапою, чешется. Гляжу — нѣтъ Курбанъ-Ходжа; лошадь бьетъ, одна по степи бѣжитъ. «Ты, говорятъ, собака русская, Ходжа убилъ? Зачѣмъ

убилъ?» А развѣ я? За меня солнышко заступилось. Ходжа человѣка бѣднаго обидѣлъ, ногою билъ, его солнышко за это до смерти зашибло. Ты, Степка, не снимай шапки, слышишь, ты, бала, «солнце на небѣ—шапка на головѣ, солнце за землю—шапка подъ голову»!

А Степка и не слышитъ путемъ дѣдкиныхъ розсказней: только-только оправиться успѣлъ, духъ перевести, а ужъ ему опять, ни вѣсть что, мерещится.

Затуманило края неба сизою мглою, ровная зыбь вокругъ колышется, бѣгутъ по небу облачка маленькія, какъ снѣгъ, бѣлыя, и ничего больше не видно кругомъ, кромѣ мглы, да зыби, да облачковъ этихъ клочковатыхъ. Тихо такъ кругомъ, и птица-то вся, ни вѣсть куда, пропала, давно уже ни одного крыла серебристаго не мелькнуло въ вышинѣ, не прочертило надъ морскою поверхностью.

Не на что смотрѣть, не объ чемъ стороннемъ задуматься, а какъ засѣла въ голову дума какая, нечѣмъ ея оттуда вышибить.

Сколько разъ уже Степанъ-Малышъ воду около лодки пробовалъ: зачерпнетъ горстью, прихлебнетъ и выплюнетъ. Горько-то какъ да солоно, проглотить просто невозможно. «На шестой день сладкую воду увидимъ», думаетъ парень, дѣдкины слова припоминаючи. А можетъ, и раньше, вишь, ты, мы какъ скоро полземъ, инда подъ носомъ у насъ пѣнится. Волну какъ рѣжетъ здорово!

Невдомекъ Степану, что прѣсную воду глазомъ отличить легко. А дѣдко ругается, думаетъ, что парень ротъ промачиваетъ для свѣжести. «Кой, не замай,—говоритъ, — отъ этой воды еще тошнѣй сдѣлается, не трогай!..

Захватилъ съ собою Степанъ сыръ-дарьинской водицы боченокъ, ведра полтора, не болѣе, уложилъ его на самое днище и прикрылъ отъ солнца кошемкою. А все сохнетъ шибко да нагрѣвается. Пьетъ Степанъ немного, два ковшика въ сутки, не болѣе, дѣдко — тотъ уже совсѣмъ самую малость, а тряхнули разъ боченокъ, такъ забулькалъ, сердечный, что по слуху знать можно: куда больше половины израсходовали.

Сухарей тоже немного осталось, дня на два хватитъ, пожалуй, не болѣе.

Совсѣмъ зря Степанъ насчетъ запасу дорожнаго распоря-

дился. Да и не думалось ему объ этомъ, какъ слѣдуетъ; если и захватилъ что, такъ-такъ только, благо подъ руками находилось. Опять-же на одно брюхо разсчитывалось, а тутъ вотъ и другое выискалось.

Спохватилось-было послѣ, почесали за ушами, да ничего не подѣлаешь. Много больно ушли, назадъ не ворочаться.

— Авось не пропадемъ съ голодухи. Дорогою что перехватимъ!—рѣшилъ Степанъ.

— А Господь-то на что?—сказалъ резонно такъ дѣдко.— Онъ вѣдь все больше за вольнымъ, путевымъ человѣкомъ приглядываетъ, когда нужно — пошлетъ. Здѣсь нѣшто запасаютъ что? Такъ, по пути перехватываетъ!

Вчера вонъ что-то бѣлое впереди запримѣтили. Плеснетъ гребешкомъ пѣнистымъ, вскинетъ его наружу, блеснетъ на солнцѣ — пузырь не пузырь, а что-то раздутое, да и пропадетъ; а тамъ опять вскинется, опять его замѣтно съ лодки. Только что это такое? Разглядѣть никакъ невозможно. Видно только, что не живое, потому не по своей волѣ всплываетъ, а вслѣдъ за волною колышется.

— Помилуй Богъ, утопленникъ, можетъ, какой? — подумалъ-было Степанъ, креститься началъ.

— Шипъ-рыба,—прищурился дѣдко.—Плыветъ къ верху брюхомъ, колѣлый, значитъ. Вишь, «бала», Богъ намъ на снѣдь его подалъ, коли только не больно попортился!

Сталъ онъ тутъ лопатою съ кормы надерживать. Чуть-чуть влѣво потрафилъ. Ближе подошли—и точно осетеръ плыветъ. Въ боку пробоина, жабры разворочены, должно быть, на крюкахъ побывалъ, да ловокъ, шельма, сорвался. Ушелъ-то онъ въ море живымъ, да потомъ ранъ своихъ не перенесъ, подохъ и плаваетъ теперь къ верху брюхомъ, солнцемъ это его раздуваетъ, распариваетъ.

Подцѣпили багромъ, выволокли. Вонища такая понесла, назадъ поскорѣе кинули.

— Похуже попадалось что, да не бросали, — говоритъ дѣдко.—Всяко бывало. Разъ выбросило это насъ на Бузыль-камень. Четверо сутокъ, не ѣмши, были, трое сутокъ, не пимши. Ну, такъ...

Остановился корнаухій, задумался, махнулъ рукою, да и не сталъ больше про свой Бузыль-камень разсказывать. Не

время, значитъ, про такія дѣла вспоминать, бѣду на себя накликать, потому и сами теперь подъ Богомъ сидятъ. Оборони Господь, плохой «джиль» разыграется, выкинетъ ихъ на такое мѣсто, что почище Бузыля-камня окажется.

Сегодня, подъ вечеръ уже, только-что солнышко спряталось, насыпалъ Степанъ сухарей изъ мѣшка въ ковшикъ, сталъ боченокъ доставать. Что за диковина! Легокъ больно показался!

«Ужъ не ты-ли, дѣдко, вылокалъ все, пока я дремалъ въ полдень?»—подумалъ-было парень.

Вскинулъ онъ глаза на кормщика, тотъ ничего, держитъ-знай свой руль-лопатку, скорчился на кормѣ калачикомъ, молчитъ старый.

Сталъ тутъ Степанъ лить изъ боченка. Чуть-чуть только мутная стуйка сочится. Полковшика набѣжало, а тутъ и полно, только грязь одна капаетъ. Всколыхнулъ—даже и не болтается.

Припахиваетъ тоже вода эта послѣдняя. Нагрѣлись сухари, затвердѣли, какъ камни, сразу всосали все, что нацѣжено было, сами чуть только разбухли.

«Воля Божья!»—подумалъ тутъ Степанъ-Малышъ, поѣлъ малость, корнаухому передалъ.

— На, старый, поужинай. Это вотъ, другъ ты мой, послѣдочки. Сухого-то еще хватитъ, а безъ воды теперича мы вовсе остались!

— «Вода—жизнь, нѣтъ воды—смерть»,—не глядя на него, пробормоталъ дѣдко и запустилъ пальцы въ посудину.

Къ слову больше пришлась поговорка эта. Голова не знала, что языкъ выворотилъ. Плохую утѣху довелось Степану впервой отъ дѣдки услышать.

Только не думалось Степану, что помереть ему прежде придется, чѣмъ увидитъ онъ землю хивинскую... Какъ сказалъ эти слова нехорошія дѣдко, такъ никакого страху парень не почувствовалъ, словно напередъ зналъ, что придутъ они сейчасъ на такое мѣсто, что черпай за бортомъ ковшикомъ да прихлебывай на доброе здоровье: никакого запасу больше не потребуется.

Да и дѣдко тоже не унывалъ; какъ дососалъ послѣдніе сухари смоченные, ковшикъ ополоснулъ на-чисто и на свое мѣсто положилъ его. Потомъ за лопату принялся.

Многаго натерпѣлся старый на своемъ вѣку, много бѣдъ лихихъ перенесъ. Всякая нужда ему не въ диковину. Да, можетъ, и смерть его не пугала совсѣмъ, можетъ, и ждалъ то онъ ее давно, какъ гостью желанную... Тошна ему эта смерть казалась на мягкой кошмѣ да въ холѣ, межъ людей, въ жиломъ мѣстѣ... А на волѣ, одному, безъ уходу надоѣдливаго, безъ глазу посторонняго, вольная смерть вольному человѣку, что за бѣда! Все одно, помирать надо-же когда-нибудь. Ишь, вѣдь, и счетъ-то годамъ своимъ онъ потерялъ. Чего-же тутъ ему послѣдними каплями воды кручиниться!

. . . . . .

Быстро темнѣло такъ на морѣ; почернѣли воды изумрудныя. Стала зыбь морская оглаживаться. Затихъ совсѣмъ вѣтерокъ, тряпьемъ рванымъ повисъ ихъ парусъ; безъ движенія, словно на якорь мертвый, стала ихъ лодка.

Туману нѣтъ что-то, не то, что прошлую ночь; далеко видно, а мутно съ краевъ неба, только наверху, надъ головою самою, звѣздочки искрятся. Ко сну клонить шибко начало.

XXIV. «Злое море всколыхнулося».

И нѣтъ никакого сладу съ одолѣвающею ихъ дремотою.

Дѣдко носомъ клюнулъ, пальцы у него, знать, тоже ослабѣли, разжались, лопата выскользнула. Чуть бѣда не вышла большая, да Степанъ, спасибо, доглядѣлъ, багромъ успѣлъ ее выловить.

Только-только переползъ парень на свое мѣсто, такъ и валитъ его на дно лодки. Глаза совсѣмъ служить отказываются, отяжелѣли вѣки, словно клеемъ рѣсницы вымазаны, такъ вотъ и слипаются.

Лѣнь такая во всемъ тѣлѣ, ногою-рукою пошевелить не хочется. Не спитъ еще Степанъ, держится, а въ открытыя очи уже сны лѣзутъ несвязные, и не разберешь что; такъ, какая-то путаница.

«Притомились, что-ли очень?—думаетъ парень;—Что за диковина! Никогда прежде такъ не было!

И крѣпко-крѣпко держится онъ за края лодки, обѣими руками уцѣпился. Кажется, выпусти только, такъ вотъ пластомъ и свалится на днище, благо камышемъ тамъ мягко такъ настлано.

И вода то заснула никакъ, обступила кругомъ тихая такая, тяжелая. Просто поле гладкое, свинцовое легло вокругъ лодки; ступи ногой—не провалишься.

Захрипѣло что-то, носомъ присвистнуло. Глядитъ Степанъ, а корнаухій готовъ ужъ. Висятъ у него руки, какъ плети, ноги вытянуты, голова на грудь свисла, чуть-чуть брюхо поднимается, значитъ, дышетъ еще, спитъ, старый, не совсѣмъ померъ.

Вотъ веревочный конецъ за бортъ свѣсился, за лодкою тянется; хотѣлъ было его убрать Степанъ, потянулъ, а силы уже нѣтъ настоящей; тяжелъ-ли арканъ волосяной, въ палецъ, не больше, а еле-еле его назадъ вытянулъ.

«Эхъ,—думаетъ Малышъ,—что за бѣда; вишь, ты, благодать какая; коли что случится—проснемся, чай, либо я, либо дѣдко. Ничего, что-же, сонъ первое дѣло; а ну-ко, аль потерпѣть?.. Э-хъ!..

Зѣвнулъ онъ тутъ такъ, что чуть челюстей не вывихнулъ, думалъ прислониться спиною къ чему-нибудь, да совсѣмъ назадъ запрокинулся; а встать-то больше не хочется — силы нѣтъ просто.

Не видать воды изъ-за бортовъ, только небо одно передъ глазами; искрится все это небо, звѣздочки это на немъ заскакали, запрыгали, такъ вотъ и снуютъ, перекрещиваются падать начали, пропадать одна за другою...

«Всемогущій Боже...» началъ было Степанъ, по обычаю, молитву на сонъ грядущій, да и не докончилъ. Языкъ, ни вѣсть что, замололъ, запуталъ, да и пересталъ вовсе ворочаться...

Бредетъ Степанъ-Малышъ по степи, одинъ-одинешенекъ.

Притомился совсѣмъ, бѣдняга, ноги просто подкашиваются. Во рту все пересохло, языкъ словно лубяной сталъ, жесткій такой, въ очахъ жаръ стоитъ, кровь прилила, значитъ, въ голову, и все, что ни видитъ онъ, все ему красное, словно въ заревѣ пожарномъ, кажется.

И чудная-же степь эта вокругъ него: каменистая, закопченая, ну, совсѣмъ полъ печной; эвона даже кирпичами выложена; зола перегорѣлая въ щеляхъ засѣла да въ трещинахъ, а вонъ и головешки виднѣются обугленныя. Да и небо-то

сверху да съ боковъ совсѣмъ сводомъ каменнымъ спускается. Не то дымъ, не то тучи сизыя подъ сводомъ этимъ сгустились. Впереди стѣна черная стоитъ, въ самое, то-есть, небо упирается, какъ есть—заслонка.

И близко-то ему эта стѣна-заслонка кажется, вотъ-вотъ рукою дотронуться можно будетъ; далеко только она на самомъ дѣлѣ выходитъ. Сколько уже времени Степанъ шагаетъ въ ту сторону, а все не дошагается.

«За тою стѣною самою воздухъ вольный, надо полагать,— думается путнику; — коли-бы отодвинулъ кто ее маленько, нашлась бы душа такая добрая, все-бы вольнѣе дышать было-бы; а то, вишь ты, духота какая—помереть можно... Испить-бы чего-нибудь, хоть-бы лужица какая попалась дорогой, да, чай, выжжено все... Сухо!.. Эхъ, хоть-бы капелечку!.. Чу-кось!..»

— Вернись, Степка! — кричитъ сзади дядя Василій, самого не видать совсѣмъ въ потемкахъ. — Вернись, дурачекъ! Я те бадью квасу приготовилъ, со льдомъ да съ мятою. Вернись скорѣе!.. Нако-ся ковшичекъ...

Остановился сразу Степанъ, какъ услыхалъ про пойло... Пуще его жажда разбирать стала—терпѣть больше силы никакой нѣту, обезволился...

— Гляди! Поспѣшай! А то все безъ тебя ребята косъ-аральскіе выпьютъ... Ужъ и то немного осталось!—кричитъ опять Василій Іонычъ.—Опоздаешь—дно лизать будешь, какъ въ боченкѣ своемъ запасномъ!

— Близко, знать, гдѣ-то,—обрадовался Степка.—Оставятъ, чай, тоже, ишь, ты, жадные!

Слышно ему, какъ квасокъ этотъ ледяной въ жестяной ковшъ наливается, слышно даже, какъ сосутъ его губы жадныя, другъ у дружки рвутъ, захлебываются...

Шарахнулся назадъ парень, бѣгомъ пустился. Чу-кось! Другой голосъ слышится, томный такой, жалостливый...

Сердце у Степана встрепенулось отъ этого голоса новаго... Дрожь пронимать начала...

— Степа, Степа!—чуть слышно говоритъ,—не говоритъ, а стонетъ будто Марина Денисьевна.—Я тутъ, Степа! Сюда иди! Немного не дошелъ, чего вернулся, голубчикъ...

Несется этотъ голосъ съ той стороны самой, гдѣ стѣна

черная поднимается, а стѣна эта ужъ не стѣною больше кажется—каменная гора лежитъ какая-то... Приглядѣлся—что за чортъ! На человѣка будто похожа... Ишь, ты, вонъ и плечи видны широкія, голова вонъ торчитъ, на-голо выбритая... А на головѣ той, дремучимъ лѣсомъ, шапка баранья нахлобучена. Протянула ноги гора-человѣкъ, такъ съ того краю, гдѣ солнце садится, вплоть до того, гдѣ поднимается, доходятъ...

Лежитъ, словно дремлетъ гора эта чудная, изъ-подъ нея-то и голосъ Марины слышится.

— Допиваютъ!—гаркаетъ сзади дядя Василій;—Эхъ, допиваютъ... Поспѣшай, глупый!..

— Я здѣсь, Степа... Здѣсь...—Все яснѣй да яснѣй изъ-подъ горы слышится...

Брюхо Степаново назадъ пятится, сердце впередъ тянуть норовитъ. Разорвался-бы парень на двое, да одна сторона пересилила.

Поспѣшаетъ Степанъ на голосъ Марины, сапоги тяжелые поскидалъ, кафтанишко бросилъ... Дуетъ босой, въ одной рубахѣ да въ портахъ... Откуда и сила взялась, ни вѣсть куда, и жажда лютая сгинула...

А ноги его не достаютъ теперь до земли, такъ только, по воздуху перебираютъ, для примѣра больше.

Двѣ другія ноги бѣгутъ за нимъ, кривыя такія, высохшія... На клюку опираются.

— Дѣдко, ты, что-ли, это?

— Сиди крѣпче—довезу!—хрипитъ корнаухій.—Вишь, ты, гора впереди, это самый Бузыль-камень и есть; не расшибиться-бы намъ объ него только... Повали «джиль-данъ», багромъ отпихивайся...

«Салтыкъ, а не Бузыль, обмолвился дѣдко,—думаетъ Степанъ.—Вишь ты, онъ самый, дьяволъ! Глазищами своими какъ ворочаетъ... Онъ самый! Пусти, чортъ! Проходи, сатана... Отдай, брось!..»

Добѣжалъ Малышъ, крѣпко уцѣпился за своего недруга заклятаго... Зубами его рветъ, ногтями царапаетъ... Эхъ, жаль, до глазъ не дотянется...

Смѣется только Салтыкъ Аблаевичъ... Долго терпѣлъ, а потомъ поднялъ руку свою лѣвую и легонько, словно нехотя, наложилъ ее на парня сердитаго...

Крѣпко подавила рука эта тяжелая, знать, и впрямь каменная, горою на бѣднягу обрушилась... Давитъ она его, душитъ, ребра инда трещатъ, спинной хребетъ выгибается. Ни пошевелиться невозможно Степану, ни духъ перевести, не то что бороться съ этою окаянною силою могучею...

А тутъ все яснѣй и яснѣй голосъ Марининъ слышится... Вотъ-вотъ тутъ она, близко находится... Рванись только посильнѣй, голову хоть приподними, глазами увидишь.

И рванулся-же Степанъ-Малышъ, да такъ, что чуть-чуть каикъ свой не опрокинулъ, за бортъ не вывалился, такъ-то его во снѣ метнуло.

Открылъ Степанъ глаза отяжелѣвшіе, приподнялся, за борты ухватившись, озирается...

Что за диковина? Свѣтать не свѣтаетъ, а по небу синеватый свѣтъ чудной разливается... Ни одной звѣздочки не видать, все затянуло сплошь туманомъ, а туманъ-то этотъ самый свѣтится... То потухать начнетъ, то опять разгорится, еще того ярче... Пятнами все пошло... Огоньки синіе надъ водою заскакали. А духота стоитъ какая! Испарина всю одежу смочила, хоть выжимай, такъ въ пору.

Сволокъ съ себя рубаху Степанъ, глядитъ: а дѣдко тоже проснулся, сидитъ совсѣмъ нагишемъ да все воду черпаетъ и голову свою поливаетъ. Какъ зачерпнетъ корнаухій воды, разойдутся круги отъ того мѣста по черной водѣ, словно обручи серебряные закружатся... Брызги изъ-подъ рукъ разлетаются, словно искорки свѣтлыя съ наковальни изъ-подъ молота. Покойна вода, черна какъ сукно стала; тронешь—какъ есть, разгорается...

Сѣрою несетъ шибко, горѣлымъ чѣмъ-то... А тишина-то какая, Господи! Степанъ вполголоса слово молвилъ—ровно изъ пушки кто выпалилъ; дѣдко ковшемъ за бортъ задѣлъ—чисто въ колоколъ звякнулъ.

— Что-же это такое только дѣется?—оробѣлъ Степанъ.— Господи помилуй! Съ нами сила крестная!

Глухой гулъ съ запада послышался... Будто много колесъ по мосту прокатились... Чаще огоньки въ туманѣ забѣгали, трескается что-то, словно лопается, пуще того сѣрою запахло...

— Коли не помремъ эту ночь, завтра живы будемъ!— бормочетъ дѣдко корнаухій.

— Нечистая сила!—встали дыбомъ волоса у Степана подъ шапкою.—Аминь, разсыпься!

Страшный такой сталъ дѣдко; рожу ему всю скривило, волосы жидкіе, щетинистые, на вискахъ засвѣтились, брови нависшія загорѣлись будто; по всему тряпью, одежѣ его, что около въ кучу сложена, синіе огни забѣгали...

И невдомекъ Степану, что и по немъ эти-же огни заскакали. Невдомекъ ему, что и дѣдко на него глядитъ, глаза выпуча...

А шумъ, грохотъ-то этотъ колесный, все ближе да ближе слышится. Дрогнула вся поверхность водная, приподнялась немного и опять опустилась, опять приподнялась чуть-чуть... Словно и ей, водѣ-то самой, дышать хочется, вонъ она и натуживается... Колыхнуло плавно ихъ челнокъ съ боку на бокъ... Еще разъ поддало... Совсѣмъ волна бить начинаетъ, а вѣтру нѣту, тишь... Огонь зажигай, такъ не колыхнется...

Вдругъ черезъ все небо, изъ конца въ конецъ, яркая, зубчатая молнія перерѣзала... Ослѣпило совсѣмъ Степана, только глаза успѣлъ закрыть руками.—Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!

Отроду не слышалъ мужикъ такого громового удара... Ударило коротко, безъ перекатовъ. Не успѣла глухота пройти отъ удара этого, какъ еще разъ ударило, еще разъ по тому-же мѣсту молнія зазмѣилась... Бѣлый гребень воды, пѣнистой такой, высокій, словно изъ-подъ лодки самой вынырнулъ, перекатился черезъ нихъ, обдалъ ихъ и дальше забурлилъ; а на смѣну ему новый валъ набѣгаетъ, еще того выше...

Вихрь налетѣлъ нежданно-негаданно, сорвалъ багоръ, вмѣсто мачты служившій, переломилъ его на-двое, накрылъ Степана упавшимъ парусомъ; выбраться хотѣлъ—не пускаетъ что-то, веревка какая-то ноги опутала.

А тутъ опять волна набѣжала... Захлебнулся парень соленою водою, смыло съ него парусину... Ухватился онъ, за что попало, обѣими руками, крѣпко держится...

— Дѣдко, живъ-ли?—кричитъ.

Вѣтромъ крикъ у него словно у самаго рта обрываетъ. Нѣтъ отвѣта на окликъ.

Несетъ каикъ шибко куда-то, а куда? Господь его вѣдаетъ. Ни зги кругомъ не стало видно, только пѣна бѣлая впотьмахъ

вскидывается... Несетъ каикъ, вертитъ его, словно щепку, изъ стороны въ сторону швыряетъ... До самыхъ краевъ его водою залило, еще-бы немного—и ко дну идти неминуемо.

«Ну,—думаетъ Степанъ,—коли помирать Господь приказываетъ, да будетъ воля Его, значитъ... Прощай, Марина, прощайте, люди добрые... Прост...»

Опять его захлеснуло водою, опять онъ захлебнулся... Руки сами собою разнялись, каика больше подъ нимъ не чувствуется...

Подкинуло высоко Степана, на самый верхъ гребня вынесло и съ размаха обо что-то мягкое ударило... Опять оторвало его, опять ударило... Уцѣпился парень руками... Песокъ илистый въ пальцахъ остался.

«Ну, думаетъ, еще разъ коли дно трону, не сорвусь. Вишь ты, тутъ мелко!»

И не сорвался Степанъ, точно, потому какъ его еще разъ вскинуло, отбѣжала отъ него волна сама собою, на мокромъ пескѣ мужика оставила...

Реветъ море сзади, словно звѣрь остервенѣлый за упущенною добычею гонится... Хотѣлъ было бѣжать отъ него Степанъ, да силы ему измѣнили, совсѣмъ оставили... Поползъ онъ на четвереникахъ; острыя ракушки въ кровь колѣно ему порѣзали... Отъ соленой воды инда грудь ломитъ, мутитъ въ брюхѣ... Смерть приходитъ просто... А Степанъ знай ползетъ да ползетъ, дальше отъ воды да дальше, пока не подогнулись у него руки въ локтяхъ, пока не ткнулся онъ лицомъ въ землю, да и остался такъ, безъ всякаго уже движенія.

XXV. Очнулся.

Крѣпко спалъ Степанъ-Малышъ на мокромъ пескѣ, ничкомъ распластавшись.

Да и спалъ-ли онъ еще? Можетъ, такимъ сномъ уснулъ бѣдняга, отъ котораго нѣтъ и просыпу? Поглядѣть на него со стороны—ну, совсѣмъ утопленникъ, волною на мель выброшенный.

Посинѣло тѣло голое, избитое, клейкая, ползучая водоросль ноги оплела, перепутала, илъ съ пескомъ промежь пальцевъ набились... Ящерки крохотныя, желтенькія, — самая робкая тварь, чуткая ко всякому звуку легкому, — юркаютъ около, копошатся, у самаго тѣла бѣгаютъ, рѣзвятся; одна такъ даже

на затылокъ Степановъ взобралась, свернулась тамъ кольцомъ золотистымъ, другая къ ней промежъ лопатокъ ложбиною пробирается... Дохни только сонный, чуть-чуть шевельни ребрами, — такъ бы и прыснули гадинки эти безвредныя во всѣ стороны.

Птица хищная—баклашки да чайки-падальники, давно уже сверху на поживу зарятся, круги все вокругъ да около описываютъ; то вотъ-вотъ насядутъ, близко, надъ самымъ тѣломъ черкнутъ, то опять въ высь умчатся... Близко подлетаютъ, приняться только вплотную, какъ слѣдуетъ, не рѣшаются

А солнце давно уже изъ-за песчаной гряди наносной выглянуло, золотитъ гребень его волнистый, сверкаютъ на немъ острыя, серебристыя ракушки, косточки рыбьи, Богъ вѣсть, когда оголенныя; отъ круглыхъ камней валуновъ, отъ острыхъ скалистыхъ выступовъ вплоть до самаго моря длинныя тѣни протянулись.

Прочистило небо. Опрокинулось оно надъ моремъ, такое прозрачное, синее, безконечное; бѣгутъ по немъ кое-гдѣ только легкія облачка, какъ снѣгъ, бѣлыя. Плавно набѣгаетъ на берегъ волна морская, чуть-чуть только песокъ ополаскиваетъ, ласкаетъ ее словно своею пѣнистою оторочкою...

Тихо такъ, свѣжо въ воздухѣ, туманъ знойный, мглу разнесло. Далеко-далеко края синеватые пораздвинулись, изъ конца въ конецъ все какъ на ладони видно, словно и не далеко оно, а вотъ тутъ стоитъ передъ тобою, близехонько. Понатужься только, пройди впередъ маленько.

Всѣ страсти ночныя, всѣ ужасы могучей грозы ни вѣсть куда сгинули, и смѣнило бурную ночь тихое, ясное, благодатное утро.

А Степанъ все спалъ...

Выше и выше солнце поднимается, короче да короче тѣни становятся. Вотъ уже къ ногамъ Степановымъ подбираются, вотъ уже и пятки его на свѣтъ выглянули, вотъ уже и икры нагрѣваться стали, поперекъ всего тѣла словно поясомъ охватило; залоснилась спина мокрая, закраснѣлся затылокъ загорѣлый. Шевельнулъ вѣтерокъ волоса свѣтло-русые, быстро на солнцѣ просохшіе...

Все спитъ мужикъ, не просыпается...

Очнулся Степанъ-Малышъ только подъ вечеръ.

Дохнулъ посильнѣй, языкомъ поворотить хотѣлъ—не ворочается, что то склеило его, связало чѣмъ-то тягучимъ, илистымъ... Голову приподнялъ немного—отяжелѣла совсѣмъ, свинцомъ будто кто ее налилъ; въ ушахъ гулъ стоитъ, глаза глядѣть не хотятъ, сами собою слипаются; разломило всего, распарило... «Посплю еще съ часокъ,—думалъ парень;—что-же, мое дѣло не горитъ, терпитъ... Ну, и умаялся же я!»

Не сообразилъ Степанъ-Малышъ сразу-то, что съ нимъ, да гдѣ онъ. Кошма въ рыбачьемъ шалашѣ, на Косъ-Аралѣ, ему, знать, померещилась или полати теплыя, скамья избяная—мѣсто обычное... Память ему всю ночнымъ переполохомъ отшибло.

Сталъ онъ тутъ рукою шарить, полушубокъ потянуть на себя, знать, захотѣлъ. Что за диковина? Спина словно въ огнѣ горитъ, къ затылку будто кто желѣзо каленое прикладываетъ, а въ груди да брюхѣ морозъ стоитъ—на мокромъ пескѣ, что на ледникѣ, остыло,—невтерпежъ просто.

Поднялся Степанъ черезъ силу, сѣлъ. Самъ руками за землю хватается, чтобъ опять не запрокинуться. Озирается мужикъ вокругъ себѣ ошалѣлыми глазами, ворочается къ нему мало-по-малу память его отбитая.

— Не потонулъ, значитъ... выволокъ-таки на сухое мѣсто Микола милостивый!.. Таперича какъ же?..

Стала тутъ его рука сама собою затылокъ скрести. Эвона! Весь въ пузыряхъ. На плечахъ, на спинѣ какіе вонъ волдыри повскакали! Оттого и жжетъ такъ... Солнцемъ опалило, значитъ, пока лежалъ Степанъ въ своемъ забытьѣ на самомъ припекѣ.

На непокрытое тѣло, особенно мокрое, Боже оборони, сердито какъ лучи солнечные безпощадные дѣйствуютъ.

Какъ припомнилъ да сообразилъ все Степанъ-Малышъ — живо на ноги поднялся.

Куда теперь?..

Сначала его къ водѣ словно качнуло. Объ дѣдкѣ корнаухомъ вспомнилъ и о лодкѣ своей. Тутъ и они, должно быть; куда-жъ имъ дѣться? Коли его самого сюда выкинуло, надо полагать, и дѣдко тутъ же, по-близости...

Побрелъ Степанъ вдоль берега, голову внизъ нагнулъ, словно

землю подъ ногами разглядываетъ, самъ тоже согнулся, болитъ спина, нѣтъ силъ выпрямиться. Чуть-чуть переступаютъ слабыя ноги, колѣнки дрожатъ, сырой песокъ подъ ногами не вязнетъ хотя, а все словно цѣпляется, шагъ задерживаетъ... Рытвинку пришлось переходить тутъ неглубокую—еле-еле Степанъ изъ нея, ползкомъ уже, выбрался... Пройдетъ такъ мужикъ шаговъ съ десятокъ, сядетъ, посидитъ малость, духъ переведетъ, опять пойдетъ. То на воду посмотритъ изъ-подъ руки, то въ глубину береговъ приглядывается...

Тихо, безмолвно такъ на морѣ. Легкая зыбь чуть-чуть рябитъ его безконечную поверхность. Потухшее солнце, безъ лучей уже, краснымъ шаромъ, большимъ такимъ, въ воду спускается. Широкая искрящаяся дорога, золотистыми блестками вся усѣянная, черезъ все море, отъ солнца вплоть до берега, до самыхъ ногъ Степановыхъ протянулась. Чернѣетъ на ней что-то, и недалеко даже, рукою подать, — ужъ не каикъ-ли ихній? Нѣтъ, большой камень, гладко-на гладко отесанный, изъ подъ воды выглядываетъ; усѣяли его птицы морскія, сидятъ смирно, на ночлегъ, знать, сюда забрались... Нѣтъ, не лодка! А вотъ и еще что-то черное, косматое лежитъ у самой воды; вонъ пошевеливается никакъ, живое значитъ. Дѣдко, ты, что-ли?.. Нѣтъ. Сбились это въ кучу морскіе водоросли, пригнало ихъ къ борегу. Набѣгаетъ волна за волною, подталкиваетъ это гнилье, вотъ оно живымъ чѣмъ-то и кажется...

Глянулъ Степанъ въ другую сторону — еще тошнѣе ему стало. Уныло безотрадно длинная песчаная коса безъ конца тянулась. Матерой-ли это берегъ, островъ-ли какой — кто его вѣдаетъ!.. Припомнились тутъ Степану всѣ разсказни дѣдкины, самъ корнаухій, какъ живой, передъ его глазами грезится. «Вода—жизнь, безъ воды—смерть», такъ вотъ и лѣзетъ въ уши. А припомнилась эта вода проклятая, все нутро перевернуло...

Попробовалъ-было Степанъ глотнуть той, что у него подъ самыми ногами была,—сначала ничего, будто полегчало даже, а потомъ, — нѣтъ, съ души претъ подлая вода; чѣмъ это ее такъ испакостили? Забрелъ въ воду эту Степанъ по колѣна, потомъ еще дальше полѣзъ, присѣлъ это по шею, на голову полилъ руками — чудесно!.. Эхъ, кабы пить ее можно было...

Только пузыри на обожженныхъ мѣстахъ хуже прежняго

разболѣлись, разъѣло ихъ морскою солью, разбередило совсѣмъ, лопаться стали анафемскіе...

Бредетъ дальше да дальше Степанъ... А солнце совсѣмъ уже за воду спряталось, потухла дорога къ нему золотая, мелкая зыбь улеглась на водѣ. Звѣзды на небо высыпали, звѣзды эти и море все сплошь усѣяли; на небѣ звѣздочка какая-нибудь съ мѣста сорвется, черкнетъ серебряною ниткою и внизъ куда-то свалится; и на морѣ такая-же звѣздочка летитъ къ ней на встрѣчу, словно вынырнуть изъ воды хочетъ. Чу-кось! Голоса никакъ... Люди заговорили словно... Чу-кось!

Въ жаръ кинуло Степана, духъ у него занялся; прислушивается парень, замеръ совсѣмъ на мѣстѣ, не заговорятъ-ли еще... Тсъ!

Нѣтъ, ничего больше не слышно... Какіе здѣсь люди! Кому голоса подавать!.. Померещилось, знать, какъ нибудь... Только явственно что-то уже очень, совсѣмъ какъ-будто... Ишь!.. Опять... Владычица милостивая, царица небесная!..

Только откуда-же это голосъ слышится? Не то съ моря, по водѣ будто, низомъ доносится, не то совсѣмъ съ другой стороны, съ бугровъ тѣхъ вонъ... не разберешь совсѣмъ.

«Еще-бы голосъ подали—я-бы теперь разобралъ,—думаетъ Степанъ.—Я-бы за него во какъ ухватился-бы... я-бы...»

Да только какъ замеръ этотъ звукъ послѣдній, такъ и не повторялся болѣе... Съ часъ добрый стоялъ Степанъ, ничего-то онъ больше, кромѣ легкаго плеска у берега, не слышалъ...

«Что-же теперь, дальше идти, что-ли?—соображаетъ парень.—А ну, какъ я отъ *него* уходить стану?.. На мѣстѣ нѣшто стоять, дожидаться?.. А ну, какъ *онъ* отъ меня уйдетъ?..»

А ночь все темнѣе да темнѣе становится, звѣзды на небѣ все ярче да ярче разгораются. Сначала-то, пока заря вечерняя закатъ золотила, наверху скопились звѣздочки, надъ головою больше, а теперь вонъ уже и по низамъ пошли, у самаго края искриться начали. Вонъ одна какая большущая! Какъ фонарь красная, огнемъ горитъ просто. Это оттого, что внизу пока она; выше поднимется—побѣлѣетъ, поменьше казаться будетъ, какъ и тѣ всѣ прочія...

Приглядѣлся тоже Степанъ-Малышъ къ небу звѣздному, зналъ уже, какъ и что тамъ дѣлается...

Присѣлъ Степанъ на песокъ—спряталась эта звѣзда яркая,

заслонило ее темнымъ берегомъ, не видно. Посидѣлъ такъ онъ еще съ часъ времени. «Или нѣшто идти ужъ?»

Только на ноги мужикъ приподнялся—опять эта звѣзда въ глаза лѣзетъ; все на томъ же мѣстѣ стоитъ, только больше стала, разгорѣлась, словно, мерцаетъ такъ, вздрагиваетъ. Да полно, звѣзда-ли это?.. Можетъ...

Вонъ потухла, опять вспыхнула... огонь!.. Ей-же-Богу, огонь!.. Провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ самомъ!..

Зашагалъ-было Степанъ во всю свою мочь, какая только у него сбереглась, осталась. Прямо держалъ путь на ту точку огненную, что ему въ темнотѣ маячила...

А тутъ бѣда—въ гору пошло дѣло. Отъ берега подальше и песокъ посуше. Уходитъ ступня совсѣмъ по щиколотку; ступитъ шагъ впередъ, да на пол-шага назадъ осунется, съѣзжаетъ.

Двойная работа идти по такому мѣсту неудобному, а силъ у Степана и на хорошій, легкій путь не хватаетъ. Въ потъ бѣднягу ударило, пуще жажда одолѣвать стала, хрипота въ горлѣ, въ бокахъ колотье...

Отдохнуть, присѣсть-бы—страшно тоже. Только это опустишься, сейчасъ огонекъ этотъ изъ глазъ пропадаетъ. А что, если потомъ поднимешься, да и не увидишь его болѣе?

Идетъ Степанъ, работаетъ. Кажется ему, что даже ходко идетъ, такъ вотъ и отмѣриваетъ, только на дѣлѣ-то онъ чуть-чуть впередъ подвигается.

Оставляютъ бѣднягу его послѣднія силишки, опять мутитъ все въ головѣ начало, опять въ ушахъ загудѣлъ звонъ—знакомый уже, нехорошій—опять передъ глазами воспаленными уже не одинъ огонь—звѣзда путеводная, а цѣлые рои искръ огненныхъ запрыгали...

XXVI. Токмакъ-Ата.

«Изъ прѣсной воды въ соленую», прямо изъ широкаго устья «Улькунъ-Дарьи» (великой рѣки), самаго большого изъ рукавовъ-притоковъ аму-дарьинскихъ, въ открытое море вышли двѣ лодки.

Тихо идутъ каики, лѣниво весла работаютъ, больше на теченье полагаются гребцы лѣнивые. Съ утра рапняго изъ-за

камышей вышли, гдѣ ураганъ ночной пережидали, а вонъ и до сихъ поръ зеленая полоска зарослей прибрежныхъ за кормою виднѣется; немного, значитъ, отъѣхали.

Впереди, какъ на носъ каика взберешься, водораздѣлъ видѣнъ двухцвѣтный—полоса, гдѣ прѣсная вода въ соленую входитъ... Крѣпка тоже вода морская, свѣтлая, синяя, неохотно съ грязною водою рукавовъ мѣшается. Не то что, какъ теперь, въ тихую погоду, а и въ волну бурную водораздѣлъ этотъ издалека видѣть можно—пѣною густою онъ тогда на волнахъ обозначается...

Лѣвѣй немного этого водораздѣла желтая отмель, длинная такая, виднѣлась; за отмелью ужо морская вода полосою синѣла; тамъ опять земля какая-то видна была, словно облачко сѣроватое въ нитку растянулось надъ водою. Вправо мелкія отмели вдоль береговъ цѣпью высыпали, которыя совсѣмъ голыя, чуть-чуть изъ-подъ воды просвѣчиваютъ, которыя уже порости успѣли зеленою осокою. Усѣяны отмели эти всякою птицею водяною, стонъ стоитъ надъ моремъ отъ голосовъ птичьихъ, за версту плескъ по водѣ отъ крыльевъ слышится.

Не пошли каики на водораздѣлъ, знать, не въ море имъ дорога, влѣво свернули и длинную косу огибаютъ. На одномъ парусъ было-поставили трехугольный, изъ циновокъ камышевыхъ связанный, да опять его прочь убрали—тихо, безвѣтріе, никакой пользы нѣтъ отъ этого паруса, развѣ что только тѣнь даетъ на лодку, отъ солнца закрываетъ; да народъ въ каикахъ сидитъ такой, что отъ жару не прячется, привычный тоже.

И каики эти совсѣмъ особенные, а люди на нихъ такіе, что по Сыру-рѣкѣ, въ нашихъ мѣстахъ, совсѣмъ невиданные. Борты у лодокъ къ серединѣ низкіе, на пол-аршина до воды не достаютъ только, а къ кормѣ и къ носу высоко вверхъ вздернуты, съ обоихъ концовъ толстые брусья врублены, оболванены, закруглены шишками и въ красную краску окрашены; вдоль бортовъ пучки камыша навязаны. Поперекъ эти каики тремя толстыми-же бусьями связаны, на четыре части каждую лодку брусья эти перегораживаютъ; въ задней части глиняная печь устроена, котелъ въ нее вмазанъ для варки; надъ средними частями полога холщевые отъ комаровъ прилажены; на день ихъ сворачиваютъ, а къ вечеру на тонкихъ жердяхъ растягиваютъ; къ передней перекладинѣ, замѣсто мачты, обру-

бокъ короткій привязанъ, съ развилкою наверху, а то просто съ зарубкою, чтобы веревка не соскальзывала.

По мелкому мѣсту идутъ каики, на бортахъ по два человѣка съ шестами стоятъ; упрутся въ дно песчаное шестами, поналягутъ на нихъ да и бѣгутъ такъ по бортамъ вплоть до кормы самой; разгонятъ эдакимъ-то манеромъ лодку, берутъ шесты и опять пойдутъ на носъ повторять ту-же самую работу.

Люди въ лодкахъ все горбоносые, бороды длинныя, кудреватыя, какъ смоль черныя, тѣломъ смуглы, словно кожа у нихъ дубленая, а то и такіе есть, что совсѣмъ, почитай, черные, зеленью даже отъ нихъ на солнцѣ отсвѣчиваетъ. Кто въ большихъ шапкахъ бараньихъ, кто въ колпакахъ высокихъ цвѣтныхъ. На которомъ изъ нихъ рубаха надѣта долгополая, кто въ халатишкѣ рваномъ, стеганомъ, по темнокрасному полю полоски узенькія черныя, а кто совсѣмъ голый, штаны только надѣты на немъ коротенькіе, на четверть цѣлую до колѣнъ не хватаютъ.

На переднемъ каикѣ ребятъ двое есть, мальчишки оба, тѣ даже и безъ штановъ, совсѣмъ нагишемъ, черти-чертями сидятъ на бортахъ, ноги въ воду свѣсивши, а то купаться начнутъ. Ныряютъ вокругъ каика, плещутся; взлѣзутъ опять на борта, отряхнутся, какъ собаки, попросохнутъ и опять летятъ въ воду кувыркомъ. Помѣшаютъ гребцу которому, подвернутся подъ шлепокъ весломъ—ничего, не ревутъ, не обижаются, почесываются только да зубы скалятъ свои бѣлые, здоровые.

Есть и такой одинъ на переднемъ каикѣ, что поверхъ шапки бараньей бѣлое полотенце наворочено, а халатъ на немъ зеленый былъ смолоду, изъ полушелковой матеріи. Борода у того сѣдая, длинная, на одномъ глазу бѣльмо съ горошину; въ рукахъ палка съ желѣзнымъ заостреннымъ наконечникомъ. Это мулла у нихъ, лицо духовное. Сидитъ онъ степенно, ни на кого не смотритъ, на воду глазами уставился и молитву бормочетъ.

Къ полудню огонь развели въ печкахъ, дымъ такой потянулся за лодками, что твои пароходы издали. Сало сомовье въ котелкахъ заскворчало, за стряпню принялись лодочники.

А тутъ и отмель-косу обогнули совсѣмъ, изъ прѣсной воды,

почитай, уже выбрались, ближе къ землѣ той подходить стали, что прежде облачкомъ только казалась. Много виднѣе теперь земля эта стала.

Вонъ островъ этотъ повыше будто къ одному краю, желтый обрывъ въ воду спускается, рѣзкими тѣнями залегли на немъ глубокія трещины-водомоины. На самомъ гребнѣ обрыва не то куча какая-то сложена, не то стройка виднѣется. Прямо на нее теперь оба каика путь свой держали.

«Давно это было *).

«Пришла бѣда на весь народъ кара-калпакскій, что сидѣлъ по рѣкамъ и озерамъ низовымъ аму-дарьинскимъ, отъ степныхъ береговъ, отъ тюркмена, злого человѣка, прятался. На водѣ жилъ, водою только и прокармливался.

«Рыболовный народъ это былъ, а рыбы всякой много въ водахъ водилось, только знай, запускай свои снаряды немудреные, да выбирай, что тебѣ милостью Аллаха великаго и пророковъ его святыхъ послано.

«Безъ нужды жилъ народъ, печалей не зналъ никакихъ, оттого больше и Бога забылъ, молиться пересталъ. Думалъ только, какъ-бы брюхо набить поплотнѣе да выспаться покрѣпче. Зазнался, значитъ.

«И послалъ имъ Аллахъ за то великое испытаніе.

«Послалъ онъ въ воды своихъ ангеловъ и велѣлъ имъ отогнать къ верховьямъ да въ море глубокое всю рыбину, что на низахъ водилась, и запретитъ ей впередъ въ эти стороны заглядывать.

«Исполнили ангелы велѣніе Аллаха разгнѣваннаго — опустѣли, словно вымерли разомъ воды всѣ кара-калпакскія. Обезрыбѣли рѣки глубокія, озера разливныя, широкія.

«Опечалился народъ наказанный; сперва, пока запасы коекакіе были не съѣдены, мало унывали, а послѣ видятъ—плохое совсѣмъ дѣло; шибко всѣ пріуныли. Смятеніе пошло по ауламъ, плачъ и стенаніе.

«Да и какъ не печалиться, какъ не плакать, когда видятъ, что ничего въ сѣти, кромѣ травы подонной, не попа-

---

*) Переводъ одной изъ легендъ народныхъ, записанныхъ мною во время послѣдняго путешествія моего на Аму-Дарью въ составѣ ученой экспедиціи для изученія дельты. *Прим. автора.*

дается, въ загороди ихъ да въ забойки ничего не заглядываетъ.

«Взялъ тутъ Голодъ, старикъ злой, безпощадный, свой «псякъ» (ножъ) наостренный, пошелъ гулять по становищамъ да народъ въ нихъ вырѣзывать. По три души изъ каждаго десятка сразу выхватилъ.

«Вспомнилъ народъ Аллаха забытаго. Съ утра и до ночи молиться стали, намазъ за намазомъ творили, съ колѣнъ не вставали просто, гнойныя раны на колѣняхъ натерли, лица, груди ногтями истерзали. Муллу одного до смерти забили камнями за то, что молиться за народъ не хотѣлъ, требовалъ за каждую молитву по головѣ рыбьей, а взять-то этой платы было не откуда.

«Ну, и смилостивился Аллахъ, наконецъ. «Цай-ко, — думаетъ,—попытаю я, вполнѣ-ли они раскаялись».

«Пришли на розливъ, гдѣ «Улькунъ» съ «Кечкене» воды свои о песчаный наносъ раздваиваютъ, два рода кара-калпакскихъ, «чимбайцы» и «озерные», поставили загородь поперекъ всей рѣки, камышемъ загородили ее. Съ ночи поставили, до утра выждали, а тамъ обирать начали.

«Пусто въ снастяхъ, ничего нѣтъ, только семь змѣй желтыхъ попались и покусали рыбаковъ, когда тѣ въ воду съ лодокъ полѣзли.

«Еще разъ закинули, еще одну ночь ждать стали. Опять къ утру то-же самое. Только вмѣсто змѣй семь жабъ вытащили крупныхъ, спасибо хоть такихъ, что не кусаются.

«И еще разъ закинули, еще одну ночь подождали; поглядѣли утромъ... Аллахъ, Аллахъ, будетъ-ли конецъ гнѣву твоему? Семь червей волосатыхъ только и повисли на сѣткахъ.

«Ну, думаютъ, бѣда. Ножъ старика Голода къ кишкамъ добирается, мучительная смерть рыбакамъ готовится. День-то вытерпѣли, а къ ночи силы де хватило; попривязали себѣ люди камни на шею, выѣхали въ лодкахъ на глубокое мѣсто.

«И видятъ — идетъ къ нимъ по водѣ старикъ длиннобородый.

«Пѣшкомъ идетъ, вода подъ его ногами не разступается; палка въ рукахъ, по водѣ бьетъ—не брызгаетъ. Свѣтъ отъ него идетъ тремя лучами бѣлыми: одинъ прямо вверхъ, вплоть

до небесъ доходитъ, два въ стороны, воду и берега далекіе заросшіе освѣщаютъ.

«Страхъ напалъ на народъ, сидятъ съ камнями на шеяхъ, какъ окаменѣлые, на старика чуднаго смотрятъ.

«Остановился старикъ недалеко. «Что вы тутъ дѣлаете?»— спрашиваетъ. Молчитъ народъ, языки будто у нихъ одеревенѣли, не ворочаются.

«Засмѣялся пришлецъ свѣтозарный. «Снимите камни,—говоритъ, — бросьте ихъ въ воду, а сами къ сѣтямъ своимъ ступайте. Смотрите, онѣ прорвутся скоро отъ добычи; пѣна бьетъ около нихъ отъ рыбьихъ всплесковъ; въ годъ того не съѣдите, что теперь за одинъ разъ на берегъ вытащите».

«Кинулись рыбаки къ сѣтямъ, а тамъ уже трескъ идетъ, гнутся шесты, трясутся, дрожатъ загороди крѣпкія, лопаются веревки волосяныя, какъ въ котлѣ вода кипитъ вокругъ нихъ, головы сомовьи выскакиваютъ.

«Стали рыбу въ лодки накладывать, чуть не потопили свои каики грузомъ непосильнымъ. До самаго утра на берегъ добычу возили, песку не видно на берегу подъ рыбою.

«Пропалъ тутъ старикъ изъ виду, такъ во всѣ три луча свои свѣтомъ разошелся, сгинулъ, только солнце изъ-за камышей выглянуло. И на мѣстѣ томъ, гдѣ стоялъ онъ, камень большой изъ-подъ воды высунулся.

«На другую ночь опять то-же видѣніе повторилось. Въ самую полночь на верхушкѣ камня того огонь вспыхнулъ, а изъ камышей старикъ пришелъ и сталъ, не глядя на людей, писать пальцемъ слова на камнѣ. Написалъ, что ему нужно было. «Пошлите за муллою знающимъ,—говоритъ,— пускай прочтетъ вамъ, а вы то сдѣлайте. Сдѣлайте — хорошо вамъ будетъ, нѣтъ — новый гнѣвъ Аллаха заслужите. Прощайте!..»

«Горятъ огнями цвѣтными слова написанныя, горятъ и ночь всю, горятъ и днемъ, отъ солнечнаго свѣта даже не прячутся; глядятъ на нихъ рыбаки неграмотные, во всѣ концы гонцовъ разослали искать муллу этого свѣдущаго.

«Пришелъ мулла изъ «Чимбая-города», разобралъ имъ, что на камнѣ было написано:

«Зовутъ меня Токмакъ; отсюда на западъ, на выходѣ къ морю, на голомъ островѣ лежатъ на пескѣ мои кости непо-

гребенныя. И съ острова того не хотятъ уходить онѣ, и подъ камень этотъ просятся».

«Вотъ и все, что было здѣсь написано. Какъ прочелъ, такъ и потухли разомъ буквы огненныя.

«Долго обдумывалъ народъ, что имъ дѣлать теперь, да и порѣшили плыть всѣмъ на западъ, искать островъ пустой на выходъ къ морю, найти тамъ кости святыя непогребенныя, а камень этотъ съ собою взять и, похоронивъ кости, положить его поверхъ могилы.

«Собрали сюда весь народъ низовой, тридцать три дня, тридцать три ночи камень этотъ поднимали. На тридцати трехъ каикахъ большихъ, вмѣстѣ связанныхъ, его поставили поплыли всѣ внизъ къ морскому выходу, къ острову пустому, песчаному.

«Долго плыли, долго искали этого острова; доплыли, наконецъ, нашли, что имъ нужно было.

«Вырыли яму глубокую, вымазали стѣнки ея глиною, уложили въ нее кости святыя, засыпали и камень навалили сверху привезенный. Потомъ мазанку надъ нимъ глинобитную выложили, съ круглымъ сводчатымъ куполомъ, и постановили на будущія времена, изъ рода въ родъ, потомству своему, каждый годъ три раза сюда ѣздить и привозить святому въ даръ съ каждой семьи по три рыбины.

«Островъ-же этотъ съ тѣхъ поръ «Токмакъ-Ата» назвали».

Къ этому-то острову и плыли два каика съ народомъ. Обычную поѣздку свою они дѣлали и везли на поклонъ святому Токмаку рыбу дарственную.

Еще высоко солнце было, какъ они къ острову стали подчаливать. Подойти вплотную невозможно было, потому съ этого берега мель далеко въ воду расползается; остановились каики съ полверсты не дойдя до сухого мѣста, вбили шесты въ песокъ, привязали къ нимъ лодки, а сами въ воду полѣзли, вбродъ, чтобы идти дальше.

Не глубока вода была, большимъ людямъ всего по поясъ, а ребятамъ съ головою досталось-бы, да посадили ихъ на плечи пока, ну и пошли всѣ гурьбою такимъ манеромъ. Кулла тоже мочить ноги не хотѣлъ, взгромоздился на дюжую спину

каракалпака, молодого еще, безбородаго. Рыбу со дна лодки повытаскали, нанизали ее на жерди, концы жердей на плечи; которая не умѣстилась, по водѣ волокомъ потащили. Одинъ соменокъ, небольшой такой, въ аршинъ, не больше, очнулся даже, какъ только въ воду его опустили, биться началъ, плескаться. А тамъ, глядятъ, и другой зазѣвалъ жабрами, плесомъ шевельнулъ. Живучія онѣ рыбины.

— Лучшій даръ святому, когда живое тѣло на крюкъ вѣшать будемъ,—забормоталъ тутъ мулла, на ожившую рыбу пальцемъ тыкая.—Иди, иди! Чего стали тамъ передніе?

XXVII. Что послалъ богомольцамъ святой Токмакъ своею милостью.

— А это что плыветъ на встрѣчу? Гляди-ко! — остановился тутъ одинъ изъ этихъ переднихъ.

— Гдѣ?

— Вонъ, гдѣ вода блеститъ на солнцѣ. Ишь ты,—вонъ приподнимается, видишь?

— Каикъ плыветъ какой-то. Дномъ кверху плыветъ. Арканъ за нимъ слѣдомъ тянется!

— Откуда сюда каикъ попасть можетъ? Эй, эй! Тамъ: — заходи кругомъ, перехватывай!

— Не уйдетъ! Онъ и не двигается совсѣмъ, зацѣпился чѣмъ-нибудь; такъ только на мѣстѣ колышется!

— Не изъ нашихъ лодка, это съ *той* стороны! — приглядѣлся тотъ, что подъ муллою шелъ.

— Отъ русскихъ водъ, точно!

Сплюнулъ тутъ мулла, какъ словно это услышалъ,— опять забормоталъ, что «опоганили Сыръ-рѣку великую; не попусти Аллахъ нашихъ водъ невѣрнымъ устамъ коснуться».

Слышали кара-калпаки, какъ мулла ихъ молиться началъ.

Близко совсѣмъ подошли къ опрокинутой лодкѣ, осматривать стали ее. И точно сыръ-дарьинская: носъ тупой и рубкою въ бокахъ поуже здѣшнихъ будетъ. Около каика этого весло тесаное плаваетъ, не ушло, значитъ, запуталось, и багоръ крюкомъ въ щель засаженъ. Холстина, что парусомъ служила, тутъ-же, только разодрана на-двое. Стали веревку выбирать, сматывать—ничего на томъ концѣ нѣту.

— А вѣдь каикъ хорошій, новый совсѣмъ! — поглядѣлъ тутъ на муллу островерхій колпакъ розовый, что чернѣе всѣхъ тѣломъ былъ.—Чей-же теперь онъ будетъ, ну-ко, скажи, «таксыръ» (начальникъ), говори?

— Все принадлежитъ Аллаху всемогущему, все ему: и земля, и небо, и все, что на той и другомъ находится!

— Да и мы всѣ его, а халатъ у каждаго свой есть, кибитка есть своя. Нашли мы эту лодку!

— Хозяинъ каика умеръ, потонулъ; его рыбы ѣдятъ въ морѣ, ему ничего больше не надо. Каикъ издалека шелъ, его ураганомъ вчерашнимъ перевернуло. Мы не искали, самъ на насъ набѣжалъ, ну, нашъ и есть!

— Нашъ? Нѣтъ, не нашъ! Мы вотъ съ разныхъ ауловъ собрались; что-же, мы ломать его на куски будемъ?

— Цѣликомъ передъ гробомъ святого поставимъ, такъ надо; а изъ холста завѣсу сдѣлаемъ надъ входомъ,—рѣшилъ тутъ мулла;—къ острову его волею Аллаха пригнало, на островѣ и мѣсто ему настоящее!

— Завѣсу?—поглядѣлъ одинъ изъ рыбаковъ на свою рубаху. А заплатъ пестрыхъ на этой рубахѣ больше, чѣмъ цѣлыхъ мѣстъ было, а низъ весь бахрамою висѣлъ. — Завѣсу? Зачѣмъ завѣсу? Глинѣ и безъ одежды не холодно!

— Продать-бы его да деньги подѣлить — лучше-бы. Мы его перевеземъ, просушимъ, онъ за нашими хорошо пойдетъ на привязи. Лошадь, что къ намъ отъ чодоровъ забѣжала, мы такъ же вотъ дѣлили!

— Забирай пока, тамъ увидимъ!

Потолковали еще немного, каждый руками потрогалъ заплесневѣлое, зеленое днище опрокинутой лодки, мальчишки съ плечъ на него переползли, верхомъ сѣли. Ухватились нѣсколько рукъ за находку, дальше къ берегу пошли и поволокли каикъ на мелкое мѣсто.

Сильно подмыло водою берегъ песчаный, большіе отвалы внизъ сползли, къ самой водѣ, карнизы подрытые сверху нависли, вотъ вотъ, глядѣть, рухнутъ тоже. Далеко отъ берега поставлена была мазарка, а теперь на самомъ краю очутилась; одна стѣна даже глубокую трещину дать успѣла.

Недалеко отъ могилы двѣ кучи лежатъ, изъ камней-валудовъ сложенныя, въ кучахъ шесты торчатъ, тряпье на нихъ навѣшено, погремушка изъ жестяной коробки съ камешками

на проволочкѣ качается, часъ вороватыхъ трескомъ своимъ пугаетъ. По наружнымъ стѣнамъ мазарки, сколько рука хватить можетъ кверху, крючья желѣзные вбиты, безъ счету, безъ толку; кое-на какихъ уцѣлѣли еще высохшія рыбьи головы, а тѣла отгнили давно и птицами поклеваны. Весь песокъ вокругъ мазарки толстымъ слоемъ костями рыбьими усыпанъ, вокругъ кучъ каменныхъ тоже бѣлѣютъ кости эти; съ открытыхъ мѣстъ вѣтромъ ихъ посдувало, а въ ложбинахъ да подъ кручею цѣлые сугробы костяные паметаны.

И не диво, что завелись здѣсь скопы такіе; сколько лѣтъ со всего низовья аму-дарьинскаго рыбу дарственную сюда на поклонъ святому Токмаку свозили!

Съ рѣчной стороны и входъ въ мазарку виденъ: сводомъ заостреннымъ пробитъ онъ, снизу порогомъ загороженъ глиняным-же высокимъ, въ поясъ человѣку взрослому, перелѣзать его приходится, чтобы внутрь забраться. Отсюда и часть камня видна, темно сѣраго съ зеленоватыми прожилками, того, что внутри лежитъ, кости Токмаковы надавливаетъ.

Вылѣзли на сухое мѣсто кара-калпаки, вытащили на песокъ каикъ-находку. Кто съ муллою къ могилѣ полѣзъ рыбу развѣшивать, кто по берегу разбрелся рыскать, сухой камышъ да водоросли собирать прошлогоднія, огонь чтобы было чѣмъ ночью раскладывать.

А тутъ и солнце садиться стало, темнѣть начало. Островъ-то въ ширину не великъ, да въ длину верстъ на сорокъ тянется, къ морю полого, сыпучимъ пескомъ идетъ, а къ рѣчной, прѣсной сторонѣ обрывомъ холмистымъ выходитъ, гдѣ пониже, гдѣ повыше; съ той стороны голо совсѣмъ, а съ этой и колючка, и осока, и джингилъ мелкій поросли; мѣстами густо по обрывамъ засѣли эти заросли; разбрелся по нимъ народъ, и не видать его отсюда стало. Тамъ и сямъ только голоса, слышно, перекликаются.

Муллу на самый верхъ, на стѣну мазарки, подсадили; забрался тотъ высоко, руки у рта сложилъ трубкою. Завылъ на весь островъ призывъ его молитвенный.

Огонь разложили ужъ тѣмъ временемъ; разгорѣлось живо сухое топливо свѣтлымъ пламенемъ.

Этотъ-то огонь-звѣзду и видѣлъ Степанъ-Малышъ, эти-то голоса ему и послышались.

Помолились, какъ собрались всѣ, по-своему, стали въ рядъ, лицомъ къ стѣнкѣ, побормотали за муллою вслѣдъ, по слуху, головами покивали, прочь пошли. Ужинъ поспѣлъ, шурпа изъ рыбы съ мучною подболткою; вычерпали котелокъ свой дочиста, края даже вылизали, спать полегли.

Вѣтерокъ съ морской стороны отгоняетъ далеко отъ острова рои комариные, пологовъ не надо; звѣрья никакого тоже на островѣ этомъ не водится. Безъ опаски, безъ сторожей спать можно; а намучились они за день порядочно; какъ только легли, такъ и захрапѣли на всѣ лады. Огни потухать стали, безъ поддержки оставленные.

Утромъ рано, чуть только заря занялась, поднялъ мулла ихъ всѣхъ на ноги.

Опять подсадили его наверхъ, опять онъ крякнулъ тамъ, зѣвнулъ, почесался, гдѣ слѣдуетъ, опять руки сложилъ у рта, опять завылъ...

— «Аллахъ, Акбаръ, Магом...»—Гей, Гассанъ, Иртыкъ-бай, полѣзай сюда, смотри: вонъ человѣкъ лежитъ! Полѣзай скорѣе!

Всполошились молельщики. «Что такое еще за диковина? Какой человѣкъ сюда забрался?»

Кто къ муллѣ наверхъ, на стѣну полѣзли, кто въ кусты побѣжали, по тому направленію, куда мулла обѣими руками указывалъ.

Лежитъ человѣкъ, голый совсѣмъ, исхудалый, тощій, тѣломъ бѣлъ, а волоса короткіе, свѣтлорусые; лежитъ и на нихъ помертвѣлыми глазами смотритъ. Самъ ужъ и шевельнуться не можетъ, а глазами поводитъ, дышетъ еще легонько, хрипота такая въ горлѣ у него слышится.

— Урусъ!—промолвилъ одинъ.

— Того капка хозяинъ!—прибавилъ другой.

Стали всѣ въ кружокъ, шопотомъ говорятъ. Видятъ—человѣкъ помираетъ совсѣмъ, что-же тутъ на него накидываться?

— Добей!—сказалъ тутъ мулла съ вышки. — Добей! — повторилъ онъ громче,—Чего смотрите?

Взглянули кара-калпаки на муллу своего, на лежащаго тоже еще разъ посмотрѣли, и не одна рука къ поясному ножу не потянулась.

Мальчикъ одинъ подошелъ къ самому «урусу» этому, при-

сѣлъ на корточки, тронулъ его рукою за голову; другой бѣгомъ къ берегу бросился. Самъ бѣжитъ впередъ, а все назадъ оглядывается.

— Ушелъ я отъ тюркменъ—заговорилъ словно про себя колпакъ розовый,—весь день бѣжалъ, ночь бѣжалъ, къ утру упалъ, до воды ста шаговъ не добѣжалъ, силъ не хватило. Умиралъ я тогда; глотнулъ-бы воды разъ только—ожилъ-бы. Вижу я глазами воду эту, а развѣ глазами пить можно? Долго лежалъ я, нашли меня здѣсь тюркмены, по слѣду догнали!

— Сладкая жертва святому смерть гяура невѣрнаго будетъ!—кричитъ опять мулла съ вышки.

— Догнали меня тюркмены. Они меня не зарѣзали, они меня подняли, водою напоили, мяса мнѣ дали, связали и назадъ повели въ свои аулы. На двухъ арканахъ повели, за стремена велѣли держаться!

Пришелъ тутъ мальчишка, что къ берегу бѣгалъ, полный колпакъ свой воды притащилъ; вытекла изъ него дорогою половина, а все еще осталось достаточно.

— «Ичь»!—говоритъ (пей, значитъ). Подставилъ лежащему ко рту края колпака, воду пальцемъ къ самымъ губамъ подплескиваетъ.

И силъ нѣтъ у Степана-Малыша даже глотокъ сдѣлать, какъ слѣдуетъ. Въ глазахъ у него только какъ-будто свѣтлѣе немного сдѣлалось.

XXVIII. По чести подѣлились, что кому сама судьба послала на счастье.

Пытался-было еще разъ мулла про *сладкую жертву* помянуть, да уже его послѣ словъ розоваго колпака никто и не слушалъ.

Перенесли Степана къ берегу, дали ему отлежаться вволю, пока въ обратную дорогу собирались, до каиковъ потомъ дотащили, а тутъ и въ память, въ сознаніе сталъ приходить «урусъ», самъ еще не заговорилъ, а уже къ рѣчи людей чужихъ, незнакомыхъ прислушиваться началъ.

И слышитъ онъ, что только за рѣчь такая? Ну, вотъ совсѣмъ какъ у нихъ на Сырѣ, по-киргизски, слова даже одни и тѣ-же будто, а ничего понять невозможно. А Степанъ могъ

уже бойко съ киргизами разговоръ вести, научился не хуже Василія Іоныча. Еще тихо когда говорятъ, ну, изъ пятаго въ десятое слова два-три выловишь, остальное сообразить можно, а какъ скороговоркою засыпятъ, забормочутъ, ну, вотъ ничего въ толкъ не возьмешь. А понять надо: объ немъ, вишь ты, говорятъ, на него глядятъ, на него пальцами указываютъ.

Тихо идутъ каики обратною дорогою, тоже на шестахъ пихаются; противъ теченія теперь пришлось; изъ силъ просто выбиваются кара калпаки, по бортамъ съ шестами бѣгая. Степановъ каичекъ на привязи сзади бороздитъ воду; въ него мальчишки забрались, весломъ русскимъ гребутъ, балуются больше.

— Онъ бѣглый,—говорилъ мулла; — онъ своею волею къ намъ шелъ, это видно. Отъ Сыра далеко, оттуда не занесетъ однодневною бурею. Ну, потому только я и согласился, потому только и позволилъ ему въ живыхъ остаться, а то-бы ни-ни!

— «Хопъ», — говорятъ кара-калпаки, значитъ — такъ, молъ, такъ, хорошо!

Рады они, что мулла по-ихнему сдѣлалъ, не по-своему, уступилъ безъ ссоры, ну, и не перечатъ ему, соглашаются, что по его, молъ, волѣ, его милостью русскаго не прирѣзали.

«А зачѣмъ рѣзать,—разсчитали они,—когда человѣкъ еще молодой, будетъ здоровый, на всякое дѣло пригодиться можетъ, на работу какую угодно. Они вѣдь, русскіе, лучшіе работники изъ рабовъ случаются. Вонъ у серкера Матъ-Ніаза, у него двое русскихъ есть, такъ онъ ихъ за двадцать иранцевъ тюркменскому беку не продалъ. Нѣтъ, зачѣмъ рѣзать?»

Тюркменамъ хорошо, хивинскимъ нукерамъ ханскимъ тоже: они смѣлые, у нихъ и кони хорошіе, и ружья есть; они выѣдутъ на баранту, сами набрать такихъ могутъ, а имъ, каракалпакамъ, байгушамъ да безоружнымъ, имъ откуда-же взять? Послалъ Аллахъ счастье, самъ на нихъ навернулся, а тутъ его рѣзать! Вѣдь придетъ-же въ голову эдакая блажь муллѣ ихъ старому!

Стали въ рѣку входить, ближе къ берегу подтянулись къ лѣвому, вплотную притерлись. Половина народа на лодкахъ осталась, половина на берегъ повыскакала. Здѣсь отдыхъ не-

большой сдѣлали, безъ варки, потомъ стали приспоровляться къ иному путевому порядку — на лямкахъ тянуться противъ теченія.

Протянули съ вершинъ мачтъ веревки длинныя, навязали на нихъ по четыре петли просторныхъ, съ костыльками, просунули въ эти петли дюжія плечи свои, травы подложили, чтобы не терло очень, потянули—ладно... Мѣрно, нога въ ногу зашагали лямочники по берегу, по самому краю его; ходко пошли капки, грязная пѣна передъ носами ихъ заклубилась... Четверо тащатъ, остальные шестами помогаютъ, корму отводятъ, носомъ не даютъ въ берегъ упираться, запахивать... Пройдутъ такъ часа два—смѣнятся: съ лодокъ въ лямки, изъ лямокъ за шесты да на лодки... Ребята, и тѣ даже не сидятъ даромъ: печку стерегутъ да просо толкутъ камнемъ въ деревянной чашкѣ.—Только всего двое къ общему дѣлу рукъ не прикладываютъ: мулла старый да Степанъ-Малышъ,—одинъ въ тѣневой сторонѣ лодки усѣлся, ноги подъ себя поджалъ, руки свои сухія изъ рукавовъ рубахи высвободилъ, грудь впалую, мохнатую поскребываетъ, звѣрье вылавливаетъ надоѣдливое да стихи изъ корана, по привычкѣ больше, подъ носъ бормочетъ; а другой, прикрытый халатомъ рваным, на днищѣ лежитъ, съ силами все сбирается; заговорить ему очень хочется, да словъ настоящихъ, какія ему пригодны будутъ, никакъ не подыщетъ.

Пустынные, непривѣтливые, неуютные берега по обѣимъ сторонамъ рѣки тянутся. Мутная, илистая вода о стѣнки лодокъ плещется. Кое-гдѣ камыши идутъ зеленоватою стѣнкою, гдѣ песокъ полосою золотистою къ берегамъ подступаетъ, гдѣ солонцы залегли бѣлесоватые, колючкою бурою поросшіе. Тонкая струйка дыма покажется кое-гдѣ ину пору, да далеко очень, не видать совсѣмъ, что тамъ дымится такое. Чахлая скотинка, коровенки мелкія, козы долгошерстыя къ водѣ подходятъ, а человѣка не видно что-то. Птица пролетитъ надъ водою, чѣмъ-то испуганная, и стремглавъ снова внизъ слетитъ, камнемъ на землю падаетъ, подъ кустъ да подъ кочку, подъ какую ни на-есть, въ тѣнь отъ жары забивается...

Уныло, безлюдно кругомъ... Попадется на глаза какой-нибудь аулишко въ-двѣ три кибитки; сразу видно, что на-легкѣ стали, на время, вотъ-вотъ, сейчасъ съ мѣста снимутся... Вонъ

земли клокъ видѣнъ запаханной: половина поля этого взрыта, половина такъ брошена; вонъ и плужокъ—сабанъ — на боку лежитъ; давно все это сухимъ бурьяномъ заросло; еще годъ тому назадъ, можетъ, убитъ или уведенъ тюркменами пахарь несчастливый; не дали ему даже работу свою закончить «рыскачи» съ Талдыка, злой рѣки, а то и съ равнинъ мервскихъ нагрянувшіе...

Выше пойдутъ мѣста уютныя, озера разливныя, болота топкія, трясины глубокія, заросли густыя, непроходимыя; въ тѣ мѣста конному человѣку дорога неподходящая, туда рѣдко тюркменъ, лихой человѣкъ, заглядываетъ, тамъ и гнѣздятся больше аулы кара-калпакскіе, а тутъ для конныхъ шаекъ самое настоящее перепутье, сюда онѣ, то и дѣло, носъ свой показываютъ. Ну, и разогнали народъ осѣдлый, какой еще селился тутъ, къ устьямъ поближе, обезлюдили приморскую часть аму-дарьинскаго устьевого треугольника...

Къ вечеру на развилокъ пришли, гдѣ Кичкене съ Улькуномъ расходятся. Каждая себѣ особое русло къ морю прокладываетъ; обмелѣла коса раздѣляющая, длиннымъ языкомъ въ воду песокъ врѣзался, вбродъ должны были идти лямочники, пока этой косы не миновали.

Утомился народъ сильно; на ночлегъ-бы стать тутъ самое время настоящее, да только мѣсто это подлое, открыто оно со всѣхъ сторонъ, того и гляди—хорошіе люди налетятъ, нагрянутъ. Вонъ недавно тоже проходили, смотри, сколько слѣдовъ конскихъ кованыхъ на пескѣ пестрятъ; вонъ и пометъ остался, и золу отъ огней оставшуюся вѣтромъ еще не развѣяло.

Прошли еще съ версту, стали къ островку густо поросшему, лодки свои въ камыши вдвинули.

Совсѣмъ худо Степану-Малышу къ ночи стало; лихорадка одолѣла, трясти начало, въ жаръ потомъ кинуло... Разнемогся совсѣмъ парень, а передъ вечеромъ совсѣмъ было поправлялся, думалъ на ноги поднимется...

Дали ему поѣсть люди чужіе, добрые, въ котелкѣ у нихъ отъ ужина осталось. Накинулся было онъ на эту ѣду, да въ горло не лѣзетъ, бросилъ. Покрыли его тутъ еще кромѣ халата цыновкою...

Много до свѣту еще поднялись путники на ноги. Тутъ неподалеку хивинскій ханъ прислалъ крѣпость строить новую;

слухъ дошелъ до него, будто русскіе, на своихъ огненныхъ лодкахъ, пройти хотятъ къ ханству его этою дорогою, такъ вотъ по этой причинѣ. Урочище это Акъ-Кала прозывается, и согнали сюда народу человѣкъ тысячу, да сарбазы пришли ханскіе и стоятъ на берегу лагеремъ.

Хотѣли кара-калпаки пройти мимо нихъ въ темнотѣ, ночью пока; не за себя боялись, а за «уруса» своего: какъ-бы не увидали да не отняли.

Ближе подходить стали, взяли съ берега лямочниковъ своихъ, къ другому на веслахъ переправились, притихли, когда мимо шли... Какъ кошки, пробирались лямочники средь густого кустарника, вѣтка просто ни одна подъ ногами ихъ не хрустнула.

Темно такъ на томъ берегу; видно, что много народу стоитъ лагеремъ; а не разобрать ничего; дерево чернѣется высокое, кудреватое, огонекъ подъ нимъ догораетъ, арбяное колесо отъ этого огня отсвѣчиваетъ, лошади отъ комаровъ отфыркиваются. Тихо и спокойно въ лагерѣ, человѣка даже нигдѣ не поставлено.

Къ разсвѣту далеко отошли отъ Акъ-Калы. Теперь имъ немного уже до своихъ стоянокъ осталось; за день дошагаютъ, если будетъ на то милостивая воля Алаха и Токмака святого, ихъ покровителя.

На обѣденномъ отдыхѣ толковать начали межъ собою, какъ имъ съ находкою поступить, какъ подѣлить все это. Мудреная тоже задача имъ вышла.

Собрались они съ разныхъ ауловъ; всѣхъ ихъ, не считая дѣтей, мальчиковъ двухъ, четырнадцать человѣкъ съ муллою, а «урусъ» одинъ. Кому-же онъ долженъ теперь достаться?

Продать, также какъ и каикъ его, да деньги подѣлить— жалко: дешево дадутъ за больного. Выхолить надо прежде да на ноги, какъ слѣдуетъ, поставить, тогда и везти на базаръ, а кто-же его до этого времени выдерживать станетъ?.. Сообща всѣмъ—невозможно... А какъ подохнетъ еще, даромъ только кормъ на него потратятъ...

Развѣ вотъ какъ сдѣлать: счастье попытать, кому какое выпадетъ на долю, да ужъ и каикъ за одно такимъ-же манеромъ. Что за разсчетъ пустякъ получить какой-нибудь, четырнадцатую часть выручки? Лучше ужъ пускай Аллахъ укажетъ, кому быть найденной лодки владѣльцемъ...

Трепала лихорадка Степана, лежалъ онъ на днищѣ, скорчившись, бредъ его одолѣлъ, ломота. Мается парень, стонетъ и не знаетъ, что только замышляютъ надъ нимъ, для чего остановились, для чего народъ весь на берегъ вышелъ и въ кружокъ усѣлся, для чего мулла не въ урочный часъ намазъ творить началъ.

А межъ кара-калпаками уже споръ завязался: Иртыкъ-бай, что въ колпакѣ розовомъ, черный такой, съ Катта-Курсакъ-баемъ родные братья приходятся, въ одной кибиткѣ живутъ, и жены ихъ вмѣстѣ спятъ, одно, значитъ, хозяйство составляютъ. Одинъ жребій вынимать имъ или каждому порознь?..

Братья порознь требуютъ, имъ это выгоднѣе, а остальные не хотятъ.

— Вы два брата, говорятъ,—все равно, что одна рука... Какъ-же можно, чтобы одна рука два раза въ «молитвенную ямку» полѣзла!

Долго спорили. Много разговору было, до брани чуть не дошло дѣло. Мулла четыре раза судить принимался — пуще всѣхъ хлопоталъ. На первый разъ разсудилъ, что братья за одного должны считаться...

— Вотъ это хорошо! Вотъ это вѣрно!—заголосили остальные.—Самъ Аллахъ его устами говоритъ, хивинскій кадій не разсудилъ-бы лучше!

Другая сторона, чье дѣло не выгорѣло, по такому суду не соглашается.

— Вретъ все мулла,—говорятъ,—на старости лѣтъ разумъ потерялъ послѣдній!

Попробуетъ мулла снова судъ начать, помолится, подумаетъ. Ждутъ всѣ, смолкнутъ, затаятъ духъ даже. Тишина такая настанетъ, будто заснули всѣ спокойно, дѣло поладивши.

— У братьевъ двѣ головы, четыре руки и два брюха, значитъ, ихъ и два цѣлыхъ человѣка!—рѣшилъ на этотъ разъ мулла, совсѣмъ напротивъ, какъ прежде.

Опять галдѣть начнутъ. Тѣ, что ругали муллу, хвалятъ теперь, тѣ, что хвалили, за бороду его чуть не теребятъ, грозятся рыбы напередъ не давать, старымъ ишакомъ обзываютъ.

— Ты,—говорятъ,—съ Иртыкъ-бая да съ Катта-Курсакъ-бая деньги послѣ получить хочешь—мы знаемъ!

Порѣшили, наконецъ, на томъ, чтобы и это спорное дѣло на счастье пустить.

Взяли братья каждый по щепоткѣ проса, полу халатную разостлали и считать зерна начали. Если у обоихъ четное число выйдетъ, значитъ, за одного считать ихъ надо, если-же нѣтъ, ну, такъ дѣлать нечего, пускай ужъ въ ямку оба свои руки жадныя протягиваютъ.

Сосчитали. Что дѣлать? У одного двадцать два, у другого шестнадцать,—четъ у обоихъ.

— Что? А какъ я въ первый разъ порѣшилъ?.. — хвастается мулла.—Видите: я напередъ зналъ, что сама судьба скажетъ. Вы меня сбили только своимъ крикомъ да воемъ шакальимъ... что, видѣли?..

— Ладно, ладно, «джирайда»!—говорятъ ему въ отвѣтъ на это.—Приступай-ка вотъ къ дѣлу лучше!

— Джирайда!—говорятъ и братья, судьбою обиженные.—Посмотримъ еще, что дальше будетъ. Пророкъ-то вѣдь всегда правой сторонѣ помогаетъ!

Раздѣлили находку всю на три части: одна часть—человѣкъ, другая—лодка, а третья—парусина, потому тоже холстъ вещь цѣнная, жирно будетъ при лодкѣ одному и тому-же счастливцу отдавать.

Приступили и къ дѣлу, наконецъ.

Прежде всего ямку въ пескѣ вырыли небольшую, глубиною въ локоть, потомъ камышину срѣзали длинную, порѣзалъ ее мулла на тринадцать кусковъ одинаковыхъ, въ вершокъ длиною каждый, и на всякомъ кускѣ ножемъ имя нацарапалъ; уложили всѣ эти кусочки въ ямку, перемѣшали, просомъ засыпали и шапкою сверху накрыли. Прочелъ мулла молитву надъ этою ямкою и запустилъ туда руку.

— Ну,—говоритъ,—теперь каикъ чей?.. Девлетъ-мусса, твой!

— Эге!—крикнулъ отъ радости Девлетъ-мусса и принялъ изъ рукъ муллы свой счастливый кусочекъ.

— Кулъ *) теперь, урусъ чей?..

Долго шарилъ мулла; сдвинулись всѣ въ кучу, плотнѣе, глазъ съ руки его не спускаютъ.

— Пртыкъ-бай и Катта-Курс...

---

*) Рабъ.

— Ага! Вотъ оно! Правда-то въ наружу выступила, что?..— разомъ заорали братья.

— Что-же дѣлать,—вздохнули другіе,—теперь спорить не станемъ... тутъ ужъ судьба... тутъ...

Холстина самому муллѣ досталась.

— Вотъ и всегда такъ, всегда мнѣ вотъ такое счастье: сколько разъ приходилось, никогда ничего не получалъ!—сталъ тутъ жаловаться приземистый одинъ, тотъ самый, что хотѣлъ-было уже штаны себѣ сдѣлать новые изъ русскаго холста, напрасно только помѣшалъ муллѣ на завѣсу его употребить передъ могилою.—Эхъ, подѣлить-бы все поровну, лучше-бы было... Зима придетъ, холодно будетъ, чѣмъ Акъ-балта ноги свои голыя прикроетъ?

Чуть не заплакалъ бѣдняга, свое отрепье щупая, да что-же тутъ супротивъ судьбы подѣлать можно? Подѣлились кара-калпаки, порѣшивши дѣло, и тронулись въ путь, послѣдній переходъ до своихъ кибитокъ.

XXIX. Кибитка на мысѣ „Урда“ Иртыкъ-бая и Катта-Курсакъ-бая и семьи ихъ, жены съ ребятами.

Отъ того мѣста, у Нукуса, гдѣ Аму-Дарья расходится рукавами, средній изъ нихъ, самый большой, многоводный «Улькунъ» течетъ сначала между твердыхъ глинистыхъ береговъ, поросшихъ мелкими деревьями—джидой и тальникомъ, и сплошною чащею джингила и дикаго терновника. Нога человѣческая рѣдко заходитъ въ эти дикія, непроходимыя заросли, раздольный пріютъ всякой кустарной птицы и хищнаго звѣря. Изъ крупнаго звѣря полосатый тигръ рѣдко сюда заглядываетъ, ему у бѣдныхъ кара-калпаковъ плоха пожива; зато другихъ, мелкихъ кошекъ, здѣсь видимо-невидимо; какъ поднимутъ онѣ на вечерней зарѣ, послѣ заката солнечнаго, свое мяуканье, такъ у бѣдняка дикаря безоружнаго душа въ пятки уходитъ, и сидитъ онъ въ своей кибиткѣ, ждетъ, когда барсъ или другой какой крапчатый разбойникъ безнаказано козъ его рѣжетъ, рыбу плохо припрятанную воруетъ.

Трудно проложить путь удобный сквозь эти чащи, трудно даже мѣстечко себѣ подъ кибитку разчистить, а чтобы о полѣ подумать, такъ лучше и трудовъ даромъ не тратить.

Пробовали выжигать чащу мѣстами—на другой годъ отъ старой золы она еще гуще разросталась, къ самымъ кибиткамъ вплотную подступала и тѣснила ихъ все ближе и ближе къ берегу, а вмѣстѣ съ чащею подступало и все ея населеніе хищное. Чекалки (шакалы) надоѣдливые, тѣ не только-что по цѣлымъ ночамъ у самыхъ кибитокъ выли, они даже, случалось, внутрь забирались, таскали оттуда все съѣстное, а подчасъ и ребятъ грудныхъ выхватывали.

Коли-бы много народу могло въ эти мѣста собраться, много рукъ рабочихъ за дѣло принялись-бы, ну, можно хотя что-нибудь подѣлать, а то на пространствѣ десяти верстъ сидятъ три-четыре семейства, да и тѣ межъ собою, словно звѣрье, грызутся,—какія тутъ рабочія силы? Ну, и живутъ они звѣри звѣрями, ходятъ, кое-чѣмъ прикрывшись, ѣдятъ, что Аллахъ пошлетъ имъ въ сѣти да въ забойки; ни объ чемъ не заботятся напередъ, ничѣмъ не запасаются, не наживаютъ ничего, не богатѣютъ. Да и къ чему богатѣть, когда, того и гляди, отъ хана хивинскаго нукеры нагрянутъ «подати собирать» безъ счету, безъ мѣры, безъ срока; а то и другіе наѣдутъ, вольные сборщики, на коняхъ долгоногихъ, изъ кочевій тюркменскихъ. Ничего коли нѣтъ, ну, и взять нечего, съ пустыми руками назадъ поѣдутъ, въ другой разъ и заглядывать не станутъ.

«Голое тѣло голову бережетъ; въ богатомъ карманѣ на свое горло ножъ носишь», говоритъ поговорка мѣстная. Вотъ народъ здѣшній и не наживается, потому нечѣмъ да и незачѣмъ.

Рѣка—кормилица кара-калпака прибрежнаго: и зиму, и лѣто она одна даетъ ему пропитаніе, она одна его не обижаетъ, вотъ онъ и жмется къ ней, на шагъ отъ нея не отходитъ, подчасъ даже совсѣмъ на землю по недѣлямъ не ступитъ, знай, только рыбачитъ. Такъ и называются они—пріозерные кара-калпаки, рыбачіе.

Ниже немного все шире и шире расходится Улькунъ-рѣка, берега мягче становятся, топи и трясины по нимъ залегаютъ. Разливается широко рѣка, ничѣмъ несдержанная, и образуетъ два большихъ, глубокихъ озера.

Негдѣ тутъ уже заростать деревьямъ да кустарникамъ, все сплошь густымъ камышемъ покрывается. Жгучее солнце сверху палитъ подъ-рядъ девять мѣсяцевъ, обиліе воды влагу да сы-

рость поддерживаетъ—тянется изъ глубины топей, со дна илистаго могучая, чудовищная злачная растительность.

Раннею весной, чуть начинаетъ солнце пригрѣвать озябшую землю, широко разстилаются чистыя воды озеръ, глазъ береговъ не видитъ, цѣлое море передъ глазами развертывается. Но вотъ все теплѣе и теплѣе становится вода, оживаетъ и дно топкое, толстымъ слоемъ чернаго ила покрытое, проростаетъ сплошь молодыми камышевыми побѣгами; быстро тянутся кверху стебли, на свѣтъ Божій выглянуть торопятся; вотъ и выглянули.

Зазеленѣла водная поверхность, словно щеткою частою покрывается; не по днямъ, а по часамъ ростетъ эта щетка, и заростаютъ озера непролазными камышевыми чащами.

Вотъ на эти-то озера и переселяются кара-калпаки на все лѣто, а зиму уже кое-какъ по берегамъ тѣснятся; маленькія кибитки свои камышемъ въ нѣсколько рядовъ огораживаютъ, землею обсыпаютъ снизу, а то и землянки роютъ, точно норы лисьи; рѣдко кто стѣнки земляныя выводитъ, какъ осѣдлые хлѣбопашцы кара-калпаки, что по мелкимъ протокамъ сидятъ, на матеромъ берегу, по «Кичейли», по «Куванъ-джармѣ», около «Чимбая» города и кишлаковъ тамошнихъ.

Озера эти Сары-Куль (желтое озеро) и Кара-Куль (черное) называются; почему ужъ ихъ такъ цвѣтами обозначили, то неизвѣстно; съ виду-же вода ихъ, какъ въ томъ, такъ и другомъ, одинакова.

На небольшомъ мыскѣ, чуть-чуть выглянувшемъ изъ чащи, на такомъ, что не отмелью въ воду спускался, а обрывомъ крутымъ, стояла маленькая, приземистая, на бокъ покривившаяся кибитка.

У этой кибитки только крыша была войлочная, да и та вся прогорѣла, почернѣла отъ копоти и сквозила на свѣтъ протертыми мѣстами и прожженными отъ искръ дырками; стѣнки-же кибитки по рѣшеткѣ «телегомъ» были обнесены, цыновками изъ молодого камыша, а вмѣсто двери висѣла такая-же цыновочка, только съ узоромъ, вывязаннымъ по ней красными и черными шерстинками.

Волосяной арканъ обвивалъ наискозь всю кибитку, по крышѣ приходился и даже часть стѣнокъ захватывалъ; концы этого

аркана были туго натянуты и привязаны къ оголенному джидовому корню. Безъ этого аркана давно-бы береговой вѣтеръ сорвалъ это легкое жилище и унесъ его въ воду Сары-Куль озера, что и случалось не разъ, почему и мѣры эти были приняты.

Вокругъ кибитки земля была плотно утоптана и покрыта мелкимъ навозомъ козьимъ, рыбьей шелухой и разной гадостью, что остается, когда рыбъ потрошить станутъ. Что успѣло высохнуть, то вѣтромъ унесло, что не успѣло—гніетъ на жаркомъ солнышкѣ, попахиваетъ, ну, да хозяева здѣшніе ничего, носы у нихъ привыкшіе, неприхотливые.

Шагахъ въ трехъ отъ кибитки, въ обрывѣ самомъ, котелъ врытъ въ землю чугунный для варки пищи, отъ него къ водѣ три ступеньки прорыты, и рядъ кольевъ вбитъ, одинъ отъ другого аршина на два. На эти колья снасти вѣшаютъ, когда просушить требуется, рыбу пластанную вялятъ тоже на солнцѣ и каики къ нимъ-же привязываютъ на ночь, чтобы не унесло ихъ какимъ-нибудь теченіемъ.

Съ сѣверной стороны, съ береговой, къ кибиткѣ густая джингиловая чаща подступаетъ, въ нее тропинка змѣится, врѣзывается и теряется въ глубинѣ, между цѣпкими, ползучими корнями; нѣсколько вершинъ пахучей джиды поверхъ чащи колышутся, скворцы розовые и пчелоѣды, зеленые, длиннохвостые, съ дерева на дерево переносятся, щебечутъ громко, особенно къ вечеру, потому джида это самое настоящее мѣсто ихъ ночлежное.

Въ одномъ мѣстѣ виденъ слѣдъ пожарища. Большою губою въ чащу оно врѣзалось, да потухло. Это пробовали разъ выжечь кусты вокругъ кибитки, чтобы просторнѣе было, поджечь-то подожгли, да потомъ сами не рады были: вѣтеръ перемѣнился, и понесло огонь на кибитку прямо. Только-только успѣли снять ее да въ воду сбросить, сами на каики еле повскакать успѣли.

Въ самой кибиткѣ было бѣдно и пусто, только часть пола землянки покрывалъ слежавшій войлочекъ, а то такъ, изъ камыша постели были сдѣланы, одна къ одному боку, другая къ другому; посрединѣ занавѣска повѣшена была перегородкою, вся въ заплатахъ, ни цвѣта не разберешь за грязью да копотью, ни изъ чего она сдѣлана. Ближе къ дверямъ посуда

сложена: двѣ чашки деревянныя, одна глиняная, кувшинъ съ отбитою ручкою, ступа долбленая для проса, съ пестомъ, кунганчикъ для чаю и кальянъ-тыквянка съ камышевымъ чубкомъ—ничего больше.

Ни сундуковъ съ добромъ да одеждою, ни мѣшковъ съ мягкою рухлядью,—ничего этого и въ поминѣ не было здѣсь, по той причинѣ, что хозяевамъ прятать въ сундуки да мѣшки было нечего, какая и была одежда, то всю на себѣ носили, а чинить придется или помыть что, отъ скуки, такъ пока и такъ походятъ, въ чемъ мать на свѣтъ родила. Что-же, лѣтомъ тепло, а зимою и къ огоньку ближе подсѣсть можно въ такомъ случаѣ.

Эта кибитка у «Сары-Куля» озера, на мыскѣ «Урда», была единственное жилище братьевъ-счастливцевъ «Иртыкъ-бая» и «Катта-Курсакъ-бая». И у того, и у другого было по одной женѣ и по ребенку, вотъ почему и раздѣлили они свою кибитку перегородкою.

Кромѣ двухъ каиковъ и рыболовныхъ снастей, все ихъ богатство состояло изъ полдюжины козъ, которыя и паслись въ чащѣ около кибитки. На ночь козы эти сами прибѣгали домой и прямо лѣзли внутрь, забивались къ человѣку поближе, уже очень ихъ пугали шакалы, что по близости бродили, да зеленоватые глаза барса или кошки какой-нибудь дикой, сверкавшіе во мракѣ темной лѣтней ночи. Днемъ тоже далеко не отходила робкая скотина, все больше по опушкѣ держалась, ощипывая по окраинамъ молодые джингиловые побѣги.

Жены братьевъ жили между собою мирно, не ссорились; пока мужья ихъ на ловлѣ, онѣ рыбу пластали, икру выдавливали кое-какъ, а то и такъ сидѣли на берегу, ничего не дѣлая, поджидая возвращенія своихъ супруговъ.

Дѣти, совсѣмъ голыя, либо съ отцами ѣздили, либо съ козами по кустамъ рыскали. Дружно жила эта скотинка съ ребятами, не бодала ихъ, когда, бывало, они ѣсть захотятъ да прямо и начнутъ матокъ молочныхъ отсасывать. Лежитъ коза бѣлая покойно, хвостикомъ короткимъ потряхиваетъ, шаршавымъ языкомъ тѣльце черномазое облизываетъ, а за сосцы ея крѣпко уцѣпились и теребятъ крохотныя рученки, сопитъ и пыхтитъ сосунокъ, ребенокъ проголодавшійся.

Одну жену, Иртыкову, звали «Кой-Кочь» (бараній глазъ), хотя глаза у ней были совсѣмъ не бараньи, а маленькіе, точно щелки, съ красною вокругъ припухлостью, вѣчно слезящіеся. Сама она была росту маленькаго, худенькая такая, совсѣмъ ребенокъ съ виду. Грудь у ней была впалая, тощая, чахоточная. Кашляла она постоянно, какъ овца перхала; тяжелая работа ей совсѣмъ не подъ силу была. Не любилъ ее мужъ за это, билъ въ день раза по три, какъ только подъ руку подвернется; только и отдыху ей было, когда Иртыкъ на нѣсколько дней изъ дому отлучится.

Взялъ онъ ее за долгъ у одного чимбайца, всего четырнадцатилѣтнюю, на второй годъ ребенка прижилъ, на третій еще, да не доносила больная, выкинула, съ тѣхъ поръ и захирѣла окончательно.

Другую жену, Катта-Курсакову, никакъ не звали: имени никто не зналъ ея настоящаго, а сама она забыла. Года три тому назадъ переловили около озера иранцевъ шесть человѣкъ; бѣжали тѣ отъ тюркменъ, на сѣверъ, къ русскимъ землямъ пробраться пытались, съ ними и баба была одна, пожилая уже, лѣтъ за тридцать. Вотъ эта-то баба и досталась по дѣлежу Катта-Курсакъ-баю. Хоть и старуха была, да все еще въ жены годилась; и этой радъ былъ Катта-Курсакъ, а то бы во вѣкъ ему безъ жены жить, потому на женитьбу достатку не хватало.

Волосы у «бабы» были черные, жесткіе, съ просѣдью, носъ длинный, съ горбиною, глаза черные, изъ-подъ густыхъ бровей словно уголья выглядывали, должно быть, шибко была красива съ молоду.

Здоровая была баба, даромъ что въ лѣтахъ, хорошая работница; мужъ доволенъ былъ ею такъ, что ему и не надо было лучшую, и не разъ братъ брату завидовалъ, счастьемъ его попрекалъ, да что тутъ дѣлать! Всякому своя судьба Аллахомъ положена.

Вотъ уже вторая недѣля пошла, какъ обѣ жены съ дѣтьми однѣ безъ мужей живутъ. Уѣхали тѣ на Токмакъ-Ата островъ, до сихъ поръ не возвращались.

Сосѣдъ кара-калпакъ Улла-ханъ,—верстъ за шесть въ ка-

мышахъ кибитка его стояла,—справляться пріѣзжалъ на каикѣ, цѣлые сутки прожилъ и назадъ уѣхалъ.

— Кой-Кочь, джанымъ (душа)!—подластилась «баба» къ своей снохѣ чахоточной.—Ты что видѣла?..

Сама гладитъ ее, ласкаетъ, волосы начала разчесывать пальцами, даково такъ.

— Ничего я не видѣла,—вздохнула Кой-Кочь, — у меня глаза ничего не видятъ... спала я тутъ все время...

— Ну, смотри: «ничего не видѣла»...—смотри же...—говорила ей «баба», — что хорошаго, если бить меня будетъ? А то и совсѣмъ зарѣжетъ... *Онъ* вѣдь сердитый... Что-то *они* только замѣшкались?..

Рыбачья стоянка братьевъ, гдѣ они лѣтомъ забойки ставили, была далеко отъ кибитки, на самой серединѣ озера, верстъ за двадцать, въ самыхъ камышахъ озерныхъ, въ затишьѣ.

Построена была стоянка ихъ такимъ образомъ: камыши со дна ростутъ, надъ водою сажени на двѣ съ половиною, а то и больше, поднимаются; стебли камышевые толстые, въ руку толщиною будутъ, крѣпкіе. Подрѣзываютъ эти стебли снизу, отъ воды на четверть, не болѣе; все, что срѣзано, на комли настилаютъ. Нѣсколько камышинъ свяжутъ вмѣстѣ — столбъ выходитъ, за неимѣніемъ жерди служить можетъ. Эти столбы по четыремъ угламъ ставятъ, привязываютъ и на нихъ крышу легкую настилаютъ изъ камыша же молодого, многолистнаго. Такъ и живутъ въ этихъ шалашахъ на водѣ, какъ на сваяхъ, далеко отъ твердой земли, отъ всякаго звѣря хищнаго, отъ человѣка злого. Кто сюда къ нимъ заберется, кто не знающій въ эти чащи сунется? Такія чащи, что подчасъ изъ нихъ и не выберешься.

Тихо, уютно, спокойно живутъ рыбаки въ своихъ шалашахъ надводныхъ все лѣто, къ зимѣ только на землю перебираются. Одна бѣда только — комаровъ видимо-невидимо и днемъ цѣлыми роями въ зеленыхъ чащахъ носятся, а къ ночи— и не приведи, Господи! Словно туманъ густой, надъ водою они стелятся, звонъ такой стоитъ въ воздухѣ, что говорить надо громко, если хочешь, чтобъ за пять шаговъ услышали. Дохнешь—сотнями въ ротъ да въ носъ забиваются, жалятъ такъ,

что сплошь пузырями покрывается тѣло непривычное, лихорадка трепать начинаетъ. Только и спасенія отъ нихъ, что весь, съ ногъ до головы, кунжутнымъ масломъ съ камфорою вымажешься; а ночью безъ полога холщеваго спать и не думай. И какъ ни бѣденъ кара-калпакъ, голый почти ходитъ, по днямъ голодаетъ, а уже пологъ непремѣнно себѣ добудетъ, хоть на троихъ и больше одинъ, а справятъ себѣ это приспособленіе.

По всему озеру Сары-куль и по другому тоже много шалашей-стоянокъ понастроено. Приживутся слишкомъ на одномъ мѣстѣ, выловятъ рыбу, напугаютъ ее очень—на другое переѣзжаютъ, опять строятся; такъ и кочуютъ все лѣто по озерамъ.

Бѣда какая на твердомъ берегу случится — хивинскіе ли сборщики понаѣдутъ, тюркмены ли шалить начнутъ, пришлетъ ли ханъ народъ сбирать, да на свои работы гнать— сейчасъ всѣ на лодки, кибитки свои снимаютъ да со всѣми семьями, со скотомъ да скарбомъ удираютъ они въ камыши свои неприступные. Поди, ихъ тамъ разыскивай!

Лѣтъ двадцать тому назадъ арыки надо было чистить для узбековъ около «Хозаръ-Аспа» города, пескомъ ихъ занесло очень; прислалъ ханъ сюда людей сгонять; полевыхъ всѣхъ забрали и угнали на работу чужую, подневольную, безплатную, а озерныхъ никого не захватили: всѣ ушли. Пробовали разыскивать ихъ на каикахъ — не нашли никого, двѣ лодки съ ханскими нукерами даже безъ вѣсти пропали. Пробовали выжигать ихъ огнемъ, запалили камыши, да сыры очень, воды много, не загораются; такъ и бросили.

Разсердился ханъ, а дѣлать нечего; «людей моихъ, говоритъ, только бы вернули». А какъ ихъ вернуть, когда на взморье, за сто верстъ слишкомъ, тѣла ихъ разбухшія на песокъ выкинуло?

Что же мудренаго, что отъ такой жизни хорошей присылали разъ кара-калпаки къ русскимъ челобитную, придти просили и принять ихъ въ свое подданство. Приходить только русскимъ сюда далеко было, да пока и не зачѣмъ. И еще того хуже стало народу этому, какъ узнали въ Хивѣ про ихъ просьбу да замыслы.

Вотъ въ эти-то мѣста, къ этимъ-то людямъ и попалъ Степанъ-Малышъ, только-только довелось ему ступить на «желанную землю хивинскую».

XXX. Понялъ?

Вотъ третій мѣсяцъ, какъ живетъ Степанъ-Малышъ у братьевъ батракомъ подневольнымъ.

Обтерпѣлся теперь онъ, попривыкъ уже, обжился, да и къ нему приглядѣлись тоже; довольны были хозяева; работникъ-то онъ оказался больно хорошъ; правду говорятъ, что за одного «уруса» десять иранцевъ отдать можно.

Сначала было недомолвка вышла между Степаномъ и братьями, да дѣло скоро уладилось.

Какъ поправился Степанъ, недѣлю спустя послѣ его привоза, разговорился, какъ умѣлъ, съ Иртыкомъ, все его объ дальнихъ землякахъ разспрашивалъ, какъ въ Хиву дорога, какъ къ тюркменамъ пройти можно, гдѣ, молъ, живетъ Салтыкъ Аблаевичъ какой-то. Жалѣлъ шибко парень, что каикъ у него отняли, особенно какъ узналъ, что въ здѣшней сторонѣ вездѣ водою проѣхать можно. Потомъ собираться сталъ.

— Ты куда же это? — спросилъ его Иртыкъ, усмѣхнувшись при этомъ.

Усмѣхнулся и Катта-Курсакъ-бай, а баба его, такъ та просто фыркать начала. Только «Кой-Кочь» одна вздохнула и глаза свои слезливые на него, сколько могла, вытаращила.

— Да вотъ иду... Дѣло тутъ у меня одно есть въ земляхъ вашихъ, человѣка одного разыскиваю; затѣмъ сюда и пріѣхалъ...—замялся Степанъ, не хотѣлъ всю правду выкладывать.

— Ну,—говоритъ ему Иртыкъ-бай,—это ты хорошо задумалъ; только кто же это за тебя выкупъ пришлетъ, или ты самъ, можетъ, расплатишься? Сто тилей золотыхъ—большія деньги!

— Какія сто тилей? — удивился Степанъ. — Про какія деньги такія говоришь ты?

— А такія, что поведи я тебя сейчасъ на базаръ хивинскій, а то и такъ къ кому изъ богатыхъ людей, вотъ хоть къ муллѣ Ишану, что за Нукусомъ живетъ, сады большіе держитъ, онъ сейчасъ мнѣ за тебя сто тилей отсчитаетъ, а то и больше, если поторговаться хорошенько...

— Да я-то что же, скотина, что, ли, какая, что меня на базаръ тащить можно?—разсердился Степанъ.—Коли за прокормъ мой что слѣдуетъ, за недѣлю эту, такъ и то ваши меня до-чиста ограбили!

*

— Сторона здѣсь такая, — заговорилъ тутъ Катта-Курсакъ-бай,—что и сторожить тебя не станемъ; самъ отъ насъ не уйдешь, а уйдешь—заплутаешься, сразу нагонимъ; и высидишь ты у насъ на цѣпи, коли на волѣ жить не умѣлъ; да и то еще, если не подъ сердитую руку попадешь, а то и горломъ своимъ поплатишься... Понялъ?..

— Живи у насъ смирно, что велятъ—дѣлай, о побѣгѣ и не думай, и тебѣ самому хорошо будетъ!—добавилъ тутъ и Иртыкъ-бай.—У насъ много лучше, чѣмъ у какого хивинскаго человѣка или у тюркмена; у насъ тебя ни бранить, ни бить не будутъ; а работа та же, что и мы сами работаемъ. Убѣжишь, въ другія руки попадешься, самъ потомъ назадъ къ намъ вернуться захочешь, только ужъ *отъ нихъ* не вывернешься. Да, впрочемъ, и отъ насъ тебѣ удрать не придется—понялъ?..

— Это вотъ видишь?—заговорила и «баба-старуха» и потянула къ себѣ козу бѣлую за веревочку.—Видишь, вотъ рвется она туда вонъ, къ тѣмъ, въ кусты просится, да не пускаютъ ее, потому нельзя. Оборветъ одну веревочку, другую найдемъ, покрѣпче... Понялъ?

Разсмѣялись тутъ оба брата, на козу-прыгунью поглядѣвши да на Степана тоже. Одна только Кой-Кочь слова не промолвила, отвернулась въ сторону и стала подоломъ рубахи глаза свои вытирать; зачесались они у ней что-то, пуще мокнуть начали, дымомъ, знать, ихъ костровымъ разъѣло.

Ну, и понялъ Степанъ-Малышъ, понялъ такъ, что въ жаръ и въ холодъ сначала ударило, а потомъ оправился, промолчалъ, ничего не отвѣтилъ, только въ себѣ затаилъ свою думу тяжелую.

. . . . . .

А недѣля еще прошла, перестали братья за нимъ даже и приглядывать. Случалось даже, что сами на нѣсколько дней отлучались изъ дому, а его одного оставляли съ бабами.

Говорила имъ тоже баба-иранка, что она и одна углядитъ за «урусомъ», одна, коли нужно будетъ, съ нимъ и справится. Да и кругомъ, верстъ за пятьдесятъ, всѣ уже Степана въ лицо знали, перехватили бы, если бы гдѣ ненарокомъ встрѣтился.

XXXI. Гость недобрый.

Прошла осень, пожелтѣли камыши на озерѣ, словно лѣсъ золотой горятъ на солнышкѣ; комары пропали, мошки, черви, всякая гадина мелкая; стала рыба уходить отсюда, къ взморью да къ взморью все отходила. Нечего больше рыбакамъ въ своихъ стоянкахъ надводныхъ работать. Стали они на зимовку на матерую землю перебираться.

А тутъ и заморозки пошли; сперва по ночамъ да къ утру, а тамъ до полдня держаться стали. Подернулась вода, словно саломъ, тонкою ледяною коркою; вѣтры холодные задули съ сѣвера, и уныло, тоскливо загудѣли кругомъ потерявшія листву непроходимыя заросли.

Собралась вмѣстѣ вся семья наша на мыскѣ «Урда», принялись по зимнему положенію устраиваться.

Кибитченку оглядѣли: ничего, еще держится, заплату только наложить на тендюкъ одну-другую, а то протерпитъ зиму, да и не одну еще, можетъ. Ну, эта—чинка бабье дѣло, не мужское.

Иртыкъ со Степаномъ камышу нарѣзали, кругомъ кибитку въ два ряда обставили, веревкою обтянули и земли снизу нагребли цѣлый валикъ, чтобы не поддувало.

Катта-Курсакъ-бай для козъ загончикъ устроилъ, высокій, чтобъ звѣрь ночью заскочить не могъ; крыши надъ загономъ не дѣлали, не зачѣмъ, да и коза скотина неприхотливая, не нуждается.

Котелъ снаружи оставили, а въ кибиткѣ, какъ разъ посрединѣ, ямку не глубокую расчистили для угольевъ, чтобы теплѣй было, особенно въ ночи зимнія длинныя.

Размѣстились такъ всѣ въ одной кибиткѣ своей, одинъ братъ съ женою своей одну половину занялъ, другой—другую, а Степану у ногъ своихъ поперекъ велѣли ложиться. Хотѣлъ было Степанъ себѣ особую закуточку сгородить около, да не допустили: убѣжишь, говорятъ; какъ мы тебя устережемъ ночью, когда ты отдѣльно спать будешь?

Хитрые братья и тутъ, въ кибиткѣ, приспособленіе на этотъ счетъ сдѣлали. Дверь въ кибитку была опускная, камышевая, такъ они къ нижней кромкѣ палку поддѣлали и концы палки этой на ночь въ стѣнки втыкали. Мало того, веревочки къ концамъ этимъ подвязали и къ своимъ изго-

ловьямъ протянули—небойсь, услышатъ, когда *тотъ* приподнимать станетъ, задергаетъ.

Каики на берегъ выволокли и днищами кверху перевернули; надъ этимъ вотъ дѣломъ не мало тоже труда да силы потрачено было. Топлива не запасали, не зачѣмъ. Долго ли пойти нарѣзать, когда понадобится, кусты-то вотъ они, подъ рукою. Рыбу, запасенную на зиму, подъ каики сложили, а чтобы шакалики не подлѣзли, задѣлали пролеты на-глухо, чѣмъ попало, и землею присыпали; траву да молодой камышъ, что бабы еще лѣтомъ для козъ нащипали, свалили всю къ нимъ же въ загончикъ, пускай жрутъ сами, когда хотятъ и сколько хотятъ: не хватитъ если, сами, значитъ, виноваты, придется имъ изъ-подъ снѣга промерзлые стебельки выгрызать. Да еще это съ полгоря! Зима-то здѣсь какая: мѣсяцъ пройдетъ, другой начнется, глядь—и тепломъ весеннимъ повѣетъ, а снѣгу малость самая, и землю-то подчасъ не покрываетъ: случается, что и вовсе его во всю зиму не увидятъ. Вѣтеръ только холодный, рѣзкій, да дожди одолѣваютъ, гололедица тоже мучитъ, потому послѣ дождливаго дня часто такіе морозы бываютъ, что и по русской землѣ въ пору приходились бы.

Не любитъ кара-калпакъ зимы, скука его одолѣваетъ безъ дѣла, безъ промысла всякаго. Полевымъ еще ничего, тѣ въ свои кишлаки укрѣпленные на зиму собираются, кучами сидятъ, ну, и весело съ народомъ; тутъ и сватовства пойдутъ, свадьбы, праздники. Тюркмены придутъ—всѣ вмѣстѣ за своими стѣнами высокими отъ нихъ отсиживаются; разговору послѣ на все время хватаетъ. Вѣсти разныя со всѣхъ концовъ сюда доходятъ: что въ Хивѣ дѣлается, что за Талдыкомъ злою рѣкою, что съ сѣвера объ русскихъ слышно. Ярымъ-паша, сѣдой старикъ, что въ Ташкентѣ сидитъ, не соберется ли сюда съ своими «бѣлыми рубахами» *),—обо всемъ знаютъ. Ну, а здѣсь, въ заросляхъ, у «озерныхъ», не то. Тоска нападаетъ, спячка какая-то, и ждутъ они, не дождутся, скоро ли снова весною отъ моря потянетъ.

Устроились братья на зиму. Потянулось день за днемъ время тоскливое.

---

*) Ярымъ-паша—полъ-государя. Акъ-кульманъ—бѣлая рубаха; такъ называютъ русскихъ солдатъ по цвѣту ихъ одежды.

Рѣдко кто изъ сосѣдей сюда въ гости заходили—что къ бѣднякамъ ѣздить, какое они могутъ дать угощеніе! Къ богатому—другое дѣло: тотъ барана сваритъ, чаю подастъ, «буза», пожалуй, найдется. А братья не изъ богатыхъ считались, да и нравомъ были угрюмы, непривѣтливы, особенно Катта-Курсакъ-бай. Все ему казалось, что какъ придетъ кто чужой, на его иранку-безымянку не хорошо смотрѣть сейчасъ станетъ, даромъ что она сразу, съ перваго взгляда, вѣдьма-вѣдьмою кажется. Особенно мужъ ея ревнивый одного сосѣда не долюбливалъ, Уллу-хана долговязаго. Сердце его, должно быть, правду чуяло.

Разъ, подъ вечеръ, слышатъ, кусты трещатъ, топочутъ по замерзшей тропиночкѣ копытца маленькія. Мелькнулъ межъ сѣрыми прутьями да листьями уцѣлѣвшими желто-красными верхъ шапки черной, полотенцемъ опоясанной. Кого, молъ, Аллахъ посылаетъ?

Навѣстилъ братьевъ на этотъ разъ мулла старый, тотъ самый, что съ ними на Токмакъ-Ата островъ ѣздилъ. Слѣзъ съ своего ослика, привязалъ его къ кусту.

— Пусти его въ загонъ къ козамъ,—кричитъ Иртыкъ,—видишь, время къ ночи, у насъ спать будетъ, все отъ звѣря безопаснѣе. Эй, Кой-Кочь, отведи ишака въ загородку!

Поздоровались.

— Ну, что, какъ *этотъ* у васъ живетъ?—кивнулъ мулла на Степана, когда усѣлись всѣ въ кибиткѣ.

— Золото, не работникъ, — похвастался Катта-Курсакъ-бай,—такого ни у кого нѣту...

— Смирный, послушный!—похвастался и Иртыкъ тоже, входя тутъ въ кибитку.

Нагребъ онъ угольевъ изъ-подъ котла и принесъ ихъ въ полѣ халатной, всыпалъ въ ямку поверхъ горѣвшихъ, присѣлъ, сталъ полою же раздувать, о теплѣ стараться для гостя.

— Такой-то работникъ,—говорилъ онъ,—что его ни за какія деньги продать невозможно! Все умѣетъ, все понимаетъ, по нашему говорить уже началъ. Ретивый такой... Вѣришь-ли, ни разу бить не приходилось!

— Своему Богу молится?—спросилъ мулла.

— Не видалъ что-то. Разъ какъ-то тыкалъ пальцами въ лобъ да въ плечи, говорилъ что-то!

— Молится, молится!—затараторила иранка, выглянувъ изъ-за занавѣски.—Я видѣла. Вонъ тамъ, въ кустахъ, сегодня-же утромъ на колѣняхъ стоялъ, да долго такъ,—я видѣла...

— А ты зачѣмъ туда сама ходила? — угрюмо взглянулъ на нее Катта-Курсакъ-бай.

— Надо, значитъ, было!—усмѣхнулась баба его.

Покосился на нее мулла. Ишь, ты, глаза какіе огневые. И съ чего это она жиромъ такъ обкладываться стала? Хорошая еще баба!

Протянулъ-было онъ руку къ ней легонько, благо уголья тухнуть начали, потемнѣло въ кибиткѣ. А та оттолкнула его, засмѣялась и назадъ за занавѣску спряталась.

И слышитъ мулла, какъ она ребенка своего укачиваетъ, пѣсню запѣла; что на умъ придетъ, то и вставляетъ въ пѣсню.

«Старый козелъ, вонючій, который разъ къ козѣ пристаетъ, да рога-то его совсѣмъ затупились», поетъ иранка и добавляетъ говоркомъ уже:—Ну, спи, спи, мой козленочекъ, спи. Выростешь—обмочалишь свою плеть о спину козла стараго, вонючаго».

« Ну, хорошо,—подумалъ про себя мулла,—это тебѣ такъ не пройдетъ даромъ; погоди же ты, узнаешь «стараго козла», увидишь, каковы у него рога; небойсь, и не такіе бока, какъ твои, пропороть съумѣетъ».

— Приди кто ко мнѣ, — говорилъ свое Иртыкъ-бай, — скажи мнѣ: хочешь за своего «Стыпана» сорокъ лошадей, сорокъ барановъ, сорокъ коровъ и деньгами сорокъ тилей,—не отдамъ!

— Триста тиля уже давали,—совралъ тутъ и Катта-Курсакъ-бай,—не отдали!

На всякій случай впередъ этого забѣгали братья—пускай, дескать, по народу расходится, пригодится.

Поговорили еще о томъ, о семъ, спать ложиться собрались; пошли бабы за камышемъ для постели.

Иртыкъ-бай на свою постель хочетъ уложить гостя, Катта-Курсакъ свою предлагаетъ. Покобенился мулла, говоритъ: «старшему почетъ нуженъ; кто изъ васъ старшій?»

— Я,—говоритъ Иртыкъ-бай,—двумя годами позже родился, я младшій!

Полѣзъ мулла тогда къ иранкѣ за перегородку; та къ са-

мой стѣнкѣ прижалась, ребенка съ боку положила съ другого. Катта-Курсакъ рядомъ со Степаномъ легъ, заснули.

Только свѣтать стало, поднялся гость на ноги, зѣвнулъ, кашлянулъ, за намазомъ изъ кибитки вышелъ; хозяева тоже проснулись. Костеръ большой развели грѣться, назяблись въ кибиткѣ за ночь.

Сердитый такой мулла сталъ отчего-то, сидитъ, скорчившись, шапку высокую на брови надвинулъ, на огонь смотритъ; на вопросы: «хорошо-ли спалъ ночью, легкіе-ли сны видѣлъ?» не отвѣчаетъ вовсе.

«Что такое? — думаютъ братья, — Чѣмъ недоволенъ гость Божій? Кажется, все, что надо ему, сдѣлали».

— А мнѣ съ тобою поговорить надо,—говоритъ старшему брату мулла.—Толки нехорошіе про тебя по ауламъ ходятъ; я даже въ городѣ Чимбаѣ проѣздомъ слышалъ объ этомъ!

— Что за толки?—удивился Катта-Курсакъ.—Про меня да худое, говоришь ты, про меня?

— Не то что совсѣмъ про тебя, а до тебя близко касается!—вымолвилъ мулла.

На иранку покосился при этомъ, усмѣхнулся ядовито такъ. Та потупилась.

— Не нужно другому уху слушать того, что для одного назначено!—говоритъ онъ.

— Да что такое, говори-же—нахмурился Катта-Курсакъ,—началъ, такъ разсказывай!

— Уллу-хана знаешь?

Поблѣднѣлъ «старшій братъ», губы сжалъ плотно, закусилъ даже, говоритъ:

— Знаю!

— Ну, такъ пойдемъ, я разскажу тебѣ, что такое про тебя худо разсказываютъ!

— Не вѣрь ему, вретъ все онъ! — накинулась тутъ иранка.—Онъ самъ...

— Молчи, чекалка подлая, полѣзай въ нору свою!—крикнулъ Катта-Курсакъ-бай.

И отошли они съ муллою въ сторону, отъ кибитки подальше, за загородку козью спрятались.

Уѣхалъ гость, замолкъ стукъ копытъ его ослика. Привязалъ Катта-Курсакъ-бай свою жену къ колу, стащилъ халатъ и рубаху; та молчитъ, только зубы стиснула. Связалъ мужъ пучекъ прутьевъ колючихъ. Страхъ напалъ на Степана, на всѣ эти сборы глядючи.

— Смотри, не забей ее до смерти,—говоритъ Иртыкъ.— Можетъ, и вретъ еще мулла, а то безъ жены останешься, что хорошаго! Наказать, накажи, а не убивай. Слышишь?

Принялся хлестать Катта-Курсакъ, завыла иранка несчастная, заметалась на привязи.

— Чуетъ мое сердце, что не вретъ мулла, правду говоритъ!—хлещетъ тотъ, самъ захлебывается.

Ребенокъ плачетъ, за полу отца дергаетъ; Кой-Кочь реветъ тоже, надрывается; Иртыкъ молча сидитъ, только въ сторону отвернулся и уши зажалъ руками, чтобы крику не слышать того отчаяннаго.

— Правда, говори, правда?—рычалъ даже Катта-Курсакъ,— Сознавайся, змѣя подлая, лживая!

Не вытерпѣлъ Степанъ, кинулся на бившаго, вырвалъ прутья изъ рукъ, такъ толкнулъ, что тотъ на ногахъ еле удержался, покачнулся, ошалѣлъ совсѣмъ и на *раба* своего, уруса, смотритъ.

— Богъ и твой, и мой не велитъ убивать человѣка. Онъ за то тебѣ добра не пошлетъ, не будетъ тобѣ ни покою, ни удачи ни въ чемъ, ни счастья! — кричитъ Степанъ, — Руки отсохнутъ твои, болѣзнь ихъ покроетъ. Прости ты ее; наказалъ, ну, и довольно. Прости теперь. Ты ее простишь, а Богъ за это всѣ грѣхи твои проститъ, всѣ дѣла худыя. Ужли-же ты самъ ни въ чемъ передъ Богомъ не грѣшенъ?

— Развяжи ее,—глухо такъ проговорилъ Катта-Курсакъ-бай,—отведи въ кибитку, тамъ Кой-Кочь знаетъ, что дѣлать нужно. А я туда пойду!

Махнулъ онъ куда-то въ сторону рукою и зашагалъ потихоньку по той-же тропинкѣ, куда и мулла поѣхалъ, а Степанъ съ Кой-Кочь стали избитую иранку развязывать.

XXXII. Месть.

Вернулся Катта-Курсакъ только къ ночи. Злой пришелъ такой, не обвѣтрился, значитъ.

— Пойдемъ!—говоритъ брату.—Въ дорогу собирайся!

— Куда же мы пойдемъ? — спрашиваетъ Иртыкъ.—Развѣ добрые люди по ночамъ рыскаютъ? Это звѣрямъ пристойно да ворамъ съ руки, а честные люди по домамъ сидятъ, спятъ на своихъ постеляхъ!

— Пойдемъ, нечего тутъ. Улла-ханъ въ гости звалъ, пойдемъ къ нему. Прямою дорогою пойдемъ, тамъ теперь трясина замерзла, нога не тонетъ!

— Не доброе дѣло ты затѣваешь, — говоритъ Иртыкъ.— Оставь лучше; сгоряча человѣкъ...

— Все правда, — твердитъ свое Катта-Курсакъ, — все правда; не хочешь ты идти со мною — и одинъ справлюсь. Только не законъ брату отъ брата отставать. Изъ одного котла ѣдимъ, подъ одной кровлею живемъ, какъ одна рука обѣ руки подниматься должны, на то мы братья!

— Ну, пойдемъ!—вымолвилъ Иртыкъ и сталъ въ дорогу собираться.

Взяли ножи съ собою, взяли палки окованныя, подвязали кошемки подъ ступни, чтобы по льду не скользили, когда напрямикъ пойдутъ. Оробѣли бабы, струсилъ и Степанъ— видитъ, что дѣло совсѣмъ неладное затѣвается.

Ушли Иртыкъ-бай съ Катта-Курсакъ-баемъ.

Не спалось всю ночь Степану; справилъ онъ все по хозяйству, огонь развелъ въ кибиткѣ, дверь входную опустилъ, лежитъ самъ на своемъ мѣстѣ, передумываетъ.

Лежитъ и «баба» исполосованная, мечется, стонетъ; Кой-Кочь у ней колючки въ тѣло засѣвшія выковыриваетъ, водою теплою обмываетъ, саломъ сомовьимъ смазываетъ.

Занавѣска приподнята, все-то видно Степану, и его видятъ женщины.

— Ты добрый, — говоритъ сквозь стоны иранка, — ты добрый, хорошій человѣкъ!

Заплакалъ Степанъ потихоньку, вспомнилъ, какъ его Марина тоже разъ «добрымъ» назвала.

— Если бы встать могла, я бы тебя погладила, — говоритъ больная;—поди ты сюда лучше, подвинься поближе. *Тѣ*-то далеко ушли, не увидятъ; пойди сюда. Ну-же!

— Не надоть!—отмахнулся Степанъ,—Ну тебя къ чорту! Лежи, знай, выздоравливай. Хуже чего-бы на завтра не услы-

шали. Вишь, вы какіе всѣ сердитые да безсудные, самоправомъ норовите!

— Дай ему айрану *), Кой-кочь. Тамъ онъ въ кувшинѣ стоитъ, съ твоей стороны. Я ужъ думала—забьетъ *онъ* меня совсѣмъ; по бокамъ все норовилъ да по брюху, гдѣ опаснѣе!

— Зачѣмъ муллу разсердила? Не надо злого человѣка сердить. Вотъ онъ...

— Попадись мнѣ онъ теперь, всю бороду по волоскамъ выщиплю, все лицо исцарапаю, глаза его выдавлю! Ой-ой, какъ больно! Ой! Горитъ! Ножъ будетъ — кишки выпущу, попадись только!

— Ну, не злись! Мечешься вотъ, оттого и больнѣе стало. Лежи покойнѣе!

Заснула, наконецъ, больная иранка; заснула и Кой-Кочь, ребятъ на ночь покормивши; заснулъ и Степанъ, у огня свернувшись.

— Эй!—кричитъ Иртыкъ, отъ кибитки недалеко.—Ге-гей, «Стыпанъ!»

— Подохли всѣ, что-ли! Выходи вонъ. До какихъ поръ спать будете?—слышенъ и Катта-Курсакъ-бая голосъ.

Вернулись братья; видно, что шибко, бѣгомъ назадъ бѣжали. Всѣ въ поту и дышатъ тяжело. У Иртыка руки, а у брата его весь халатъ спереди кровью забрызганы.

Свѣтло, ярко такъ на небѣ утренняя зорька разыгралась, фазаны (каргаулы) въ чащѣ перекликаться стали.

Разнеслась по озерамъ вѣсть, что съ Улла-ханомъ бѣда случилась.

Пришли къ нему братья съ мыска «Урда», совсѣмъ человѣка искалѣчили. Лучше-бы ужъ зарѣзали. Лежитъ теперь Улла-ханъ больной, или помретъ, не выдержитъ, или на всю жизнь калѣкою останется. Такъ-то его Иртыкъ съ Катта-Курсакомъ не хорошо обидѣли.

Кто говоритъ: «эки разбойники!» Кто говоритъ: «такъ, молъ, ему и слѣдуетъ».

Однако остерегаться стали теперь братья. Родные тоже

---

*) Молоко козье, скисшееся.

есть у Уллы-хана, вступятся, пожалуй, «кровь да обиду» вымещать станутъ.

Съ этой поры братья выходить куда стали вмѣстѣ, даже Степана всегда брали съ собою: на трехъ человѣкъ тоже не очень-то храбро соваться будутъ, отстояться можно.

— Видишь, что ты надѣлала, — упрекалъ Иртыкъ свою сноху виноватую,—все изъ-за тебя, скверная!

— Столько же я тутъ виновата,—твердила та,—сколько вотъ коза эта, что съ козленкомъ ходитъ; наговорилъ только на меня мулла вашъ. Онъ человѣкъ извѣстный. Отъ кого всегда всякое зло выходитъ?

— Молчи ужъ, не запирайся, — ворчалъ Катта-Курсакъ-бай,—не напоминай лучше!

Разъ, темная ночь была такая, хоть глазъ выколи, ничего, все равно, не видно, спали всѣ крѣпкимъ сномъ въ своей кибиткѣ; вдругъ козы въ закутѣ всполошились.

«Звѣрь бродитъ», подумалъ Степанъ и взглянулъ, дверь приподнявши.

Проснулся тутъ и Иртыкъ-бай, тоже взглянулъ, разбудилъ брата, обошли они кругомъ кибитки, къ козамъ навѣдались—ничего, все спокойно, благополучно.

А въ кустахъ засѣли и притаились три человѣка недобрые: отецъ Уллы-хана, съ своимъ зятемъ, да братишка его десятилѣтній.

Только снова въ кибиткѣ заснули — вспыхнулъ огонекъ въ кустахъ, въ другомъ мѣстѣ тоже загорѣлось, посрединѣ какъ разъ затрещалъ кустъ сухой, смолистый.

А вѣтеръ-то былъ сѣверный, какъ-разъ на кибитку, порывистый такой, сильный.

Быстро разгорѣлось яркое пламя. Не успѣли братья вонъ выскочить, разбуженные свистомъ да трескомъ, а уже стѣною, полукругомъ, всѣ кусты охватило пожаромъ.

Пробовали кибитку снять поскорѣе, да жаромъ ихъ ободаетъ, камыши-огородки вспыхнули; кинулись къ капкамъ — примерзли крѣпко, не оторвешь никакъ. Пока съ лодками возились, загончикъ съ козами занялся; кричитъ скотинка, наружу рвется.

И опомниться не успѣли, какъ все добро братьевъ до-чиста пожарало пламя жадное. Легли спать хозяевами,—проснулись въ однѣхъ только рубахахъ да въ халатишкахъ отрепанныхъ,

и кибитки, и лодокъ, и козъ, и запасу своего,—всего разомъ лишились.

И увидѣло ихъ солнце утреннее на пустомъ, почернѣломъ пожарищѣ.

XXXIII. Какъ братья межъ собою спорили, на чемъ порѣшили, и какое дѣло задумала иранка ехидная.

Какъ остались братья безъ всякихъ средствъ къ жизни, безъ возможности даже продолжать свой нехитрый рыбный промыселъ, крѣпко они тогда призадумались.

Хоть въ рабочіе изъ-за хлѣба только идти къ кому изъ богатыхъ, такъ въ пору. Да и къ кому пойдешь? По ихъ округѣ нѣтъ такихъ, чтобы нанимать могли: все байгуши, самимъ прокормиться, такъ въ пору. Къ узбекамъ идти, къ городамъ,—Боже сохрани! Все одно тѣ-же «кулы» (рабы) будутъ, только разница вся, что продавать ихъ нельзя, мѣнять тоже, потому не «невѣрные» они, не «собаки» какія, мусульмане считаются; закону нѣтъ такого, чтобъ продавать мусальманина!

Только пришла имъ мысль о продажѣ, такъ и поглядѣли оба сразу на Степана, точно одно и то-же забрело имъ въ головы...

— И точно продать,—заговорилъ Катта-Курсакъ-бай.—Что дѣлать! Поведемъ *его* къ сеидовой мечети!

— Продать недолго,—сказалъ тутъ Иртыкъ,—продать можно, только *обоихъ*-ли продавать, или одного кого... Ну-ка, сколько намъ денегъ нужно, чтобы каикъ хоть купить на первое время да кибитку какую-нибудь?

— Обоихъ?—вытаращилъ глаза Катта-Курсакъ,—Какихъ обоихъ? Ты кого-же это *другимъ* считаешь?

— Я по правдѣ думаю. Правда прежде всего... Правдою человѣкъ живетъ, а неправдою...

— Спутало горе умъ у тебя, теперь вотъ и языкъ путаетъ говори яснѣе...

— Изъ-за кого горе это приключилось? Кто всему злу виноватый, по-твоему?

— Воля Аллаха, никто больше!

— *Она*—кто?..

Протянулъ тутъ руку Иртыкъ, положилъ на плечо жены брата своего, на нее указываетъ.

— Ты самъ знаешь,—потупился Катта-Курсакъ-бай. — А Кой-Кочь твоя? Объ ней что не говоришь?

— Кой-Кочь правовѣрная, у муллы хоть спроси,—ее нельзя, она жена мнѣ настоящая; самъ ты на свадьбѣ былъ... Ну, а на твоей свадьбѣ кто «барана ѣлъ, кто айранъ пилъ молитвенный» *)?

— Все равно это,—промолвилъ старшій братъ,—все равно...

— Нѣтъ, не все равно! Она—*собака, шіитка, иранка*, она хуже русскаго, она теперь вредъ надъ сдѣлала, она и другой разъ сдѣлаетъ то-же... Ее держать въ дому—«уголь горячій въ сухой камышъ прятать».

— Моя въ *немъ* половина, что хочу то съ *нею* и сдѣлаю!—рѣшилъ наотрѣзъ Катта-Курсакъ-бай, на Степана указалъ при этомъ,—А жены своей не отдамъ... Зависть говоритъ въ тебѣ, я знаю. Какъ это у брата хорошая жена, а у меня, молъ, такая *дохлятина*... Ну, вотъ и тащи свою Кой-Кочь на базаръ на веревкѣ; кто тамъ разбирать станетъ, правовѣрная она или нѣтъ... Только не знаю, дастъ-ли кто за нее хоть коканъ фальшивый; я думаю, такого не найдется...

Шибко повздорили братья, чуть до драки не дошло, за ножи даже брались, спорили, спорили, рѣшили къ муллѣ на судъ пойти, только вспомнили, чѣмъ-же они платить будутъ муллѣ этому? Даромъ-то онъ и языка не повернетъ для нихъ, проходятся только напрасно, время потеряютъ... Вотъ они и одумались.

Солнце на полдень еще не поднялось—порѣшили дѣло Иртыкъ съ Катта-Курсакъ-баемъ.

Хоть и жалко Степана, работника ретиваго, человѣка такого смирнаго, хорошаго да добраго, да что дѣлать, разставаться съ нимъ все-таки приходится.

Не годится брату противъ брата идти, не годится, столько лѣтъ вмѣстѣ живя, ссориться. Да и другой тоже разсчетъ дѣло имъ, какъ слѣдуетъ, выяснилъ.

Продадутъ иранку—получатъ за нее тридцать тилей; больше никто не дастъ... Положимъ, красивая она еще баба, годная, да все-таки въ лѣтахъ,—года три-четыре пройдетъ—никто на нее не позарится... А что на тридцать тилей сдѣлаешь?

---

*) Угощеніе гостямъ, входящее въ свадебный обрядъ.

Каикъ только купишь, да и то немудренный, плохенькій. Ну, а на сто тилей — другое дѣло: тутъ все обзаведеніе справить можно на такія деньги; значитъ, какъ ни прикидывай, а веди на базаръ *его, сотеннаго.*

«Судьба, значитъ,—подумалъ Степанъ, про рѣшеніе хозяйское услышавши;—воля Божья! Коли на Его, милостиваго, положился, такъ не ортачься; что те выйдетъ, то и ладно... Можетъ, это Господь настоящую дорогу указываетъ? Почемъ знать, что впереди случится... Не попустилъ Богъ утонуть, на сушу выкинулъ, къ нимъ вотъ попалъ, дальше... Эхъ! Волосъ съ головы человѣческой... такъ-то вотъ! Это еще дѣдушко Денисъ, когда живъ былъ, завсегда сказывалъ».

Заплакала Кой-Кочь только, да и то оттого, либо отъ другого чего, неизвѣстно; никто даже и не замѣтилъ слезъ ея; а увидалъ-бы Иртыкъ, далъ-бы ей трепку, потому мало-ли что человѣку можетъ подуматься!

Иранка ничего не сказала, промолчала, вся въ себя притаилась, знай только на погорѣломъ мѣстѣ копается, рыбу уцѣлѣвшую изъ золы крюкомъ выгребаетъ, желѣзо всякое разыскиваетъ: гвозди, крючья, багры, разное...

Сладили съ одною заботою, другая осталась, горше первой: месть Улла-ханова.

Узнать надо было: считаетъ-ли Улла-ханъ и родные его эту месть покончепной, или до крови ихъ добираться будутъ? Коли до крови, такъ они и сами зубасты, еще кто кого одолѣетъ, а если конецъ, то этому концу они и сами рады были-бы... Поквитались—и довольно; что жить на-сторожѣ вѣчно, каждаго куста оберегаться; зачѣмъ руку свою вѣчно на ножѣ держать, рука и на другое что, хорошее, пригодится... Какъ-бы теперь разузнать, что на мысляхъ у врага ихняго?

За это вотъ дѣло Иртыкъ взялся. Безъ подарковъ пошелъ, хоть и не по обычаю это, да откуда-же взять пока? Про это неимѣнье Уллѣ-хану лучше кого другого извѣстно... Пообѣщать, все равно, можно, послѣ сочтутся.

Ушелъ Иртыкъ-бай, остались втроемъ погорѣльцы, шалашъ кое-какой себѣ сгородили, спать легли...

Только слышитъ Степанъ ночью: толкаетъ его кто-то впросонкахъ, у самаго уха горячо дышетъ; приподнялся парень, рукою тронулъ,—женщина.

— Тише!—шепчетъ ему, чуть слышно, иранка.—Иртыкъ раньше двухъ дней не вернется... *этотъ* крѣпко спитъ. Зарѣжь его и убѣжимъ оба... я тебя въ такія мѣста проведу, что никто не разыщетъ, убѣжимъ!.. Вотъ тебѣ ножъ — на, бери, да вотъ, вотъ, куда рукою шаришь? Вотъ онъ...

Не сообразилъ Степанъ путемъ даже, что ему говоритъ такое баба ехидная, да смекнулъ, какъ сонъ у него разогнало... Въ ознобъ его даже ударило, зубы другъ о дружку заколотились...

А иранка лѣзетъ, жмется къ нему, руками обвиваетъ, цѣлуетъ, совсѣмъ вотъ какъ Авдотья его, какъ станетъ, бывало, ластиться, или вотъ... Нѣтъ, не то, и не похоже даже...

— Милый мой, хорошій, свѣтикъ яркій, козленочекъ бѣленькій...—шепчутъ ему на ухо губы горячія...

Вспомнилъ тутъ Степанъ и про тѣ рѣчи, что прорывались въ розсказняхъ дѣдки корнаухаго, такъ вотъ ему старый бродяга и представился...

«Не попусти, Господь, до убійства! Черное дѣло солнцу кровь человѣческую показывать».

— Уйди ты отъ меня, отстань, сатана! — проговорилъ Степанъ.—Ползи дальше, слышишь!

— Ты посмотри, какая я... посмотри только... за мною пойдешь, какъ коза отъ зеленой травы не оторвешься...

— Уйди, не то крикну, мужа разбужу! Уйди добромъ лучше... отстань, уходи! Ишь, ты!

Вырвалъ у ней Степанъ ножъ изъ рукъ, далеко отъ себя отшвырнулъ, кашлять громко началъ нарочно...

— Хорошо-же! — прошептала иранка, быстро откинулась отъ него, свернулась калачикомъ и захрапѣла, точно всю ночь спала крѣпко, не скоро и добудишься...

— Эге! Что тамъ... идетъ кто-то?—промычалъ спросонья Катта-Курсакъ-бай.

— Ничего,—говоритъ Степанъ;—чекалка въ шалашъ былосунулся, да я прогналъ... Вишь, тутъ ихъ сколько собралось, да воютъ, передъ разсвѣтомъ, значитъ!

Забормоталъ что-то Катта-Курсакъ, должно, молитву какую-нибудь, запрокинулся, захрапѣлъ тоже... И долго не спалъ послѣ этого Степанъ, слушалъ все, какъ мужъ съ женою пере-

храпывались, другъ передъ дружкою словно старались, какъ ребята хныкали чего-то, должно быть, съ холоду, какъ Кой-Кочь ублажала ихъ, въ свое тряпье все кутала; какъ звѣрье завывало въ кустахъ, и потрескивали вѣтви сухія подъ ихъ когтистыми лапами...

XXXIV. Базарный день въ Чимбаѣ.

Вернулся Иртыкъ-бай, не одинъ, съ отцомъ Уллахановымъ пришелъ. Миромъ дѣло все уладили.

Сѣтовали шибко братья, что негдѣ принять было съ почетомъ гостя дорогого, нечѣмъ поподчивать, какъ слѣдуетъ.

— Ну, ничего,—говоритъ старикъ,—самъ я, своими руками добро ваше пожегъ, думалъ, и вы съ нимъ погорите; да теперь уже миръ, объ злѣ не вспоминать больше. Только молите Аллаха, чтобы сынъ мой выздоровѣлъ, а помретъ—тогда ужъ не взыщите, другіе пойдутъ у насъ съ вами счеты!

— Пошли Аллахъ! — сказали въ одинъ голосъ Иртыкъ-бай съ Катта-Курсакъ-баемъ.

— Пошли Аллахъ!—сказалъ и старикъ, отецъ Улла-хана искалѣченнаго.

Проводили старика домой. Отвелъ Иртыкъ обѣихъ бабъ съ дѣтьми, къ тамыру своему, въ зимовки, на полдня пути пѣшаго, въ сторону. А тутъ и базарные дни подходили вскорѣ: одинъ въ Ургенчѣ городѣ, а другой въ Чимбаѣ. Рѣшили братья вести Степана въ послѣдній.

Пошли.

Лѣтомъ, на лодкѣ, большіе объѣзды дѣлать надо, чтобы въ Чимбай попасть, вплоть до Нукуса подниматься надо, потомъ по Куванъ-Джармѣ спускаться, по Кигейли протоку, до самаго базара чимбайскаго, дней на пять дороги хватало; ну, а теперь напрямикъ по льду, черезъ озеро, на «Кушкане-тау» горы на второй день братья придти думали.

— Ты не бойся,—говорилъ Иртыкъ Степану дорогою,—мы тебя хорошему хозяину сбыть постараемся, тюркмену какому-нибудь не отдадимъ, ты не бойся...

— Тюркменъ самъ, не попусти Богъ, встрѣтится, отберетъ и денегъ не заплатитъ,—говорилъ Катта-Курсакъ.—Они такъ-то вотъ къ купцу изъ Бій-базара нагрянули, такъ не

только рабовъ его увели съ собою, а изъ гостей захватили четыре головы... Развѣ на нихъ есть управа? Ихъ, слышно, и въ Хивѣ боятся!

— Ханъ самъ все по ихъ дѣлаетъ, вольница! Ни податей, ничего не платятъ, хорошо имъ жить!

— Съ насъ вотъ шкуру дерутъ послѣднюю, а съ нихъ... Да ты не бойся, пріятель, не попадешь къ нимъ!

— Кто дастъ больше,—началъ Катта-Курсакъ,—кто дастъ больше денегъ?

— Да вѣдь только хорошій человѣкъ, богатый, и не скупится; а у богатаго и жить лучше!

— Все ужъ единственно,—твердилъ свое Степанъ,—какъ, значитъ, судьба, потому ежели...

— Ну, вотъ, ну, вотъ, хорошо, только постой-ка, мы тебѣ руки назадъ свяжемъ, постой...

— Зачѣмъ такъ?—удивился Степанъ,—Для чего вязать? Нѣшто я... Сколько времени такъ у васъ жилъ на свободѣ, а тутъ на привязь; что такое, въ самомъ дѣлѣ?..

— Порядокъ того требуетъ, — сталъ его уговаривать Иртыкъ;—держи вотъ такъ локти!

— Да ну, не упирайся, все равно, скрутимъ, чего барахтаешься!—прикрикнулъ старшій братъ.

— Обычай такой, — говорилъ Иртыкъ;—какъ ведемъ мы тебя на веревкѣ, ну, и видитъ всякъ, что рабъ; а то какъ же узнать тебя? Не кричать-же намъ: «вотъ раба продавать ведемъ, вотъ рабъ! Кому надо?..»

— Законъ такой. Давай, Иртыкъ, свой поясъ; ну, держи! Да не ломайся!..

— Мы не крѣпко тебя, мы чуть-чуть, для виду только Вотъ видишь, всего въ одинъ узелъ!

Нечего дѣлать, пришлось Степану покориться *закону* тому, *обычаю*, хошь и зазорно очень, кровь инда вся въ голову ударила, а дѣлать нечего.

— Значитъ, судьба!..

— То-то «судьба»! По настоящему не поясомъ мягкимъ, а цѣпью надо желѣзною, да веревку петлею за шею, вотъ какъ!—утѣшилъ его Катта-Курсакъ. — Ты ужъ насъ не выдавай: веселѣй гляди, чтобы всѣ видѣли, какой ты работникъ бодрый... Больше дадутъ, мы и тебѣ за это подарокъ сдѣ-

лаемъ, не обидимъ. Что хочешь: халатъ тебѣ или шапку черную?..

— Ничего мнѣ не надобно, дѣлайте, что хотите, что ужъ тутъ! — закручинился Степанъ, бредя между братьями, связанный, точно воръ какой, разбойникъ, съ поличнымъ пойманный.

Уже не далеко до Чимбая. Вонъ издали большой карагачъ синѣетъ, развѣсистый, оттуда уже близко. Вонъ и тополи видны, чуть-чуть, словно черточки, въ рядъ вытянулись. Вонъ и дымъ валитъ изъ кибитокъ, что къ городу на зиму прикочевали, со всѣхъ сторонъ обступили его.

Много народу идетъ и ѣдетъ, и все-то къ базару. По всѣмъ дорогамъ, по всѣмъ тропиночкамъ стягиваются. Вонъ и цѣликомъ отъ песчаныхъ горъ рысятъ какіе-то вершники.

Верблюды идутъ другъ за дружкою, навьюченные и такъ просто, на-легкѣ. Только зимою и увидишь ихъ въ этой сторонѣ, а къ веснѣ да лѣтомъ—деньги плати, никто не покажетъ. Не выдерживаетъ скотина эта крупная лѣтнихъ комаровъ, вотъ и отгоняютъ ее далеко въ пески, въ пустыни окрестныя, тамъ и проводятъ верблюжьи косяки все жаркое время, благо, имъ, жаръ да недостатокъ въ водѣ — пустое дѣло.

На арбахъ тоже народу много ѣдетъ; колеса у арбъ широкія, ходы узкіе, скрипятъ такъ, что за версту слышно; лошади въ арбахъ небольшія; на деревянныхъ арчакахъ кольца желѣзныя побряживаютъ; арбакеши около идутъ или на арбахъ сидятъ, возжами правятъ; на быкахъ приземистыхъ, съ горбами, не мало тоже арбъ ѣхало.

Народъ весь въ шапкахъ высокихъ бараньихъ, въ халатахъ красно-бурыхъ полосатыхъ, мало кто въ чалмахъ, и то изъ богатыхъ кто или званія духовнаго.

А вотъ и тюркмена два обогнали нашихъ, ходко такъ мимо нихъ махнули; лошади у нихъ высокія, тонкошейныя, длинноногія, съ ногъ до головы въ попоны теплыя ковровыя окутаны; на всадникахъ, поверхъ халатовъ, бурки косматыя накинуты, за плечами ружья, «мултуки», съ лѣваго боку шашки треплются.

Зорко поглядѣли они на нашихъ братьевъ да на *раба*

ихъ связаннаго, усмѣхнулись. Морозъ пробѣжалъ у всѣхъ троихъ за плечами, слово на языкѣ, не сорвавшись, замерло.

— Ну, счастье, что отъ города близко, а то-бы... — насилу-на-силу отдышался Иртыкъ.

— Двое на двое, у живыхъ бы не отняли! — сталъ храбриться Катта-Курсакъ-бай.

— Пойди, ты!

— Продавать ведете, что-ли? — спрашивали ихъ кое-кто дорогою и Степана оглядывали.

— Можетъ, и такъ,—уклончиво отвѣчали братья, — можетъ, и продадимъ, какъ придется!

— Откуда взяли?

— Проѣзжай, проѣзжай своею дорогою! Нечего тутъ на чужое добро зариться! Гдѣ взяли, тамъ и взяли!

Не хотѣли братья вступать въ разговоръ особенно. Извѣстно, зря спрашиваютъ! Развѣ это настоящіе покупатели? Тѣ тамъ, въ чайныхъ лавкахъ Али-Рахима сидятъ, чай пьютъ, пловъ ѣдятъ, степенно *товару* дожидаются.

А народу проѣзжему тоже чудно на нихъ глядѣть: сами оба байгуши совсѣмъ, босикомъ по грязи да по снѣгу идутъ, оборванцы какіе-то, а тоже человѣка, вишь, ты, ведутъ на веревкѣ, да еще уруса—изъ рабовъ самаго цѣннаго. Сбарантовали гдѣ, ужъ это вѣрно!..

— Ага, землякъ!—крикнулъ вдругъ кто-то по-русски,— Какъ те Господь милуетъ?

Вздрогнулъ Степанъ, окликъ этотъ услышавши; благовѣстомъ какимъ русская рѣчь ему показалась.

А сказалъ тѣ слова верховой одинъ, въ красномъ халатѣ, что на здоровомъ пѣгомъ жеребцѣ мимо проѣхалъ; самъ старикъ сѣдой, усы подбриты по-мусульманскому, бородка тоже клиномъ подрѣзана; сзади него мальчишка сидитъ, лѣтъ четырнадцати, красивый такой, и за поясъ старика держится.

Мимо проѣхалъ старикъ, Степана по-русски окликнувшій, дальше погналъ и уже не видать его за арбами да за народомъ, всю дорогу занявшимъ.

— Знаешь, кто это?—спросилъ Иртыкъ брата.

— Знакомый какъ-будто,—отвѣтилъ тотъ;—не припомню только, гдѣ мы его видѣли!

— А Дмитрій-ходжа*) помнишь? Когда насъ гоняли подъ Хиву, арыки чистить, онъ тогда отъ хана присланъ былъ за работами приглядывать... Помнишь?

— Теперь помню: шибко дерется, больно, собака, злой такой, помню...

Поравнялись съ карагачемъ; одно дерево, а словно цѣлый лѣсъ стоитъ; комля не видать, сакли все вокругъ него налѣплены; вѣтви толстыя, длинныя, во всѣ стороны далеко протягиваются. Безъ листьевъ, голое теперь это дерево, а въ лѣтнюю пору ни одинъ лучъ солнца не прорвется черезъ этотъ навѣсъ зеленый, тѣнистый. Сто человѣкъ съ лошадьми и арбами могутъ въ тѣни его отъ жары укрыться.

Отсюда, вплоть до городской стѣнки, кучами стоятъ кибитки кара-калпакскія, приземистыя все такія, верха только одни каменные. Тѣсно жмутся онѣ одна къ другой, человѣку-одиночкѣ проскользнуть между нихъ только что въ пору; бѣда въ случаѣ пожара!

Голоса мужскіе и женскіе, пискотня да плачъ дѣтскій внутри ихъ слышатся. Козы блеютъ тамъ-же, бараны перхаютъ, стонетъ и кряхтитъ верблюдъ,—вонъ изъ-за кибитокъ, выше всего, его длинная шея тянется, на проѣзжихъ просмотрѣть хочетъ.

Глубокіе арыки идутъ по обѣмъ сторонамъ дороги, а дорога-то—просто не вылѣзешь, такая грязь; раскиселило ее непогодою зимнею, тысячи ногъ размѣсили; по ступицу арбяное колесо засѣдаетъ, выше колѣна нога конская вязнетъ, слѣдъ затягиваетъ тягучее, клейкое мѣсиво. Бьются, ругаются, плачутъ арбакеши съ своими повозками увязшими.

А вотъ и стѣнка сама, вотъ ворота, низкія, темныя; по бокамъ воротъ этихъ двѣ башни круглыя, пузатыя такія стоятъ, вершины зубцами нарѣзаны, бока въ сырой глинѣ узоромъ выдавлены.

Протискались наши кое-какъ въ ворота эти. Тамъ базаръ крытый начинается. Грязь на улицѣ такая-же, какъ и на дорогѣ, только покрыто все поверхъ зеленою, вонючею плѣсенью... Справа и слѣва лавки торговыя: сперва мясныя, за ними сбруйныя, тамъ съ краснымъ товаромъ, съ желѣзомъ

*) Этой интересной личности посвященъ особый очеркъ.

разнымъ, съ посудою, тамъ дальше въ перемежку пойдутъ. Весь товаръ, на, вотъ, гляди, напоказъ вывѣшенъ: здѣсь вотъ уздечекъ пукъ, попона красная виситъ, шелками вышитая, а рядомъ, вплотную, свѣже-зарѣзанная туша баранья распята, красная кровь каплетъ съ нея на чьи-то башмаки съ зелеными пятками, на уголъ сундука кованнаго, съ ситцемъ. Груды табаку зеленаго, тертаго, на листахъ бумажныхъ лежатъ, тутъ-же и капъ съ чаемъ кирпичнымъ, изъ-за капа этого ослиная голова глядитъ, уши длинныя развѣсила, глазами въ самоваръ мѣдный уставилась... ишь-ты, молъ, тамъ такая-же навстрѣчу глаза пялитъ.

Бьются тюркменскіе жеребцы на привязяхъ, проходу, проѣзду не даютъ никому, такъ вотъ и норовятъ либо зубами цапнуть, либо ребро сломать ударомъ копыта кованнаго. А тутъ и арба втесалась, заняла всю ширину улицы, ни взадъ, ни впередъ. Народъ по сторонамъ обходитъ, подъ навѣсами лавочными пробирается, черезъ товаръ разложенный напоказъ шагаетъ... Ругаются купцы, ругаются прохожіе, ругается юродивый, «дивона», за то, что мало даютъ ему за его присказки да пѣнье; ругается киргизъ кызылъ-кумскій, ловкимъ таджикомъ-купцомъ обсчитанный, ругается тюркменъ, зачѣмъ замѣтили, какъ онъ стащилъ что-то изъ лавки, ругается кто-то и за ухо свое держится, кровь зажимаетъ пальцами. И со всѣхъ-то сторонъ, во всѣ концы базара многолюднаго, въ дыму изъ-подъ котловъ и самоваровъ, носится въ спертомъ, вонючемъ воздухѣ гортанная, хриплая, разноязычная брань перекрестная.

— Аманъ, Иртыкъ-бай!—тронулъ одного изъ братьевъ за плечо толстый сартъ въ засаленномъ халатѣ бумажномъ, въ тюбетейкѣ вязанной, красношекій такой, веселый съ виду.

Еле-еле онъ къ нимъ сквозь толпу протискался, запыхался весь. Самъ Иртыка окликаетъ, а глядитъ въ сторону, такъ на Степана и уставился, съ ногъ до головы оглядываетъ.

— Гей, мулла Шарипъ, аманъ!—отвѣтилъ Иртыкъ;—Что скажешь новаго да хорошаго?

— Кто спрашивать будетъ, не продавай, слышишь, не продавай!—суетился около мулла Шарипъ.—Боже сохрани, не продавай, навѣрное продешевишься, а веди за мною, я тебѣ ужъ предоставлю настоящаго покупателя!

Чудно показалось братьямъ: только что пришли они, ничего никому не говорили, а ужъ весь городъ знаетъ! Мулла Шарипъ знаетъ—все равно, что весь городъ. У этого толстяка языкъ съ виду короткій, а начнетъ ворочаться—отсюда до Хивы самой достанетъ. А впрочемъ, ничего, мулла Шарипъ человѣкъ хорошій, полезный. Вотъ даже сейчасъ пригодиться его дружба можетъ.

Долго шли наши до Чимбая, и намерзнуться, и проголодаться успѣли. Теперь бы въ лавку засѣсть, плову поѣсть вволю, чаемъ бы чудесно погрѣться, а потомъ-бы въ баню хорошо тоже; ну, да въ баню и послѣ можно... Къ цирульнику тоже, голову поскоблить... Эхъ! Что можетъ быть лучше, какъ сидишь ты въ лавкѣ «сакалчи» (брадобрѣя) Магомета-Тузая, розсказни его слушаешь... мыломъ, мягкимъ такимъ, горячимъ, онъ голову твою поливаетъ, пальцами скребетъ, щекочетъ; потомъ бритвою водить начнетъ—ну, точно по шелку бритва эта ерзаетъ... Эхъ, хорошо богатымъ людямъ! А имъ-бы хоть поѣсть чего да погрѣться-бы впору... А денегъ ни одной чеки нѣтъ въ карманѣ, да и кармановъ даже въ ихъ тряпьѣ-одеждѣ не имѣется. Скоро-ли ты *его* продашь, а поѣсть-то надо... Опять-же и *его* покормить, а то усталъ человѣкъ, затомился, виду никакого не имѣетъ настоящаго, какъ тутъ его продавать сунешься?..

Ну, а мулла Шарипъ человѣкъ предупредительный, его и просить не надо, онъ самый первый предложитъ.

— Ничего, «кулъ» добрый, здоровый,—оглядѣлъ толстякъ Степана,—хорошій товаръ... А не пойдемъ-ли мы пока къ пріятелю моему Назаръ-шаху? Онъ тутъ хорошую лавку чайную открылъ неподалеку отъ базара, въ переулочкѣ... Не зайти-ли намъ всѣмъ къ нему пока что, оно-же, кстати, сегодня холодно?

— Суокъ (холодно)...—поежился Иртыкъ-бай, сталъ разминаться, на мѣстѣ топтаться...

— Ачка-іокъ (денегъ нѣтъ)!—угрюмо проговорилъ Катта-Курсакъ-бай и потупился.

— Когда съ другомъ вмѣстѣ идешь, въ свой карманъ глядѣть не надо!—хлопнулъ его по плечу мулла Шарипъ.—Пойдемъ, Ванька! Чай пить хочишь, кушитъ мало-мало хочишь?—обернулся онъ и къ Степану,—по-русски заговорилъ,

какъ умѣлъ; имени не зналъ настоящаго, все равно, и «Ванька» въ такомъ случаѣ годится...

— Якши!—порѣшили братья, и пошли всѣ четверо теперь толкаться въ толпѣ, мѣсить грязь уличную, опять черезъ базаръ, а оттуда въ сторону, по какому-то узенькому переулку.

XXXV. Изъ правыхъ да въ виноватые попали.

Лавка чайная, про которую говорилъ мулла Шарипъ, была какъ-разъ рядомъ съ караванъ-сараемъ, гдѣ всѣ пріѣзжіе люди останавливались, конечно, кому платить чѣмъ было; прочіе и такъ, подъ открытымъ небомъ становились, а то подъ воротами, вдоль стѣнъ ютились, подъ деревьями, гдѣ кому нравилось...

Дмитрій-ходжа, тотъ самый старикъ, что обогналъ нашихъ дорогою, давно уже сидѣлъ въ лавкѣ; одиннадцатую чашку чаю пилъ, сухимъ изюмомъ (кишмишемъ) закусывалъ; зубовъ-то у него уже не было годныхъ, чтобы сахаръ грызть... Сидѣлъ ходжа съ важною такою осанкою, на народъ не глядѣлъ даже, на поклоны отвѣчалъ съ пятаго на десятый, слова ни съ кѣмъ не вымолвилъ, только икалъ себѣ въ сѣдую бороду... Сынишка его тоже во всемъ отцу подражалъ; какъ сѣлъ на коверъ, на подушку облокотился, такъ вотъ до сихъ поръ и не мѣнялъ положенія... Именитымъ людямъ не пригоже вертѣться.

— Пей еще чаю, Балта-Ніязъ,—говорилъ ему старикъ;— я велѣлъ подать самаго лучшаго, ханскаго...

— Благодарю, «ата» (отецъ), я уже до сихъ поръ сытъ, не могу пить больше этого хорошаго чаю! — отвѣчалъ сынъ, на горло свое рукою указывая и тяжело вздыхая, чтобы всѣ видѣли, какъ онъ сытъ, сколько чаю дорогого выпилъ.

— Ну, бай, какъ семья твоя здорова?—спрашивалъ мимоходомъ будто Дмитрій-ходжа одного изъ присутствующихъ, незнакомаго даже ему, такъ, кто на глаза попался.

— О, таксыръ! Червякъ счастливъ, когда его солнце лучемъ своимъ освѣтитъ... И, таксыръ, семья моя здорова и молится за благоденствіе твое, за тебя, ходжа,—торопится отвѣчать осчастливленный посѣтитель лавки Назаръ-Шаха.

— Онъ тебя знаетъ развѣ, ты знакомъ съ нимъ?—спрашиваютъ его шопотомъ другіе.

— Давно знакомъ, мы пріятели!..—вретъ, бахвалится тотъ, только тоже шопотомъ, чтобы Дмитрій-ходжа не услыхалъ да не изобличилъ его, срамомъ-бы не покрылъ его голову

Зашелъ тюркменъ одинъ въ лавку, увидѣлъ ходжу, трепанулъ его легонько по плечу.

— Старая лисица, здорово! Чего сюда забрался? А, и батча, сынишка твой, здѣсь! Ишь, какой красивый, точно дѣвка! Ты-бы ему косы велѣлъ носить!—заговорилъ тюркменъ и Балту-Ніяза за щеку ущипнулъ.—Ну, что въ Хивѣ новаго? Давно у хана былъ?

Смутился было немного старикъ: «что за панибратство, молъ, такое съ оборваннымъ разбойникомъ», да послѣднія слова этого *разбойника* ободрили его, повеличаться возможность дали.

— Въ Хивѣ все благополучно. Хана я недавно видѣлъ,— я часто у него бываю, — тебѣ кланяться велѣлъ, если встрѣчусь какъ-нибудь. Вотъ и привелъ Аллахъ встрѣтиться!— отвѣтилъ ходжа.

— Ого!—проговорилъ тюркменъ и пошелъ къ своимъ, что недалеко стояли, подъ навѣсами.

— У хана часто бываетъ,—зашептали по рознымъ угламъ лавки.—Вишь, ты, онъ какой!

А братья кара-калпаки уже съ полчаса какъ на задворкѣ чайной лавочки на счетъ муллы Шарипа упиваются. Пьетъ и Степанъ, жадно такъ хлебаетъ съ холоду да съ голодухи. Лепешекъ имъ купилъ мулла кукурузныхъ, варенаго мяса цѣлую ногу баранью. Пируютъ байгуши, просто отродясь такъ не ѣдали!

— А ужъ вы меня не забудьте, — говорилъ Шарипъ,— когда дѣло кончать будете; съ каждаго тиля по десяти *чекъ* *); я вѣдь многаго не требую; зачѣмъ много требовать съ бѣднаго человѣка, зачѣмъ обижать, это грѣхъ большой; кто по закону живетъ, кто мусульманиномъ честнымъ считаться хочетъ, тотъ малымъ долженъ довольствоваться, такъ-то!

— Да ужъ ты, мулла, человѣкъ хорошій! — захлебывался чаемъ Иртыкъ.

---

*) $^1/_2$ копѣйки.

— Что и говорить про тебя! — чуть не давился бараниною Катта-Курсакъ-бай.

— Ну, я васъ оставлю пока: доѣдайте и допивайте, *я туда* вотъ, къ *нему* пойду!—всталъ на ноги толстякъ, подмигнулъ братьямъ, показалъ на навѣсъ, гдѣ Дмитрій-ходжа сидѣлъ, и пошелъ.

— Ужъ онъ насъ не тому ли перебѣжчику подготовляетъ?—подозрительно такъ покосился Иртыкъ.

— Должно, что ему! — покосился туда же и Катта-Курсакъ.—Видишь, говоритъ съ нимъ, на насъ смотрятъ. Что-же, все равно, лишь бы деньги дали настоящія!

— Ты самъ русскій, можетъ, къ русскому и попадешь!—сказали братья Степану.

— Къ нему, такъ къ нему, все единственно!—поглядѣлъ и Степанъ туда-же.—Русскій онъ нѣшто?

— Теперь вотъ мусульманинъ; давно уже «ходжей» вечаютъ его. Онъ у самаго хана служитъ!

— Если къ нему, такъ въ Хивѣ побываешь. Только онъ сердитъ очень, дерется шибко, ходжа-то!

— Ну, не пугай его! Ничего не дерется, за дѣло развѣ, когда заслужишь. Степана бить не будетъ!

— Пойдемъ!—подошелъ тутъ къ нимъ мулла Шаринъ,—*Самъ* посмотрѣть хочетъ!

Привели Степана; оглядѣлъ его всего, съ головы до ногъ, Дмитрій-ходжа,—по-русски заговорилъ.

— Откуда землячекъ?

— Изъ-подъ Казалинска,—отвѣчалъ Степанъ.—Мы переселенцы тамошніе. Какъ это въ третьемъ годѣ...

— Казала? Слыхалъ, самъ не бывалъ. Гдѣ тебя взяли? Воровать, чай, сюда ѣздили, за разбоемъ. Вы вѣдь прежде, давно это было, а я помню, что изъ-подъ Казалы сюда на лодкахъ ѣздили!

— О захрященовицахъ, должно быть, — вспомнилъ старикъ.—«Не изъ тѣхъ-ли?»—думаетъ.

— Нѣтъ, я за разбоемъ не ѣздилъ, — тряхнулъ головою Степанъ;—зачѣмъ на такія дѣла идти? Мы тоже христіане почитаемся, православные. Ты не думай чего худого!

— Гмъ, христіане! Собаки, все одно! Гдѣ-же тебя въ плѣнъ забрали, какъ ты попался?

— Не забирали меня въ полонъ, самъ я плылъ сюда со старичкомъ однимъ, своею волею. А тутъ это насъ завирюха хватила въ морѣ. Старикъ-то, чай, потонулъ, а я вотъ на берегъ выползъ, сомлѣлъ, значитъ, а очнулся, гляжу: вотъ эти...

— Кто такіе?

Видятъ братья, что на нихъ глядитъ Дмитрій-ходжа, разговору русскаго не понимаютъ, ближе придвинулись. Мулла Шаринъ около стоитъ, на ухо ходжѣ шепчетъ что-то.

Нахмурился Дмитрій-ходжа, грозно на братьевъ смотритъ; ничего тѣ въ толкъ взять не могутъ.

Сталъ тутъ ихъ ходжа по-ихнему допрашивать; разсказали ребята спроста все, какъ было, въ одно слово пришлось со Степановой рѣчью. Того не вѣдая, сами себя головою выдали.

— Меньше, какъ полтораста тилей, не отдадимъ!—отрѣзалъ подъ конецъ Иртыкъ.

— Да еще по два халата на каждаго и по ломтю чаю кирпичнаго!—сталъ горячиться Катта-Курсакъ.

— Придется васъ въ Хиву отвести на расправу, дѣлать нечего!—покойно такъ заговорилъ ходжа.

— Зачѣмъ въ Хиву, на какую расправу? — удивились братья, назадъ даже попятились.

— А такую, хорошіе вы люди, что, пожалуй, и здѣсь можно, только не знаю, какъ ханъ захочетъ: на колъ-ли васъ посадить, или только головы порѣзать. Тамъ вотъ, въ Хивѣ, узнаемъ!

Страхъ напалъ на братьевъ; что же это вышло такое? Чѣмъ передъ нимъ провинились они?

— Вольнаго человѣка, что самъ шелъ къ намъ, къ хану на службу поступить хотѣлъ, вѣру нашу принять, вы вотъ перехватили, рабомъ своимъ сдѣлали, сюда вотъ привели связаннаго. Да за такую вину, за такое злое дѣло, поруганіе будущаго слуги ханскаго...

— Ничего мы не знали этого, — заговорилъ Катта-Курсакъ;—за что насъ казнить? Намъ его Аллахъ послалъ, святой Токмакъ своею милостью пожертвовалъ.

— Уходите скорѣе, да бѣгомъ,—шепчетъ имъ мулла Шаринъ; — я вотъ его заговорю пока, а вы бѣгите. Въ народѣ

не скоро разыщутъ васъ; вонъ изъ города бѣгите, а то такая бѣда будетъ!..

— Послать, позвать! Тутъ есть нукеры ханскіе! — распорядился громко Дмитрій-ходжа.

— Много народу собралось сегодня въ Чимбаѣ,—заговорилъ мулла Шарипъ,—скота пригнали много, а покупщиковъ мало; скотъ очень дешевъ сталъ: за корову съ теленкомъ четыре тиля съ меня просили!

— Четыре тиля! Молодая корова? Однако, постой: послать, позвать...

Оглянулся Дмитрій-ходжа, а ужъ *виноватыхъ* братьевъ и слѣдъ простылъ. Бросили и уруса своего, живо удрали, головы свои спасаючи; голова вѣдь не шутка: по одной только на плечахъ у каждаго.

Усмѣхнулся Дмитрій-ходжа, горохомъ разсыпался мулла Шарипъ, такъ за бока да животъ и хватается; смѣются тѣ, что ничего не поняли изъ всего, что произошло передъ ними.

— Что же это, за что людей бѣдныхъ обидѣли? — глухо заворчали и загудѣли въ толпѣ голоса тѣхъ, что сообразили дѣло, смекнули, гдѣ раки зимуютъ.

Только такихъ сердитыхъ голосовъ немного послышалось, да и тѣ смолкли, какъ только Дмитрій-ходжа поглядѣлъ на народъ пристально.

А Иртыкъ-бай съ Катта-Курсакъ-баемъ давно уже базаромъ прошмыгнули, давно межъ кибитокъ стороною отъ дороги дуютъ, и все-то имъ чудится, что за спинами у нихъ конная погоня нагоняетъ, топочетъ, все-то имъ крики: лови, лови!—слышатся, посвистъ злой по вѣтру несется.

Потъ прошибъ бѣдняковъ, даромъ что вѣтеръ дулъ на встрѣчу холодный, морозомъ грязь начало стягивать; запыхались они, изъ силъ выбились, попадали просто въ кусты джидовые и ползкомъ, все ползкомъ, забились въ самую гущину, гдѣ-бы ихъ и днемъ не скоро разыскали, а не то что теперь, въ густые сумерки.

Опомнились немного, страхъ проходить началъ. Вотъ тебѣ и полтораста тилей золотыхъ, вотъ и кибитка новая, и каики рыбачіе! Аллахъ, Аллахъ! Думали-ли они, что такой конецъ дѣлу ихъ прибыльному выйдетъ?

Всп..акнули голыши; знать, не въ добрый часъ «уруса» они въ свой домъ ввели, съ того времени и посыпались бѣды на ихъ головы, съ того времени и пошла во всемъ неудача.

Думали сами хозяевами быть, а теперь приходится къ чужимъ хозяевамъ идти, къ чужимъ каикамъ изъ-за хлѣба да платы поденной, скудной, наниматься въ лавочники.

Выползали братья изъ кустовъ, какъ уже совсѣмъ стемнѣло. Ну, думаютъ, теперь уже насъ не догонятъ. Пошли домой къ себѣ на озера, только не дорогою, а обходами, по зарослямъ да за буграми кушкане-таускими пробирались.

XXXVI. Сады «диванъ-беги» Матъ-Ніаза.

Отъ Хивы недалеко, на другомъ берегу Аму, верстъ за сто, не болѣе, есть маленькій городишко хивинскій съ крѣпостью «Курганомъ»; называется онъ «Шура-ханъ».

Отъ этого Шура-хана на востокъ, доброму коню на четверть часа ходу, зеленѣютъ густые, тѣнистые сады, окруженные высокими стѣнами, зубцами нарѣзанными.

Высоки эти стѣны, а еще того выше кудрявые карагачи да тонкоствольные тополи, и далеко видны они всякому конному и пѣшему человѣку, словно лѣсъ густой, синѣютъ они на рубежѣ, гдѣ песчаные наносы сосѣдней мертвой пустыни надвинулись на мѣста, человѣкомъ отвоеванныя, киркою и плугомъ воздѣланныя.

Много неусыпныхъ трудовъ, много силъ прикладываетъ здѣшній земледѣлецъ, чтобы удержать эти пески, не дать имъ придвигаться все ближе и ближе, не дать имъ засыпать обработанныя пространства.

Вода лучшій другъ, лучшій союзникъ человѣку въ этой борьбѣ. Издалека проводитъ работникъ драгоцѣнную влагу, поднимаетъ ее все выше и выше, заливаетъ мертвые, сухіе участки и будитъ въ нихъ жизнь, Богъ вѣсть когда, въ какія отдаленныя времена уснувшую.

И день, и ночь почти не разгибаются голыя, потныя, словно бронзовыя, рабочія спины, согнувшіяся подъ тяжелымъ гнетомъ подневольнаго труда. Много работы надъ расчисткою водопроводныхъ арыковъ, надъ проведеніемъ новыхъ, надъ копкой прудовъ «хаузовъ». Дня прозѣвать нельзя надъ рабо-

тою: нагонитъ вѣтеръ песчаныя тучи и засыпетъ снова все вырытое.

Какъ аму-дарьинская вода, поднимаясь все выше и выше, струится по арыкамъ, развѣтвляясь въ стороны, изъ большихъ канавъ въ болѣе мелкія, такъ точно навстрѣчу, по тѣмъже самымъ арыкамъ, ползутъ сыпучіе пески, забиваютъ канавы, выступаютъ изъ ихъ береговъ, покрываютъ поля, — и не узнать человѣку, не отыскать даже того мѣста, что недавно еще имъ самимъ было обработано.

Отъ земледѣльцевъ, чимбайскихъ кара-калпаковъ, ханъ разъ какъ-то собралъ чуть не весь рабочій народъ на свои работы, на казенныя, значитъ, меньше году продержалъ ихъ, назадъ отпустилъ. И не нашли бѣдняки, вернувшись домой, полей своихъ, только высохшія тычины да опустѣлыя, полузасыпанныя саклюшки торчали изъ-подъ песку; разомъ погибло все, что сотни лѣтъ подъ рядъ отъ дѣда къ отцу, отъ отца къ сыну, наслѣдственнымъ трудомъ было завоевано.

Вотъ на такомъ-то мѣстѣ хорошемъ и раскинулись тѣнистые, диковинные сады Мать-Ніазовы, лучшее украшеніе чуть не всего правобережнаго оазиса.

Много рабочихъ рукъ требовалось для ихъ поддержки, много и денегъ было въ сундукахъ и мѣшкахъ важнаго хозяина. Но больше, чѣмъ денегъ, было силы и власти у Матъ-Ніаза: «*по его слову печать ханская плясала, на какую хочешь бумагу, не спросясь хана, часто садилась*».

А съ такою послушною печатью можно и не платя денегъ сгонять сюда со всѣхъ концовъ безобидныя, молчаливыя, все выносящія силы рабочія.

Какъ-же при такомъ положеніи не цвѣсти, не зеленѣть густолистнымъ садамъ, не выглядывать съ усмѣшкою изъ-за высокихъ стѣнъ: «гдѣ, молъ, вы тамъ, ей! пески эти сыпучіе, для другого кого, только не для насъ, страшные».

Въ одномъ изъ этихъ садовъ стоялъ и самый домъ Матъ-Ніаза. Построенъ онъ былъ большимъ покоемъ; выступы этого покоя обращены были къ саду, и между выступами устроенъ былъ высокій навѣсъ, поддерживаемый двумя толстыми, точеными изъ дерева, столбами; къ навѣсу вели четыре широкія ступени, вымощенныя плитнякомъ, и полъ подъ навѣсомъ

тоже былъ вымощенъ плитками изъ кирпича обожженнаго. Отсюда внутрь первой сакли продѣланы были три двери: одна широкая посрединѣ, двѣ другихъ, поуже, по сторонамъ. Двери были сдѣланы изъ темнаго орѣха и покрыты хитрою ручною рѣзьбою, а надъ дверями красивымъ вырѣзомъ продѣланы были окна съ гипсовыми рѣшетчатыми рамами, затянутыми ярко-красною матеріей. Когда двери притворены, да заглянетъ солнышко прямо въ эти красныя окошки, словно огнемъ охватитъ всю внутренность просторной сакли, устланной коврами тюркменской да персидской работы, такими коврами, что въ глазахъ пестритъ отъ ихъ мелкаго, хитро переплетеннаго узора.

Эта сакля была «кунацкая»: въ ней Матъ-Ніазъ своихъ гостей принималъ и другихъ посѣтителей, кто поважнѣе; а прочихъ всѣхъ, черный народъ, къ тѣмъ на дворъ выходилъ или подъ навѣсъ; тутъ онъ и судъ чинилъ, и расправу, когда случаи выходили, къ тому подходящіе.

Въ боковыхъ выступахъ дома-дворца были особыя помѣщенія, гостямъ для ночлега; изъ нихъ двери во внутренній дворъ вели, гдѣ уже самъ хозяинъ помѣщался, а изъ его сакель узенькій ходъ шелъ къ третьему дворику, совсѣмъ отъ чужого глаза спрятанному. Тутъ жила семья Матъ-Ніазова: шесть его женъ и сестра его матери покойной, старуха уже, также, какъ и сама мать хозяина, бывшая рабыня-персіянка, теперь хозяйка и главная надсмотрщица за всѣми шестью женами.

Ближе къ этому двору шелъ рядъ сакель для женской прислуги. Высокая стѣна отдѣляла эту завѣтную половину отъ прочихъ частей дома, гдѣ тянулись помѣщенія для хозяйскихъ нукеровъ, конюховъ и прочей мужской прислуги.

Къ этой стѣнѣ пристроены были навѣсы для лошадей и закрытые денники для любимыхъ жеребцовъ хозяйскихъ. Вдоль навѣсовъ проходилъ широкій арыкъ съ вѣчно протечною водою; отъ него, подъ стѣнами, проложены были желоба и трубы глиняныя, и по нимъ уже вода заходила и во внутренніе прудики, выложенные по дну и бокамъ плитнякомъ бѣлымъ. Вокругъ того прудика, что посреди женскаго двора находился, росли густые кусты розъ и бѣлаго жасмина: сами жены отъ скуки забавлялись ими, подчищали, окапывали, подрѣзали, разсаживали,—однимъ словомъ, садоводствовали.

Въ саду отъ главнаго навѣса шла широкая, прямая до-

рога; по обѣимъ сторонамъ ея стояли столбы и между ними рѣшетка, густо обвитая виноградными лозами; съ одной стороны на другую перекидывались цѣпкія вѣтви, путались между собою, сплетались. Густая тѣнь ложилась отъ нихъ на всю дорогу, солнечный лучъ развѣ украдкою пробивался кое-гдѣ сквозь темную зелень вырѣзной листвы и рисовалъ на красномъ пескѣ дороги крохотные свѣтлые кружочки.

Въ двухъ мѣстахъ дорогу эту пересѣкали большіе квадратные пруды, обсаженные столѣтними, развѣсистыми карагачами. Въ тѣни этихъ деревьевъ лѣтомъ ставили легкія палатки, свѣтло-зеленаго цвѣта, съ пестрымъ шелковымъ подбоемъ. Матъ-Ніазъ любилъ иногда отдыхать въ нихъ и смотрѣть отсюда на заплѣсневѣвшую поверхность прудовой воды, какъ прытко бѣгаютъ и снуютъ по ней водяные паучки или какъ ровно расходятся круги отъ всплеска только-что прыснувшей съ берега толстобрюхой лягушки.

Отъ средней, большой дороги вправо и влѣво тянулись другія, поменьше, разбивая весь садъ на ровные четырехугольные участки; эти дорожки были обсажены тополями или тутовникомъ, а между ними росли рядами фруктовыя деревья: вишни, яблони, шаптала (персики), урюкъ, сливы и другое что прочее. Въ самомъ дальнемъ углу сада росъ кустарный мелкій виноградъ, что надъ самою землею стелется; тутъ-же и двѣ водокачалки, «чигири», стояли. День и ночь скрипѣли ихъ несмазанныя колеса, накачивая воду на всю потребу суточную, а потреба эта была не малая.

Матъ-Ніазъ не любилъ цвѣтовъ, и въ его саду, кромѣ розовыхъ кустовъ, мало чего было замѣтно, за плодами-же онъ шибко присматривалъ и собственноручно наказывалъ подчасъ садовниковъ своихъ, если находилъ по этой части хотя малѣйшее упущеніе.

Хорошаго садовника онъ всегда умѣлъ отличать и дорожилъ имъ, но только, оборони Аллахъ, чтобы этотъ любимецъ не забывался. Разъ иранцу одному, за то, что тотъ особый сортъ виноградной лозы выходилъ, подарилъ халатъ шелковый и работницу молодую въ жены, а потомъ, чуть не на другой-же день, отнялъ все да еще палками вздуть велѣлъ, за то, что узналъ, что тотъ передъ прочею дворнею его господскою милостью бахвалился.

Матъ-Ніазъ хотя и засѣдалъ въ ханскомъ «Диванѣ» (совѣтѣ) первымъ совѣтникомъ, правою рукою Сеидъ-Рахимъ-Багодура считался, однако въ Хивѣ не жилъ, навѣдывался только туда разъ въ недѣлю, а все остальное время жилъ дома, въ своихъ садахъ, потому и порядокъ такой строгій держался по его хозяйству, что подъ своимъ глазомъ и рукою все находилось.

Съ ранняго утра, бывало, еще и солнце путемъ не взошло, а уже пестрый халатъ Матъ-Ніаза, сшитый изъ дорогихъ шалей персидскихъ, мелькаетъ между деревьями, бѣлая чалма его кисейная надъ виноградниками колышется... Востро держатъ ухо въ ту пору садовники, изъ кожи просто лѣзутъ, стараются...

Были между рабами Матъ-Ніаза всякіе люди: были и свои, мусульмане тоже; они хоть и не считались настоящими рабами; только разницы большой отъ того для нихъ не было; были и иранцы, кызылъ-баши по-здѣшнему, этихъ всего больше; были и Богъ-вѣсть кто такіе, какого такого народа выродки; были и наши землячки, русскіе, только этихъ немного, всего четыре человѣка: одинъ солдатикъ плѣнный, два казака оренбургскихъ, изъ тѣхъ, что еще изъ подъ Акъ-мечети выловлены были, да купеческаго званія одинъ человѣкъ, хлудовскій приказчикъ... Лучшими работниками считалъ Матъ-Ніазъ русскихъ, больше всего на нихъ надѣялся, довѣрялъ даже больше, кромѣ развѣ только послѣдняго, потому какъ проворовался тотъ, съ прежней привычки, годъ тому назадъ, такъ съ тѣхъ поръ ключи всѣ отъ него отобрали и, продержавши на цѣпи, на солнцепекѣ, два мѣсяца, приставили у водокачалокъ быковъ погонять, что колесо ворочали.

Трое другихъ, солдатъ и казаки, въ садовникахъ числились, а всѣмъ присматривали, а для черной работы имъ человѣкъ десятокъ иранцевъ пристроили.

Жили всѣ рабы вмѣстѣ; семейнымъ которымъ, тѣмъ особыя саклюшки отведены были, на томъ-же дворѣ, а выхода изъ двора того не было другого, какъ мимо главныхъ воротъ, гдѣ нукеры ханскіе стояли и выходъ сторожили.

Кормили рабовъ ничего, порядочно: двѣ лепешки кукурузныхъ утромъ, въ полдень мясное варево, а къ ночи еще двѣ лепешки; воды изъ арыковъ вволю, а чаемъ не баловали. Рус-

скимъ только Матъ-Ніазъ велѣлъ выдавать на всѣхъ троихъ «кадакъ» чаю (немного меньше фунта) на двѣ «луны»; ну, и насчетъ дынь, арбузовъ и винограду изъ хозяйскаго сада имъ запрету не было.

— Пускай сами пробуютъ, что выращиваютъ,—говорилъ Матъ-Ніазъ,—лучше стараться будутъ!

И, точно, старались его работники, такъ старались, что хозяинъ не разъ говорилъ про нихъ:

— Глядѣть — у нихъ по двѣ руки у каждаго, а по работѣ, словно по дюжинѣ къ каждому плечу подвѣшено!

Жалѣлъ только Матъ-Ніазъ, что за послѣднее время привозу совсѣмъ съ русской стороны живого товару не было, особенно за послѣдніе два года, совсѣмъ русскій рабъ перевелся на базарѣ, вздорожалъ такъ, что и богатому человѣку не всегда подъ силу.

На всякій случай велѣлъ онъ кое-кому, кто рыщетъ больше, принюхиваться да приглядываться, и ежели что найдется, дать сейчасъ знать ему, объ деньгахъ не спрашивать, потому безъ разговору, безъ торгу платитъ, лишь-бы «товаръ» былъ такой, какой требуется.

XXXVII. Услуга за услугу.

Разъ, часъ эдакъ спустя послѣ полудня, лежалъ Матъ-Ніазъ въ палаткѣ у прудика, — крестецъ у него разболѣлся, такъ отлеживался старый, потѣлъ на солнышкѣ; слышитъ — скрипитъ песокъ подъ чьими-то башмаками, все ближе и ближе шаги эти подвигаются.

Взглянулъ хозяинъ—Дмитрій-ходжа идетъ, веселый такой, улыбается, ротъ свой беззубый показываетъ, издали еще руки къ желудку поджимаетъ въ знакъ почтенія, на ходу кланяется.

— Эге!—проговорилъ Матъ-Ніазъ.—Гдѣ пропадалъ долго, шатался? Ну, аманъ, ходжа! Садись тутъ. Какія вѣсти принесъ, что новаго слышно? Ты, я слышалъ, на низы, къ каракалпакамъ ѣздилъ?

— Аманъ, таксыръ! Аллахъ да благословитъ домъ твой и семью твою, и слугъ твоихъ, и всю скотину. Аллахъ да пошлетъ тебѣ всякой прибыли, женамъ твоимъ каждой по двойнѣ. Въ кладовыя—добра всякаго!

*

— Будетъ, будетъ!—отмахнулся рукою хозяинъ. — Давно изъ Хивы? Кого видѣлъ?

— Ханъ велѣлъ тебѣ кланяться!—поторопился сообщить Дмитрій-ходжа.—Народъ на «низахъ» много пустого болтаетъ. «Мурадъ» къ тюркменамъ побѣжалъ, ханскую бумагу повезъ!

— Давно это? — нахмурился хозяинъ. — Ты врешь вѣдь все, въ говорѣ правды отъ лжи не отличаешь!

— Въ Мервъ побѣжалъ. Вотъ, ей-Богу, самъ видѣлъ; письмо везетъ, сто человѣкъ нукеровъ съ нимъ!

Не отвыкъ еще Дмитрій-ходжа божиться по-русскому: гдѣ только къ слову придется, такъ въ свою татарскую рѣчь и влѣпитъ. Насчетъ побранки отечественной тоже не забывалъ, любилъ даже очень.

«Надѣлаютъ они бѣды,—задумался Ніазъ.—*Та* еще придетъ-ли, а *эта* дастъ себя знать скоро».

— Джандаралъ въ Ташкентѣ къ хану писалъ... большую бумагу писалъ. Во!..

— Знаю, самъ читалъ!

— Говоритъ: пошелъ вонъ изъ Хивы, Хива русскому царю нужна. Всю воду, отъ верху вплоть до моря, требуетъ. Свою вѣру сюда принесутъ, поповъ пригонятъ и крестить всѣхъ будутъ...

— Вздоръ мелешь... Ничего нѣтъ такого!

— За народомъ говорю. Всѣ люди такъ говорятъ, и я говорю за ними. Матъ Мурадъ вонъ тоже... Онъ хану говорилъ, что безъ тюркменъ нельзя отъ русскихъ отстояться. Ханъ звать велѣлъ тюркменъ; по всѣмъ городамъ гонцовъ разослалъ и подарки послалъ, на двадцати арбахъ. Тюркмены придутъ, въ степи русскихъ дожидаться будутъ, сюда, на воду, не пустятъ... Зададутъ имъ...

— Смотри, какъ-бы нашимъ прежде они не задали. Придутъ русскіе или нѣтъ, это еще никому, кромѣ Бога, неизвѣстно, а напустятъ сюда эту саранчу—наплачетесь съ нею!

— Такъ... Нукеръ ханскій «Омаръ-ша», глазастый такой, губы красныя, помнишь? Омаръ-ша, авганецъ...

— Ну?..

— Померъ, третьяго дня померъ. Ханъ въ мечеть поѣхалъ, Омаръ-ша за нимъ; лошадь споткнулась, Омаръ-ша голову о стѣну разбилъ; день жилъ, ночь жилъ, а къ утру и померъ!

— Жаль. Сеидъ-Рахимъ очень, думаю, жалѣетъ. Другого такого нукера не скоро отыщешь!

— Гмъ!..—потупился Дмитрій-ходжа.—Можетъ, и лучше найдется... можетъ...

Хлопнулъ тутъ два раза въ ладоши хозяинъ, прибѣжали два человѣка изъ домашней прислуги; велѣлъ имъ Матъ-Ніазъ кальянъ принести да чаю.

— Въ домъ пойдемъ,—говоритъ хозяинъ гостю,—жарко становится, тамъ подъ навѣсомъ сядемъ!

Пошли.

Хозяинъ просто идетъ себѣ, по сторонамъ поглядываетъ, гдѣ вѣтка сухая или листокъ желтый, ломаетъ дорогою. Гость шагаетъ около, важно, прямо глядитъ, голову кверху задралъ, руки назадъ заложилъ подъ верхній халатъ. Пѣтухъ-пѣтухомъ выступаетъ. Какъ-же ему не заважничаться, коли въ гостяхъ у такого человѣка именитаго, словно равный у равнаго, попросту, да о политикѣ разговариваютъ?

Пришли подъ навѣсъ, сѣли; большой подносъ мѣдный со сластями передъ ними поставили, дыню положили желтую, шафранную, и винограду цѣлую корзинку.

— А хорошіе рабы эти русскіе!—словно случайно замѣтилъ ходжа, кивнувъ на мелькнувшую въ зелени рубаху садовника.—Хорошіе рабы. Я приторговалъ одного въ Чимбаѣ; двѣсти тилля запросили!

— Купилъ, что-ли?

— Купилъ!

Протянулъ Матъ-Ніазъ руку къ корзинкѣ, отщипнулъ ягодку, высосалъ, кожицу отбросилъ.

Загребъ цѣлую кисть Дмитрій-ходжа, всласть жуетъ, инда вода бѣжитъ по его сѣдой бородкѣ.

— А я-же тебя просилъ для меня поискать, коли случится,—заговорилъ хозяинъ.—Ты вотъ обѣщалъ...

— Я свое обѣщаніе помню. Дмитрій-ходжа что обѣщалъ, того не забываетъ. Такъ-то...

— Молодой?

— Не старый, лѣтъ подъ тридцать, не болѣе... силенъ, какъ джулъ-барсъ, а смиренъ, какъ баранъ... до-о-брый!..

Посидѣли немного, пожевали, помолчали. Дмитрій-ходжа зѣвнулъ, ротъ прикрывши.

— Тюркмены въ Чимбай пріѣзжали тоже, — заговорилъ гость.—Изъ «Чодоровъ» іомудовъ четыре человѣка были. Говорятъ: коней уже наѣзжаютъ да потнятъ *), готовятся, значитъ!

— Они ко всякому случаю придраться готовы,—задумался Матъ-Ніазъ.—Они рады. Дурной народъ!

— Шибко *они* тебя не любятъ, а Матъ-Мурада любятъ!—сообщилъ Дмитрій-ходжа.

— Силы нѣтъ у хана, а то-бы я давно ихъ скрутилъ. Гдѣ-же *тотъ-то*? Съ тобой, что-ли?

— Въ «Шабасъ-Валѣ», дома оставилъ. Да ты не сомнѣвайся. Во какой здоровый «кулъ», такая животина!

— Пришли!

— Приведу самъ. Да.—Такъ померъ «Омаръ-ша», такой хорошій нукеръ померъ. Ахъ, да! Сынишка мой тутъ на большомъ дворѣ сидитъ. Вели позвать. Оставилъ я его да и забылъ совсѣмъ!

Крикнулъ Ніазъ прислужника, распорядился.

— Тамъ такой парнишка, «бала», красивый халатъ на немъ!—крикнулъ Дмитрій вслѣдъ прислужнику.

— Я завтра думаю самъ въ Хиву поѣхать. Смутилъ ты меня своими розсказнями!

— Вотъ хорошо, и я съ тобою. Матъ-Мурада нѣтъ теперь. Хорошо теперь. Садыкъ тоже собирается!

— Куда это, въ Хиву, что-ли?

— Не знаю, куда. Вчера мимо его садовъ проѣзжалъ, такъ говорили. Я не заходилъ къ нему самъ. Ну, его!

— Этотъ волкъ тоже чуетъ, когда падалью воняетъ. Заодно съ Мурадомъ. Имъ хорошо: придетъ бѣда—снялись да откочевались на ту сторону, хоть къ текинцамъ, а намъ здѣсь оставаться!

— Эге! Ну, Балта, поди сюда. Вишь, какой онъ у меня молодецъ сталъ, подросточекъ!

Изъ-за угла сакли къ навѣсу подошелъ сынишко Дмитріяходжи, поклонился Матъ-Ніазу, руки ко лбу приложилъ, по лицу смазалъ себя и присѣлъ на нижнюю ступеньку.

---

*) *Потнятъ.* Передъ походомъ или набѣгомъ тюркмены всегда тренируютъ своихъ лошадей, держатъ ихъ подъ двойными попонами и наскакиваютъ, „потъ выгоняютъ“, лишній жиръ спускаютъ.

Прямо сверху свѣтило на него яркое солнышко, большая бѣлая чалма, словно снѣжная глыба, горѣла на головѣ мальчика, голубая тѣнь легла отъ нея по всему лицу, длинныя темныя рѣсницы опустились, полныя щеки зардѣлись.

— Хорошъ?—залюбовался на него отецъ. — Тринадцатый годъ пошелъ всего. Весь въ мать вышелъ!

Взглянулъ «Балта-Ніазъ» на отца, словно слезинки въ черныхъ, влажныхъ глазахъ заискрились, и снова потупился, руками поясъ свой перебираетъ, красныя, шитыя шелками, полы халатныя оглаживаетъ.

— На вотъ, ѣшь! — кивнулъ Матъ-Ніазъ на сласти.— Садись, иди ближе. Онъ скромный!

— Нѣжный, ласковый, — затараторилъ Дмитрій-ходжа.— Ну, пойди, пойди, кушай вотъ виноградъ. Это хорошій виноградъ, такого у самаго хана нѣту, особенный!

— Да, хорошъ,—довольно такъ улыбнулся Матъ-Ніазъ.— Подъ своимъ присмотромъ у меня выращивали. Изъ Тегерана лозы прислали. Я вотъ велю двѣ корзины такого навьючить, хану свезу. Ну, Балта, ѣшь!

Поклонился мальчикъ, показалъ на горло рукою, значитъ, сытъ очень, икнулъ даже легонько въ рукав и отказался. Отецъ бросилъ ему на колѣни вѣточку, [illegible] принялъ и опять поклонился хозяину.

— Онъ у тебя хорошо воспитанъ! — похвалилъ Дмитріяходжу Матъ-Ніазъ.

— Во дворецъ къ хану отвези — и тамъ держать себя съумѣетъ. Не киргизенокъ какой, самъ училъ!

Опять помолчали, опять пожевали. За кальянъ взялись. Забурлила подъ навѣсомъ эта курительная посудина. Въ угольную сѣтку душистая смолка была подсыпана, запахъ такой хорошій заструился вмѣстѣ съ облачками синеватаго дыма табачнаго. Зѣвнулъ хозяинъ, зѣвнулъ гость, зѣвнулъ и Балта-Ніазъ и улыбнулся при этомъ.

— А что, — началъ Дмитрій, — Омаръ-ша покойникъ не лучше былъ, какъ ты думаешь?

— Не лучше!—посмотрѣлъ Матъ-Ніазъ на мальчика.

— Ты посмотри, какъ онъ верхомъ ѣздитъ. Красота, да и только. Я не потому хвалю, что отецъ, а правда того требуетъ. Спроси вотъ, кого хочешь, кто его видѣлъ только, иначе

и не называютъ его, какъ «розанъ-мальчишка». Да что тутъ говорить, у самаго глаза есть, самъ видишь. Такому нукеру только и жить, что при дворцѣ ханскомъ. Вѣрно?

— Это ты его на мѣсто «Омаръ-ша» прочишь? — улыбнулся хозяинъ.

— А отчего-бы и нѣтъ?—сказалъ Дмитрій-ходжа.—Отчего-бы ему и не замѣстить авганца?

— Такъ!

И опять замолчали, опять подъ навѣсомъ минутъ десять никто не проронилъ ни слова.

— Что-же, похлопочи для пріятеля. Вотъ поѣдемъ вмѣстѣ въ Хиву, его возьмемъ съ собою. Въ добрый часъ хану покажемъ. Я ужъ знаю, какое время для того выбрать, а ты слово замолви. Похвали только. Остальное само собою все сладится!

— Что-же тебѣ выгоды въ томъ? — покосился на него Матъ-Ніазъ.

— Лестно тоже. Спросятъ: гдѣ, молъ, Дмитрій-ходжа, сынъ твой? А сынъ мой, Балта-Ніазъ, отвѣчаю я, у самого хана Сеидъ-Рахима-Багодура любимымъ нукеромъ служитъ. За хвостомъ жеребца ханскаго первымъ ѣдетъ. Вотъ какъ! Ну, а мнѣ, старому человѣку, утѣха тоже!

— Подарки хорошіе ханъ Омаръ-Ша дѣлалъ, думаешь, и твоему то же будетъ? Корысть тебя мучитъ. Говори лучше правду. Ты что получилъ отъ хана за жидовку, что у серкера перекупилъ? Ну-ко, сколько тиллей загребъ? Мнѣ вѣдь говорили!

— Тсъ! Не вѣрь людскимъ языкамъ. Стану я отъ хана за такой навозъ деньги брать! Халатъ, точно, получилъ, вотъ этотъ самый, что на мнѣ надѣтъ, а больше ничего. Предлагалъ, точно, мнѣ ханъ денегъ, много предлагалъ, да Дмитрій-ходжа не таковъ. «Халатъ съ плеча твоего ханскаго,—говорю я,—дороже мнѣ денегъ всякихъ». Вотъ я какой!

— Ты не дуракъ, что говорить. Былъ-бы дуракомъ, не сидѣлъ-бы у меня гостемъ. Эта правда!

— Гмъ!..—осклабился Дмитрій-ходжа и погладилъ себя по брюху отвислому. — Ты, Балта, вотъ что: поѣзжай домой, возьми съ собою Степана и сюда приведи. Къ ночи вернуться поспешь. Да одежду свою забери, самую лучшую, а лошадь осѣдлай для себя рыжую съ лысиною. Понялъ? Мы съ тобою

завтра, можетъ, къ хану поѣдемъ. Матъ-Ніазъ съ собою возьметъ. Ну, поклонись, дурачекъ, да поблагодари хорошенько!

— Торопишься ты что-то?

— Что-же время терять? Ступай, Балта. Дома скажи, чтобы раньше недѣли назадъ не ждали!

Выждалъ Дмитрій-ходжа, когда сынъ его ушелъ, ближе нагнулся къ Матъ-Ніазу, почти шопотомъ на ухо заговорилъ, чтобы не слышалъ кто, кому не слѣдуетъ.

— Это тебѣ въ подарокъ Степана привелъ. Денегъ не возьму. Хоть и дорого онъ мнѣ стоилъ, насилу-насилу выторговалъ, ну, да для друга не жалко. А ужъ ты того, похлопочи насчетъ моего парнишки. Ты только хвали погромче, только хвали. Скажи, молъ, такъ: «Ну, гдѣ противъ него Омаръ-Ша покойнику», только эти слова скажи. Идетъ, что-ли?

— Нечего съ тобой дѣлать! — пожалъ плечами Матъ-Ніазъ.

Тутъ нукеръ пришелъ, говоритъ: люди пришли какіе-то съ «арзомъ» (просьбою); споръ вышелъ у нихъ изъ-за воды, такъ разсудилъ-бы ихъ Матъ-Ніазъ по совѣсти да по закону.

Поднялся Дмитрій-ходжа.

— А мнѣ тутъ въ Шура-ханѣ побывать надо, повидать одного человѣка. Такъ ужъ прощай. Да пошлетъ тебѣ Аллахъ благодать и широко отворитъ двери на небо, въ рай самый, такъ-же, какъ и ты самъ радушно отворяешь путнику двери жилища своего!

— Благодарю. Благословитъ пророкъ твой путь. До завтра. Я чѣмъ свѣтъ выѣзжаю!

— Догоню дорогою у переправы!—пообѣщалъ Дмитрій-ходжа и пошелъ черезъ садъ къ выходнымъ воротамъ, совершенно довольный и увѣренный, что съ помощью вліятельнаго сановника пристроитъ онъ своего сынишку на хорошее и прибыльное, хотя и, ни вѣсть какое почетное, мѣстишко.

XXXVIII. Смутныя времена.

Только успѣла разнестись по хивинскому ханству грозная вѣсть: «идутъ бѣлыя рубахи», всполошился народъ по обоимъ берегамъ Аму-Дарья, всполошились и сосѣднія степныя становища.

Кому горе пришло да заботы о добрѣ своемъ, о семьяхъ, о своей головѣ: уцѣлѣетъ еще на плечахъ?—кому время настало желанное, давнождданное, время веселья и радости, безшабашной удали, время, удобное для легкой и богатой поживы.

Городскіе люди, земледѣльцы, купцы, промышленники, всѣ, кто крѣпко привязанъ къ одному мѣсту, кому уйти некуда, всѣ головы повѣсили... Тюркмены за то съ Талдыка, изъ Чандыра, отъ Атрена до самаго Мерва отдаленнаго лихо, ястребами стали поглядывать изъ-подъ своихъ бараньихъ шапокъ... «Что-же, думаютъ, безъ насъ не обойдется, погрѣемъ руки на чужомъ пожарищѣ, въ взбломученной водѣ половимъ рыбицы!»

Не успѣлъ Матъ-Мурадъ кличъ кликнуть къ этимъ разбойникамъ, не успѣлъ ханъ разослать имъ халаты почетные да подарки «призывные», а ужъ тѣ и нагрянули.

Мало имъ было заботы о русскихъ: «придутъ, либо нѣтъ; не разъ въ прежнія времена собирались, пробовали даже, да не доходили...» Со стороны песковъ, отъ кызылъ-кумской стороны, пріѣзжали люди. «Тамъ, говорятъ, и не пахнетъ въ воздухѣ «бѣлою рубахою». Ну, а пока что разсыпались волки по городамъ и кишлакамъ, словно саранча голодная расползлась по зеленому полю.

«Мы-де васъ защищать пришли. Безъ насъ, вѣдь, все равно, пропадете: русскіе солдаты... Вы еще не видали ихъ пока, а мы уже не разъ силами мѣрялись, мы знаемъ... Они васъ всѣхъ какъ мухъ переморятъ; въ вашихъ крѣпостяхъ, «горшкахъ глиняныхъ», пушки-то ваши—воробьямъ почевать норы, своихъ бьютъ больше, чѣмъ врага,—онѣ вамъ не помогутъ... На насъ однихъ, «бывалыхъ», только и надежда вся ваша, ну, и чувствуйте это, растворяйте шире ворота домовъ вашихъ, встрѣчайте гостей дорогихъ угощеніемъ да почетомъ заслуженнымъ.

«Мы налегкѣ изъ дому вышли; харчей для себя, для коней нашихъ продовольствія намъ не таскать съ собою: ваше дѣло о томъ и другомъ позаботиться. Одежду свою тоже вотъ мы изнашиваемъ, треплемъ,—тащи намъ халаты на смѣну... Опять жены наши гдѣ? Всѣ дома остались, ну, а человѣку безъ жены никакъ невозможно. Поняли вы, мирные граждане? Опять и съ пустыми руками домой намъ ворочаться не приходиться—тѣмъ живемъ, сами знаете...

«Не отдашь добромъ, честью не впустишь—все равно, ворвемся силою; самъ ханъ для насъ ни казны, ни харчей, ничего не жалѣетъ; вотъ какія грамоты выслалъ намъ: «любимымъ воинствомъ Аллаха великаго» называетъ, «оплотомъ престола ханскаго» величаетъ... Такъ и знайте-же, что на то есть его воля ханская.

«Ни суда на насъ нѣтъ, ни расправы. Все равно: мы уйдемъ—и вы сами, и добро все ваше гяурамъ невѣрнымъ достанется. Ну, а даромъ головы свои подставлять подъ пули да пушки русскія, горластыя, намъ не приходится...»

Житья просто не стало мирному человѣку, землепашцу да горожанину.

А тутъ еще новыя вѣсти принесло вѣтромъ: «съ разныхъ сторонъ идутъ полки русскіе, не съ одного Ташкента,—и изъ-за моря Аральскаго прутъ, и съ кавказской стороны двигаются, на Иркибай валятъ, а ужъ на Адамъ-Крылганъ самые страшные, самые грозные батальоны подходятъ».

Не знаетъ ханъ, въ какую сторону и броситься, не знаетъ, слушать кого, совсѣмъ потерялъ голову.

Не время ему разбирать мелкія жалобы на безчинства «любимаго войска аллахова»—всякъ о себѣ, значитъ, думай и заботься, ладь, какъ хочешь,—если сила есть, постой за себя хоть силою.

Далеко еще были отсюда «бѣлыя рубахи»,—широкія степи, мертвые пески ихъ отдѣляли, — а ужъ въ ханствѣ не разъ слышались звуки выстрѣловъ, не разъ поднимались къ небу черные столбы дыма пожарнаго, не разъ закаленная сталь шашекъ и ножей, мирное желѣзо кирокъ и лопатъ горячею кровью обливалось.

Расходились тюркмены такъ по всѣмъ городамъ и кишлакамъ ханства, какъ и у насъ на Руси казачья вольница въ тяжелую годину междуцарствія.

XXXIX. Земляки-товарищи.

Съ недѣлю времени прошло, какъ Дмитрій-ходжа привелъ въ сады Матъ-Ніаза свой «живой подарокъ».

Сейчасъ-же назначили Степана-Малыша въ садовники. Велѣли сначала приглядываться къ дѣлу, пока пруды чистить

тину да листья палые сволакивать съ ихъ поверхности, дорожки мести и выпалывать, арыки копать,—черную все больше работу дѣлать.

Ожилъ просто новый садовникъ, между своими очутившись, между земляками, шибко имъ обрадовался; да и тѣ тоже довольны были новымъ товарищемъ, ласково такъ приняли, другъ передъ другомъ угождать ему спѣшили.

Первымъ дѣломъ о житьѣ своемъ наперерывъ разсказывать начали, высказаться словно торопились новому человѣку, потомъ его самого стали разспрашивать, такъ и засыпали парня перекрестными вопросами.

Всѣ отдыхи да ночное время безъ сна, въ разговорахъ проходило, за работою даже межъ кустовъ да грядъ перекрикивались, особливо какъ *самого* въ саду не было; при *немъ* стихали...

Казаки, Мартышевъ и Пашка Рубчиковъ, тѣ все про свою станицу Хабарную разспрашивали; только Степанъ мало чего могъ разсказать имъ объ ихъ родномъ углѣ. Помнилъ только, что лѣтъ эдакъ пять тому назадъ проходили они обозомъ, когда къ Орску шли, мимо Хабарной, тутъ еще гора такая была крутая, каменистая.

— Ну, вотъ-вотъ, она самая, гора эта, Лысуха прозывается,— перебивали другъ друга Мартышевъ и Пашка Рубчиковъ.— Она самая; тутъ это гора, а внизу-то мосточекъ былъ, ива такая росла около него развѣсистая, дуплистая!

— Можетъ, и росла, не помню, — говорилъ Степанъ;— гдѣ помнить: пять годовъ, почитай!

— Была, голубчикъ, была Лысуха гора; знаетъ онъ, видалъ Лысуху-то нашу, — подталкивалъ въ бокъ Мартышевъ Пашку;—слышалъ, нѣтъ, ты слышалъ? Вѣдь вотъ живой человѣкъ говоритъ!

— Лы-суха...—тянулъ Пашка Рубчиковъ и глаза даже щурилъ, самъ къ своему слову прислушивался.

— Не слыхать, милый человѣкъ, про хозяина нашего, Михайлу Алексѣича?—пыталъ тутъ Степана и бывшій приказчикъ Хлудовскій;—Сказывали, выкупъ онъ хотѣлъ прислать за меня, значитъ!

— Не слыхалъ, сердечный, не слыхалъ про такого,—печалился Степанъ;—про Михайлу Алексѣича, говоришь ты?

— Хлудова, значитъ. Это, братецъ такой хозяинъ, что рубахи своей не пожалѣетъ. И такъ былъ я у него первымъ человѣкомъ, почитай, правою рукою, всѣ обороты мною обрабогывались, по конторской части тоже все я...

— Да ну!—отстраняли его казаки.—Не помнишь-ли ты, другъ, въ Хабарной Дужнина, Прокофія? Во какая борода рыжая, вплоть до пояса? Домъ у него отъ угла третій, съ почтовою станціею рядомъ!

— Не помню, голубчикъ, не помню!—сокрушался Степанъ, на себя даже злился, какъ онъ ничего такого не помнитъ и не знаетъ. Какъ-бы теперь эти ребята обрадовались! Все одно, какъ благовѣстъ праздничный.

Егоръ Власовъ, солдатикъ, тотъ больше всѣхъ со Степаномъ сдружился. Былъ онъ уже пожилой человѣкъ, старо-служилый ундеръ; коли-бы въ плѣнъ не попался, давно-бы въ чистую отставку вышелъ. Грамоту бойко зналъ, насчетъ политики тоже кое-что понималъ: понатерся на службѣ.

Про слухи о скоромъ нашествіи русскихъ на земли хивинскія онъ первый развѣдалъ.

— Ну,—говоритъ разъ какъ-то,—чуетъ мое сердце, что скоро шабашъ житью нашему собачьему!

Хорошо, что никто изъ чужихъ не слыхалъ этихъ его словъ, а то-бы ему Матъ-Ніазъ показалъ *шабашъ*. Не посмотрѣлъ-бы на его медали да шевроны, избавляющіе отъ «*тѣлеснаго*».

Потихоньку, шопотомъ, украдкою бродила молва эта радостная между плѣнниками; повеселѣли всѣ, подбодрились. Только Степану одному было отъ той молвы какъ-будто ни тепло, ни холодно. Не радовали его особенно эти вѣсти, да и не печалили очень тоже.

Глубоко забрался парень въ свою колею, «въ волю Божью», слѣпо идетъ онъ по ней, машина словно какая, колесо безсловесное, куда, молъ, Господь этою колеею его выкатитъ?

И не разсказывалъ онъ даже никому, какъ онъ попалъ сюда, въ неволю, кого онъ тутъ разыскиваетъ. Насчетъ послѣдняго разспрашивать страшно какъ-то было, языкъ не поворачивался... А ну, молъ, какъ скажетъ это: «пропала давно совсѣмъ твоя Марина!» Незнатье все-таки лучше такого извѣстія, а насчетъ перваго, такъ съ чимбайской побывки зарокъ молчать далъ...

«Еще, пожалуй, какъ на тѣхъ двухъ братьевъ бѣду какую своею болтовнею накличешь», — думалъ парень.—«Съ берега, изъ рыболовной артели выловили»,—отвѣчалъ онъ тѣмъ, кто его о томъ спрашивалъ.

Поздоровѣлъ Степанъ скоро на новомъ своемъ мѣстѣ, поправился. Работа не то чтобы слишкомъ тяжелая: цѣлый день въ саду, на вольномъ воздухѣ,—куда лучше, чѣмъ у братьевъ на озерахъ, съ комарами да въ сырости... Тутъ тебѣ птички разныя порхаютъ, чиликаютъ, и желтобокенькія, и красногрудки, какихъ-какихъ только нѣтъ!.. По ночамъ, на заряхъ соловьи заливаются въ густыхъ виноградникахъ... Аисты долгоногіе гнѣзда себѣ строятъ на вышкахъ, косматыя такія, птенцовъ выводятъ на глазахъ у человѣка, не боятся его, не прячутся,—домашняя птица! Вода бѣжитъ змѣйками по арыкамъ, веселая такая, чистая, духъ такой хорошій отъ фруктовыхъ деревьевъ поднимается, молоденькіе тополи смолою попахиваютъ... Рай земной, да и только, особливо послѣ побывки у Дмитрія-ходжи, въ тѣсныхъ сакляхъ, въ «Шабасъ-Вали» городѣ, гдѣ онъ конецъ зимы доживалъ, пока его сюда не предоставили...

Чѣмъ не житье? Одна только бѣда, что за стѣнами высокими, подневольное.

А тутъ еще и земляки нашлись, есть съ кѣмъ словомъ русскимъ, роднымъ перемолвиться. Молиться станешь — никто изъ чужихъ не видитъ тебя, не насмѣхается... Прапцы только, собаки черномазыя, хихикаютъ изъ-за кустовъ... Ну, да Господь съ ними!.

Самъ ину пору пѣсню свою какую затянешь—съ другого конца сада откликнется землячекъ, подтянетъ, подголосокъ донесется... Ну, и встрепенется сердце, разыграется малость. Ину пору даже совсѣмъ весело станетъ... Нѣтъ, ничего, жить можно!

— А тамъ Господь Богъ пошлетъ. Онъ вѣдь все можетъ, все въ Его святой волѣ... пошлетъ Господь, найду я ее, увижу, заговорю, значитъ... Такъ скажу: ну, Марина Денисьевна, здравствуй... Вотъ я это... то-есть... какъ, значитъ...

И не знаетъ Степанъ, что онъ скажетъ ей дальше такое, какую рѣчь поведетъ, встрѣтившись... Подступятъ слезы къ горлу у него, какъ только вспомнитъ о ней, на половинѣ

взмаха рука рабочая остановится и тихо опустится на землю тяжелая лопата...

— Гмъ! — покашливаетъ чуть слышно старикъ-хозяинъ бѣдовый, легко такъ топочутъ по утрамбованному песку его сапоги остроносые, съ острыми, кованными серебромъ каблучками, шелестятъ шелковыя полы халатныя, живые глаза вправо и влѣво такъ и бѣгаютъ, за работниками да за дѣломъ ихъ зорко приглядываютъ.

— Ну, ну, не стой такъ, — шепчетъ тихонько Степану Егоръ Власовъ, ундеръ, — хоть для виду помахивай; нашъ-то сѣдобородый лютъ, бѣда, не любитъ этого...

И снова заерзаетъ по песку дорожки желѣзо Степановой лопаты, заглушитъ немного тяжелую тоску работа усиленная...

— Матъ-Ніазъ опять что-то въ Хиву собирается, — сказалъ въ тотъ вечеръ приказчикъ хлудовскій.—Я у нукеровъ на переднемъ дворѣ навозъ убиралъ, такъ слышалъ, разговаривалъ какъ объ этомъ!

— Скоро, братцы, скоро, голубчики,—говорилъ тутъ, себѣ-на-умѣ, ундеръ-политикъ; — чуетъ мое сердце, чуетъ, добромъ въ воздухѣ запахло... Не даромъ мнѣ четвертую вотъ ночь ротная собака «Куцый» все снится: подбѣжитъ это песикъ, лизнетъ въ рыло: «вставай, дескать, Егоръ Власовъ, поднимай капральство на ноги, въ авангардѣ уже подъемъ ударили, верблюдовъ вьючить начали»... Не спроста все это!.. Скоро...

XL. Жалобы на обидчиковъ лютыхъ.

Съѣздилъ еще разъ Матъ-Ніазъ въ Хиву, вернулся назадъ скоро и трехъ сутокъ не былъ въ отлучкѣ.

— Ну, вѣрно, что-то не ладно!—говорилъ одинъ изъ нукеровъ подъ навѣсомъ, когда лошадей убирали.

— Да, сердитъ шибко, говоритъ другой,—меня вотъ ни за что, ни про что сапогомъ въ скулу двинулъ, когда я его съ лошади снималъ... А брови-то у него словно срослись надъ носомъ, хмурится!

— Съ Мурадомъ поругались, должно быть...

— Не безъ того, видно...

— А Садыкъ вольницу собираетъ, всѣ дворы заставлены,

лошадьми, — разсказывалъ третій, изъ тѣхъ, что вмѣстѣ съ Магъ-Ніазомъ въ Хиву ѣздилъ.—Мы проѣзжали—даже встрѣтить не вышелъ, Садыкъ-то, а прежде всегда у него мы останавливались, хорошо принималъ!

— «Вьючекъ» *) у насъ одинъ чудно какъ пропалъ дорогою: сзади бѣжалъ, безъ повода; только-только завернули за уголъ, у тополей Булгаева сада, глядимъ—нѣтъ... Двое насъ вернулись, прогнали обратною дорогою версты четыре—нигдѣ не видать, сгинулъ, да и все тутъ!

— Можетъ, раньше отсталъ гдѣ, а вы не доглядѣли, вороны! На переправѣ глядѣли?

— Лошадь старая, никогда на шагъ не отставала, особенно ежели къ дому дорога... Нѣтъ, ужъ это навѣрное украли.

— Что мудреннаго по теперешнему времени, что мудренаго... Что везли на вьючкѣ-то?

— Пустое дѣло: коржунъ съ ячменемъ да котелъ... Боимся теперь: какъ-бы самъ-то не хватился...

— Ну, да найдется! *Нашъ* велитъ разыскать—изъ-подъ земли выкопаютъ да доставятъ. Бывало ужъ такъ-то!

— Не то теперь... Нѣшто на *нихъ* найдешь управу? *Они* вотъ, кромѣ Мурада, знать никого не хотятъ!

— Ну, нечего сказать, пришло времячко...

И точно что сердитъ шибко вернулся Матъ-Ніазъ съ этой своей послѣдней поѣздки къ хану... Отъ хана Сеидъ-Рахима-Багодура никакого толку добиться не могъ; и туда, и сюда, готъ, какъ волкъ въ тенетахъ, мечется, всякаго равно слушаетъ, въ день по десяти приказаній дѣлаетъ, одно другому напротивъ. Войско ханское, пѣхота то-есть, на половину поразбѣжалось; что собралъ Ніазъ, велѣлъ на этотъ берегъ переправляться; пушки совсѣмъ таскать за собою невозможно: колеса разсохлись — разсыпаются, только съ мѣста ихъ тронешь; всѣхъ арбяныхъ мастеровъ сбилъ Матъ-Ніазъ на работу, на пушечный дворъ. Матъ-Мурадъ въ глаза смѣется: «гдѣ, говоритъ, тебѣ съ этимъ супротивъ русскихъ пушекъ становиться. Мои тюркмены, вотъ тѣ такъ съумѣютъ постоять... А ужъ ты, другъ, лучше со своими сарбазами и не суйся... Си-

*) Вьючная лошадь.

дите по крѣпостямъ да изъ-за стѣнъ воронъ пролетныхъ пугайте». Пробовалъ Матъ-Ніазъ о переговорахъ съ русскими заговорить съ ханомъ, такъ на него всѣ муллы, весь духовный народъ озлился, убить даже грозились.. Проѣзжалъ Ніазъ базаромъ хивинскимъ, самъ за спиною слышалъ, какъ его «прихвостникомъ русскихъ» обозвали.

Садыкъ, собака, шатунъ степной, какъ юлилъ прежде, его милостью только и дышалъ, изъ-подъ его руки все норовилъ дѣлать, за каждымъ совѣтомъ къ нему пріѣзжалъ, а теперь, вишь, какъ носъ поднялъ: диванъ-беги мимо дома его ѣдетъ, а онъ не то что самъ не вышелъ, а и «дастарханъ» *) не выслалъ, почетной палатки не велѣлъ на дорогѣ поставить... Хорошо-же!

Вездѣ гонцовъ разослали, народъ отъ работы рвутъ въ самое трудное, посѣвное время... Туркмены дома грабятъ, женщинъ воруютъ, отъ хана никакой нѣтъ защиты,—что мудренаго, если приходу русскихъ обрадуются, съ хлѣбомъ-солью ихъ встрѣтятъ? Нѣтъ, плохо, когда властелинъ не въ народѣ своемъ, а съ чужой стороны поддержку имѣетъ...

Не настолько глупъ Матъ-Ніазъ, чтобы не видѣть, чѣмъ все это должно кончиться; руки у него просто опускаются отъ всѣхъ этихъ неудачъ... Какъ ни бейся, какъ ни мечись изъ стороны въ сторону, а все равно одинъ конецъ всему будетъ, и конецъ этотъ—гибель ханства хивинскаго.

Одна надежда на Аллаха осталась... Посмотримъ теперь, насколько онъ хивинскому народу покровительствуетъ!

Не успѣлъ Матъ-Ніазъ отдохнуть порядкомъ съ дороги, какъ передъ садовымъ навѣсомъ столько народу набралось, что всю площадку заняли... Сидятъ всѣ густыми рядами, чалмы да шапки точно грибы скучились, — говоръ глухой носится по саду; всякъ хоть тихонько, шопотомъ говоритъ, да много ихъ больно, вотъ и слышно; черезъ дворъ да черезъ сакли до самаго уха Матъ-Ніазова этотъ гомонъ доходитъ... Разбудили хозяина, дѣлать нечего.

— Съ арзомъ пришли люди да съ жалобами, — докладываютъ Матъ-Ніазу.—Тебя выйти просятъ!

---

*) Угощеніе.

Вышелъ.

Разомъ взвылъ народъ, какъ только показался розовый халатъ диванъ-беги... Наперерывъ всѣ заговорили; кто плачетъ да одежду рветъ на себѣ руками, кто рожу царапаетъ до крови. Одинъ старикъ такъ ползкомъ ближе всѣхъ подобрался, нагнулся, землю ѣстъ да на голову себѣ сыплетъ.

— Заступись, разсуди по-правдѣ, выручи!—только и можно разобрать слова эти въ общемъ говорѣ...

Махнулъ рукою Матъ-Ніазъ, нукеровъ крикнулъ, унять велѣлъ. Тѣ принялись—живо уняли.

— Разсказывай всякъ по порядку, — говоритъ диванъ-беги,—что такое случилось?..

Начали разсказывать.

— Пришли,—говоритъ,—ко мнѣ два «*чодора*» *)... Я самъ на полѣ былъ, табакъ окапывалъ; прибѣжалъ ко мнѣ мальчишка-сынъ, кричитъ: «ата, ата **), каракъ, бѣду въ кибиткахъ дѣлаютъ!» Я туда, сосѣда Ибрагима крикнулъ; прибѣгаю, а ужъ *они* всѣ ковры пообдирали съ кибитки, въ тюки свернули да на мою-же арбу наваливаютъ... Только сунулся я къ нимъ, а одинъ какъ цапнетъ меня!.. Вонъ какъ разсадилъ щеку, погляди, таксыръ, вонъ какъ!

И жалобщикъ сталъ развертывать окровавленную тряпку, которою пол-лица завернуто было...

— У меня двухъ кобылъ и ишака украли въ прошлую ночь, съ приколовъ, у самаго дома обрѣзали...

— Всю траву съ сѣянаго поля выкосили, пшеницу потоптали!—на цыпочки поднялся, оретъ черезъ головы третій.— Чѣмъ теперь я свою скотину кормить буду, чѣмъ?..

— Не заботься о ней, о скотинѣ-то,—ворчитъ сосѣдъ:— гляди, и ее отберутъ, заботу съ тебя о кормѣ снимутъ!

— Таксыръ, таксыръ, прикажи дочь мою воротить,—рыдалъ пожилой узбекъ.—Всего тринадцать лѣтъ дѣвочкѣ; прикажи воротить!.. Отняли ее у меня, увезли... Я знаю кто, скажу, прикажи воротить только!.. Ассаль моя, Ассаль!.. Аллахъ, Аллахъ, что только они съ нею дѣлаютъ?..

— Двухъ рабовъ отняли, домъ сожгли, жену чуть не

---

*) Названіе одного изъ родовъ туркменскихъ.
**) Ата—отецъ.

убили...—словно про себя, въ бороду, бормочетъ высокій, сухой старикъ и мнетъ пальцами кончики своего растрепаннаго пояса...

— Лавку мою съ халатами всю до чиста обокрали,— жаловался купецъ изъ Шабасъ-Вали.—Я выслѣдилъ, куда повезли; все къ Дмитрію-ходжѣ, и у него спрятали... Онъ теперь заодно съ тюркменами, Дмитрій-то-ходжа-то... Покрываетъ ихъ, лишь-бы только его самого не трогали...

Нахмурился Матъ-Ніазъ, какъ про Дмитрія-ходжу заговорили, зубы заскрипѣли инда съ досады, потянулъ изъ кальяна сильно, закашлялся, побагровѣлъ весь.

— Ну,—говоритъ,—разсказывай дальше... Ты зачѣмъ пришелъ? Говори, всѣ, всѣ говори!

Выдвинулся тутъ человѣкъ, весь въ лохмотьяхъ вмѣсто одежды, грудь до самаго брюха голая, на спинѣ тоже тѣло избитое просвѣчиваетъ, руки трясутся, а глаза какъ у помѣшаннаго смотрятъ.

— Видишь, видишь,—говоритъ этотъ оборванецъ, — видишь? Что, хорошъ я, а? Каково нарядился?..

Сталъ онъ вертѣться передъ Матъ-Ніазомъ, то спину показываетъ, то передъ, и плачетъ, и смѣется вмѣстѣ,—видимое дѣло—человѣкъ умомъ тронулся!..

— А былъ я богатый,—еще недавно былъ богатый,—бормочетъ онъ. — Три жены имѣлъ, шесть лошадей, карамалъ много, кибитки двѣ, въ городѣ лавку... а теперь ничего нѣтъ, ничего... Вторую недѣлю, какъ уже ничего нѣту... Я хорошо одѣвался прежде, спроси, кого хочешь, а теперь.. Эге... о-го-го!.. Бара-кельды... Бара-кельды!..

И онъ снова завертѣлся передъ диванъ-беги, даже запрыгалъ на мѣстѣ и въ ладоши захлопалъ.

— Ассаль моя, Ассаль...—хныкалъ узбекъ.—О, разбойники, о, собаки... Да будете вы прокляты!.. Ассаль, Ассаль, бѣдная моя дочь, несчастная дѣвочка!..

— Ну, довольно!—не выдержалъ больше Матъ-Ніазъ.—Что я могу вамъ сдѣлать?.. Ничего не могу... Нѣтъ больше на то моей силы прежней... Больше ко мнѣ съ жалобами не приходите... Ступайте... Терпите, пока терпится... Времена перемѣнятся; можетъ, лучше будетъ... Молите о томъ Аллаха всемогущаго...

Повернулся онъ, пошелъ къ двери, ступилъ одною ногою черезъ порогъ... Какъ громомъ пораженная, стихла разомъ толпа, тишина такая настала... Обернулся невольно Ніазъ— всѣ глаза на него смотрятъ... рты беззубые, стариковскіе, такъ и остались открытыми. Полоумный даже пересталъ кувыркаться...

— Поймайте мнѣ хоть одного, хоть одного живымъ приведите... О, я знаю, что надо сдѣлать, я знаю!.. Съ живого шкуру велю содрать, на медленномъ огнѣ изжарю... Только приведите...

Сказалъ это Матъ-Ніазъ и хлопнулъ за собою рѣзною дверью, а тамъ и другая дверь, дальняя, слышно было, какъ завизжала на желѣзныхъ петляхъ и о косяки щелкнула... Ушелъ.

И долга еще молча стояла толпа жалобщиковъ, потомъ одинъ по одному расходиться стала, и опустѣла, наконецъ, площадка передъ навѣсомъ дворца Матъ-Ніазова, только лоскутъ трепья какого-то красноватаго лежалъ на утоптанномъ пескѣ. То помѣшанный оторвалъ и бросилъ свою послѣднюю халатную полу.

Въ ту-же ночь весь дворъ Матъ-Ніазовъ поднялся на ноги. Стукотня такая раздавалась въ ворота, что чуть тѣ съ петлей не поскакали... Голоса слышались, все отворить поскорѣе просили... Что такое случилось?

Взглянули осторожно нукеры черезъ зубцы стѣнъ, все тотъ-же народъ, что и утромъ приходилъ... Между ними только нѣсколько чужихъ видно; лежатъ на землѣ эти чужіе, словно кульки какіе, по ногамъ, по рукамъ связаны, пошевелиться не могутъ, мычатъ только да ругаются.

Отперли ворота, впустили. Матъ-Ніаза разбудили... Всѣ сошлись глядѣть: что такое?

— Ты намъ сказалъ: одного хоть приведите, живого,— говорятъ жалобщики Матъ-Ніазу. — Мы вотъ тебѣ семерыхъ притащили... Всѣ наши обидчики, всѣхъ въ лицо узнали... Мы ихъ сонныхъ перевязали, и лошадей ихъ отобрали, и оружіе. Вотъ оно, получай и суди разбойниковъ по справедливости!

Свалили къ ногамъ Матъ-Ніаза нѣсколько клычей (сабель) да два мултука фитильныхъ, ножей связку и одну пику,

длинную-предлинную, съ тонкимъ остріемъ и волосяною кистью, изъ хвоста конскаго.

— Этихъ оставьте—сказалъ имъ Матъ-Ніазъ,—а сами съ Богомъ уходите; завтра утромъ придете—судъ начну... А, разбойники, попались въ мои руки, ну, теперь Матъ-Мурадъ васъ не выручитъ... это вѣрно!

— Ни въ чемъ мы не виновоты. они вонъ, сами разбойники, на спящихъ людей накинулись... А ты отпусти-ко насъ добромъ, не пожалѣешь послѣ!—проворчалъ одинъ изъ связанныхъ.

— Гляди, какъ-бы самому за насъ худо не было! —проворчалъ другой.—Берегись, Ніазъ, слышишь?...

— Замажь-ко имъ глотки хорошенько да свали пока въ яму! - распорядился Матъ-Ніазъ.

Бросились нукеры его на тюркменовъ, поволокли на задворокъ,—по землѣ такъ и потащили...

— Позволь намъ тутъ, въ твоемъ дворѣ, остаться до утра!—просили жалобщики.—Какъ мы домой пойдемъ?.. Ихніе тамъ стерегутъ, можетъ, всѣхъ насъ порѣжутъ,—позволь тутъ остаться!

— Оставайтесь, ладно...

Велѣлъ Матъ-Ніазъ ворота запереть крѣпко-на-крѣпко, калитки какія позавалить чѣмъ, по стѣнамъ сторожей разставить и глядѣть, пока что, въ оба.

Народу плову сварить велѣлъ, барана зарѣзать, самъ домой досыпать ушелъ, а на дворѣ разложили большой костеръ, яркій такой, всѣ углы освѣтило, кони даже съ непривычки въ стойлахъ забились, увидавъ на стѣнахъ свои собственныя тѣни вытянутыя.

Сталъ народъ грѣться, обступили огонь тѣснымъ кругомъ, руки протягиваютъ, разминаются...

— Ну, братцы,—говоритъ своимъ приказчикъ хлудовскій,—у насъ на завтра такое дѣло готовится, что поглядѣть занятно... только-бы для насъ бѣдою какою это дѣло не выгорѣло...

И оказались эти его слова словами пророческими, вѣщими.

XLI. Судъ и расправа.

Только разсвѣтъ занялся, опять поднялась во дворѣ тревога: пятеро плѣнниковъ ушли, двое только остались на мѣстѣ... И какъ это случилось, никто и догадаться не могъ.

Яма глубокая, а выползли; на плечи, знать, другъ дружкѣ становились, иначе никакъ невозможно. Нижнихъ двухъ вытащить не успѣли, должно быть; а что развязались, такъ ужъ это имъ помогъ кто изъ нашихъ, потому сами не могли никакимъ образомъ.

Поискали по двору да по садамъ сначала, не здѣсь-ли, молъ, спрятались, да на слѣды наткнулись, какъ они подъ стѣнку, арыкомъ, что воду проводилъ, проползли, ну, и искать, значитъ, больше не зачѣмъ.

— Ну, и эти двое за всѣхъ отдуются! — рѣшилъ Матъ-Ніазъ, когда узналъ о ночномъ побѣгѣ.

Оробѣли шибко жалобщики, да и нукеры Матъ-Ніазовы неспокойны были. Вѣдь тѣ-то, бѣжавшіе, пожалуй, своихъ соберутъ да на выручку явятся. Какъ-бы худо чего не было, до рукопашной не дошло-бы.

— Наказать-бы этихъ только палками да отпустить... зачѣмъ рѣзать?.. Не надо проливать ихъ крови!—стали тихонько межъ собою поговаривать домочадцы и слуги Матъ-Ніазовы.

— Пожалуй, что и такъ можно; что ихъ раздражать! — сталъ подумывать и самъ Матъ-Ніазъ, когда успокоился да вышелъ утромъ чинить судъ и расправу.

— Въ твоихъ рукахъ, о Аллахъ, и жизнь наша, и головы наши!—вздыхали только опечаленные жалобщики.

А человѣкъ до ста конныхъ уже спѣшили по двумъ дорогамъ къ Матъ-Ніазовымъ садамъ: которые еще далеко скачутъ, только пыль видна по дорогамъ, между садами да стѣнками, которые доскакали уже, у воротъ толпятся запертыхъ да вокругъ ѣздятъ, коней успокаиваютъ.

Между ними и тѣ пятеро бѣжавшихъ. На крупахъ чужихъ лошадей сидятъ, за поясъ передняго руками держатся. Ихъ-то кони въ Матъ-Ніазовыхъ конюшняхъ заарестованы, такъ вотъ выручать пріѣхали.

Сбилъ Матъ-Ніазъ всѣхъ нукеровъ своихъ, человѣкъ пятьдесятъ насчиталъ; подержаться за стѣнами можно. Выслалъ одного изъ своихъ переговорить: «Что, молъ, надо, да зачѣмъ пріѣхало столько?...» будто самъ и не знаетъ, не догадывается даже.

Начались переговоры.

Съ внутренней стороны, изъ-за зубцовъ, говорятъ, а снаружи, съ лошадей, ругаются, оружіемъ грозятся.

— У васъ тутъ люди наши спрятаны! — кричатъ тюркмены.—Подавай ихъ назадъ, что-ли!..

— Есть,—говорятъ со стѣны,—у насъ два вора пойманныхъ, а ваши они или чьи другіе — не знаемъ. Вотъ накажутъ ихъ по закону и отпустятъ!

— Не воры то! Сами вы воры, разбойники!.. Только смѣйте пальцемъ тронуть слугъ первыхъ ханскихъ, за одного десятерымъ горло порѣжемъ; выдавай ихъ сейчасъ, коли головы свои дороги!

— Первый слуга ханскій самъ хозяинъ нашъ, диванъ-беги, Матъ-Ніазъ, по его волѣ все дѣлается... а вы вотъ на его домъ силою прете. За это тоже вамъ и отъ хана достанется, не похвалятъ!

Стали тутъ тюркмены перешептываться между собою. Точно, оно дѣло-то скверное. Мелкій народъ щипать, ну, ничего еще, можно, а какъ тутъ такого крупнаго гуся тронуть?—не въ привычку тоже; опять-же и помнятъ они, что Матъ-Ніазъ, когда расходится, тоже шутить не любитъ. Неловко!..

— Отъ насъ еще пятеро бѣжало,—говорятъ со стѣны.—Вонъ они, тѣ пять-то, съ вами теперь. Вы намъ должны ихъ сейчасъ головами выдать, а не супротивничать. Всѣ мы одному хану, подъ однимъ закономъ служимъ, не враги какіе, что другъ противъ друга должны желѣзо точить, порохъ жечь даромъ!

— Ну, вы-то слуги плохіе, съ нами не равняйтесь,—бахвалятся разбойники. — Коли-бы хороши были, насъ-бы не звали. Такъ какъ же насчетъ дѣла нашего? Выдавайте, что-ли!..

— Всполосуемъ имъ спины, какъ слѣдуетъ, тогда и выдадимъ. Зализывайте имъ языками рубцы, получайте съ Богомъ, небойсь, держать не станемъ; даромъ кормить ихъ, что-ли!..

— Береги свои спины лучше, добромъ говорятъ!.. Не мало насъ сюда съѣхалось, вонъ и еще народъ сбирается. Ой, худо будетъ!

— Да и насъ тоже здѣсь не два человѣка; не показывай больно зубовъ: гляди, какъ-бы не вышибли!

Только и слышно, вмѣсто переговоровъ настоящихъ, что ругань одна; никакого толку не выходитъ.

— Пускай Матъ-Ніазъ самъ выйдетъ! — крикнулъ одинъ изъ конныхъ.—Или насъ впуститъ, все равно!

— Что васъ пускать, не гости какіе. Уходите по добру, по здорову. Самъ выйдетъ, онъ васъ погонитъ!

— То-то вонъ онъ и прячется. Пожалуй, теперь со страху подъ одѣяло къ женамъ забился!

— Прочь, отъ стѣнъ, собаки! Прочь, воры ночные, стрѣлять будемъ! Гайда, отходи!

— Ну, полегче. А что, давай ворота высаживать? Слѣзай съ лошадей. Гей, гей, сюда, сбирайся!

Плохое дѣло задумали тюркмены и впрямь стали съ коней слѣзать. Много ихъ столпилось у воротъ, не боятся даже, что сквозь зубцы глядятъ на нихъ концы мултуковъ, и фитили дымятся.

Матъ-Ніазъ пришелъ тутъ. Онъ все почти слышалъ; какъ смерть, идетъ блѣдный, только не со страху, надо полагать. За нимъ плѣнныхъ тѣхъ двоихъ волокутъ. Исполосовали-таки ихъ порядочно, чуть дышатъ; къ воротамъ привели, наверхъ, между башень, на площадку потащили.

А тутъ къ тюркменамъ изъ садыковской вольницы стали приставать. Тѣ пуще всѣхъ орутъ, ругаются нехорошими словами—диванъ-беги поносятъ, да и самому имени ханскому достается порядочно.

Народъ мирный, что былъ на поляхъ кругомъ, глядѣлъ сначала, весь попрятался, потому видятъ: быть худу, какъ-бы не подвернуться подъ расходившуюся руку.

Только Матъ-Ніазъ взобрался наверхъ по каменнымъ ступенямъ; затряслись ворота: тяжелымъ камнемъ въ нихъ хватили, въ самую створку; щеколда отскочила наружная, внутренняя подалась, погнулась. Кинулись нукеры припирать ворота плотнѣе, бревномъ подперли.

— А, если такъ,— рѣшилъ диванъ-беги, — стрѣлять въ нихъ, разбойниковъ!..

— Брось, уходи!..—еще разъ попытался крикнуть кто-то наверху.—Уходи, пока цѣлы!

— Уръ, уръ! (бей)—откуда голосъ взялся, заоралъ одинъ изъ связанныхъ, какъ своихъ увидѣлъ.

Вдругъ бѣлый клубъ дыма появился между зубцовъ, рядомъ другой вспыхнулъ. Только одну лошадь задѣли вылетѣвшія изъ мултуковъ пули, да и то такую, что стояла невдалекѣ, на привязи.

А тѣмъ временемъ на шеи плѣнникамъ накинули веревочныя петли и затянули ихъ, упершись колѣнкомъ въ спину. Захрипѣли бѣдняги, глаза у нихъ выкатились, лица синими сдѣлались.

— Уръ, уръ, уръ!—реветъ толпа, раздраженная выстрѣлами, и разомъ кинулась къ воротамъ. Нукеры плотно сжались, клынчи изъ ноженъ повытаскивали, ждутъ.

— Берите себѣ вашихъ собакъ, ловите!—крикнулъ Матъ-Ніазъ.—Вотъ они оба!

Темная масса полетѣла внизъ, да на сажень отъ земли разомъ остановилась и затряслась. Это скинули со стѣны «наказаннаго», да не отвязали другого конца веревки, которой его удавили, вотъ ее до низу самаго и не хватило. Нарочно такъ было сдѣлано.

Еще одно тѣло рухнуло и тоже повисло рядомъ съ первымъ.

— Всѣ стѣны унижу вашими тѣлами,—кричалъ, захлебываясь отъ злости, Матъ-Ніазъ.—На всѣхъ зубцахъ будутъ торчать ваши головы. Бунтовщики, хуже гяуровъ, волки, а не мусульмане!

Отшатнулись тюркмены, къ лошадямъ своимъ бросились. А тутъ ворота отворили наши, самъ диванъ-беги нукеровъ своихъ вывелъ и въ рядъ поставилъ; подняли тѣ мултуки, стали цѣлиться въ отступившихъ.

— Ну, васъ къ чорту!—заговорили изъ садыковской вольницы, и тягу поскорѣе. Видятъ, что за пѣшими людьми и конныхъ нѣсколько выѣхало изъ воротъ; какъ-бы кого не поймали, что за нужда повиснуть рядомъ вонъ съ тѣми; ишь, какъ они страшно качаются, точно живые еще.

— Насъ ханъ самъ разсудитъ! — крикнулъ-было одинъ изъ тюркменъ, изъ старшихъ видно, и велѣлъ своимъ отступать, оставивъ пока за Матъ-Ніазомъ сегодняшнюю схватку.

XLII. Не мытьемъ, такъ катаньемъ доняли.

Цѣлый день только и разговору было, что про утреннюю баталію. Матъ-Ніазъ письмо написалъ къ хану, гонца послалъ; черезъ часъ еще послалъ двухъ вершниковъ съ бумагою, гдѣ приказывалъ сарбазовъ пѣшихъ привести къ нему, хоть сотню. Самъ даже собирался еще разъ ѣхать въ Хиву.

— Я,—говоритъ, — этого не прощу имъ... Все, — говоритъ,—это Матъ-Мурадовы козни, ничьи другія...

Убрали все въ порядокъ во дворѣ, повѣшенныхъ оставили еще на день, для страха другимъ. Воронье налетѣло сейчасъ стаями, обсыпало всѣ зубцы сосѣдніе, надъ воротами съ крикомъ носится. Гамъ такой подняли, что не слышно ничего за ихъ карканьемъ.

Садовники наши струхнули-было сначала: они съ тополей все видѣли, что за стѣнами дѣлалось. Разсказывалъ имъ тогда Егоръ Власовъ, что «Боже упаси, тюркмены-бы верхъ взяли! Прощай тогда ихъ житье хорошее! Натерпѣлись-бы вволю они всякой всячины. Ну, да Богъ миловалъ!»

— У нихъ бѣда!—говорилъ Пашка Рубчиковъ.—Нашъ урядникъ у нихъ вотъ шестнадцать годовъ выжилъ, совсѣмъ извелся человѣкъ отъ того житья. Ни корму тебѣ настоящаго, ни одежи, и вѣкъ-то весь съ веревки не спущаютъ. А ужъ насчетъ тычка, такъ это собакѣ забитой позавидуешь... право слово!

— Что ужъ за житье у тюркмена, «поштрѣли нечистый его въ бороду!»—хмурился Мартышевъ.

— Воинство-то хозяина нашего больно плохое,—крутилъ свои усы унтеръ-офицеръ Егоръ Власовъ;—нѣшто такъ надо? Эхъ, далъ-бы мнѣ волю, я-бы ихъ вымуштровалъ. Сичасъ это пальба залпами; опосля того «въ штыки», на ура!.. Только-бы ихъ и видѣли... А то можно «въ цѣпь»—это по-за камешками да по-за кусточками... Пафъ да пафъ... Нѣтъ, у нихъ не модель... плевое дѣло. Азіаты извѣстно!..

— Я-бы убѣжалъ...—тряхнулъ головою приказчикъ хлудувскій.—Я-бы, какъ только-что...

Поглядѣли на него казаки, покосился и Егоръ Власовъ, усмѣхнулся, сплюнулъ легонько.

— Нѣтъ, братъ, отъ нихъ, отъ тюркменъ, не больно прытко убѣжишь. Почище тебя пробовали!

— Отъ судьбы нѣшто уйти можно?—сказалъ и Степанъ-Малышъ.—Какъ, значитъ, человѣку на роду написано!

— Вотъ это вѣрно!

Не варили въ тотъ день плову на обѣдъ, не до того было; лепешекъ, однако, выдали, по двѣ на брата. Сѣли наши садовники въ уголъ сада, около чигирей, у стѣнки, огонекъ

разложили, кунганчикъ согрѣли, стали чай пить. Въ тотъ день и Матъ-Ніазъ только одинъ разъ выходилъ въ садъ и то не надолго, не докучалъ садовникамъ своимъ присмотромъ.

Передъ вечеромъ отъ Садыка люди пріѣхали къ Матъ-Ніазу; прислалъ, молъ, «батырь» о здоровьѣ справиться, желѣетъ, говорятъ, что не зналъ о разбоѣ, непремѣнно-бы самъ прискакалъ на выручку. Обѣщалъ, хитрый, переловить главныхъ зачинщиковъ и къ диванъ-беги на судъ ихъ доставить.

Лошадь прислалъ Садыкъ Манъ-Ніазу въ подарокъ и двухъ собакъ борзыхъ своего заводу; просилъ принять и не забывать въ своихъ молитвахъ «всегда ему преданнаго и дружелюбиваго сосѣда».

— Наше взяло верхъ. Вишь, какъ онъ хвостъ поджалъ,— говорили матъ-ніазовцы.—Ну, значитъ, теперь можно спать спокойно, долго будутъ помнить *они* науку. Вотъ какъ мы!.. Да, вотъ какъ наши!..

«Эко языкъ двуконечный», подумалъ только про себя Матъ-Ніазъ, однако, ничего, подарки принялъ, притворился, что не гнѣвается, вѣритъ сосѣду. «Худой миръ, молъ, все-таки лучше».

Все позатихло, мало-по-малу, и успокоилось, а къ ночи такъ даже народъ полевой, напуганный, изъ своихъ норъ выползъ, и забѣлѣлись между грядъ да по полямъ рубахи мирныхъ работниковъ.

Вѣтромъ потянуло со степи, мелкую пыль нанесло, даль затуманило, солнце словно за тучу опустилось; ночь наступила темная, непроглядная. Еще на открытомъ мѣстѣ туда-сюда, а въ садахъ, подъ деревьями, совсѣмъ стало хоть глазъ выколи.

Слышитъ Степанъ, толкаетъ его въ бокъ кто-то, окликаетъ шопотомъ. Проснулся.

— Встань-ко, землякъ, да пойдемъ, послушаемъ, что за оказія,—говоритъ ему Егоръ Власовъ.—Что-то нечисто!

Всталъ мужикъ, потянулся, зѣвнулъ раза два. Только-было разоспался, какъ слѣдуетъ, согрѣлся.

— Что такое?—спрашиваетъ.

— Да вотъ пойдемъ, самъ услышишъ. Захвати что на всякій случай, китмень этотъ, что-ли!

Взяли, пошли; дорогою Пашку и Мартышева подняли, а тутъ и приказчикъ подошелъ къ нимъ. Ведетъ ихъ всѣхъ

Егоръ Власовъ унтеръ за чигири водоподъемные, въ самый дальній уголъ, къ заваленной калиткѣ.

Вся густо заросла бурьяномъ и крапивою эта калитка. Давно ужъ она, по приказанію хозяина, была заколочена и землею завалена. Мосточекъ, что съ той стороны черезъ ровъ перекинутъ былъ, когда еще здѣсь ходъ полагался, тоже давно былъ разобранъ, и стѣна садовая прямымъ отвѣсомъ на дно этого рва спускалась.

— Слышите, братцы?—шепчетъ унтеръ.—Вотъ затихли что-то, а то явственно было. Тсъ!

Затаили духъ, словно коты надъ мышиною щелью: царапаются, точно, съ той стороны; земля, слышно, осыпается. Вотъ камень вывалился, покатился, булькнулъ, словно въ воду какую попалъ; вотъ желѣзо звякнуло; опять стихло все, опять скребутся.

«Подрываютъ!»—не сказалъ, просто подумалъ про себя Егоръ Власовъ.

— А ну-ко, подсади, другъ, я на дерево влѣзу, можетъ, что черезъ верхъ увижу!—говоритъ Пашка.

— Темень!—покачалъ головою Мартышевъ.

— Я сейчасъ, братцы, добѣгу къ нукерамъ да сюда ихъ кликну!—сунулся-было приказчикъ хлудовскій.

Иранцы-работники тоже кое-кто попросыпались, сюда подошли, глядятъ, что это русскіе здѣсь собрались? Близко не подходятъ, а видно, какъ стоятъ кучкою за фиговыми кустами.

Только успѣлъ приказчикъ отбѣжать шаговъ съ десять, посыпалась глина ужъ съ этой стороны; косякъ верхній деревянный вывалился,—разомъ наперли снаружи.

— Воры!—крикнулъ унтеръ, взмахнулъ китменемъ и ударилъ наотмашь первую высунувшуюся голову.—Держись, братцы, пока со двора не придутъ! Это они, утрешніе!..

— Что ты! Кто это?—рванулся Степанъ.

Ухватили его крѣпко сзади за локти, за шею тоже прихватили и на земь валятъ.

— Ой, батюшки! Смерть моя пришла! Ой, батюшки!—слышитъ Степанъ-Малышъ, кто-то стонетъ по-близости,—по голосу, должно быть, Пашка Рубчиковъ,—потомъ захрипѣлъ и стихъ, надо полагать—кончился.

А тутъ зарево красное вспыхнуло надъ самыми конюшнями Клеверъ тамъ сухой сложенъ былъ на крышахъ, вотъ онъ-то

и загорѣлся, да еще съ нѣсколькихъ мѣстъ разомъ. Деретъ просто пламя, хлопья огненные несетъ по вѣтру. Всполошились нукеры, кинулись тушить, снопы горящіе раскидывать; которые лошадей стали выводить; нейдутъ испуганные пожаромъ кони, упираются. Суматоха поднялась, крикъ, гамъ, никто и не обращаетъ вниманія, что такое говоритъ имъ приказчикъ хлудовскій, куда зоветъ ихъ.

Бросился онъ назадъ въ садъ, не добѣжалъ до мѣста: свалили его въ арыкъ головою, живо скрутили веревками и потащили волокомъ по грядамъ да виноградникамъ, не разбирая дороги.

— Это тебѣ, Матъ-Ніазъ, за тѣхъ двоихъ отместка!— кричитъ откуда-то тотъ-же голосъ, что утромъ «ханскимъ судомъ» стращалъ.—Еще разъ тронешь кого изъ нашихъ, вдвое хуже достанется!

Къ утру только унялась суматоха. Пожаръ большихъ бѣдъ не надѣлалъ. Крыши-то всѣ землею сверху на пол-аршина засыпаны и глиною смазаны, не скоро ихъ огнемъ проберешь. Въ садахъ-же много поломано было и натоптано. У разбитой калитки, за чигирями, тѣло нашли мертвое, съ головою на-двое расколотою, признали въ немъ одного изъ русскихъ садовниковъ. Еще много кое-гдѣ кровавыхъ слѣдовъ было, и на стѣнѣ, да и по кустамъ,на листьяхъ остались; гряды помяты, чигирь одинъ свороченъ на сторону. Изъ русскихъ никого не осталось, кромѣ убитаго, да и изъ иранцевъ человѣкъ восемь пропало— бѣжали, должно быть, безпорядкомъ ночнымъ воспользовавшись. На дворѣ три нукера ранены и уведены двѣ лучшія лошади Матъ-Ніазовы; уведена и та, что отъ Садыка въ подарокъ была прислана. Тѣла двухъ повѣшенныхъ тюркменъ тоже сняты были и увезены, на стѣнахъ только висѣли два веревочные конца обрѣзанные.

Матъ-Ніазъ и не выходилъ въ эту ночь изъ своихъ внутреннихъ сакель: оробѣлъ немного онъ, помолился, да и ждалъ врага, когда тотъ самъ къ нему явится.

XLIII. Пѣшіе коннымъ подневольные товарищи.

Жаркій день былъ послѣ этой тревожной ночи. Тишина въ воздухѣ, ни одного облачка на небѣ.

Тяжело идти пѣшкомъ въ такую пору, и верховой чело-

вѣкъ норовитъ пристать гдѣ подъ тѣнью да выждать вечерней прохлады, чѣмъ себя и лошадь свою томить дорожною мукою.

Оно-бы ничего еще, привычному человѣку идти можно-бы, не спѣша, вольною волею, выбирая дорогу, съ пріостановками. Ну, а межъ лошадей да на привязи, съ веревкою на локтяхъ и на шеѣ, гдѣ рысцою, а гдѣ и въ припрыжку, чтобы отъ коня не отстать, нѣтъ, лучше-бы ужъ пришибли до смерти, хотя изъ жалости, все бы одинъ конедъ, чѣмъ нести такія мученія!..

Горло пересохло, на языкѣ липкая слюна накипѣла, въ груди колотье острое, духъ занимаетъ, ноги подкашиваются; упалъ бы, да веревка крѣпка, не оборвется, все равно, волокомъ потащутъ.

Жажда моритъ. Хоть бы глоточекъ воды хлебнуть!.. Вонъ она, вода-то, много ея: и здѣсь, и тамъ струятся, журчатъ, переливаются по арыкамъ благодѣтельныя струйки, пруды-хаузы, словно зеркала, сквозь группы тѣнистыхъ деревьевъ свѣтятся; да, вишь ты, вода, да не про насъ она. На ходу бы зачерпнуть рукою—не дотянется, да и руки-то крѣпко на-крѣпко за спиною связаны.

И рѣжетъ арканъ волосяной, сквозь кожу, сквозь мясо, до самыхъ костей въѣдается. Саднятъ отъ солонцевой пыли рубцы кровавые, вздулись, налились жилы перетянутыя, кровь въ голову бьетъ. Словно угаръ какой, словно похмѣлье мучительно стоитъ въ головѣ, и кажется несчастному, что вотъ-вотъ не выдержитъ и лопнетъ надвое черепъ его, швы темянные разойдутся.

— Гайда, гайда!—покрикиваютъ тюркмены конные.—Гей. Гайда-джюръ!.. Яманъ уруссъ, гайда!..

То пинкомъ остроносаго, кованнаго сапога норовятъ въ спину голую, межъ лопатокъ, толкнуть, то плетью, словно шутя, по плечамъ да по шеѣ похлестываютъ, по ушамъ задѣть норовятъ.

Тяжело дышутъ плѣнники, хрипятъ совсѣмъ, спотыкаются торопятся. Не жалуются, ничего не просятъ у своихъ мучителей. Да и зачѣмъ?.. Все равно, кромѣ «гайда!» ничего въ отвѣтъ не услышатъ, развѣ только пинка лишняго дождутся да надсмѣха какого.

Эхъ, хоть бы ужъ до рѣки, что-ли, скорѣе добраться!

Бѣжитъ между лошадей Степанъ-Малышъ, бѣжитъ между другой пары конныхъ Мартышевъ казакъ, бѣжитъ за нимъ и приказчикъ хлудовскій, плачетъ чего-то, всѣмъ святымъ молится. Виднѣется впереди, сквозь пыль, широкая спина Егора Власова ундера, а по бокамъ ея два крупа конскихъ, попонами ковровыми покрытыхъ. Только Пашки Рубчикова нѣту съ ними. Тому теперь хорошо, много противъ ихняго лучше. Тотъ, счастливый, уже ни пинка, ни устали, ни позора, ни жажды смертельной не чувствуетъ.

Бѣгутъ и иранцы Матъ-Ніазовы, особнякомъ, кучкою, несвязанные, на волѣ. Боковыя тропиночки выбираютъ, собаки, гдѣ потверже да потѣнистѣе; къ водѣ подбѣгутъ—головы помочутъ, глаза промоютъ. Нѣтъ за ними присмотру никакого, если и торопятся, отъ конныхъ не отстаютъ, такъ по своей волѣ значитъ, не по нуждѣ какой. Одинъ изъ тѣхъ иранцевъ такъ даже на лошади ѣдетъ, судя по сбруѣ, не изъ-подъ сѣдла, а изъ арбы дорогою гдѣ выпрягли.

Пыль столбомъ стоитъ надъ бѣгущими. Вотъ такіе-же столбы пыли, только погуще, навстрѣчу приближаются. Много народу идетъ пѣшаго, красные халаты такъ и алѣютъ на солнцѣ, ружья блестятъ, значки отрепанные, съ конскими хвостами, на длинныхъ древкахъ, въ облакахъ пыли высоко колышутся.

Это сарбазы идутъ ханскіе, по письму Матъ-Ніаза высланные; опоздали только немного!..

Три пушки везутъ они съ собою; лошадей головъ по двѣнадцати въ каждую впряжено, быковъ пара къ одной даже прицѣплена. Тяжелы, громоздки эти «зимбареки» *) хивинскаго хана.

Визжатъ и стонутъ оси немазанныя, трещатъ колеса разсохшіяся, цѣпи да гайки развинченныя звякаютъ и дребезжатъ такъ, что глухому за версту слышно...

Идутъ сарбазы толпами, въ безпорядкѣ, серединою дороги прутъ, башмаками дырявыми густую пыль мѣсятъ; которые по сторонамъ разбрелись, въ кибитки да въ сакли чужія заглядываютъ, навѣдываются, что подъ руку попало, перехватываютъ.

---

*) Зимбарекъ—пушка.

Скотину некупленную съ собою гонятъ, головъ съ десятокъ, арбы тянутся за ними тяжело нагруженныя, лошади и быки горбатые въ арбахъ этихъ маются, приставать уже готовятся.

Одна арба впереди всѣхъ, впереди даже войска пѣшаго ѣдетъ. Навѣсъ надъ этою арбою устроенъ изъ боковыхъ стѣнокъ походной палатки; ярко такъ играютъ на солнцѣ полотнища цвѣтныя, узорныя; днище арбяное коврами для мягкости устлано, подушки туда положены. Лежитъ на тѣхъ подушкахъ халатъ красный, золотомъ вышитый, и шапка черная торчитъ изъ мелкой мерлушки.

За арбою конь осѣдланный идетъ на привязи; два человѣка рядомъ идутъ, несутъ на плечахъ по котлу, затянутому бараньей кожею; замѣсто барабана такіе котлы служатъ.

Это самъ «юсъ-баши» (сотникъ), начальникъ этого отряда пѣшаго, ѣдетъ.

Вотъ поравнялись съ тюркменами; раздались тѣ по сторонамъ, пропускаютъ воинство ханское.

— Откуда?—мычитъ въ арбѣ красный халатъ, съ просонковъ на встрѣчныхъ щурится.

— Откуда Аллахъ несетъ?—спрашиваетъ еще кто-то.— Гдѣ наловили?.. Аманъ мулла, откуда?

— А вонъ оттуда!—уклончиво отвѣчаютъ тюркмены и мимо гонятъ поскорѣе, шагу набавили.

— Э-гмъ!—мычитъ юсъ-баши, осовѣлъ совсѣмъ отъ жару, разоспался; зѣвнулъ онъ эдакъ, до слезъ даже, клюнулъ носомъ и снова завалился на свои подушки.

Что за нужда, молъ, важному начальству всякимъ встрѣчнымъ человѣкомъ себя обезпокоивать.

Цѣлые сутки такъ гнали, безъ отдыха, нашихъ садовниковъ; на Аму-Дарью пришли—отдохнули. Перехватили тюркмены каикъ чей-то большой, стоялъ подъ крутымъ берегомъ на привязи, заняли его, нагрузились, да и стали внизъ спускаться.

Развязали тутъ плѣнниковъ, сбили всѣхъ на одинъ конецъ лодки, въ покоѣ пока оставили.

То-то пить принялись бѣдняги, какъ до воды вольной дорвались! Съ казакомъ Мартышевымъ такъ даже колотья въ животѣ сдѣлались, а приказчикъ хлудовскій за бортъ чуть не перекинулся.

Напились, обмылись, штаны холщевые порвали на себѣ, тряпки намочили и къ рубцамъ стали прикладывать. Егоръ Власовъ училъ, какъ дѣлать все это надо.

Сперва ни о чемъ больше и не думали, какъ только, чтобы поскорѣе оправиться,—заставила вода все горе забыть на первое время, развеселила даже. Дали имъ тюркмены на всѣхъ большую ногу баранью, вареную. На-те, молъ, поѣшьте, что въ васъ толку въ истомленныхъ такихъ замученныхъ.

Только съ иранцами потѣшная тутъ оказія приключилась: только дошли до рѣки, окружили ихъ конные и вязать вдругъ начали, не по одиночкѣ, а цѣпью, другъ къ дружкѣ; такъ гуртомъ и на каикъ согнали.

— За что да зачѣмъ?—спрашиваютъ тѣ.—Мы, молъ, вамъ помогли. Сами намъ волю обѣщали, черезъ становища пропустить на родину хотѣли, а теперь? Грѣхъ обижать такъ людей бѣдныхъ!..

— Чудаки вы,—говорятъ имъ тюркмены;—нѣшто намъ отъ васъ прибыль или корысть большая? Да идите себѣ съ Богомъ!.. Только проку отъ того не будетъ вамъ большого. Ну, мы васъ отпустимъ, черезъ наши становища вы пройдете благополучно, а тамъ другіе роды сидятъ, тѣ уговору съ вами никакого не дѣлали, тѣ васъ, все равно, повяжутъ и домой не пустятъ, да еще искалѣчатъ, можетъ, какого, коли совсѣмъ не ухлопаютъ... Нѣтъ, ужъ живите у насъ. Теперь-же кстати «война», мы дома сидѣть не можемъ; кто сторожить наши стада будетъ, пока мы не воротимся? Вотъ вы и пригодитесь. Оно и съ руки выходитъ; кстати вы и народъ такой, что одно бабье наше приглядѣть за вами съумѣетъ, а когда придется, то и справится... Ну, цыцъ, больше не разговаривать!.. Эй, другъ, я тебя уйму; я вѣдь понимаю по-вашему, слышу, какъ ты себѣ подъ носъ нехорошими словами ругаешься.

Отлились волкамъ овечьи слезки!..

XLIV. Въ тюркменскихъ становищахъ.

Какъ пригнали плѣнныхъ въ становища, разбили ихъ по одиночкѣ, разрознили, сдали бабамъ своимъ подъ присмотръ, сами всѣ опять на правый берегъ Аму-Дарьи отправились.

А тутъ и впрямь къ ханству хивинскому съ трехъ сторонъ стали подходить русскіе.

Ждали ихъ, давно ждали, а подошли, такъ словно неожиданные, негаданные, словно снѣгъ середь лѣта на головы обрушился.

Пошло все вверхъ дномъ въ ханствѣ, на правомъ берегу. Сюда, въ кочевья да въ становища тюркменскія, бѣлыя рубахи пока не заглядывали, только вѣсти о нихъ доходили для кого грозныя, печальныя, для кого веселыя, радостныя.

Недалеко отъ стараго города, развалинъ однѣхъ, нежилыхъ, давно брошенныхъ, Кунья-Угренча, есть озерко небольшое, «Порсу» называется. Съ одной стороны, отъ развалинъ, къ этому озеру пески подступаютъ, а съ противоположнаго конца подходитъ большой арыкъ «Зайданъ», и отъ этого арыка вправо и влѣво тянутся змѣйками оросительныя канавки, дающія жизнь всему урочищу, занятому большимъ, разбросаннымъ ауломъ «Чербакъ-ата», а въ аулѣ томъ живутъ около сотни семей тюркменъ, родомъ «чодоровъ». Къ нимъ-то вотъ и попали изъ нашихъ двое: Степанъ-Малышъ и приказчикъ бывшій хлудовскій.

Аулы богатые это были, просторно раскиданы. Зимовки стояли все глинобитныя, прочныя, съ камышевыми крышами, а кибитки кошемныя, не то что у бѣдняковъ кара-калпаковъ, по стѣнамъ коврами узорными обложены.

Которыя кибитки на открытыхъ мѣстахъ стояли, которыя совсѣмъ въ густой тѣни деревьевъ садовыхъ прятались, только и узнать, гдѣ какія, по дыму можно было, что столбомъ поднимался надъ развѣсистыми вершинами карагачей да надъ вырѣзною листвою густыхъ виноградниковъ.

Большія поля, изрѣзанныя на мелкіе квадратики оросительными арыками, засѣянныя пшеницею, тянулись чуть-ли не до самыхъ песковъ; ярко зеленѣли клеверные участки, колосилась высокая джугара, стебли въ руку толщиною, пріютъ всякой мелкой пташки, особенно вороватыхъ розовыхъ скворцовъ, не боявшихся даже страшныхъ пугалъ и вертушекъ, разставленныхъ на поляхъ заботливою хозяйскою рукою.

Пески, что примыкали къ озеру, не были совсѣмъ мертвые, голые, какъ тѣ, что отъ кызылъ-кумской стороны надвигались. На здѣшнихъ пескахъ, особенно по низкимъ мѣстамъ,

много растетъ полыни, колючки и особой осоки степной «рангу», лучшаго корма для всякой скотины.

Большія стада лошадей, овецъ и верблюдовъ, долгоногихъ, одногорбыхъ, самыхъ дорогихъ «наровъ», пасутся на этихъ пескахъ и находятъ себѣ корму достаточно, даже и въ зимнее время, потому что снѣга здѣсь рѣдко бываютъ, а и выпадутъ, такъ совсѣмъ не глубокіе, не всю землю покрываютъ даже.

Богатая сторона здѣсь, а люди все живутъ тутъ вольные, не бѣдные. Да и какъ не жить хорошо? Земля хорошо родитъ, да и не она одна источникъ доходовъ. Станетъ тюркменъ самъ съ пашнями возиться? На то рабы есть, да жены, да подростки въ семействахъ. Ну, въ горячую рабочую пору, когда жатва начинается или другое что, много сразу рукъ рабочихъ требующее, тогда всѣ уже дома, и кипитъ работа не по днямъ, а по часамъ, къ концу подходитъ; а чуть посвободнѣе станетъ время, тюркмену уже не сидится дома. Не станетъ онъ также въ чайныхъ лавкахъ, какъ узбекъ или горожанинъ какой, по цѣлымъ днямъ нѣжиться, не станетъ и съ женами долго на коврахъ валяться; сѣдлаютъ коней боевыхъ, сбираются въ партіи и идутъ добывать себѣ счастья то къ персидскимъ границамъ, то на правый берегъ, то на степные караванные пути выѣзжаютъ, сторожить длинныя цѣпи верблюжьи. Къ нашимъ русскимъ землямъ, даже между Араломъ и Каспіемъ, прорываются.

Положимъ, не всегда имъ удача въ этихъ набѣгахъ, не всегда счастіе улыбается: случается, что цѣлое лѣто прошляются, назадъ съ пустыми руками вернутся да еще въ своихъ недочетъ проявится, лишнія вдовы и сироты въ вольныхъ кочевьяхъ окажутся; за то и такъ случается, что за одинъ разъ привезутъ столько, что мирнымъ трудомъ въ нѣсколько лѣтъ не заработаешь.

Сами себѣ хозяева, сами себѣ судьи, знаютъ только своихъ старшинъ да шаечныхъ батырей, плевать хотятъ на всякую власть, хоть-бы на хана самого хивинскаго Сеидъ-Рахимъ-Багодура; шлютъ только ему обычную часть съ добычи, въ видѣ подарковъ, почетъ одинъ оказываютъ, и на случай войны какой, вотъ хоть-бы теперешней, нукеровъ ему своихъ высылаютъ, «любимое войско Аллаха великаго».

И женщины-тюркменки—не то, что другія мусульманки:

лицъ подъ сѣтки не прячутъ, отъ встрѣчнаго взгляда не сторонятся, сами норовятъ заставить другого глаза свои въ землю потупить. Рослыя все, стройныя, красивыя, и старость-то ихъ не безобразитъ; ходятъ въ рубахахъ цвѣтныхъ, долгополыхъ, да въ накидкахъ, въ родѣ халатовъ, шелковыхъ: накидки эти по бортамъ, до самаго низа, монетами серебряными усажены да подвѣсками металлическими, на рубахахъ нагрудники тяжелые, тоже все золотыми и серебряными монетами выложены, на ходу звенятъ и побрякиваютъ; на головахъ ихъ чалмы легкія, красиво такъ повязанныя, съ концами, ниже плечъ спускающимися, или-же высокіе джавлуки, все тѣми-же монетами да подвѣсками украшенные.

Лица у женщинъ не скуластыя, какъ у киргизокъ, а правильныя, глаза большіе, живые такіе, черные, брови дугою выведены, носы длинные, съ горбинкою, зубы, какъ снѣгъ, бѣлые; смѣются когда, словно жемчужины между сочныхъ, красныхъ губъ свѣтятся.

Побоевъ мужскихъ не переносятъ вольныя жены, сами не дадутъ спуску, и голосъ и почетъ наравнѣ съ мужчинами имѣютъ, въ домахъ своихъ хозяйками считаются, не наложницами.

Шибко любятъ тюркмены волю свою и свободу, смертельные враги они всякому, кто на эту волю покусится. Вѣка прошли цѣлые—не было руки надъ ними, не находилось противника сильнѣйшаго. И крѣпко чаяли они, что еще пройдутъ вѣка, за ними еще, такъ до самой вѣчности, не измѣнятся ихъ порядки, не потускнѣетъ ихъ солнышко.

«Не тюркменъ—не человѣкъ»—сложилась у нихъ давно, споконъ вѣку, такая поговорка, и рабу несчастному, въ ихъ руки попавшемуся, плохо приходится. Рабочимъ скотомъ его считаютъ, хуже собаки всякой жить у нихъ; прекословить станетъ, супротивничать—расправа короткая и скорая.

Минуты нѣтъ рабу такому отдыха. При домѣ когда, все за работою тяжелою мается. Воду таскаетъ, землю копаетъ, арыки чиститъ, съ мѣста на мѣсто, что надо, словно скотина вьючная, перетаскиваетъ, да все изъ подъ палки, подъ крикомъ, подъ руганью. Кормить, точно что хорошо кормятъ, силу берегутъ, ну, да и собакѣ всякой при тюркменскихъ становищахъ мяса и корму прочаго бываетъ вдоволь, все равно, дѣвать некуда.

Только и отдыха несчастному рабу, когда ушлютъ его скотину пасти въ пески; хоть и солнцемъ печетъ тамъ, хоть и вѣтеръ знойный все лицо обжигаетъ, все-таки отдыхъ есть хоть какой-нибудь, все-таки не ругаютъ тебя, не грозятъ плетью да палкою поминутно; скотина молчалива, она добрѣй человѣка, отъ нея другой разъ за уходъ да присмотръ и ласки дождешься.

Труденъ побѣгъ съ этой стороны: крѣпко другъ за дружку роды тюркменскіе держатся, все равно, поймаютъ и назадъ приведутъ. Ну, тогда ужъ плохо; дешево еще отдѣлаешься, если мѣсяцъ послѣ наказанія больной проваляешься, а въ другой разъ такого бѣгуна и на колъ посадятъ, на страхъ другимъ и въ будущую науку.

Повезло Степану-Малышу сразу счастье: на третій-же день, какъ привели его сюда, сдали на руки женщинамъ; послала его хозяйка новая барановъ пасти за «Порсу» озеро; съ нимъ еще двое ушло: персіянинъ одинъ, старикъ сѣдой, хилый, и мальчишка-киргизенокъ по своей охотѣ увязался.

Тутъ-то, по-близости, все уже было вытравлено, такъ велѣли пастухамъ гнать скотину верстъ за двадцать, ночевать не ворочаться, а сгонять барановъ на ночь къ озеру, къ западному берегу; за пищею чтобы мальчишку присылать одинъ разъ въ двое сутокъ. А пища вся въ мѣшкѣ джугары состояла; мясного пастухамъ не отпускалось, потому, думала хозяйка, «все равно, барана украдутъ да сожрутъ, на волковъ свалятъ послѣ».

XLV. Отголоски.

Довелось теперь Степану-Малышу вволю *о своемъ дѣлѣ* надуматься. Никто не мѣшалъ ему въ этомъ.

Старикъ-персіянинъ, какъ только пригонятъ стадо на холмы песчаные, сейчасъ халатишко свой съ себя сниметъ, на клюку распялитъ, тѣнь себѣ отъ солнца устроитъ и спать тотчасъ-же завалится, подложивши подъ голову косматую баранью шапку. Спитъ онъ, словно сурокъ зимою, безъ просыпу, на мягкомъ пескѣ, пригрѣтый солнышкомъ.

Мальчишка-киргизенокъ нивѣсть гдѣ пропадаетъ, а те ушлютъ зачѣмъ назадъ, въ становища. А Степанъ сидитъ

себѣ одинъ-одинешенекъ да на скотину смотритъ, какъ та между барханами бродитъ, молодую колючку да стрѣльчатые, тонкіе ранговые побѣги скусываетъ.

Велико стадо было, а трехъ дней не прошло, всякую голову пастухъ нашъ по примѣтамъ узнавалъ.

Разъ какъ-то пришлось перегонять атары на новыя мѣста—на старомъ уже все было вытравлено. Старикъ говоритъ: «туда вонъ пойдемъ, я знаю», а Степанъ не прекословилъ: «туда, такъ туда»; погнали.

Переползли одинъ гребень, на другой стали подниматься, глядятъ — а вонъ и сосѣдніе верблюды пасутся вдали; которые «пары» на вершины холмовъ взобрались, такъ тѣхъ далеко видно, скотина-то крупная.

Вотъ на одномъ верблюдѣ человѣкъ сидитъ, пастухъ, значитъ, «тюяча». Ближе стали подходить—чинитъ этотъ человѣкъ свою рубаху, досугомъ пользуется; сюда спиною повернулся, лица не видно.

Спина голая его хоть и сильно загорѣла съ затылка да на плечахъ, а все-таки видать что бѣлая, не здѣшняя дубленая. Знать кто изъ русскихъ.

— То,—говоритъ киргизенокъ,—балхіатскіе верблюды; у нихъ, въ Балхіатѣ, аулѣ, значитъ, тоже есть русскій, пастухъ Ванька; это онъ самый!

Обернулся Ванька этотъ, какъ услышалъ блеяніе овечьей атары, глаза рукою прикрылъ, бросилъ свою починку.

Узналъ тутъ Степанъ приказчика хлудовскаго, обрадовался шибко земляку. Вотъ уже мѣсяцъ скоро, какъ не видѣлись.

— Эге, Степанъ! Здорово! — кричитъ Ванька съ верблюжьей спины.—Какъ поживаешь, другъ, все-ли въ полномъ благополучіи?

Бѣгомъ пустился къ нему Степанъ-Малышъ, собаки его съ лаемъ впередъ погнали, на встрѣчу имъ чужія собаки изъ-за холмовъ вылетѣли, грызться сейчасъ сцѣпились, инда шерсть полетѣла клочьями; псы степные все злые, на волка травленные.

Киргизенокъ крюкомъ взмахнулъ, разнимать кинулся; заковылялъ и старикъ туда-же.

— Ты у кого живешь, да какъ Господь милуетъ?—спрашиваетъ приказчикъ хлудовскій.

Спустился онъ сперва со спины на шею верблюжью, оттуда уже на земь сползъ, поцѣловался съ землякомъ.

— У кого живу? А кто его знаетъ! — отвѣтилъ Степанъ; — У хозяйки, значитъ. Живу по-маленьку, какъ Богъ велитъ, такъ и живу. Ты какъ?

— А я первымъ сортомъ, пока въ свое удовольствіе. Хорошо тебя кормятъ?

— Даютъ поѣсть, ништо. Слава те, Господи!

— Такъ. Бьютъ, чай, шибко? Спусти-ко рубаху, покажи спину. То-то, чай, исполосована!

— Одного раза досталось, а чтобы очинно, такъ пока не видалъ. Самого не трогали, а двоихъ такъ, точно, шибко намедни драли; я думалъ, такъ до смерти зашибить хотѣли. Бабы-то здѣсь все злющія, ровно тигры лютые. У васъ нѣшто не бьютъ?

— У насъ? Никакимъ манеромъ. У насъ такого заведенія не положено. Обхожденіе чудесное!

— Вишь ты!

— Да, братецъ. У меня хозяйка добрая: и кормитъ хорошо, и поблажаетъ всѣмъ нашего брата. Вѣришь-ли: меня увидала—словно земляку обрадовалась, по-нашему заговорила.

— Изъ себя какова?

— Чего?

— Изъ себя какова?—переспросилъ Степанъ появственнѣе.

Горло у него словно перехватило чѣмъ, горячій песокъ сразу похолодѣлъ подъ босыми ступнями.

— Баба изъ себя видная, шибко красивая, не черномазая. Зовутъ ее... А вотъ и не знаю, какъ зовутъ. Заходи, когда свободно, самъ увидишь. Хочешь, вотъ теперь пойдемъ, передъ вечеромъ, вмѣстѣ!

— Не пустятъ наши,—задумался Степанъ.—Скажутъ, пожалуй, убѣжать хочешь; какъ-бы чего...

— Ну, наша-бы пустила!.. Гдѣ ты живешь? Я бы къ тебѣ самъ навѣдался. За озеромъ, что-ли?

— Недалече; какъ это пойдешь ты по лѣвому берегу арыка большого, такъ, часа на три ходьбы, высокіе тополи влѣво будутъ видны, около нихъ самыхъ... Еще тутъ мазарочка будетъ, махонькая такая, сводикомъ выведена, аистъ на ней гнѣздо свилъ, тутъ вотъ и кибитки стоятъ *наши*!

— Зайду, что-же, намъ запрету нѣтъ!

— Спроси ты у ней.

— У кого это?

— У хозяйки своей...—потупился Степанъ. — А то, постой, можетъ, и не *она*; пойти ужъ нѣшто?

— Слушь, братъ, чудное дѣло я тебѣ разскажу... Вотъ, голубчикъ, такъ диковина! Просто, я те доложу, разодолжила. Ахъ, ты, Господи, Боже ты мой!

— Да что такое?

— Пѣсню запѣла разъ, хозяйка-то. Сидѣла это она подъ вечеръ, на порожекъ изъ кибитки вышла. Сидѣла эдакъ, подпершись рукою, я гляжу издали. А тихо было такъ кругомъ, разошлись всѣ куда-то, и вдругъ, слышу это я, запѣла, душа добрая, нашу пѣсню запѣла, россійскую!

— Какую?—задохнулся Степанъ этимъ вопросомъ, голова у него закружилась.

— «Травушку пожелтѣлую», во какую! Скажи кто мнѣ тогда: «Иванъ Дормидонычъ, хочешь билетъ ломбардный въ тысячу рублей—получай, хочешь—еще пѣть будетъ; выбирай, значитъ». Да что, сотенъ тысячъ не пожалѣлъ-бы я, если-бы были такія. Замеръ я на мѣстѣ, не дохну. Вотъ, думаю, оборони Богъ, перестанетъ, нѣтъ, до конца дотянула, послѣ вздохнула эдакъ и рубахою, подоломъ, утерлась... Ты что, братъ?..

Видитъ разскащикъ, что землякъ-то его отвернулся, на солнце, не сморгнувъ, глядитъ, а слезы у него такъ и бѣгутъ изъ глазъ, такъ и струятся по щекамъ. Рука правая тихо такъ, тихо поднимается, пальцы для креста сложились, словно на отмашь осѣнить себя хочетъ Степанъ крестнымъ знаменіемъ!..

— Степанъ, Степа... Что ты это, дружище... Степанъ! Что, братъ, проняло, небойсь, насквозь!..

Звукъ какой-то изъ груди Степана вырвался, долгій такой, протяжный, такъ и хватилъ онъ прямо за сердце; затѣмъ звукомъ стономъ другой вслѣдъ понесся по степи, за нимъ еще. А слезы все шибче и шибче катятся, и дрожатъ эти слезы свѣтлыя на рѣсницахъ пѣвца, дрожатъ и въ каждомъ звукѣ родной, знакомой пѣсни...

— Она самая! Ея голосъ слышу. Она такъ-же вотъ пѣла.

Вотъ-бы вамъ вмѣстѣ!—заторопился, заволновался Иванъ Дормидонычъ;—Какъ есть, она эта «травушка»... Землячекъ, а землячекъ!

Не допѣлъ Степанъ, голосъ у него оборвался. Стоитъ онъ да плачетъ, а, глядя на него, и приказчикъ хлудовскій нѣсть чего разревѣлся. Такъ и вторятъ они другъ дружкѣ...

Глядитъ на нихъ, выпуча глаза, черномазый киргизенокъ, лежа на брюхѣ, поопершись кулаками въ подбородокъ; косится однимъ глазомъ горбатый верблюдъ и сопитъ надорваннымъ отъ крюка носомъ; столпились въ кучу лупоглазые бараны и ѣсть перестали; взвыла чего-то и собака поджарая, задравъ морду свою острую кверху; поглядѣлъ на нихъ и старикъ-персіянинъ—чего это они оба въ самомъ дѣлѣ?—и сталъ вгонять въ песокъ свою палку, тѣнь обычную для спанья прилаживать.

XLVI. Кровью запахло.

Услали киргизенка въ тотъ вечеръ за мукою въ аулы. Захватилъ мальчуганъ мѣшокъ, побѣжалъ въ припрыжку. Думали, назадъ онъ черезъ сутки вернется, не ранѣе, а подпасокъ въ ту-же ночь воротился, на ишакѣ пригналъ, и съ пустымъ мѣшкомъ, говоритъ: «не дали».

— Тамъ, у насъ, на Зайданъ-арыкѣ, что-то неладно,—разсказываетъ мальчикъ.—Мужчины вернулись, человѣкъ двадцать, недобрыя вѣсти привезли. Хозяйка велѣла атару домой гнать, въ самые аулы не приходить, а держаться по близости въ зимнихъ загонахъ.

— Да что такое?—пытаетъ Степанъ, — Что такое случилось, какая тамъ бѣда?—разсказывай толкомъ.

Шибко не по сердцу пришлось ему это хозяйское распоряженіе. Думалъ онъ сбѣгать, куда его землякъ звалъ, только и ждалъ ночного времени да условнаго часу, а теперь—на вотъ тебѣ, совсѣмъ неспособно стало.

— Русскіе, слышно, подъ Хивою стоятъ!—говоритъ киргизенокъ; слѣзъ съ ишака своего, пустилъ его къ овцамъ, самъ на корточки сѣлъ и песокъ ковыряетъ пальцемъ.—Ханъ бѣжалъ куда-то. Сарбазы его побиты, пушки позабирали у него. Въ одномъ мѣстѣ горитъ, въ другомъ горитъ, народъ попрятался... Такой погромъ идетъ въ ханствѣ, что страсть!..

Вздохнулъ Степанъ, вспомнилъ тутъ про слова Егора Власова ундера, какой вѣтеръ добрый ему чуялся.

— Сюда, къ намъ, не придутъ,—вздохнулъ чего-то и старикъ-персіянинъ,—нѣтъ не придутъ!

— Тамъ вотъ тоже думаютъ. Говорятъ: пускай только сунутся!

Стали пока атары стягивать; понеслись собаки по холмамъ, живо сбили въ кучу. Глазомъ просто не окинешь, море цѣлое головъ бараньихъ; погнали.

— Ты, старый, садись!—указалъ киргизенокъ персіянину на своего ишака, самъ сзади пошелъ и прутикомъ подгоняетъ. Степанъ рядомъ идетъ, крюкомъ по песку бороздитъ. Привычная скотина плотно идетъ; которая овца въ сторону норовитъ, ту собака сейчасъ направитъ; не тихо, не скоро, а подвигаются.

— У нашихъ большая неустойка вышла,—разсказываетъ подпасокъ;—дорогою много народу побито. Матъ-Мурадъ съ ханомъ бѣжалъ, а Ніазъ, такъ тотъ уже успѣлъ сдружиться съ русскими, такою лисою передъ ташкентскимъ джандараломъ вертится!.. У нашей хозяйки сына убили старшаго: пуля русская, вотъ такая длинненькая, а сзади у ней ямочка, вотъ эта пуля ему въ скулу попала и всю голову разворотила. Теперь вотъ плачъ идетъ по всему дому... Мать грозится, что первому русскому горло перегрызетъ зубами. Ты ужъ, Степанъ, лучше къ ней и на глаза не подвертывайся. У сосѣдей *самого* изранили: Ходжа-Рахмана знаешь? Вотъ его самаго. Привезли его чуть живого, дышать еще дышитъ, а языкъ уже не ворочается, закостенѣлъ совсѣмъ, и не узнаетъ никого, такъ и лежитъ съ закрытыми глазами, я издали видѣлъ... Какую лошадь привелъ Абдала, афганенъ, ну, такъ лошадь! Рыжая сама, на солнцѣ горитъ, словно золотомъ окована. Ахъ, какая лошадь...

Всю дорогу разсказывалъ имъ киргизенокъ, что видѣлъ да слышалъ въ аулахъ. Стали ближе подходить—издали еще необычное волненіе, гомонъ людской въ становищахъ слышится..

Коннаго народу много пестритъ по дорогамъ, во всѣ стороны мечутся, рыскаютъ. На поляхъ никого не видать—всѣ знать, къ домамъ собрались... Вонъ и плачъ слышенъ, да не въ одинъ голосъ, а хоромъ воютъ, — бабы, должно, судя по голосу.

— Видишь, я говорилъ, видишь?—зашепталъ чего-то киргизенокъ.—Вонъ, плачутъ, тамъ и наша плачетъ!

Дѣвка тюркменка вдругъ изъ-за кустовъ выскочила, верхомъ на неосѣдланной, бѣлой кобылѣ; сзади жеребенокъ прыгаетъ; увидала Степана, какъ мимо ѣхала, ни за что, ни про что, веревкою ударила по загривку, сама дальше погнала.

— Эхъ!—Только крякнулъ парень; мальчишка въ сторону шарахнулся, подъ брюхомъ ишака проскочилъ.

Остановили атары на Зайданъ-арыкѣ, не доходя съ версту, загнали въ камышевыя загороди.

А въ аулы, тѣмъ временемъ, уже всѣ мужчины вернулись, а съ ними и вѣсти пришли новыя, одна другой печальнѣе, одна другой грознѣе.

«Пала Хива, заняли ханство «бѣлыя рубахи», ханъ съ повинною къ русскому генералу явился, всѣ новые порядки безпрекословно принялъ; не миновать и тюркменскимъ родамъ этихъ порядковъ, если не «подпилятъ зубы» врагу кичливому, не сломятъ «иноземную силу». Слышно, что уже къ іомудамъ посланы гонцы съ требованіемъ покорности; сюда тоже не нынче, завтра пришлютъ такихъ-же».

— Пускай пришлютъ—шкуры съ живыхъ поснимемъ, съ пословъ этихъ!—ворчатъ недовольные.

— Мы въ сторонѣ, Аллахъ за нами. Не разъ обходилось, обойдется и теперь тоже!—говорятъ тѣ, которые не потеряли еще надежды на поворотъ дѣлъ къ лучшему. Сами себя бодрятъ и себя утѣшаютъ.

— Хазаватъ, хазаватъ!—орутъ муллы, старики закоснѣлые.—Хазаватъ (священная война)! И отцы, и сыновья, и жены, и дочери—всѣ должны за *желѣзо* взяться, всѣ, у кого поднять ножъ силы хватитъ. Дороги затопимъ, стада и добро все въ пески угонимъ, сожжемъ наши поля и сакли, деревья порубимъ... Не допустимъ врага осквернять наши земли... И скорѣй на всѣхъ деревьяхъ нашихъ будутъ висѣть тѣла русскія, скорѣе на поляхъ нашихъ, какъ арбузы на бахчѣ, выростутъ русскія головы, чѣмъ коснется рабская веревка свободной шеи тюркменской!

Много было тѣхъ, кто вслѣдъ за муллами «хазаватъ» кричали. Не вѣрилось еще въ силу русскую... А тутъ и изъ

другихъ родовъ пришли вѣсти: слышно, всѣ поголовно, и впрямь, поднимаются. Тысячъ двадцать уже собралось вольнаго войска тюркменскаго и на «Ильялахъ» стоятъ, на «Кызылъ-Такырѣ» полѣ. Въ здѣшніе роды гонцы пріѣхали сказать, чтобы тоже собирались и гнали на сборное мѣсто, не теряя времени.

— Русскій генералъ денегъ велѣлъ собрать съ народа хивинскаго, «сто верблюдовъ серебра да десять верблюдовъ золота» *); хивинскій ханъ половину платитъ, а другую половину на насъ наложили, на тюркменъ; не будемъ платить— сюда придутъ сами и отберутъ силою. Дѣвокъ и женъ молодыхъ тоже всѣхъ отберутъ и своимъ солдатамъ отдадутъ.... Взрослыхъ мужчинъ перерѣжутъ, а дѣтей водою обливать станутъ, въ свою вѣру переводить!

Вотъ какія страшныя вещи разсказывали гонцы, а имъ какъ не знать? Они сами тамъ были, сами слышали, и отъ главныхъ старшинъ сюда присланы.

Дня не прошло—прискакали новые гонцы, еще вѣсть привезли, да такую, что у всѣхъ даже духъ заняло.

Перешли русскіе на эту сторону, сюда, прямо въ сердце тюркменскихъ земель, идутъ... Ведетъ ихъ сюда генералъ, толстый, высокій, за одинъ разъ барана съѣдаетъ, а саблею махнетъ—такъ десятокъ головъ разомъ валится... Пушки везутъ съ собою «невѣрныя собаки», конница съ ними отдѣльными партіями идетъ, стороною тянется, рыскаетъ, на аулы врасплохъ нападаетъ.

Прискакало вечеромъ еще двое, оборванные такіе, безъ шапокъ; у одного голова чѣмъ-то разсѣчена, весь халатъ въ крови; лошади чуть дошли до мѣста, одна такъ тутъ-же издохла отъ усталости.

— Что такое?

— Мы *тамъ* были,—говорятъ, сами задыхаются.—Слава Аллаху милостивому, унесли мы свои головы... Солнце только разъ поднялось съ тѣхъ поръ, какъ мы русскихъ видѣли. Въ ушахъ у насъ еще выстрѣлы изъ пушекъ слышатся! Близко!..

— Къ Чандыру идутъ, черезъ Ильялы, на Кызылъ-Та-

---

*) Наивное опредѣленіе величины военной контрибуціи,—опредѣленіе, и до сихъ поръ сохранившееся въ народной памяти.

кыръ; немного идти имъ осталось, скоро схватятся. Аллахъ, Аллахъ! Чей-то верхъ будетъ, кому даруешь ты побѣду, справедливый, многомилостивый: намъ-ли, правовѣрнымъ сынамъ твоимъ, или тѣмъ, гяурамъ, кяфирамъ, псамъ, вѣры святой поносителямъ?.

Вотъ теперь-то и поднялась въ становищахъ на Зайданъ-арыкѣ настоящая тревога.

XLVII. Гонецъ отъ Марины Денисьевны за Степаномъ-Малышемъ присланъ.

Спрятался Степанъ въ загородяхъ, безъ особой нужды носу не показывалъ, на глаза не попадался.

— Ты,—говорилъ ему киргизенокъ—хоть первое время пережди... О тебѣ пока забыли, а увидятъ—какъ-бы чего не было худого; имъ-бы только злость свою сорвать на комъ!

Вчера вотъ проѣзжали мимо двое, а Степанъ у арыка стоитъ и рубаху моетъ.

— Что,—кричитъ одинъ изъ проѣзжихъ,—къ смерти готовишься?—Это хорошо!

— Да, кяфиръ, теперь скоро тебя зарѣжутъ. «Ана» (мать) уже ножъ точить велѣла!

Пошутили они этакъ-то, посмѣялись и прочь поѣхали, а Степану-то каково ихъ шутки слушать! Не разъ душа у него въ пятки уходила. Твердилъ онъ, точно: И что-же, молъ, воля Божья, отъ судьбы не уйдешь». Такъ-то такъ, а все-таки поберечься не мѣшаетъ.

— Года два тому назадъ,—разсказывалъ персіянинъ,—одна партія изъ здѣшнихъ къ персидской границѣ ходила, да не посчастливилось: двадцать два человѣка на мѣстѣ оставили. Что-же ты думаешь? Четырехъ иранцевъ, товарищей моихъ, порѣзали въ отместку, меня только и оставили, и то ребенокъ хозяйскій за меня заступился. Вырѣзалъ я ему наканунѣ дудочку изъ камыша и другую обѣщалъ сдѣлать, онъ и просилъ: не рѣжьте, говоритъ, бабая (старика), пока онъ мнѣ не исполнитъ обѣщаннаго. Тѣ посмѣялись и не тронули меня, такъ и забыли. И про тебя вотъ тоже забудутъ, только потерпи, теперь вотъ не подвертывайся!

Ночью, какъ стемнѣло совсѣмъ, пошелъ Степанъ на арыкъ,

покупаться захотѣлось. Темно такъ въ густыхъ камышахъ, только вода сквозь нихъ свѣтится, и то съ этого берега, а другого и совсѣмъ не видно; чуть-чуть только черный гребень крутого берега отъ неба отдѣляется.

Раздѣлся Степанъ, полѣзъ въ воду, раздвигаетъ руками камышъ, слышитъ: вотъ и на томъ берегу что-то булькнуло, да тяжело такъ, словно большое что-то, грузное, глыба никакъ глинистая обвалилась, водою подмытая.

Вонъ кругъ свѣтлый расходится, расплываются по черной водѣ словно обручи серебристые, вонъ сюда подвигаются, плыветъ никакъ кто-то, голова зачернѣлась посрединѣ расходящагося круга. Мельче стало, знать ногами дно тронуто,— высунулись изъ воды плечи, опять спрятались, опять вплавь... Дыханье уже чье-то слышно, ногою болтнулъ по водѣ плывущій... Замѣтилъ-ли онъ Степана на этомъ берегу, услышалъ-ли что подозрительное, только разомъ остановился и подъ воду нырнулъ, спрятался.

Подождалъ Степанъ полминутки—плеснуло у камышеваго куста, отъ него неподалеку, опять голова показалась, духъ переводитъ.

— Это ты, землякъ, что-ли?.. А я-то какъ напугался!—шепчетъ.—Экъ онъ у васъ, арыкъ-то широкій!

— Иванъ Дормидонычъ!.. Вотъ не ждалъ, — обрадовался Степанъ-Малышъ.—Ишь ты, нагишомъ!..

— Нечего, одежда на томъ берегу, подъ корнемъ спрятана. А я, другъ, за тобою!

— Что такое?

Вылѣзъ Иванъ Дормидоновичъ на берегъ, вода такъ и бѣжитъ съ него, трясется весь, иззябъ, зубъ-на-зубъ не попадаетъ... Накинулъ на него Степанъ свой халатишко рваный.

— Пойдемъ, тамъ у изгороди огонь горѣлъ, такъ тлѣетъ еще зола горячая, погрѣйся!

— Некогда, дорогою побѣжимъ—распаримся. Ты плаваешь, что-ли? Тутъ въ одномъ мѣстѣ страсть, днища не достанешь, опять подъ кручею тоже!

— Какъ-же это? Куда пойдемъ?

— Да такъ-же, Марина Денисьевна звать приказала. Разсказалъ я ей про тебя, она говоритъ: чтобъ сейчасъ... Время теперь такое, что все единственно, либо пропадать, либо наша

взяла, а ужъ она тебя не выдастъ,—она тамъ сила! Ну, не мышкай, плыви за мною, пока темно!

Талько сказалъ приказчикъ хлудовскій слово одно: «Марина Денисьевна», а Степанъ уже на половинѣ арыка саженками отмѣриваетъ; почудилось ему, что на томъ берегу «*она*» вотъ тутъ-же сидитъ и его дожидается, — крылья словно у него разомъ за плечами выросли, сила взялась нивѣсть откуда богатырская, подвернись кто—сквозь цѣлую толпу пробьется.

Выползли на тотъ берегъ, отыскалъ свою одеженку Иванъ Дормидонычъ, рубаху Степану отдалъ, штаны самъ надѣлъ; подѣлились, пошли ходко по песчаной дорожкѣ вдоль берега, бѣгутъ просто.

— Говорю это я ей, какъ и что, про пѣсню твою тоже, какъ зовутъ тебя сказалъ, а она какъ расплачется, а потомъ «уйди ты, уйди скорѣе», говоритъ мнѣ, рукою махнула и въ кибитку спряталась, кошму даже за собою спустила. Ушелъ я; слышу, вечеромъ этакъ вчера, сама кличетъ. «Что прикажешь?» спрашиваю, а она: «Гдѣ-же Степанъ-то?» «Да тутъ, говорю, недалеко, сутки ходу, полсутокъ бѣгу». «Пущай придетъ», говоритъ, и опять спряталась въ кибитку, увидала, чай, кого изъ бабъ тамошнихъ. Здѣшнія бабы всѣ на нее зубы точатъ; чужая она имъ, а власть имѣетъ, мужъ ея все по ейному дѣлаетъ. Ну, а мужъ-то въ отлучкѣ теперь. Думаю я, раздумываю, какъ это тебѣ вѣсточку дать; прибѣжалъ ко мнѣ сынишко ея...

— Сынишко...—повторилъ Степанъ, споткнулся на бѣгу, пріостановился, духъ перевелъ и опять погналъ.

— Да, сынишко. Кричитъ мальчикъ: «ступай скорѣе, Ванька, куда мама тебя посылаетъ». Только это я собрался уходить, гляжу—сама хозяйка вышла, на меня не глядитъ, а этакъ въ сторону идетъ, будто въ садикъ пройти хочетъ; я тоже иду, забралъ влѣво, чтобъ поближе быть, а она, не глядя на меня, словно про себя, однако слышно, говоритъ: «Скажи Степану, что его Марина Денисьевна дожидается...» Такъ и сказала: «Марина Денисьевна»; впервой я имя ея слышу здѣсь настоящее: Кызылъ-Сутъ» (красное молоко) ее здѣсь всѣ величаютъ, другого и названія нѣту. Да ну, не такъ скоро, поспѣемъ! Ты-то съ отдыху, а я ужъ сколько проперъ не поспѣю за тобою!

— Эхъ, Ваня, голубчикъ мой, Ванюша, вѣкъ, то-есть, не забуду. Вѣдь какъ я люблю-то ее! Вѣдь я и сюда-то своею волею, для нея только. Ахъ ты, Господи! Никонъ сказалъ мнѣ: «коли что, разыщи, разузнай...» Никона-то въ кандалахъ въ Сибирь угнали... Знаешь Никона?

А откуда Ивану Дормидоновичу знать про ихъ дѣла? Слушаетъ это онъ, что такое мелетъ Степанъ дорогою. «Вишь, думаетъ, парень съ радости заговариваться началъ».

— Родная ты моя, желанная... Да какъ-же это?.. Вотъ она, судьба-то. Го-го! Я говорилъ, что Господь знаетъ, что посылаетъ. Коли захочетъ Онъ, Милостивецъ, приведетъ... Вотъ и привелъ. Ваня, скажи ты мнѣ: «Степанъ, сдѣлай то-то», да я вотъ сейчасъ. Вѣкъ не забуду, Ваня!.. Я вѣдь съ нею... Она мнѣ все равно, какъ жена вѣнчанная... да что, жена!— Жена наплевать! Больше того... Она мнѣ... А у ней вотъ сынишко, сказалъ ты, дѣтище, отъ татарина, значитъ, отъ Салтыка проклятаго, чтобъ ему... Ахъ ты, Господи!..

— Потише, братъ, вишь, тамъ огоньки свѣтятся, аульчикъ надо полагать; потише, какъ-бы не услышали... Орешь ты ужъ больно громко... Возьмемъ лѣвѣе, тамъ по-за кустами...

— Разшибу, только сунься кто!—стиснулъ Степанъ зубы, до крови губы прикусилъ.—Только сунься!

— Ошалѣлъ ты, я вижу!

— Ошалѣешь... Пятый годъ вотъ не видались, пятый годъ! Эвося сколько...

— Тсъ!..

Пробѣжало тутъ что-то за кустами, наткнулось на нашихъ, въ сторону шарахнулось, зубами защелкало, не то завыло, не то голосомъ ребячьимъ заплакало... А тамъ и еще выскочило что-то, на собаку похожее...

— Чекалки, гадины! Фу, ты, право, перепужали!—присѣлъ-было Иванъ Дормидонычъ.—Эхъ, кабы намъ до свѣту песчаный мысокъ перебѣжать; мѣсто-то больно видное, открытое. Напиться нѣшто?

Добѣжали они до арычка маленькаго, что чуть-чуть змѣился между двумя насыпными валами, черезъ заросли, отъ рисоваго поля, къ большому арыку велъ... Добѣжали, полегли на брюхо, припали губами къ водѣ и принялись тянуть безъ передышки... Разгорѣлись за дорогу шибко, должно быть.

XLVIII. Тревожный день, хлопотливая ночь.

Какъ ни торопились наши, однако, свѣтать начало, порядочно не добѣжали они до песчанаго мыска, до этого открытаго мѣста... А тутъ, видать имъ изъ-за кустовъ, народъ зашевелился въ становищахъ, возня поднялась, засновали всюду и пѣшіе, и конные; какъ тутъ быть? Увидятъ — остановятъ непремѣнно; надо прятаться.

Взвылъ даже Степанъ отъ досады да горя, а дѣлать нечего, цѣлый день прождать придется, до самаго заката солнечнаго, до темноты... Сидѣть и ждать, когда...

Ну, и показался-же ему длиненъ этотъ день проклятый, словно вѣкъ цѣлый тянулся, солнце словно остановилось на небѣ, ни взадъ, ни впередъ двигаться не хочетъ, глядитъ на нихъ сверху, печетъ, жаритъ и будто подсмѣивается надъ ихъ бѣдою: что, голубчики, попались, а я вотъ вижу васъ, вижу; хочу—скажу, хочу—промолчу... Прячьтесь, прячьтесь, а все-же вижу... Вонъ, вонъ пятки голыя торчатъ! Ну-ко я ихъ прижгу хорошенько!

— Наплевать дѣло выходитъ!—ворчитъ Иванъ Дормидонычъ, приказчикъ хлудовскій.

— И за что только муку эдакую посылаешь ты, Господи?— не утерпѣлъ Степанъ,—возропталъ впервые.

Нашли они саклюшку пустую; сгорѣла эта саклюшка лѣтъ десять тому назадъ еще, крыша провалилась, обгорѣлыя бревна давно уже повытаскали оттуда, ну, а стѣнки остались, имъ, глинобитнымъ, ничего отъ огня не сдѣлалось, только водою ихъ послѣ размыло и обвалило мѣстами.

Никто этими развалинами не воспользовался, такъ и стояли онѣ въ сторонѣ, забытыя, брошенныя, и нашимъ прятальщикамъ шибко теперь пригодились.

Со стороны дороги проѣзжей, съ самаго опаснаго мѣста, заросли густые кустарники: терновникъ колючій и джида душистая такъ между собой перепутались, что стѣна стѣною стали, собакѣ негдѣ пробраться; а отъ воды, отъ арыка, тоже не видать: не на самомъ берегу саклюшка, берегъ высоко, кручею поднимается, ну, и заслоняетъ воду, да и старый карагачъ, до половины высохшій, тутъ разросся, чудесно!..

Забрались туда наши, забились въ уголъ, сидятъ да пе-

режидаютъ... Иванъ Дормидонычъ выползалъ по временамъ къ кустамъ, приглядывался, что дѣлается. Тоже и Степанъ, нѣтъ-нѣтъ, да и полюбопытствуетъ.

Вонъ и здѣсь какая суматоха идетъ, тоже конные цѣлыми партіями рыскаютъ, вонъ арбы запрягаютъ. Что это? Кибитки снимаютъ, войлоки въ тюки сворачиваютъ, рѣшетки отдѣльно складываютъ... Аль перекочевку не въ пору затѣяли?

Скотину сгоняютъ, конныя дѣвки и бабы съ крюками да арканами носятся, за испуганными быками гоняются, а тѣ, задравъ хвосты, зря, прямо по огородамъ рыщутъ. Вонъ верблюдъ вырвался недовьюченный, дорогою бѣжитъ въ перевалку, тюки по бокамъ треплются, между ногами путаются, длинный конецъ веревочный тянется, пыль глубокую бороздитъ... Жалобно реветъ горбатый звѣрь и ходу наддаетъ; сбилъ съ ногъ кого-то, наткнулся на арбу, что поперегъ дороги стояла, затрещало что-то... А-а, поймали!..

— А чтобъ тебѣ, проклятый!—шарахнулся назадъ Иванъ Дормидонычъ,—Чего сюда прешь?

Видятъ они, что бычекъ одинъ молоденькій, бѣлый весь, голова, какъ уголь, черная, прямо къ нимъ дуетъ, къ кустамъ ихнимъ. Близко уже подбѣгаетъ.

— Выдастъ, анафемскій, выдастъ! — шепчетъ приказчикъ хлудовскій.—Нѣшто намъ, Степанъ, подъ берегъ поскорѣе да въ воду? Вотъ такъ оказія! Куда ты, широколобый! Пошелъ прочь! Бѣги въ сторону!

Словно услыхалъ быкъ ихъ шопотъ испуганный, словно понялъ, что людей добрыхъ губитъ, и, точно, свернулъ въ сторону, перескочилъ канаву, остановился, поглядѣлъ еще назадъ, не гонятся-ли, и сталъ спокойно пастись на зеленомъ клеверномъ полѣ, дорвался рогатый до корму сочнаго.

Вздохнули свободнѣе Степанъ-Малышъ съ приказчикомъ хлудовскимъ...

Какъ ни тянулся день томительный, однако пришелъ-таки къ концу. Спустилось солнышко, смилостивилось.

Набѣжали на землю тѣни длинныя, вмѣстѣ слились, поднялся паръ отъ полей взрытыхъ, разогрѣтыхъ, отъ воды потянулись туманныя полосы. Стемнѣло.

Выползли наши изъ своей саклюшки, дальше пошли.

Пришлось имъ переходить песчанымъ мыскомъ. Что за

диковинка? Тутъ вотъ аулъ былъ неподалеку, отсюда огни должны быть видны. Иванъ Дормидонычъ хорошо помнилъ, что видѣлъ такіе, когда сюда шелъ, а теперь темно, не слыхать даже ничего, собаки не лаютъ,—снялись, должно быть.

Прошли еще съ версту—стороною голоса слышны, топотня, оси арбяныя визжатъ. Ползетъ по пескамъ что-то длинное, черное,—обозъ большой тянется.

Прилегли опять, пропустили мимо себя. Арбы все идутъ, тяжело нагруженныя, вершинки по сторонамъ плетутся; мужчинъ мало, все больше бабье.

Какъ только прошла послѣдняя арба, поднялись наши на ноги. Опять что-то чернѣетъ правѣе, опять арба. Только эта уже стоитъ, лошадь выпряжена, а грузъ весь на мѣстѣ; никого около нѣту, брошена, значитъ; либо не подъ силу пришлась, либо сломалось что. Только чего-же это они торопятся такъ, что добро даже на дорогѣ бросаютъ?

— Теперь вотъ недалеко,—говоритъ приказчикъ хлудовскій.—Видишь, вонъ чуть-чуть сады маячатъ, вонъ на свѣтлой полосѣ, на самомъ краю неба, видны? За тѣми садами какъ-разъ, рукою подать; теперь близко!

— Близко!—повторилъ Степанъ. — Скажу это я *ей* сейчасъ: «Марина Денисьевна, здравствуй. Вотъ я...»

— Неладное что-то по этимъ мѣстамъ творится, — промолвилъ Иванъ Дормидонычъ.—Вотъ энто самое мѣсто мулла одинъ жилъ, вонъ въ этой саклѣ; тоже ушелъ, пусто, двери настежь отворены. Тсъ!..

Видна имъ крыша плоская этой сакли, виденъ стожокъ клеверный на крышѣ, словно шапка какая, черная, большущая, стоитъ; вонъ зашевелилось тамъ, поднялось.

Жалобно такъ завыла собака, почуявъ прохожаго, по крышѣ бѣгаетъ, хвостомъ вертитъ, а въ низъ не слѣзаетъ, не хочетъ дома своего оставлять, мѣста нагрѣтаго, не пошла, знать, за хозяевами.

Красное зарево чуть вспыхнуло, далеко-далеко. Не въ той сторонѣ, куда обозы шли тюркменскіе, а совсѣмъ въ противоположной. Разгорѣлось это зарево ярче, полосами потянулось по небу, пятнами багровыми запылало.

— Горитъ...—пробормоталъ Степанъ, покосившись въ ту сторону.—Вишь ты, загорѣлось!

*

— Да, деретъ шибко,—качнулъ головою приказчикъ хлудовскій.—Экъ его, экъ его разбираетъ. Ну, пожаръ!

Еще рядомъ что-то загорѣлось, слилось пожарище вмѣстѣ, инда свѣтло становится.

— Вѣдь вотъ, подумаешь, оказія, вотъ неудача. Совсѣмъ человѣку пройти неспособно. Сюда!

Свернули вправо, пошли по-за канавою, около живой изгороди. Чудесно!

— Только-бы намъ до Салтыковой межи добраться, а тамъ ужъ дома, тамъ вольготно!

— Салтыкъ...—проворчалъ Степанъ.

— Хозяинъ ейный,—пояснилъ Иванъ Дормидонычъ,—онъ самый. Въ отлучкѣ онъ въ настоящее время; мѣсяцъ уже, какъ дома не былъ. Въ той шайкѣ, что насъ забрала, братъ его находился, онъ-то меня сюда и доставилъ... Чу-кось?..

Остановились оба.

— Ничего не слыхалъ, а? Вонъ въ той сторонѣ... тамъ вонъ. Стой, не дыши. Слушай!

— Пальнулъ кто-то!

— То-то стрѣляютъ. Мнѣ вонъ тоже показалось, а можетъ, почудилось. Вишь ты... опять... слышалъ?

— Явственно, однако, далеко!

— Ну, ходу, ходу! Вотъ и межа. Отъ этой, братецъ, канавы—все *наше*. Эхъ, кабы до свѣту!..

Добѣжали, точно, наши до свѣту до своего мѣста, да и стали, какъ ошалѣлые. Занялась заря утренняя, освѣтила все мѣсто, гдѣ богатое, людное становище было раскинуто.

Знать, и отсюда въ ночь все перекочевало, ни души не видать человѣческой.

XLIX «Бѣлыя рубахи».

Заглянулъ Иванъ Дормидонычъ въ одну саклю, съ большимъ дворомъ, высокою стѣною огороженнымъ,—никого нѣту. Насорено тамъ во дворѣ—солома, снопы неоколоченные такъ, вря, валяются; арба сломанная въ самыхъ воротахъ застряла; въ углу, гдѣ закопченное мѣсто на стѣнахъ виднѣлось, таганы стояли, тамъ еще догараетъ огонекъ, чуть дымится, все къ сухому мусору мало-по-малу добирается, вотъ-вотъ затлѣютъ

перегорѣлыя кучи навоза, разгорятся пожарищемъ. Безъ присмотру огни, видно, брошены.

Куры бродятъ золотыя, пѣтухъ красный по краю крыши ходитъ, шею вытягиваетъ, крыльями хлопаетъ, не то крикнуть собирается, не то внизъ спрыгнуть хочетъ, удобное мѣсто выглядываетъ.

— Это сосѣдскія,—говоритъ приказчикъ хлудовскій, затылокъ почесываетъ.—Выѣхамши, значитъ. Вотъ такъ оказія! Третьяго дня былъ—все, какъ есть, на мѣстѣ... разговору никакого не было... а тутъ...

Вышли со двора, черезъ заборъ перелѣзли; лужайка тутъ была зелененькая, два большихъ черныхъ круга на ней видны, травы на тѣхъ кругахъ нѣту, и на сыроватой землѣ что - то плетеное отпечаталось. Тутъ кибитки стояли, да, должно быть, только-что сняты, потому мѣсто не успѣло даже просохнуть, какъ слѣдуетъ.

Густой дымъ, черный такой, валитъ изъ-за тополей, горитъ что-то, а что—не видно. Стелется этотъ дымъ по-надъ деревьями, далеко несетъ его вѣтромъ, все гуще и гуще клубы его становятся.

— Мы подходили, не было видно,—покачалъ головою Ванька;—также, знать, огонь не убрали!

— Занялось, значитъ!—промолвилъ Степанъ.

Осленокъ тутъ выбѣжалъ имъ навстрѣчу, хвостъ кверху задралъ, уши впередъ насторожилъ, морду вытянулъ, оретъ, что есть мочи. Аисты летаютъ, кружатся надъ дымомъ, видимо, безпокоятся чего-то; то въ самый дымъ рванутся, пропадутъ тамъ совсѣмъ, то назадъ, на свѣжій воздухъ вылетятъ. Горятъ вмѣстѣ съ жильемъ человѣческимъ и ихъ косматыя гнѣзда, да и не пустыя, можетъ, дѣтеныши ихъ тамъ въ огнѣ гибнутъ, и кружатся ними несчастныя птицы, видятъ гибель птенцовъ своихъ, а помочь не могутъ.

— Туда, братецъ; это самое мѣсто наше. Вонъ гдѣ горитъ-то!—воскликнулъ Иванъ Дормидонычъ.

Пустился бѣгомъ, за нимъ Степанъ; да не туда попали; на стѣнку наткнулись; въ обходъ пришлось искать пролазу. Нашелъ тутъ приказчикъ хлудовскій арычекъ, что подъ стѣну проходилъ, трубою, дыра для него внизу продѣлана, человѣку пролѣзть можно, особливо какъ они, совсѣмъ, почитай, безъ

одежи. Иванъ впередъ поползъ, Степанъ сзади; такъ и пахнуло имъ въ носъ гарью да прѣлымъ запахомъ горѣлаго навоза.

Заволокло все дымомъ, ничего не видно, вѣтеръ-то въ ихъ сторону; глухо горитъ, въ одномъ мѣстѣ красные языки прорываются, и трещатъ обгорѣлыя балки. И опять никого народу, опять пусто.

Само собою загорѣлось-ли брошенное жилье, отъ огня забытаго занялось, или врагъ поджогъ пришлый, а можетъ, и сами хозяева свое добро огню предали: не доставайся, молъ, никому,—кто его знаетъ!

Обошли кругомъ наши пріятели-земляки все пожарище, на мулушку взобрались, отсюда повыше мѣсто, далеко кругомъ видно.

И всюду, во всѣ стороны, только и видны были имъ наскоро брошенныя, опустѣлыя становища.

Чешетъ Степанъ затылокъ свой, боится спросить, боится глаза вскинуть на Ивана Дормидоныча. Чешетъ и тотъ загривокъ, глядитъ, тоже потупившись, разговору не начинаетъ.

Долгонько эдакъ-то они постояли; Степанъ не выдержалъ, терпѣнья не хватило.

— Ну,—спрашиваетъ земляка,—какъ-же теперь? Она-то гдѣ-же?

— А ужъ, братецъ ты мой, не знаю, — промолвилъ въ отвѣтъ приказчикъ хлудовскій. — Ума, то-есть, не приложу, дружокъ, что такое это дѣлается!...

Чу!—опять выстрѣлы, да явственно такъ. По дорогѣ конскій топотъ слышится, быстрый такой, во всю мочь лошадиную дуютъ. Хлопъ!—опять пальнулъ кто-то, ну, вотъ совсѣмъ надъ ухомъ.

Кубаремъ свалились съ крыши мулушки Иванъ со Степаномъ.

— Прячься, другъ, скорѣе!—шепчетъ первый.

А куда спрятаться? Мѣсто открытое, имъ не видать за дымомъ только. Нѣшто за мулушку? Опять, кто его знаетъ, съ которой стороны проѣдутъ; въ нутро забраться — дверилазейки впопыхахъ не разыщутъ. Прилегли ничкомъ наши — была не была, авось, пронесетъ Господь бѣду мимо.

Лежатъ, притаившись, духъ заняли, лица подъ лопухи спрятали,—широкіе выросли они, на ихъ счастье, какъ разъ на этомъ мѣстѣ.

Ближе да ближе. Мимо проносятся всадники. Кони замылены, попоны растрепаны. Припали, прижались совсѣмъ къ вытянутымъ конскимъ шеямъ, назадъ даже не озираются, только крикомъ хриплымъ, надорваннымъ, лошадей своихъ погоняютъ.

Поотсталъ одинъ; онъ - то и пальнулъ, должно полагать, потому мултукъ у него въ рукахъ еще, не успѣлъ за спину закинуть. Этотъ не робѣетъ, коня даже сдерживаетъ, полной воли не даетъ и въ густой дымъ пожарища разгорѣвшимися глазами воззрился.

Поверхъ шапки чалма у него повязана; распустилась она, и вдоль спины, вплоть до крупа конскаго, концы бахромчатые треплются; халатъ дорогой верхній не связанъ поясомъ, свободно полы его по вѣтру развѣваются. Словно окрыленный, всадникъ гарцуетъ въ дыму. Вотъ совсѣмъ остановилъ онъ коня, вотъ опять приложился. Да струйка крови льетъ съ темени, черезъ лобъ, по лицу, глаза слѣпитъ, смотрѣть мѣшаетъ, да и конь не стоитъ, волнуется, вслѣдъ ускакавшимъ ржетъ звонко, пугливо косится въ другую сторону, откуда пронеслись вершники.

Словно дождь крупный по убитой сухой дорогѣ, словно дробь глухая барабанная слышится мелкая рысь, плотная такая, солидная. Знать, густою толпою ѣдутъ, не по-одиночкѣ, какъ эти, горячки не порятъ, а какъ медвѣдь въ погонѣ, шагъ за шагомъ, безъ устали, безъ задержки подвигаются.

Не выпалилъ джигитъ, кинулъ ружье и пустилъ вольно поводья. Круто на заднихъ ногахъ повернулся его конь, скакнулъ козломъ черезъ арыкъ—и только видѣли, только чуть мелькнуло мимо лежащихъ молодое лицо, черная, запыленная бородка, носъ крючковатый и большіе глаза, блестящіе, какъ угли, оттѣненные длинными рѣсницами.

— Салтыкъ! — не вытерпѣлъ, волкомъ взвылъ Степанъ. Сразу призналъ своего ненавистника. На ноги было вскочить хотѣлъ, да Иванъ Дормидонычъ, спасибо, ухватилъ его за шиворотъ, къ землѣ прижалъ.

— Что ты, лѣшій? Иль рехнулся? Лежи смирно, пока цѣлъ. Пропадемъ ни за грошъ, какъ собаки паршивыя... Ишь, вѣдь, опять несетъ ихъ нелегкая...

Вотъ въ одномъ мѣстѣ, тамъ, гдѣ дымъ черезъ дорогу

перепалзывалъ, сталъ этотъ дымъ гуще, бѣловатѣе. Это пыль къ нему прибавилась, поднятая сотнею копытъ конскихъ.

Замахали тамъ косматыя гривы и хвосты лошадиные, забѣлѣли рубахи холщевыя на всадникахъ, заблестѣли стволы винтовокъ, мѣдные рожки у трубачей засверкали на солнышкѣ.

А наши все лежатъ ничкомъ, глянуть боятся, думаютъ— чужіе ѣдутъ.

— Ну, ребятушки, еще немного... Еще съ часокъ погонимъ, да и баста!—подбадриваетъ казаковъ кто-то, усатый такой, толстенькій, мячикомъ на сѣдлѣ прыгаетъ.

— Передай-ка сюда бутылку. Эй, Шаплыгинъ, у тебя она, что-ли?

— Здѣсь!

— А «поштрѣли тѣ въ пузо!» Мой-то сивый чортъ опять на лѣвую заднюю припадаетъ!

— «На хвостъ», ребята! Не отставать, по сторонамъ не зѣвать, не разъѣзжаться!

— Ваше скоблагородіе, ваше скоблагородіе, сунженцы въ обходъ на озеро погнали!..

— Генералъ приказалъ...

— Что такое?

— Генералъ приказалъ...

И не слыхать совсѣмъ, что такое генералъ приказалъ, потому усталъ совсѣмъ молоденькій офицерикъ, еле догналъ ушедшую далеко впередъ казачью сотню, запыхался, языкъ не ворочается, больше руками эдакъ объяснилъ, что, молъ, его превосходительству требуется.

— А, хорошо. Э-гмъ!.. Сотня, сто-ой! Такъ, значитъ, ждать приказалъ? Ладно. Ярыгинъ, грѣй чайники; Демка, закуску! Михайло Васильевичъ, что у васъ этого оранжамеру осталось еще? Слѣ-ѣ-ѣзай, выводи лошадей!.. Ну, ужъ мы и проперли!

— Безъ малаго восемьдесятъ верстъ въ ночь, вотъ какъ!— сообщилъ тутъ, должно быть, самый Михайло Васильевичъ, потому у него въ рукахъ была бутылка съ остатками «оранжамеру»...

Разглядѣли зоркіе оренбургцы нашихъ прятальщиковъ, разглядѣли и Иванъ со Степаномъ въ чемъ дѣло,—выползли.

Началось тутъ ухаживаніе да подчиваніе... Весь бивакъ смотрѣть на «освобожденныхъ». Кто такіе, да откуда, да какъ попали?»—со всѣхъ сторонъ посыпались вопросы.

Одѣли ихъ сейчасъ, во что пришлось, чаемъ напоили, водки поднесли; генералъ узналъ—къ себѣ потребовалъ. Вѣстового прислалъ, чтобы доставить немедленно.

— Здорово, ребята! — началъ его превосходительство.— Ого!.. Отощали порядкомъ!

Сняли шапки, поклонились низко Иванъ со Степаномъ, стоятъ, переминаются.

— Ну, что, рады?

— Ужъ такъ-то рады, ваше превосходительство, просто ликуемъ. Не думали, не гадали... Вотъ оно, что значитъ предопредѣленіе, какъ кому... Сегодня—червь, завтра... И во всякомъ прочемъ. Ура!

Не простой человѣкъ Иванъ Дормидонычъ, не мужикъ какой, безграмотный, у хозяина, самъ разсказывалъ, всею конторою заправлялъ, умѣетъ, какъ надо, съ высокопоставленными лицами разговаривать. Опять же и выпито было имъ тоже порядочно на радостяхъ.

— Рады, извѣстно!—вздохнулъ Степанъ-Малышъ,—Что же, извѣстно, земляки... одной вѣры то есть.. Однако, все-таки обидно...

Расплакался парень ни съ того, ни съ сего, такъ и разливается... Видитъ генералъ, что уже наугощались ребята. Вино-то не свой братъ, особенно съ отвычки, на всякаго дѣйствуетъ разно: кого въ разгулъ ударитъ, кто печалится начнетъ, покойныхъ родителей поминать. Только Степану эти родители, надо полагать, не лѣзли въ голову.

— Ну, ну, хорошо, — махнулъ рукою генералъ.—Идите, отдохните. Позвать ко мнѣ Густодуева полковника!

Выслалъ имъ его превосходительство по красненькой, а на продовольствіе къ пятой оренбургской сотнѣ приписать велѣлъ. Повели «освобожденныхъ» по его назначенію.

Снялся отрядъ, отступать началъ... До послѣдняго предѣла тюркменскихъ становищъ дошли,— не гонятся же за тѣми, кому помогъ Аллахъ въ пески спрятаться... Довольно!

На другой день и Егоръ Власовъ отыскался, ундеръ; самъ пришелъ и явился отрядному начальнику.

Разговорились земляки, развязалъ свой языкъ Степанъ-Малышъ, да и Иванъ Дормидонычъ помогъ ему въ этомъ, живо все разболталъ, и стало его горе извѣстно всѣмъ и каждому.

L. Генеральская бумага.

Прошелъ цѣлый мѣсяцъ съ того времени.

Все успокоилось, все пришло въ порядокъ, забралось въ свою обычную колею; стихли пока, на время, кровавыя смуты въ ханствѣ хивинскомъ: затаивъ злобу, невольно покорившись могучей силѣ «бѣлой рубахи», стихли и тюркменскія становища; вернулся вольный народъ на погорѣлое, разгромленное мѣсто и выслалъ побѣдителямъ своихъ старшинъ съ изъявленіемъ полной покорности.

По избитой, пыльной дорогѣ ѣхала арба, въ одну лошадь; на арбѣ сидѣлъ Степанъ-Малышъ и его пріятель закадычный, Иванъ Дормидонычъ; за этою арбою верхомъ ѣхалъ Ата-бекъ, тюркменскій старшина, а на халатѣ Ата-бекъ болталась русская медалька на засаленной уже красной ленточкѣ, съ желтыми полосочками по краямъ.

Съ ними еще человѣка два трепались, изъ приставшихъ по своей волѣ; арбакешъ наемный пѣшкомъ шелъ, рядомъ съ лошадью. Поѣздъ подвигался медленно.

Степанъ сидѣлъ сосредоточенный такой, задумчивый, все губами шевелилъ и руками нѣтъ-нѣтъ, да и разведетъ, словно съ кѣмъ-то разговариваетъ... Иванъ Дормидонычъ, того просто словно иголками покалывало снизу, такъ вотъ и вергѣлся все онъ и торопилъ арбакеша. Ата-бекъ ѣхалъ солидно, грудь съ медалью выпятилъ, а изъ-за пазухи у него уголъ бумаги какой-то торчалъ, вчетверо сложенной... Приставшіе двое, тѣ такъ себѣ трусили, въ сторонкѣ, на русскихъ поглядывали да между собою переговаривались.

Всѣхъ плѣнныхъ и рабовъ освободить велѣно, отобрать отовсюду, гдѣ только таковые появятся, и приказаніе это давно уже было оповѣщено по всѣмъ окрестностямъ.

Теперь вотъ Степанъ самъ ѣхалъ за своею Мариною Денисьевною, открыто, не украдкою, среди бѣлаго дня, никого не боявшись... А чтобы, въ случаѣ чего, оборони Богъ, какая задержка не вышла или недоразумѣніе, такъ на этотъ конецъ

съ нимъ старшину тюркменскаго послали, муллу Ата-бека, а муллу этого снабдили предписаніемъ, съ генеральскою подписью и большою печатью красною, — такимъ предписаніемъ, что только выпь да покажи—все остальное само собою сдѣлается.

Вотъ это-то предписаніе и торчало изъ-за пазухи Ата-бека, должно быть, по той причинѣ и грудь старшины тюркменскаго такъ гордо выпячивалась.

— Теперь ужъ наша взяла.—ерзалъ по арбѣ приказчикъ хлудовскій. — Теперь наше дѣло въ шляпѣ. То-то вотъ она обрадуется, родная наша хозяюшка, душа добрѣйшая! А какъ пѣла она эту «травушку», ахъ ты, Господи!.. Вотъ вѣдь голосъ-то: не горломъ, душою выводила, прямо отъ сердца... Ну-ка, братъ, какъ? Ты вѣдь точь-въ-точь умѣешь!

Не отвѣчаетъ Степанъ, все самъ съ собою разговариваетъ, и лицо у него такое свѣтлое, праздничное, хоть и не веселое съ перваго взгляду... Послѣ исповѣди къ причастію съ такимъ вотъ точно лицомъ христіане подходятъ.

Катится арба, по колдобинамъ прыгаетъ, потрескиваетъ, осями визжитъ, просто по уху рѣжетъ. Дремлетъ Ата-бекъ на своемъ аргамакѣ, отстали попутчики, зачѣмъ-то послѣзали съ лошадей.

— Ты, братъ, слушай!—знай все пристаетъ къ Степану Иванъ Дормидонычъ,—Ты слушай: меня чтобъ непремѣнно въ «посаженые», непремѣнно! Я и образъ на свой счетъ, въ серебряной ризѣ, справлю, и все угощеніе гостямъ жертвую!

Все молчитъ Степанъ-Малышъ, не слышитъ будто словъ друга своего болтливаго.

— Погоняй!—проснулся Ата-бекъ и кругомъ оглядѣлся.—Гайда-джуръ! Гайда!..

— Слушай, Степа, когда крестить, такъ ужъ ты и знай—меня въ крестные. Помни, братъ. Я разъ у полковника крестилъ, въ Ташкентѣ, ей-Богу!.. Смотри же, не забудь!.. Эхъ, Степа, Степа! Не будетъ у тебя друга лучшаго, какъ Кривоглоткинъ, Иванъ Дормидонычъ... Помни ты мое это слово... Эй ты, чушка полосатая, скуластое рыло, трогай!..

Вотъ и мѣста пошли знакомыя... Вонъ синѣетъ за садами Зайданъ-арыкъ... Вонъ опять дымъ столбами поднимается. Только это дымъ не тревожный, пожарный, злой дымъ... При-

вѣтливо манитъ онъ къ себѣ путника, тепло ему сулитъ, кусокъ вкусный... Вонъ голоса дѣтскіе слышатся... Маленькія тѣла черномазыя въ арыкѣ купаются, плещутся; увидали арбу съ чужими людьми — выскочили изъ воды, въ кусты попрятались.

Вонъ и мать прошла, гордая такая, стройная; чуть взглянула на проѣзжихъ, брови сдвинула сердито, проворчала что-то, знать, выругалась по своему.

Вонъ и «сабанъ» (плугъ) землю роетъ, бороздитъ полосами поле; а на полѣ томъ не успѣло еще вѣтромъ разнести золу черноватую, что осталась послѣ сожженной на корню золотистой жатвы...

— Намъ прямо дорога,—говоритъ Иванъ Дормидонычъ.— «Къ тебѣ» вонъ куда, совсѣмъ въ сторону. А помнишь, другъ, какъ я къ тебѣ нагишомъ черезъ зайданъ плылъ? Это тамъ вонъ, подъ тою кручею, самое то мѣсто и есть... Теперь скоро!

— Теперь скоро!—повторилъ Степанъ.

— Что ты, братяга, аль не радъ? Что какъ будто раскиселился?—пристаетъ пріятель.—Что такое, ась? Экой ты, голубчикъ, право... Ну-ну, не буду; я, братъ, сосну пока немного, что-то глаза липнутъ. О-хо-хо-хо! Посунь-ко мнѣ этотъ мѣшечекъ подъ голову!

Послышалось Ивану Дормидонычу, что Степанъ ему «отстань» сказалъ. Вотъ онъ и отсталъ, навзничь разлегся по арбѣ, закрылъ себѣ лицо полою халатною отъ мухъ да отъ солнца, позѣвалъ, почесался, гдѣ надобность была, и сталъ выводить носомъ разныя трели подъ ладъ скрипу оси арбяной, немазанной.

Притомился конь, стали на отдыхъ подъ вечеръ. Думали часъ-другой постоять, а тутъ арбакешъ заупрямился: я, говоритъ, ночевать буду. Шибко озлились Степанъ съ Иваномъ, хотѣли было пѣшкомъ идти, да Ата-бекъ не пустилъ.

— Я, говоритъ, за васъ отвѣчаю передъ генераломъ, мнѣ васъ цѣлыхъ, невредимыхъ поручили, — такими-же я васъ и назадъ долженъ доставить. Сидите!..

Такъ и пришлось имъ цѣлую ночь безъ сна промаяться.

— Коли-бъ еще такую же, не выжить просто!—говорилъ Степанъ, когда рано утромъ снова въ путь тронулись.

LI. Мать.

Перешли песчаную косу, спустились на ту сторону... Снова раскинулись передъ ихъ глазами изрѣзанныя арыками, зеленѣющія поля, запестрѣли разбросанныя межъ садовъ сакли и кибитки многолюднаго становища.

Молчитъ теперь и Иванъ Дормидонычъ, не до разговору ему, не до болтовни... Во всѣ глаза глядитъ онъ впередъ, на арбѣ даже привсталъ... Не сидится Степану, мается онъ, бѣдный, какъ въ лихорадкѣ дрожитъ, то въ ознобъ его кидаетъ... Слѣзъ онъ, пѣшкомъ идетъ впереди; рыситъ за нимъ лошадь арбяная, чуть поспѣваетъ.

Много народу навстрѣчу идетъ, многіе обгоняютъ, многіе со стороны, изъ садовъ да изъ-за стѣнокъ глядятъ на нихъ... Съ Ата-бекомъ загавариваютъ, на русскихъ косятся... Не разъ Степанъ имя Салтыка слышалъ, ножомъ словно по сердцу рѣзало его это слово ненавистное.

Пріѣхали.

Густою толпою окружалъ народъ кибитки и сакли Салтыка Аблаевича. Всѣ двери заперты, снаружи стоятъ люди; одна только кибитка настежь распахнута, тендюкъ верхній открытъ; свѣтомъ солнечнымъ залито все, что внутри этой кибитки.

По-праздничному тамъ все убрано, пестрые ковры развѣшаны, синій дымъ кальяна струится кверху, мѣдная посуда блеститъ и угощеніе разное на подносахъ разложено.

Самъ хозяинъ сидитъ на почетномъ мѣстѣ, спокойно ждетъ гостей. Не нежданные къ нему пріѣхали эти гости, вѣсть объ нихъ давно ужъ сюда пришла, опередила ѣдущихъ. Все къ пріему успѣло приготовиться.

Спокойно глядитъ Салтыкъ Аблаевичъ, волнуется народъ кругомъ. Ни одного не видно, чтобы съ простыми руками стоялъ,—у кого ножъ за поясомъ, у кого клынчи, а кто, такъ и ружья съ собою принесли, и стоятъ, словно часовые, на мултуки опершись.

Замѣтилъ это Ата-бекъ, старшина, нахмурился, прямо къ кибиткѣ пошелъ, а русскихъ двухъ сейчасъ-же за собою ведетъ, словно тѣломъ своимъ прикрыть ихъ хочетъ.

— Крови не надо,—сказалъ онъ.—Кровь ихъ большихъ

бѣдъ вамъ же надѣлаетъ. Я для этого съ ними посланъ, а тамъ мой сынъ старшій за меня заложникомъ остался!

— Ни въ обычаѣ предковъ нашихъ, ни въ законахъ нашихъ вольныхъ,—отвѣчаетъ Салтыкъ,—нѣтъ того, чтобы кто гостей желѣзомъ встрѣчалъ. Входите съ миромъ, садитесь! Да благословитъ Аллахъ пріѣздъ вашъ!

Ввелъ Ата-бекъ Степана съ Иваномъ въ кибитку, сѣли всѣ трое. Иванъ Дормидонычъ такъ кругомъ и озирается, такъ и бѣгаютъ глаза его во всѣ стороны, а Степанъ и глянуть боится, сидитъ, потупившись, бѣлѣе полотна рубахи его лицо стало, чуть бьется сердце, словно вотъ-вотъ совсѣмъ перестанетъ.

Вынулъ Ата-бекъ бумагу, прочелъ громко, Салтыку передалъ. Тотъ тоже началъ перечитывать.

То печаль какъ-будто на его лицѣ покажется, надъ бровями складочка протянется, то въ глазахъ что-то веселое вдругъ заблеститъ, улыбка на губахъ зазмѣится. Разъ головою покачалъ, разъ плечами будто пожалъ. Вздохнулъ глубоко, кончилъ чтеніе.

— Такъ вотъ,—говоритъ Ата-бекъ,—ради своего спокойствія, ради спокойствія мира народа твоего, не упорствуй, выдай эту женщину!

— Развѣ есть у русскихъ законъ, чтобы жену отъ мужа брать?—спросилъ спокойно хозяинъ.

— Воля генерала... я больше ничего не знаю!—вымолвилъ Ата-бекъ, старшина.

— Она христіанка,—заговорилъ, заторопился Иванъ Дормидонычъ,—она по вашимъ законамъ ничѣмъ не обязывается... Коли ты ее женою сдѣлалъ насильно—это ей все единственно, и не состоишь ты надъ нею, какъ есть, ни въ какомъ, то-есть, законномъ правѣ!

Знаетъ тоже порядокъ, какъ и что, Иванъ Дормидонычъ, приказчикъ хлудовскій, его на кривой не объѣдешь. Вишь, какъ строго повернулъ, сразу озадачилъ Салтыка Абалаевича.

— Я вотъ этого знаю,—указалъ Салтыкъ на Степана;—это хорошій человѣкъ, я его давно знаю, еще какъ въ Казалу ѣздилъ, помню. Онъ вотъ могъ за женщиною тою пріѣхать. Ну, а этого дурака зачѣмъ ты привезъ съ собою?

— Это ты насчетъ меня?—ошалѣлъ немного приказчикъ хлудовскій.

— Такъ кончимъ дѣло наше,—отстранилъ его рукою Ата-бекъ,—кончимъ дѣло мирно и скоро. Вѣрь ты моей сѣдой головѣ, вѣрь моей мудрости, не для того я ея семьдесятъ лѣтъ набирался, чтобы на вѣтеръ слова свои пускать. Ты мнѣ во внуки по лѣтамъ годишься, а и сынъ своего отца долженъ слушаться, не то что внукъ дѣда. Выдай-же эту женщину, не допускай зла на народъ твой изъ-за...

Сказалъ тутъ слово нехорошее старшина тюркменскій, даже сплюнулъ, чтобы оно казалось нагляднѣе.

— Кушайте и пейте,—пригласилъ хозяинъ гостей своихъ.—Вамъ съ дороги отдохнуть и подкрѣпиться надо!

— Не дотронусь до хлѣба твоего, не лягу спать подъ твоею тѣнью, пока дѣло не сдѣлаемъ!—отказался Ата-бекъ и всталъ на ноги, чтобы изъ кибитки выйти.

— Экой ты упрямый,—улыбнулся Салтыкъ.—Приходили сюда русскіе, самъ знаешь, много добра нашего погибло, много такъ пропало, безъ вѣсти. Была у меня, точно, жена русская, та, за которою вы вотъ пріѣхали, а теперь ея нѣту!

— Гдѣ же она?..—спросилъ Ата-бекъ.

— Вретъ, вретъ, прикидывается; что ему вѣрить? Обыскать надо, вѣрно гдѣ спряталъ!—закричалъ Иванъ Дормидонычъ.—Эхъ, надо бы казаковъ захватить намъ, хоть полсотни!

— Гдѣ?—встрепенулся Степанъ, хотѣлъ на ноги подняться, да силы не хватило, словно вотъ приросъ къ землѣ, словно лапы цвѣтныя, что узорами хитрыми по ковру были раскиданы, ухватились за него крѣпко, встать не даютъ, держатъ.

— А я почемъ знаю?—сказалъ хозяинъ.—Про то вамъ, русскимъ, можетъ, лучше меня извѣстно!

— Вѣрно это?—пристально поглядѣлъ на него старшина.—Вѣрно твое слово?..

— Вѣрно!..—словно подавился Салтыкъ и потупился, отвернулся даже немного; краска по лицу вплоть до ушей разлилась у него, побагровѣла и шея, что изъ-подъ розоваго, широкаго воротника рубахи виднѣлась.

— Напиши это генералу... Значитъ, намъ больше здѣсь дѣлать нечего . . . . . .

Только вскрикнули всѣ разомъ, тѣ, что вокругъ кибитки стояли, сразу назадъ шарахнулись; затрещали уголья горячіе, по коврамъ разлетѣвшись, зашипѣла на огнѣ вода изъ опрокинутаго кувшина, задавленный хрипъ послышался.

Рванулся Степанъ съ мѣста, прямо на Салтыка кинулся; тотъ увернуться не успѣлъ, какъ почувствовалъ руки на своемъ горлѣ... Такъ вмѣстѣ, плотно сцѣпившись, и повалились на ковры.

Опомнились живо люди Салтыковы, въ мигъ розняли схватившихся борцовъ.

— Что же это?—еле отдышался хозяинъ.—Подъ моею крышею... Гости... Арканы сюда!..

— Не трогай, — отстранилъ его Ата-бекъ,—не трогай... Посмотри въ глаза ему, загляни въ душу его, что тамъ дѣлается, и не поднимай руки на человѣка, у котораго въ мозгу «черный духъ кибитку свою ставитъ...»

— Поѣзжайте съ Богомъ, а бумагу, что просилъ ты, я пришлю тебѣ съ джигитомъ; дорогою онъ тебя нагонитъ. Поѣзжайте съ Богомъ!

— Мы поѣдемъ, — пожалъ плечами Ата-бекъ, — только помни мое слово: велика сила русская, не повѣрятъ они тебѣ, узнаютъ твою неправду и не простятъ обмана. Уѣдемъ мы съ *нею* — добро и миръ съ тобою останутся, уѣдемъ безъ нея—по нашимъ слѣдамъ смерть и зло въ твое жилище придутъ. Стоитъ-ли баба того, что изъ-за нея можетъ сдѣлаться?..

— Отдай, Салтыкъ, — заговорили вдругъ въ толпѣ, — отдай!.. Зачѣмъ держишь, выпусти!..

— И жены всѣ наши ея не любятъ; всѣ вонъ шумятъ, слышишь, какъ галдятъ у сакель?.. Не держи зла въ домѣ твоемъ. Богъ съ нею! Что тамъ еще такое?..

Давно уже глухой гулъ за стѣною, въ саду, слышался, давно уже выдѣлялись изъ этого смутнаго шума отдѣльные возгласы, визгливые голоса женскіе чего-то надсаживались. А тутъ вдругъ ближе и ближе все подвигаться стало, вотъ уже у самой кибитки раздается, вотъ разомъ оборвалось, стихнуло. Разступились молча тѣ, что дверь загораживали.

Въ кибитку, чуть согнувшись въ дверяхъ, вошла Марина Денисьевна.

Она была въ красной, длиннополой рубахѣ тюркменской;

голова легкою кисейною чалмою повязана, а изъ-подъ чалмы той висѣли за спиною длинныя, тяжелыя косы, унизанныя монетами; черный, суконный халатъ, вышитый по бортамъ золотою ниткою, въ одинъ рукавъ надѣтъ; узорные концы персидскаго пояса до земли висѣли, словно кольчуга; сверкалъ на груди уборный нагрудникъ; на бѣлой, полной шеѣ искрились и переливались на солнцѣ разноцвѣтныя стеклянныя ожерелья...

На одной рукѣ несла она ребеночка грудного, крѣпко къ груди его прижавши, другою рукою вела мальчика черномазаго, съ бойкими такими глазенками... Чуть на ногахъ держаться выучился ребенокъ, обѣими рученками крѣпко за материнскую руку уцѣпился, не понимаетъ еще ничего, крошка, весело смотритъ вокругъ, всѣмъ улыбается.

Еще одна головка въ золотой тюбетейкѣ изъ-за Марины выглядываетъ: это уже старшій самый, три года минуло ему передъ самымъ приходомъ русскихъ.

Вошла мать съ своими дѣтьми, стала какъ разъ посреди кибитки; такъ и обдало ее солнечнымъ свѣтомъ сверху, глазамъ даже глядѣть больно. Молчатъ всѣ, ждутъ, духъ затаили.

— Вотъ она! — заоралъ было Иванъ Дормидонычъ, да въ бокъ его кто-то такъ двинулъ, что сразу голосъ оборвался.

— Марина Денисьевна! — вымолвилъ Степанъ.

— Здравствуй, Степа... Вотъ мы и увидѣлись. Я все знаю, все, говорить мнѣ не надо. Ступай домой съ Богомъ, а обо мнѣ не помни, забыть постарайся. Некуда мнѣ отъ дѣтей своихъ уходить, а съ собой брать — отъ отца отнимать развѣ можно?.. Ступай съ Богомъ, теперь и ты для меня, и другіе кто, — все одно, хоть-бы и не были. Нѣту больше на свѣтѣ твоей Марины, а та, что здѣсь вотъ, передъ тобою стоитъ, та другая совсѣмъ, тебѣ чужая!

— Ну, прощай! — помолчавъ малость времени, произнесъ Степанъ и, ни на кого не глядя, не промолвивъ болѣе слова одного, вышелъ изъ кибитки.

Догналъ его Салтыкъ, остановилъ за плечо.

— Что тебѣ? — обернулся Малышъ, — Оставь! Владѣй, никто за ней не придетъ больше. Твоихъ дѣтей мать она, — владѣй!.. Господи!..

Двѣ руки, бѣлыя такія, горячія, нѣжныя, обхватили его за шею, дорогое лицо къ его лицу прильнуло крѣпко-крѣпко.

Опомнился Степанъ—никого ужъ нѣтъ около. Народъ подальше толпится; арбу запрягаютъ; Иванъ Дормидонычъ его подмышки на эту арбу тащитъ, двое помогаютъ. Ата-бекъ, уже верхомъ, съ кѣмъ-то черезъ заборъ разговариваетъ.

Сладились, поѣхали.

А Салтыкъ Аблаевичъ въ тотъ-же вечеръ такъ говорилъ въ своей кибиткѣ:

— Да проклянетъ Аллахъ и домъ мой, и семью мою, и весь родъ мой, да отсохнутъ руки мои, вотъ эти самыя, если повинны будутъ онѣ хотя въ одной каплѣ крови русской!

Отъ чистаго сердца вырвалась у него эта клятва, не силой, не штыками, не пожарами, не угрозами ее вытянули...

Годъ спустя, былъ я самъ въ его становищахъ; какъ лучшаго друга, какъ дорогого гостя встрѣчаютъ тамъ всякаго русскаго. Видѣлъ я и Марину Денисьевну, «Кызылъ-сутъ», какъ ее здѣсь называютъ. Заставила она полюбить себя всѣхъ женщинъ тюркменскихъ, какъ дымъ разсѣялась вся ихъ прежняя къ ней ненависть.

LII. „Слѣпая злоба“.

Громадныя партіи персіянъ, освобожденныхъ рабовъ, собрались у Хивы, близъ русскаго лагеря.

Они возвращались на родину. Имъ предстояло два пути. одинъ далекій, долговременный, но безопасный, — это черезъ Оренбургъ, Самару, по Волгѣ внизъ, въ Астрахань, а оттуда уже къ роднымъ берегамъ по Каспійскому морю. Другой путь, болѣе короткій и скорый, зато рискованный, - это прямо черезъ степи и кочевья тюркменскія, къ персидскимъ границамъ.

Освобожденнымъ былъ предоставленъ свободный выборъ между этими двумя путями.

Партія въ нѣсколько сотъ человѣкъ, съ дѣтьми и женщинами, съ арбами и вьючными животными, тянулась уже по послѣдней дорогѣ.

Она прошла мирныя селенія хлѣбопашцевъ, прошла и ближайшіе тюркменскіе роды; ей оставалось теперь перейти безплодную полосу песчаной степи, чтобы увидать вдали синѣющіе хребты родныхъ горъ.

Въ этой партіи одинъ человѣкъ только не былъ персіянинъ.

Человѣкъ этотъ шелъ пѣшкомъ, у него ничего не было, кромѣ одежды и палки. Онъ шелъ босой по горячему песку, онъ подставлялъ свою голову непокрытую прямо подъ отвѣсные, палящіе лучи южнаго солнца...

Онъ не держался въ толпѣ, а шелъ одинокій, стороною; онъ ѣлъ тогда, когда его почти силою заставляли ѣсть...

Онъ шелъ и дорогою молился, часто вслухъ, громко... Онъ молился даже ночью, во время отдыха, и, случалось, засыпалъ за молитвою, стоя на колѣняхъ.

Надъ этимъ человѣкомъ смѣялись его попутчики, онъ не отвѣчалъ имъ и даже не замѣчалъ насмѣшекъ; онъ привыкъ къ нимъ, и къ нему привыкли.

«За персидскою землею пойдетъ турецкая земля, а въ той турецкой землѣ, не доходя моря синяго, стоитъ Іерусалимъ, старый градъ, лежитъ вокругъ него земля святая. И идутъ со всѣхъ концовъ свѣта христіане къ землѣ той на поклоненіе».

Вотъ все, что зналъ этотъ человѣкъ, вотъ все, о чемъ только думалъ онъ дорогою.

Никто въ караванѣ не зналъ, какъ зовутъ русскаго путника, никто не видалъ его, какъ и когда онъ присталъ къ каравану. Прежде, какъ выходили, не видали, ну, а съ пятаго перехода проявился такой; не гнать-же его! А коли самъ молчитъ, не приставать-же къ нему съ разспросами.

Тянулась давно уже песками эта партія и не знала, не чуяла, какая гроза собирается надъ ихъ головами.

Собрались съ текинскихъ становищъ и съ другихъ мѣстъ недовольные, озлобленные новыми порядками. «Коли не намъ, такъ пусть-же и никому не достаются; ишь, ты, собаки, вольные люди, еще и посмѣиваются надъ нами, надъ господами своими, силою русскою, чужою грозятся. Ладно-же!»

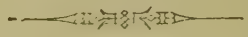
Засѣла партія удальцовъ за песчанымъ гребнемъ, у ма-

ленькаго озерка степного, а миновать этого озерка для освобожденныхъ персіянъ было никакъ не возможно.

И они его не миновали.

Нѣсколько времени спустя, пришла къ намъ стороною страшная вѣсть о поголовномъ истребленіи всего каравана. Сперва вѣсти этой не повѣрили, справки стали наводить.

— «Ни одного человѣка въ живыхъ не оставили», подтвердилось этими справками.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВЫ. СТР.

I. Обозъ 3
II. Зеленая степь 6
III. Лѣса одолѣли 9
IV. Степанова „подстрека“ 11
V. Встрѣчные 14
VI. Семья дѣда Дениса 18
VII. Дядя Василій и другъ его закадычный Маметка татаринъ Чебоксарскій 25
VIII. Степанъ-Малышъ и жена его Авдотья 30
IX. Городъ Иргизъ 34
X. Ночлегъ на берегу Иргиза 36
XI. Базарный день 41
XII. Степанъ-Малышъ отыскиваетъ свою хозяйку . . 46
XIII. Скорѣй изъ города 49
XIV. Солончаки 53
XV. Сухое озеро 56
XVI. Степанова прыть 62
XVII. Авдотьинъ зарокъ 65
XVIII. На озерѣ Джалангачъ 69
XIX. Попутчица 73
XX. Степанъ думаетъ—Никонъ сказываетъ 77
XXI. Кара-Кумы 80
XXII. Берегись оба! 82
XXIII. Цѣпной песъ 84
XXIV. Могила дѣда Дениса 85
XXV. Рѣчи больно занятныя 91
XXVI. Сухая гроза 95
XXVII. Прибыли на мѣсто 100
XXVIII. Страница о прежнемъ 104
XXIX. Городъ Казалинскъ 107
XXX. Какъ Никонъ къ отцу Ивану за требою ходилъ, а дядя Василій кибитку себѣ торговалъ на базарѣ 111
XXXI. Земля подъ пахоть 115
XXXII. Стройка 119
XXXIII. Пособіе 122

ГЛАВЫ. СТР

XXXIV. Первыя бѣды мужичьи 124
XXXV. Вторыя бѣды горше первыхъ 130
XXXVI. Въ Никоновомъ домѣ 132
XXXVII. Какъ Степанъ съ Матвѣемъ Лаптевымъ за топливомъ на взморье ѣздили, о чемъ дорогою говорили и что видѣли 138
XXXVIII. Абрамъ Моисеевичъ Мандельбергъ 147
XXXIX. Казакъ Савва Вуколовичъ Бородинъ, послѣдній изъ „захрященовцевъ“ 152
XL. Никонъ въ дорогу собирается, чего-то опасается, а чего—напрямикъ сказать языкъ у него не ворочается 158
XLI. Своей волости хозяинъ 162
XLII. Бабья тревога 168
XLIII. Изъ огня да въ полымя, а все-таки морозу спасибо . 170
XLIV. Благослови Господи 177
XLV. Весна 183
XLVI. Сходка въ полтора человѣка 185
XLVII. За плугомъ 191
XLVIII. Въ камышахъ 193
XLIX. Соколиные охотники 198
L. Хоть и чужой камышъ, да баба хороша,—получай на доброе здоровье 200
LI. Чигири 209
LII. Сваха 217
LIII. Зачѣмъ Степанъ-Малышъ ходилъ въ городъ и кого тамъ встрѣтилъ 222
LIV. „Ревнивая“ 227
LV. Прибыльныя дѣла Василія Іоныча 231
LVI. Страшные вѣстники 235
LVII. Саранча 237
LVIII. Никоново горе затаенное 247
LIX. На ночлегѣ 249
LX. Что на сѣнокосахъ приключилось. — Какъ Салтыкъ Аблаевичъ задумалъ свататься, и о чемъ господа въ палаткѣ своей разговаривали 254
LXI. Какъ было скоро на слѣдъ попали, да еще скорѣе того со слѣду найденнаго сбились . . 259
LXII. На чемъ порѣшилъ батырь влюбчивый и о чемъ съ дядею Васильемъ разговаривалъ . . . 266

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Островъ Косъ-Аралъ 273
II. „Харчи хозяйскіе: и крупою, и мукою, а рыбы—такъ вдоволь“ 278
III. „Повадился кувшинъ по воду ходить...“ 281
IV. „...Тутъ ему и голову сломить“ 287
V. Въ киргизскомъ становищѣ гости пріѣзжіе, хоть одного роду, да почетъ имъ неодинаковый 293

ГЛАВЫ. СТР.

VI. „Закопошились черви въ гниломъ болотѣ“ . . . 301
VII. Грѣхъ великій 310
VIII. Подъ замками 312
IX. Шакалья балка 313
X. О чемъ думалъ и передумывалъ дядя Василій, ѣдучи въ городъ Казалинскъ изъ Шакальей балки обратною дорогою 319
XI. На крышѣ съ фронтономъ 323
XII. Оказія 326
XIII. Порѣшенные 331
XIV. „Свѣтъ не безъ добрыхъ людей“—пословица, даже и по здѣшнему мѣсту пригодная 336
XV. Гдѣ Марина? 339
XVI. Корнаухій дѣдко 347
XVII. Розсказни „корнаухаго дѣдки“ про стороны дальнія, про дороги къ нимъ, прямыя и окольныя 350
XVIII. Распорядки Степановы по хозяйству своему. по той причинѣ, что ужъ очень ему деньги требуются. 359
XIX. Бери товаръ—получай деньги 365
XX. Два человѣка — не одинъ, все веселѣй съ товарищемъ 368
XXI. Въ морѣ 371
XXII. Легенда объ островѣ „Барса-Кельмесъ“ 375
XXIII. На каикѣ 377
XXIV. „Злое море всколыхнулося“ 382
XXV. Очнулся 388
XXVI. Токмакъ-Ата 393
XXVII. Что послалъ богомольцамъ святой Токмакъ своею милостію 400
XXVIII. По чести подѣлились, что кому сама судьба послала на счастье 404
XXIX. Кибитка на мысѣ „Урда“ Иртыкъ-бая и Катта-Курсакъ-бая, и семьи ихъ, жены съ ребятами 411
XXX. Понялъ? 419
XXXI. Гость недобрый 421
XXXII. Месть 426
XXXIII. Какъ братья межъ собою спорили, на чемъ порѣшили, и какое дѣло задумала иранка ехидная 430
XXXIV. Базарный день въ Чимбаѣ 434
XXXV. Изъ правыхъ да въ виноватые попали 441
XXXVI. Сады „диванъ-беги“ Матъ-Ніаза 446
XXXVII. Услуга за услугу 451
XXXVIII. Смутныя времена 457
XXXIX. Земляки-товарищи 459
XL. Жалобы на обидчиковъ лютыхъ 463
XLI. Судъ и расправа 469
XLII. Не мытьемъ, такъ катаньемъ доняли 473
XLIII. Пѣшіе коннымъ подневольные товарищи . . . 477
XLIV. Въ тюркменскихъ становищахъ. 481

ГЛАВЫ. СТР.

XLV. Отголоски 485
XLVI Кровью запахло 489
XLVII. Гонецъ отъ Марины Денисьевны за Степаномъ Малышемъ присланъ 493
XLVIII. Тревожный день, хлопотливая ночь 497
XLIX. „Бѣлыя рубахи“ 500
L. Генеральская бумага 506
LI. Мать 509
LII. „Слѣпая злоба“ 514

1/5

Duke University Libraries
D04589921